Борис Соколов

Гоголь. Энциклопедия.

С любовью и благодарностью посвящаю сей труд моей матери, Валентине Клементьевне, моей жене Людмиле и моим детям Игорю и Вадиму. Без них не была бы написана эта книга.

НИКОЛАЙ ГОГОЛЬ - ПИСАТЕЛЬ XXI ВЕКА

И. С. Аксаков писал в 1852 г., сразу после смерти Гоголя: "Много еще пройдет времени, пока уразумеется вполне все глубокое и строгое значение Гоголя, этого монаха-художника, христианина-сатирика, аскета и юмориста, этого мученика возвышенной мысли и неразрешимой задачи".

Как писал русский религиозный философ и литературный критик Константин Мочульский: "Жизнь Гоголя - сплошная пытка, самая страшная часть которой, протекавшая в плане мистическом, находится вне нашего зрения. Человек, родившийся с чувством космического ужаса, видевший вполне реально вмешательство демонических сил в жизнь человека, воспринимавший мир "sub specie mortis" (под знаком смерти (лат.). - Б. С.), боровшийся с дьяволом до последнего дыхания, - этот же человек "сгорал" страстной жаждой совершенства и неутомимой тоской по Богу. Душа Гоголя - сложная, темная, предельно одинокая и несчастная; душа патетическая и пророческая; душа, претерпевшая нечеловеческие испытания и пришедшая ко Христу".

В. В. Вересаев подметил то, что идеологию и религиозные убеждения Гоголь пронес практически неизменными через всю свою жизнь. Автор "Гоголя в жизни" относился к такому постоянству отрицательно, но у других исследователей это гоголевское качество удостоилось положительной оценки за неизменное следование христианским заповедям. В.В. Вересаев утверждал: "Гоголь родился в глухой помещичьей усадьбе Полтавщины.

У его родителей было около двухсот "душ" крепостных крестьян и более тысячи десятин земли. Сам Гоголь, однако, помещиком не был. Как только ему удалось стать на ноги, он начал жить самостоятельным трудом, - сначала служил, потом существовал литературной работой. От своей части имения он отказался в пользу матери и сестер, не только не получал оттуда никаких доходов, но сам - правда, редко и мало - помогал матери, хозяйничавшей очень неумело. Так что по собственному своему социальному положению Гоголь скорее принадлежал, подобно Белинскому, к сословию разночинцев со всеми сопутствующими особенностями: необходимостью зарабатывать пропитание личным трудом, непрочностью заработка, всегдашнею необеспеченностью.

Однако всю свою идеологию Гоголь целиком впитал из недр старосветской помещичьей жизни. И это замечательно: через жизнь свою, полную самого напряженного художественного искания и творчества, эту идеологию свою он пронес в совершенно нетронутом виде, совсем в таком виде, в каком получил ее

в раннем детстве. В вопросах общественности, морали, религии великий автор "Ревизора" и "Мертвых душ" до конца жизни стоял совершенно на том же уровне, на котором стояла его наивная глуповатая мать-помещица. В этих областях оба они говорили на одном языке".

Современный русский литературовед Петр Палиевский проницательно замечает: "...Все лучше видно, сколько дел, малозаметных в его время, но грандиозных для русской литературы в целом совершил Гоголь, часто жертвуя собой ради достижения далеких исторических целей". От гоголевской прозы берут начало многие типы героев русской литератруры. Гончаровский "человек дела" Штольц родился в жестянщике Шиллере, первым "маленьким человеком " нашей литературы стал Акакий Акакиевич Башмачкин, а муки творческой личности впервые стали предметом художественного анализа в "Невском проспекте" и "Портрете". "Все мы вышли из гоголевской "Шинели"" - говорил не то Тургенев, не то Достоевский. Очень точно выразился Михаил Пришвин : "Гоголь силой слова хотел связать нечисть, чтобы освободить от нее красоту и добро. Он этому делу предался с такой силой страсти, что его образы стали живыми существами, как будто автор вывел этих жителей тьмы на свет, и они вынуждены были во всей наготе своей остаться между людьми". Автор "Ревизора" и "Мертвых душ" верил в силу заклятья печатным словом, и лишь в конце жизненного пути понял, что добро и зло переплетены в неразрывном единстве. И образы нечистой силы в его произведениях становились все мрачнее. Смешной и жалкий черт "Ночи перед Рождеством" превращается в мрачного искусителя героев "Невского проспекта" и "Портрета".

Житейская неустроенность была постоянной спутницей Гоголя. Остроумие и воображение компенсировали некоторый недостаток интеллектуального багажа.

Русский поэт и философ-мистик Даниил Андреев в своем религиозно-философском трактате "Роза мира" (1950-1958) отнес Гоголя к числу тех великих душ, что периодически являются человечеству в различных реинкарнациях: "Возрастает блаженство самих гамаюнов и сиринов, когда они видят те эпопеи, которые творят там великие души, прошедшие в последний раз по земле в обликах Державина и Пушкина, Лермонтова и Гоголя, Толстого и Достоевского, Рублева и Сурикова, Глинки и Мусоргского, Казакова и Баженова. Светящиеся волны невообразимых звучаний взмывают местами как бы из сердца небесных гор: они водворяют душу в состояние такой духовной отрады, от какого разорвалось бы земное сердце, и, поднимаясь и меняясь, подобно славословящим облакам, опускаются в любви и тишайшей радости...

Сделать так, чтобы Россия осознала все несовершенство своей стадии становления, всю неприглядность своей неозаренной жизни, - это должен был сделать и сделал Гоголь. Ему был дан страшный дар - дар созерцания изнанки жизни, и другой дар: дар художественной гениальности, чтобы воплотить увиденное в объективно пребывающих творениях, показуя его всем. Но трагедия Гоголя коренилась в том, что он чувствовал в себе еще и третий дар, нераскрытый, мучительно требовавший раскрытия, - а он не знал - и не узнал - как раскрыть этот третий дар: дар вестничества миров восходящего ряда, дар проповедничества и учительства. При этом ему не удавалось осознать различия

между вестничеством и пророчеством; ему казалось, что вестничество миров света через образы искусства непременно должно связываться с высотой этической жизни, с личной праведностью. Ограниченные, сравнительно с художественной гениальностью, способности его ума не позволили ему понять несоответствие между его задачей и формами православно-учительной деятельности, в которую он пытался ее облечь. Расшатанный и изъязвленный созерцанием чудищ "с унылыми лицами", психофизический состав его существа не выдержал столкновения между православным аскетизмом и требованиями художественного творчества, между чувством пророческого призвания и сознанием своего недостоинства, между измучившими его видениями инфернальных кругов и жгучею жаждою - возвещать и учить о мирах горних.

А недостаточность... начала деятельно-волевого как бы загнала этот жизненный конфликт во внутреннее пространство души, лишила его необходимых выявлений вовне и придала колорит тайны последнему, решающему периоду его жизни".

"Колорит тайны" пронизывает все творчество Гоголя.

По словам И. С. Аксакова, "художник, заставлявший всю Россию смеяться по собственному произволу, был человек самого серьезного характера, самого строгого настроения духа... писатель, так метко и неумолимо каравший человеческое ничтожество, был самого незлобивого нрава и сносил без малейшего гнева все нападки и оскорбления... едва ли найдется душа, которая бы с такою нежностью и горячностью любила добро и правду в человеке и так глубоко и искренно страдала при встрече с ложью и дрянью человека".

В. В. Зеньковский в "Истории русской философии" (1948) целый раздел посвятил "гениальному писателю" Гоголю как религиозному мыслителю. Он сетовал: "Литературная слава Гоголя долго мешала принятию его идейного творчества, - кто только не осуждал Гоголя за то, что он свернул с пути художественного творчества! А в трагическом сожжении 2-го тома "Мертвых душ", глубочайше связанном со всей духовной работой, шедшей в Гоголе, видели почти всегда "припадок душевной болезни" и не замечали самой сущности трагической коллизии, которую за других вынашивал в себе Гоголь. Нет никого в истории русской духовной жизни, кого бы можно было поставить в этом отношении рядом с Гоголем, который не только теоретически, но и всей своей личностью мучился над темой о соотношении Церкви и культуры... Гоголь... впервые в истории русской мысли подходит к вопросу об эстетическом аморализме, с чрезвычайной остротой ставит тему о расхождении эстетической и моральной жизни в человеке. В Гоголе начинается уже разложение идеологии эстетического гуманизма, впервые вскрывается проблематика эстетической сферы. По складу натуры своей, Гоголь был чрезвычайно склонен к морализму, несколько отвлеченному и ригористическому, для него самого почти навязчивому и суровому. Но рядом с морализмом в нем жила горячая, всепоглощающая и страстная любовь к искусству, которое он любил, можно сказать, с непобедимой силой. Сознание своеобразной аморальности эстетической сферы привело Гоголя к созданию эстетической утопии, явно неосуществимой и продиктованной потребностью доказать самому себе "полезность" искусства. Крушение этой утопии (внешне связанное с

постановкой на сцене его гениальной комедии "Ревизор") создает чрезвычайное потрясение в духовном мире Гоголя, обнажает всю шаткость и непрочность всяческого гуманизма, расчищая почву для религиозного перелома, - в Гоголе, действительно, начинается (с 1836-го года, т. е. когда ему было 27 лет) глубокое и страстное возвращение к религиозной жизни, никогда в нем, собственно, не умолкавшей...

Гоголь зовет к перестройке всей культуры в духе Православия и является поистине пророком "православной культуры". Особенно остро и глубоко продумывал Гоголь вопрос об освящении искусства, о христианском его служении, - он ведь первый в истории русской мысли начинает эстетическую критику современности, бичуя пошлость ее".

По мнению К. В. Мочульского, высказанному в работе "Духовный путь Гоголя" (1933), "Гоголь был не только великим художником: он был и учителем нравственности, и христианским подвижником, и мистиком...

В душе Гоголя первичны переживание космического ужаса и стихийный страх смерти; и на этой языческой основе христианство воспринимается им как религия греха и возмездия".

К. В. Мочульский подчеркивал "веру Гоголя в особое, преимущественное попечение о нем Промысла Божия". Трагедию Гоголя он видел в том, что "читатели любят простые и ясные ярлыки: звание юмориста осталось приклеенным к писателю на всю жизнь. И этим отчасти объясняется провал его "Переписки с друзьями" и вообще неудача его "душевного дела". Когда Гоголь перестал смешить и заговорил о Боге, никто не поверил, что комический писатель может быть учителем".

По мнению К. В. Мочульского, "в основе повестей, помещенных в "Миргороде" и "Арабесках", ощущение безнадежности и обреченности расширяется и углубляется. Гоголь... видит мир во власти темных сил и с беспощадной наблюдательностью следит за борьбой человека с дьяволом. За исключением "Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" все повести кончаются гибелью героев: умирают Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна в "Старосветских помещиках", гибнет Тарас с двумя своими сыновьями в "Тарасе Бульбе", сходит с ума и перерезывает себе горло художник Пискарев в "Невском проспекте", сходит с ума чиновник Поприщин в "Записках сумасшедшего".

Из страшного мира, в котором властвует зло и царит смерть, уйти некуда. Даже если удалиться от суеты жизни и тревоги страстей и похоронить себя заживо в каком-нибудь медвежьем углу, в полной тишине и уединении, и тут "злой дух" настигнет и одним своим дыханием разрушит хрупкий игрушечный рай...

До самой смерти Гоголь не знал любви, этого, по его словам, "первого блага в свете". Это - факт громадной важности, объясняющий многие особенности характера и творчества писателя. Но безвкусны и произвольны домыслы некоторых исследователей о сексуальной жизни Гоголя. Догадываться о том, каким пороком страдал писатель, применять к нему метод Фрейда занятие бесполезное. Достаточно показать, что мысли Гоголя о демонической природе красоты и гибельности любви основаны на его личном психологическом опыте:

он испытывал ужас перед любовью, предчувствуя ее страшную, разрушительную силу над своей душой; натура его была так чувственна, что "это пламя превратило бы его в прах в одно мгновение"".

А. Д. Синявский в книге "В тени Гоголя" (1970-1973) приходит к выводу: "Право же, Гоголь-художник выказывает себя куда более мистиком, нежели его христианское морализаторство... Кажется, в своих поэтических созданиях Гоголь даже более религиозен, чем в своем обескровленном и расчисленном христианстве". Он утверждал: "Красота в умозрениях Гоголя обладает тайной воздействия, превышающего установления общества и государственной власти. Не так ее созерцание, как сила красоты, ее активная миссия в мире занимали воображение Гоголя. В его глазах она всегла панночка, обращающая тело и разум наш в орудие собственной воли".

А. Д. Синявский настаивал: "Гоголь не был Дон-Кихотом. Он был Дон-Кихотом, смешавшим дон-кихотские выходки с ухватками Санчо Пансы, и досаждал своим здравомыслием хуже сумасшедшего".

В. Я. Брюсов подчеркивал: "Стремление к крайностям, к преувеличениям, к гиперболам сказалось не только в творчестве Гоголя, не только в его произведениях: тем же стремлением была проникнута вся его жизнь. Все совершающееся вокруг он воспринимал в преувеличенном виде, призраки своего пламенного воображения легко принимал за действительность и всю свою жизнь прожил в мире сменяющихся иллюзий. Гоголь не только "все явления и предметы рассматривал в их пределе", но и все чувства переживал также "в их пределе"".

Д. С. Мережковский полагал, что основная мысль гоголевского творчества - "как черта выставить дураком". При этом "в "Ревизоре" и "Мертвых душах" картины русского провинциального города 20-х годов имеют, кроме явного, некоторый тайный смысл, вечный и всемирный, но "прообразующий", или, как мы теперь сказали бы, символический, ибо символ и значит "прообразование": среди "безделья", пустоты, пошлости мира человеческого не человек, а сам черт, "отец лжи", в образе Хлестакова или Чичикова, плетет свою вечную, всемирную "сплетню"".

Как отмечал Д. С. Мережковский в своем исследовании "Гоголь и черт" (1906), "из... первозданной стихии народной вышел смех Гоголя. "Причина той веселости, которую заметили в первых сочинениях моих, заключалась в некоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой... Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставляя их мысленно в самые смешные похождения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего и кому от этого выйдет какая польза. Молодость подталкивала". Впоследствии, окончательно "удалившись от первозданных элементов своих", он сделал этот смех "смехом сквозь слезы" жестоким орудием жестокого знания, чем-то вроде анатомического ножа, который режет жизнь, как труп. Но первоначально это был именно только смех для смеха, переливающийся через край избыток жизни, молодости, веселья. Он опьянялся смехом, как вином; грелся в нем от петербургского холода, как в луче родного малороссийского или римского солнца. Во всяком случае, Гоголь -

молодой казак, пляшущий в одной рубашке трепака, - столь же реален, столь же значителен, как и Гоголь - угрюмый монах, пророчествующий о "бестелесных видениях", о загробных "страшилищах".

Отсюда же, из этой первозданной стихии языческой, - и столь особенное, столь чуждое нашему христианскому "ложу нескверному", иногда для нас прямо жуткое, "демоническое" сладострастие Гоголя."

"Я полагаю, что Гоголь вовсе не знал любви к женщинам", - замечает биограф. И в самом деле, ничего похожего на влюбленность нельзя отыскать в жизни Гоголя. По свидетельству врача, который ухаживал за ним перед смертью, "сношений с женщинами он давно не имел (скорее всего, не имел вовсе. - Б. С.) и сам признавался, что не чувствовал в том потребности и никогда не ощущал от этого особого удовольствия". "Очень понимаю и чувствую состояние души твоей, хотя самому, благодаря судьбе, не удалось испытать, пишет юный Гоголь одному своему влюбленному приятелю. - Я потому говорю благодаря, что это пламя меня превратило бы в прах в одно мгновение". В повести "Вий" прекрасная панночка-ведьма раз пришла на конюшню, где псарь Микита чистил коня. "Дай, - говорит, - Микита, я положу на тебя свою ножку. А он, дурень, и рад тому: говорит, что не только ножку, но и сама садись на меня. Панночка подняла свою ножку, и как увидел он ее нагую и полную, белую ножку, то, говорит, чара так и ошеломила его. Он, дурень, нагнул спину и, схвативши обеими руками за нагие ее ножки, пошел скакать, как конь, по всему полю, и куда они ездили, он ничего не мог сказать (здесь, пожалуй аллегорический рассказ о половом акте. - Б. С.); только воротился едва живой, а с той поры иссохнул весь, как щепка; когда раз пришли на конюшню, то вместо его лежала только куча золы да пустое ведро: сгорел, совсем сгорел сам собою!" Не повторяется ли здесь, в сказочном образе, личное признание Гоголя: "Это пламя меня бы превратило в прах в одно мгновение", в прах, в "кучу золы", как бедного псаря Микиту (альтернативное истолкование - что Микита просто сбежал навеки вместе с ведьмой-панночкой быть может, в подземное царство Вия. - Б. С.). "К спасенью моему, продолжает Гоголь, - твердая воля отводила меня от желания заглянуть в пропасть". Сила, которая удаляет его от женщин, - не скудость, а напротив какой-то особый, оргийный суводок чувственности; это странное молчание - не смерть, а чрезмерная полнота, замирающее напряжение, грозовая тишина пола. Когда философ Хома Брут скакал с ведьмой, сидевшей у него на плечах, он видел, как там, внизу, в нижней бутке, подземном небе, из-за осоки выплывала русалка, мелькала спина и нога - выпуклая, упругая, вся созданная из блеска и трепета... Облачные перси ее, матовые, как фарфор, не покрытый глазурью, просвечивали перед солнцем по краям своей белой эластической окружности... Она вся дрожит и смеется в воде. "Что это?" - думал философ, глядя вниз, несясь во всю прыть. Пот катился с него градом; он чувствовал бесовски сладкое чувство, он чувствовал какое-то пронзающее, какое-то томительно-страшное наслаждение". "Дева светится сквозь воду, как будто бы стеклянную рубашку; уста чудно усмехаются, щеки пылают, очи выманивают душу... она сгорела бы от любви, она зацеловала бы... Беги, крещеный человек!" Здесь предел сладострастия, за который так же страшно переступить, как за предел смерти. "В тонком серебряном тумане мелькали

девушки легкие, как тени. Тело их было как будто изваяно из прозрачных облаков и будто светилось насквозь при серебряном месяце" ("Майская ночь"). Эта прозрачная белизна женского тела, как наваждение, преследует Гоголя: в "Мертвых душах" на губернском балу рядом с Чичиковым прекрасная молодая девушка "одна только белела и восходила прозрачною из мутной и непрозрачной толпы", как видение из другого мира, как русалка в темной заглохшей воде. Эти "прозрачные, светящиеся насквозь, как будто изваянные из облаков" тела русалок по природе своей подобны телам древних богов; это - та же самая мистически-реальная одухотворенная плоть, величайшая противоположность "христианской" бесплотной духовности, плоть легкая и все-таки нетленно твердая, как "твердь" небес. Это и есть одно из "двух начал", заключенных в самом Гоголе, - начало плоти.

"Тело одной русалки, - продолжал рассказчик, - не так светилось, как у прочих: внутри его виднелось что-то черное". Черное пятно, страшная черная точка есть и в гоголевской "плоти", в первозданной языческой стихии его веселости, его смеха. Это - точка соприкосновения двух начал, двух половин, двух полюсов мира, рождающая беспредельный мистический ужас. Уже, впрочем, и там, в самой Элладе, есть эта черная точка: и там, в тишине самого блаженного, самого ослепительного полдня раздается вдруг потрясающий крик, таинственный зов, "голос Пана", от которого все живое бежит в сверхъестественном ужасе. Гоголю с детства знаком этот крик: "Признаюсь, мне всегда был страшен этот таинственный зов. Я помню, что в детстве часто его слышал: иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил мое имя. День обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный; ни один лист в саду на дереве не шевелился; тишина была мертвая; даже кузнечик в это время переставал кричать; ни души в саду. Но, признаюсь, если бы ночь, самая бешеная и бурная, со всем адом стихий, настигла меня одного, среди непроходимого леса, я бы не так испугался ее, как этой ужасной тишины среди безоблачного дня. Я обыкновенно тогда бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием из саду и только успокаивался, когда попадался мне навстречу какой-нибудь человек, вид которого изгонял эту страшную сердечную пустыню" ("Старосветские помещики").

Этот непонятный "панический" ужас объяснился в тот день, когда родился Христос и умер великий Пан. В конце язычества есть начало христианства; в конце земного - начало небесного, в конце плоти - начало того, что за плотью".

Н. А. Бердяев в статье "Духи русской революции" (1918) заявил: "Гоголь - единственный русский писатель, в котором было чувство магизма, он художественно передает действие темных, злых магических сил...

У Гоголя было совершенно исключительное по силе чувство зла. И он не находил тех утешений, которые находил Достоевский в образе Зосимы и в прикосновении к матери-земле. Нет у него всех этих клейких листочков, нет нигде спасения от окружавших его демонических рож... Гоголю не было дано увидеть образов добра и художественно передать их. В этом была его трагедия. И он сам испугался своего исключительного видения образов зла и уродства".

По мнению Н. А. Бердяева, "Гоголь, как художник, предвосхитил новейшие аналитические течения в искусстве, обнаружившиеся в связи с кризисом

искусства. Он предваряет искусство А. Белого и Пикассо. В нем были уже те восприятия действительности, которые привели к кубизму. В художестве его есть уже кубистическое расчленение живого бытия. Гоголь видел уже тех чудовищ, которые позже художественно увидел Пикассо. Но Гоголь ввел в обман, так как прикрыл смехом свое демоническое созерцание".

Н. А. Бердяев даже утверждал, что "Гоголь - инфернальный художник. Гоголевские образы - клочья людей, а не люди, гримасы людей. Не его вина, что в России было так мало образов человеческих, подлинных личностей, так много лжи и лжеобразов, подмен, так много безобразности и безобразности. Гоголь нестерпимо страдал от этого. Его дар прозрения духов пошлости несчастный дар, и он пал жертвой этого дара. Он открыл нестерпимое зло пошлости, и это давило его".

В. В. Розанов, самый суровый из всех русских критиков Гоголя, в своей работе "Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского" (1891-1894) утверждал: "Известен взгляд, по которому вся наша новейшая литература исходит из Гоголя; было бы правильнее сказать, что она вся в своем целом явилась отрицанием Гоголя, борьбою против него... Свое главное произведение он назвал "Мертвые души" и, вне всякого предвидения, выразил в этом названии великую тайну своего творчества и, конечно, себя самого. Он был гениальный живописец внешних форм и изображению их, к чему одному был способен, придал каким-то волшебством такую жизненность, почти скульптурность, что никто не заметил, что за этими формами ничего, в сущности, не скрывается, нет никакой души, нет того, кто бы носил их. Пусть изображаемое им общество было дурно и низко, пусть оно заслуживало осмеяния: но разве уже не из людей оно состояло? Разве для него уже исчезли великие моменты смерти и рождения, общие для всего живого чувства любви и ненависти?" Розанов писал о Гоголе: "Признавая его гений, мы с изумлением останавливаемся над ним, и когда спрашиваем себя: почему он так не похож на всех, что делает его особенным, то невольно начинаем думать, что это особенное - не избыток в нем человеческого существа, не полнота сил сверх нормальных границ нашей природы, но, напротив, глубокий и страшный изъян в этой природе, недостаток того, что у всех есть, чего никто не лишен. Он был до такой степени уединен в своей душе, что не мог коснуться ею никакой иной души: и вот отчего так почувствовал всю скульптурность наружных форм, движений, обликов, положений... Не идеала не мог он найти и выразить; он, великий художник форм, сгорел от бессильного желания вложить хоть в одну из них какую-нибудь живую душу. И когда не мог все-таки преодолеть неудержимой потребности, - чудовищные фантасмагории показались в его произведениях, противоестественная Улинька и какой-то грек Костанжогло, не похожие ни на сон, ни на действительность.

И он сгорел в бессильной жажде прикоснуться к человеческой душе, что-то неясное говорит о его последних днях, о каком-то безумии, о страшных муках раскаяния, о посте и голодной смерти. Какой урок, прошедший в нашей истории, которого мы не поняли! Гениальный художник всю свою жизнь изображал человека и не мог изобразить его души. И он сказал нам, что этой души нет, и, рисуя мертвые фигуры, делал это с таким искусством, что мы и в

самом деле за несколько десятилетий поверили, что было целое поколение ходячих мертвецов, - и мы возненавидели это поколение, мы не пожалели о них всяких слов, которые в силах сказать человек только о будущих существах. Но он, виновник этого обмана, понес кару, которая для нас еще в будущем. Он умер жертвою недостатка своей природы, - и образ аскета, жгущего свои сочинения, есть последний, который оставил он от всей странной, столь необыкновенной своей жизни. "Мне отмщение, и Аз воздам", - как будто слышатся эти слова из-за треска камина, в который гениальный безумец бросает свою гениальную и преступную клевету на человеческую природу".

По мнению В. В. Розанова, "Гоголь есть родоначальник иронического настроения в нашем обществе и литературе". Однако при этом критик утверждал: "Его восторженная лирика, плод изнуренного воображения, сделала то, что всякий стал любить и уважать только свои мечты, в то же время, чувствуя отвращение ко всему действительному, частному, индивидуальному. Все живое не притягивает нас более, и от этого-то вся жизнь наша, наши характеры и замыслы, стали так полны фантастического...

Успокоение - вот то, в чем мы всего более нуждаемся. Нет ясности в нашем сознании, нет естественности в движении нашего чувства, нет простоты в нашем отношении к действительности...

На пути к этому естественному развитию, не столь ускоренному, но непременно имеющему подняться на большую высоту, действительно стоит Гоголь. Он стоит на пути к нему не столько своею иронией, отсутствием доверия и уважения к человеку, сколько всем складом нашей души и нашей истории. Его воображение, не так относящееся к действительности, не так относящееся и к мечте, растлило наши души и разорвало жизнь, исполнив то и другое глубочайшего страдания. Неужели мы не должны сознать это, неужели мы настолько уже испорчены, что живую жизнь начинаем любить менее, чем... игру теней в зеркале".

Отказывал В. В. Розанов Гоголю и в истинно христианском чувстве, хотя и не считал это пороком для подлинного художника. В статье "О сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира" (1907) он утверждал: "Если кусок из прозы Гоголя, самый благожелательный, самый, так сказать, бьющий на добрую цель, вставить в Евангелие - то получим режущую какофонию, происходящую не от одной разнокачественности человеческого и Божественного, слабого и сильного, но от разно-категоричного: невозможно не только в евангелиста вставить кусок Гоголя, но - и в послание какого-нибудь апостола. Савл не довоспитался до Павла, но преобразился в Павла; к прежней раввинской мудрости он не приставил новое звено, пусть новую голову - веру в Христа, нет: он изверг из себя раввинство...

Христос никогда не смеялся. Неужели не очевидно, что весь смех Гоголя был преступен в нем, как в христианине ?! (в свете этих рассуждений Розанова можно объяснить и неудачу, постигшую Гоголя со вторым томом "Мертвых душ"; писатель стремился Чичикова из Савла превратить в Павла, поставить его предприимчивость на службу доброму делу, но образ сопротивлялся подобной трансформации, - оказалось, что герою очень трудно заменить копейку на Христа. И потому столь же неосуществима была идея Гоголя о том, что для

того, чтобы завершить "Мертвые души", он сам, Гоголь, должен прежде преобразоваться нравственно, превратиться из Савла в Павла. Но писатель преображается прежде всего в своих произведениях, а они никогда не превратятся в Священное писание. - Б. С.)...

Ни Гоголь, ни вообще литература, как игра, шалость, улыбка, грация, как цветок бытия человеческого, вовсе не совместим с моно-цветком, "сладчайшим Иисусом"...

Да, конечно, если бы на театральные подмостки вышли актеры и стали реветь о своем окаянстве, то гг. епископы с удовольствием пошли бы на такое зрелище. Но предложите им сыграть на флейте довольно невинную народную песню "Во лузях", - и они откажутся. Им вовсе не грешные удовольствия запрещены, им запрещено удовольствие как таковое. Все негрустное - им не позволительно. Вино, чай, большие рыбы, варенье, хорошая квартира и мебель - собственно прокрались к ним контрабандою. Но официально, в законе, в "церковных правилах" решительно невозможно сказать: "епископ может побаловаться хорошим рыбным столом"; а что он, например, должен есть одни сухие грибы - это можно сказать официально, по форме, вслух. Говоря так, я различаю в христианстве товар и контрабанду. Контрабандою прокрались в христианский мир и искусства, музы, Гоголь, хороший стол, варенье. "Это позволено"; но никто не прибавит: "это - полезно" (формула ап. Павла), а в этой-то прибавке все и дело, вся поэзия, цветочек: коего решительно не допускает моно-цветок, Иисус.

Христианство и Евангелие сделало собственно бесконечное расширение объятий, я думаю - расширение охвата; широкое устье невода оно распустило на бесконечность: но это -лишь "позволенное" - есть именно проявление его собственной доброты, снисхождения, прощения. Ну, и Гоголя оно "прощает", и Пушкина, и варенье; даже блудницу и блуд, без коих, кстати, не попали бы в невод почти все святые, начиная с бл. Августина, знавшего бурную молодость. Но прощение - это вовсе не то, что призыв. Призваны-то христиане только к одному - любви ко Христу. Конечно, Гоголь со всем своим творчеством, и нимало его не прерывая, мог бы "спастись". Но спасение спасению рознь: есть герои спасения, есть великие в христианстве, есть поэзия христианского спасения, в своем роде духовный роман. Таковой прошли только мученики; и Гоголь стал и должен был стать мучеником, чтобы войти в роман и поэзию христианства.

Дело в том, что с христианской точки зрения невозможна акция, усилие, прыжок, игра в сфере ли искусства, или литературы, или смеха, гордости и проч. Варенье вообще дозволено: но не слишком вкусное, лучше - испорченное, а еще лучше - если бы его не было; но когда оно есть и даже вкусное - оно прощается... На этом основалась возможность христианской шири. Неводом "прощения", доброты своей, снисхождения - христианство охватило бездны предметов, ему вовсе ненужных, в его глазах ничтожных; схватило "князя мира сего" и повлекло его - к умалению. Христианство есть религия настоящей прогрессии, вечно стремящаяся и никогда не достигающая величина: "Христос + 0". В каждый день и в каждый век, и во всяком месте, и во всякой душе человеческой получалось "Христос + еще что-нибудь", "Христос + богатство",

"Христос + слава", "Христос + удобства жизни". Но это "что-нибудь", прибавленное ко Христу, в душе нашей всегда только снисходилось и малилось по мере возобладания Христа. "Князь мира сего" таял, как снежный ком, как снежная кукла весной около солнца Христа. Собственно был оставлен христианам очерк "князя мира сего", семьи, литературы, искусства. Но нерв был выдернут из него - осталась кукла, а не живое существо. Как только вы попробуете оживлять семью, искусство, литературу, как только чему-нибудь отдадитесь "с душою", - вы фатально начнете выходить из христианства. Отсюда окрики от. Матвея на Гоголя. Не в том дело, что Гоголь занимался литературою. Пусть бы себе занимался. Но варенье должно быть кисло (в этом смысле эстетически совершенное и нравящееся читателю произведение - уже, по Розанову, недопустимый соблазн для христианина и христианства в целом, как его понимали отцы Церкви. - Б. С.). Гоголь со страстью занимался литературою: а этого нельзя! Монах может сблудиться с барышней; у монаха может быть ребенок; но он должен быть брошен в воду. Едва монах уцепился за ребенка, сказал: "не отдам"; едва уцепился за барышню, сказал: "люблю и не перестану любить" - как христианство кончилось. Как только серьезна семья христианство вдруг обращается в шутку; как только серьезно христианство - в шутку обращается семья, искусство, литература. Все это есть, но не в настоящем виде. Все это есть, но без идеала.

И ведь невозможно не заметить, что лишь не глядя на Иисуса внимательно - можно предаться искусствам внимательно, Гоголь взглянул внимательно на Иисуса - и бросил перо, умер. Да и весь мир, по мере того как он внимательно глядит на Иисуса, бросает все и всякие дела свои - и умирает".

Еще дальше в критике Гоголя В. В. Розанов пошел в книге "Опавшие листья. Короб второй" (1915), наделив писателя некрофильским комплексом по Фрейду: "Анунциата была высока ростом и бела, как мрамор" (Гоголь) - такие слова мог сказать только человек, не взглянувший ни на какую женщину, хоть "с каким-нибудь интересом".

Интересна половая загадка Гоголя. Ни в каком случае она не заключалась в онанизме, как все предполагают (разговоры). Но в чем? Он, бесспорно, "не знал женщины", т. е. у него не было физиологического аппетита к ней. Что же было? Поразительна яркость кисти везде, где он говорит о покойниках. "Красавица (колдунья) в гробу" - как сейчас видишь. "Мертвецы, поднимающиеся из могил", которых видят Бурульбаш с Катериною, проезжая на лодке мимо кладбища, - поразительны. То же - утопленница Ганна. Везде покойник у него живет удвоенною жизнью, покойник - нигде не "мертв", тогда как живые люди удивительно мертвы. Это - куклы, схемы, аллегории пороков. Напротив, покойники и Ганна, и колдунья - прекрасны, и индивидуально интересны. Это "уж не Собакевич-с". Я и думаю, что половая тайна Гоголя находилась где-то тут, в "прекрасном упокойном мире", - по слову Евангелия: "Где будет сокровище ваше - там и душа ваша". Поразительно, что ведь ни одного мужского покойника он не описал, точно мужчины не умирают. Но они, конечно, умирают, а только Гоголь нисколько ими не интересовался. Он вывел целый пансион покойниц, - и не старух (ни одной), а все молоденьких и хорошеньких. Бурульбаш сказал бы: "Вишь турецкая душа, чего захотел". И

перекрестился бы.

Кстати, я как-то не умею представить себе, чтобы Гоголь "перекрестился". Путешествовал в Палестину - да, был ханжою - да. Но перекреститься не мог. И просто смешно бы вышло. "Гоголь крестится" - точно медведь в менуэте.

Животных тоже он нигде не описывает, кроме быков, разбодавших поляков (под Дубно). Имя собаки, я не знаю, попадается ли у него. Замечательно, что нравственный идеал - Уленька - похожа на покойницу. Бледна, прозрачна, почти не говорит и только плачет. "Точно ее вытащили из воды", а она взяла да (для удовольствия Гоголя) и ожила, но самая жизнь проявилась в прелести капающих слез, напоминающих, как каплет вода с утопленницы, вытащенной и поставленной на ноги.

Бездонная глубина и загадка".

Однако на исходе жизни, в своем последнем произведении, "Апокалипсис нашего времени" (1917-1918), В. В. Розанов, под влиянием только что происшедшей революции октября 1917 г., взял назад негативную оценку значения гоголевского творчества и признал правоту Гоголя в том, что настоящих личностей в России практически нет: "Филарет, Святитель Московский, был последний (не единственный ли?) великий иерарх Церкви Русской...

И Николая Павловича чтил - хотя от него же был "уволен в отпуск от Синода и не появлялся никогда там". Тут - не в Церкви, но в императорстве уже совершился или совершался перелом, надлом. Как было великому Государю, и столь консервативному, не соделать себе ближним советником величайший и тоже консервативный ум первого церковного светила за всю судьбу Русской Церкви? Разошлись по мелочам. Прав этот бес Гоголь".

Более подробно эту же мысль В.В. Розанов развил в феврале 1918 г. в письме П.Б. Струве: "Я всю жизнь боролся и ненавидел Гоголя: и в 62 года думаю: "Ты победил, ужасный хохол". Нет, он увидел русскую душеньку в ее "преисподнем содержании". Ну, и как "спасли нас варяги" от новгородской "свободы", так спасут забалтийские немцы от вторичной петроградской "свободы". Тайная моя мысль, - а в сущности, 20-летняя мысль, - что только инородцы - латыши, литовцы (благороднейшая народность), финны, балты, евреи - умеют в России служить, умеют Россию любить и каким-то образом уважать, умеют привязываться к России, - опять - непостижимым образом. Верите ли: что как только отец проходит с сыном Русскую историю, толкует с ним "Русскую правду", толкует попа Сильвестра и его "Домострой", то уж знайте, что или немец, или в корне рода его лежит упорядоченное немецкое начало. "Русский" - это всегда "мечтатель", т. е. Чичиков, или Ноздрев, или Собакевич на "общеевропейской подкладке".

Гоголь сделал какой-то неверный план в освещении, неверно поставил "огни"; Гоголь вообще был немножко неумен. Но глаза его были - чудища, и он все рассмотрел совершенно верно, хотя и пробыл в России всего несколько часов. Он всю нашу "Государственную Думушку" рассмотрел: сказав, что ничего, кроме хвастовства и самолюбия, чванства и тщеславия, русские никогда и ни в какую политику не внесут. Это вовсе не "империалисты", не "царисты". Это privats Menschen (обыватели, (искаж. нем. - Б. С.) - а в сущности - крысы,

жрущие сыр в родных амбарах. И, кроме запаха сырного, ничего не слышащие. Это те же всё мужики, которые "нацарапали у помещиков по поместьям" и нарядились в наворованное добро. И "собственности чувства" никакого у нас нет; это - слишком "не по рылу": собственность может зародиться у еврея, у немца, который работал собственность, привязался к ней и теперь ее любит. Собственность, "чувство собственности" может возникнуть у родового человека, у родовитого человека, в конце концов - у исторического человека; а не у омерзительной ватаги воров, пьяниц и гуляк. Ну их к черту".

Л. Шестов в своей книге "На весах Иова" (1926) писал: "...Гоголь не о России говорил - ему весь мир представляется завороженным царством... Для Гоголя Чичиковы и Ноздревы были не "они", не другие, которых нужно было бы "поднять" до себя. Он сам сказал нам - и это не лицемерное смирение, а ужасающая правда, - что не других, а себя самого описывал и осмеивал он в героях "Ревизора" и "Мертвых душ". Книги Гоголя до тех пор останутся для людей запечатанными семью печатями, пока они не согласятся принять это гоголевское признание. Не худшие из нас, а лучшие - живые автоматы, заведенные таинственной рукой и не дерзающие нигде и ни в чем проявить свой собственный почин, свою личную волю. Некоторые, очень немногие, чувствуют, что их жизнь есть не жизнь, а смерть. Но и их хватает только на то, чтоб подобно гоголевским мертвецам изредка, в глухие ночные часы, вырываться из своих могил и тревожить оцепеневших соседей страшными, души раздирающими криками: душно нам, душно! Сам Гоголь чувствовал себя огромным, бесформенным Вием, у которого веки до земли и который не в силах их хоть чуть-чуть приподнять, чтоб увидеть краешек неба, открытый даже жалким обитателям мертвого дома. Его сверкающие остроумием и нравственным юмором произведения - самая потрясающая из мировых трагедий, как и его личная жизненная судьба. И его посетил грозный ангел и наделил проклятым даром второго видения. Или этот дар не проклятие, а благословение? Если бы хоть на этот вопрос можно было ответить! Но весь смысл второго видения в том, чтобы задавать вопросы, на которые нет ответов, и именно потому, что они так настоятельно требуют ответов. Бесчисленный сонм чертей и иных могучих духов не мог приподнять веки Вию. Не может открыть глаза и Гоголь, хотя весь он сосредоточен на одном помысле, на одном желании. Он может только терзать себя и безумствовать - отдать себя в руки духовному палачу отцу Матвею, уничтожать свои лучшие рукописи, писать дикие письма друзьям своим. И, по-видимому, в каком-то смысле эти беспощадные самоистязания, этот неслыханный духовный аскетизм "нужнее", чем его дивные литературные произведения. Может быть, нет иного способа, чтобы вырваться из власти "всемства"! Гоголь... чувствовал над собой и всем миром страшную власть чистого разума, тех идей, которые создал "нормальный", непосредственый человек..."

Как утверждал Л. Шестов, "фантастический мир представляется Гоголю самой реальностью сравнительно с тем миром, в котором Собакевич расхваливает Чичикову свои мертвые души, Петух до изнеможения закармливает своих гостей, Плюшкин растит свою кучу, Иван Иванович ссорится с Иваном Никифоровичем и т. д. И здесь, поистине, можно сказать:

"бежим, бежим в нашу дорогую отчизну". Но как бежать? Как вырваться отсюда?.. "Наша отчизна - та страна, из которой мы пришли сюда; там живет наш Отец". Так говорит Плотин, так думал и чувствовал Гоголь: только смерть и безумие смерти может разбудить людей от кошмара жизни".

В. В. Зеньковский в книге "Н. В. Гоголь" (1961) утверждал, что "Гоголь был пророком православной культуры (и доныне, впрочем, остающейся темой лишь пророческих упований), т. е. переработки проблем культуры в свете Православия, его учения о свободе и соборности".

А. Белый в "Мастерстве Гоголя" (1934) утверждал: "Тема безродности тема творчества Гоголя: Пискаревы, Башмачкины и Поприщины отщепенцы, перенесенные в Петербург чортом, на котором в одну ночь смахал Вакула; "чорт" в Петербурге сделался значительным лицом; отщепенец служит у него в канцелярии, как Башмачкин; или же он залезает на холодный чердак: развивать грезы в волнах опия, как Пискарев; глядь, - лезет к нему за душой переодетый в ростовщика Басаврюк; и тут "клад" зарыт... в рамки портрета... и в Петербурге видение клада не оставляет отщепенца... и Чичиков безроден: вышел ни в отца, ни в мать (мелкопоместных дворян), а в прохожего молодца, по уверению тетки; "прохожий молодец" и соблазнил его, как Петруся, червонцами; внутри пресловутого ларчика был потайной ящик для денег, выдвигавшийся незаметно... позднее является "прохожий молодец", Басаврюк, как отец-благодетель; он учит уму-разуму в науке наживы; и то Костанжогло; Гоголь не узнал в нем своего "нечистого", вынырнувшего из первой фазы (творчества. - Б. С.): и возвел в перл создания. Почему?

Потому, что отщепенец и Гоголь; и в нем - трещина "поперечивающего себе чувства"; она стала провалом, куда он, свергнув своих героев, сам свергнулся; герои поданы в корчах..."

По мнению А. Белого, после "Ревизора" "жизнь Гоголя остывает в моральный столбняк; окаменив героев в последней сцене комедии, стал окаменевать в годах и автор, напуганный собственным смехом, выяснение "невидимых слез", подсказанных Белинским, в условиях столбняка провело лишь грань меж Белинским и ним; "слезы" не соответствовали "слезам"; для Белинского они стали тоскою по социализму; для Гоголя - тоской по содействующему генерал-губернатору; для Белинского этого рода слезы, конечно же, "крокодиловы"; и Белинский отрекся от Гоголя, не поняв, что имеет дело с болезнью в Гоголе, с "Никошей" в Гоголе; "Никоша" же - опухоль наследственности, которую можно было бы вовремя оперировать; "опухоль" предъявила право на собственность; стала автором; автор стал тенью ее; и Гоголь вообразил: миссия его-де - мистическая; рядом с тенденцией художника Гоголя, имманентной краскам и звукам, оказалась другая, втиснутая извне, трансцендентная и краскам и звукам: и краски померкли, и звуки угасли".

А. К. Воронский утверждал в книге "Гоголь" (1934): "Много сравнений и сопоставлений невольно встает перед читателем, когда он склоняется над дивными страницами и думает об ужасной судьбе их творца. Но все эти и другие образы покрываются одним, самым страшным образом... Гоголь был... кровавым бандуристом-поэтом, с очами, слишком много видевшими. Это он вопреки своей воле крикнул новой России черным голосом: "Не выдавай,

Ганулечка!"

За это с него живьем содрали кожу".

И тот же А. К. Воронский наиболее точно выразил отношение советской марксистской критики к Гоголю: "...В одном отношении чрезвычайно близок нам Гоголь. Нам враждебны его христианство, аскетизм, проповедь нравственного самоусовершенствования. Но Гоголь смотрел на свою работу художника как на служение обществу. Искусство для него не являлось ни забавой, ни отдыхом, ни самоуслаждением, а гражданской доблестью и подвигом. Гоголь был писатель-гражданин-подвижник. Все отдал он этому подвигу: здоровье, любовь, привязанность, наклонности. Каждый образ он вынашивал в мучениях, в надеждах, что этот образ послужит во благо родине, человечеству. Многие ли из советских писателей являются подвижниками?"

Гоголь сделался одним из самых любимых писателей классиков русского авангарда - от Андрея Белого до Владимира Сорокина. Он, пожалуй, первым в отечественной литературе осознал самоценность художественного слова, его способность звучать вне контекста смысла, в море "зауми", первым образцом которой в русской литературе стали "Записки сумасшедшего". А "Кровавый бандурист" на полтора столетия предвосхитил сорокинскую "брутальную" прозу.

А. К. Воронский определил творческий метод Гоголя как "реалистический символизм": "...Гоголь берет крайний реализм и подчиняет ему символ; получается необыкновенно причудливый сплав. Изображая действительность со всей силой натурализма, со всей ее неизменностью, не брезгуя малейшими подробностями, Гоголь одновременно возводил эту действительность в символ.

Маниловы, Собакевичи, Петухи натуральны до галлюцинации и вместе с тем каждый из них символизируют какую-нибудь "прастишку"; реалистические подробности имеют свой сокровенный смысл: например, шкатулка Чичикова, его бричка, фрак наваринского пламени с дымом, немая сцена в "Ревизоре" и т. д. В символе Гоголь стремился уничтожить раздвоенность между материальным и духовным, между субъективным и объективным. Поднять реальность до высоты обобщающего символа и означало - по его мнению - возвести явления жизни "в перл создания".

Роль символа Гоголь отлично понимал: в черновых заметках по поводу "Мертвых душ" он записал:

"Как низвести все миры безделья во всех родах до сходства с городским бездельем? И как городское безделье возвести до преобразования безделья мира?"...

В искусстве Гоголь искал гармонии и примирения между низменным материальным началом мира и началом духовным.

Известное относительное удовлетворение он получал в творческом акте, в реалистическом символизме, когда "вещественность" преображалась и олицетворяла собою нечто духовное, а главное, когда в этой "вещественности" он видел намеки, проблески на высшую духовную жизнь и на высший смысл. Это удовлетворение иногда чувствуют и читатели".

А. М. Ремизов в книге "Огонь вещей. Сны и предсонье в литературе" (1954) представил жизнь и творчество Гоголя в виде сна, в котором он обращается в

черта: "Распаленными глазами я взглянул на мир - "все как будто умерло: вверху только, в небесной глубине дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по воздушным ступеням на землю".

За какое преступление выгнали меня на землю? Пожалел ли кого, уж не за "шинель" ли Акакия Акакиевича? за ясную панночку русалку? - или за то, что мое мятежное сердце не покорилось, и живая душа захотела воли? Какой лысый черт или тот, хромой, голова на выдумки и озорство, позавидовал мне?

А эти - все эти рожи, вымазанные сажей, черти, что куют гвозди для грешников, и эти, что толкают и жгут бороды, а на земле подталкивают на тайный поцелуй и на подсматривание, и эти, что растягивают дорогу, возбуждают любопытство и чаруют, все это хвостатое племя, рогатые копытчики и оплешники, обрадовались!

Да, как собаку мужик выгоняет из хаты, так выгнали меня из пекла.

Один - под звездами - белая звезда в алом шумном сиянии моя первая встреча.

"Гром, хохот, песни слышались тише и тише; смычок умирал, слабея и теряя неясные звуки; еще слышалось где-то топтанье, что-то похожее на ропот отдаленного моря, и скоро все стало пусто и глухо".

И скучно.

"Мне скучно - до петли".

Как быть тому, кого выгнали на землю безысходно? Как стать бессмертному "неземной стихии" человеком смертельной доли?

Жадно он припал к земле и пил сок земли. И его горящая пламенем ада "красная свитка" погасла.

Обернувшись в человека, он стал, как все, как всякий "добрый человек": нет ни когтей на лапах, ни рогов и хвост вприжимку - бесшабашный гуляка.

Став человеком, он посмотрел на мир - наваждение чудовищного глаза, огонь вещей - люди живут на земле в гробах и под землей в гробах доживает их персть, человек вероломен, вор и плут, глуп и свинья, а власть человека над человеком страх.

И обернувшись в свинью, он побежал на ярмарку в Сорочинцах, вздувая красный страх и хрюча.

С пьяных глаз добрые люди прозревали меня в своей личине, и обуянные страхом, видели меня собственными глазами.

И были правы: чтобы увидеть больше, чем только под носом, надо вывихнуться, взбеситься: простой средний глаз, как и это ухо, какая бедность и ограничено: "хлеб наш насущный" в неисчерпаемом богатстве красок, звуков и чувств...

И Гоголь заплакал.

"Боже, как грустна наша Россия!" отозвался Пушкин голосом тоски.

Гоголь поднял глаза и сквозь слезы видит: за его столом кто-то согнувшись пишет.

"Кто это?"

"Достоевский", ответил Пушкин.

"Бедные люди!" сказал Гоголь и подумал: "растянуто, писатель легкомысленный, но у которого бывают зернистые мысли" и заглянув в

рукопись, с любопытством прочитал заглавие: "Сон смешного человека".

И проснулся.

Гоголь проснулся, но это было не пробуждение в день, а переход в другие потайные круги своего заповедного судьбой сна, в тот круг, где он увидит тайну своего преступления - кровавую слезу панночки, и тот круг, где откроется тайна крови - "Страшная месть". Погружаясь в пропастные пространства памяти, он слышит, как глухо шумят и отдаются удары - удар за ударом - мгновенно пробудившихся волн Днепра".

В какой-то мере, говоря словами Андрея Белого из предисловия к книге о Гоголе, данная энциклопедия - это "сплетенье цитат, иногда их ракурсов", цитат из текстов Гоголя и текстов о Гоголе. В разные эпохи одни и те же слова звучат по-разному.

Данная энциклопедия представляет собой наиболее полный (в одном томе) свод документов и материалов о жизни и творчестве Николая Васильевича Гоголя. За полтора века, прошедшие со времени его кончины, появилось великое множество работ, в которых со всех сторон разбирается жизнь и творчество писателя. Гоголевским произведениям и персонажам даны уже, кажется, все мыслимые и немыслимые интерпретации. Неслучайно уже во второй половине XX века исследователи-гоголеведы стали зримо повторять мысли своих предшественников. Новые прочтения гоголевских текстов и истолкования его жизненного пути оказываются связаны с новейшими гуманитарными теориями, будь то различные версии психоанализа или бахтинская карнавализация. Все эти теории интересны сами по себе, но к собственно гоголевским замыслам не имеют никакого отношения. Здесь гоголевские образы выступают лишь в качестве примеров, подтверждающих правильность этих в принципе не фальсифицируемых теорий, способных объяснить любое художественное произведение. Вместо Гоголя может быть Достоевский или Пушкин, Данте или Рабле, суть от этого не меняется. Психоаналитические интерпретации сами становятся хорошей основой для литературных или философских произведений, но для интерпретации таковых они практически бесполезны. Поэтому задачу настоящей энциклопедии я вижу не в том, чтобы дать какую-то оригинальную трактовку образов Гоголя и событий его биографии, а в том, чтобы собрать воедино наиболее интересные и яркие суждения и факты, все богатство и разнообразие существующих мнений. Это поможет читателю представить себе Гоголя во всей его широте и противоречивости и составить свое мнение об авторе "Ревизора" и "Мертвых душ", выбрать для себя своего Гоголя. Собственные же свои комментарии и наблюдения я сознательно свел к минимуму, выполнив их в жанре заметок на полях.

Приношу самую искреннюю благодарность моим друзьям Сергею Бабаяну, Андрею Мартынову, Николаю Руденскому и Владимиру Сорокину. Без их помощи советом и материалами эта книга вряд ли была бы написана.

"АВТОРСКАЯ ИСПОВЕДЬ", эссе, написанное Гоголем летом 1847 г. Он рассчитывал включить А. и. в новое издание "Выбранных мест из переписки с друзьями" в качестве приложения в виде отдельной брошюры. Впервые опубликовано: Сочинения Н. В. Гоголя, найденные после его смерти. М., 1855.

Название "Авторская исповедь" было дано публикатором С. П. Шевыревым. Некоторые из друзей писателя прочли А. и. еще в рукописи. С. Т. Аксаков писал С. П. Шевыреву по поводу этого произведения 19 ноября 1852 г.: "Она непосредственно относится ко мне... Я нашел в ней полный ответ на каждое слово моих укорительных писем".

29 мая (10 июня) 1847 г. Гоголь из Франкфурта-на-Майне писал об А. и. П. А. Плетневу: "...Хорошо бы нам хотя половиною мыслей стремиться жить в иной, обетованной истинно стране. Блажен, кто живет на этой земле, как владелец, который купил уже себе имение в другой губернии, отправил туды все свои пожитки и сундуки и сам остался налегке, готовый пуститься вслед за ними. Его не в силах смутить тогда никакая земная скорбь и огорченья от всякого мелкого дрязга жизни... Путь мой, слава Богу, тверд... дорога моя всё одна и та же. Она трудна, это правда, скользка и не раз уже я уставал, но Сила Святая, о нас заботящаяся, воздвигала меня вновь и становила еще крепче на ноги. Даже и то, что казалось прежде как бы воздвигавшимся вполерек пути, служило к ускоренью шагов, а потому во всем следует довериться Провиденью и молиться.

Очень понимаю, что некоторых истинно доброжелательных мне друзей - в том числе, может быть, и самого тебя - несколько смущает некоторая многосторонность, выражающаяся в моей книге, и как бы желанье заниматься многим наместо одного. Для этого-то я готовлю теперь небольшую книжечку, в которой хочу, сколько возможно яснее, изобразить повесть моего писательства, то есть в виде ответа на утвердившееся, неизвестно почему, мнение, что я возгнушался искусством, почел его низким, бесполезным и тому подобное. В нем скажу, чем я почитаю искусство, что я хотел сделать с данным мне на долю искусством, развивал ли я, точно, самого себя из данных мне материалов или хитрил и хотел переломить свое направление, - ясно, сколько возможно ясно, чтобы и не литератор мог видеть, я ли виновен в недеятельности или Тот, Кто располагает всем и против Кого идти трудно человеку. Мне чувствуется, что мы здесь сойдемся с тобой душа в душу относительно дела литературы. Молю только Бога, чтобы Он дал мне силы изложить все просто и правдиво. Оно разрешит тогда и тебе самому некоторые недоразумения насчет меня, которые все-таки должны в тебе еще оставаться. Покамест это да будет еще между нами. Книжечка может выходом своим устремить вниманье на перечтенье "Переписки с друзьями" в исправленном и пополненном издании. А поэтому, пожалуйста, перешли мне не медля статьи, снабженные вашими замечаньями, для переделки, адресуя во Франкфурт, на имя посольства".

8 (20) июня 1847 г. Гоголь писал Н. Я. Прокоповичу из Франкфурта: "По всему вижу, что мне придется сделать некоторые объяснения на мою книгу, потому что не только Белинский, но даже те люди, которые гораздо больше его могли бы знать меня относительно моей личности, выводят такие странные заключения, что просто недоумеваешь. Видно, у меня темноты и неясности несравненно больше, чем я сам вижу".

Однако через пару месяцев Гоголь немного остыл и уже не спешил с А. и. 16 (28) августа 1847 г. он сообщал С. П. Шевыреву: "Что касается до объяснений на мою книгу, то я решился дело это оставить. Покуда не съезжу в Иерусалим, не

предприму ничего, а до того и другие от многого очнутся".

В А. и. Гоголь заявляет о своем пути от реализма "натуральной школы" к реализму боговдохновленному: "Жизнь я преследовал в ее действительности, а не в мечтах воображения, и пришел к Тому, Кто есть источник жизни".

В А. и. Гоголь отвечает критикам "Выбранных мест из переписки с друзьями": "...Мне послышались три разные мнения: первое, что книга есть произведение неслыханной гордости человека, возмнившего, что он стал выше всех своих читателей, имеет право на вниманье всей России и может преобразовывать целое общество; второе, что книга эта есть творение доброго, но впавшего в прелесть и в обольщенье человека, у которого закружилась голова от похвал, от самоуслаждения своими достоинствами, который вследствие этого сбился и спутался; третье, что книга есть произведение христианина, глядящего с верной точки на вещи и ставящего всякую вещь на ее законное место... Ни одно из этих мнений, будучи справедливо отчасти, никак не может быть справедливо вполне. Справедливее всего следовало бы назвать эту книгу верным зеркалом человека". Писатель сожалел, что поторопился с публикацией книги: "Из боязни, что мне не удастся окончить того сочиненья моего, которым занята была постоянно мысль моя в течение десяти лет (имеются в виду "Мертвые души". - Б. С.), я имел неосторожность заговорить вперед кое о чем из того, что должно было мне доказать в лице выведенных героев повествовательного сочинения. Это обратилось в неуместную проповедь, странную в устах автора, в какие-то мистические непонятные места, не вяжущиеся с остальными письмами. Наконец, разнообразный тон самих писем, писанных к людям разных характеров и свойств, писанных в разные времена моего душевного состоянья".

Гоголь настаивал: "...Я полжизни думал сам о том, как бы написать истинно полезную книгу для простого народа, и остановился, почувствовавши, что нужно быть очень умну для того, чтобы знать, что прежде нужно подать народу. А покуда нет таких умных книг, мне казалось, что слово устное пастырей Церкви полезней и нужней для мужика всего того, что может сказать ему наш брат писатель. Сколько я себя ни помню, я всегда стоял за просвещенье народное, но мне казалось, что еще прежде, чем просвещенье самого народа, полезней просвещенье тех, которые имеют ближайшие столкновения с народом, от которых часто терпит народ". Он сожалел, что "всяк, укорявший меня в недостатке смиренья истинного, не показал смиренья относительно меня самого. Положим, я в гордости своей, основавшись на многих достоинствах, мне приписанных всеми, мог подумать, что я стою выше всех и имею право произносить суд над другим. Но, на чем основываясь, мог судить меня решительно тот, кто не почувствовал, что он стоит выше меня? Как бы то ни было, но чтобы произнести полный суд над чем бы то ни было, нужно быть выше того, которого судишь. Можно делать замечанья по частям на то и на другое, можно давать и мненья и советы; но выводить, основываясь на этих мненьях, обо всем человеке, объявлять его решительно помешавшимся, сошедшим с ума, называть лжецом и обманщиком, надевшим личину набожности, приписывать подлые и низкие цели - это такого рода обвинения, которых я бы не в силах был извести даже на отъявленного мерзавца, который

заклеймен клеймом всеобщего презрения.

Мне кажется, что прежде чем произносить такие обвинения, следовало бы хоть сколько-нибудь содрогнуться душою и подумать о том, каково было бы нам самим, если бы такие обвинения обрушились на нас публично, в виду всего света. Не мешало бы подумать, прежде чем произносить такое обвинение: "Не ошибаюсь ли я сам? Ведь я тоже человек. Дело здесь душевное. Душа человека - кладезь, не для всех доступный иногда, и на видимом сходстве некоторых признаков нельзя основываться. Часто и наиискуснейшие врачи принимали одну болезнь за другую и узнавали ошибку свою только тогда, когда разрезывали уже мертвый труп" (Гоголь будто предугадал поведение врачей, так и не сумевших поставить правильный диагноз его последней болезни. - Б. С.). Нет, в книге "Переписка с друзьями" как ни много недостатков во всех отношениях, но есть также в ней много того, что не скоро может быть доступно всем. Нечего утверждаться на том, что прочел два или три раза книгу, иной и десять раз прочтет, и ничего из этого не выйдет. Для того, чтобы сколько-нибудь почувствовать эту книгу, нужно иметь или очень простую и добрую душу, или быть слишком многосторонним человеком, который при уме, обнимающем со всех сторон, заключал бы высокий поэтический талант и душу, умеющую любить полною и глубокою любовью".

Гоголь категорически отверг в А. и. мнение, будто "Выбранные места..." - книга вредная: "В книге, несмотря на все ее недостатки, слишком явно выступило желанье добра. Несмотря на многие неопределительные и темные места, главное видно в ней ясно, и после чтения ее приходишь к тому же заключенью, что верховная инстанция всего есть Церковь и разрешенье вопросов жизни - в ней. Стало быть, во всяком случае после книги моей читатель обратится к Церкви, а в Церкви встретит и учителей Церкви, которые укажут, что следует ему взять из моей книги для себя, а может быть, дадут ему наместо моей книги другие - позначительнее, полезнее и для которых он оставит мою книгу, как ученик бросает склады, когда выучится читать по верхам".

В заключение писатель признал, что "путаница и недоразумения", вызванные "Выбранными местами...", "были для меня очень тяжелы, тем более, что я думал, что в книге моей скорей зерно примиренья, а не раздора. Душа моя изнемогла бы от множества упреков, из них многие были так страшны, что не дай их Бог никому получить. Не могу не изъявить также и благодарности тем, которые могли бы также осыпать меня за многое упреками, но которые, почувствовав, что их уже слишком много для немощной натуры человека, рукой скорбящего брата приподняли меня, повелевши ободриться. Бог да вознаградит их: я не знаю выше подвига, как подать руку изнемогшему духом".

АКСАКОВ Иван Сергеевич (1823-1886), младший сын С. Т. Аксакова, поэт и публицист-славянофил, издатель еженедельной газеты "Русь". Во второй половине 1840-х годов служил членом уголовной палаты в Калуге. Как и все семейство Аксаковых, дружески относился к Гоголю.

16 ноября 1844 г. С. Т. Аксаков писал Гоголю, что, участвуя в астраханской ревизии князя П. П. Гагарина, А. "действовал с неожиданным, изумительным даже для меня достоинством мужа, а не юноши". Гоголь в связи с этим ответил С. Т. Аксакову 20 декабря н. ст. 1844 г. из Франкфурта: "Жаль, что вы не описали, каким образом подвизался на ревизии Иван Сергеевич, хотя я уверен, что весьма умно, и внутренно обрадовался вашему прибавлению: с достоинством мужа. Но все-таки скажите и Ивану Сергеевичу, что если он будет сметлив и поступит таким образом (на какое бы ни послали следствие), что все до единого - и невинные, и даже виноватые, и честные, и взяточники - будут им довольны, то этот подвиг еще будет выше того, если бы только одни оправданные были довольны. В теперешнее время слишком много разбирать и рассматривать взяточников; иногда они бывают не совсем дурные люди, даже такие, которых может подвигнуть доброе увещание, особенно если сколько-нибудь его узнаем во всех его обстоятельствах, как семейных, так и всяких других; если к тому в прибавку узнаем природу человека вообще и потом в особенности природу русского человека и если вследствие всего этого узнаем, как его попрекнуть, пожурить или даже ругнуть таким образом, что он еще сам скажет спасибо, - и он сделает много добра. Иван Сергеевич смекнет (а может быть, отчасти он уже и смекнул), что действовать умирительно еще действительней, чем распекательно, и что внушить повсюду отвагу на добрые дела впредь еще лучше, чем картинное дело свое собственное, и что заставить человека даже плутоватого сделать доброе дело еще картиннее, чем заставить доброго сделать доброе дело, - словом, если он всё это смекнет, то наделает много добра".

16 мая 1849 г. А. писал А. О. Смирновой: "Я нашел Гоголя хуже здоровьем, чем оставил: он опять расстроился было нервами, похудел очень; но теперь стал несколько вновь бодрее. Я полагаю, что мистицизм П. А. Толстого с супругою в состоянии навести невыносимую хандру и расстроить всякие нервы... Он говорил нашим, что пишет, но лениво. Оттого ли, что время безусловного поклонения искусству прошло, оттого ли, что у всех в памяти его последняя книга, не знаю, но только Гоголь не только не играет никакой роли в здешнем обществе, но даже весьма небрежно трактуется им. Люди забывчивы. 9 мая, в день своих именин, Гоголь захотел дать обед в саду у Погодина так, как он давал обед в этот день в 1842 году и прежде еще не раз. Много воды утекло в эти годы. Он позвал всех, кто только были у него в то время. Люди эти теперь почти все перессорились, стоят на разных сторонах, уже высказались в разных обстоятельствах жизни; многие не выдержали испытания и пали...

Словом, обед был весьма грустный и поучительный, а сам по себе превялый и прескучный. Когда же, по милости вина, обед оживился, то многие перебранились так, как и ожидать нельзя было".

На смерть Гоголя А. откликнулся статьей "Несколько слов о Гоголе",

опубликованной в 1-м томе "Московского сборника" за 1852 г.: "Так свежа понесенная нами утрата, так болезненна общественная скорбь, так еще неясно представляется уму смутно слышимый душою весь огромный смысл жизни, страданий и смерти нашего великого писателя, что невозможным кажется нам, перед началом нашего литературного дела, не поделиться словами скорби со всеми теми, неизвестными нам, кого Бог пошлет нам в читатели, - не выполнить этой искренней, необходимой потребности сердца.

Много еще пройдет времени, пока уразумеется вполне все глубокое и строгое значение Гоголя, этого монаха-художника, христианина-сатирика, аскета и юмориста, этого мученика возвышенной мысли и неразрешимой задачи! Нельзя было художнику в одно время вместить в себя, выстрадать, высказать вопрос и самому предложить на него ответ и разрешение! Вспомним то место в конце 1-го тома "Мертвых душ", когда из души поэта, наболевшей от пошлости и ничтожества современного общества, вырываются мучительные стоны и, охваченный предчувствием великих судеб, ожидающих Русь, эту непостижимую страну, он восклицает: "Русь! куда несешься ты, дай ответ!.. Не дает ответа!.."

И не дала она ответа поэту, и не передал он его нам, хотя всю жизнь свою ждал, молил и домогался истины. Ответ желал он найти и себе и обществу, требовавшему от него разрешения вопросу, заданному "Мертвыми душами". Долго страдал он, отыскивая светлой стороны и пути к примирению с обществом, как того жаждала любящая душа художника, искал, заблуждался (только тот не заблуждается, кто не ищет), уже не однажды думал, что найден ответ... Но не удовлетворялось правдивое чувство поэта: еще в 1846 году (в действительности - летом 1845 г. - Б. С.) сжег он 2-й том "Мертвых душ"; опять искал и мучился, снова написал 2-й том и сжег его снова!.. Так по крайней мере понимаем мы действия Гоголя и ссылаемся в этом случае на четыре письма его, напечатанные в известной книге ("Выбранные места из переписки с друзьями")... Но недостало человека на это новое испытание, и деятельность духа напором сил своих, постоянно возраставшим, без труда разорвала и сломила сдерживавшие ее земные узы... Вся жизнь, весь художественный подвиг, все искренние страдания Гоголя, наконец, сожжение самим художником своего труда, над которым он так долго, так мучительно работал, эта страшная, торжественная ночь сожжения и вслед за этим смерть все это вместе носит характер такого события, представляет такую великую, грозную поэму, смысл которой еще долго останется неразгаданным.

Многим из читателей, не знавшим Гоголя лично, может показаться странным, что художник, заставлявший всю Россию смеяться по собственному произволу, был человек самого серьезного характера, самого строгого настроения духа; что писатель, так метко и неумолимо каравший человеческое ничтожество, был самого незлобивого нрава и сносил без малейшего гнева все нападки и оскорбления; что едва ли найдется душа, которая бы с такою нежностью и горячностью любила добро и правду в человеке и так глубоко и искренно страдала при встрече с ложью и дрянью человека. Как на нравственный подвиг, требующий чистого деятеля, смотрел он на свои литературные труды и - живописец общественных нравов - неутомимо работал

над личным, нравственным усовершенствованием. Пусть те из читателей, для которых неясен образ Гоголя, сами посудят теперь, какую пытку испытывала эта любящая душа, когда, повинуясь своему призванию, шла "об руку" с такими героями, каковы вполне верные действительности герои "Мертвых душ". Пусть представят они себе этот страшный мучительный процесс творчества, прелагавший слезы в смех и лирический жар любви и той высокой мысли, во имя которой трудился он, - в спокойное, юмористическое созерцание и изображение жизни. Человеческий организм, в котором вмещалась эта лаборатория духа, должен был неминуемо скоро истощиться...

Нам привелось два раза слушать чтение самого Гоголя (именно из 2-го тома "Мертвых душ") (в январе 1850 г. - Б. С.), и мы всякий раз чувствовали себя подавленными громадностью впечатления: так ощутителен был для нас этот изнурительный процесс творчества, о котором мы говорили, такою глубиною и полнотою жизни веяло от самого содержания, так много, казалось, изводилось жизни самого художника на писанные им строки. Да, если и ошибался этот гениальный поэт в некоторых своих воззрениях (высказанных, например, в "Переписке с друзьями"), то тем не менее подвиг всей его жизни вполне чист и высок, вполне искренен. Явится ли еще подобный художник или, быть может, со смертью Гоголя, наступает для нас иная пора?.. В одном из напечатанных своих писем ("Выбранные места из переписки с друзьями") Гоголь говорит: "Три первых поэта, Пушкин, Грибоедов и Лермонтов, один за другим, в виду всех, были похищены насильственною смертью в течение одного десятилетия, в поре самого цветущего мужества, в полном развитии сил своих, и никого это не поразило. Даже не содрогнулось ветреное племя"... Теперь, не досказав своего слова, похищен смертью человек, которого значение для России важнее всех упомянутых трех поэтов, на которого так долго обращались взоры, полные надежд и ожидания, который был последнею современною светлою точкою на нашем грустном небе... Содрогнется ли, хоть теперь, ветреное племя?.."

АКСАКОВ Константин Сергеевич (1817-1860), старший сын С. Т. Аксакова, публицист-славянофил, историк и драматург. Как и все семейство Аксаковых, дружески относился к Гоголю.

По свидетельству И. И. Панаева, "Константин Аксаков, видевший в нем (Гоголе. - Б. С.) русского Гомера, внушил к нему энтузиазм во всем семействе... День этот (когда Гоголь посетил Аксаковых, чтобы прочесть главы из "Мертвых душ". - Б. С.) был праздником для Константина Аксакова... С какою любовию он следил за каждым взглядом, за каждым движением, за каждым словом Гоголя! Как он переглядывался с Щепкиным! Как крепко жал мне руки, повторяя:

- Вот он, наш Гоголь! Вот он!"

В статье "Несколько слов о поэме Гоголя "Похождения Чичикова, или Мертвые души" (1842), опубликованной отдельной брошюрой, А. утверждал: "Пред нами возникает новый характер создания, является оправдание целой сферы поэзии, сферы, давно унижаемой; древний эпос восстает перед нами... Тот же глубокопроникающий и всевидящий эпический взор, то же всеобъемлющее эпическое созерцание... Некоторым может показаться

странным, что лица у Гоголя сменяются без особенной причины; это им скучно, но... именно эпическое созерцание допускает это спокойное появление одного лица за другим, без внешней связи, тогда как один мир объемлет их, связуя их глубоко и неразрывно единством внутренним... Созерцание Гоголя таково... что предмет является у него, не теряя нисколько ни одного из прав своих, является с тайною своей жизни, одному Гоголю доступною; его рука переносит в мир искусства предмет, не измяв его нисколько; нет, свободно живет он там, еще выше поставленный; не видать на нем следов его перенесшей руки, и поэтому узнаешь ее. Всякая вещь, которая существует, уже по этому самому имеет жизнь, интерес жизни, как бы мелка она ни была, но постижение этого доступно только такому художнику, как Гоголь; и в самом деле, все: и муха, надоедающая Чичикову, и собаки, и дождь, и лошади от заседателя до чубарого, и даже бричка - все это, со всей своею тайною жизни, им постигнуто и перенесено в мир искусства (разумеется, творчески создано, а не описано, Боже сохрани; всякое описание скользит только по поверхности предмета); и опять, только у Гомера можно найти такое творчество... Хотя это только первая часть, хотя это только начало реки, дальнейшее течение которой Бог знает куда приведет нас и какие явления представит, - но мы, по крайней мере, можем, имеем даже право думать, что в этой поэме обхватывается широко Русь, и уж не тайна ли русской жизни лежит, заключенная в ней, не выговорится ли она здесь художественно? Не входя подробно в раскрытие первой части, в которой во всей, разумеется, лежит одно содержание, мы можем указать, по крайней мере, на ее окончание, так чудно, так естественно вытекающее. Чичиков едет в бричке, на тройке; тройка понеслась шибко, и кто бы ни был Чичиков, хоть он и плутоватый человек, и хотя многие и совершенно будут против него, но он был русский, он любил скорую езду, - и здесь тотчас это общее народное чувство, возникнув, связало его с целым народом, скрыло его, так сказать; здесь Чичиков, тоже русский, исчезает, поглощается, сливаясь с народом в этом общем всему ему чувстве. Пыль от дороги поднялась и скрыла его; не видать, кто скачет, видна одна несущаяся тройка.

И когда здесь, в конце первой части, коснулся Гоголь общего субстанциального чувства русского, то вся сущность (субстанция) русского народа, тронутая им, поднялась колоссально, сохраняя свою связь с образом, ее возбудившим. Здесь проникает наружу и видится Русь, лежащая, думаем мы, тайным содержанием всей его поэмы. И какие эти строки, что дышит в них! и как, несмотря на мелочность предыдущих лиц и отношений на Руси, - как могущественно выразилось то, что лежит в глубине, то сильное, субстанциальное, вечное, неисключаемое нисколько предыдущим... и которое многим покажется противоречием, - каким чудным звуком наполняет оно грудь, как глубоко возбуждаются все силы жизни, которую чувствуешь в себе разлитой вдохновенно по всему существу... Слог Гоголя не образцовый, и слава Богу; это был бы недостаток. Нет, слог у Гоголя составляет часть его создания; он подлежит тому же акту творчества, той же образующей руке, которая вместе дает и ему формы, и самому произведению, и потому слога нельзя у него отделить от его создания и он в высшей степени хорош (мы не говорим о частностях и безделицах)...

Общий характер лиц Гоголя тот, что ни одно из них не имеет ни тени односторонности, ни тени отвлеченности, и какой бы характер в нем ни высказывался, это всегда полное, живое лицо, а не отвлеченное качество (как бывает у других, так что над одним напиши: скупость, над другим: вероломство, над третьим: верность и т. д.); нет, все стороны, все движения души, какие могут быть у какого бы то ни было лица, все не пропущены его взором, видящим полноту жизни; он не лишает лицо, отмеченное мелкостью, низостью, ни одного человеческого движения; все воображены в полноте жизни: на какой бы низкой степени ни стояло лицо у Гоголя, вы всегда признаете в нем человека, своего брата, созданного по образцу и подобию Божию... Например, Манилов при всей своей пустоте и приторной сладости имеющий свою ограниченную, маленькую жизнь, но все же жизнь, - и без всякой досады, без всякого смеха, даже с участием, смотришь, как он стоит на крыльце, куря свою трубку, а в голове его и Бог знает что воображается, и это тянется до самого вечера. Или Плюшкин, скупец, но за которым лежат иначе проведенные годы, который естественно и необходимо развился до своей скупости; вспомните то место, когда прежняя жизнь проснулась в нем, тронутая воспоминанием, и на его старом, безжизненном лице мелькнуло выражение чувства. Одним словом: везде у Гоголя такое совершенное отсутствие всякой отвлеченности, такая всесторонность, истина и вместе такая полнота жизни, не теряющей ни малейшей частицы своей от явлений природы: мухи, дождя, листьев и пр. до человека, - какая составляет тайну искусства, открывающуюся очень, очень немногим...

Еще одно важное обстоятельство сопряжено с явлением Гоголя: он из Малороссии. Глубоко в ней лежащий художественный ее характер высказывается в ее многочисленных, мягких звуками песнях, живых и нежных, округленных в своих размерах; не таков характер великорусской песни. Но Малороссия живая часть России, созданной могущественным великорусским духом; под его сению может она явить свой характер и войти, как живой элемент, в общую жизнь Руси, объемлющей равно все свои составы и не называющейся Великоруссиею (так бы она удержалась в своей односторонности и прочие части относились бы к ней, как побежденные к победителю), но уже Россиею. Разумеется, единство вытекло из великорусского элемента; им дан общий характер; за ним честь создания; при широком его размере свободно может развиваться все, всякая сторона, - и он сохранил свое законное господство, как законно господство головы в живом человеческом теле; но все тело носит название человека, а не головы; так и Россия зовется Россией, а не Великоруссией.

Разумеется, только пишучи по-русски (то есть по-великорусски), может явиться поэт из Малороссии; только русским может и должен явиться он, будучи гражданином общей всем России, с собой принося ей свой собственный элемент и новую жизнь вливая в ее члены (сходные мысли высказывал сам Гоголь в беседе с О. М. Бодянским незадолго до смерти. - Б. С.). Теперь, с Гоголем, обозначился художественный характер Малороссии из ее прекрасных малороссийских песен, ее прекрасного художественного начала, возник наконец уже русский гений, когда общая жизнь государства обняла все свои члены и

дала ему обнаружиться в колоссальном объеме; новый элемент искусства втек широко в жизнь искусства в России. Гоголь, принесший нам этот новый элемент, который возник из страны, важнейшей составной части многообъемлющего отечества, и, следовательно, так много выразивший, оправдавший (не в смысле: извинивший, но объяснивший) эту страну, Гоголь русский, вполне русский, и это наиболее видно в его поэме, где содержание Руси, всей Руси занимает его, и вся она, как одно исполинское целое, колоссально является ему. Итак, важно это явление малороссийского элемента уже русским, живым элементом общерусской жизни, при законном преимуществе великорусского. Вместе с тем элемент малороссийского языка прекрасно внесен Гоголем в наш русский.

А великорусская песня! песня русская, как называется она, и справедливо: ибо, стало, это племя не имеет односторонности, когда могло создать все государство и слить во живое едино все, с первого взгляда разнородные, враждующие члены; имя "русский" осталось за ним и вместе за Россией. Когда хотят говорить отдельно о действиях других племен, то придают им их племенное имя, потому что, отдельно взятые, они представляют, каждое, односторонность, от которой освобождаются, становясь русскими, с помощью великорусского элемента. А великорусское племя, следовательно, не имело этой односторонности или уничтожило ее самобытно, в своей собственной жизни, когда создало целое государство и дало в нем развиться свободно всем частям.

И так, имя "русский" слилось с этим племенем, духом которого живет и движется государство; название: русская песня осталось преимущественно, и по праву, за песней великорусской. А русская песня, которую так часто вспоминает Гоголь в своей поэме, русская песня! Что лежит в ней? Как широк напев ее! Кажется, дух и образ великого, могучего пространства, о котором так прекрасно говорит Гоголь, лежит в ней. Нет ей конца, бесконечная песня, как называет ее он же. В самом деле, нельзя сказать, что русская песня оканчивается; она не оканчивается, но уносится. Когда слушаешь, как широкие волны звуков раздаются слабее и слабее и наконец затихают так, что слух едва ловит последние звуки русской песни - нет, она не кончилась, она унеслась, удалилась только, и где-то поется, вечно поется".

29 ноября н. ст. 1842 г. Гоголь писал А. из Рима: "Я не прощу вам того, что вы охладили во мне любовь к Москве. Да, до нынешнего моего приезда в Москву я более любил ее, но вы умели сделать смешным самый святой предмет. Толкуя беспрестанно одно и то же, пристегивая сбоку припеку при всяком случае Москву, вы не чувствовали, как охлаждали самое святое чувство вместо того, чтобы живить его. Мне было горько, когда лилось через край ваше излишество и когда смеялись этому излишеству. Всякую мысль, повторяя ее двадцать раз, можно сделать пошлою. Чувствуете ли вы страшную истину сих слов: Не приемли имени Господа Бога всуе? Но вы горды, вы не хотите сознаться в своих проступках или, лучше, вы не видите их. Вы двадцать раз готовы уверять и повторять, что вы ничего не говорите лишнего, что вы беспристрастны, что вы ничем не увлекаетесь, что всё то чистая правда, что вы говорите. Вы твердо уверены, что уже стали на высшую точку разума, что не можете уже быть умнее. Не изумляйтесь, что разразилась над вами вдруг гроза

такого упрека, а спросите лучше в глубине души вашей, имею ли я право сделать упрек вам.

Обдумайте дело это, сообразите силу отношений и силу права этого. Войдите глубоко в себя и выслушайте сию мою душевную просьбу. Я теперь далеко от вас, слова мои теперь должны быть для вас священны: стряхните пустоту и праздность вашей жизни! Пред вами поприще великое, а вы дремлете за бабьей прялкой. Пред вами громада - русский язык! Наслажденье глубокое зовет вас, наслажденье погрузиться во всю неизмеримость его и изловить чудные законы его, в которых, как в великолепном созданьи мира, отразился Предвечный Отец и на котором должна загреметь вселенная хвалой Ему. Как христианин первых времен, примитесь за работу вашу. Начните с первоначальных оснований. Перечитайте все грамматики, какие у нас вышли, перечитайте для того, чтобы увидать, какие страшные необработанные поля и пространства вокруг вас. Не читайте ничего, не делая тут же замечаний на всякое правило и на всякое слово, записывая тут же это замечанье ваше. Испишите дести и стопы бумаги, и ничего не делайте, не записывая... В душе вашей заключены законы общего. Но горе вам проповедовать их теперь, они будут только доступны тем, которые сами заключают их в душе своей, и то не вполне. Вы должны их хранить до времени в душе, и только тогда, когда исследуете все уклоненья, исключенья, малейшие подробности и частности, тогда только можете явить общее во всей его колоссальности, можете явить его ясным и доступным всем. А без того все ваши мысли будут иметь влияние только тогда, когда будут произнесены вами изустно, сопровождаемые жаром и пылом вашей юности, и будут вялы, тощи, затеряются вовсе, если вы их изложите на бумаге. Займитесь теперь совершенно стороною внутреннею русского языка в отношении к нему самому, мимо отношений его к судьбе России и Москвы, как бы это ни заманчиво было и как бы ни хотелось разгуляться на этом поле".

20 ноября н. ст. 1845 г. Гоголь писал А. из Рима: "Ко мне дошли слухи, что вы слишком привязались к некоторым внешностям, как-то: носите бороду, русский кафтан и проч. Это, как водится, истолковывают в неблагонамеренном духе и в виде самом неблагоприятном для вас. Я слишком понимаю, в каком значении вы носите это, и дай Бог побольше Государю таких истинно русских душ и таких верных подданных, каковы вы.

Я сам питаю отвращение к нашему обезьянскому европейскому наряду и глупому фраку и чувствую, что скоро мы все начнем носить наш наряд; но знаю, что до времени от многого следует воздержаться и наложить на себя самого запрет. У нас, в Русском Царстве, или, лучше, в сердце тех людей, которые составляют Истинно-Русское Царство, водится так, что Царь - глава, и только то, что передается через него и из его уст, то облекается в законность. Он первый подает знак - и всё вмиг облечется во внешнюю Русь, не только во внутреннюю. А что он медлит, на то он имеет законные причины, и мы должны терпеливо дожидаться. А потому я вас прошу убедительно и сильно, как только может просить вас больной человек, у которого уже немного сил, исполнить мою просьбу: не быть отличну от других своим нарядом и не отделять себя от общества, с которым вы должны быть еще связаны, и подумать слишком о той

добродетели, которой у всех нас слишком мало; добродетель эта называется смирение".

АКСАКОВ Сергей Тимофеевич (1791-1859) - писатель, друг Гоголя, богатый помещик, владелец знаменитого подмосковного имения Абрамцево, где у него часто гостил Гоголь. Родился в Уфе в родовитой дворянской семье. Их знакомство с Гоголем произошло в июле 1832 г. Вся семья Аксаковых, включая жену А. Ольгу Семеновну, сыновей Ивана и Константина и дочерей Веру и Надежду, дружески относилась к Гоголю. По утверждению И. И. Панаева, "для Аксакова-отца сочинения Гоголя были новым словом. Они вывели его из рутины старой литературной школы (он принадлежал к самым записным литераторам-рутинерам) и пробудили в нем новые, свежие силы для будущей деятельности. Без Гоголя Аксаков едва ли бы написал "Семейство Багровых".

А . так вспоминал о знакомстве с Гоголем: "В 1832 году, когда мы жили в доме Слепцова в Афанасьевском переулке, на Сивцевом Вражке, Погодин привез ко мне в первый раз и совершенно неожиданно Н. В. Гоголя. "Вечера на хуторе близ Диканьки" были давно уже прочтены, и мы все восхищались ими. По субботам постоянно обедали у нас и проводили вечер короткие мои приятели. В один из таких вечеров, в кабинете моем, находившемся в мезонине, играл я в карты в четвертый бостон, а человека три, не игравших, сидели около стола. В комнате было жарко, и некоторые, в том числе и я, сидели без фраков. Вдруг Погодин, без всякого предуведомления, вошел в комнату с неизвестным мне очень молодым человеком, подошел прямо ко мне и сказал: "Вот вам Николай Васильевич Гоголь!" Эффект был сильный. Я очень сконфузился, бросился надевать сюртук, бормоча пустые слова пошлых рекомендаций. Во всякое другое время я не так бы встретил Гоголя. Все мои гости тоже как-то озадачились и молчали. Прием был не то что холодный, но конфузный. Игра на время прекратилась; но Гоголь и Погодин упросили меня продолжать игру, потому что заменить меня было некому. Скоро, однако, прибежал сын мой Константин, бросился к Гоголю и заговорил с ним с большим чувством и пылкостью. Я очень обрадовался и рассеянно продолжал игру, прислушиваясь одним ухом к словам Гоголя; но он говорил тихо, и я ничего не слыхал. Наружный вид Гоголя был тогда совершенно другой и невыгодный для него: хохол на голове, гладко подстриженные височки, выбритые усы и подбородок, большие и крепко накрахмаленные воротнички придавали совсем другую физиономию его лицу: нам показалось, что в нем было что-то хохлацкое и плутоватое. В платье Гоголя приметна была претензия на щегольство. У меня осталось в памяти, что на нем был пестрый светлый жилет с большой цепочкой. К сожалению, я совершенно не помню моих разговоров с Гоголем в первое наше свидание; но помню, что я часто заговаривал с ним. Через час он ушел, сказав, что побывает у меня на днях, как-нибудь поранее утром, и попросит сводить его к Загоскину, с которым ему очень хотелось познакомиться и который жил очень близко от меня. Константин тоже не помнит своих разговоров с ним,кроме того, что Гоголь сказал про себя, что он был прежде толстяк, а теперь болен; он помнит, что он держал себя неприветливо, небрежно и как-то свысока, чего,

разумеется, не было, но могло так показаться. Ему не понравились манеры Гоголя, который произвел на всех без исключения невыгодное, несимпатичное впечатление. Отдать визит Гоголю не было возможности, потому что не знали, где он остановился: Гоголь не хотел этого сказать. Через несколько дней, в продолжение которых я уже предупредил Загоскина, что Гоголь хочет с ним познакомиться и что я приведу его к нему, явился ко мне довольно рано Николай Васильевич. Я обратился к нему с искренними похвалами его "Диканьке"; но, видно, слова мои показались ему обыкновенными комплиментами, и он принял их очень сухо. Вообще в нем было что-то отталкивающее, не допускавшее меня до искреннего увлечения и излияния, к которым я способен до излишества. По его просьбе мы скоро пошли пешком к Загоскину. Дорогой он удивил меня тем, что начал жаловаться на свои болезни и сказал даже, что болен неизлечимо. Смотря на него изумленными и недоверчивыми глазами, потому что он казался здоровым, я спросил его: "Да чем же вы больны?" Он отвечал неопределенно и сказал, что причина болезни его находится в кишках. Дорогой разговор шел о Загоскине. Гоголь хвалил его за веселость, но сказал, что он не то пишет, что следует, особенно для театра. Я легкомысленно возразил, что у нас писать не о чем, что в свете все так однообразно, гладко, прилично и пусто, что: ...даже глупости смешной в тебе не встретишь, свет пустой! (цитата из "Евгения Онегина". - Б. С.), но Гоголь посмотрел на меня как-то значительно и сказал, что "это неправда, что комизм кроется везде, что, живя посреди него, мы его не видим; но что если художник перенесет его в искусство, на сцену, то мы же сами над собой будем валяться со смеху и будем дивиться, что прежде не замечали его". Я был озадачен, особенно потому, что никак не ожидал услышать это от Гоголя. Из последующих слов я заметил, что русская комедия его сильно занимала и что у него есть свой оригинальный взгляд на нее. Надобно сказать, что Загоскин, также давно прочитавший "Диканьку" и хваливший ее, в то же время не оценил вполне; а в описаниях украинской природы находил неестественность, напыщенность, восторженность молодого писателя; он находил везде неправильность языка, даже безграмотность. Последнее очень было забавно, потому что Загоскина нельзя было обвинить в большой грамотности. Он даже оскорблялся излишними, преувеличенными, по его мнению, нашими похвалами. Но по добродушию своему и по самолюбию человеческому ему приятно было, что превозносимый всеми Гоголь поспешил к нему приехать. Он принял его с отверстыми объятиями, с криком и похвалами; несколько раз принимался целовать Гоголя, потом принялся обнимать меня, бил кулаком в спину, называл хомяком, сусликом, и пр., и пр.; одним словом, был вполне любезен по-своему. Загоскин говорил без умолку о себе: о множестве своих занятий, о бесчисленном количестве прочитанных им книг, о своих археологических трудах, о пребывании в чужих краях (он не был далее Данцига), о том, что он изъездил вдоль и поперек всю Русь и пр., и пр. Все знают, что это совершенный вздор и что ему искренно верил один Загоскин. Гоголь принял это сразу и говорил с хозяином, как будто век с ним жил, совершенно в пору и в меру. Он обратился к шкафам и книгам... Тут началась новая, а для меня уже старая история: Загоскин начал показывать и хвастаться книгами, потом табакерками и

наконец шкатулками. Я сидел молча и забавлялся этой сценой. Но Гоголю она наскучила довольно скоро: он вдруг вынул часы и сказал, что ему пора идти, обещал еще забежать как-нибудь и ушел. В этот приезд Гоголя наше знакомство не сделалось близким".

20 августа н. ст. 1838 г. в письме М. П. Погодину из Неаполя Гоголь просил его, если возможно, дать взаймы 2000 рублей, как тот предлагал ранее. Но таких денег в тот момент не было, и А. устроил подписку в пользу Гоголя. Он вспоминал: "По получению письма Гоголя к Погодину мы решились помочь Гоголю, но под большим секретом: я, Погодин, Баратынский и Н. Ф. Павлов сложились по 250 р., и 1000 р. предложил сам, по сердцу весьма добрый человек, И. Е. Великопольский (Иван Ермолаевич Великопольский (1793-1868) был не только богатым предпринимателем, но и поэтом, хотя и достаточно средних способностей. - Б. С.), которому я только намекнул о положении Гоголя и о нашем намерении. Секрет был вполне сохранен. Погодин должен был написать к Гоголю письмо следующего содержания: "Видя, что ты находишься в нужде, на чужой стороне, я, имея свободные деньги, посылаю тебе 2000 р. ассигнациями. Ты отдашь их мне тогда, когда разбогатеешь, что, без сомнения, будет". Деньги были отосланы немедленно. С этими деньгами случилась странная история. Я удостоверен, что они были получены Гоголем, но вот что непостижимо: когда финансовые дела Гоголя поправились, когда он напечатал свои сочинения в четырех томах, тогда он поручил все расплаты Шевыреву и дал ему собственноручный реестр, в котором даже все мелкие долги были записаны с точностью, об этих же двух тысячах не упомянуто".

В октябре 1839 г. А. и Гоголь предприняли совместное путешествие из Москвы в Петербург. А. так описал его: "Гоголь сказал нам, что ему надобно скоро ехать в Петербург, чтоб взять сестер своих из Патриотического института, где они воспитывались на казенном содержании. Мать Гоголя должна была весною приехать за дочерьми в Москву. Я сам вместе с Верой (старшей дочерью. - Б. С.) собирался ехать в Петербург, чтобы отвезть моего сына Мишу в пажеский корпус, где он был давно кандидатом. Я сейчас предложил Гоголю ехать вместе, и он очень был тому рад. Мы выехали в четверг после обеда, 26 октября. Я взял особый дилижанс, разделенный на два купе: в заднем - я с Верой. Оба купе сообщались двумя небольшими окнами, в которых деревянные рамки можно было поднимать и опускать: с нашей стороны в рамках были вставлены два зеркала. Это путешествие было для меня и для детей моих так приятно, так весело, что я и теперь вспоминаю о нем с удовольствием. Гоголь был так любезен, так постоянно шутлив, что мы помирали со смеху. Все эти шутки обыкновенно происходили на станциях или при разговорах с кондуктором и ямщиком. Самый обыкновенный вопрос или какое-нибудь требование Гоголь умел так сказать забавно, что мы сейчас начинали хохотать; иногда даже было нам совестно перед Гоголем, особенно когда мы бывали окружены толпою слушателей. В продолжение дороги, которая тянулась более четырех суток, Гоголь говорил иногда с увлечением о жизни в Италии, о живописи (которую очень любил и к которой имел решительный талант), об искусстве вообще, о комедии в особенности, о своем "Ревизоре", очень сожалел о том, что главная роль Хлестакова играется дурно в Петербурге и в Москве, от

чего пьеса теряла весь смысл. Он предлагал мне, воротясь из Петербурга, разыграть "Ревизора" на домашнем театре; сам хотел взять роль Хлестакова, мне предлагал Городничего, и так далее. Много высказывал Гоголь таких ясных и верных взглядов на искусство, таких тонких пониманий художества, что я был очарован им. Большую же часть во время езды, закутавшись в шинель, подняв ее воротник выше головы, он читал какую-то книгу, которую прятал под себя или клал в мешок, который всегда выносил с собою на станциях. В этом огромном мешке находились принадлежности туалета, какое-то масло, которым он мазал свои волосы, усы и эспаньолку, несколько головных щеток, из которых одна была очень большая и кривая: ею Гоголь расчесывал свои длинные волосы. Тут же были ножницы, щипчики и щеточки для ногтей, наконец, несколько книг. Сосед Гоголя, четырнадцатилетний наш Миша, живой и веселый, всегда показывал нам знаками, что делает Гоголь, читает или дремлет. Миша подсмотрел даже, какую книгу он читал: это был Шекспир на французском языке. Гоголь чувствовал всегда, особенно в сидячем положении, необыкновенную зябкость; без сомнения, это было признаком болезненного состояния нерв, которые не пришли еще в свое нормальное положение после смерти Пушкина. Гоголь мог согревать ноги только ходьбою, и для того в дорогу он надел сверх сапогов длинные и толстые русские шерстяные чулки и сверх всего этого теплые медвежьи сапоги. Несмотря на то, он на каждой станции бегал по комнатам и даже улицам во все время, пока перекладывали лошадей, или просто ставил ноги в печку. Гоголь был тогда еще немножечко гастрономом; он взял на себя распоряжение нашим кофеем, чаем, завтраком и обедом. Ехали мы чрезвычайно медленно, потому что лошади, возившие дилижансы, едва таскали ноги, и Гоголь рассчитывал, что на другой день, часов в пять пополудни, мы должны приехать в Торжок, следственно, должны там обедать и полакомиться знаменитыми котлетами Пожарского, и ради таковых причин дал нам только позавтракать, обедать же не дал. Мы весело повиновались такому распоряжению. Вместо пяти часов вечера мы приехали в Торжок в три часа утра. Гоголь шутил так забавно над будущим нашим утренним обедом, что мы с громким хохотом взошли на лестницу известной гостиницы, а Гоголь сейчас заказал нам дюжину котлет, с тем чтоб других блюд не спрашивать. Через полчаса были готовы котлеты, и одна их наружность и запах возбудили сильный аппетит в проголодавшихся путешественниках. Котлеты были точно необыкновенно вкусны, но вдруг мы все перестали жевать, а начали вытаскивать из своих ртов довольно длинные белокурые волосы. Картина была очень забавная, а шутки Гоголя придали столько комического этому приключению, что несколько минут мы только хохотали, как безумные. Успокоившись, принялись мы рассматривать свои котлеты, и что же оказалось? В каждой из них мы нашли по нескольку десятков таких же длинных белокурых волос! Как они туда попали, я и теперь не понимаю. Предположения Гоголя были одно другого смешнее. Между прочим, говорил он с своим неподражаемым малороссийским юмором, что, верно, повар был пьян, не выспался, что его разбудили и что он с досады рвал на себе волосы, когда готовил котлеты; а может быть, он и не пьян и очень добрый человек, а был болен недавно лихорадкой, от чего у него лезли волосы, которые и падали на

кушанье, когда он приготовлял его, потряхивая своими белокурыми кудрями. Мы послали для объяснения за половым, а Гоголь предупредил, какой ответ мы получим от полового. "Волосы-с? Какие же тут волосы-с? Откуда придти волосам-с? Это так-с, ничего-с! Куриные перушки или пух и проч., и проч.". В самую эту минуту вошел половой и на предложенный нами вопрос отвечал точно то же, что говорил Гоголь, многое даже теми же словами. Хохот до того овладел нами, что половой и наш человек посмотрели на нас, выпуча глаза от удивления, и я боялся, чтобы Вере не сделалось дурно. Наконец припадок смеха прошел. Вера попросила себе разогреть бульону; а мы трое, вытаскав предварительно все волосы, принялись мужественно за котлеты. Так же весело продолжалась вся дорога. Не помню, где-то предлагали нам купить пряников. Гоголь, взявши один из них, начал с самым простодушным видом и серьезным голосом уверять продавца, что это не пряники; что он ошибся и захватил как-нибудь куски мыла вместо пряников, что и по белому их цвету это видно, да и пахнут они мылом, что пусть он сам отведает и что мыло стоит гораздо дороже, чем пряники. Продавец сначала очень серьезно и убедительно доказывал, что это точно пряники, а не мыло и, наконец, рассердился (в "Мертвых душах" Чичиков точно так же видит в губернском городе N "столы с орехами, мылом и пряниками, похожими на мыло..." - Б. С.). В моем рассказе нет ничего смешного, но, слушая Гоголя, не было возможности не смеяться. Помню я также завтрак на станции в Померани, которая издавна славилась своим кофеем и вафлями и еще более замечательна, тогда уже старым, своим слугою, двадцать лет ходившим по-видимому в одном и том же фраке, в одних и тех же чулках и башмаках с пряжками. Это был лакей высшего разряда с самой представительной наружностью и приличными манерами. Его знала вся Россия, ездившая в Петербург. В какое бы время дня и ночи ни приехали прилично одетые путешественники, особенно дамы, лакей-джентльмен являлся немедленно в полном своем костюме. Меня уверяли, что он всегда спал в нем, сидя на стуле. С этим-то интересным для Гоголя человеком умел он разговаривать так мастерски, впадая в его тон, что всегда хладнокровно-учтивый старик, оставляя вечно носимую маску, являлся другим лицом, так сказать, с внутренними своими чертами. В этом разговоре было что-то умилительно-забавное и для меня даже трогательное. 30 октября в 8 часов вечера приехали мы в Петербург".

13 ноября 1839 г. Гоголь обедал у А. и жаловался на свои финансовые затруднения. По словам А., "его обстоятельства были следующие. Жуковский уверил его, через письмо еще в Москву, что императрица пожалует его сестрам при выходе из института, по крайней мере, по тысяче рублей. С этой верной надеждой он приехал в Петербург; но она не сбылась, по нездоровью государыни, и неизвестно, когда сбудется. К довершению всего Гоголь потерял свой бумажник с деньгами, да еще с записками, для него важными. Об этом была публикация в полицейской газете, но, разумеется, бумажник не нашелся, именно потому, что в нем были деньги". А. одолжил Гоголю 2000 рублей, которые, в свою очередь позаимствовал у Д. Е. Бенардаки. По мнению А., "Жуковский не вполне ценил талант Гоголя. Я подозреваю в этом даже Пушкина. Оба они восхищались талантом Гоголя в изображении пошлости

человеческой, его неподражаемым искусством схватывать вовсе незаметные черты и придавать им выпуклость и жизнь, восхищались его юмором, комизмом - и только. Серьезного значения, мне так кажется, они не придавали ему".

В декабре 1839 г. Гоголь и А. вернулись в Москву. 2 января 1840 г. жена А. Ольга Семеновна с дочерью Верой уехали в Курск, а 3 января, как вспоминал А., "часа за два до обеда, вдруг прибегает к нам Гоголь (меня не было дома), вытаскивает из карманов макароны, сыр-пармезан и даже сливочное масло и просит, чтоб призвали повара и растолковали ему, как сварить макароны. В обыкновенное время обеда Гоголь приехал к нам с Щепкиным, но меня опять не было дома. Я возвратился домой, где Гоголь и Щепкин уже давно меня ожидали. Гоголь встретил меня следующими словами: "Вы теперь сироты, и я привез макарон, сыру и масла, чтоб вас утешить". Когда подали макароны, которые, по приказу Гоголя, не были доварены, он сам принялся стряпать. Стоя на ногах перед миской, он засучил обшлага и с торопливостью, и в то же время с аккуратностью, положил сначала множество масла и двумя соусными ложками принялся мешать макароны, потом положил соли, потом перцу и наконец сыр и продолжал долго мешать. Нельзя было без смеха и удивления смотреть на Гоголя; он так от всей души занимался этим делом, как будто оно было его любимое ремесло, и я подумал, что если б судьба не сделала Гоголя великим поэтом, то он был бы непременно артистом-поваром. Как скоро оказался признак, что макароны готовы, т. е. когда распустившийся сыр начал тянуться нитками, Гоголь с великою торжественностью заставил нас положить себе на тарелки макарон и кушать. Макароны точно были очень вкусны, но многим показались не доварены и слишком посыпаны перцем; но Гоголь находил их очень удачными, ел много и не чувствовал потом никакой тягости, на которую некоторые потом жаловались. Во все время пребывания Гоголя в Москве макароны появлялись у нас довольно часто... В это время мы узнали, что Гоголь очень много работал; но сам он ничего о том не говорил. Он приходил к нам отдыхать от своих творческих трудов, поговорить вздор, пошутить, поиграть на бильярде, на котором, разумеется, играть совершено не умел; но Константину удавалось иногда затягивать его в серьезные разговоры об искусстве вообще. Я мало помню таких разговоров, но заключаю о них по письмам Константина. Вот что он говорит в одном своем письме: "Чем более я смотрю на него, тем более удивляюсь и чувствую всю важность этого человека и всю мелкость людей, его не понимающих. Что это за художник! Как полезно с ним проводить время! Как уясняет он взгляд в мир искусства!"" А. вспоминал, как весной 1840 г. Гоголь "читал первые главы "Мертвых душ" у Ив. Вас. Киреевского и еще у кого-то. Все слушатели приходили в совершенный восторг; но были люди, которые возненавидели Гоголя с самого появления "Ревизора". "Мертвые души" только усилили эту ненависть. Так, например, я сам слышал, как известный граф Толстой _"Американец" говорил при многолюдном собрании в доме Перфильевых, которые были горячими поклонниками Гоголя, что "он - враг России" и что "его следует в кандалах отправить в Сибирь"".

А. подробно описал отъезд Гоголя в Италию в мае 1840 г.: "Гоголь с сестрой своей Лизой был с моими детьми в театре. После спектакля он хотел ехать; но за

большим разгоном лошадей не достали, и Гоголь с сестрою ночевали у нас. На другой день, 18-го мая, после завтрака в двенадцать часов, Гоголь, простившись очень дружески и нежно с нами и сестрой, которая очень плакала, сел с Пановым в тарантас, я с Константином и Щепкин с сыном Дмитрием поместились в коляске, а Погодин с зятем своим Мессингом - на дрожках, и выехали из Москвы. В таком порядке ехали мы с Поклонной горы по Смоленской дороге, потому что путешественники наши отправлялись через Варшаву. На Поклонной горе мы вышли все из экипажей, полюбовались на Москву; Гоголь и Панов, уезжая на чужбину, простились с ней и низко поклонились. Я, Гоголь, Погодин и Щепкин сели в коляску, а молодежь поместилась в тарантасе и на дрожках. Так доехали мы до Перхушкова, т. е. до первой станции. Дорогой был Гоголь весел и разговорчив. Он повторил свое обещание, сделанное им у меня в доме за завтраком и еще накануне за обедом, что через год воротится в Москву и привезет первый том "Мертвых душ", совершенно готовый для печати. Это обещание он сдержал, но тогда мы ему не совсем верили. Нам очень не нравился его отъезд в чужие края, в Италию, которую, как нам казалось, он любил слишком много. Нам казалось непонятным уверение Гоголя, что ему надобно удалиться в Рим, чтоб писать о России; нам казалось, что Гоголь не довольно любит Россию, что итальянское небо, свободная жизнь посреди художников всякого рода, роскошь климата, поэтические развалины славного прошедшего, все это вместе бросало невыгодную тень на природу нашу и нашу жизнь. В Перхушкове мы обедали, выпили здоровье отъезжающих; Гоголь сделал жженку, не потому чтоб мы любили выпить, а так, ради воспоминания подобных оказий. Вскоре после обеда мы сели по русскому обычаю, потом помолились. Гоголь прощался с нами нежно, особенно со мной и Константином, был очень растроган, но не хотел этого показать. Он сел в тарантас с нашим добрым Пановым, и мы стояли на улице до тех пор, пока экипаж не пропал из глаз. Погодин был искренно расстроен, а Щепкин заливался слезами. Я, Щепкин, Погодин и Константин сели в коляску, а Митя Щепкин и Мессинг на дрожки. На половине дороги, вдруг, откуда ни взялись, потянулись с северо-востока черные, страшные тучи и очень быстро и густо заволокли половину неба; сделалось очень темно, а какое-то зловещее чувство налегло на нас. Мы грустно разговаривали, применяя к будущей судьбе Гоголя мрачные тучи, потемнившие солнце; но не более как через полчаса мы были поражены внезапною переменою горизонта: сильный северо-западный ветер рвал на клочки и разгонял черные тучи, в четверть часа небо совершенно прояснилось, солнце явилось во всем блеске своих лучей и великолепно склонялось к западу. Радостное чувство наполнило наши сердца".

10 июня 1840 г. Гоголь писал А. из Варшавы: "Мы доехали до Варшавы благополучно. Нигде, ни на одной станции, не было задержки; словом, лучше доехать невозможно. Даже погода была хороша: у места дождь, у места солнце".

28 декабря н. ст. 1840 г. Гоголь писал А. из Рима: "Теперь я пишу к вам, потому что здоров, благодаря чудной силе Бога, воскресившего меня от болезни, от которой, признаюсь, я не думал уже встать. Много чудного совершилось в моих мыслях и жизни! Вы, в вашем письме, сказали, что верите в то, что мы увидимся опять. Как угодно будет Всевышней Силе! Может быть,

это желание, желание сердец наших, сильное обоюдно, исполнится. По крайней мере обстоятельства идут как будто бы к тому".

Гоголь сообщил, что не получил место секретаря при попечителе над русскими художниками в Риме П. И. Кривцове и указал на еще одно обстоятельство, которое может побудить его покинуть Италию: "Я теперь приготовляю к совершенной очистке первый том "Мертвых душ". Переменяю, перечищаю, многое перерабатываю вовсе и вижу, что их печатание не может обойтись без моего присутствия. Между тем дальнейшее продолжение его выясняется в голове моей чище, величественней, и теперь я вижу, что может быть со временем кое-что колоссальное, если только позволят слабые мои силы. По крайней мере, верно, немногие знают, на какие сильные мысли и глубокие явления может навести незначащий сюжет, которого первые, невинные и скромные главы вы знаете. Болезнь моя много отняла у меня времени; но теперь, слава Богу, я чувствую даже по временам свежесть, мне очень нужную. Я это приписываю отчасти холодной воде, которую я стал пить по совету доктора. Воздух теперь чудный в Риме, светлый. Но лето, лето - это я уже испытал - мне непременно нужно провести в дороге... О, если б я имел возможность всякое лето сделать какую-нибудь дальнюю, дальнюю дорогу! Дорога удивительно спасительная для меня..."

5 марта 1841 г. Гоголь писал А. из Рима: "Я теперь прямо и открыто прошу помощи, ибо имею право и чувствую это в душе. Да, друг мой! я глубоко счастлив. Несмотря на мое болезненное состояние, которое опять немного увеличилось, я слышу и знаю дивные минуты. Создание чудное творится и совершается в душе моей, и благодарными слезами не раз теперь полны глаза мои. Здесь явно видна мне святая воля Бога: подобное внушенье не происходит от человека; никогда не выдумать ему такого сюжета! О, если бы еще три года с такими свежими минутами! Сколько жизни прошу, сколько нужно для окончания труда моего; больше ни часу мне не нужно. Теперь мне нужны необходимо дорога и путешествие: они одни... восстанавляют меня. У меня все средства истощились уже несколько месяцев. Для меня нужно сделать заем. Погодин вам скажет. В начале же 42 года выплатится мною всё, потому что одно то, которое уже у меня готово и которое, если даст Бог, напечатаю в конце текущего года, уже достаточно для уплаты. Теперь я ваш; Москва моя родина. В начале осени я прижму вас к моей русской груди. Всё было дивно расположено высшею волею: и мой приезд в Москву, и мое нынешнее путешествие в Рим - всё было благо". 13 марта 1841 г. Гоголь писал А. из Рима: "Труд мой велик, мой подвиг спасителен. Я умер теперь для всего мелочного..."

После возвращения Гоголя из-за границы стали портиться его отношения с людьми из окружения А. В своих мемуарах А. свидетельствует: "В конце 1841 и в начале 1842 года начали возникать неудовольствия между Гоголем и Погодиным (у которого Гоголь жил. - Б. С.). Гоголь молчал, но казался расстроенным; а Погодин начал сильно жаловаться на Гоголя: на его капризность, скрытность, неискренность, даже ложь, холодность и невнимание к хозяевам, т. е. к нему, к его жене, к матери и теще, которые будто бы ничем не могли ему угодить. Я должен признаться, к сожалению, что жалобы и обвинения Погодина казались так правдоподобными, что сильно смущали мое

семейство и отчасти меня самого, а также и Шевырева. Я, однако, объясняя себе поступки Гоголя его природною скрытностью и замкнутостью, его правилами, принятыми с издетства, что иногда должно не только не говорить настоящей правды людям, но и выдумывать всякий вздор для скрытия истины, я старался успокоить других моими объяснениями. Я приписывал скрытность и даже какую-нибудь пустую ложь, которую употреблял иногда Гоголь, когда его уличали в неискренности, единственно странности его характера и его рассеянности. Будучи погружен в совсем другие мысли, разбуженный как будто от сна, он иногда сам не знал, что отвечает и что говорит, лишь бы только отделаться от докучного вопроса; данный таким образом ответ невпопад надобно было впоследствии поддержать или оправдать, из чего иногда выходило целое сплетение разных мелких неправд. Впрочем, я должен сказать, что странности Гоголя иногда были необъяснимы и остались навсегда для меня загадками. Мне нередко приходилось объяснять самому себе поступки Гоголя точно так, как я объяснял их другим, т. е. что мы не можем судить Гоголя по себе, даже не можем понимать его впечатлений, потому-то, вероятно, весь организм его устроен как-нибудь иначе, чем у нас; что нервы его, может быть, во сто раз тоньше наших: слышат то, чего мы не слышим, и содрогаются от причин, для нас неизвестных. На такое объяснение Погодин с злобным смехом отвечал: "разве что так". Я тогда еще не вполне понимал Погодина и потому не догадывался, что главнейшею причиною его неудовольствия было то, что Гоголь ничего не давал ему в журнал, чего он постоянно и грубо требовал, несмотря на все письма Гоголя. После объяснилось, что Погодин пилил, мучил Гоголя не только словами, но даже записками, требуя статей себе в журнал и укоряя его в неблагодарности, которые посылал ежедневно к нему снизу наверх. Такая жизнь сделалась мучением для Гоголя и была единственною причиною скорого отъезда его за границу. Теперь для меня ясно, что грубая, черствая, топорная натура Погодина не могла иначе поступить с натурою Гоголя, самою поэтическою, восприимчивою и по преимуществу нежною. Погодин сделал много добра Гоголю, хлопотал за него горячо всегда и везде, передавал ему много денег (не имея почти никакого состояния и имея на руках большое семейство), содержал его с сестрами и с матерью у себя в доме и по всему этому считал, что он имеет полное право распоряжаться в свою пользу талантом Гоголя и заставлять его писать в издаваемый им журнал. Погодин всегда имел добрые порывы и был способен сделать добро даже и такому человеку, который не мог заплатить ему тем же; но как скоро ему казалось, что одолженный им человек может его отблагодарить, то он уже приступал к нему без всяких церемоний, брал его за ворот и говорил: "я тебе помог в нужде, а теперь ты на меня работай". Докуки Погодина увенчались, однако, успехом. Гоголь дал ему в журнал большую статью под названием "Рим", которая была напечатана в № 3 "Москвитянина". Он прочел ее в начале февраля предварительно у нас, а потом на литературном вечере у князя Дм. Вл. Голицына (московского генерал-губернатора. - Б. С.) (у Гоголя не было фрака, и он надел фрак Константина.). Несмотря на высокие достоинства этой пиесы, слишком длинной для чтения на рауте у какого бы то ни было генерал-губернатора, чтение почти усыпило половину зрителей; но когда к концу пиесы дело дошло до комических

разговоров итальянских женщин между собою и с своими мужьями, все общество точно проснулось и пришло в неописанный восторг, который и остался надолго в благодарной памяти слушателей. Многие дамы, незнакомые лично с Гоголем, но знакомые с нами, желали его видеть; но Гоголя трудно было уговорить придти в гостиную, когда там сидела незнакомая ему дама. Одна из них желала особенно познакомиться с Гоголем, а потому Вера и Константин так пристали с просьбами к Гоголю, что каким-то чудом уговорили его войти в гостиную. Это точно стоило больших трудов Константину и Вере. Они приставали к нему всячески, убеждали его; он отделывался разными уловками: то заговаривал о другом, то начинал им читать вслух что-нибудь из "Московских ведомостей" и т. д. Наконец, видя, что он уступает, Константин громко возвестил его в гостиной, так что ему уж нельзя было не пойти, и он вошел; но дама не сумела сказать ему ни слова, и он, оставшись несколько минут, ушел. Константин проводил его и благодарил, но он был не совсем доволен, и на вопрос Константина, как он нашел эту даму, он сказал, что не может судить о ней, потому что не слыхал от нее ни слова, "а вы мне сказали, что она желает со мною познакомиться".

А. признался в мемуарах, что "у нас не было полной доверенности к Гоголю. Скрытность его характера, неожиданный отъезд из Москвы (23 мая 1842 г., в Петербург. - Б. С.), без предварительного совета с нами, печатанье своих сочинений в Петербурге, поручение такого важного дела человеку совершенно неопытному (Н. Я. Прокоповичу. - Б. С.), тогда как Шевырев соединял в себя все условия, нужные для издателя, не говоря уже о горячей и преданной дружбе; наконец, свидание Гоголя в Петербурге с людьми нам противными, о которых он думал одинаково с нами (как-то с Белинским, Полевым и Краевским), все это вместе поселило некоторое недоверие даже в Шевыреве и во мне; Погодин же видел во всем этом только доказательство своему убеждению, что Гоголь человек неискренний, что ему верить нельзя. Мы с Шевыревым не принимали такого убеждения, особенно я. Я объяснял поступки Гоголя странностью, капризностью его художнической натуры; а чего не мог объяснить, о том старался забыть, не толкуя в дурную сторону".

3 июля 1842 г. А. извещал Гоголя о том, как москвичи отзываются о "Мертвых душах": "...Я обещал вам записывать разные толки о Чичикове - я сделал это, сколько мог успеть... Вот они: выписываю их с дипломатическою точностью. С. В. Перфильев (Сергей Васильевич Перфильев (1796-1878), жандармский генерал, впоследствии начальник 2-го корпуса жандармов, объединявшего жандармские части Московского округа. - Б. С.) сказал мне: "Не смею говорить утвердительно, но признаюсь: "Мертвые Души" мне не так нравятся, как я ожидал. Даже как-то скучно читать; всё одно и то же, натянуто - видно желание перейти в русские писатели; употребление руссицизмов вставочное не выливается из характера лица, которое их говорит". Он прочел залпом в один день. Я просил его через несколько времени прочесть в другой раз и не искать анекдота. Он хотел прочесть три раза. Уходя, он прибавил, что сальности в прежних сочинениях, даже в "Ревизоре", его не оскорбляли; но что здесь они оскорбительны, потому что как будто нарочно вставляются автором. Н. И. Васьков говорил, "что состав губернского общества не верен (как и в

"Ревизоре", где пропущены: стряпчий, казначей и исправник); что председателей двое; что полицеймейстер лицо ничтожное в губернском городе; что, представив сначала всё в дрянном и смешном виде, странно сделать такое горячее обращение к России; что часто шутки автора плоски, неблагопристойны, и что порядочной женщине нельзя читать всю книгу". Наконец, нашелся один, который обиделся следующими словами: "Посмотрим, что делает наш приятель?" И кто же этот приятель?.. Селифан или половой!.. Что же они мне за приятели?.. Не сочтите за выдумку последнего выражения; всё правда до последней буквы. Есть, впрочем, обвинения и справедливые. Я очень браню себя, что одно просмотрел, а на другое мало настаивал: крестьяне на вывод продаются с семействами, а Чичиков отказался от женского пола; без доверенности, выданной в присутственном месте, нельзя продать чужих крестьян, да и председатель не может быть в одно и то же время и доверенным лицом и присутствующим по этому делу. Несмотря на лето, "Мертвые Души" расходятся очень живо и в Москве, и в Петербурге..."

6/18 августа 1842 г. Гоголь из Гастейна ответил на письмо А.: "Все ваши известия, всё, что ни заключалось в письме вашем, всё до последнего слова и строчки, было для меня любопытно и равно приятно, начиная с вашего препровождения времени, уженья в прудах и реках, и до известий ваших о "Мертвых душах". Первое впечатление их на публику совершенно то, какое подозревал я заранее. Неопределенные толки; поспешность быстрая прочесть и ненасыщенная пустота после прочтенья; досада на видимую беспрерывную мелочь событий жизни, которая становится невольно насмешкой и упреком. Всё это я знал заранее. Бедный читатель с жадностью схватил в руки книгу, чтобы прочесть ее, как занимательный, увлекательный роман, и, утомленный, опустил руки и голову, встретивши никак не предвиденную скуку. Всё это я знал. Но при всем этом подробные известия обо всем этом мне всегда слишком интересно слышать. Многие замечания, вами приведенные, были сделаны не без основания теми, которые их сделали. Продолжайте сообщать и впредь, как бы они ни казались ничтожны. Мне всё это очень нужно. Само по себе разумеется, что приятнее всего было мне читать отчет ваших собственных впечатлений, хотя они были мне отчасти известны. Бог одарил меня проницательностью, и я прочел в лице вашем во время чтения почти всё, что мне было нужно. Я не рассердился на вас за неоткровенность. Я знаю, что у всякого человека есть внутренняя нежная застенчивость, воспрещающая ему сделать замечания насчет того, что по мнению его, касается слишком тонких, чувствительных струн, прикосновение к которым как бы то ни было, но всё же сколько-нибудь раздражает самое простительное самолюбие. Самая искренняя дружба не может совершенно изгладить этой застенчивости. Я знаю, что много еще протечет времени, пока узнают меня совершенно, пока узнают, что мне можно всё говорить и больше всего то, что более всего трогает чувствительные струны, - так же, как я знаю и то, что придет наконец такое время, когда все почуют, что нужно мне сказать и то, что в собственных душах, не скрывая ни одного из движений, хотя эти движения не ко мне относятся. Но отнесем будущее к будущему и будем говорить о настоящем. Вы говорите, что молодое поколение лучше и скорее поймет. Но горе, если бы не было стариков. У молодого

слишком много любви к тому, что восхитило его; а где жаркая и сильная любовь, там уже невольное пристрастие. Старик прежде глядит очами рассудка, чем чувства, и чем меньше подвигнуто его чувство, тем ясней его рассудок, и может сказать всегда частную, по-видимому маловажную и простую, но тем не менее истинную правду. Если бы сочиненье мое произвело равный успех и эффект на всех - в этом была бы беда. Толков бы не было: всякий, увлеченный важнейшим и главным, считал бы неприличным говорить о мелочах, считал бы мелочами замечания о незначительных уклонениях, о всех проступках, по-видимому ничтожных. Но теперь, когда еще не раскусили, в чем дело, когда не узнали важного и главнейшего, когда сочинение не получило определенного, недвижного определения - теперь нужно ловить толки и замечания: после их не будет. Я знаю, что самые близкие люди, которые более других чувствуют мои сочинения, я знал, что и они все почти ощутят разные впечатления. Вот почему прежде всего я положил прочесть вам, Погодину и Константину, как трем различным характерам, разнородно примущим первые впечатления. То, что я увидел в замечании их, в самом молчании и в легком движении недоуменья, ненароком и мельком проскальзывающего по лицам, то принесло мне несравненно большую пользу, если бы застенчивость не помешала каждому рассказать вполне характер своего впечатления. Человек, который отвечает на вопрос ограждающими словами: "Не смею сказать утвердительно, не могу судить по первому впечатлению", делает хорошо: так предписывает правдивая скромность; но человек, который высказывает в первую минуту свое первое впечатление, не опасаясь ни компрометировать себя, ни оскорбить нежной разборчивости и чувствительных струн друга, тот человек великодушен. Такой подвиг есть верх доверия к тому, которому он вверяет свои суждения и которому вместе с тем вверяет, так сказать, самого себя. Иными людьми овладевает просто боязнь показаться глупее; но мы позабыли, что человек уже так создан, чтобы требовать вечной помощи других. У всякого есть что-то, чего нет у другого; у всякого чувствительнее не та нерва, чем у другого, и только дружный размен и взаимная помощь могут дать возможность всем увидеть с равной ясностью и со всех сторон предмет. Я был уверен, что Константин Сергеевич глубже и прежде поймет, и уверен, что критика его точно определит значение поэмы. Но, с другой стороны, чувствую заочно, что Погодин был отчасти прав, не поместив ее, несмотря на несправедливость этого дела. Я знаю просто, что ей рано быть напечатанной теперь. Молодой человек может встретить слишком сильную оппозицию в старых. Уже вопрос: почему многие не могут понять "Мертвых душ" с первого раза? - оскорбит многих. Мой совет напечатать ее зимою, после двух или трех других критик. Недурно также рассмотреть, не слышится ли явно: Я первый понял. Этого слова не любят, и вообще лучше, чтобы не слышалось большого преимущества на стороне прежде понявших. Люди не понимают, что в этом нет никакого греха, что это может случиться с самым глубоко образованным человеком, как случается всякому, в минуты хлопот и мыслей о другом, прослушать замечательное слово. Лучше всего, если бы Константин Сергеевич прислал эту критику мне в Рим... Я слишком любопытен читать ее. Ваше мнение: нет человека, который бы понял с первого раза "Мертвые души", совершенно справедливо и должно

распространяться на всех, потому что многое может быть понятно одному только мне. Не пугайтесь даже вашего первого впечатления, что восторженность во многих местах казалась вам доходившею до смешного излишества. Это правда; потому что полное значение лирических намеков может изъясниться только тогда, когда выйдет последняя часть. Вере Сергеевне скажите, что я был тоже доволен, увидевши в Петербурге ее друга Карташевскую и не жалею даже о кратковременности нашего свидания. Есть души, что самоцветные камни; они не покрыты корой и, кажется, как будто и родились уже готовыми и обделанными. Их видит издали зоркий глаз ювелира, только замечает их место, сказавши: слава Богу! и спешит к тем, где нужно много работы, чтобы отколоть грубую кору и сколько-нибудь огранить, дабы видел всякий, что это была не простая земля, но дорогой камень, закрытый вековыми накопленьями всего. Слова и мнения ее вы также выпишите и пришлите мне, хотя натурально нужно, чтобы она никак не знала этого. Всё то, что идет прямо от души и сердца, мне так же нужно знать, как и всё то, что идет от рассудка. Вас устрашает мое длинное и трудное путешествие. Вы говорите, что не можете понять ему причины, вы говорите, что несколько раз хотели спросить меня и всё останавливались, не решаясь навязываться самому на доверенность. Зачем же вы не спросили? Никогда душевная жажда вопросить не должна оставаться в груди. Никогда сердечный вопрос не может быть докучен или не у места. Самое большее было бы то, что я ответил бы вам на это молчанием, но если молчание это светло и выражает спокойствие душевное, то, стало быть, оно уже ответ и ничем другим не может выразиться этот ответ. А вопрос ваш все-таки был бы мне приятен, потому что он вопрос друга. И что бы мог я вам отвечать? разве произнес бы слова только: Так должно быть! Рассмотрите меня и мою жизнь среди вас. Что вы нашли во мне похожего на ханжу или хотя на это простодушное богомольство и набожность, которою душит наша добрая Москва, не думая о том, чтобы быть лучшею? Разве нашли вы во мне слепую веру во все без различия обычаи предков, не разбирая, на лжи или на правде они основаны, или увлечение новизною, соблазнительной для многих современностью и модой? Разве вы заметили во мне юношескую незрелость или живость в мыслях? Разве открыли во мне что-нибудь похожее на фанатизм и жаркое, вдруг рождающееся, увлечение чем-нибудь? И если в душе такого человека, уже по природе своей более медлительного и обдумывающего, чем быстрого и торопящегося, который притом хоть сколько-нибудь умудрен и опытом, и жизнью, и познанием людей и света, если в душе такого человека родилась подобная мысль, мысль предпринять это отдаленное путешествие, то, верно, она уже не есть следствие мгновенного порыва, верно уже слишком благодетельна она, верно, далеко оглянута она, верно, и ум, и душа, и сердце соединились в одно, чтобы послужить такой мысли. Но если б даже и не могло заключиться в ней никакой обширной цели, никакого подвига во имя любви к братьям, никакого дела во имя Христа, то разве вся жизнь моя не стоит благодарности, разве небесные минуты тех радостей, которые я слышу, не вызывают благодарности, разве прекрасная жизнь тех прекрасных душ, с которыми встретилась душа моя, не вызывает благодарности? Разве в сих небесных торжественных минутах не присутствует Христос? Разве в сем

высоком союзе душ не присутствует Христос? Разве эта любовь не есть уже Сам Христос? Разве всё, что отрывается от земли и земного, не есть уже Христос, разве в любви, сколько-нибудь отделившейся от чувственной любви, уже не слышится мелькнувший край божественной одежды Христа? И сие высокое стремление, которым стремятся прекрасные души одна к другой, влюбленные в одни свои божественные качества, а не земные, не есть ли уже стремление к Христу? "Где вас двое, там есть Церковь Моя". Или никто не слышит сих торжественных слов? Только любовь, рожденная землей и привязанная к земле, только чувственная любовь, привязанная к образам человека, к лицу, к видимому, стоящему перед нами человеку, та любовь только не зрит Христа. Зато она временна, подвержена страшным несчастьям и утратам. И да молится вечно человек, чтобы спасли его Небесные Силы от сей ложной, превратной любви (эта любовь Гоголя, как кажется, миновала. - Б. С.)! Но любовь душ это вечная любовь. Тут нет утраты, нет разлуки, нет несчастий, нет смерти. Прекрасный образ, встреченный на земле, тут утверждается вечно; всё, что на земле умирает, то живет здесь вечно, то воскрешается ею, сей любовью, в ней же, в любви, и она бесконечна, как бесконечно небесное блаженство. Как же вы хотите, чтобы в груди того, который услышал высокие минуты небесной жизни, который услышал любовь, не возродилось желание взглянуть на ту землю, где проходили стопы Того, Кто первый сказал слово любви сей человекам, откуда истекла она на мир? Мы движемся благодарностью к поэту, подарившему нам наслаждения души своими произведениями; мы спешим принесть ему дань уважения, спешим посетить его могилу, и никто не удивляется такому поступку, чувствуя, что стоит уважения и самый великий прах его. Сын спешит на могилу отца, и никто не спрашивает его о причине, чувствуя, что дарованье жизни и воспитанье стоят благодарности. Одному только Тому, Кто рай блаженства низвел на землю, Кто виной всех высоких достижений, Тому только считается как-то странным поклониться в самом месте Его земного странствия. По крайней мере, если кто из среды предпримет такое путешествие, мы уже как-то с изумлением таращим на него глаза, меряем его с ног до головы, как будто бы спрашивая, не ханжа ли он, не безумный ли он? Признайтесь, вам странно показалось, когда я в первый раз объявил вам о таком намерении? Моему характеру, наружности, образу мыслей, складу ума и речей, и жизни, одним словом, всему тому, что составляет мою природу, кажется неприличным такое дело. Человеку, не носящему ни клобука, ни митры, смешившему и смешащему людей, считающему и доныне важным делом выставлять неважные дела и пустоту жизни, такому человеку, не правда ли, странно предпринять такое путешествие? Но разве не бывает в природе странностей? Разве вам не странно было встретить в сочинении, подобном "Мертвым душам", лирическую восторженность? Не смешною ли она вам показалась вначале, и потом не примирились ли вы с нею, хотя не вполне еще узнали значение? Так, может быть, вы примиритесь потом и с сим лирическим движением самого автора. И как мы можем сказать, чтобы то, которое кажется нам минутным вдохновением, неожиданно налетевшим с небес откровением, чтобы оно не было вложено всемогущей волею Бога уже в самую природу нашу и не зрело бы в нас невидимо для других? Как можно знать, что нет, может быть, тайной связи

между сим моим сочинением, которое с такими погремушками вышло на свет из темной низенькой калитки, а не из победоносных триумфальных ворот в сопровождении трубного грома и торжественных звуков, и между сим отдаленным путешествием? И почему знать, что нет глубокой и чудной связи между всем этим и всей моей жизнью, и будущим, которое незримо грядет к нам и которого никто не слышит? Благоговение же к Промыслу! Это говорит вам вся глубина души моей. Помните, что в то время, когда мельче всего становится мир, когда пустее жизнь, в эгоизм и холод облекается всё, и никто не верит чудесам, - в то время именно может совершиться диво, чудеснее всех чудес. Подобно как буря самая сильная нарастает только тогда, когда тише обыкновенного станет морская поверхность. Душа моя слышит грядущее блаженство и знает, что одного только стремления нашего к нему достаточно, чтобы всевышней милостью Бога оно ниспустилось в наши души. Итак, светлей и светлей да будут с каждым днем и минутой ваши мысли, и светлей всего да будет неотразимая вера ваша в Бога, и да не дерзнете вы опечалиться ничем, что безумно называет человек несчастием. Вот что вам говорит человек, смешащий людей".

24 июля н. ст. 1843 г. Гоголь писал А. из Бадена: "Ничего почти не сделано мною во всю зиму, выключая немногих умственных материалов, забранных в голову. Дела, о которых я писал вам и которые я просил вам взять на себя, слишком у меня отняли времени. Вы уже могли чувствовать по отчаянному выражению той просьбы, какою наполнено было письмо мое к вам, как много значило для меня в те минуты попечение о многом житейском. Но так было, верно, нужно, чтоб время было употреблено на другое... Может быть, в болезненное мое расположение во всю зиму, и мерзейшее время, которое стояло в Риме во все время моего пребывания там, нарочно отдаляло от меня труд для того, чтоб я взглянул на дело свое с дальнего расстояния и почти чужими глазами".

Это письмо А. в мемуарах прокомментировал следующим образом: "Решительно не знаю, какие житейские дела могли отнимать у Гоголя время и могли мешать ему писать. Книжными делами заведывали Прокопович и Шевырев; в деньгах он был обеспечен, из дома его ничто не беспокоило. Мне кажется, эта помеха была в его воображении. Я думаю, что Гоголю начинало мешать его нравственно-наставительное, так сказать, направление. Гоголь, погруженный беспрестанно в нравственные размышления, начинал думать, что он может и должен поучать других и что поучения его будут полезнее его юмористических сочинений. Во всех письмах Гоголя тогдашнего времени, к кому бы они ни были писаны, начинал звучать противный мне тон наставничества. В то время сошелся он с графом А. П. Толстым, и я считаю это знакомство решительно гибельным для Гоголя. Не менее вредны были ему дружеские связи с женщинами, большею частью высшего круга. Они сейчас сделали из него нечто вроде духовника своего, вскружили ему голову восторженными похвалами и уверениями, что его письма и советы или поддерживают, или возвращают их на путь добродетели. Некоторых я даже не знаю и назову только Виельгорскую, Соллогуб и Смирнову. Первых двух, конечно, не должно смешивать с последней; но высокость нравственного их

достоинства, может быть, была для Гоголя еще вреднее: ибо он должен был скорее им поверить, чем другим. Я не знаю, как сильна была его привязанность к Соллогуб и Виельгорской, но Смирнову он любил с увлечением, может быть, потому, что видел в ней кающуюся Магдалину и считал себя спасителем ее души. По моему же простому человеческому смыслу, Гоголь, несмотря на свою духовную высоту и чистоту, на свой строго монашеский образ жизни, сам того не ведая, был несколько неравнодушен к Смирновой, блестящий ум которой и живость были тогда еще очаровательны. Она сама сказала ему один раз: "Послушайте, вы влюблены в меня..." Гоголь осердился, убежал и три дня не ходил к ней. Все это наделала продолжительная заграничная жизнь вне отечества, вне круга приятелей и литераторов, людей свободного образа мыслей, чуждых ханжества, богомольства и всяких мистических суеверий. Впрочем, я считаю, что ему также была очень вредна дружба с Жуковским, которого, без сомнения, погубила та же заграничная жизнь".

В середине ноября н. ст. 1846 г. Гоголь писал из Рима А., долгое время не писавшему Гоголю: "Что вы, добрый мой, замолчали, и никто из вас не напишет о себе ни словечка? Я, однакож, знаю почти всё, что с вами ни делается; чего не дослышал слухом, дослышала душа. Принимайте покорно всё, что ни посылается нам, помышляя только о том, что это посылается Тем, Который нас создал и знает лучше, что нам нужно. Именем Бога говорю вам: всё обратится в добро. Не следствие какой-либо системы говорю вам, но по опыту. Лучшее добро, какое ни добыл я, добыл из скорбных и трудных моих минут. И ни за какие сокровища не захотел бы я, чтобы не было в моей жизни скорбных и трудных состояний, от которых ныла вся душа, недоумевал ум помочь. Ради Святого Христа, не пропустите без вниманья этих слов моих".

А. вспоминал: "В конце 1846 года, во время жестокой моей болезни, дошли до меня слухи, что в Петербурге печатается "Переписка с друзьями", мне даже сообщили по нескольку строк из разных ее мест. Я пришел в ужас и немедленно написал к Гоголю большое письмо, в котором просил его отложить выход книги хотя на несколько времени".

В этом письме, датированном 9 декабря, в частности, говорилось: "Давно, очень давно надобно было писать к вам. Давно душа моя рвалась излиться в вашу душу... При всяком ослаблении болезни я думаю и думал об вас и часто говорю мысленно с вами... Я хочу говорить с вами так глубоко откровенно, что только мой голос или моя рука имеет право произнести или написать такие речи; а я с трудом могу подписать мое имя! Необходимость заставила меня употребить Константина (письмо было написано рукой К. С. Аксакова, поскольку Сергей Тимофеевич из-за ослабления зрения не мог писать. - Б. С.), такого человека, который любит вас и предан вам еспредельно. Кажется, вы не должны оскорбиться этим. Уже давно начало не нравиться мне ваше религиозное направление. Не потому, что я, будучи плохим христианином, плохо понимал его и оттого боялся; но потому, что проявление христианского смирения казалось мне проявлением духовной гордости вашей. Многие места в ваших письмах ко мне меня смущали; но они были окружены таким блеском поэзии, такою искренностью чувства, что я не смел предаться, не смел поверить моему внутреннему голосу, их осуждавшему, и старался перетолковать свое

неприятное впечатление в благоприятную для вас сторону. Я бывал даже увлечен, ослеплен вами и помню, что один раз написал к вам горячее письмо, истинно скорбя о том, что я сам, как христианин, неизмеримо далек от того, чем бы я мог быть. Между тем ваше новое направление развивалось и росло. Опасения мои возобновились с большей силой: каждое ваше письмо подтверждало их. Вместо прежних дружеских, теплых излияний начали появляться наставления проповедника, таинственные, иногда пророческие, всегда холодные и, что всего хуже, полные гордыни в рубище смирения... Вскоре прислали вы нам при самом загадочном письме душеспасительное житие Фомы Кемпийского с подробным рецептом: как, когда и поскольку употреблять его, обещая нам несомненный переворот в духовной жизни нашей... Опасения мои превратились в страх, и я написал вам довольно резкое и откровенное письмо. В это время меня начинала постигать ужасная беда: я терял безвозвратно зрение в одном глазу и начинал чувствовать ослабление его в другом. Отчаяние овладевало мною. Я излил скорбь мою в вашу душу и получил в ответ несколько сухих и холодных строк, способных не умилить, не усладить страждущее сердце друга, а возмутить его... Каждое ваше действие было для меня новым ударом, и один другого сильнейшим. Статья ваша, напечатанная в "Московских ведомостях" о переводе "Одиссеи" (включенная позднее в состав "Выбранных мест из переписки с друзьями". - Б. С.), заключая в себе много прекрасного, в то же время показывала ваш непростительно ошибочный взгляд на то действие, какое вы ему предсказываете с самоуверенностью, догматически. Похвалы ваши переводу превзошли не только меру, но и самую возможность достоинства такого труда..."

Непонимание "Выбранных мест..." даже близкими друзьями огорчало Гоголя. 8/20 января 1847 г. он писал из Неаполя А.: "...Вы в заблуждении, подозревая во мне какое-то новое направление. От ранней юности моей у меня была одна дорога, по которой иду. Я был только скрытен, потому что был неглуп - вот и всё. Причиной нынешних ваших выводов и заключений обо мне... было то, что я, понадеявшись на свои силы и на (будто бы) совершившуюся зрелость свою, отважился заговорить о том, о чем бы следовало до времени еще немножко помолчать, покуда слова мои не придут в такую ясность, что и ребенку стали бы понятны. Вот вам вся история моего мистицизма. Мне следовало несколько времени еще поработать в тишине, еще жечь то, что следует жечь, никому не говорить ни слова о внутреннем себе и не откликаться ни на что, особенно не давать никакого ответа моим друзьям насчет сочинений моих. Отчасти неблагоразумные подталкиванья со стороны их, отчасти невозможность видеть самому, на какой степени собственного своего воспитанья нахожусь, были причиной появленья статей, так возмутивших дух Ваш. С другой стороны, совершилось всё это не без воли Божией. Появление книги моей, содержащей переписку со многими весьма замечательными людьми в России (с которыми я бы, может быть, никогда не встретился, если бы жил сам в России и оставался в Москве), нужно будет многим (несмотря на все непонятные места) во многих истинно существенных отношениях. А еще более будет нужно для меня самого. На книгу мою нападут со всех углов, со всех сторон и во всех возможных отношениях. Эти нападения мне теперь слишком

нужны: они покажут мне ближе меня самого и покажут мне в то же время вас, то есть моих читателей. Не увидевши яснее, что такое в настоящую минуту я сам и что такое мои читатели, я был бы в решительной невозможности сделать дельно свое дело. Но это вам покуда не будет понятно; возьмите это просто на веру; вы чрез то останетесь в барышах. А чувств ваших от меня не скрывайте никаких! По прочтении книги тот же час, покуда еще ничего не простыло, изливайте всё наголо, как есть, на бумагу. Никак не смущайтесь тем, если у вас будут вырываться жесткие слова: это совершенно ничего, я даже их очень люблю. Чем вы будете со мной откровеннее и искренней, тем в больших останетесь барышах".

Еще до получения этого гоголевского письма А. успел прочесть книгу и писал 14 января 1847 г. И. С. Аксакову, приславшему ранее восторженное письмо о гоголевской книге: "Письмо твое не изумило, не поразило меня, а просто уничтожило на некоторое время. Я также прочел всю книгу Гоголя. Если бы я не имел утепления думать, что он на некоторых предметах помешался, то жестким бы словом я назвал его. Я вижу в Гоголе добычу сатанинской гордости, а не христианское смирение. Я никогда не прощу ему выходок на Погодина: в них дышит дьявольская злоба, а он изволит утопать в сладости любви христианской. Меня оскорбило письмо его к Веневитинову, которое и написать совестно, не только напечатать, которое нашпиговано ангельскими устами и небесным голосом, где определяется чисто католическое воззрение на красоту женщины и употребление оной и, между прочим, говорится о рукоплесканиях на небесах. Я не мог читать без отвращения печатное завещание человека живого и здорового, в каждом слове которого дышит неимоверная гордость и опять-таки злоба на Погодина, где эстамп "Преображения Господня" так и ложится рядом с его портретом. Боже мой, какое впечатление произведет это завещание на его бедную мать! Я не мог без горького смеха слушать его наставление помещикам, как надобно им пахать, жать и косить впереди своих крестьян; как заставлять их прикладываться к некоторым словам Священного Писания, тыкая в них пальцем, как чинить суд и расправу и как уверить умный русский народ, что помещик для того только справляет барщину, чтоб они в поте лица снедали хлеб свой; как раскладывать свой годовой доход, которого при начале года никогда в руках не бывает, на семь куч и если в куче, назначенной для благотворения, недостает денег, то дать людям умирать возле себя, а из другой кучи не брать! Я не мог без жалости слышать этот язык, пошлый, сухой, вялый и безжизненный, которым ты упиваешься, и только статья о русской литературе и литераторах и письмо об Иванове напомнили мне прежнего Гоголя. Неужели не поразило тебя выражение: прекрасный небесный отец наш и рядом: прекрасный друг мой (говоря о Жуковском)? Я теперь уже готов услышать от тебя, что статья, которой не называю, непосредственно вытекает из духа христианского. Этот дух по крайней мере неглуп... Я не буду знать, что мне возразить тому человеку, который скажет: это хохлацкая шутка; широко замахнулся, не совладал с громадностью художественного исполнения второго тома, да и прикинулся проповедником христианства. Мы все собираемся писать к Гоголю, более или менее в одинаковом смысле. Разумеется, все, что я написал тебе, я не только никому не скажу, но и не позволю сказать

при мне, кроме истинных друзей Гоголя". Но на следующий день, 16 января, продолжая письмо сыну, А. счел, что молчать больше нельзя: "Обстоятельства переменяются. Мы не можем молчать о Гоголе, мы должны публично порицать его. Шевырев даже хочет напечатать беспощадный разбор его книги (вместо которого напечатал хвалебный. - Б. С.). Дело в том, что хвалители и ругатели Гоголя переменились местами: все мистики, все ханжи, все примиряющиеся с подлой жизнию своею возгласами о христианском смирении, весь скотный двор Глинки, а особенно женская свита К. В. Новосильцевой утопают в слезах и восхищении. Я думал, что вся Россия даст ему публичную оплеуху, и потому не для чего нам присоединять рук своих к этой пощечине; но теперь вижу, что хвалителей будет очень много, и Гоголь может утвердиться в своем сумасшествии. Книга его может быть вредна многим. Вчера был у меня Погодин. Он признается, что в первые минуты был оскорблен до глубины души (Шевырев сказывал, что он горько плакал), но скоро успокоился и теперь искренно смеется. Он хочет написать к Гоголю: "Друг мой, Иисус Христос учит нас подставлять правую ланиту, получив пощечину в левую; но где же учит он давать публичные оплеухи?" (об этой идее Погодина А. сообщил Гоголю 27 января 1847 г. - Б. С.). Вся его книга проникнута лестью и страшной гордостью под личиной смирения. Он льстит женщине, ее красоте, ее прелестям; он льстит Жуковскому, он льстит власти. Он не устыдился напечатать, что нигде нельзя говорить так свободно правду, как у нас. Может ли быть безумнее гордость, как требование, чтоб, по смерти его, его завещание было немедленно напечатано во всех журналах, газетах и ведомостях, дабы никто не мог отговориться неведением оного? Чтоб не ставили ему памятника, а чтоб каждый вместо того сделался лучшим? Чтоб все исправлялись о имени его?.. Все это надобно повершить фактом, который равносилен 41-му числу мартобря (в "Записках сумасшедшего")..."

23 января, еще раз перечитав книгу Гоголя, А. писал сыну Ивану: "Благодаря Бога я уже совершенно убедился в полной искренности сочинителя, и его духовное состояние объясняется для меня: он находится в состоянии перехода, всегда преисполненного излишеств, заблуждений, ослеплений. Мне блещет луч надежды, что Гоголь выйдет победоносно из этого положения; но книга его чрезвычайно вредна: в ней все ложно... Говоря о примирении искусства с религией, он всеми словами и действиями своими доказывает, что художник погиб в нем; дай Бог, чтобы это было только на время... Вчера вечером мне перечли письмо о значении женщины в свете... Боже мой, до какой степени оно противно духу христианскому! Это письмо не только католическое, но языческое; нигде так ярко не изобличается ложность направления Гоголя".

И 27 января 1847 года А. послал Гоголю письмо, призванное сыграть роль отрезвляющей пощечины: "Друг мой! Если вы желали произвести шум, желали, чтоб высказались и хвалители и порицатели ваши, которые теперь отчасти переменились местами, то вы вполне достигли своей цели. Если это была с вашей стороны шутка, то успех превзошел самые смелые ожидания: все одурачено! Противники и защитники представляют бесконечно разнообразный ряд комических явлений... Но, увы! нельзя мне обмануть себя: вы искренно подумали, что призвание ваше состоит в возвещении людям высоких

нравственных истин в форме рассуждений и поучений, которых образчик содержится в вашей книге... Вы грубо и жалко ошиблись. Вы совершенно сбились, запутались, противоречите сами себе беспрестанно и, думая служить небу и человечеству, - оскорбляете и Бога и человека. Если б эту книгу написал обыкновенный писатель - Бог бы с ним! Но книга написана вами; в ней блещет местами прежний могучий талант ваш, и потому книга ваша вредна: она распространяет ложь ваших умствований и заблуждений. Издали предчувствовал я эту беду, долго горевал и думал встретить грозу спокойно; но когда разразился удар, то разлетелось мое разумное спокойствие. О, недобрый был тот день и час, когда вы вздумали ехать в чужие края, в этот Рим, губитель русских умов и дарований! Дадут Богу ответ эти друзья ваши, слепые фанатики и знаменитые маниловы, которые не только допустили, но и сами помогли вам запутаться в сети собственного ума вашего, дьявольской гордости, которую вы принимаете за христианское смирение. Горько убеждаюсь я, что никому не проходит безнаказанно бегство из отечества: ибо продолжительное отсутствие есть уже бегство - измена ему".

В письме И. С. Аксакову от 30 января 1847 г. А. так прокомментировал свое письмо Гоголю: "Прочитав в другой раз статью о лиризме наших поэтов, я впал в такое ожесточение, что... вместо нескольких строк, в которых хотел сказать, что не буду писать к нему письма об его книге до тех пор, пока не получу ответа на мое письмо от 9 декабря, написал целое письмо, горячее и резкое, о чем очень жалею... Вчера прочли мы, едва ли не в третий раз, письмо об Иванове, которое мне понравилось гораздо менее прежнего. Они оба погибают от лукавого мудрствования: верить надобно в простоте сердца. Это ужасная ошибка и даже дерзость, по-моему, мешать имя Бога во все наши дела. Разумеется, всякий талант от Бога; но мысль, что прежде надобно сделаться святым, чтобы изобразить святое, - нелепость. Из этого выйдет, что Иванов не кончит картины "Богоявления Господня", а Гоголь - "Мертвых душ". Кто может осмелиться сказать самому себе: я теперь готов, я добродетелен, я свят? Много, много надобно говорить об этом. Я хочу переплесть книгу Гоголя с белыми листами, вновь перечитать ее и записать все мои замечания; эту книгу я отошлю к нему, разумеется с оказией. Я сделаю все, что может сделать друг для друга, брат для брата и человек с поэтическим чувством теряющий великого поэта".

В письме сыну Ивану от 6-8 февраля 1847 г. А. брал назад даже те отдельные похвалы, которыми прежде удостоил отдельные статьи В. м. из п. с д.: "Беру назад прежние мои похвалы некоторым письмам или, правильнее сказать, некоторым местам: нет ни одного здорового слова, везде болезнь или в развитии, или в зерне".

22 февраля (6 марта) 1847 г. Гоголь ответил А.: "Благодарю вас, мой добрый и благородный друг, за ваши упреки; от них хоть и чихнулось, но чихнулось во здравие. Поблагодарите также доброго Дмитрия Николаевича Свербеева и скажите ему, что я всегда дорожу замечаниями умного человека, высказанными откровенно... Поблагодарите также и милую супругу его за ее письмецо. Скажите им, что многое из их слов взято в соображение и заставило меня лишний раз построже взглянуть на самого себя. Мы уже так странно устроены, что до тех пор не увидим ничего в себе, покуда другие не наведут нас на это.

Замечу только, что одно обстоятельство не принято ими в соображение, которое, может быть, иное показало бы им в другом виде, а именно: что человек, который с такой жадностью ищет слышать все о себе, так ловит все сужденья и так умеет дорожить замечаньями умных людей даже и тогда, когда они жестки и суровы, - такой человек не может находиться в полном и совершенном ослеплении.

А вам, друг мой, сделаю маленький упрек... Не слишком ли вы уже положились на ваш ум и непогрешительность его выводов? Делать замечания это другое дело, это имеет право делать всякий умный человек и даже просто всякий человек. Но выводить из своих замечаний заключение обо всем человеке - это есть уже некоторого рода самоуверенность. Это значит признать свой ум вознесшимся на ту высоту, с которой он может обозревать со всех сторон предмет. Ну что, если я вам расскажу следующую повесть? Повар вызвался угостить хорошим и даже необыкновенным обедом тех людей, которые сами не бывали на кухне, хотя и ели довольно вкусные обеды. Повар сам вызвался; ему никто не заказывал обеда. Он сказал только вперед, что обед его иначе будет сготовлен и потому потребует больше времени. Что следовало делать тем, которым обещано угощение? Следовало молчать и ожидать терпеливо. Нет, давай кричать: "Подавай обед!"

Повар говорит: "Это физически невозможно, потому что обед мой совсем не так готовится, как другие обеды, для этого нужно поднимать такую возню на кухне, о которой вы и подумать не можете". Ему в ответ: "Врешь, брат!" Повар видит, что нечего делать, решился, наконец, привести гостей самих на кухню, постаравшись, сколько можно было, расставить кастрюли и весь кухонный снаряд в таком виде, чтобы из него хотя какое-нибудь могли вывести представление об обеде. Гости увидели множество таких странных и необыкновенных кастрюль и, наконец, таких орудий, о которых и подумать бы нельзя было, чтобы они требовались для приуготовленья обеда, что у них закружилась голова. Ну, что если в этой повести есть маленькая частица правды?

Друг мой! вы видите, что дело покуда еще темно. Хорошо делает тот, кто снабжает меня своими замечаниями, все доводит до ушей моих, упрекает и склоняет других упрекать, но сам в то же время не смущается обо мне, а вместо того тихо молится в душе своей, да спасет меня Бог от всех обольщений и самоослеплений, погубляющих душу человека".

А. вспоминал, как в октябре 1848 г. "пришел к нам Гоголь, и мы увиделись с ним после шестилетней разлуки. В непродолжительном времени восстанавились между нами прежние, как бы прерванные, нарушенные продолжительною разлукою отношения; но об его книге ("Выбранные места из переписки с друзьями". - Б. С.) и втором томе "Мертвых душ" не было и помину... Из писем его к друзьям видно, что он работал в это время неуспешно и жаловался на свое нравственное состояние. Я же думал, напротив, что труд его подвигается вперед хорошо, потому что сам он был довольно весел и читал с большим удовольствием. Я в этом, как вижу теперь, ошибался; но вот что верно: я никогда не видал Гоголя таким здоровым, крепким и бодрым физически, как в эту зиму, т. е. в ноябре и декабре 1848 и в январе и феврале

1849 года. Не только он пополнел, но тело на нем сделалось очень крепко. Обнимаясь с ним ежедневно, я всегда щупал его руки. Я радовался и благодарил Бога. Надобно заметить, что зима была необыкновенно жестокая и постоянная, что Гоголь прежде никогда не мог выносить сильного холода и что теперь он одевался очень легко... Недолго предавался я радостным надеждам на совершенное восстановление здоровья Гоголя. С появлением первых оттепелей Гоголь стал задумчивее, вялее, и хандра, очевидно, стала им овладевать... Однако 19 марта, в день его рождения, который он всегда проводил у нас, я получил от него довольно веселую записку: "Любезный друг Сергей Тимофеевич, имеют сегодня подвернуться вам к обеду два приятеля, Петр Мих. Языков и я, оба греховодники и скоромники. Упоминаю об этом обстоятельстве по той причине, чтобы вы могли приказать прибавить кусок бычачины на одно лишнее рыло".

20 января 1850 г. А. писал сыну Ивану в связи с только что прочитанной Гоголем второй главы "Мертвых душ": "До сих пор не могу еще прийти в себя: Гоголь прочел нам с Константином вторую главу... Что тебе сказать? Скажу одно: вторая глава несравненно выше и глубже первой. Раза три я не мог удержаться от слез... Такого высокого искусства: показывать в человеке пошлом высокую человеческую сторону - нигде нельзя найти, кроме Гомера. Так раскрывается духовная внутренность человека, что для всякого из нас, способного что-нибудь чувствовать, открывается собственная своя духовная внутренность. Теперь только я убедился вполне, что Гоголь может выполнить свою задачу, о которой так самонадеянно и дерзко, по-видимому, говорит в первом томе. Я сказал Гоголю, что теперь для нас остается только одно: молитва к Богу, чтоб он дал ему здоровья и сил окончательно обработать и напечатать свое высокое творение. Гоголь был увлечен искренностью моих слов и сказал о себе, как бы говорил о другом: "Дай, дай только Бог здоровья и сил! Благо должно произойти из этого, ибо человек не может видеть себя без помощи другого"".

В конце 1851 г. до А. дошли слухи, что Гоголь занемог. А. направил ему записку с вопросом, как продвигается работа над "Мертвыми душами". В начале 1852 г. Гоголь ответил ему: "Очень благодарю за ваши строчки. Дело мое идет крайне туго. Время так быстро летит, что ничего почти не успеваешь. Вся надежда моя на Бога, который один может ускорить мое медленно движущееся вдохновение".

На смерть Гоголя А. откликнулся письмом к сыновьям, написанным 23 февраля 1852 г.: "Ровно двое суток, как Гоголя нет на свете. Гоголь умер... Странные слова, совсем не производящие обыкновенного впечатления. Если вчера была во мне некоторая борьба частного моего чувства с общею потерею, то сегодня первое совершенно исчезло, так что я не могу отыскать его... и я совершенно подавлен общею бедою. Я не знаю, любил ли кто-нибудь Гоголя исключительно как человека. Я думаю, нет; да это и невозможно. У Гоголя было два состояния: творчество и отдохновение. Первое давно уже, вероятно вскоре после выхода "Мертвых душ", перешло в мученичество, может быть, сначала благотворное, но потом перешедшее в бесполезную пытку. Как можно было полюбить человека, тело и дух которого отдыхают после пытки? Всякому было

очевидно, что Гоголю ни до кого нет никакого дела; конечно, бывали исключительные мгновения, но весьма редкие и весьма для немногих. Я думаю, женщины любили его больше и особенно те, в которых наименее было художественного чувства, как, например, Смирнова - Вот до какой степени Гоголь для меня не человек, что я, который в молодости ужасно боялся мертвецов и которых не видывал до смерти детей, я, постоянно боявшийся до сих пор несколько ночей после смерти каждого знакомого человека, не мог произвести в себе этого чувства во всю последнюю ночь! Несколько раз просыпался, думал о Гоголе, воображал его труп, лежащий в гробе со всем страшным для меня окружением, - и не чувствуя никакого страха, вскоре засыпал. Я признаю Гоголя святым, не определяя значения этого слова. Это истинный мученик высокой мысли, мученик нашего времени и в то же время мученик христианства. Я это предчувствовал, и еще в 1844 году, когда он прислал нам подарки, написав прежде такое письмо, что я ждал второго тома "Мертвых душ", писал к обоим этим Петровичам (С. П. Шевыреву и М. П. Погодину. - Б. С.) о своем отчаянии. Долго хохотали надо мною эти ослы, прочитав в моем письме, что или художник погиб и выйдет святой отшельник или Гоголь умрет в сумасшедшем доме. Слава Богу, не сбылось последнее (хотя несомненно, что Гоголь умер не вполне психически нормальным человеком, фактически уморив себя голодом. - Б. С.); но зато он ничего не произвел нового и умер. Правда, я предавался надежде, услышав первые главы "Мертвых душ" второго тома, но с каким-то страхом и даже подшпоривая себя; притом ведь это было написано прежде и только воспроизведено или, может быть, только повторено даже в слабейшем виде. Нельзя исповедовать две религии безнаказнно. Тщетна мысль совместить и примирить их. Христианство сейчас задаст такую задачу художеству, которую оно выполнить не может, и сосуд лопнет. Жалею, что я не в Москве. Меня не расстроили бы все эти церемонии. Напротив, мне было бы весело увидеть все улицы около церкви, покрытые толпами людей. Но едва ли это будет?.. Десять лет молчания, шесть дет пропадания из России, слухи об отчаянной болезни и даже смерти, наконец похороны самого себя в известной книге ("Выбранные места из переписки с друзьями". - Б. С.) - ослабили общее участие. Бедный, бедный страдалец Гоголь! Боюсь, что чувство жалости сильно мною овладеет; а притом это еще вопрос: как-то мы будем жить при мысли, что нет Гоголя".

Вскоре после смерти Гоголя А. писал С. П. Шевыреву: "В самое последнее свидание с моей женой Гоголь сказал, что он не будет печатать второго тома, что в нем все никуда не годится и что надо все переделать. Только про первую главу второго тома он сказал мне, что она получила последнее прикосновение, была тронута кистью художника, говоря техническим языком живописцев. Он сказал это потому, что при вторичном чтении той же главы для моего сына Ивана я заметил многие изменения".

А. отмечал в своих мемуарах, что "Гоголя, как человека, знали весьма немногие. Даже с друзьями своими он не был вполне, или, лучше сказать, всегда откровенен. Он не любил говорить ни о своем нравственном настроении, ни о своих житейских обстоятельствах, ни о том, что он пишет, ни о своих делах семейных. Кроме природного свойства замкнутости, это происходило от того,

что у Гоголя было постоянно два состояния: творчество и отдохновение. Разумеется, все знали его в последнем состоянии, и все замечали, что Гоголь мало принимал участия в происходившем вокруг него, мало думал о том, что сам говорит. К этому должно прибавить, что разные люди, знавшие Гоголя в разные эпохи его жизни, могли сообщить о нем друг другу разные известия. Да не подумают, что Гоголь менялся в своих убеждениях: напротив, с юношеских лет он оставался им верен. Но Гоголь шел постоянно вперед; его христианство становилось чище, строже; высокое значение цели писателя - яснее, и суд над самим собою - суровее... В этом смысле Гоголь изменялся. Но даже в одно и то же время, особенно до последнего своего отъезда за границу, с разными людьми Гоголь казался разным человеком. Тут не было никакого притворства: он соприкасался с ними теми нравственными сторонами, с которыми симпатизировали те люди или по крайней мере которые могли они понять. Так, например, с одним приятелем и на словах и в письмах он только шутил, так что всякий хохотал, читая эти письма; с другими говорил об искусстве и очень любил сам читать вслух Пушкина, Жуковского и Мерзлякова (его переводы древних); с иными беседовал о предметах духовных; с иными упорно молчал и даже дремал или притворялся спящим. Кто не слыхал самых противуположных отзывов о Гоголе? Одни называли его забавным весельчаком, обходительным и ласковым; другие - молчаливым, угрюмым и даже гордым; третьи - занятым исключительно духовными предметами... Одним словом, Гоголя никто не знал вполне. Некоторые друзья и приятели, конечно, знали его хорошо; но знали, так сказать, по частям. Очевидно, что только соединение этих частей может составить целое, полное знание и определение Гоголя".

"АЛ-МАМУН", статья, вошедшая в сборник "Арабески". Впервые опубликована в составе этого сборника. Имеет подзаголовок: "Историческая характеристика". В А., по всей видимости, трансформировался первоначальный замысел "Трактата о правлении", упоминаемого в плане сборника статей, относящемся к августу - сентябрю 1834 г. Очерк посвящен правлению арабского халифа Ал-Мамуна, мать которого была персиянкой. Он правил в Багдаде с 813 по 833 г.

Идейное содержание А. перекликается с гоголевским черновым наброском об Александре Македонском, относящемся к 1830-м годам: "Блистательный характер с эстетическою душою... Великое намерение соединить теснее мир и разнесть везде греческое просвещение... если не изгладить, то уменьшить разность в нравах между персами и греками, мирить европеизм с востоком. Отсюда утрата национальности. Пламенная религиозность исчезла. Вместо ее одни суеверия, шаткая философия, начало схоластизма". У Гоголя "благородный, великодушный Ал-Мамун, проникнутый истинною любовию к человечеству, явился гонителем своих подданных. Гонением своим он воскресил опять в арабах дикий фанатизм, но уже не тот фанатизм, который сдвинул прежде кочевых обитателей Аравии в одну массу, - он произвел оппозиционный фанатизм, который растерзал массу, который посеял плевелы в недрах государства, который разбудил дикие страсти араба... Умер благородный Ал-Мамун, - умер, не поняв своего народа, не понятый своим народом... Он дал поучительный урок. Он показал собою государя, который при всем желании

блага, при всей кротости сердца, при самоотвержении и необыкновенной страсти к наукам был, между прочим, невольно одною из главных пружин, ускоривших падение государства".

"АЛЬФРЕД", неоконченная пьеса. Сохранившийся фрагмент впервые опубликован: П. А. Кулиш. Записки о жизни Н. В. Гоголя. Т. 2. СПб., 1856, под названием "Набросок начала безымянной трагедии из английской истории. Под заглавием "Альфред. Начало трагедии из английской истории" перепечатан П. А. Кулишом в "Сочинениях и письмах Н. В. Гоголя" (СПб., 1857. Т. 2).

Сохранившийся фрагмент А. не имеет заглавия, но в позднейшей черновой записи Гоголь называет эту пьесу "Альфредом". Замысел пьесы возник у писателя в мае 1835 г., а единственный сохранившийся фрагмент пьесы датируется октябрем 1835 г. Главный ее герой - король Уэссекса Альфред Великий, царствовавший в Англии в 871-900 гг. Ему удалось приостановить натиск датских викингов на восточную Англию и норвежских - на северо-западную. Он прославился как мудрый правитель, покровитель наук и искусств и законодатель. В качестве источников для пьесы Гоголь использовал "Историю завоевания Англии норманнами" (1825) французского историка О. Тьерри, русский перевод "Истории Англии" французского историка XVII века Рапена де Туараса, французский перевод книги английского историка Г. Галлама "Европа в средние века", а также переводы скандинавских саг. В А. Гоголь рассматривает соотношение цивилизации и варварства, противостояние христиан-англосаксов и язычников-викингов. Он учитывал характеристику первых семи лет царствования Альфреда: "Наполненный идеями о неограниченной власти, которые так часто встречаются у римских писателей, он жадно хотел политических реформ и составлял планы, вероятно лучшие древних англо-саксонских обычаев, но которым не доставало согласия народа, не желавшего и не понимавшего их". Альфред у Гоголя обращается к англо-саксонской знати: "Я надеюсь, что вы окажете с своей стороны мне всякую помощь разогнать варварство и невежество, в котором тяготеет англосаксонская нация". Вместе с тем, он, следуя христианским заветам, готов решить дело миром даже со злейшими врагами - викингами, отпуская разбитого предводителя норвежцев Губбо, вырвав у него клятву более не ступать со своими воинами на англо-саксонскую землю. А в Губбо есть что-то от главного героя "Тараса Бульбы", который вполне мог бы повторить вслед за предводителем норвежцев: "Пойдем, товарищи. Нам не стыдно глядеть друг на друга. Мы бились храбро. Не сегодня - завтра, не здесь - в другом месте нанесут наши ладьи гибель неприятелям, носящим золотое убранство..." Хоть Тарас Бульба и православный, но в первую очередь он представляет степное украинское казацкое варварство, восставшее против польской католической цивилизации, и это роднит его с поклонником Одена (Одина) Губбо, сражающимся против "носящих золотое убранство".

АННЕНКОВ Павел Васильевич (1812-1867) - прозаик, литературный критик и литературовед, издатель сочинений А. С. Пушкина и автор первой пушкинской биографии, написал ценные мемуары о русских литераторах.

Происходил из семьи богатейшего симбирского помещика.

Одно время А. был близок к В. Г. Белинскому. А. был другом Гоголя, с которым познакомился в 1832 г. в Петербурге. А. вспоминал: "Около 1832 года, когда я впервые познакомился с Гоголем, он дал всем своим товарищам по нежинскому лицею и их приятелям прозвища, украсив их именами знаменитых французских писателей, которыми тогда восхищался весь Петербург. Тут были Гюго, Александры Дюма, Бальзаки, и даже один скромный приятель именовался София Ге. Не знаю, почему я получил титул Жюль-Жанена, под которым я состоял до конца".

28 апреля 1841 г. А. приехал в Рим и на следующий день встретился с Гоголем, у которого и поселился. В мемуарах А. так описал эту встречу: "Мы, наконец, очутились в Strada Felice, у дома, носившего желанный 126-й нумер. В последнем этаже дома, в просторной передней, я наткнулся на сухого краснощекого старичка, владельца этажа, Челли, и спросил его о квартире Гоголя. Старичок объявил, что Гоголя нет дома, что он уехал за город, никому не известно, когда будет назад, да и по прибытии, вероятно, сляжет в постель и никого принимать не станет. Видно было, что почтенный старичок выговаривал затверженный урок, который ему крепко-накрепко был внушен Гоголем, боявшимся посетителей как огня. Но покуда я старался убедить его в своих правах на свидание с его жильцом, дверь прямо перед нами отворилась, и из нее высунулась голова самого Гоголя. Он шутливо сказал старичку: "Разве вы не знаете, что это Жюль из Петербурга? Его надо впустить. Здравствуйте. Что ж вы не приезжали к карнавалу?" - прибавил он по-русски, вводя меня в свою комнату и затворяя дверь... Комната Николая Васильевича была довольно просторна, с двумя окнами, имевшими решетчатые ставни изнутри. Обок с дверью стояла его кровать, посередине большой круглый стол; узкий соломенный диван, рядом с книжным шкафом, занимал ту стену ее, где пробита была другая дверь. Дверь эта вела в соседнюю комнату... У противоположной стены помещалось письменное бюро в рост Гоголя, обыкновенно писавшего на нем свои произведения стоя. По бокам бюро - стулья с книгами, бельем, платьем в полном беспорядке. Каменный мозаичный пол звенел под ногами, и только у письменного бюро да у кровати разостланы были небольшие коврики. Ни малейшего украшения, если исключить ночник древней формы, на одной ножке и с красивым желобком, куда наливалось масло. Ночник, или говоря пышнее, римская лампа, стояла на окне и по вечерам всегда только она одна и употреблялась вместо свечей. Гоголь платил за комнату 20 франков в месяц... Гоголь обрадовался нашей новой встрече, расспрашивал, каким путем прибыл я в Италию, одобрял переезд из Анконы с ветурином и весьма сожалел, что предварительно я не побывал в Париже. Ему казалось, что после Италии Париж становится сух и безжизнен, а значение Италии бросается само собой в глаза после парижской жизни и парижских интересов. Впоследствии он часто развивал эту мысль. Между тем время было обеденное. Он повел меня в известную историческую астерию под фирмой "Lepre" ("Заяц"), где за длинными столами, шагая по грязному полу и усаживаясь прямо на скамейках, стекается к обеденному часу разнообразнейшая публика: художники, иностранцы, аббаты, читадины, фермеры, принчипе, смешиваясь в одном общем

говоре и истребляя одни и те же блюда, которые от долгого навыка поваров действительно приготовляются непогрешительно. Это все тот же рис, барашек, курица, меняется только зелень по временам года. Простота, общежительность итальянская всего более кидаются тут в глаза, заставляя предчувствовать себя и во всех других сферах жизни. Гоголь поразил меня, однако, капризным, взыскательным обращением своим с прислужником. Раза два менял он блюдо риса, находя его то переваренным, то недоваренным, и всякий раз прислужник переменял блюдо с добродушной улыбкой, как человек, уже свыкшийся с прихотями странного форестьера (иностранца), которого он называл синьором Николо. Получив наконец тарелку риса по своему вкусу, Гоголь приступил к ней с необычайной алчностью, наклонясь так, что длинные волосы его упали на самое блюдо, и поглощая ложку за ложкой со страстью и быстротой, какими, говорят, обыкновенно отличаются за столом люди, расположенные к ипохондрии. В середине обеда к нам подсел довольно плотный мужчина, с красивой, круглой бородкой, с необычайно умными, зоркими глазами и превосходным славянским обликом, где доброта и серьезная, проницательная мысль выражались, так сказать, осязательно; это был А. А. Иванов, с которым я тут впервые познакомился. Опорожнив свое блюдо, Гоголь откинулся назад, сделался весел, разговорчив и начал шутить с прислужником, еще так недавно осыпаемым строгими выговорами и укоризнами. Намекая на древний обычай возвещать первое мая и начало весны пушкой с крепости св. Ангела и на соединенные с ним семейные обыкновения, он спрашивал: намеревается ли почтенный сервиторе piantar il Magio (слово в слово - сажать май месяц) или нет? Сервиторе отвечал, что будет ждать примера от синьора Николо и т. д. По окончании расчета за обед Гоголь оставил прислужнику, как и все другие посетители, два байока, а когда я с своей стороны что-то переложил против этой скудной суммы, он остановил меня замечанием: "Не делайте этого никогда. Здесь есть обычаи, которые дороже вашей щедрости. Вы можете оскорбить человека. Везде вас поблагодарят за прибавку, а здесь посмеются". Известно, что житейской мудрости в нем было почти столько же, сколько и таланта. Прямо из австерии перешли мы на Piazza d'Espagne, в кофейную "Del buon gusto", кажется, уселись втроем в уголку за чашками кофе, и тут Гоголь до самой ночи внимательно и без устали слушал мои рассказы о Петербурге, литературе, литературных статьях, журналах, лицах и происшествиях, расспрашивая и возбуждая повествование, как только начинало оно ослабевать. Он был в своей тарелке и, по счастливому выражению гравера Ф. И. Иордана, мог брать, что ему нужно было или что стоило этого, полной рукой, не давая сам ничего. Притом же ему, видимо, хотелось исчерпать человека вдруг, чтоб избавиться от скуки возвращаться к нему еще несколько раз. Наслаждение способностию читать в душе и понимать самого человека по поводу того, что он говорит, способностию, которой он, как все гениальные люди, обладал в высшей степени, тоже находило здесь материал... Не имея никаких причин размерять себя, а, напротив, считая необходимостью для истины будущих сношений представить полный вид на самого себя, я говорил решительно все то, что знал, и все то, что думал. Гоголь прерывал иногда беседу замечаниями, чрезвычайно глубокими, но не возражал ни на что и ничего не оспоривал... На

другой день... он повел меня к Форуму, останавливал излишнюю ярость любопытства, обыкновенные новичкам порывы к частностям, и только указывал точки, с которых должно смотреть на целое и способы понимать его. В Колизее он посадил меня на нижних градинах, рядом с собою, и, обводя глазами чудное здание, советовал на первый раз только проникнуться им. Вообще он показывал Рим с таким наслаждением, как будто сам открыл его... Это был тот же самый чудный, веселый, добродушный Гоголь, которого мы знали в Петербурге до 1836 года, до первого отъезда за границу... Правда, некоторые черты... уже показывали начало нового и последнего его развития, но они еще мелькали на поверхности его характера, не сообщая ему одной, господствующей краски. 1841 год был последним годом его свежей, мощной, многосторонней молодости... Надо сказать, что в Петербурге около Гоголя составился круг его школьных приятелей и новых, молодых знакомых, которые любили его горячо и были ему по душе. Перед этим кругом Гоголь всегда стоял просто, в обыкновенной своей позиции, хотя сосредоточенный, несколько скрытный характер и наклонность овладевать и управлять людьми не оставляли его никогда. Кроме жаркой привязанности, которую он питал вообще к двум-трем товарищам своего детства, - "ближайшим людям своим, как он их называл, Гоголю должен был нравиться и тот откровенный энтузиазм, который высказывался тут к тогдашней литературной деятельности его, несмотря на совершенно короткое, нецеремонное обращение приятелей между собой. В этом круге он встречал только ласковые, часто им же воодушевленные лица, и не было ему надобности осматриваться, беречься и отклонять от себя взоры. За чертой круга Гоголь открывал себе широкий путь жизни всеми средствами, которые находились в его богатой натуре, не исключая хитрости и сноровки затрогивать наиболее живые струны человеческого сердца. Он сходил с этой арены в безвестный и, так сказать, уединенный круг своих приятелей, если не отдыхать (в это время он не отдыхал почти никогда, но жил постоянно всеми своими способностями), то по крайней мере сравнивать его бескорыстные суждения о себе и ряд надежд, возлагаемых на него, с тем, что говорилось и делалось по поводу его особы своим кругом, добродушен, весел, хотя и сохранил тонкий, может быть невольный, оттенок чувства своего превосходства и своего значения. Мало-помалу род поучения, ободрения и удовольствия, какие он почерпал в этом круге, становились ему менее нужны и менее привлекательны; жизнь начала нестись с такой силой вокруг него, показались такие горячие, страстные привязанности, действовавшие и на общественное мнение, что никем не ведомый и запертый в себе самом кружок должен был потерять значение в его глазах. Притом же вскоре явились требования со стороны других приверженцев Гоголя, на которые старый круг не мог отвечать, и явления в самом Гоголе, которые трудно было понять ему; но почти ко всем его лицам Гоголь сохранил неизменное расположение, доказывавшее теплоту и благородство его сердца. Он даже в минуту развития самостоятельных, наиболее исключительных своих мнений еще вопрошал мысль прежних своих приятелей и прислушивался к ней с большим любопытством. Так иногда писатель, пресыщенный критикой и разбором своих произведений, охотно склоняет ухо к мнению какого-либо оригинального чудака, живущего вдали

партий, литературных вечеров и течения господствующих понятий... Мы сказали, что Гоголь часто сходил с шумного, трудового своего жизненного поприща в уединенный круг своих приятелей - потолковать преимущественно о явлениях искусства, которые, в сущности, одни только и наполняли его душу. Он никогда не говорил с приятелями об ученых своих предприятиях и других замыслах, потому что хотел оставаться с ними искренним и таким, каким его знали сначала. Гоголь жил на Малой Морской, в доме Лепена, на дворе, в двух небольших комнатах, и я живо помню темную лестницу квартиры, маленькую переднюю с перегородкой, небольшую спальню, где он разливал чай своим гостям, и другую комнату, попросторнее, с простым диваном у стены, большим столом у окна, заваленным книгами, и письменным бюро возле него. В первый раз, как я попал на один из чайных вечеров его, он стоял у самовара и только сказал мне: "Вот, вы как раз поспели". В числе гостей был у него пожилой человек, рассказывавший о привычках сумасшедших, строгой, почти логической последовательности, замечаемой в развитии нелепых их идей. Гоголь подсел к нему, внимательно слушал его повествование, и когда один из приятелей стал звать всех по домам, Гоголь возразил, намекая на своего посетителя: "Ты ступай... Они уже знают свой час и, когда надобно, уйдут". Большая часть материалов, собранных из рассказов пожилого человека, употреблены были Гоголем потом в "Записках сумасшедшего". Часто потом случалось мне сидеть и в этой скромной чайной и в зале... Степенный, всегда серьезный Яким (возможный прототип Осипа в "Ревизоре". - Б. С.) состоял тогда в должности его камердинера. Гоголь обращался с ним совершенно патриархально, говоря ему иногда: "Я тебе рожу побью", что не мешало Якиму постоянно грубить хозяину, а хозяину заботиться о существенных его пользах и наконец устроить ему покойную будущность. Сохраняя практический оттенок во всех обстоятельствах жизни, Гоголь простер свою предусмотрительность до того, что раз, отъезжая по делам в Москву, сам расчертил пол своей квартиры на клетки, купил красок и, спасая Якима от вредной праздности, заставил его изобразить довольно затейливый паркет на полу во время своего отсутствия. Приятели сходились также друг у друга на чайные вечера, где всякий очередной хозяин старался превзойти другого разнообразием, выбором и изяществом кренделей, прибавляя всегда, что они куплены на вес золота. Гоголь был в этих случаях строгий, нелицеприятный судья и оценщик. На этих сходках царствовала веселость, бойкая насмешка над низостью и лицемерием, которой журнальные, литературные и всякие иные анекдоты служили пищей, но особенно любил Гоголь составлять куплеты и песни на общих знакомых. С помощью Н. Я. Прокоповича и А. С. Данилевского, товарища Гоголя по лицею, человека веселых нравов, некоторые из них выходили действительно карикатурно метки и уморительны. Много тогда было сочинено подобных песен. Помню, что несколько вечеров Гоголь беспрестанно тянул (мотивы для куплетов выбирались из новейших опер - из "Фенелы", "Роберта", "Цампы") кантату, созданную для прославления будущего предполагаемого его путешествия в Крым, где находился стих:

И с Матреной наш Яким
Потянулся прямо в Крым.

В памяти у меня остается также довольно нелепый куплет, долженствовавший увековечить подвиги молодых учителей из его знакомых, отправлявшихся каждый день на свои лекции на Васильевский остров. Куплет, кажется, принадлежал Гоголю безраздельно:

Все бобрами завелись,
У Фаге все завились
И пошли через Неву,
Как чрез мягку мураву и т. д.

Точно то же происходило и на обедах в складчину, где Гоголь сам приготовлял вареники, галушки и другие малороссийские блюда. Важнее других бывал складчинный обед в день его именин, 9 мая, к которому он обыкновенно уже одевался по-летнему, сам изобретая какой-то фантастический наряд. Он надевал обыкновенно ярко-пестрый галстучек, взбивал высоко свой завитой кок, облекался в какой-то белый, чрезвычайно короткий и распашной сюртучок, с высокой талией и буфами на плечах, что делало его действительно похожим на петушка, по замечанию одного из его знакомых (Белоусова). Как далек еще тогда он был от позднейшей самоуверенности в оценке собственных произведений, может служить то, что на одном из складчинных обедов 1832 года он сомнительно и даже отчасти грустно покачал головой при похвалах, расточаемых новой повести его "Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем". "Это вы говорите, - сказал он, - а другие считают ее фарсом". Вообще суждениями так называемых избранных людей Гоголь, по благородно высокой практической натуре своей, никогда не довольствовался. Ему всегда нужна была публика. Случалось также, что в этих сходках на Гоголя нападала беспокойная, судорожная, горячечная веселость - явное произведение материальных сил, чем-либо возбужденных. Вообще следует заметить, что природа его имела многие из свойств южных народов, которых он так ценил вообще. Он необычайно дорожил внешним блеском, обилием и разнообразием красок в предметах, пышными, роскошными очертаниями, эффектом в картинах и природе. "Последний день Помпеи" Брюллова привел его, как и следовало ожидать, в восторг. Полный звук, ослепительный поэтический образ, мощное, громкое слово, все исполненное силы и блеска, потрясало его до глубины сердца. О метафизическом способе понимания явлений природы и искусства тогда и в помине не было. Он просто благоговел перед созданиями Пушкина за изящество, глубину и тонкость их поэтического анализа, но так же точно, с выражением страсти в глазах и в голосе, сильно ударяя на некоторые слова, читал и стихи Языкова. В жизни он был очень целомудрен и трезв, если можно так выразиться, но в представлениях он совершенно сходился со страстными, внешне великолепными представлениями южных племен. Вот почему также он заставлял других читать и сам зачитывался в то время Державиным. Чтение его, если уже раз ухо ваше попривыкло к малороссийскому напеву, было чрезвычайно обаятельно: такую поразительную выпуклость умел он сообщать наиболее эффектным частям произведения и такой яркий колорит получали они в устах его! Можно сказать, что он проявлял натуру южного человека даже и светлым, практическим умом своим, не лишенным примеси суеверия... Если присоединить к этому замечательно тонкий эстетический вкус, открывавший

ему тотчас подделку под чувство и ложные, неестественные краски, как бы густо или хитро ни положены они были, то уже легко будет понять тот род очарования, которое имела его беседа. Он не любил уже и в то время французской литературы, да не имел большой симпатии и к самому народу за "моду, которую они ввели по Европе", как он говорил, "быстро создавать и тотчас же, по-детски, разрушать авторитеты". Впрочем, он решительно ничего не читал из французской изящной литературы и принялся за Мольера только после строгого выговора, данного Пушкиным за небрежение к этому писателю. Так же мало знал он и Шекспира (Гете и вообще немецкая литература почти не существовали для него), и из всех имен иностранных поэтов и романистов было знакомо ему не по догадке и не по слухам одно имя - Вальтер Скотта. Зато и окружил он его необычайным уважением, глубокой почтительной любовью. Вальтер Скотт не был для него представителем охранительных начал, нежной привязанности к прошедшему, каким сделался в глазах европейской критики; все эти понятия не находили тогда в Гоголе ни малейшего отголоска и потому не могли задобривать его в пользу автора... Гоголь любил Вальтер Скотта просто с художнической точки зрения за удивительное его распределение материи рассказа, подробное обследование характеров и твердость, с которой он вел многосложное событие ко всем его результатам. В эту эпоху Гоголь был наклонен скорее к оправданию разрыва с прошлым и к нововводительству, признаки которого очень ясно видны и в его ученых статьях о разных предметах, чем к пояснению старого или к искусственному оживлению его. В тогдашних беседах его постоянно выражалось одно стремление к оригинальности, к смелым построениям науки и искусства на других основаниях, чем те, какие существуют, к идеалам жизни, созданным с помощью отвлеченной, логической мысли - словом, ко всем тем более или менее поэтическим призракам, которые мучат всякую деятельную благородную молодость. При этом направлении два предмета служили как бы ограничением его мысли и пределом для нее, именно: страстная любовь к песням, думам, умершему прошлому Малороссии, что составляло в нем истинное охранительное начало, и художественный смысл, ненавидевший все резкое, произвольное, необузданно-дикое. Они были, так сказать, умирителями его порывов. В этом соединении страсти, бодрости, независимости всех представлений со скромностию, отличающей практический взгляд, и благородством художественных требований заключался и весь характер первого периода его развития... На третий день моего приезда Рим, по случаю наступления праздников Святой недели, отдался весь ликованию. Как в эти дни, так и в предшествовавшие им я почти совсем не видал Гоголя, будучи занят глазеньем на все духовные процессии, которыми наполнился город... В день самого праздника я... присутствовал при папской литургии и видел, как с высоты балкона св. Петра, окруженный кардиналами, папа дал благословение народу и отпустил ему грехи. Вечером того же дня мы ходили с Гоголем и двумя русскими художниками по площади собора, любуясь на чудное освещенье его купола и перемену огней, внезапно производимую в известный час. Купол горел тихо, ровно в мрачной синеве неба, посреди чудной, теплой весенней ночи, под шепот водопадов соборной площади, под говор народа,

двигавшегося во всех направлениях. Тут положено было, между прочим, что я перейду в комнату Панова тотчас, как он уедет в Берлин, и, сделавшись близким соседом Гоголя, посвящу один час каждого дня на переписку, под его диктовку, уже совсем изготовленной первой части "Мертвых душ". Поселившись рядом с Гоголем в комнате, двери которой почти всегда были отворены, я связан был с Николаем Васильевичем только одним часом дня, когда занимался перепиской "Мертвых душ". Остальное время мы жили розно и каждый по-своему. Правда, в течение дня сталкивались мы друг у друга довольно часто, а вечера обыкновенно проводили вместе, но важно было то, что между нами существовало молчаливое условие не давать чувствовать себя товарищу ни под каким видом. Гоголь вообще любил те отношения между людьми, где нет никаких связующих прав и обязательств, где от него ничего не требовали. Он тогда только и давал что-либо от себя. В Риме система эта, предоставив каждому полную свободу действий, поставила каждого в нравственную независимость, которою он всего более дорожил. Гоголь вставал обыкновенно очень рано и тотчас принимался за работу. На письменном его бюро стоял уже графин с холодной водой из каскада Терни, и в промежутках работы он опорожнял его дочиста, а иногда и удвоивал порцию. Это была одна из подробностей того длинного процесса самолечения, которому он следовал всю свою жизнь. Он имел даже особенный взгляд на свой организм, и весьма серьезно говорил, что устроен совсем иначе, чем другие люди, и, если не обманывает меня память, с каким-то извращенным желудком. Я относился тогда несколько скептически к его жалобам на свои немощи и помню, что Гоголь возражал мне с досадой и настойчиво. "Вы этого не можете понять, - говорил он, - это так: я себя знаю". При наступившем вскоре римском зное Гоголь довольно часто жаловался на особенное свойство болезненной своей природы - никогда не подвергаться испарине. "Я горю, но не потею", - говорил он. Все это не мешало ему следовать вполне своим обыкновенным привычкам. Почти каждое утро заставал я его в кофейной Del buon gusto отдыхающим на диване после завтрака, состоявшего из доброй чашки крепкого кофе и жирных сливок, за которые почасту происходили у него ссоры с прислужниками кофейни: яркий румянец пылал на его щеках, и глаза светились необыкновенно. Затем отправились мы в разные стороны до условного часа, когда положено было сходиться домой для переписки поэмы. Тогда Гоголь крепче притворял внутренние ставни окон от неотразимого южного солнца, я садился за круглый стол, а Николай Васильевич, разложив перед собой тетрадку на том же столе подалее, весь уходил в нее и начинал диктовать мерно, торжественно, с таким чувством и полнотой выражения, что главы первого тома "Мертвых душ" приобрели в моей памяти особенный колорит. Это было похоже на спокойное, правильно разлитое вдохновение, какое порождается обыкновенно глубоким созерцанием предмета".

Ф. И. Иордан вспоминал: "П. В. Анненков остановился (в Риме. - Б. С.) у Гоголя, с которым был дружен, несмотря на всё несходство их характеров. Анненков был характера веселого, открытого, что Гоголю не очень-то нравилось".

10 мая 1844 г. Гоголь писал А. из Франкфурта: "Передовые люди не те,

которые видят одно что-нибудь такое, чего другие не видят, и удивляются тому, что другие не видят; передовыми людьми можно назвать только тех, которые именно видят все то, что видят другие (все другие, а не некоторые), и, опершись на сумму всего, видят все то, чего не видят другие, и уже не удивляются тому, что другие не видят того же".

В мемуарах А. утверждал: "1844 год, важнейший во втором периоде гоголевского настроения... Он (Гоголь. - Б. С.) сосредоточивается весь на переписке с друзьями и на соображениях, касающихся романа. Там и здесь у него одна задача: помочь ближнему и в его освобождении от пороков и несчастий времени найти собственное спасение; но он ищет общего благодатного лекарства, способного целить злые недуги зараз и награждать больного ничем не заслуженными радостями... Цель, таким образом поставленную, называет он своим житейским подвигом, забывает для нее опыт, науку и мало-помалу начинает выделять самого себя и мысль свою из современного развития, из насущных требований общества, из жизни. Он усиливается смотреть поверх голов, занятых обыденным, безотлагательным делом времени, открывает новые горизонты, перспективы, светлые сияния в тех сторонах, куда покамест нет никаких путей. Мираж этот кажется ему важнее всего, что делается около него. Торжественно принимает он на себя роль моралиста, но как мало было в нем призвания к этой роли, показала потом его книга "Выбранная переписка". В ней он оскорбляет общее чувство справедливости, проповедуя смирение там, где не было ни малейшей кичливости, требуя любви, жертв и примирения не у тех, которые провинились особенно постоянством отпора, сухости и презрения к другим. Мысль общества начинает уже скрываться от того человека, который первый ее открыл и почувствовал в себе, и это несчастное одиночество Гоголь принимает за высокий успех, рост в вышину, великое нравственное превосходство. Тогда сама собой является необходимость разрешения вопросов и литературных задач посредством призраков и фантомов, что так поражает в оставшейся нам второй части "Мертвых душ". Именно около этой эпохи задуманы лица вроде Костанжогло, который должен был явиться типом совершеннейшего помещика-землевладельца, типом, возникшим из соединения греческой находчивости с русским здравомыслием и примирения двух национальностей, родных по вере и преданиям. Участие призрака в создании еще виднее на другом лице - откупщике Муразове, который вместе с практическим смыслом, наделившим его монтекристовскими миллионами, обладает высоким нравственным чувством, сообщившим ему дар сверхъестественного убеждения. Крупная разжива со всеми ее средствами, не очень стыдливыми по природе своей, награждена еще тут благодатию понимать таинственные стремления душ, открывать в них вечные зародыши правды и вести их с помощью советов и миллионов к внутреннему миру, к блаженству самодовольствия и спокойствия. Это примирение капитала и аскетизма поставлено, однако же, на твердом нравственном грунте, и здесь-то нельзя удержаться от глубокого чувства скорби и сожаления. Основная мысль второй части "Мертвых душ", как и все нравственные стремления автора, направлены к добру, исполнены благих целей, ненависти и отвращения ко всякой духовной неурядице. Вторая часть "Мертвых

душ" чуть ли не превосходит первую по откровенности негодования на житейское зло по силе упрека безобразным явлениям нашего быта и в этом смысле, конечно, превосходит все написанное Гоголем прежде поэмы. Самый замысел повести даже в нынешнем несовершенном своем виде, поражает читателя обширностию размеров, а некоторые события романа, лучше других отделанные, с необычайным мастерством захватывают наиболее чувствительные стороны современного общества: довольно указать в подтверждение того и другого, на план окончания второй части, с одной стороны, на начинавшуюся историю Тентетникова - с другой. Да и в самой "Переписке с друзьями"... сколько попадается заметок, показывающих глубочайшее познание сердца человеческого, изощренное постоянным наблюдением за собой и за другими, сколько светлого пояснения едва приметных душевных волнений, доступных только чувству и глазу опытного, искушенного психолога, наконец, сколько отдельных моральных положений неотразимой истины и несомненного достоинства. Ввиду всех этих разбросанных сокровищ, у которых от близости с фальшивыми ценностями отнята или по крайней мере значительно ослаблена возможность приносить пользу, грусть и истинное сожаление овладевают читателем, и невольно слышится ему, что жизнь великого и здравомыслящего писателя, осужденного на бесплодие самим направлением своим должна неминуемо кончиться грозной и мучительной драмой".

В июле 1846 г. А. неожиданно встретился с Гоголем в Бамберге. Вот как он описал эту встречу: "Следуя общему движению, я направился в Тироль, через Франконию и южную Германию. По обыкновению я останавливался во всех городах на моем пути и прибыл в Бамберг, где и расположился осмотреть подробнейшим образом окрестности и знаменитый собор его... Усталый и измученный более наблюдениями и соображениями, чем самою ходьбою, я покинул собор и начал уже спускаться вниз с горы, когда на другом конце спуска увидел человека, поднимающегося в гору и похожего на Гоголя как две капли воды. Предполагая, что Николай Васильевич теперь уже в Остенде и, стало быть, позади меня, я с изумлением подумал об этой игре природы, которая из какого-нибудь почтенного бюргера города Бамберга делает совершенное подобие автора "Вечеров на хуторе", но не успел я остановиться на этой мысли, как настоящий, действительный Гоголь стоял передо мною. После первого моего восклицания: "Да здесь следовало бы жертвенник поставить Николай Васильевич, в воспоминание нашей встречи", он объяснил мне, что все еще едет в Остенде, но только взял дорогу через Австрию и Дунай. (Поездка эта принадлежала к числу тех прогулок, какие Гоголь предпринимал иногда без всякой определенной цели, а единственно по благотворному действию, которое производили на здоровье его дорога и путешествие вообще, как ему казалось.) Теперь дилижанс его остановился в Бамберге, предоставив немцам час времени для насыщения их желудков, а он отправился поглядеть на собор. Я тотчас поторопился с ним назад и когда, полный еще испытанных впечатлений, стал показывать ему частности этой громадной и великолепной постройки, он сказал мне: "Вы, может быть, еще не знаете, что я сам знаток в архитектуре". Обозрев внутренность, мы принялись за внешние подробности,

довольно долго глядели на колокольни и на огромного каменного человека (чуть ли не изображение строителя), который выглядывал с балкона одной из них; затем мы возвратились опять к спуску. Гоголь принял серьезный, торжественный вид: он собирался послать из Швальбаха, куда ехал, первую тетрадку "Выбранной переписки" в Петербург, и, по обыкновению, весь был проникнут важностью, значением, будущими громадными следствиями новой публикации. Я тогда еще и не понимал настоящего смысла таинственных, пророческих его намеков, которые уяснились мне только впоследствии. "Нам остается не много времени, - сказал он мне, когда мы стали медленно спускаться с горы, и я вам скажу нужную для вас вещь... Что вы делаете теперь?" Я отвечал, что нахожусь в Европе под обаянием простого чувства любопытства. Гоголь помолчал и потом начал говорить отрывисто; фразы его звучат у меня в ушах и в памяти до сих пор: "Это черта хорошая... но все же это беспокойство... надо же и остановиться когда-нибудь... Если все вешать на одном гвозде, так уже следует запастись по крайней мере хорошим гвоздем... Знаете ли что?.. Приезжайте на зиму в Неаполь... Я тоже там буду". Не помню, что я отвечал ему, только Гоголь продолжал: "Вы услышите в Неаполе вещи, которых и не ожидаете... Я вам скажу то, что до вас касается... да, лично до вас... Человек не может предвидеть, где найдет его нужная помощь... Я вам говорю - приезжайте в Неаполь... я открою тогда секрет, за который вы будете меня благодарить". Полагая, что настоящий смысл загадочных слов Гоголя может быть объяснен приближающимся сроком его вояжа в Иерусалим, для которого он ищет теперь товарища, я высказал ему свою догадку. "Нет, - отвечал Гоголь. - Конечно, это дело хорошее... мы могли бы вместе сделать путешествие, но прежде может случиться еще нечто такое, что вас самих перевернет... тогда вы уже и решите сами всё... только приезжайте в Неаполь... Кто знает, где застигнет человека новая жизнь..." В голосе его было так много глубокого чувства, так много сильного внутреннего убеждения, что, не давая решительного слова, я обещал, однако же, серьезно подумать о его предложении. Гоголь перестал говорить об этом предмете и остальную дорогу с какой-то задумчивостью, исполненной еще страсти и сосредоточенной энергии, если смею так выразиться, мерным, отрывистым, но пламенным словом стал делать замечания об отношениях европейского современного быта к быту России. Не привожу всего, что он говорил тогда о лицах и вещах, да и не все сохранилось в памяти моей. "Вот, - сказал он раз, - начали бояться у нас европейской неурядицы - пролетариата... думают, как из мужиков сделать немецких фермеров ... А к чему это?.. Можно ли разделить мужика с землею?.. Какое же тут пролетариатство? Вы ведь подумайте, что мужик наш плачет от радости, увидав землю свою; некоторые ложатся на землю и целуют ее, как любовницу. Это что-нибудь да значит?.. Об этом-то и надо поразмыслить". Вообще он был убежден тогда, что русский мир составляет отдельную сферу, имеющую свои законы, о которых в Европе не имеют понятия. Как теперь смотрю на него, когда он высказывал эти мысли своим протяжным, медленно текущим голосом, исполненным силой и выражения. Это был совсем другой Гоголь, чем тот, которого я оставил недавно в Париже, и разнился он значительно с Гоголем римской эпохи. Все в нем установилось, определилось и выработалось. Задумчиво шагал он по мостовой в

коротеньком пальто своем, с глазами, устремленными постоянно в землю, и поглощенный так сильно мыслями, что, вероятно, не мог дать отчета себе о физиономии Бамберга через пять минут после выезда из него. Между тем мы подошли к дилижансу; там уже впрягали лошадей, и пассажиры начинали суетиться около мест своих. "А что, разве вы и в самом деле останетесь без обеда?" - просил я. "Да, кстати, хорошо, что напомнили: нет ли здесь кондитерской или пирожной?" Пирожная была под рукою. Гоголь выбрал аккуратно десяток сладких пирожков с яблоками, черносливом и вареньем, велел их завернуть в бумагу и потащил с собой этот обед, который, конечно, не был способен укрепить его силы. Мы еще немного постояли у дилижанса, когда раздалась труба кондуктора. Гоголь сел в купе, поместившись как-то боком к своему соседу, немцу пожилых лет, сунул перед собой куда-то пакет с пирожками и сказал мне: "Прощайте еще раз... Помните мои слова... Подумайте о Неаполе". Затем он поднял воротник шинели, которую накинул на себя при входе в купе, принял выражение мертвого, каменного бесстрастия и равнодушия, которые должны были отбить всякую охоту к разговору у сотоварища его путешествия, и в этом положении статуи с полузакрытым лицом, тупыми, ничего не выражающими глазами, еще кивнул мне головой... Карета тронулась. Таким образом расквитался я с ним с моей стороны за проводы из Альбано. Мы так же расстались у дилижанса в то время, но какая разница между тогдашним живым, бодрым Гоголем и нынешним восторженным и отчасти измученным болезнию мысли, отразившейся и на красивом, впалом лице его. В 1847 году вышли наконец "Выбранные места из переписки с друзьями". В том самом Неаполе, куда звал меня Николай Васильевич, застала его буря осуждений и упреков, которая понеслась навстречу книги, сразила и опрокинула ее автора. Путешествие в Иерусалим было отложено. С высоты безграничных надежд Гоголь падал вдруг в темную, безотрадную пучину сомнений и новых неразрешимых вопросов... Вторая часть "Мертвых душ", созданная под влиянием идей "Выбранной переписки", подверглась новой переделке. Гоголь противопоставляет впервые истинно христианское смирение ударам, которые сыплются на него со всех сторон. Глубоко трогательная и поучительная драма, еще никем и не подозреваемая, получает место и укореняется в его душе. На первых порах Гоголь силится оживить все старые свои убеждения и примирить их с новым воззрением: он поясняет, оправдывает, изменяет смысл новой теории, возбудившей такой ропот, чтобы спасти от нее что-либо. Попытка напрасная! Корень созерцания, добытого с таким трудом, могущественно врос в его сердце и никаких прививок к себе не допускает. Обязанный уступить требованиям современной жизни и неизбежным условиям творчества, Гоголь страдает и изнемогает под этим игом. Создание делается нравственной мукой. Жизнь его неожиданно разошлась двумя струями, двумя течениями, и чем более старается он прорыть им одно общее ложе, тем сильнее расходятся они в разные стороны. Измученный и подавленный неблагодарным трудом, он в третий, последний раз уничтожает рукопись "Мертвых душ", но уже вполне и навсегда, и нисходит сам в могилу". Большинство исследователей и мемуаристов сходятся на том, что рукопись второго тома "Мертвых душ" Гоголь сжигал только дважды, а не трижды, как утверждал А. Его мнение, что

Гоголь впервые сжег рукопись поэмы еще в 1843 г., никакими другими свидетельствами не подтверждается.

12 августа н. ст. 1847 г. Гоголь писал А. из Остенде по поводу "Выбранных мест из переписки с друзьями": "Я получил письмо от Белинского, которое меня огорчило не столько оскорбительными словами, устремленными лично на меня, сколько чувством ожесточенья вообще. Последнее сокрушительно для его здоровья. Вы теперь при нем: отводите от него всё возмущающее дух его. Убедите его прежде всего в той непреложной истине, что излишество теперь удел всех, кто только сколько-нибудь имеет сердце не бесчувственное к делам мира, какой-нибудь характер и какое-нибудь убеждение. Все переливают через край, потому что никто не спокоен. Я, более других спокойный и хладнокровный, впал в излишество более других: писавши мои письма, я был истинно убежден в той мысли, что все звания и должности могут быть освящены человеком и что чем выше место, тем оно должно быть святее; я хотел рассмотреть все места и звания в их чистом источнике, а не в том виде, в каком они являются вследствие злоупотреблений человеческих; я начал с высших должностей; я хотел напомнить человеку о всей святости его обязанностей, а выразился так, что слова мои приняли за куренье человеку. Не увлекись я духом излишества, который раздувает теперь всех, я бы выразился, может быть, так, что со мною во многом бы согласились те, которые оспаривают теперь меня во всем, хотя чувствую, что и тогда видна была бы во мне односторонность: занявшись своим собственным внутренним воспитанием, проведя долгое время за Библией, за Моисеем, Гомером законодателями веков минувших, читая историю событий, кончившихся и отживших, наконец, наблюдая и анатомируя собственную душу в желаньи узнать глубже душу человека вообще и встретясь на этом пути с Тем, Который более всех нас знал душу человека, я весьма естественно стал на время чужд всему современному. Зато теперь проснулось во мне любопытство ребенка знать всё то, чего я прежде не хотел знать. Точно как бы на то была уже такая воля, чтобы я не прежде приступил к узнанию мирских дел, как узнавши получше самого себя. И мне кажется, что я теперь далее всего другого могу уйти на пути разведыванья: ни раздраженья, ни фанатизма во мне нет, ничьей стороны держать не могу, потому что везде вижу частицу правды и много всяких преувеличений и лжи. Не знаю только, достанет ли на то сил физических: здоровье мое, которое начало было уже поправляться и восстанавливаться, потряслось от этой для меня сокрушительной истории по поводу моей книги. Многие удары так были чувствительны для всякого рода щекотливых струн, что дивлюсь сам, как я еще остался жив и как все это вынесло мое слабое тело".

7 сентября н. ст. 1847 г. Гоголь из Остенде писал А.: "Понятие мое о Божестве не так узко, как вы думаете, но, по крайней мере, оно гораздо пространнее того смысла, который вы придали словам моим... Покамест дело в том, что мы все идем к тому же, но у всех нас разные дороги, а потому, покуда еще не пришли, мы не можем быть совершенно понятными друг другу. Все мы ищем того же: всякий из мыслящих ныне людей, если он только благороден душой и возвышен чувствами, уже ищет законной желанной середины, уничтоженья лжи и преувеличенностей во всем и снятья грубой коры, грубых

толкований, в которые способен человек облекать самые великие и с тем вместе простые истины. Но все мы стремимся к тому различными дорогами, смотря по разнообразию данных мне способностей и свойств, в вас работающих. Один стремится к тому путем религии и самопознанья внутреннего, другой путем изысканий исторических и опыта (над другими), третий - путем наук естествознательных, четвертый - путем поэтического постигновенья и орлиного соображенья вещей, не обхватываемых взглядом простого человека, словом разными путями, смотря по большему или меньшему в себе развитию преобладательно в нем заключенной способности. Анатомируя человека, видишь, что в мозгу и голове особенно устроены для этого органы возвышенья и шишки на голове. Органы даны - стало быть, они нужны затем, чтобы каждый стремился своей дорогой и производил в своей области открытия, никак невозможные для того, кто имеет другие органы. Он может наговорить много излишеств, может увлечься своим предметом, но не может лгать, увлечься фантомом, потому что говорит он не от своего произведения: говорит в нем способность, в нем заключенная, и потому у всякого лежит какая-нибудь правда. Правду эту усмотреть может только всесторонний и полный гений, который получил на свою долю полную организацию во всех отношениях. Прочие люди будут путаться, сбиваться, мешаться, привязываться к словам и попадать в бесконечные недоразумения. Вот почему всякому необыкновенному человеку следует до времени не обнаруживать своего внутреннего процесса, которые совершаются теперь повсеместно, и прежде всего в людях, стоящих впереди: всякое слово его будет принято в другом смысле, и что в нем состоянье переходное, то будет принято другими за нормальное. Вот почему всякому человеку, одаренному талантом необыкновенным, следует прежде состроиться сколько-нибудь самому. Ваше желание следить всё, не останавливаясь особенно ни над чем, очень понятно. В нем слышится разумное стремленье всего нынешнего века. Но непонятен для меня дух некоторого удовлетворенья вашим нынешним состояньем, точно как бы вы уже нашли важную часть того, что ищете, и как бы стали уже на верховную точку вашего разумения и вашего воззренья на вещи. Вы уже подымаете заздравный кубок и говорите: "Да здравствует простота положений и отношений, основанных на практической действительности, здравом смысле, положительном законе, принципе равенства и справедливости!" Смысл всего этого необъятно обширен. Целая бездна между этими словами и примененьями их к делу. Если вы станете действовать и проповедывать, то прежде всего заметят в ваших руках эти заздравные кубки, до которых такой охотник русский человек, и перепьются все, прежде чем узнают, из-за чего было пьянство. Нет, мне кажется, никому из нас не следует в нынешнее время торжествовать праздновать настоящий миг своего взгляда и разуменья. Он завтра же может быть уже другим; завтра же можем мы стать умней нас сегодняшних. Несмотря на то, что взгляд мой на современность только что проснулся, и я еще новичок в этом деле, но, сколько могу судить по тем результатам, которые отбираю теперь от всех людей, прилежно наблюдающих над действующими ныне силами в Европе, я, однакож, заметил некоторую неполноту в ваших наблюденьях и упущенья, которые вы сделали на вашем пути. Это я приписываю тому, что вы сделали представителем всего для

себя Париж и оставили совершенно в стороне Англию, где важная сторона современного дела. По моему разумению, вам почти необходимо туда съездить, и не то чтобы взглянуть только на Лондон, но именно прожить в Англии, затем избрать в предмет наблюдений не один какой-нибудь класс пролетариев, изученье которого стало теперь модным, но взглядом на все классы, не выключая никого из них. Несмотря на чудовищное совмещение многих крайностей, до такой степени противуположных, что если бы кто из нас заговорил о них обеих вдруг, - могли бы подумать, что оратор хочет служить и Богу, и чорту вместе; несмотря на это, местами является такое разумное слитие того, что доставила человеку высшая гражданственность, с тем, что составляет первообразную патриархальность, что вы усумнитесь во многом, равно как и в том, действительно ли в вас отражается полно вся нынешняя современность. Мне кажется еще, что вы напрасно чуждаетесь специального труда. Какой-нибудь специальный труд должен быть непременно у каждого из нас. Сверх пребыванья на боевой вершине современного движенья, нужно иметь свой собственный уголок, в который можно было на время уходить от всего. Нельзя, чтобы каждый из нас не получил на долю свою какой-нибудь способности, ему принадлежащей; нельзя, чтобы не было ее и у вас. Иначе мы бы все походили друг на друга, как две капли воды, и весь мир был бы одна мануфактурная машина. Без этого специального труда не образуется характер индивидуала, из которых слагается общество, идущее вперед. Без этих своеобразно работающих единиц не быть общему прогрессу".

20 сентября н. ст. 1847 г. Гоголь из Остенде писал А.: "Та середина, которую вы прозрели, по мненью вашему - безошибочно, в словах моих, ведет человека, точно, к посредственности. Но дело в том, что я под словом "середина" разумел ту высокую гармонию в жизни, к которой стремится человечество, которая слышится несколько вперед только людьми, преобладательно одаренными поэтическим элементом, но никак не может обратиться в систему какого-нибудь стремленья каждого человека. К средине этой идут не поскабливаньем того и другого в той и другой партии: напротив, к ней идет каждый своею дорогою; всякое усилие гениального человека в своей области усиливает приближение всего человечества к этой середине. Вы назвали мое стремление выслушивать с равным вниманием все работающие ныне силы стремлением уравновешивать эти силы. Это довольно грубая ошибка. Это стремленье есть просто желанье знать дело обстоятельней другого. Вот и всё!"

А. так описал свою последнюю встречу с Гоголем осенью 1851 г., за три месяца до смерти писателя: "Гоголь в то время жил у Толстого, на Никитском бульваре, и тогда все еще готовил второй том "Мертвых душ". По крайней мере, на мое замечание о нетерпении всей публики видеть завершенным, наконец, его жизненный и литературный подвиг вполне - он мне отвечал довольным и многозначительным голосом: "Да... Вот попробуем!" Я нашел его гораздо более осторожным в мнениях после страшной бури, вызванной его "Перепиской", но все еще оптимистом в высшей степени и едва понятным для меня. Он почти ничего не знал или не хотел знать о происходящем вокруг него, а о ссылках и других мерах отзывался даже, как о вещах, которые по мягкости исполнения были отчасти любезностями и милостями по отношению ко многим

осужденным. Он также продолжал думать, что, по отсутствию выдержки в русских характерах, преследование печати и жизни не может долго длиться и советовал литераторам и труженикам всякого рода пользоваться этим временем для тихого приготовления серьезных работ ко времени облегчения. Эту же мысль развивал он при мне и в 1849 году на вечере у Александра Комарова. Тогда произошла довольно наивная сцена. Некрасов, присутствовавший тоже на нем, заметил: "Хорошо, Николай Васильевич, да ведь за все это время надо еще есть". Гоголь был опешен, устремил на него глаза и медленно произнес: "Да, вот это трудное обстоятельство". Вместо смысла современности, утерянного им за границей и последним своим развитием, оставалась у него, по-прежнему, артистическая восприимчивость в самом высшем градусе. Он взял с меня честное слово беречь рощи и леса в деревне и раз вечером предложил мне прогулку по городу, всю ее занял описанием Дамаска, чудных гор, его окружающих, бедуинов в старой библейской одежде, показывающихся у стен его (для разбойничества), и проч., а на вопрос мой: какова там жизнь людей, отвечал почти с досадой: "Что жизнь! Не об ней там думается". Это была моя последняя беседа с чудною личностью, украсившею вместе с Белинским, Герценом, Грановским и другими мою молодость. Подходя к дому Толстого на возвратном пути и прощаясь с ним, я услыхал от него трогательную просьбу сберечь о нем доброе мнение и поратовать о том же между партией, "к которой принадлежите"... Провожая меня из своей квартиры, Гоголь, на пороге ее, сказал мне взволнованным голосом: "Не думайте обо мне дурного и защищайте перед своими друзьями, прошу вас: я дорожу их мнением".

Незадолго до смерти, в сентябре 1851 г., вскоре после визита А., Гоголь просил М. П. Погодина поделиться с А. материалами и воспоминаниями об А. С. Пушкине: "Если найдешь возможным удовлетворить, то по мере сил удовлетвори, а особенно покажи ему старину, авось-либо твое собрание внушит уважение этим господам, до излишества живущим в Европе".

27 октября 1874 г. А. писал редактору "Вестника Европы" Михаилу Матвеевичу Стасюлевичу (1826-1911): "Я все держусь, - и не без причины, того мнения, что в первую пору своего развития Гоголь был совсем свободным человеком, искусно пробивавшим себе дорогу, а то, что кажется в нем порывами в иной мир, чем действительный, должно считать не более как маленьким, невинным плутовством, отводившим глаза и потешавшим людей, иначе настроенных, чем он. Мистическим субъектом он сделался вполне только тогда, когда успехи его внушили ему идею об особенном его призвании на Руси, не просто литературном, а реформаторском. Тогда он и заговорил с друзьями языком ветхозаветного пророка".

"АРАБЕСКИ", сборник статей и повестей Гоголя. Полное название: "Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя" (СПб., 1835). Цензурное разрешение сборника - 10 ноября 1834 г. Выход в свет - 20-22 января 1835 г. А. состоял из двух частей. В 1-ю часть вошли: "Скульптура, живопись и музыка"; "О средних веках"; "Глава из исторического романа"; "О преподавании всеобщей истории"; "Портрет"; "Взгляд на составление Малороссии"; "Несколько слов о Пушкине"; "Об архитектуре нынешнего времени"; "Ал-Мамун". Во 2-ю часть вошли:

"Жизнь"; "Шлецер, Миллер и Гердер"; "Невский проспект"; "О малороссийских песнях"; "Мысли о географии"; "Последний день Помпеи"; "Пленник"; "О движении народов в конце V века"; "Записки сумасшедшего".

"Арабески" - это арабские узоры, представляющие собой соединение разнородных элементов. Гоголевский сборник объединил статьи, посвященные истории, географии, литературе и искусству, а также повести петербургской тематики. В предисловии к А. Гоголь подчеркивал: "Собрание это составляют пьесы, писанные мною в разные эпохи моей жизни. Я не писал их по заказу. Они высказывались от души, и предметом избирал я только то, что сильно меня поражало. Между ними читатели, без сомнения, найдут много молодого. Признаюсь, некоторых пьес я бы, может быть, не допустил вовсе в это собрание, если бы издавал его годом прежде, когда я был более строг к своим старым трудам. Но вместо того, чтобы строго судить свое прошедшее, гораздо лучше быть неумолимым к своим занятиям настоящим. Истреблять прежде написанное нами, кажется, также несправедливо, как позабывать минувшие дни своей юности. Притом если сочинение заключает в себе две, три еще не сказанные истины, то уже автор не вправе скрывать его от читателя, и за две, три верные мысли можно простить несовершенство целого".

Впервые Гоголь упомянул А. в письмах М. П. Погодину от 2 ноября и 14 декабря 1834 г.: "...страшно занят... печатаю кое-какие вещи!" и "Печатаю я всякую всячину. Все сочинения и отрывки, и мысли, которые меня иногда занимали. Между ними есть и исторические, известные уже и неизвестные. - Я прошу только тебя глядеть на них поснисходительнее. В них много есть молодого".

В начале января 1835 г. Гоголь послал предисловие к А. А. С. Пушкину: "Я посылаю вам предисловие. Сделайте милость, просмотрите и если что, то поправьте и перемените тут же чернилами. Я ведь, сколько вам известно, сурьезных предисловий еще не писал, и потому в этом деле совершенно неопытен". Неизвестно, внес ли Пушкин какую-либо правку в текст своего младшего собрата по литературе.

22 января 1835 г. Гоголь послал экземпляр А. А. С. Пушкину, отметив в письме: "Вычитайте... и сделайте милость, возьмите карандаш в ваши ручки и никак не останавливайте негодование при виде ошибок, но тот же час их всех на лицо. - Мне это очень нужно". В тот же день экземпляры А. были посланы М. П. Погодину и М. А. Максимовичу. М. П. Погодину Гоголь писал: "Посылаю тебе всякую всячину мою. Погладь ее и потрепли: в ней очень много есть детского, и я поскорее ее старался выбросить в свет, чтобы вместе с тем выбросить из моей конторки всё старое, и, стряхнувшись, начать новую жизнь. Изъяви свое мнение об исторических статьях в каком-нибудь журнале. Лучше и приличнее, я думаю, в журнале просвещения. Твое слово мне поможет. Потому что и у меня, кажется, завелись какие-то ученые неприятели. Но ёб их мать!" М. А. Максимовичу Гоголь сообщал: "Посылаю тебе сумбур, смесь всего, кашу, в которой есть ли масло, суди сам".

В. Г. Белинский в статье "О русской повести и повестях г. Гоголя" (1835) невысоко оценил статьи А., посвященные истории: "Я не понимаю, как можно так необдуманно компрометировать свое литературное имя. Неужели перевести,

или, лучше сказать, перефразировать и перепародировать некоторые места из истории Миллера, перемешать их с своими фразами, значит написать ученую статью?.. Неужели детские мечтания об архитектуре - ученость?.. Неужели сравнение Шлецера, Миллера и Гердера, ни в каком случае не идущих в сравнение, тоже ученость?.." Коммерческого успеха А. не имели. В связи с этим Гоголь 23 марта 1835 г. писал М. П. Погодину: "...Пожалуста, напечатай в Московских Ведомостях объявление об Арабесках, что сия книга возбудила всеобщее любопытство, что расход на нее страшный (NB, до сих пор ни гроша барыша не получено) и тому подобное". 7 октября 1835 г. Гоголь жаловался А. С. Пушкину: "Мои ни "Арабески", ни "Миргород" не идут совершенно. Чорт их знает, что это значит. Книгопродавцы такой народ, которых без всякой совести можно повесить на первом дереве". Впоследствии большинство произведений, вошедших в А., Гоголь ценил не слишком высоко. 16 (28) ноября 1836 г. он писал из Парижа М. П. Погодину: "Мне страшно вспомнить обо всех моих мараньях. Они в роде грозных обвинителей являются глазам моим. Забвенья, долгого забвенья просит душа. И если бы появилась такая моль, которая бы съела внезапно все экземпляры "Ревизора", а с ними "Арабески", "Вечера" и всю прочую чепуху, и обо мне, в течение долгого времени, ни печатно, ни изустно не произносил никто ни слова, - я бы благодарил судьбу. Одна только слава по смерти (для которой, увы! не сделал я до сих пор ничего) знакома душе неподдельного поэта. А современная слава не стоит копейки". В статье "Русская литература в 1841 году" В. Г. Белинский отмечал, что в А. "Гоголь от веселого комизма переходит к "юмору", который у него состоит в противоположности созерцания истинной жизни, в противоположности идеала жизни - с действительностию жизни. И потому его юмор смешит уже только простяков или детей; люди, заглянувшие в глубь жизни, смотрят на его картины с грустным раздумьем, с тяжкою тоскою... Из-за этих чудовищных и безобразных лиц им видятся другие, благообразные лики; эта грязная действительность наводит их на созерцание идеальной действительности, и то, что есть, яснее представляет им то, что бы должно быть..."

БАЗИЛИ Константин Михайлович (1809-1884), товарищ Гоголя по нежинской гимназии, грек по происхождению, дипломат, историк, публицист. В 1844-1853 гг. был русским генеральным консулом в Сирии и Палестине.

Б. оставил нам описания театральных постановок, устраивавшихся воспитанниками нежинского лицея: "Театральные представления давались на праздниках. Мы с Гоголем и Романовичем сами рисовали декорации. Одна из рекреационных зал (они именовались у нас музеями) представляла все удобства для устройства театра. Зрителями были, кроме наших наставников, соседние помещики и военные расположенной в Нежине дивизии. В их числе помню генералов: Дибича (брата фельдмаршала), Столыпина, Эммануеля. Все были в восторге от наших представлений, которые одушевляли мертвенный уездный городок и доставляли некоторое развлечение случайному его обществу. Играли мы трагедии Озерова "Эдип" и "Фингал", водевили, какую-то малороссийскую пьесу, сочиненную тогда же Гоголем (отцом писателя. - Б. С.), от которой публика надрывалась со смеху. Но удачнее всего давалась у нас комедия фон-

Визина "Недоросль". Видал я эту пьесу и в Москве, и в Петербурге, но сохранил всегда то убеждение, что ни одной актрисе не удавалась роль Простаковой так хорошо, как играл эту роль шестнадцатилетний тогда Гоголь. Не менее удачно пятнадцатилетний тогда Нестор Кукольник, худощавый и длинный, играл Недоросля, а Данилевский - Софью. Благодаря моей необыкновенной в то время памяти доставались мне самые длинные роли, Стародума, Эдипа и другие".

По свидетельству Б., "в 1825, 26, 27 годах наш литературный кружок стал издавать свои журналы и альманахи, разумеется, рукописные. Вдвоем с Гоголем, лучшим моим приятелем, хотя и не обходилось дело без ссор и без драки, потому что оба были запальчивы, издавали мы ежемесячный журнал (он назывался "Северная Заря". - Б. С.) страниц в пятьдесят и шестьдесят в желтой обертке с виньетками нашего изделия, со всеми притязаниями дельного литературного обозрения. В нем были отделы беллетристики, разборы современных лучших произведений русской литературы, была и местная критика, в которой преимущественно Гоголь поднимал на смех наших преподавателей под вымышленными именами. Нестор Кукольник издавал также свой журнал, в котором помещал первые опыты своих драматических произведений. По воскресеньям собирался наш кружок, человек 15-20 старшего возраста, и читались наши труды, и шли толки и споры".

Б. оценивал уровень преподавания в Нежинской гимназии весьма невысоко: "Научное и литературное воспитание наше делалось, можно сказать, самоучкою... Профессор словесности Никольский (Парфений Иванович Никольский (1782-1851). - Б. С.) о древних и о западных литературах не имел никакого понятия. В русской литературе он восхищался Херасковым и Сумароковым; Озерова, Батюшкова и Жуковского находил не довольно классическими, а язык и мысли Пушкина тривиальными, сознавая, впрочем, некоторую гармонию в его стихах.. Шалуны товарищи в пятом и шестом классах, обязанные еженедельно данью стихотворения, переписывали, бывало, из журналов и альманахов мелкие стихотворения Пушкина, Языкова, кн. Вяземского и представляли профессору за свои, хорошо зная, что он современною литературою вовсе не занимался. Профессор торжественно подвергал строгой критике стихотворения эти, изъявлял сожаление, что стих был гладок, а толку мало: "Ода не ода, говорил он, - элегия не элегия, а черт знает что"; затем начинал поправлять. Помнится, и "Демон" Пушкина был переправлен и переделан на лад профессора нашего, к неописанному веселию всего класса. Презрение к новой литературе и происходящее отсюда невежество в этой области простирались у Никольского до того, что однажды он попал в очень забавный просак, подписав, после многих помарок, на поданном ему Гребенкою (Евгением Павловичем Гребенкою (1812-1848). - Б. С.), впоследствии известным писателем, вместо своего - стихотворении Козлова "Вечерний звон": "Изрядненонько". Другой раз, подобным же образом введенный в обман, он одобрил описание весны из "Евгения Онегина", не подозревая, что стихотворение было написано глубоко презираемым им Пушкиным".

Весной 1848 г. Б. сопровождал Гоголя во время путешествия в Палестину. Сохранилось описание этого путешествия Гоголем в изложении Л. И. Арнольди:

"Природа в Палестине не похожа нисколько на все то, что мы видели; но тем не менее поражает своим великолепием, своею шириною. А Мертвое море - что за прелесть! Я ехал с Базили, он был моим путеводителем. Когда мы оставили море, он взял с меня слово, чтоб я не смотрел назад прежде, чем он мне не скажет. Четыре часа продолжали мы наше путешествие от самого берега, в степях, и точно шли по ровному месту, а между тем незаметно мы поднимались в гору; я уставал, сердился, но все-таки сдержал слово и ни разу не оглянулся. Наконец Базили остановился и велел мне посмотреть на пройденное нами пространство. Я так и ахнул от удивления. На несколько десятков верст тянулась степь все под гору; ни одного деревца, ни одного кустарника, все ровная, широкая степь; у подошвы этой степи или, лучше сказать, горы, виднелось Мертвое море, а за ним прямо, и направо, и налево, со всех сторон опять то же раздолье, опять та же гладкая степь, поднимающаяся со всех сторон в гору. Не могу описать, как хорошо было это море при захождении солнца. Вода в нем не синяя, не зеленая и не голубая, а фиолетовая. На этом далеком пространстве не было видно никаких неровностей у берегов; оно было правильно-овальное и имело совершенный вид большой чаши, наполненной какой-то фиолетовой жидкостью".

Гоголь высоко оценил путевые записки Б. В письме к В. А. Жуковскому из Иерусалима 16/28 февраля 1848 г. он отмечал: "Базили просит передать тебе свой поклон. Он написал преудивительную вещь, которая покажет Европе Восток в его настоящем виде, под заглавием: "Сирия и Палестина". Знания бездна, интерес силен. Я не знаю никакой книги, которая бы так давала знать читателю существо края". Эта работа, полное название которой "Сирия и Палестина под турецким правительством, в историческом и политическом отношениях", была издана только в 1861-1862 гг.

5 июня 1849 г. Гоголь писал Б. в связи со смертью его жены, Маргариты Александровны Базили, последовавшей еще 8 ноября 1848 г.: "Милый друг Константин Михайлович! Всё собирался писать к тебе, как вдруг поразила меня весть о горе, тебя поразившем. Мысль писать в бессилии остановилась. Я измерял пред собою великость твоей утраты и видел, что никакое слово мое, никакое участие кого бы то ни было, кроме разве Того, Кто посетил тебя, не в силах было принесть утешения. Близость твоя от Святых Мест меня успокаивала много. Теперь, как только представился случай к отправлению письма в Константинополь, пишу к тебе. Теперь горе твое немного утихло. Теперь ты больше расположен внимать словам участья, но и теперь ничего не умею сказать, кроме того, что утрата твоя велика и что по этой самой причине вечно следует благодарить Бога за мгновенное владение утраченным даяньем. Воспоминанье о нем остается нам в украшенье всей последующей жизни. В немногие дни нашего пребыванья в Байруте я искренно полюбил покойницу. И мне казалось, что лучше подруги тебе нельзя было избрать в мире. Никто, кроме ее, не мог быть тебе так нужен и необходим в этом крае, где не всякой европейской обитательнице захотелось бы жить. Милый друг! Вся жизнь наша должна быть благодарность. Благодарность, а не другое что. Тогда вся жизнь наша будет прекрасна. Ты меня много, много обяжешь, если напишешь о себе, о состояньи души своей. Хотел бы я еще просить тебя, просить описать мне

последние минуты ее. Но не знаю, будет ли это возможно, не наполнит ли это тебя грустью, не опечалит ли сердца! О себе особенно замечательного не могу покуда ничего сказать, кроме того, что зиму провел довольно хорошо. Весной заболел, но теперь опять поправляюсь. Голова еще не в таком состоянии, чтоб светло заняться делом, но времени не пропускаю, от дела не бегаю и запасаюсь материалом для будущей работы. Теперь нужно быть очень умным и осмотрительным, чтобы быть в состояньи сказать даже и не весьма умное слово. Время беспутное и сумасшедшее. То и дело, что щупаешь собственную голову, не рехнулся ли сам. Делаются такие вещи, что кружится голова, особенно когда видишь, как законные власти сами стараются себя подорвать и подкапываются под собственный свой фундамент. Разномыслие и несогласие во всей силе. Соединяются только проповедники разрушения. Где только дело касается созданья и устройства, там раздор, нерешительность, опрометчивость. И до сих пор еще не догадались, что следует призвать Того, Кто один строитель порядка!"

БАЛАБИНА Мария Петровна (1820-1901), дочь отставного генерал-майора отдельного корпуса жандармов Петра Ивановича Балабина (1776-1855) и его жены Варвары Осиповны, в семье которых Гоголь давал уроки в 1831 г. Впоследствии вышла замуж за инженера Вагнера.

Гоголь в письме Б. 12 октября н. ст. 1836 г. составил специально для нее шутливый очерк "Путешествие из Лозанны в Веве": "...Я решаюсь описать вам путешествие мое в Веве, во-первых потому что я очень благовоспитанный кавалер, а во-вторых потому, что предметы так интересны, что мне было бы грех не писать о них. Простившись с вами, что, как вы помните, было на исходе 1-го часа, я отправился в hotel du faucon (гостиницу сокола (фр.). Б. С.) обедать. Обедало нас три человека. Я посереди, с одной стороны почтенный старик-француз с перевязанною рукою, с орденом, а с другой стороны почтенная дама, жена его. Подали нам суп с вермишелями. Когда мы все трое суп откушали, подали нам вот какие блюда: говядину отварную, котлеты бараньи, вареный картофель, шпинат со шпигованной телятиной и рыбу средней величины к белому соусу. Когда я откушал картофель, который я весьма люблю, особливо когда он хорошо сварен, француз, который сидел возле меня, обратившись ко мне, сказал: "Милостивый государь", или нет, я позабыл, он не говорил: "Милостивый государь", он сказал: "Monsieur, je vous servis (Милостивый государь, потчую вас... (фр.) - Б. С.) этою говядиною. Это очень хорошая говядина", на что я сказал: "Да, действительно, это очень хорошая говядина". Потом, когда приняли говядину, я сказал: "Monsieur, позвольте вас попотчевать бараньей котлеткой". На что он сказал с большим удовольствием: "Я возьму котлетку, тем более, что кажется, хорошая котлетка"... Потом приняли и котлетку и поставили вот какие блюда: жаркое цыпленка, потом другое жаркое, баранью ногу, потом поросенка, потом пирожное, компот с грушами, потом другое пирожное с рисом и яблоками. Как только мне переменили тарелку и я ее вытер салфеткой, француз, сосед мой, попотчевал меня цыпленком, сказавши: "puis-je vous offrir (могу я вам предложить (фр.). - Б. С.) цыпленка?" На что я сказал "je vous demahde pardon, monsieur (прошу прощения, милостивый

государь (фр.). - Б. С.). Я не хочу цыпленка, я очень огорчен, что не могу взять цыпленка. Я лучше возьму кусок бараньей ноги, потому что я баранью ногу предпочитаю цыпленку". На что он сказал, что он точно знал многих людей, которые предпочитали баранью ногу цыпленку. Потом, когда откушали жаркого, француз, сосед мой, предложил мне компот из груш, сказавши: "Я вам советую, Monsieur, взять этого компота. Это очень хороший компот". "Да, - сказал я, - это точно очень хороший компот. Но я едал (продолжал я) компот, который приготовляли собственные ручки княжны Варвары Николаевны Репниной и которого можно назвать королем компотов и главнокомандующим всех пирожных". На что он сказал: "Я не едал этого компота, но сужу по всему, что он должен быть хорош, ибо мой дедушка был тоже главнокомандующий". На что я сказал: "Очень жалею, что не был знаком лично с вашим дедушкою". На что он сказал: "Не стоит благодарностью". Потом приняли блюда и поставили десерт, но я, боясь опоздать к дилижансу, попросил позволения оставить стол: на что француз, сосед мой, отвечал очень учтиво, что он не находит с своей стороны никакого препятствия. Тогда я, взаливши шинель на левую руку, а в правую взявши дорожную портфель с белою бумагою и разною собственноручною дрянью, отправился на почту. Дорога от Фокона до почты вам совершенно известна, и потому я не берусь ее описывать. Притом вы сами знаете, что предметов, которые бы слишком поразили воображение, на ней очень, очень немного. Когда я пришел к дилижансу, то увидел, к крайнему своему изумлению, что внутри кареты всё было почти занято, оставалось одно только место в середине. Сидевшие дамы и мужчины были люди очень почтенные, но несколько толстые и потому я минуту предался размышлению. Хотя и, подумал я, мне здесь не будет холодно, если я усядусь посередине, но так как я человек субтильный и тщедушный, то весьма может быть, что они из меня сделают лепешку, покамест я доеду до Веве. Это обстоятельство заставило меня взять место наверху кареты. Место мое было так широко и покойно, что нашел приличным положить вместе с собою и мои ноги, за что, к величайшему моему изумлению, не взяли с меня ничего и не прибавили платы, что заставило меня думать, что мои ноги очень легки. Таким образом, поместившись лежа на карете, я начал рассматривать все бывшие по сторонам виды. Горы чрезвычайно хороши, и почти ни одной не было такой, которая бы шла вниз, но все вверх. Это меня так изумило, что я уже и перестал смотреть и на другие виды; но более всего поразил меня гороховый фрак сидевшего со мною кондуктора. Я так углубился в размышления, отчего одна половина его была темнее, а другая светлее, что и не заметил, как доехал до Веве. Мне так понравилось мое место, что я хотел еще и больше полежать наверху кареты, то кондуктор сказал, что пора сойти. На что я сказал, что я готов с большим удовольствием. "Так пожалуйте мне вашу ручку!" - сказал он. "Извольте", - отвечал я. С кареты сходил я сначала левою ногою, а потом правою. Но к величайшему прискорбию вашему (потому что я знаю, что вы любите подробности) не помню, на которую спицу колеса ступал я ногою - на третию или на четвертую. Если хорошо припомнить все обстоятельства, то кажется - на третию, но опять если рассмотреть с другой стороны, то представляется как будто на четвертую. Впрочем, я вам советую немедленно теперь же послать за кондуктором; он

верно должен знать, и чем скорее, тем лучше, потому что если он выспится, то забудет. По сошествии с кареты отправился я по набережной встречать пароход. Это путешествие могло бы доставить очень много пользы особенно для молодых людей и, вероятно, развило бы прекрасно их способности, если б не было слишком коротко, ибо оно продолжалось никак не больше одной минуты с половиною. Из пассажиров, бывших на пароходе, не оказалось ни одной физиономии русской даже такой, на которой бы выстроен был хотя немецкий город. Выгружались три дамы, Бог знает какого происхождения, два кельнера и три энглиша с такими длинными ногами, что насилу могли выйти из лодки. Вышедши из лодки, они сказали гопш и пошли искать table d'hote (общий обеденный стол (фр.). - Б. С.). Потом я пошел к себе в комнату, где сначала сидел на одном диване, потом пересел на другой, но нашел, что это всё равно и что ежели два равные дивана, то на них решительно сидеть одинаково. Здесь оканчивается путешествие. Всё прочее, что было, всё было не замечательно".

Весной 1837 г. Гоголь встретил Б. в Италии и показывал ей достопримечательности Рима. 15 марта н. ст. 1838 г. Гоголь направил из "вечного города" шуточное письмо по-итальянски Б., годом раньше покинувшей Италию: "Скажите-ка, моя многоуважаемая синьора, что это значит? Молчите, ничего не говорите, ничего не пишете... Можно ли так поступать! Или вы забыли, что обязаны написать мне три письма, обширных и длинных, как плащи бернардинцев, три письма, полные клеветы, которая, по-моему, вещь на свете необходимая, три письма, написанные самым мелким почерком, вашей собственной рукой. Но, быть может, вы так наслаждаетесь прелестями и красотами вашего нежного климата (который заставляет всех на свете дрожать с головы до ног), что не хотите, чтоб что-нибудь отвлекало вас. Или вы слишком заняты вашей известнейшей коллекцией мраморов, древних камей и многими, многими вещами, которые ваша милость честно похитила в Риме (ведь после Аттилы и Гензериха никто так не грабил вечный город, как блистательнейшая русская синьора Мария Петровна). Или вы... Но не могу найти больше причин, чтоб извинить вас. О, моя дорогая синьорина, бросьте за окно ваш Петербург, суровый, как альпийский дуб, и приезжайте сюда. Будь я на вашем месте, я бы сейчас же удрал. Если бы вы знали, какая здесь чудная зима. Воздух так нежен, нежнее риса по-милански, который вы частенько ели в Риме, а небо, о Боже, как прекрасно небо! Оно ясно, ясно как глаза... как жаль, что у вас не голубые глаза, чтоб сравнить! но вашу душу оно все же напоминает и подобно ей весь день безоблачно. Вы же знаете лучше меня, что вся Италия - лакомый кусок, и я пью до боли в горле ее целительный воздух, так что для других Форестьеров (иностранцев. - Б. С.) ничего не остается. Представьте себе, мне часто мнится, что вижу вас идущей по римским улицам держа Ниббия в одной руке, а в другой какую-нибудь священнейшую древность, найденную по дороге, черную и грязную, как уголь, для переноски которой требуется сила по крайней мере Геркулеса. Быть может, вам так же точно представляется мой длинный, похожий на птичий, нос (о сладостная надежда!). Но оставим нос в покое; это - материя тонкая и, говоря о ней, легко остаться с носом. Вернемся же к делу: не нахожу чего-либо нового, чтобы вам описать; как вам самой известно, новизна не свойственна Риму, здесь всё древнее: Рим, папа, церкви, картины. Мне кажется,

новизна изобретена теми, кто скучает, но вы же знаете сами, что никто не может соскучиться в Риме, кроме тех, у кого душа холодна, как у жителей Петербурга, в особенности у его чиновников, бесчисленных, как песок морской. Здесь всё пребывает в добром здравии: Сан-Пиетро, Монте-Пинчо, Колисей и много других ваших друзей шлют вам привет. Пьяцца Барберини также нижайше вам кланяется. Бедняжка! она теперь совсем пустынна; лишь покрытые мохом безносые тритоны, как обычно, извергают все время вверх воду, оплакивая привычку прекрасной северной синьоры, которая часто слушала у окна их меланхолический ропот и часто принимала его за шум дождя. Козы и скульпторы прогуливаются, синьора, по улице Феличе, где моя комната (№ 126, верхний этаж); кстати о козах: синьор Мейер теперь в счет не идет, влюблен, как кот, и мяукает потихоньку, чтоб его не услышали. В остальном всё как обычно: все в гневе, что вы ничего не пишите. Колисей очень настроен против вашей милости. Из-за этого я к нему не иду, так как он всегда спрашивает: "Скажите-ка мне, дорогой человечище (он всегда зовет меня так), что делает сейчас моя дама синьора Мария? Она поклялась на алтаре любить меня вечно, а между тем молчит и не хочет меня знать, скажите, что же это?" - и я отвечаю "не знаю", а он говорит: "Скажите, почему она больше меня не любит?" - и я отвечаю: "Вы слишком стары, синьор Колисей". А он, услышав эти слова, хмурит брови, его лоб делается гневным и суровым, а его трещины - это морщины старости - кажутся мне тогда мрачными и угрожающими, так что я испытываю страх и ухожу испуганный. Пожалуйста, моя светлейшая синьора, не забывайте ваше обещание: пишите! доставите нам большое удовольствие. Тени Ромула, Сципиона, Августа, все вам за это будут признательны, а я больше всех. До свидания, моя многоуважаемая синьора, ваш слуга до гроба Николай Гоголь".

7 ноября н. ст. 1838 г. Гоголь писал Б. из Рима: "Я рад очень, что Петербург для вас становится сносен; по крайней мере, вы находите теперь развлечения, которые вас занимают. Ваше описание железной дороги и поездки по ней очень живо; стало быть, вам было весело; стало быть, вы были довольны, и, признаюсь, сказать вам нужно втайне и по секрету, я крепко завидовал вам. Всё-таки сердце у меня русское. Хотя при виде, то есть мысли о Петербурге, мороз проходит по моей коже, и кожа моя проникается насквозь страшною сыростью и туманною атмосферою, но хотелось бы мне сильно прокатиться по железной дороге и услышать это смешение слов и речей нашего вавилонского народонаселения в вагонах. Здесь много можно узнать того, чего не узнаешь обыкновенным порядком. Здесь бы, может быть, я бы рассердился вновь - и очень сильно - на мою любезную Россию, к которой гневное расположение мое начинает уже ослабевать, а без гнева - вы знаете - немного можно сказать: только рассердившись, говорится правда. Когда я был в школе и был юношей, я был очень самолюбив (не в том смысле самолюбив); мне хотелось смертельно знать, что обо мне говорят и думают другие. Мне казалось, что всё то, что мне говорили, было не то, что обо мне думали. Я нарочно старался завести ссору с моим товарищем, и тот, натурально в сердцах, высказывал мне всё то, что во мне было дурного. Мне этого только и было нужно; я уже бывал совершенно доволен, узнавши всё о себе... В Риме завелось очень много новостей. Здесь происходят совершенные романы и совершенно во вкусе средних веков Италии.

Первый роман... но героини его вам известны. Это ваши приятельницы, девицы Конти, которые, как вам известно, очень плотны и толсты и потому не любят ходить совершенно alla moda, и которые всегда жаловались на самодержавие своей матушки, не пускавшей их всякий день в церковь Св. Петра, когда очень много форестьеров. Итак, девицы Конти влюбились страшным образом в двух жандармов; но так как, по причине того же самого самодержавного правления своей матушки, они не могли видеть часто своих любовников, то (средство, как вы увидите, очень оригинальное) они решились задавать матушке каждый день в известное время добрый прием опиума и в продолжение того времени, как матушка спала, впускали к себе своих жандармов. Один раз матушка еще не успела совершенно вздремнуть, одна из этих героинь - которая именно, не помню, - сгорая нетерпением видеть своего жандарма, полезла к ней под подушку доставать ключи. Мать проснулась и с этих пор усилила присмотр, а дочки решились усилить прием опиума. Старуха никак не могла понять, отчего у ней кружится голова. Приемы опиума, видно, были довольно велики. Она давно уже подозревала, что дочери что-то с ней делают, и решилась один раз прикинуться спящею. Дочери вели преспокойно в своей комнате беседу с своими любовниками, как вдруг стучат в дверь, и голос матери приказывает им отворить. Дочери спрятали их как могли, но, по расстроенному и испуганному их виду, мать догадалась, что в комнате что-нибудь есть, начала искать, искать и вытащила из шкапа обоих жандармов. Выгнавши жандармов, мать заперла дочерей. Но дочери скоро нашли случай уйти и убежали в монастырь. Оттуда они написали письмо к одному монсиньору, их опекуну, жалуясь на деспотизм своей матери и требуя, чтоб их выдали замуж за жандармов. Монсиньор изъявил свое разрешение, и теперь обе Конти - супруги; живут и питаются решительно одною любовью, потому что у жандармов нет ни копейки, а мать, с своей стороны, не хочет дать ни меццобайока. Другой роман. Один из фамилии Дориев влюбился до безумия в одну девушку сироту хорошей, впрочем, фамилии, а главное - прекрасную собою. Всё дело было между нами улажено, и через неделю свадьба, как вдруг Дорий получает известия, заставляющие его ехать в Геную. Он просит свою невесту переехать на время в монастырь, потому что он не желал бы ее видеть до тех пор в свете. Уезжает в Геную; оттуда пишет письмо, довольно страстное; жалуется на обстоятельства, которые заставляют его пробыть немного долее; описывает ей великолепие своего генуэзского дворца и приуготовления, которые он делает к принятию ее. Из Генуи Дорий поехал в Париж и оттуда написал письмо, менее страстное, и наконец уведомил ее, что свадьба не может между ними состояться, что она должна позабыть его, что дядя не соглашается на этот союз. Бедная невеста не сказала ни слова на это, никаких укоризн, но через пять дней умерла. Тело ее было выставлено в одной из римских церквей. Она и мертвая была прекрасна. Третий роман тоже с Дорием, другим. Но не хочу более сплетничать. Вы знаете, без сомнения, из газет, потому что он был публикован. В Риме шумно более, нежели сколько бы желалось".

30 мая н. ст. 1839 г. Гоголь сообщал Б. из Рима: "Увы! я пишу к вам... под влиянием книги, которую теперь читаю... Печальны и грустно-красноречивы ее страницы. Я провожу теперь бессонные ночи у одра больного, умирающего

моего друга Иосифа Вельгорского. Вы, без сомнения, о нем слышали, может быть, даже видели его иногда; но вы, без сомнения, не знали ни прекрасной души его, ни прекрасных чувств его, ни его сильного, слишком твердого для молодых лет характера, ни необыкновенного основательностью ума его; и всё это - добыча неумолимой смерти; и не спасут его ни молодые лета, ни права на жизнь, без сомнения, прекрасную и полезную! Я живу теперь его умирающими днями, ловлю минуты его. Его улыбка или на мгновение развеселившийся вид уже для меня эпоха, уже происшествие в моем однообразно проходящем дне... Бедный мой Иосиф! один единственно прекрасный и возвышенно благородный из ваших петербургских молодых людей, и тот!.. Клянусь, непостижимо странна судьба всего хорошего у нас в России! Едва только оно успеет показаться - и тот же час смерть! безжалостная, неумолимая смерть! Я ни во что теперь не верю, и если встречаю что прекрасное, тотчас же жмурю глаза и стараюсь не глядеть на него. От него несет мне запахом могилы. "Оно на короткий миг", шепчет глухо внятный мне голос. "Оно дается для того, чтобы существовала при нем вечная тоска сожаления, чтобы глубоко и болезненно крушилась по нем душа" . Кстати о прекрасном. Когда я думал об вас (я об вас часто думаю и особенно о вашей будущей судьбе), я думал: "Кому-то вы достанетесь? Постигнет ли он вас и доставит ли вам счастие, которого вы так достойны?" Я перебирал всех молодых людей в Петербурге: тот просто глуп, другой получил какую-то несчастную крупицу ума и зато уже хочет высказать ее всему свету; тот ни глуп, ни умен, но бездушен, как сам Петербург. Один был человек, на котором я остановил взгляд - и этот человек готовится не существовать более в мире... Вы извините, что я пустился быть вашей свахой, что называется иначе кума. Мое мысленное сватовство, как вы видите, неудачно... Я вам всё говорю, я не хитрю с вами, не таю от вас моих мыслей. Делайте и вы так со мною... Вы не поверите, как грустно оставить на один месяц Рим и мои ясные, мои чистые небеса, мою красавицу, мою ненаглядную землю. Опять я увижу эту подлую Германию, гадкую, запачканную и закопченную табачищем... Но я позабыл, что вы ее так любите, и чуть было не сказал еще несколько приличных ей эпитетов. Впрочем, совершенно не понимаю вашей страсти. Или, может быть, для этого нужно жить в Петербурге, чтобы почувствовать, что Германия хороша? И как вам не совестно! Вы, которая так восхищались в письме Шекспиром, этим глубоким, ясным, отражающим в себе, как в верном зеркале, весь огромный мир и всё, что составляет человека, и вы, читая его, можете в то же время думать о немецкой дымной путанице! И можно ли сказать, что всякий немец есть Шиллер?! Я согласен, что он Шиллер, но только тот Шиллер, о котором вы можете узнать, если будете когда-нибудь иметь терпение прочесть мою повесть "Невский проспект". По мне, Германия есть не что другое, как самая неблаговонная отрыжка гадчайшего табаку и мерзейшего пива. Извините маленькую неприятность этого выражения. Что ж делать, если предмет сам неопрятен, несмотря на то, что немцы издавна славятся опрятностью?" Не исключено, что негативный стереотип Германии сложился у Гоголя под влиянием не только поездок в немецкие земли, но и неудачи его поэмы "Ганц Кюхельгартен", отразившей юношеское восхищение германским романтизмом.

Уже в следующем письме Б., 5 сентября н. ст. 1839 г. из Вены, Гоголь

признавался: "Я вспомнил мои прежние, мои прекрасные года, мою юность, мою невозвратимую юность и, мне стыдно признаться, я чуть не заплакал. Это было время свежести... молодых сил и порыва чистого, как звук, произведенный верным смычком. Это были лета поэзии, в это время я любил немцев, не зная их, или может быть, я смешивал немецкую ученость, немецкую философию и литературу с немцами. Как бы то ни было, но немецкая поэзия далеко уносила меня тогда в даль, и мне нравилось тогда ее совершенное отдаление от жизни и существенности. И я гораздо презрительней глядел тогда на всё обыкновенное и повседневное. Доныне я люблю тех немцев, которых создало тогда воображение мое. Но оставим это. Я не люблю, мне тяжело будить ржавеющие струны во глубине моего сердца". Последняя встреча Гоголя с Б. произошла в Шлангенбаде в июле 1844 г.

БЕЛИНСКИЙ Виссарион Григорьевич (1810-1848), ведущий литературный критик "Отечественных записок", чрезвычайно высоко оценивавший творчество Гоголя. Б. был одним из наиболее активных проповедников западных либеральных ценностей в современной ему России, выступая против самодержавия и крепостного права.

По воспоминаниям И. И. Панаева, "Белинский был в энтузиазме от Гоголя как писателя - это всем известно, но как с человеком он никогда не мог сойтись с ним близко. Гоголь был слишком сосредоточен в самом себе и к тому же, по мере своей известности, начинал приобретать постепенно неприступность авторитета, все более и более сближаясь с другими литературными и светскими авторитетами. Открытый и искренний по натуре Белинский не терпел никакой напыщенности, натянутости и признавался, что ему всегда бывало немного тяжеловато в присутствии Гоголя. Малороссийские устные рассказы Гоголя и его чтение (известно, что он был удивительный чтец и превосходный рассказчик) производили на Белинского сильное впечатление. В то время Гоголь еще нередко позволял себе одушевляться в кругу своих старых несветских товарищей и приятелей и, приготовляя сам в их кухне итальянские макароны, до которых был величайший охотник, тешил их своими рассказами".

В первой статье о гоголевском творчестве, "О русской повести и повестях г. Гоголя ("Арабески" и "Миргород")", опубликованной в №№ 7 и 8 журнала "Телескоп" за 1835 г., Б. утверждал: "Сон есть нечто свободное, но вместе с тем и зависящее от нас. Меланхолику снятся сны страшные, фантастические; флегматик и во сне спит или ест; актер слышит рукоплескания, военный видит битвы, подьячий взятки и т. д. Так и художник выражается в своих созданиях. Герои Байрона - это типы гордости с нечеловеческими страстями, желаниями и страданиями; создание Гофмана фантастические сны и т. д. Очень нетрудно ко всему этому приложить сочинения г. Гоголя, как факты к теории. Я под этим не разумею, чтобы этот поэт был равен Шекспиру, Байрону, Шиллеру и пр. Но здесь вопрос не о степени, не о великости таланта, а о таланте: для гения и таланта одни законы, несмотря на все их неравенство. Скажите, какое впечатление производит на вас каждая повесть г. Гоголя? Не заставляет ли она вас говорить: "Как все это просто, обыкновенно, естественно и верно и, вместе, как оригинально и ново!"... Отличительные черты характера произведений г.

Гоголя суть простота вымысла, совершенная истина жизни, народность, оригинальность - все это черты общие; потом комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния, - черта индивидуальная... Совершенная истина жизни в повестях г. Гоголя тесно соединяется с простотою вымысла. Он не льстит жизни, но и не клевещет на нее; он рад выставить наружу все, что есть в ней прекрасного, человеческого, и в то же время не скрывает нимало и ее безобразия. В том и другом случае он верен жизни до последней степени. Она у него настоящий портрет, в котором все схвачено с удивительным сходством, начиная от экспрессии оригинала до веснушек лица его; начиная от гардероба Ивана Никифоровича до русских мужиков, идущих по Невскому проспекту в сапогах, запачканных известью; от колоссальной физиономии богатыря Бульбы, который не боялся ничего в свете, с люлькою в зубах и саблею в руках, до стоического философа Хомы, который не боялся ничего в свете, даже чертей и ведьм, когда у него люлька в зубах и рюмка в руках..."

10 января 1840 г. Б. писал К. С. Аксакову: "Скажи от меня Гоголю, что я так люблю его, и как поэта, и как человека, что те немногие минуты, в которые я встречался с ним в Питере, были для меня отрадою и отдыхом. В самом деле, мне даже не хотелось и говорить с ним, но его присутствие давало полноту моей душе, и в ту субботу, как я не увидел его у Одоевского, мне было душно среди этих лиц и пустынно среди множества".

В статье "Русская литература в 1841 году", написанной в конце 1841 г. и опубликованной в 1-м номере "Отечественных записок" за 1842 г., Б. утверждал: "Комизм не составляет основного элемента всех сочинений Гоголя. Он разлит преимущественно в "Вечерах на хуторе близ Диканьки". Это комизм веселый, улыбка юноши, приветствующего прекрасный Божий мир. Тут все светло, все блестит радостию и счастием; мрачные духи жизни не смущают тяжелыми предчувствиями юного сердца, трепещущего полнотою жизни. Здесь поэт как бы сам любуется созданными им оригиналами. Однакож эти оригиналы не его выдумка, они смешны не по его прихоти; поэт строго верен в них действительности. И потому всякое лицо говорит и действует у него в сфере своего быта, своего характера и того обстоятельства, под влиянием которого оно находится. И ни одно из них не проговаривается: поэт математически верен действительности и часто рисует комические черты без всякой претензии смешить, но только покоряясь своему инстинкту, своему такту действительности. Смех толпы для него бывает оскорбителен в таких случаях; она смеется там, где надо удивляться тонкой черте действительности, верно и зорко подмеченной, удачно схваченной. В повестях, помещенных в "Арабесках", Гоголь от веселого комизма переходит к "юмору", который у него состоит в противоположности созерцания истинной жизни, в противоположности идеала жизни - с действительностию жизни. И потому его юмор смешит уже только простяков или детей; люди, заглянувшие в глубь жизни, смотрят на его картины с грустным раздумьем, с тяжкою тоскою... Из-за этих чудовищных и безобразных лиц им видятся другие, благообразные лики; эта грязная действительность наводит их на созерцание идеальной действительности, и то, что есть, яснее представляет им то, что бы должно

быть... В "Миргороде" этот юмор особенно проникает собою насквозь дивную повесть о ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем; оканчивая ее, вы от души восклицаете с автором: "Скучно на этом свете, господа!" точно, как будто выходя из дома умалишенных, где с горькою улыбкою смотрели вы на глупости несчастных больных... В этом смысле, комедия Гоголя "Ревизор" стоит всякой трагедии. Что же касается до искусства Гоголя верно списывать с натуры - это из тех бессмысленно пошлых выражений, которые оскорбляют своею нелепостию здравый смысл. Подобная похвала - оскорбление. Гоголь творит верно природе; списывают с природы не живописцы, а маляры, и их списки - чем вернее, тем безжизненнее для всякого, кому неизвестен подлинник. Верность натуре в творениях Гоголя вытекает из его великой творческой силы, знаменует в нем глубокое проникновение в сущность жизни, верный такт, всеобъемлющее чувство действительности. И это уже многие чувствуют, хотя еще и слишком немногие сознают. Теперь все стараются писать верно натуре, все сделались юмористами: таково всегда влияние гениального человека! Новый Коломб, он открывает неизвестную часть мира, и открывает ее для удовлетворения своего беспокойно рвущегося в бесконечность духа; а ловкие антрепренеры стремятся по следам его толпою, в надежде разбогатеть чужим добром!.."

В январе 1842 г. Гоголь встретился с находившимся в Москве Б. и просил передать рукопись "Мертвых душ" в Петербург, в местную цензуру. К рукописи Гоголь приложил письмо к В. Ф. Одоевскому с просьбой сделать все, чтобы с поэмой ознакомился Николай I. Б. выполнил просьбу Гоголя и 20 апреля 1842 г., после того, как стало ясно, что "Мертвые души" благополучно миновали цензуру, писал ему: "Я очень виноват перед вами, не уведомляя вас о ходе данного мне поручения. Главною причиною этого было желание написать вам что-нибудь положительное и верное, хотя бы даже и неприятное. Во всякое другое время ваша рукопись прошла бы без всяких препятствий, особенно тогда, когда вы были в Петербурге. Если бы даже предположить, что ее не пропустили бы, то все же можно наверное сказать, что только в китайской Москве могли поступить с вами, как поступил г. Снегирев (московский цензор Иван Михайлович Снегирев (1793-1868), по совместительству - профессор Московского университета, археолог, фольклорист и этнограф, сначала заверил Гоголя в своем положительном отношении к "Мертвым душам", а потом критиковал рукопись на заседании Московского цензурного комитета. - Б. С.), и что в Петербурге этого не сделал бы даже Петрушка Корсаков (цензор Петр Александрович Корсаков (1790-1844), редактор журнала "Маяк". - Б. С.), хотя он и моралист, и пиэтист. Но теперь дело кончено, и говорить об этом бесполезно. Очень жалею, что "Москвитянин" взял у вас все и что для "Отечественных записок" нет у вас ничего. Я уверен, что это дело судьбы, а не вашей доброй воли или вашего исключительного расположения в пользу "Москвитянина" и к невыгоде "Отечественных записок". Судьба же давно играет странную роль в отношении ко всему, что есть порядочного в русской литературе: она лишает ума Батюшкова, жизни Грибоедова, Пушкина и Лермонтова - и оставляет в добром здоровье Булгарина, Греча и других им подобных негодяев в Петербурге и Москве; она украшает "Москвитянин"

вашими сочинениями и лишает их "Отечественные записки". Я не так самолюбив, чтобы "Отечественные Записки" считать чем-то соответствующим таким великим явлениям в русской литературе, как Грибоедов, Пушкин и Лермонтов; но я далек и от ложной скромности бояться сказать, что "Отечественные Записки" теперь единственный журнал на Руси, в котором находит себе место и убежище честное, благородное и - смею думать - умное мнение, и что "Отечественные Записки" ни в каком случае не могут быть смешиваемы с холопами села Поречья (намек на хвалебную статью о селе Поречье, владении С. С. Уварова, опубликованную в "Москвитянине" в 1841 г. - Б. С.). Но потому-то, видно, им тоже счастье; не изменить же для "Отечественных Записок" судьбе своей роли в отношении к русской литературе! С нетерпением жду выхода ваших "Мертвых Душ". Я не имею о них никакого понятия, мне не удалось слышать ни одного отрывка, чему я, впрочем, и очень рад: знакомые отрывки ослабляют впечатление целого. Недавно в "Отечественных Записках" была обещана статья о "Ревизоре". Думаю, по случаю выхода "Мертвых Душ", написать несколько статей вообще о ваших сочинениях. С особенною любовью хочется мне поговорить о милых мне "Арабесках", тем более, что я виноват перед ними: во время оно я с жестокою запальчивостью изрыгал хулу на ваши в "Арабесках" статьи ученого содержания, не помня, что тем изрыгаю хулу на духа (в статье "О русской повести и повестях Гоголя" Б. утверждал по поводу исторических статей "Арабесок": "Если подобные этюды ученость, то избавь нас Бог от такой учености". - Б. С.). Они были тогда для меня слишком просты, а потому и неприступно высоки; притом же на мутном дне самолюбия бессознательно шевелилось желание блеснуть и беспристрастием. Вообще, мне страх как хочется написать о ваших сочинениях. Я опрометчив, я способен вдаваться в дикие нелепости; но слава Богу, я вместе с этим одарен движимостью вперед и способностью собственные промахи и глупости называть настоящим их именем и с такою же откровенностью, как и чужие грехи. И потому, подумалось, во мне много нового с тех пор, как в 1840 году в последний раз врал я о ваших повестях и "Ревизоре". Теперь я понял, почему вы Хлестакова считаете героем вашей комедии, и понял, что он точно герой ее; понял, почему "Старосветских Помещиков" считаете вы лучшею повестью своею в "Миргороде", также понял, почему одни вас превозносят до небес, а другие видят в вас нечто вроде Поль-де-Кока (Поль-де-Кок (1794-1871), французский беллетрист-бытописатель. - Б. С.), и почему есть люди, и притом не совсем глупые, которые знают наизусть ваши сочинения, но не могут без ужаса слышать, что вы выше Марлинского (Александр Александрович Бестужев-Марлинский (1797-1837), исторический романист. - Б. С.) и что ваш талант - великий талант. Объяснение всего этого даст мне возможность сказать дело о деле, не бросаясь в отвлеченные и окольные рассуждения; а умеренный тон (признак, что предмет понят ближе к истине, даст многим возможность сознательно полюбить ваши сочинения. Конечно, критика не сделает дурака умным и толпу мыслящею; но она у одних может просветлить сознанием безотчетное чувство и у других - возбудить мыслию спящий инстинкт. Но величайшею наградою за труд для меня может быть только ваше внимание и ваше доброе, приветливое слово. Я не заношусь

слишком высоко, но, признаюсь, - и не думаю о себе слишком мало, я слышал похвалы себе от умных людей и - что еще лестнее - имел счастье приобрести себе ожесточенных врагов: и все-таки больше всего этого меня радуют доселе и всегда будут радовать, как лучшее мое достояние, несколько приветливых слов, сказанных обо мне Пушкиным и, к счастью, дошедших до меня из верных источников, и я чувствую, что это не мелкое самолюбие с моей стороны, а то, что я понимаю, что такое человек, как Пушкин, и что такое одобрение со стороны такого человека, как Пушкин. После этого вы поймете, почему для меня так дорог ваш человеческий, приветливый отзыв. Дай вам Бог здоровья, душевных сил и душевной ясности. Горячо желаю вам этого как писателю и как человеку, ибо одно с другим тесно связано. Вы у нас теперь один, - и мое нравственное существование, моя любовь к творчеству тесно связано. Вы у нас теперь один, - и мое нравственное существование, моя любовь к творчеству тесно связаны с вашею судьбою; не будь вас - и прощай для меня настоящее и будущее в художественной жизни нашего отечества: я буду жить в одном прошедшем и, равнодушный к мелким явлениям современности, с грустной отрадой буду беседовать с великими тенями, перечитывая их неумирающие творения, где каждая буква давно мне знакома. Хотелось бы мне сказать искренно мое мнение о вашем "Риме", но, не получив предварительного позволения на откровенность, не смею этого сделать (в письме к В. П. Боткину от 31 марта 1842 г. Б. утверждал: ""Рим" - много хорошего; но есть фразы, а взгляд на Париж возмутительно гнусен". - Б. С.). Не знаю, понравится ли вам тон моего письма, - даже боюсь, чтобы он не показался вам более откровенным, нежели сколько допускают то наши с вами светские отношения; но не могу переменить ни слова в письме моем, ибо в случае, противном моему ожиданию, легко утешусь, сложив всю вину на судьбу, издавна уже не благоприятствующую русской литературе. С искренним желанием вам всякого счастья, остаюсь готовый к услугам вашим Виссарион Белинский".

В первой рецензии на гоголевскую поэму, "Похождения Чичикова или Мертвые души", напечатанной в 7-м номере "Отечественных записок" за 1842 г., Б. отмечал, что "ни один поэт на Руси не имел такой странной судьбы, как Гоголь: в нем не смели видеть великого писателя даже люди, знавшие наизусть его творения; к его таланту никто не был равнодушен: его или любили восторженно, или ненавидели. И этому есть глубокая причина, которая доказывает скорее жизненность, чем мертвенность нашего общества. Гоголь первый взглянул смело и прямо на русскую действительность, и если к этому присовокупить его глубокий юмор, его бесконечною иронию, то ясно будет, почему ему еще долго не быть понятым и что обществу легче полюбить его, чем понять... И вдруг среди этого торжества мелочности, посредственности, ничтожества, бездарности, среди этих пустоцветов и дождевых пузырей литературных, среди этих ребяческих затей, детских мыслей, ложных чувств, фарисейского патриотизма, приторной народности - вдруг, словно освежительный блеск молнии среди томительной и тлетворной духоты и засухи, является творение чисто русское, национальное, выхваченное из тайника народной жизни, столько же истинное, сколько и патриотическое, беспощадно сдергивающее покров с действительности и дышащее страстною, нервистою,

кровною любовию к плодовитому зерну русской жизни; творение необъятно художественное по концепции и выполнению, по характерам действующих лиц и подробностям русского быта, - и в то же время глубокое по мысли, социальное, общественное и историческое... В "Мертвых душах" автор сделал такой великий шаг, что все доселе написанное кажется слабым и бледным в сравнении с ними... преобладание субъективности, проникая и одушевляя собою всю поэму Гоголя, доходит до высокого лирического пафоса и освежительными волнами охватывает душу читателя даже в отступлениях... Но этот пафос субъективности поэта проявляется не в одних таких высоко лирических отступлениях: он проявляется беспрестанно, даже и среди рассказа о самых прозаических предметах, как, например, об известной русской дорожке, проторенной забубенным русским народом... Его же музыку чует внимательный слух читателя и в восклицаниях, подобных следующему: "Эх, русский народец! не любит умирать своею смертью!"... Столь же важный шаг вперед со стороны таланта Гоголя видим мы и в том, что в "Мертвых душах" он совершенно отрешился от малороссийского элемента и стал русским национальным поэтом во всем пространстве этого слова. При каждом слове его поэмы читатель может говорить:

Здесь русский дух,
здесь Русью пахнет!

Этот русский дух ощущается и в юморе, и в иронии, и в выражениях автора, и в размашистой силе чувств, и в лиризме отступлений, и в пафосе всей поэмы, и в характерах действующих лиц, от Чичикова до Селифана и "подлеца чубарого" включительно, - в Петрушке, носившем с собою свой особенный воздух, и в будочнике, который при фонарном свете, впросонках, казнил на ноге зверя и снова заснул... "Мертвые души" не соответствуют понятию толпы о романе, как о сказке, где действующие лица полюбили, разлучились, а потом стали богаты и счастливы. Поэмою Гоголя могут вполне насладиться только те, кому доступна мысль и художественное выполнение создания, кому важно содержание, а не "сюжет"; для восхищения всех прочих остаются только места и частности. Сверх того, как всякое глубокое создание, "Мертвые души" не раскрываются вполне с первого чтения даже для людей мыслящих: читая их во второй раз, точно читаешь новое, никогда не виданное произведение... ...Не в шутку назвал Гоголь свой роман "поэмою" и не комическую поэму разумеет он под нею... Мы не видим в ней ничего шуточного и смешного; ни в одном слове автора не заметили мы намерения смешить читателя: все серьезно, спокойно, истинно и глубоко... Не забудьте, что книга есть только экспозиция, введение в поэму, что автор обещает еще две такие же большие книги, в которых мы снова встретимся с Чичиковым и увидим новые лица, в которых Русь выразится с другой стороны... Нельзя ошибочнее смотреть на "Мертвые души" и грубее понимать их, как видя в них сатиру... Найдутся также и патриоты... которые, со свойственной им проницательностию, увидят в "Мертвых душах" злую сатиру, следствие холодности и нелюбви к родному, к отечественному, - они, которым так тепло в нажитых ими потихоньку домах и домиках, а может быть, и деревеньках плодах благонамеренной и усердной службы... Что касается до нас, мы, напротив, упрекнули бы автора скорее в излишестве непокоренного

спокойно-разумному созерцанию чувства, местами слишком юношески увлекающегося, нежели в недостатке любви и горячности к родному и отечественному ... Мы говорим о некоторых - к счастию, немногих, хотя, к несчастию, и резких - местах, где автор слишком легко судит о национальности чуждых племен и не слишком скромно предается мечтам о превосходстве славянского племени над ними... Мы думаем, что лучше оставлять всякому свое и, сознавая собственное достоинство, уметь уважать достоинство и в других..."

В рецензии на брошюру К. С. Аксакова о "Мертвых душах", Б. откликнулся рецензией, опубликованной в № 8 "Отечественных записок" за 1842 г. Там Б. утверждал: "...Мы в Гоголе видим более важное значение для русского общества, чем в Пушкине: ибо Гоголь более поэт социальный, следовательно, более поэт в духе времени; он также менее теряется в разнообразии создаваемых им объектов и более дает чувствовать присутствие своего субъективного духа, который должен быть солнцем, освещающим создания поэта нашего времени... Чем выше достоинство Гоголя как поэта, тем важнее его значение для русского общества, и тем менее может он иметь какое-либо значение вне России. Но это-то самое и составляет его важность, его глубокое значение и его - скажем смело - колоссальное величие для нас, русских. Тут нечего и упоминать о Гомере и Шекспире, нечего и путать чужих в свои семейные тайны. "Мертвые души" стоят "Илиады", но только для России: для всех же других стран их значение мертво и непонятно".

В статье "Русская литература в 1843 году", опубликованной в 1-м номере "Отечественных записок" за 1844 г., Б. писал: "...Со времени выхода в свет "Миргорода" и "Ревизора" русская литература приняла совершенно новое направление. Можно сказать без преувеличения, что Гоголь сделал в русской романической прозе такой же переворот, как Пушкин в поэзии. Тут дело идет не о стилистике, и мы первые признаем охотно справедливость многих нападок литературных противников Гоголя на его язык, часто небрежный и неправильный. Нет, здесь дело идет о двух более важных вопросах: о слоге и о создании... Гоголь вполне владеет слогом. Он не пишет, а рисует; его фраза, как живая картина, мечется в глаза читателю, поражая его своею яркою верностию природе и действительности. Сам Пушкин в своих повестях далеко уступает Гоголю в слоге, имея свой слог и будучи, сверх того, превосходнейшим стилистом, то есть владея в совершенстве языком. Это происходит оттого, что Пушкин в своих повестях далеко не то, что в стихотворных произведениях или в "Истории Пугачевского бунта", написанной по-тацитовски. Лучшая повесть Пушкина - "Капитанская дочка", далеко не сравнится ни с одною из лучших повестей Гоголя, даже в его "Вечерах на хуторе". В "Капитанской дочке" мало творчества и нет художественно очерченных характеров, вместо которых есть мастерские очерки и силуэты. А между тем повести Пушкина стоят еще гораздо выше всех повестей предшествовавших Гоголю писателей, нежели сколько повести Гоголя стоят выше повестей Пушкина".

В рецензии на второе издание "Мертвых душ", появившейся в 1-м номере "Современника" за 1847 г., Б. подчеркивал, что "по нашему крайнему разумению и искреннему, горячему убеждению, "Мертвые души" стоят выше всего, что было и есть в русской литературе, ибо в них глубокость живой

общественной идеи неразрывно сочеталась с бесконечною художественностию образов, и этот роман, почему-то названный автором поэмою, представляет собою произведение столько же национальное, сколько и высокохудожественное. В нем есть свои недостатки, важные и неважные. К последним относим мы неправильности в языке, который вообще составляет столько же слабую сторону таланта Гоголя, сколько его слог (стиль) составляет сильную сторону его таланта. Важные же недостатки романа "Мертвые души" находим мы почти везде, где из поэта, из художника силится автор стать каким-то пророком и впадает в несколько надутый и напыщенный лиризм... К счастью, число таких лирических мест незначительно в отношении к объему всего романа, и их можно пропускать при чтении, ничего не теряя от наслаждения, доставляемого самим романом. Но, к несчастию, эти мистико-лирические выходки в "Мертвых душах" были не простыми, случайными ошибками со стороны их автора, но зерном, может быть, совершенной утраты его таланта для русской литературы... Все более и более забывая свое значение художника, принимает он тон глашатая каких-то великих истин, которые в сущности отзываются не чем иным, как парадоксами человека, сбившегося с своего настоящего пути ложными теориями и системами, всегда гибельными для искусства и таланта... Второе издание "Мертвых душ" явилось с предисловием, которое... внушает живые опасения за авторскую славу в будущем (в прошедшем она непоколебимо прочна) творца "Ревизора" и "Мертвых душ"; оно грозит русской литературе новою великою потерею прежде времени... Предисловие это странно само по себе, но его тон... В этом тоне столько неумеренного смирения и самоотрицания, что они невольно заставляют читателя предполагать тут чувства совершенно противоположные... "Кто бы ты ни был, мой читатель, на каком бы месте ни стоял, в каком бы звании ни находился, почтен ли ты высшим чином или человек простого сословия, но если тебя вразумил Бог грамоте и попалась уже тебе моя книга, я прошу тебя помочь мне... я прошу тебя, читатель, поправить меня. Не пренебреги таким делом. Какого бы ни был ты сам высокого образования и жизни высокой, и какою бы ничтожною ни показалась в глазах твоих моя книга, и каким бы ни показалось тебе мелким делом ее исправлять и писать на нее замечания, - я прошу тебя это сделать. А ты, читатель не высокого образования и простого звания, не считай себя таким невежею (Вероятно, автор хотел сказать невеждою. Замечательно, как умеет он ободрять простых людей, чтобы они не пугались его величия...- примечание Б.), чтобы ты не мог меня чему-нибудь поучить"... Итак, мы не можем теперь вообразить себе всех русских людей иначе, как сидящих перед раскрытою книгою "Мертвых душ" на коленях, с пером в руке и листом почтовой бумаги на столе; чернильница предполагается сама собою... Особенно люди невысокого образования, невысокой жизни и простого сословия должны быть в больших хлопотах: писать не умеют, а надо... Не лучше ли им всем пуститься за границу для личного свидания с автором, - ведь на словах удобнее объясниться, чем на бумаге... Оно, конечно, эта поездка обойдется им дорогонько, зато какие же результаты выйдут из этого!..."

Реакцию Б. на "Выбранные места из переписки с друзьями" наиболее точно объяснил Н. А. Котляревский. В статье "В. Г. Белинский" (1907) он отмечал:

"Гоголь отрекался от всего, что им было раньше написано, и проповедывал какой-то религиозно-патриархальный взгляд на русскую действительность, взгляд, очень близко граничивший с полным ее оправданием. Для Белинского такая точка зрения не была новостью: он сам ее пережил и отверг, и потому хладнокровно не мог с ней встречаться. Когда в "Переписке" Гоголя он прочел, что мужику образование не нужно, когда он увидал, что Гоголь оправдывает крепостное состояние и только советует помещику обращаться с мужиком мягко, - он понял, что Гоголь перестал быть его союзником. Любя в Гоголе прежнего сатирика, Белинский должен был теперь не только защищать его от тех врагов, которых у Гоголя всегда было так много, но защищать его от него самого, от самоистязания, которое художник производил над своим талантом. Чем больше Белинский доверял Гоголю, чем выше он ставил его слово, тем сильнее и глубже был тот гнев, который в нем вызвала эта переписка. Этот гнев был потому еще так силен, что цензурные условия того времени не позволяли Белинскому высказать всего, что он думал (точно так же стесняли они и Гоголя, половину статей которого в "Переписке" цензура не пропустила. - Б. С.). Белинский выждал время и за границей написал Гоголю свое знаменитое письмо, которое долгое время было под строгим запретом... Если это письмо слишком резко, если оно не достаточно щадит Гоголя как человека, и не вполне отдает должное искренности мотивов, которые заставили Гоголя опубликовать свою переписку, то такая суровость Белинского более чем понятна. Поэзия Гоголя была для него высшим откровением русского творчества, лучшим оружием в борьбе за гуманные общественные идеалы, и поэтому, когда Гоголь отрекся от своих слов, Белинский стал ему мстить, как мстят за поругание святыни. Он не принял в расчет ни тяжелого психического состояния Гоголя (которое, впрочем, могло быть ему и неизвестно), ни искренних побуждений, которые заставили Гоголя написать свою книгу: он увидал в ней только проповедь застоя, нападки на свободное развитие личности, на необходимость поднять духовный уровень массы, - и этого было для него достаточно, чтобы в Гоголе признать врага. Но это признание стоило Белинскому дорого: он хоронил с Гоголем часть своего сердца".

На "Выбранные места из переписки с друзьями" Б. откликнулся рецензией во 2-м номере "Современника" за 1847 г. Он утверждал: "Это едва ли не самая странная и не самая поучительная книга, какая когда-либо появлялась на русском языке! Беспристрастный читатель, с одной стороны, найдет в ней жестокий удар человеческой гордости, а с другой стороны, обогатится любопытными психологическими фактами касательно бедной человеческой природы... Впрочем, нисколько не прав будет тот, кем при чтении этой книги попеременно стали бы овладевать то жестокая грусть, то злая радость, грусть о том, что и человек с огромным талантом может падать так же, как и сам дюжинный человек, радость оттого, что все ложное, натянутое, неестественное никогда не может замаскироваться, но всегда беспощадно казнится собственною же пошлостию... Смысл этой книги не до такой степени печален. Тут дело идет только об искусстве, и самое худшее в нем - потеря человека для искусства... Завещание Н. В. Гоголя, напечатанное в книге вполне, не заключает в себе никаких семейных подробностей, которые, разумеется, и не шли бы в

печать, но все состоит из интимной беседы автора с Россиею... То есть автор говорит и наказывает, а Россия его слушает и обещает выполнить... Говоря в письме к одной даме о значении женщины в свете, автор открывает нам главную причину лихоимства в России. Найти причину зла - почти то же, что найти против него лекарство. И автор "Переписки" нашел его... Слушайте: главная причина взяточничества чиновников происходит "от расточительности их жен, которые так жадничают блистать в свете, большом и малом, и требуют на то денег от мужей"... Признаемся: мы были поражены этим странным открытием... Мы, однакож, не остановились на этом, но пошли дальше: думая да думая, мы надумались, что оно, конечно, хорошо, если чиновницы перестанут щеголять и блистать в свете, но что еще будет лучше, если они вместе с тем навсегда оставят дурную привычку - поутру и вечером пить чай или кофе, а в полдень обедать, равно как и другую не менее дурную привычку прикрывать наготу свою чем-нибудь другим, кроме рогожи или самой дешевой парусины... Тогда бы им вовсе не для чего было просить у мужей денег, а мужьям вовсе не для чего было бы брать даже жалованье, не только взятки... Исправление нравов было бы всесовершенное... С этим могут не согласиться только так называемые практические люди, которые все понимают не вдохновением, а здравым смыслом да опытностью... Они могут сказать, что до Петра Великого у нас не было мод и женщины и сидели взаперти, а взяточничество было, да еще в несравненно сильнейшей степени, чем теперь... Пожалуй, они могут еще сказать, что, хорошо зная человеческую натуру и ее слабости, они считают решительно невозможным, чтобы у одних уничтожить желание блистать, когда другие, по своим средствам, согласятся скорей умереть, нежели перестать блистать; и что если равенство в средствах, согласятся скорей умереть, нежели перестать блистать; и что если равенство в средствах есть неосуществимая мечта, то никакие "переписки" в мире не убедят никакого Ира не желать быть Крезом или не завидовать ему, ибо это вне природы человеческой, а немногие и редкие исключения тут ровно ничего не значат... Но истинный перл по советодательной части составляют три письма автора. В одном он учит мужа и жену жить по-супружески... это чудо, прелесть, еще ничего не являлось подобного на русском языке... В других двух письмах содержатся преудивительные советы помещику, как управлять своими крестьянами. В одном из них замечательнее всего совет касательно сельского суда и расправы. Так как, по мнению автора, в спорах, жалобах, неудовольствиях и тяжбах всегда бывают неправы обе стороны, то он и решает, что дело судьи - наказать обе... "Эта мысль... как непреложное верование, разнеслось повсюду в нашем народе. Вооруженный ею, даже простой и неумный человек получает в народе власть и прекращает ссоры. Мы только, люди высшие, не слышим ее, потому что набрались пустых рыцарски-европейских понятий о правде. Мы только спорим из-за того, кто прав, кто виноват; а если разобрать каждое из дел наших, придешь к тому же знаменателю: то есть оба виноваты. И видишь, что весьма здраво поступила комендантша в повести Пушкина "Капитанская дочка", которая, пославши поручика рассудить городового солдата с бабою, подравшихся в бане за деревянную шайку, снабдила его такою инструкциею: разбери, кто прав, кто

виноват, да обоих и накажи"... В другом письме автор советует помещику прежде всего не шутя, искренно показать своим крестьянам, что ему, помещику, деньги - нуль... Хорош и этот совет: "Мужика не бей: съездить его в рожу еще не более искусство: это сумеет сделать и становой, и заседатель, и даже староста; мужик к этому уже привык и только что почешет слегка у себя в затылке"... Но это еще не все. Вот лучшее: "Замечания твои о школах совершенно справедливы. Учить мужика грамоте затем, чтобы доставить ему возможность читать пустые книжонки, которые издают для народа европейские человеколюбцы, есть действительно вздор. Главное уже то, что у мужика нет вовсе для этого времени. После стольких работ никакая книжонка не полезет в голову - и, пришедши домой, он заснет, как убитый, богатырским сном... Либо пойдет в кабак, что он и делает нередко..." Но не понимаем, с чего взял автор, будто народ бежит, как от чорта, от всякой письменной бумаги? Бумаг юридических не любит ни один наш народ, особенно, если грамоте не знает; но грамоты наш народ не боится, напротив, любит ее и бежит к ней, а не от нее. Пусть попросит автор своих друзей, чтобы они переслали ему отчет за 1846 год г. министра государственных имуществ, напечатанный во всех официальных русских газетах: из него увидит он, как быстро распространяется в России грамотность между простым народом... Замечательна следующая черта: в начале письма автор советует помещику показывать крестьянам, искренно, без штук, что деньги ему нипочем, то есть вовсе не нужны; а в конце письма говорит: "Разбогатеешь ты, как Крез, в противность тем подслеповатым людям, которые думают, будто выгоды помещика идут врознь с выгодами мужиков"... Мы вывели из этой книги такое следствие, что горе человеку, которого сама природа создала художником, горе ему, если, недовольный своею дорогою, он ринется в чуждый ему путь! На этом новом пути ожидает его неминуемое падение, после которого не всегда бывает возможно возвращение на прежнюю дорогу..."

8(20) июня 1847 г. Гоголь писал из Франкфурта-на-Майне Н. Я. Прокоповичу: "Я прочел на днях критику во № 2 "Современника" Белинского. Он, кажется, принял всю книгу написанною на его собственный счет и прочитал в ней формальное нападение на всех разделяющих его мысли. Это неправда; в книге моей... есть нападенье на всех и на всё, что переходит в крайность. Вероятно, он принял на свой счет козла, который был обращен к журналисту вообще. Мне было очень прискорбно это раздраженье не по причине жесткости слов, которых будто бы я не умею переносить: ты знаешь, что я могу выслушивать самые жесткие слова. Но потому, что, как бы то ни было, человек этот говорил обо мне с участием в продолжение десяти лет. Человек этот, несмотря на излишества и увлечения, указал справедливо, однакож, на многие такие черты в моих сочинениях, которые не заметили другие, считавшие себя на высшей точке разумения перед ним. И я заплатил бы этому человеку неблагодарностью, когда я умею отдавать справедливостью даже тем, которые выставляют на вид и отыскивают во мне одни недостатки! Напротив, я в этом случае только обманулся: я считал Белинского возвышенней, менее способным к такому близорукому взгляду и мелким заключеньям. Я не знаю, почему так тяжело вынести упрек в неблагодарности, но для меня этот упрек был тяжелее

всех упреков, потому что в самом деле душа моя благодарна, потому что чувствую от этого собственное наслаждение. Пожалуста, переговори с Белинским и напиши мне, в каком он находится расположении духа ныне относительно меня. Если в нем кипит желчь, пусть он ее выльет против меня в "Современнике", в каких ему заблагорассудится выражениях, но пусть не хранит ее против меня в сердце своем. Если же в нем угомонилось неудовольствие, то дай ему при сем прилагаемое письмецо, которое можешь прочесть и сам. По всему вижу, что мне придется сделать некоторые объяснения на мою книгу, потому что не только Белинский, но даже те люди, которые гораздо больше его могли бы знать меня относительно моей личности, выводят такие странные заключения, что просто недоумеваешь. Видно, у меня темноты и неясности несравненно больше, чем я сам вижу".

29 июня н. ст. 1847 г. Гоголь писал Б. из Франкфурта: "Я прочел с прискорбием статью вашу обо мне в "Современнике", - не потому, чтобы мне прискорбно было унижение, в которое вы хотели меня поставить в виду всех, но потому, что в нем слышен голос человека, на меня рассердившегося. А мне не хотелось бы рассердить человека даже не любящего меня, тем более вас, который - думал я - любит меня. Я вовсе не имел в виду огорчить вас ни в каком месте моей книги. Как же вышло, что на меня рассердились все до единого в России? Этого покуда я еще не могу понять. Восточные, западные, нейтральные - все огорчились. Это правда, я имел в виду небольшой щелчок каждому из них, считая это нужным, испытавши надобность его на собственной коже (всем нам нужно побольше смирения); но я не думал, чтоб щелчок мой вышел так грубо неловок и так оскорбителен. Я думал, что мне великодушно простят все это и что в книге моей зародыш примирения всеобщего, а не раздора. Вы взглянули на мою книгу глазами человека рассерженного, а потому почти все приняли в другом виде. Оставьте все те места, которые, покамест, еще загадка для многих, если не для всех, и обратите внимание на те места, которые доступны всякому здравому и рассудительному человеку, и вы увидите, что вы ошиблись во многом. Я очень не даром молил всех прочесть мою книгу несколько раз, предугадывая вперед все эти недоразумения. Поверьте, что не легко судить о такой книге, где замешалась собственная душевная история человека, не похожего на других, и притом еще человека скрытного, долго жившего в себе самом и страдавшего неуменьем выразиться. Не легко было также решиться и на подвиг выставить себя на всеобщий позор и осмеяние, выставивши часть той внутренней своей клети, настоящий смысл которой не скоро почувствуется. Уже один такой подвиг должен был бы заставить мыслящего человека задуматься и, не торопясь подачей собственного голоса о ней, прочесть ее в разные часы своего душевного расположения, более спокойного и более настроенного к своей собственной исповеди, потому что в такие только минуты душа способна понимать душу, а в книге моей дело души. Вы бы не сделали тогда тех оплошных выводов, которыми наполнена ваша статья. Как можно, например, из того, что я сказал, что в критиках, говоривших о недостатках моих, есть много справедливого, вывести заключение, что критики, говорившие о достоинствах моих, несправедливы? Такая логика может присутствовать в голове только раздраженного человека, продолжающего искать уже одно то, что способно

раздражать его, а не оглядывающего предмет спокойно со всех сторон. Ну а что, если я долго носил в голове и обдумывал, как заговорить о тех критиках, которые говорили о достоинствах моих и которые по поводу моих сочинений разнесли много прекрасных мыслей об искусстве? И если я выжидал только времени, когда мне можно будет сказать об этом, или, справедливей, когда мне прилично будет сказать об этом, чтобы не говорили потом, что я руководствовался какой-нибудь своекорыстной целью, а не чувствовал беспристрастия и справедливости? Пишите критики самые жесткие, прибирайте все слова, какие знаете, на то, чтобы унизить человека, способствуйте к осмеянью меня в глазах ваших читателей, не пожалев самых чувствительнейших струн, может быть, нежнейшего сердца, - всё это вынесет душа моя, хотя и не без боли и скорбных потрясений. Но мне тяжело, очень тяжело (говорю вам это истинно), когда против меня питает личное озлобление даже и злой человек, не только добрый, а вас я считал за доброго человека. Вот вам искреннее изложение чувств моих!"

По свидетельству П. В. Анненкова, по получении этого письма Б. вспыхнул и промолвил: "А! Он не понимает, за что люди на него сердятся, надо растолковать ему это. Я буду ему отвечать".

В ответном письме 15 июля н. ст. 1847г. из Зальцбрунна Б. писал Гоголю: "Вы только отчасти правы, увидав в моей статье рассерженного человека: этот эпитет слишком слаб и нежен для выражения того состояния, в которое привело меня чтение вашей книги. Но вы вовсе не правы, приписавши это вашим, действительно не совсем лестным, отзывам о почитателях вашего таланта. Нет, тут была причина более важная. Оскорбленное чувство самолюбия еще можно перенести, и у меня достало бы ума промолчать об этом предмете, если б всё дело заключалось в нем, но нельзя перенести оскорбленного чувства истины, человеческого достоинства; нельзя умолчать, когда под покровом религии и защитою кнута проповедуют ложь и безнравственность как истину и добродетель. Да, я любил вас со всею страстью, с какою человек, кровно связанный с своею страною, может любить ее надежду, честь, славу, одного из великих вождей ее на пути сознания, развития, прогресса. И вы имели основательную причину хоть на минуту выйти из спокойного состояния духа, потерявши право на такую любовь. Говорю это не потому, чтобы я считал любовь свою наградою великого таланта, а потому, что в этом отношении я представляю не одно, а множество лиц, из которых ни вы, ни я не видали самого большого числа и которые, в свою очередь, тоже никогда не видали вас. Я не в состоянии дать вам ни малейшего понятия о том негодовании, которое возбудила ваша книга во всех благородных сердцах, ни о тех воплях дикой радости, которые издали при появлении ее все враги ваши, и нелитературные - Чичиковы, Ноздревы, городничие и т. д. - и литературные, которых имена хорошо вам известны. Вы сами видите, что от вашей книги отступились даже люди, по-видимому, одного духа с ее духом. Если бы и она была написана вследствие глубокого, искреннего убеждения, и тогда бы она должна была произвести на публику то же впечатление. И если ее приняли все (за исключением немногих людей, которых надо видеть и знать, чтобы не обрадоваться их одобрению) за хитрую, но чересчур нецеремонную проделку

для достижения небесным путем чисто земной цели, - в этом виноваты только вы. И это нисколько не удивительно, а удивительно только то, что вы находите это удивительным. Я думаю, это оттого, что вы глубоко знаете Россию только как художник, а не как мыслящий человек, роль которого вы так неудачно приняли на себя в вашей фантастической книге. И это не потому, чтобы вы не были мыслящим человеком, а потому, что вы столько уже лет привыкли смотреть на Россию из вашего прекрасного далека; а ведь известно, что ничего нет легче, как издалека видеть предметы такими, какими нам хочется их видеть, потому, что в этом прекрасном далеке вы живете совершенно чуждым ему, в самом себе, внутри себя, или в однообразии кружка, одинаково с вами настроенного и бессильного противиться вашему на него влиянию. Поэтому вы не заметили, что Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме... а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе, права и законы, сообразные не с учением церкви, а со здравым смыслом и справедливостью, и строгое по возможности их исполнение. А вместо этого она представляет собою ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр не человек; страны, где люди сами себя называют не именами, а кличками: Ваньками, Васьками, Стешками, Палашками; страны, где, наконец, нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей! Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение по возможности строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть. Это чувствует даже само правительство (которое хорошо знает, что делают помещики со своими крестьянами и сколько последние ежегодно режут первых), что доказывается его робкими и бесплодными полумерами в пользу белых негров и комическим заменением однохвостного кнута трехвостою плетью. Вот вопросы, которыми тревожно занята вся Россия в ее апатическом полусне! И в это-то время великий писатель, который своими дивнохудожественными, глубоко-истинными творениями так могущественно содействовал самосознанию России, давши ей возможность взглянуть на самое себя, как будто в зеркале, - является с книгою, в которой во имя Христа и церкви учит варвара-помещика наживать от крестьян больше денег, учит их ругать побольше... И это не должно было привести меня в негодование?.. Да если бы вы обнаружили покушение на мою жизнь, и тогда бы я не более возненавидел вас, как за эти позорные строки... И после этого вы хотите, чтобы верили искренности направления вашей книги! Нет, если бы вы действительно преисполнились истиною Христова, а не дьяволова учения, - совсем не то написали бы вы вашему адепту из помещиков. Вы написали бы ему, что так как его крестьяне его братья во Христе, а как брат не может быть рабом своего брата, то он и должен или дать им свободу, или хотя, по крайней мере, пользоваться их трудами как можно льготнее для них, сознавая себя, в глубине

своей совести, в ложном в отношении к ним положении. А выражение: "Ах ты, неумытое рыло!" Да у какого Ноздрева, у какого Собакевича подслушали вы его, чтобы передать миру как великое открытие в пользу и назидание мужиков, которые и без того потому не умываются, что, поверив своим барам, сами себя не считают за людей? А ваше понятие о национальном русском суде и расправе, идеал которого нашли вы в глупой поговорке, что должно пороть и правого, и виноватого? Да это и так у нас делается вчастую, хотя чаще всего порют только правого, если ему нечем откупиться от преступления, и другая поговорка говорит тогда: без вины виноват! И такая-то книга могла быть результатом трудного внутреннего процесса, высокого духовного просветления! Не может быть! Или вы больны - и вам надо спешить лечиться, или... не смею досказать моей мысли!.. Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов - что вы делаете! Взгляните себе под ноги, ведь вы стоите над бездною... Что вы подобное учение опираете на православную церковь, это я еще понимаю: она всегда была опорою кнута и угодницей деспотизма; но Христа-то зачем вы примешали тут? Что вы нашли общего между ним и какою-нибудь, а тем более православною церковью (христианство Б., в отличие от гоголевского, было христианством внецерковным. - Б. С.)? Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего учения. И оно только до тех пор и было спасением людей, пока не организовалось в церковь и не приняло за основание принципа ортодоксии. Церковь же явилась иерархией, стало быть, поборницей неравенства, льстецом власти, врагом и гонительницею братства между людьми, - чем продолжает быть и до сих пор... Но смысл Христова слова открыт философским движением прошлого века. И вот почему какой-нибудь Вольтер, орудием насмешки погасивший в Европе костры фанатизма и невежества, конечно, более сын Христа, плоть от плоти его и кость от костей его, нежели все ваши попы, архиереи, митрополиты, патриархи, восточные и западные! Неужели вы этого не знаете? Ведь это теперь не новость для всякого гимназиста... А потому, неужели вы, автор "Ревизора" и "Мертвых душ", неужели вы искренно, от души, пропели гимн гнусному русскому духовенству, поставив его неизмеримо выше духовенства католического? Положим, вы не знаете, что второе когда-то было чем-то, между тем как первое никогда ничем не было, кроме как слугою и рабом светской власти; но неужели же и в самом деле вы не знаете, что наше духовенство находится во всеобщем презрении у русского общества и русского народа? Про кого русский народ рассказывает похабную сказку? Про попа, попадью, попову дочку и попова работника (подобные же сказки про священнослужителей в ходу и у других народов. - Б. С.). Кого русский народ называет дурья порода, колуханы, жеребцы? Попов. Не есть ли поп на Руси для всех русских представитель обжорства, скупости, низкопоклонничества, бесстыдства? И будто всего этого вы не знаете? Странно! По-вашему, русский народ самый религиозный в мире: ложь! Основа религиозности есть пиэтизм, благоговение, страх Божий. А русский человек произносит имя Божие, почесывая себе задницу. Он говорит об образе: годится - молиться, не годится - горшки покрывать. Приглядитесь пристальнее, и вы увидите, что это по натуре своей глубоко атеистический

народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности. Суеверие проходит с успехами цивилизации; но религиозность часто уживается и с ними: живой пример Франция, где и теперь много искренних, фанатических католиков между людьми просвещенными и образованными и где многие, отложившись от христианства, все еще упорно стоят за какого-то Бога. Русский народ не таков: мистическая экзальтация вовсе не в его натуре; у него слишком много для этого здравого смысла, ясности и положительности в уме, и вот в этом-то, может быть, и заключается огромность исторических судеб его в будущем. Религиозность не привилась в нем даже к духовенству ибо несколько отдельных, исключительных личностей, отличавшихся, холодною, аскетическою созерцательностию, ничего не доказывают. Большинство же нашего духовенства всегда отличалось только толстыми брюхами, теологическим педантизмом да диким невежеством. Его грех обвинить в религиозной нетерпимости и фанатизме; его скорее можно похвалить за образцовый индиферентизм в деле веры. Религиозность проявилась у нас только в раскольнических сектах, столь противуположных по духу своему массе народа и столь ничтожных перед нею числительно. Не буду распространяться о вашем дифирамбе любовной связи русского народа с его владыками. Скажу прямо: этот дифирамб ни в ком не встретил себе сочувствия и уронил вас в глазах даже людей, в других отношениях очень близких к вам по их направлению. Что касается до меня лично, предоставляю вашей совести упиваться созерцанием Божественной красоты самодержавия (оно покойно, да, говорят, и выгодно для вас); только продолжайте благоразумно созерцать ее из вашего прекрасного далека: вблизи-то она не так красива и не так безопасна... Замечу только одно: когда европейцем, особенно католиком, овладевает религиозный дух - он делается обличителем неправой власти, подобно еврейским пророкам, обличавшим в беззаконии сильных земли. У нас же наоборот : постигнет человека (даже порядочного) болезнь, известная у врачей-психиатров под именем religiosa mania, он тотчас же земному богу подкурит больше, чем небесному, да еще так хватит через край, что тот и хотел бы наградить его за рабское усердие, да видит, что этим компрометировал бы себя в глазах общества... Бестия наш брат, русский человек!.. Вспомнил я еще, что в вашей книге вы утверждаете как великую и неоспоримую истину, будто простому народу грамота не только не полезна, но положительно вредна. Что сказать вам на это? Да простит вас ваш византийский бог за эту византийскую мысль, если только, передавши ее бумаге, вы не знали, что творили... "Но, может быть, - скажете вы мне, положим, что я заблуждался и все мои мысли ложь; но почему же отнимают у меня право заблуждаться и не хотят верить искренности моих заблуждений?" Потому, отвечаю я вам, что подобное направление в России давно уже не новость. Даже еще недавно оно было вполне исчерпано Бурачком с братиею (Степан Онисимович Бурачек (1800-1877), талантливый инженер-кораблестроитель, генерал-лейтенант, в 1840-1845 гг. редактировал журнал "Маяк", охранительного направления. - Б. С.). Конечно, в вашей книге больше ума и даже таланта (хотя того и другого не очень богато в ней), чем в их сочинениях; зато они развили общее им с вами учение с большей энергиею и большею последовательностию, смело дошли до его последних

результатов, все отдали византийскому богу, ничего не оставили сатане, тогда как вы, желая поставить по свече и тому и другому, впали в противоречия, отстаивали, например, Пушкина, литературу и театр, которые, с вашей точки зрения, если бы только вы имели добросовестность быть последовательным, нисколько не могут служить к спасению души, но много могут служить к ее погибели. Чья же голова могла переварить мысль о тожественности Гоголя с Бурачком? Вы слишком высоко поставили себя во мнении русской публики, чтобы она могла верить в вас искренности подобных убеждений. Что кажется естественным в глупцах, то не может казаться таким в гениальном человеке. Некоторые остановились было на мысли, что ваша книга есть плод умственного расстройства, близкого к положительному сумасшествию. Но они скоро отступились от такого заключения: ясно, что книга писалась не день, не неделю, не месяц, а может быть, год, два или три; в ней есть связь; сквозь небрежное изложение проглядывает обдуманность, а гимны властям предержащим хорошо устраивают земное положение набожного автора. Вот почему распространился в Петербурге слух, будто вы написали эту книгу с целью попасть в наставники к сыну наследника. Еще прежде этого в Петербурге сделалось известным ваше письмо к Уварову, где вы говорите с огорчением, что вашим сочинениям в России дают превратный толк, затем обнаруживаете недовольство своими прежними произведениями и объявляете, что только тогда останетесь довольны своими сочинениями, когда ими будет доволен Тот, Кто и т. д. (в благодарственном письме С. С. Уварову от 2 мая 1845 г. в связи с назначением, по императорскому повелению, пенсии в 3000 рублей на три года Гоголь утверждал: "Все, доселе мною написанное, не стоит большого внимания: хотя в основание его легла и добрая мысль, но выражено все так незрело, дурно, ничтожно и притом в такой степени не так, как бы следовало, что недаром большинство приписывает моим сочинениям скорее дурной смысл, чем хороший, и соотечественники мои извлекают извлеченья из них скорей не в пользу душевную, чем в пользу". - Б. С.) Теперь судите сами: можно ли удивляться тому, что ваша книга уронила вас в глазах публики и как писателя и, еще больше, как человека? Вы, сколько я вижу, не совсем хорошо понимаете русскую публику. Ее характер определяется положением русского общества, в котором кипят и рвутся наружу свежие силы, но, сдавленные тяжелым гнетом, не находя исхода, производят только уныние, тоску, апатию. Только в одной литературе, несмотря на татарскую цензуру, есть еще жизнь и движение вперед. Вот почему звание писателя у нас так почтенно, почему у нас так легок литературный успех даже при маленьком таланте. Титло поэта, звание литератора давно уже затмило мишуру эполет и разноцветных мундиров. И вот почему у нас в особенности награждается общим вниманием всякое так называемое либеральное направление, даже и при бедности таланта и почему так скоро падает популярность великих поэтов, искренно или неискренно отдающих себя в услужение православию, самодержавию и народности. Разительный пример - Пушкин, которому стоило написать только два-три верноподданических стихотворения и надеть камер-юнкерскую ливрею, чтобы вдруг лишиться народной любви (сомнительно, чтобы народ был в курсе насчет производства поэта в камер-юнкеры. - Б.С.). И вы сильно ошибаетесь, если не

шутя думаете, что ваша книга пала не от ее дурного направления, а от резкости истин, будто бы высказанных вами всем и каждому. Положим, вы могли это думать о пишущей братии, но публика-то как могла попасть в эту категорию? Неужели в "Ревизоре" и "Мертвых душах" вы менее резко, с меньшею истиною и талантом и менее горькие правды высказали ей? И она действительно осердилась на вас до бешенства, но "Ревизор" и "Мертвые души" от этого не пали, тогда как ваша последняя книга позорно провалилась сквозь землю. И публика тут права: она видит в русских писателях своих единственных вождей, защитников и спасителей от мрака самодержавия, православия и народности и потому, всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда не прощает ему зловредной книги. Это показывает, сколько лежит в нашем обществе, хотя еще и в зародыше, свежего, здорового чутья; и это уже показывает, что у него есть будущность. Если вы любите Россию, порадуйтесь вместе со мною падению вашей книги!.. Не без некоторого чувства самодовольства скажу вам, что мне кажется, что я немного знаю русскую публику. Ваша книга испугала меня возможностию дурного влияния на правительство, на цензуру, но не на публику. Когда пронесся в Петербурге слух, что правительство хочет напечатать вашу книгу в числе многих тысяч экземпляров и продавать ее по самой низкой цене, мои друзья приуныли; но я тогда же сказал им, что, несмотря ни на что, книга не будет иметь успеха и о ней скоро забудут. И действительно, она теперь памятнее всем статьями о ней, нежели сама собою. Да, у русского человека глубок, хотя и не развит еще, инстинкт истины! Ваше обращение, пожалуй, могло быть и искренно. Но мысль - довести о нем до сведения публики - была самая несчастная. Времена наивного благочестия давно уже прошли и для нашего общества. Оно уже понимает, что молиться везде все равно и что в Иерусалиме ищут Христа только люди или никогда не носившие его в груди своей, или потерявшие его. Кто способен страдать при виде чужого страдания, кому тяжко зрелище угнетения чуждых ему людей, - тот носит Христа в груди своей и тому незачем ходить пешком в Иерусалим. Смирение, проповедуемое вами, во-первых, не ново, а во-вторых, отзывается, с одной стороны, страшною гордостью, а с другой - самым позорным унижением своего человеческого достоинства. Мысль сделаться каким-то абстрактным совершенством, стать выше всех смирением может быть плодом только или гордости, или слабоумия и в обоих случаях ведет неизбежно к лицемерию, ханжеству, китаизму. И при этом вы позволили себе цинически грязно выражаться не только о других (это было бы только невежливо), но и о самом себе - это уже гадко, потому что если человек, бьющий своего ближнего по щекам, возбуждает негодование, то человек, бьющий по щекам самого себя, возбуждает презрение. Нет! Вы только омрачены, а не просветлены; вы не поняли ни духа, ни формы христианства нашего времени. Не истиной христианского учения, а болезненною боязнью смерти, чорта и ада веет от вашей книги. И что за язык, что за фразы! "Дрянь и тряпка стал теперь всяк человек!" Неужели вы думаете, что сказать всяк вместо всякий значит выразиться библейски? Какая это великая истина, что когда человек весь отдается лжи, его оставляют ум и талант! Не будь на вашей книге выставлено вашего имени и будь из нее выключены те места, где вы говорите о самом себе как о писателе, кто бы подумал, что эта надутая и неопрятная

шумиха слов и фраз - произведение пера автора "Ревизора" и "Мертвых душ"? Что же касается до меня лично, повторяю вам: вы ошиблись, сочтя статью мою выражением досады за ваш отзыв обо мне как об одном из ваших критиков. Если б только это рассердило меня, я только об этом и отозвался бы с досадою, а обо всем остальном выразился бы спокойно и беспристрастно. А это правда, что ваш отзыв о ваших почитателях вдвойне нехорош. Я понимаю необходимость иногда щелкнуть глупца, который своими похвалами, своим восторгом ко мне только делает меня смешным; но и эта необходимость тяжела, потому что как-то по-человечески неловко даже за ложную любовь платить враждою. Но вы имели в виду людей если не с отменным умом, то все же и не глупцов. Эти люди в своем удивлении к вашим творениям наделали, может быть, гораздо больше восторженных восклицаний, нежели сколько вы сказали о них дела; но все же их энтузиазм к вам выходит из такого чистого и благородного источника, что вам вовсе не следовало бы выдавать их головою общим их и вашим врагам, да еще вдобавок обвинить их в намерении дать какой-то предосудительный толк вашим сочинениям. Вы, конечно, сделали это по увлечению главной мыслью вашей книги и по неосмотрительности, а Вяземский, этот князь в аристократии и холоп в литературе, развил вашу мысль и напечатал на ваших почитателей (стало быть, на меня всех больше) чистый донос (имеется в виду статья П. А. Вяземского "Языков - Гоголь". - Б. С.). Он это сделал, вероятно, в благодарность вам за то, что вы его, плохого рифмоплета, произвели в великие поэты, кажется, сколько я помню, за его "вялый, влачащийся по земле стих". Все это нехорошо! А что вы только ожидали времени, когда вам можно будет отдать справедливость и почитателям вашего таланта (отдавши ее с гордым смирением вашим врагам), этого я не знал, не мог, да, признаться, и не захотел бы знать. Передо мною была ваша книга, а не ваши намерения. Я читал и перечитывал ее сто раз, и все-таки не нашел в ней ничего, кроме того, что в ней есть, а то, что в ней есть, глубоко возмутило и оскорбило мою душу. Если бы я дал полную волю моему чувству, письмо это скоро бы превратилось в толстую тетрадь. Я никогда не думал писать к вам об этом предмете, хотя и мучительно желал этого и хотя вы всем и каждому печатно дали право писать к вам без церемоний, имея в виду одну правду. Живя в России, я не мог бы этого сделать, ибо тамошние Шпекины распечатывают чужие письма не из одного личного удовольствия, но по долгу службы, ради доносов. Но нынешним летом начинающаяся чахотка прогнала меня за границу, и N (Николай Николаевич Тютчев (1815-1878), друг Б. - Б. С.) переслал мне Ваше письмо в Зальцбрунн, откуда я сегодня же еду с Анненковым в Париж через Франкфурт на Майне. Неожиданное получение вашего письма дало мне возможность высказать вам все, что лежало у меня на душе против вас по поводу вашей книги. Я не умею говорить вполовину, не умею хитрить: это не в моей натуре. Пусть вы или само время докажет мне, что я ошибался в моих о вас заключениях, - я первый порадуюсь этому, но не раскаюсь в том, что сказал вам. Тут дело идет не о моей или вашей личности, а о предмете, который гораздо выше не только меня, но даже и вас: тут дело идет об истине, о русском обществе, о России. И вот мое последнее, заключительное слово: если вы имели несчастие с гордым смирением отречься от ваших

истинно великих произведений, то теперь вам должно с искренним смирением отречься от последней вашей книги и тяжкий грех ее издания в свет искупить новыми творениями, которые напомнили бы ваши прежние".

10 августа н. ст. 1847 г. Гоголь писал Б. из Остенде: "Я не мог отвечать скоро на ваше письмо. Душа моя изнемогла, всё во мне потрясено, могу сказать, что не осталось чувствительных струн, которым не было бы нанесено поражения еще прежде, чем получил я ваше письмо. Письмо ваше я прочел почти бесчувственно, но тем не менее был не в силах отвечать на него. Да и что мне отвечать? Бог весть, может быть, и в ваших словах есть часть правды. Скажу вам только, что я получил около пятидесяти разных писем по поводу моей книги: ни одно из них не похоже на другое, нет двух человек, согласных во мненьях об одном и том же предмете, что опровергает один, то утверждает другой. И между тем на всякой стороне есть равно благородные и умные люди. Покуда мне показалось только то непреложной истиной, что я не знаю вовсе России, что многое изменилось с тех пор, как я в ней не был, что мне нужно почти сызнова узнавать всё то, что ни есть в ней теперь. А вывод из всего этого вывел я для себя тот, что мне не следует выдавать в свет ничего, не только никаких живых образов, но даже и двух строк какого бы то ни было писанья, по тех пор, покуда, приехавши в Россию, не увижу многого своими собственными глазами и не пощупаю собственными руками. Вижу, что укорявшие меня в незнании многих вещей и несоображении многих сторон обнаружили передо мной собственное незнание многого и собственное несоображение многих сторон. Не все вопли услышаны, не все страдания взвешены. Мне кажется даже, что не всякий из нас понимает нынешнее время, в котором так явно проявляется дух построенья полнейшего, нежели когда-либо прежде: как бы то ни было, но всё выходит теперь внаружу, всякая вещь просит и ее принять в соображенье, старое и новое выходит на борьбу, и чуть только на одной стороне перельют и попадут в излишество, как в отпор тому переливают и на другой. Наступающий век есть век разумного сознания; не горячась, он взвешивает всё, приемля все стороны к сведенью, без чего не узнать разумной средины вещей. Он велит нам оглядывать многосторонним взглядом старца, а не показывать горячую прыткость рыцаря прошедших времен; мы ребенки перед этим веком. Поверьте мне, что и вы, и я виновны равномерно перед ним. И вы, и я перешли в излишество. Я, по крайней мере, сознаюсь в этом, но сознаетесь ли вы? Точно так же, как я упустил из виду современные дела и множество вещей, которые следовало сообразить, точно таким же образом упустили и вы; как я слишком усредоточился в себе, так вы слишком разбросались. Как мне нужно узнавать многое из того, что знаете вы и чего я не знаю, так и вам тоже следует узнать хотя часть того, что знаю я и чем вы напрасно пренебрегаете. А покамест помните прежде всего о вашем здоровьи. Оставьте на время современные вопросы. Вы потом возвратитесь к ним и с большею свежестью, стало быть и с большею пользою как для себя, так и для них. Желаю вам от всего сердца спокойствия душевного, первейшего блага, без которого нельзя действовать и поступать разумно ни на каком поприще".

Это последнее письмо не вызвало раздражения Б. По свидетельству П. В. Анненкова, "Белинский не питал злобы и ненависти лично к автору

"Переписки", прочел с участием его письмо и заметил только: "Какая запутанная речь! да, он должен быть очень несчастлив в эту минуту". Вероятно, критик более эмоционально отреагировал бы на первоначальный вариант письма, который Гоголь написал, но отправлять не стал, дабы не расстраивать тяжело больного Б., и разорвал уже написанное письмо. Там говорилось: "С чего начать мой ответ на ваше письмо? Начну его с ваших же слов: "Опомнитесь, вы стоите на краю бездны!" Как далеко вы сбились с прямого пути, в каком вывороченном виде стали перед вами вещи! В каком грубом, невежественном смысле приняли вы мою книгу! Как вы ее истолковали! О, да внесут Святые Силы мир в вашу страждущую, измученную душу! Зачем вам было переменять раз выбранную, мирную дорогу? Что могло быть прекраснее, чем показывать читателям красоты в твореньях наших писателей, возвышать их душу и силы до понимания всего прекрасного, наслаждаться трепетом пробужденного в них сочувствия и таким образом прекрасно действовать на их души? Дорога эта привела бы вас к примиренью с жизнью, дорога эта заставила бы вас благословлять всё в природе. Что до поэтических событий, само собою умирилось бы общество, если бы примиренье было в духе тех, которые имеют влияние на общество. А теперь уста ваши дышат желчью и ненавистью. Зачем вам с вашей пылкою душою вдаваться в этот омут политический, в эти мутные события современности, среди которой и твердая осмотрительная многосторонность теряется? Как же с вашим односторонним, пылким, как порох, умом, уже вспыхивающим прежде, чем еще успели узнать, что истина, как вам не потеряться? Вы сгорите, как свечка, и других сожжете. О, как сердце мое ноет в эту минуту за вас! Что, если я виноват, что, если и мои сочинения послужили вам к заблуждению? Но нет, как ни рассмотрю все прежние сочинения мои, вижу, что они не могли соблазнить вас. Как ни смотреть на них, в них нет лжи некоторых современных произведений. В каком странном заблуждении вы находитесь! Ваш светлый ум отуманился. В каком превратном виде приняли вы смысл моих произведений. В них же есть мой ответ. Когда я писал их, я благоговел перед всем, перед чем человек должен благоговеть. Насмешки и нелюбовь слышались у меня не над властью, не над коренными законами нашего государства, но над извращеньем, над уклоненьями, над неправильными толкованьями, над дурным приложением их, над струпом, который накопился, над... несвойственной ему жизнью. Нигде не было у меня насмешки над тем, что составляет основанье русского характера и его великие силы. Насмешка была только над мелочью, несвойственной его характеру. Моя ошибка в том, что я мало обнаружил русского человека, я не развергнул его, не обнажил до тех великих родников, которые хранятся в его душе. Но это нелегкое дело. Хотя я и больше вашего наблюдал за русским человеком, хотя мне мог помогать некоторый дар ясновиденья, но я не был ослеплен собой, глаза у меня были ясны. Я видел, что я еще незрел для того, чтобы бороться с событьями выше тех, какие были доселе в моих сочинениях, и с характерами сильнейшими. Всё могло показаться преувеличенным и напряженным. Так и случилось с этой моей книгой, на которую вы так напали. Вы взглянули на нее распаленными глазами, и всё вам представилось в ней в другом виде. Вы ее не узнали. Не стану защищать мою книгу. Как отвечать на которое-нибудь из

ваших обвинений, когда все они мимо? Я сам на нее напал и нападаю. Она была издана в торопливой поспешности, несвойственной моему характеру, рассудительному и осмотрительному. Но движенье было честное. Никому я не хотел ею польстить или покадить. Я хотел ею только остановить несколько пылких голов, готовых закружиться и потеряться в этом омуте и беспорядке, в котором вдруг очутились все вещи мира. Я попал в излишества, но, говорю вам, я этого даже не заметил. Своекорыстных же целей я и прежде не имел, когда меня еще несколько занимали соблазны мира, а тем более теперь, когда пора подумать о смерти. Никакого не было у меня своекорыстного умысла. Ничего не хотел я ею выпрашивать. Это не в моей натуре. Есть прелесть в бедности. Вспомнили бы вы по крайней мере, что у меня нет даже угла, и я стараюсь только о том, как бы еще облегчить мой небольшой походный чемодан, чтоб легче было расставаться с миром. Вам следовало поудержаться клеймить меня теми обидными подозрениями, какими я бы не имел духа запятнать последнего мерзавца. Это вам нужно бы вспомнить. Вы извиняете себя гневным расположением духа. Но как же в гневном расположении духа вы решаетесь говорить о таких важных предметах и не видите, что вас ослепляет гневный ум и отнимает спокойствие... Как мне защищаться против ваших нападений, когда нападенья невпопад? Вам показались ложью слова мои Государю, напоминающие ему о святости его званья и его высоких обязанностей. Вы называете их лестью. Нет, каждому из нас следует напомнить, что званье его свято, и тем более Государю. Пусть вспомнит, какой строгий ответ потребуется от него. Но если каждого из нас званье свято, то тем более званье того, кому достался трудный и страшный удел заботиться о миллионах. Зачем напоминать о святости званья? Да, мы должны даже друг другу напоминать о святости наших обязанностей и званья. Без этого человек погрязнет в материальных чувствах. Вы говорите, кстати, будто я спел похвальную песнь нашему правительству. Я нигде не пел. Я сказал только, что правительство состоит из нас же. Мы выслуживаемся и составляем правительство. Если же правительство огромная шайка воров, или, вы думаете, этого не знает никто из русских? Рассмотрим пристально, отчего это? Не оттого ли эта сложность и чудовищное накопление прав, не оттого ли, что мы все кто в лес, кто по дрова? Один смотрит в Англию, другой в Пруссию, третий во Францию. Тот выезжает на одних началах, другой на других. Один сует Государю тот проект, другой иной, третий опять иной. Что ни человек, то разные проекты и разные мысли, что ни город, то разные мысли и проекты... Как же не образоваться посреди такой разладицы ворам и всевозможным плутням и несправедливостям, когда всякий видит, что везде завелись препятствия, всякий думает только о себе и о том, как бы себе запасти потеплей квартирку?.. Вы говорите, что спасенье России в европейской цивилизации. Но какое это беспредельное и безграничное слово. Хоть бы вы определили, что такое нужно разуметь под именем европейской цивилизации, которое бессмысленно повторяют все. Тут и фаланстерьен, и красный, и всякий, и все друг друга готовы съесть, и все носят такие разрушающие, такие уничтожающие начала, что уже даже трепещет в Европе всякая мыслящая голова и спрашивает невольно, где наша цивилизация? И стала европейская цивилизация призрак, который точно никто покуда не видел,

и ежели пытались ее хватать руками, она рассыпалась. И прогресс, он тоже был, пока о нем не думали, когда же стали ловить его, он и рассыпался. Отчего вам показалось, что я спел тоже песнь нашему гнусному, как вы выражаетесь, духовенству? Неужели слово мое, что проповедник Восточной Церкви должен жизнью и делами проповедать. И отчего у вас такой дух ненависти? Я очень много знал дурных попов и могу вам рассказать множество смешных про них анекдотов, может быть больше, нежели вы. Но встречал зато и таких, которых святости жизни и подвигам я дивился, и видел, что они - созданье нашей Восточной Церкви, а не Западной. Итак, я вовсе не думал воздавать песнь духовенству, опозорившему нашу Церковь, но духовенству, возвысившему нашу Церковь. Как всё это странно! Как странно мое положение, что я должен защищаться против тех нападений, которые все направлены не против меня и не против моей книги! Вы говорите, что вы прочли будто сто раз мою книгу, тогда как ваши же слова говорят, что вы ее не читали ни разу. Гнев отуманил глаза ваши и ничего не дал вам увидеть в настоящем смысле. Блуждают кое-где блестки правды посреди огромной кучи софизмов и необдуманных юношеских увлечений. Но какое невежество блещет на каждой странице! Вы отделяете Церковь и Ее пастырей от Христианства, ту самую Церковь, тех самых пастырей, которые мученическою своею смертью запечатлели истину всякого слова Христова, которые тысячами гибли под ножами и мечами убийц, молясь о них, и наконец утомили самих палачей, так что победители упали к ногам побежденных, и весь мир исповедал Христа. И этих самых Пастырей, этих мучеников Епископов, вынесших на плечах святыню Церкви, вы хотите отделить от Христа, называя их несправедливыми истолкователями Христа. Кто же, по-вашему, ближе и лучше может истолковать теперь Христа? Неужели нынешние коммунисты и социалисты, объясняющие, что Христос повелел отнимать имущество и грабить тех, которые нажили себе состояние? Опомнитесь! Вольтера называете оказавшим услугу Христианству и говорите, что это известно всякому ученику гимназии. Да я, когда был еще в гимназии, я и тогда не восхищался Вольтером. У меня и тогда было настолько ума, чтоб видеть в Вольтере ловкого остроумца, но далеко не глубокого человека. Вольтером не могли восхищаться полные и зрелые умы, им восхищалась недоучившаяся молодежь. Вольтер, несмотря на все блестящие замашки, остался тот же француз. О нем можно сказать то, что Пушкин говорит вообще о французе:

Француз - дитя:
Он так, шутя,
Разрушит трон
И даст закон;
И быстр, как взор,
И пуст, как вздор,
И удивит,
И насмешит

(в действительности Гоголь цитировал стихотворение поэта Александра Ивановича Полежаева (1804-1838) "Четыре нации". - Б. С.) ... Христос нигде никому не говорит отнимать, а еще напротив и настоятельно нам велит Он

уступать: снимающему с тебя одежду отдай последнюю рубашку, с просящим тебя пройти с тобою одно поприще, пройди два. Нельзя, получа легкое журнальное образование, судить о таких предметах. Нужно для этого изучить историю Церкви. Нужно сызнова прочитать с размышленьем всю историю человечества в источниках, а не в нынешних легких брошюрках, написанных Бог весть кем. Эти поверхностные энциклопедические сведения разбрасывают ум, а не сосредоточивают его. Что мне сказать вам на резкое замечание, будто русский мужик не склонен к Религии и что, говоря о Боге, он чешет у себя другой рукой пониже спины, замечание, которое вы с такою самоуверенностью произносите, как будто век обращались с русским мужиком? Что тут говорить, когда так красноречиво говорят тысячи церквей и монастырей, покрывающих Русскую землю. Они строятся не дарами богатых, но бедными лептами неимущих, тем самым народом, о котором вы говорите, что он с неуваженьем отзывается о Боге, и который делится последней копейкой с бедным и Богом, терпит горькую нужду, о которой знает каждый из нас, чтобы иметь возможность принести усердное подаяние Богу. Нет, Виссарион Григорьевич, нельзя судить о русском народе тому, кто прожил век в Петербурге, в занятьях легкими журнальными статейками и романами тех французских романистов, которые так пристрастны, что не хотят видеть, как из Евангелия исходит истина, и не замечают того, как уродливо и пошло изображена у них жизнь. Теперь позвольте же сказать, что я имею более пред вами права заговорить о русском народе. По крайней мере, все мои сочинения, по единодушному убежденью, показывают знание природы русской, выдают человека, который был с народом наблюдателен и... стало быть, уже имеет дар входить в его жизнь, о чем говорено было много, что подтвердили сами вы в ваших критиках. А что вы представите в доказательство вашего знания человеческой природы и русского народа, что вы произвели такого, в котором видно это знание? Предмет этот велик, и об этом бы я мог вам написать книги. Вы бы устыдились сами того грубого смысла, который вы придали советам моим помещику. Как эти советы ни обрезаны цензурой, но в них нет протеста противу грамотности, а разве лишь протест против развращенья народа русского грамотою, наместо того, что грамота нам дана, чтоб стремить к высшему свету человека. Отзывы ваши о помещике вообще отзываются временами Фонвизина. С тех пор много, много изменилось в России, и теперь показалось многое другое. Что для крестьян выгоднее, правление одного помещика, уже довольно образованного, который воспитался и в университете и который всё же стало быть, уже многое должен чувствовать, или быть под управлением многих чиновников, менее образованных, корыстолюбивых и заботящихся о том только, чтобы нажиться? Да и много есть таких предметов, о которых следует каждому из нас подумать заблаговременно, прежде нежели с пылкостью невоздержанного рыцаря и юноши толковать об освобождении, чтобы это освобожденье не было хуже рабства. Вообще у нас как-то более заботятся о перемене названий и имен. Не стыдно ли вам в уменьшительных именах наших, которые даем мы... иногда и товарищам, видеть униженье человечества и признак варварства? Вот до каких ребяческих выводов доводит неверный взгляд на главный предмет... Еще меня изумила эта отважная самонадеянность, с которою вы говорите: "Я знаю

общество наше и дух его", и ручаетесь в этом. Как можно ручаться за этот ежеминутно меняющийся хамелеон? Какими данными вы можете удостоверить, что знаете общество? Где ваши средства к тому? Показали ли вы где-нибудь в сочиненьях своих, что вы глубокий ведатель души человека? Прошли ли вы опыт жизни? Живя почти без прикосновенья с людьми и светом, ведя мирную жизнь журнального сотрудника, во всегдашних занятиях фельетонными статьями, как вам иметь понятие об этом громадном страшилище, которое неожиданными явленьями ловит нас в ту ловушку, в которую попадают все молодые писатели, рассуждающие обо всем мире и человечестве, тогда как довольно забот нам и вокруг себя. Нужно прежде всего их исполнить, тогда общество само собою пойдет хорошо. А если пренебрежем обязанности относительно лиц близких и погонимся за обществом, то упустим и те и другие так же точно. Я встречал в последнее время много прекрасных людей, которые совершенно сбились. Одни думают, что преобразованьями и реформами, обращеньем на такой и на другой лад можно поправить мир; другие думают, что посредством какой-то особенной, довольно посредственной литературы, которую вы называете беллетристикой, можно подействовать на воспитание общества. Но благосостояние общества не приведут в лучшее состояние ни беспорядки, ни пылкие головы. Брожение внутри не исправить никаким конституциям... Общество образуется само собою, общество слагается из единиц. Надобно, чтобы каждая единица исполнила должность свою... Нужно вспомнить человеку, что он вовсе не материальная скотина, но высокий гражданин высокого небесного гражданства. Покуда он хоть сколько-нибудь не будет жить жизнью небесного гражданина, до тех пор не придет в порядок и земное гражданство. Вы говорите, что Россия долго и напрасно молилась. Нет, Россия молилась не напрасно. Когда она молилась, то она спасалась. Она помолилась в 1612, и спаслась от поляков; она помолилась в 1812, и спаслась от французов. Или это вы называете молитвою, что одна из сотни молится, а все прочие кутят, сломя голову, с утра до вечера на всяких зрелищах, закладывая последнее свое имущество, чтобы насладиться всеми комфортами, которыми наделила нас эта бестолковая европейская цивилизация? Нет, оставим подобные сомнительные положения и посмотрим на себя честно. Будем стараться, чтоб не зарыть в землю талант свой. Будем отправлять по совести свое ремесло. Тогда всё будет хорошо, и состоянье общества поправится само собою. В этом много значит Государь. Ему дана должность, которая важнее и превыше всех. С Государя у нас все берут пример. Стоит только ему, не коверкая ничего, править хорошо, так и всё пойдет само собою. Почему знать, может быть, придет ему мысль жить в остальное время от дел скромно, в уединении в дали от развращающего двора, от всего этого накопленья. И всё обернётся само собою просто. Сумасшедшую жизнь захотят бросить. Владельцы разъедутся по поместьям, станут заниматься делом. Чиновники увидят, что не нужно жить богато, перестанут красть. А честолюбец, увидя, что важные места не награждают ни деньгами, ни богатым жалованьем, оставит службу. Оставьте этот мир обнаглевших... который обмер, для которого ни вы, ни я не рождены. Позвольте мне напомнить прежние ваши работы и сочинения. Позвольте мне также напомнить вам прежнюю вашу дорогу... Литератор существует для

другого. Он должен служить искусству, которое вносит в души мира высшую примиряющую истину, а не вражду, любовь к человеку, а не ожесточение и ненависть. Возьмитесь снова за свое поприще, с которого вы удалились с легкомыслием юноши. Начните сызнова ученье. Примитесь за тех поэтов и мудрецов, которые воспитывают душу. Вы сами сознали, что журнальные занятия выветривают душу и что вы замечаете наконец пустоту в себе. Это и не может быть иначе. Вспомните, что вы учились кое-как, не кончили даже университетского курса. Вознаградите это чтеньем больших сочинений, а не современных брошюр, писанных разгоряченным умом, совращающим с прямого взгляда... Я точно отступаюсь говорить о таких предметах, о которых дано право говорить одному тому, кто получил его в силу многоопытной жизни. Не мое дело говорить о Боге. Мне следовало говорить не о Боге, а о том, что вокруг нас, что должен изображать писатель, но так, чтобы каждому самому захотелось бы заговорить о Боге... Хотя книга моя вовсе не исполнена той обдуманности, какую вы подозреваете, напротив, она печатана впопыхах, в ней были напечатаны даже письма, писанные во время самого печатанья, хотя в ней действительно есть много неясного и так, вероятно, можно иное принять... но до такой степени спутаться, как спутались вы, принять всё в таком странном смысле! Только гневом, помрачившим ум и отуманившим голову, можно объяснить такое заблуждение... Слова мои о грамотности вы приняли в буквальном, тесном смысле. Слова эти были сказаны помещику, у которого крестьяне земледельцы. Мне даже было смешно, когда из этих слов вы поняли, что я вооружался против грамотности. Точно как будто бы об этом теперь вопрос, решенный уже давно нашими отцами. Отцы и деды наши, даже безграмотные, решили, что грамотность нужна. Не в этом дело. Мысль, которая проходит сквозь всю мою книгу, есть та, как просветить прежде тех, которые имеют близкие столкновения с народом, чем самый народ, всех этих мелких чиновников и власти, которые все грамотны и которые между тем много делают злоупотреблений. Поверьте, что для этих господ нужнее издавать те книги, которые вы, думаете, полезны для народа. Народ меньше испорчен, чем всё это грамотное население. Народ лучше исполняет долг, чем мы. Но издать книги для этих господ, которые бы открыли им тайну, как быть с народом и с подчиненными, которые им поручены, не в том обширном смысле, в котором повторяется слово: не крадь, соблюдай правду или: помни, что твои подчиненные люди такие же, как и ты, и тому подобные, но которые могли бы ему открыть, как именно не красть, и чтобы точно соблюдалась правда. А вы думаете, легко воров выгнать? Царь, который только и думает о том, как их выгнать, да и тот не может, - Царь, у которого и войско, и всякая сила есть. Как же вы хотите, без всякой силы и власти, это сделать? Что спьяна передушите всех, думаете поправить? Думаете, лучше будет погибнуть? Те, которых шеи потолще, останутся. Что, те святые, что ль? Еще больше станут допекать друг друга". Писатель и критик разговаривали на разных языках и жили в разных системах ценностей. Для Б. высшей ценностью была индивидуальная свобода, а для Гоголя - духовная гармония.

В конце 1847 г. в статье "Ответ "Москвитянину", опубликованной в 11-м номере "Современника" за 1847 г., Б., отвечая на статью Ю. Ф. Самарина "О

мнениях "Современника" исторических и литературных", писал: "Гоголь дал такое направление литературе, которое изгнало из нее риторику и для успеха в котором необходим талант. Вследствие этого старая манера выводить в романах и повестях риторические олицетворения отвлеченных добродетелей и пороков, вместо живых типических лиц, пала... Гоголь создал типы - Ивана Федоровича Шпоньки, Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, Хлестакова, Городничего, Бобчинского и Добчинского, Земляники, Шпекина, Тяпкина-Ляпкина, Чичикова, Манилова, Коробочки, Плюшкина, Собакевича, Ноздрева и многие другие. В них он является великим живописцем пошлости жизни, который видит насквозь свой предмет во всей его глубине и широте и схватывает его во всей полноте и целостности его действительности. Но зачем же забывают, что тот же Гоголь написал "Тараса Бульбу", поэму, герой и второстепенные действующие лица которой - характеры высоко трагические? И между тем видно, что поэма эта написана тою же рукою, которою писаны "Ревизор" и "Мертвые души". В ней является та особенность, которая принадлежит только таланту Гоголя. В драмах Шекспира встречаются с великими личностями и пошлые, но комизм у него всегда на стороне только последних; его Фальстаф смешон, а принц Генрих и потом король Генрих V - вовсе не смешон. У Гоголя Тарас Бульба так же исполнен комизма, как и трагического величия; оба эти противоположные элементы слились в нем неразрывно и целостно в единую, замкнутую в себе, личность; вы и удивляетесь ему, и ужасаетесь его, и смеетесь над ним. Из всех известных произведений европейских литератур пример подобного, и то не вполне, слияния серьезного и смешного, трагического и комического, ничтожности и пошлости жизни со всем, что есть в ней великого и прекрасного, представляет только "Дон Кихот" Сервантеса. Если в "Тарасе Бульбе" Гоголь умел в трагическом открыть комическое, то в "Старосветских помещиках" и "Шинели" он умел уже не в комизме, а в положительной пошлости жизни найти трагическое. Вот где, нам кажется, должно искать существенной особенности таланта Гоголя. Это - не один дар выставлять ярко пошлость жизни, а еще более - дар выставлять явления жизни во всей полноте их реальности и их истинности. В "Переписке" Гоголя есть одно место, которое бросает яркий свет на значение и особенность его таланта и которое было или ложно понято, или оставлено без внимания: "Эти ничтожные люди (в "Мертвых душах"), однакож, ничуть не портреты с ничтожных людей; напротив, в них собраны черты тех, которые считают себя лучшими других, разумеется, только в разжалованном виде из генералов в солдаты; тут, кроме моих собственных, есть даже черты моих приятелей"... Действительно, каждый из нас, какой бы он ни был хороший человек, если вникнет в себя с тем беспристрастием, с каким вникает в других, - то непременно найдет в себе, в большей или меньшей степени, многие из элементов многих героев Гоголя. И кому не случалось встречать людей, которые немножко скупеньки, как говорится, прижимисты, а во всех других отношениях - прекраснейшие люди, одаренные замечательным умом, горячим сердцем? Они готовы на все доброе, они не оставят человека в нужде, помогут ему, но только подумавши, порассчитавши, с некоторым усилием над собою? Такой человек, разумеется, не Плюшкин, но с возможностию сделаться им, если поддастся влиянию этого элемента и если,

при этом, стечение враждебных обстоятельств разовьет его и даст ему перевес над всеми другими склонностями, инстинктами и влечениями. Бывают люди с умом, душою, образованием, познаниями, блестящими дарованиями - и, при всем этом, с тем качеством, которое теперь известно на Руси под именем "хлестаковства". Скажем больше: многие ли из нас, положа руку на сердце, могут сказать, что им не случалось быть Хлестаковыми, кому целые года своей жизни (особенно молодости), кому хоть один день, один вечер, одну минуту? Порядочный человек не тем отличается от пошлого, чтобы он был вовсе чужд всякой пошлости, а тем, что видит и знает, что в нем есть пошлого, тогда как пошлый человек и не подозревает этого в отношении к себе; напротив, ему-то и кажется больше всех, что он истинное совершенство. Здесь мы... видим подтверждение... мысли об особенности таланта Гоголя, которая состоит не в исключительном только даре живописать ярко пошлость жизни, а проникать в полноту и реальность явлений жизни. Он, по натуре своей, не склонен к идеализации, он не верит ей; она кажется ему отвлечением, а не действительностию; в действительности для него добро и зло, достоинство и пошлость не раздельны, а только перемешаны не в равных долях. Ему дался не пошлый человек, а человек вообще, как он есть, не украшенный и не идеализированный. Писатели риторической школы утверждают, будто все лица, созданные Гоголем, отвратительны как люди. Справедливо ли это? - Нет, и тысячу раз нет! Возьмем на выдержку несколько лиц. Манилов пошл до крайности, сладок до приторности, пуст и ограничен; но он не злой человек; его обманывают его люди, пользуясь его добродушием; он скорее их жертва, нежели они его жертвы. Достоинство отрицательное - не спорим; но если бы автор придал к прочим чертам Манилова еще жестокость обращения с людьми, тогда все бы закричали: что за гнусное лицо, ни одной человеческой черты! Так уважим в Манилове это отрицательное достоинство. Собакевич - антипод Манилова: он груб, неотесан, обжора, плут и кулак; но избы его мужиков построены хоть неуклюже, а прочно, из хорошего лесу, и, кажется, его мужикам хорошо в них жить. Положим, причина этого не гуманность, а расчет, но расчет, предполагающий здравый смысл, расчет, которого, к несчастию, не бывает иногда у людей с европейским образованием, которые пускают по миру своих мужиков на основании рационального хозяйства. Достоинство опять отрицательное, но ведь если бы его не было в Собакевиче, Собакевич был бы еще хуже: стало быть, он лучше при этом отрицательном достоинстве. Коробочка пошла и глупа, скупа и прижимиста, ее девчонка ходит в грязи, босиком, но зато не с распухшими от пощечин щеками, не сидит голодна, не утирает слез кулаком, не считает себя несчастною, но довольна своею участью. Скажут: все это доказывает только то, что лица, созданные Гоголем, могли б быть еще хуже, а не то, чтоб они были хороши. Да мы и не говорим, что они хороши, а говорим только, что они не так дурны, как говорят о них...

...Несмотря на усердные возгласы невпопад усердных патриотов, произведения Гоголя в короткое время получили на Руси народность. Их не читают только те, которые ничего не читают, а "Ревизора" знают многие и из тех, которые вовсе не знают грамоте". В статье "Взгляд на русскую литературу 1847 года", опубликованной в 1-м номере "Современника" за 1848 г., Б.

утверждал, что "к сочинениям каждого из поэтов русских можно, хотя и с натяжкою, приложить старое и ветхое определение поэзии, как "украшенной природы"; но в отношении к сочинениям Гоголя это уже невозможно сделать. К ним идет другое определение искусства - как воспроизведение действительности во всей ее истине. Тут все дело в типах, а идеал тут понимается не как украшение (следовательно, ложь), а как отношения, в которые автор становит друг к другу созданные им типы, сообразно с мыслию, которую он хочет развить своим произведением... Гоголь принадлежит к числу немногих, совершенно избегнувших всякого влияния какой бы то ни было теории. Умея понимать искусство и удивляться ему в произведениях других поэтов, он тем не менее пошел своей дорогою, следуя глубокому и верному художническому инстинкту, каким щедро одарила его природа, и не соблазняясь чужими успехами на подражание. Это, разумеется, не дало ему оригинальности, но дало ему возможность сохранить и выказать вполне ту оригинальность, которая была принадлежностью, свойством его личности и, следовательно, подобно таланту, даром природы. От этого он и показался для многих как бы извне вошедшим в русскую литературу, тогда как на самом деле он был ее необходимым явлением, требовавшимся всем предшествовавшим ее развитием. Влияние Гоголя на русскую литературу было огромно. Не только все молодые таланты бросились на указанный им путь, но и некоторые писатели, уже приобретшие известность, пошли по этому же пути, оставивши свой прежний. Отсюда появление школы, которую противники ее думали унизить названием натуральной. После "Мертвых душ" Гоголь ничего не написал. На сцене литературы теперь только его школа".

БЕЛОЗЕРСКИЙ Николай Данилович,богатый черниговский помещик, в 1824-1841 гг. занимал должность борзенского уездного судьи. Товарищ Гоголя по нежинской гимназии. Дружеские отношения с Б. писатель сохранил до конца жизни.

Б. рассказывал П. А. Кулишу, что, "посещая в Нежине бывшего инспектора гимназии кн. Безбородко, Белоусова, видел у него студента Гоголя, который был хорошо принят в доме своего начальника и часто приходил к его двоюродному брату, тоже студенту Божко, для ученических занятий". По словам Б., Гоголь в то время был "немножко сутуловатым, с походкою, которую всего лучше выражает слово петушком".

Весной 1832 г. Гоголь встретился с Б. Вот рассказ об этой встрече Б. в записи П. А. Кулиша: "В то время переменчивость в настроении души Гоголя обнаруживалась в скором созидании и разрушении планов. Так, однажды весною он объявил, что едет в Малороссию, и, действительно, совсем собрался в дорогу. Приходят к нему проститься и узнают, что он переехал на дачу. Н. Д. Белозерский посетил его там. Гоголь занимал отдельный домик с мезонином, недалеко от Поклонной горы, на даче Гинтера. - "Кто же у вас внизу живет?" - спросил гость. "Низ я нанял другому жильцу", - отвечал Гоголь. "Где же вы его поймали?" - "Он сам явился ко мне, по объявлению в газетах. И еще какая странная случайность! Звонит ко мне какой-то господин. Отпирают. Вы публиковали в газетах об отдаче внаем половины дачи? Публиковал. - Нельзя ли

мне воспользоваться? - Очень рад. Позвольте узнать вашу фамилию. - Половинкин. - Так и прекрасно! Вот вам и половина дачи. Тотчас без торгу и порешили". Через несколько времени Белозерский опять посетил Гоголя на даче и нашел в ней одного Половинкина. Гоголь, вставши раз очень рано и увидев на термометре восемь градусов тепла, уехал в Малороссию, и с такою поспешностью, что не сделал даже никаких распоряжений касательно своего зимнего платья, оставленного в комоде. Потом он уже писал из Малороссии к своему земляку Белозерскому, чтобы он съездил к Половинкину и попросил его развесить платье на свежем воздухе. Белозерский отправился на дачу и нашел платье уже развешанным".

Весной 1840 г. Б. после долгого перерыва написал Гоголю письмо. В ответном письме от 12 апреля 1840 г. из Москвы Гоголь писал: "Об вас я нигде не мог узнать, что вы и где вы?.. Ваше письмо меня обрадовало... Мне бы очень хотелось обнять вас, но нет для этого мне возможности. Через две недели я еду. Здоровье мое и я сам уже не гожусь для здешнего климата, а главное - моя бедная душа: ей нет здесь приюта, или, лучше сказать, для ней нет такого приюта здесь, куда бы не доходили до нее волненья. Я же теперь больше гожусь для монастыря, чем для жизни светской. Вы в письме вашем сказали, хотя вскользь и хотя не иначе, как на условиях, что, может быть, когда-нибудь побываете в моей родине, то есть в деревне. Теперь я буду вас просить об этом серьезно. Ради Бога, если случится вам быть в Полтаве, приезжайте ко мне в деревню Васильевку, в тридцати пяти верстах от Полтавы. Вы мне сделаете великую услугу и благодеяние. Вот в чем дело: рассмотрите ее и положение, в каком она находится, и напишите об этом мне, а также и чем можно поправить обстоятельства. Дела запущены мною. Маминька предобрейшая и слабейшая женщина, ее обманывают на каждом шагу. Вы человек умный и знающий: вы заметите тотчас то, чего я сам никак не замечу, ибо я, признаюсь, теперь едва даже могу заметить, что существую. Сделайте мне эту милость... Маминька несколько раз слышала об вас от меня и будет рада вам несказанно... Когда она будет говорить о хозяйстве... Она, бедная, твердо уверена, что у ней то и то сделано, когда между прочим ни того, ни другого не делано; что это в этом положении, а не в том положении".

БЕНАРДАКИ Дмитрий Егорович (Егорьевич) (умер в 1870), грек, отставной офицер, крупнейший петербургский откупщик-миллионер, один из носителей того, что позднее Макс Вебер назвал "протестантской этикой" (хотя сам Б. был православным), знакомый Гоголя, послуживший прототипом откупщика Муразова и помещика Костанжогло из второго тома "Мертвых душ". В ранней редакции поэмы Костанжогло писался как Берданжогло, а также Скудронжогло, Попонжогло и Гоброжогло. Хотя, наверное, в жизни Б. вряд ли был такой идеальной фигурой, как эти персонажи. И не исключено, что некоторые детали биографии Б. отразились и в образе Чичикова. Так, Б. купил на вывод в Херсонскую губернию 2 тыс. крестьян в Тульской губернии.

С. Т. Аксаков вспоминал, что когда в ноябре 1839 г. ему срочно понадобились 2000 рублей, чтобы одолжить их Гоголю, "я сейчас написал записку и попросил на две недели 2000 рублей (за это время Аксаков рассчитывал получить долг от И. Е. Великопольского, который должен был ему

2700 рублей. - Б. С.) к известному богачу, очень замечательному человеку по своему уму и душевным свойствам, разумеется, весьма односторонним, откупщику Бенардаки, с которым был хорошо знаком. Он отвечал мне, что завтра поутру приедет сам для исполнения моего "приказания". Эта любезность была исполнена в точности... Замечательно, что этот грек Бенардаки, очень умный, но без образования, был единственным человеком в Петербурге, который назвал Гоголя гениальным писателем и знакомство с ним ставил себе за большую честь".

Гоголь познакомился с Б. летом 1839 г. в Мариенбаде. Бывший там в то время М. П. Погодин записал в дневнике: "Мариенбад (8 июля - 8 августа)... Из русских был здесь Д. Е. Бенардаки, лицо очень примечательное своим умом. Оставив по неприятности военную службу, он с капиталом в тридцать или сорок тысяч пустился в обороты и в короткое время хлебными операциями приобрел большие деньги. Чем более умножались его средства, тем шире распространял круг своего действия, принял участие в откупах, продолжая хлебную торговлю, скупал земли, приобрел заводы и в течение пятнадцати лет нажил такое состояние, которое дает ему полумиллион дохода. Я давно уже слышал о действиях Бенардаки,открытых и решительных,коими приобрел он неограниченную доверенность от всех лиц, имевших с ним дело. Щедрые награды людям, служившим усердно, доставили ему таких поверенных, которые приносили и приносят ему выгоды несчетные. Быв в сношении, в течение двадцати лет, с людьми всех состояний, от министра до какого-нибудь побродяги, приносящего в кабак последний грош, Бенардаки был для меня профессором, которого лекции о состоянии России, о характере, достоинствах и пороках тех и других действующих лиц, об отношении их к просителям и делам, о состоянии судопроизводства, о помещиках и их хозяйстве, о хозяйстве крестьянском, о положении городов и их местных выгодах, - лекции, оживленные множеством анекдотов, слушал я с жадностью. Всякий день после ванны ходили мы втроем, я, он и Гоголь, по горам и долам и рассуждали о любезном отечестве. Гоголь выспрашивал его об разных исках и верно дополнил свою галерею оригинальными портретами, которые когда-нибудь увидим мы на сцене". Позднее М. П. Погодин вспоминал: "В Мариенбаде был еще тогда известный предприимчивый Д. Е. Бенардаки. Мы все гуляли вместе, Бенардаки, знающий Россию самым лучшим и коротким образом, бывший на всех концах ее, рассказывал нам множество разных вещей, которые и поступили в материалы "Мертвых душ", а характер Костанжогло во второй части писан в некоторых частях с него". В конце августа (н. ст.) 1839 г. Гоголь писал Б. из Вены: "Дни прекрасные. Жарко. Даже не верится, что в Мариенбаде мы уже видели осень... Особенно советую вам как можно больше смотреть в Мюнхене, что достойно и недостойно. Это благодетельно действует : я как походил по Вене с четыре часа, осматривая разный вздор, да как поискал часа с два своей квартиры, так после этого..."

Писатель пытался порекомендовать Б. своего друга П. В. Нащокина в качестве домашнего учителя. Около 20 июля н. ст. 1842 г. Гоголь писал Б. из Гастейна: "Посылаю вам копию с письма, которое я теперь только послал к Павлу Воиновичу Нащокину (в этом письме содержалось предложение стать

воспитателем сына откупщика и, в частности, утверждалось, что Б. - это человек, который "приобрел богатства сии силою одного ума и глубоких соображений, а не удачами и слепым счастьем, и потому они не должны быть истрачены втуне. Они должны быть употреблены на прекрасные дела". - Б. С.). Рассмотрите ее заблаговременно и скажите, всё ли в нем как следует и согласны ли мои мысли с вашими. Решитесь ли вы так или иначе насчет образования вашего сына, но во всяком случае я почитаю необходимым сообщить, хотя бы они вам были уже знакомы. Бог наградил меня способностью чувствовать глубоко и чисто многое из того, что другому доставляет только тяжелые мучения... Поэтому я вам скажу одну важную мысль относительно воспитания, превращенного в гонку. Ваш сын, кажется, уже находится в тех летах, когда, кто имеет в себе способности, становится живее к принятию всего. В эти годы имеют обычай загромаживать множеством наук и предметов и, чем более видят восприимчивости, тем более подносят ему со всех сторон. Нужно, чтобы наука памяти не отнимала свободы мыслить. Теперь слишком загромаживают ум множеством самых разнородных наук, и никто не чувствует страшного вреда, что уже нет времени и возможности помыслить и оглянуть взором наблюдателя самое приобретенное знание. Нынешнее обилие предметов, которые торопятся внушить в наше детище, не давая ему перевести духу и оглянуться, превращает его в путника, который спешит бегом по дороге, не глядя по сторонам и не останавливается нигде, чтобы оглянуться назад. Это правда, что он уйдет дальше вперед, чем тот, который останавливается на каждом возвышенном месте, но зато знает твердо, в каких местах лежит его дорога и где именно есть путь в двадцать раз короче. Это важная истина. Я в этом году особенно заметил увеличившуюся сложность наук. Старайтесь, чтобы всякая наука ему была сообщаема сколько возможно в соприкосновении с жизнью. Теперь слишком много обременяют голову, слишком сложно, слишком обширно, едва успевают перечесть и внесть в память. Зато в три года теперь не остается почти ничего в голове. Я нередко наблюдал в последнее время, как многие, считавшиеся лучшими и показывавшие способности, делались препустыми людьми. И лучшими бывают часто те, которые почти выгнаны из заведений за небрежность и неуспехи. Зато теперь реже явленье необыкновенных умов, гениев. Самые изобретения теперешние гораздо менее и ничтожнее прежних, и прежние изобретения, произведенные людьми менее учеными, гораздо колоссальнее. Их остановили ремесла, и не являются теперь давно те умы, действительно самородные и обязанные самому себе своим образованием, как какой-нибудь простой пастух, который открывает силу целительного действия воды и разрешает, что и как нужно. Еще надобна осторожность в отношении к языкам. Знать несколько языков недурно, но вообще многоязычие вредит сильно оригинальному и национальному развитию мысли. Ум невольно начинает мыслить не в духе своем, национальном, природном и чрез то становится бледнее и с тем теряет живость постигать предмет. Эта мысль не моя, но я совершенно согласен с нею. Притом в России с каждым годом чувствуется, что меньше необходимо подражания! Вот что пока я счел долгом сказать вам, хотя, может быть, вы сами уже это чувствуете. Но воспитание сына вашего меня интересует, и вы можете понимать почему. Вследствие этого я прошу вас

уведомлять обо всем, что вы предпримите для него".

БОДЯНСКИЙ Осип Максимович (1808-1877), профессор литературы и истории славянства в Московском университете, выходец с Украины. Был секретарем "Московского общества истории и древностей российских", редактировал его "Чтения", пока за публикацию сочинения бывшего английского посла в России Джеймса Флетчера (1549-1611), "О государстве Русском", журнал не был в 1848 г. закрыт. Б. тогда же лишили кафедры, но уже в 1849 г. восстановили на ней. С Гоголем Б. познакомился в октябре 1832 г. в Москве. Зимой 1848/1849 г. Гоголь брал у Б. уроки сербского языка, чтобы читать сербские песни, собранные Вуком Караджичем.

12 мая 1850 г. Б. записал в дневнике: "Вечером в часов девять отправился я к Н. В. Гоголю, в квартиру графа Толстого, на Никитском бульваре, в доме Талызиной. У крыльца стояли чьи-то дрожки. На вопрос мой: "Дома ли Гоголь?" - лакей отвечал, запинаясь: "Дома, но наверху, у графа". - "Потрудитесь сказать ему обо мне". - Через минуту он воротился, прося зайти в жилье Гоголя, внизу, в первом этаже, направо, две комнаты. Первая вся устлана зеленым ковром, с двумя диванами по двум стенам... прямо печка с топкой, заставленной богатой гардинкой зеленой тафты (или материи) в рамке; рядом дверь у самого угла к наружной стене, ведущая в другую комнату, кажется, спальню, судя по ширмам в ней, на левой руке; в комнате, служащей приемной, сейчас описанной, от наружной стены поставлен стол, покрытый зеленым сукном, поперек входа к следующей комнате (спальне), а перед первым диваном точно такой же стол. На обоих столах несколько книг кучками одна на другой: тома два "Христианского Чтения", "Начертание церковной Библейской истории", "Быт русского народа", экземпляра два греко-латинского словаря, словарь церковно-русского языка, Библия в большую четверку московской новой печати, подле нее молитвослов киевской печати, первой четверти прошлого века; на втором столе (от внешней стены), между прочим, сочинения Батюшкова в издании Смирдина "русских авторов", только что вышедшее, и пр. Минут через пять пришел Гоголь, извиняясь, что замешкался. "Я сидел с одним старым знакомым, - сказал он, - недавно приехавшим, с которым давно уже не виделся". - "Я вас не задержу своим посещением?" "О нет, мы посидим, сколько угодно вам. Чем же вас потчевать? Чаем?" - "Его я не пью никогда. Пожалуйста, не беспокойтесь нимало, я не пью ничего, кроме воды". - "А, так позвольте же угостить вас водицей содовой". Тотчас лакей принес бутылку, которою и опорожнил в небольшой стакан. "Несколько раз собирался я к вам, но все что-нибудь удерживало. Сегодня, наконец, улучил досуг и завернул к вам, полагая, что если и не застану вас, то оставлю вам билетец, чтобы знали вы, что я был-таки в вашей обители". "Да,- подхватил он,- чтобы знали, что я был у вас". Сегодня слуга мой говорит мне, что ко мне, около обеденной поры, какая-то старушка заходила и три раза просила передать мне, что вот она у меня была; а теперь я слышу, что она уже покойница. "Да скажи же Николаю Васильевичу, пожалуйста, скажи, что была у него: была нарочно повидаться с ним". Вероятно, бедненькая, уставши от ходьбы, изнемогла под бременем лет, воротившись в свою светелку, кажется, на третьем этаже". Разговаривая далее, речь коснулась литературы русской, а тут и того обстоятельства, которое препятствует на

Москве иметь свой журнал. "Хорошо бы вам взяться за журнал; вы и опытны в этом деле, да и имеете богатый запас от "Чтений" книжек на 11-12 вперед... Для большего успеха отечественного нужно, чтобы в журнале было как можно больше своего, особенно материалов для истории, древностей и т. п., как в ваших "Чтениях". Еще больше. Это были бы те же "Чтения", только с прибавкой одного отдела, именно "Изящная словесность", который можно было бы поставить спереди или сзади и в котором помещалось одно лишь замечательное, особенно по части иностранной литературы (за неимением современного и старое шло бы). И притом так, чтобы избегать как можно немецкого педантства в подразделениях. Чем объемистее какой отдел, тем свободнее издатель, избавленный от кропотливых забот отыскивать статьи для наполнения клеток своего журнала, из коих многие никогда бы без того не были напечатаны". - "Разумеется". Перед отходом спросил я, где он хочет провести лето. "Мне хотелось бы пробраться в Малороссию свою, потом на осень воротиться к вам, зиму провести где-либо потеплее, а на весну снова к вам". - "Что же, вам худо у нас этой зимой?" - "И очень. Я зяб страшно, хотя первый год чувствовал себя очень хорошо". - "По мне, если не хотите выезжать за границу, лучше всего в Крыму". - "Правда, и я собираюсь попытаться это сделать в следующую зиму... За границу мне бы не хотелось, тем более, что там нет уже тех людей, к которым я привык: все они разбежались (намек на прокатившиеся по Европе в 1848-1849 гг. революции. Б. С.)".- "Но если придется вам непременно ехать туда, разумеется, снова в Рим?" - "Нет, там в последнее время было для меня уже холодновато, скорее всего в Неаполь; в нем проводил бы я зиму, а на лето по-прежнему убирался бы куда-нибудь на север, на воды или к морю. Купанье морское мне очень хорошо". Прощаясь, он спросил меня, буду ли я на варениках. "Если что-либо не помешает". Под варениками разумеется обед у С. Т. Аксакова по воскресеньям, где непременным блюдом были всегда вареники для трех хохлов: Гоголя, М. А. Максимовича и меня, а после обеда, спустя час-другой, песни малороссийские под фортепиано, распеваемые второю дочерью хозяина, Надеждою Сергеевною, голос которой очень мелодический. Обыкновенно при этом Максимович подпевал. Песни пелись по "Голосам малороссийских песен", изданных Максимовичем, и кой-каким другим сборникам, принесенным мною. Почти выходя, Гоголь сказал, что ныне как-то разучиваются читать; что редко можно найти человека, который бы не боялся толстых томов какого-нибудь дельного сочинения; больше всего теперь развелось у нас щелкоперов, слово, кажется, любимое им и часто употребляемое в подобных случаях".

Очень интересный спор Б. с Гоголем, происшедший в конце 1851 г., за четыре месяца до смерти писателя, зафиксировал в своих мемуарах писатель Григорий Петрович Данилевский (1829-1890), присутствовавший при их беседе в квартире Гоголя в доме А. П. Толстого: "...А что это у вас за рукописи?" спросил Бодянский, указывая на рабочую красного дерева конторку, стоявшую налево от входных дверей, за которою Гоголь перед нашим приходом, очевидно, работал стоя. "Так себе, мараю по временам!" - небрежно ответил Гоголь. На верхней части конторки были положены книги и тетради; на ее покатой доске, обитой зеленым сукном, лежали раскрытые, мелко исписанные и перемаранные

листы.

- Не второй ли том "Мертвых Душ"? - спросил, подмигивая, Бодянский.

- Да... иногда берусь, - нехотя проговорил Гоголь, - но работа не подвигается; иное слово вытягиваешь клещами.

- Что же мешает? У вас тут так удобно, тихо.

- Погода, убийственный климат! Невольно вспоминаешь Италию, Рим, где писалось лучше и так легко. Хотел было на зиму уехать в Крым, к Княжевичу, там писать; думал завернуть и на родину, к своим, туда звали на свадьбу сестры, Елизаветы Васильевны... Ел. В. Гоголь тогда вышла замуж за саперного офицера Быкова.

- За чем же дело стало? - спросил Бодянский.

- Едва добрался до Калуги и возвратился. Дороги невозможные, простудился, да и времени пришлось бы столько потратить на одни переезды. А тут еще затеял новое, полное издание своих сочинений.

- Скоро ли оно выйдет?

- В трех типографиях начал печатать, - ответил Гоголь, - будет четыре больших тома. Сюда войдут все повести, драматические вещи и обе части "Мертвых Душ". Пятый том я напечатаю позже под заглавием "Юношеские опыты". Сюда войдут некоторые журнальные статьи, статьи из "Арабесок" и прочее.

- А "Переписка"? - спросил Бодянский.

Она войдет в шестой том; там будут помещены письма к близким и родным, изданные и неизданные... Но это уже, разумеется, явится... после моей смерти. Слово "смерть" Гоголь произнес совершенно спокойно, и оно тогда не прозвучало ничем особенным, в виду полных его сил и здоровья. Бодянский заговорил о типографиях и стал хвалить какую-то из них...

- А Шевченко? - спросил Бодянский.

Гоголь на этот вопрос с секунду промолчал и нахохлился. На нас из-за конторки снова посмотрел осторожный аист.

- Как вы его находите? - повторил Бодянский.

- Хорошо, что и говорить, - ответил Гоголь, - только не обидьтесь, друг мой... вы его поклонник, а его личная судьба достойна всякого участия и сожаления (в 1847 г. украинский поэт и художник Тарас Григорьевич Шевченко (1814-1861) был арестован за участие в украинофильском Кирилло-Мефодиевском братстве и сослан в солдаты в Орск, а осенью 1850 г. в Новопетровск на Каспийском море. - Б. С.)...

- Но зачем вы примешиваете сюда личную судьбу, - с неудовольствием возразил Бодянский, - это постороннее... Скажите о таланте, о его поэзии...

- Дегтю много, - негромко, но прямо проговорил Гоголь, - и даже прибавлю, дегтю больше, чем самой поэзии. Нам-то с вами, как малороссам, это, пожалуй, и приятно, но не у всех носы, как наши. Да и язык... Бодянский не выдержал, стал возражать и разгорячился. Гоголь отвечал ему спокойно.

- Нам, Осип Максимович, надо писать по-русски, - сказал он, - надо стремиться к поддержке и упрочению одного, владычного языка для всех родных нам племен... Я знаю и люблю Шевченка, как земляка и даровитого художника; мне удалось и самому кое-чем помочь в первом устройстве его

судьбы. Но его погубили наши умники, натолкнув его на произведения, чуждые истинному таланту. Они всё еще дожевывают европейские, давно выкинутые жваки. Русский и малоросс - это души близнецов, пополняющие одна другую и одинаково сильные. Отдавать предпочтение одной в ущерб другой невозможно. Нет, Осип Максимович, не то нам нужно, не то. Всякий пишущий теперь должен думать не о розни; он должен прежде всего поставить себя перед лицо Того, Кто дал нам вечное человеческое слово... Долго еще Гоголь говорил в этом духе. Бодянский молчал, но, очевидно, далеко не соглашался с ним.

- Ну, мы вам мешаем, пора нам и по домам, - сказал, наконец, Бодянский, вставая. Мы раскланялись и вышли.

- Странный человек, - произнес Бодянский, когда мы снова очутились на бульваре, - на него как найдет. Отрицать значение Шевченка! Вот уж, видно, не с той ноги сегодня встал...

Мнение Гоголя о Шевченке я не раз, при случае, передавал нашим землякам. Они пожимали плечами и с досадой объясняли его посторонними, политическими соображениями, как и вообще всё тогдашнее настроение Гоголя".

24 января 1852 г. Б. встретился с Гоголем в последний раз. Сохранился его рассказ об этой встрече в записи П. А. Кулиша: "За девять дней до масленой О. М. Бодянский видел Гоголя еще полным энергической деятельности. Он застал его за столом, который стоял почти посреди комнаты и за которым поэт обыкновенно работал сидя. Стол был покрыт зеленым сукном. На столе разложены были бумаги и корректурные листы. Бодянский, обладая прекрасною памятью, помнит от слова до слова весь разговор свой с Гоголем. "Чем это вы занимаетесь, Николай Васильевич?" - спросил он, заметив, что перед Гоголем лежала чистая бумага и два очищенных пера, из которых одно было в чернильнице. "Да вот мараю все свое, - отвечал Гоголь, - да просматриваю корректуру набело своих сочинений, которые издаю теперь вновь". - "Все ли будет издано?" - "Ну, нет: кое-что из своих юных произведений выпущу". "Что же именно?" - "Да "Вечера". - "Как! - вскричал, вскочив со стула, гость. - Вы хотите посягнуть на одно из самых свежих произведений своих?" "Много в нем незрелого, - отвечал спокойно Гоголь. - Мне бы хотелось дать публике такое собрание своих сочинений, которым я был бы в теперешнюю минуту больше всего доволен. А после, пожалуй, кто хочет, может из них (т. е. "Вечеров на хуторе") составить еще новый томик". Бодянский вооружился против поэта всем своим красноречием, говоря, что еще не настало время разбирать Гоголя как лицо, мертвое для русской литературы, и что публике хотелось бы иметь все то, что он написал, и притом в порядке хронологическом, из рук самого сочинителя. Но Гоголь на все убеждения отвечал: "По смерти моей, как хотите, так и распоряжайтесь". Слово "смерть" послужило переходом к разговору о Жуковском. Гоголь призадумался на несколько минут и вдруг сказал: "Право, скучно, как посмотришь кругом на этом свете. Знаете ли вы? Жуковский пишет мне, что он ослеп". - "Как! воскликнул Бодянский. - Слепой пишет к вам, что он ослеп?" - "Да; немцы ухитрились устроить ему какую-то штучку... Семене! - закричал Гоголь своему слуге по-малороссийски: - Ходы сюды". Он велел спросить у графа Толстого, в квартире которого он жил, письмо Жуковского. Но

графа не было дома. "Ну, да я вам после письмо привезу и покажу, потому что - знаете ли? - я распорядился без вашего ведома. Я в следующее воскресенье собираюсь угостить вас двумя-тремя напевами нашей Малороссии, которые очень мило Н. С. Аксакова положила на ноты с моего козлиного пения; да при этом упьемся и прежними нашими песнями. Будете ли вы свободны вечером?" - "Ну, не совсем", - отвечал гость. "Как хотите, а я уж распорядился, и мы соберемся у О. С. Аксаковой часов в семь; а впрочем, для большей верности, вы не уходите; я сам к вам заеду, и мы вместе отправимся на Поварскую". Бодянский ждал его до семи часов вечера в воскресенье, наконец, подумав, что Гоголь забыл о своем обещании заехать к нему, отправился на Поварскую один; но никого не застал в доме, где они условились быть, потому что в это время умерла жена поэта Хомякова, и это печальное событие расстроило последний музыкальный вечер, о котором хлопотал он".

БУЛГАРИН Фаддей Венедиктович (1789-1859), прозаик, литературный критик, издатель в 1825-1830 гг. единолично, а в 1831-1859 г.г. - вместе с Н. И. Гречем, официозной газеты "Северная пчела" и журнала "Сын Отечества", действительный статский советник, служивший по ведомству коннезаводства. Служил также в армии Наполеона, где дослужился до капитанского звания и получил Орден Почетного легиона. Участвовал в испанской кампании (его описание осады Сарагосы вызвало впоследствии положительный отзыв В. Г. Белинского) и в сражениях 1813-1814 г.г. в Германии и Франции. Б. был взят в плен пруссаками, потом был амнистирован и вернулся в Россию.

Б. дал в 1829 г. Гоголю рекомендацию на службу в канцелярию III Отделения Канцелярии е . и. в. Вскоре после смерти Гоголя, 21 марта 1852 г., Б. писал в одном из писем: "Гоголь в первое свое пребывание в Петербурге обратился ко мне, через меня получил казенное место с жалованьем и в честь мою писал стихи, которые мне стыдно даже объявлять". В 1854 г. сам Б. вспоминал об этом эпизоде следующим образом, именуя себя в третьем лице "журналистом": "В конце 1829 или 1830 г., хорошо не помню, один из наших журналистов сидел утром за литературною работою, когда вдруг зазвенел в передней колокольчик и в комнату вошел молодой человек, белокурый, низкого роста, расшаркался и подал журналисту бумагу. Журналист, попросив посетителя присесть, стал читать поданную ему бумагу - это были похвальные стихи, в которых журналиста сравнивали с Вальтер Скоттом, Адиссоном и т. д. Разумеется, что журналист поблагодарил посетителя, автора стихов, за лестное об нем мнение, и спросил, чем он может ему служить. Тут посетитель рассказал, что он прибыл в столицу из учебного заведения искать места и не знает, к кому обратиться с просьбою. Журналист просил посетителя прийти через два дня, обещая в это время похлопотать у людей, которые могут определять на место. Журналист в тот же день пошел к М. Я. фон Фоку, управляющему III Отделением собств. канцелярии Его Имп. Величества, рассказал о несчастном положении молодого человека и усердно просил спасти его и пристроить к месту, потому что молодой человек оказался близким к отчаянию. М. Я. фон Фок охотно согласился помочь приезжему из провинции и дал место Гоголю в канцелярии III Отделения. Не помню, сколько времени прослужил Гоголь в этой

канцелярии, в которую он являлся только за получением жалованья; но знаю, что какой-то приятель Гоголя принес в канцелярию просьбу об отставке и взял обратно его бумаги. Сам же Гоголь исчез куда неизвестно! У журналиста до сих пор хранятся похвальные стихи Гоголя и два его письма (о содержании которых почитаю излишним извещать); но более Гоголь журналиста не навещал!"

Гоголь невысоко ставил Б. и как писателя, и как человека. Так, 11 января1834 г. он писал М. П. Погодину: "Сенковский уполномочил сам себя властью решить, вязать: марает, переделывает, отрезывает концы и пришивает другие к поступающим пьесам. Натурально, что если все так будут кротки, как почтеннейший Фадей Венедиктович (которого лицо очень похоже на лорда Байрона, как изъяснялся не шутя один лейб-гвардии Кирасирского полка офицер), который объявил, что он всегда за большую честь для себя почтет, если его статьи будут исправлены таким высоким корректором, которого "Фантастические путешествия" даже лучше его собственных (здесь сравниваются "Фантастические путешествия барона Брамбеуса" (1833) О. И. Сенковского и "Правдоподобные небылицы" (1824) и "Невероятные небылицы" (1825) Б. - Б. С.). Но сомнительно, чтобы все были так робки, как этот почтенный государственный муж".

На смерть Гоголя Б. откликнулся заметкой в № 120 "Северной Пчелы" за 1852 г.: "Статья в пятом нумере "Москвитянина" о кончине Гоголя напечатана на четырех страницах, окаймленных траурным бордюром. Ни о смерти Державина, ни о смерти Карамзина, Дмитриева, Грибоедова и всех вообще светил русской словесности русские журналы не печатались с черной каймой. Все самомалейшие подробности болезни человека сообщены М. П. Погодиным, как будто дело шло о великом муже, благодетеле человечества, или о страшном Аттиле, который наполнял мир славою своего имени. Если почтенный М. П. Погодин удивляется Гоголю, то чему же он не удивляется, полагая, что он так же знаком с иностранной словесностью, как с русской историей?"

БУХАРЕВ Александр Матвеевич (1824-1871), в монашестве отец Феодор, архимандрит, ординарный профессор Московской духовной академии в 1854-1863 гг. по кафедре Священного писания. Книга Б. "Три письма к Гоголю, писанные в 1848 году" (1861) была подвергнута критике московским митрополитом Филаретом. Труд Б. об Апокалипсисе был запрещен к публикации, а сам он был сослан в монастырь в Переяславле. После этого в 1863 г. Б. снял с себя монашество. Б. познакомился с Гоголем в 1848 г., а 1 октября 1851 г., когда гоголь посетил Троице-Сергиеву лавру, они вместе с Б. встретились со студентами Московской Духовной Академии. Гоголь заявил тогда студентам: "Мы все работаем у одного Хозяина".

В "Трех письмах к Гоголю" Б. утверждал: "Говоря однажды об училищном воспитании, Гоголь вспомнил свою училищную жизнь, в которой особенно благодетельным для самого духовного своего развития находил садовые и огородные свои занятия возделыванием земли, рассаживанием и прочим подобным. Всему этому, говорил он, много обязан и тем, что еще свежего сохранилось в душе моей". Главную идею "Мертвых душ" Б. видел в воскресении падшего человека. Ту же идею он увидел и в "Выбранных местах

из переписки с друзьями". Гоголь сам зачитывал Б. отрывки из этой книги. По утверждению Б., "из его речей мне можно было с грустию видеть, что не мешало бы сказаться и благоприятному о его "Переписке" голосу: мне виделся в нем уже мученик нравственного одиночества..." Б. вспоминал: "Помнится, когда кое-что прочитал я Гоголю из моего разбора "Мертвых душ", желая только познакомить его с моим способом рассмотрения этой поэмы, то я его прямо спросил, чем именно должна кончиться эта поэма. Он, задумавшись, выразил свое затруднение высказать это с обстоятельностью. Я возразил, что мне только нужно знать, оживет ли, как следует, Павел Иванович. Гоголь, как будто с радостью, подтвердил, что это непременно будет, и оживлению его послужит прямым участием сам царь, и первым вздохом Чичикова для истинной прочной жизни должна кончиться поэма. В изъяснении этой развязки он несколько распространился, но, опасаясь за неточность припоминания подробностей, ничего не говорю об этих его речах. - "А прочие спутники Чичикова в "Мертвых душах"? - спросил я Гоголя: - и они тоже воскреснут?" "Если захотят", - ответил он с улыбкою; и потом стал говорить, как необходимо далее привести ему своих героев к столкновению с истинно хорошими людьми, и проч., и проч.". По поводу трагической кончины Гоголя Б. высказал мнение, что писатель "был подавлен тяжестью своего нравственного одиночества".

"ВЕЧЕР НАКАНУНЕ ИВАНА КУПАЛА", повесть. Впервые опубликована: Отечественные записки, СПб., 1830, февраль; март. Публикация была осуществлена без указания имени автора под заглавием "Басаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала. Малороссийская повесть (из народного предания), рассказанная дьячком Покровской церкви". В. н. И.К. вошла в сборник "Вечера на хуторе близ Диканьки".

При этом Гоголь существенно переработал повесть, снял редактуру издателя "Отечественных записок" П. П. Свиньина и раскритиковал его в предисловии к повести от имени рассказчика Фомы Григорьевича в изложении Рудого Панька: "...Приезжает из Полтавы тот самый панич в гороховом кафтане... привозит с собою небольшую книжечку и, развернувши посередине, показывает нам. Фома Григорьевич готов уже был оседлать нос свой очками, но, вспомнив, что он забыл их подмотать нитками и облепить воском, передал мне. Я, так как грамоту кое-как разумею и не ношу очков, принялся читать. Не успел перевернуть двух страниц, как он вдруг остановил меня за руку.

- Постойте! наперед скажите мне, что это вы читаете?

Признаюсь, я немного пришел в тупик от такого вопроса.

- Как что читаю, Фома Григорьевич? вашу быль, ваши собственные слова.

- Кто вам сказал, что это мои слова?

- Да чего лучше, тут и напечатано: рассказанная таким-то дьячком.

- Плюйте ж на голову тому, кто это напечатал! бреше, сучий москаль. Так ли я говорил? Що то вже, як у кого черт-ма клепки в голови! Слушайте, я вам расскажу ее сейчас".

3 июня 1830 г. Гоголь писал о В н. И.К. своей матери М. И. Гоголь: "Литературные мои занятия и участие в журналах я давно оставил, хотя одна из статей моих доставила мне место, ныне мною занимаемое". Писатель полагал,

что именно публикация повести помогла его зачислению канцелярским чиновником в Департамент уделов. Прошение на имя вице-президента Департамента графа Л. А. Перовского было подано 27 марта 1930 г., а на службу Гоголь был определен 10 апреля того же года. В основу сюжета повести положен славянский языческий праздник Ивана Купала, русской православной церковью приуроченный к Рождеству Иоанна Предтечи (24 июня ст. ст.). По народным поверьям, в этот день распускаются все целебные и чудодейственные цветы и травы. В журнальной редакции повести Гоголь сделал специальное примечание: "В Малороссии существует поверие, что папоротник цветет только один раз в год, именно в полночь перед Ивановым днем, огненным цветом. Успевший сорвать его - несмотря на все призраки, ему препятствующие в этом, находит клад". В В н. И.К. клад становится дьявольским искушением, которого не выдерживает Петрусь, убивший невинного ребенка - шестилетнего Ивася. Сатана - Басаврюк

"ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ", сборник повестей Гоголя в двух частях. Впервые опубликован: СПб., 1831-1832 (2-е изд. - 1836). Имеет подзаголовок: "Повести, изданные пасичником Рудым Паньком". Работа над В. на х. близ Д. началась весной 1829 г. 30 апреля 1829 г.

Гоголь просил мать прислать ему материалов по Малороссии: "В следующем письме я ожидаю от вас описания полного наряда сельского дьячка, от верхнего платья до самых сапогов с поименованием, как это называлось у самых закоренелых, самых древних, самых наименее переменившихся малороссиан; равным образом название платья, носимого нашими крестьянскими девками, до последней ленты, также нынешними замужними и мужиками. Вторая статья: название точное и верное платья, носимого до времен гетманских. Вы помните, раз мы видели в нашей церкве одну девку, одетую таким образом. Об этом можно будет расспросить старожилов; я думаю, Анна Матвеевна или Агафия Матвеевна много знают кое-чего из давних годов. Еще обстоятельное описание свадьбы, не упуская наималейших подробностей; об этом можно расспросить Демьяна (кажется, так его зовут, прозвища не вспомню), которого мы видели учредителем свадеб и который знал, по-видимому, все возможные поверья и обычаи. Еще несколько слов о колядках, о Иване Купале, о русалках. Если есть, кроме того, какие-либо духи или домовые, то о них подробнее с их названиями и делами; множество носится между простым народом поверий, страшных сказаний, преданий, разных анекдотов, и проч. и проч. и проч. Все это будет для меня чрезвычайно занимательно".

2 мая 1831 г. в письме А. С. Данилевскому Гоголь отмечал, что выход В. на х. близ Д.. задерживается по совершенно непредвиденной причине: "Моя книга вряд ли выйдет летом: наборщик пьет запоем". 21 августа 1831 г. в письме А. С. Пушкину Гоголь запечатлел процесс печатанья В. на х. близ Д.: "Любопытнее всего было мое свидание с типографией. Только что я просунулся в двери, наборщики, завидев меня, давай каждый фыркать и прыскать себе в руку, отворотившись к стенке. Это меня несколько удивило. Я к фактору (распорядителю работ. - Б. С.), и он после некоторых ловких уклонений наконец сказал, что: штучки, которые изволили прислать из Павловска для печатания,

оченно до чрезвычайности забавны и наборщикам принесли большую забаву. Из этого я заключил, что я писатель совершенно во вкусе черни".

Сам Пушкин в письме А. Ф. Воейкову в конце августа 1831 г. признавался: "Сейчас прочел "Вечера на хуторе близ Диканьки". Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился. Мне сказывали, что когда издатель зашел в типографию, где печатались "Вечера", то наборщики стали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою. Фактор объяснил их веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу". Здесь изложен эпизод, рассказанный самим Гоголем в письме от 21 августа 1831г. Пушкин предпочел назвать Гоголя не автором, а издателем сборника, памятуя, что пасичник Рудый Панько, от лица которого написаны повести, именуется в заглавии их издателем. Тем самым подчеркивается, что писатель лишь собрал и издал то, что было изречено народом.

19 сентября 1831 г., посылая экземпляр В. на х. близ Д. матери, Гоголь писал: "...Я прошу вас принять эту небольшую книжку. Она есть плод отдохновения и досужих часов от трудов моих. Она понравилась здесь всем, начиная от государыни; надеюсь, что и вам также принесет она сколько-нибудь удовольствия, и тогда я уже буду счастлив". 2-е издание В. на х. близ Д. Гоголь собирался осуществить еще в 1832 г.

20 июля 1832 г. Гоголь писал из Васильевки М. П. Погодину в Москву: "Если будете в городе, дайте знать книгопродавцам, авось-либо не купят 2-го издания Вечеров на хуторе. Много из здешних помещиков посылало в Москву и Петербург, нигде не могли достать ни одного экземпляра. Что это за глупый народ книгопродавцы! Неужели они не видят всеобщих требований? Отказываются от собственной прибыли! Я готов уступить за 3000 р., если не будут давать более. Ведь это им приходится менее, нежели по три рубли за экземпляр, а они будут продавать по 15 р., итого 12 р. барыша на книжке. Пусть они вдруг продадут только 200 экземпляров, то вырученная сумма за эти экземпляры уже вдруг окупит издержки. Остальные 1000 экземпл. в течение года или двух, верно, разойдутся, особливо когда еще выйдет новое детище. Теперь я бы взял от них только 1500 р. потому, что мне очень нужны, а остальных я бы мог подождать месяца два или три". Однако книгопродавцы не проявили интереса к изданию. 1 февраля 1833 г. Гоголь в письме М. П. Погодину невысоко оценивал В. на х. близ Д., как и другие свои ранние произведения, и заявил об отказе от переиздания: "Вы спрашиваете об Вечерах Диканских. Чорт с ними! Я не издаю их. И хотя денежные приобретения были бы не лишние для меня, но писать для этого, прибавлять сказки не могу. Никак не имею таланта заняться спекуляционными оборотами. Я даже позабыл, что я творец этих Вечеров, и вы только напомнили мне об этом. Впрочем, Смирдин напечатал полтораста экземпляров 1-й части, потому что второй у него не покупали без первой. Я и рад, что не больше. Да обрекутся они неизвестности, пока что-нибудь увесистое, великое, художническое не изыдет из меня".

В. Г. Белинский в статье "О русской повести и повестях г. Гоголя" (1835) подчеркивал: "Г. Гоголь сделался известным своими "Вечерами на хуторе". Это

были поэтические очерки Малороссии, очерки, полные жизни и очарования. Все, что может иметь природа прекрасного, сельская жизнь простолюдинов обольстительного, все, что народ может иметь оригинального, типического, все это радужными цветами блестит в этих первых поэтических грезах г. Гоголя. Это была поэзия юная, свежая, благоуханная, роскошная, упоительная, как поцелуй любви..." В другой статье, "Русская литература в 1841 году", В. Г. Белинский писал, что в В. на х. близ Д. "комизм веселый, улыбка юноши, приветствующего Божий мир. Тут все светло, все блестит радостию и счастием: мрачные духи жизни не смущают тяжелыми предчувствиями юного сердца, трепещущего полнотою жизни. Здесь поэт как бы сам любуется созданными им оригиналами. Однакож эти оригиналы не его выдумка, они смешны не по его прихоти; поэт строго верен в них действительности. И потому всякое лицо говорит и действует у него в сфере своего быта, своего характера и того обстоятельства, под влиянием которого оно находится. И ни одно из них не проговаривается: поэт математически верен действительности и часто рисует комические черты без всякой претензии смешить, но только покоряясь своему инстинкту, своему такту действительности".

В рецензии на второе издание В. на х. близ Д., опубликованной в 1 томе "Современника за 1836 г., А. С. Пушкин писал: "Читатели наши, конечно, помнят впечатление, произведенное над нами появлением "Вечеров на хуторе": все обрадовались этому живому описанию племени поющего и пляшущего, этим свежим картинам малороссийской природы, этой веселости, простодушной и вместе лукавой. Как изумились мы русской книге, которая заставляла нас смеяться, мы, не смеявшиеся со времен Фонвизина! Мы так были благодарны молодому автору, что охотно простили ему неровность и неправильность его слога, бессвязность и неправдоподобие некоторых рассказов, предоставя сии недостатки на поживу критики. Автор оправдал таковое снисхождение. Он с тех пор непрестанно развивался и совершенствовался. Он издал "Арабески", где находится его "Невский проспект", самое полное из его произведений. Вслед за тем явился "Миргород", где с жадностию все прочли и "Старосветских помещиков", эту шутливую, трогательную идиллию, которая заставляет вас смеяться сквозь слезы грусти и умиления, и "Тараса Бульбу", коего начало достойно Вальтер Скотта. Г. Гоголь идет еще вперед. Желаем и надеемся иметь говорить о нем в нашем журнале".

В письме В. А. Жуковскому от 29 декабря 1847 г. (10 января 1848 г.) Гоголь следующим образом обрисовал генезис В. на х. близ Д.: "...Еще бывши в школе, чувствовал я временами расположенье к веселости и надоедал товарищам неуместными шутками. Но это были временные припадки, вообще же я был характера скорей меланхолического и склонного к размышлению. Впоследствии присоединились к этому болезнь и хандра. И эти-то самые болезнь и хандра были причиной той веселости, которая явилась в моих первых произведениях: чтобы развлекать самого себя, я выдумывал без дальнейшей цели и плана героев, становил их в смешные положения - вот происхождение моих повестей! Страсть наблюдать за человеком, питаемая мною еще сызмала, придала им некоторую естественность; их даже стали называть верными снимками с натуры. Еще одно обстоятельство: мой смех вначале был добродушен; я совсем

не думал осмеивать что-либо с какой-нибудь целью, и меня до такой степени изумляло, когда я слышал, что обижаются и даже сердятся на меня целые сословия и классы общества..." По свидетельству О. М. Бодянского, незадолго до смерти Гоголь собирался не включать В. на х. близ Д. в собрание сочинений, находя в книге "много незрелого".

Из критиков, может быть, наиболее полно и близко к авторскому замыслу охарактеризовал В. на х. близ Д. А. А. Григорьев в статье "Гоголь и его последняя книга" (1847): "Это были еще юношеские, свежие вдохновения поэта, светлые, как украинское небо, - все в них ясно и весело, самый юмор простодушен, как юмор народа, еще не слыхать того злобного смеха, который после является единственным честным лицом в произведениях Гоголя, - хотя в то же самое время и здесь, уже в этих первых поэтических впечатлениях, выступает ярко особенное свойство таланта нашего поэта - свойство очертить всю пошлость пошлого человека и выставить на вид все мелочи, так что они у него ярко бросаются на глаза (слова последней книги Гоголя); это свойство здесь не выступило еще карающим смехом, оно добродушно, как шутка, и потому как-то легко, как-то светло на душе читателя, как светло и легко на душе самого поэта, еще не вышедшего из-под обаяния родного неба, еще напоенного благоуханием черемух его Украйны. Ни один писатель, может быть, после древних, не одарен таким полным, гармоническим сочувствием с природою, как Гоголь; ни один писатель не носит в себе, как он, такого пластического постижения красоты (вспомните только Аннунциату в его "Риме", это создание могущественной кисти мастеров древней Италии), красоты полной, существующей для всех и для всего, - никто, наконец, как этот человек, призванный очертить пошлость пошлого человека, не полон так сознания о прекрасном человеке, прекрасном физически и нравственно, и по тому самому ни один писатель не обдает вашей души такою тяжелою грустью, как Гоголь, когда он беспощадно разнимает трупы, обливается желчью и негодованием над утраченным образом Божиим в человеке, образом вечно прекрасного. Но в "Вечерах на хуторе"... все еще светло и наивно, в самом пороке отыскивает еще поэт добродушную сторону, и образ пьяного Каленика, отплясывающего трепака на улице в ночь на Рождество Христово, - еще чисто гомерический образ. В этом быте, простом и непосредственном быте Украйны, поэт видит свою Галю чудное существо, которое спит в божественную ночь, очаровательную ночь, раскинув черные косы под украинским небом, на котором серпом стоит месяц... все еще полно таинственного обаяния - и прозрачность озера, и фантастические пляски ведьм, и образ утопленницы, запечатленный какой-то светлой грустью. А Сорочинская ярмарка, с шумом и толкотнею ее повседневной жизни, а ночь на Рождество Христово, с молодцом кузнецом Вакулой и с его гордой красавицей Оксаной, а исполинские образы двух братьев Карпатских гор, осужденных на страшную казнь за гробом, эти дантовские образы народных преданий, - все это еще и светло, и таинственно, как лепет ребенка и сказки старухи няньки".

К. В. Мочульский в работе "Духовный путь Гоголя" (1933) писал, что в В. на х. близ Д. "повести можно расположить по степеням нарастающей мрачности. В "Пропавшей грамоте" и "Заколдованном месте" - чертовщина уморительная и

"домашняя": обе повести являются своего рода демонологическими анекдотами. В "Майской ночи" и "Ночи перед Рождеством" борьба добра со злом уже труднее: нужна святая панночка, чтобы победить страшную ведьму, нужен благочестивый кузнец-иконописец, чтобы одолеть черта. И, наконец, в "Вечере накануне Ивана Купала" и в "Страшной мести" смех совсем замолкает. Забавное уступает место ужасному. Независимо от народной традиции автор создает чудовищные и зловещие образы Басаврюка и колдуна, отца Катерины. Описание мертвецов, выходящих лунною ночью из могил на берегу Днепра, рассказ о схватке колдуна с всадником, сцена вызова души Катерины - самые сильные страницы в "Вечерах". Это первые звуки не заученной, а своей художественной речи".

А. К. Воронский в книге "Гоголь" (1934) утверждал по поводу В. на х. близ Д.: "Фантастическое у Гоголя отнюдь не внешний прием, не случайное и не наносное. Удалите черта, колдуна, ведьм, мерзостные, свиные рыла, повести распадутся не только сюжетно, но и по своему смыслу, по своей идее. Злая, посторонняя сила, неведомо, со стороны откуда-то взявшаяся, разрушает тихий, безмятежный, стародавний уклад с помощью червонцев и всяких вещей вот в чем этот смысл. В богатстве, в деньгах, в кладах, - что-то бесовское: они манят, завлекают, искушают, толкают на страшные преступления, превращают людей в жирных скотов, в плотоядных обжор, лишают образа и подобия человеческого. Вещи и деньги порой кажутся живыми, подвижными, а люди делаются похожими на мертвые вещи; подобно Чубу, куму, дьяку они благодаря интригам черта превращаются в кули".

"ВЗГЛЯД НА СОСТАВЛЕНИЕ МАЛОРОССИИ", статья, вошедшая в состав сборника "Арабески". Впервые под названием "Отрывок из Истории Малороссии. Том I, книга 1, глава I" была напечатана в "Журнале Министерства Народного Просвещения" (1834. Ч. 2. № 4. Отд. 2) с подписью "Н. Гоголь" и подстрочным примечанием: "Автор избрал первую главу Истории Малороссии для помещения в Журнале, потому что она представляет нечто целое и вместе служит введением в саму Историю. Приложения и ссылки отлагаются за недостатком места".

Ранее Гоголь опубликовал "Объявление об издании Истории Малороссии" сразу в трех местах: в "Северной Пчеле" (1834. № 24. 30 января), в "Московском телеграфе" (1834, № 3) и в газете "Молва" (1834, № 8). Там, в частности, говорилось, что "я не называю историями многих компиляций (впрочем, полезных как материалы), составленных из разных летописей, без строгого критического взгляда, без общего плана и цели, большею частию неполных и не указавших доныне этому народу места в истории мира... Около пяти лет собирал я с большим старанием материалы, относящиеся к истории этого края. Половина моей истории почти готова, но я медлю выпускать ее, подозревая существование многих источников, мне неизвестных, которые, без сомнения, где-нибудь хранятся в частных руках. И потому, обращаясь ко всему, усердно прошу имеющих какие бы то ни было материалы: записки, летописи, повести бандуристов, песни, деловые акты, особливо относящиеся к первобытной Малороссии, - присылать их мне, если нельзя в оригиналах, то в копиях".

11 января 1834 г. Гоголь писал М. П. Погодину: "Я весь теперь погружен в Историю Малороссийскую и Всемирную; и та, и другая у меня начинают двигаться..." Возможно, слова Гоголя о том, что половина "Истории Малороссии" была уже почти готова, - это блеф. Кроме В. на с. М. сохранился только отрывок из "Истории Малороссии", посвященный размышлениям гетмана Ивана Степановича Мазепы (около 1629-1709). Он был впервые опубликован в т. 6 10-го издания "Сочинений Н. В. Гоголя" (СПб.; М., 1896) под заглавием "Размышления Мазепы". Там Гоголь вложил в уста Мазепы рассуждения о необходимости в союзе с каким-либо из европейских государств отстоять независимость народа, дышавшего "вольностью и лихим козачеством", хотевшего "пожить своей жизнью", от самовластья Петра. Но, по мнению писателя, украинский народ имел не только необходимость, но даже и нужду, как после увидим, покориться. Их необыкновенный повелитель стремился к тому, чтобы возвысить его, хотя лекарства его были слишком сильные". Однако главы об измене Мазепы, равно как и других глав "Истории Малороссии", Гоголь так и не написал. Впрочем, нельзя исключить, что рукописные главы "Истории Малороссии" могли быть уничтожены Гоголем незадолго до смерти вместе с большей частью своего архива. В В. на с. М. Гоголь писал о монгольском нашествии, которое "наложило на Россию двухвековое рабство и скрыло ее от Европы. Было ли оно спасением для нее, сберегши ее для независимости, потому что удельные князья не сохранили бы ее от литовских завоевателей, или оно было наказанием за те беспрерывные брани, - как бы то ни было, но это страшное событие произвело великие следствия: оно наложило иго на северные и средние русские княжения, но дало между тем происхождение новому славянскому поколению в Южной России, которого вся жизнь была борьба..." По мнению Гоголя, в Малороссии большая часть общества состояла "из первобытных, коренных обитателей южной России. Доказательство - в языке, который, несмотря на принятие множества татарских и польских слов, имел всегда чисто славянскую южную физиономию, приближавшую его к тогдашнему русскому, и в вере, которая всегда была греческая. Всякий имел полную волю приставать к этому обществу, но он должен был непременно принять греческую религию. Это общество сохраняло все те черты, которые рисуют шайку разбойников; но, бросивши взгляд глубже, можно было увидеть в нем зародыш политического тела, основание характерного народа, уже вначале имевшего одну главную цель - воевать с неверными и сохранять чистоту религии своей. Это, однако ж, не были строгие рыцари католические: они не налагали на себя никаких обетов, никаких постов; не обуздывали себя воздержанием и умерщвлением плоти; были неукротимы, как их днепровские пороги, и в своих неистовых пиршествах и бражничестве позабывали весь мир. То же тесное братство, которое сохраняется и в разбойничьих шайках, связывало их между собою. Все у них было общее - вино, цехины, жилища. Вечный страх, вечная опасность внушали им какое-то презрение к жизни. Козак больше заботился о доброй мере вина, нежели о своей участи. Но в нападениях видна была вся гибкость, вся сметливость ума, все уменье пользоваться обстоятельствами. Нужно было видеть этого обитателя порогов в полутатарском, полупольском костюме, на котором так резко

отпечаталась пограничность земли, азиатски мчавшегося на коне, пропадавшего в густой траве, бросавшегося с быстротою тигра из неприметных тайников своих или вылезавшего внезапно из реки или болота, обвешанного тиною и грязью, казавшегося страшилищем бегущему татарину. Этот же самый козак, после набега, когда гулял и бражничал с своими товарищами, сорил и разбрасывал награбленные сокровища, был бессмысленно пьян и беспечен до нового набега, если только не предупреждали их татары, не разгоняли их пьяных и беспечных и не разрывали до основания городка их, который, как будто чудом, строился вновь, и опустошительный, ужасный набег был отмщением. После него снова та же беспечность, та же разгульная жизнь". Это, безусловно, самый поэтический фрагмент В. на с. М., предвосхищающий позднейшего "Тараса Бульбу". В одном из позднейших набросков к истории Малороссии, относящемся к 1838 г., Гоголь отмечал, что "характер русского несравнено тоньше и хитрее, чем жителей всей Европы. Всякий из них, несмотря на самое тонкое остроумие, даже итальянец, простодушнее. Но русский всякий, даже неумный, может так притвориться, что проведет всякого и дурачит другого".

ВИГЕЛЬ Филипп Филиппович (1786-1856), чиновник в Бессарабии, позднее керчь-еникальский градоначальник, затем служил в департаменте иностранных вероисповеданий, в конце жизни сделавшись его директором. В 1830-е годы был ярым противником Гоголя, подозревая его в либерализме, но в 1840-е годы сблизился с ним. Автор ценных "Воспоминаний", где тепло отзывается о Гоголе.

31 мая 1836 г. В. писал директору московских императорских театров М. Н. Загоскину, утверждая: "Я знаю г. автора "Ревизора", _ это юная Россия, во всей ее наглости и цинизме. Он под покровительством Жуковского, но ведь это Жуковский не прежний. Посудите, он нынешней зимой по субботам собирал у себя литераторов, и я иногда являлся туда, как в неприятельский стан. Первостепенные там князья Вяземский и Одоевский и г. Гоголь. Всегда бывал там и Пушкин, но этот все же придерживается Руси". После выхода "Выбранных мест из переписки с друзьями" В. изменил свое мнение о Гоголе и в 1847 г. писал ему: "Было время, что я вас долго и близко знал (о, горе мне!) - и не узнал! С обеих сторон излишнее самолюбие не дозволяло нам сблизиться. И как, за суровостью ваших взглядов, мог бы я угадать сокровища ваших чувств? До сокровищ ума нетрудно было у вас добраться: несмотря на всю скупость речей ваших, он сам собою высказывался".

ВИЕЛЬГОРСКАЯ Анна Михайловна (1822-1861), графиня, дочь М. Ю. Виельгорского, по утверждению В. А. Соллогуба, она, "кажется, единственная женщина, в которую влюблен был Гоголь". По мнению И. С. Аксакова, В. послужила прототипом Уленьки во втором томе "Мертвых душ". Впоследствии В. вышла замуж за князя А.И. Шаховского.

12 ноября 1844 г. В. писала Гоголю: "Я успела прочесть первый том "Вечеров на хуторе", который меня очень забавлял, но я все вас никак не узнаю в ваших сочинениях. Вы, кажется, очень далеко ушли с этого времени". 23 ноября н. ст. 1844 г. Гоголь отвечал ей: "Вы напрасно ищете в моих сочинениях

меня и притом еще в прежних: там просто идет дело о тех людях, о которых идет дело в рассказе. Вы думаете, что у меня до такой степени длинен нос, что может высунуться даже в повестях, писанных еще в такие времена, когда был я еще мальчишка, чуть вышедший из-за школьной скамейки. Но об этом покамест до будущего времени". 2 ноября 1846 г. Гоголь писал В. из Ниццы, что хочет поручить ей в Петербурге распределение денег от новой постановки и издание "Ревизора" вместе с "Развязкой Ревизора" в пользу бедных студентов, однако эта постановка тогда не состоялась.

5 января н. ст. 1847 г. Гоголь писал из Неаполя П. А. Плетневу: "Я тебе особенно советую познакомиться с Анной Михайловной Виельгорской. У нее есть то, чего я не знаю ни у одной из женщин: не ум, а разум; но ее не скоро узнаешь: она вся внутри". 19 марта П. А. Плетнев в ответном письме согласился с Гоголем: "Интересна очень незамужняя (меньшая) дочь Виельгорских, Анна Михайловна. Это существо еще небеснее (если только уж возможно) и Софии Михайловны (ее сестры. - Б. С.)".

23 января н. ст. 1848 г., направляясь в Иерусалим, Гоголь сообщал В.: "Пишу к вам теперь из Мальты. Странствования мои по Средиземному морю, как видите, уже начались. Из Неаполя меня выгнали раньше, чем я полагал, разные политические смуты и бестолковщина, во время которых трудно находиться иностранцу, любящему мир и тишину. Притом пора и к Святому Гробу. Несмотря на то, что далеко не в том состоянии души, в каком бы хотелось быть для этого путешествия, несмотря на всю черствость и прозу души своей, я все-таки благодарю Бога, что тронулся в дорогу, хотя не без ужаса помышляю о всех предстоящих затруднениях, впереди которых стоит морская болезнь, для меня ужаснейшая всего. До Мальты я в силу-силу добрался. Ни одна душа на всем корабле не страдала, а между тем время было, кажется, и не совсем бурное. Если бы еще такого адского состоянья были одни сутки, меня бы не было на свете".

30 марта 1849 г. Гоголь писал В. из Москвы: "Я получил милое письмецо ваше, добрейшая Анна Михайловна. Оно меня порадовало тем, что вы не оставляете желанья вашего сделаться русскою. Бог в помощь! Нигде так не нужна Его помощь, как в этом деле. Вы говорите, что и мое и ваше желанье исполнится, что вы сделаетесь русской не только душой, но и языком и познанием России. Я подчеркнул эти строки, потому что это ваши собственные слова. Знаете ли, однако же, что первое труднее последнего. Легче сделаться русскою языком и познаньем России, чем русскою душой. Теперь в моде слова: народность и национальность, но это покуда еще одни крики, которые кружат головы и ослепляют глаза. Что такое значит сделаться русским на самом деле? В чем состоит привлекательность нашей русской породы, которую мы теперь стремимся развить на перерыв, сбрасывая все ей чуждое, неприличное и несвойственное? В чем она состоит? Это нужно рассмотреть внимательно. Высокое достоинство русской породы состоит в том, что она способна глубже, чем другие, принять в себя высокое слово Евангельское, возводящее к совершенству человека. Семена Небесного Сеятеля с равной щедростью были разбросаны повсюду. Но одни попали на проезжую дорогу при пути и были расхищены налетавшими птицами; другие попали на камень, взошли, но

усохли; третьи - в терние, взошли, но скоро были заглушены дурными травами; четвертые только, попавшие на добрую почву, принесли плод. Эта добрая почва - русская восприимчивая природа. Хорошо возлелеянные в сердце семена Христовы дали все лучшее, что ни есть в русском характере. Итак, для того, чтобы сделаться русским, нужно обратиться к источнику, прибегнуть к средству, без которого русский не станет русским в значеньи высшем этого слова. Может быть, одному русскому суждено почувствовать ближе значение жизни. Правду слов этих может засвидетельствовать только тот, кто проникнет глубоко в нашу историю и ее уразумеет вполне, отбросивши наперед всякие мудрованья, предположенья, идеи, самоуверенность, гордость и убежденье, будто бы уже постигнул, в чем дело, тогда как едва только приступил к нему. Да. В истории нашего народа примечается чудное явленье. Разврат, беспорядки, смуты, темные порожденья невежества, равно как раздоры и всякие несогласия, были у нас еще, быть может, в большем размере, чем где-либо. Они ярко выказываются на всех страницах наших летописей. Но зато в то же самое время светится свет в избранных сильней, чем где-либо. Слышатся также повсюду в летописях следы сокровенной внутренней жизни, о которой подробной повести они нам не передали. Слышна возможность основанья гражданского на чистейших законах христианских. В последнее время стали отыскиваться беспрестанно из пыли и хлама старины документы и рукописи вроде Сильвестрова "Домостроя", где, как по развалинам Помпеи древний мир, обнаруживается с подробнейшей подробностью вся древняя жизнь России. Является уже не политическое устройство России, но частный семейный быт и в нем жизнь, освещенная тем светом, которым она должна освещаться. В наставлениях и начертаниях, как вести дом свой, как быть с людьми, как соблюсти хозяйство земное и небесное, кроме живости подробных обычаев старины, поражают глубокая опытность жизни и полнота обнимания всех обязанностей, как сохранить домоправителю образ благости Божией в обращении со всеми. Как быть его жене и хозяйке дома с мужем, с детьми, с услугами и с хозяйством, как воспитать детей, как воспитать слуг, как устроить все в доме, обшить, одеть, убрать, наполнить запасами кладовые, уметь смотреть за всем, и все с подробностью необыкновенной, с названьем вещей, которые тогда были в употреблении, с именами блюд, которые тогда готовились и елись. Так и видишь перед глазами радушную старину, ее довольство, гостеприимство, радостное, умное обращение с гостьми с изумительным отсутствием скучного этикета, признанного необходимым нынешним веком. Словом, видим соединенье Марфы и Марии вместе или, лучше, видим Марфу, не ропщущую на Марию, но согласившуюся в том, что она избрала благую часть, и ничего не придумавшую лучше, как остаться в повеленьях Марии, то есть заботиться только о самом немногом из хозяйства земного, чтоб чрез это прийти в возможность вместе с Марией заниматься хозяйством небесным. В последнее время стали беспрестанно открываться рукописи в этом роде. Эти книги больше всего знакомят с тем, что есть лучшего в русском человеке. Они гораздо полезнее всех тех, которые пишутся теперь о славянах и славянстве людьми, находящимися в броженьях, в переходных состояниях духа, возрастах, подвластных воображенью, обольщеньям самолюбивого ума и всяким

пристрастьям. Но для вас эти книги покуда недоступны: во-первых, из них напечатано немногое; во-вторых, оно не переведено на нынешний русский язык. Вы древнего языка нашего не знаете. Вот почему я медлил вам советовать, какие книги прежде читать. Все, что больше всего может вас познакомить с Россией, остается на древнем языке. Остается одно средство: вам нужно непременно выучиться по-славянски. Легчайший путь к этому следующий: читайте Евангелие не на французском и не на русском языке, но на славянском. К французскому прибегайте только тогда, когда не поймете. Слова, которые подзагадочнее, выпишите на особую бумажку и покажите священнику. Он вам их объяснит. Если вы прочтете Евангелие, Послания и прибавите к этому пять книг Моисеевых, вы будете знать по-славянски, при этом деле и душа выиграет немало. Когда же увидимся, тогда я вам объясню в двух-трех лекциях все отмены, какие есть в нашем древнем языке от славянского. Вы его полюбите. Этот язык прост, выразителен и прекрасен... Будьте русской; вам следует быть ею. Но помните, что если Богу не будет угодно, вы никогда не сделаетесь русскою. К источнику всего русского, к Нему Самому, следует за этим обратиться".

В следующем письме к В., 16 апреля 1849 г., Гоголь повторил: "...Не оставляйте вашего доброго желания быть русскою в значеньи высшем этого слова. Только одним этим путем можно достигнуть к выполненью долга своего на земле. Когда вы будете в Москве и взглянете на все ее святыни и увидите в старинных церквях ее останки древнерусской жизни, - вы тогда поймете это... Скажу вам покуда только то, что я убеждаюсь ежедневным опытом всякого часа и всякой минуты, что здесь, в этой жизни, должны мы работать не для себя, но для Бога. Опасно и на миг упустить это из виду. Человечество нынешнего века свихнуло с пути только оттого, что вообразило, будто нужно работать для себя, а не для Бога. Даже и в минуты увеселений наших не должны мы отлучаться мыслью от Того, Который глядит на нас и в минуты увеселений наших. Не упускайте и вы этого из виду... Собственное чувство, возвысившись внутри вас, станет вашим учителем и поведет вас к совершенству в искусстве. В Москве будет вам много пищи. В древней иконописи, украшающей старинные наши церкви, есть удивительные лики и на ликах удивительные выражения".

В мае 1849 г. Гоголь написал В. письмо-исповедь: "Совершенно откровенная исповедь должна принадлежать Богу. Скажу вам из этой исповеди одно только то: я много выстрадался с тех пор, как расстался с вами в Петербурге. Изныл весь душой, и состоянье мое так было тяжело, так тяжело, как я не умею вам сказать. Оно было еще тяжелее оттого, что мне некому было его объяснить, не у кого было испросить совета или участия. Ближайшему другу я не мог его поверить, потому что сюда замешались отношенья к вашему семейству; всё же, что относится до вашего дома, для меня святыня. Грех вам, если вы станете продолжать сердиться на меня за то, что я окружил вас мутными облаками недоразумений. Тут было что-то чудное, и как оно случилось, я до сих пор не умею вам объяснить. Думаю, всё случилось оттого, что мы еще не довольно друг друга узнали и на многое очень важное взглянули легко, по крайней мере, гораздо легче, чем следовало. Вы бы все меня лучше узнали, если бы случилось нам прожить подольше где-нибудь вместе не праздно, но за делом. Зачем, в

самом деле, не поживете вы в подмосковной вашей деревне? Вы уже более двадцати лет не видали ваших крестьян. Будто это безделица: они нас кормят, называя нас же своими кормильцами, а нам некогда даже через двадцать лет взглянуть на них!"

20 октября 1849 г. Гоголь сообщал В. и ее сестре С. М. Виельгорской: "Нынешняя поездка моя не была велика: всё почти в окрестностях Москвы и в сопредельных с нею губерниях. Дальнейшее путешествие отложил до другого года, потому что на всяком шагу останавливался собственным невежеством. Нужно сильно запастись предуготовительными сведениями затем, чтобы узнать, на какие предметы преимущественно следует обратить внимание. Иначе, подобно посылаемым чиновникам и ревизорам, проедешь всю Россию и ничего не узнаешь. Перечитываю теперь все книги, сколько-нибудь знакомящие с нашей землей, большею частью такие, которые теперь никто не читает. С грустью удостоверяюсь, что прежде, во время Екатерины, больше было дельных сочинений о России. Путешествия были предпринимаемы учеными смиренно, с целью узнать точно Россию. Теперь всё щелкоперно. Нынешние путешественники, охотники до комфортов и трактиров, с больших дорог не сворачивают и стараются пролететь как можно скорее. При полном незнаньи земли своей утвердилась у всех гордая уверенность, будто знают ее. А между тем какую бездну нужно прочесть даже для того только, чтобы узнать, как мало знаешь, и чтобы быть в состоянии путешествовать по России, как следует, смиренно, с желанием знать ее. Всё время мое отдано работе, часу нет свободного. Время летит быстро, неприметно. О, как спасительна работа и как глубока первая заповедь, данная человеку по изгнаньи его из рая: в поте и труде снискивать хлеб свой! Стоит только на миг оторваться от работы, как уже невольно очутишься во власти всяких искушений. А у меня было их так много в нынешний мой приезд в Россию! Избегаю встреч даже с знакомыми людьми от страху, чтобы как-нибудь не оторваться от работы своей. Выхожу из дому только для прогулки и возвращаюсь сызнова работать".

11 февраля 1850 г. Гоголь писал В.: "Поспорю только с вами насчет того, что вам кажется прекрасною участь писателя, будто бы владеющего сердцами и умами и через то могущего иметь обширное влияние. Я думаю, что мы все в этом мире не что другое, как поденщики. Мы должны честно, прилежно трудиться, работать теми способностями, которые дал нам Бог, работать Ему, ожидая платы не здесь, а там. А какое именно влияние произведет наш труд на людей, как велико или обширно это влияние - это совершенно во власти Того, Кто располагает делами мира. Часто тот, кто задумает произвести добро, производит зло; мы сеем и сами не знаем, что именно сеем. Один Бог возращает плод, дает ему вид и форму. Как нам знать, кто больший из нас, кто лучший, когда первые будут последними, а последние первыми? Иногда бывает и то, что неблестящий труд труженика, никем не оцененного, всеми позабытого, вдруг чрез несколько часов, попавшись в руки какому-нибудь не совсем обыкновенному человеку, наводит его на гениальную мысль, на великое и благодетельное дело. Дело изумляет мир, а первоначальный творец его не изумил им даже и небольшой круг людей, его знавших. Не грустите же о том, что вам нет поприща или что поприще ваше тесно. Только молитесь постоянно

Богу, чтобы Он удостоил вас послужить Ему честно, добросовестно, прилежно, всеми своими способностями, не зарывая в землю ни одного своего таланта. Нельзя, чтобы постоянная усердная молитва, сопровождаемая слезами, не ударила наконец в двери небесные и ум наш не озарился бы вразумлением свыше, как нам быть и что делать".

ВИЕЛЬГОРСКАЯ Луиза Карловна (1791-1853), жена М. Ю. Виельгорского, графиня, урожденная герцогиня Бирон, фрейлина императорского двора. Была дружна с Гоголем, в котором видела учителя жизни.

26 марта н. ст. 1844 г., только что покинув В. в Ницце, Гоголь писал ей из Страсбурга: "Никак не думал было писать к вам, не приехавши на место, но случился случай. Пароход, на который сел я с тем, чтобы пуститься по Рейну, хлопнулся об арку моста, изломал колесо и заставил меня еще на день остаться в Стразбурге. Вопросивши себя внутренно: зачем это всё случилось, на что мне дан этот лишний день и что я должен сделать в оный, я нашел, что должен вам написать маленькое письмо. Письмо это будет состоять из одного напоминания. Вы дали мне слово во всякую горькую и трудную минуту, помолившись внутри себя, сильно и искренно приняться за чтение тех правил, которые я вам оставил (имеются в виду "Правила жития в мире". - Б. С.), вникая внимательно в смысл всякого слова, потому что всякое слово многозначительно и многого нельзя понимать вдруг. Исполнили ли вы это обещание? Не пренебрегайте никак этими правилами, они все истекли из душевного опыта, подтверждены святыми примерами, и потому примите их как повеление Самого Бога. Это не простым случаем случилось, что правила эти попали к вам в руки. Тут была воля высшая. Мы все орудия Божиего провидения. Оно употребляет нас для нас же. Таким образом и меня, который в существе своем есть не более как совершенная дрянь, поместило оно в доме Paradis, хотя от этого помещения не произошло, по-видимому, никому никакой пользы. Но поместило оно именно для того, чтобы правила эти из моих рук перешли в ваши".

16 января н. ст. 1847 г. Гоголь писал из Неаполя В. о "Выбранных местах из переписки с друзьями": "Вы уже, без сомнения, знаете, что я печатаю книгу. Печатаю ее вовсе не для удовольствия публики и читателей, а также и не для получения славы или денег. Печатаю ее в твердом убеждении, что книга моя нужна и полезна России именно в нынешнее время; в твердой уверенности, что если я не скажу этих слов, которые заключены в моей книге, то никто их не скажет, потому что никому, как я вижу, не стало близким и кровным дело общего добра. Писались эти письма не без молитвы, писались они в духе любви к государю и ко всему, что ни есть доброго в земле Русской. Цензура не пропускает именно тех самых писем, которые я более других почитаю нужными. В этих письмах есть кое-что такое, что должны прочесть и сам Государь и все в государстве. Дело мое я представляю на суд самому Государю и вам прилагаю здесь письмо к нему, которым умоляю его бросить взгляд на письма, составляющие книгу, писанные в движеньи чистой и нелицемерной любви к нему, и решить самому, следует ли их печатать или нет. Сердце мое говорит мне, что он скорей меня одобрит, чем укорит. Да и не может быть иначе: высокой душе его знакомо всё прекрасное, и я твердо уверен, что никто

во всем государстве не знает его так, как следует. Письмо это подайте ему вы, если другие не решатся. Потолкуйте об этом втроем с Михаил Юрьевичем и Анной Михайловной (Виельгорскими. - Б. С.). Кому бы ни было присуждено из вашей фамилии подать мое письмо Государю, он не должен смущаться такого поступка. Всяк из вас имеет право сказать: "Государь, я очень знаю, что делаю неприличный поступок; но этот человек, который просит суда вашего и правосудия, нам близок; если мы о нем не позаботимся, о нем никто не позаботится; вам же дорог всяк подданный ваш, а тем более любящий вас таким образом, как любит он". С Плетневым, который печатает мою книгу, вы переговорите предварительно, чтобы он мог приготовить непропускаемые статьи таким образом, чтобы государь мог их тот же час после письма прочесть, если бы того пожелал".

ВИЕЛЬГОРСКАЯ Софья Михайловна (1820-1878), графиня, дочь М. Ю. Виельгорского, с 1840 года замужем за В. А. Соллогубом. Была горячей поклонницей Гоголя.

24 сентября н. ст. 1844 г. Гоголь писал А. О. Смирновой по поводу В.: "Без сомнения, скоро после моего письма предстанет к вам наша любезная Софья Михайловна. Душа ее кажется как будто еще небеснее прежнего и ангельства в ней еще больше. Употребите всё старание, чтобы свет и общество сколько-нибудь узнали, какой прекрасный цветок поселился среди их. От этого будет зависеть и самое уважение к ней мужа, который, без сомнения, долго еще не будет в состоянии оценить сокровища, которым владеет. Нужно довести до сведения как его, так и матери его, графини Сологуб, что доктора решительно объявили, что всё нездоровье Софьи Михайловны началось от душевных тревог, что она в противоположность их советов приехала в Петербург, что поэтому состояние ее очень опасно и нужно быть теперь слишком с ней осторожну, потому что она принимает близко всякие огорчения уже не потому, что в самом деле их принимает близко, но потому, что вследствие болезненного расположения ей невозможно не принять близко и не огорчиться сильно. Нужно, чтобы они ее пощадили и поберегли хотя годик или два, покаместь она не окрепнет и не станет равнодушней ко всяким случаям жизни. Так как теперь у Софьи Михайловны будет особенное хозяйство и много будет всего на ее руках, то вы наставьте ее во многих вещах. Особливо, чтобы на некоторые вещи назначала предположительно более денег, имея в виду всякие непредвиденные случаи, о которых не следует и говорить мужу, чтобы хотя капля денег оставалась у ней в запасе, чтобы не было всего в обрез. Если же она теперь сделает самую строгую смету всему, назначит всему самую меньшую цену, то муж, разумеется, всё остальное приберет к себе, и ей придется терпеть во многих, даже самых бездельных и ничтожных вещах, как случалось доселе и как может случиться потом еще более... Истолкуйте ей также, как много значит в доме порядок и распределение времени во всем, как в занятиях, так и в отдохновениях, и как важно всему назначить часы".

Самой В. Гоголь в тот же день писал: "Здравствуйте, сестрица души моей, моя добрейшая Софья Михайловна... Вы едете теперь на новоселье, на новую жизнь, на новое хозяйство. Прежде всего заведите в доме с самого начала

порядок во всем и особенно порядок во времени. Чтобы часы вашим занятиям были определены, чтобы вам обоим, как вам, там и мужу вашему, было известно, когда вы должны заниматься порознь друг от друга, каждый в своей комнате, и когда вместе. Чтобы это не смешалось, чтобы не сидели вы слишком много друг с другом вместе без дела, занимающего равно обоих, а чтобы, напротив того, вы виделись только тогда, когда и он и вы окончите каждый у себя порознь занятия. Чрез это свиданья ваши будут гораздо лучше, живей и веселей, и вы будете довольны друг другом. Словом, распорядитесь так, чтобы вам меньше случалось друг при друге зевать. Лучше пусть каждый из вас зевает у себя потихоньку в комнате, чем друг при друге. И еще: положите между собой так, чтобы каждый из вас, откуда бы ни пришел и ни возвратился домой, не шел бы прямо друг другу на встречу, а зашел бы прежде в свою уборную и заглянул бы в зеркало, чтобы поправить на себе всё во внешнем или душевном смысле, чтобы никак не явиться друг перед другом неряхами в том и другом отношении: но, напротив, встретить друг друга с веселым и светлым видом. Так что, если бы и случилось кому-нибудь принести досадное и скучное выражение на лице, то лучше пусть выместит досаду свою на чем-нибудь у себя в комнате. Предметов для этого много: можно швырнуть стул, высечь подушку, можно даже разбить флакон или чернильницу; словом, лучше испортить вещь, чем испортить светлое выражение лица, которое вы всегда должны показывать друг другу. Не пренебрегайте никак всем этим, что я вам теперь говорю; как оно ни мелко, но я вновь вам повторяю, что от этого много зависит. Теперь вам всё это гораздо будет легче завести, если только вы сей же час за это приметесь, не откладывая дела; теперь же вы друг без друга соскучили, стало быть более уважаете друг друга и более склонны сделать приятное друг другу. Слова и просьбы ваши теперь будут иметь вес. Он вам не откажет и исполнит охотно то, что в другое время будет ему даже трудно исполнить. Это по-видимому маловажный и внешний порядок спасет вас от многого неприятного и поможет вам обоим выполнить много душевных и важных обязанностей".

39 июля 1849 г. Гоголь писал В. из Москвы: "Так как вы уже собираете травник, то вам нужно иметь сверх того еще подробное поименование всех растений, растущих около Петербурга. Посылаю вам "Петербургскую флору", которая будет вам полезна уже потому, что, кроме названия всякого растения, вмещает обстоятельное описание, применение на пользу и указание, в каких именно местах около Петербурга растет. Если же вы захотите потом когда-нибудь узнать вполне применение растений на пользу человека, то рекомендую вам сочинение, которое вас вполне удовлетворит. Это "Хозяйственная ботаника" проф. Щеглова. По моему мненью, сочинение это разве одними рисунками уступит иностранным, но текстом и полнотою содержания их далеко превосходит. Оно состоит из пяти больших отделений. В первом отделении рассмотрены все растения, употребляемые в пищу: все роды хлебов, овощей, корней и огородных злаков. Во втором отделении все роды кормовых трав для скота с показанием, какие для них вредны и почему. Третье отделение рассматривает растения, употребляемые на краски и на всякие технологические производства на фабриках и заводах. Четвертое вмещает все лекарственные растения, пятое - все ядовитые. Сочинение в большую четвертку с

раскрашенными изображениями, 5 томов. Растения рассмотрены только растущие в России или такие, которые могут расти в России. Если вам захочется иметь это сочинение, то напишите, и я вам его вышлю".

ВИЕЛЬГОРСКИЙ Иосиф Михайлович (1816-1839), граф, сын М. Ю. Виельгорского. Воспитывался вместе с наследником престола будущим императором Александром II. Был одним из ближайших друзей Гоголя и умер на его руках в Риме 2 июня н. ст. 1839 г., став жертвой скоротечной чахотки. Гоголь прочел над ним отходную молитву.

А. О. Смирнова свидетельствовала: "Когда наследник (будущий император Александр II. - Б. С.) начал уже серьезно заниматься, к нему взяли в товарищи графчика Иосифа Виельгорского... и Паткуля. Это товарищество было нужно, как шпоры ленивой лошади. Вечером первый подходил (к Николаю I. - Б. С.) тот, у которого были лучшие баллы, обыкновенно бедный Иосиф, который краснел и бледнел; что касается до Паткуля, тот никогда не помышлял о такой чести. Наследник не любил Виельгорского, между ними не было симпатии. Виельгорский был слишком серьезен, вечно рылся в книгах, жаждал науки, как будто, спеша жить, готовил запас навеки".

Находившийся в Риме М. П. Погодин 12 марта н. ст. 1839 г. записал в дневнике: "Познакомился с молодым графом Виельгорским, который занимается... в гроте, по предписанию врачей пользоваться как можно более свежим воздухом. Рад был удостовериться, что он искренно любит русскую историю и обещает полезного делателя. Его простота, естественность меня поразили. Не встречал я человека, до такой степени безыскусственного, и очень удивился, найдя такого в высшем кругу, между воспитанниками двора". А в записи от 16 марта н. ст. 1839 г. М. П. Погодин отметил: "Молодой граф Виельгорский показывал мне свои материалы для литературы русской истории. Прекрасный труд, - но приведет ли Бог кончить. Румянец на щеках его не предвещает добра. Он работает, однако же, беспрестанно". 5 мая н. ст. 1839 г. Гоголь писал М. П. Погодину: "Иосиф, кажется, умирает решительно. Бедный, кроткий, благородный Иосиф. Не житье на Руси людям прекрасным; одни только свиньи там живущи!..".

30 мая н. ст. 1839 г. Гоголь писал М. П. Балабиной: "Увы! я пишу к вам... под влиянием книги, которую теперь читаю... Печальны и грустно-красноречивы ее страницы. Я провожу теперь бессонные ночи у одра больного, умирающего моего друга Иосифа Вьельгорского. Вы, без сомнения, о нем слышали, может быть, даже видели его иногда; но вы, без сомнения, не знали ни прекрасной души его, ни прекрасных чувств его, ни его сильного, слишком твердого для молодых лет характера, ни необыкновенного основательностью ума его; и всё это - добыча неумолимой смерти; и не спасут его ни молодые лета, ни права на жизнь, без сомнения, прекрасную и полезную! Я живу теперь его умирающими днями, ловлю минуты его. Его улыбка или на мгновение развеселившийся вид уже для меня эпоха, уже происшествие в моем однообразно проходящем дне... Бедный мой Иосиф! один единственно прекрасный и возвышенно благородный из ваших петербургских молодых людей, и тот!.. Клянусь, непостижимо странна судьба всего хорошего у нас в России! Едва только оно успеет показаться - и тот

же час смерть! безжалостная, неумолимая смерть! Я ни во что теперь не верю, и если встречаю что прекрасное, тотчас же жмурю глаза и стараюсь не глядеть на него. От него несет мне запахом могилы. "Оно на короткий миг", шепчет глухо внятный мне голос. "Оно дается для того, чтобы существовала при нем вечная тоска сожаления, чтобы глубоко и болезненно крушилась по нем душа". Кстати, о прекрасном. Когда я думал об вас (я об вас часто думаю и особенно о вашей будущей судьбе), я думал: "Кому-то вы достанетесь? Постигнет ли он вас и доставит ли вам счастие, которого вы так достойны?" Я перебирал всех молодых людей в Петербурге: тот просто глуп, другой получил какую-то несчастную крупицу ума и зато уже хочет высказать ее всему свету; тот ни глуп, ни умен, но бездушен, как сам Петербург. Один был человек, на котором я остановил взгляд, - и этот человек готовится не существовать более в мире..."

17 октября н. ст. 1840 г., рассказывая в письме М. П. Погодину о своей болезни, Гоголь утверждал: "О, это было ужасно, это была та самая тоска и то ужасное беспокойство, в каком я видел бедного Вельегорского в последние минуты жизни". Потрясенный агонией друга, Гоголь мечтал об умиротворенной смерти, заранее известной и даже желаемой смерти, которую и устроил себе в феврале 1852 г.

Драматическую картину смерти В. запечатлела в своих воспоминаниях, записанных В. Н. Шенроком, княжна В. Н. Репнина: "Княгиня З. А. Волконская сначала любила Гоголя, но потом возненавидела. Это случилось по следующей причине. Когда умирал Иосиф Виельгорский, то у него ежедневно бывали Елизавета Григорьевна Черткова, графиня М. А. Воронцова и Гоголь. Зинаида Александровна была уже тогда ярая католичка, и мне рассказывали, что Гоголь пошел прогуляться и вместе поискать священника для исповеди умирающего. Гоголь же потом сам читал для него отходную. Молодой Вильгорский причащался в саду, и мой отец поддерживал его и читал за него: "Верую, Господи, и исповедую". Но когда он умирал, то в его комнате уже был приглашенный княгинею Волконскою аббат Жерве. Зинаида Александровна нагнулась над умирающим и тихонько шепнула аббату: "вот теперь настала удобная минута обратить его в католичество". Но аббат оказался настолько благороден, что возразил ей: "княгиня, в комнате умирающего должна быть безусловная тишина и молчание". Тем не менее княгиня еще что-то прошептала над Виельгорским и потом проговорила: "я видела, что душа вышла из него католическая". Виельгорский же был перед смертью так слаб, что Черткова вместе с Гоголем немного ухаживали за ним и держали тарелку, когда он ел. Но Черткова собиралась уехать, как этого требовал ее муж. В знак глубокой признательности к ней за хлопоты и попечения о нем Виельгорский, умирая, снял с руки кольцо, чтобы передать его Чертковой. Увидя это, Волконская почему-то с несдерживаемым негодованием произнесла: "c'est immorale!" (это аморально!(фр.)). Она находила, что когда Виельгорский умирал, то у него не должно было остаться никакого земного чувства".

ВИЕЛЬГОРСКИЙ Михаил Юрьевич (1788-1856), граф, богатый и знатный аристократ польского происхождения, гофмейстер двора, близкий к императору Николаю I. Муж Л. К. Виельгорской, отец А. М. Виельгорской, С. М.

Виельгоской и И. М. Виельгорского. Был покровителем искусств, держал дома светский салон. В. был хорошим музыкантом и композитором, чьи романсы были популярны у современников. Он, в частности, написал известные и сегодня романсы на стихи А. С. Пушкина "Старый муж, грозный муж" и "Черная шаль". Композитор Роберт Шуман называл В. "гениальнейшим из дилетантов". Был в дружеских отношениях с Гоголем, которому оказывал покровительство. Благодаря В. император познакомился с рукописью "Ревизора" и разрешил постановку комедии. В. также содействовал разрешению к печати "Мертвых душ".

В конце 1846 г. Гоголь через посредство В. обратился к Николаю I с просьбой выдать заграничный паспорт на год для путешествия к Святым Местам. 8 декабря 1846 г. он писал А. М. Виельгорской: "На прошлой неделе отправил я к вашему папиньке письмо с приложением письма к Государю, в котором я прошу о выдаче мне пашпорта еще на год в таком виде, в каком может приказать выдать один Государь. Постарайтесь, чтобы это было сделано поскорее. За Михаилом Юрьевичем водится, как сами знаете, забывчивость, а потому вы ему об этом напомните". Ходатайство увенчалось полным успехом. В январе 1847 г. Гоголь получил беспошлинный паспорт на полтора года, а посольству в Константинополе и консульствам в турецких владениях было предписано оказывать Гоголю всяческое содействие.

Гоголь послал В. рукопись предполагавш

егося второго издания "Выбранных мест из переписки с друзьями", о чем сообщил в письме А. О. Смирновой 22 февраля н. ст. 1847 г. из Неаполя: "Я просил Виельгорского и Вяземского пересмотреть внимательно все не пропущенные статьи и, уничтоживши в них то, что покажется им неприличным и неловким, представить их на суд дальше. Если и Государь скажет, что лучше не печатать их, тогда я почту это волей Божьей, чтобы не выходили в публику эти письма; по крайней мере, мне будет хоть какое-нибудь утешение в том, когда я узнаю, что письма были читаны теми, которым, точно, дорого благосостояние и добро России, что хотя крупица мыслей, в них находящихся, произвела благодетельное влияние, что семя, может быть, будущего плода заронилось вместе с ними в сердца. Письма эти были к помещикам, к должностным людям, письмо к вам о том, что можно делать губернаторше, попало также туда..." Но друзья отговорили Гоголя представлять рукопись на суд Николаю I, и уже 27 марта н. ст. 1847 г. он писал В.: "...Добрую графиню прошу не беспокоиться и не тревожить себя мыслью, что она в чем-нибудь не исполнила моей просьбы. Скажу вам искренно, что мною одолевала некоторая боязнь за неразумие моего поступка, но в то же время какая-то как бы неестественная сила заставила его сделать и обременить графиню смутившим ее письмом. Скажите ей, что в этом деле никак не следует торопиться, что я слишком уверился в том, что для полного успеха нужно очень повременить и очень все обдумать".

"ВИЙ", повесть, впервые опубликованная в 1835 г. в сборнике "Миргород". При переиздании В. в 1842 г. в составе собрания сочинений В. подвергся существенной переработке. Повесть была начата Гоголем в 1833 г. Вий, имя

фантастического подземного духа, было придумано Гоголем в результате контаминации имени властителя преисподней в украинской мифологии "железного Ния" и украинских слов "вия" - ресница и "повико" - веко. Отсюда - длинные веки гоголевского персонажа.

В наборной рукописи 1835 г. В. заканчивался следующими словами: "И с тех пор так все и осталось в той церкви. Завязнувшие в окнах чудища там и поныне. Церковь поросла мохом, обшилась лесом, пустившим корни по стенам ее; никто не входил туда и не знает, где и в какой стороне она находится". Сохранился единственный экземпляр "Миргорода" с этим финалом. Однако по ходу набора в конце В. возник пробел страницы, который необходимо было заполнить. И Гоголь дописал дополнительный финал, слегка изменив предыдущий: "Так навеки и осталась церковь с завязнувшими в дверях и окнах чудовищами, обросла лесом, корнями, бурьяном, диким терновником; и никто не найдет теперь к ней дороги. Когда слухи об этом дошли до Киева и богослов Халява услышал наконец о такой участи философа Хомы, то предался целый час раздумью. С ним в продолжение того времени произошли большие перемены. Счастие ему улыбнулось: по окончании курса наук его сделали звонарем самой высокой колокольни, и он всегда почти являлся с разбитым носом, потому что деревянная лестница на колокольню была чрезвычайно безалаберно сделана (намек на пристрастие звонаря к "зеленому змию" и связанные с этими затруднениями в подъеме и спуске по высокой и крутой лестнице, иносказательно уподобленной "лествице Иакова". - Б. С.).

- Ты слышал, что случилось с Хомою? - сказал, подошедши к нему, Тиберий Горобець, который в то время уже был философ и носил свежие усы.

- Так ему Бог дал, - сказал звонарь Халява. - Пойдем в шинок да помянем его душу!

Молодой философ, который с жаром энтузиаста начал пользоваться своими правами, так что на нем и шаровары, и сюртук, и даже шапка отзывалась спиртом и табачными корешками, в ту же минуту изъявил готовность.

- Славный был человек Хома! - сказал звонарь, когда хромой шинкарь поставил перед ним третью кружку. - Знатный был человек! А пропал ни за что.

- А я знаю, почему пропал он: оттого, что побоялся. А если бы не боялся, то бы ведьма ничего не могла с ним сделать. Нужно только, перекрестившись, плюнуть на самый хвост ей, то и ничего не будет. Я знаю уже все это. Ведь у нас в Киеве все бабы, которые сидят на базаре, - все ведьмы. На это звонарь кивнул головою в знак согласия. Но, заметивши, что язык его не мог произнести ни одного слова, он осторожно встал из-за стола и, пошатываясь на обе стороны, пошел спрятаться в самое отдаленное место в бурьяне. Причем не позабыл, по прежней привычке своей, утащить старую подошву от сапога, валявшуюся на лавке". Хома Брут гибнет от страха, но ценой своей жизни губит нечистую силу, бросившуюся на философа и не услышавшую вовремя крик петуха - после его третьего крика духи, не успевшие вернуться в подземное царство мертвых, погибают. История Хомы допускает и реалистическое объяснение. Видение Вия можно представить себе как плод белой горячки большого любителя горелки, от которой он и погибает: "...Он упросил Дороша... вытащить сулею сивухи, и оба приятеля, севши под сараем, вытянули немного не полведра... Вдруг... среди

тишины... с треском лопнула железная крышка гроба и поднялся мертвец... У Хомы вышел из головы последний остаток хмеля. Он только крестился да читал как попало молитвы. И в то же время слышал, как нечистая сила металась вокруг его, чуть не зацепляя его концами крыл и отвратительных хвостов...

- Приведите Вия! ступайте за Вием! - раздались слова мертвеца... "Не гляди!" - шепнул какой-то внутренний голос философу. Не вытерпел он и глянул.

- Вот он! - закричал Вий и уставил на него железный палец. И все, сколько ни было, кинулось на философа. Бездыханный грянулся он на землю, и тут же вылетел дух из него от страха". Но подобное рациональное объяснение - лишь камуфляж магического у Гоголя. Неслучайно он подчеркивает, что "последний остаток хмеля" вышел из головы у философа.

В. Г. Белинский в статье "О русской повести и повестях г. Гоголя" (1835) писал о В.: "...Картины малороссийских нравов, описание бурсы... портреты бурсаков и особенно этого философа Хомы, философа не по одному классу семинарии, но философа по духу, по характеру, по взгляду на жизнь. О, несравненный Dominus Хома! как ты велик в своем стоистическом равнодушии ко всему земному, кроме горелки! Ты натерпелся горя и страху, ты чуть не попался в когти чертям, но ты все забываешь за широкою и глубокою ендовою, на дне которой схоронена твоя храбрость и твоя философия; ты на вопрос о виденных тобою страстях машешь рукою и говоришь: "Много на свете всякой дряни водится!", у тебя половина головы поседела в одну ночь, а ты оттопываешь трепака, да так, что добрые люди, смотря на тебя, плюют и восклицают: "Вот это как долго танцует человек!" Пусть судит всякий, как хочет, а по мне, так философ Хома стоит философа Сковороды! Потом помните ли вы невольное путешествие философа Хомы, помните ли попойку в шинке, этого Дороша, который, нагрузившись пенником, вдруг захотел узнать, непременно узнать, чему учат в бурсе (шуточное дело!), этого резонера, который божился, что "все должно оставить так, как есть, что Бог знает, как нужно", и, наконец, этого казака с седыми усами, который рыдал о том, что остался круглым сиротою... А эти поучительные беседы на кухне, где "обыкновенно говорилось обо всем: и о том, кто пошил себе новые шаровары, и что находится внутри земли, и кто видел волка"? А суждения этих умных голов о чудесах в природе? А портрет пана сотника, и кто перечтет?.. Нет, несмотря на неудачу в фантастическом, эта повесть есть дивное создание. Но и фантастическое в ней слабо только в описании привидений, а чтения Хомы в церкви, восстание красавицы, явление Вия бесподобны".

В статье "Гоголь и его последняя книга" (1847) А. А. Григорьев утверждал, что в В. у Гоголя "вся природа его страны говорит с ним шелестом трав и листьев в прозрачную летнюю ночь, и где между тем в тоске безысходной, в замирании сердца мчащегося с ведьмою по бесконечной степи философа Хомы слышится невольно тоска самого художника, переходящая и на читателя".

А. Ф. Лосев в "Диалектике мифа" (1929) использовал образы В. для иллюстрации противоположности мифологии и метафизики: "Я приведу замечательный пример одного мифического изображения; и мы на нем должны убедиться, что мифология очень мало имеет общего с метафизикой. Это -

похождения философа Хомы Брута в гоголевском "Вие". Некая "бабуся" с страшным блеском глаза приближается к Хоме. "Философ хотел оттолкнуть ее руками, но, к удивлению, заметил, что руки его не могут приподняться, ноги не двигались; и он с ужасом увидел, что даже голос не звучал из уст его: слова без звука шевелились на губах. Он слышал только, как билось его сердце; он видел, как старуха подошла к нему, сложила ему руки, нагнула ему голову, вскочила с быстротою кошки к нему на спину, ударила его метлою по боку, и он, подпрыгивая, как верховой конь, понес ее на плечах. Все это случилось так быстро, что философ едва мог опомниться и схватить обеими руками себя за колени, желая удержать ноги, но они, к величайшему изумлению его, подымались против воли и производили скачки быстрее черкесского скакуна. Когда уже минули они хутор и перед ними открылась ровная лощина, а в стороне потянулся черный, как уголь, лес, тогда только сказал он сам себе: "Эге, да это ведьма!" "Он чувствовал какое-то томительное, неприятное и вместе сладкое чувство, подступавшее к его сердцу". Далее ему видится какая-то русалка. "Она оборотилась к нему, _ и вот ее лицо, с глазами светлыми, сверкающими, острыми, с пеньем, вторгавшимся в душу, уже приближалось к нему, уже было на поверхности и, задрожав сверкающим смехом, удалялось: и вот она опрокинулась на спину, - и облачные перси ее, матовые как фарфор, непокрытый глазурью, просвечивали перед солнцем по краям своей белой эластически-нежной окружности. Вода в виде маленьких пузырьков, как бисер, осыпала их. Она вся дрожит и смеется в воде... Видит ли он это или не видит? Наяву ли это или снится? Но там что? Ветер или музыка? Звенит, звенит и вьется и подступает и вонзается в душу какою-то нестерпимою трелью. Что это? думал философ Хома Брут, глядя вниз, несясь во всю прыть. Пот катился с него градом. Он чувствовал бесовски-сладкое чувство, он чувствовал какое-то пронзающее, какое-то томительно-страшное наслаждение. Ему часто казалось, что будто сердца уже вовсе не было у него, и он со страхом хватался за него рукою". Гоголь проявляет во всем этом отрывке не просто поэтическую, но именно мифическую интуицию, давая гениальным образом целую гамму мифических настроений. И мы прекрасно понимаем, что это экстатическое состояние, доводящее до сердечного припадка и до мистически-сексуального бреда, очень мало имеет общего с метафизикой, которая тоже как-то говорит о "сверхчувственном", но которая не имеет и следа этих реальных, этих чувственных, часто почти животных аффектов".

А. К. Воронский в книге "Гоголь" (1934) отмечал: "В "Вии" "милая чувственность", земное, "существенное" ведет борьбу со смертными очарованиями, с темными душевными наслаждениями, стремящими вихрем, с погибельным миром, но таящим "неизъяснимые наслажденья". Хома Брут так же общечеловечен и в то же время национален, как Чичиков, Хлестаков, как Манилов, Петух. Самое характерное в нем - именно это соединение полной заурядности, утробности, незадачливости со способностью переживать болезненно-мечтательные обольщения... Бурсак околдован пронзительной красотой мертвячки-панночки, и в то же время он ищет натурально-физического удовлетворения своих страстей: он не брезгует вдовой-торговкой, пристает к молодкам. Там нездешние, томительные и сладкие очарования, здесь грубое и

простое влечение. У Хомы Брута физическая и психическая стороны половой жизни резко разобщены. Чувственное влечение не совпадает с высшими психическими состояниями. Когда у людей наблюдается подобное разобщение, не только половая, но и вся материальная жизнь представляется низменной, грязной, грешной, а высшая духовная жизнь - отрешенной от всего земного, вещественного. Не осложнились ли "страшные перевороты" в жизни Гоголя какими-то интимными, половыми происшествиями?! Это весьма вероятно".

А. М. Ремизов в книге "Огонь вещей" (1954) писал: "Нигде так откровенно, только в "Вии" Гоголь прибегает к своему излюбленному приему: "с пьяных глаз" или напустить туман, напоив нечистым зельем. Да как же иначе показать скрытые от трезвых те самые "клочки и обрывки" другого мира, о которых расскажет в исступлении горячки Достоевский. И нигде, только в "Вии" с такой нескрытой насмешкой над умными дураками применяет Гоголь и другой любимый прием: опорочить источники своих чудесных откровений. "Но разве вы, разумные, - говорит он, подмигивая лукаво, - можете поверить такому вздору?" А простодушным, этим доверчивым дуракам, прямо: "Чего пугаться, не верьте, все это выдумка глупых баб да заведомого брехуна". Или ничего не говоря, представляет своих действующих лиц в таком виде, когда все, что угодно, покажется: философ натощак сожрал карася - а затем следует волшебная скачка и полет над водой, а все видения философа в церкви у гроба Панночки - "с пьяных глаз".

"ВЛАДИМИР 3-ЕЙ СТЕПЕНИ", незаконченная комедия Гоголя. Впервые опубликована под этим названием в виде черновых отрывков во 2-м томе собрания сочинений под редакцией Н. С. Тихонравова: Сочинения Н. В. Гоголя. 10-е изд. М., 1889. Из этой пьесы при жизни Гоголя были опубликованы следующие драматические отрывки: Утро делового человека // Современник, СПб., 1836, т. 1; Тяжба; Лакейская; Отрывок // Сочинения Николая Гоголя, СПб., 1842. Т. 4. Отрывки, сохранившиеся под заглавием "Владимир 3-ей степени", легли в основу "Тяжбы" и "Лакейской". Черновые наброски к В. 3-ей с. опубликованы Н. С. Тихонравовым: Артист, 1890. Кн. 5. "Тяжба" была поставлена в Петербурге 27 сентября 1844 г.

8 декабря 1832 г. П. А. Плетнев писал В. А. Жуковскому: "У Гоголя вертится на уме комедия. Не знаю, разродится ли он ею нынешней зимой; но я ожидаю в этом роде от него необыкновенного совершенства. В его сказках (имеются в виду "Вечера на хуторе близ Диканьки". - Б. С.) меня всегда поражали драматические места". Однако ожидания так и не сбылись. 17 февраля 1833 г. Плетнев с сожалением сообщал Жуковскому: "У Гоголя ничего нового нет. Его комедия не пошла из головы. Он слишком много хотел обнять в ней, встречал беспрестанно затруднения в представлении и потому с досады ничего не написал".

Сам Гоголь 20 февраля 1833 г. признавался М. П. Погодину: "Как-то не так теперь работается. Не с тем вдохновенно-полным наслаждением царапает перо бумагу. Едва начинаю, и что-нибудь совершу из Истории, уже вижу собственные недостатки: то жалею, что не взял шире, огромнее объему, то вдруг зиждется совершенно новая система и рушит старую. Напрасно я уверяю себя,

что это только начало, эскиз, что оно не нанесет пятна мне, что судья у меня один только будет, и тот один - друг. Но не могу, не в силах. Чорт побери пока труд мой, набросанный на бумаге, до другого, спокойнейшего времени. Я не знаю, отчего я теперь так жажду современной славы. Вся глубина души так и рвется наружу. Но я до сих пор не написал ровно ничего. Я не писал тебе: я помешался на комедии. Она, когда я был в Москве, в дороге, и когда я приехал сюда, не выходила из головы моей, но до сих пор я ничего не написал. Уже и сюжет было на днях начал составляться, уже и заглавие написалось на белой толстой тетради: Владимир 3-ей степени, и сколько злости! Смеху! Соли!.. Но вдруг остановился, увидевши, что перо так и толкается об такие места, которые цензура ни за что не пропустит. А что из того, когда пиеса не будет играться? Драма живет только на сцене. Без нее она как душа без тела. Какой же мастер понесет на показ народу неоконченное произведение? - Мне больше ничего не остается, как выдумать сюжет самый невинный, которым даже квартальный не мог бы обидеться. Но что комедия без правды и злости! Итак, за комедию не могу приняться. Примусь за Историю (имеется в виду "История Малороссии". - Б. С.) - передо мною движется сцена, шумит аплодисмент, рожи высовываются из лож, из райка, из кресел и оскаливают зубы, и - история к чорту. - И вот почему я сижу при лени мыслей". В дальнейшем работа над В 3-ей с. не удовлетворила Гоголя, и он уничтожил значительную часть первоначального текста. Пять лет спустя, 19 ноября (1 декабря) 1838 г. он писал тому же М. П. Погодину из Рима: "Я, даже, признаюсь, намерен собрать черновые, как у меня есть лоскутки истребленной мною комедии и хочу что-нибудь для него (актера Малого театра М. С. Щепкина. - Б. С.) сшить". 14 / 26 ноября 1842 г. Гоголь писал Н. Я. Прокоповичу в связи с предстоящей публикацией фрагментов В. 3-й с.: "Насчет намерения твоего назвать "Светскую сцену" просто "Отрывком" я совершенно согласен, тем более, что прежнее название ("Сцена из светской жизни". - Б. С.) было выставлено так только, в ожидании другого".

Сюжет комедии известен со слов М. С. Щепкина в передаче В. И. Родиславского в 1871 г.: "Героем ее был человек, поставивший себе целью жизни получить крест Св. Владимира 3-й степени. Известно, что из всех орденов орден Св. Владимира пользуется особенными привилегиями и уважением и дается за особенные заслуги и долговременную службу. Даже теперь, когда с получением других орденов не даются уже дворянские права, как это было прежде, орден Св. Владимира удержал за собой это право. Старания героя пьесы получить орден составляли сюжет комедии и давали для нее богатую канву, которою, как говорят, превосходно воспользовался наш великий комик. В конце пьесы герой ее сходил с ума и воображал, что он сам и есть Владимир 3-й степени. С особенной похвалой М. С. Щепкин отзывался о сцене, в которой герой, стоя перед зеркалом, мечтает о Владимире 3-й степени и воображает, что этот крест уже на нем". Сохранилось и сходное свидетельство А. Н. Афанасьева: "От П. В. Анненкова слышал, что Гоголь написал комедию "Владимирский крест" и, когда он жил в Санкт-Петербурге, читал своим знакомым 2 акта - Анненков был в числе слушателей... Герой комедии добивается получить Владимирский крест, и судьба несколько безжалостно обманывает его чиновничье самолюбие: уже, кажется, все сделано, вот-вот

повесят Владимирский крест, а тут как нарочно что-нибудь да помешает. Последняя неудача сводит героя комедии с ума. Помешательство в том, что будто он сам есть не более как Владимирский крест. Любопытны гоголевские рассуждения о кресте, вкладываемые в уста этого чиновника: "Боже мой, говорил он, - ну что такое этот крестик, и стоит ли он, кажись, всех хлопот, золота в нем будет на столько-то рублей, ну эмали, пожалуй, еще на столько, - а чего не даст за него человек!" В последней сцене сумасшедший, воображая себя крестом, становится перед зеркалом, подымает (растопыривает) руки (так что делает из себя подобие креста) и не насмотрится на изображение". Из финала В. 3-ей степени родились впоследствии "Записки сумасшедшего". После публикации отрывков из В 3-ей с. Гоголь писал 21 ноября (1 декабря) 1842 г. из Рима М. С. Щепкину по поводу возможного состава его бенефиса: "Я не могу и не буду писать ничего для театра. Итак, распорядитесь поумнее. Это я вам очень советую! Возьмите на первый раз из моих только "Женитьбу" и "Утро делового человека". А на другой раз у вас остается вот что: "Тяжба", в которой вы должны играть роль тяжущегося, "Игроки" и "Лакейская", где вам предстоит Дворецкий, роль хотя и маленькая, но которой вы можете дать большое значение". Основная идея комедии сформулирована в черновых набросках: "Старое правило: уже хочет достигнуть, схватить рукою, как вдруг помешательство и отдаление желанного предмета на огромное расстояние. Как игра в накидку и вообще азартная игра. Внезапное или неожиданное открытие, дающее вдруг всему делу новый оборот или озарившее его новым светом".

14 октября 1839 г. Гоголь читал отрывок "Тяжба" в доме Аксаковых. С. Т. Аксаков вспоминал: "...При многих гостях, совершенно неожиданно для нас, объявил Гоголь, что хочет читать. Разумеется, все пришли в восхищение от такого известия, и все соединились в гостиной. Гоголь... вынул какую-то тетрадку, вдруг икнул и, опустив бумагу, сказал, как он объелся грибков. Это было начало комической сцены, которую он нам и прочел. Он начал чтение до такой степени натурально, что ни один из присутствующих не догадался, что слышит сочинение". Присутствовавший на этом чтении И. И. Панаев в мемуарах утверждал, что Гоголь "начал уверять, что он не знает, что прочесть, что у него нет ничего обделанного и оконченного... и вдруг икнул раз, другой, третий... Дамы переглянулись между собою, мы не смели обнаружить при этом никакого движения и только смотрели на него в тупом недоумении. "Что это у меня? Точно отрыжка?" - сказал Гоголь и остановился. Хозяин и хозяйка дома несколько смутились... Им, вероятно, пришло в голову, что обед их не понравился Гоголю, что он расстроил желудок... Гоголь продолжал: "Вчерашний обед засел в горле, эти грибки да ботвиньи! Ешь, ешь, просто черт знает, чего не ешь..." И заикал снова, вынув рукопись из заднего кармана и кладя ее перед собою... "Прочитать еще "Северную пчелу", что там такое?.." - говорил он, уже следя глазами свою рукопись. Тут только мы догадались, что эта икота и эти слова были началом чтения драматического отрывка, напечатанного впоследствии под именем "Тяжбы". Лица всех озарились смехом, но громко смеяться никто не смел... Все только посматривали друг на друга, как бы говоря: "Каково? Каково читает?" Щепкин заморгал глазами, полными слез. Чтение отрывка продолжалось не более получаса. Восторг был всеобщий: он

подействовал на автора".

ВОЛКОНСКАЯ Зинаида Александровна (1792-1862), урожденная княжна Белосельская-Белозерская. Вскоре после замужества разошлась с мужем, князем Н. Г. Волконским. Писала стихи, музыку, неплохо пела, отличалась необычайной красотой. Много путешествовала по Европе, была любовницей императора Александра I.

В 1820-е годы держала литературный салон в Москве. В1829 г. уехала в Италию и там приняла католичество. В Риме была в дружеских отношениях с Гоголем. В последние годы жизни сильно нуждалась Княжна В. Н. Репина вспоминала: "Княгиню Зинаиду Александровну Волконскую воспевали Веневитинов, Жуковский, Пушкин; Мицкевич в чудных стихах описал ее гостиную. Она жила сначала в Москве, где и встречалась с Веневитиновым и Мицкевичем. Позднее она приняла католичество (тайным образом, вероятно, еще когда жила в Москве). Потом переехала в Петербург. Когда известие о совращении ее в католицизм дошло до императора Николая Павловича, то он хотел ее вразумить и посылал ей с этой целью священника. Но с ней сделался нервный припадок, конвульсии. Государь позволил ей уехать из России, и она избрала местом жительства Италию, что, конечно, было в связи с переменой религии. В Риме ее скоро прозвали Beata. Она сначала очень полюбила Гоголя".

16 мая н. ст. 1838 г. Гоголь писал матери из Рима: "Княгиня Зинаида Волконская, к которой я всегда питал дружбу и уважение и которая услаждала мое время пребывания в Риме, уехала, и у меня теперь в городе немного таких знакомых, с которыми любила беседовать моя душа. Но природа здешняя заменяет всё". Однако, в отличие от В., Гоголь так и не обратился в католичество.

11 февраля н. ст. 1847 г. он ответил С. П. Шевыреву, который ранее в письме заподозрил Гоголя в католических симпатиях: "...Твое уподобление меня княгине Волконской относительно религиозных экзальтаций, услаждений и устремлений воли Божией лично к себе, равно как и открытье твое во мне признаков католичества, мне показались неверными. Что касается до княгини Волконской, то я ее давно не видал, в душу к ней не заглядывал; притом это дело такого рода, которое может знать в настоящей истине один Бог; что же касается до католичества, то скажу тебе, что я пришел ко Христу скорее протестантским, чем католическим путем. Анализ над душой человека таким образом, каким его не производят другие люди, был причиной того, что я встретился со Христом, изумясь в нем прежде мудрости человеческой и неслыханному дотоле знанью души, а потом уже поклонясь Божеству его. Экзальтаций у меня нет, скорей арифметический расчет; складываю просто, не горячась и не торопясь, цифры, и выходят сами собою суммы".

"ВЫБРАННЫЕ МЕСТА ИЗ ПЕРЕПИСКИ С ДРУЗЬЯМИ", публицистический сборник Гоголя. Опубликовано (со значительными цензурными изъятиями): Выбранные места из переписки с друзьями Николая Гоголя. СПб., 1847. Книга вышла в свет 31 декабря 1846 г. (12 января 1847 г.). Впервые полный текст опубликован Ф. В. Чижовым: Полное собрание

сочинений Н. В. Гоголя. Т. 3. М., 1867. Состав В. м. из п. с д. Гоголь определил следующим образом: Предисловие. I. Завещание. II. Женщина в свете. III. Значение болезней. IV. О том, что такое слово. V. Чтения русских поэтов перед публикою. VI. О помощи бедным. VII. Об Одиссее, переводимой Жуковским. VIII. Несколько слов о нашей Церкви и духовенстве. IX. О том же. X. О лиризме наших поэтов. XI. Споры. XII. Христианин идет вперед. XIII. Карамзин. XIV. О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности. XV. Предметы для лирического поэта в нынешнее время. XVI. Советы. XVII. Просвещение. XVIII. Четыре письма к разным лицам по поводу "Мертвых душ". XIX. Нужно любить Россию. XX. Нужно проездиться по России. XXI. Что такое губернаторша. XXII. Русской помещик. XXIII. Исторический живописец Иванов. XXIV. Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту, при нынешнем порядке вещей в России. XXV. Сельский суд и расправа. XXVI. Страхи и ужасы России. XXVII. Близорукому приятелю. XXVIII. Занимающему важное место. XXIX. Чей удел на земле выше. XXX. Напутствие. XXXI. В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность. XXXII. Светлое Воскресенье. В первом издании цензурой были изъяты письма XIX "Нужно любить Россию", XX "Нужно проездиться по России", XXI "Что такое губернаторша", XXVI "Страхи и ужасы России", XXVIII "Занимающему важное место". Гоголь собирался представить эти главы лично императору Николаю I и уже составил письмо на высочайшее имя, но П. А. Плетнев отговорил его от этого. В В. м. из п с д. получили развитие воззрения Гоголя на религию, историю и искусство, выраженные еще в ряде статей сборника "Арабески": "Жизнь", "Мысли о географии", "О преподавании всеобщей истории", "Скульптура, живопись и музыка" и "Последний день Помпеи".

18 (30) июня 1846 г. Гоголь писал П. А. Плетневу из Швальбаха: "Наконец моя просьба! Ее ты должен выполнить, как наивернейший друг выполняет просьбу своего друга. Все свои дела в сторону и займись печатаньем этой книги под названием: "Выбранные места из переписки с друзьями". Она нужна, слишком нужна всем - вот что покамест могу сказать; все прочее объяснит тебе сама книга; к концу ее печатания все станет ясно, и недоразуменья, тебя доселе тревожившие, исчезнут сами собою. Здесь посылается начало. Продолженье будет посылаться немедленно. Жду возврата некоторых писем еще, но за этим остановки не будет, потому что достаточно даже и тех, которые мне возвращены. Печатанье должно происходить в тишине: нужно, чтобы кроме цензора и тебя, никто не знал. Цензора избери Никитенку: он ко мне благосклоннее других. К нему я напишу слова два. Возьми с него также слово никому не сказывать о том, что выйдет моя книга. Ее нужно отпечатать в месяц, чтобы к половине сентября она могла уже выйти. Печатать на хорошей бумаге, в 8 долю листа среднего формата, буквами четкими и легкими для чтения, размещение строк такое, как нужно для того, чтобы книга наиудобнейшим образом читалось; ни виньеток, ни бордюров никаких, сохранить во всем благородную простоту. Фальшивых титулов пред каждой статьей не нужно; достаточно, чтобы каждая начиналась на новой странице, и был бы просторный пробел от заглавия до текста. Печатай два завода и готовь бумагу для второго издания, которое, по моему соображенью, воспоследствует немедленно: книга

эта разойдется более, чем все мои прежние сочинения, потому что это до сих пор моя единственная дельная книга. Вслед за прилагаемою при сем тетрадью будешь получать безостановочно другие. Надеюсь на Бога, что он подкрепит меня в сей работе. Прилагаемая тетрадь занумерована № 1. В ней предисловье и шесть статей, итого седьмь, да включая сюда еще статью об "Одиссее", посланную мною к тебе за месяц пред сим, которая в печатании должна следовать непосредственно за ними, - всего восемь. Страниц в прилагаемой тетради двадцать. О получении всего этого уведоми немедленно".

23 сентября (5 октября) 1846 г. Гоголь писал Н. М. Языкову: "Ты прочти внимательно книгу мою, которая будет содержать выбор из разных писем. Там есть кое-что направленное к тебе, посильнее прежнего, и если Бог будет так милостив, что вооружит силою мое слово и направит его как раз на то место, на которое следует ударить, то услышат от тебя другие послания, а в них твою собственную силу со всем своеобразьем твоего таланта. Так я верю и хочу верить. Но до времени это между нами. Книгу печатает в Петербурге Плетнев, и выйдет не раньше, как через месяц после полученья тобою этого письма. В Москве знает только Шевырев".

5 октября н. ст. 1846 г. Гоголь писал из Франкфурта С. П. Шевыреву: "Что книга (новое издание "Мертвых душ". - Б. С.) выйдет несколько позже, это ничего; ей даже и не следует выходить раньше некоторого другого предисловия, не сделавши которого, мне нельзя и в дорогу. Дело это возложено на Плетнева. Это выбор из некоторых моих писем к друзьям, который должен выйти особой книгой. Но это пока между нами. Там, между прочим, часть моей исповеди и объяснение того, что так смущало некоторых относительно моей скрытности и прочее. Печатать я должен был в Петербурге по причинам, которые можешь смекнуть и сам, по причине близости цензурных непосредственных и высших разрешений. В это дело, кроме Плетнева и цензора, не введен никто, а поэтому и ты не сообщай о нем никому, кроме разве Языкова, который имеет один об этом сведение, и то потому, что нечто из писем, мною к нему писанных, поступило в выбор. Из этой книги ты увидишь, что жизнь моя была деятельна даже и в болезненном моем состоянии, хотя на другом поприще, которое есть, впрочем, мое законное поприще, и что велик Бог в Своих небесных милостях... Может быть, через месяц, то есть, если не в конце октября, то в начале ноября, должна выйти книга, а потому до того времени не выпускай "Мертвые души". Плетнев пришлет тебе несколько экземпляров, а в том числе и подписанный цензором на второе издание, потому что, по моему соображению, книга должна разойтись в месяц. Это первая дельная моя книга, нужная у нас многим, а может быть, если Бог будет так милостив, принесущая им действительную пользу: что изошло от души, то нельзя, чтобы не принесло пользы душе".

Пятую, заключительную тетрадь книги Гоголь отослал П. А. Плетневу 4/16 октября 1846 г.: "Тороплюсь отправить тебе пятую и заключительную тетрадь. Так устал, что нет мочи; в силу сладил, особенно со статьей о поэзии, которую в три эпохи мои писал и вновь сожигал и наконец теперь написал, потому именно, что она необходима моей книге, в объяснение элементов русского человека. Без этого она бы никогда не написалась: так мне трудно писать что-нибудь о литературе. Сам я не вижу, какой стороной она может быть близка к тому делу,

которое есть мое кровное дело. Скорбно мне слышать происшедшие неустройства от медленности Никитенки. Но чем же виноват я, добрый друг мой? Я выбрал его потому, что знал его все-таки за лучшего из других, и притом, видя его имя, выставляемое у тебя на "Современнике", я думал, что ты с ним в сношеньях теснейших, чем с другими цензорами. Никитенко ленив, даже до невероятности, это я знал, но у него добрая душа, и на него особенно следует наседать лично. Говоря ему беспрерывно то, о чем и я хочу с своей стороны ему хорошенько растолковать: что с книгой не нужно мешкать, потому что мне нужно прежде нового года собрать деньги за ее распродажу с тем, чтобы пуститься в дальнюю дорогу (путешествие в Святую землю. - Б. С.). Путешествие на Восток не то, что по Европе. Удобств никаких, издержек множество, а мне нужно, сверх этого, еще и помочь тем людям, которым, кроме меня, никто не поможет. Если же Никитенко будет затрудняться или одолеется робостью, то мое мненье - печатать книгу и в корректурных листах поднести всю на прочтенье Государю. Дело мое - правда и польза, и я верю, что моя книга будет вся им пропущена. В последнем случае поговори об этом хорошенько с Александрой Осиповной (Смирновой. - Б. С.), если она только уже в Петербурге; она сумеет, как это устроить. Если же дойдет до духовной цензуры, то этого не бойся. Не делай только этого официальным образом, а призови к себе духовного цензора и потолкуй с ним лично; он пропустит и скорей, может быть, чем думаешь. В словах моих о Церкви говорится то самое, что Церковь наша сама о себе говорит и в чем всякий из наших духовных согласен до единого... В этой тетради найдешь вставку и перемену к письму "О лиризме наших поэтов". Нужно выбросить все то место, где говорится о значении власти монарха, в каком оно должно явиться в мире. Это не будет понято и примется в другом смысле. К тому же сказано несколько нелепо, о нем после когда-нибудь можно составить умную статью. Теперь выбросить нужно ее непременно, хотя бы статья была и напечатана, и на место ее вставить то, что написано на последней странице тетради. Кусок, который следует выбросить, начинается словами: "Значение полномочий власти монарха возвысится еще" и прочее и оканчивается словами: "Такое определение не приходило еще европейским правоведцам"... Страниц в 5 тетради включительно с прежним 147, а статьи две и третья вставка". В следующем письме П. А. Плетневу, датированном 8/20 октября 1846 г., Гоголь просил: "Ради Бога, употреби все силы и меры к скорейшему отпечатанью книги. Это нужно, нужно и для меня, и для других; словом, нужно для общего добра. Мне говорит мое сердце и необыкновенная милость Божия, давшая мне силы потрудиться тогда, когда я не смел уже и думать о том, не смел и ожидать потребной для того свежести душевной, и всё мне далось вдруг на то время: вдруг остановились самые тяжкие недуги, вдруг отклонились все помешательства в работе, и продолжалось все это до тех пор, покуда не кончилась последняя строка труда. Это просто чудо и милость Божия, и мне будет грех тяжкий, если стану жаловаться на возвращенье трудных, болезненных моих припадков. Друг мой, я действовал твердо во имя Бога, когда составлял мою книгу, во славу Его святого имени взял перо, а потому и расступились перед мною все преграды и всё, останавливающее бессильного человека. Действуй же и ты во имя Бога, печатая книгу мою, как бы делал сим

дело на прославленье имени Его, позабывши все свои личные отношения к кому бы то ни было, имея одно только общее добро, - и перед тобой расступятся все препятствия. С Никитенком можно ладить, но с ним необходимо нужно иметь дело лично. Письмом и запиской ничего с ним не сделаешь... На него нужно серьезно насесть и на все приводимые им причины отвечать одними и теми же словами: Послушайте, всё это, что вы говорите, так и могло бы иметь место в другом деле, но вспомните, что всякая минута замедления расстраивает совершенно все обстоятельства автора книги. Вы - человек умный и можете видеть сами, что в книге содержится дело, и предпринята она именно затем, чтобы возбудить благоговенье ко всему тому, что поставляется нам всем в закон нашей же Церковью и нашим правительством. Вы можете сами смекнуть, что сам Государь же и двор станет в защиту ее. Переглядите и цензурный устав ваш, и все предписания прибавочные и покажите мне, против какого параграфа есть противуречие. Стыдно вам и колебаться этим, подписуйте твердо и теперь же листки, потому что типография ждет, а времени и без того уже упущено довольно". И если ж им одолеют какие-нибудь нерешительности от всякого рода нелепых слухов, которые сопровождают всякий раз печатанье моей книги, какого бы ни была она рода, то обо всем переговори... с Александрой Осиповной и, наперекор всем помешательствам, ускори выход книги. Как кремень, крепись, верь в Бога и двигайся вперед - и все тебе уступит! По выходе книги приготовь экземпляры и поднеси всему царскому дому до единого, не выключая и малолетних, всем великим князьям, детям наследника, детям Марьи Николаевны, всему семейству Михаила Павловича. Ни от кого не бери подарков и постарайся от этого вывернуться; скажи, что поднесенье этой книги есть выраженье того чувства, которого я сам не умею себе объяснить, которое стало в последнее время еще сильнее, чем было прежде, вследствие которого все, относящееся к их дому, стало близко моей душе, даже со всем тем, что ни окружает их, и что поднесеньем этой книги им я уже доставляю удовольствие себе, совершенно полное и достаточное, что вследствие и болезненного своего состояния, и внутреннего состояния душевного, меня не занимает все то, что может еще шевелить и занимать человека, живущего в свете... Шесть экземпляров отдай (тот же час по выходе книги) Софье Михайловне Соллогуб... Шесть экземпляров и седьмой, с подписаньем цензора на второе изданье, отправь немедленно в Москву к Шевыреву. (Второе издание должно быть напечатано в Москве, ради несравненно большей дешевизны и ради отдыха тебе.) Шесть экземпляров отправь моей матери, с надписаньем: "Ее высокоблагородию Марье Ивановне Гоголь, в Полтаву". Один экземпляр в Харьков Иннокентию... Два экземпляра - в Ржев Тверской губернии священнику Матвею Александровичу. Экземпляра же три, а если можно и более, отправь немедленно мне с курьером. Попроси от меня лично графиню Нессельрод, давши ей от имени моего экземпляр. Скажи ей, что она очень, очень большое сделает мне одолженье, если устроит так, что я получу эту книгу в Неаполе наискорейшим порядком, и попроси ее тоже от меня отправить немедленно в Париж два экземпляра графу Александру Петровичу Толстому. Не позабудь и Жуковского. Отдай еще Аркадию Россети три экземпляра с письмом. Вот тебе всё. Кажется, больше никому. Прочие купят".

29 октября 1846 г. С. П. Шевырев сообщал Гоголю: "...Ты хочешь от меня вестей о том, что здесь говорят о тебе. Когда я слушаю эти вести, всегда вспоминаю город NN в "Мертвых душах" и толки его о Чичикове. Глубоко ты вынул всё это из нашей жизни, которая чужда публичности. Если желаешь, пожалуй - я тебе все это передам. Ты, кажется, так духовно вырос, что стоишь выше всего этого. Начну с самых невыгодных слухов. Говорят иные, что ты с ума сошел. Меня встречали даже добрые знакомые твои такими вопросами: "Скажите, пожалуйста, правда ли это, что Гоголь с ума сошел?" - "Скажите, сделайте милость, точно ли это правда, что Гоголь с ума сошел?" - Прошлым летом тебя уж было и уморили, и даже сиделец у банкира, через которого я к тебе отправлял иногда деньги, спрашивал у меня с печальным видом: правда ли то, что тебя нет уже на свете? - Письмо твое к Жуковскому было напечатано кстати и уверило всех, что ты здравствуешь (речь идет о письме "Об Одиссее, переводимой Жуковским". - Б. С.). Письмо твое вызвало многие толки. Розен восстал на него в Северной Пчеле такими словами: если Илиаду и Одиссею язычник мог сочинить, что гораздо труднее, то, спрашивается, зачем же нужно быть христианином, чтобы их перевести, что гораздо легче. Многие находили это замечание чрезвычайно верным, глубокомысленным и остроумным. Более снисходительные судьи о тебе сожалеют о том, что ты впал в мистицизм. Сенковский в Библиотеке для Чтения даже напечатал, что наш Гомер, как он тебя называет, впал в мистицизм. Говорят, что ты в своей Переписке, которая должна выйти, отрекаешься от всех своих прежних сочинений, как от грехов. Этот слух огорчил даже всех друзей твоих в Москве. Источник его петербургские сплетни. Содержание книги твоей, которую цензуровал Никитенко, оглашено было как-то странно и достигло сюда. Боятся, что ты хочешь изменить искусству, что ты забываешь его, что ты приносишь его в жертву какому-то мистическому направлению. Книга твоя должна возбудить всеобщее внимание; но к ней приготовлены уже с предубеждением против нее. Толков я ожидаю множество бесконечное, когда она выйдет. Прибавлю еще к сказанному, что если бы вышла теперь вторая половина "Мертвых Душ", то вся Россия бросилась бы на нее с такою жадностью, какой еще никогда не было. Публика устала от жалкого состояния современной литературы. Журналы все запрудили пошлыми переводами пошлых романов и своим неистовым болтаньем... Твоей новой книги еще не знаю. Но мы ждем от тебя художественных созданий. Я думаю, что в тебе совершился великий переворот и, может быть, надо было ему совершиться, чтобы поднять вторую часть "Мертвых Душ". О, да когда же ты нам твоим творческим духом раскроешь глубокую тайну того, что так велико и свято и всемирно на Руси нашей. Ты приготовил это исповедью наших недостатков, ты и доверши".

6 ноября 1846 г. С. П. Шевырев писал П. А. Плетневу из Москвы в Петербург по поводу цензурных трудностей, с которыми столкнулась рукопись В. м. из п. с д.: "Не могу не откликнуться вам сейчас же на ваше письмо, которое потрясло меня вчера. Благодарю, благодарю вас и за себя и за Гоголя, и за всех любящих его. Вы один только в наше время можете делать то, что вы для него делаете. Никитенко потерял и последнее достоинство в моих глазах. Я считал его благородным цензором и благородным человеком, но он, как видно,

ни то, ни другое. Какое же право он имел оглашать рукописи, которые вверяются ему для прочтения? Неужели и общественное мнение против этого не действует? С одной стороны, Никитенко притесняет Гоголя, а с другой - он и его ватага распускают и в Петербурге, и в Москве самые страшные о нем слухи. Эти люди не действуют без умысла. Но притеснения Никитенки будут оглашены и здесь. Слухам о Гоголе верить нельзя, пока не выйдет книга. Здесь уже хоронят его литературный талант; говорят, что он отказывается от всех своих сочинений, как от грехов (хотя и печатает вторым изданием "Мертвые Души" и "Ревизора"); посягают даже на благородство его мнений. Не говорю уже о дальнейших толках, что он подпал влиянию иезуитов, что он сошел с ума. Город NN в "Мертвых Душах" с своими толками о Чичикове здесь в лицах. Источник всего этого главный - собрания у Никитенко и его цензурная нескромность. Противодействовать этому может только самый выход книги и издание "Мертвых Душ". Тогда будут данные, по которым публика сама рассудит Гоголя. Я понимаю, что решительное изъявление мнений, которые в нем не новы, но только созрели, могло озлобить всю эту партию и вызвать ее на такие действия против прежнего ее любимца. Понимаю, как она может против Гоголя неистовствовать; но я никак не мог вообразить, чтобы она могла унизиться до таких подлых против него действий. Вы не поверите, с какой жадностью хотел бы я прочесть то, что уже напечатано (набрано в типографии. - Б. С.). Если это не нескромная просьба, то сделайте милость, перешлите мне хоть корректурные листы того, что уже напечатано. Вы можете быть уверены в моей осторожности, но надобно же какое-нибудь противодействие, основанное на данных, а до сих пор все эти данные были в руках только одной стороны, кроме вас, - стороны враждебной обнаруженным мнениям Гоголя. Здесь есть вестовщики, которые явно всем рассказывают, что они читали рукопись Гоголя у Никитенки, что там прочли они ужасы; цитируются места, фразы. Первое письмо ваше несколько успокоило толки в кругу мне знакомых. Объявляют за важную весть, что Белинский, который будет заведывать критикой Современника, изменил уже свое мнение о Гоголе и напечатает ряд статей против него. Это послужит только к чести Гоголя - и давно пора ему для славы своей скинуть с себя пятно похвал и восклицаний, которые приносил ему Белинский".

2/14 ноября 1846 г. Гоголь из Рима писал матери: "Скоро после этого письма или, может быть, вместе с этим письмом получите вы небольшую книгу мою, которая содержит отчасти мою собственную исповедь. Ее мне следовало принесть перед моим отъездом. Посылаю вам выпущенный в печати отрывок из завещания, относящийся собственно к вам и к сестрам. Хотя, благодаря неизреченную милость Божью, я еще раз спасен и живу, и вижу свет Божий, но вы все-таки прочитайте это завещание и постарайтесь исполнить (как вы, так и сестры) хотя часть моей воли при жизни моей. Вы получите шесть экземпляров, из которых один для вас, другой для сестер. Третий экземпляр отправьте теперь же немедленно... к Данилевскому... Четвертый экземпляр передайте Андрею Андреевичу (Трощинскому. - Б. С.), если он где-нибудь близко около вас; если ж он в Петербурге... вы отдайте этот четвертый экземпляр, вместе с двумя последними, тем святым людям, которые молились обо мне по монастырям;

просите, чтобы они прочли мою книгу и помолились обо мне еще крепче, чем когда-либо прежде. Мне теперь еще более нужны молитвы. Это сделайте непременно. У вас будут выпрашивать, под разными предлогами, сестры лишний экземпляр или для себя, или для приятельниц своих. Вы им не давайте: эта книга отнюдь не для забавы и не для ветреных светских девушек; здесь дело души, а потому нужно, чтобы ее прочли прежде всего духовники и люди, имеющие дело с душой и совестью человека. Прочие могут купить и повременить ее чтением".

1 января 1847 г. П. А. Плетнев известил Гоголя о выходе "В. м. из п. с д.": "Вчера совершено великое дело: книга твоих писем пущена в свет. Но это дело совершит влияние только над избранными; прочие не найдут себе пищи в книге твоей. А она, по моему убеждению, есть начало собственно русской литературы. Все, до сих пор бывшее, мне представляется как ученический опыт на темы, выбранные из хрестоматии. Ты первый со дна почерпнул мысли и бесстрашно вынес их на свет. Обнимаю тебя, друг. Будь непреклонен и последователен. Что бы ни говорили другие, - иди своею дорогою... В том маленьком обществе, в котором уже шесть лет живу я, ты стал теперь гением помыслов и деяний". Одной из немногих, кто высоко оценил В. м. из п. с д., была А. О. Смирнова. 11 января 1847 г. она писала Гоголю: "Книга ваша вышла под Новый год. И вас поздравляю с таким вступлением, и Россию, которую вы подарили этим сокровищем. Странно! Но вы, все то, что вы писали доселе, ваши "Мертвые души" даже, - все побледнело как-то в моих глазах при прочтении вашего последнего томика. У меня просветлело на душе за вас".

4/16 января 1847 г. Гоголь упомянул о В. м. из п. с д. в письме из Неаполя графине Виельгорской: "Вы уже, без сомнения, знаете, что я печатаю книгу. Печатаю ее вовсе не для удовольствия публики и читателей, а также и не для получения славы или денег. Печатаю ее в твердом убеждении, что книга моя нужна и полезна России именно в нынешнее время; в твердой уверенности, что если я не скажу этих слов, которые заключены в моей книге, то никто их не скажет, потому что никому, как я вижу, не стало близким и кровным дело общего добра. Писались эти письма не без молитвы, писались они в духе любви к государю и ко всему, что ни есть доброго в земле Русской. Цензура не пропускает именно тех самых писем, которые я более других почитаю нужными. В этих письмах есть кое-что такое, что должны прочесть и сам Государь и все в государстве. Дело мое я представляю на суд самому Государю и вам прилагаю здесь письмо к нему, которым умоляю его бросить взгляд на письма, составляющие книгу, писанные в движеньи чистой и нелицемерной любви к нему, и решить самому, следует ли их печатать или нет. Сердце мое говорит мне, что он скорей меня одобрит, чем укорит. Да и не может быть иначе: высокой душе его знакомо всё прекрасное, и я твердо уверен, что никто во всем государстве не знает его так, как следует. Письмо это подайте ему вы, если другие не решатся. Потолкуйте об этом втроем с Михаил Юрьевичем и Анной Михайловной (Виельгорскими. - Б.С.). Кому бы ни было присуждено из вашей фамилии подать мое письмо Государю, он не должен смущаться такого поступка. Всяк из вас имеет право сказать: "Государь, я очень знаю, что делаю неприличный поступок; но этот человек, который просит суда вашего и

правосудия, нам близок; если мы о нем не позаботимся, о нем никто не позаботится; вам же дорог всяк подданный ваш, а тем более любящий вас таким образом, как любит он". С Плетневым, который печатает мою книгу, вы переговорите предварительно, чтобы он мог приготовить непропускаемые статьи таким образом, чтобы государь мог их тот же час после письма прочесть, если бы того пожелал". В обращении к Николаю I Гоголь писал: "Всемилостивейший Государь! Только после долгого обдумывания и помолившись Богу, осмеливаюсь писать к Вам. Вы милостивы: последний подданный Вашего государства, как бы он ничтожен сам по себе ни был, но если только он находится в том затруднительном состоянии, когда недоумевают рассудить его от Вас постановленные власти, имеет доступ и прибежище к Вам. Я нахожусь в таком точно состоянии: я составил книгу в желании ею принести пользу моим соотечественникам и сим хотя сколько-нибудь изъявить признательность Вам, Государь, за Ваши благодеяния и милостивое внимание ко мне. Цензура не решается пропустить из моей книги статей, касающихся должностных лиц, тех самых статей, при составлении которых я имел неотлучно перед своими глазами высшие желания души Вашего Императорского Величества. Цензура находит, что статьи эти не вполне соответствуют цели нашего правительства; мне же кажется, что вся книга моя написана в духе самого правительства. Рассудить меня в этом деле может один тот, кто, обнимая не одну какую-нибудь часть правления, но все вместе, имеет чрез то взгляд полнее и многостороннее обыкновенных людей и кто сверх того умеет больше и лучше любить Россию, чем как ее любят другие люди; стало быть, рассудить меня может один только Государь. Всякое решение, какое ни произнесут уста Вашего Императорского Величества, будет для меня свято и непреложно. Если, благоволивши бросить взгляд на статьи мои, Вы найдете в них всё сообразным с желанием Вашим, я благословлю тогда Бога, давшего мне силы проразуметь не криво, а прямо высокий смысл Ваших забот и помышлений. Если же признаете нужным исключить что-нибудь из них, как неприличное, происшедшее скорей от моей незрелости и от моего неуменья выражаться, чем от какого-нибудь дурного умысла, я равномерно возблагодарю Бога, внушившего Вам мысль вразумить меня, и облобызаю мысленно, как руку отца, Вашу монаршую руку, отведшую меня от неразумного дела. В том и другом случае с любовью к Вам по гроб и за гробом остаюсь Вашего императорского Величества признательный верноподданный Николай Гоголь". Однако Виельгорским и Плетневу удалось отсоветовать писателю подавать прошение на Высочайшее Имя по поводу цензурной судьбы В. м. из п. с д. 17 января 1847 г. Плетнев писал Гоголю: "О предоставлении государю переписанной вполне книги твоей теперь и думать нельзя. Иначе, какими глазами я встречу наследника, когда он сам лично советовал мне не печатать запрещенных цензором мест, а я, как будто в насмешку ему, полезу далее. Да и кто знает, не показывал ли он этого Государю, который, не желая дать огласку делу, велел, может быть, ему от себя то сказать, что я от него слышал".

30 января н. ст. 1847 г. Гоголь писал А. О. Смирновой: "По делам моим произошла совершенная бестолковщина. Из книги моей напечатана только одна треть, в обрезанном и спутанном виде, какой-то странный оглодок, а не книга.

Плетнев объявляет весьма холоднокровно, что просто не пропущено цензурою. Самые важные письма, которые должны составить существенную часть книги, не вошли в нее, - письма, которые были направлены именно к тому, чтобы получше ознакомить с бедами, происходящими от нас самих внутри России, и о способах исправить многое, письма, которыми я думал сослужить честную службу Государю и всем моим соотечественникам. Я писал на днях Виельгорскому, прося и умоляя представить эти письма на суд Государю. Сердце говорит мне, что он почтит их своим вниманием и повелит напечатать".

22 февраля н. ст. 1847 г. Гоголь писал А. О. Смирновой из Неаполя: "Как мне приятно было получить ваши строчки, моя добрая Александра Осиповна. Ко мне мало теперь пишут: с появления моей книги еще никто не писал ко мне. Кроме коротких уведомлений, что книга вышла и производит разнообразные толки, я ничего еще не знаю, - какие именно толки, не знаю, не могу даже и определить их вперед, потому что не знаю, какие именно из моих статей пропущены, а какие не пропущены. От Плетнева я получил только вместе с уведомлением о выходе книги и об отправленьи ко мне уведомленье, что больше половины не пропущено, статьи же пропущенные обрезаны немилосердно цензурою. Вся цензурная проделка для меня покамест темна и не разгадана. Знаю только то, что цензор был, кажется, в руках людей так называемого европейского взгляда, одолеваемых духом всякого рода преобразований, которым было неприятно появленье моей книги. Я до сих пор не получал ее и даже боюсь получить. Как ни креплюсь, но, признаюсь вам, мне будет тяжело на нее взглянуть. Всё в ней было в связи и в последовательности и вводило постепенно читателя в дело - и вся связь теперь разрушена! Будьте свидетелем моей слабости душевной и моего неуменья переносить. Всё, что для иных людей трудно переносить, я переношу уже легко с Божьей помощью и не умею только переносить боли от цензурного ножа, который бесчувственно отрезывает целиком страницы, написанные от чувствовавшей души и от доброго желания. Весь слабый состав мой потрясается в такие минуты. Точно как бы перед глазами матери зарезали ее любимейшее дитя - так мне тяжело бывает это цензурное убийство. И сделал тот самый цензор, который благоволил к моим произведениям, боясь, по его собственному выражению, произвести и царапинку на них. Плетнев приписывает это его глупости, но я этому не совсем верю: человек этот не глуп. Тут есть что-то, по крайней мере для меня, непонятное. Я просил Виельгорского и Вяземского пересмотреть внимательно все не пропущенные статьи и, уничтоживши в них то, что покажется им неприличным и неловким, представить их на суд дальше. Если и Государь скажет, что лучше не печатать их, тогда я почту это волей Божьей, чтобы не выходили в публику эти письма; по крайней мере, мне будет хоть какое-нибудь утешение в том, когда я узнаю, что письма были читаны теми, которым, точно, дорого благосостояние и добро России, что хотя крупица мыслей, в них находящихся, произвела благодетельное влияние, что семя, может быть, будущего плода заронилось вместе с ними в сердца. Письма эти были к помещикам, к должностным людям, письмо к вам о том, что можно делать губернаторше, попало также туда, а потому вы не удивляйтесь, что оно пришлось вам не совсем кстати: я писавши его к вам, имел уже в виду многих

других и желал посредством его добиться верных и настоящих сведений о внутреннем состояньи душевного люда, живущего у нас повсюду". Но вскоре Гоголь оставил мысль об обращении к императору. 27 марта 1847 г. он писал графу М. Ю. Виельгорскому: "...Добрую графиню прошу не беспокоиться и не тревожить себя мыслью, что она в чем-нибудь не исполнила моей просьбы. Скажу вам искренно, что мною одолевала некоторая боязнь за неразумие моего поступка, но в то же время какая-то как бы неестественная сила заставила его сделать и обременить графиню смутившим ее письмом. Скажите ей, что в этом деле никак не следует торопиться, что я слишком уверился в том, что для полного успеха нужно очень повременить и очень все обдумать". В предисловии к книге Гоголь писал: "Сердце мое говорит, что книга моя нужна и что она может быть полезна. Я думаю так не потому, что имел высокое о себе понятие и надеялся на уменье свое быть полезным, но потому, что никогда еще доселе не питал такого сильного желанья быть полезным. От нас уже довольно бывает протянуть руку с тем, чтобы помочь, помогаем же не мы, помогает Бог, ниспосылая силу слову бессильному".

20 апреля н. ст. 1847 г. Гоголь писал А. О. Смирновой из Неаполя: "Меня ничто не смутит, если Бог меня не оставит, а Бог милостив, - Ему ли оставить меня, если я искренно молюсь Ему, молясь о том, чтобы уметь Ему вечно молиться, и если много людей, Ему угодных и лучших, возносят за меня грешного жаркие молитвы? Но мне нужно непременно всех выслушать, чтобы поступить умно. Путь мой тверд, и я до сих пор один и тот же, с некоторыми улучшениями (по милости Божией). Но я так уже устроен, что мне нужны нападения, брани и даже самые противуположные толки обо мне, чтобы взгляд мой на самого себя был ясен и чтобы дорога моя была передо мною ясна и не только ничем не потемнилась, но даже прояснялась бы, чем дальше, тем больше. Все эти брани, толки, противуречия обо мне еще также нужны затем, чтобы показать мне гораздо ближе общество, как никому другому оно не может показаться. Заметили ли вы одно необыкновенное свойство моей книги, какое вряд ли имела доселе какая-нибудь книга? Именно то, что она, несмотря на все бесчисленные свои недостатки, может служить пробным камнем для узнания нынешнего человека? В сужденьях своих о ней обнаружится перед вами весь человек, даже позабывши свою осторожность. Это весьма не безделица для писателя, а особливо такого, для которого предметом стал не шутя человек и душа человека. Бог недаром отнял у меня на время силу и способность производить произведенья искусства, чтобы я не стал произвольно выдумывать от себя, не отвлекался бы в идеальность, а держался бы самой существенной правды. И правда Руси передо мной теперь выступила, как никогда прежде. Не нужно только зевать, а подбирать всё, потому что другой такой благоприятной минуты, заставившей даже многих скрытных людей расстегнуться нараспашку, не скоро дождешься. Вот почему мне так дороги все толки, даже и людей, по-видимому, самых простых и глупых: они мне открывают их душевное состояние... Мне ставят в вину, что я заговорил о Боге, что я не имею права на это, будучи заражен и самолюбием, и гордостью, доселе неслыханною. Что ж делать, если и при этих пороках все-таки говорится о Боге? Что ж делать, если наступает такое время, что невольно говорится о Боге? Как молчать, когда и

камни готовы завопить о Боге? Нет, умники не смутят меня тем, что я недостоин, и не мое дело, и не имею права: всяк из нас до единого имеет это право, все мы должны учить друг друга и наставлять друг друга, как велит и Христос и апостолы. А что не умеем выражаться мы хорошо и прилично, что иногда выскочат слова самонадеянности и уверенности в себе, за то Бог и смиряет нас, и нам же благодетельствует, посылая нам смирение. Если бы книга моя сделала успех и много бы людей было на моей стороне, тогда бы, точно, могла овладеть мною гордость и все те пороки, которые мне приписывают. Теперь, вследствие всех этих толков осмотревшись со всех сторон на себя, я могу заговорить таким взвешенным и умеренным голосом, что трудно будет им придраться ко мне".

Слухи о В. м. из п с д. распространились еще до публикации книги. С. Т. Аксаков вспоминал: "В конце 1846 года, во время жестокой моей болезни, дошли до меня слухи, что в Петербурге печатается "Переписка с друзьями", мне даже сообщили по нескольку строк из разных ее мест. Я пришел в ужас и немедленно написал к Гоголю большое письмо, в котором просил его отложить выход книги хотя на несколько времени". В этом письме, датированном 9 декабря, в частности, говорилось: "Давно, очень давно надобно было писать к вам. Давно душа моя рвалась излиться в вашу душу... При всяком ослаблении болезни я думаю и думал об вас и часто говорю мысленно с вами... Я хочу говорить с вами так глубоко откровенно, что только мой голос или моя рука имеет право произнести или написать такие речи; а я с трудом могу подписать мое имя! Необходимость заставила меня употребить Константина (письмо было написано рукой К. С. Аксакова, поскольку Сергей Тимофеевич из-за ослабления зрения не мог писать. - Б. С.), такого человека, который любит вас и предан вам беспредельно. Кажется, вы не должны оскорбиться этим. Уже давно начало не нравиться мне ваше религиозное направление. Не потому, что я, будучи плохим христианином, плохо понимал его и оттого боялся; но потому, что проявление христианского смирения казалось мне проявлением духовной гордости вашей. Многие места в ваших письмах ко мне меня смущали; но они были окружены таким блеском поэзии, такою искренностью чувства, что я не смел предаться, не смел поверить моему внутреннему голосу, их осуждавшему, и старался перетолковать свое неприятное впечатление в благоприятную для вас сторону. Я бывал даже увлечен, ослеплен вами и помню, что один раз написал к вам горячее письмо, истинно скорбя о том, что я сам, как христианин, неизмеримо далек от того, чем бы я мог быть. Между тем ваше новое направление развивалось и росло. Опасения мои возобновились с большей силой: каждое ваше письмо подтверждало их. Вместо прежних дружеских, теплых излияний начали появляться наставления проповедника, таинственные, иногда пророческие, всегда холодные и, что всего хуже, полные гордыни в рубище смирения... Вскоре прислали вы нам при самом загадочном письме душеспасительное житие Фомы Кемпийского с подробным рецептом: как, когда и поскольку употреблять его, обещая нам несомненный переворот в духовной жизни нашей... Опасения мои превратились в страх, и я написал вам довольно резкое и откровенное письмо. В это время меня начинала постигать ужасная беда: я терял безвозвратно зрение в одном глазу и начинал чувствовать

ослабление его в другом. Отчаяние овладевало мною. Я излил скорбь мою в вашу душу и получил в ответ несколько сухих и холодных строк, способных не умилить, не усладить страждущее сердце друга, а возмутить его... Каждое ваше действие было для меня новым ударом, и один другого сильнейшим. Статья ваша, напечатанная в "Московских ведомостях" о переводе "Одиссеи" (включенный позднее в состав В. м. из п. с д. - Б. С.), заключая в себе много прекрасного, в то же время показывала ваш непростительно ошибочный взгляд на то действие, какое вы ему предсказываете с самоуверенностью, догматически. Похвалы ваши переводу превзошли не только меру, но и самую возможность достоинства такого труда..."

На родных Гоголя публикация его завещания произвела жуткое впечатление. 13/25 января 1847 года он вынужден был писать матери: "Письмо мое нечаянным образом послужило пробою вашего состояния душевного и обнаружило предо мною, на какой степени любви и веры и вообще на какой степени христианских познаний и добродетелей находитесь вы все, - тем более, что по письмам, писанным по приезде из Киева, мне уже было показалось, что сестры мои поняли, что такое христианство и чем оно необходимо в делах жизни (здесь ярко проявилась та гордыня во смирении, о которой писал С. Т. Аксаков. - Б. С.). Я обманулся. Духовное распоряжение, которое я сделал во время тяжкой болезни, от которой меня Бог Своею милостью избавил, распоряженье, которое делает, по-настоящему, всяк христианин должен сделать заблаговременно и без болезни, хотя бы надеялся на свои силы и совершенное здоровье, потому что не мы правим днями своими человек сегодня жив, а завтра его нет, - это самое распоряжение сделало такое впечатление на вас всех, кроме одной Ольги, как бы я уже умер и меня нет на свете. Я изумился только тому, как могут упасть духом те, которые только молятся Богу, а не живут в нем, как Бог наказывает их помраченьем рассудка, потому что так перетолковать строки письма моего может один тот, у которого в затмении рассудок... Завещание мое, сделанное во время болезни, мне нужно было напечатать по многим причинам в моей книге. Сверх того, что это было необходимо в объясненье самого появленья такой книги, оно нужно затем, чтобы напомнить многим о смерти, о которой редко кто помышляет из живущих. Бог недаром дал мне почувствовать во время болезни моей, как страшно становится перед смертью, чтобы я мог передать это ощущение другим. Если бы истинно и так, как следует, были наставлены в христианстве, то вы бы все до единой знали, что память смертная - это первая вещь, которую человек должен ежеминутно носить в мыслях своих. В Священном Писании сказано, что тот, кто помнит ежеминутно конец свой, никогда не согрешит. Кто помнит о смерти и представляет ее перед глазами живо, тот не пожелает смерти, потому что видит сам, как много нужно наделать добрых дел, чтобы заслужить добрую кончину и без страха предстать на суд пред Господа. По тех пор, покуда человек не сроднится с мыслью о смерти и не сделает ее как бы завтра его ожидающею, он никогда не станет жить так, как следует, и всё будет откладывать от дня до дня на будущее время. Постоянная мысль о смерти воспитывает удивительным образом душу, придает силу для жизни и подвигов среди жизни. Она нечувствительно крепит нашу твердость, бодрит дух и становит нас нечувствительным ко всему тому, что возмущает

людей малодушных и слабых. Моим помышленьям о смерти я обязан тем, что живу еще на свете. Без этой мысли, при моем слабом состояньи здоровья, которое всегда было во мне болезненно, и при тех тяжелых огорченьях, которые на моем поприще предстоят человеку более, чем на всех других поприщах, я бы не перенес многого, и меня бы давно не было на свете. Но, содержа в мыслях перед собою смерть и видя перед собою неизмеримую вечность, нас ожидающую, глядишь на всё земное, как на мелочь и на малость, и не только не падаешь от всяких огорчений и бед, но ещё вызываешь их на битву, зная, что только за мужественную битву с ними можно удостоиться полученья вечности и вечного блаженства".

Непонимание В. м. из п. с д. даже близкими друзьями огорчало Гоголя. 8/20 января 1847 г. он писал из Неаполя С. Т. Аксакову: "...Вы в заблуждении, подозревая во мне какое-то новое направление. От ранней юности моей у меня была одна дорога, по которой иду. Я был только скрытен, потому что был неглуп - вот и всё. Причиной нынешних ваших выводов и заключений обо мне... было то, что я, понадеявшись на свои силы и на (будто бы) совершившуюся зрелость свою отважился заговорить о том, о чем бы следовало до времени еще немножко помолчать, покуда слова мои не придут в такую ясность, что и ребенку стали бы понятны. Вот вам вся история моего мистицизма. Мне следовало несколько времени еще поработать в тишине, еще жечь то, что следует жечь, никому не говорить ни слова о внутреннем себе и не откликаться ни на что, особенно не давать никакого ответа моим друзьям насчет сочинений моих. Отчасти неблагоразумные подталкиванья со стороны их, отчасти невозможность видеть самому, на какой степени собственного своего воспитанья нахожусь, были причиной появленья статей, так возмутивших дух Ваш. С другой стороны, совершилось всё это не без воли Божией. Появление книги моей, содержащей переписку со многими весьма замечательными людьми в России (с которыми я бы, может быть, никогда не встретился, если бы жил сам в России и оставался в Москве), нужно будет многим (несмотря на все непонятные места) во многих истинно существенных отношениях. А еще более будет нужно для меня самого. На книгу мою нападут со всех углов, со всех сторон и во всех возможных отношениях. Эти нападения мне теперь слишком нужны: они покажут мне ближе меня самого и покажут мне в то же время вас, то есть моих читателей. Не увидевши яснее, что такое в настоящую минуту я сам и что такое мои читатели, я был бы в решительной невозможности сделать дельно свое дело. Но это вам покуда не будет понятно; возьмите это просто на веру; вы чрез то останетесь в барышах. А чувств ваших от меня не скрывайте никаких! По прочтении книги тот же час, покуда еще ничего не простыло, изливайте всё наголо, как есть, на бумагу. Никак не смущайтесь тем, если у вас будут вырываться жесткие слова: это совершенно ничего, я даже их очень люблю. Чем вы будете со мной откровеннее и искренней, тем в больших останетесь барышах".

Еще до получения этого гоголевского письма С. Т. Аксаков успел прочесть В. м. из п. с д. и писал 14 января 1847 г. И. С. Аксакову, приславшего ранее восторженное письмо о гоголевской книге: "Письмо твое не изумило, не поразило меня, а просто уничтожило на некоторое время. Я также прочел всю

книгу Гоголя. Если бы я не имел утепления думать, что он на некоторых предметах помешался, то жестким бы словом я назвал его. Я вижу в Гоголе добычу сатанинской гордости, а не христианское смирение. Я никогда не прощу ему выходок на Погодина: в них дышит дьявольская злоба, а он изволит утопать в сладости любви христианской. Меня оскорбило письмо его к Веневитинову, которое и написать совестно, не только напечатать, которое нашпиговано ангельскими устами и небесным голосом, где определяется чисто католическое воззрение на красоту женщины и употребление оной и, между прочим, говорится о рукоплесканиях на небесах. Я не мог читать без отвращения печатное завещание человека живого и здорового, в каждом слове которого дышит неимоверная гордость и опять-таки злоба на Погодина, где эстамп "Преображения Господня" так и ложится рядом с его портретом. Боже мой, какое впечатление произведет это завещание на его бедную мать! Я не мог без горького смеха слушать его наставление помещикам, как надобно им пахать, жать и косить впереди своих крестьян; как заставлять их прикладываться к некоторым словам Священного Писания, тыкая в них пальцем, как чинить суд и расправу и как уверить умный русский народ, что помещик для того только справляет барщину, чтоб они в поте лица снедали хлеб свой; как раскладывать свой годовой доход, которого при начале года никогда в руках не бывает, на семь куч и если в куче, назначенной для благотворения, недостает денег, то дать людям умирать возле себя, а из другой кучи не брать! Я не мог без жалости слышать этот язык, пошлый, сухой, вялый и безжизненный, которым ты упиваешься, и только статья о русской литературе и литераторах и письмо об Иванове напомнили мне прежнего Гоголя. Неужели не поразило тебя выражение: прекрасный небесный отец наш и рядом: прекрасный друг мой (говоря о Жуковском)? Я теперь уже готов услышать от тебя, что статья, которой не называю, непосредственно вытекает из духа христианского. Этот дух по крайней мере неглуп... Я не буду знать, что мне возразить тому человеку, который скажет: это хохлацкая шутка; широко замахнулся, не совладал с громадностью художественного исполнения второго тома, да и прикинулся проповедником христианства. Мы все собираемся писать к Гоголю, более или менее в одинаковом смысле. Разумеется, все, что я написал тебе, я не только никому не скажу, но и не позволю сказать при мне, кроме истинных друзей Гоголя". Но на следующий день, 16 января, продолжая письмо сыну, С. Т. Аксаков счел, что молчать больше нельзя: "Обстоятельства переменяются. Мы не можем молчать о Гоголе, мы должны публично порицать его. Шевырев даже хочет напечатать беспощадный разбор его книги. Дело в том, что хвалители и ругатели Гоголя переменились местами: все мистики, все ханжи, все примиряющиеся с подлой жизнию своею возгласами о христианском смирении, весь скотный двор Глинки, а особенно женская свита К. В. Новосильцевой утопают в слезах и восхищении. Я думал, что вся Россия даст ему публичную оплеуху, и потому не для чего нам присоединять рук своих к этой пощечине; но теперь вижу, что хвалителей будет очень много, и Гоголь может утвердиться в своем сумасшествии. Книга его может быть вредна многим. Вчера был у меня Погодин. Он признается, что в первые минуты был оскорблен до глубины души (Шевырев сказывал, что он горько плакал), но скоро успокоился и теперь

искренно смеется. Он хочет написать к Гоголю: "Друг мой, Иисус Христос учит нас подставлять правую ланиту, получив пощечину в левую; но где же учит он давать публичные оплеухи?" (об этой идее Погодина С. Т. Аксаков сообщил Гоголю 27 января 1847 г. - Б. С.). Вся его книга проникнута лестью и страшной гордостью под личиной смирения. Он льстит женщине, ее красоте, ее прелестям; он льстит Жуковскому, он льстит власти. Он не устыдился напечатать, что нигде нельзя говорить так свободно правду, как у нас. Может ли быть безумнее гордость, как требование, чтоб, по смерти его, его завещание было немедленно напечатано во всех журналах, газетах и ведомостях, дабы никто не мог отговориться неведением оного? Чтоб не ставили ему памятника, а чтоб каждый вместо того сделался лучшим? Чтоб все исправлялись о имени его?.. Все это надобно повершить фактом, который равносилен 41-му числу мартобря (в "Записках сумасшедшего")..."

23 января, еще раз перечитав книгу Гоголя, С. Т. Аксаков писал сыну Ивану: "Благодаря Бога я уже совершенно убедился в полной искренности сочинителя, и его духовное состояние объясняется для меня: он находится в состоянии перехода, всегда преисполненного излишеств, заблуждений, ослеплений. Мне блещет луч надежды, что Гоголь выйдет победоносно из этого положения; но книга его чрезвычайно вредна: в ней все ложно... Говоря о примирении искусства с религией, он всеми словами и действиями своими доказывает, что художник погиб в нем; дай Бог, чтобы это было только на время... Вчера вечером мне перечли письмо о значении женщины в свете... Боже мой, до какой степени оно противно духу христианскому! Это письмо не только католическое, но языческое; нигде так ярко не изобличается ложность направления Гоголя".

И 27 января 1847 года С. Т. Аксаков послал Гоголю письмо, призванное сыграть роль отрезвляющей пощечины: "Друг мой! Если вы желали произвести шум, желали, чтоб высказались и хвалители и порицатели ваши, которые теперь отчасти переменились местами, то вы вполне достигли своей цели. Если это была с вашей стороны шутка, то успех превзошел самые смелые ожидания: все одурачено! Противники и защитники представляют бесконечно разнообразный ряд комических явлений... Но, увы! нельзя мне обмануть себя: вы искренно подумали, что призвание ваше состоит в возвещении людям высоких нравственных истин в форме рассуждений и поучений, которых образчик содержится в вашей книге... Вы грубо и жалко ошиблись. Вы совершенно сбились, запутались, противоречите сами себе беспрестанно и, думая служить небу и человечеству, - оскорбляете и Бога и человека. Если б эту книгу написал обыкновенный писатель - Бог бы с ним! Но книга написана вами; в ней блещет местами прежний могучий талант ваш, и потому книга ваша вредна: она распространяет ложь ваших умствований и заблуждений. Издали предчувствовал я эту беду, долго горевал и думал встретить грозу спокойно; но когда разразился удар, то разлетелось мое разумное спокойствие. О, недобрый был тот день и час, когда вы вздумали ехать в чужие края, в этот Рим, губитель русских умов и дарований! Дадут Богу ответ эти друзья ваши, слепые фанатики и знаменитые маниловы, которые не только допустили, но и сами помогли вам запутаться в сети собственного ума вашего, дьявольской гордости, которую вы принимаете за христианское смирение. Горько убеждаюсь я, что никому не

проходит безнаказанно бегство из отечества: ибо продолжительное отсутствие есть уже бегство - измена ему".

В письме И. С. Аксакову от 30 января 1847 г. С. Т. Аксаков так прокомментировал свое письмо Гоголю: "Прочитав в другой раз статью о лиризме наших поэтов, я впал в такое ожесточение, что... вместо нескольких строк, в которых хотел сказать, что не буду писать к нему письма об его книге до тех пор, пока не получу ответа на мое письмо от 9 декабря, написал целое письмо, горячее и резкое, о чем очень жалею... Вчера прочли мы, едва ли не в третий раз, письмо об Иванове, которое мне понравилось гораздо менее прежнего. Они оба погибают от лукавого мудрствования: верить надобно в простоте сердца. Это ужасная ошибка и даже дерзость, по-моему, мешать имя Бога во все наши дела. Разумеется, всякий талант от Бога; но мысль, что прежде надобно сделаться святым, чтобы изобразить святое, - нелепость. Из этого выйдет, что Иванов не кончит картины "Богоявления Господня", а Гоголь - "Мертвых душ". Кто может осмелиться сказать самому себе: я теперь готов, я добродетелен, я свят? Много, много надобно говорить об этом. Я хочу переплесть книгу Гоголя с белыми листами, вновь перечитать ее и записать все мои замечания; эту книгу я отошлю к нему, разумеется с оказией. Я сделаю все, что может сделать друг для друга, брат для брата и человек с поэтическим чувством - теряющий великого поэта". В письме сыну Ивану от 6-8 февраля 1847 г. С. Т. Аксаков брал назад даже те отдельные похвалы, которыми прежде удостоил отдельные статьи В. м. из п. с. д.: "Беру назад прежние мои похвалы некоторым письмам или, правильнее сказать, некоторым местам: нет ни одного здорового слова, везде болезнь или в развитии, или в зерне".

22 февраля (6 марта) 1847 г. Гоголь ответил С. Т. Аксакову: "Благодарю вас, мой добрый и благородный друг, за ваши упреки; от них хоть и чихнулось, но чихнулось во здравие. Поблагодарите также доброго Дмитрия Николаевича Свербеева и скажите ему, что я всегда дорожу замечаниями умного человека, высказанными откровенно... Поблагодарите также и милую супругу его за ее письмецо. Скажите им, что многое из их слов взято в соображение и заставило меня лишний раз построже взглянуть на самого себя. Мы уже так странно устроены, что по тех пор не увидим ничего в себе, покуда другие не наведут нас на это. Замечу только, что одно обстоятельство не принято ими в соображение, которое, может быть, иное показало бы им в другом виде, а именно: что человек, который с такой жадностью ищет слышать все о себе, так ловит все сужденья и так умеет дорожить замечаньями умных людей даже и тогда, когда они жестки и суровы, - такой человек не может находиться в полном и совершенном ослеплении. А вам, друг мой, сделаю маленький упрек... Не слишком ли вы уже положились на ваш ум и непогрешительность его выводов? Делать замечания - это другое дело, это имеет право делать всякий умный человек и даже просто всякий человек. Но выводить из своих замечаний заключение обо всем человеке - это есть уже некоторого рода самоуверенность. Это значит признать свой ум вознесшимся на ту высоту, с которой он может обозревать со всех сторон предмет. Ну что, если я вам расскажу следующую повесть? Повар вызвался угостить хорошим и даже необыкновенным обедом тех людей, которые сами не бывали на кухне, хотя и ели довольно вкусные

обеды. Повар сам вызвался; ему никто не заказывал обеда. Он сказал только вперед, что обед его иначе будет сготовлен и потому потребует больше времени. Что следовало делать тем, которым обещано угощение? Следовало молчать и ожидать терпеливо. Нет, давай кричать: "Подавай обед!" Повар говорит: "Это физически невозможно, потому что обед мой совсем не так готовится, как другие обеды, для этого нужно поднимать такую возню на кухне, о которой вы и подумать не можете". Ему в ответ: "Врешь, брат!" Повар видит, что нечего делать, решился, наконец, привести гостей самих на кухню, постаравшись, сколько можно было, расставить кастрюли и весь кухонный снаряд в таком виде, чтобы из него хотя какое-нибудь могли вывести представление об обеде. Гости увидели множество таких странных и необыкновенных кастрюль и, наконец, таких орудий, о которых и подумать бы нельзя было, чтобы они требовались для приуготовленья обеда, что у них закружилась голова. Ну, что если в этой повести есть маленькая частица правды? Друг мой! вы видите, что дело покуда еще темно. Хорошо делает тот, кто снабжает меня своими замечаниями, все доводит до ушей моих, упрекает и склоняет других упрекать, но сам в то же время не смущается обо мне, а вместо того тихо молится в душе своей, да спасет меня Бог от всех обольщений и самоослеплений, погубляющих душу человека".

(30 января) 11 февраля 1847 года Гоголь ответил С. П. Шевыреву на его критику В. м. из п. с д., содержавшуюся в письме от 30 декабря 1846 г.: "Благодарю тебя за то, что ты, наконец, заговорил со мной откровенно и отважился сделать мне упреки. Их я жду отовсюду, ищу ото всех, хотя еще никто не верит словам моим и думает, что я морочу людей. В упреках твоих есть и справедливая и несправедливая сторона, но то и другое для меня драгоценно, потому что показывает мне, во-первых, в каком виде я стою в глазах твоих, во-вторых, заставляет меня все-таки лишний раз оглянуться и построже рассмотреть себя. Вот что я нахожу теперь нужным сказать тебе в ответ на них, - сказать не с тем, чтобы оправдываться, но чтобы изгнать из мыслей твоих беспокойство обо мне, которое, как я замечаю, поселили в тебе мои неловко и неразумно выраженные слова. Начну с того, что твое уподобление меня княгине Волконской относительно религиозных экзальтаций, самоуслаждений и устремлений воли Божией лично к себе, равно как и открытье твое во мне признаков католичества, мне показались неверными (в обнаружении в В. м. из п. с д. католических мотивов С. П. Шевырев был солидарен с С. Т. Аксаковым. - Б. С.). Что касается до княгини Волконской, то я ее давно не видал, в душу к ней не заглядывал; притом это дело такого рода, которое может знать в настоящей истине один Бог; что же касается до католичества, то скажу тебе, что я пришел ко Христу скорее протестантским, чем католическим путем. Анализ над душой человека таким образом, каким его не производят другие люди, был причиной того, что я встретился со Христом, изумясь в нем прежде мудрости человеческой и неслыханному дотоле знанью души, а потом уже поклонясь Божеству его. Экзальтаций у меня нет, скорей арифметический расчет, и выходят сами собою суммы. На теориях у меня также ничего не основывается, потому что я ничего не читаю, кроме статистических всякого рода документов о России да собственной внутренней книги.

Относительно надписи Погодину ты также попал в заблуждение. Я давно уже, слава Богу, ни на кого не сержусь. Но для надписи я прибирал нарочно самые жесткие слова, желая усилить в глазах его те недостатки, которые кажутся ему небольшими и неважными и несколько даже уязвить душу (в дарственной надписи М. П. Погодину на экземпляре В. м. из п. с д. Гоголь написал: "Неопрятному и растрепанному душой Погодину, ничего не помнящему, наносящему на всяком шагу оскорбления другим и того не видящему, Фоме Неверному, близоруким и грубым аршином меряющему людей, дарит сию книгу, в вечное напоминание грехов его, человек, также грешный, как и он, и во многом еще неопрятнейший его самого". - Б. С.). Что ж делать? Иных людей не заставишь по тех пор развязать, как следует, язык, покуда не рассердишь. К тому ж я угощал его тем же, чем угощаю себя ежедневно и чем желал бы, чтобы потчевали меня почаще другие. Впрочем, напрасно ты такого дурного мнения о Погодине. Он гораздо лучше, чем ты его себе представляешь, и особенно теперь. Он великодушен, и это составляло всегда главную черту его характера, несмотря на все недостатки его: он сам станет колоть себя и поражать именно моими словами, теми самыми, которые я прибрал ему в надпись. В доказательство же, что я ничего не имею противу его на душе своей, прилагаю при сем письмецо к нему самому... Я получил уже деньги от Плетнева вместе с известием о выходе моей книги в обезображенном цензурою виде. Плетнев сделал неосмотрительность непростительную, поторопившись с ее выпуском и не дождавшись моих распоряжений относительно самых значительных статей, в нее не вошедших. Вышло наместо толстой и солидной книги что-то странное, не то книга, не то брошюра. Последовательность и связь - всё пропало. В унынье от этого я, разумеется, не пришел, потому что знаю высокую душу Государя и не сомневаюсь в пропуске, но всё несколько неприятно. В прежнем моем письме я поручал второе издание в ее полном виде тебе. Но теперь вижу, что это замедлит ее появление; пересылка, медленность московских типографий, наконец, недоумения, которые могут произойти по поводу вставок всех выпущенных мест и надлежащего их размещения, - всё это заставляет меня вновь возложить это дело на Плетнева. Не позабудь, однако ж, передать мне все мненья об этом явившемся в печати оглодке, как твои, так и других; поручай и другим узнавать, что говорят о ней во всех слоях общества, не выключая даже и дворовых людей, а потому проси всех благотворительных людей покупать книгу и дарить людям простым и неимущим".

20 февраля (4 марта) 1847 г. Гоголь направил письма С. Т. Аксакову, С. П. Шевыреву и М. П. Погодину, где признавал справедливость их критики В. м. из п. с д. Комментируя их, С. Т. Аксаков писал сыну Ивану 28 марта: "...Все эти письма писаны уже другим человеком! Уже нет ни высокомерного спокойствия, ни лицемерного смирения; но положение его ужасно. Кипяток последнего моего письма и ледяной холод письма Свербеева, обрушившиеся на него в одно и то же время, образумили и оскорбили его душу. Он благодарит меня, но в то же время негодует... Зато вся его нежность обратилась на Шевырева и Погодина: к последнему он пишет даже страстное письмо, что показывает еще продолжающееся болезненное состояние духа. Пусть он никогда ко мне не обратится, для меня это все равно. Для спасения Гоголя я готов сделаться и

презренным орудием казни и отвратительнейшим палачом".

22 марта 1847 г. С. П. Шевырев, отвечая Гоголю, весьма сурово отозвался о В. м. из п. с д.: "Ты избалован был всею Россиею: поднося тебе славу, она питала в тебе самолюбие. В книге твоей оно выразилось колоссально, иногда чудовищно. Самолюбие никогда не бывает так чудовищно, как в соединении с верою. В вере оно уродство".

27 апреля н. ст. 1847 г. Гоголь в письме Шевыреву из Неаполя отверг распространившуюся в обществе после выхода В. м. из п. с д. мысль "о моем отречении от искусства. Я не могу понять, отчего поселилась эта нелепая мысль об отречении моем от своего таланта и от искусства, тогда как из моей же книги можно бы, кажется, увидеть было хотя некоторые, какие страдания я должен был выносить из любви к искусству, желая себя приневолить и принудить писать и создавать тогда, когда я не в силах был, - когда из самого предисловия моего ко второму изданию "Мертвых Душ" видно, как я занят одною и тою же мыслью и как хочу набрать тех сведений, которые мне нужны для моего труда. Что ж делать, если душа стала предметом моего искусства? виноват ли я в том? Что ж делать, если заставлен я многими особенными событиями моей жизни взглянуть строже на искусство? Кто ж тут виноват? виноват Тот, без воли которого не совершается ни одно событие..."

11 января 1847 г. А. О. Смирнова из Калуги сообщила Гоголю свое восторженное мнение о В. м. из п. с д.: "Книга ваша вышла под новый год. И вас поздравляю с таким вступлением, и Россию, которую вы подарили этим сокровищем. Странно! Но вы, все то, что вы писали доселе, ваши "Мертвые души" даже, - все побледнело как-то в моих глазах при прочтении вашего последнего томика. У меня просветлело на душе за вас".

10/22 февраля 1847 г. Гоголь жаловался А. О. Смирновой: Мне это нужно; вы не знаете, как это вразумляет меня. Я бы давно был гораздо умнее нынешнего, если бы мне доставлялась верная статистика... Мне нужно много набрать знаний; мне нужно хорошо знать Россию".

28 февраля н. ст. 1847 г. Гоголь в письме П. А. Вяземскому просил его вместе с графом М. Ю. Виельгорским и графом В. А. Перовским прочитать рукопись В. м. из п. с д. и выправить его для второго издания. Однако под влиянием критики Гоголь отказался от немедленного переиздания книги.

6 марта н. ст. 1847 г. в письме В. А. Жуковскому Гоголь признавался по поводу В. м. из п. с д.: "Я размахнулся в моей книге таким Хлестаковым, что не имею духу заглянуть в нее".

17 апреля н. ст. 1847 г. Гоголь из Рима писал П. А. Плетневу, что суждения других о В. м. из п. с д. заставили его строже взглянуть на самого себя, но, что, при всем том, эта книга, "несмотря на все ее недостатки, сокровище".

По рекомендации графа А. П. Толстого Гоголь послал экземпляр В. м. из п. с д. ржевскому протоиерею о. Матвею Константиновскому вместе со следующим письмом: "Я прошу вас убедительно прочитать мою книгу и сказать мне хотя два словечка о ней, первые, какие придутся вам, какие скажет вам душа ваша. Не скройте от меня ничего и не думайте, чтобы ваше замечание или упрек был для меня огорчителен. Упреки мне сладки, а от вас еще будет слаще. Не затрудняйтесь тем, что меня не знаете; говорите меня так, как бы меня век

знали..."

О. Матвей Константиновский резко критиковал В. м. из п. с д. Отвечая на критику, Гоголь 27 апреля (9 мая) 1847 г. писал ему: "Все слова ваши, как о евангельском значении милостыни, так и о прочем - святая истина. В них я убежден, против них не спорю, а между тем в книге моей изложено так, как бы я был против этого. Как изъяснить это явление? Скажу более: статью о театре я писал не с тем, чтобы приохотить общество к театру, а с тем, чтобы отвадить его от развратной стороны театра, от всякого рода балетных плясавиц и множества самых странных пиес, которые в последнее время стали кучами переводить с французского.. Я хотел отвадить от этого указанием на лучшие пиесы и выразил всё это таким нелепым и неточным образом, что подал повод вам думать, что я посылаю людей в театр, а не в церковь. Храни меня Бог от такой мысли! Никогда я не имел ее даже и тогда, когда гораздо меньше чувствовал святыню Святых Истин. Я только думал, что нельзя отнять совершенно от общества увеселений их, но надобно так распорядиться с ними, чтобы у человека возрождалось само собою желание после увеселения. Идти к Богу - поблагодарить Его, а не идти к чорту - послужить ему. Вот была основная мысль той статьи, которую я не сумел хорошо написать. Скажу вам нелицемерно и откровенно, что виной множества недостатков моей книги не столько гордость и самоослепление, сколько незрелость моя... Обрадовавшись тому, что удалось в себе победить многое, я вообразил, что могу учить и других, издал книгу и на ней увидел ясно, что я - ученик. Желание и жажда добра, а не гордость, подтолкнули меня издать мою книгу, а как вышла моя книга, я увидел на ней же, что есть во мне и гордость, и самоослепление, и много того, чего бы я не увидал, если бы не была издана моя книга. Эта строптивость, дерзкая замашка, которая так оскорбила вас в моей книге, произошла тоже от другого источника. Воспитывая себя самого суровою школою упреков и поражений и находя от них пользу существенную душе, я был не шутя одно время уверен в том, что и другим это полезно, и выразился грубо и жестко. Я позабыл, что голосом любви следует говорить, когда хочешь чему поучить других, и чем святее истина, тем смиреннее нужно быть тому, который хочет возвещать о ней. Я попался сам в тех самых недостатках, в которых попрекнул других. Словом, всё в этой книге обличает невоспитанье мое. Бог дал большое именье, множество в нем всяких угодий и удобств, земли не окинешь глазом, а сам управитель, которому поручено это имение, еще не умеет управлять им... А книга моя не от дурного умысла: мое неразумие всему причиною; зато Бог и наказал меня, наказал меня тем, что все до единого вопиют против моей книги, хотя и разнообразны до бесконечности причины этих криков. Но как милостиво и самое наказание Его! В наказание он дает мне почувствовать смирение - лучшее, что только можно дать мне... Есть люди, которым нужна публичная, в виду всех данная оплеуха. Это я сказал где-то в письме, хотя и не знал еще тогда, что получу сам эту публичную оплеуху. Моя книга есть точная мне оплеуха. Я не имел духу заглянуть в нее, когда получил ее отпечатанную: я краснел от стыда и закрывал лицо себе руками при одной мысли о том, как неприлично и как дерзко выразился о многом; отсутствие мест, выпущенных цензурою и не замененных ничем другим, разрушивши связь и сделавши

темным, почти бессмысленным многое, еще более увеличило недостатки ее в глазах моих. Итак, книга моя, прежде чем быть полезной для других, полезна и для меня, и это считаю знаком ко мне милости Божией (несомненно, в случае успеха В. м. из п. с д. Гоголь почитал бы это также знаком Божьего к себе благоволения. - Б. С.). Мне нужно зеркало, в которое я должен глядеться всякий день, чтобы видеть мое неряшество. Что же до влияния на других, то мне как-то не верится, чтобы от книги моей распространился вред на них. За что Богу так ужасно меня наказывать? Нет, Он отклонит от меня такую страшную участь, если не ради моих бессильных молитв, то ради молитв тех, которые Ему молятся обо мне и умеют угождать Ему, ради молитв моей матери, которая из-за меня вся превратилась в молитву. Теперь я собираю весьма тщательно толки о моей книге со всех сторон, равно как и отчет о всех впечатлениях, ею производимых. Сколько могу судить по тем, которые доселе имею, книга моя не произвела почти никакого впечатления на тех людей, которые находятся уже в недре Церкви, что весьма естественно: кто имеет у себя дома лучший обед, тот не станет по чужим домам искать худшего (возможно, здесь намек на известный анекдот и скрытая полемика с ним: один приятель говорит другому по дороге в бордель: "Почему ты все ходишь по девочкам, когда у тебя дома жена-красавица?" - "Но у тебя дома превосходный повар, однако это не значит, что ты не обедаешь в ресторанах". Иногда в качестве одного из персонажей анекдота фигурирует А.С. Пушкин. - Б. С.); кто добрался до самого родника вод, тому незачем бегать за полугрязными ручьями, хотя бы они и стремились в ту же реку. Напротив, из тех, которые находятся в недре Церкви и действительно веруют, многие даже вооружились против моей книги и стали еще бдительнее на страже собственной своей души. Книга моя подействовала только на тех, которые не ходят в церковь и которые не захотели бы даже выслушать слов, если бы вышел сказать им поп в рясе. Если это правда и если, точно, некоторые пошатнулись в неверии своем и пошли хотя из любопытства в церковь, то это одно уже может меня успокоить. Там, то есть в церкви, они найдут лучших учителей. Достаточно, что занесли уже ногу на порог дверей ее. О книге моей они позабудут, как позабывает о складах ученик, выучившийся читать по верхам. Причину этого для вас, может быть, странного явления я могу объяснить тем, что в книге моей, несмотря на все великие недостатки ее, есть, однако же, одна только та правда, которую покуда заметили немногие. В ней есть душевное дело, исповедь человека, который почувствовал сильно, что воспитанье наше начинается с тех только пор, когда кажется, что оно уже кончилось. Там изложен отчасти и процесс такого дела, понятный даже и не для христианина, несмотря на неточность моих слов и выражений, непонятных для не страдавшего теми недугами, какими страждут неверующие люди нынешнего времени. Мне кажется, что если кто-нибудь только помыслит о том, чтобы сделаться лучшим, то он уже непременно потом встретится со Христом, увидевши ясно, как день, что без Христа нельзя сделаться лучшим, и, бросивши мою книгу, возьмет в руки Евангелие. И потому-то, я думаю, напрасно не обратили внимание на эту сторону моей книги все те, которые имеют дело с душою человека. Мне кажется, что следовало бы даже, отбросивши на время в сторону все оскорбляющие слова, резкие выражения и даже целиком те статьи,

на которых отразились мое несовершенство, недостатки и невежество, прочитать внимательно и даже несколько раз некоторые статьи, особенно те, где ум не может быть вдруг судьей и которые проверить можно только собственной душой своей. Как бы то ни было, но если вы заметите, что книга моя произвела на кого-нибудь вредное влияние и соблазнила его, уведомьте меня, ради Самого Христа, обстоятельно и отчетливо, не скрывая ничего".

Святитель Игнатий (Брянчанинов), архимандрит Троице-Сергиевой пустыни, писал по поводу В. м. из п. с д. своей духовной дочери М. П. Вагнер (Балабиной): "С благодарностью возвращаю вам книгу, которую вы мне доставили. Услышьте мое мнение о ней. Виден человек, обратившийся к Богу с горячностию сердца. Но для религии этого мало. Чтоб она была истинным светом собственно для человека и издавала из него неподдельный свет для ближних его, необходимо нужна в ней определенность. Определительность заключается в точном познании Истины, в отделении ее от всего ложного, от всего лишь кажущегося истинным. Это сказал Сам Спаситель: истина свободит вы (Ин. 8, 32). В другом месте Писания сказано: Слово Твое истина есть (Ин. 17, 17). Посему желающий стяжать определительность глубоко вникает в Евангелие, сображаясь с учением Господа, выправляет свои мысли и чувствования... Такой ход должен совершиться с каждым христианином, христианином на самом деле, а не по одному имени: сперва очищение Истиною, а потом просвещение Духом. Правда, есть у человека врожденное вдохновение, более или менее развитое, происходящее от движения чувств сердечных. Истина отвергает это вдохновение как смешанное, умерщвляет его, чтоб Дух, пришедши, воскресил его в обновленном состоянии. Если же человек прежде очищения истиною будет руководствоваться своим вдохновением, то он будет издавать для себя и для других не чистый свет, но смешанный, обманчивый, потому что в сердце его живет не простое добро, но добро, смешанное со злом более или менее. Всякий взгляни в себя и поверь сердечным опытом слова мои! Они точны и справедливы, скопированы с самой натуры. Применив эти основания к книге Гоголя, можно сказать, что она издает из себя и свет и тьму. Религиозные его понятия неопределенны, движутся по направлению сердечного вдохновения, неясного, безотчетливого, душевного, а не духовного. Он писатель, а в писателе непременно от избытка сердца уста глаголят (Мф, 12, 34), или: сочинение есть непременная исповедь сочинителя, по большей части им непонимаемая, и понимаемая только таким христианином, который возведен Евангелием в отвлеченную страну помыслов и чувств, в ней различил свет от тьмы. Книга Гоголя не может быть принята целиком и за чистые глаголы Истины. Тут смешение, тут между многими правильными мыслями много неправильных. Желательно, чтоб этот человек, в котором заметно самоотвержение, причалил к пристанищу Истины, где начало всех духовных благ. По этой причине советую всем друзьям моим заниматься по отношению к религии единственно чтением Святых Отцов, стяжавших очищение и просвещение по подобию Апостолов, потом уже написавших свои книги, из которых светит чистая Истина и которые читателям сообщают вдохновение Святого Духа. Вне этого пути, сначала узкого и прискорбного для ума и сердца, - всюду мрак, всюду стремнины и пропасти!"

П. А. Плетнев переслал это письмо Гоголю. Тот, в ответном письме П. А. Плетневу от 27 апреля (9 мая) 1847 г. так охарактеризовал отзыв Брянчанинова: "...Надобно отдать справедливость нашему духовенству за твердое познание догматов. Это познание слышно во всякой строке его письма. Всё сказано справедливо и всё верно. Но, чтобы произнести полный суд моей книге, для этого нужно быть глубокому душеведцу, нужно почувствовать и услышать страданье той половины современного человечества, с которою даже не имеет и случаев сойтись монах; нужно знать не свою жизнь, но жизнь многих. Поэтому никак для меня не удивительно, что им видится в моей книге смешение света со тьмой. Свет для них та сторона, которая им знакома; тьма та сторона, которая им незнакома; но об этом предмете нечего нам распространяться. Всё это ты чувствуешь и понимаешь, может быть, лучше моего. Во всяком случае, письмо это подало мне доброе мнение о Брянчанинове. Я считал его, основываясь на слухах, просто дамским угодником и пустым попом".

28 мая (9 июня) 1847 г. В. А. Муханов, только что расставшийся с Гоголем в Париже, так передавал в письме к сестрам его реакцию на критику В. м. из п. с д.: "Удивительно, что после критик, больше жестоких и исполненных остервенения, он не только вовсе не раздражен, но, напротив, покойнее и светлее духом прежнего".

А 19 июня (1 июля) 1847 г., после новой встречи с Гоголем, он утверждал: "Ему многие ставят в вину, что без всякой причины, без малейшего права, он вздумал быть всеобщим наставником. Между тем ему никогда подобная мысль не приходила в голову. Занимаясь сочинением, для которого нужно было ему собрать много материала и в особенности узнать мысли и мнения его соотечественников о некоторых предметах, о которых он намерен говорить в своем творении, он издал свою переписку, чтобы вызвать толки и прения. Цель его достигнута. Он получил множество писем с замечаниями на книгу".

30 мая (11 июня) 1847 г. Гоголь, благодаря князя П. А. Вяземского за положительный отзыв о В. м. из п. с д. в "Санкт-петербургских ведомостях", отмечал: "...Мне кажется, что выразились вы несколько сурово о некоторых моих нападателях, особенно о тех, которые прежде меня выхваляли. Мне кажется вообще, мы судим их слишком неумолимо. Бог знает, может быть, в существе многие из них добрые люди и влекутся даже некоторым, хотя отдаленным, желанием добра; но кого не увлекает самолюбие, некоторый успех и множество разных соблазнов, окружающих со всех сторон человека? Бог знает, может быть, и нам будет сделан упрек в гордости за то, что мы несколько жестоко оттолкнули их, оскорбясь какою-нибудь их дерзостью, тогда как наш совет, может быть, им был бы нужен и спас бы их от многого того, за что их укорять теперь справедливо".

Между тем, П. Я. Чаадаев 2 9 апреля 1847 г. направил П. А. Вяземскому свое мнение о В. м. из п. с д., недостатки которых считал следствием неумеренных похвал, прежде расточавшейся критикой Гоголю: "Мне кажется, что всего любопытнее в этом случае не сам Гоголь, а то, что его таким сотворило, каким он теперь перед нами явился. Как вы хотите, чтобы в наше надменное время, напыщенное народною спесью, писатель даровитый, закуренный ладаном с ног до головы, не зазнался, чтобы голова у него не закружилась? Это просто

невозможно... Недостатки книги принадлежат не ему, а тем, которые превозносят его до безумия, которые преклоняются перед ним, как перед высшим проявлением самобытного русского ума, которые налагают на него чуть не всемирное значение... Разумеется, он родился не вовсе без гордости, но все-таки главная беда произошла от его поклонников. Я говорю в особенности о его московских поклонниках. Но знаете ли, откуда взялось у нас на Москве это безусловное поклонение даровитому писателю? Оно произошло оттого, что нам понадобился писатель, которого бы мы могли поставить наряду со всеми великанами духа человеческого, с Гомером, Дантом, Шекспиром, и выше всех иных писателей настоящего времени. Этих поклонников я знаю коротко, я их люблю и уважаю: они люди умные, хорошие; но им надо во что бы то ни стало возвысить нашу скромную, богомольную Русь над всеми народами в мире, им непременно хотелось себя и всех других уверить, что мы призваны быть какими-то наставниками народов. Вот и нашелся на первый случай, такой крошечный, вот они и стали ему про это твердить на разные голоса, и слух, и на ухо; а он, как простодушный, доверчивый поэт, им и поверил... К счастью, в нем таился... зародыш той самой гордости, которую в нем силились развить их хваления. Хвалениями их он пресыщался; но к самим этим людям он не питал ни малейшего уважения... От этого родилось болезненное его состояние, а потом новым направлением, им принятым, быть может, как убежищем от преследующей его грусти, от тяжкого неисполнимого урока, ему заданного современными причудами... Бог знает, куда заведут его друзья, как вынесет он бремя их гордых ожиданий, неразумных внушений и неумеренных похвал!.. В Гоголе нет ничего иезуитского. Он слишком спесив, слишком бескорыстен, слишком откровенен, откровенен иногда даже до цинизма, одним словом, он слишком неловок, чтобы быть иезуитом".

На В. м. из п. с д. В. Г. Белинский откликнулся издевательской рецензией во 2-м номере "Современника" за 1847 г. Он утверждал: "Это едва ли не самая странная и не самая поучительная книга, какая когда-либо появлялась на русском языке! Беспристрастный читатель, с одной стороны, найдет в ней жестокий удар человеческой гордости, а с другой стороны, обогатится любопытными психологическими фактами касательно бедной человеческой природы... Впрочем, нисколько не прав будет тот, кем при чтении этой книги попеременно стали бы овладевать то жестокая грусть, то злая радость, - грусть о том, что и человек с огромным талантом может падать так же, как и сам дюжинный человек, радость оттого, что все ложное, натянутое, неестественное никогда не может замаскироваться, но всегда беспощадно казнится собственною же пошлостию... Смысл этой книги не до такой степени печален. Тут дело идет только об искусстве, и самое худшее в нем - потеря человека для искусства... Завещание Н. В. Гоголя, напечатанное в книге вполне, не заключает в себе никаких семейных подробностей, которые, разумеется, и не шли бы в печать, но все состоит из интимной беседы автора с Россиею... То есть автор говорит и наказывает, а Россия его слушает и обещает выполнить... Говоря в письме к одной даме о значении женщины в свете, автор открывает нам главную причину лихоимства в России. Найти причину зла - почти то же, что найти против него лекарство. И автор "Переписки" нашел его... Слушайте:

главная причина взяточничества чиновников происходит "от расточительности их жен, которые так жадничают блистать в свете, большом и малом, и требует на то денег от мужей"... Признаемся: мы были поражены этим странным открытием... Мы, однакож, не остановились на этом, но пошли дальше: думая да думая, мы надумались, что оно, конечно, хорошо, если чиновницы перестанут щеголять и блистать в свете, но что еще будет лучше, если они вместе с тем навсегда оставят дурную привычку - поутру и вечером пить чай или кофе, а в полдень обедать, равно как и другую не менее дурную привычку прикрывать наготу свою чем-нибудь другим, кроме рогожи или самой дешевой парусины... Тогда бы им вовсе не для чего было просить у мужей денег, а мужьям вовсе не для чего было бы брать даже жалованье, не только взятки... Исправление нравов было бы всесовершенное... С этим могут не согласиться только так называемые практические люди, которые все понимают не вдохновением, а здравым смыслом да опытностью... Они могут сказать, что до Петра Великого у нас не было мод и женщины и сидели взаперти, а взяточничество было, да еще в несравненно сильнейшей степени, чем теперь... Пожалуй, они могут еще сказать, что, хорошо зная человеческую натуру и ее слабости, они считают решительно невозможным, чтобы у одних уничтожить желание блистать, когда другие, по своим средствам, согласятся скорей умереть, нежели перестать блистать; и что если равенство в средствах, согласятся скорей умереть, нежели перестать блистать; и что если равенство в средствах есть неосуществимая мечта, то никакие "переписки" в мире не убедят никакого Ира не желать быть Крезом или не завидовать ему, ибо это вне природы человеческой, а немногие и редкие исключения тут ровно ничего не значат... Но истинный перл по советодательной части составляют три письма автора. В одном он учит мужа и жену жить по-супружески... это чудо, прелесть, еще ничего не являлось подобного на русском языке... В других двух письмах содержатся преудивительные советы помещику, как управлять своими крестьянами. В одном из них замечательнее всего совет касательно сельского суда и расправы. Так как, по мнению автора, в спорах, жалобах, неудовольствиях и тяжбах всегда бывают неправы обе стороны, то он и решает, что дело судьи - наказать обе... "Эта мысль... как непреложное верование, разнеслось повсюду в нашем народе. Вооруженный ею, даже простой и неумный человек получает в народе власть и прекращает ссоры. Мы только, люди высшие, не слышим ее, потому что набрались пустых рыцарски-европейских понятий о правде. Мы только спорим из-за того, кто прав, кто виноват; а если разобрать каждое из дел наших, придешь к тому же знаменателю: то есть оба виноваты. И видишь, что весьма здраво поступила комендантша в повести Пушкина "Капитанская дочка", которая, пославши поручика рассудить городового солдата с бабою, подравшихся в бане за деревянную шайку, снабдила его такою инструкциею: разбери, кто прав, кто виноват, да обоих и накажи" ... В другом письме автор советует помещику прежде всего не шутя, искренно показать своим крестьянам, что ему, помещику, деньги - нуль... Хорош и этот совет: "Мужика не бей: съездить его в рожу еще не большое искусство: это сумеет сделать и становой, и заседатель, и даже староста; мужик к этому уже привык и только что почешет слегка у себя в

затылке"... Но это еще не все. Вот лучшее: "Замечания твои о школах совершенно справедливы. Учить мужика грамоте затем, чтобы доставить ему возможность читать пустые книжонки, которые издают для народа европейские человеколюбцы, есть действительно вздор. Главное уже то, что у мужика нет вовсе для этого времени. После стольких работ никакая книжонка не полезет в голову - и, пришедши домой, он заснет, как убитый, богатырским сном"... Либо пойдет в кабак, что он и делает нередко... Но не понимаем, с чего взял автор, будто народ бежит, как от чорта, от всякой письменной бумаги? Бумаг юридических не любит ни один наш народ, особенно, если грамоте не знает; но грамоты наш народ не боится, напротив, любит ее и бежит к ней, а не от нее. Пусть попросит автор своих друзей, чтобы они переслали ему отчет за 1846 год г. министра государственных имуществ, напечатанный во всех официальных русских газетах: из него увидит он, как быстро распространяется в России грамотность между простым народом... Замечательна следующая черта: в начале письма автор советует помещику показывать крестьянам, искренно, без штук, что деньги ему нипочем, то есть вовсе не нужны; а в конце письма говорит: "Разбогатеешь ты, как Крез, в противность тем подслеповатым людям, которые думают, будто выгоды помещика идут врознь с выгодами мужиков"... Мы вывели из этой книги такое следствие, что горе человеку, которого сама природа создала художником, горе ему, если, недовольный своею дорогою, он ринется в чуждый ему путь! На этом новом пути ожидает его неминуемое падение, после которого не всегда бывает возможно возвращение на прежнюю дорогу..."

20 июня н. ст. 1847 г. Гоголь из Франкфурта писал Н. Я. Прокоповичу: "Я прочел на днях критику во 2 № "Современника" Белинского. Он, кажется, принял всю книгу написанною на его собственный счет и прочитал в ней формальное нападение на всех разделяющих его мысли. Это неправда, в книге моей... есть нападенье на всех и на всё, что переходит в крайность. Вероятно, он принял на свой счет козла, который был обращен к журналисту вообще. Мне было очень прискорбно это раздраженье не по причине жесткости слов, которых будто бы я не умею переносить: ты знаешь, что я могу выслушивать самые жесткие слова. Но потому, что, как бы то ни было, человек этот говорил обо мне с участием в продолжение десяти лет. Человек этот, несмотря на излишества и увлечения, указал справедливо, однакож, на многие такие черты в моих сочинениях, которых не заметили другие, считавшие себя на высшей точке разумения перед ним. И я заплатил бы этому человеку неблагодарностью, когда я умею отдавать справедливость даже тем, которые выставляют на вид и отыскивают во мне одни недостатки! Напротив, я в этом случае только обманулся: я считал Белинского возвышенней, менее способным к такому близорукому взгляду и мелким заключеньям. Я не знаю, почему так тяжело вынести упрек в неблагодарности, но для меня этот упрек был тяжелее всех упреков, потому что в самом деле душа моя благодарна, и я люблю благодарить, потому что чувствую от этого собственное наслаждение. Пожалуста, переговори с Белинским и напиши мне, в каком он находится расположении духа ныне относительно меня. Если в нем кипит желчь, пусть он ее выльет против меня в "Современнике", в каких ему заблагорассудится выражениях, но пусть не

хранит ее против меня в сердце своем. Если ж в нем угомонилось и неудовольствие, то дай ему при сем прилагаемое письмецо, которое можешь прочесть и сам. По всему вижу, что мне придется сделать некоторые объяснения на мою книгу, потому что не только Белинский, но даже те люди, которые гораздо больше его могли бы знать меня относительно моей личности, выводят такие странные заключения, что просто недоумеваешь. Видно у меня темноты и неясности несравненно больше, чем я сам вижу".

29 июня н. ст. 1847 г. Гоголь писал В. Г. Белинскому из Франкфурта: "Я прочел с прискорбием статью вашу обо мне в "Современнике", - не потому, чтобы мне прискорбно было унижение, в которое вы хотели меня поставить в виду всех, но потому, что в нем слышен голос человека, на меня рассердившегося. А мне не хотелось бы рассердить человека даже не любящего меня, тем более вас, который - думал я - любит меня. Я вовсе не имел в виду огорчить вас ни в каком месте моей книги. Как же вышло, что на меня рассердились все до единого в России? Этого покуда я еще не могу понять. Восточные, западные, нейтральные - все огорчились. Это правда, я имел в виду небольшой щелчок каждому из них, считая это нужным, испытавши надобность его на собственной коже (всем нам нужно побольше смирения); но я не думал, чтоб щелчок мой вышел так грубо неловок и так оскорбителен. Я думал, что мне великодушно простят все это и что в книге моей зародыш примирения всеобщего, а не раздора. Вы взглянули на мою книгу глазами человека рассерженного, а потому почти все приняли в другом виде. Оставьте все те места, которые, покамест, еще загадка для многих, если не для всех, и обратите внимание на те места, которые доступны всякому здравому и рассудительному человеку, и вы увидите, что вы ошиблись во многом. Я очень не даром молил всех прочесть мою книгу несколько раз, предугадывая вперед все эти недоразумения. Поверьте, что не легко судить о такой книге, где замешалась собственная душевная история человека, не похожего на других, и притом еще человека скрытного, долго жившего в себе самом и страдавшего неуменьем выразиться. Не легко было также решиться и на подвиг выставить себя на всеобщий позор и осмеяние, выставивши часть той внутренней своей клети, настоящий смысл которой не скоро почувствуется. Уже один такой подвиг должен был бы заставить мыслящего человека задуматься и, не торопясь подачей собственного голоса о ней, прочесть ее в разные часы своего душевного расположения, более спокойного и более настроенного к своей собственной исповеди, потому что в такие только минуты душа способна понимать душу, а в книге моей дело души. Вы бы не сделали тогда тех оплошных выводов, которыми наполнена ваша статья. Как можно, например, из того, что я сказал, что в критиках, говоривших о недостатках моих, есть много справедливого, вывести заключение, что критики, говорившие о достоинствах моих, несправедливы? Такая логика может присутствовать в голове только раздраженного человека, продолжающего искать уже одно то, что способно раздражать его, а не оглядывающего предмет спокойно со всех сторон. Ну а что, если я долго носил в голове и обдумывал, как заговорить о тех критиках, которые говорили о достоинствах моих и которые по поводу моих сочинений разнесли много прекрасных мыслей об искусстве? И если я выжидал только

времени, когда мне можно будет сказать об этом, или, справедливей, когда мне прилично будет сказать об этом, чтобы не говорили потом, что я руководствовался какой-нибудь своекорыстной целью, а не чувствовал беспристрастия и справедливости? Пишите критики самые жесткие, прибирайте все слова, какие знаете, на то, чтобы унизить человека, способствуйте к осмеянью меня в глазах ваших читателей, не пожалев самых чувствительнейших струн, может быть, нежнейшего сердца, - всё это вынесет душа моя, хотя и не без боли и скорбных потрясений. Но мне тяжело, очень тяжело (говорю вам это истинно), когда против меня питает личное озлобление даже и злой человек, не только добрый, а вас я считал за доброго человека. Вот вам искреннее изложение чувств моих!"

26 июня (8 июля) 1847 г. Гоголь благодарил архиепископа Харьковского Иннокентия за отзыв о В. м. из п. с д.: "Погодин мне доставил замечание ваше о моей книге (в письме М. П. Погодину архиепископ писал по поводу присланной ему книги Гоголя: "...Скажите, что я благодарен за дружескую память, помню и уважаю его, а люблю по-прежнему, радуюсь перемене с ним, только прошу его парадировать набожностию: она любит внутреннюю клеть. Впрочем, это не то чтоб он молчал. Голос его нужен для молодежи особенно, но если он будет неумерен, то поднимут на смех, и пользы не будет". - Б. С.). Благодарю вас много и от всего сердца моего за то, что вы не скрыли от меня мнения вашего. Очень вижу, и не без сильного стыда, свои грехи, выступившие в этой книге. Книга вышла точно затем, чтобы я имел зеркало глядеться. Повремени я немного и дай устояться тому состоянию души, какое у меня было во время печатанья книги, может быть, она бы не вышла совсем в свет, но тогда бы не было и зеркала. А я до сих пор еще не знаю, хорошо ли было бы, если бы всё то, что теперь обнаружилось так ярко, было бы во мне скрыто. Самая цель книги была добрая. Внутреннюю клеть свою я вовсе выставляю не затем, чтоб себя выставлять, но думал, что это послужит в добро тем, которые, подобно мне, не получивши надлежащего воспитания в юности и в школе, спохватились потом и в те года, когда человеку кажется странным начинать воспитанье. Парадировать набожностию я тоже не хотел. Я хотел чистосердечно показать некоторые опыты над собой, именно те, где помогла мне религия в исследованьи души человека, но вышло всё это так неловко, так странно, что я не удивляюсь этому вихрю недоразумения, какой подняла моя книга. Многое в ней вышло нечаянностию для меня самого. Многое вырвалось почти против воли моей. Уверяю вас, что многое из того, что кажется высокомернейшею гордостию, есть просто ребячество и незрелость юности, которая всегда выражается заносчиво и высокомерно, но здесь, натурально, она получила другой смысл, потому что дело коснулось такого предмета, к которому юноше не следовало бы касаться. Вы можете почувствовать, что я находился в том состоянии, во время которого следовало молчать и изъясняться только с одним духовником. Но, на беду, я писатель, а писатель болтлив и говорит о том, что посильней его теребит (этой мыслью Гоголь начал заключительную главу второго тома "Мертвых душ": "Все на свете обделывает свои дела. "Что кому требит, тот то и теребит", - говорит пословица... Чичиков не то чтобы украл, но попользовался". - Б. С.). Притом мне было трудно достать такого духовника, которому бы я мог исповедаться.

Природа у меня во многом слишком не похожа на других людей. Я был издавна скрытен от неуменья изъясняться. Нужно было мне встретиться с глубоким душевидцем, потому что всё во мне, даже и самые сочинения, так тесно соединились с душой, что вряд ли бы это было понятно обыкновенному человеку, даже и тогда, если бы я умел получше изъясниться. А потому эта книга, имеющая вид учить других, может быть необходимым извержением того, что стремилось во мне излиться (можно сказать, что В. м. из п. с д. для Гоголя стали настоящим вулканом страстей, низвергнутым на неподготовленную публику", привыкшую видеть в авторе "Ревизора" и "Мертвых душ" сатирика, а не исповедующегося перед всем миром проповедника. - Б. С.). Я не думаю, чтобы книга моя произвела вред. Бог милосерд, и, мне кажется, Он не накажет меня так страшно за мое неразумие. Путаница от нее будет покуда больше в словах и суждениях, чем на деле; как бы то ни было, но я ведь указываю на Церковь, как на высшую инстанцию и разрешенье всего, - стало быть, сомневающийся обратится к Церкви, а не к какому-нибудь писателю светскому. Во всяком случае это для меня урок. Я дал себе слово остановиться писать, видя, что нет на это воли Божией. Говорить о мелком и ничтожном в жизни не хочется; говорить же о высоком, - но тут на всяком шагу встретишься со Христом и можешь наговорить нелепостей. Словом, нужно мне в это время притихнуть, исполнять просто какую-нибудь должность, самую незаметную, не видную, но взятую во имя Божие, где бы я был обязан больше исполнять, больше молиться и меньше мыслить".

10 (22) июля 1847 г. Гоголь после долгого перерыва написал С. Т. Аксакову: "Отношения мои стали слишком тяжелы со всеми теми друзьями, которые поторопились подружиться со мной, не узнавши меня. Как у меня еще совсем не закружилась голова, как я не сошел еще с ума от всей этой бестолковщины - этого я и сам не могу понять! Знаю только, что сердце мое разбито и деятельность моя отнялась. Можно еще вести брань с самыми ожесточенными врагами; но храни Бог всякого от этой страшной битвы с друзьями! Тут все изнеможет, что ни есть в тебе. Друг мой! я изнемог".

На это письмо С. Т. Аксаков ответил большим письмом 26 июля 1847 г., где подвел промежуточный итог их эпистолярного диалога по поводу В. м. из п. с д.: "Первое большое письмо мое (кажется, от 12 января) было написано и послано к вам до выхода вашей книги. Второе, небольшое письмо, с приложением письма Свербеева, написано по прочтении книги, но до получения вашего ответа на мое большое письмо. Ответ ваш был ужасен... Вы не признали, не оценили, не почувствовали истинной дружбы человека, писавшего это письмо; и Боже мой! в каком положении я писал его!.. Ваш ответ дышал холодом, высотою величия, на котором вы тогда думали стоять в непроницаемом вооружении вашего нового, мнимого признания... Ответ ваш на мое второе письмо... обрадовал меня чрезвычайно, письмо же ваше к кн. Львову обрадовало еще более. Хотя в обоих этих письмах есть выражения и мысли, которые были мне не по сердцу, которые показывали, что вы еще не совсем здоровы, но вдруг выздороветь совершенно нельзя. Для этого нужно время. Я видел, что вы очнулись, что часть пелены спала с глаз ваших. Этого было для меня довольно. Я был (и теперь остаюсь) убежден, что вы сами докончите

дело... Высказать свою радость я не смел: я боялся помешать процессу вашего восстановления. Теперь вижу, что я сделал большую глупость. Вы имели причину растолковать мое молчание в другую сторону, и эта мысль вас огорчала. Поверьте, друг мой, что я не только хорошо понимаю трудность настоящего вашего положения, но и хорошо его предвидел! Оттого-то ваша книга свела было с ума меня самого, оттого-то скорбь моя была так мучительна. Но Бог милостив. Он подкрепит ваши расстроенные душевные и телесные силы, а время залечит раны вашего сердца. Вы исполните свой обет, помолитесь у гроба Господня, талант ваш явится с новым блеском, и все забудут вашу несчастную книгу. Конечно, вам нельзя было воротиться в Россию скоро, но будущей весной приезжайте непременно к нам".

12 августа н. ст. 1847 г. Гоголь писал П. В. Анненкову из Остенде по поводу В. м. из п. с д.: "Я получил письмо от Белинского, которое меня огорчило не столько оскорбительными словами, устремленными лично на меня, сколько чувством ожесточенья вообще. Последнее сокрушительно для его здоровья. Вы теперь при нем: отводите от него всё возмущающее дух его. Убедите его прежде всего в той непреложной истине, что излишество теперь удел всех, кто только сколько-нибудь имеет сердце не бесчувственное к делам мира, какой-нибудь характер и какое-нибудь убеждение. Все переливают через край, потому что никто не спокоен. Я, более других спокойный и хладнокровный, впал в излишество более других: писавши мои письма, я был истинно убежден в той мысли, что все звания и должности могут быть освящены человеком и что чем выше место, тем оно должно быть святее; я хотел рассмотреть все места и звания в их чистом источнике, а не в том виде, в каком они являются вследствие злоупотреблений человеческих; я начал с высших должностей; я хотел напомнить человеку о всей святости его обязанностей, а выразился так, что слова мои приняли за куренье человеку. Не увлекись я духом излишества, который раздувает теперь всех, я бы выразился, может быть, так, что со мною во многом бы согласились те, которые оспаривают теперь меня во всем, хотя чувствую, что и тогда видна была бы во мне односторонность: занявшись своим собственным внутренним воспитанием, проведя долгое время за Библией, за Моисеем, Гомером законодателями веков минувших, читая историю событий, кончившихся и отживших, наконец, наблюдая и анатомируя собственную душу в желаньи узнать глубже душу человека вообще и встретясь на этом пути с Тем, Который более всех нас знал душу человека, я весьма естественно стал на время чужд всему современному. Зато теперь проснулось во мне любопытство ребенка знать всё то, чего я прежде не хотел знать. Точно как бы на то была уже такая воля, чтобы я не прежде приступил к узнанию мирских дел, как узнавши получше самого себя. И мне кажется, что я теперь далее всего другого могу уйти на пути разведыванья: ни раздраженья, ни фанатизма во мне нет, ничьей стороны держать не могу, потому что везде вижу частицу правды и много всяких преувеличений и лжи. Не знаю только, достанет ли на то сил физических: здоровье мое, которое начало было уже поправляться и восстанавливаться, потряслось от этой для меня сокрушительной истории по поводу моей книги. Многие удары так были чувствительны для всякого рода щекотливых струн, что дивлюсь сам, как я еще остался жив и как все это

вынесло мое слабое тело".

Гоголь ответил С. Т. Аксакову из Остенде 16/28 августа 1847 г.: "В противоположность составившейся в Москве обо мне сказке, которой вы так охотно верите, что я, то есть, люблю угождения и похвалы каких-то знатных маниловых, скажу вам, что я скорее старался отталкивать от себя, чем привлекать всех тех, которые способны слишком сильно любить; я и с вами обращался несколько не так, как бы следовало. Обольстили меня не похвалы других, но я сам обольстил себя, как обольщаем себя мы все, как обольщает себя всяк, кто сколько-нибудь имеет свой собственный образ мыслей и слышит в чем-нибудь свое превосходство, как обольщает себя, в великодушных мечтах своих, и любезный сын ваш Конст. Сергеевич, как обольщаем мы себя все до единого, грешные люди; и чем кто больше получил даров и талантов, тем больше себя обольщает. А демон излишества, который теперь подталкивает всех, радует так наше слово, что и смысл, в котором оно сказано, не поймется... Да, книга моя нанесла мне пораженье; но на это была воля Божия. Да будет же благословенно имя того, кто поразил меня! Без этого поражения я бы не очнулся и не увидал бы так ясно, чего мне недостает. Я получил много писем очень значительных, гораздо значительнее всех печатных критик. Несмотря на все различие взглядов, в каждом из них, так же как и в вашем, есть своя справедливая сторона. Но вывести вполне верного заключения о всей книге вообще никто не мог, и немудрено. Осудить меня за нее справедливо может один тот, кто ведает помышления и мысли наши в их полноте. Из нас же, грешных людей, может справедливее других произнесть ей окончательный суд только тот, кто имеет полный ум, способный обнимать все стороны дела, и не влюбился еще сам ни в какую собственную мысль; потому что, как бы то ни было, несмотря на все ребячество и незрелость этой книги, в ней видны следы взгляда более полного, чем у тех, которые делают на нее замечания и критики, несмотря на то, что в авторе ее и нет тех знаний, какие могут быть по частям у всякого критика. К чему вы также повторяете нелепости, которые вывели из моей книги недальнозоркие, что я отказываюсь в ней от звания писателя, переменяю призванье свое, направление и тому подобные пустяки? Книга моя есть законный и правильный ход моего образования внутреннего, нужного мне для того, чтобы стать писателем не мелким и пустым, но почувствовавшим святость и своего звания, как и всех других званий, которые все должны быть святы. Выразилось все это заносчиво, получило торжественный тон от мысли приближения к такой великой минуте, какова смерть. А дьявол, который надмевает всякого из нас самоуверенностью, раздул до чудовищности кое-какие места. Невоздержание заставило меня издать мою книгу. Видя, что еще не скоро я совладаю с моими "Мертвыми душами", и скорбя истинно о бесхарактерности направления и совершенной анархии в литературе, проводящей время в пустых спорах, я поспешил заговорить о тех вопросах, которые меня занимали и которые готовился развить или создать в живых образах и лицах. Опрометчивая, а по-вашему, несчастная, книга вышла в свет. Она меня покрыла позором, по словам вашим. Она мне, точно, позор; но благодарю Бога за этот позор, благодарю за то, что попустил он явиться ей в свет. Не увидел бы я без нее ни неряшества моего, ни самоослепления, ни многого того, чего не хочет

видеть в себе человек; не изъяснилось бы без нее много того, что мне необходимо нужно знать для моих "Мертвых душ", и не узнал бы, ни в каком состоянии находится наше общество, ни какие образы, характеры, лица ему нужны и что именно следует поэту-художнику избрать ныне в предмет творения своего. Друг мой! не будьте и вы так же самоуверенны в непреложности своих заключений. Повторяю вам вновь: по частям разбирая мою книгу, вы можете быть правы, но произнести так решительно окончательный суд моей книге, как вы произносите, это гордость в уме своем. Мне показалось даже, как бы в устах ваших раздались не ваши, а какие-то юношеские речи, как бы в этом месте вашего письма сказал, несколько понадеясь на себя, Конст. Сергеевич, а не вы. В них отзывается такой смысл: "Твоя голова не здрава, а моя здрава; я вижу ясно вещь и потому могу судить о тебе". Друг мой, теперь такое время, что вряд ли у кого из нас здрава как следует голова. Глядеть на меня, как на блудного сына, и ожидать моего возвращения на путь истинный может только тот, кто сам уже стоит на этом истинном пути. А это один только Бог ведает, кто из нас на каком именно месте стоит. Лучше всем нам иметь больше смирения и меньше уверенности в непреложной истине и верности своего взгляда. Что касается до меня, я буду от всех моих сил, сколько их есть во мне, молиться Богу на тех самых местах, которые зрели его в облике Христа, чтобы простил меня за все, на что подтолкнула меня моя самоуверенность, гордость и самоослепление. За ваше гостеприимно-дружеское приглашение остановиться у вас во время приезда моего в Москву благодарю от души, но не воспользуюсь им только потому, что в рассуждении помещения своего гляжу просто на материальные удобства. Во всяком случае, у кого бы то ни остановился, вы этого никак не считайте знаком какого-нибудь предпочтения или чего другого, тому подобного. Притом, если Бог благословит возврат мой в Россию, я в Москве не думаю пробыть долго. Мне хочется заглянуть в губернии: есть много вещей, которые для меня совершенная покуда загадка, и никто не может мне дать таких сведений, как бы я желал. Я вижу только то, что и все другие, так же, как и я, не знают России".

2 декабря н. ст. 1847 г. Гоголь в письме С.П. Шевыреву отметил, что "нынешняя моя книга, "Переписка" (по мнению даже неглупых людей и приятелей моих) способна распространить ложь и безнравственность и имеет свойство увлечь..."

6/18 декабря 1847 года Гоголь в письме С.П. Шевыреву признавался, что в В. м. из п. с д. обнаружилось его собственное "безрассудство": "Я уже давно питал мысль - выставить на вид свою личность. Я думал, что если не пощажу самого себя и выставлю на вид все человеческие свои слабости и пороки и процесс, каким образом я их побеждал в себе и избавлялся от них, то этим придам духу другому не пощадить также самого себя. Я совершенно упустил из виду то, что это имело бы успех только в таком случае, если бы я сам был похож на других людей, то есть на большинство других людей. Но выставить себя в образец человеку, не похожему на других, оригинальному уже вследствие оригинальных даров и способностей, ему данных, это невозможно даже и тогда, если бы такой человек и действительно почувствовал возможность достигать того, как быть на всяком поприще тем, чем повелел быть человеку сам

богочеловек. Я спутал и сбил всех. Поэтические движения, впрочем, сродные всем поэтам, все-таки прорвались и показались в виде чудовищной гордости, невместимой никак с тем смиреньем, которое отыскивал читатель на другой странице, и ни один человек не стал на ту надлежащую точку, с которой следовало глядеть на эту загадочную книгу. Гляжу на всё, дивлюсь до сих пор и думаю только о том, каким бы образом я мог прийти в мое нынешнее состояние без этой публичной оплеухи, которую я попотчевал самого себя в виду всего русского царства".

31 декабря 1847 год (12 января 1848 года) Гоголь писал о. Матвею Константиновскому: "Я, точно, моей опрометчивой книгой... показал какие-то исполинские замыслы на что-то вроде вселенского учительства. Но книга эта есть произведение моего переходного душевного состояния, временного, едва освободившегося от болезненного состояния. Опечаленный некоторыми неприятными происшествиями, у нас случающимися, и нехристианским направлением современной литературы, я опрометчиво поспешил с этой нерассудительной книгой и нечувствительно забрел туда, где мне неприлично. А диавол, который тут как тут, раздул до чудовищной преувеличенности даже и то, что было и без умысла учительствовать, что случается всегда с теми, которые понадеются несколько на свои силы и на свою значительность у Бога. Дело в том, что книга эта не мой род. Но то, что меня издавна и продолжительнее занимало, это было изобразить в большом сочинении добро и зло, какое есть в нашей Русской земле, после которого русские читатели узнали бы лучше свою землю, потому что у нас многие, даже чиновники и должностные, попадают в большие ошибки по случаю незнания коренных свойств русского человека и народного духа нашей земли. Я имел всегда свойства замечать все особенности каждого человека, от малых до больших, и потом изобразить его так перед глазами, что, по уверению моих читателей, человек, мною изображенный, оставался, как гвоздь в голове, и образ его так казался жив, что от него трудно было отделаться. Я думаю, что если я, с моим умением живо изображать характеры, узнаю получше многие вещи в России и то, что делается внутри ее, то я введу читателя в большее познание русского человека. А если я сам, по милости Божией, проникнусь более познаньем долга человека на земле и познаньем истины, то от этого нечувствительно и в сочинении моем добрые русские характеры и свойства людей получат привлекательность, а нехорошие - такую непривлекательность, что читатель не возлюбит их даже и в себе самом, если отыщет. Вот как я думал и поэтому узнавал всё, что ни относится до России, узнавал души людей и вообще душу человека, начиная со своей. Еще я не знал сам, как с этим слажу и как успею, а уже верил, что это будет мне возможно тогда, когда я сам сделаюсь лучшим. Вот в чем я полагаю мое писательство. Итак, учительство ли это? Я хотел представить только читателю замечательнейшие предметы русские в таком виде, чтобы он сам увидел и самого себя. Я не хотел даже выводить нравоучения; мне казалось (если я сам сделаюсь лучше), всё это нечувствительно, мимо меня, выведет сам читатель. Вот вам исповедь моего писательства".

В мае 1848 г., получив известие о возвращении Гоголя в Россию, К. С.

Аксаков писал ему по поводу В. м. из п. с д.: "Полная откровенность необходима... Я должен сказать вам все, что у меня на душе. Во всем, что вы писали в письмах, и в книге вашей особенно, вижу я прежде всего один главный недостаток: это ложь. Ложь не в смысле обмана и не в смысле ошибки, нет, а в смысле неискренности прежде всего. Это внутренняя неправда человека с самим собою. Такая ложь внутренняя, рядится всего более в одежду правды, искренности, простоты и прямоты. Такова ваша книга".

Гоголь ответил К. С. Аксакову 3 июня 1848 г. с заметным раздражением: "Откровенность прежде всего, Константин Сергеевич. Так как вы были откровенны и сказали в вашем письме все, что было на языке, то и я должен сказать о тех ощущениях, которые были вызваны при чтении письма вашего. Во-первых, меня несколько удивило, что вы, наместо известий о себе, распространились о книге моей, о которой я уже не полагал услышать что-либо по возврате моем на родину. Я думал, что о ней уже все толки кончились и она предана забвению... Вот еще вам одна мысль, которая пришла мне в то время в голову, когда я прочел слова письма вашего: "Главный недостаток книги (моей) суть тот, что она - ложь". Вот что я подумал: да кто же из нас может так решительно выразиться, кроме разве того, который уверен, что он стоит на верху истины? Как может кто-либо (кроме говорящего разве святым духом) отличить, что ложь, а что истина? Как может человек, подобный другому, страстный, на всяком шагу заблуждающийся, изречь справедливый суд другому в таком смысле? Как может он, неопытный сердцезнатель, назвать ложью плошь, с начала до конца, какую бы то ни было душевную исповедь, он, который и сам есть ложь, по слову апостола Павла? Неужели вы думаете, что в ваших суждениях о моей книге не может также закрасться ложь? В то время, когда я издавал мою книгу, мне казалось, что я ради одной истины издаю ее; а когда прошло несколько времени после издания, мне стало стыдно за многое, многое, и у меня не стало духа взглянуть на нее. Разве не может случиться того и с вами? Разве и вы не человек? Как вы можете сказать, что ваш нынешний взгляд непогрешителен и верен или что вы не измените его никогда, тогда как, идя по той же дороге исследований, вы можете найти новые стороны, дотоле вами не замеченные, вследствие чего и самый взгляд уже не будет совершенно тот и что казалось прежде целым, окажется только частью целого. Нет, Константин Сергеевич, есть дух обольщенья, дух-искуситель, который не дремлет и который так же хлопочет и около вас, как около меня, и, увы! чаще всего бывает он возле нас в то время, когда думаем, что он далеко, что мы освободились от него и от лжи и что сама истина говорит нашими устами. Вот какие мысли пришли мне в то время, когда я читал приговор ваш книге, на которую до сих пор еще я не имею духу взглянуть. Скажу вам также, что мне становится теперь страшно всякий раз, когда слышу человека, возвещающего слишком утвердительно свой вывод как непреложную, непогрешительную истину. Мне кажется, лучше говорить с меньшей утвердительностью, но приводить больше доказательств".

Приветствовали В. м. из п. с д. в основном люди из охранительного лагеря. Так, Ф. Ф. Вигель, бывший в 1836 г. одним из наиболее суровых критиков "Ревизора", в 1847 г. писал Гоголю: "Было время, что я вас долго и близко знал

(о, горе мне!) - и не узнал! С обеих сторон излишнее самолюбие не дозволяло нам сблизиться. И как, за суровостью ваших взглядов, мог бы я угадать сокровища ваших чувств? До сокровищ ума нетрудно было у вас добраться: несмотря на всю скупость речей ваших, он сам собою высказывался".

Один из немногих восторженных отзывов на В. м. из п. с д. дал А. А. Григорьев. В статье "Гоголь и его последняя книга", опубликованной в "Московском городском листке" в 1847 г., он утверждал: "О письмах по поводу "Мертвых душ" говорено слишком много всеми, но все, более или менее, обращали внимание на странности выражений - на нецеременность тона Гоголя, когда он говорит о самом себе, но, собственно говоря, это - простодушная, безыскусственная честная исповедь художника, который дорожит своим делом. Самые слова Гоголя о том, что рожден он вовсе не затем, чтобы произвести эпоху в области литературной, и что дело его - душа и прямое дело жизни, нельзя понимать ни как ложное смирение, ни как отречение от своей деятельности. Прямое дело жизни для него, как для художника, есть искусство, производить же эпоху, то есть стоять во главе партии, он не хочет, вот и все... Одним словом, везде, где Гоголь говорит об искусстве, в письмах ли о "Мертвых душах", в письме ли о художнике Иванове, в письме ли о том, "в чем, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность", особенно отличающемся тонкостью и нежностью взгляда, виден прежний Гоголь "Портрета", "Рима", "Разъезда после представления", так, как во всем взгляде на русский быт, во всех довольно странных советах помещику виден Гоголь "Мертвых душ", так, как, наконец, в письме о Светлом Воскресении, где поэт, больной сам недугами века, разоблачает их с искренностью и глубиною, виден прежний же мыслитель Гоголь, творец "Невского проспекта", "Записок сумасшедшего" и "Шинели".

Почему подавляющее большинство как литературных критиков, так и друзей Гоголя не поняли В. м. из п. с д., хорошо объяснил Д. С. Мережковский: "Главная ошибка его обвинителей заключалась в предположении, будто бы перед изданием "Переписки" произошло с ним что-то особенное, какой-то религиозный переворот, тогда как ничего подобного не происходило в действительности. В "Переписке" он шел тем же путем, которым шел всегда. Мысль религиозная, главная, можно сказать, единственная мысль всей жизни его выразилась здесь яснее, чем в других произведениях, потому что именно в то время мысль эта перед ним выступила яснее, чем когда-либо". По мнению Мережковского, в В. м. из п. с д. Гоголь "первый заговорил о Боге не отвлеченно, не созерцательно, не догматически, а жизненно, действенно - так, как никто еще никогда не говорил в русском светском обществе. Правду или неправду он говорит, неотразимо все-таки чувствуется, что вопрос о Боге есть для него самого вопрос жизни и смерти, полный бесконечного ужаса, вопрос его собственного, личного и общего русского всемирного спасения... Мудрость ли это или безумие - он, во всяком случае, не только говорил о Боге, но и делал, по крайней мере, желал сделать, отчасти и сделал для Бога то, о чем говорил... Он почувствовал до смертной боли и смертного ужаса, что христианство для современного человечества все еще остается чем-то сказанным, но не сделанным, обещанным, но не исполненным". Здесь Д. С. Мережковский и прав

и не прав одновременно. Гоголь никогда не отступал от Бога, вера в которого всегда стояла на первом месте в его творчестве. В этом отношении никакого переворота в период работы над В. м. из п. с д. писатель действительно не испытал. Но недаром Гоголь признавался в письме А. О. Смирновой 28 декабря 1844 г.: "С тех пор как я оставил Россию, произошли во мне великие перемены. Душа заняла меня всего". В Гоголе произошел поворот - к проповедничеству и аскетизму, и это нашло отражение в В. м. из п. с д. Как и всякая назойливая проповедь, В. м. из п. с д. скучны, и это стало одной из причин неприятия этого произведения читающей публикой. В статье "Искусство есть примирение с жизнью", которую Гоголь собирался включить вместо "Завещания" во второе издание В. м. из п. с д., он объяснил неприятие книги публикой тем, что он поспешил выпустить ее в свет, "не подумавши, что прежде, чем принести какую-нибудь пользу, могу сбить ею с толку многих, пришелся в пользу мне самому. На этой книге я увидел, где и в чем я перешел в то излишество, в которое, в эпоху нынешнего переходного состояния общества, попадает почти всякий идущий вперед человек. Несмотря в пристрастье суждений об этой книге и разномыслие их, в итоге мне послышался общий голос, указавший мне место мое и границы, которых я как писатель не должен преступать". В той же статье Гоголь признал, что ошибся, смешав искусство с проповедью: "...Не мое дело поучать проповедью. Искусство и без того уже поученье. Мое дело говорить живыми образами, а не рассужденьями. Я должен выставить жизнь лицом, а не трактовать о жизни. Истина очевидная". Однако писатель считал создание В. м. из п. с д. необходимым этапом на пути к созданию второго тома "Мертвых душ": "...Вопрос, мог ли бы я без этого большого крюку сделаться достойным производителем искусства? мог ли бы я выставить жизнь в ее глубине, так, чтобы она пошла в поученье? Как изображать людей, если не узнал прежде, что такое душа человеческая? Писатель, если только он одарен творческою силою создавать собственные образы, воспитайся прежде, как человек и гражданин земли своей, а потом уже принимайся за перо! Иначе всё будет невпопад".

Как кажется, наиболее объективную оценку книги Гоголя дал П. Я. Чаадаев в письме П. А. Вяземскому от 29 апреля 1847 г.: "Что теперь ни скажут о вашей статье (имеется в виду статья Вяземского "Языков и Гоголь", содержавшая положительный отзыв о В. м. из п. с д. - Б. С.), она останется в памяти читающих и мыслящих людей как самое честное слово, произнесенное об этой книге. Всё, что ни было о ней сказано другими, преисполнено какою-то странною злобою против автора. Ему как будто не могут простить, что, веселивши нас столько времени своею умною шуткою, ему раз вздумалось поговорить с нами не смеясь, что с ним случилось то, что ежедневно случается в кругу обыкновенной жизни с людьми менее известными, и что он осмелился нам про это рассказать по вековечному обычаю писателей, питающих сознание своего значения. Позабывают, что писатель, и писатель столь известный, не частный человек, что скрыть ему свои новые, задушевные чувства было невозможно и не должно; что он, не одним словом своим, но и всей своею душою, принадлежит тому народу, которому посвятил дар, свыше ему данный; позабывают, что при некоторых страницах слабых, а иных и даже грешных, в книге его находятся страницы красоты изумительной, полные правды

беспредельной, страницы такие, что, читая их, радуешься и гордишься, что говоришь на том языке, на котором такие вещи говорятся. Вы одни относитесь с любовию о книге и авторе: спасибо вам! День ото дня источник любви у нас более и более иссякает, по крайней мере в мире печатном: итак, спасибо вам еще раз! На меня находит невыразимая грусть, когда вижу всю эту злобу, возникшую на любимого писателя, доставившего нам столько слезных радостей, за то только, что перестал нас тешить и, с чувством скорби и убеждения, исповедуется пред нами и старается, по силам, сказать нам доброе и поучительное слово".

Незадолго до смерти, в октябре 1851 г., в беседе с И. С. Тургеневым Гоголь признался: "Правда, и я во многом виноват, виноват тем, что послушался друзей, окружавших меня, и, если бы можно было воротить назад сказанное, я бы уничтожил мою "Переписку с друзьями". Я бы сжег ее". В В. м. из п. с д. Гоголь наивно полагал, что, в случае, если россияне сумеют "исполнить все, сообразно с законом Христа", то "Европа придет к нам не за покупкой пеньки и сала, но за покупкой мудрости, которой больше не продают на европейских рынках". Но оба эти постулата не имели никаких шансов реализоваться в действительности.

А. Д. Синявский в книге "В тени Гоголя" (1970-1973) очень резко охарактеризовал В. м. из п. с д., равно как и второй том "Мертвых душ": "Мало кому случалось так попадать впросак, как это угораздило Гоголя в поздних его сочинениях. Его лицо, выжидательно глядящее с этих страниц, страдальчески перекашивается и разъезжается по бумаге в старании скоординировать свои черты в устойчивую физиономию. Следить за его гримасами, не укладывающимися в уме, похожими на адскую пляску раздерганных уголовников, настолько тягостно, что, должно быть, поэтому позднего Гоголя предпочитали демонстрировать выборочно, как ряд не идущих в прямую связь эпизодов - Чичиков (сатирический тип), тройка (вера в Россию) (имеются в виду "Четыре письма к разным лицам по поводу "Мертвых душ"", включенные в В. м. из п. с д. - Б. С.), руководство помещикам, как управляться с крестьянами (крепостническая реакция), мысли о Пушкине, о русской песне (образец проницательности), высказывания о царе и церкви (верх мракобесия), - тогда как все они суть необходимые пристяжные в умозрительной трапеции Гоголя, хотя и тянущие в разные стороны, с тем чтобы охватить бытие целокупно и всесторонне, найдя всякой вещи законную середину и место. Поиски середины, единства в условиях роковой разобщенности и удаленности сопрягаемых звеньев (полиции и религии, морали и хозяйства, церкви и театра, первобытной идиллии и европейского просвещения), попытки восстановить перемирие с опорой на множество точек разбежавшегося по вселенной сознания, вздыхающего по позабытому со времени Гомера и Библии глобальному равновесию, сулили перекосы и вывихи, сообщавшие всей экспозиции какую-то шутовскую ходульность. Гоголь не гримасничает, но балансирует, ища увязать то, что уже никем не увязывалось и существовало разъединенно, оторванно, впадая неукоснительно в фарс, в гадость и благоглупость, там, где с давней поры недоставало моста. Скажем, он предлагает, как родного отца, уважать и любить начальников - в память об отцовстве, лежащем в основании дома и

общества. Или с искренней верой в мудрую иерархию мира до небес превозносит чиновников, не затрагивающих ничего уже в охладевшем сердце сограждан, кроме мутной тоски по каким-нибудь казенным харчам. Социальные рекомендации Гоголя развиваются, примерно, по схеме жителей города NN, суетившихся вокруг Чичикова с его покупкой несуществующих душ и мифическим имением где-то в Херсонской губерниии... Теперь он также кудахтал, высиживая из Чичикова полезного стране Одиссея или, в "Переписке с друзьями", вальяжно рассуждая об отеческой власти помещика, о достоинствах капитан-исправника. Кажется, Гоголь нарочно подстраивает своему перу ситуации, над которыми недавно смеялся, и ставит себя в положение своих потенциальных героев, закономерно превращаясь в объект общих щелчков и насмешек. (Мог ли он в этих условиях не питать неприязнь к прежним произведениям, мешавшим ему двигаться дальше, уличавшим на каждом слове?) Он всерьез подошел к проблемам, от которых прежде отшучивался, и вдруг - в измененной тональности, в новом, рассудительном стиле - заговорил устами почтмейстера, городничего, Хлестакова, Манилова... (Трудно было нелепее закончить свой жизненный путь!) Однако наша рука, ловящая его постранично на горчайших противоречиях, растерянно повисает, едва мы допускаем, что автор намеренно пошел под огонь своего вчерашнего смеха и принял в лицо оскорбления, розданные им когда-то другим, вымышленным заместителям. Что поздний Гоголь это не какой-то другой, видоизменившийся или пошатнувшийся, автор, но в точности тот же самый, лишь открывшийся со своей оборотной, теневой стороны (либо вышедший наконец-то на свет из темноты своего прошлого творчества). Что оба антипода как нельзя удачнее уравновешивают и дополняют друг друга, складываясь в единую фабулу завершенной судьбы человека, расплатившегося при жизни - во второй половине пути - за вину (или благо) первой своей половины. Что если существует возмездие за писательский грех, то Гоголь уже на земле испытал весь ужас писательского же, по специальности, ада и ушел от нас примиренным, очищенным, расквитавшимся, в то время как у других всё еще впереди..."

ВЫСОЦКИЙ Герасим Иванович (1804- начало 1870-х), помещик, ближайший друг Гоголя по Нежинской гимназии, которую окончил в 1826 г., потом был военным, а последние годы жизни провел в своем имении в Переяславском уезде Полтавской губернии.

В. пользовался репутацией большого острослова и насмешника. Он оставил нам свидетельство о первых литературных опытах Гоголя в гимназические годы: "Охота писать стихи высказалась впервые у Гоголя по случаю его нападок на товарища Бороздина, которого он преследовал насмешками за низкую стрижку волос и прозвал Расстригою Спиридоном. Вечером, в день именин Бороздина, 12 декабря (в день св. Спиридона, хотя Бороздина звали Николай. - Б. С.), Гоголь выставил в гимназической зале транспарант собственного изделия с изображением черта, стригущего дервиша, и со следующим акростихом:

Се образ жизни нечестивой,
Пугалище дервишей всех.
Инок монастыря строптивой,

Расстрига, сотворивший грех.
И за сие-то преступленье
Достал он титул сей.
О, чтец! Имей терпенье,
Начальные слова в устах
запечатлей.

Вслед за тем Гоголь написал сатиру на жителей города Нежина, под заглавием: "Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан", и изобразил в ней типические лица разных сословий. Для этого он взял несколько торжественных случаев, при которых то или другое сословие наиболее выказывало характеристические черты свои, и по этим случаям, разделил свое сочинение на следующие отделы: "1) Освящение церкви на греческом кладбище; 2) Выбор в греческий магистрат; 3) Всеедная ярмарка; 4) Обед у предводителя П***; 5) Роспуск и съезд студентов". Я имел копию этого довольно обширного сочинения, списанную с автографа; но Гоголь, находясь еще в гимназии, выписал ее от меня из Петербурга, под предлогом, будто бы он потерял подлинник, и уже не возвратил".

19 марта 1827 г. Гоголь сообщал В. из Нежина в Петербург: "Много времени кануло со дня нашего разрознения; лета кипучего возраста охлаждались беспрерывно изменчивою неверностью счастия настоящего. Я холодал постепенно и разучался принимать жарко к себе всё сбывающееся. Без радости и без горя, в глубоком раздумьи стоял я над дорогою жизни, безмолвно обсматривая будущее. С минут твоего выбытия в душе моей залегла пустота, какое-то безжизненное чувство. И вот ты меня высвободил из моего мертвого усыпления. Я теперь всё тот же как прежде веселый, преданный тебе с виду холодный, но в сердце пламенный к чувствам дружбы. Часто среди занятий удовольствие (они иногда посещают и не совсем забыли записного их поклонника), мысленно перескакиваю в Петербург: сижу с тобою в комнате, брожу с тобою по бульварам, любуюсь Невою, морем. Короче, я делаюсь ты".

26 июня 1827 г. Гоголь писал В. из Нежина: "Милый Герасим Иванович, знаю привязанность твою: она вылилась вся в письме твоем. Она, кажется, растет между нами более и более и утверждается нашею разлукою. Люблю тебя еще более, чем прежде, и спешу соединиться с тобою, хотя ты меня ужаснул чудовищами великих препятствий.. Но они бессильны; или - странное свойство человека! - чем более трудностей, чем более преград, тем более он летит туда. Вместо того, чтобы остановить меня, они еще более разожгли во мне желание. Меня восхищает, когда я подумаю, что там есть кому ждать меня, есть кому встретить родным приветствием и облеснуть лицо светлою радостью. Означились мне на сердце также и друзья-приятели твои. Я не знаю их, никогда не видал, но они друзья тебе, и я их также люблю, как и ты. Зачем ты не наименил ни одного из них? Хотя имя не определит человека, не ознакомит с ним, однако я всё бы мог из письма твоего узнать их характер, свойство, с кем ты более дружен, - особливо, когда они будут действующими лицами в твоих письмах, чего мне непременно хочется. Уединясь совершенно от всех, не находя здесь ни одного, с кем бы мог слить долговременные думы свои, кому бы мог выверить мышления свои, я осиротел и сделался чужим в пустом Нежине. Я

иноземец, забредший на чужбину искать того, что только находится в одной родине, и тайны сердца, вырывающиеся на лице, жадные откровения, печально опускаются вглубь его, где такое же мертвое безмолвие. В таком случае я желаю знать тебя в кругу твоих друзей, где не скрываешься и где ваши занятия всегда радостны; хочу даже, чтобы ты писал мне ваши разговоры и целые происшествия замечательного дня... Я ничего теперь так не ожидаю, как твоих писем. Они - моя радость в скучном уединении. Несколько только и разгоняю его чтением новых книг, для которых берегу деньги, не составляющие для меня ничего, кроме их, и выписывание их составляет одно мое занятие и одну мою корреспонденцию. Никогда еще экзамен для меня не был так несносен, как теперь. Я совершенно весь истомлен, чуть движусь. Не знаю, что со мной будет далее. Только я и надеюсь, что поездкою домой обновлю немного свои силы. Как чувствительно приближение выпуска, а с ним и благодатной свободы! Не знаю, как-то на следующий год я перенесу это время!.. Как тяжко быть зарыту вместе с созданьями низкой неизвестности в безмолвие мертвое! Ты знаешь всех наших существователей, всех, населивших Нежин. Они задавили корою своей земности, ничтожного самодоволия высокое назначение человека. И между этими существователями я должен пресмыкаться... Из них не исключаются и дорогие наставники наши. Только между товарищами, и то немногими, нахожу иногда, кому бы сказать что-нибудь. Ты теперь в зеркале видишь меня. Пожалей обо мне! Может быть, слеза соучастия, отдавшаяся на твоих глазах, послышится и мне. Ты уже и успел дать за меня слово об моем согласии на ваше намерение отправиться за границу. Смотри только вперед не раскаяться! может быть, мне жизнь петербургская так понравится, что я поколеблюсь, и вспомню поговорку: не ищи того за морем, что сыщешь ближе. Но уже так и быть; ты дал слово нужно мне спустить твоей опрометчивости. Только когда это еще будет? Еще год мне нужно здесь да год, думаю, в Петербурге; но впрочем я без тебя не останусь в нем: куда ты, туда и я...

...Признаюсь, мне наскучило горевать здесь, и, не могши ни с кем развеселиться, мысли мои изливаются на письме и забывшись от радости, что есть с кем поговорить, прогнав горе, садятся нестройными толпами в виде букв на бумагу, и в это время - вообрази - я на какую мысль набрел. Уже ставлю мысленно себя в Петербурге, в той веселой комнатке окнами на Неву, так как я всегда думал найти себе такое место. Не знаю, сбудутся ли мои предположения, буду ли я точно живать в этаком райском месте, или неумолимое веретено судьбы зашвырнет меня с толпою самодовольной черни (мысль ужасная!) в самую глушь ничтожности, отведет мне черную квартиру неизвестности в мире. Но покуда еще неизвестно нам предопределение судьбы, ужели нельзя хотя помечтать о будущем? Этим богатством я всегда буду наделен. Оно не оставит меня во всё дление жизни... Какое теперь ужасное у нас плодородие, ты не поверишь, особливо фруктов! Деревья гнутся, ломятся от тяжести. Не знаем, девать куда. Я воображаю об необыкновенной роскоши, которою я буду пресыщаться, приехавши домой. Уже два дни экипаж стоит за мною. С нетерпением лечу освежиться, ожить от мертвого усыпления годичного в Нежине, от ядовитого истомления, вследствие нетерпения и скуки. Возвратясь, начну живее и спокойнее носить иго школьного педантизма, пока урочное

время, со всеми своими мучительными ожиданиями и нетерпением, не предстанет снова истомленному... Позволь еще тебя, единственный друг Герасим Иванович, попросить об одном деле... надеюсь, что ты не откажешь... а именно: нельзя ли заказать у вас в Петербурге портному самому лучшему фрак для меня? Мерку может снять с тебя, потому что мы одинакого росту и плотности с тобой. А ежели ты разжирел, то можешь сказать, чтобы немного уже. Но об этом после, а теперь - главное - узнай, что стоит пошитье самое отличное фрака по последней моде, и цену выставь в письме, чтобы я мог знать, сколько нужно посылать тебе денег. А сукно-то, я думаю, здесь купить, оттого, что ты говоришь - в Петербурге дорого. Сделай милость, извести меня, как можно поскорее, и я уже приготовлю всё так, чтобы, по получении письма твоего, сейчас всё тебе и отправить, потому что мне хочется ужасно как, чтобы к последним числам или к первому ноября я уже получил фрак готовый. Напиши, пожалуйста, какие модные материи у вас на жилеты, на панталоны, выставь их цены и цену за пошитье... Какой-то у вас модный цвет на фраки? Мне очень бы хотелось сделать себе синий с металлическими пуговицами, а черных фраков у меня много, и они мне так надоели, что смотреть на них не хочется".

ВЯЗЕМСКИЙ Петр Андреевич (1792-1878), князь, поэт и литературный критик, друг А. С. Пушкина, высоко ценивший творчество Гоголя. В. написал положительные рецензии на "Мертвые души" и "Выбранные места из переписки с друзьями".

9 апреля 1836 г. В. писал А. И. Тургеневу о чтении Гоголем повести "Нос" у В. А. Жуковского: "Субботы Жуковского процветают... Один Гоголь, которого Жуковский называет Гоголек, оживляет их своими рассказами. В последнюю субботу читал он нам повесть об носе, который пропал с лица неожиданно у какого-то коллежского асессора. Уморительно смешно!" В статье "Языков и Гоголь" (1847) В. вспоминал об одном из чтений "Мертвых душ": "Однажды Гоголь обещал прочесть у меня новую главу "Мертвых душ". Съехалось несколько приятелей. Был ли он не в духе, не нравился ли ему один из присутствующих, не знаю, но Гоголь заупрямился и не хотел читать. Жуковский более всех приставал к нему, чтобы он читал; наконец, с свойственным (ему) юмором, сказал он: "Ну, что ты кобенишься, старая кокетка? Ведь самому смерть хочется прочесть, а только напускаешь на себя причуды!"

Осенью 1842 г. Гоголь писал В. из Гастейна: "Пишу к вам письмо вследствие прочтения нескольких разрозненных листков из биографии Фонвизина, которые вы прислали Языкову. Я весь полон сего чтения. Я читал прежде отрывки, и уже в них видны следы многообъемлемости ума вашего. Теперь я прочел в большей целости - почти половину всего сочинения (многих листков из середины недостает). Не скажу вам ничего о глубоком достоинстве всего сочинения: об интересе эпохи и лица и самого героя биографии. В них меня ни один столько не занял, как сам биограф. Как много сторон его сказалось в этом сочинении! Критик, государственный муж, политик, поэт, всё соединилось в биографе, и какая строгая многообъемлемость! Все принесли ему дань, со всего взята она. Столько сторон соединить в себе может только один всемирный ум. И ваше

поприще другое. Простите ли вы мне дерзость указать ваше назначение? Но Бог одарил меня предметом многих наслаждений и благодарных молитв, чутьем узнавать человека. Назначение ваше и поприще явно. Неужели вы не видите? Вы владеете глубоким даром историка - венцом Божьих даров, верх развития и совершенства ума. Я вижу в вас историка в полном смысле сего слова, и вечные упреки будут на душе вашей, если вы не приметесь за великий подвиг. Есть царствования, заключающие в себе почти волшебный ряд чрезвычайностей, которых образы уже стоят пред нами колоссальные, как у Гомера, несмотря на то, что и пятидесяти лет еще не протекло. Вы догадываетесь, что я говорю о царствовании Екатерины. Нет труда выше, благодарнее и который бы так сильно требовал глубокомыслия полного, многостороннего историка. Из него может быть двенадцать томов чудной истории, и клянусь - вы станете выше всех европейских историков. В этом труде вам откроется много наслаждения, вы много узнаете, чего не узнает никто и что больше всего. Вы узнаете глубже и много таких сторон, каких вы, может быть, по скромности не подозреваете в себе. Ваша жизнь будет полна! Во имя Бога не пропустите без внимания этих слов моих! По крайней мере, предайтесь долгому размышлению, они стоят того, потому что произнесены человеком, подвигнутым к вам глубоким уважением, сильно понимающим их. Совесть меня мучила, если бы я не написал к вам этого письма. Это было веленье извнутри меня, и потому оно могло быть Божье веление, итак, уважьте его вы".

В "Выбранных местах из переписки с друзьями" в статье "В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность" Гоголь дал характеристику творчества В.: "В князе Вяземском - противуположность Языкову: сколько в том поражает нищета мыслей, столько в этом обилие их. Стих употреблен у него как первое попавшееся орудие: никакой наружной отделки его, никакого также сосредоточения и округленья мысли затем, чтобы выставить ее читателю как драгоценность: он не художник и не заботится обо всем этом. Его стихотворенья - импровизации, хотя для таких импровизаций нужно иметь слишком много всяких даров и слишком приготовленную голову. В нем собралось обилие необыкновенное всех качеств: ум, остроумие, наглядка, наблюдательность, неожиданность выводов, чувство, веселость и даже грусть; каждое стихотворение его - пестрый фараон всего вместе. Он не поэт по призванью: судьба, наделивши его всеми дарами, дала ему как бы в придачу талант поэта, затем, чтобы составить из него что-то полное. В его книге "Биография Фонвизина" обнаружилось еще видней обилие всех даров, в нем заключенных. Там слышен в одно и то же время политик, философ, тонкий оценщик и критик, положительный государственный человек и даже пытный ведатель практической стороны жизни - словом, все те качества, которые должен заключать в себе глубокий историк в значении высшем. И если бы таким же пером, каким начертана биография Фонвизина, написано было всё царствование Екатерины, которое уже и теперь кажется нам почти фантастическим от чрезвычайного обилия эпохи и необыкновенного столкновения необыкновенных лиц и характеров, то можно сказать почти наверно, что подобного по достоинству исторического сочинения не представила бы нам Европа. Но отсутствие большого и полного труда есть

болезнь князя Вяземского, и это слышится в самих его стихотворениях. В них заметно отсутствие внутреннего гармонического согласованья в частях, слышен разлад: слово не сочеталось со словом, стих со стихом, возле крепкого и твердого стиха, какого нет ни у одного поэта, помещается другой, ничем на него не похожий; то вдруг защемит он чем-то вырванным живьем из своего сердца, то вдруг оттолкнет от себя звуком, почти чуждым сердцу, раздавшимся совершенно не в такт с предметом; слышна несобранность в себя, не полная жизнь своими силами; слышится на дне всего что-то придавленное и угнетенное. Участь человека, одаренного способностями разнообразными и очутившегося без такого дела, которое бы заняло все до единой его способности, тяжелей участи последнего бедняка. Только тот труд, который заставляет целиком всего человека обратиться к себе и уйти в себя, есть наш избавитель".

11 июня н. ст. 1847 г. Гоголь откликнулся на статью В. "Гоголь и Языков", опубликованную в "Санкт-Петербургских ведомостях" 24 и 25 апреля, где содержался положительный отзыв о "Выбранных местах из переписки с друзьями", благодарственным письмом В., где посетовал только, что "выразились вы несколько сурово о некоторых моих нападателях (имелась в виду критика В. Г. Белинским "Выбранных мест из переписки с друзьями". - Б. С.), особенно о тех, которые прежде меня выхваляли. Мне кажется вообще, мы судим их слишком неумолимо. Бог знает, может быть, в существе многие из них добрые люди и влекутся даже некоторым, хотя отдаленным, желанием добра; но кого не увлекает самолюбие, некоторый успех и множество разных соблазнов, окружающих с разных сторон человека? Бог знает, может быть, и нам будет сделан упрек в гордости за то, что мы несколько жестоко оттолкнули их, оскорбясь какою-нибудь их дерзостью, тогда как наш совет, может быть, им был бы нужен и спас бы их от многого того, за что их укорять теперь справедливо. Скажите мне искренно, что вы об этом думаете? Мне же становится теперь жалок решительно всяк человек, потому что, право, положенье всех в нынешнее время страшно трудно и, к кому приглядишься ближе, всяк порождает к себе состр630данье. Вся эта история по поводу моей книги (испытанье на собственном теле многого того, что приходится испытывать людям в большем и меньшем размере на всех почти поприщах, от всякого рода недоразумений, которыми наполнился в избытке нынешний век) усиливает во мне эту жалость со дня на день, так что не имеется духу обвинить или осудить какого-нибудь человека. Мне кажется, как будто еще недостаточно любви у всех нас (хорошо, по крайней мере, то, что мы это более или менее чувствуем); мне кажется, как будто мы всё еще действуем не собственно против нечистой силы, подталкивающей на грехи и на заблуждения людей, но против самих людей, которых подталкивает на грехи нечистая сила. Самые наиболее любящие из нас еще не исполнены любовью к людям в такой степени, в какой исполнены ненавистью к их заблуждениям. Оттого и все статьи наши, подвигнутые самым искренним желанием добра, не вносят надлежащего примирения. Мне кажется, что теперь, в нынешнее время, более нужны не статьи нападательные или защитительные, которые невольным образом обратятся на чью-нибудь личность и выставят на сцену нас самих, сколько статьи уяснительные многих важных

вопросов, относящихся к тем вечным истинам, которые хотя покуда еще и не раздаются в обществе, но к которым поворот, однако же, неминуемо долженствует наступить. Я разумею здесь собственно те истины, о которых могут сказать только люди государственные. Если о них не раздадутся теперь здравые определения, годные укрепить хотя некоторых или дать им знать, по крайней мере приблизительно, чего держаться, то их пойдут скоро коверкать вовсе негосударственные люди и могут сбить всех с толку. Вы видите, что некоторое поползновение к тому уже обнаруживается. Даже и я, человек вовсе негосударственный, заговорил о том. Итак, есть какое-то поветрие, которому все подвергаются равномерно. Тем более теперь нужен голос мастеров того ремесла, в которое впутываются люди посторонние. Я, признаюсь, ожидал и даже теперь ожидаю от вас статьи, в которой бы и я, и книга остались в стороне, а выступил бы на сцену предмет, для которого вам даны такие орудия. У вас есть всё, что нужно для государственного мужа; притом любви к России, слава Богу, довольно; любви к добру также, а если к этому еще присоединится всеми нами искомая, истинная любовь в Христе ко всем братиям, вы отыщете скорее всех ту верную законную середину, к которой мы стремимся, и голос ваш будет доступен многим сердцам и умам; а покуда я жду с нетерпеньем листков моей рукописи, снабженных вашими замечаниями, потому что с моей стороны все-таки нужно что-нибудь сказать, хотя, разумеется, поприличней и в такой мере, в какой позволительно сказать негосударственному человеку. Нужно, чтобы мы все-таки питали любовь к своей государственности, а не летали мысленно по всем землям, говоря о России; чтоб чувствовали, по крайней мере, что строенье нового исходит из духа самой земли, из находящихся среди нас материалов".

1 января 1852 г. Гоголь написал В. последнее письмо: "Перекрестясь, пишу к вам. Ради Христа, принимайтесь скорее за труд, который бы занял хоть сколько-нибудь все способности, вам Богом данные. Мы все здесь поденщики, обязанные работать и работать и глядеть вверх: там плата. Без этого удел наш - болезни, хандра, тоска и миллион искушений от лукавого, который так и ждет минут нашего уныния. Мне всё чувствуется, что если бы вы принялись за историю царствованья Екатерины или если бы даже написали только статью о царствовании Екатерины с мыслью дать в ней урок и государям и подданным, много бы это доставило пищи вашей собственной душе. Историческое сочинение со взглядом человека, уже узнавшего жизнь и главное в жизни, и с целью оставить в нем завещанье после себя потомству, потомству, которое так же должно быть нам родное и близкое нашему сердцу, как дети близки сердцу отца (иначе разорвана связь между настоящим и будущим)... Но что говорить! Один только и есть язык, на котором можно говорить теперь писателю с читателем, - это история, не рассуждающая, но выставляющая как в зеркале все события, заключающие оправдания Божия".

"ГАНЦ КЮХЕЛЬГАРТЕН", поэма Гоголя. Опубликована под псевдонимом "В. Алов": Ганц Кюхельгартен. Идиллия в картинах (Писано в 1827 году). СПб., 1829.

Об истории Г. К. сохранился рассказ Н. Я. Прокоповича гоголевскому биографу П. А. Кулишу: "У Гоголя была поэма "Ганц Кюхельгартен",

написанная, как сказано на заглавном листке, в 1827 году. Не доверяя своим силам и боясь критики, Гоголь скрыл это раннее произведение свое под псевдонимом В. Алова. Он напечатал его на собственный счет, вслед за стихотворением "Италия", и роздал экземпляры книгопродавцам на комиссию. В это время он жил вместе со своим земляком и соучеником по гимназии Н. Я. Прокоповичем, который поэтому-то и знал, откуда выпорхнул "Ганц Кюхельгартен". Для всех прочих знакомых Гоголя это оставалось непроницаемою тайною. Некоторые из них, - и в том числе П. А. Плетнев, которого Гоголь знал тогда еще только по имени, и М. П. Погодин, - получили инкогнито по экземпляру его поэмы; но автор никогда ни одним словом не дал им понять, от кого была прислана книжка". В Г. К. отразилось юношеское восхищение Гоголем Германией и германскими романтиками. 5 сентября н. ст. 1839 г. в письме М. П. Балабиной Гоголь признавался: "Я вспомнил мои прежние, мои прекрасные года, мою юность, мою невозвратимую юность и, мне стыдно признаться, я чуть не заплакал. Это было время свежести... молодых сил и порыва чистого, как звук, произведенный верным смычком. Это были лета поэзии, в это время я любил немцев, не зная их, или может быть я смешивал немецкую ученость, немецкую философию и литературу с немцами. Как бы то ни было, но немецкая поэзия далеко уносила меня тогда в даль, и мне нравилось тогда ее совершенное отдаление от жизни и существенности. И я гораздо презрительней глядел тогда на всё обыкновенное и повседневное. Доныне я люблю тех немцев, которых создало тогда воображение мое". На Г. К. последовали три отрицательных отзыва - Н. А. Полевого в "Московском телеграфе" (1829, № 12), анонимный - в "Северной Пчеле" (1829, № 87, 20 июля) и О. М. Сомова в альманахе "Северные Цветы на 1830 год". Все они оценили поэму как слабое, подражательное произведение. После появления первых двух отзывов Гоголь собрал все оставшиеся нераспроданными экземпляры в книжных магазинах и сжег их в номере гостиницы. Провал Г. К. побудил Гоголя отправиться в Германию, названную в поэме: "Страна высоких побуждений! Воздушных призраков страна!" Вероятно, он хотел проверить, насколько поэтические фантазии соответствуют реальности. С тех пор Гоголь больше не писал стихов.

ГЕРЦЕН Александр Иванович(1812-1870), публицист, один из лидеров "западников". В 1847 г. уехал за границу, в Лондоне основал Вольную русскую типографию и с 1857 г. издавал русскую еженедельную газету "Колокол", оппозиционную самодержавию. Высоко ценил творчество Гоголя.

Гоголь писал о Г. в письме П. В. Анненкову из Остенде 7 сентября 1847 г.: "В письме вашем вы упоминаете, что в Париже находится Герцен. Я слышал о нем очень много хорошего. О нем люди всех партий отзываются как о благороднейшем человеке. Это лучшая репутация в нынешнее время. Когда буду в Москве, познакомлюсь с ним непременно, а покуда известите меня, что он делает, что его более занимает и что предметом его наблюдений".

11 июня 1842 г. Г. записал в дневнике: ""Мертвые души" Гоголя удивительная книга, горький упрек современной Руси, но не безнадежный. Там, где взгляд может проникнуть сквозь туман нечистых, навозных испарений, там

он видит удалую, полную силы национальность. Портреты его удивительно хороши, жизнь сохранена во всей полноте; не типы отвлеченные, а добрые люди, которых каждый из нас видел сто раз. Грустно в мире Чичикова, так, как грустно нам в самом деле; и там и тут одно утешение в вере и уповании на будущее. Но веру эту отрицать нельзя, и она не просто романтическое упование ins Blaue (на небеса (нем.). - Б. С.), а имеет реалистическую основу: кровь как-то хорошо обращается у русского в груди".

А в дневниковой записи от 29 июля 1842 г. Г. так передал существующие в обществе мнения о гоголевской поэме: "Славянофилы и антиславянисты разделились на партии. Славянофилы № 1 говорят, что это - апофеоз Руси, "Илиада" наша, и хвалят, следовательно; другие бесятся, говорят, что тут анафема Руси, и за то ругают. Обратно тоже раздвоились антиславянисты. Велико достоинство художественного произведения, когда оно может ускользать от всякого одностороннего взгляда. Видеть апофеоз - смешно, видеть одну анафему - несправедливость. Есть слова примирения, есть предчувствия и надежды будущего, полного и торжественного, но это не мешает настоящему отражаться во всей отвратительной действительности. Тут переход от Собакевичей к Плюшкиным - обдает ужас; вы с каждым шагом вязнете, тонете глубже, лирическое место вдруг оживит, осветит и сейчас заменяется опять картиной, напоминающей еще яснее, в каком рве ада находимся и как Данте хотел бы перестать видеть и слышать, - а смешные слова веселого автора раздаются. "Мертвые души" - поэма глубоко выстраданная. "Мертвые души" это заглавие само носит в себе что-то наводящее ужас. И иначе он не мог назвать; не ревизские - мертвые души, а все эти Ноздревы, Маниловы и tutti quanti (все прочее (ит.). - Б. С.) - вот мертвые души, и мы их встречаем на каждом шагу. Где интересы общие, живые, в которых живут все вокруг нас дышащие мертвые души? Не все ли мы после юности, так или иначе, ведем одну из жизней гоголевских героев? Один остается при маниловской тупой мечтательности, другой буйствует a la Nosdreff, третий - Плюшкин и проч. Один деятельный человек - Чичиков, и тот ограниченный плут. Зачем он не встретил нравственного помещика добросерда, стародума... Да откуда попался бы в этот омут человек столько абнормальный, и как он мог бы быть типом?.. Пушкин в "Онегине" представил отрадное человеческое явление во Владимире Ленском, да и расстрелял его, и за дело. Что ему оставалось еще, как не умереть, чтобы остаться благородным, прекрасным явлением? Через десять лет он отучнел бы, стал бы умнее, но всё был бы Манилов".

Столь же благоприятный отзыв о Г. содержится в гоголевском письме А. А. Иванову, отправленном из Неаполя 14 декабря н. ст. 1847 г.: "Герцена я не знаю, но слышал, что он благородный и умный человек, хотя, говорят, чересчур верит в благодатность нынешних европейских прогрессов и потому враг всякой русской старины и коренных обычаев. Напишите мне, каким он показался вам, что он делает в Риме, что говорит об искусствах и какого мнения о нынешнем политическом и гражданском состоянии Рима, о чивиках (от civico (ит.) - граждане) и о прочем". Ранее, около 10 декабря, Иванов сообщал Гоголю из Рима: "Здесь Герцен. Сильно восстает против вашей последней книги" ("Выбранные места из переписки с друзьями").

По воспоминаниями М. С. Щепкина, на встрече с ним и с И. С. Тургеневым осенью 1851 г. Гоголь возмущался: "Почему Герцен позволяет себе оскорблять меня своими выходками в иностранных журналах?", имея в виду книгу Г. "О развитии революционных идей в России" (1851), вышедшую в Париже по-французски. Там Г. обвинял Гоголя в отступничестве от тех идей, которые содержались в "Ревизоре" и "Мертвых душах". В доказательство, что его убеждения не менялись, Гоголь зачел Щепкину и Тургеневу ряд цитат из "Арабесок". В книге "О развитии революционных идей в России" Г. дал очень точную характеристику личности Гоголя: "...Не будучи по происхождению, подобно Кольцову, из народа, Гоголь принадлежал к народу по своим вкусам и по складу своего ума. Гоголь совершенно независим от иностранного влияния: он не знал никакой литературы, когда имел уже имя. Он больше сочувствовал народной жизни, чем придворной, что естественно со стороны украинца. Украинец, даже ставши дворянином, никогда так быстро не порывает с народом, как великоросс. Он любит свою родину, свой язык, предания о казачестве и гетманах. Дикая и воинственная, но республиканская и демократическая независимость Украйны продержалась целые века до Петра I. Украинцы, беспрестанно мучимые поляками, турками и москалями, никогда не падали. Малая Россия, добровольно присоединившись к Великой, выговорила себе значительные права... Рассказы, которыми дебютировал Гоголь, составляют ряд картин украинских нравов и видов истинной красоты, полных веселости, грации, движения и любви. Такие повести невозможны в Великороссии за неимением сюжета, оригинала. У нас народные сцены тотчас же принимают мрачный и трагический вид, что угнетает читателя, - я говорю трагический только в смысле Лаокоона... По мере того как Гоголь выходил из Украйны и близился к средней России, исчезли наивные и прелестные образы... С московским небом все становится мрачно, пасмурно, враждебно. Он все смеется, - он смеется даже больше, чем прежде, - но другим смехом, и только люди очень черствые или очень простодушные ошиблись в оценке этого смеха. Переходя от своих украинцев и казаков к русским, Гоголь оставляет в стороне народ и сосредоточивается на двух своих самых заклятых врагах: на чиновнике и помещике. Никто никогда до него не читал такого полного патолого-анатомического курса о русском чиновнике. С хохотом на устах он без жалости проникает в самые сокровенные складки нечистой, злобной чиновничьей души... Император Николай умирал со смеху, присутствуя на представлении "Ревизора"!!! Поэт в отчаянии, что вызвал только августейший хохот и самодовольный смех чиновников, совершенно тождественных с теми, которых он изобразил, но более ограждаемых цензурою, - счел своей обязанностью разъяснить, что его комедия не только очень смешна, но и очень печальна, что за смехом кроются горячие слезы. После "Ревизора" Гоголь обратился к поместному дворянству и вытащил на белый свет это неведомое племя, державшееся за кулисами, вдалеке от дорог и больших городов, сохранившееся в деревенской глуши, - эту Россию дворянчиков, которые втихомолку, уйдя с головой в свое хозяйство, таят развращенность более глубокую, чем западная. Благодаря Гоголю мы видим их наконец за порогом их барских палат, их господских домов; они проходят перед нами без масок, без прикрас, пьяницы и

обжоры, угодливые невольники власти и безжалостные тираны своих рабов, пьющие жизнь и кровь народа с той же естественностью и простодушием, с каким ребенок сосет грудь своей матери. "Мертвые души" потрясли всю Россию. Предъявить современной России подобное обвинение было необходимо. Это история болезни, написанная рукой мастера. Поэзия Гоголя это крик ужаса и стыда, который издает человек, опустившийся под влиянием пошлой жизни, когда он вдруг увидит в зеркале свое оскотинившееся лицо. Но чтобы подобный крик мог вырваться из груди, надобно, чтобы в ней оставалось что-то здоровое, чтобы жила в ней великая сила возрождения. Тот, кто откровенно сознается в своих слабостях и недостатках, чувствует, что они не являются сущностью его натуры, что он не поглощен ими целиком, что есть еще в нем нечто не поддающееся, сопротивляющееся падению, что он может еще искупить прошлое и не только поднять голову, но, как в трагедии Байрона, стать из Сарданапала-неженки Сарданапалом-героем. Тут мы сталкиваемся лицом к лицу с важным вопросом: где доказательства того, что русский народ может воспрянуть и каковы доказательства противного? Вопрос этот... занимал всех мыслящих людей, но никто из них не нашел его решения... Поэзия, проза, искусство и история показали нам образование и развитие этой нелепой среды, этих оскорбительных нравов, этой уродливой власти, но никто не указал выхода. Нужно ли было приспособляться, как это сделал впоследствии Гоголь, или бежать навстречу своей гибели, как Лермонтов? Приспособиться нам было невозможно, погибнуть - противно; что-то в глубине нашего сердца говорило, что еще слишком рано уходить; казалось, за мертвыми душами есть еще души живые. И вновь вставали эти вопросы с еще большей настойчивостью; всё, что надеялось, требовало решения любой ценой". Гоголя, несомненно, глубоко задело замечание Г. о том, что в "Выбранных местах из переписки с друзьями" он пытался приспособиться к существующей власти. Дабы опровергнуть это, он, вполне резонно, доказывал Тургеневу и Щепкину, что его взгляды не претерпели существенных изменений, начиная с ранних произведений.

"ГЕТЬМАН", неоконченный роман. Сохранилось четыре фрагмента Г. Два из них были опубликованы еще при жизни Гоголя. "Глава из исторического романа" появилась в альманахе А. А. Дельвига "Северные Цветы на 1831 год" (цензурное разрешение от 18 декабря 1830 г.) с подписью "ОООО" (воспроизводящей все буквы "о" из полного имени и фамилии писателя Николай Гоголь-Яновский) и датой "1830". С небольшими изменениями эта глава вошла в "Арабески", где имела примечание: "Из романа под заглавием "Гетьман".

Первая часть его была написана и сожжена, потому что сам автор не был ею доволен; две главы, напечатанные в периодических изданиях, помещаются в этом собрании". Вторая глава из Г., "Пленник", была впервые опубликована в "Арабесках". Это была разрешенная цензурой часть главы, называвшейся "Кровавый бандурист". Полный ее текст появился только в 1917 г. в № 1 журнала "Нива". Третий фрагмент, представляющий собой начало романа, под условным названием "Отрывок неизвестной повести" был впервые опубликован в 5-м томе "Сочинений Николая Гоголя" (СПб., 1856). Его публикатор

племянник Гоголя Н. П. Трушковский сообщил в комментарии: "Этот черновой отрывок хранился в числе бумаг, оставленных Гоголем у В. А. Жуковского и доставлен нам его супругою. Текст его был разбираем многими, но, несмотря на все старания, некоторые слова остались неразобраны, - добавленные же нами, как необходимые для полноты смысла, поставлены в скобках". В дальнейшем было еще несколько публикаций этого фрагмента с добавлением прежде не публиковавшихся отрывков и вариантов. Наиболее полная была осуществлена в 1976 г. в 37 выпуске "Записок Отдела рукописей Государственной библиотеки имени В. И. Ленина" под заглавием "Фрагмент незавершенного романа Н.В. Гоголя "Гетьман"". Четвертый фрагмент Г., без названия, начинающийся со слов: "Мне нужно видеть полковника", был впервые опубликован в 5-м томе 10-го изд. Сочинений Н.В. Гоголя (М, 1889). Работа над Г. проходила в 1830-1833 гг. и была оставлена в связи с возникновением замысла "Тараса Бульбы". Первоначально фрагмент "Кровавый бандурист" предназначался для публикации в "Библиотеке для Чтения" (1834. Т. 2. Отд. 1). На рукописи сохранилась дата "1832" и подпись "Гоголь".

Однако публикации воспротивился один из соредакторов "Библиотеки для Чтения" Николай Иванович Греч (1787-1867). 20 февраля 1834 г. он писал А. В. Никитенко: "...Сделайте милость, не позволяйте печатать в "Библиотеке для Чтения" статьи "Кровавый бандурист". Эта гнусная картина противна всем цензурным уставам в мире. Мы негодуем на французскую литературу, а сами начинаем писать еще хуже. В звании редактора я исключил статью, но на меня нападают целою ватагою, утверждая, что я это делаю из зависти к таланту г. Гоголя. Помогите Вы, почтеннейший, и попросите помощи князя Михаила Александровича (Дондукова-Корсакова, председателя Петербургского цензурного комитета. - Б. С.). Все отцы семейства к вам взывают: не позволяйте гнусных картин хотя в "Библиотеке". В целом романе пусть читают! Извините меня, что я вмешиваюсь в дело, которое касается меня не прямо. Цензура вольна делать что угодно, но я счел обязанностию обратить Ваше внимание на сей важный предмет..." А. В. Никитенко выполнил просьбу Н. И. Греча. 27 февраля 1834 г. он дал следующий отзыв ("мнение") на "Кровавого бандуриста": "Прочитав статью... я нашел в ней как многие выражения, так и самый предмет, в нравственном смысле, неприличными. Это картина страданий и унижения человеческого, написанная совершенно в духе новейшей французской школы, отвратительная, возбуждающая не сострадание и даже не ужас эстетический, а просто омерзение. Посему, имея в виду распоряжение высшего начальства о воспрещении новейших французских романов и повестей (имеется в виду циркуляр от 27 июня 1832 г., где утверждалось, что эти романы, "содержа в себе предпочтительно изображения слабой стороны человеческой натуры, нравственного безобразия, необузданности страстей, сильных пороков и преступлений... должны действовать на читателей... ко вреду морального чувства и религиозных понятий". - Б. С.), я тем менее могу согласиться на пропуск русского сочинения, написанного в их тоне".

Действие Г. можно отнести к первой половине XVII века, ко времени гетмана запорожских казаков Степана Остраницы, одного из героев романа. Он был вождем антипольского восстания 1638 г. Существуют две версии его

смерти. Согласно "Истории Русов", будто бы написанной архиепископом Белоруссии Георгием Конисским, Остраница, нанеся полякам несколько поражений, заключил с ними "вечный мир", сложил с себя гетманскую власть и удалился на богомолье в Канев. Там он будто бы был предательски схвачен поляками и казнен в Варшаве. Эта версия отражена в "Тарасе Бульбе": "Немного времени спустя после вероломного поступка под Каневым голова гетьмана вздернута была на кол вместе со многими сановниками". Но рассказ "Истории Русов" внушает большие сомнения. Почему вдруг после удачной войны с поляками Остраница отрекся от гетманства? Как после тяжелых поражений поляки смогли беспрепятственно добраться до Канева - города на казацкой территории? Более убедительной кажется другая версия смерти Остраницы, изложенная в русских и украинских летописях. Согласно этой версии, Остраница был разбит поляками у местечка Жовнин, и после этого бежал с остатками своей армии на территорию Московской Руси - в так называемую Слободскую Украину, под защиту царских войск. Он поселился на Чугуевом городище (ныне город Чугуев Харьковской области Украины). Здесь три года спустя, в 1641 г., он был убит в стычке со своими казаками. В Г. Гоголь следовал именно этой версии. В тексте упоминается местечко Лукомье (Лукомль), расположенное рядом с Жовниным, где произошла решающая битва казаков с поляками. Но у Гоголя бежавший в Слободскую Украину Остраница остается в живых и в 1645 г. (эта дата присутствует в третьем фрагменте Г.) инкогнито возвращается на Украину. Вместе с тем, в начале "Кровавого бандуриста" фигурирует дата 1543 г., не имеющая никакого отношения к историческому Остранице. Не исключено, что Гоголь собирался в Г., как и в "Тарасе Бульбе", перенести действие в некое условное время, где сочетались бы приметы и XVI, и XVII веков. Возможно, отказ от продолжения Г. как раз и был связан с тем обстоятельством, что реально существовавшего Остраницу трудно было поместить в условное литературное время, в отличие от созданного гоголевской фантазией запорожского полковника Тараса Бульбы. По мнению некоторых исследователей, в действующем в отрывке "Мне нужно видеть полковника" "отроке", стремящемуся найти Остраницу, можно предположить возлюбленную гетмана Ганну (Галю). Она же оказывается польским пленником в "Кровавом бандуристе", которого поляки первоначально принимают за Остраницу. А в третьем фрагменте, представляющем собой начало романа, именно ее гетман зовет с собой. Вызвавший цензурные возражения фрагмент Г. представляет собой описание живого человека, но с содранной кожей: "Ужас оковал их. Никогда не мог предстать человеку страшнейший фантом!.. Это был... ничто не могло быть ужаснее и отвратительнее этого зрелища! Это был... у кого не потряслись бы все фибры, весь состав человека! Это был... ужасно! - это был человек... но без кожи. Кожа была с него содрана. Весь он был закипевший кровью. Одни жилы синели и простирались по нем ветвями!.. Кровь капала с него!.. Бандура на кожаной ржавой перевязи висела на его плече. На кровавом лице страшно мелькали глаза". Ужас, охвативший поляков, открывает героине Г. путь к бегству. Можно предположить, что кровавый бандурист связан с нечистой силой и обладает бессмертием, а потому может существовать даже после того, как у него содрали абсолютно всю кожу. Другое возможное

объяснение заключается в том, что кровавый бандурист - это лишь призрак человека, казненного в монастыре много десятилетий или даже столетий тому назад.

Опубликованные фрагменты Г. обратили на себя внимание современников. 22 февраля 1831 г. П. А. Плетнев писал А. С. Пушкину: "Надобно познакомить тебя с молодым писателем, который обещает что-то очень хорошее. Ты, может быть, заметил в "Северных Цветах" отрывок из исторического романа, с подписью оооо, также в "Литературной Газете" - "Мысли о преподавании географии", статью "Женщина" и главу из малороссийской повести "Учитель". Их писал Гоголь-Яновский. Сперва он пошел было по гражданской службе, но страсть к педагогике привела его под мои знамена: он перешел в учителя. Жуковский от него в восторге. Я нетерпеливо желаю подвести его к тебе под благословение. Он любит науки только для них самих и, как художник, готов для них подвергать себя всем лишениям. Это меня трогает и восхищает".

ГОГОЛЬ Анна Васильевна (1821-1893), сестра Гоголя. Она вспоминала: "Перед отправлением дочерей в институт (в петербургский Педагогический институт в сентябре 1832 г.; сестры отправились в столицу вместе с Гоголем. - Б. С.) Мария Ивановна Гоголь была очень озабочена назначением к ним горничной, но всё находила, что было бы лучше, если бы человек Николая Васильевича Яким был женат. И вот она призывает Якима и предлагает ему жениться на выбранной горничной, объясняя, что против желания женить его не хочет, а что желает только слышать его мнение. Но Яким на все отвечал: "Мне все равно-с, а это как вам угодно". Видя такое равнодушие, его женили за три дня до отъезда, и таким образом совершенно неожиданно для себя и для всех Яким отправился в Петербург с женою, и барышни - с горничною; а Марья Ивановна была очень довольна, что все так устроилось по-семейному".

13 октября н. ст. 1840 г. Гоголь писал Г. из Рима: "...Теперь наконец приходится сказать, чему я не был рад. Уши вперед и слушай! Выговор тебе следует жестокой, какой только ты когда-либо получала от меня. Ты, приводя причины, отвлекающие тебя от занятий, привела одну такую, за которую я никогда не могу простить тебе. Именно ты сказала, что у вас много было праздников и что приняться за иглу в праздник здесь (т. е. в Васильевке) считается за ужасный грех. И ты могла покориться глупому предрассудку, повторенному горнишными девками или глупыми невежами-соседками, тогда как против этого кричит и здравый смысл и рассудок! И ты не сгорела от стыда, написавши это мне! И ты после этого умна! и ты сестра мне! Итак, над тобою уже имеют власть все мнения околодка и пошлые толки и речи".

В декабре 1847 г. Гоголь писал Г. из Неаполя по поводу своего племянника и крестника Н. П. Трушковского, сына М. В. Гоголь, которого Г. воспитывала: "Насчет племянника нашего скажу тебе, что мне показалось, будто в нем ни к чему нет особенной охоты. Я его совсем не спрашивал, в какую он хочет службу. Он - дитя и не может еще и знать даже, что такое служба, я думал только, не вырвется ли как-нибудь в словах его любовь и охота к какому-нибудь близкому делу, которое под рукой и о котором мальчик в его лета может иметь понятие. Но мысль о дипломатии ни к чему не показывает наклонности (сравни

сцену у Манилова в "Мертвых душах", когда тот говорит Чичикову, что хочет определить детей по дипломатической части, и когда у юного Фемистоклюса, выразившего готовность стать посланником, служитель едва успевает подобрать соплю, которая грозила упасть в суп. - Б. С.). Там большею частью праздные места и должности без занятий, куда назначаются только богатые и знатные люди, да и при том мало одного французского языка. Нужно их знать много. Стало быть, об этом нечего и думать. А ты внуши ему, по крайней мере, желанье читать побольше исторических книг и желанье узнавать собственную землю, географию России, историю России, путешествия по России. Пусть он расспрашивает и узнает про всякое сословие в России, начиная с собственной губернии и уезда: что такое крестьяне, на каких они условьях, сколько работают в этом месте, сколько в другом, какими работами занимаются. Что такое купцы и чем торгуют, что производит такой-то уезд или губерния и чем промышляют в другом месте. Словом, нужно, чтобы в нем пробудилось желанье узнавать быт людей, населяющих Россию. С этими познаньями он может сделаться потом хорошим чиновником и нужным человеком государству. Ты можешь слегка приучать его к этому даже в деревне Васильевке. Например, в первую ярманку, какая случится у вас, вели ему высмотреть хорошенько, каких товаров больше и каких меньше, и записать это на бумажке, скажи, что это для меня. Потом пусть запишет, откуда и с каких мест больше привезли товаров и чьи люди больше торгуют и больше привозят. Это заставит его и переспросить, и поразговориться со многими торговцами. А потом может таким образом и в Полтаве замечать многое. Нужно, чтобы он не пропускал ничего без наблюдательности. Если в нем пробудится наблюдательность всего, что ни окружает, тогда из него выйдет человек, без этого же свойства он будет кругом ничто".

По свидетельству Г.: "Когда Гоголь собирался в путь за границу, ему хотелось получить непременно от кого-нибудь образ в виде благословения. Долго он ждал напрасно, но вдруг получил неожиданно образ Спасителя от известного проповедника Иннокентия, епископа херсонского и таврического. Это исполнение его желания показалось ему чудесным и было истолковано им, как повеление свыше ехать в Иерусалим и, очистив себя молитвой у гроба Господня, испросить благословение Божие на задуманный литературный труд. Мысль была торжественно и неожиданно сообщена Аксаковым, окончательно сбитым с толку столь частой и притом внезапной переменой решений. Когда весть о благочестивом желании нового знакомого дошла до Шереметевой, набожная старушка, посвятившая всю жизнь молитве и добрым делам, сразу горячо полюбила Гоголя, как сына, принимая горячее участие в столь сочувственном для нее плане. В свою очередь, она встретила в Гоголе задушевный отклик: он нашел в ней одну из тех женщин, о которых он говорил, что они "живут в законе Божием". Он стал называть ее "духовной матерью", прося позволения время от времени посылать ей деньги для раздачи бедным".

Г. рассказала об истории знакомства Гоголя с Н. Н. Шереметевой: "Шереметева, желая со своей стороны навестить Гоголя, сначала несколько раз не заставала его и оставалась беседовать с его матерью, с которой сошлась очень скоро. Марья Ивановна, сама очень добрая и сообщительная, приходила в восторг от чистосердечия наивной старушки и особенно от любви ее к сыну.

Обе женщины охотно проводили целые часы в беседе об общем любимце в уютном антресоле погодинского дома, причем Шереметева неоднократно повторяла свои уверения, что она полюбила ее сына не как знаменитого писателя, а как хорошего человека и доброго христианина". В июле 1851 г. в письме сестрам Елизавете и Анне Гоголь писал о последней, что она "любит вперед сочинять план, не спросясь с карманом, а потом выходить из себя, когда план не выходит, как ей хочется".

ГОГОЛЬ Василий Афанасьевич (1777-1825), урожденный Яновский-Гоголь, отец Гоголя, владелец имения Васильевка в Миргородском уезде Полтавской губернии. В имении было более 200 крепостных и около 1100 десятин земли.

Отец Г. Афанасий Демьянович (Дамианович) Яновский (1738-начало XIX века) происходил из священников, окончил Киевскую Духовную Академию, дослужился до секунд-майора и, получив потомственное дворянство, придумал себе мифическую родословную, восходящую к мифическому казацкому полковнику Андрею Гоголю, будто бы жившему в середине XVII века. Г. окончил Полтавскую духовную семинарию. По утверждению историка В. А. Чаговца, автора "Семейной хроники": "В 1797 году Афанасий Демьянович думал, по старинному дворянскому обычаю, записать своего сына Василия в гвардию с тем, чтобы он выслуживал чины и жил дома, но получил уведомление, что теперь пошли новые порядки и приобретать чины таким образом нельзя. Думали послать Василия Афанасьевича в Московский университет, хлопотали через Д. П. Трощинского, но и это не удалось. Пришлось избрать гражданскую службу в малороссийском почтамте". Историк П. Е. Щеголев, изучавший родословную Гоголя, утверждал: "Василий Афанасьевич "находился при малороссийском почтамте по делам сверх комплекта". В 1798 г. он был произведен из губернских секретарей в титулярные советники. Служба была номинальной, и Василий Афанасьевич не был даже внесен в списки почтамта и должен был ходатайствовать перед Д. П. Трощинским, который был в это время директором почт, о выдаче ему аттестата по службе. "За приключившимися мне тягостными и продолжительными припадками, - изъяснялся он в своем прошении, - проживал я в доме для пользования себя и в списки почтамта остался не вписанным". - В 1805 г. Василий Афанасьевич вышел в отставку с чином коллежского асессора и с этого времени он жил в деревне. Только когда Трощинский приехал на житье в свое имение и был выбран в поветовые маршалы или предводители, Василий Афанасьевич стал служить при нем в роли секретаря маршала (в 1806 г.). В 1812 году Василий Афанасьевич принимал участие в заботах о всеобщем земском ополчении и, по предписанию Трощинского, как дворянин, известный честностью, заведовал собранными для ополчения суммами. Некоторое время он исправлял даже должность маршала".

Биограф Гоголя В. И. Шенрок писал о Г.: "Скудные сведения, которые нам удалось собрать об отце Гоголя, сводятся, главным образом, к тому, что это был человек, выросший и проведший всю жизнь в скромной деревенской обстановке, преданный всей душой семье и родным и не чуждый мечтательного романтизма. По выходе в отставку до самой женитьбы он должен был помогать

родителям в их хозяйственных заботах и большую часть времени употреблял на исполнение разных мелких поручений. Он играл в доме второстепенную роль паныча, которою совершенно удовлетворялся. Самым знаменательным событием в жизни Василия Афанасьевича была, конечно, его женитьба на Марии Ивановне Косяровской... С нею Василий Афанасьевич был знаком еще в детстве; как соседи, они часто видали друг друга; но когда красивая дочь помещика Косяровского, получившая впоследствии от тетки своей Трощинской за нежный цвет лица прозвание белянки, стала подрастать, она произвела сильное впечатление на своего романтика-соседа". Другой биограф Гоголя, П. А. Кулиш, писал о Г.: "Василий Афанасьевич Гоголь, отец поэта, обладал даром рассказывать занимательно, о чем бы ему ни вздумалось, и приправлял свои рассказы врожденным малороссийским комизмом... Его небольшое наследственное село Васильевка, или, - как оно называется исстари, - Яновщина (в честь Афанасия Демьяновича Яновского, первого владельца имения из этого рода, получившего его в приданное за своей женой, Татьяной Семеновной Лизогуб. Б. С.), сделалось центром общественности всего околотка. Гостеприимство, ум и редкий комизм хозяина привлекали туда близких и далеких соседей. В соседстве села Васильевки, в селе Кибиницах, недалеко от местечка Сорочинцы, поселился Дмитрий Прокофьевич Трощинский, гений своего рода, который из бедного казачьего мальчика умел своими способностями и заслугами возвыситься до степени министра юстиции. Трощинский отдыхал в сельском уединении посреди близких своих домашних и земляков. Отец Гоголя был с Трощинским в самых приятельских отношениях. Оригинальный ум и редкий дар слова, каким обладал сосед, были оценены вполне воспитанником высшего столичного круга. С своей стороны Василий Афанасьевич не мог найти ни лучшего собеседника, как бывший министр, ни обширнейшего и более избранного круга слушателей, как тот, который собирался в доме Трощинского. В то время Котляревский только что выступил на сцену со своею "Наталкою-Полтавкою" и "Москалем-Чаривныком". Комедии из родной сферы, после переводов с французского и немецкого, понравились малороссиянам, и не один богатый помещик устраивал для них домашний театр. Собственная ли это была его затея или отец Гоголя придумал для своего патрона новую забаву, не знаем, только старик Гоголь был дирижером такого театра и главным его актером. Этого мало: он ставил на сцену пьесы собственного сочинения, на малороссийском языке. К сожалению, все это считалось не более как шуткою, и никто не думал сберегать игравшиеся на кибинском театре комедии. Единственные следы этой литературной деятельности мы находим в эпиграфах к "Сорочинской ярмарке" и к "Майской ночи" (Гоголь подписал их: "Из малороссийской комедии". - Б. С.)".

Мать Гоголя вспоминала в письме С. Т. Аксакову: "Муж мой писал много стихов и комедий в стихах на русском и малороссийском языках, но сын мой все выпросил у меня, надеясь напечатать. Он тогда был очень молод, и, верно, они сожжены в Италии вместе с его рукописью, не рассмотря, будучи одержим жестокою болезнью; и у меня не осталось ничего на бумаге, а в памяти остался один куплет, который он было написал на бюро его изобретения за доской, когда принес его столяр, и то бюро подарил своему приятелю; я его здесь

помещаю:

Одной природой наслаждаюсь,
Ничьим богатством не прельщаюсь,
Доволен я моей судьбой,
И вот девиз любимый мой".

В конце марта 1825 г. Г. умер. Получив известие об этом, Гоголь 23 апреля 1825 г. писал матери из Нежина: "Не беспокойтесь, дражайшая маминька! Я сей удар перенес с твердостию истинного христианина. Правда, я сперва был поражен ужасно сим известием, однакож не дал никому заметить, что я был опечален. Оставшись же наедине, я предался всей силе безумного отчаяния. Хотел даже посягнуть на жизнь свою. Но Бог удержал меня от сего и к вечеру приметил я в себе только печаль, но уже не порывную, которая наконец превратилась в легкую, едва приметную меланхолию, смешанную с чувством благоговения ко Всевышнему. Благословляю тебя, священная вера! В тебе только я нахожу источник утешения и утоления своей горести! Так, дражайшая маминька! я теперь спокоен - хотя не могу быть счастлив: лишившись лучшего отца, вернейшего друга всего драгоценного моему сердцу. Но разве не осталось ничего, что б меня привязывало к жизни? Разве я не имею еще чувствительной, нежной, добродетельной матери, которая может мне заменить и отца и друга и всего что есть милее, что есть драгоценнее?"

М. И. Гоголь вспоминала о смерти Г.: "Муж мой болел в продолжение четырех лет, и когда пошла кровь горлом, он поехал в Кибинцы, чтобы посоветоваться с доктором. Я была тогда на последнем месяце беременности и не могла ехать с ним. Ему очень не хотелось уезжать, и, прощаясь, он сказал, что, может быть, без меня придется умереть, но потом сам испугался и прибавил: "может, долго там пробуду, но постараюсь поскорее вернуться". Я получала от него часто письма; он все беспокоился обо мне. Я не знала, что жизнь его была в опасности, и далека была от мысли потерять его... После родов, на второй неделе, я только начала ходить по комнате и ожидала мужа, чтобы крестить дитя (О. В. Гоголь. - Б. С.), как вместо мужа приехала жена доктора, акушерка, чтобы по просьбе мужа везти меня к нему. Я очень встревожилась и подумала, что, верно, ему очень худо, если он меня вызывает еще больную. Мы только выехали со двора, как увидели верхового, который подал письмо докторше: она, прочтя письмо, вспыхнула и сказала: "Вернемся! Василий Афанасьевич сам приедет". Когда привезли его тело к церкви, раздался удар колокола. Только на пятый день могли его хоронить, так как многое не было готово. Меня не пускали к нему, пока не внесли в церковь, а то он все был в экипаже. Мне после оворили, что я, увидя его, начала громко говорить к нему и отвечать за него... Я детям не могла писать о нашем несчастии и просила письменно директора в Нежине приготовить к такому удару моего сына; он в таком был горе, что хотел броситься в окно с верхнего этажа".

ГОГОЛЬ Елизавета Васильевна (1824-1864), в замужестве Быкова, сестра Гоголя. С 1851 г. была замужем за Владимиром Ивановичем Быковым, саперным офицером, овдовела в 1862 г.

Г. утверждала в своих "Записках", опубликованных в 1885 г.: "Приезд брата

был для нас истинный праздник. Со мною он был ласковее, чем с другими, и чаще играл и шутил. У старшей сестры была огромная датская собака "Дорогой": брат часто сажал меня на нее и заставлял катать, а сам погонял. Приезжая, брат всегда привозил много разных гостинцев, конфект и проч., очень любил нам делать подарки и никогда не отдавал их все вдруг. Дома он очень входил в хозяйство и занимался усадьбой и садом; он сам раскрасил красками стены и потолки в зале и гостиной, наденет, бывало, белый фартук, станет на высокую скамейку и большими кистями рисует, - так он нарисовал бордюры, букеты и арабески. По утрам он занимался со мною и Annette, и учил нас географии и истории; расскажет сначала сам, а потом заставит повторить сперва Annette, потом меня. Брат приехал за нами, чтобы отвезти нас в Петербург в Патриотический институт (дело происходило в сентябре 1839. - Б. С.), где он преподавал историю. Он хлопотал сам обо всем, входил во все подробности, даже в заказ нашего гардероба, делал нам платья дорожные, для поступления в институт и для других случаев". По свидетельству Г., "в Петербурге брат старался доставить нам всевозможные удовольствия: возил нас по нескольку раз в театр, зверинец и другие места. Раз повез он нас в театр и велел нам оставить наши зеленые капоры в санях извозчика; кончается спектакль, зовем извозчика, а его и след пропал; пришлось, таким образом, брату заказывать новые. Квартиру брат переменял при нас два раза и устраивал решительно все сам, кроме занавесок, которые шила женщина, но которые он все-таки сам кроил и даже показывал, как шить. Вечерами у него бывали гости, но мы почти никогда не выходили; иногда он устраивал большие вечера по приглашению, и тогда опять всегда сам смотрел за всеми приготовлениями и даже сам приготовлял какие-то сухарики, обмакивая их в шоколад, - он их очень любил... Мы прожили таким образом с братом, кажется, с месяц; в это же время он нас сам подготовлял к поступлению в институт, не забывая в то же время покупать нам разные сласти и игрушки. Несмотря на всю свою молодость в то время, он заботился и пекся о нас, как мать... Иногда по вечерам брат уезжал куда-нибудь, и тогда мы ложились спать раньше. Раз, именно в такой вечер, мы уже спали, когда приходит к нам Матрена, жена братнина человека Якима, будит нас и говорит, что брат приказал нас завить, так как на другой день нас отвезут в институт; нас, почти спящих, завили и уложили снова. На другой день нас одели в закрытые шоколадные платья из драдедама, и брат повез нас в институт, где передал начальнице Патриотического института г-же Вистингаузен, маленькой горбатой старушке; она ввела нас в класс и отрекомендовала: "Сестры Гоголя". Нас тотчас же все обступили, как новеньких и вдобавок сестер своего учителя. С большою грустью и слезами расстались мы с братом и водворились в институте... При нас брат недолго оставался учителем, и когда он вызывал нас отвечать, то всех в классе очень занимало, как мы будем отвечать брату, но именно это нас и конфузило, и мы большею частью совсем не хотели отвечать; когда у него бывали уроки в институте, то по окончании их он всегда оставался с нами на полчаса и всегда приносил лакомства. Впрочем, он и сам был большой лакомка, и иногда один съедал целую банку варенья, и если я в это время прошу у него слишком много, то он всегда говорил: "Погоди, я вот лучше покажу тебе, как ест один мой знакомый, смотри - вот так, а другой -

этак" и т. д. И пока я занималась, представлялась и смеялась, он съедал всю банку. У меня была маленькая страсть писать, и я наполнила толстую тетрадь своими сочинениями под названием "Комедии и сказки" и отдала эту тетрадь брату, который, разумеется, тотчас же стал смеяться и рассказал о моем сочинительстве нашему инспектору Плетневу, и тот после часто шутя спрашивал меня в классе о моих сочинениях. Меня всегда это очень конфузило, и больше я уже не пробовала ничего писать. Брат часто пропускал свои уроки, частью по болезни, а частью просто и по лени и наконец отказался совсем".

В 1839 г. Гоголь вновь посетил сестер в столице. Г. вспоминала: "За три месяца до выпуска приехал из Рима брат, и, так как он не мог долго оставаться в Петербурге, то он взял нас раньше выпуска. Брат и тут заботился о нас очень много, он входил положительно во все: ездил по магазинам, заказывая нам платья у Курт, покупая белье и все до последней мелочи, - вероятно, наш выпуск обошелся ему недешево; накануне выхода он сам привез нам все, но все-таки самое нужное он забыл: покупая все до мелочей, забыл купить рубашки и должен был ехать покупать две готовые. В первый раз после 6,5 лет мы надевали свое платье, и это нас очень занимало. Из института брат нас поместил у своих знакомых Балабиных, которые предложили приютить нас у себя до нашего отъезда в Москву; мы у них пробыли почти с месяц и каждый день почти бывали в институте. Брат часто приезжал к Балабиным с нами обедать... Застенчивость положительно была моим мучением. У Балабиных, например, эта застенчивость заставляла нас голодать: я не пила по утрам чаю, а кофе мне было совестно попросить более получашки с крошечным сухариком, и затем я ждала обеда до шести часов. Нас спрашивали, не хотим ли мы завтракать, но мы спешили отказаться, несмотря на сильнейший голод, и когда оставались одни, то спешили к печке и ели уголь положительно от голода, - особенно я, и все это благодаря нелепой застенчивости. За обедом снова мучения - я ничего не ем, тем более что мне приходилось сидеть рядом с одним из сыновей Балабиных. Кушанье я брала, не смотря на блюдо; раз Балабин заметил мне, что я взяла одну кость, я тотчас же оставила вилку, и полились слезы. Иногда, в виде катания, брат возил нас к себе на квартиру, и здесь мы несколько утоляли свой голод всем, что попадалось под руку: калачом, вареньем и проч. В Петербурге же брат познакомил нас с Аксаковыми, - стариком, Сергеем Тимофеевичем, и старшей его дочерью Верой Сергеевной". После Патриотического института сестры вместе с братом отправились в Москву, где остановились у М. П. Погодина. Г. вспоминала: "Брат часто возил нас на литературные вечера с Хомяковым, Свербеевым, Елагиным, Киреевским и другим, хотя мы очень мало вникали в самые чтения: я думаю, что это было для нас в то время слишком серьезно. Брат одевал нас всегда по своему вкусу, и мы неизменно являлись всюду в одних и тех же костюмах, - любимых брата, - белых муслинных платьях. Брат не желал нас отпускать в деревню, говоря, что мы там одичаем, но здоровье сестры Аннет, которое было слабо и которую доктора советовали отправить в деревню в Малороссию и лечить, заставило его написать матери, чтобы она приехала за сестрою, меня же он решил оставить у себя. Брат занимал у Погодиных комнату на хорах, а против него такую же большую занимали мы с Аннет. Я была трусиха и часто просила брата, чтобы он посидел, пока я засну,

и потушил бы свечу, и он всегда исполнял эти прихоти, сядет, бывало, на кровать и ждет, пока я засну. Его я совершенно не конфузилась и была с ним, как с старшей сестрой. Раз он нарисовал меня лежащую в ночном чепчике и кофточке, - я рассердилась и долго приставала к нему отдать мне этот рисунок, который совершенно не был похож на меня".

В апреле 1840 г. М. И. Гоголь увезла А. В. Гоголь в Васильевку. Г. вспоминала: "...Мне стало еще грустнее; брат, чтобы развлечь меня, увел меня в свою комнату и стал мне показывать все, что у него было и что могло бы развлечь меня. Один из ящиков его бюро всегда был наполнен фуляровыми платками. Я очень любила их и часто выпрашивала у брата; теперь он предлагал их мне сколько угодно, но я все только плакала; тогда он стал серьезно объяснять мне, что любит меня больше всех и потому оставил меня здесь, не желая расставаться со мною, и в доказательство он подарил мне свой портрет, - этот подарок меня очень обрадовал, и я немного успокоилась, но лишь только я вошла в комнату, как снова залилась слезами; видя все это, брат просил m-me Погодину не оставлять меня одну в передней комнате, тем более, что я боялась спать одна, и меня переселили в комнату старушки Погодиной. Брат и сам собирался за границу и поэтому стал искать такое семейство, куда меня можно бы было поместить. Ему советовали обратиться ко всеми уважаемой старушке вдове Прасковье Ивановне Раевской. Это была благочестивая и добрая женщина, желавшая провести свою жизнь в монастыре и даже уже жившая там, но любовь к ее маленькой племяннице заставила ее выйти оттуда и снова поселиться в Москве в своем небольшом домике; она была строгая постница и уже десять лет, как не ела ничего скоромного... Это было почти родное семейство, где я вместо предполагаемых пяти месяцев прожила два года".

9 мая 1848 г. Г. описала в дневнике возвращение брата из Иерусалима в родную Васильевку после 6-летнего отсутствия: "9 мая именины брата. - В четыре часа получаем письмо из Полтавы от С. В. Скалон с нарочным, что брат будет сегодня или завтра. Это очень нас обрадовало; я плакала от радости. После человек открыл, что он уже едет и сейчас будет. - Как он переменился! Такой серьезный сделался; ничто, кажется, его не веселит, и такой холодный и равнодушный к нам. Как мне это было больно". Возможно, причина плохого настроения Гоголя заключалась в том, что, по свидетельству О. В. Гоголь, он рассчитывал сделать родным сюрприз, думая, что нагрянет в Васильевку внезапно, когда родные будут праздновать день его ангела. А оказалось, что дома нет и намека на праздник. Вероятно, это обстоятельство сильно обидело писателя, убежденного, что для своих родных и близких он едва ли ни центр мироздания. Г. оставила нам хронику этого пребывания Гоголя на родине в мае 1848 г., свидетельствующую, что из путешествия по святым местам он вернулся отнюдь не просветленным:

"10 мая. - Всё утро мы не видели брата! Грустно: не виделись шесть лет, и не сядет с нами. После обеда были гости.

11 мая. - Утром созвали людей из деревни; угощали, пили за здоровье брата. Меня очень тронуло, что они были так рады его видеть. Пели и танцевали во дворе и были все пьяны. На другой день брат уехал в Полтаву.

13 мая. - Вчера наши вернулись из Полтавы. У нас каждый день гости. Брат

все такой же холодный, серьезный, редко когда улыбнется, однако сегодня больше разговаривал.

20 мая. - Гости у нас каждый день. Сегодня приезжал разносчик за долгом (200 р.), и брат, не говоря ни слова, заплатил ему с тем, чтобы он никогда нам не продавал в долг. И маменьку просил никогда этого не делать.

21 мая. - Весь день почти брат сидел с нами. Я просила, чтобы он взял меня с собою в Киев, но он отказал. У нас с ним были маленькие неприятности, но сегодня все забыто: он мне дал крестики из Иерусалима".

В апреле 1850 г. Гоголь писал Г.: "Хоть ты и пишешь, милая сестра Елисавета, что у тебя куча занятий, но все-таки будет недурно, если ты сверх этой кучи возьмешь на себя хоть одну грядочку и сама своими руками разведешь для меня хоть репы на соус. Ты жалуешься, что тебя никто не любит, но какое нам дело, любит ли нас кто или не любит? Наше дело: любим ли мы? Умеем ли мы любить? А платит ли нам кто за любовь любовью, это не наше дело, за это взыщет Бог, наше дело любить. Только мне кажется, любовь всегда взаимна. Если только мы постараемся делать что-нибудь угодное и приятное тому, кого любим, ничего от него не требуя, ничего не прося в награду, то наконец полюбит и он нас. Стало быть, размысли об этом, моя добрая и временами весьма неглупая сестра, не в тебе ли самой причина. Над собой нужно бодрствовать ежеминутно. Надо стараться всех любить, а не то в сердце явится такая сухость, такая черствость, поселившаяся в сердце и не дающая места в нем для любви. И натура наша сделается только раздражительная, но не любящая. Брату твоей доброй подруги - будущему архитектору - книгу с рисунками церквей пришлю. Я не забыл... Общественные женские заведенья вообще дурны, а теперь стали еще хуже. Тому, что всего нужней, везде учат плохо. Вижу и удостоверяюсь всё более, что женщина воспитывается только в семье".

14 июля 1851 г. Гоголь писал жениху Г. В. И. Быкову: "Душевно рад иметь вас как родного и близкого человека. Сестра моя Елизавета не без качеств, могущих составить счастие мужа, если только будет постоянно о том молиться Богу".

В июле 1851 г. Гоголь писал Г. и А. В. Гоголь в связи с предстоящей свадьбой: "О суете вы хлопочете, сестры. Никто ничего от вас не требует так давай самим задавать себе и выдумывать хлопоты! Жених - человек неглупый: просит и молит о том только, чтобы ничего не готовить, так давай самим. Не спорю, что хорошо бы и то, и другое, да если нет, так что тут хлопотать? На нет и суда нет. Тут хоть тресни, а из ничего и сваришь ничего. Тут как пусть себе не досадует сестра Анна (которая любит вперед сочинять план, не спросясь с карманом, а потом выходить из себя, когда план не выходит, как ей хочется) - не даст Бог возможности, ничего не сделаешь. А мой совет - свадьбу поскорей да без всяких приглашений и затей: обыкновенный обед в семье, как делается это и между теми, которые нас гораздо побогаче, - да и всё тут. А какой-нибудь щебетунье-соседке, любящей потолковать о приданом, сказать, что это не всё, что обещал, мол, брат выслать белья и всего из Москвы через месяц - и ни слова больше. Хотел бы очень приехать если не к свадьбе, то через недели две после свадьбы - но плохи мои обстоятельства. Не устроил дел своих так, чтобы иметь

средства прожить эту зиму в Крыму (проезд не по карману, платить за квартиру и стол то же не по силам), и поневоле должен остаться в Москве. Последняя зима была здесь для меня очень тяжела. Боюсь, чтобы не проболеть опять, потому что суровый климат действует на меня с каждым годом вредоносней, и не хотелось бы мне очень здесь остаться. Но наше дело - покорность, а не ропот. Сложить руки крестом и говорить: да будет воля Твоя, Господи! а не сделай так, как я хочу!"

ГОГОЛЬ Мария Васильевна (1811-1844), сестра Гоголя. В 1832-1836 г.г. была замужем за землемером Петром Осиповичем Трушковским, но в 1836 году овдовела и осталась одна с сыном Колей (1833-1862), ставшим редактором первого посмертного собрания сочинений Гоголя.

По свидетельству О. В. Гоголь, одна из коммерческих авантюр мужа Г. едва не разорило все семейство Гоголей: "Сестра Марья Васильевна вышла замуж за поляка П. О. Трушковского, очень красивого, но он не имел никаких средств к жизни, кроме службы в чертежной. Женившись, они остались жить у нас, потому что у него не было средств даже квартиру нанять. Он ездил на службу в Полтаву, а большую часть жил у нас. Завел парники и виноград и табачную плантацию, - помню, как я ему помогала листья расправлять, - после затеял кожевенную фабрику, ввел мать в долги (ей пришлось продать свой хутор в Кременчугском уезде, который достался ей в приданое, кроме того заложили половину Васильевки) и на этой фабрике прогорел".

Сначала Гоголь относился к Трушковскому с подозрением. В письме матери от 16 апреля 1831 г. он специально отмечал: "Сестрице Марии не пишу потому, что должен бы был говорить о часто поминаемом ею в письме поляке, а они теперь люди подозрительные". Однако в дальнейшем Гоголь с Трушковским подружились, и в письме матери и сестрам Гоголь неизменно передавал привет и обнимал "дорогого Павла Осиповича".

В письме матери от 12 апреля1835 г. Гоголь сообщал о своих хлопотах по перезаложению в ломбарде имения, отмечая при этом: "...Я хотя не хвалюсь ни хозяйственными познаниями, ни тем, что от меня ничего не скроется, но по крайней мере я имею довольно ясный взгляд на вещи, чтобы видеть верное и благоразумное и что неверно. Вы вспомните, как я вам отсоветывывал заводить фабрику кож. Я не отвергал полезности, но разве я не вооружался против этих подрядов и шивки сапогов и разных сложных вещей, которые можно предпринимать тогда только, когда твердое основание положится. Я удивлялся, как вы не видели, что денег вначале больших вовсе не нужно. Я видел, что всё предприятие было до крайности детское. Я не хотел идти явно наперекор и вооружать против себя, но я из Петербурга писал к вам и, чтобы придать более весу словам моим, говорил, что советовался с опытными мастерами, между тем как это было просто мое мнение. Вы имеете прекрасное сердце и, может быть, это настоящая причина, что вас не трудно обмануть".

Когда Трушковский умер, Гоголь 21 сентября 1836 г. ответил из Лозанны матери, сообщившей ему эту печальную весть: "Неприятная новость, которую вы сообщаете в письме вашем, поразила меня. Всегда жалко, когда видишь человека в свежих и цветущих летах похищенного смертью. Еще более, если

этот человек был близок к нам. Но мы должны быть тверды и считать наши несчастия за ничто, если хотим быть христианами".

В сентябре 1842 г. Гоголь писал Г. из Гастейна: "Я получил письмо твое. Оно наполнено похвалами, которых я так же мало достоин, как мало был достоин тех низких упреков и тех подлых поступков, которых ты мне придала в прежнем письме твоем. О воспитании твоего Коли я забочусь, потому что это наш христианский долг - образовать и воспитать душу, чтобы не пустая молитва, а дело означили любовь нашу к Богу. Прекрасная душа мне дорога. И молитва ничто мне, если суетна, напротив того, она страшна даже, потому что ниспровергается на голову тех, которые всуе произносят. Если человек молится и не умеет удержаться от чувства гордости и самолюбия, и негодует, и ропщет на оскорбление, которое ему нанесли, если он молится и не умеет чувствовать любви даже и к врагам своим, то молитва его будет вопиять против его самого. Я вижу из письма твоего, что молишься и учишь даже и Колю падать на колени. Молиться прекрасно и нужно. Но послушай слово желающего тебе истинно добра и старайся молиться, как должен молиться христианин. Приходило ли тебе когда-либо живо в ум, не приступая к молитве, произвести сердечную исповедь. Умеешь ли ты припомнить свои поступки и строго осудить их? Умеешь ли ты во всем обвинить себя, а не других, потому что обвинение других есть уже не христианское чувство, хотя бы даже другие и точно были виноваты, а без христианского чувства нельзя молиться. Умеешь ли ты сказать вместо слов: Господи, прости таким-то, которые нанесли мне зло, - Господи, прости меня за то, что мне кажется, будто они нанесли мне зло. Если ты умеешь это сделать, то тогда прекрасна твоя молитва, она понесется прямо к Богу, она доставит много душевных глубоких утешений. У тебя, я знаю, часто в голове бродит мысль, что я тебя меньше люблю, чем других. Знай же, я говорю тебе совершенную истину в эту минуту, - я никого из вас еще до сих пор не люблю так, как бы я хотел любить. Я ту из вас могу только любить, которая будет великодушнее всех других, которая будет уметь облобызать и броситься на шею к тому, кто оскорбит ее чем-нибудь, которая позабудет совершенно о себе и будет думать только о других сестрах, которая позабудет о своем счастье и будет думать только о счастии других. Та только будет сестра души моей, а до сих пор такой нет между вами, и сердце мое равно закрыто ко всем вам. Вот что я должен сказать вам, чтобы объяснить, почему я зол и почему сердце мое не в состоянии никого из вас любить так, как бы я хотел любить".

Во время последней болезни Г. Гоголь 6 апреля н. ст. 1844 г. писал матери: "Сестре моей Марии от всей души желаю утишения болезней, как душевных, так и телесных. Я молился о ней, но спокойствие ее зависит от нее самой. Если она в силах так полюбить Бога, чтобы позабыть о привязанности земной, тогда и Бог ее полюбит и, вероятно, не откажет ни в чем". Он не знал, что накануне, 24 марта (5 апреля н. ст.) 1844 г. Г. умерла. 16 мая н. ст. 1844 г. Гоголь в письме А. О. Смирновой просил отслужить панихиду по своей усопшей сестре Марии. Матери же он 12 июня н. ст. 1844 г. писал из Франкфурта на Майне: "Получив письмо ваше, маминька, с известием о смерти сестры, я отправился немедленно в Стутгардт, где наша церковь, и отслужил по ней панихиду в один и тот же день вместе с панихидой покойной королевы Екатерины Павловны (дочери

императора Павла I, королевы Вюртембергской. Б. С.), на гробе которой выстроена наша церковь. Молясь о душе королевы, которая была прекрасна, я молил ее в то же время помолиться и о душе сестры моей. Как бы то ни было, я верю твердо в милосердие Божие и вам советую также. Сестра моя выстрадала на земле свои заблуждения, и Бог для того послал ей в жизни страдания, чтобы ей легче было на том свете. Итак, отгоните от сердца всякое сокрушение. Иначе это будет грех. Молитесь о ней, но не грустите".

ГОГОЛЬ Мария Ивановна (1791-1868), урожденная Косяровская, мать Гоголя. Вышла замуж за В. А. Гоголя в 1805 г.

Историю знакомства с ним Г. описала в письме С. Т. Аксакову 3 апреля 1856 г.: "Когда Василий Афанасьевич Гоголь приезжал в каникулы домой, и в то время ездил со своей матушкой в Ахтырку, Харьковской губернии, на богомолье, там есть чудовной образ Божьей матери, они были там в обедне, отправляли молебен и остались там ночевать, и он видел во сне тот же храм. Он стоял в нем по левую сторону; вдруг царские врата отворились, и вышла царица в порфире и короне и начала говорить к нему при других словах, которых он не помнил: "Ты будешь одержим многими болезнями (и точно, он страдал многими недугами и, наконец, лихорадкой, которая продолжалась у него два года; никакие средства не помогали, один д-р Трофимовский освободил его от нее), но то все пройдет, - царица небесная сказала ему: ты выздоровеешь, женишься, и вот твоя жена". - Выговоря эти слова, подняла вверх руку, и он увидел у ее ног маленькое дитя, сидящее на полу, которого черты врезались в его памяти. Потом он приехал домой, рассеялся и забыл тот сон. Родители его, не имея тогда церкви, ездили в местечко Ярески при реке Псле. Там он познакомился с теткой моей, и, когда вынесла кормилица дитя семи месяцев, он взглянул на него и остановился от удивления: ему представились те самые черты ребенка, которые показали ему во сне. Не сказавши о том никому, он начал следить за мной; когда я начала подрастать, то он забавлял меня разными игрушками, даже не скучал, когда играла в куклы, строил домики с карт, и тетка моя не могла надивиться, как это молодой человек не скучал заниматься с таким дитем по целым дням; я хорошо знала его и привыкла, часто видя, любить его; потом, спустя тринадцать лет, он видел тот же сон и в том же храме, но не царские врата отворились, а боковые алтаря, и вышла девица в белом платье с блестящей короной на голове, красоты неописанной, и, показав рукой в левую сторону, сказала: "Вот твоя невеста!" Он оглянулся в ту сторону и увидел девочку в белом платьице, сидящую за работой перед маленьким столиком и имеющую те же черты лица. И после того скоро мы возвратились из Харькова, и муж мой просил родителей моих отдать меня за него".

В. И. Шенроку о своем знакомстве с В. А. Гоголем Г. рассказывала следующее: "Тогда мне было всего тринадцать лет. Я чувствовала к нему что-то особенное, но оставалась спокойной. Жених мой часто навещал нас. Он иногда спрашивал меня, могу ли я терпеть его и не скучаю ли с ним. Я отвечала, что мне с ним приятно, и действительно, он был всегда очень любезен и внимателен ко мне с самого детства. Когда я, бывало, гуляла с девушками к реке Пслу, то слышала приятную музыку из-за кустов другого берега. Нетрудно было

догадаться, что это был он. Когда я приближалась, то музыка в разных направлениях сопутствовала мне до самого дома, скрываясь в садах. Когда я рассказывала об этом тетушке, она, улыбаясь, говорила: "Вот, кстати ты вышла гулять! Он любит природу и, пользуясь хорошей погодой, наслаждается музыкой. Но ты больше не ходи гулять так далеко от дому". Один раз, не найдя меня дома, он пошел в сад. Увидя его, я задрожала и вернулась домой. Когда мы остались одни, он спросил меня, люблю ли я его; я отвечала, что люблю, как всех людей. Удивляюсь, как я могла скрывать свои чувства на четырнадцатом году. Когда я ушла, он сказал тетке, что очень желал бы жениться на мне, но сомневается, могу ли я любить его. Она отвечала, что я люблю его, что я доброе дитя и могу быть хорошей женой, что она уверена, что я люблю его, потому что скучаю, когда долго его не вижу, а что я так отвечала потому, что боюсь мужчин, наслышавшись от нее, какие они бывают лукавые. Когда он уехал, тетка позвала меня и передала мне его предложение. Я сказала, что боюсь, что подруги будут смеяться надо мной; но она меня урезонила, и нас сговорили. Родители взяли меня к себе, чтобы приготовить кое-что, и я уже не так скучала, потому что жених мой часто приезжал, а когда не мог приехать, то писал письма, которые я, не распечатывая, отдавала отцу. Читая их, он, улыбаясь, говорил: "Видно, что начитался романов!" Письма были наполнены нежными выражениями, и отец диктовал мне ответы. Письма жениха я всегда носила с собой. Свадьба наша назначалась через год. Когда мне было четырнадцать лет, нас повенчали в местечке Яресках; потом муж мой уехал, а я осталась у тетки, оттого что еще была слишком молода; потом гостила у родителей, где часто с ним видалась. Но в начале ноября он стал просить родителей отдать ему меня, говоря, что не может более жить без меня. Так вместо году я пробыла у них один месяц. Они благословили меня и отпустили. Он меня привез в деревню Васильевку, где встретили нас отец и мать. Они приняли меня, как родную дочь. Свекровь наряжала меня по своему вкусу и надевала на меня свои старинные вещи. Любовь ко мне мужа была неописанная; я была вполне счастлива. Он был старее меня на тринадцать лет. Я никуда не выезжала, находя все счастье дома". В Васильевке потекла размеренная сельская жизнь, о которой Г. вспоминала так: "В деревне нашей было 130 душ. Я не выезжала ни на какие собрания и балы, находя все счастье в своем семействе; мы не могли разлучаться друг от друга ни на один день, и когда он ездил по хозяйству в поле в маленьких дрожках, то всегда брал меня с собою. Если же случалось, что мне надобно было остаться дома, то я боялась за него; мне казалось, что я не увижу его. Мы почти не разлучались до приезда из Петербурга Д. П. Трощинского. Он не хотел нас отпускать домой, очень любил моего мужа. Там я увидела все, чего не искала в свете, и балы, и театры, и отличное общество, приезжавшее к нему из обеих столиц; но всегда была рада, когда могла ехать в Васильевку, где я иногда проживала одна для моей свекрови: она скучала одна, а мой муж должен был оставаться у Трощинского, служащего тогда предводителем по выборам в военное время, и дворянская сумма была на руках моего мужа. Когда он сдавал ее, то дворяне без счету от него приняли; не мог их принудить счесть". У Г. было 12 детей, из которых 5 сыновей и 3 дочери умерли в младенчестве и детстве (в том числе Иван - 9 и Татьяна - 2 лет от роду).

После смерти мужа в марте 1825 г. Г. все свое время отдавала ведению хозяйства. Она вспоминала: "Я занялась всем по мужской части в поле, потом и письменными делами, считая священною обязанностью сберегать все для детей и улучшать, сколько позволяли способы. При муже я не занималась такими хлопотами, только по дому и детьми; но теперь все обрушилось на мою голову. Может, такие насильные занятия и спасли меня, что время начало уносить мое горе; имея отраду тогда в моем сыне и необыкновенное здоровие мое, перенеся так много, начала переходить в первобытное состояние".

Г. жаловалась в письмах А. А. Трощинскому 23 и 30 ноября 1830 г., что Гоголь слишком много тратит денег на книги, ради которых готов отказаться от пищи, и что это тоже может стать разорительной страстью, хотя и не постыдной, в отличие от карточной игры. Гоголь очень любил мать и всю жизнь писал ей письма. Он написал ей писем больше, чем кому-либо еще из своих корреспондентов.

В 1832 г., попытавшись по совету своего зятя П. О. Трушковского, мужа М. В. Гоголь, Г. чуть не разорилась. Позднее она вспоминала в "Автобиографической записке": "Я послушала неопытных людей и завела кожевенную фабрику. Попавшийся к нам шарлатан, австрийский подданный (поляк Трушковский был выходцем из австрийской Галиции. - Б. С.), уверил, что мы будем получать по 8000 рублей годового дохода на первый случай, а дальше еще и больше... В тот год (1832. - Б. С.) приехал сын мой и посоветовал нам начать с маленького масштабу; фабрикант сказал: "зачем терять время даром, почему не получать вместо пяти тысяч сто?" Нанято было сапожников двадцать пять человек, как подскочил страшный голод; покупали хлеб по три рубля пуд, а между тем фабрикант наш намочил кожи и сдал на руки ученикам, которые ничего не знали, а сам, набравши несколько сотен сапогов, поехал продавать и, получа деньги, на шампанское с своими знакомыми пропил. (Мы не знали, что он имел слабость пить.) Возвратясь, он сказал, что ездил для больших для фабрики дел, а о такой безделице он не намерен отдавать отчета, и что он договорился с полковником на ранцы. Тогда я его позвала и объявила, что больше на словах не верю ничего, когда не покажет на деле. И, так как он долго не возвращался, то кожи, оставленные им, все испортились, и он бежал, и мы не знали, что с теми кожами делать; и обманул еще пять помещиков, очень аккуратных и умных. Наконец, умер, и столько было наделано долгов, занимая в разных руках, что должны были заложить Васильевку, чтобы с ними расплатиться, на двадцать шесть лет, и платить по пятьсот рублей серебром проценту. И винокурня уничтожена, земляная мельница уничтожена для толчения дубовой коры, для выделки кож, и совершенно оставил нам расстроенное имение". Неудачный опыт с кожевенным заводом побудил Гоголя в "Выбранных местах из переписки с друзьями" советовать помещикам не заводить в имении каких-либо промышленных предприятий. А горе-предприниматель П. О. Трушковский, возможно, послужил одним из прототипов Ноздрева, который редко когда увозил с ярмарки деньги за проданный товар.

По свидетельству А. С. Данилевского, Г. "всегда говорила о сыне с гордостью любящей и счастливой матери, с восторгом, со страстью и, при всей

беспредельной доброте, готова была за малейшее слово о нем поссориться с каждым. В обожании сына Марья Ивановна доходила до Геркулесовых столбов, приписывая ему все новейшие изобретения (пароходы, железные дороги) и, к величайшей досаде сына, рассказывала об этом при каждом удобном случае. Разубедить ее не могли бы никакие силы".

26 апреля 1835 г. Г. подала в ревизскую комиссию Миргородского уезда "ревизскую сказку", согласно которой в Васильевке значилось "дворовых мужеска пола 5 и женска 2, и крестьян мужеска пола 193 и женска 184, всего о 384-х душах". 12 апреля 1840 г. Гоголь писал Н. Д. Белозерскому: "Ради Бога, если случится вам быть в Полтаве, приезжайте ко мне в деревню Васильевку, в тридцати пяти верстах от Полтавы. Вы мне сделаете великую услугу и благодеяние. Вот в чем дело: рассмотрите ее и положение, в каком она находится, и напишите об этом мне, а также и чем можно поправить обстоятельства. Дела запущены мною. Маминька - предобрейшая и слабейшая женщина, ее обманывают на каждом шагу. Вы человек умный и знающий: вы заметите тотчас то, чего я сам никак не замечу, ибо я, признаюсь, теперь едва даже могу заметить, что существую. Сделайте мне эту милость... Маминька несколько раз слышала об вас от меня и будет рада вам несказанно... Когда она будет говорить о хозяйстве... Она, бедная, твердо уверена, что у ней то и то сделано, когда между прочим ни того, ни другого не делано; что это в этом положении, а не в том положении".

В мае 1849 г. Гоголь писал Г.: "...Я не понимаю, отчего вы так заботитесь о приобретении для детей ваших в нынешнее время, когда всё так шатко и неверно и когда имеющий имущество в несколько раз больше неспокоен бедняка. Слава Богу! Бог Сам пристраивает детей Ваших: ни я не женился, ни сестры мои не вступили в брак, стало быть, меньше забот и хлопот. И в этом великая милость Божия. Как посмотришь вокруг, сколько несчастных родителей, не знающих, куда деть своих детей! Сердце дрожит, когда помыслишь, какая страшная участь грозит им посреди их ожидающего разврата. А непристроенные семейства умножаются с каждым годом всё больше и больше, а прихоти всё растут, и каждому хочется жить так же, как живет его сосед. Жить попросту, как должен жить человек, никто не хочет. Удерживать, умерять себя никто не умеет, потому что никто не занят истинным делом, а в праздности много приходит человеку тех прихотей, о которых бы он и не подумал, если бы был, точно, занят".

24 мая 1850 г. Гоголь из Москвы писал матери: "Опечалило меня... известие, что через нашу деревню хотят пролагать дорогу. От этого только новые повинности, новые заботы и разврат, присутствующий всегда в деревнях, находящихся при больших дорогах. Всякая проезжая сволочь будет подущать и развращать мужиков, которые, слава Богу, до сих пор все еще нравственней других. Не предавайтесь также мечтам, будто вы от этого выиграете относительно доходов. Выиграют только торгаши да переторжники, да жиды, да содержатели кабаков и постоялых дворов, которые настроятся вокруг вас во множестве и с которыми у вас еще заведутся дела по судам, от чего да сохранит вас Бог! Употребите лучше все меры и все силы, чтобы всё то, что вы рассказали губернатору о пользе дороги через нашу деревню, не имело бы

никакого действия и осталось бы так только в предположении. Поверьте, что если б даже и случилось выиграть какой-нибудь рубль лишний, то он не выкупит разврата крестьян, за которых вы дадите ответ Богу. Лучше думать о том, что есть, хранить то, что есть, благодарить Бога за то, чем пользуемся; тогда и взгляд наш будет яснее, и душа покойнее, и хозяйство нечувствительно станет идти лучше. А все эти предположенья в будущем только распаляют воображенье, повергают человека в состоянье вечной тревоги и потемняют взгляд на вещи".

по свидетельству А. С. Данилевского, "в 1851 году, когда Гоголь в последний раз виделся с матерью, она, как всегда, просила его не торопиться с отъездом и говорила ему: "Останься еще! Бог знает, когда увидимся!" И Гоголь несколько раз оставался и снова собирался в дорогу, и, наконец, отслужив молебен с коленопреклонением, причем он весьма горячо и усердно молился, расстался с ней навсегда..."

Последнее письмо матери Гоголь написал 4 февраля 1852 г.: "Благодарю вас, бесценная моя матушка, что вы обо мне молитесь. Мне так всегда бывает сладко в те минуты, когда вы обо мне молитесь! О, как много делает молитва матери! Берегите же ради Бога себя для нас. Храните ваше драгоценное нам здоровье. В последнее время вы стали подвержены воспалительностям в крови. Вам нужно бы, может быть, весеннее леченье травами, разумеется, при воздержании в пище и диэте. Вообще же всем полнокровным, как и сами знаете, следует, остерегаться от всего горячительного в пище. Ради Бога, посоветуйтесь с хорошим доктором. Молитесь и обо мне, молитесь и о себе вместе. О, как нужны нам молитвы ваши! как они нужны нам для нашего устроенья внутреннего! Пошли вам Бог провести пост духовно и благодатно всем вам. В здоровье моем всё еще чего-то недостает, чтобы ему укрепиться. До сих пор не могу приняться ни за труды, как следует, ни за обычные дела, которые оттого приостановились. О, да вразумит вас во всем Бог, не смущайтесь ничем вокруг, никакими неудачами, только молитесь, и всё будет хорошо".

ГОГОЛЬ Ольга Васильевна (1825-1907), сестра Гоголя, в замужестве Головня. Она оставила нам семейные предания о детских годах Гоголя: "Рассказывают, когда брат был маленьким, то ходил к бабушке и просил шерсти, вроде гаруса, чтобы выткать поясок: он на гребенке ткал пояски".

Г. утверждала, что Гоголь, как и она, сама, не очень хорошо слышал (возможно, у Гоголей это было наследственное), и оставила нам подробный портрет писателя: "Брат мой был немножко глуховат, но только на одно ухо, и при разговоре иногда склонялся ухом к говорившему и спрашивал: "А?" Волосы у него были русые, а глаза - коричневые. В детстве у него были светлые волосы, а потом потемнели. Росту он был ниже среднего; худощавым я его никогда не видела; лицо у него было круглое, и всегда у него был хороший цвет лица, я не видала его болезненно-бледным. Немножко он был сутуловат, это заметнее было, когда он сидел. Говорят, где-то кто-то слышал, как он малороссийские песни пел, а я не слышала, как он пел. Он любил слушать, как поют или играют. Меня часто просил играть ему на фортепиано малороссийские песни. "А ну-ка, - говорит, - сыграй мне чоботы". Стану играть, а он слушает и ногой притопывает.

Ужасно любил он малороссийские песни. Видела я, как он раз нищих позвал, и они ему пели. Но это он хотел сделать так, чтобы никто из нас не видел: он позвал их к себе в комнату. Брат жил тогда во флигеле".

Г. оставила нам описание печального происшествия, чуть не разорившего все семейство: "Сестра Марья Васильевна вышла замуж за поляка П. О. Трушковского, очень красивого, но он не имел никаких средств к жизни, кроме службы в чертежной. Женившись, они остались жить у нас, потому что у него не было средств даже квартиру нанять. Он ездил на службу в Полтаву, а большую часть жил у нас. Завел парники и виноград и табачную плантацию, помню, как я ему помогала листья расправлять, - после затеял кожевенную фабрику, ввел мать в долги (ей пришлось продать свой хутор в Кременчугском уезде, который достался ей в приданое, кроме того заложили половину Васильевки) и на этой фабрике прогорел".

Г., страдавшая глухотой, вспоминала, что брат всегда заботился о ней и стремился ее развивать, но быстро оставил это намерение: "Когда мне минуло десять лет, тогда брат приехал, чтобы меня взять в Петербург, но сестра сказала ему, что у меня, кроме глухоты, и памяти нет, а брат сказал: "Это ты не хочешь с нею заниматься, и мать ее балует; у меня будет у нее память!" И задал мне французский разговор целую страницу, а сестра (М. В. Гоголь. - Б. С.) всегда задавала мне по две строчки. И я до самого обеда учила не уставая, а когда подали обед, брат спрашивает; я не могла ни одного слова ответить. Он оставил меня без обеда, потом до вечернего чая тоже не знала уроков, а до ужина одно или два слова ответила. Тогда брат удостоверился, что нет памяти; кроме того, порешили, что золотушные не переносят петербургского климата, и кончилось тем, что брат сказал матери: "Воспитывайте ее сами!" - и уехал... Помню, когда мне было еще лет десять, братец подарил мне стеклянное колечко, которое мне очень понравилось. Я надела его на палец и все любовались блеском его на солнце. Когда сели обедать, я по обыкновению поместилась подле братца, чтобы слышать его приятный голос, и мне захотелось снять колечко и надеть его на другой палец, но нечаянно я уронила его на тарелку; оно издало очень понравившийся мне звук; но очевидно, этот звук братцу показался очень резким - он в это время вел серьезный разговор, кажется, с приехавшим в гости соседним помещиком Чернышем. - "Оленька, перестань!" - сказал он, прерывая свою речь. Я спрятала колечко, но через минуту мне страшно захотелось снова услышать приятный звон колечка, и я как бы нечаянно снова уронила его на тарелку. Братец молча взял у меня кольцо и спрятал его в карман. Когда гости разъехались, я подошла к нему и робко попросила его: "Братец, отдайте мне колечко". - "Не отдам, ты непослушная", - ответил братец с улыбкой, которая дала мне смелость повторить мою просьбу. "Ну, поди возьми его в гостиной на окне", - сказал, улыбаясь, братец. Я побежала в гостиную: там на окне действительно лежало мое колечко, но когда я захотела его взять, оно рассыпалось на кусочки. Я со слезами возвратилась к братцу и тихо-тихо сказала ему: "Братец, зачем вы его разбили?" Ему, очевидно, сделалось жаль меня, и он пообещал мне купить другое, еще лучше". Она также свидетельствовала: "Сестры между собой не дружно жили; хотя я не слышала, чтобы они когда ссорились, но заметила, что одна с другой никогда не говорила.

Вероятно, мать жаловалась старухе матери Погодина, что они не дружны между собой до ненависти. Старуха говорила матери: "Вы не справитесь с ними. Подумайте, три дочери взрослые, да еще дома у вас вдова! Поэтому необходимо вам нужно одну оставить". Так и с братом порешили. Так как Аннет с малых лет была любимицей матери, то Лизу брат оставил и пристроил".

Г. описала, как Гоголь вернулся в Васильевку после путешествия в Иерусалим 9 мая 1948 г., в день собственных именин: "После того, как брат возвратился из Иерусалима, первый его приезд - 9 мая утром, в день своего ангела; вероятно, думал, что его именины празднуют, и хотел сюрприз нам сделать, а оказалось - ничего не было, ни пирогов, ни шампанского, даже люди на панщине работали. С приезда его сейчас работников распустили... Мне кажется, брат был разочарован поездкой в Иерусалим, потому что он не хотел нам рассказывать. Когда просили его рассказать, он сказал: "Можете прочесть "Путешествие в Иерусалим". По его действиям, как я замечала, видно, что он обратился более всего к Евангелию, и мне советовал, чтобы постоянно на столе лежало Евангелие. Он всегда при себе держал Евангелие, даже в дороге. Когда он ездил с нами в Сорочинцы, в экипаже читал Евангелие. Видна была его любовь ко всем. Он своими трудовыми деньгами многим помогал, и сам не нуждался и ни в чем себе не отказывал". Она также отмечала, что "часто брат давал деньги для помощи истинно нуждающимся. Если ему говорили, почему он о себе не думает, что самому ему понадобятся деньги, он отвечал: - "Я и думаю о себе. Это я взаймы даю: на том свете я получу обратно".

Г. так рисует нам повседневную жизнь Гоголя в Васильевке: "В одной комнате стояла его кровать и конторка, на которой он занимался, а в другой комнате, между окнами - ломберный стол; там лежали его книги, которые он с собою привозил. Потом заказал столяру полки, вроде этажерки, на тот стол поставил для книг... В этой самой комнате еще стоял диван, перед диваном круглый стол, по бокам кресла... Вставал он в шесть часов, выпивши кофе, занимался. Писал на конторке, всегда стоя. До обеда мы не виделись с ним, потом, погуляв в саду, приходил к нам. В час обедали, после обеда в гостиной с нами посидит два часа, и все за работой; и он придумал себе работу: раскрашивал библейские картины, говорил, чтобы я эти картины раздавала мужикам и рассказывала им историю этих картин. Я стала примечать, что он любит, то приготовляла ему. За обедом я ставила перед его прибором две маленькие вазы варенья, какие он любил; водку он просил настаивать на белой нехворощи; говорил, что она полезна. За обедом я всегда около него сидела. Всякий раз, когда увидит, что я любимое его поставлю, всегда с улыбкой кивнет головой. Бывало, как я увижу, когда он перед обедом ходит в саду, я тотчас иду в сад, и он с улыбкой встречается. Всякий раз его улыбка меня в восторг приводила; всегдашнее мое желание было все сделать, что ему нравится. Раз мы были в церкви, он увидел, что священник нам раздавал просфоры, а людям - никому. Когда возвращался из церкви, он шел со мною, положил на мое плечо руку и просил, чтобы я велела на каждое служенье печь по 25 просфор и на четыре части нарезать, отправлять в церковь, чтобы священник раздавал людям; а чтобы не брать у матери муки, - "я буду тебе высылать деньги на муку", а пока дал 25 рублей, и я это вполне выполнила. Потом он предложил мне: "Хочешь,

пойдем к мужикам, посмотрим, как они живут". Я с удовольствием пошла с ним. Входим в первую избу, там застали только одну молодицу. Она с таким радушием просила нас садиться на лавку, говорила: "А мени сю ничь приснилось, что в мою хату влетели дви птычки. Оцеж против того и приснилося, що вы пришли". В это время положила солому в печь и сжарила нам яишницу; чтобы ее не обидеть, немного поели. Потом пошли в другую избу. Там увидели - в сенях чистота, аккуратно висели ведра и разные хозяйственные принадлежности; как видимо, зажиточный мужик. И в хату взглянули, но нас не пригласили садиться. Брат посмотрел и похвалил его, сказал: "Видно, что трудящиеся люди". А к другому зашли - в сенях пустота, в хате тускло. Брат сказал ему: "Надо трудиться и стараться, чтобы у вас все было". Дальше не захотел: на трех хатах увидел, как они живут. В другое время брат предложил мне поехать к жнецам; в то время был плохой урожай и хлеб такой низкий был, что нельзя было жать, и они руками вырывали с корнями. Мы подъехали к жнецам; брат встал, подошел к ним, спрашивал: "Тяжелее рвать, как жать?" - "Жать легче, а рвать - на ладони мозоли понабилися". А он сказал им в утешение: "Трудитеся, чтобы заслужить царство небесное". Потом заехали в пасеку; тогда был пасечник старичок (уж не прототип ли "Рудого Панька" из "Вечеров на хуторе близ Диканьки"? - Б. С.). О чем они говорили, не слыхала, только последние слова: "Чем старее, тем больше будешь спасаться". - Э, ни, пане, бильше греха наберется". Потом отправился домой". Этот рассказ находит подтверждение в письме Гоголя матери и сестрам, отправленном в конце марта 1849 года: "Посылаю пятьдесят рублей серебром в пользу страждущих. 25 рублей серебром поступят сестре Ольге на известное употребление (т. е. на печение просфор), другие же двадцать пять сестре Анне на раздачу необходимого хлеба голодным. Всего лучше, если бы эта раздача производилась в виде платы за работу в саду. Даром не должен человек получать, разве тогда уже, когда не станет сил работать. Благодарю от души сестру Анну за то, что она старается доказать на деле ко мне любовь исполненьем просьб насчет работ в саду. Я уверен, что эти занятия доставят потом усладу и ей самой; благодарю также и племянника Колю за то, что помогает ей. В самих же работах нужно руководствоваться возможностями и никак не отрывать для саду от других, важнейших работ. Особенно не занимать подвод, которые, по случаю скотского падежа, стали теперь дороги и редки. Нужно помнить, что есть занятия, еще важнейшие в хозяйстве, которые (увы!) мы бросили как скучные и ничего не говорящие душе. Много, много мы бросили душеспасительных трудов и, заботясь только о себе, в то время, когда вся жизнь наша должна быть забота о других, потеряли свое".

В своих воспоминаниях Г. сообщает, как именно Гоголь организовывал работы в саду: "По другую сторону пруда у нас был сад. Там было вроде леса, никакой дорожки не было; брат принялся делать аллеи; прежде, как были люди крепостные - три дня панщина, а три дня их дни, то брат, чтобы не лишить матери работников, нанимал работников на их днях чистить дорожки. Сам там был по целым дням. Раз спросил у меня: "Ты можешь встать в три часа, чтобы побыть около работников, пока я приеду?" Я обещала встать и велела разбудить меня, как только солнце взойдет. Тогда у нас был плотик и мы переезжали на ту

сторону. В семь часов брат приехал на плотике и с благодарной улыбкой поздоровался со мною и сейчас же отправил меня домой, сказал: "Иди спать". Итак, за все время, пока он пробыл у нас, прочистил все аллеи... Потом брат просил у матери дать ему полведра наливки и велел напечь пирожков с сыром. Когда все было готово, велел позвать тяглых мужиков, то есть тех, у кого рабочие волы, на крыльце поставили наливку, угощал их, они пили, конечно, с пожеланием ему всего хорошего, потом брат дал каждому по два рубля и сказал: "Спасибо вам, что вы своими волами моей матери орали". Это он делал для поощрения, чтобы другие старались быть хорошими хозяевами. Со временем брат присылал матери денег, чтобы она накупила хоть по теленку тем мужикам, у кого не было скота, и мне прислал пятьдесят рублей, чтобы я по усмотрению своему помогала нуждающемуся".

В последний приезд в Васильевку весной 1851 г. Гоголь уже не был веселым и спокойным, как прежде. Г. вспоминала: "Часто, приходя звать его к обеду, я с болью в сердце наблюдала его печальное, осунувшееся лицо; на конторке, вместо ровно и четко исписанных листов, валялись листки бумаги, испещренные какими-то каракулями; когда ему не писалось, он обыкновенно царапал пером различные фигуры, но чаще всего - какие-то церкви и колокольни. Прежде, бывало, приезжая в деревню, братец непременно затевал что-нибудь новое в хозяйстве: то примется за посадку фруктовых деревьев, то, напротив, вместо фруктовых начинает садить дуб, ясень, берест; часто он изменял расписание рабочего времени для крепостных, пробовал их пищу, помогал им устраивать свое хозяйство, давая им советы. А теперь все это отошло в прошлое: братец все это забросил, и когда маменька жаловалась ему на бездоходность своего имения, он только как-то болезненно морщился и переводил разговор на религиозные темы. Иногда, впрочем, когда ему удавалось хорошо поработать утром, он приходил к обеду веселый и довольный, после обеда он шутливо упрашивал свою тетушку Екатерину Ивановну петь под мой аккомпанемент малорусские песни, причем и сам подтягивал, притоптывал ногой и прищелкивал пальцами. Особенно любил он старую песню: "Гоп, мои гречаники, гоп, мои били". В эти моменты все в нашем доме оживало: маменька улыбалась, в дверях появлялись смеющиеся лица прислуги... Но эта вспышка веселости быстро проходила, и снова братец, мрачный, подавленный, уходил в свой кабинет".

ГОРОДНИЧИЙ, Антон Антонович Сквозник-Дмухановский, персонаж комедии "Ревизор". В "Замечаниях для господ актеров" Гоголь характеризовал Г. следующим образом: "Городничий, уже постаревший на службе очень неглупый по-своему человек. Хотя и взяточник, но ведет себя очень солидно; довольно сурьезен; несколько даже резонер; говорит ни громко, ни тихо, ни много, ни мало. Его каждое слово значительно. Черты лица его грубы и жестки, как у всякого, начавшего тяжелую службу с нижних чинов. Переход от страха к радости, от низости к высокомерию довольно быстр, как у человека с грубо развитыми склонностями души".

В характеристике Г. преобладает отрицание "ни", подчеркивающее его усредненность, то, что этот персонаж не выдается из общего ряда ему

подобных. Тем самым еще более оттеняется тот факт, что пороки Г. свойственны очень многим. Неслучайно именно Г. Гоголь отдал фразу, ключевую для идейного содержания комедии: "Чему смеетесь? - Над собою смеетесь!.."

В. Г. Белинский в статье "Горе от ума" (1840) отмечал: "...На что нам знать подробности жизни городничего до начала комедии? Ясно и без того, что он в детстве был учен на медные деньги, играл в бабки, бегал по улицам и как стал входить в разум, то получил от отца уроки в житейской мудрости, то есть в искусстве нагревать руки и хоронить концы в воду. Лишенный в юности всякого религиозного, нравственного и общественного образования, он получил в наследство от отца и от окружающего его мира следующее правило веры и жизни: в жизни надо быть счастливым, а для этого нужны деньги и чины, а для приобретения их взяточничество, казнокрадство, низкопоклонничество и подличанье перед властями, знатностию и богатством, ломанье и скотская грубость перед низшими себя. Простая философия! Но заметьте, что в нем это не разврат, а его нравственное развитие, его высшее понятие о своих объективных обязанностях: он муж, следовательно, обязан прилично содержать жену; он отец, следовательно, должен дать хорошее приданное за дочерью, чтобы доставить ей хорошую партию и тем, устроив ее благосостояние, выполнить священный долг отца. Он знает, что средства его для достижения этой цели грешны перед Богом, но он знает это отвлеченно, головою, а не сердцем, и он оправдывает себя простым правилом всех пошлых людей: "не я первый, не я последний, все так делают". Это практическое правило жизни так глубоко вкоренено в нем, что обратилось в правило нравственности; он почел бы себя выскочкою, самолюбивым гордецом, если бы, хоть позабывшись, повел себя честно в продолжение недели. Да оно и страшно быть "выскочкою": все пальцы уставятся на вас, все голоса подымутся против вас; нужна большая сила души и глубокие корни нравственности, чтоб бороться с общественным мнением. И не Сквозники-Дмухановские увлекаются могучим водоворотом этой магической фразы - "все так делают" - и, как Молоху, приносят ей в жертву и таланты, и силы души, и внешнее благосостояние. Наш городничий был не из бойких от природы, и потому "все так делают" было слишком достаточным аргументом для успокоения его мозолистой совести; к этому аргументу присоединился другой, еще сильнейший для грубой и низкой души: "жена, дети, казенного жалованья не стаёт на чай и сахар"".

Реплика Г. квартальному перед встречей мнимого ревизора: "Смотри! не по чину берешь!" комически ранжирует взятки. Добродетелью становится чувство меры в этом интимном и не самом благородном процессе, которое в идеале должно быть равно свойственно как берущему, так и дающему. Самому Г. кажется, что уж он-то неукоснительно следует этому святому правилу и вполне "по чину" дает тысячи рублей ассигнации "ревизору" Хлестакову, то ли сенатору, то ли новому генерал-губернатору. Когда же в финале выясняется, что Хлестаков не ревизор вовсе, Г. корит себя "Акимом простотой": давал-то он явно "не по чину".

ГРИГОРЬЕВ Аполлон Александрович (1822-1864), поэт и критик, в 1850 г.

ставший главным редактором журнала "Москвитянин". По поводу выхода гоголевских "Выбранных мест из переписки с друзьями" напечатал в 1847 г. восторженную рецензию, в виде цикла из четырех статей, в "Московском городском листке" "Гоголь и его последняя книга".Г. так прокомментировал обстоятельства появления этой рецензии в "Кратком послужном списке на память моим старым и новым друзьям": "Вышла странная книга Гоголя, и рука у меня не поднялась на странную книгу, проповедовавшую, что "с словом надо обращаться честно". Вышла моя статья в "Листке", и я был оплеван буквально именем подлеца Герценом и его кружком".

В своих воспоминаниях "Мои литературные и нравственные скитальчества" (1862) Г. говорил о Петербурге, в котором ему довелось жить, как о "гоголевском Петербурге", Петербурге "в эпоху его миражной оригинальности, в эпоху, когда существовала даже особенная петербуржская литература..." По мнению Г., "все новое и живое" в русской литературе началось именно с Гоголя. В статье "Гоголь и его последняя книга" Г. утверждал, что в "Выбранных местах из переписки с друзьями" автор "выступил только как мыслитель, правда, слабый, однако как мыслитель-художник, с теми вопросами, которые развивал он как художник-мыслитель; выступил, не скрывая ни перед кем своего болезненного настройства, придавая важность жизни своей, которая привела его к известному разрешению вопросов... И для нас важно не столько то разрешение, которое представляется ему успокоительным, сколько созерцание того пути, по которому он дошел до него. Ужели явление столь знаменательное, столь сильно возбуждающее раздумье не представляет для критики никакой другой обязанности, как только указывать перстом на те места в книжке Гоголя, которые, особливо взятые отдельно, представляют явную, для всех наглядную нелепость?"

Общий вывод Г. относительно "Выбранных мест" сводился к следующему: "О письмах по поводу "Мертвых душ" говорено слишком много всеми, но все, более или менее, обращали внимание на странности выражений - на нецеременность тона Гоголя, когда он говорит о самом себе, но, собственно говоря, это простодушная, безыскусственная честная исповедь художника, который дорожит своим делом. Самые слова Гоголя о том, что рожден он вовсе не затем, чтобы произвести эпоху в области литературной, и что дело его - душа и прямое дело жизни, нельзя понимать ни как ложное смирение, ни как отречение от своей деятельности. Прямое дело жизни для него, как для художника, есть искусство, производить же эпоху, то есть стоять во главе партии, он не хочет, вот и все... Одним словом, везде, где Гоголь говорит об искусстве, в письмах ли о "Мертвых душах", в письме ли о художнике Иванове, в письме ли о том, "в чем, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность", особенно отличающемся тонкостью и нежностью взгляда, виден прежний Гоголь "Портрета", "Рима", "Разъезда после представления", так, как во всем взгляде на русский быт, во всех довольно странных советах помещику виден Гоголь "Мертвых душ", так, как, наконец, в письме о Светлом Воскресении, где поэт, больной сам недугами века, разоблачает их с искренностью и глубиною, виден прежний же мыслитель Гоголь, творец "Невского проспекта", "Записок сумасшедшего" и "Шинели"". Здесь же Г. дал

общую характеристику творчества Гоголя: "Гоголь впервые выступил на литературное поприще с своими "Вечерами на хуторе близ Диканьки". Это были еще юношеские, свежие вдохновения поэта, светлые, как украинское небо, все в них ясно и весело, самый юмор простодушен, как юмор народа, еще не слыхать того злобного смеха, который после является единственным честным лицом в произведениях Гоголя, - хотя в то же самое время и здесь, уже в этих первых поэтических впечатлениях, выступает ярко особенное свойство таланта нашего поэта свойство очертить всю пошлость пошлого человека и выставить на вид все мелочи, так что они у него ярко бросаются на глаза (слова последней книги Гоголя); это свойство здесь не выступило еще карающим смехом, оно добродушно, как шутка, и потому как-то легко, как-то светло на душе читателя, как светло и легко на душе самого поэта, еще не вышедшего из-под обаяния родного неба, еще напоенного благоуханием черемух его Украйны. Ни один писатель, может быть, после древних, не одарен таким полным, гармоническим сочувствием с природою, как Гоголь; ни один писатель не носит в себе, как он, такого пластического постижения красоты (вспомните только Аннунциату в его "Риме", это создание могущественной кисти мастеров древней Италии), красоты полной, существующей для всех и для всего, - никто, наконец, как этот человек, призванный очертить пошлость пошлого человека, не полон так сознания о прекрасном человеке, прекрасном физически и нравственно, и по тому самому ни один писатель не обдает вашей души такою тяжелою грустью, как Гоголь, когда он беспощадно разнимает трупы, обливается желчью и негодованием над утраченным образом Божиим в человеке, образом вечно прекрасного. Но в "Вечерах на хуторе"... все еще светло и наивно, в самом пороке отыскивает еще поэт добродушную сторону, и образ пьяного Каленика, отплясывающего трепака на улице в ночь на Рождество Христово, - еще чисто гомерический образ. В этом быте, простом и непосредственном быте Украйны, поэт видит свою Галю - чудное существо, которое спит в божественную ночь, очаровательную ночь, раскинув черные косы под украинским небом, на котором серпом стоит месяц... все еще полно таинственного обаяния - и прозрачность озера, и фантастические пляски ведьм, и образ утопленницы, запечатленный какой-то светлой грустью. А Сорочинская ярмарка, с шумом и толкотнею ее повседневной жизни, а ночь на Рождество Христово, с молодцом кузнецом Вакулой и с его гордой красавицей Оксаной, а исполинские образы двух братьев Карпатских гор, осужденных на страшную казнь за гробом, эти дантовские образы народных преданий, - все это еще и светло, и таинственно, как лепет ребенка и сказки старухи няньки. Но недолго любовался поэт этим бытом, радовался беспечной радостью художнического воссоздания этого быта... Он кончил его апотеозу великой эпопеей о Тарасе Бульбе и дивною легендой о Вии, где вся природа его страны говорит с ним шелестом трав и листьев в прозрачную летнюю ночь, и где между тем в тоске безысходной, в замирании сердца мчащегося с ведьмою по бесконечной степи философа Хомы слышится невольно тоска самого художника, переходящая и на читателя; разделавшись навсегда с обаянием своего родного края в этой части своего "Миргорода", Гоголь взглянул оком аналитика на этот быт; простодушно, как прежде, принялся было он чертить высокие человеческие фигуры Афанасия Ивановича

и Пульхерии Ивановны - и остановился в тяжелом раздумье над страшным трагическим fatum, лежавшим в самой крепости, в самой непосредственности их отношения; он с безыскусственною верностью стал изображать бесплодные существования Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича - и имел полное право воскликнуть впервые, кончая эту трагическую комедию: скучно на этом свете, господа! - как мог и имел право сказать в конце своей последней книги: пусто и страшно становится в Твоем мире, мой Боже! С этой минуты он уже взял в руки анатомический нож, с этой минуты он обозначил свой путь, ибо Иван Иванович и Иван Никифорович, изображенные здесь еще беспритязательно, еще без злости, еще возбуждающие только вопль на скуку жизни, выступают потом страшными лицами "Ревизора" и "Мертвых душ"; Афанасий Иванович пополняется потом Плюшкиным, в котором потеря одного чувства, с одной стороны, и чудовище-привычка - с другой, довели человека до окончательного отпадения от образа Божия".

ДАНИЛЕВСКИЙ Александр Семенович (1809-1888), помещик, один из ближайших друзей Гоголя, его одноклассник по полтавскому училищу и нежинской гимназии (лицею). Они вместе окончили гимназию в июне 1828 г. и в декабре того же года отправились в Петербург.

Д. поступил в школу гвардейских подпрапорщиков, но уже в 1831 г. оставил ее до окончания курса и уехал служить на Кавказ. В 1834 г. Д. вернулся в Петербург и поступил на службу в канцелярию Министерства внутренних дел. В 1836 г. он вместе с Гоголем уехал за границу и путешествовал до мая 1838 г., когда в Париже узнал, что у него в России умерла мать. Д. вернулся на службу. В 1843 г. у них с Гоголем произошла размолвка, связанная с тем, что Гоголь пытался учить друга, как ему жить, и тот ответил резким письмом. Но вскоре они помирились. В конце 1843 г. Д. получил место инспектора благородного пансиона при одной из киевских гимназий. В 1844 г. женился на Ульяне Григорьевне Похвисневой. С 1848 г. Д. жил в своем имении Дубровное. В 1856 г. стал директором училищ Полтавской губернии. Последние годы жизни провел в имении Анненском Харьковской губернии.

Д. так рассказывал В. И. Шенроку о своей первой встрече с Гоголем: "Я с ним познакомился еще в детстве. Мне было семь лет. Наши родители вместе воспитывались в Киевской духовной академии. Мы приехали с отцом к ним в деревню. Мы жили от них верстах в тридцати, в Семереньках. Это было около Рождества. Тут я увидел в первый раз маленького Никошу (так все называли Гоголя в семье). Он был нездоров и лежал в постели. Мы играли с его младшим братом Иваном. Пробыли мы несколько дней".

Из Нежина на каникулы в родные места Д. и Гоголь нередко ездили вместе. Д. запомнилась одна из таких поездок: "Мы всегда ездили на вакации с Гоголем и сыном моего отчима, Барановым. Помню один забавный случай с надзирателем Зельднером. Зельднер навязался ехать с нами. Коляску прислали четвероместную. Было бы место для всех, но к нам напросился некто Щербак (он был знаком с семейством Гоголя); он жил около Пирятина; это были довольно богатые люди. Зельднер еще сохранял тогда для нас авторитет: его присутствие нас очень стесняло. К тому же с ним было несчастье: каждый раз,

когда он пускался в дорогу, с ним случалось расстройство желудка, да и в деревне жить с ним было не очень приятно. Он ехал к нам обоим, но обоим не хотелось его брать. Когда условились с ним ехать, то он пошел с нами на черный двор, где была коляска, и хотел непременно доказать, что можно ехать впятером. Наружность его была забавная, ноги циркулем. Наконец все было готово к отъезду. Накануне жена Зельднера, Марья Николаевна, напекла нам на дорогу пирожков, и на другой день, чем свет, мы должны были тронуться в путь. Но мы составили заговор - уехать раньше. На другой день утром приехавший за нами человек Гоголя, Федор, разбудил нас в музее (так назывались отделения, на которые разделялись воспитанники; их было три: старшее, среднее и младшее). Зельднер потом нас искал и ни за что не хотел поверить, что мы уехали. "А, мерзкая мальчишка!" - говорил он. Дорога была продолжительная. Мы ехали на своих, и на третий день прибыли. Дорогой дурачились, и Гоголь выкидывал колена. Щербак был грузный мужчина с большим подбородком. Когда он, бывало, заснет, Гоголь намажет ему подбородок халвой, и мухи облепят его; ему доставался и "гусар" (гусар - это была бумажка, свернутая в трубочку). Когда кучер запрягал лошадей, то мы наводили стекло на крупы. Дорога была веселая. С нами повстречались Василий Афанасьевич и Василий Иванович (отчим Д. - Б. С.). Кажется, это произошло случайно, а не была намеренная встреча... Живо припоминается мне Василий Афанасьевич; он был красивее сына. На нем была тогда шляпа лощеная, матросская. Человек он был интересный, бесподобный рассказчик... Часто мы заезжали с Гоголем детьми по дороге в Нежин к Трощинскому в Кибинцы; для подарков делались иногда небольшие предварительные путешествия. Мы много раз бывали в Кибинцах и Яресках и гостили подолгу, но Трощинский держал себе недоступно и едва ли промолвил с нами даже слово". По утверждению Д., "в школе Гоголь мало выдавался, разве под конец, когда он был нашим редактором лицейского журнала. Сначала он писал стихи и думал, что поэзия его призвание. Мы выписывали с ним и с Прокоповичем журналы, альманахи. Он заботился всегда о своевременной высылке денег. Мы собирались втроем и читали "Онегина" Пушкина, который тогда выходил по главам. Гоголь уже тогда восхищался Пушкиным. Это была тогда еще контрабанда; для нашего профессора словесности Никольского даже Державин был новый человек. Гоголь отлично копировал Никольского. Вообще Гоголь удивительно воспроизводил те черты, которые мы не замечали, но которые были чрезвычайно характерны. Он был превосходный актер. Если бы он поступил на сцену, он был бы Щепкиным. В Нежине товарищи его любили, но называли: таинственный карла. Он относился к товарищам саркастически, любил посмеяться и давал прозвища. Сам он долго казался заурядным мальчиком. Он был болезненный ребенок. Лицо его было какое-то прозрачное. Он сильно страдал от золотухи; из ушей у него текло... Над ним много смеялись, трунили. Но перед окончанием курса его заметил и стал отличать профессор Белоусов (преподававший римское право. - Б. С.), которого он, в свою очередь, весьма уважал и любил". По словам Д., "любимых игр у Гоголя в детстве не было, как впоследствии не было никаких физических упражнений; например, он не любил никакого спорта, верховой езды и проч.; до некоторой степени нравившимся

ему развлечением была разве игра на бильярде". Это подтверждается и одним из писем Гоголя к Д., относящемуся к 1835 г.: "Не хочешь ли вкусить старины? В таком случае приходи ко мне в начале 2-го часу и отправимся к Гаку (владельцу петербургского трактира. Б. С.) сразиться в бильярд и пообедаем. Это хорошо для моциона и геморроид".

20 декабря 1832 г. Гоголь писал Д.: "Наконец я получил-таки от тебя письмо. Я уже думал, что ты дал тягу в Одессу или в иное место. Очень понимаю и чувствую состояние души твоей, хотя самому, благодаря судьбу, не удалось испытать. Я потому говорю: благодаря, что это пламя меня бы превратило в прах в одно мгновенье. Я бы не нашел себе в прошедшем наслажденья, я силился бы превратить это в настоящее и был бы сам жертвою этого усилия и потому-то к спасенью моему у меня есть твердая воля, два раза отводившая меня от желания заглянуть в пропасть. Ты счастливец, тебе удел вкусить первое благо в свете - любовь (Д. был влюблен в светскую красавицу Э. А. Клинберг, в замужестве Шан-Гирей. - Б. С.). А я... но мы, кажется, своротили на байронизм. Да зачем ты нападаешь на Пушкина, что он прикидывался? Мне кажется, что Байрон скорее. Он слишком жарок, слишком много говорит о любви и почти всегда с исступлением. Это что-то подозрительно. Сильная продолжительная любовь проста, как голубица, то есть выражается просто, без всяких определительных и живописных прилагательных, она не выражает, но видно, что хочет что-то выразить, чего, однакож, нельзя выразить и этим говорит сильнее всех пламенных красноречивых тирад".

15 апреля н. ст. 1837 г. Гоголь из Рима писал Д., отказавшись от его приглашения встретиться в Швейцарии: "В Швейцарии дороже... сижу без денег. Я приехал в Рим только с двумя стами франков, и если бы не страшная дешевизна и удаление всего, что вытряхивает кошелек, то их бы давно уже не было. (За комнату, то есть старую залу с картинами и статуями, я плачу 30 франков в месяц, и это только одно дорого. Прочее всё ни по чем. Если выпью поутру один стакан шоколату, то плачу немножко больше 4 су, с хлебом, со всем. Блюда за обедом очень хороши и свежи и обходится иное по 4 су, иное по 6. Мороженого больше не съедаю, как на 4, а иногда на 8. Зато уж мороженое такое, какое и не снилось тебе. Не ту дрянь, которую мы едим в Тортони, которое тебе так нравилось, _ масло!) Теперь я такой сделался скряга, что если лишний байок (мелкая итальянская монета. - Б. С.) (почти су) передам, то весь день жалко".

5 февраля н. ст. 1839 г. Гоголь писал Д. из Рима: "Мы приближаемся с тобою (Высшие Силы! какая это тоска!) к тем летам, когда уходят на дно глубже наши живые впечатления и когда наши ослабевающие, деревянеющие силы, увы, часто не в силах вызвать их в наружу так же легко, как они прежде всплывали сами, почти без зазыву. Мы ежеминутно должны бояться, чтобы кора, нас облекающая, не окрепла и не обратилась, наконец, в такую толщу, сквозь которую им в самом деле никак нельзя будет пробиться. Употребим же, по крайней мере, всё, чтобы спасти их хотя бедный остаток. Пусть мы будем иметь хотя несколько минут, в которые будем свежи и молоды. Пусть же мы встретим нашу юность, наши живые, молодые лета, наши прежние чувства, нашу прежнюю жизнь, пусть всё же это мы встретим в наших письмах. Пусть хотя

там мы предадимся лирическому сердечному излиянию, которого бедного гонят, которому заклятые враги - пошлость глупейшего препровождения времени, презренная идея обеда, рисующаяся со времени поднятия с постели, роковые 30 лет, гнусный желудок и все гадости потухающего черствого рассудка... Не встретимся ли мы опять где-нибудь с тобою? Я думаю ехать на воды в Мариенбад. Еще один раз хочу попытаться. Желудок мой наконец меня совершенно вывел из терпения, право, нет мочи наконец, и теперь он наконец в таком дурном состоянии, как никогда".

7 августа н. ст. 1841 г. из Рима Гоголь советовал Д.: "Неужели до сих пор не видишь ты, во сколько раз круг действия в Семереньках может быть выше всякой должностной и ничтожно-видной жизни, со всеми удобствами, блестящими комфортами, и проч. и проч., даже жизни, невозмущенно-праздно протекшей в пресмыканьях по великолепным парижским кафе. Неужели до сих пор ни разу не пришло тебе в ум, что у тебя целая область в управлении, что здесь, имея одну только крупицу, ничтожную крупицу ума, и сколько-нибудь занявшись, можно произвесть много для себя - внешнего и еще более для себя - внутреннего, и неужели до сих пор не страшат тебя детски повторяемые мысли насчет мелузги, ничтожности занятий, невозможности приспособить, применить, завести что-нибудь хорошее и проч. и проч., - всё, что повторяется беспрестанно людьми, кидающимися с жаром за хозяйство, за улучшения и перемены и притом плохо видящими в чем дело. Но слушай, теперь ты должен слушать моего слова, ибо вдвойне властно над тобою мое слово, и горе кому бы то ни было не слушающему моего слова. Оставь на время всё, всё, что ни шевелит иногда в праздные минуты мысли, как бы ни заманчиво и ни приятно оно шевелило их. Покорись и займись год, один только год, своею деревней. Не заводи, не усовершенствуй, даже не поддерживай, а войди во всё, следуй за мужиками, за приказчиком, за работами, за плутнями, за ходом дел хотя бы для того только, чтобы увидеть и узнать, что всё в неисправимом беспорядке. Один год - и этот год будет вечно памятен в твоей жизни. Клянусь, с сего начнется заря твоего счастья".

20 июня н. ст. 1843 г. Гоголь из Эмса писал Д.: "Внутреннею жизнью я понимаю ту жизнь, когда человек уже не живет своими впечатлениями, когда не идет отведывать уже известной ему жизни, но когда сквозь все видит один пристань и берег - Бога и во имя Его стремится и спешит употребить в дело данный Им же ему талант, а не зарыть его в землю, слыша, что не для своих удовольствий дана ему жизнь, что строже ее долг и что взыщется страшно с него, если он, углубясь во внутрь себя, и вопросил себя и не узнал, какие в нем сокрыты стороны, полезные и нужные миру, и где его место, ибо нет ненужного звена в мире".

29 октября 1848 г. Гоголь писал Д.: "Жизнь в Москве стала теперь гораздо дороже. С какими-нибудь тремя тысячами едва холостой человек теперь в силах прожить, женатому же без 8 тысяч трудно обойтиться, - я разумею такому женатому, который бы вел самую уверенную жизнь и наблюдал бы во всем строжайшую экономию. Почти все мои приятели сидят на безденежье, в расстроенных обстоятельствах, и не придумают, как их поправить. При деньгах одни только кулаки, пройдохи, и всякого рода хапуги. От этого и общество и

жизнь в Москве стали как-то заметно скучнее... В деревне можно, по крайней мере, хоть не умереть с голоду. Скучно, может быть, пусто, но ведь это крест, который должно несть. А крест никогда не бывает легок. Ты очутился против желанья, может быть, против воли помещик. Что ж делать? Нужно принять это как данную Провиденьем обязанность, глядеть на нее, как на должность, размерить день свой, отдать час или два всякое утро на хозяйство. Покуда не примиримся мы с мыслью, что жизнь - горечь, а не наслажденье, что все мы здесь поденщики и плату получаем только там за ревностное исполнение своего дела, - до тех пор не обратится нам жизнь в наслажденье, и не почувствуем значенья слов: "Иго Мое благо и бремя Мое легко есть". Скука будет тебя преследовать в городах еще более, чем в деревне, потому что многое так стало теперь грустно, как никогда доселе не бывало".

В 1849 г. Д. писал Гоголю: "Не отвечал на твое письмо потому, что ровно не знал ничего сказать тебе в ответ на твои проповеди. Я вижу, тебя не урезонить, ты всё поешь одну песню... Всё мораль да мораль - это хоть какому святому надоест".

Один из визитов Д. вместе с женой Ульяной Григорьевной в Васильевку, во время которого, 12 мая 1851 г., у него родился сын, описала О. В. Гоголь: "Раз приезжал брата товарищ, с которым учился в Нежине, Данилевский и жена его; она была в почтенном состоянии; после обеда сели в карты играть: Данилевский, его жена, мать и Аннет, а брат, по обыкновению, отправился в Яворивщину. За картами жена Данилевского сказала: "Пора ехать, что-то нездоровится". Пока подали лошадей, а она - "Ой, ой, не могу!.. болит!" Пришлось оставаться у нас ночевать. Как у брата в флигеле одна комната лишняя, туда их пристроили. К вечеру посылали за бабой. Ночью меня будят, говорят, что Николай Васильевич зовет. Прихожу к брату, он в постели лежал и спрашивал, чего она стонет, не можешь ли ты ей помочь. Я сказала: "Уже есть баба". - "Так чего она так кричит?" - "Потому что она нетерпелива". Успокоила его, с тем ушла, а утром родился у них сын; вечером окрестили мать с братом, потом они переехали к Чернышу". К несчастью, сын Д. Николай вскоре умер. Сам Д. рассказывал В. И. Шенроку, что по отношению к младенцу Гоголь "показал себя весьма заботливым, предупредительным; но вдруг, когда он о чем-то очень захлопотался, к нему подходит в большом смущении Марья Ивановна и шепчет, показывая на нетрезвого и с трудом говорящего священника: "Николенька, можно ли допустить, чтобы священник совершал таинство в таком виде?" Гоголь, ласково смеясь, ответил на это: "Маменька, странно было бы требовать, чтобы священник был трезв в воскресенье. Надо это извинить ему".

В. И. Шенроку Д. также говорил: "Угрюмый в последние годы своей жизни, Гоголь мгновенно оживлялся, к нему возвращался веселый юмор молодости, и во всем доме наступал настоящий праздник каждый раз, когда я неожиданно приезжал в их деревню. Ничье появление не имело на него такого волшебного действия, никому не удавалось возбуждать в Гоголе такое отрадное настроение... Даже в мое последнее посещение Гоголя в Васильевке, уже не более, как за полгода до его смерти, по поводу поданных на стол любимых Гоголем малороссийских вареников мы затеяли шумный спор о том, от чего

было бы тяжелее отказаться на всю жизнь, - от вареников или от наслаждения пением соловьев".

ДЕЛЬВИГ Антон Антонович (1798-1831), барон, поэт, издатель альманаха "Северные Цветы" и "Литературной Газеты". Гоголь познакомился с Д. в конце 1830 г. Д. опубликовал в "Северных цветах" гоголевские "Главу из исторического романа" (см.: "Гетьман"), а в "Литературной газете" - главы из повести "Страшный кабан" и статью "Несколько мыслей о преподавании детям географии", а также статью "Женщина".

ЕЛАГИНА Авдотья Петровна (1789-1877), урожденная Юшкова, в первом браке - Киреевская, мать известных славянофилов И. В. и П. В. Киреевских, племянница В. А. Жуковского. Держала один из наиболее известных московских салонов, который посещал Гоголь. По утверждению одного из первых биографов Гоголя П. А. Кулиша: "С А. П. Елагиной Гоголь сблизился всего больше по случаю помещения сестры его (Е. В. Гоголь. - Б. С.) к П. И. Раевской (владелице московского пансиона. - Б. С.). Интересен рассказ ее о нерешимости, овладевшей Гоголем (это была одна из слабостей его характера), когда нужно было ехать к П. И. Раевской с матерью, чтобы поблагодарить ее за доброе дело, которое она для него сделала. Заехав к Елагиной на минуту, Гоголь долго медлил у нее, несмотря на напоминания матери, что пора ехать; наконец положил руки на стол, оперся на них головою и предался раздумью. "Не поехать ли мне за вас, Николай Васильевич:" - сказала тогда Елагина. Гоголь с радостью на это согласился".

"ЖЕНИТЬБА", пьеса Гоголя. Впервые напечатано: Сочинения Николая Гоголя. Т. 4. СПб., 1842. Первые наброски комедии относятся к 1833 г. Тогда она называлась "Женихи". Действие комедии происходило в деревне, а ее героями были помещики. В начале 1835 г. Гоголь читал М. П. Погодину комедию "Провинциальный жених". 4 мая 1835 г. он вновь читал пьесу у М. П. Погодина. Во время этого чтения комедия получила свое окончательное название - "Женитьба". Первоначально Гоголь собирался отдать Ж. в театр уже осенью 1835 г., но потом отложил постановку. В 1836 г. по просьбе актера М. С. Щепкина Гоголь вновь готовил Ж. для театра, но постановка опять не состоялась.

Окончательный текст Ж. Гоголь создал в 1841 г., находясь за границей. Постановка Ж. была осуществлена в Петербурге 9 декабря 1842 г., а в Москве - 5 февраля 1843 г. 3 мая 1834 г. А. С. Пушкин записал в дневнике: "Гоголь читал у Дашкова свою комедию". Вероятно, имелись в виду "Женихи" ранняя редакция Ж., где действие происходило не в столице, как в окончательном тексте, а в провинции.

М. П. Погодин вспоминал, как Гоголь читал у него Ж.: "Читал Гоголь так, как едва ли кто может читать. Это был верх удивительного совершенства... Как ни отлично разыгрывались его комедии или, вернее сказать, как ни передавались превосходно иногда некоторые их роли, но впечатления никогда не производили они на меня такого, как в его чтении. Читал он однажды у меня,

в большом собрании, свою "Женитьбу", в 1834 или 1835 году. Когда дошло дело до любовного объяснения у жениха с невестою "в которой церкви вы были в прошлое воскресение? какой цветок больше любите?" - прерываемого троекратным молчанием, он так выражал это молчание, так оно показывалось на его лице и в глазах, что все слушатели буквально покатывались со смеху, а он, как ни в чем не бывало, молчал и поводил только глазами".

28 ноября н. ст. 1836 г. Гоголь писал М. П. Погодину из Парижа о Ж.: "Не води речи о театре: кроме мерзостей, ничего другого не соединяется с ним. Я даже рад, что вздорную комедию, которую я хотел было отдать в театр, зачитал у меня здесь один земляк, который, взявши ее на два дни, пропал с нею, как в воду, и я до сих пор не знаю о теперешнем ее местопребывании. Сам Бог внушал ему это сделать. Эта глупость не должна была явиться в свет".Вероятно, неудовлетворенность текстом вызвала к жизни новую редакцию Ж. в 1841 г.

Весной 1842 г. Гоголь читал Ж. у А. О. Смирновой. Она вспоминала: "По назначению Гоголя, я пригласила к обеду кн. П. А. Вяземского, П. А. Плетнева, А. Н. и В. Н. Карамзиных и брата моего А. О. Россет. Гоголь был весел, спокоен; после обеда, отдохнув немного, вынул из кармана тетрадку и начал читать так, как только он один умел читать. Швейцару было приказано никого не принимать. Но внезапно взошел кн. Мих. Алек. Голицын, который мало знает русский язык. С Гоголем он был почти незнаком. Меня это смутило, я подошла к нему и рассказала, в чем дело. Он извинялся и убедительно просил позволения остаться. К счастью, Гоголь не обратил на помеху никакого внимания и продолжал читать. После чтения все его благодарили, и в особенности кн. Голицын, который сознавался, что никогда не испытывал такого удовольствия. Гоголь казался очень доволен произведенным впечатлением, был весел и ушел домой".

Постановка Ж. в петербургском Александринском театре провалилась. 28 декабря 1842 г. Н. Я. Прокопович писал С. П. Шевыреву: "Вы слышали о падении Женитьбы? Да, она пала от невежества александрынских актеров, от невежества александрынской публики, и наконец от кабалы, Фетюк и компания (возможно, имеется в виду Ф. В. Булгарин. - Б. С.) приложили тут свои руки, это было слишком явно в первом представлении; во втором представлении, говорят, пьеса была принята лучше, а в третьем и очень порядочно". Правда, по уверению Прокоповича, в дальнейшем публика помягчала. В следующем письме Шевыреву, 26 января 1843 г., он сообщал: "Мне рассказывали бывшие на последнем, пятом представлении Женитьбы, что она была принимаема в этот раз с единодушным восторгом, не знаю только, почему после этого больше не давали ее". Действительно, в 1843-1844 гг. Ж. в Петербурге ставилась очень редко, а в 1845-1848 гг. комедия не ставилась вовсе.

В. Г. Белинский посвятил Ж. рецензию в 1-м номере "Отечественных записок" за 1843 г. Он следующим образом характеризовал основных персонажей пьесы: "Подколесин - не просто вялый и нерешительный человек с слабою волею, которым может всякий управлять: его нерешительность преимущественно высказывается в вопросе о женитьбе. Ему страх как хочется жениться, но приступить к делу он не в силах. Пока вопрос идет о намерении, Подколесин решителен до героизма; но чуть коснулось до исполнения - он

трусит. Этот недуг, который знаком слишком многим людям, поумнее и пообразованнее Подколесина (и вообще является родовым пороком русской интеллигенции. - Б. С.). В характере Подколесина автор подметил и выразил черту общую, следовательно, идею. Подколесин покоряется одному Кочкареву, потому что тот нахал, которому не уступить - значит решиться на историю, конечно, не опасную, но зато неприличную, а одно стоит другого. Кочкарев - добрый и пустой малый, нахал и разбитная голова. Он скоро знакомится, скоро дружится и сейчас на ты. Горе тому, кто удостоится его дружбы! Кочкарев переставит у него по-своему мебель в комнате да еще будет помогать ему распоряжаться в своем доме... Жевакин - не кривляка, не шут: это старый селадон, а потому и щеголь, несмотря на свой старинный мундир. Куда бы ни занесла его судьба хоть в Китай, не только в Сицилию, - он везде заметит одно только: "розанчики этакие". Кроме "розанчиков" для него ничего на свете не существует. Анучкин - человек, живущий и бредящий одним - высшим обществом, которого он никогда и во сне не видывал и с которым у него нет ничего общего... Яичница (экзекутор). Это человек грубый, материальный; но он живет и служит в Петербурге - стало быть, не похож на провинциального медведя. Вообще, для хорошего выполнения ролей, созданных Гоголем, актерам всего нужнее - наивность, отсутствия всякого желания и усилия смешить... Лицо свахи в "Женитьбе" - есть одно из самых живых и типических созданий Гоголя. Бойкость, яркость движений, трещоточный разговор должны быть прежде всего схвачены актрисою, выполняющею эту роль; малейшая вялость, тяжеловесность сейчас испортят дело. Это баба, наметавшаяся в своем ремесле; ее не расстроит никакое обстоятельство, не смутит никакое возражение; у нее готов ответ на всякий вопрос... Сколько юмора, какой язык, какие характеры, какая типическая верность натуре!" Характерно, что невеста, Агафья Тихоновна, в статье в качестве отдельного действующего лица не получила специальной характеристики. Очевидно, В. Г. Белинский считал ее чисто служебным персонажем Ж.

В. А. Соллогуб вспоминал: "Гоголь читал однажды у Жуковского свою "Женитьбу" в одну из тех пятниц, где собиралось общество русских литературных, ученых и артистических знаменитостей. При последних словах: "но когда жених выскочил в окно, то уже..." - он скорчил такую гримасу и так уморительно свистнул, что все слушатели покатились со смеху. При представлении этот свист заменила, кажется, актриса Гусева, словами: "так уж просто мое почтение", что всегда и говорится теперь. Но этот конец далеко не так комичен и оригинален, как тот, который придуман был Гоголем. Он не завершает пьесы и не довершает в зрителе, последнею комическою чертою, общего впечатления после комедии, основанной на одном только юморе". Действительно, в первой редакции Ж. в финале была следующая реплика свахи Феклы Ивановны: "Как! Улизнул в окно! Фю, фю (Слегка посвистывает, как обыкновенно делается в случае несбывшихся надежд)". А в окончательном тексте в этом месте появилась другая фраза: "А уж коли жених шмыгнул в окно, - уж тут, просто, мое почтение!" Возможно, эта фраза была подсказана драматургу одной из актрис во время публичных чтений или репетиций.

В 1835 г. постановка Ж. частично была сорвана тем обстоятельством, что

Гоголь послал единственный экземпляр комедии А.С. Пушкину, а тот долго не возвращал ему текст. 7 октября 1835 г. Гоголь из Петербурга писал А.С. Пушкину: "Пришлите, прошу вас убедительно, если вы взяли с собою, мою комедию, которой в вашем кабинете не находится и которую я принес вам для замечаний. Я сижу без денег и решительно без всяких средств, мне нужно давать ее актерам на разыграние, что обыкновенно делается, по крайней мере, за два месяца прежде. Сделайте милость, пришлите скорее и сделайте наскоро хоть сколько-нибудь главных замечаний".

Упоминаемое в Ж. "екатерингофское гулянье" (в парке, прилегающем к дворцу супруги Петра I императрицы Екатерины I) Гоголь запечатлел в письме матери о петербургских нравах от 30 апреля 1829 г.: "Весною же, если только это время можно назвать весною, потому что деревья до сих пор еще не оделись зеленью, гуляют в Екатерингофе, Летнем саду и Адмиралтейском бульваре. Все эти однакож гулянья несносны, особливо екатерингофское первое мая, всё удовольствие состоит в том, что прогуливающиеся садятся в кареты, которых ряд тянется более нежели на 10 верст и притом так тесно, что лошадиные морды задней кареты дружески целуются с богато убранными длинными гайдуками. Эти кареты беспрестанно строятся полицейскими чиновниками и иногда приостанавливаются по целым часам для соблюдения порядка, и всё это для того, чтобы объехать кругом Екатерингоф и возвратиться чинным порядком назад, не вставая из карет. И я было направил смиренные стопы свои, но обхваченный облаком пыли и едва дыша от тесноты возвратился вспять".

Подобно главному герою Ж., Гоголь робел в общении с женщинами и стремился избегать общества незнакомых и малознакомых женщин. С. Т. Аксаков свидетельствовал: "Многие дамы, незнакомые лично с Гоголем, но знакомые с нами, желали его видеть; но Гоголя трудно было уговорить придти в гостиную, когда там сидела незнакомая ему дама. Одна из них желала особенно познакомиться с Гоголем, а потому Вера и Константин (дети Аксакова. - Б. С.) так пристали с просьбами к Гоголю, что каким-то чудом уговорили его войти в гостиную. Это точно стоило больших трудов Константину и Вере. Они приставали к нему всячески, убеждали его; он отделывался разными уловками: то заговаривал о другом, то начинал им читать вслух что-нибудь из "Московских ведомостей" и т. д. Наконец, видя, что он уступает, Константин громко возвестил его в гостиной, так что ему уж нельзя было не пойти, и он вошел; но дама не сумела сказать ему ни слова, и он, оставшись несколько минут, ушел".

Подобно свахе Фекле Ивановне из Ж., Гоголь порой стремился сосватать некоторых своих знакомых, - но только мысленно. Так, 30 мая н. ст. 1839 г. Гоголь писал М. П. Балабиной: "Когда я думал об вас (я об вас часто думаю и особенно о вашей будущей судьбе), я думал: "Кому-то вы достанетесь? Постигнет ли он вас и доставит ли вам счастие, которого вы так достойны?" Я перебирал всех молодых людей в Петербурге: тот просто глуп, другой получил какую-то несчастную крупицу ума и зато уже хочет высказать ее всему свету; тот ни глуп, ни умен, но бездушен, как сам Петербург. Один был человек, на котором я остановил взгляд - и этот человек готовится не существовать более в мире (речь шла о И. М. Виельгорском. - Б. С.)... Вы извините, что я пустился

быть вашей свахой, что называется иначе кума. Мое мысленное сватовство, как вы видите, неудачно..."

А. А. Григорьев в статье "Гоголь и его последняя книга" (1847) считал, что "в "Женитьбе" даже колоссальный лик Гамлета сводится в сферы обыкновенной, повседневной жизни, ибо, говоря вовсе не парадоксально, безволие Подколесина родственно безволию Гамлета и прыжок его в окно такой же акт отчаяния, бессилия, как убийство короля мечтательным Гамлетом".

"ЖЕНЩИНА", статья, впервые опубликованная: Литературная Газета, 1831, № 4, 16 января. Это - первое произведение Гоголя, появившееся в печати под его именем. Здесь женщина сравнивается с поэзией: "Что женщина? - Язык богов!.. Она поэзия! она мысль, а мы только воплощение ее в действительности... Что б были высокие добродетели мужа, когда бы они не осенялись, не преображались нежными, кроткими добродетелями женщины?.. Нет! никогда сама царица любви не была так прекрасна, даже в то мгновенье, когда так чудно возродилась из пены девственных волн!.. В изумлении, в благоговении повергнулся юноша к ногам гордой красавицы, и жаркая слеза клонившейся над ним полубогини канула на его пылающие щеки".

В Ж. отразилась идиллия А. А. Дельвига "Изобретение ваяния" (1830), в частности, следующие строки:

...Эрмий, раскуй Промефея!
Старец, утешься меж славных
Теней! Небесный огонь
не вотще похищен был тобою!
Пользой твое святотатство
изгладилось! Ты же, мгновенной,
Бренной красе даровавший
бессмертье, взглянь, как потомкам
Поздним твоим представятся
боги в нетленном сияньи,
Камень простой искусством
твоим оживить и в их подобьи,
Смертных красой к небесам
восхищать и о Зевсе глаголать!

В Ж. о представительнице прекрасного пола говорится, что это "существо, которое как Промефей, все, что ни исхитило прекрасного от богов, принесло в дар тебе, водворило небо со светлыми его небожителями в твою душу, - ты поражаешь преступным проклятьем; когда вся твоя жизнь должна перoccurs переродиться в благодарность, когда ты должен весь вылиться слезами, и умилением, и кротким гимном жизнедавцу Зевесу, да продлит прекрасную жизнь ее, да отвеет облако печали от светлого чела ее".

"ЖИЗНЬ", статья, впервые опубликованная в сборнике "Арабески". Гоголь здесь датировал ее 1831 г., но, скорее всего, в этом году у писателя возник лишь замысел Ж. Работа над статьей проходила в августе - октябре 1834 г.

Гоголь в Ж. дает поэтическую панораму человеческой истории в момент

рождения Иисуса Христа. Это событие подобно очистительной грозе, несущей гибель старому миру и символизирующей рождение нового: "Весь воздух небесного океана висел сжатый и душный. Великое Средиземное море не шелохнет, как будто бы царства предстали все на Страшный Суд перед кончиною мира... Камениста земля; презренен народ; немноголюдная весь прислонилася к обнаженным холмам, изредка, неровно оттененным иссохшею смоковницею. За низкою и ветхою оградою стоит ослица. В деревянных яслях лежит Младенец; над ним склонилась Непорочная Мать и глядит на Него исполненными слез очами; над ним высоко в небе стоит звезда и весь мир осияла чудным светом. Задумался древний Египет, увитый иероглифами, понижая ниже свои пирамиды; беспокойно глянула прекрасная Греция; опустил очи Рим на железные свои копья; приникла ухом великая Азия с народами-пастырями; нагнулся Арарат, древний прапращур земли..."

ЖИРЯЕВ Александр Степанович (1815-1856), криминалист, профессор Дерптского, а затем Петербургского университета. С Гоголем познакомился во время заграничной командировки в апреле 1845 г. в Висбадене.

В письме чешскому слависту Вацлаву Ганке Ж. вспоминал: "Русскую Пасху я встретил в русской церкви в Висбадене, где познакомился с двумя русскими знаменитостями - Жуковским и Гоголем. Оба приехали из Франкфурта говеть и разговляться. Последний намерен ехать в Испанию и Португалию... Гоголь в природе своей - противоположность тому, каким он является в своих уморительных повестях и комедиях: ипохондрик в высшей степени. Впрочем, он действительно не совсем здоров, хотя болезнь свою он уже слишком преувеличивает в своем воображении".

ЖУКОВСКИЙ Василий Андреевич (1783-1852), поэт. В 1817 г. был назначен преподавателем русского языка к великой княгине Александре Федоровне, а в 1825-1841 г.г. был воспитателем ее сына - наследника престола, будущего императора Александра II. В 1842 г. женился на Елизавете Евграфовне (Алексеевне) Рейтерн (1821-1856), дочери своего друга художника Е. Р. Рейтерна, и с тех пор до конца жизни оставался в Германии, сначала в Дюссельдорфе, а потом во Франкфурте-на-Майне. Познакомившись с Ж. в Петербурге в конце 1830 г., Гоголь впоследствии подружился с ним. Они неоднократно встречались в Германии.

10 сентября 1831 г. Гоголь писал Ж., посылая ему экземпляр первой части "Вечеров на хуторе близ Диканьки": "Боже мой, сколько бы экземпляров я бы отдал за то, чтобы увидеть вас хоть на минуту. Если бы, часто думаю себе, появился бы в окрестностях Петербурга какой-нибудь бродяга ночной разбойник и украл этот несносный кусок земли, эти двадцать четыре версты от Петербурга до Царского Села и с ними бы дал тягу на край света или какой-нибудь проголодавшийся медведь упрятал их вместо завтрака в свой медвежий желудок. О, с каким бы я тогда восторгом стряхнул власами головы моей прах Сапогов ваших, возлег у ног Вашего поэтического превосходительства и ловил бы жадным ухом сладчайший нектар из уст ваших, приуготовленный самими богами из тьмочисленного количества ведьм, чертей и всего любезного нашему

сердцу. Но не такова досадная действительность или существенность; карантины превратили эти 24 версты в дорогу от Петербурга до Камчатки. Знаете ли, что я узнал на днях только? Что э... Но вы не поверите мне, назовете меня суевером. Что всему этому виною не кто другой, как враг Честного Креста церквей Господних и всего огражденного святым знаменем. Это чорт надел на себя зеленый мундир с гербовыми пуговицами, привесил к боку остроконечную шляпу и стал карантинным надзирателем. Но Пушкин, как ангел святой, не побоялся сего рогатого чиновника, как дух пронесся его мимо и во мгновение ока очутился в Петербурге на Вознесенском проспекте и воззвал голосом трубным ко мне, лепившемуся по низменному тротуару под высокими домами. Это была радостная минута. Она уже прошла. Это случилось 8-го августа. И к вечеру того же дня стало всё снова скучно, темно, как в доме опустелом".

6/18 апреля 1837 г. Гоголь писал Ж. из Рима о работе над "Мертвыми душами": "Меня страшит мое будущее. Здоровье мое, кажется, с каждым годом становится плоше и плоше. Я был недавно очень болен, теперь мне сделалось немного лучше. Если и Италия мне ничего не поможет, то я не знаю, что тогда уже делать. Я послал в Петербург за последними моими деньгами, и больше ни копейки, впереди не вижу совершенно никаких средств добыть их. Заниматься каким-нибудь журнальным мелочным вздором не могу, хотя бы умирал с голода. Я должен продолжать мною начатый большой труд, который писать с меня взял слово Пушкин, которого мысль есть его создание и который обратился для меня с этих пор в священное завещание. Я дорожу теперь минутами моей жизни, потому что не думаю, чтобы она была долговечна, а между тем... я начинаю верить тому, что прежде считал басней, что писатели в наше время могут умирать с голоду. Но чуть ли это не правда. Будь я живописец, хоть даже плохой, я был бы обеспечен: здесь в Риме около 15 человек наших художников, которые недавно высланы из Академии, из которых иные рисуют хуже моего, они все получают по три тысячи в год. Поди я в актеры - я бы был обеспечен, актеры получают по 10 000 серебром и больше, а вы сами знаете, что я не был бы плохой актер. Но я писатель - и потому должен умереть с голоду. На меня находят часто печальные мысли - следствие ли это ипохондрии или чего другого. Доктора больше относят к первому. Я и сам готов с ними согласиться, но вы можете видеть, что мои слова с своей стороны также справедливы. Рассмотрите положение, в котором я нахожусь, мое болезненное состояние, мою невозможность занятия чем-нибудь посторонним и дайте мне спасительный совет, что я должен сделать для того, чтобы протянуть на свете свою жизнь до тех пор, покамест сделаю сколько-нибудь из того, что мне нужно сделать. Я думал, думал, и ничего не мог придумать лучше, как прибегнуть к Государю. Он милостив, мне памятно до гроба то внимание, которое он оказал к моему "Ревизору". Я написал письмо, которое прилагаю; если вы найдете его написанным как следует, будьте моим предстателем, вручите; если же оно написано не так, как следует, то - он милостив, он извинит бедному своему подданному. Скажите, что я невежа, не знающий как писать к его высокой особе, но что я исполнен весь такой любви к нему, какою может быть исполнен один только русский подданный, и что осмелился потому только беспокоить его просьбою, что знал, что мы все ему дороги, как дети. Но я знаю, вы лучше и

приличнее скажете, нежели я... Если бы мне такой пансион, какой дается воспитанникам Академии художеств, живущим в Италии, или хотя такой, какой дается дьячкам, находящимся здесь при нашей церкви, то я бы протянулся тем более, что в Италии жить дешевле. Найдите случай и средство указать как-нибудь государю на мои повести: Старосветские помещики и Тарас Бульба. Это те две счастливые повести, которые нравились совершенно всем вкусам и всем различным темпераментам. Все недостатки, которыми они изобилуют, вовсе неприметные были для всех, кроме вас, меня и Пушкина. Я видел, что по прочтении их более оказывали внимания. Если бы их прочел Государь! Он же так расположен ко всему, где есть теплота чувств и что пишется прямо от души... О, меня что-то уверяет, что он бы прибавил ко мне участия".

В самом начале 1840 г. Ж. писал наследнику о затруднительных материальных обстоятельствах своего друга: "Гоголь в самом стесненном положении, взял из института сестер; а маленькое именьице, какое у него было, пропадает. Ему нужно 4000 рублей. Я хотел бы их собрать, но это не удается. Не можете ли меня ссудить этою суммою? Я перешлю ее Гоголю, а вам заплачу, когда это мне будет удобно, впрочем, в течение года или через год". Наследник истолковал это письмо как завуалированную просьбу о выделении Гоголю по высочайшему повелению финансовой помощи. Ж. в письме от 10 января 1840 г. поспешил рассеять это недоразумение: "Видно, вы не разобрали моего письма. Я не просил для Гоголя никакой помощи, и было бы с моей стороны несправедливо просить ее, особливо такой большой, какую вы назначили. Вы уже раз помогли ему - довольно. Еще менее просил я у вас ему взаймы: это было бы с моей стороны неприлично. Я просил у вас просто взаймы себе самому, как то было прежде, и вы очень одолжите меня, если ссудите меня этими деньгами; а с Гоголем будут у меня свои расчеты. Эти деньги дам ему от себя, не вмешивая в это вашего имени. Итак, прошу вас убедительно не давать в подарок назначенных вами 2000 рублей; я решительно от этого отказываюсь... и прошу покорно ссудить мою особу вышереченными 4000, кои нимало не потеряют своей натуры, если будут, принадлежа вам, покоиться в моем кармане, откуда в свое время с торжеством возвратятся в прежнюю великокняжескую область". Просимая ссуда была предоставлена. И Гоголь, извещенный Ж. о готовности дать ему взаймы 4000 рублей, благодаря чему стала возможна заграничная поездка, написал ему: "Я получил ваше письмо, в нем же радостная весть о моем освобождении. Рим мой! Употребляю все силы, все, что в состоянии еще подвигнуться моей волею. А о благодарности нечего и говорить: вы понимаете, как она должна быть сильна. Что я употреблю все, вы этому должны поверить потому, что я для этого живу и существую, и, даст Бог, выплачу мой долг... Обнимаю вас несчетно, мой избавитель". Однако выплата долга затянулась. В начале 1842 г. Гоголь писал Ж.: "Я не скажу, что я здоров; нет, здоровье, может быть, еще хуже, но я более нежели здоров. Я слышу часто чудные минуты, чудной жизнью живу, внутренней, огромной, заключенной во мне самом, и никакого блага и здоровья не взял бы. Вся жизнь моя отныне - один благодарный гимн. - Не пеняйте, что я до сих пор не уплачиваю взятых у вас денег. Все будет заплочено, может быть, нынешнею же зимою. Наконец, не с потупленными очами я предстану к вам, а теперь я живу и дивлюсь сам, как

живу, во всех отношениях ничем, и не забочусь о жизни и не стыжусь быть нищим".

26 июня 1842 г. Гоголь писал Ж. из Берлина: "Скажу только, что с каждым днем и часом становится светлей и торжественней в душе моей, что не без цели и значенья были мои поездки, удаленья и отлученья от мира, что совершалось незримо в них воспитанье души моей, что я стал далеко лучше того, каким запечатлелся в священной для меня памяти друзей моих, что чаще и торжественней льются душевные мои слезы и что живет в душе моей глубокая, неотразимая вера, что Небесная Сила поможет взойти мне на ту лестницу, которая предстоит мне, хотя я стою еще на нижайших и первых ее ступенях. Много труда и пути и душевного воспитанья впереди еще! Чище горнего снега и светлей небес должна быть душа моя, и тогда только я приду в силы начать подвиги и великое поприще, тогда только разрешится загадка моего существованья".

Ж. решил, что пришла пора сказать правду, поскольку наследник категорически отказался получать с него долг в 4000 рублей, взятых им для Гоголя. 25 мая н. ст. 1844 г. Ж. из Франкфурта написал Гоголю: "Вот вам известие о некоем деле, которое для нас, конечно, не будет неприятно. Я был должен великому князю наследнику 4000 рублей. При отъезде его из Дармштадта я сделал ему предложение: Не благоугодно ли будет вашему высочеству, чтобы я заплатил эти деньги не вам, а известному вам русскому весьма затейливому писателю, господину Гоголю; так, чтоб я ему сии деньги платил в год по 1000 рублей, начав с будущего января (понеже вдруг сего сделать не могу, вследствие чахоточного состояния мошны моей), - и его высочество на сей вопрос мой изрек и словесное, и письменное: быть по сему. Таким образом и состою вам должен 4000 рублей". Гоголь ответил 29 мая н. ст. 1844 г. из Бадена, отказываясь от новой нежданно свалившейся пенсии: "За письмо ваше очень, очень благодарю, но вы не сдержали условия. Помните? Я вас просил, чтобы наследнику не заикаться на счет меня в денежном отношении. Но так как вы уже это сделали, то, в наказание, должны сими деньгами выплачивать мой долг, т. е. четыре тысячи, которые я, года четыре тому назад, занял у вас в Петербурге. Я знаю, что это вам будет немножко досадно, но нечего делать, нужно покориться обстоятельствам". Однако в конечном счете Ж. все-таки послал Гоголю эти деньги. В феврале 1846 г. он писал Гоголю: "При сем прилагаю вексель на тысячу рублей. Теперь две тысячи вам заплачены. Еще остается на мне две тысячи, которое в свое время вы получите".

По свидетельству Ф. В. Чижова, встречавшегося с Ж. в Германии, он "очень любил Гоголя, но журил его за небрежность в языке, а, уважая и высоко ценя его талант, никак не был его поклонником. Проживая в Дюссельдорфе, я бывал у Жуковского раза три-четыре в неделю, часто у него обедал, и мне не раз случалось говорить с ним о Гоголе. Прочтя наскоро "Мертвые души", я пришел к Жуковскому; признаюсь, с первого разу, я очень мало раскусил их. Я был восхищен художническим талантом Гоголя, лепкою лиц, но, как я ожидал содержания в самом событии, то, на первый раз, в ряде лиц, для которых рассказ о Мертвых Душах был только внешним соединением, видел какое-то

отсутствие внутренней драмы. Я об этом сообщил Жуковскому и из слов его увидел, что ему не был известен полный план Гоголя. На замечание мое об отсутствии драмы в Мертвых Душах Жуковский отвечал мне: - "Да и вообще в драме Гоголь не мастер. Знаете ли, что он написал было трагедию? (Не могу утверждать, сказал ли мне Жуковский ее имя, содержание и из какого быта она была взята, только, как-то при воспоминании об этом, мне представляется, что она была из русской истории). Читал он мне ее во Франкфурте. Сначала я слушал; сильно было скучно; потом решительно не мог удержаться и задремал. Когда Гоголь кончил и спросил, как я нахожу, я говорю: "Ну, брат Николай Васильевич, прости, мне сильно спать захотелось". - "А когда спать захотелось, тогда можно и сжечь ее", отвечал он, и тут же бросил в камин. Я говорю: "И хорошо, брат, сделал"".

Во Франкфурте в 1844 г. между Ж. и Гоголем произошел забавный случай. Как сообщил биограф Гоголя П. А. Кулиш со слов А. К. Толстого, "когда Жуковский жил во Франкфурте-на-Майне, Гоголь прогостил у него довольно долго. Однажды, - это было в присутствии графа А. К. Толстого, - Гоголь пришел в кабинет Жуковского и, разговаривая со своим другом, обратил внимание на карманные часы с золотой цепочкой, висевшие на стене. - "Чьи это часы?" - спросил он. - "Мои", - отвечал Жуковский. - "Ах, часы Жуковского! Никогда с ними не расстанусь". С этими словами Гоголь надел цепочку на шею, положил часы в карман, и Жуковский, восхищаясь его проказливостью, должен был отказаться от своей собственности". Зимой 1844 г. на квартире Ж. во Франкфурте Гоголь работал над вторым томом "Мертвых душ". В связи с этим Ж. в октябре 1844 г. писал А. И. Тургеневу: "Наверху у меня гнездится Гоголь; он обрабатывает свои "Мертвые души"".

4 января н. ст. 1845 г. Ж. писал А. О. Смирновой: "Гоголя нет с нами. Он отправился в Париж, приглашенный туда Толстым и Виельгорскими. Я сам его послал туда, ибо у него начинали колобродить нервы, и сам Копп (немецкий врач. - Б. С.) прописал ему Париж как спасительное средство... Вам бы надо о нем позаботиться у царя и царицы. Ему необходимо надобно иметь что-нибудь верное в год. Сочинения ему мало дают, и он в беспрестанной зависимости от завтрашнего дня. Подумайте об этом; вы лучше других можете характеризовать Гоголя с его настоящей, лучшей стороны. По его комическим творениям могут в нем видеть совсем не то, что он есть. У нас смех принимают за грех, следовательно, всякий насмешник должен быть великий грешник...".

Гоголь уже 22 января н. ст. 1845 г. написал из Парижа Ж., убеждая, что вовсе не из-за него покинул Франкфурт: "Я во Франкфурте совсем не соскучился, но выехал единственно потому, что переносить болезненное и лихорадочное состояние, которого продолжительности я опасался. А наслаждений у меня много было там, внутренних и тихих, которые были достаточны разлить спокойствие на весь день... Дорога мне сделала добро; но в Париже я как-то вновь расклеился... Время идет бестолково и никак не устраивается, и я рад бы в здешнее длинное утро сделать хотя вполовину против того, что делывал в короткое утро во Франкфурте, хотя занятия были не те, какие замышлял". В связи с этим в апреле 1845 г. Ж. писал А. О. Смирновой: "Здоровье Гоголя требует решительных мер; ему надобно им заняться исключительно, бросив на

время перо, и ни о чем другом не хлопотать, как о восстановлении своей машины. Живучи у меня, во всю почти зиму он ничего не написал, и неудачные попытки писать только раздражали его нервы... Жизнь парижская никакой не принесла пользы: он возвратился в том же расстройстве... Гоголь теперь на три года обеспечен: от царя милостивого 1000 руб., да от великого князя 1000 франков, также в продолжение трех лет. Этого будет достаточно, и он может серьезно предаться лечению и с Божьей помощью получить излечение".

Летом 1846 г. Ж. писал М. П. Погодину: "У меня в Швальбахе гостил Гоголь; ему вообще лучше; но сидеть на месте ему нельзя; его главное лекарство путешествие; он отправился в Остенде". Ж. полагал, что только в дороге, в движении Гоголь чувствует себя хорошо, а задерживаясь подолгу на одном месте, быстро впадает в хандру.

3 июля н. ст. 1847 г. Ж. с удовлетворением писал А. О. Смирновой: "Гоголь теперь во Франкфурте; он пополнел, поздоровел, но вместо жаркой Палестины едет к южным берегам Северного моря, в котором надеется утопить последний остаток своего нервического недуга. Он теперь давно ушел от того состояния, в каком провел у меня целую зиму".

16 / 28 февраля 1848 г. Гоголь писал из Иерусалима Ж.: "Пишу к тебе несколько строчек, бесценный друг. И я, по примеру многих других, удостоился видеть место и землю, где совершилось дело искупленья нашего. Прибыл я сюда благополучно, без всяких затруднений, едва приметивши, что из Европы преступил в Азию, почти без всяких лишений и даже без утомленья. Уже успел произнесть твое имя у Гроба Господня. О! да поможет нам Бог, и тебе и мне, собрать все силы наши на произведенье творений, нами лелеемых во глубине душ наших, в добро земли нашей, и да просветит нас светом разума святого Евангелия Своего!" В следующем письме к Ж., уже из Бейрута, отправленном 6 апреля 1848 г., Гоголь так суммировал свои впечатления от Святой земли: "Уже мне почти не верится, что и я был в Иерусалиме. А между тем я был точно, я говел и приобщался у самого Гроба Святого. Литургия совершалась на самом гробовом камне. Как это было поразительно! Ты уже знаешь, что пещерка, или вертеп, в котором лежит гробовая доска, не выше человеческого роста; в нее нужно входить, нагнувшись в пояс; больше трех поклонников в ней не может поместиться. Перед нею маленькое преддверие, кругленькая комнатка почти такой же величины с небольшим столбиком посередине, покрытым камнем (на котором сидел Ангел, возвестивший о Воскресении). Это преддверие на это время превратилось в алтарь. Я стоял в нем один; передо мною только священник, совершавший Литургию. Диакон, призывавший народ к молению, уже был позади меня, за стенами Гроба. Его голос уже мне слышался в отдалении. Голос же народа и хора, ему ответствовавшего, был еще отдаленнее. Соединенное пение русских поклонников, возглашавших "Господи, помилуй" и прочие гимны церковные, едва доходило до ушей, как бы исходившее из какой-нибудь другой области. Всё это было так чудно! Я не помню, молился ли я. Мне кажется, я только радовался тому, что поместился на месте, так удобном для моленья и так располагающем молиться. Молиться же собственно я не успел. Так мне кажется. Литургия неслась, мне казалось, так быстро, что самые крылатые моленья не в силах бы угнаться за нею. Я не успел почти опомниться,

как очутился перед Чашей, вынесенной священником из вертепа для приобщенья меня, недостойного... Вот тебе все мои впечатления из Иерусалима".

15 июня 1848 г. Гоголь из Полтавы писал Ж. во Франкфурт: "Еще не принимался сурьезно ни за что и отдыхаю с дороги, но между тем внутренно молюсь и собираю силы на работу. Как ни возмутительны совершающиеся вокруг нас события (имеются в виду начавшиеся в Европе революции. - Б. С.), как ни способны они отнять мир и тишину, необходимые для дела, но тем не менее нужно быть верну главному поприщу; о прочем позаботится Бог. Что мы можем выдумать теперь для нашего земного благосостояния или обеспечения себя или обеспечения близких нам, когда всё неверно и непрочно и за завтрашний день нельзя ручаться? Будем же исполнять то, для чего нам даны Богом силы и способности и в истине чего залогом служат те сладкие минуты, которые мы в жизни ощущали, после которых и лучше молилось, и лучше благодарилось, и лучше чувствовалось добро. Что нам до того, производят ли влиянье слова наши, слушают ли нас! Дело в том, остались ли мы сами верны прекрасному до конца дней наших, умели ли возлюбить его так, чтобы не смутиться ничем, вокруг нас происходящим, и чтобы петь ему безустанно, петь даже и в ту минуту, когда бы валился мир и всё земное разрушалось. Умереть с пеньем на устах - едва ли не таков же неотразимый долг для поэта, как для воина умереть с оружьем в руках".

ЗАГОСКИН Михаил Николаевич (1789-1852), писатель, автор упоминаемого в "Ревизоре" романа "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году", а также "Рославлев, или Русские в 1812 году" и ряда других исторических романов и пьес. С 1831 г. - директор императорских московских театров.

Гоголь познакомился с З. в Москве в июле 1832 г. через посредство С. Т. Аксакова, который вспоминал, что Гоголь хвалил З. за веселость, но утверждал, что "он не то пишет, что следует, особенно для театра". По словам С. Т. Аксакова, "Загоскин, также давно прочитавший "Диканьку" и хваливший ее, в то же время не оценил вполне; а в описаниях украинской природы находил неестественность, напыщенность, восторженность молодого писателя; он находил везде неправильность языка, даже безграмотность. Последнее очень было забавно, потому что Загоскина нельзя было обвинить в большой грамотности. Он даже оскорблялся излишними, преувеличенными, по его мнению, нашими похвалами. Но по добродушию своему и по самолюбию человеческому ему приятно было, что превозносимый всеми Гоголь поспешил к нему приехать. Он принял его с отверстыми объятиями, с криком и похвалами; несколько раз принимался целовать Гоголя, потом принялся обнимать меня, бил кулаком в спину, называл хомяком, сусликом, и пр., и пр.; одним словом, был вполне любезен по-своему. Загоскин говорил без умолку о себе: о множестве своих занятий, о бесчисленном количестве прочитанных им книг, о своих археологических трудах, о пребывании в чужих краях (он не был далее Данцига), о том, что он изъездил вдоль и поперек всю Русь и пр., и пр. Все знают, что это совершенный вздор и что ему искренно верил один Загоскин. Гоголь принял это сразу и говорил с хозяином, как будто век с ним жил,

совершенно в пору и в меру. Он обратился к шкафам и книгам... Тут началась новая, а для меня уже старая история: Загоскин начал показывать и хвастаться книгами, потом табакерками и наконец шкатулками. Я сидел молча и забавлялся этой сценой. Но Гоголю она наскучила довольно скоро: он вдруг вынул часы и сказал, что ему пора идти, обещал еще забежать как-нибудь и ушел".

Гоголь неслучайно вложил в уста Хлестакова упоминание романа З. Хвастливый монолог главного героя "Ревизора", очевидно, пародировал хвастовство З. (который, кстати сказать, был не только литератором, но и чиновником, и отнюдь не коллежским регистратором, а в гораздо более высоких чинах), столь ярко проявившееся при первой встрече с Гоголем. Возможно, З. узнал себя в этом монологе, и данное обстоятельство вызвало негативную оценку им гоголевской комедии. В мае 1836 г. Гоголь просил З. посодействовать постановке "Ревизора" на московской сцене, но тот, как кажется, отнесся к этой просьбе без энтузиазма. По поводу эпиграфа к "Ревизору" З. возмущенно спрашивал у своих друзей: "Ну, скажите, где моя рожа крива?" Поскольку роман З. "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году" пытается выдать за собственное сочинение Хлестаков, не исключено, что З. задело подобное сравнение. Однако у них с Гоголем сохранились приятельские отношения. После того, как 17 октября 1839 г. Гоголь уехал из Малого театра после второго акта "Ревизора", разочарованный постановкой и игрой актеров, он в письме к З. просил оправдать его перед публикой. 8 ноября 1851 г. Гоголь посетил больного З. Это была их последняя встреча. З. пережил Гоголя на несколько месяцев.

"ЗАКОЛДОВАННОЕ МЕСТО", повесть, впервые опубликованная в 1832 г. во второй части сборника "Вечера на хуторе близ Диканьки" с подзаголовком "Быль, рассказанная дьячком ***ской церкви".

Пример того, "как морочит нечистая сила человека" и что "на заколдованном месте никогда не было ничего доброго", взят Гоголем из родной Васильевки. В финале З. м. читаем: "Засеют как следует, а взойдет такое, что и разобрать нельзя: арбуз не арбуз, тыква не тыква, огурец не огурец... черт знает что такое!" Здесь отразился рассказ Гоголя о необычной тыкве, приведенный в письме к матери от 12 сентября 1827 г. из Нежина: "Павел Петрович пишет, что отыскалась на том баштане, что за прудом (который весь высох) дыня с пупком (а не с хвостом). Удивляясь сему необыкновенному феномену, хотел бы я знать причину".

ЗАЛЕССКИЙ Богдан (1802-1886), польский поэт так называемой "украинской школы", представители которой писали о природе и истории Украины.

Гоголь познакомился с З. в Париже в 1837 г. Они беседовали и переписывались по-украински. Во второй половине февраля н. ст. Гоголь писал З. из Парижа: "Дуже-дуже було жалко, що не застав пана земляка дома. Чував, що на пана щось напало - не то сояшныця (боль в животе. - Б. С.), не то завійныця (тоже боль в животе. - Б. С.) (хай ій прыстнытся лысый дидько), та тепер, спасибо Богови, кажут начей-то пан зовсим здоров. Дай же Боже, щоб на довго, на славу усій козацкій земли давав бы чернецького хлиба усякій болизни

и злыдням. Та й нас бы не забував, пысульки в Рым слав. Добре б було, колы б и сам туды колы-небудь прымадрував. Дуже, дуже блызькый земляк, а по серцю це блыжчый, чим по земли".

"ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО", повесть, впервые напечатанная во второй части сборника "Арабески" в 1835 г. с подзаголовком: "Клочки из записок сумасшедшего". Повесть была написана осенью 1834 г. Ее замысел возник еще в 1832 г.

Согласно воспоминаниям П. В. Анненкова, однажды он застал в петербургской квартире Гоголя на Малой Морской пожилого человека, рассказывавшего "о привычках сумасшедших, строгой, почти логической последовательности, замечаемой в развитии нелепых их идей. Гоголь подсел к нему, внимательно слушал его повествование, и когда один из приятелей стал звать всех по домам, Гоголь возразил, намекая на своего посетителя: "Ты ступай... Они уже знают свой час и, когда надобно, уйдут". Большая часть материалов, собранных из рассказов пожилого человека, употреблены были Гоголем потом в "Записках сумасшедшего"". Вероятно, пожилой незнакомец был опытным врачом-психиатром. Во всяком случае, как отмечают современные специалисты, в З. с. клинически точно описано зарождение и развитие шизофренического бреда.

В. Г. Белинский в статье "О русской повести и повестях г. Гоголя" (1835) отмечал: "Возьмите "Записки сумасшедшего", этот уродливый гротеск, эту странную, прихотливую грезу художника, эту добродушную насмешку над жизнию и человеком, жалкою жизнию и жалким человеком, эту карикатуру, в которой такая бездна поэзии, такая бездна философии, эту психическую историю болезни, изложенную в поэтической форме, удивительную по своей истине и глубокости, достойной кисти Шекспира: вы еще смеетесь над простаком, но уже ваш смех растворен горечью: это смех над сумасшедшим, которого бред и смешит и возбуждает сострадание". В начале января 1835 г.Гоголь писал А. С. Пушкину: "Вышла вчера довольно неприятная зацепа по цензуре по поводу Записок сумасшедшего. Но слава Богу, сегодня немного лучше. По крайней мере, я должен ограничиться выкидкою лучших мест. Ну да Бог с ними!" Какими именно фрагментами текста вынужден был пожертвовать Гоголь, не установлено. Возможно, "испанский мотив" З. с. отразил мысль Гоголя, позднее сформулированную в письме Н. Я. Прокоповичу из Парижа 25 января н. ст. 1837 г.: "Жизнь политическая, жизнь вовсе противоположная смиренной художнической, не может понравиться таким счастливым праздным, как мы с тобою. Здесь всё политика, в каждом переулке или переулочке библиотека с журналами. Остановишься на улице чистить сапоги, тебе суют в руки журнал; в нужнике дают журнал. Об делах Испании больше всякой хлопочет, нежели о своих собственных".

"ИВАН ФЕДОРОВИЧ ШПОНЬКА И ЕГО ТЕТУШКА", повесть Гоголя, вошедшая во вторую часть сборника "Вечера на хуторе близ Диканьки", где и была впервые напечатана в 1832 г.

30 марта 1832 г. Гоголь из Петербурга писал А. С. Данилевскому :

"Прекрасна, пламенна, томительна и ничем не изъяснима любовь до брака; но тот только показал один порыв, одну попытку к любви, кто любил до брака. Эта любовь не полна; она только начало, мгновенный, но зато сильный и свирепый энтузиазм, потрясающий надолго весь организм человека. Но вторая часть, или лучше сказать, самая книга - потому что первая только предуведомление к ней - спокойна и целое море тихих наслаждений, которых с каждым днем открывается более и более, и тем с большим наслаждением изумляешься им, что они казались совершенно незаметными и обыкновенными. Это художник, влюбленный в произведенье великого мастера, с которого он уже никогда не отрывает глаз своих и каждый день открывает в нем новые и новые очаровательные и полные обширного гения черты, изумляясь сам себе, что он не мог их увидеть прежде. Любовь до брака - стихи Языкова: они эффектны, огненны и с первого раза уже овладевают всеми чувствами. Но после брака любовь - это поэзия Пушкина: она не вдруг охватит нас, но чем более вглядываешься в нее, тем она более открывается, развертывается и наконец превращается в величавый и обширный океан, в который чем более вглядываешься, тем он кажется необъятнее, и тогда самые стихи Языкова кажутся только частию, небольшою рекою, впадающею в этот океан. Видишь, как я прекрасно рассказываю! О, с меня был бы славный романист, если бы я стал писать романы! Впрочем это самое я докажу тебе примером, ибо без примера никакое доказательство не доказательство, и древние очень хорошо делали, что помещали его во всякую хрию. Ты, я думаю, уже прочел "Ивана Федоровича Шпоньку", он до брака удивительно как похож на стихи Языкова, между тем, как после брака сделается совершенно поэзией Пушкина".

В действительности в повести мы присутствуем только при завязке романа главного героя. В фамилии главного героя "Шпонька", что по-украински значит "запонка", подчеркивается незначительность, пошлость персонажа. Незначителен и чин, который он выслужил за одиннадцать лет воинской службы, уйдя в отставку всего лишь поручиком. Иван Федорович Шпонька начинает в гоголевском творчестве галерею "маленьких людей", пополнившуюся в дальнейшем персонажами "Записок сумасшедшего" и "Шинели". К. С. Аксаков писал в статье "Несколько слов о поэме Гоголя "Похождения Чичикова, или Мертвые души"" (1842) о гоголевской повести: "...На какой бы низкой степени ни стояло лицо у Гоголя, вы всегда признаете в нем человека, своего брата, созданного по образцу и подобию Божию... Вспомним "Ивана Федоровича Шпоньку": человек, кажется, пустой в высшей степени, дурачок, большей частью лежащий на кровати, скинувши мундир; вспомним, как он, приехавши в свою деревню, выехал на сенокос: на него действует природа, он соединен с ней, тут он чувствует, но чувство выказалось в нем столько, сколько должно и могло выказаться".

ИВАНОВ Александр Андреевич (1806-1858), художник. После окончания московской Академии художеств, чьим профессором был его отец, И. был послан в Италию на средства Общества поощрения художеств. В 1830 г. поселился в Риме. Его картина "Магдалина" вызвала всеобщий восторг. И. был избран академиком Петербургской академии и получил двухлетнюю пенсию от

Общества поощрения художеств. После этого, с 1837 г., И. начинает работу над грандиозным полотном "Явление Мессии (Явление Христа народу)", первые наброски к которой были сделаны еще в 1833 г. И. выполнил несколько сот этюдов к "Явлению Мессии", многие из которых фактически представляли собой полноценные картины. Он также создал "библейские эскизы" для фресок, которые так и не были написаны.

В 1858 г. И. вернулся из Италии и в мае показал "Явление Христа народу" в галерее Зимнего дворца и в Академии художеств, но на публику картина не произвела особо сильного впечатления. Вскоре И. умер от холеры, прожив на родине всего лишь два месяца. После смерти художника его главное полотно имело большой успех и было помещено в Третьяковскую галерею. Гоголь познакомился и подружился с И. в Италии в конце 1838 г. и посвятил ему статью "Исторический живописец Иванов" в книге "Выбранные места из переписки с друзьями". Там Гоголь утверждал: "Теперь все чувствуют нелепость упрека в медленности и лени такому художнику, который, как труженик, сидел всю жизнь свою над работою и позабыл даже, существует ли на свете какое-нибудь наслаждение, кроме работы. С производством этой картины связалось собственное душевное дело художника - явление, слишком редкое в мире". Гоголь брал пример с И. в работе над вторым томом "Мертвых душ".

Как свидетельствует Ф. И. Иордан, И. относился к Гоголю с огромным почтением: "А. А. Иванов была странная личность; он всегда улыбался и в Гоголе видел какого-то пророка. Гоголь давал ему наставления, которые рабски слушал. Я и Моллер, всегдашние вечерние посетители Гоголя, были в его глазах ничто перед Гоголем, и я душевно смеялся над его увлечением... В Риме у нас образовался свой особый кружок, совершенно отдельный от прочих русских художников. К этому кружку принадлежали: Иванов, Моллер и я; центром же и душой всего был Гоголь, которого мы все уважали и любили. Иванов к Гоголю относился не только с еще большим почтением, чем мы все, но даже (особенно в тридцатых и в начале сороковых годов) с каким-то подобострастием. Мы все собирались всякий вечер на квартире у Гоголя, по итальянскому выражению, "alle ventitre" (в 23-м часу, т. е. около 7 1/2 часов вечера), обыкновенно пили русский хороший чай и оставались тут часов до девяти или до десяти с половиной - не дольше, потому что для своей работы мы все вставали рано, значит, и ложились не поздно. В первые годы Гоголь всех оживлял и занимал. Про свои работы ни Гоголь, ни Иванов, - эта неразлучная парочка, - никогда не разговаривали с нами. Впрочем, может быть, они про них рассуждали друг с дружкой, наедине, когда нас там не было".В картине "Явление Христа народу" И. изобразил Гоголя в фигуре ближайшего к Иисусу.

М. П. Погодин записал в дневнике 25 марта н. ст. 1839 г.: "Гоголь повел нас в студию русского художника Иванова. Это новое для нас зрелище. Мы увидели в комнате Иванова ужасный беспорядок, но такой же беспорядок, который тотчас дает знать о принадлежности своей художнику. Стены исписаны разными фигурами, которая мелом, которая углем, - вот группа, вот целый эскиз. Там висит прекрасный дорогой эстамп, здесь приклеен или прилеплен какой-то очерк. В одном углу на полу валяется всякая рухлядь, в другом

исчерченные картины. В середине господствует на огромных подставках картина, над которою трудится художник. Сам он в простой холстинной блузе, с долгими волосами, которых он не стриг, кажется, два года, не бритый недели две, с палитрою в одной руке, с кистью в другой, стоит один-одинехонек перед нею, погруженный в размышления. Вокруг него по всем сторонам лежит несколько картонов с его корректурами, т. е. разными опытами представить то или другое лицо, разместить фигуры так или иначе. Повторяю, это явление было для нас совершенно ново и разительно. Приходом своим мы пробудили художника. Картина представляет проповедь в пустыне Иоанна Крестителя, который указывает на Спасителя, вдали идущего... Говорят, что Иванов работает очень медленно, беспрестанно поправляет себя, недоволен..."

Летом 1841 г. И. писал о Гоголе своему отцу: "Гоголь - человек необыкновенный, имеющий высокий ум и верный взгляд на искусство... Чувства человеческие он изучал и наблюдал их, словом, человек самый интереснейший, какой только может представиться доброты. Некто из нашего общества, художник лет двадцати, Шаповалов, получил от Общества поощрения художников пенсион в 80 руб. в месяц; обращаясь к банкиру 1 февраля, он получил отказ, увидев предписание от Общества. Таким образом, он остался без куска хлеба. В отчаянии он был ни на что не способен. Гоголь, видя общее сострадание, несмотря на свое нездоровье, решается прочесть свое произведение "Ревизор" в пользу Шаповалова. Билет стоил не менее скудно, и вот в зале княгини Зинаиды Волконской собрались все русские. Для меня это было весьма важным видеть отечественного лучшего писателя читающим свое собственное произведение. И в самом деле это было превосходно, вследствие чего собрано 500 руб., и Шаповалов с ними начинает важную копию с картины Перуджино".

18 марта 1844 г. Гоголь писал И. из Ниццы по поводу картины "Явление Христа народу": "...Вот вам одна очень важная истина, которой вы не поверите или, лучше, не допустит вас к тому ваша гордость: Пока не сделаешь дурно, до тех пор не сделаешь хорошо. А вы не хотите и слышать о том, что вы можете сделать дурно; вы хотите, чтоб у вас до последней мелочи было всё хорошо. Вы будете поправлять себя двадцать раз на всякой черточке, никак не захотите, чтобы оно было и осталось так, как есть, если не дастся лучше. Вы будете мучить себя и биться несколько дней около одного места, до того, что от частностей обессилеет у вас даже мысль о целом, которое тогда только, когда живо носится беспрестанно пред глазами и говорит о возможности скорого выполнения, тогда только двигает работу. Ибо вдвигает в душу порыв и вдохновенье, а вдохновеньем много постигается того, чего не достигнешь никакими учеными трудами. Вот вам та истина, которую я слышал всегда в душе, откуда исходят в нас все истины, и которую подтверждали мне на всяком шагу чужие и свои опыты. Но вы горды и с этим не согласитесь, между прочим, потому, что не взглянули еще сурьезно на жизнь. Вы легко приходите в уныние и не хотите догадаться, что у вас самих могут быть найдены средства противу всего. Еще многое почитаете вы за выдумки, принимая в буквальном смысле. Еще то, что есть самая жизнь, для вас безгласно и мертво. Еще на многое смотрите вы остроумными глазами, а не глазами мудреца, просветленного

разумом свыше. Еще вы не приобрели того, что одно могло б двинуть работу и сообщить вам ту силу, до которой не достигнешь никакими трудами и знаниями. Словом, вы еще далеко не христианин, хотя и замыслили картину на прославленье Христа и христианства. Вы не почувствовали близкого к нам участия Бога и всю высоту родственного союза, в который Он вступил с нами". Вскоре после получения этого письма И. сделал запись в одной из своих тетрадей: "Вспоминаю последнее письмо Гоголя и силюсь встать на новую, им указанную мне ступень".

9 февраля 1845 г. Гоголь из Франкфурта писал И.: "...Ваша картина не потому идет медленно, что вас убивает (даже в начале получаемых денег) мысль, что их не хватит на окончанье, но идет ваша картина медленно потому, что нет подстрекающей силы, которая бы подвигнула вас на уверенное и твердое производство... Молите Бога об этой силе. И вспомните сие мое слово: пока с вами или, лучше, в вас самих не произойдет того внутреннего события, какое силитесь вы изобразить на вашей картине в лице подвигнутых и обращенных словом Иоанна Крестителя, поверьте, что до тех пор не будет кончена ваша картина. Работа ваша соединена с вашим душевным делом. А покуда в душе вашей не будет кистью Высшего Художника начертана эта картина, потуда не напишется она вашею кистью на холсте. Когда же напишется она на душе вашей, тогда кисть ваша полетит быстрее самой мысли.

Явление же это совершится в вас вот каким образом. Начнется оно запросом: а что, если Бог в самом деле сходил на землю и был человеком и нарочно для того окружил земное пребывание Свое обстоятельствами, наводящими сомнение и сбивающими с толку умных людей, чтобы поразить гордящегося умом своим человека и показать ему, как сух и слеп и черств его ум, когда стоит одиноко, не вспомоществуемый другими, высшими способностями души и не озаренный светом Высшего Разума? Это будет началом обращения, концом же его будет то, когда вы не найдете слов ни изумляться, ни восхвалить необъятную мудрость Разума, предприявшего совершить такое дело: явиться в мир в виде беднейшего человека, не имевшего угла, где приклонить гонимую главу Свою, несмотря на всё совершенство Своей человеческой природы. И это будет формальным окончанием вашего обращения".

16 декабря 1850 г. Гоголь писал И. из Одессы: "Поздравляю вас с новым годом, Александр Андреевич! От всей души желаю, чтобы он был плодотворен для вашей работы и чтобы картина ваша в продолжение его наконец окончилась, и окончание ее, венчающее дело, было бы достославно. Пора наконец. Не всё же продолжаться этим безотрадным явленьям суматох и беспорядков; пора наконец показаться на свет плодам мира, обдуманных во глубине души мыслей и высоких созерцаний, совершившихся в тишине. Хорошо бы было, если бы и ваша картина и моя поэма явились вместе".

Последнее письмо Гоголя И. относится ко второй половине 1851 г.: "Николай Петрович Боткин передаст вам мой поцелуй, многолюбимый мною Александр Андреевич. Бог в помощь вам в трудах ваших! Не унывайте, бодритесь. Благословенье святое да пребудет над вашей кистью, и картина ваша будет кончена со славою. От всей души вам, по крайней мере, желаю. Ваш весь

Н. Г. Ни о чем говорить не хочется. Всё, что ни есть в мире, так ниже того, что творится в уединенной келье художника, что я сам не гляжу ни на что, и мир кажется вовсе не для меня. Я даже не слышу его шума. Христос с вами!"

"ИГРОКИ", комедия Гоголя. Впервые напечатана: Сочинения Николая Гоголя. СПб., 1842. Т. 4. Первые наброски И. относятся к 1836 г. 29 августа (10 сентября) 1842 г., посылая Н. Я. Прокоповичу текст пьесы, Гоголь писал: "Я немного замедлил высылкою остальных статей. Но нельзя было никак: столько нужно было сделать новых поправок! Посылаемые ныне "Игроки" в силу собрал. Черновые листы так были уже давно и неразборчиво написаны, что дали мне работу страшную разбирать".

10/22 октября 1842 г. Гоголь просил Н. Я. Прокоповича включить в текст И. "одно выражение, довольно значительное, именно, когда Утешительный мечет банк и говорит: "На, немец, возьми, съешь свою семерку". После этих слов следует прибавить: "Руте, решительно руте! просто карта-фоска!" Эту фразу включи непременно. Она настоящая армейская и в своем роде не без достоинства". "Руте" (дорога, фр.) означает постоянно держать банк на одну и ту же карту, а "карта-фоска" (искаженное французское carte fausse) означает "обманчивая карта". Употребление этих терминов можно расценить как намек на то, что Утешительный, как и Кугель, ранее состоял в военной службе.

21 ноября (3 декабря) 1842 г. Гоголь писал из Рима М. С. Щепкину, просившего И. для собственного бенефиса: "...Вы хотите всё повесить на одном гвозде, прося на пристяжку к "Женитьбе" новую, как вы называете, комедию "Игроки". Во-первых, она не новая, потому что написана давно, во-вторых, не комедия, а просто комическая сцена, а в-третьих, для вас даже там нет роли".

2 января 1843 г. Д. Н. Свербеев писал Н. М. Языкову : "...Вчера на нашей пятнице Аксаков-отец прочел комедию Гоголя "Игроки" - разумеется, между нами не было ни одного игрока. Должно ожидать огромного успеха на театре, но дело не обойдется без великой брани". Премьера И. состоялась в Москве 5 февраля 1843 г., а в Петербурге - 26 апреля 1843 г.

Как отмечал А. А. Григорьев в статье "Гоголь и его последняя книга" (1847), в И. "нагло-пристойный тон Утешительного - эти разговоры негодяев и мерзавцев о том, что человек обязан всего себя посвятить обществу, - а эта ложь вообще, сетями которой опутаны вообще гоголевские лица, - ложь или бессознательная или сознательная, но всегда выражающаяся словами божьей правды; этот городничий с богомольною речью, этот Степан Иванович Утешительный с мыслью о посвящении себя на пользу общества... Страшные лица, страшные степени падения..."

ИОРДАН Федор Иванович (1800-1883), русский художник-гравер. По окончании Академии художеств был в 1829 г. командирован за границу. В 1834 г. И. поселился в Риме, где сделал гравюру картины Рафаэля "Преображение". Работа над этой гигантской гравюрой заняла 12 лет. Впоследствии И. стал профессором и ректором Петербургской академии художеств.

Гоголь познакомился с И. в Риме в 1838 г. И. вспоминал в своих "Записках": "В Рим приехал Гоголь. Люди, знавшие его и читавшие его сочинения, были вне

себя от восторга и искали случая увидать его за обедом или за ужином, но его несообщительная натура и неразговорчивость помаленьку охладили этот восторг. Доброта Гоголя была беспримерна, особенно ко мне и к моему большому труду "Преображение". Он рекомендовал меня, где мог. Благодаря его огромному знакомству это служило мне поощрением и придавало новую силу моему желанию окончить гравюру. Гоголь сидел обыкновенно, опершись руками о колени, зачастую имея перед собою какие-нибудь мелкие покупки: они развлекали его. Часто встретишь его, бывало, в белых перчатках, щегольском пиджаке и синего бархата жилете; он всегда замечал, шутя: "Вы - Рафаэль первого манера", - и мы расходились смеясь. Гоголь многим делал добро рекомендациями, благодаря которым художники получали новые заказы. Его портрет, писанный Моллером, - верх сходства".

Но в начале 1840-х годов характер Гоголя заметно испортился. И. свидетельствует: "Исчезло прежнее светлое расположение духа Гоголя. Бывало, он в целый вечер не промолвит ни единого слова. Сидит себе, опустив голову на грудь и запустив руки в карманы шаровар, - и молчит. Не раз я ему говаривал: - "Николай Васильевич, что это вы как экономны с нами на свою собственную особу? Поговорите же хоть что-нибудь". Молчит. Я продолжаю: "Николай Васильевич, мы вот все труженики, работаем целый день: идем к вам вечером, надеемся отдохнуть, рассеяться, - а вот вы ни слова не хотите промолвить. Неужели мы все должны только покупать вас в печати?" Молчит и ухмыляется. Изредка только оживится, расскажет что-нибудь. Признаться сказать, на этих наших собраниях была ужаснейшая скука. Мы сходились, кажется, только потому, что так было уже раз заведено, да и ходить-то более было некуда... Сделался он своенравным. Во время обеда, спросив какое-нибудь блюдо, он едва, бывало, дотронется до него, как уже зовет полового и требует переменить кушанье по два, по три раза, так что половой трактира "al Falcone" Луиджи почти бросал ему блюда, говоря: "Синьор Николо, лучше не ходите к нам обедать, на вас никто не может угодить. Забракованные вами блюда хозяин ставит на наш счет"".

В. Ф. Чижов в мемуарах подтверждает этот рассказ И., намекавшего на необщительность Гоголя, в ту пору больше стремившегося слушать собеседников, чем рассказывать самому: "Однажды я тащил его почти насильно к Языкову. - Нет, душа моя, - говорил мне Иордан, не пойду, там Николай Васильевич. Он сильно скуп, а мы всё народ бедный, день-деньской трудимся, работаем - давать нам не из чего. Нам хорошо бы там вечерок провести, чтоб дать и взять, а он всё только брать хочет".

И. описал в своих мемуарах эпизод с чтением Гоголем "Ревизора" в феврале 1840 г.: "...Приезд наследника (будущего императора Александра II, в свите которого в Рим приехал В. А. Жуковский. - Б. С.) привлек в Рим множество гостей, особенно русских; Н. В. Гоголь, воспользовавшись этим, как известный писатель, желая помочь одному земляку своему, малороссу, весьма посредственному художнику, Шаповаленко (имеется в виду Иван Савельевич Шаповалов (1817-1890), А. А. Иванов относит этот эпизод к февралю 1841 г. - Б. С.), объявил, что будет читать комедию "Ревизор" в пользу этого живописца, по 5 скуд за билет. Как приезжие русские, так и приятели художника все бросились

брать билеты. Говорили, что Гоголь имеет необыкновенный дар читать, особенно "Ревизора", - комедию, обессмертившую его. Княгиня Зинаида Волконская дала ему в своем дворце, Palazzo Poji, большое зало, с обещанием дарового угощения. Съезд был огромный... В зале водворилась тишина; впереди, полукругом, стояло три ряда стульев, и все они были заняты лицами высшего круга. По середине залы стоял стол, на нем графин с водою и лежала тетрадь; видим, Н. В. Гоголь с довольно пасмурным лицом раскрывает тетрадь, садится и начинает читать, вяло, с большими расстановками, монотонно. Публика, по-видимому, была мало заинтересована, скорее скучала, нежели слушала внимательно; Гоголь, время от времени, прихлебывал воду; в зале царствовала тишина. Окончилось чтение первого действия без всякого со стороны гостей одобрения; гости поднялись со своих мест, а Гоголь присоединился к своим друзьям. Явились официанты с подносами, на них чашки с отличным чаем и всякого рода печением... Во время чтения второго действия многие кресла оказались пустыми. Я слышал, как многие, выходя, говорили: "этою пошлостью он кормил нас в Петербурге, теперь он перенес ее в Рим". Доброе намерение Н. В. Гоголя оказалось для него совершенно проигранным. Несмотря на яркое освещение зала и на щедрое угощение, на княжеский лад, чаем и мороженым, чтение прошло сухо и принужденно, не вызвав ни малейшего аплодисмента, и к концу вечера зало оказалось пустым; остались только мы и его друзья, которые окружили его, выражая нашу признательность за его великодушное намерение устроить вечер в пользу неимущего художника".

И. откликнулся и на смерть Гоголя. В феврале 1852 г. в письме А. А. Иванову он описал гоголевские похороны: "Стечение народа в продолжение двух дней было невероятное. Рихтер (художник. - Б. С.), который живет возле университета, писал мне, что два дня не было проезду по Никитской улице. Он лежал в сюртуке, - верно, по собственной воле, - с лавровым венком на голове, который при закрытии гроба был снят и принес весьма много денег от продажи листьев сего венка. Каждый желал обогатить себя сим памятником".

"ИСКУССТВО ЕСТЬ ПРИМИРЕНИЕ С ЖИЗНЬЮ", статья, предназначавшаяся для включения во второе издание книги "Выбранные места из переписки с друзьями". Впервые опубликована: Русский вестник, 1888, № 11. Она представляет собой письмо Гоголя В. А. Жуковскому от 30 декабря 1847 г. (10 января 1848 г.) из Неаполя. В приписке к нему он отметил: "Если письмо это найдешь не без достоинства, то прибереги его. Его можно будет при втором издании "Переписки" поставить впереди книги на место "Завещания", имеющего выброситься, а заглавье дать ему: "Искусство есть примирение с жизнью"".

Жуковский 8 января 1848 г. ответил Гоголю письмом, опубликованном в "Москвитянине" (1848, № 4) под названием "О поэте и современном его значении". Там Жуковский назначение поэта и поэзии, имея в виду под ней искусство литературы, понимал следующим образом: "Поэт творит словом, и это творческое слово, вызванное вдохновением из идеи, могущественно владевшей душою поэта, стремительно переходя в другую душу, производит в

ней такое же вдохновение и ее также могущественно объемлет; это действие не есть ни умственное, ни нравственное - оно просто власть, которой мы ни силою воли, ни силою рассудка отразить не можем... Если таково действие поэзии, то сила производить его, данная поэту, должна быть не иное что, как призвание от Бога, есть, так сказать, вызов от Создателя вступить с Ним в товарищество создания. Творец вложил свой дух в творение: поэт, его посланник, ищет, находит и открывает другим повсеместное присутствие духа Божия. Таков истинный смысл его призвания, его великого дара, который в то же время есть и страшное искушение, ибо в сей силе для полета высокого заключается и опасность падения глубокого... Дело поэта... с одной стороны, то есть в тесном смысле художественного произведения... состоит в одном исполнении более или менее совершенном, условий искусства; с другой, то есть в обширном смысле самого художества, оно заключает в себе и действие, производимое духом поэта".

Эти мысли были вполне созвучны гоголевским. Неудивительно, что Гоголь высоко оценил статью Жуковского и 15 июня 1848 г. писал ему из Полтавы: "Никогда еще так верно и так прекрасно не было сказано о долге писателя; никогда еще, может быть, не было так нужно сказать это, как в нынешнее время... Как ни возмутительны совершающиеся вокруг нас события, как ни способны они отнять мир и тишину (имеются в виду революционные выступления во Франции, Италии, Австрии и Германии. - Б. С.), необходимые для дела, но тем не менее нужно быть верну главному поприщу; о прочем позаботится Бог. Что мы можем выдумать теперь для нашего земного благосостояния, или обеспечения себя, или обеспечения близких нам, когда все неверно и непрочно, и за завтрашний день нельзя ручаться? Будем же исполнять то, для чего нам даны Богом силы и способности и в истине чего залогом служат те сладкие минуты, которые мы в жизни ощущали, после которых и лучше молилось, и лучше благодарилось, и лучше чувствовалось добро. Что нам до того, производят ли влиянье слова наши, слушают ли нас! Дело в том, остались ли мы сами верны прекрасному до конца дней наших, умели ли возбудить его так, чтобы не смутиться ничем, вокруг нас происходящим, и чтобы петь ему безустанно песнь и в ту минуту, когда бы валился мир и все земное разрушалось. Умереть с пеньем на устах - едва ли не таков неотразимый долг для поэта, как для воина умереть с оружьем в руках..."

В И. е. п. с ж. Гоголь рассуждал о природе собственного смеха в связи с "Ревизором": "Правда, что еще бывши в школе, чувствовал я временами расположенье к веселости и надоедал товарищам неуместными шутками. Но это были временные припадки, вообще же я был характера скорей меланхолического и склонного к размышлению. Впоследствии присоединились к этому болезнь и хандра. И эти-то самые болезнь и хандра были причиной той веселости, которая явилась в моих первых произведениях: чтобы развлекать самого себя, я выдумывал без дальнейшей цели и плана героев, становил их в смешные положения - вот происхождение моих повестей! Страсть наблюдать за человеком, питаемая мною еще сызмала, придала им некоторую естественность; их даже стали называть верными снимками с натуры. Еще одно обстоятельство: мой смех вначале был добродушен; я совсем не думал осмеивать что-либо с

какой-нибудь целью, и меня до такой степени изумляло, когда я слышал, что обижаются и даже сердятся на меня целые сословия и классы общества, что я наконец задумался. "Если сила смеха так велика, что ее боятся, стало быть, ее не следует тратить по-пустому". Я решился собрать всё дурное, какое я только знал, и за одним разом над всем посмеяться - вот всё происхождение "Ревизора"! Это было первое мое произведение, замышленное с целью произвести доброе влияние на общество, что, впрочем, не удалось: в комедии стали видеть желанье осмеять узаконенный порядок вещей и правительственные формы, тогда как у меня было намерение осмеять только самоуправное отступление некоторых лиц от форменного и узаконенного порядка. Представление "Ревизора" произвело на меня тягостное впечатление. Я был сердит и на зрителей, меня не понявших, и на себя самого, бывшего виной тому, что меня не поняли. Мне хотелось убежать от всего".

В И. е. п. с ж. Гоголь также рассказал о зарождении и воплощении замысла "Мертвых душ": "Уже давно занимала меня мысль большого сочиненья, в котором бы предстало всё, что ни есть хорошего и дурного в русском человеке, и обнаружилось бы пред нами видней свойство нашей русской природы. Я видел и обнимал порознь много частей, но план целого никак не мог передо мной выясниться и определиться в такой силе, чтобы я мог уже приняться и начать писать. На всяком шагу я чувствовал, что мне многого недостает, что я не умею еще ни завязывать, ни развязывать событий, и что мне нужно выучиться постройке больших творений у великих мастеров. Я принялся за них, начиная с нашего любезного Гомера. Уже мне показалось было, что я начинаю кое-что понимать и приобретать даже их приемы и замашки, а способность творить все не возвращалась. От напряженья болела голова. С большими усилиями удалось мне кое-как выпустить в свет первую часть "Мертвых Душ" как бы затем, чтобы увидеть на ней, как я был еще далек от того, к чему стремился. После этого вновь нашло на меня безблагодатное состояние. Изгрызалось перо, раздражались нервы и силы - и ничего не выходило. Я думал, что уже способность писать просто отнялась от меня. И вдруг болезни и тяжкие душевные состоянья, оторвавши меня разом от всего и даже от самой мысли об искусстве, обратили к тому, к чему прежде, чем сделался писатель, уже имел я охоту: к наблюденью внутреннему над человеком и над душой человеческой. О, как глубже перед тобой раскрывается это познание, когда начнешь дело с собственной своей души! На этом-то пути поневоле встретишься ближе с тем, который один из всех доселе бывших на земле показал в себе полное познанье души человеческой; божественность которого если бы даже и отвергнул мир, то уж этого последнего свойства никак не в силах отвергнуть, разве только в таком случае, когда сделается уже не слеп, а просто глуп. Этим крутым поворотом, происшедшим не от моей воли, наведен я был заглянуть глубже в душу вообще и узнать, что существуют ее высшие степени и явления. С тех пор способность творить стала пробуждаться; живые образы начинают выходить ясно из мглы; чувствую, что работа пойдет, что даже и язык будет правилен и звучен, а слог окрепнет".

Здесь же Гоголь изложил свое эстетическое кредо: "Истинное созданье искусства имеет в себе что-то успокаивающее и примирительное. Во время

чтенья душа исполняется стройного согласия, а по прочтении удовлетворена: ничего не хочется, ничего не желается, не поднимается в сердце движенье негодования против брата, но скорее в нем струится елей всепрощающей любви к брату; и вообще не устремляешься на порицанье действий другого, но на созерцанье самого себя. Если же созданье поэта не имеет в себе этого свойства, то оно есть один только благородный, горячий порыв, плод временного состоянья автора. Оно остается, как примечательное явленье, но не назовется созданьем искусства. Поделом. Искусство есть примиренье с жизнью! Искусство есть водворенье в душу стройности и порядка, а не смущенья и расстройства. Искусство должно изобразить нам таким образом людей земли нашей, чтобы каждый из нас почувствовал, что это живые люди, созданные и взятые из того же тела, из которого и мы. Искусство должно выставить нам на вид все доблестные народные наши качества и свойства, не исключая даже и тех, которые, не имея простора свободно развиться, не всеми замечены и оценены так верно, чтобы каждый почувствовал их в себе самом и загорелся бы желаньем развить и взлелеять в себе самом то, что им заброшено и позабыто. Искусство должно выставить нам все дурные наши народные качества и свойства таким образом, чтобы следы их каждый из нас отыскал прежде всего в себе самом; и подумал бы о том, как прежде с самого себя сбросить всё, омрачающее благородство природы нашей. Тогда только и таким образом действуя, искусство исполнит свое назначенье и внесет порядок и стройность в общество!"

КАЙСЕВИЧ Иероним, польский священник, поэт, в прошлом - кавалерийский офицер, участник Польского восстания 1830-1831 годов, после поражения которого эмигрировал и впоследствии принял священнический сан.

Осенью 1837 г. вместе с П. Семененко приехал в Рим. Здесь в начале 1838 г. они познакомились с Гоголем. В марте 1838 г. К. записал в дневнике: "Познакомились с Гоголем, малороссом, даровитым великорусским писателем, который сразу выказал большую склонность к католицизму и к Польше, совершил даже благополучное путешествие в Париж, чтобы познакомиться с Мицкевичем и Богданом Залесским". В апреле 1838 г. К. посвятил Гоголю сонет:

Видел я цветок прекрасный,
пересаженный с поля,
Водой ключевой заботливо
поливаемый,
И солнцем освещенный,
и за стеклом согретый,
Но все-таки теряющий красу
и печально поникший.
Видел я певца с Днепровской
стороны,
Хоть сердцем и умом щедро
наделенного,
И возросшего в райской земле,

засеянной вдохновением,
Но все же осененного неясной
болью.
Пришла весна, открыли
прозрачную темницу:
Цветок, душистым фиалом
приветствуя обнаженный луч,
Теплой росой утоляет долгую
жажду.
И ты, вестник, будешь избавлен
от мертвящей суши,
И песнь горняя сильней
затронет грудь братьев,
Только росе небесной не
закрывай души.

КАРАМЗИН Андрей Николаевич (1814-1854), сын знаменитого историка Николая Михайловича Карамзина (1766-1826), написавшего "Историю Государства Российского", полковник лейб-гвардии конной артиллерии. В 1854 г. погиб в сражении с турками при Каракале в Румынии. К. познакомился с Гоголем в середине 1830-х годов в Петербурге.

В письме матери Екатерине Андреевне Карамзиной от 17 февраля 1837 г. из Парижа К. запечатлел гоголевскую реакцию на смерть Пушкина: "У Смирновых обедал Гоголь: трогательно и жалко смотреть, как на этого человека подействовало известие о смерти Пушкина. Он совсем с тех пор не свой. Бросил то, что писал, и с тоской думает о возвращении в Петербург, который опустел для него". К. из Парижа вместе с Гоголем отправился в Рим и 16 / 28 апреля 1837 г. писал Е. А. Карамзиной: "Вечером был я, конечно, на 12 Евангелией, но и тут бес попутал, сведя меня с Гоголем, он мне все время шептал про двух попов в городе Нижнем, которые в большие праздники служат вместе и стараются друг друга перекричать так, что к концу обедни прихожане глохнут; и как один из этих попов так похож на козла, что у него даже борода козлом воняет и пр.". А 14 / 26 мая сообщил ей же: "...Ездили мы (Гоголь и я) с Балабиной и Репниной-Балабиной (она премиленькая) смотреть на Колисей при лунном свете" А в последнем письме Е. А. Карамзиной из Рима 22 мая (3 июня) 1837 г. К. писал: "...Поехали мы с Гоголем во Фраскати, к Репниным, и пробыли там два дня... Гоголь при знакомстве выигрывает, он делается разговорчив и часто в разговоре смешон и оригинален, как в своих повестях. Жаль, очень жаль, что недостает в нем образования, и еще больше жаль, что он этого не чувствует".2/14 августа 1837 г. К. присутствовал на чтении Гоголем в Бадене у Смирновых первых глав "Мертвых душ".

КИРЕЕВСКИЙ Иван Васильевич (1806-1856), публицист, один из наиболее видных представителей славянофильства. Гоголь познакомился с ним в 1833 г.

28 сентября 1833 г. Гоголь писал М. П. Погодину: "Кланяйся особенно Киреевскому, вспоминает ли он обо мне? Скажи ему, что я очень часто об нем

думаю и эти мысли мне почти так же приятны, как о тебе и о родине".

10 марта 1835 г. Гоголь просил С. П. Шевырева передать К. экземпляр "Миргорода". А в начале 1840 г. Гоголь читал у К. первые главы "Мертвых душ". В письмах друзьям Гоголь неоднократно выражал удовлетворение тем, что в 1844 г. К. стал соредактором "Москвитянина", наряду с М. П. Погодиным. Будучи в Москве, Гоголь часто посещал салон К.

8 августа 1849 г. К. писал матери: "...Гоголя мы видели вчера. Второй том "Мертвых Душ" написан, но еще не приведен в порядок, для чего ему нужно будет употребить еще год".

"КОЛЯСКА", повесть, впервые опубликованная: Современник, 1836, т. 1. Первоначально К. предназначалась для альманаха, который планировал издавать А. С. Пушкин, в конце концов поместивший повесть в "Современнике". Получив К. от Гоголя, Пушкин в первой половине октября 1835 г. писал П. А. Плетневу: "Спасибо, великое спасибо Гоголю за его Коляску, в ней альманах далеко может уехать; но мое мнение: даром Коляски не брать; а установить ей цену; Гоголю нужны деньги".

В основу сюжета К. лег случай из жизни друга Гоголя графа М. Ю. Виельгорского, о котором рассказал в "Воспоминаниях" его зять В. А. Соллогуб: "Он был рассеянности баснословной; однажды, пригласив к себе на огромный обед весь находившийся в то время в Петербурге дипломатический корпус, он совершенно позабыл об этом и отправился обедать в клуб; возвратясь, по обыкновению, очень поздно домой, он узнал о своей оплошности и на другой день отправился, разумеется, извиняться перед своими озадаченными гостями, которые накануне, в звездах и лентах, явились в назначенный час и никого не застали дома. Все знали его рассеянность, все любили его и потому со смехом ему простили; один баварский посланник не мог переварить неумышленной обиды; и с тех пор к Виельгорскому ни ногой". В. Г. Белинский в статье "Сочинения Николая Гоголя" (1843) охарактеризовал К. как "мастерской юмористический очерк, в котором больше поэтической жизни и истины, чем во многих пудах романов многих наших романистов..."

КОНСТАНТИНОВСКИЙ Матвей Александрович (1791-1857), священник Спасо-Преображенской церкви г. Ржева, с 1849 г. протоиерей, настоятель Успенского кафедрального собора. Занимался проповедничеством, вел аскетический образ жизни, был духовником Гоголя.

Они познакомились лично только в январе 1849 г. в Москве, когда приехавший туда К. остановился у А. П. Толстого, у которого квартировал и Гоголь. Но еще раньше по рекомендации А. П. Толстого писатель вступил в переписку с К., которого граф охарактеризовал как выдающегося православного проповедника. До нас дошли только гоголевские письма к К. Письма самого К. Гоголь уничтожил за несколько дней до смерти. 20 октября 1846 г. Гоголь просит П. А. Плетнева два экземпляра "Выбранных мест из переписки с друзьями" отправить "в Ржев Тверской губернии священнику Матвею Александровичу".

9 мая н. ст. 1847 г. Гоголь из Неаполя ответил К. на письмо, где резко

критиковались "Выбранные места...": "Что могу сказать вам в ответ на чистосердечное письмо ваше? Благодарность! Вот первое слово, которое я должен сказать вам, хотя очень хотелось бы мне иметь от вас не такое письмо. Все слова ваши, как о евангельском значении милостыни, так и о прочем - святая истина. В них я убежден, против них не спорю, а между тем в книге моей изложено так, как бы я был против этого. Как изъяснить это явление? Скажу более: статью о театре я писал не с тем, чтобы приохотить общество к театру, а с тем, чтобы отвадить его от развратной стороны театра, от всякого рода балетных плясавиц и множества самых странных пиес, которые в последнее время стали кучами переводить с французского... Я хотел отвадить от этого указанием на лучшие пиесы и выразил всё это таким нелепым и неточным образом, что подал повод вам думать, что я посылаю людей в театр, а не в церковь. Храни меня Бог от такой мысли! Никогда я не имел ее даже и тогда, когда гораздо меньше чувствовал святыню Святых Истин. Я только думал, что нельзя отнять совершенно от общества увеселений их, но надобно так распорядиться с ними, чтобы у человека возрождалось само собою желание после увеселения идти к Богу - поблагодарить Его, а не идти к чорту - послужить ему. Вот была основная мысль той статьи, которую я не сумел хорошо написать. Скажу вам нелицемерно и откровенно, что виной множества недостатков моей книги не столько гордость и самоослепление, сколько незрелость моя... Обрадовавшись тому, что удалось в себе победить многое, я вообразил, что могу учить и других, издал книгу и на ней увидел ясно, что я - ученик. Желание и жажда добра, а не гордость, подтолкнули меня издать мою книгу, а как вышла моя книга, я увидел на ней же, что есть во мне и гордость, и самоослепление, и много того, чего бы я не увидал, если бы не была издана моя книга. Эта строптивость, дерзкая замашка, которая так оскорбила вас в моей книге, произошла тоже от другого источника. Воспитывая себя самого суровою школою упреков и поражений и находя от них пользу существенную душе, я был не шутя одно время уверен в том, что и другим это полезно, и выразился грубо и жестко. Я позабыл, что голосом любви следует говорить, когда хочешь чему поучить других, и чем святее истина, тем смиреннее нужно быть тому, который хочет возвещать о ней. Я попался сам в тех самых недостатках, в которых попрекнул других. Словом, всё в этой книге обличает невоспитанье мое. Бог дал большое именье, множество в нем всяких угодий и удобств, земли не окинешь глазом, а сам управитель, которому поручено это имение, еще не умеет управлять им... А книга моя не от дурного умысла: мое неразумие всему причиною; зато Бог и наказал меня, наказал меня тем, что все до единого вопиют против моей книги, хотя и разнообразны до бесконечности причины этих криков. Но как милостиво и самое наказание Его! В наказание он дает мне почувствовать смирение - лучшее, что только можно дать мне... Есть люди, которым нужна публичная, в виду всех данная оплеуха. Это я сказал где-то в письме, хотя и не знал еще тогда, что получу сам эту публичную оплеуху. Моя книга есть точная мне оплеуха. Я не имел духу заглянуть в нее, когда получил ее отпечатанную: я краснел от стыда и закрывал лицо себе руками при одной мысли о том, как неприлично и как дерзко выразился о многом; отсутствие мест, выпущенных цензурою и не замененных ничем другим, разрушивши связь и

сделавши темным, почти бессмысленным многое, еще более увеличило недостатки ее в глазах моих. Итак, книга моя, прежде чем быть полезной для других, полезна и для меня, и это считаю знаком ко мне милости Божией. Мне нужно зеркало, в которое я должен глядеться всякий день, чтобы видеть мое неряшество. Что же до влияния на других, то мне как-то не верится, чтобы от книги моей распространился вред на них. За что Богу так ужасно меня наказывать? Нет, Он отклонит от меня такую страшную участь, если не ради моих бессильных молитв, то ради молитв тех, которые Ему молятся обо мне и умеют угождать Ему, ради молитв моей матери, которая из-за меня вся превратилась в молитву. Теперь я собираю весьма тщательно толки о моей книге со всех сторон, равно как и отчет о всех впечатлениях, ею производимых. Сколько могу судить по тем, которые доселе имею, книга моя не произвела почти никакого впечатления на тех людей, которые находятся уже в недре Церкви, что весьма естественно: кто имеет у себя дома лучший обед, тот не станет по чужим домам искать худшего; кто добрался до самого родника вод, тому незачем бегать за полугрязными ручьями, хотя бы они и стремились в ту же реку. Напротив, из тех, которые находятся в недре Церкви и действительно веруют, многие даже вооружились против моей книги и стали еще бдительнее на страже собственной своей души. Книга моя подействовала только на тех, которые не ходят в церковь и которые не захотели бы даже выслушать слов, если бы вышел сказать им поп в рясе. Если это правда и если, точно, некоторые пошатнулись в неверии своем и пошли хотя из любопытства в церковь, то это одно уже может меня успокоить. Там, то есть в церкви, они найдут лучших учителей. Достаточно, что занесли уже ногу на порог дверей ее. О книге моей они позабудут, как позабывает о складах ученик, выучившийся читать по верхам. Причину этого для вас, может быть, странного явления я могу объяснить тем, что в книге моей, несмотря на все великие недостатки ее, есть, однако же, одна только та правда, которую покуда заметили немногие. В ней есть душевное дело, исповедь человека, который почувствовал сильно, что воспитанье наше начинается с тех только пор, когда кажется, что оно уже кончилось. Там изложен отчасти и процесс такого дела, понятный даже и не для христианина, несмотря на неточность моих слов и выражений, непонятных для не страдавшего теми недугами, какими страждут неверующие люди нынешнего времени. Мне кажется, что если кто-нибудь только помыслит о том, чтобы сделаться лучшим, то он уже непременно потом встретится со Христом, увидевши ясно, как день, что без Христа нельзя сделаться лучшим, и, бросивши мою книгу, возьмет в руки Евангелие. И потому-то, я думаю, напрасно не обратили внимание на эту сторону моей книги все те, которые имеют дело с душою человека. Мне кажется, что следовало бы даже, отбросивши на время в сторону все оскорбляющие слова, резкие выражения и даже целиком те статьи, на которых отразились мое несовершенство, недостатки и невежество, прочитать внимательно и даже несколько раз некоторые статьи, особенно те, где ум не может быть вдруг судьей и которые проверить можно только собственной душой своей. Как бы то ни было, но если вы заметите, что книга моя произвела на кого-нибудь вредное влияние и соблазнила его, уведомьте меня, ради Самого Христа, обстоятельно и отчетливо, не скрывая ничего".

14 августа н. ст. 1847 г. из Остенде Гоголь писал А. П. Толстому о письме К., посвященном критике "Выбранных мест...": "Вы спрашиваете о письме Матвея Александровича: оно скорее длинно, чем коротко. Видно, что сердце в нем разговорилось и что он, точно как купец, рад от всей души продать товар свой. Тексты, приводимые из Св. Писания, показывают в нем полного хозяина, который знает, где, в каком месте нужно что брать. Говорит он о том, как все мы - церкви живого Бога и должны слушаться Духа, в нас живущего, а не земной телесности нашей; что никому из нас не прожить столько, как мы прожили, и потому, оставивши все хлопоты и вещи мира, следует нам поворотить во внутреннюю жизнь. Почти половина письма пришлась мне кстати, другая потому не пришлась, что он не в том смысле взял некоторые слова мои, но тем не менее и эта половина справедлива. Мне чувствуется, что следующее письмо, которое получу от него, может уже прийтись целиком к душе моей. Скажу, что вследствие письма я больше осмотрелся и хочу снова перечитать всё мною читанное для души, начиная с Ефрема Сирянина, Златоуста и Макария Египетского, как советует он, тем более, что я замечал, что после всякого такого чтения становится яснее взгляд на Евангелие, и многие места в нем становятся доступнее (интересно, что прямо противоположной точки зрения держался друг Гоголя М. С. Щепкин, считавший, что Евангелие самодостаточно и не требует для своего понимания дополнительного чтения богословской литературы. - Б. С.)".

В следующем письме К. советовал Гоголю не оправдываться публично в связи с многочисленной критикой "Выбранных мест...", последовавшей от представителей разных направлений общественной мысли. Да и сам К., похоже, смягчил собственную критику гоголевской книги. 24 сентября н. ст. 1847 г. Гоголь писал К. из Остенде: "Бог да наградит вас за ваши добрые строки! Многое в них пришлось очень кстати моей душе; со многим я уже согласился еще прежде, чем пришло ваше письмо. Например, насчет того, чтобы не оправдываться перед миром. В самом деле, ведь судить нас будет Бог, а не мир. Не знаю, сброшу ли я имя литератора, потому что не знаю, есть ли на это воля Божия, но, во всяком случае, рассудок мой говорит мне не выдавать ничего в свет в продолжение долгого времени, покуда не созрею лучше сам внутренно и душевно. А покуда съезжу в Иерусалим, помолюсь у Гроба Господня, как только в силах помолиться. Помолитесь обо мне, добрая душа, чтобы я в силах был тепло и сильно помолиться. Просите Бога, чтобы на самом том месте, где проходили Божественные стопы Единородного Сына Его, сказало бы мне сердце мое всё, что мне нужно. Хотелось бы мне, чтобы со дня этого поклоненья моего понес бы я повсюду образ Христа в сердце моем, имея ежеминутно Его пред мысленными глазами своими. Признаюсь вам, я до сих пор уверен, что закон Христов можно внести с собой повсюду, даже в стены тюрьмы, и можно исполнять Его требования во всяком званьи и сословии. Его можно исполнять также и в званьи писателя. Если писателю дан талант, то, верно, недаром и не на то, чтобы обратить его во злое. Если в живописце есть склонность к живописи, то, верно, Бог, а не кто другой, виновник этой склонности. Вольно было живописцу, на место того, чтобы изображать кистью предметы высокие, образа угодников Божиих и высших людей, писать

соблазнительные сцены развратных увеселений и униженья человеческого! Разве не может и писатель в занимательной повести изобразить живые примеры людей лучших, чем каких изображают другие писатели, - представить их так живо, как живописец? Примеры сильнее рассужденья; нужно только для этого писателю уметь прежде самому сделаться добрым и угодить жизнью своей сколько-нибудь Богу. Я бы не подумал о писательстве, если бы не было теперь такой повсеместной охоты к чтению всякого рода романов и повестей, большею частью соблазнительных и безнравственных, но которые читаются потому только, что написаны увлекательно и не без таланта. А я, имея талант, умея изображать живо людей и природу (по уверению тех, которые читали мои первоначальные повести), разве я не обязан изобразить с равною увлекательностию людей добрых, верующих и живущих в законе Божием? Вот вам (скажу откровенно) причина моего писательства, а не деньги и не слава. Но... теперь я отлагаю всё до времени и говорю вам, что долго ничего не издам в свет и всеми силами буду стараться узнать волю Божию, как мне быть в этом деле. Если бы я знал, что на каком-нибудь другом поприще могу действовать лучше во спасанье души моей и во исполненье всего того, что должно мне исполнить, чем на этом, я бы перешел на то поприще. Если бы я узнал, что я могу в монастыре уйти от мира, я бы пошел в монастырь. Но и в монастыре тот же мир окружает нас, те же искушенья вокруг нас, так же воевать и бороться нужно со врагом нашим. Словом, нет поприща и места в мире, на котором мы бы могли уйти от мира, а потому я положил себе покуда вот что: теперь, именно со дня полученья вашего письма, я положил себе удвоить ежедневные молитвы, отдать больше времени на чтение книг духовного содержания; перечту снова Златоуста, Ефрема Сирянина и всё, что мне советуете, а там - что Бог даст. Нельзя, чтобы сердце мое, после такого чтения и такого распределения времени, не настроилось лучше и не сказало мне яснее путь мой. А вас прошу, так как вы стали уже богомолец мой и ведаете уже отчасти мою душу (о, как бы мне хотелось открыть всю мою душу, быть у вас во Ржеве, исповедаться и сподобиться причащенья Тела и Крови Христовой, преподанных рукою вашею!), прошу вас молиться тем временем обо мне, особенно во всё время путешествия моего в Иерусалим. Я отправлюсь туда ко времени Пасхи. До того же времени пробуду в Неаполе. Если получу от вас несколько напутственных строк, буду очень, очень рад... В непродолжительном времени, может быть, вы получите из С.-Петербурга деньги, которые попрошу вас раздать тем из страждущих, которые больше других нуждаются. Мне бы хотелось, чтобы они пришли в руки тех, которые усерднее других молятся Богу. Впрочем, вы лучше моего знаете, кому следует давать. Как я жалею, что я не богат и не могу теперь послать более!"

12 января н. ст. 1848 г. Гоголь писал К. из Неаполя: "Благодарю вас много за бесценные ваши строки. Прочитал несколько раз ваше письмо. Прочитаю потом еще в минуты других расположений душевных. Смысл нам не вдруг открывается, а потому нужно повторять чтение того, что относится до души нашей. Я верю, что вы молились обо мне и просили у Бога вразумленья сказать мне то, что для меня нужно, а потому, верно, после откроется мне в нем и больше. Хотя и теперь вы сказали много того, за что душа моя будет

благодарить вас и в будущей и в здешней жизни. Всё, что говорите вы об учительстве, принял очень к сведению и вследствие этого, разумеется, взглянул пристальнее и на себя и на учительство. Не могу только решить того, действительно ли то дело, которое меня занимает и было предметом моего обдумывания с давних пор, есть учительство. Мне оно кажется только долгом и обязанностию службы, которую я должен был сослужить моему отечеству, как воин, гражданский и всякий другой чиновник, если только он получил для этого способности. Я, точно, моей опрометчивой книгой... показал какие-то исполинские замыслы на что-то вроде вселенского учительства. Но книга эта есть произведение моего переходного душевного состояния, временного, едва освободившегося от болезненного состояния. Опечаленный некоторыми неприятными происшествиями, у нас случающимися, и нехристианским направлением современной литературы, я опрометчиво поспешил с этой нерассудительной книгой и нечувствительно забрел туда, где мне неприлично. А диавол, который тут как тут, раздул до чудовищной преувеличенности даже и то, что было и без умысла учительствовать, что случается всегда с теми, которые понадеются несколько на свои силы и на свою значительность у Бога. Дело в том, что книга эта не мой род. Но то, что меня издавна и продолжительнее занимало, это было изобразить в большом сочинении добро и зло, какое есть в нашей Русской земле, после которого русские читатели узнали бы лучше свою землю, потому что у нас многие, даже чиновники и должностные, попадают в большие ошибки по случаю незнания коренных свойств русского человека и народного духа нашей земли. Я имел всегда свойства замечать все особенности каждого человека, от малых до больших, и потом изобразить его так перед глазами, что, по уверению моих читателей, человек, мною изображенный, оставался, как гвоздь в голове, и образ его так казался жив, что от него трудно было отделаться. Я думаю, что если я, с моим умением живо изображать характеры, узнаю получше многие вещи в России и то, что делается внутри ее, то я введу читателя в большее познание русского человека. А если я сам, по милости Божией, проникнусь более познаньем долга человека на земле и познаньем истины, то от этого нечувствительно и в сочинении моем добрые русские характеры и свойства людей получат привлекательность, а нехорошие - такую непривлекательность, что читатель не возлюбит их даже и в себе самом, если отыщет. Вот как я думал и поэтому узнавал всё, что ни относится до России, узнавал души людей и вообще душу человека, начиная со своей. Еще я не знал сам, как с этим слажу и как успею, а уже верил, что это будет мне возможно тогда, когда я сам сделаюсь лучшим. Вот в чем я полагаю мое писательство. Итак, учительство ли это? Я хотел представить только читателю замечательнейшие предметы русские в таком виде, чтобы он сам увидел и самого себя. Я не хотел даже выводить нравоучения; мне казалось (если я сам сделаюсь лучше), всё это нечувствительно, мимо меня, выведет сам читатель. Вот вам исповедь моего писательства. Бог весть, может быть я в этом неправ, а потому вопрошу себя еще, стану наблюдать за собою, буду молиться. Но, увы! молиться не легко. Как молиться, если Бог не захочет? Вижу так много в себе дурного, такую бездну себялюбия и неуменья пожертвовать земным небесному. Прежде мне казалось,

что я уже возвысился душой, что я значительно стал лучше прежнего, в минуты слез и умилений, которые я ощущал во время чтения святых книг. Мне казалось, что я удостоивался уже милостей Божиих, что эти сладкие ощущенья есть уже свидетельство, что я стал ближе к Небу. Теперь только дивлюсь своей гордости, дивлюсь тому, как Бог не поразил меня и не стер с лица земли. О друг мой и Самим Богом данный мне исповедник! горю от стыда и не знаю, куда деться от несметного множества не подозреваемых во мне прежде слабостей и пороков. И вот вам моя исповедь уже не в писательстве. Исписал бы вам страницы во свидетельство моего малодушия, суеверия, боязни. Мне кажется даже, что во мне и веры нет вовсе; признаю Христа Богочеловеком только потому, что так велит мне ум мой, а не вера. Я изумился Его необъятной мудрости и с некоторым страхом почувствовал, что невозможно земному человеку вместить ее в себе, изумился глубокому познанию Его души человеческой, чувствуя, что так знать душу человека может только Сам Творец ее. Вот всё, но веры у меня нет. Хочу верить. И, несмотря на всё это, я дерзаю теперь идти поклониться Святому Гробу. Этого мало: хочу молиться о всех и всём, что ни есть в Русской земле и отечестве нашем. О, помолитесь за меня, чтобы Бог не поразил меня за мое недостоинство и удостоил бы об этом помолиться! Скажите мне: зачем мне, вместо того, чтобы молиться о прощеньи всех прежних грехов моих, хочется молиться о спасеньи Русской земли, о водвореньи в ней мира, наместо смятения, и любви, наместо ненависти к брату? Зачем я помышляю об этом, наместо того, чтобы оплакивать собственные грехи мои? Зачем мне хочется молиться еще и о том, чтобы Бог дал силы мне загладить новым, лучшим делом и подвигом мои прежние худые, даже и в деле писательства? О, молитесь обо мне, добрая душа моя! Молитесь, чтобы Бог избавил меня от всякого духа искушения и дал бы мне уразуметь Его истинную волю. Молитесь, молитесь крепко обо мне, и Бог вам да поможет обо мне молиться! Порученье ваше исполняю, Евангелие читаю и благодарю вас за это много. Уведомьте меня двумя строками, получены ли вами из Петербурга деньги, 100 рублей серебром, на молебны и на бедных".

16/28 февраля 1848 г. Гоголь писал К. из Иерусалима: "Пишу к вам с тем, чтобы сказать вам, что я здесь. Молитвами вашими, молитвами людей, угождающих Богу, я прибыл сюда благополучно. У Гроба Господня я помянул ваше имя; молился как мог моим сердцем, не умеющим молиться. Молитва моя состояла только в одном слабом изъявлении благодарности Богу за то, что послал мне вас, бесценный друг и богомолец мой. Ваши письма мне были очень нужны: они заставили меня получше осмотреть себя и разобрать строже свои действия. Приймите же еще раз мою благодарность отсюда, из этого места, освященного стопами Того, Кто принес нам искупленье наше. Рад буду несказанно, если в июле или в августе обниму вас лично".

Следующее письмо к К. Гоголь отправил 21 апреля 1848 г. из Одессы: "Часто я думаю: за что Бог так милует меня и так много дает мне вдруг, - и могу только объяснить себе это тем, что мое положенье действительно всех опаснее, и мне трудней спастись, чем кому другому. Много мне бы хотелось сказать вам. Но это заняло бы страницы и весьма легко перешло бы в многословие, может быть, даже в ложь... Дух-обольститель так близок от меня и так часто меня

обманывал, заставляя меня думать, что я владею тем, к чему только еще стремлюсь и что покуда пребывает только в голове, а не в сердце. Скажу вам, что еще никогда не был я так мало доволен состояньем сердца своего, как в Иерусалиме и после Иерусалима. Только разве что больше увидел черствость свою и свое себялюбье - вот весь результат. Была одна минута... но как сметь предаваться какой бы то ни было минуте, испытавши уже на деле, как близко от нас искуситель! Страшусь всего, видя ежеминутно, как хожу опасно. Блестит вдали какой-то луч спасенья: святое слово любовь. Мне кажется, как будто теперь становятся мне милее образы людей, чем когда-либо прежде, как будто я гораздо больше способен теперь любить, чем когда-либо прежде. Но Бог знает, может быть, и это так только кажется; может быть, и здесь играет роль искуситель..."

23 апреля 1850 г. Гоголь поздравил К. с Пасхой: "Христос Воскресе! Благодарю вас, бесценнейший, добрейший Матвей Александрович, за ваше поздравление с Светлым праздником. Не сомневаюсь, что если приобрела что-нибудь доброе душа моя, то это вашими молитвами и других угождающих Богу подвижников. О, если бы Он не оставил меня ни на минуту и сказал бы мне путь мой! Как бы хотелось сердцу поведать славу Божию! Но никогда еще не чувствовал так бессилья своего и немощи. Так много есть, о чем сказать, а примешься за перо - не подымается. Жду, как манны, орошающего орошенья свыше, все бы мои силы от него двигнулись. Видит Бог, ничего бы не хотелось сказать, кроме того, что служит к прославленью Его святого имени. Хотелось бы живо, в живых примерах, показать темной моей братии, живущей в мире, играющей жизнию, как игрушкой, что жизнь - не игрушка. И всё, кажется, обдумано и готово, но - перо не подымается. Нужной свежести для работы нет. И (не скрою перед вами) это бывает предметом тайных страданий, чем-то вроде креста. Впрочем, может быть, всё это происходит от изнуренья телесного, силы физические мои ослабели. Я всю зиму был болен; неуживается с нашим холодным климатом мой хладнокровный, несогревающий темперамент; ему нужен юг. Думаю опять с Богом пуститься в дорогу, в странствие, на Восток, под благодатнейший климат, навеваемый окрестностями Святых Мест. Дорога всегда действовала на меня освежительно: и на тело и на дух. О, если бы и теперь Всемилосердный Бог явил надо мною Свое безграничное милосердие, столько раз же явленное надо мною, когда я уже думал, что не воскреснут мои силы, и не было, казалось, возможности физической им воскреснуть! Но силы воскресли, и свежесть появлялась вновь в мою душу. Помолитесь обо мне крепко, крепко, бесценнейший Матвей Александрович, и напишите два слова ваших".

А. Т. Тарасенков полагал, что трагический конец Гоголя ускорили беседы с К. в последние месяцы жизни писателя: "К этому же времени приехал из Ржева, Тверской губернии, Матвей Александрович, священник, известный образцом строгой христианской православной жизни. С особенною охотою он разговаривал с ним теперь, когда размышления религиозные были ему так по сердцу. М. А. прямо и резко, не взвешивая личности и положения, поучал, с беспощадною строгостью и резкостью проповедывал истины евангельские и суровые наставления церкви. Он объяснял, что если мы охотно делаем всё для

любимого лица, то чем мы должны дорожить для Иисуса Христа, сына Божия, умершего за нас. Устав церковный написан для всех; все обязаны беспрекословно следовать ему; неужели мы будем равняться только со всеми и не захотим исполнить ничего более? Ослабление тела не может нас удерживать от пощения; какая у нас работа? Для чего нам нужны силы? Много званых, но мало избранных. За всякое слово праздное мы отдадим отчет и проч. Такие и подобные речи, соединенные с обличением в неправильной жизни, не могли не действовать на Гоголя, вполне преданного религии, восприимчивого, впечатлительного и настроенного на мысль о смерти, о вечности, о греховности. Притом Гоголь видел, как М. А. на деле исполнял самые строгие пустынно-монашеские установления церкви: например, много и долго молился за обедом, почти не ел, не хотел благословлять стола в среду прежде, нежели удостоверится, что нет ничего скоромного. Разговоры этого духовного лица так сильно потрясли его, что он, не владея собою, однажды прервав его речь, сказал ему: "Довольно! Оставьте, не могу далее слушать, слишком страшно!""

О К. писал Гоголю в 1848 или в 1849 гг. К. И. Марков, один из читателей "Мертвых душ": "Не лишним считаю сказать вам мое мнение об о. Матвее. Сколько мне известно, вам рекомендовал его граф Толстой, но, вероятно, преувеличил его достоинства. Как человек, он, действительно, заслуживает уважения; как проповедник он замечателен - и весьма; но как богослов - он слаб, ибо не получил никакого образования. С этой стороны я не думаю, чтобы он мог разрешить сколько-нибудь удовлетворительно ваши вопросы, если они имеют предметом не чистую философию, а богословские тонкости... О. Матвей сможет говорить о важности постов, необходимости покаяния, давно известных предметах, но тщательно избегает трактовать о сюжетах чисто богословских и не может даже объяснить двенадцать догматов наших, т. е. членов символа веры, а в истинном понятии их и заключается христианство, ибо добродетель была проповедуема всеми народами".

6 февраля 1852 г. Гоголь написал К. последнее письмо: "Уже написал было к вам одно письмо еще вчера, в котором просил извинения в том, что оскорбил вас. Но вдруг милость Божия чьими-то молитвами посетила и меня жестокосердного, и сердцу моему захотелось вас благодарить крепко, так крепко, но об этом что говорить? Мне стало только жаль, что я не поменялся с вами шубой. Ваша лучше бы меня грела. Обязанный вам вечною благодарностью и здесь и за гробом весь ваш Николай".

К. позднее отрицал, что именно встреча с ним в конце января - начале февраля 1852 г., во время которой писатель чем-то оскорбил священника и просил за это потом прощение в письме, привела Гоголя к сожжению "Мертвых душ" и трагическому концу. Тверской протоиерей Ф. И. Образцов вспоминал: "В 1855 или 1856 году мне пришлось присутствовать при разговоре о. Матвея с Т. И. Филипповым (Тертий Иванович Филиппов (1825-1899), государственный контролер и писатель, публиковавшийся в "Москвитянине". - Б. С.) о Гоголе. По словам о. Матвея, в то время, во время знакомства его с Гоголем, Гоголь был не прежний Гоголь, а больной, совершенно больной человек, изнуренный постоянными болезнями, цвет лица был землянистый, пальцы опухли; вследствие частых продолжительных страданий художественный талант его

угасал и даже почти угас, - это чувствовал Гоголь: и к страданиям тела присоединились внутренние страдания. Старость надвигалась, силы ослабели, и особенно сильно преследовал его страх смерти. В таком состоянии невольно возбуждается мысль о Боге, о своей греховности. "Он искал умиротворения и внутреннего очищения". - "От чего же очищения?" - спросил Т. И. Филиппов. "В нем была внутренняя нечистота". - "Какая же?" - "Нечистота была, и он старался избавиться от ней, но не мог. Я помог ему очиститься, и он умер истинным христианином",- сказал о. Матвей. С ним повторилось обыкновенное явление русской жизни. Наша русская жизнь немало имеет примеров того, что сильные натуры, наскучивши суетой мирской или находя себя неспособными к прежней широкой деятельности, покидали все и уходили в монастырь искать внутреннего умиротворения и очищения своей совести. Так было и с Гоголем. "Что ж тут худого, что я Гоголя сделал истинным христианином?" - "Вас обвиняют в том, что как духовный отец Гоголя, вы запретили писать ему светские творения". - "Неправда. Художественный талант есть дар Божий. Запрещения на дар Божий положить нельзя; несмотря на все запрещения, он проявится, и в Гоголе временно он проявлялся, но не в такой силе, как прежде. Правда, я советовал ему написать что-нибудь о людях добрых, т. е. изобразить людей положительных типов, а не отрицательных, которых он так талантливо изображал. Он взялся за это дело, но неудачно". - "Говорят, что вы посоветовали Гоголю сжечь второй том "Мертвых душ"?" - "Неправда и неправда... Гоголь имел обыкновение сожигать свои неудавшиеся произведения и потом снова восстанавлять их в лучшем виде. Да едва ли у него был готов второй том: по крайней мере, я не видал его. Дело было так: Гоголь показал мне несколько разрозненных тетрадей с надписями: глава, как обыкновенно писал он главами. Помню на некоторых было надписано: глава I, II, III, потом должно быть VII, а другие были без означения; просил меня прочитать и высказать свое суждение. Я отказывался, говоря, что я не ценитель светских произведений, но он настоятельно просил, и я взял и прочитал. Но в этих произведениях был не прежний Гоголь. Возвращая тетради, я воспротивился опубликованию некоторых из них. В одной или двух тетрадях был описан священник. Это был живой человек, которого всякий узнал бы, и прибавлены такие черты, которых... во мне нет, да к тому же еще с католическими оттенками, и выходил не вполне православный священник. Я воспротивился опубликованию этих тетрадей, даже просил уничтожить. В другой из тетрадей были наброски... только наброски какого-то губернатора, каких не бывает. Я советовал не публиковать и эту тетрадь, сказавши, что осмеют за нее даже больше, чем за "Переписку с друзьями"..." - "Говорят даже, что Гоголь сжег свои творения потому, что считал их греховными?" - "Едва ли, - в недоумении сказал о. Матвей, - едва ли. Он как будто в первый раз слышал такое предположение. - Гоголь сожег, но не все тетради сожег, какие были под руками, и сожег потому, что считал их слабыми".

Как отмечал И. А. Ильин в своей лекции "Гоголь - великий русский сатирик, романтик, философ жизни" (1944): "Вместо того чтобы страдающего, мятущегося человека успокоить и обнадежить, у него вырывают почву из-под ног (критикой "Выбранных мест из переписки с друзьями". - Б. С.) и подталкивают его - ищущего духовной поддержки - далее к мистицизму.

Роковая встреча Гоголя с фанатичным ортодоксом-священником Матвеем Константиновским завершила кризис. Этот предельно ограниченный человек считал своим правом и делом непреклонно укорять Гоголя в его мнимой греховности, демонстрировать ужасы Страшного Суда, рисовать прежнюю писательскую деятельность как сатанинский соблазн. Он требовал, чтобы Гоголь проклял наследие Пушкина; одним словом, рвал ему сердце".

КОРОБОЧКА, Настасья Петровна, персонаж "Мертвых душ". В черновом наброске заключительной главы то ли первого, то ли второго тома поэмы Гоголь следующим образом характеризует К.: "...коллежская регистраторша Коробочка, не читавшая и книг никаких, кроме Часослова, да и то еще с грехом пополам, не выучилась никаким изящным искусствам, кроме разве гадания на картах, умела, однакож, наполнить рублевиками сундучки и коробочки и сделать это так, что порядок, какой он там себе ни был, на деревне все-таки уцелел: души в ломбард не заложены, а церковь на селе хоть и не очень богатая, была, однако же поддержана, и правились и заутрени и обедни исправно, - тогда как иные, живущие по столицам, даже и генералы по чину, и образованные и начитанные, и тонкого вкуса и примерно человеколюбивые, беспрестанно заводящие всякие филантропические заведения, требуют, однакож, от своих управителей всё денег, не принимая никаких извинений, что голод и неурожай, - и все крестьяне заложены в ломбард и перезаложены, и во все магазины до одного и всем ростовщикам до последнего в городе должны".

В. Г. Белинский в статье "Ответ "Москвитянину" (1847) писал: "Коробочка пошла и глупа, скупа и прижимиста, ее девчонка ходит в грязи, босиком, но зато не с распухшими от пощечин щеками, не сидит голодна, не утирает слез кулаком, не считает себя несчастною, но довольна своею участью".

КУКОЛЬНИК Нестор Васильевич (1809-1868), писатель и драматург, сын директора Нежинской гимназии высших наук Василия Григорьевича Кукольника (1765-1821), в припадке меланхолии покончившего с собой. К. был гимназическим товарищем Гоголя. В 1830 -1840-е годы драмы и историческая проза К. пользовались большой популярностью. В "Ревизоре" К. видел недостойный фарс. Однако личные отношения между К. и Гоголем сохранялись почти до самой смерти Гоголя. Последний раз они виделись в марте 1850 г. в Москве.

К. оставил воспоминания о Гоголе-гимназисте: "Яновский (Гоголь тож), еще в низших классах, как-то провинился, так что попал в уголовную категорию. "Плохо, брат! - сказал кто-то из товарищей: - высекут!" "Завтра!" - отвечал Гоголь. Но приговор утвержден, ликторы явились. Гоголь вскрикивает так пронзительно, что все мы испугались, - и сходит с ума. Подымается суматоха; Гоголя ведут в больницу; Иван Семенович (Орлай, директор Нежинского лицея. - Б. С.) два раза в день навещает его; его лечат; мы ходим к нему в больницу тайком и возвращаемся с грустью. Помешался, решительно помешался! Словом, до того искусно притворялся, что мы все были убеждены в его помешательстве, и когда, после двух недель успешного лечения, его выпустили из больницы, мы долго еще поглядывали на него с сомнением и опасением". По свидетельству К.,

"в гимназии Гоголь, как между товарищами, так и по официальным спискам, - Гоголем не назывался, а просто Яновским. Однажды, уже в Петербурге, один из товарищей при мне спросил Гоголя: "С чего ты это переменил фамилию?" - "И не думал". - "Да ведь ты Яновский". - "И Гоголь тож". - "Да что значит гоголь?" "Селезень", - отвечал Гоголь сухо и свернул разговор на другую материю". К. также рассказал, как директор гимназии И. С. Орлай, чье крошечное имение с 6 душами крепостных было рядом с гоголевской Васильевкой, "не жаловал, если ученики во время лекций оставляли классы и прогуливались по коридорам, а Гоголь любил эти прогулки, а потому немудрено, что частенько натыкался на директора, но всегда выходил из беды сух и всегда одной и тою же проделкой. Завидев Ивана Семеновича издали, Гоголь не прятался, шел прямо к нему навстречу, раскланивался и докладывал: "Ваше превосходительство! Я сейчас получил от матушки письмо. Она поручила засвидетельствовать вашему превосходительству усерднейший поклон и донести, что по вашему имению идет все очень хорошо". - "Душевно благодарю! Будете писать к матушке, не забудьте поклониться и от меня и поблагодарить". Таков был обыкновенный ответ Ивана Семеновича, и Гоголь безнаказанно продолжал свою прогулку по коридорам".

К. также оставил нам зарисовку первых опытов Гоголя-актера в Нежинском лицее князя Безбородко: "Нам поставлено было в обязанность каждый раз, когда у нас будут спектакли, непременно и прежде всего сыграть французскую или немецкую пьесу. Гоголь должен был также участвовать в одной из иностранных пьес. Он выбрал немецкую. Я предложил ему ролю в двадцать стихов, которая начиналась словами: "O mein Vater!", затем шло изложение какого-то происшествия. Весь рассказ оканчивался словами: "nach Prag!" Гоголь мучился, учил роль усердно, одолел, выучил, знал на трех репетициях, во время самого представления вышел бодро, сказал: "O mein Vater!" запнулся, покраснел, но тут же собрался с силами, возвысил голос, с особенным пафосом произнес: "nach Prag!" - махнул рукой и ушел. И слушатели, большею частью не знавшие ни пьесы, ни немецкого языка, остались исполнением роли совершенно довольны. Зато в русских пьесах Гоголь был истинно неподражаем, особенно в комедии Фонвизина "Недоросль", в роли г-жи Простаковой; я играл Митрофанушку. Из русских пьес я помню еще представление "Чудаков", комедии Княжнина, "Хлопотуна", Писарева (главную роль - Гоголь); из французских - "Medecin malgre lui" и "Avare" Мольера. Мы собирались играть Фингала; роли были розданы; даже репетиции по частям начались. Роль Старна назначалась Гоголю, Фингала - мне, Моины - Гинтовту, но уже теперь не помню, что расстроило этот спектакль и весь наш домашний театр".

26 июня 1827 г. Гоголь с иронией писал Г. И. Высоцкому: "Кукольник наш ходит теперь с бритою головою (опасаясь, верно, плотоядных животных), но, чтобы не выказать срамоты, заказал красную шапочку и этим точно охарактеризовал себя. И действительно теперь он сделался таким, что всяк придет в недоумение, похож ли он на того человека, которому бреют голову, или на того, который ходит в красной шапочке и попеременно бесится, находясь то в степени (употребляю твое слово) амуристики, то в степени, обладавшей знаменитым изгнанником Демировым-Мышковским (надзирателем Нежинской

гимназии. - Б. С.)".

30 марта 1832 г. Гоголь писал из Петербурга А. С. Данилевскому, насмешливо называя К. "возвышенным": "Приехал Возвышенный с паном Платоном (братом К.) и Пеликаном (врачом. - Б. С.). Вся эта компания пробудет здесь до мая, а может быть и долее. Возвышенный всё тот же, трагедии его всё те же. Тасс его, которого он написал уже в шестой раз, необыкновенно толст, занимает четверть столпы бумаги. Характеры всё необыкновенно благородны, полны самоотверженья и вдобавок выведен на сцену мальчишка 13 лет, поэт и влюбленный в Тасса по уши. А сравненьями играет, как мячиками; небо, землю и ад потрясает, будто перышко. Довольно, что прежние: губы посинели у него цветом моря, или: тростник шепчет, как шепчут в мраке цепи ничто против нынешних. Пушкина всё по-прежнему не любит. "Борис Годунов" ему не нравится".

КУЛЖИНСКИЙ Иван Григорьевич (1803-1884), учитель латинского языка в нежинской гимназии. Писал стихи и прозу. Его повесть "Малороссийская деревня" вызывала насмешки гимназистов. Впоследствии и сам К. свои литературные опыты расценивал отрицательно.

19 марта 1827 г. Гоголь писал Г. И. Высоцкому: "Теперь у нас происходят забавные истории и анекдоты с Иваном Григорьевичем Кулжинским. Он теперь напечатал свое сочинение под названием Малороссийская деревня. Этот литературный урод причиною всех его бедствий: когда он только проходит через класс, тотчас ему читают отрывки из Малороссийской деревни, и почтенный князь бесится, сколько есть духу; когда он бывает в театре, то кто-нибудь из наших объявляет громогласно о представлении новой пьесы; ее заглавие: Малороссийская деревня или Закон дуракам не писан, комедия-водевиль. Несколько раз прибегая к покровительству и защите конференции и наконец видя, что его жалобы худо чествуют, решился унизительно и смиренно просить нашей милости не рушить стихотворное его спокойствие и не срамить печатный бред его, а особливо не запирать его в канцелярии с маиором Шишкиным (помощником инспектора гимназии Силой Ивановичем Шишкиным. - Б. С.), как до сего делано".

О Гоголе он оставил воспоминания: "Как теперь вижу этого белокурого мальчика в сером суконном сюртучке, с длинными волосами, редко расчесанными, молчаливого, как будто затаившего что-то в своей душе, с ленивым взглядом, с довольно неуклюжею походкою, и никогда не знавшего латинского урока. Он учился у меня три года (латинскому языку) и ничему не научился, как только переводить первый параграф из хрестоматии при латинской грамматике Кошанского: Universus mundus plerum que distribuitur in duas partes, coelum et terram. Не один он был такой ленивый к латинскому языку; было еще несколько таких, и каждого из них я иначе не звал, как Universus mundus. - Ну-тка ты, Universus mundus, скажи свой урок!" Мог ли я тогда думать, что этот белокурый молодой Universus mundus будет нашим первоклассным писателем? Во время лекций Гоголь всегда, бывало, под скамьею держит какую-нибудь книгу, не обращая внимания ни на coelum, ни на terram. Принудительных средств у меня не было никаких, кроме аттестации в

месячных ведомостях. Я писал нули да единицы, а Гоголь три года всё оставался на латинском синтаксисе и дальше Корнелия Непота не заехал в латинскую словесность - с этим и кончил курс. Надобно признаться, что не только у меня, но и у других товарищей моих он, право, ничему не научился. Школа приучила его только к некоторой логической формальности и последовательности понятий и мыслей, а более ничем он нам не обязан. Это был талант, не узнанный школою и, ежели правду сказать, не хотевший или не умевший признаться школе. Между тогдашними наставниками Гоголя были такие, которые могли бы приголубить или прилелеять этот талант, но он никому не сказался своим настоящим именем. Гоголя знали только как ленивого, хотя, по-видимому, не бездарного юношу, который не потрудился даже научиться русскому правописанию. Жаль, что не угадали его. А кто знает? Может быть, и к лучшему. Вот что достойно замечания: будучи ленивцем, Гоголь в то же время был самым благонравным юношей и вел себя всегда благородно. Хотя вообще уже принято в школах: ставя ученику худой шар за учение, вместе с тем уменьшать шары и в поведении. Но Гоголь был в этом случае исключением: единица или даже нуль в учении и пятерка в поведении! - Живо я помню представление "Недоросля". На гимназическом театре Гоголь играл Еремеевну, хохотали до слез".

А в собственной автобиографии К. особо отметил, что "от Гоголя менее всего можно было ожидать такой известности, какою он пользуется в нашей литературе. Это была terra rudis et inculta (почва невозделанная и необработанная. - Б. С.). Чтобы грамматикальным образом оценить познания Гоголя при выпуске из гимназии, я не обинуясь могу сказать, что он тогда не знал спряжений глаголов ни на одном языке". По словам К., если по-французски Гоголь в гимназии немного понимал, то немецкий язык "был для него вовсе недоступен".

ЛОНГИНОВ Михаил Николаевич (1823-1875), сын сенатора и члена Государственного совета Николая Михайловича Лонгинова (1775-1853), с 1871 г. начальник Главного управления по делам печати, известный библиограф и историк. В начале 1830-х годов был учеником Гоголя.

О знакомстве с писателем вспоминал: "В начале 1831 года два старших брата и я поступили в число учеников Гоголя. Это было в то время, когда он сделался домашним учителем и в доме П. И. Балабина и, сколько помню, несколько раньше знакомства его с домом А. В. Васильчикова. Гоголь был рекомендован моим родителям В. А. Жуковским и П. А. Плетневым. Первое впечатление, произведенное Гоголем на нас, мальчиков от девяти до тринадцати лет, было довольно выгодно, потому что в добродушной физиономии нового учителя, не лишенной, впрочем, какой-то насмешливости, не нашли мы и тени педантизма, угрюмости и взыскательности, которые считаются часто принадлежностью звания наставника... Одно чувство приличия, может быть, удержало нас от порыва смешливости, которую должна была возбудить в нас наружность Гоголя. Небольшой рост, худой и искривленный нос, кривые ноги, хохолок волос на голове, не отличавшейся вообще изяществом прически, отрывистая речь, беспрерывно прерываемая легким носовым звуком,

подергивающим лицо, - всё это прежде всего бросалось в глаза. Прибавьте к этому костюм, составленный из резких противоположностей щегольства и неряшества, - вот каков был Гоголь в молодости. Двойная фамилия учителя, Гоголь-Яновский, затруднила нас вначале; почему-то нам казалось сподручнее называть его г. Яновским, а не г. Гоголем; но он сильно протестовал против этого с первого раза. - "Зачем называете вы меня Яновским? - сказал он. Моя фамилия Гоголь, а Яновский только так, прибавка; ее поляки выдумали". Уроки происходили более по вечерам. Но классы Гоголя так нас веселили, что мы не роптали на эти вечерние уроки. Сначала предполагалось, что он будет преподавать нам русский язык. Немало удивились мы, когда в первый же урок Гоголь начал толковать нам о трех царствах природы и разных предметах, касающихся естественной истории. На второй урок он заговорил о географических делениях земного шара, о системах гор, рек и проч. На третий - речь зашла о введении в общую историю. Тогда старший брат мой решился спросить у Гоголя: "Когда же начнем мы, Николай Васильевич, уроки русского языка?" Гоголь усмехнулся своею сардоническою усмешкою и ответил: "На что вам это, господа; в русском языке дело - уметь ставить ять и е, а это вы и так знаете, как видно из ваших тетрадей. Просматривая их, я найду иногда случай заметить вам кое-что. Выучить писать гладко и увлекательно не может никто; эта способность дается природой, а не ученьем". После этого классы продолжались на прежнем основании и в той же последовательности, т. е. один посвящался естественной истории, другой - географии, третий всеобщей истории. Уроки Гоголя нам очень нравились. Они так мало походили на другие уроки: в них не боялись мы ненужной взыскательности, слышали много нового, для нас любопытного, хотя часто и не очень идущего к делу. Кроме того, Гоголь при всяком случае рассказывал множество анекдотов, причем простодушно хохотал вместе с нами. Новаторство был одним из отличительных признаков его характера. Когда кто-нибудь из нас употреблял какое-нибудь выражение, уже сделавшееся давно стереотипным, он быстро останавливал речь и говорил, усмехаясь: "Кто это научил вас говорить так? Это неправильно: надо сказать так-то". Помню, что однажды я назвал Балтийское море. Он усмехнулся и сказал: "Надобно говорить: Балтическое море; называют его именем Балтийского - невежды, и вы их не слушайте". Но такой тон добродушия слышался во всех его замечаниях! Какою неистощимую веселостью и оригинальностью исполнены были его рассказы о древней истории! Не могу вспомнить без улыбки анекдот его о войнах Амазиса, о происхождении гражданских обществ и проч.... В начале тридцатых годов Гоголь занимался сочинением синхронистических таблиц для преподавания истории по новой методе и, кажется, содействовал Жуковскому в составлении новой системы обучения этой науке, основания которой были изданы в свет впоследствии. Таблицы свои приносил Гоголь и к нам, но употреблял их только в виде опыта. Гоголь скоро сделался в нашем доме очень близким человеком. В дни уроков своих он часто у нас обедал и выбирал обыкновенно за столом место поближе к нам, детям, потешаясь и нашею болтовней и сам предаваясь своей веселости. Рассказы его были уморительны; как теперь помню его комизм, с которым он передавал, например, городские слухи и толки о танцующих стульях в каком-то

доме Конюшенной улицы, бывшие тогда во всем разгаре (этот эпизод, относящийся к концу 1833 г., отразился в повести "Нос". - Б.С.) ... Гоголь, так скоро и легко сделавшийся коротким знакомым матушки, которой говорил часто о своих литературных занятиях, надеждах и проч., никак не мог победить какой-то робости в отношении к моему отцу. Причиною этого должно полагать то, что он никак не мог отделить отношений своих, как доброго знакомого, от мысли о подчиненности: отец мой был начальником его по Патриотическому Институту, куда Гоголь определен был учителем. Черта довольно оригинальная, потому что отец мой никогда не подавал подчиненным повода не только робеть перед ним, но и всячески заставлял, вне служебных отношений, забывать, что он начальник. Но такова уже была странность Гоголя. При отце он, например, никогда не говорил о литературе, хотя предмет этот, как известно, всегда занимал Гоголя. Если не ошибаюсь, уроки Гоголя у нас продолжались года полтора. После этого Гоголь пропадал месяца два, и, сколько могу припомнить, в это время было ему передано от матушки удивление об его отсутствии и объяснено, что нам без учителя нельзя далее оставаться. Так как он и после этого не явился, то место его занял П. П. Максимович. Вдруг однажды Гоголь является к обеду. Дело ему немедленно объяснилось; но это нисколько не переменило отношений его к нашему делу".

Новая встреча Л. с Гоголем произошла десять лет спустя, и снова в Петербурге. Л. так описал ее в мемуарах: "Весною 1842 года, в один теплый, солнечный день, веселый кружок молодежи (в том числе и я) обедал у известного в то время ресторатора Сен-Жоржа. После обеда общество наше продолжало пировать в саду. Туда перешли из комнат и другие обедавшие. Тут-то встретился я с небольшого роста человеком, причесанным а ля мужик, в усах и эспаньолетке, и с трудом узнал прежнего своего учителя. Действительно, это был Гоголь, очень переменившийся лицом. Он только что приехал в Петербург, и в это время вышли в свет "Мертвые души". Я подошел к Гоголю, который находился у Сен-Жоржа в обществе нескольких своих приятелей, в числе которых был кн. П. А. Вяземский. Он обрадовался, когда я назвал себя. После расспросов о моих домашних он, в свою очередь, должен был отвечать на разные мои вопросы, которые особенно относились до второй части "Мертвых душ". Восторги мои по случаю первой части, по-видимому, доставили ему удовольствие. Он говорил, что осенью надеется напечатать следующий том. Нельзя было не заметить перемены в его характере: беззаботная веселость юноши в десять лет нашей разлуки частию заменилась в нем большею зрелостью мыслей и расположение духа сделалось серьезнее".

ЛЮБИЧ-РОМАНОВИЧ Василий Игнатьевич (1805-1888), историк, поэт, переводчик Байрона и Мицкевича, гимназический товарищ Гоголя. Вместе с Л.-Р. и К. М. Базили Гоголь изготовлял декорации для школьных спектаклей.

26 июня 1827 г. Гоголь писал из Нежина своему ближайшему другу Г. И. Высоцкому: "На днях я получил письмо от Любича, не знаю по какой благодати. Чего только он в нем не наговорил! и каламбуров, и стишков. Изо всего письма я только мог заметить, что, увидевши мое письмо к тебе, он загорелся воспоминанием и решился подкрепить его посланием. На четырех

страницах он не сказал об себе ни слова, даже не объявил при конце письма, что он Любич-Романович, а в заключение просил меня известить об Кляроцьке Курдюмовой, об которой ты, я думаю, сам знаешь, какого я глубокого сведения: даже не видал ее ни разу".

Л.-Р. вспоминал, как Гоголя впервые привезли в гимназию весной 1821 г.: "В гимназию высших наук князя Безбородко Гоголь был привезен родными, обходившимися с ним как-то особенно нежно и жалостливо, точно с ребенком, страдающим какой-то тяжкой неизлечимой болезнью. Он был не только закутан в различные свитки, шубы и одеяла, но просто-напросто закупорен. Когда его стали разоблачать, то долго не могли докопаться до тщедушного, крайне некрасивого и обезображенного золотухою мальчика. Мы чуть ли не всей гимназией вышли в приемную взглянуть на него. Глаза его были обрамлены красным, золотушным ободком, щеки и весь нос покрыты красными же пятнами, а из ушей вытекала каплями материя. Поэтому уши его были крайне крепко завязаны пестрым, цветным платком, придававшим его дряблой фигуре потешный вид". По свидетельству Л.-Р., отношения Гоголя с другими гимназистами складывались отнюдь не просто: "Гоголь постоянно косился на нас, держался в стороне, смотрел всегда букою. Насмешки наши над Гоголем еще усугублялись потому, что он держал себя каким-то демократом среди нас, детей аристократов, редко когда мыл себе лицо и руки по утрам каждого дня, ходил всегда в грязном белье и выпачканном платье. В карманах брюк у него постоянно имелся значительный запас всяких сладостей - конфет и пряников. И все это по временам, доставая оттуда, он жевал не переставая, даже и в классах, во время занятий. Для этого он обыкновенно забивался куда-нибудь в угол, подальше от всех, и там уже поедал свое лакомство. Чтобы занять в классе местечко, где бы его никто не видел, он приходил в аудиторию первым или последним и, засев в задних рядах, так же и уходил из класса, чтобы не подлежать осмеянию".

Л.-Р. подметил у будущего писателя немало странностей: "В числе странностей Гоголя было много его своеобразных взглядов на все то, что общество признавало для себя законом. Это Гоголь игнорировал, называл недостойным делом, от которого надо было бежать и избавлять себя, как врага, мечом мысли. В церкви, например, Гоголь никогда не крестился перед образами святых отцов наших и не клал перед алтарем поклонов, но молитвы слушал со вниманием, иногда даже повторял их нараспев, как бы служа сам себе отдельную литургию. Дьячков он осуждал за гнусавость пения, невнятность чтения псалтыря и за скороговорку великопостной службы. Не одобрял он также степеней и градаций в церкви и толкал мужика вперед, говоря: "Тебе Бог нужнее, чем другим, иди к нему ближе!" Нередко он обращался к мужику в церкви с вопросом: "Есть ли у тебя деньги на свечку?" - сейчас же вынимал из кармана монету и отдавал ее мужику, говоря: "На, поди, поставь свечку, кому ты желаешь, да сам поставь; это лучше, чем кто другой за тебя поставит". Гоголь торжествовал, что его цель была достигнута, и мужик подошел к алтарю, опередив все мундиры, стоящие перед амвоном. Ему только того и нужно было, чтобы мужик потерся своим зипуном о блестящие мундиры и попачкал их своей пыльцой. Однажды Гоголь, недовольный пением дьячка, зашел на клирос и стал

подпевать обедню, ясно произнося слова молитв, но священник, услышавший незнакомый ему голос, выглянул из алтаря и, увидев Гоголя, велел ему удалиться. Это страшно разобидело Гоголя, и он перестал ходить в церковь. Замечая его отсутствие за обедней, священник прочел ему нотацию и сказал, что если он и впредь не будет посещать храма Божья, то наложит на него эпитимию. Но Гоголь этого не устрашился и по-прежнему на обедню не ходил. Эпитимию же он также не пожелал выполнять в церкви в присутствии всех молящихся и постоянно отзывался больным. За это ему в "поведении" была поставлена единица, и он над нею посмеялся в следующих словах: "Хорошо, что не двойка; единицу-то хоть можно принять за туза, а двойка так и останется двойкой". Вообще гоголь отличался всякими странностями, даже и в словах. На деле же он иногда превосходил самого себя. Забывая часто, что он человек, Гоголь, бывало, то кричит козлом, ходя у себя по комнате, то поет петухом среди ночи, то хрюкает свиньей, забравшись куда-нибудь в темный угол. И когда его спрашивали, почему он подражает крикам животных, то он отвечал, что "я предпочитаю быть один в обществе свиней, чем среди людей". Такое отрицание было у него к обмену мыслей между людьми. Так, он не любил нас, детей аристократов (у которых дворянство насчитывало несколько столетий. - Б. С.), будучи сам демократом (из тех, кто совсем недавно выслужил дворянство и для удревления его вынужден был числить среди мифических предков полковника Гоголя. - Б. С.). Вообще Гоголь не любил подражать кому бы то ни было, ибо это была натура противоречий. Всё, что казалось людям изящным, приличным, ему, напротив, представлялось безобразным, гривуазным. В обиходе своем он не любил симметрии, расставлял в комнате мебель не так, как у всех, например, по стенам, у столов, а в углах и посредине комнаты; столы же ставил у печки и у кровати, точно в лазарете. Ходил он по улицам или по аллеям сада обыкновенно левой стороной, постоянно сталкиваясь с прохожими. Ему посылали вслед: "Невежа!" Но Гоголь обыкновенно этого не слышал, и всякие оскорбления для себя считал недосягаемыми, говоря: "Грязное к чистому не пристанет. Вот если бы я вас мазнул чем-нибудь, ну, тогда было бы, пожалуй, чувствительно". Прогуливаясь как-то по аллеям лицейского сада левой стороной, Гоголь толкнул плечом одного из воспитанников, за что тот сказал ему: "Дурак!" - "Ну, ты умный, - ответил Гоголь, - и оба мы соврали". Вообще он, бывая в обществе, ходил с опущенной головой и ни на кого не глядел. Это придавало ему вид человека, глубоко, глубоко занятого чем-нибудь, или сурового субъекта, пренебрегавшего всеми людьми. Но в общем он вовсе не был зол. Так, он никогда не мог пройти мимо нищего, чтобы не подать ему, что мог, и всегда говорил ему: "Извините", если нечего было вложить тому в руку. Гоголь любил ботанику. И всегда, когда у него была свободная минута, он отправлялся в лицейский сад и там подолгу беседовал с садовником о предметах его задач. - "Ты рассаживай деревья не по ранжиру, как войска в строю, один подле другого на рассчитанном расстоянии, а так, как сама природа это делает, - говорил он. И, взяв в руку несколько камешков, он бросал их на поляну, добавляя притом: - "Вот тут и сажай деревцо, где камень упал". Гоголь часто не договаривал того, что хотел сказать, опасаясь, что ему не поверят и что его истина останется непринятой. Из-за этого он получил прозвище "мертвой

мысли", т. е. человека, с которым умрет всё, что он создал, что думал, ибо он никогда не изрекал ни перед кем того, что мыслил. Скрытность эта сделала Гоголя застенчивым, молчаливым. Гоголь был молчалив даже в случаях его оскорбления. - "Отвечать на оскорбление? - говорил он. - Да кто это может сказать, что я его принял? Я считаю себя выше всяких оскорблений, не считаю себя заслуживающим оскорбления, а потому и не принимаю его на себя" (эта гордыня позднее проявилась в "Выбранных местах из переписки с друзьями" и в реакции на критику этого произведения. - Б. С.). Замкнутость в нем доходила до высшей степени. Кто другой мог бы перенести столько насмешек, сколько переносил их от нас Гоголь? Безропотно он также переносил и все выговоры начальства, касавшиеся его неряшества. Например, ему многократно ставилась на вид его бесприческа. Растрепанность головы Гоголя вошла у нас в общую насмешку. Голова у него едва ли когда причесывалась им; волосы с нее падали ему на лицо нерасчесанными прядями. Стричься он также не любил часто, как этого требовало от нас школьное начальство. Вообще Гоголь шел наперекор всем стихиям. Заставить его сделать что-нибудь такое, что делали другие воспитанники, было никак нельзя. - "Что я за попугай! - говорил он. - Я сам знаю, что мне нужно". Его оставляли в покое, "с предупреждением впредь этого не делать". Но он всегда делал так, как хотел. Над чем другим Гоголь, может быть, и работал в школе наравне с нами, но над своей разговорной речью он поставил крест. И такое, бывало, словечко скажет, что над ним весь класс в голос рассмеется. Однажды ему это было поставлено на вид одним из наших преподавателей, но Гоголь ему на это ответил: "А чем вы докажете, что я по-своему неправильно говорю?".

Л.-Р. подробно описал повседневную жизнь Гоголя в школьные годы, не доставлявшую радость ни ему самому, ни одноклассникам: "Пытка в школе для Гоголя тянулась в продолжение всего времени, пока он оставался в Нежине. Благодаря его неряшливости мы все брезговали подавать ему руки при встрече в классах. Да и он сам, замечая это, не искал от нас доброго приветствия, стараясь всегда не замечать никого из нас. Он вечно оставался один. В конце концов мы даже перестали брать в руки и те книги в библиотеке, которые он держал в руках, боясь заразиться какой-нибудь нечистью. Доктора, однако, находили его вполне здоровым физически, хотя и признавали за ним золотушный недуг. И при этой-то болезни он еще постоянно сосал медовые пряники, ел сладости и пил грушевый квас, который был его любимым напитком. Гоголь и сам его приготовлял из моченых лесных груш или покупал его на городском базаре у баб-хохлушек, таких же неряшливых, как и он сам. Но его ничуть это не стесняло, и он с наслаждением поедал все, что приобретал тут, как съедобное. Привычка держать себя просто в отношении пищи у себя дома, в деревне, не покидала его и в Нежине, во время жизни среди людей, более его избалованных (таково было одно из проявлений народности Гоголя еще в ранние годы его жизни - безразличие к одежде и простота пищи. - Б. С.). Это всё никогда в нас более ничего не вызывало, как лишь одно отвращение. Таким образом, жизнь Гоголя в школе была, в сущности, адом для него. С одной стороны, он тяготился своим "хуторным происхождением" однодворца (это безусловное преувеличение, поскольку к моменту рождения Гоголя его родители уже имели

имение с парой сотен крепостных. - Б. С.), с другой - физической неприглядностью. И над всем-то мы смеялись, и отрицали в нем всякое дарование и стремление к образованию, к наукам. Гоголь понимал это наше отношение к нему, как признак столичной кичливости детей аристократов, и потому сам знать нас не хотел. Он искал сближения лишь с людьми, себе равными, например: со своим "дядькою", прислугою вообще и с базарными торговцами на рынке Нежина - в особенности. Это сближение с людьми простыми, очевидно, давало ему своего рода наслаждение в жизни и вызывало поэтическое настроение. Так, по крайней мере, мы это замечали по тому, что он, после каждого такого нового знакомства, подолгу запирался в своей комнате и заносил на бумагу свои впечатления. Было ли это всё когда-либо предано гласности, сказать трудно. А те вирши, которые он писал здесь в стихах в наш школьный рукописный журнал "Навоз Парнасский", но им не давали в нем места... Однажды, впрочем, мы поместили в "Навозе Парнасском" одно небольшое стихотворение Гоголя из малороссийской жизни на тему, "как жили в старину", но и то лишь потому, чтоб над ним потом посмеяться и отблагодарить его за эту виршу фунтом медовых пряников, которые он любил и которые были ему преподнесены через особую депутацию в одной из аудиторий, перед классными занятиями. Но на это Гоголь страшно рассердился и швырнул подарок чуть ли не в лицо депутатам, а потом, оставив класс, почти две недели не появлялся, под предлогом болезни. Вообще Гоголь служил нам в школе объектом забавы, острот и насмешек, и это тянулось до тех пор, пока он пребывал в нашей среде... Мы в то время, когда знали Гоголя в школе, не только не могли подозревать в нем "великого", но даже не видели и малого. Хотя его школьные успехи шли наравне с нашими, но это еще не давало нам повода думать, что в нем обнаружится литературный талант. Этого не замечали также и наши учителя. То, что нам было известно из гоголевских литературных произведений, не внушало никакого доверия, что Гоголь когда-нибудь станет великим писателем". Воспоминания Л.-Р. доказывают, что Гоголь из-за незнатности происхождения и незнания хороших манер, а точнее, из-за равнодушия к ним, был в нежинской гимназии белой вороной.Его отчуждение от основной массы учащихся усугублялось тем, что Гоголь уже тогда ощущал собственную исключительность и верил в свое превосходство над окружающими, верил в то, что его ждет какое-то великое поприще.

Л.-Р. свидетельствует, что литературные успехи Гоголя в гимназии были очень скромные: "Учился Гоголь очень плохо, всегда и во всем был неопрятен и грязен, за что особенно не жаловали его преподаватели и репетиторы, на которых, впрочем, он обращал мало внимания... Наш товарищ П. Г. Редкин имел комнату у профессора Белоусова. По субботам, вечером, у него собирались некоторые из приятелей, пописывавшие стишки. Постоянными посетителями были - Гоголь, Кукольник, Константин Базили, Прокопович, Гребенка, я и другие. Происходило чтение наших произведений, критический разбор их и решения, годятся ли они для помещения в издававшемся нами рукописном журнале "Навоз Парнасский" или для блага автора должны быть преданы торжественному уничтожению. Некоторые из стихотворений Гоголя, в приятельской переделке Прокоповича, были помещены в этом журнале, чему

всегда радовался безгранично Гоголь. Первая прозаическая вещь Гоголя была написана в гимназии и прочитана публично на вечере Редкина. Называлась она "Братья Твердославичи, славянская повесть". Наш кружок разнес ее беспощадно и решил тотчас же предать уничтожению. Гоголь не противился и не возражал. Он совершенно спокойно разорвал свою рукопись на мелкие клочки и бросил в топившуюся печь, - "В стихах упражняйся, - дружески посоветовал ему тогда Базили, - а прозой не пиши: очень уж глупо выходит у тебя. Беллетрист из тебя не вытанцуется, это сейчас видно". Но без приятельской поддержки Прокоповича и стихи гоголя были бы негодны, так как он никогда не мог совладать с размером, с гармонией, а, гоняясь за рифмами, так обезображивал всегда смысл своих творений, что даже всегда сдержанный Прокопович приходил в ужас". Л.-Р. рассказал также об одной остроумной шутке Гоголя, связанной со стихами: "Профессор Н. П. Никольский заставлял учеников сочинять: это была его слабость, - и не только сочинять что-нибудь прозой, но даже и стихами. На одном уроке Гоголь подаст ему стихотворение Пушкина - кажется, "Пророк". Никольский прочел, поморщился и, по привычке своей, начал переделывать. Когда пушкинский стих профессором был вконец изуродован и возвращен мнимому автору с внушением, что так плохо писать стыдно, Гоголь не выдержал и сказал: "Да ведь это не мои стихи-то". - "А чьи?" - "Пушкина. Я нарочно вам их подсунул, потому что никак и ничем вам не угодить, а вы вон даже и его переделали". - "Ну, что ты понимаешь! - воскликнул профессор. - Да разве Пушкин-то безграмотно не может писать? Вот тебе явное доказательство. Вникни-ка, у кого лучше вышло".

"МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТОПЛЕННИЦА", повесть, впервые опубликованная в 1831 г. в первой части сборника "Вечера на хуторе близ Диканьки".

Эпизод, когда мачеха, обратившаяся в страшную черную кошку, пытается задушить панночку - дочку сотника, но лишается лапы с железными когтями, навеян детскими видениями Гоголя. По воспоминаниям А. О. Смирновой (в записи П. А. Висковатого), Гоголь однажды рассказывал ей: "Было мне лет пять. Я сидел один в Васильевке. Отец и мать ушли. Оставалась со мною одна старуха няня, да и та куда-то отлучилась. Спускались сумерки. Я прижался в уголку дивана и среди полной тишины прислушивался к стуку длинного маятника старинных стенных часов. В ушах шумело, что-то надвигалось и уходило куда-то. Верите ли, - мне тогда уже казалось, что стук маятника был стуком времени, уходящего в вечность. Вдруг слабое мяуканье кошки нарушило тяготивший меня покой. Я видел, как она, мяукая, осторожно кралась ко мне. Я никогда не забуду, как она шла потягиваясь, а мягкие лапы слабо постукивали о половицы когтями, и зеленые глаза искрились недобрым светом. Мне стало жутко. Я вскарабкался на диван и прижался к стене. "Киса, киса", - пробормотал я и, желая ободрить себя, соскочил и, схвативши кошку, легко отдавшуюся мне в руки, побежал в сад, где бросил ее в пруд, где несколько раз, когда она старалась выплыть и выйти на берег, отталкивал ее шестом. Мне было страшно, я дрожал, а в то же время чувствовал какое-то удовлетворение, может быть, месть за то, что она меня испугала. Но когда она утонула и последние круги на

воде разбежались - водворились полный покой и тишина, - мне вдруг стало ужасно жалко "кисы". Я почувствовал угрызения совести. Мне казалось, что я утопил человека. Я страшно плакал и успокоился только тогда, когда отец, которому я признался в поступке своем, меня высек". В М. н. или у. ведьму-мачеху утаскивает в пруд утопленница-панночка.

В. Г. Белинский в статье "О русской повести и повестях г. Гоголя" (1835) писал о М. н. или у.: "...Читайте ее в зимний вечер у пылающего камелька, и вы забудете о зиме с ее морозами и метелями; вам будет чудиться эта светлая, прозрачная ночь благословенного юга, полная чудес и тайн; вам будет чудиться эта юная, бледная красавица, жертва ненависти злой мачехи, это оставленное жилище с одним растворенным окном, это пустынное озеро, на тихих водах которого играют лучи месяца, на зеленых берегах которого пляшут вереницы бесплотных красавиц... Это впечатление очень похоже на то, которое производит на воображение "Сон в летнюю ночь" Шекспира".

Ю. М. Лотман в книге "В школе поэтического слова" (1988) отмечал, что у Гоголя волшебное пространство в М. н. или у. дублирует "каждодневное пространство": "Когда... дом сотника - то заколоченная развалина, на месте которой собираются строить винницу, то сверкающие хоромы, становится очевидным, что меняется не он: просто есть около села реальный пруд со старым домом, но в том же месте находится и обычно недоступный людям (попасть к нему можно лишь случайно) другой пруд с другим домом на берегу. В нем и сейчас - в то же самое время, когда происходит действие повести, живет панночка-утопленница. Эти два пространства взаимно исключают друг друга: когда действие перемещается в одно из них, оно останавливается в другом".

МАКСИМОВИЧ Михаил Александрович (1804-1873), ботаник, этнограф и историк. С 1833 г. был профессором ботаники в Московском университете, позднее, с 1834 г., профессор русской словесности и ректор Киевского университета Св. Владимира. С 1845 г. прекратил чтение лекций и поселился в своем имении в Полтавской губернии на берегу Днепра. М. выпустил ряд сборников украинских песен и стал автором исследований по украинскому языку и истории и археологии Украины.

С Гоголем М. подружился в 1832 г. Знакомство М. с Гоголем произошло благодаря одному из ведущих сотрудников "Литературной газеты" Оресту Михайловичу Сомову (1793-1833). 9 сентября1831 г. он писал М.: "Я познакомил бы вас хоть заочно, если вы желаете того, с одним очень интересным земляком - Пасечником Паньком Рудым, издавшим "Вечера на хуторе", то есть Гоголем-Яновским... У него есть много малороссийских песен, побасенок, сказок, и пр., и пр., коих я еще ни от кого не слыхивал, и он не откажется поступиться и песнями доброму своему земляку, которого заочно уважает. Он человек с отличными дарованиями и знает Малороссию как пять пальцев, в ней воспитывался".

9 ноября 1833 г. Гоголь писал М.: "Я чертовски досадую на себя за то, что ничего не имею, чтобы прислать вам в вашу "Денницу (киевский альманах. - Б. С.). У меня есть сто разных начал и ни одной повести, и ни одного даже отрывка полного, годного для альманаха... Не гневайтесь на меня, мой милый и от всей

души и сердца любимый мой земляк. Я вам в другой раз непременно приготовлю, что вы хотите. Но не теперь. Если б вы знали, какие со мною происходили страшные перевороты, как сильно растерзано всё внутри меня. Боже, сколько я пережег, сколько перестрадал! Но теперь я надеюсь, что всё успокоится, и я буду снова деятельный, движущийся. Теперь я принялся за историю нашей единственной, бедной Украины. Ничто так не успокаивает, как история. Мои мысли начинают литься тише и стройнее. Мне кажется, что я напишу ее, что я скажу много того, что до меня не говорили. Я очень порадовался, услышав от вас о богатом присовокуплении песень и собрании Ходаковского (имеется в виду рукописный сборник украинских песен, собранный польским историком и этнографом Адамом Чарноцким (1784-1825), писавшим под псевдонимом Зориан Доленга-Ходаковский. - Б. С.). Как бы я желал теперь быть с вами и пересмотреть их вместе, при трепетной свече, между стенами, убитыми книгами и книжною пылью, с жадностью жида, считающего червонцы. Моя радость, жизнь моя! песни! как я вас люблю! Что все черствые летописи, в которых я теперь роюсь, пред этими звонкими, живыми летописями! Я сам теперь получил много новых, и какие есть между ними прелести. Я вам их спишу. Не так скоро, потому что их очень много. Да, я вас прошу, сделайте милость, дайте списать все находящиеся у вас песни, включая печатных и сообщенных вам мною. Сделайте милость и пришлите этот экземпляр мне. Я не могу жить без песень. Вы не понимаете, какая это мука. Я знаю, что есть столько песень, и вместе с тем не знаю. Это всё равно, если б кто перед женщиной сказал, что он знает секрет, и не объявил бы ей. Велите переписать четкому, красивому писцу в тетрадь in quarto на мой счет. Я не имею терпения дождаться печатного; притом я тогда буду знать, какие присылать вам песни, чтобы у вас не было двух сходных дублетов. Вы не можете представить, как мне помогают в истории песни. Даже не исторические, даже похабные: они все дают по новой черте в мою историю, все разоблачают яснее и яснее, увы, прошедшую жизнь и, увы, прошедших людей... Велите сделать это скорее. Я вам за то пришлю находящиеся у меня, которых будет до двух сот, и что замечательно - что многие из них похожи совершенно на антики, на которых лежит печать древности, но которые совершенно не были в обращении и лежали зарытые".

23 декабря 1833 г. Гоголь писал А. С. Пушкину: "...Ко мне пишет Максимович, что он хочет оставить Московский университет и ехать в Киевский. Ему вреден климат. Это хорошо. Я его люблю. У него в Естественной истории есть много хорошего, по крайней мере ничего похожего на галиматью Надеждина (имеются в виду натурфилософские сочинения Н. И. Надеждина. - Б. С.)".

В конце декабря 1833 г. Гоголь писал М.: "Я тоже думал: туда, туда! В Киев, в древний, прекрасный Киев! Он наш, он не их, - не правда? Там или вокруг него деялись дела старины нашей. Я работаю. Я всеми силами стараюсь; но на меня находит страх: может быть, я не успею ! Мне надоел Петербург, или лучше, не он, но проклятый климат его: он меня допекает. Да, это славно будет, если мы займем с тобою киевские кафедры; много можно будет наделать добра. А новая жизнь среди такого хорошего края! Там можно обновиться всеми

силами. Разве это малость? Но меня смущает, если это не исполнится!.." В том же письме Гоголь привел образец одной из "похабных" малороссийских песен:

Наварыла сечевыци,
Поставыла на полыци.
Сечевыця сходыть, сходыть
Сам до мене козак ходыть.
Наварыла гороху.
Да послала Явдоху.
Що ее с биса, нема с лиса?
Що се братця, як барятця?
Наварыла каши з лоем,
Налыгалась з упокоем.
Що ее с биса, нема с лиса.
Що се братця, як барятця.
А я с того поговору
Пишла срать за комору.
Що ее с биса, нема с лиса.
Що се братця, як барятця.
Сила дивка тай заснула
(примечание Гоголя: Черта совершенно малороссийская. - Б. С.),
Свынья бигла тай зопхнула.
Що ее с биса, нема с лиса.
Що се братця, як барятця.
Бижыть свынья кованая:
"Чого сыдыш, поганая?
Чого сыдыш надулася?
Чому в кожух не вдяглася?"
- Бодай в тебе стильки дух,
Як у мене есть кожух.
Що ее с биса, нема с лиса.
Що се братця, як барятця.
Ведуть свынью перед пана.
Крычыть свынья: я не пхала,
Вона сама в говно впала.
Крычыть свынья репетуе,
Нихто еи не ратуе.
Що ее с биса, нема с лиса.
Що се братця, як барятця.

Ранее, в письме матери от 22 ноября 1833 г., Гоголь подчеркивал, что эта песня, присланная ему сестрой Марьей, "очень характерна и хороша".

6 марта 1834 г. Гоголь писал филологу-слависту, профессору Петербургского университета академику Измаилу Ивановичу Срезневскому (1812-1880) по поводу песенного собрания М.: "Песен я знаю и имею много. Около 150 песен я отдал прошлый год Максимовичу, совершенно ему неизвестных. После того я приобрел еще около 150. У Максимовича теперь уже 1200. Но я бьюсь об чем угодно, что теперь же еще можно сыскать в каждом

хуторе, подальше от большой дороги и разврата, десятка два неизвестных другому хутору".

22 марта 1835 г. Гоголь выслал М. "Миргород". В отправленном при этом письме он писал:

"Ой, чи живы, чи здорови
Вси родычи гарбузови?

Благодарю тебя за письмо. Оно меня очень обрадовало, во-первых, потому что не коротко, а в-вторых, потому, что я из него больше гораздо узнал о твоем образе жизни. Посылаю тебе "Миргород". Авось либо он тебе придется по душе. По крайней мере я бы желал, чтобы он прогнал хандрическое твое расположение духа, которое, сколько я замечаю, иногда овладевает тобою и в Киеве. Ей-Богу, мы все страшно отдалились от наших первозданных элементов. Мы никак не привыкнем (особенно ты) глядеть на жизнь, как на трын-траву, как всегда глядел козак. Пробовал ли ты когда-нибудь, вставши поутру с постели, дернуть в одной рубашке по всей комнате тропака (именно так поступает после удачной сделки Чичиков в "Мертвых душах". - Б. С.)? Послушай, брат: у нас на душе столько грустного и заунывного, что если позволять всему этому выходить наружу, то это чорт знает что такое будет. Чем сильнее подходит к сердцу старая печаль, тем шумнее должна быть новая веселость. Есть чудная вещь на свете: это бутылка доброго вина. Когда душа твоя потребует другой души, чтобы рассказать всю свою полугрустную историю, заберись в свою комнату и откупори ее, и когда выпьешь стакан, то почувствуешь, как оживятся все твои чувства. Это значит, что в это время я, отдаленный от тебя 1500 верстами, пью и вспоминаю тебя. И на другой день двигайся и работай, и укрепляйся железною силою, потому что ты опять увидишься с старыми своими друзьями... Напиши, в каком состоянии у вас весна. Жажду, жажду весны. Чувствуешь ли ты свое счастие? знаешь ли ты его? Ты свидетель ее рождения, впиваешь ее, дышишь ею, и после этого ты еще смеешь говорить, что не с кем тебе перевести душу... Да дай мне ее одну, одну - и никого больше я не желаю видеть, по крайней мере на всё продолжение ее, ни даже любовницы, что казалось бы потребнее всего весною. Но прощай. Желаю тебе больше упиваться ею, а с нею и спокойствием и ясностью жизни, потому что для прекрасной души нет мрака в жизни".

М. вспоминал, как летом 1835 г. Гоголь остановился у него в Киеве: "Уцелел еще от сломки на Никольской улице тот Катериничев домик, в который переместился я к весне 1835 г.... Он стоит ныне на тычку, первый с правой стороны при въезде в новозданную Печерскую крепость, возле лаврского дома. Там был Гоголь, нарочно приезжавший ко мне в конце июля, возвращаясь из своей полтавской Васильевки или Яновщины в Петербург. Он пробыл у меня пять дней или, лучше сказать, пять ночей, ибо в ту пору все мое дневное время было занято в университете, а Гоголь уезжал поутру к своим нежинским лицейским знакомцам и с ними странствовал по Киеву. Возвращался он вечером, и только тогда начиналась наша беседа. Нельзя было не заметить перемены в его речах и настроении духа; он каждый раз возвращался неожиданно степенным и даже задумчивым. Ни крепкого словца, ни грязного анекдотца не послышалось от него ни разу. Он, между прочим, откровенно

сознавался в своем небрежении о лекциях в Петербургском университете и жалел очень, что его не принял фон Брадке (попечитель Киевского учебного округа. - Б. С.) в университет Киевский. Я думаю, что именно в то лето начался в нем крутой переворот в мыслях - под впечатлением древнерусской святыни Киева, который у малороссиян XVII века назывался "Русским Иерусалимом". Вместе с Гоголем мне удалось, только на другой день его приезда, побывал у Андрея Первозванного; там я оставил его на северо-западном угле балкона, отлучась по делам к попечителю; а когда вернулся, я нашел его возлежащим на том же самом месте... Гоголю особенно полюбился вид оттуда на Кожемяцкое удолье и Кудрявец. Когда же мы снова обходили с ним вокруг той высоты, любуясь ненаглядною красотою киевских видов, стояла неподвижно малороссийская молодица, в белой свитке и намитке, опершись на балкон и глазея на Днепр и Заднепровье. - "Чого ты глядишь там, голубко?" - спросили мы. "Бо гарно дивиться", - отвечала она, не переменяя положения, и Гоголь был очень доволен этим выражением эстетического чувства в нашей землячке".

В 1849 г. М. посетил Москву. Вот его рассказ о московских встречах с Гоголем в изложении П. А. Кулиша: "Осенью 1849 года М. А. Максимович, соскучась жить в своей живописной, но пустынной и отдаленной от больших дорог усадьбе над Днепром, переехал в Москву, к старым своим знакомым и друзьям. Пребывание Гоголя в Москве было для него одною из главных побудительных причин к этой поездке. Гоголь вел жизнь уединенную, но любил посидеть и помолчать в кругу хорошо известных ему людей и старых приятелей, а иногда оживлялся юношескою веселостью, и тогда не было предела его затейливым выходкам и смеху. Особенно привлекал его к себе дом Аксаковых, где он слушал и сам певал народные песни. Гоголь до конца жизни сохранил страсть к этим произведениям поэзии и, по возвращении из Иерусалима, более полугода брал уроки сербского языка у О. М. Бодянского для того, чтоб понимать красоты песен, собранных Вуком Караджичем. Песня русская вообще увлекала его сердце непобедимою силою, как живой голос всего огромного населения его отечества. Но к малороссийской песне он сохранил чувство, подобное тому, какое остается в нашей душе к прекрасной женщине, которую мы любили в ранней молодости. Приглашая своего земляка и знатока народной поэзии О. М. Бодянского на вечера к Аксаковым, которые он посещал чаще всех других вечеров в Москве, он обыкновенно говаривал: "Упьемся песнями нашей Малороссии"; и действительно, он упивался ими, так что иной куплет повторял раз тридцать сряду, в каком-то поэтическом забытьи, пока наконец надоедал самым страстным любителям малороссийской песни".

В 1850 г. М. сопровождал Гоголя во время поездки в Малороссии и вспоминал, что по пути Гоголь "любил заезжать в монастыри и молиться в них Богу. Особенно понравилась ему Оптина Пустынь, на реке Жиздре, за Калугою. Гоголь, приближаясь к ней, прошел с своим спутником до самой обители, версты две, пешком. По дороге встретили они девочку, с мисочкой земляники, и хотели купить у нее землянику; но девочка, видя, что они люди дорожные, не захотела взять от них денег и отдала им свои ягоды даром, отговариваясь тем, что "как можно брать с странных людей деньги?" - "Пустынь эта распространяет благочестие в народе, - заметил Гоголь, умиленный этим, конечно редким,

явлением. - И я не раз замечал подобное влияние таких обителей"". По свидетельству М. (в записи П. А. Кулиша), "в дороге только один случай явственно задел поэтические струны в душе Гоголя. Это было в Севске, на Ивана Купалу. Проснувшись на заре, наши путешественники услышали неподалеку от постоялого двора какой-то странный напев, звонко раздававшийся в свежем утреннем воздухе. "Поди, послушай, что это такое, просил Гоголь своего друга, не купаловые ли песни. Я бы и сам пошел, но ты знаешь, что я немножко из-под Глухова". Максимович подошел к соседнему дому и узнал, что там умерла старушка, которую оплакивают поочередно три дочери. Девушки причитывали ей импровизированные жалобы с редким искусством и вдохновлялись собственным плачем. Все служило им темою для горестного речитатива: добродетельная жизнь покойницы, их неопытность в обхождении с людьми, их беззащитное сиротское состояние и даже разные случайные обстоятельства. Например, в то время, как плакальщица голосила, на лицо покойницы села муха, и та, схватив этот случай с быстротою вдохновения, тотчас вставила в свою речь два стиха:

"Вот и мушенька тебе на
личенько села.
Не можешь ты мушеньку
отогнати!"

Проплакав всю ночь, девушки до такой степени наэлектризовались поэтически-горестными выражениями своих чувств, что начали думать вслух тоническими стихами. Раза два появлялись они, то та, то другая, на галерейке второго этажа и, опершись на перила, продолжали свои вопли и жалобы, а иногда обращались к утреннему солнцу, говоря: "Солнышко ты мое красное!" и тем "живо напоминали мне (говорил Максимович) Ярославну, оплакавшую рано "Путивлю городу на забороле". Когда он рассказал о всем виденном и слышанном Гоголю, тот был потрясен поэтичностью этого явления и выразил намерение воспользоваться им при случае в "Мертвых душах"".

О. В. Гоголь запоминала одно из посещений М. Васильевки в августе 1850 г., когда он оставался там две недели: "Приехал Максимович к нам, привез книги и стал нам всякие травы показывать и объяснять. И по книгам, и в лесу травы искали, и в степь ходили. Мы с братом слушаем, смотрим. Вижу, что мне и в несколько лет всего не усвоить, и говорю профессору Максимовичу: "Вы уж мне только одни полезные, для лекарств, целебные травы показывайте". Стал он только одни целебные травы показывать. И все-таки не очень-то многому научились мы в две недели, пока гостил у нас профессор Максимович. Однако, чему научились, тем стали пользоваться: лечить крестьян". Это стало последним свиданием М. с Гоголем.

МАНИЛОВ, персонаж поэмы "Мертвые души". В черновом наброске заключительной главы то ли первого, то ли второго тома поэмы Гоголь так характеризует М.: "...Манилов, по природе добрый, даже благородный, бесплодно прожил в деревне, ни на грош никому не доставил пользы, опошлел, сделался приторным своею добротою..."

Сцена с детьми М., когда он спрашивает Фемистоклюса, хочет ли он быть

посланником, отражала мнение Гоголя, выраженное в письме сестре Анне в декабре 1847 г.: "Насчет племянника нашего скажу тебе, что мне показалось, будто в нем ни к чему нет особенной охоты. Я его совсем не спрашивал о том, в какую он хочет службу. Он - дитя и не может еще и знать даже, что такое служба, я думал только, не вырвется ли как-нибудь в словах его любовь и охота к какому-нибудь близкому делу, которое под рукой и о котором мальчик в его лета может иметь понятие. Но мысль о дипломатии ни к чему не показывает наклонности. Там большею часть праздные места и должности без занятий, куда назначаются только богатые и знатные люди, да и при том мало одного французского языка. Нужно их знать много. Стало быть, об этом нечего и думать. А ты внуши ему, по крайней мере, желанье читать побольше исторических книг и желанье узнавать собственную землю, географию России, историю России, путешествия по России. Пусть он расспрашивает и узнает про всякое сословие в России, начиная с собственной губернии и уезда..."

К. С. Аксаков писал в статье "Несколько слов о поэме Гоголя "Похождения Чичикова, или Мертвые души" (1842), что М. "при всей своей пустоте и приторной сладости, имеющей свою ограниченную, маленькую жизнь, но все же жизнь, - и без всякой досады, без всякого смеха, даже с участием смотришь, как он стоит на крыльце, куря свою трубку, а в голове его и Бог знает что воображается, и это тянется до самого вечера". М. и его жена дают нам сниженный, опошленный вариант взаимоотношений героев "Старосветских помещиков". Пошлость М. придают прекраснодушные мечтания, которых лишены гораздо более симпатичные Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна.

В. Г. Белинский в статье "Ответ "Москвитянину" (1847) отмечал, что М. "пошл до крайности, сладок до приторности, пуст и ограничен; но он не злой человек; его обманывают его люди, пользуясь его добродушием; он скорее их жертва, нежели они его жертвы. Достоинство отрицательное - не спорим; но если бы автор придал к прочим чертам Манилова еще жестокость обращения с людьми, тогда все бы закричали: что за гнусное лицо, ни одной человеческой черты! Так уважим в Манилове это отрицательное достоинство".

"МЕРТВЫЕ ДУШИ", поэма Гоголя. 1-й том под названием "Похождения Чичикова, или Мертвые души" опубликован: М., 1842, с подзаголовком: "Поэма Н. Гоголя". Цензурное разрешение, датированное 9 марта 1842 г., подписано цензором А. В. Никитенко. 2-й том М. д. не был закончен. Сохранившиеся главы 2-го тома впервые опубликованы посмертно под названием: "Сочинения Николая Васильевича Гоголя, найденные после его смерти. Похождения Чичикова или Мертвые души. Поэма Н. В. Гоголя. Том второй (5 глав)": М., 1855. Цензурное разрешение 2-го тома подписано 26 июля 1855 г. цензором И. Бессомыкиным.

Сюжет М. д. был подсказан Гоголю А. С. Пушкиным. Этот сюжет, по всей вероятности, вырос из пушкинского письма от 16 февраля 1831 года П. А. Плетневу: "Через несколько дней я женюсь; и представляю тебе хозяйственный отчет: заложил я моих 200 душ, взял 38 000 рублей - и вот им распределение: 11 000 теще, которая непременно хотела, чтоб дочь ее была с приданым, пиши

пропало. 10 000 Нащокину, для выручки его из плохих обстоятельств: деньги верные. Остается 17 000 на обзаведение и житие годичное. В июне буду у вас и начну жить en bourgeois, а здесь с тетками справиться невозможно требования глупые и смешные - а делать нечего. Теперь понимаешь ли, что значит приданое и отчего я сердился? Взять жену без состояния - я в состоянии, но входить в долги для ее тряпок - я не в состоянии". В М. д. Чичиков мечтает заложить скупленные у помещиков мертвые души в Опекунский совет, чтобы зажить вполне буржуазной жизнью и иметь за собой "приданое", чтобы жениться на губернаторской дочке. Именно Чичиков - не только главный герой, но и тот стержень, на котором держится сюжет М. д. Как иронически подчеркивает Гоголь, "не приди в голову Чичикова эта мысль (накупить "всех этих, которые вымерли", и заложить их в Опекунский совет. - Б. С.), не явилась бы на свет сия поэма... здесь он полный хозяин, и куда ему вздумается, туда и мы должны тащиться".

По утверждению дальней родственницы Гоголя Марьи Григорьевны Анисимо-Яновской, сюжет поэмы также имел свои корни в родной для писателя Миргородчине: "Мысль написать "Мертвые души" взята Гоголем с моего дяди Пивинского. У Пивинского было 200 десятин земли и душ 30 крестьян и детей пятеро. Богато жить нельзя, и существовали Пивинские винокурней. Тогда у многих помещиков были свои винокурни, акцизов никаких не было. Вдруг начали разъезжать чиновники и собирать сведения о всех, у кого есть винокурни. Пошел разговор о том, что у кого нет пятидесяти душ крестьян, тот не имеет право курить вино. Задумались тогда мелкопоместные: хоть погибай без винокурни. А Харлампий Петрович Пивинский хлопнул себя по лбу да сказал: "Эге! не додумались!" И поехал в Полтаву да и внес за своих умерших крестьян оброк, будто за живых. А так как своих, да и с мертвыми, далеко до пятидесяти не хватало, то набрал он в бричку горилки, да и поехал по соседям и накупил у них за эту горилку мертвых душ, записал их себе и, сделавшись по бумагам владельцем пятидесяти душ, до самой смерти курил вино и дал этим тему Гоголю, который бывал в Федунках, имении Пивинского, в 17 верстах от Яновщины; кроме того, и вся Миргородчина знала про мертвые души Пивинского".

7 октября 1835 г. Гоголь писал из Петербурга А. С. Пушкину, подсказавшему ему сюжет поэмы: "Начал писать "Мертвых душ". Сюжет растянулся на предлинный роман и, кажется, будет сильно смешон. Но теперь остановил его на третьей главе. Ищу хорошего ябедника, с которым бы можно коротко сойтиться. Мне хочется в этом романе показать хотя с одного боку всю Русь".

О продолжении работы над М. д. Гоголь писал из Парижа В. А. Жуковскому 31 октября (12 ноября) 1836 г.: "Осень в Веве наконец настала прекрасная, почти лето. У меня в комнате сделалось тепло, и я принялся за "Мертвых душ", которых было начал в Петербурге. Всё начатое переделал я вновь, обдумал более весь план и теперь веду его спокойно, как летопись... Если совершу это творение так, как нужно его совершить, то... какой огромный, какой оригинальный сюжет! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится в нем! Это будет первая моя порядочная вещь, вещь, которая вынесет мое имя. Каждое утро, в прибавление к завтраку, вписывал я по три страницы в мою поэму, и

смеху от этих страниц было для меня достаточно, чтобы усладить мой одинокий день. Но наконец и в Веве сделалось холодно. Комната моя была нимало ни тепла; лучшей я не мог найти. Мне тогда представился Петербург, наши теплые домы, мне живее тогда представились вы, вы в том самом виде, в каком встречали меня, приходившего к вам, и брали меня за руку, и были рады моему приходу... и мне сделалось страшно скучно, меня не веселили мои "Мертвые души", я даже не имел в запасе столько веселости, чтобы продолжить их. Доктор мой отыскал во мне признаки ипохондрии, происходившей от геморроид, и советовал мне развлекать себя, увидевши же, что я не в состоянии был этого сделать, советовал переменить место... Париж не так дурен, как я воображал... Бог простер здесь надо мной Свое покровительство и сделал чудо: указал мне теплую квартиру, на солнце, с печкой, и я блаженствую; снова весел. "мертвые" текут живо, свежее и бодрее, чем в Веве, и мне совершенно кажется, как будто я в России: передо мною все наши, наши помещики, наши чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши избы, словом, вся православная Русь. Мне даже смешно, как подумаю, что я пишу "Мертвых душ" в Париже. Еще один Левиафан затевается. Священная дрожь пробирает меня заранее, как подумаю о нем; слышу кое-что из него... Божественные вкушу минуты... но... теперь я погружен весь в "Мертвые души". Огромно велико мое творение, и не скоро конец его. Еще восстанут против меня новые сословия и много разных господ; но что ж мне делать! Уже судьба моя враждовать с моими земляками. Терпенье! Кто-то незримый пишет передо мною могущественным жезлом (намек на то, что работа над М. д. делается Божьим промыслом. - Б. С.). Знаю, что мое имя после меня будет счастливее меня, и потомки тех же земляков моих, может быть, с глазами влажными от слез, произнесут примирение моей тени... Не представится ли вам каких-нибудь казусов, могущих случиться при покупке мертвых душ? Это была бы для меня славная вещь потому, как бы то ни было, но ваше воображение верно, увидит такое, что не увидит мое. Сообщите об этом Пушкину, авось либо и он найдет что-нибудь с своей стороны. Хотелось бы мне страшно вычерпать этот сюжет со всех сторон. У меня много есть таких вещей, которые бы мне никак прежде не представились; но, несмотря, вы все еще можете мне сказать много нового, ибо что голова, то ум. Никому не сказывайте, в чем состоит сюжет "Мертвых душ". Название можете объявить всем. Только три человека, вы, Пушкин да Плетнев, должны знать настоящее дело".

16/28 ноября 1836 г. Гоголь сообщал М. П. Погодину: "Вещь, над которой сижу и тружусь теперь и которую долго обдумывал, и которую долго еще буду обдумывать, не похожа ни на повесть, ни на роман, длинная, длинная, в несколько томов, название ей Мертвые души - вот всё, что ты должен покаместь узнать об ней. Если Бог поможет выполнить мне мою поэму так, как должно, то это будет первое мое порядочное творение. Вся Русь отзовется в нем".

6/18 апреля 1837 г. Гоголь в письме В. А. Жуковскому назвал М. д. своим священным долгом перед памятью только что погибшего А. С. Пушкина: "Меня страшит мое будущее. Здоровье мое, кажется, с каждым годом становится плоше и плоше. Я был недавно очень болен, теперь мне сделалось немного лучше. Если и Италия мне ничего не поможет, то я не знаю, что тогда уже делать. Я послал в Петербург за последними моими деньгами, и больше ни

копейки, впереди не вижу совершенно никаких средств добыть их. Заниматься каким-нибудь журнальным мелочным взором не могу, хотя бы умирал с голода. Я должен продолжать мною начатый большой труд, который писать с меня взял Пушкин, которого мысль есть его создание и который обратился для меня с этих пор в священное завещание. Я дорожу теперь минутами моей жизни, потому что не думаю, чтобы она была долговечна, а между тем... я начинаю верить тому, что прежде считал басней, что писатели в наше время могут умирать с голоду. Но чуть ли это не правда. Будь я живописец, хоть даже плохой, я был бы обеспечен: здесь в Риме около 15 человек наших художников, которые недавно высланы из Академии, из которых иные рисуют хуже моего, они все получают по три тысячи в год. Поди я в актеры - я бы был обеспечен, актеры получают по 10 000 серебром и больше, а вы сами знаете, что я не был бы плохой актер. Но я писатель - и потому должен умереть с голоду".

3 января 1840 г. Гоголь читал первую главу М. д. у Аксаковых. Вот как запомнилось это чтение И. И. Панаеву: " - Теперь я вам прочту, - сказал он, - первую главу моих "Мертвых душ", хоть она еще не обделана... Все литературные кружки перед этим уже были сильно заинтересованы слухами о "Мертвых душах". Гоголь, если я не ошибаюсь, прежде всех читал начало своей поэмы Жуковскому. Говорили, что это произведение гениальное... Любопытство к "Мертвым душам" возбуждено было не только в литературе, но и в обществе.Нечего говорить, как предложение Гоголя было принято его поклонниками... Гоголь читал неподражаемо. Между современными литераторами лучшими чтецами своих произведений считаются Островский и Писемский: Островский читает без всяких драматических эффектов, с величайшею простотою, придавая между тем должный оттенок каждому лицу; Писемский читает, как актер, - он, так сказать, разыгрывает свою пьесу в чтении... В чтении Гоголя было что-то среднее между двумя этими манерами. Он читал драматичнее Островского и с гораздо большею простотою, чем Писемский... Когда он окончил чтение первой главы и остановился, несколько утомленный, обведя глазами своих слушателей, его авторское самолюбие должно было удовлетвориться вполне... На лицах всех ясно выражалось глубокое впечатление, произведенное его чтением. Все были и потрясены и удивлены. Гоголь открывал для своих слушателей тот мир, который всем нам так знаком и близок, но который до него никто не умел воспроизвести с такою беспощадною наблюдательностию, с такою изумительною верностию и с такою художественною силою... И какой язык-то! язык-то! Какая сила, свежесть, поэзия!.. У нас даже мурашки пробегали по телу от удовольствия. После чтения Сергей Тимофеич Аксаков в волнении прохаживался по комнате, подходил к Гоголю, жал его руки и значительно посматривал на всех нас... "Гениально, гениально!" повторял он. Глазки Константина Аксакова сверкали, он ударял кулаком о стол и говорил: - Гомерическая сила! гомерическая! Дамы восторгались, ахали, рассыпались в восклицаниях. Гоголь еще более вырос после этого чтения в глазах всех... На другой день я с Константином Аксаковым отправился к Белинскому... Аксаков передал ему о вчерашнем чтении с энтузиазмом, он говорил, что после первой главы "Мертвых душ" нельзя уже сомневаться в том, что Гоголь гений и что он подарит русскую литературу

колоссальным произведением, в котором отразится вся Русь".

16/28 декабря 1840 г. Гоголь писал из Рима С. Т. Аксакову: "...Обстоятельство, которое может дать надежду на возврат мой, - мои занятия. Я теперь приготовляю к совершенной очистке первый том "Мертвых душ". Переменяю, перечищаю, многое перерабатываю вовсе и вижу, что их печатание не может обойтись без моего присутствия. Между тем дальнейшее продолжение его выясняется в голове моей чище, величественней, и теперь я вижу, что может быть со временем кое-что колоссальное, если только позволят слабые мои силы. По крайней мере, верно, немногие знают, на какие сильные мысли и глубокие явления может навести незначащий сюжет, которого первые, невинные и скромные главы вы знаете".

В тот же день Гоголь писал М. П. Погодину: "Чувствую... свежесть, занимаюсь переправками, выправками и даже продолжением "Мертвых душ", вижу, что предмет становится глубже и глубже. Даже собираюсь в наступающем году печатать первый том, если только дивной силе Бога, воскресившего меня, будет так угодно. Многое совершилось во мне в немногое время, но я не в силах теперь писать о том, не знаю почему, может быть, по тому самому, почему не в силах был в Москве сказать тебе ничего такого, что бы оправдало меня перед тобою во многом". Гоголь неслучайно создавал большую часть своей великой национальной эпопеи за границей. Как писал А. К. Толстой Каролине Сайн-Витгенштейн 9 мая 1869 г.: "Я останусь в России не для того, чтобы поближе видеть Россию. Страшно сказать, что не только любить больше свою страну издали, но и видишь ее лучше, и лучше понимаешь. Вспомните, что наш величайший гений,Гоголь, тот, который с полной справедливостью может называться всемирным гением, написал свои "Мертвые души" именно в Риме".

В начале 1842 г. Гоголь сообщил В. Ф. Одоевскому о запрещении рукописи М. д. московской цензурой и просил князя употребить все силы, чтобы доставить ее Николаю I. Одновременно он отправил М. д. в петербургскую цензуру. Неизвестно, обращался ли Одоевский и другие друзья Гоголя непосредственно к императору. В конце января1842 г. Гоголь вновь писал Одоевскому: "Чтож вы всё молчите все? что нет никакого ответа? получил ли рукопись? получил ли письма? Распорядились ли вы как-нибудь? Ради Бога, не томите. Граф Строганов теперь велел сказать мне, что он рукопись пропустит, что запрещение и пакость случились без его ведома, и мне досадно, что я не дождался этого неожиданного для меня оборота; мне не хочется также, чтобы цензору был выговор. Ради Бога, обделайте так, чтобы всем было хорошо, и, пожалуйста, не медлите. Время уходит, время, в которое расходятся книги". Точно не известно, удалось ли Одоевскому познакомить царя с "Мертвыми душами", но Николай так или иначе узнал о существовании гоголевской поэмы.

По утверждению А. О. Смирновой, она прибегла к помощи князя М. А. Дондукова, попечителя Петербургского учебного округа. Трудно сказать, довел ли он дело до сведения императора или решил его своей властью (Дондукову подчинялась петербургская цензура). Одновременно за Гоголя ходатайствовал попечитель Московского учебного округа граф С. Г. Строганов. 29 января 1842 г. он писал шефу жандармов графу А. Х. Бенкендорфу: "Граф! Узнав о

стесненном положении, в котором находится г. Гоголь, автор "Ревизора" и один из самых известных современных писателей, нуждающийся в особом содействии, думаю, что исполню по отношению к вам свой долг, если извещу вас об этом и возбужу в вас интерес к молодому человеку. Может быть, вы найдете возможным доложить о нем императору и получить от него знак его высокой щедрости. Г. Гоголь строит все свои надежды, чтоб выйти из тяжелого положения, в которое он попал, на напечатании своего сочинения "Мертвые души". Получив уведомление от московской цензуры, что оно не может быть разрешено к печати, он решил послать его в Петербург. Я не знаю, что ожидает там это сочинение, но это сделано по моему совету. В ожидании же исхода Гоголь умирает с голоду и впал в отчаяние. Я нимало не сомневаюсь, что помощь, которая была бы оказана ему со стороны Его Величества, была бы одной из наиболее ценных. Простите, граф, попытку, которую мне продиктовало мое чувство, почерпаемое в уверенности в вашей просвещенной доброте и которой я имею столько доказательств, и позвольте, пользуясь случаем, принести вам уверение в моем глубоком уважении". И уже через несколько дней, 2 февраля 1842 г., Бенкендорф докладывал царю, именуя писателя на немецкий манер "Гогелем" и прямо ссылаясь на его поэму: "Попечитель московского учебного округа генерал-адъютант гр. Строганов уведомляет меня, что известный писатель Гогель находится теперь в Москве в самом крайнем положении, что он основал всю надежду свою на сочинении своем под названием "Мертвые души", но оно московскою цензурою не одобрено и теперь находится в рассмотрении здешней цензуры, и как между тем Гогель не имеет даже дневного пропитания и оттого совершенно пал духом, то граф Строганов просит об исходатайствовании от монарших щедрот какого-либо ему пособия. Всеподданнейше донося вашему императорскому величеству о таковом ходатайстве гр. Строганова за Гогеля, который известен многими своими сочинениями, в особенности комедией своей "Ревизор", я осмеливаюсь испрашивать всемилостивейшего вашего величества повеления о выдаче единовременного пособия пятьсот рублей серебром". На докладе Бенкендорфа Николай I наложил резолюцию: "Согласен". И через несколько дней Гоголь получил денежное пособие. А уже в начале марта гоголевская поэма была разрешена к печати. Проблема возникла только с "Повестью о капитане Копейкине" (Копейкин - распространенное прозвище разбойников на Руси).

1 апреля 1842 г. А. В. Никитенко писал Гоголю: "сочинение... прошло цензуру благополучно; путь ее узок и тесен, и потому не удивительно, что на нем осталось несколько царапин, и его нежная и роскошная кожа кой-где поистерлась. Впрочем, надеюсь, что вы отдадите также и справедливость умеренности нашей цензуры: она всячески щадила прекрасное творение, которое искажать придирчивостью слишком осторожною я считал святотатственным посягательством на нашу бедную литературу. Совершенно невозможным к пропуску оказался эпизод Копейкина - ничья власть не могла защитить его от гибели, и вы сами, конечно, согласитесь, что мне тут нечего было делать. Как жаль, что вас здесь нет! Места, которые исключила цензура или принуждена была заменить своими, вы, вероятно, исправили бы так, что и сено было бы цело, и козы сыты; я уверен, что мы легко согласились бы с вами,

на основании великого правила взаимной уступчивости. После сего официального изъяснения не могу удержаться, чтоб не сказать вам несколько сердечных слов, а сердечные эти слова не иное что, как изъяснение восторга к вашему превосходному творению. Какой глубокий взгляд в самые недра нашей жизни! Какая прелесть неподдельного, вам одним свойственного комизма! Что за юмор! Какая мастерская, рельефная, меткая обрисовка характеров! Где ударила ваша кисть, там и жизнь, и мысль, и образ - и образ так и глядит на вас, вперив свои живые очи, так и говорит с вами, как будто сидя возле вас на стуле, как будто он сейчас пришел ко мне в 4-й этаж прямо из жизни - мне не надобно напрягать своего воображения, чтоб завести с ним беседу, - он живой, дышащий, нерукотворный, Божье и русское создание. Прелесть, прелесть и прелесть! и что это будет, когда всё вы кончите; если это исполнится так, как я понимаю, как, кажется, вы хотите, то тут выйдет полная великая эпопея России XIX века. Рад успехам истины и мысли человеческой, рад вашей славе. Продолжайте, Николай Васильевич. Я слышал, что вас иногда посещает проклятая гостья, всем впрочем нам, чадам века сего, не незнакомая хандра, да Бог с ней! вам дано много силы, чтоб с нею управиться. Гоните ее могуществом вашего таланта - она стоит самой доблестной воли. Но дело зовет, почта отходит - прощайте! Да хранит вас светлый гений всего прекрасного и высшего - не забывайте в вашем цензоре человека, всей душой вам преданного и умеющего понимать вас".

По поводу запрещения "Повести о капитане Копейкине" цензурой Гоголь 10 апреля 1842 г. писал П. А. Плетневу: "Уничтожение "Копейкина" меня сильно смутило. Это одно из лучших мест в поэме, и без него - прореха, которой я ничем не в силах заплатать и зашить. Я лучше решился переделать его, чем лишиться вовсе. Я выбросил весь генералитет. Характер Копейкина означил сильнее, так что теперь видно ясно, что он всему причиною сам и что с ним поступили хорошо (в этом утверждении чувствуется скрытая ирония, ведь не мог же Гоголь всерьез считать, что отказ в пенсии инвалиду и герою войны 1812 года - это доброе дело. - Б. С.). Присоедините ваш голос и подвиньте, кого следует. Вы говорите, что от покровительства высших нужно быть подальше, потому что они всякую копейку делают алтыном. Клянусь, я готов теперь рублем почитать всякую копейку, которая дается на мою бедную рукопись. Но я думал даже, что один Никитенко может теперь ее пропустить... Передайте ему листы "Копейкина" и упросите без малейшей задержки передать вам для немедленной пересылки ко мне, ибо печатанье рукописи уже началось". В тот же день, 10 апреля 1842 г., Гоголь ответил А. В. Никитенко: "Благодарю вас за ваше письмо. В нем видно много участия, много искренности и много того, что прекрасно и благородно волнует человека. Да, я не могу пожаловаться на цензуру; она была снисходительна ко мне, и я умею быть признательным. Но, признаюсь, уничтоженье Копейкина меня сильно смутило. Это одно из лучших мест. И я не в силах ничем теперь заплатать ту прореху, которая видна в моей поэме. Вы сами, одаренные эстетическим вкусом, который так отразился в письме вашем, вы сами можете видеть, что кусок этот необходим, не для связи событий, но для того, чтобы на миг отвлечь читателя, чтобы одно впечатление сменить другим, и кто в душе художник, тот поймет, что без него остается

сильная прореха. Мне пришло на мысль: может быть цензура устрашилась генералитета. Я переделал Копейкина; я выбросил всё, даже министра, даже слово "превосходительство". В Петербурге, за отсутствием всех, остается одна только временная комиссия. Характер Копейкина я назначил сильнее; так что теперь ясно, что он сам причиной своих поступков, а не недостаток состраданья в других. Начальник комиссии даже поступает с ним очень хорошо. Словом, всё теперь в таком виде, что никакая строгая цензура, по моему мнению, не может найти предосудительного в каком бы ни было отношении. Молю вас возвратить мне это место и скорее сколько возможно, чтобы не задержать печатанья. У Плетнева вы возьмете рукопись и передайте ее потом ему же для пересылки ко мне. Ничего вам не скажу более, ибо вы сами в письме вашем сказали, что понимаете меня, стало быть, поймете и благодарность мою". И уже 12 апреля 1842 г. П. А. Плетнев написал А. В. Никитенко: "Посылаю письмо Гоголя к вам и переделанного "Копейкина". Ради Бога, помогите ему, сколько возможно. Он теперь болен, и я уверен, что если не напечатает "Мертвых душ", то и сам умрет. Когда решите судьбу рукописи, то, не медля ни дня, препроводите ко мне для доставления страдальца. Он у меня лежит на сердце, как тяжелый камень". В итоге смягченная редакция "Повести..." была разрешена к печати.

По мнению Ю. М. Лотмана, высказанном в книге "В школе поэтического слова" (1988), прототипом Копейкина мог послужить герой Отечественной войны 1812 года полковник лейб-гвардии уланского полка, служивший также в Сумском гусарском полку, кавалер ордена Св. Георгия 4-й степени Федор Федорович Орлов (умер в 1834 г.), потерявший в сражении под Бауценом ногу от неприятельского ядра. Не исключено, что он был также прототипом Анатоля Курагина в "Войне и Мире" Льва Толстого. Ф. Ф. Орлов, которого хорошо знал А. С. Пушкин, по натуре был игроком и гулякой. Лишенный средств к существованию, он обратился к разбою. Ф. Ф. Орлова поймали, но благодаря заступничеству брата, князя Алексея Федоровича Орлова (1786-1861), будущего шефа жандармов и председателя Комитета министров, он был прощен.

Весной 1842 г. Гоголь читал только что опубликованные М. д. своим друзьям. А. О. Смирнова вспоминала, как он "изъявил желание прочитать отрывки уже напечатанных "Мертвых душ" и читал их у кн. П. А. Вяземского. Особенно хорош выходил в его чтении разговор двух дам... Тут кстати заметить, что смех, возбужденный чтением "Мертвых душ", производил на него совсем не то впечатление, как смех во время чтения комедии. Ему, очевидно, делалось грустно".

14/26 июня 1842 г. Гоголь из Берлина послал В. А. Жуковскому только что вышедший первый том М. д.: "Это первая часть... Я переделал ее много с того времени, как читал вам первые главы, но все однако же не могу не видеть ее малозначительности в сравнении с другими, имеющими последовать ее частями. Она в отношении к ним всё мне кажется похожею на приделанное губернским архитектором наскоро крыльцо к дворцу, который задуман строиться в колоссальных размерах, а без сомнения в ней наберется не мало таких погрешностей, которых я пока еще не вижу. Ради Бога, сообщите мне ваши замечания. Будьте строги и неумолимы как можно больше. Вы сами знаете, как мне это нужно... Потом, по прочтении каждой главы, напишите два-

три замечанья вообще обо всей главе. Потом о взаимном отношении всех глав между собою и потом, по прочтении всей книги, вообще обо всей книге, и все эти замечания, и общие и частные, соберите вместе, запечатайте в пакет и отправьте мне".

16 июня 1842 г. попечитель Московского учебного округа граф С. Г. Строганов писал С. С. Уварову по поводу М. д.: "На днях, прочитывая новую поэму Гоголя "Похождения Чичикова, или Мертвые Души", я останавливался на многих местах, которые, несмотря на свою занимательность и юмор, не могли, как я думаю, быть дозволены к напечатанию без особенного высшего разрешения и с какою-либо особенною целию. Цензурные постановления вообще неопределенны. Были случаи, что цензура, при одобрении некоторых сочинений к напечатанию или при неодобрении, руководствовалась доселе особенными указаниями правительства и из них составляла для себя частные правила. Теперь новое произведение Гоголя обратило на себя всеобщее внимание и, конечно, будет подвергнуто разным толкованиям и критике. В сем случае цензура будет поставлена в затруднение, потому что не имеет указания, при каких обстоятельствах дозволено напечатание означенной поэмы. Вследствие сего и для ограждения членов московского цензурного комитета, покорнейше прошу ваше высокопревосходительство снабдить меня наставлением, какими условиями должно руководствоваться, в случае представления рецензий и критик на поэму Гоголя, для напечатания в повременных изданиях и журналах". 18 июля 1842 г. С. С. Уваров ответил С. Г. Строганову: "...Книга "Похождения Чичикова" рассмотрена и одобрена цензурою на общих основаниях, и при рассмотрении критик на это сочинение надлежит руководствоваться общими цензурными постановлениями".

3 июля 1842 г. С. Т. Аксаков извещал Гоголя о том, как москвичи отзываются о М. д.: "...Я обещал вам записывать разные толки о Чичикове - я сделал это, сколько мог успеть... Вот они: выписываю их с дипломатическою точностью. С. В. Перфильев (Сергей Васильевич Перфильев (1796-1878), жандармский генерал, впоследствии начальник 2-го корпуса жандармов, объединявшего жандармские части Московского округа. - Б. С.) сказал мне: "Не смею говорить утвердительно, но признаюсь: "Мертвые Души" мне не так нравятся, как я ожидал. Даже как-то скучно читать; всё одно и то же, натянуто - видно желание перейти в русские писатели; употребление руссицизмов вставочное не выливается из характера лица, которое их говорит". Он прочел залпом в один день. Я просил его через несколько времени прочесть в другой раз и не искать анекдота. Он хотел прочесть три раза. Уходя, он прибавил, что сальности в прежних сочинениях, даже в "Ревизоре", его не оскорбляли; но что здесь они оскорбительны, потому что как будто нарочно вставляются автором. Н. И. Васьков говорил, "что состав губернского общества не верен (как и в "Ревизоре", где пропущены: стряпчий, казначей и исправник); что председателей двое; что полицеймейстер лицо ничтожное в губернском городе; что, представив сначала всё в дрянном и смешном виде, странно сделать такое горячее обращение к России; что часто шутки автора плоски, неблагопристойны, и что порядочной женщине нельзя читать всю книгу". Наконец, нашелся один, который обиделся следующими словами: "Посмотрим,

что делает наш приятель?" И кто же этот приятель?.. Селифан или половой!.. Что же они мне за приятели?.. Не сочтите за выдумку последнего выражения; всё правда до последней буквы. Есть, впрочем, обвинения и справедливые. Я очень браню себя, что одно просмотрел, а на другое мало настаивал: крестьяне на вывод продаются с семействами, а Чичиков отказался от женского пола; без доверенности, выданной в присутственном месте, нельзя продать чужих крестьян, да и председатель не может быть в одно и то же время и доверенным лицом и присутствующим по этому делу. Несмотря на лето "Мертвые Души" расходятся очень живо и в Москве, и в Петербурге..." Реакция читающей публики на М. д. не удовлетворила Гоголя. 6/18 августа 1842 г. он писал С. Т. Аксакову из Гастейна: "Первое впечатление их (М. д. - Б. С.) на публику совершенно, какое подозревал я заране. Неопределенные толки; поспешность быстрая прочесть и ненасыщенная пустота после прочтенья; досада на видимую беспрерывную мелочь событий жизни, которая становится невольно насмешкой и упреком. Всё это я знал заранее. Бедный читатель с жадностью схватил в руки книгу, чтобы прочесть ее, как занимательный, увлекательный роман, и, утомленный, опустил руки и голову, встретивши никак не предвиденную скуку. Всё это я знал. Но при всем этом подробные известия обо всем этом мне всегда слишком интересно слышать". И тут же высказался по поводу лирических отступлений поэмы: "Разве вам не странно было встретить в сочинении, подобном "Мертвым душам", лирическую восторженность? Не смешною ли она вам показалась вначале, и потом не примирились ли вы с нею, хотя не вполне еще узнали значение?" В этом же письме Гоголь писал, что в связи с М. д. родилась у него мысль о возможном будущем путешествии в Иерусалим, чтобы поклониться святым местам: "Как можно знать, что нет, может быть, тайной связи между сим моим сочинением, которое с такими погремушками вышло на свет из темной низенькой калитки, а не из победоносных триумфальных ворот в сопровождении трубного грома и торжественных звуков, и между сим отдаленным путешествием? И почему знать, что нет глубокой и чудной связи между всем этим и всей моей жизнью, и будущим, которое незримо грядет к нам и которого никто не слышит? Благоговение же к Промыслу! Это говорит вам вся глубина души моей. Помните, что в то время, когда мельче всего становится мир, когда пустее жизнь, в эгоизм и холод облекается всё, и никто не верит чудесам, - в то время именно может совершиться чудо, чудеснее всех чудес. Подобно как буря самая сильная нарастает только тогда, когда тише обыкновенного станет морская поверхность. Душа моя слышит грядущее блаженство и знает, что одного только стремления нашего к нему достаточно, чтобы всевышней милостью Бога оно ниспустилось в наши души. Итак, светлей и светлей да будут с каждым днем и минутой ваши мысли, и светлей всего да будет неотразимая вера ваша в Бога, и да не дерзнете вы опечалиться ничем, что безумно называет человек несчастием. Вот что вам говорит человек, смешащий людей". Но такое путешествие писатель мыслил только после завершения поэмы: "Впрочем, помните, что путешествие мое еще далеко. Раньше окончания моего труда оно не может быть предпринято ни в каком случае, и душа моя для него не в силах быть готова. А до того времени нет никакой причины думать, чтобы не увиделись опять, если только это будет нужно".

В первой рецензии на гоголевскую поэму, "Похождения Чичикова или Мертвые души", напечатанной в 7-м номере "Отечественных записок" за 1842 г., В. Г. Белинский писал: "И вдруг среди этого торжества мелочности, посредственности, ничтожества, бездарности, среди этих пустоцветов и дождевых пузырей литературных, среди этих ребяческих затей, детских мыслей, ложных чувств, фарисейского патриотизма, приторной народности - вдруг, словно освежительный блеск молнии среди томительной и тлетворной духоты и засухи, является творение чисто русское, национальное, выхваченное из тайника народной жизни, столько же истинное, сколько и патриотическое, беспощадно сдергивающее покров с действительности и дышащее страстною, нервистою, кровною любовию к плодовитому зерну русской жизни; творение необъятно художественное по концепции и выполнению, по характерам действующих лиц и подробностям русского быта, - и в то же время глубокое по мысли, социальное, общественное и историческое... В "Мертвых душах" автор сделал такой великий шаг, что все доселе написанное кажется слабым и бледным в сравнении с ними... Преобладание субъективности, проникая и одушевляя собою всю поэму Гоголя, доходит до высокого лирического пафоса и освежительными волнами охватывает душу читателя даже в отступлениях... Но этот пафос субъективности поэта проявляется не в одних таких высоко лирических отступлениях: он проявляется беспрестанно, даже и среди рассказа о самых прозаических предметах, как, например, об известной русской дорожке, проторенной забубенным русским народом... Его же музыку чует внимательный слух читателя и в восклицаниях, подобных следующему: "Эх, русский народец! не любит умирать своею смертью!"... Столь же важный шаг вперед со стороны таланта Гоголя видим мы и в том, что в "Мертвых душах" он совершенно отрешился от малороссийского элемента и стал русским национальным поэтом во всем пространстве этого слова. При каждом слове его поэмы читатель может говорить:

Здесь русский дух,
здесь Русью пахнет!

Этот русский дух ощущается и в юморе, и в иронии, и в выражениях автора, и в размашистой силе чувств, и в лиризме отступлений, и в пафосе всей поэмы, и в характерах действующих лиц, от Чичикова до Селифана и "подлеца чубарого" включительно, - в Петрушке, носившем с собою свой особенный воздух, и в будочнике, который при фонарном свете, впросонках, казнил на ноге зверя и снова заснул... "Мертвые души" не соответствуют понятию толпы о романе, как о сказке, где действующие лица полюбили, разлучились, а потом стали богаты и счастливы. Поэмою Гоголя могут вполне насладиться только те, кому доступна мысль и художественное наполнение создания, кому важно содержание, а не "сюжет"; для восхищения всех прочих остаются только места и частности. Сверх того, как всякое глубокое создание, "Мертвые души" не раскрываются вполне с первого чтения даже для людей мыслящих: читая их во второй раз, точно читаешь новое, никогда не виданное произведение...

...Не в шутку назвал Гоголь свой роман "поэмою" и ... не комическую поэму разумеет он под нею... Мы не видим в ней ничего шуточного и смешного; ни в одном слове автора не заметили мы намерения смешить читателя: все серьезно,

спокойно, истинно и глубоко... Не забудьте, что книга есть только экспозиция, введение в поэму, что автор обещает еще две такие же большие книги, в которых мы снова встретимся с Чичиковым и увидим новые лица, в которых Русь выразится с другой стороны... Нельзя ошибочнее смотреть на "Мертвые души" и грубее понимать их, как видя в них сатиру... Найдутся также и патриоты... которые, со свойственной им проницательностию, увидят в "Мертвых душах" злую сатиру, следствие холодности и нелюбви к родному, к отечественному, - они, которым так тепло в нажитых ими потихоньку домах и домиках, а может быть, и деревеньках - плодах благонамеренной и усердной службы... Что же касается до нас, мы, напротив, упрекнули бы автора скорее в излишестве непокоренного спокойно-разумному созерцанию чувства, местами слишком юношески увлекающегося, нежели в недостатке любви и горячности к родному и отечественному... Мы говорим о некоторых - к счастию, немногих, хотя, к несчастию, и резких - местах, где автор слишком легко судит о национальности чуждых племен и не слишком скромно предается мечтам о превосходстве славянского племени над ними... Мы думаем, что лучше оставлять всякому свое и, сознавая собственное достоинство, уметь уважать достоинство и в других..."

Один из первых откликов на М. д. принадлежал К. С. Аксакову. В статье "Несколько слов о поэме Гоголя "Похождения Чичикова, или Мертвые души" (1842), опубликованной отдельной брошюрой, он утверждал: "Пред нами возникает новый характер создания, является оправдание целой сферы поэзии, сферы, давно унижаемой; древний эпос восстает перед нами... Тот же глубокопроникающий и всевидящий эпический взор, то же всеобъемлющее эпическое созерцание... Некоторым может показаться странным, что лица у Гоголя сменяются без особенной причины; это им скучно, но... именно эпическое созерцание допускает это спокойное появление одного лица за другим, без внешней связи, тогда как один мир объемлет их, связуя их глубоко и неразрывно единством внутренним... Созерцание Гоголя таково... что предмет является у него, не теряя нисколько ни одного из прав своих, является с тайною своей жизни, одному Гоголю доступной; его рука переносит в мир искусства предмет, не измяв его нисколько; нет, свободно живет он там, еще выше поставленный; не видать на нем следов его перенесшей руки, и поэтому узнаешь ее. Всякая вещь, которая существует, уже по этому самому имеет жизнь, интерес жизни, как бы мелка она ни была, но постижение этого доступно только такому художнику, как Гоголь; и в самом деле, все: и муха, надоедающая Чичикову, и собаки, и дождь, и лошади от заседателя до чубарого, и даже бричка - все это, со всей своей тайною жизни, им постигнуто и перенесено в мир искусства (разумеется, творчески создано, а не описано, Боже сохрани; всякое описание скользит только по поверхности предмета); и опять только у Гомера можно найти такое творчество... Хотя это только первая часть, хотя это только начало реки, дальнейшее течение которой Бог знает куда приведет нас и какие явления представит, - но мы, по крайней мере, можем, имеем даже право думать, что в этой поэме обхватывается широко Русь, и уж не тайна ли русской жизни лежит, заключенная в ней, не выговорится ли она здесь художественно? Не входя подробно в раскрытие первой части, в которой во всей, разумеется,

лежит одно содержание, мы можем указать, по крайней мере, на ее окончание, так чудно, так естественно вытекающее. Чичиков едет в бричке, на тройке; тройка понеслась шибко, и кто бы ни был Чичиков, хоть он и плутоватый человек, и хотя многие и совершенно будут против него, но он был русский, он любил скорую езду, - и здесь тотчас это общее народное чувство, возникнув, связало его с целым народом, скрыло его, так сказать; здесь Чичиков, тоже русский, исчезает, поглощается, сливаясь с народом в этом общем всему ему чувстве. Пыль от дороги поднялась и скрыла его; не видать, кто скачет, видна одна несущаяся тройка. И когда здесь, в конце первой части, коснулся Гоголь общего субстанционального чувства русского, то вся сущность (субстанция) русского народа, тронутая им, поднялась колоссально, сохраняя свою связь с образом, ее возбудившим. Здесь проникает наружу и видится Русь, лежащая, думаем мы, тайным содержанием всей его поэмы. И какие эти строки, что дышит в них! и как, несмотря на мелочность предыдущих лиц и отношений на Руси, - как могущественно выразилось то, что лежит в глубине, то сильное, субстанциальное, вечное, неисключаемое нисколько предыдущим и которое многим покажется противоречием, - каким чудным звуком наполняет оно грудь, как глубоко возбуждаются все силы жизни, которую чувствуешь в себе разлитой вдохновенно по всему существу... Слог Гоголя не образцовый, и слава Богу: это был бы недостаток. Нет, слог у Гоголя составляет часть его создания; он подлежит ому же акту творчеству, той же образующей руке, которая вместе дает и ему формы и самому произведению, и потому слога нельзя у него отделить от его создания и он в высшей степени хорош (мы не говорим о частностях и безделицах)... Общий характер лиц Гоголя тот, что ни одно из них не имеет ни тени односторонности, ни тени отвлеченности, и какой бы характер в нем ни высказывался, это всегда полное, живое лицо, а не отвлеченное качество (как бывает у других, так что над одним напиши: скупость, над другим: вероломство, над третьим: верность и т. д.); нет, все стороны, все движения души, какие могут быть у какого бы то ни было лица, все не пропущены его взором, видящим полноту жизни; он не лишает лицо, отмеченное мелкостью, низостью, ни одного человеческого движения; все воображены в полноте жизни: на какой бы низкой степени ни стояло лицо у Гоголя, вы всегда признаете в нем человека, своего брата, созданного по образцу и подобию Божию... Например, Манилов при всей своей пустоте и приторной сладости, имеющей свою ограниченную, маленькую жизнь, но все же жизнь, - и без всякой досады, без всякого смеха, даже с участием смотришь, как он стоит на крыльце, куря свою трубку, а в голове его и Бог знает что воображается, и это тянется до самого вечера. Или Плюшкин, скупец, но за которым лежат иначе проведенные годы, который естественно и необходимо развился до своей скупости; вспомните то место, когда прежняя жизнь проснулась в нем, тронутая воспоминанием, и на его старом, безжизненном лице мелькнуло выражение чувства. Одним словом: везде у Гоголя такое совершенное отсутствие всякой отвлеченности, такая всесторонность, истина и вместе такая полнота жизни, не теряющей ни малейшей частицы своей от явлений природы: мухи, дождя, листьев и пр. до человека, - какая составляет тайну искусства, открывающуюся очень, очень немногим..."

В. Г. Белинский откликнулся на брошюру К. С. Аксакова рецензией в № 8 "Отечественных записок" за 1842 г., где утверждал: "...Мы в Гоголе видим более важное значение для русского общества, чем в Пушкине: ибо Гоголь более поэт социальный, следовательно, более поэт в духе времени; он также менее теряется в разнообразии создаваемых им объектов и более дает чувствовать присутствие своего субъективного духа, который должен быть солнцем, освещающим создания поэта нашего времени... Чем выше достоинство Гоголя как поэта, тем важнее его значение для русского общества, и тем менее может он иметь какое-либо значение вне России. Но это-то самое и составляет его важность, его глубокое значение и его - скажем смело колоссальное величие для нас, русских. Тут нечего и упоминать о Гомере и Шекспире, нечего и путать чужих в свои семейные тайны. "Мертвые души" стоят "Илиады", но только для России: для всех же других стран их значение мертво и непонятно".

15 августа н. ст. 1842 г. Гоголь писал С. П. Шевыреву из Гастейна: "Чтобы прогнать из тебя как-нибудь идею о самолюбии моем, одно только скажу тебе, что в сердце пишущего много, много любви... И с каждым днем она растет в душе моей. А вместе с ней растет вера, что... Спаситель наш... ниспошлет мне силу, может быть, возвыситься до того, чтобы даже уподобиться Ему сочиненьем моим, сколько может приблизиться копия, производимая из благоговенья художника, проникнутая небесным изумленьем к картине". Эта идея также отразилась в "Портрете". В этом же письме Гоголь просил Шевырева написать разбор М. д., утверждая: "В Гастейне у Языкова нашел я "Москвитянин" за прошлый год и перечел с жадностью все твои рецензии и критики, - это доставило мне много наслаждений и родило весьма сильную просьбу, которую, может быть, ты уже предчувствуешь. Грех будет на душе твоей, если ты не напишешь разбора "Мертвых душ". Кроме тебя вряд ли кто другой может правдиво и как следует оценить их. Тут есть над чем потрудиться... Во имя нашей дружбы я прошу тебя быть как можно строже. Чем более отыщешь ты и выставишь моих недостатков и пороков, тем более будет твоя услуга. Нет, может быть, в целой России человека, так жадного узнать все свои пороки и недостатки". Шевырев выполнил просьбу друга и напечатал две статьи о М. д. в №№ 7 и 8 "Москвитянина" за 1842 г. В первой из этих статей критик пришел к выводу: "Наша русская жизнь своею грубою, животною, материальною стороною глубоко лежит в содержании этой первой части Поэмы и дает ей весьма важное, современное, с виду смешное, в глубине грустное значение". Во второй статье Шевырев утверждал: "Велик, просторен и чудно разнообразен мир Божий: есть место в нем для всего. Живут в нем и Собакевичи, и Ноздревы. Таков же точно и мир искусства, создаваемый художником: и в нем должно быть место всему, и ничем не пренебрегает многообъемлющая фантазия Поэта, которой подведом весь мир от звезд до преисподних земли: всё свободно восприемлет она в себя и воспроизводит своею чудною властию. Не что избрал художник, а как он это воссоздал и как связал мир действительный с миром своего изящного - вот то, что собственно касается искусства". По мнению Шевырева, "чем ниже, грубее, материальнее, животнее предметный мир, изображаемый Поэтом, тем выше, свободнее, полнее, сосредоточеннее в самом себе должен являться его творящий дух... чем

ниже объективность, им изображаемая, тем выше должна быть, отрешеннее и свободнее от нее его субъективная личность... Сия последняя проявляется в юморе, который есть чудное слияние смеха и слез, посредством коего Поэт соединяет все видения своей фантазии с своим собственным человеческим существом. Неистощим комический юмор Гоголя; все предметы, как будто нарочно, по его воле, становятся перед ним смешною их стороною; даже имена, слова, сравнения подвертываются к нему такие, что возбуждают смех; конечно, заразительный хохот пронесся вместе с "Мертвыми душами" по всем пределам России, где только их читали. Но тот не далеко слышит и видит, кто в ярком смехе Гоголя не замечает глубокой затаенной грусти. В "Мертвых душах" особенно часто веселость сменяется задумчивостью и печалью. Смех принадлежит в Гоголе художнику, который не иным чем, как смехом, может забирать в свои владения весь грубый скарб низменной природы смешного; но грусть его принадлежит в нем человеку. Как будто два существа виднеются нам из его романа: Поэт, увлекающий нас своею ясновидящею и причудливою фантазиею, веселящий неистощимою игрою смеха, сквозь который он видит все низкое в мире, - и человек, плачущий глубоко и чувствующий иное в душе своей в то самое время, как смеется художник. Таким образом, в Гоголе видим мы существо двойное, или раздвоившееся; поэзия его не цельная, не единичная, а двойная, распадшаяся..." Шевырев процитировал авторское отступление: "И долго еще определено мне чудной властию идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно-несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы!" и так прокомментировал его: "Слова драгоценные, глубокие, поднятые с самого дна души и сказавшиеся в одну из тех редких светлых минут, когда поэт и человек бывают ясны самому себе! Сии-то незримые, неведомые миру слезы проглядывают очень часто в Поэме Гоголя; для того, кто хочет вглядеться глубже, они очень заметны сквозь игривый звон комического смеха, и мы несколько раз испытали на самих себе переход от шумного веселья к грустной задумчивости. Подкрепим это свидетельствами из самого произведения. Главный мотив, на котором держится все комическое действие Поэмы, продажа мертвых душ, с первого раза кажется только забавен и в самом деле так искусно найден комическою фантазиею художника: тут нет ничего никому обидного, ни вредного - что такое мертвые души? - так, ничего, не существуют, а между тем из-за них-то поднялась такая тревога. Здесь источник всем комическим сценам между Чичиковым и помещиками и кутерьме, какая заварилась во всем городе. Мотив с виду только что забавный - клад для комика; - но когда вы прислушаетесь к сделкам Чичикова с помещиками, когда потом вместе с ним (в VII главе Поэмы), или лучше с Автором, который здесь напрасно уступил место своему герою, вы раздумаетесь над участию всех этих неизвестных существ, внезапно оживающих перед вами в разных типах русского мужика, - глубокая ирония выглянет в мотиве, и невольною думою осенится ваше светлое чело. Взгляните на расстановку характеров: даром ли они выведены в такой перспективе? Сначала вы смеетесь над Маниловым, смеетесь над Коробочкою, несколько серьезнее взглянете на Ноздрева и Собакевича, но, увидев Плюшкина, вы уже вовсе задумаетесь: вам будет грустно при виде этой развалины человека. А

герой Поэмы? Много смешит он вас, отважно двигая вперед свой странный замысел и заводя всю эту кутерьму между помещиками и в городе; но когда вы прочли всю историю его жизни и воспитания, когда Поэт разоблачил перед вами всю внутренность человека, - не правда ли, что вы глубоко задумались? Наконец, представим себе весь город N. Здесь, кажется, уже донельзя разыгрался комический юмор Поэта, как будто к концу тома сосредоточив все свои силы. Толки жителей о душах Чичикова и их нравственности, бал у губернатора, появление Ноздрева, приезд Коробочки, сцена двух дам, слухи в городе о мертвых душах, о похищении губернаторской дочки, вздор, тревога, кутерьма, сутолока, весть о новом генерал-губернаторе и съезд у полицмейстера, на котором рассказывается повесть о капитане Копейкине!.. Как не изумиться тому, с какою постепенностью растет комическое действие и как беспрерывно прибывают новые волны в смешном юморе Автора, которому здесь просторное раздолье. Как будто сам демон путаницы и глупости носится над всем городом и всех сливает в одно: здесь, говоря словами Жан-Поля, не один какой-нибудь дурак, не одна какая-нибудь отдельная глупость, но целый мир бессмыслицы, воплощенный в полную городскую массу. В другой раз Гоголь выводит нам такой фантастический русский город: он уже сделал это в "Ревизоре"; здесь также мы почти не видим отдельно ни городничего, ни почтмейстера, ни попечителя богоугодных заведений, ни Бобчинского, ни Добчинского; здесь также целый город слит в одно лицо, которого все эти господа только разные члены: одна и та же уездная бессмыслица, вызванная комическою фантазиею, одушевляет всех, носится над ними и внушает им поступки и слова, одно смешнее другого. Такая же бессмыслица, возведенная только на степень губернской, олицетворяется и действует в городе N. Нельзя не удивиться разнообразию в таланте Гоголя, который в другой раз вывел ту же идею, но не повторился в формах и ни одною чертою не напомнил о городе своего Ревизора! При этом способе изображать комически официальную жизнь внутренней России надобно заметить художественный инстинкт Поэта: все злоупотребления, все странные обычаи, все предрассудки облекает он одною сетью легкой смешливой иронии. Так и должно быть - Поэзия не донос, не грозное обвинение. У нее возможны одни только краски на это: краски смешного. Но и тут даже, где смешное достигло своих крайних пределов, где Автор, увлеченный своим юмором, отрешил местами фантазию от существенной жизни и нарушил тем... ее характер, - и здесь смех при конце сменяется задумчивостью, когда среди этой праздной суматохи внезапно умирает прокурор и всю тревогу заключают похороны. Невольно опять припоминаются слова Автора о том, как в жизни веселое мигом обращается в печальное..." Шевырев также подметил определенное психологическое противоречие, содержащееся в ряде персонажей "Мертвых душ": "Комический демон шутки иногда увлекает до того фантазию Поэта, что характеры выходят из границ своей истины: правда, это бывает очень редко. Так, например, неестественно нам кажется, чтобы Собакевич, человек положительный и солидный, стал выхваливать свои мертвые души и пустился в такую фантазию. Скорее мог бы ею увлечься Ноздрев, если бы с ним сладилось такое дело. Оно чрезвычайно смешно, если хотите, и мы от души хохотали всему ораторскому

пафосу Собакевича, но в отношении истины и отчетливости фантазии нам кажется это неверно. Даже самое красноречие, этот дар слова, который он внезапно по какому-то особливому наитию обнаружил в своем панегирике каретнику Михееву, плотнику Пробке и другим мертвым душам, кажутся противны его обыкновенному слову, которое кратко и все рубит топором, как его самого обрубила природа. Нарушение одной истины повлекло за собою нарушение и другой. Автор сам это чувствовал и оговорился словами: "откуда взялись рысь и дар слова в Собакевиче". То же самое можно заметить и об Чичикове: в главе VII прекрасны его думы обо всех мертвых душах, им купленных, но напрасно приписаны они самому Чичикову, которому, как человеку положительному, едва ли могли бы прийти в голову такие чудные поэтические были о Степане Пробке, о Максиме Телятникове, сапожнике, и особенно о грамотее Попове беспашпортном, да об Фырове Абакуме, гуляющем с бурлаками... Мы не понимаем, почему все эти размышления Поэт не предложил от себя. Неестественно также нам показалось, чтобы Чичиков уж до того напился пьян, что Селифану велел сделать всем мертвым душам лично поголовную перекличку. Чичиков - человек солидный и едва ли напьется до того, чтобы впасть в подобное мечтание".

В ноябре 1842 г. Гоголь так отозвался в письме Шевыреву об его статьях о "Мертвых душах": "Благодарю тебя много, много за твои обе статьи, которые я получил в исправности от княгини Волконской, хотя несколько поздно. В обеих статьях твоих, кроме большого их достоинства и значения для нашей публики, есть очень много полезного собственно для меня. Замечание твое о неполноте комического взгляда, берущего только в пол-обхвата предмет, могло быть сделано только глубоким критиком созерцателем (имеется в виду мысль о том, что "комический юмор автора мешает иногда ему обхватывать жизнь во всей ее полноте и широком объеме. Это особенно ясно в тех ярких заметках о русском человеке, которыми усеяна Поэма. По большей части мы видим в них одну отрицательную, смешную сторону, пол-обхвата, а не весь обхват русского мира. Всякая глупость и бессмыслица ложится ярко под меткую кисть Поэта-юмориста. Кучер Селифан похваляется, что не опрокинет, и тотчас же опрокинул. Девчонка умеет показать дорогу, а не знает, что право и что лево. Дядя Миняй и дядя Митяй хлопотали, хлопотали около брички и коляски и, бестолковые, ровно ничего не сделали, но только что лошадей измучили. Здесь, с одной стороны, видна добрая черта русского народа - его радушие, бескорыстная готовность помочь ближнему в беде, что не всегда найдете вы в образованном западе; но, с другой стороны, жаль, что всё это радушие примыкает к бестолковщине, которая очень смешна, но не полна: ибо вообще-то говоря, уж конечно, не бестолков русский мужик и в деле, требующем здравого смысла, за пояс заткнет любого ученого иностранца. Правда, живет и на него беда, как на Селифана, прихвастнет и опрокинет спьяну, но часто бывает и так, что проскачет черт знает где, выедет просто на авось по соломенному мосту, и уж пока держит вожжи в руках, конечно, не усумнится, как иной немец, в том, что справит лошадей, и не даст выпрыгнуть из коляски своему барину". - Б. С.). Замечания об излишестве моей расточительности тоже большая правда (речь идет о следующем месте из второй статьи: "Да, в фантазии нашего поэта есть

русская щедрость, или живость, доходящая до расточительности, свойство, выражаемое у нас старинною пословицей: всё, что ни есть в печи, то на стол мечи... Читая "Мертвые души", вы могли заметить, сколько чудных полных картинок, ярких сравнений, замет, эпизодов, а иногда и характеров, легко, но метко очерченных, дарит вас Гоголь так, просто, даром, в придачу ко всей Поэме, сверх того, что необходимо входит в ее содержание. У Собакевича помните компаньонку за столом, а при Ноздреве его белокурого зятя, который снаружи кажется упруг, а внутри мягок: он пошел задаром и даже без имени, в придачу к характеру Ноздрева. Заговорил Поэт о тыквах-горлянках, и пришли ему в голову балалайки, и двадцатилетний парень, мигач и щеголь, посвистывающий на белогрудых девиц. Забрел он воображением на рабочий двор Плюшкина - и ярко представилась ему картина щепного двора в Москве. Плюшкин контрастом напомнил помещика, кутящего во всю ширину русской удали и барства, и тут явилась иллюминация сада, и ветви, чудно озаренные снизу, и сверху темное, грозное небо, и сумрачные вершины дерев... Гоголя можно сравнить с богатым русским хлебосолом, который за роскошным столом своим кроме двухаршинной стерляди, архангельской телятины и прочих солидных блюд предлагает вам множество закусок, прикусок, подливок и дорогих соусов, которые все идут в придачу к неистощимому пиру и неприметно съедаются, заслоненные главными сокровищами щедрого русского хлебосольства. Эти придачи фантазии Гоголя имеют иногда характер высокий, иногда же, напротив, переходят в шуточку: так бывает и в русской песне, и в сказе, которые дарят вас также присловьями, то высокими, вроде следующего: "Высота ли, высота поднебесная, / Глубота ли, глубота - Окиян-море, / Широко раздолье по всей земли, / Глубоки омуты Днепровские", - то шутливыми, как известные прибаутки наших сказок". - Б. С.). Мне бы очень хотелось, чтоб ты на одном экземпляре заметил на полях карандашом все те места, которые отданы даром читателю, или лучше сказать, навязаны на него без всякой просьбы с его стороны. Это мне очень нужно, хотя я уже и сам много кое-чего вижу, чего не видал прежде, но человек требует всякой помощи от других и только после указаний, которые нам сделают другие, мы видим яснее собственные грехи. Ты пишешь в твоем письме, чтобы я, не глядя ни на какие критики, шел смело вперед. Но я могу идти смело вперед только тогда, когда взгляну на те критики. Критика придает мне крылья. После критики, всеобщего шума и разноголосья, мне всегда ясней предстает мое творенье. А ты сам, я думаю, чувствуешь, что, не изведав себя со всех сторон, во всех своих недостатках, нельзя избавиться от своих недостатков. Мне даже критики Булгарина приносят пользу, потому что я, как немец, снимаю плеву со всякой дряни. Но какую же пользу может принести мне критика, подобная твоей, где дышит такая чистая любовь к искусству и где я вижу столько душевной любви ко мне, ты можешь судить сам. Я много освежился душой по прочтении твоих статей и ощутил в себе прибавившуюся силу. Я жалел только, что ты, вровень с достоинствами сочинения, не обнажил побольше его недостатков. У нас никто не поверит, если я скажу, что мне хочется, и душа моя даже требует, чтобы меня более осуждали, чем хвалили, но художник-критик должен понять художника-писателя..."

Очень глубокий отзыв о М. д. оставил А. И. Герцен. 11 июня 1842 г. он

записал в дневнике: ""Мертвые души" Гоголя - удивительная книга, горький упрек современной Руси, но не безнадежный. Там, где взгляд может проникнуть сквозь туман нечистых, навозных испарений, там он видит удалую, полную силы национальность. Портреты его удивительно хороши, жизнь сохранена во всей полноте; не типы отвлеченные, а добрые люди, которых каждый из нас видел сто раз. Грустно в мире Чичикова, так, как грустно нам в самом деле; и там и тут одно утешение в вере и уповании на будущее. Но веру эту отрицать нельзя, и она не просто романтическое упование ins Blaue (на небеса (нем.). - Б. С.), а имеет реалистическую основу: кровь как-то хорошо обращается у русского в груди". А в дневниковой записи от 29 июля 1842 г. Герцен так передал существующие в обществе мнения о гоголевской поэме: "Славянофилы и антиславянисты разделились на партии. Славянофилы № 1 говорят, что это - апофеоз Руси, "Илиада" наша, и хвалят, следовательно; другие бесятся, говорят, что тут анафема Руси, и за то ругают. Обратно тоже раздвоились антиславянисты. Велико достоинство художественного произведения, когда оно может ускользать от всякого одностороннего взгляда. Видеть апофеоз - смешно, видеть одну анафему - несправедливость. Есть слова примирения, есть предчувствия и надежды будущего, полного и торжественного, но это не мешает настоящему отражаться во всей отвратительной действительности. Тут переход от Собакевичей к Плюшкиным - обдает ужас; вы с каждым шагом вязнете, тонете глубже, лирическое место вдруг оживит, осветит и сейчас заменяется опять картиной, напоминающей еще яснее, в каком рве ада находимся и как Данте хотел бы перестать видеть и слышать, - а смешные слова веселого автора раздаются. "Мертвые души" - поэма глубоко выстраданная. "Мертвые души" - это заглавие само носит в себе что-то наводящее ужас. И иначе он не мог назвать; не ревизские - мертвые души, а все эти Ноздревы, Маниловы и tutti quanti (все прочее (ит.). - Б.С.) - вот мертвые души, и мы их встречаем на каждом шагу. Где интересы общие, живые, в которых живут все вокруг нас дышащие мертвые души? Не все ли мы после юности, так или иначе, ведем одну из жизней гоголевских героев? Один остается при маниловской тупой мечтательности, другой буйствует a la Nosdreff, третий - Плюшкин и проч. Один деятельный человек - Чичиков, и тот ограниченный плут. Зачем он не встретил нравственного помещика добросерда, стародума... Да откуда попался бы в этот омут человек столько абнормальный, и как он мог бы быть типом?.. Пушкин в "Онегине" представил отрадное человеческое явление во Владимире Ленском, да и расстрелял его, и за дело. Что ему оставалось еще, как не умереть, чтобы остаться благородным, прекрасным явлением? Через десять лет он отучнел бы, стал бы умнее, но всё был бы Манилов".

2 января 1843 г. Д. Н. Свербеев писал Н. М. Языкову о М. д., впервые высказав мысль об их возможной инсценировке: "Если бы автор мог подслушать и собрать все различные суждения об этом гигантском творении, то, дав им личность и художественную форму, скроил бы из них превосходную новую комедию-драму. "Мертвые Души" не нравятся, во-первых, всем мертвым душам, в которых западное воспитание и западный образ жизни умертвили всякое русское чувство. Потом восстают на него все Чичиковы и Ноздревы высшего и низшего разряда. Далее с ребяческим простодушием выходят на

Гоголя Манилов, особенно Коробочка. Последние очень наивно говорят: "Охота же была и сочинителю рассказывать такую дрянь, которая везде встречается ежедневно и что из этого прибыли?" Загоскины, Павловы и проч. не говорят совсем о "Мертвых Душах" и только презрительно улыбаются, когда услышат издалека одно название. Порядочными людьми принято впрочем не упоминать об этой поэме при наших повествователях, а то всякий раз выходит какая-нибудь личность. Но все ждут второго тома, - друзья Гоголя с некоторым опасением, а завистники и порицатели, говорят: "Посмотрим, как-то он тут вывернется".

28 февраля н. ст. 1843 г. Гоголь писал из Рима С. П. Шевыреву: "...Ты говоришь, что пора печатать второе издание "Мертвых Душ", но что оно должно выйти необходимо вместе со 2-м томом. Но если так, тогда нужно слишком долго ждать. Еще раз я должен повторить, что сочинение мое гораздо важнее и значительнее, чем можно предполагать по его началу. И если над первою частью, которая оглянула едва десятую долю того, что должна оглянуть вторая часть, просидел я почти пять лет, чего, натурально, никто не заметил, один ты заметил долговременную и тщательную обработку многих частей... Итак, если над первой частью просидел я столько времени, не думай, чтоб я был когда-либо предан праздному бездействию; в продолжение этого времени я работал головой даже и тогда, когда думали, что я вовсе ничего не делаю и живу только для удовольствия своего. Итак, если над первой частью просидел я так долго, рассуди сам, сколько должен просидеть я над второй. Это правда, что я могу теперь работать увереннее, тверже, осмотрительнее, благодаря тем подвигам, которые я предпринимал к воспитанию моему и которых тоже никто не заметил. Например, никто не знал, для чего я производил переделки моих прежних пиес, тогда как я производил их, основываясь на разуменьи самого себя, на устройстве головы своей. Я видел, что на этом одном я мог только навыкнуть производить плотное создание, сущное, твердое, освобожденное от излишеств и неумеренности, вполне ясное и совершенное в высокой трезвости духа. После сих и других подвигов, предпринятых во глубине души, я, разумеется, могу теперь двигать работу далеко успешнее и быстрее, чем прежде; но нужно знать и то, что горизонт мой стал чрез то необходимо шире и пространней, что мне теперь нужно обхватить более того, что, верно бы, не вошло прежде. Итак, если предположить самую беспрерывную и ничем не останавливаемую работу, то два года - это самый короткий срок. Но я не смею об этом и думать, зная мою необеспеченную нынешнюю жизнь и многие житейские дела, которые иногда в силе будут расстроить меня, хотя употребляю все силы держать себя от них подале и меньше сколько можно о них думать и заботиться. Понуждение к скорейшему появлению второго тома, может быть, ты сделал вследствие когда-то помещенного в "Москвитянине" объявления, и потому вот тебе настоящая истина: никогда и никому я не говорил, сколько и что именно у меня готово и когда, к величайшему изумлению моему, напечатано было в "Москвитянине" извещение, что два тома уже написаны, третий пишется, и все сочинение выйдет в продолжение года, тогда не была даже кончена первая часть (такое объявление появилось в № 2 "Москвитянина" за 1841 г. - Б. С.). Вот как трудно созидаются те вещи, которые на вид иным

кажутся вовсе не трудны. Если ты под словом необходимость появления второго тома разумеешь истребить неприятное впечатление, ропот и негодование против меня, то верь мне: мне бы слишком хотелось самому, чтоб меня поняли в настоящем значении, а не в превратном. Но нельзя упреждать время, нужно, чтоб всё излилось прежде само собою, и ненависть против меня (слишком тяжелая для того, кто бы захотел заплатить за нее, может быть, всею силою любви), ненависть против меня должна существовать и быть в продолжение некоторого времени, может быть, даже долгого. И хотя я чувствую, что появление второго тома было бы светло и слишком выгодно для меня, но в то же время, проникнувши глубже в ход всего текущего пред глазами, вижу, что всё, и самая ненависть, есть благо. И никогда нельзя придумать человеку умней того, что совершается свыше, и чего иногда в слепоте своей мы не можем видеть, и чего, лучше сказать, мы и не стремимся проникнуть. Верь мне, что я не так беспечен и неразумен в моих главных делах, как неразумен и беспечен в житейских. Иногда силой внутреннего глаза и уха я вижу и слышу время и место, когда должна выйти в свет моя книга, иногда по тем же самым причинам, почему бывает ясно мне движение души человека, становится мне ясно и движение массы. Разве ты не видишь, что еще и до сих пор все принимают мою книгу за сатиру и личность, тогда как в ней нет и тени сатиры и личности, что можно заметить вполне только после нескольких чтений; а книгу мою, большею частью, прочли только по одному разу все те, которые восстают против меня. Еще, смотри, как гордо и с каким презрением смотрят все на героев моих; книга писана долго; нужно, чтоб дали труд всмотреться в нее долго. Нужно, чтобы устоялось мнение. Против первого впечатления я не могу действовать. Против первого впечатления должна действовать критика, и только тогда, когда с помощью ее впечатления получат образ, выйдут сколько-нибудь из первого хаоса и станут определительны и ясны, тогда только я могу действовать против них. Верь, что я употребляю все силы производить успешно свою работу, что вне ее я не живу и что давно умер для других наслаждений. Но вследствие устройства головы моей я могу работать вследствие только глубоких обдумываний и соображений, и никакая сила не может заставить меня произвести, а тем более выдать вещь, которой незрелость и слабость я уже вижу сам; я могу умереть с голода, но не выдам безрассудного, необдуманного творения".

А. О. Смирнова вспоминала, как в конце 1843 г. в Ницце Гоголь читал отрывки из второго тома М. д.: "Гоголь был очень нервен и боялся грозы. Раз, как-то в Ницце, кажется, он читал мне отрывки из второй и третьей части "Мертвых душ", а это было не легко упросить его сделать. Он упирался, как хохол, и чем больше просишь, тем сильнее он упирается. Но тут как-то он растаял, сидел у меня и вдруг вынул из-за пазухи толстую тетрадь и, ничего не говоря, откашлялся и начал читать. Я вся обратилась в слух. Дело шло об Уленьке, бывшей уже замужем за Тентетниковым. Удивительно было описано их счастие, взаимное отношение и воздействие одного на другого... Тогда был жаркий день, становилось душно. Гоголь делался беспокоен и вдруг захлопнул тетрадь. Почти одновременно с этим послышался первый удар грома, и разразилась страшная гроза. Нельзя себе представить, что стало с Гоголем: он

трясся всем телом и весь потупился. После грозы он боялся один идти домой. Виельгорский взял его под руку и отвел. Когда после я приставала к нему, чтобы он вновь прочел и дочитал начатое, он отговаривался и замечал: - "Сам Бог не хотел, чтоб я читал, что еще не окончено и не получило внутреннего моего одобрения... Признайтесь, вы тогда очень испугались?" - "Нет, хохлик, это вы испугались", - сказала я. - "Я-то не грозы испугался, а того, что читал вам, чего не надо еще никому читать, и Бог в гневе своем пригрозил мне".

14 июля н. ст. 1844 г. Гоголь писал из Франкфурта Н. М. Языкову о продолжении работы над поэмой: "...Ты спрашиваешь, пишутся ли "М. Д."? И пишутся, и не пишутся. Пишутся слишком медленно и совсем не так, как бы хотел, и препятствия этому часто происходят и от болезни, а чаще от меня самого. На каждом шагу и на каждой строчке ощущается такая потребность поумнеть и притом так самый предмет и дело связано с моим собственным внутренним воспитанием, что никак не в силах я писать мимо меня самого, а должен ожидать себя. Я иду вперед - идет и сочинение; я остановился нейдет и сочинение. Поэтому мне и необходимы бывают часто перемены всех обстоятельств, переезды, обращающие к другим занятиям, не похожим на вседневные, и чтенье таких книг, над которыми воспитывается человек. Но... распространяться боюсь, чтоб не нагородить какой-либо путаницы..."

2/14 января 1846 г. Гоголь писал Н.М. Языкову по поводу перевода М. д., выполненного Лебенштейном: "Известие о переводе "М. Д." на немецкий язык мне было неприятно. Кроме того, что мне вообще не хотелось бы, чтобы обо мне что-нибудь знали до времени европейцы, этому сочинению неприлично являться в переводе ни в каком случае, до времени его окончания, и я бы не хотел, чтобы иностранцы впали в такую глупую ошибку, в какую впала большая часть моих соотечественников, принявши "М. Д." за портрет России. Если тебе попадется в руки этот перевод, напиши, каков он и что такое выходит по-немецки. Я думаю просто ни то, ни се".

Один из поздних отзывов на М. д. содержался в письме Ф. В. Чижова от 4 марта н. ст. 1847 г. из Рима. Там указывалось на высокую художественность формы и мрачность содержания поэмы: "...В первый раз я прочел его (первый том "Мертвых душ". - Б. С.) в Дюссельдорфе, и оно просто не утомило, а оскорбило меня. Утомить безотрадностию выставленных характеров не могло - я восхищался талантом, но, как русский, был оскорблен до глубины сердца. Дошло дело до Ноздрева; отлегло от сердца. Выставляйте вы мне печальную сторону, разумеется, по самолюбию будет больно читать, да есть истинное, а как же вы во мне выставите пошлым то, где пошлость в одной внешности? Чувство боли началось со второй страницы, где вы бросили камень в того, кого ленивый не бьет, - в мужика русского. Прав ли я, не прав ли, вам судить, но у меня так почувствовалось. С душой вашей роднится душа беспрестанно; много ли, всего два-три слова, как девчонка слезла с козел, а душе понятно это. Русский же, то есть русак, невольно восстает против вас, и когда я прочел, чувство русского, простого русского до того было оскорблено, что я не мог свободно и спокойно сам для себя обсуживать художественность всего сочинения. Один приятель мой, петербургский чиновник, первый своим неподдельным восторгом сблизил меня с красотами "Мертвых Душ", я прочел

еще раз, после читал еще, отчетливее понял, что восхищало меня, но болезненное чувство не истреблялось. Чиновник этот не из средины России - он родился и взрос в Петербурге, ему не понятны те глупости, какие у нас взрощены с детства".

1 сентября н. ст. 1843 г. Гоголь писал С. П. Шевыреву из Дюссельдорфа по поводу отзывов на М. д. в печати: "Я получил разные критики петербургских журналов на "Мертвые души". Замечательнее всех в "Современнике". Отзыв Полевого в своем роде отчасти замечателен. Сенковского, к сожалению, не имею и до сих пор не мог достать, как ни старался. А вообще я нахожу, что нет средины между благосклонностью и неблагосклонностью. Белинский смешон".

В рецензии на второе издание М. д., появившейся в 1-м номере "Современника" за 1847 г., В. Г. Белинский подчеркивал, что "по нашему крайнему разумению и искреннему, горячему убеждению, "Мертвые души" стоят выше всего, что было и есть в русской литературе, ибо в них глубокость живой общественной идеи неразрывно сочеталась с бесконечною художественною образностию образов, и этот роман, почему-то названный автором поэмою, представляет собою произведение столько же национальное, сколько и высоко-художественное. В нем есть свои недостатки, важные и неважные. К последним относим мы неправильности в языке, который вообще составляет столько же слабую сторону таланта Гоголя, сколько его слог (стиль) составляет сильную сторону его таланта. Важные же недостатки романа "Мертвые души" находим мы почти везде, где из поэта, из художника силится автор стать каким-то пророком и впадает в несколько надутый и напыщенный лиризм... К счастью, число таких лирических мест незначительно в отношении к объему всего романа, и их можно пропускать при чтении, ничего не теряя от наслаждения, доставляемого самим романом. Но, к несчастию, эти мистико-лирические выходки в "Мертвых душах" были не простыми, случайными ошибками со стороны их автора, но зерном, может быть, совершенной утраты его таланта для русской литературы... Все более и более забывая свое значение художника, принимает он тон глашатая каких-то великих истин, которые в сущности отзываются не чем иным, как парадоксами человека, сбившегося с своего настоящего пути ложными теориями и системами, всегда гибельными для искусства и таланта... Второе издание "Мертвых душ" явилось с предисловием, которое... внушает живые опасения за авторскую славу в будущем (в прошедшем она непоколебимо прочна) творца "Ревизора" и "Мертвых душ"; оно грозит русской литературе новою великою потерею прежде времени... Предисловие это странно само по себе, но его тон... В этом тоне столько неумеренного смирения и самоотрицания, что они невольно заставляют читателя предполагать тут чувства совершенно противоположные... "Кто бы ты ни был, мой читатель, на каком бы месте ни стоял, в каком бы звании ни находился, почтен ли ты высшим чином или человек простого сословия, но если тебя вразумил Бог грамоте и попалась уже тебе моя книга, я прошу тебя помочь мне... я прошу тебя, читатель, поправить меня. Не пренебреги таким делом. Какого бы ни был ты сам высокого образования и жизни высокой, и какою бы ничтожною ни показалась в глазах твоих моя книга, и каким бы ни показалось тебе мелким делом ее исправлять и писать на нее

замечания, - я прошу тебя это сделать. А ты, читатель не высокого образования и простого звания, не считай себя таким невежею (Вероятно, автор хотел сказать невеждою. Замечательно, как умеет он ободрять простых людей, чтобы они не пугались его величия... - примечание В. Г. Белинского), чтобы ты не мог меня чему-нибудь поучить"... Итак, мы не можем теперь вообразить себе всех русских людей иначе, как сидящих перед раскрытою книгою "Мертвых душ" на коленях, с пером в руке и листом почтовой бумаги на столе - чернильница предполагается сама собою... Особенно люди невысокого образования, невысокой жизни и простого сословия должны быть в больших хлопотах: писать не умеют, а надо... Не лучше ли им всем пуститься за границу для личного свидания с автором, - ведь на словах удобнее объясниться, чем на бумаге... Оно конечно, эта поездка обойдется им дорогонько, зато какие же результаты выйдут из этого..."

А. А. Григорьев в статье "Гоголь и его последняя книга" (1847) утверждал, что М. д. "суть последнее слово всей предшествовавшей деятельности Гоголя и, несмотря на строгий, художнический суд над ними самого автора, все-таки это подвиг благородный и высокий, и притом предназначенный не для оправдания человеческой пошлости, чем бы хотели их видеть некоторые близорукие, хотя и добросовестные люди. Предшествовавшая деятельность Гоголя делает понятными лирические места его поэмы - понятным, что поэт может не обещать только, но и действительно перейти к иным образам, - и степени человеческого просветления изображать точно так же свято и верно, как степени падения и обмеления; она делает, наконец, понятным появление последней книги Гоголя ("Выбранные места из переписки с друзьями". - Б. С.) - этого строгого суда его над самим собою и над личностью, суда честного, но, разумеется, и болезненного, - преимущественно назидательного для школы, признавшей поэта своим вождем и главою и нисколько не понявшей своего учителя. Школа эта, названная ее довольно жалкими противниками натуральною, увидела в Гоголе только оправдателя и восстановителя всякой мелочной личности, всякого микроскопического существования... забывши слово Гоголя, что опошлел образ добродетельного человека..."

10 / 22 февраля 1847 г. в письме А. О. Смирновой из Неаполя Гоголь выразил свою неудовлетворенность первым томом М. д.: "Мне нужно много набрать знаний; мне нужно хорошо знать Россию. Друг мой, не позабывайте, что у меня есть постоянный труд: эти самые "Мертвые души", которых начало явилось в таком неприглядном виде. Друг мой, искусство есть дело великое. Знайте, что все те идеалы, которые напичкали в головы французские романы, могут быть выгнаны другими идеалами. И образы их можно произвести так живо, что они станут неотразимо в мыслях и будут преследовать человека в такой степени, что львицы возжелают попасть в другие львицы". Второй том М. д. и должен был, по замыслу Гоголя, утвердить в душах читателей идеалы, отличные от тех, что внушались "французскими романами", внушить, что надо стремиться не к радостям жизни, а к исполнению своего жизненного долга.

20 ноября (2 декабря) 1843 г. Гоголь писал В. А. Жуковскому из Ниццы: "Я продолжаю работать, то есть набрасывать на бумагу хаос, из которого должно произойти создание "Мертвых душ". Труд и терпение, и даже приневоливание

себя, награждают меня много. Такие открываются тайны, которых не слышала дотоле душа. И многое в мире становится после этого труда ясно. Поупражняясь хотя немного в науке создания, становишься в несколько крат доступнее к презренью великих тайн Божьего создания. И видишь, что, чем дальше уйдет и углубится во что-либо человек, кончит всё тем же: одною полною и благодарною молитвою". Возможно, гоголевский замысел заключался в том, чтобы в финале привести к полному раскаянию и благодарственной молитве Богу Чичикова.

Но вскоре работа над вторым томом М. д. застопорилась. 1/13 апреля 1844 г. Гоголь сообщал из Франкфурта-на-Майне А. С. Данилевскому: "...О самых трудах моих и сочинениях могу тебе сказать только то, что строение их соединено тесно с моим собственным строением. Мне нужно слишком поумнеть для того, чтобы из меня вышло что-нибудь умное и дельное... Весьма натурально, что хотелось бы прежде всего сказать о том, что поближе в настоящую минуту к душе, но в то же время чувствуешь, что еще не нашел даже и слов, которыми бы мог дать почувствовать другому то, что почувствовал сам".

25 июля 1845 г. Гоголь писал А. О. Смирновой из Карлсбада: "...Вы коснулись "Мертвых Душ" и просите меня не сердиться на правду, говоря, что исполнились сожалением к тому, над чем прежде смеялись. Друг мой, я не люблю моих сочинений, доселе бывших и напечатанных, и особенно "Мертвых душ". Но вы будете несправедливы, когда будете осуждать за них автора, принимая за карикатуру насмешку над губерниями, так же, как были прежде несправедливы хваливши. Вовсе не губерния и не несколько уродливых помещиков, и не то, что им приписывают, есть предмет "Мертвых Душ". Это пока еще тайна, которая должна была вдруг, к изумлению всех (ибо ни одна душа из читателей не догадалась), раскрыться в последующих томах, если бы Богу угодно было продлить жизнь мою и благословить будущий труд. Повторяю вам вновь, что это тайна, и ключ от нее, покамест, в душе у одного только автора. Многое, многое даже из того, что, по-видимому, было обращено ко мне самому, было принято вовсе в другом смысле. Была у меня, точно, гордость, но не моим настоящим, не теми свойствами, которыми владел я; гордость будущим шевелилась в груди, - тем, что представлялось мне впереди, счастливым открытием, которым угодно было, вследствие Божией милости, озарить мою душу, - открытием, что можно быть далеко лучше того, чем есть человек, что есть средства и что для любви... Но некстати я заговорил о том, чего еще нет..."

В 1845 г. в письме графу А. П. Толстому Гоголь изложил замысел второго тома М. д.: "Вас удивляет, почему я с таким старанием стараюсь определить всякую должность в России, почему я хочу узнать, в чем ее существо. Говорю вам: мне это нужно для моего сочиненья, для этих самых "Мертвых душ", которые начались мелочами и секретарями и должны кончить делами покрупнее и должностями повыше, и это познание точное и верное должностей в том... в каком они должны у нас в России быть. Мне бы не хотелось дать промаха и погрешить против правды, тем более, характер и люди в остальных двух частях выходят покрупнее обыкновенных и в значительных должностях. Я вас очень благодарю, что вы объяснили должность генерал-губернатора; я только с ваших

слов узнал, в чем она истинно может быть важна и нужна в России. Прежде мне казалось, что и без нее организм управления губернии совершенно полон. Кстати, рассмотрим этот организм, чтобы видеть, так ли точно я его понимаю, как есть. Мне кажется, что он очень умно соображен в частях, соответствует духу земли и обнаруживает в Государыне Екатерине большое понимание потребностей наших..." Очевидно, в тот момент Гоголь уже работал над текстом как второго, так и третьего томов М. д. До нас же дошли промежуточные редакции только второго тома. В его заключительной главе фигурировал генерал-губернатор, попытавшийся вывести Чичикова на чистую воду и едва не пробудивший совесть в покупателе мертвых душ. Однако ловкие чиновники, пришедшие на помощь мошеннику, помогли ему и на этот раз выйти сухим из воды. Следуя заявленной Гоголем логике развития сюжета от секретарей к высшим сферам, в финале третьего тома М. д. должен был возникнуть либо министр, либо сам генерал-губернатор. Но подобный финал в сущности означал тупик. Невозможно было представить себе, что столь высокопоставленное лицо спасовало перед Чичиковым. Это было бы не только абсолютно неприемлемо в цензурном плане, но и, несомненно, противоречило замыслу писателя. Однако и иной финал, с полным раскаянием Чичикова после беседы с министром или царем, звучал бы пародийно. У читателей неизбежно возникал вопрос: может ли государство строиться на одном только благотворном влиянии первого лица на каждого из своих подданных, и особенно тех, которые склонны к неблаговидным поступкам? Если же преображение Чичикова должно было бы свершиться под влиянием одного только внутреннего душевного переворота и в результате общения с такими добрыми и благородными людьми, как откупщик Муртазин, то возникает вопрос, а зачем вообще нужны генерал-губернаторы и цари, если все благое должно свершаться благодаря духовной эволюции каждого члена общества? Вероятно, эти и подобные неразрешимые противоречия при дальнейшем конструировании образов и сюжетных линий привели Гоголя к разочарованию в тексте второго и третьего томов М. д. и сожжению последних редакций.

4 марта н. ст. 1846 г. Гоголь писал А. О. Смирновой из Рима: "И душе, и телу моему следовало выстрадаться. Без этого не будут "Мертвые души" тем, чем им быть должно. Итак, молитесь обо мне, друг, молитесь крепко, дабы вся душа моя обратилась в одни согласно настроенные струны и бряцал бы в них сам дух Божий".

26 июля н. ст. 1846 г. Гоголь писал С. П. Шевыреву из Швальбаха о новом издании М. д.: "...Теперь приступаю к тебе с просьбою моей, весьма убедительной, - напечатать второе издание "Мертвых Душ", в том же самом виде, на такой же бумаге, в той же типографии, в том же числе экземпляров (2400, т. е. два завода) с присовокуплением только предисловия, которое я пришлю потом, когда печатанье будет к концу. Нужно будет его отпечатать в месяц, дабы оно могло явиться в свет никак не позже 15 сентября. Экземпляры разойдутся - это я знаю. После того голоса, который я подам от себя, перед моим отправлением на поклонение к святым местам, их станут раскупать (Гоголь надеялся, что выход "Выбранных мест из переписки с друзьями" поможет продаже "Мертвых душ". - Б. С.). Посылать же на цензурованье к

цензору в Петербург я не думаю, чтобы оказалась надобность, тем более что это фантастическое запрещенье второго издания никогда не существовало; оно образовалось в Москве по старой охоте ее к плетенью всякого рода сплетней. Это можешь объяснить цензору, если бы он оказался малоумен, а не то предстань к Строганову и объясни ему. Если же по причине какой-либо новой бестолковщины оказалось бы так, что нужно посылать в Петербург, то пошли к Никитенке и в то же время письмо Плетневу, чтобы он его поторопил, потому что Никитенко, при всей благосклонности и расположении ко мне, несколько ленив и может замедлить присылкой".

29 октября 1846 г. С. П. Шевырев сообщал Гоголю: "...Если бы вышла теперь вторая половина "Мертвых Душ", то вся Россия бросилась бы на нее с такою жадностью, какой еще никогда не было. Публика устала от жалкого состояния современной литературы. Журналы все запрудили пошлыми переводами пошлых романов и своим неистовым болтаньем... Мы ждем от тебя художественных созданий. Я думаю, что в тебе совершился великий переворот и, может быть, надо было ему совершиться, чтобы поднять вторую часть "Мертвых Душ". О, да когда же ты нам твоим творческим духом раскроешь глубокую тайну того, что так велико и свято и всемирно на Руси нашей. Ты приготовил это исповедью наших недостатков, ты и доверши".

Гоголь просил у друзей материала для второго и третьего томов М. д. Так, 10/22 февраля 1847 г. писал А. О. Смирновой: "Пишите ко мне чаще, и говорю вам нелицемерно, что это будет с вашей стороны истинно христианский подвиг, и если хотите доброе даянье ваше сделать еще существеннее, присоединяйте к концу вашего письма всякий раз какой-нибудь очерк и портрет какого-нибудь из тех лиц, среди которых обращается ваша деятельность, чтобы я по нем мог получить хоть какую-нибудь идею о том сословии, к которому он принадлежит в нынешнем и современном виде. Например: выставьте сегодня заглавие: Городская львица. И, взявши одну из них такую, которая может быть представительницей всех провинциальных львиц, опишите мне ее со всеми ухватками - и как садится, и как говорит, и в каких платьях ходит, и какого рода львам кружит голову, словом - личный портрет во всех подробностях. Потом завтра выставьте заглавие: Непонятная женщина и опишите мне таким же образом непонятную женщину. Потом: Городская добродетельная женщина. Потом: Честный взяточник; потом: Губернский лев. Словом, всякого такого, который вам покажется типом, могущим подать собою верную идею о том сословии, к которому он принадлежит. Вспомните прежнюю вашу веселость и уменье замечать смешные стороны человека, и, вооружась ими, вы сделаете для меня живой портрет, а мысль, что это вы делаете не для праздного пересмеханья, а для добра, одушевит вас охотою рисовать с такими подробностями портреты, с какими бы вы пренебрегли прежде. После вы увидите, если только милость Божия будет сопровождать меня в труде моем, какое христиански-доброе дело можно будет сделать мне, наглядевшись на портреты ваши, и виновницей этого будете вы".

29 октября 1848 г. Гоголь писал графине А. М. Виельгорской: "...Мне хотелось бы сильно, чтобы наши лекции с вами начались 2-м томом "Мертвых душ". После них легче и свободнее было бы душе моей говорить о многом.

Много сторон русской жизни еще доселе не обнаружено ни одним писателем. Хотел бы я, чтобы по прочтении моей книги люди всех партий и мнений сказали: "Он знает, точно, русского человека. Не скрывши ни одного нашего недостатка, он глубже всех почувствовал наше достоинство".

20 ноября 1848 г. Гоголь сообщал П. А. Плетневу: "О себе покуда могу сказать немного: соображаю, думаю и обдумываю второй том "Мертвых душ". Читаю преимущественно то, где слышится сильней присутствие русского духа. Прежде, чем примусь сурьезно за перо, хочу назвучаться русскими звуками и речью. Боюсь нагрешить противу языка".

Но работа двигалась очень медленно. 3 апреля 1849 г. Гоголь жаловался В. А. Жуковскому: "Не могу понять, отчего не пишется и отчего не хочется говорить ни о чем. Может быть, оттого, что не стало наконец ничего любопытного на свете. Нет известий... Та же недвижность и в моих литературных занятиях. Я ничего не издал в свет и ничего не готовлю; что и приуготовляю, то идет медленно и не может никак выйти скоро, и Бог один знает, когда выйдет. Отчего, зачем нашло на меня такое оцепенение, этого не могу понять. Чувствуется только, что не без умысла. Время настало сумасшедшее. Умнейшие люди завираются и набалтывают кучи глупостей, так что едва ли не должен теперь всякий истинный поэт и мыслитель думать прежде всего о воздержании, произнося: "Господи, положи хранение устам моим"".

16 мая 1849 г. в письме В. И. Белому Гоголь разъяснял замысел М. д.: "Под именем добродетельных людей я разумел лучших людей. Тут была с моей стороны неточность выраженья. Намерение мое было показать, как и лучшие люди могут вредить не хуже худших, если не легло в основанье их характеров главное, то, что проще и ближе становит человека к исполненью обязанностей".

5 июня 1849 г. в письме К. М. Базили Гоголь оправдывал задержку работы над вторым томом М. д. общим настроением общества, нарастанием в нем раздоров и разномыслия: "Голова еще не в таком состоянии, чтоб светло заняться делом, но времени не пропускаю, от дела не бегаю и запасаюсь материалами для будущей работы. Теперь нужно быть очень умным и осмотрительным, чтобы быть в состояньи сказать даже и не весьма умное слово. Время беспутное и сумасшедшее. То и дело, что щупаешь собственную голову, не рехнулся ли сам. Делаются такие вещи, что кружится голова, особенно когда видишь, как законные власти сами стараются себя подорвать и подкапываются под собственный свой фундамент. Разномыслие и несогласие во всей силе. Соединяются только проводники разрушения. Где только дело касается созданья и устройства, там раздор, нерешительность, опрометчивость. И до сих пор еще не догадались, что следует призвать Того, Кто один строитель порядка!"

23 ноября 1849 г. по поводу М. д. Гоголю написал отставной поручик К. И. Марков, помещик Лебединского уезда Харьковской губернии: "...Если вы выставите героя добродетели, то роман ваш станет наряду с произведениями старой школы. Не пересолите добродетели. Изобразите нам русского человека, но в каждодневном его быту, а не исключительное лицо..." 24 ноября 1849 г., отвечая К. И. Маркову, Гоголь писал: "Что же касается до II тома "Мертвых душ", то я не имел в виду собственно героя добродетелей. Напротив, почти все

действующие лица могут назваться героями недостатков. Дело только в том, что характеры значительнее прежних и что намеренье автора было войти здесь глубже в высшее значение жизни, нами опошленной, обнаружив видней русского человека не с одной какой-либо стороны". С этой грандиозной задачей Гоголь, увы, не справился. Ни один из героев второго тома М. д., в отличие от героев первого тома, так и не стал нарицательным персонажем. Не владея психологическим методом новейших французских романистов Бальзака, Стендаля и Флобера, Гоголь оказался не в состоянии показать своих героев "не с одной только стороны". Оттого-то так приторно добродетельны Костанжогло и Муртазин, и по-прежнему не внушают симпатий Петух или Самосвитов.

Осенью 1849 г. в письме В. А. Жуковскому Гоголь признавался: "Скотина Чичиков едва добрался до половины своего странствования (вероятно, согласно авторскому замыслу, он должен был завершить его в столицах - Москве и Петербурге. - Б. С.). Может быть, оттого, что русскому герою с русским народом нужно быть несравненно увертливей, нежели греческому с греками (намек на эпический характер М. д., по аналогии с "Одиссеей", перевод которой только что опубликовал Жуковский. - Б. С.). Может быть, и оттого, что автору "Мертвых душ" нужно быть гораздо лучше душой, нежели скотина Чичиков". Гоголь все более утверждался во мнении, что о мерзостях русской жизни должным образом может написать лишь писатель с просветленной Богом душой, своими делами достойный великой миссии создания русской эпопеи, призванной превзойти гомеровские "Илиаду" и "Одиссею".

14 декабря 1849 г. Гоголь писал В. А. Жуковскому: "Творчество мое лениво. Стараюсь не пропустить и минуты времени, не отхожу от стола, не отодвигаю бумаги, не выпускаю пера - но строки лепятся вяло, а время летит невозвратно. Или, в самом деле, 42 года есть для меня старость, или так следует, чтобы мои "Мертвые души" не выходили в это мутное время, когда, не успевши отрезвиться, общество еще находится в чаду и люди еще не пришли в состояние читать книгу как следует, то есть прилично, не держа ее вверх ногами? Здесь всё, и молодежь и стар, до того запуталось в понятиях, что не может само себе дать отчета. Одни в полном невежестве дожевывают европейские уже выплюнутые жеваки. Другие изблевывают свое собственное несваренье. Редкие, очень редкие слышат и ценят то, что в самом деле составляет нашу силу. Можно сказать, что только одна Церковь и есть среди нас еще здоровое тело. Появленье "Одиссеи" было не для настоящего времени. Ее приветствовали уже отходящие люди, радуясь и за себя самих, что еще могут чувствовать вечные красоты Гомера, и за внуков своих, что им есть чтение светлое, не отемняющее головы. Я знаю людей, которые несколько раз сряду прочли "Одиссею" с полной признательностью и глубокой благодарностью к переводчику. Но таких (увы!) немного. Никакое время не было еще так бедно читателями хороших книг, как наступившее. Шевырев пишет рецензию; вероятно, он скажет в ней много хорошего, но никакие рецензии не в силах засадить нынешнее поколение, обмороченное политическими броженьями, за чтение светлое и успокаивающее душу. Временами мне кажется, что II-й том "Мертвых душ" мог бы послужить для русских читателей некоторою ступенью к чтенью Гомера. Временами приходит такое желанье прочесть из них что-нибудь тебе, и кажется, что это

прочтенье освежило бы и подтолкнуло меня - но... Когда это будет? когда мы увидимся?" Гоголь опасался, что второй том М. д. может стать "чтением, отемняющим головы".

21 января 1850 г. Гоголь сообщал П. А. Плетневу: "Конец делу еще не скоро, т. е. разумею конец "Мертвых душ". Все почти главы соображены и даже набросаны, но именно не больше, как набросаны; собственно написанных две-три и только. Я не знаю даже, можно ли творить быстро собственно художническое произведение. Это разве может только один Бог, у Которого всё под рукой: и разум и слово с Ним. А человеку нужно за словом ходить в карман, а разума доискиваться".

29 марта 1850 г. Гоголь писал из Москвы Н. Я. Прокоповичу: "С нового года напали на меня разного рода недуги. Все болею и болею: климат допекает. Куда убежать от него, еще не знаю; пока не решился ни на что. Болезни приостановили мои занятия с "Мертвыми душами", которые пошли было хорошо. Может быть, - болезнь, а может быть, и то, что, как поглядишь, какие глупые настают читатели, какие бестолковые ценители, какое отсутствие вкуса... - просто не подымаются руки. Странное дело, хотя и знаешь, что труд твой не для какой-нибудь переходной современной минуты, а все-таки современное неустройство отнимает для него спокойствие".

6 мая 1850 г. Гоголь из Васильевки писал П. А. Плетневу: "Что второй том "Мертвых душ" умнее первого - это могу сказать как человек, имеющий вкус и притом умеющий смотреть на себя, как на чужого человека... но как рассмотрю весь процесс, как творилось и производилось его созданье, вижу, что умен только Тот, Кто творит и зиждет все, употребляя нас всех вместо кирпичей для стройки по тому фасаду и плану, которого Он один истинно разумный зодчий".

В июле 1850 г. из родной Васильевки Гоголь просил неустановленное высокопоставленное лицо в Петербурге выхлопотать у наследника престола субсидию для того, чтобы он смог проводить три зимних месяца в Греции: "Это не прихоть, но существенная потребность моего слабого здоровья и моих умственных работ. Я пробовал переломить свою природу и, укрепившись пребываньем на юге, приехал было в Россию с тем, чтобы здесь заняться и кончить свое дело, но суровость двух северных зим расстроила снова мое здоровье. Не столько жаль мне самого здоровья, сколько того, что время пропало даром. А, между тем, предмет труда моего не маловажен. В остальных частях "Мертвых душ", над которыми теперь сижу, выступает русский человек уже не мелочными чертами своего характера, не пошлостями и странностями, но всей глубиной своей природы и богатым разнообразьем внутренних сил, в нем заключенных. Если только поможет Бог произвести всё так, как желает душа моя, то, может быть, и я сослужу службу земле своей не меньшую той, какую ей служат все благородные и честные люди на других поприщах... Конечно, я бы мог иметь средства, если бы решился выдать в свет мое сочинение в неготовом и неконченном виде - но на это не решусь никогда. Есть, слава Богу, совесть, которая не позволит мне этого даже и в таком случае, если бы я очутился в последней крайности. Всякому человеку следует выполнить на земле призванье свое добросовестно и честно. Чувствуя, по мере прибавленья годов, что за всякое слово, сказанное здесь, дам ответ там, я должен

подвергнуть мои сочиненья несравненно большему соображенью и осмотрительности, чем сколько делает молодой, не испытанный жизнью писатель. Прежде мне было возможно скорее писать, обдумывать и выдавать в свет, когда дело касалось только того, что достойно осмеянья в русском человеке, только того, что в нем пошло, ничтожно и составляет временную болезнь и наросты на теле, а не самое тело, но теперь, когда дело идет к тому, чтобы выставить наружу всё здоровое и крепкое в нашей природе и выставить его так, чтобы увидали и сознались даже не признающие этого, а те, которые пренебрегли развитие великих сил, данных русскому, устыдились бы, - с таким делом нельзя торопиться. Такая работа не совершается скоро. Много нужно для этого созреть и умом и душой и быть в отдаленьи от всего, возмущающего высокое настроение духа, много нужно тайных молитв, сокровенных сильных слез... словом, много того, чего я не могу объяснить, что и объяснять мне неприлично".

О том же Гоголь писал своему доброму знакомому А. С. Стурдзе 15 сентября 1850 г.: "Ни за что бы я не выехал из Москвы, которую так люблю. Да и вообще Россия всё мне становится ближе и ближе. Кроме свойства родины, есть в ней что-то еще выше родины, точно как бы это та земля, откуда ближе к родине небесной. Но на беду пребыванье в ней зимою вредоносно для моего здоровья. Не столько я хлопочу и грущу о здоровье, сколько о том, что в это время бываю неспособен к работе. Последняя зима в Москве у меня почти пропала вся даром. Между тем вижу, что окончанье сочиненья моего нужно и могло бы принести пользу. Много, много, как сами знаете, есть того, что позабыто, но не должно позабываться, что нужно выставить в живых, говорящих примерах - словом, много того, о чем нужно напоминать нынешнему современному человеку и что принимается ушами многих только тогда, когда скажется в высоком настроении поэтической силы. А сила эта не подымается, когда болезненна голова".

25-26 июля 1851 г. Гоголь писал С. П. Шевыреву насчет второго тома М. д.: "Убедительно прошу тебя не сказывать никому о прочитанном, ни даже называть мелких сцен и лиц героев. Случились истории (очевидно, слухи о содержании прочитанных глав дошли до кого-то, кто заподозрил, что послужил прототипом их персонажей. - Б. С.). Очень рад, что две последние главы кроме тебя, никому неизвестны. Ради Бога, никому". 27 июля 1851 г. Шевырев отвечал Гоголю: "Успокойся. Даже и жене я ни одного имени не назвал, не упомянул ни об одном событии. Только раз при тебе же назвал штабс-капитана Ильина, но и только. Тайна твоя для меня дорога, поверь. С нетерпением жду 7-й и 8-й главы. Ты меня освежил и упоил этим чтением".

Гениальная гоголевская поэма так и не была окончена. Причины этого многие склонны видеть в духовном кризисе, переживавшимся писателем в последние годы жизни, в его обращении к религии. С этим связывали отказ от сатирической направленности творчества и попытку изобразить во втором томе "Мертвых душ" некий положительный идеал русской жизни. Близко знавший Гоголя архимандрит Федор (Бухарев) вспоминал, как в 1848 г., уже после выхода первого тома, спросил писателя, чем же должна кончиться поэма: "Он, задумавшись, выразил свое затруднение высказать это с обстоятельностию. Я

возразил, что мне только нужно знать, оживет ли как следует Павел Иванович? Гоголь, как будто с радостию, подтвердил, что это непременно будет и оживлению его послужит прямым участием сам Царь и первым вздохом Чичикова для истинной прочной жизни должна кончиться поэма... А прочие спутники Чичикова в "Мертвых душах"? - спросил я Гоголя: и они тоже воскреснут? "Если захотят", ответил он с улыбкою..." Есть основания думать, что таков был гоголевский замысел с самого начала.

Вскоре после публикации первого тома "Мертвых душ" Гоголь писал С. Т. Аксакову по поводу читательского восприятия поэмы: "...Еще не раскусили, в чем дело... не узнали важного и главнейшего..." Само имя главного героя Павел подсказывает разгадку дальнейшей судьбы Чичикова. Вспомним ревностного гонителя христиан иудея Савла, признавшего правду новой веры и превратившегося в апостола Павла (отсюда выражение "из Савлов в Павлы"). Подобное же превращение, очевидно, суждено было претерпеть и Павлу Ивановичу Чичикову, если бы Гоголю удалось написать второй том.

А. И. Герцен высоко оценил первый том М. д. в своей книге "О развитии революционных идей в России" (1851): "После "Ревизора" Гоголь обратился к поместному дворянству и вытащил на белый свет это неведомое племя, державшееся за кулисами, вдалеке от дорог и больших городов, сохранившееся в деревенской глуши, - эту Россию дворянчиков, которые втихомолку, уйдя с головой в свое хозяйство, таят развращенность более глубокую, чем западная. Благодаря Гоголю мы видим их наконец за порогом их барских палат, их господских домов; они проходят перед нами без масок, без прикрас, пьяницы и обжоры, угодливые невольники власти и безжалостные тираны своих рабов, пьющие жизнь и кровь народа с той же естественностью и простодушием, с каким ребенок сосет грудь своей матери. "Мертвые души" потрясли всю Россию. Предъявить современной России подобное обвинение было необходимо. Это история болезни, написанная рукой мастера. Поэзия Гоголя - это крик ужаса и стыда, который издает человек, опустившийся под влиянием пошлой жизни, когда он вдруг увидит в зеркале свое оскотинившееся лицо. Но чтобы подобный крик мог вырваться из груди, надобно, чтобы в ней оставалось что-то здоровое, чтобы жила в ней великая сила возрождения. Тот, кто откровенно сознается в своих слабостях и недостатках, чувствует, что они не являются сущностью его натуры, что он не поглощен ими целиком, что есть еще в нем нечто не поддающееся, сопротивляющееся падению, что он может еще искупить прошлое и не только поднять голову, но, как в трагедии Байрона, стать из Сарданапала-неженки Сарданапалом-героем".

В статье "Искусство есть примирение с жизнью", представляющей собой письмо В. А. Жуковскому от 30 декабря 1847 г. (10 января 1848 г.) Гоголь рассказал о зарождении и воплощении замысла первого тома М. д.: "Уже давно занимала меня мысль большого сочиненья, в котором бы предстало всё, что ни есть хорошего и дурного в русском человеке, и обнаружилось бы пред нами видней свойство нашей русской природы. Я видел и обнимал порознь много частей, но план целого никак не мог передо мной выясниться и определиться в такой силе, чтобы я мог уже приняться и начать писать. На всяком шагу я чувствовал, что мне многого недостает, что я не умею еще ни завязывать, ни

развязывать событий, и что мне нужно выучиться постройке больших творений у великих мастеров. Я принялся за них, начиная с нашего любезного Гомера. Уже мне показалось было, что я начинаю кое-что понимать и приобретать даже их приемы и замашки, а способность творить все не возвращалась. От напряженья болела голова. С большими усилиями удалось мне кое-как выпустить в свет первую часть "Мертвых Душ" как бы затем, чтобы увидеть на ней, как я был еще далек от того, к чему стремился". Здесь же Гоголь объяснил, как пришел к необходимости проникнуть в духовный мир героев во второй части поэмы и как понимание их внутренних душевных движений пришло после пережитого им духовного переворота: "После этого вновь нашло на меня безблагодатное состояние. Изгрызалось перо, раздражались нервы и силы - и ничего не выходило. Я думал, что уже способность писать просто отнялась от меня. И вдруг болезни и тяжкие душевные состоянья, оторвавши меня разом от всего и даже от самой мысли об искусстве, обратили к тому, к чему прежде, чем сделался писатель, уже имел я охоту: к наблюденью внутреннему над человеком и над душой человеческой. О, как глубже перед тобой раскрывается это познание, когда начнешь дело с собственной своей души! На этом-то пути поневоле встретишься ближе с тем, который один из всех доселе бывших на земле показал в себе полное познанье души человеческой; божественность которого если бы даже и отвергнул мир, то уж этого последнего свойства никак не в силах отвергнуть, разве только в таком случае, когда сделается уже не слеп, а просто глуп. Этим крутым поворотом, происшедшим не от моей воли, наведен я был заглянуть глубже в душу вообще и узнать, что существуют ее высшие степени и явления. С тех пор способность творить стала пробуждаться; живые образы начинают выходить ясно из мглы; чувствую, что работа пойдет, что даже и язык будет правилен и звучен, а слог окрепнет".

В "Четырех письмах к разным лицам по поводу "Мертвых душ"", включенных в состав "Выбранных мест из переписки с друзьями", Гоголь следующим образом объяснял сожжение второго тома поэмы: "...Так было нужно... Вывести несколько прекрасных характеров, обнаруживающих высокое благородство нашей породы, ни к чему не поведет... Наилучшее дело можно превратить в грязь, если только им похвалишься и похвастаешь. А у нас, еще не сделавши дела, им хвастаются! Хвастаются будущим!"

По мнению М. М. Бахтина, высказанному в статье "Рабле и Гоголь" (1940), "в основе "Мертвых душ" внимательный анализ раскрыл бы формы веселого (карнавального) хождения по преисподней, по стране смерти... Скупка мертвых душ и разные реакции на предложения Чичикова... открывают... свою принадлежность к народным представлениям о связи жизни и смерти, к их карнавализованному осмеянию. Здесь также присутствует элемент карнавальной игры со смертью и границами жизни и смерти (например, в рассуждениях Собакевича о том, что в живых мало проку, страх Коробочки перед мертвецами и поговорка "мертвым телом хоть забор подпирай" и т. д.). Карнавальная игра в столкновении ничтожного и серьезного, страшного; карнавально обыгрываются представления о бесконечности и вечности (бесконечные тяжбы, бесконечные нелепости и т. п.). Так и путешествие Чичикова незавершимо". Категория "карнавала" из-за своей всеобщности

(приложимости к любым фактам культуры) и неопределимости здесь, пожалуй, ни при чем, а вот мысль о принципиальной незавершимости путешествия Чичикова действительно ценна.

И. А. Ильин в своей лекции "Гоголь - великий русский сатирик, романтик, философ жизни" (1944) отмечал, что М. д.: "должны были положить начало развенчиванию пустоты и очищению во всерусском масштабе. Этим объясняется тот факт, что Гоголь стал печальным, когда, мастерски прочитав отдельные главы из поэмы своим друзьям, увидел, что они смеются: ему не смех хотелось вызвать у людей, образумить их хотелось. Здесь замышлялся и зачинался крестовый поход, и этот поход... можно и должно было осуществить во всемирном масштабе. А для этого недостаточно показать ничтожность жизни, надо повернуть ее на путь изобличения, найти и указать дорогу к религиозному очищению. Именно этого хотел Гоголь. Именно поэтому он говорил, что 1-я часть поэмы отражает преисподнюю, во 2-й появится чистилище, а 3-я грезится ему чем-то вроде рая с прекрасными, величественными образами... Иначе, чем в русле христианства, он не думал; решение своей задачи видел только в личностном очищении от всего недостойного в себе. И если мы будем придерживаться этой установки и этой точки зрения, для нас прольется вдруг ярчайший свет на все, что Гоголь писал, говорил и творил, на его психологическую противоречивость и смерть... Но перехода из ада в чистилище у него не получилось, не говоря уже о рае".

Как справедливо заметил Вадим Кожинов в статье "Чаадаев и Гоголь" (1967), "сама афера Чичикова, лежащая в основе фабулы поэмы, никому не приносит зла - ни крестьянам, ни помещикам, ни обществу в целом. Чичиков как бы просто берет деньги "взаймы" у опекунского совета (под несуществующий, ирреальный залог), с тем чтобы, пустив их в оборот, разбогатеть и, разумеется, вернуть "заем" - иначе ведь он пойдет под суд. И эта безобидность его плутни, без сомнения, не случайна; она глубоко соответствует всему духу поэмы". Чичиков использует не слишком благородные, но и нельзя сказать, что совсем уж неблаговидные средства для достижения благого, по его мнению дела - всемерному умножению "копейки". От протестантской этики он, пожалуй, достаточно далек, но в то же время далеко не готов преступить все заповеди. По мысли В. Кожинова, "Философические письма" Чаадаева и М. д. роднит "бесстрашие национальной самокритики (в частности, мысль об еще не пробудившейся для истинного бытия родине), и дерзость пророчества о ее грядущем величии".

По всей вероятности, первоначально Гоголь планировал во втором томе показать обращение Чичикова к христианским ценностям, а в третьем - добрые дела героя, теперь уже не собирающего по Руси фиктивные "мертвые души", а старающегося, наоборот, оживить души людей. Сохранился набросок, где автор уже по-иному смотрит на помещиков, описанных в первом томе: "...От чего это так, что Манилов, по природе добрый, даже благородный, бесплодно прожил в деревне, ни на грош никому не доставил пользы, опошлел, сделался приторным своею добротою, а плут Собакевич, уж вовсе не благородный по духу и чувствам, однакож не разорил мужиков, не допустил их быть ни пьяницами, ни праздношатайками. И отчего коллежская регистраторша Коробочка, не

читавшая и книг никаких, кроме Часослова, да и то еще с грехом пополам, не выучилась никаким изящным искусствам, кроме разве гадания на картах, умела, однакож, наполнить рублевиками сундучки и коробочки и сделать это так, что порядок, какой он там себе ни был, на деревне все-таки уцелел: души в ломбард не заложены..." Теперь Гоголь пытался увидеть какие-то положительные черты в "мертвых душах" и даже придумать идеальных помещиков, вроде появляющегося во втором томе Костанжогло, всецело озабоченного благом своих крепостных. Однако в реальной русской жизни таких типов писатель не встречал. Он сознавал нехудожественность, искусственность эпизодов, призванных показать Русь с иной, чем в первом томе, положительной стороны. Потому-то так мучительно трудно и долго работал над вторым томом поэмы. Можно было бы пойти и по другому пути: постараться убедительно показать происшедший с Чичиковым душевный перелом. Однако тут требовалось подробно изобразить внутренний мир героя, психологически мотивировать изменение его взгляда на окружающую действительность и соответствующие поступки. Средствами для решения этой задачи обладала существовавшая уже во времена Гоголя реалистическая литература. Во Франции в те годы звучали имена Стендаля и Бальзака, а за год до издания М. д., в 1841 г., появился и первый русский реалистический роман - "Герой нашего времени" Лермонтова. Но беда была в том, что реалистическим (психологическим) методом Гоголь так и не овладел. Внутренние переживания своих героев он передавал только через внешность и поступки. Потому-то столь старательно перечислял все доброе, что было сделано Коробочкой или Собакевичем. Однако подобным образом охарактеризовать перемену, которая должна была произойти с Чичиковым, оказалось невозможно. И до третьего тома М. д. Гоголю не суждено было дойти. Его герой не успел ни переродиться, ни наделать добрых дел, долженствующих с лихвой перекрыть ущерб от предыдущих мошенничеств. Гоголь мечтал создать гармоничную трилогию. В первой части порок торжествует, во второй - перерождается в добродетель, в третьей - творит добрые дела. Однако если для первого тома М. д. русская жизнь давала материал в изобилии, то уже во втором писателю приходилось полагаться исключительно на полет собственной фантазии. Жулики почему-то не хотели превращаться в борцов за справедливость, помещики - жить для блага своих крепостных, чиновники - возвращать полученные взятки и публично каяться в свершении должностных преступлений. Дело ограничилось частичным крахом чичиковской аферы с мертвыми душами в финале первого тома. Идеологическая задача писателя - показать привлекательные стороны российской действительности и превращение дурного человека в хорошего - оказалось в неразрешимом противоречии как с правдой жизни, так и с творческими возможностями самого Гоголя. Гоголь в М. д. дает широкую панораму жизни трех главнейших сословий современной ему России - крестьянского, помещичьего и чиновничьего. Еще В. Г. Белинский утверждал: "Истинная критика "Мертвых душ"... должна раскрыть пафос поэмы, который состоит в противоречии общественных форм русской жизни с ее глубоким субстанциальным началом, доселе еще таинственным, доселе еще не открывшимся собственному сознанию и неуловимым ни для какого определения... Тем-то и велико создание "Мертвые

души", что в нем сокрыта и разанатомирована жизнь до мелочей и мелочам этим придано общее значение". Народная, помещичья и чиновничья стихия в гоголевской поэме как раз и выступает внешним выражением "субстанциального начала" русской жизни. Отдельные мелкие эпизоды, комические подробности, карикатурные портреты помогают понять "русский дух", то исконно русское, плохое и хорошее, но в первую очередь плохое, что отличает русского человека от любого другого. Сам Гоголь в предисловии ко второму изданию М. д. прямо просил помощи читателей, "в каком бы звании" они ни находились, просил поправить его: "В книге... изображен человек, взятый из нашего же государства. Ездит он по нашей Русской земле, встречается с людьми всяких сословий, от благородных до простых. Взят он больше затем, чтобы показать недостатки и пороки русского человека, а не его достоинства и добродетели, и все люди, которые окружают его, взяты также затем, чтобы показать наши слабости и недостатки; лучшие люди и характеры будут в других частях. В книге этой многое описано неверно, не так, как есть и как действительно происходит в Русской земле, потому что я не мог узнать всего: мало жизни человека на то, чтобы узнать одному и сотую часть того, что делается в нашей земле... Как бы, например, хорошо было, если бы хотя один из тех, которые богаты опытом и познанием жизни, и знают круг тех, которые богаты опытом и познанием жизни и знают круг тех людей, которые мною описаны, сделал свои заметки сплошь на всю книгу, не пропуская ни одного листа ее, и принялся бы читать ее не иначе, как взявши в руки перо и положивши перед собою лист почтовой бумаги, и после прочтенья нескольких страниц припомнил бы себе всю жизнь свою и всех людей, с которыми встречался, и все происшествия, случившиеся перед его глазами, и все, что видел сам или что слышал от других подобного тому, что изображено в моей книге, или же противоположного тому, все бы это описал в таком точно виде, в каком оно предстало его памяти, и посылал бы ко мне всякий лист по мере того, как он испишется, покуда таким образом не прочтется им вся книга". Писатель здесь явно уподобился своему герою Манилову в скучнейших прекраснодушных рассуждениях. Редкий читатель одолел предисловие к М. д., в том числе и длиннейшее предложение с просьбой присылать замечания и жизненные исповеди. Писем с подобными исповедями, как и следовало ожидать, Гоголь так и не получил. Даже наиболее близкий ему человек в последние годы, православный священник М. А. Константиновский, которого Гоголь попросил прочесть главы второго тома М. д., сделал это без большой охоты и оценил их весьма критически. Отец Матвей вспоминал, что "в одной или двух тетрадях был описан священник. Это был живой человек, которого всякий узнал бы, и прибавлены такие черты, которых... во мне нет... Я воспротивился опубликованию этих тетрадей, даже просил уничтожить. В другой из тетрадей были наброски... только наброски какого-то губернатора, каких не бывает. Я советовал не публиковать и эту тетрадь, сказавши, что осмеют за нее даже больше, чем за переписку с друзьями". Не удалось и толком "проездиться по Руси", мечту о чем Гоголь обнародовал в "Выбранных местах из переписки с друзьями", не удалось найти в России "лучших людей". Это стало одной из причин, почему не был написан второй том М. д.. Гоголь

опирался на собственные наблюдения, на рассказы друзей, и в результате создал удивительно достоверную картину, запечатлевшую едва ли не все русские сословия. Писатель более или менее хорошо знал только быт петербургских чиновников и малороссийских помещиков, но вот уже полтора столетия почти вся читающая Россия воспринимает гоголевские типы как реальные типы помещиков и чиновников, крестьян и купцов той эпохи. Именно последних два сословия Гоголь считал народом. И не избежал, конечно, свойственного русской интеллигенции народолюбия. Однако превыше всего автор М. д. ставил задачи национальной самокритики. И крестьяне, и купцы в поэме выведены отнюдь не как образец добродетели. Вспомним, как сольвычегодские купцы после дружеской пирушки "на русскую ногу с немецкими затеями: аршадами, пуншами, бальзамами и проч." "уходили насмерть устьсысольских, хотя и от них понесли крепкую ссадку на бока, под микитки и в подсочельник, свидетельствовавшую о непомерной величине кулаков, которыми были снабжены покойники". Подстать купцам и крестьяне, которые "снесли с лица земли... земскую полицию в лице заседателя, какого-то Дробяжкина" за то только, что "земская полиция был-де блудлив, как кошка" и имел "кое-какие слабости со стороны сердечной, приглядывался на баб и деревенских девок". Словом, полное подтверждение пушкинского "не приведи Господи видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный" и широко распространенного мнения, что русский человек во хмелю страшен. Что уж тут говорить о помещиках, каждый из которых - воплощение какого-нибудь порока. Так, Плюшкин олицетворяет скупость, Собакевич - стяжательство, Ноздрев - мотовство и лживость. Однако Гоголь видит и положительные свойства своих героев. Да, русский мужик бывает буен и бестолков (последним качеством с избытком наделены чичиковские слуги Селифан и Петрушка, в остальном - довольно симпатичные). Но вместе с тем писатель не отказывает русскому народу в способности остро и верно оценивать своих господ, в широте и органичности восприятия окружающего мира. Взять хотя бы знаменитое лирическое отступление: "Выражается сильно российский народ! и если наградит кого словцом, то пойдет оно ему в род и потомство, утащит он его с собою и на службу, и в отставку, и в Петербург, и на край света. И как уж потом ни хитри и ни облагораживай свое прозвище, хоть заставь пишущих людишек выводить его за наемную плату от древнекняжеского рода, ничто не поможет: каркнет само за себя прозвище во все свое воронье горло и скажет ясно, откуда вылетела птица. Произнесенное метко, все равно что писанное, не вырубливается топором. А уж куды бывает метко все то, что вышло из глубины Руси, где нет ни немецких, ни чухонских, ни всяких иных племен, а всё сам-самородок, живой и бойкий русский ум, что не лезет за словом в карман, не высиживает его, как наседка цыплят, а влепливает сразу, как пашпорт на вечную носку, и нечего прибавлять уже потом, какой у тебя нос или губы, - одной чертой обрисован ты с ног до головы!" Даже в помещиках видит Гоголь черты, могущие способствовать их духовному возрождению. К достоинствам Коробочки он относил, например, поддержание в деревне порядка и строительство там церкви. Помещикам Гоголь противопоставлял столичных жителей, среди которых "даже и генералы по чину, образованные и начитанные,

и тонкого вкуса и примерно человеколюбивые, беспрестанно заводящие всякие филантропические заведения, требуют, однакож, от своих управителей всё денег, не принимая никаких извинений, что голод и неурожай, - и все крестьяне заложены в ломбард и перезаложены, и во все магазины до единого и всем ростовщикам до последнего в городе должны". Характерно, что в отличие от помещиков, которые представлены индивидуальными портретами и каждому из которых посвящена отдельная глава, чиновники в романе представлены по большей части вместе, единой массой, как правило, в застолье. Пороки помещиков индивидуальны. У чиновников же пороки общи. Это - страсть к приобретательству, удовлетворению прихоти собственных жен и любовниц, а отсюда - взяточничество и казнокрадство. Кому Гоголь отказывал в каких-либо положительных началах, так это чиновникам. Неслучайно Собакевич утверждает, что все они как один мошенники, а единственный порядочный среди чиновников прокурор - "да и тот, если сказать правду, свинья". Бюрократию писатель считал иноземным порождением, способным принести на Руси только вред. Вообще, почти все вредные черты русского характера он связывал с иностранным влиянием. Даже пьяная драка между купцами со смертоубийством произошла в поэме потому, что на пирушке в изобилии были не русские, а немецкие горячительные напитки. И те же чиновники за взятку охотно покрыли убийц как земского заседателя Дробяжкина, так и устьсысольских купцов. Гоголь меньше всего верил в возможность нравственного возрождения чиновничьей братии. Правда, он тешил себя иллюзией, что взятки берут лишь чиновники низшего и среднего звена, тогда как высшие, на уровне генерал-губернатора, в большинстве своем неподкупны. Согласно гоголевскому замыслу, переменам к лучшему в Чичикове должны были способствовать встречи с генерал-губернатором, а потом и с самим царем. Гоголь даже написал главу, где изобразил какого-то идеального генерал-губернатора. Однако отец Матвей справедливо заметил, что таких "голубых" генерал-губернаторов в жизни не бывает, на что непременно обратят внимание и будущие читатели второго тома "Мертвых душ". Гоголь главу уничтожил. Так и не удалось ему отыскать в России настоящих "лучших людей", а особенно "лучших" чиновников. Ко всем российским сословиям Гоголь относился, как мы уже убедились, весьма критически, но подлинными паразитами считал даже не крепостников-помещиков, а лихоимцев-чиновников. Характерно, что единственное положительное качество, найденное писателем у губернатора, звучит совсем пародийно: он неплохо вышивает по тюлю. Неудивительно, что в губернии с таким губернатором Чичиков собирает богатый урожай мертвых душ.

Интересно, что в эпизоде с земским заседателем Дробяжкиным, возможно, отразилась печальная судьба отца Федора Михайловича Достоевского (1821-1881) Михаила Андреевича Достоевского, служившего земским заседателем и слывшего большим любителем "зеленого змия" и молоденьких горничных. По наиболее распространенной версии, он погиб в дороге от рук крепостных, отомстивших ему за совращение юных девушек. По официальному же заключению, М. А. Достоевский умер от апоплексического удара. Весть о смерти отца стала причиной первого эпилептического припадка у Ф. М.

Достоевского. Неудивительно, что он не простил Гоголю карикатуры на отца, и сам очень зло спародировал автора М. д. и "Выбранных мест из переписки с друзьями" в образе Фомы Фомича Опискина в повести "Село Степанчиково и его обитатели" (1859). Опискин, в частности, распускает слухи о феноменальном сластолюбии полковника Ростанева, одним из прототипов которого послужил М. А. Достоевский, и требует изгнания из дома гувернантки Насти, в которую влюблен полковник. Опискин уверяет, что видел Ростанева с Настей "в саду, под кустами", за что сам подвергается позорному выдворению вон из имения.

М. д. воспринимаются читателями прежде всего как произведение сатирическое. Между тем, сам автор даже не считал его таковым. 25 июля 1845 г. Гоголь писал своей хорошей знакомой А. О. Смирновой: "Вовсе не губерния и не несколько уродливых помещиков, и не то, что им приписывают, есть предмет "Мертвых душ". Это пока еще тайна, которая должна была вдруг, к изумлению всех (ибо ни одна душа из читателей не догадалась), раскрыться в последующих томах... Повторяю вам вновь, что это тайна, и ключ от нее покаместь в душе у одного только автора". Позднее он писал в "Авторской исповеди" о работе над вторым томом М. д.: "Я видел ясно, как дважды два четыре, что прежде, покамест не определю себе самому определительно, ясно высокое и низкое русской природы нашей, достоинства и недостатки наши, мне нельзя приступить; а чтобы определить себе русскую природу, следует узнать получше природу человека вообще и душу человека вообще..." Через постижение загадки русской души писатель стремился к постижению России. В предисловии ко второму изданию поэмы он признавался читателям: "Я не могу выдать последних томов моего сочинения по тех пор, покуда сколько-нибудь не узнаю русскую жизнь со всех ее сторон, хотя в такой мере, в какой мне нужно ее знать для моего сочинения".

2 декабря н. ст. 1847 г. Гоголь из Неаполя писал С.П. Шевыреву: "...На замечанье твое, что "Мертвые Души" разойдутся вдруг, если явится второй том, и что все его ждут, скажу то, что это совершенная правда; но дело в том, что написать второй том совсем не безделицы. Если ж иным кажется это дело довольно легким, то, пожалуй, пусть соберутся, да и напишут его сами, совокупясь вместе; а я посмотрю, что из этого выйдет. Мне нужно будет очень много посмотреть в России самолично вещей, прежде чем приступить ко второму тому. Теперь уже стыдно будет дать промах. Ты видишь (или, по крайней мере, должен видеть более прочих), что предмет не безделица и что беда, не будучи вполне готовым и состроившимся, приняться за это дело. Сделавши это дело хорошо, можно принести им большую пользу; сделавши же дурно, можно принести вред. Если и нынешняя моя книга, "Переписка" (по мнению даже неглупых людей и приятелей моих), способна распространить ложь и безнравственность и имеет свойство увлечь, то сам посуди, во сколько раз больше я могу увлечь и распространить ложь, если выступлю на сцену с моими живыми образами. Тут ведь я буду посильнее, чем в "Переписке". Там можно было разбить меня в пух и Павлову и барону Розену, а здесь вряд ли и Павловым, и всяким прочим литературным рыцарям и наездникам будет под силу со мной потягаться. Словом, на все эти ребяческие ожидания и требования

2 тома глядеть нечего. Ведь мне же никто не хотел помочь в этом самом деле, которого ждет! Я не могу ни от кого добиться записок его жизни! Записки современника, или лучше, воспоминания прежней жизни, с окруженьем всех лиц, с которыми была в соприкосновении его жизнь, для меня вещь бесценная. Если б мне удалось прочесть биографию хотя двух человек, начиная с 1812 года и до сих пор, т. е. до текущего года, мне бы объяснились многие пункты, меня затрудняющие".

Как писал в 1852 г. вскоре после смерти Гоголя в журнале "Современник" И. С. Тургенев, в том, что Гоголь М. д. назвал поэмой, а не романом, "лежит глубокий смысл. "Мертвые души" действительно поэма - пожалуй, эпическая..." Здесь же Тургенев заметил, что для таких людей, как Гоголь, "эстетические законы не писаны".

Во втором томе Гоголь собирался говорить преимущественно о положительных основах русской жизни, чтобы тем самым в значительной мере компенсировать сложившееся у читателей мрачное впечатление от уродливых типов Ноздрева, Плюшкина, Собакевича, губернских чиновников и прочих, преобладающих в первом томе поэмы. Сатира-то в "Мертвых душах", безусловно, присутствует, но далеко не исчерпывает содержание этого великого произведения. И в первом томе, несмотря на ощутимое преобладание "уродливых" помещиков и чиновников, присутствует вера Гоголя в добрые начала русской души. Она проявляется в так называемых лирических отступлениях, самое знаменитое из которых - о "птице тройке": "Чичиков только улыбался, слегка подлетывая на своей кожаной подушке, ибо любил быструю езду. И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: "черт побери все!" его ли душе не любить ее? Ее ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит: летят версты, летят навстречу купцы на облучках своих кибиток, летит с обеих сторон лес с темными строями елей и сосен, с топорным стуком и вороньим криком, летит вся дорога невесть куда в пропадающую даль, и что-то страшное заключено в сем быстром мельканье, где не успевает означиться пропадающий предмет, - только небо над головою, да легкие тучи, да продирающийся месяц одни кажутся недвижны. Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не зарябит тебе в очи. И не хитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро живьем с одним топором да долотом снарядил и собрал тебя ярославский расторопный мужик. Не в немецких ботфортах ямщик: борода да рукавицы, и сидит черт знает на чем; а привстал, да замахнулся, да затянул песню - кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг, только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход - и вот она понеслась, понеслась, понеслась!.. И вон уже видно вдали, как то-то пылит и сверлит воздух. Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это

наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная Богом!.. Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земле, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства". Кажется, будто Гоголь забыл, кто именно сидит в бричке, которую несет "птица тройка". Читатель-то помнит, что сидит в ней мошенник и приобретатель Чичиков, отнюдь не лучший представитель русского народа. Однако, ведь и он, как отмечает автор, любит быструю езду. Значит, и Павлу Ивановичу в какой-то мере присущи русская удаль и размах, значит и он не в "немецкие ботфорты" одет и имеет шанс очиститься от скверны и возродиться к новой жизни. Уподобляя "птице тройке" саму Русь, Гоголь верил в ее великое настоящее и будущее, верил, что другие народы и государства еще вынуждены будут потесниться, чтобы дать дорогу русской тройке. Сатира в гоголевской поэме призвана играть роль некой критической экспозиции к будущей возвышенной картине русской души, которая и в экспозиции прорывается порой в авторских лирических отступлениях. Однако писателю так и не суждено было реализовать до конца свой грандиозный замысел.

Многие эпизоды второго тома М. д. были навеяны беседами Гоголя с М. С. Щепкиным. Так, по свидетельству фольклориста и этнографа А. Н. Афанасьева: "Рассказ... "Полюби нас черненькими, беленькими нас всякий полюбит" сообщен Гоголю Щепкиным и есть действительно случившееся происшествие, и, по моему мнению, рассказ этот в устах Щепкина имел несравненно больше живости, чем в поэме Гоголя. По словам Щепкина, для характера Хлобуева послужила Гоголю образцом личность П. В. Нащокина; а разнообразные присутственные места, упоминаемые при описании имения Кашкарева, действительно существовали некогда в малороссийском поместье гр. Кочубея".

На вопрос Т. И. Филиппова о. М. А. Константиновскому, правда ли, что именно он при встрече в начале февраля 1852 г. посоветовал Гоголю сжечь второй том М. д., о. Матвей ответил отрицательно: "Неправда и неправда... Гоголь имел обыкновение сожигать свои неудавшиеся произведения и потом снова восстанавлять их в лучшем виде. Да едва ли у него был готов второй том: по крайней мере, я не видал его. Дело было так: Гоголь показал мне несколько разрозненных тетрадей с надписями: глава; как обыкновенно писал он главами. Помню, на некоторых было надписано: глава I, II, III, потом должно быть VII, а другие были без означения; просил меня прочитать и высказать свое суждение. Я отказывался, говоря, что я не ценитель светских произведений, но он настоятельно просил, и я взял и прочитал. Но в этих произведениях был не прежний Гоголь. Возвращая тетради, я воспротивился опубликованию некоторых из них. В одной или двух тетрадях был описан священник. Это был живой человек, которого всякий узнал бы, и прибавлены такие черты, которых... во мне нет, да к тому же еще с католическими оттенками, и выходил не вполне

православный священник. Я воспротивился опубликованию этих тетрадей, даже просил уничтожить. В другой из тетрадей были наброски... только наброски какого-то губернатора, каких не бывает. Я советовал не публиковать и эту тетрадь, сказавши, что осмеют за нее даже больше, чем за "Переписку с друзьями"..." - "Говорят даже, что Гоголь сжег свои творения потому, что считал их греховными?" - "Едва ли, - в недоумении сказал о. Матвей, - едва ли. Он как будто в первый раз слышал такое предположение. - Гоголь сожег, но не все тетради сожег, какие были под руками, и сожег потому, что считал их слабыми".

Об обстоятельствах сожжения второго тома М. д. Д. А. Оболенский рассказывал А.В. Никитенко: "Гоголь кончил "Мертвые души" за границей - и сжег их. Потом опять написал и на этот раз остался доволен своим трудом. Но в Москве стало посещать его религиозное исступление, и тогда в нем бродила мысль сжечь и эту рукопись. Однажды приходит к нему граф А. П. Толстой, с которым он был постоянно в дружбе. Гоголь сказал ему: "Пожалуйста, возьми эти тетради и спрячь их. На меня находят часы, когда все это хочется сжечь. Но мне самому было бы жаль. Тут, кажется, есть кое-что хорошего". Граф Толстой из ложной деликатности не согласился. Он знал, что Гоголь предается мрачным мыслям о смерти и т. п., и ему не хотелось исполнением просьбы его как бы подтвердить его ипохондрические опасения. Спустя дни три граф опять пришел к Гоголю и застал его грустным. "А вот, - сказал ему Гоголь, - ведь лукавый меня таки попутал: я сжег "Мертвые души"". Он не раз говорил, что ему представлялось какое-то видение. Дня за три до кончины он был уверен в своей скорой смерти".

Несколько иначе об обстоятельствах сожжения второго тома М. д. вспоминает М. П. Погодин: "В воскресенье (10 февраля 1852 г. - Б. С.), перед постом, он призвал к себе одного из друзей своих (А. П. Толстого. Б. С.) и, как бы готовясь к смерти, поручал ему отдать некоторые свои сочинения в распоряжение духовной особы (митрополита Филарета. - Б. С.), им уважаемой, а другие напечатать. Тот старался ободрить его упавший дух и отклонить от него всякую мысль о смерти. Ночью, во вторник (12 февраля. Б. С.), он долго молился один в своей комнате. В три часа призвал своего мальчика и спросил его: тепло ли в другой половине его покоев. "Свежо", отвечал тот. - "Дай мне плащ, пойдем: мне нужно там распорядиться". И он пошел, с свечкой в руках, крестясь во всякой комнате, через которою проходил. Пришед, велел открыть трубу, как можно тише, чтоб никого не разбудить, и потом подать из шкафа портфель. Когда портфель был принесен, он вынул оттуда связку тетрадей, перевязанных тесемкой, положил ее в печь и зажег свечой из своих рук. Мальчик, догадавшись, упал перед ним на колени и сказал: "барин, что вы это, перестаньте!" - "Не твое дело, - отвечал он, молись". Мальчик начал плакать и просить его. Между тем огонь погасал, после того как обгорели углы у тетрадей. Гоголь заметил это, вынул связку из печки, развязал тесемку, и уложив листы так, чтоб легче было приняться огню, зажег опять, и сел на стуле перед огнем, ожидая, пока все сгорит и истлеет. Тогда он, перекрестясь, воротился в прежнюю свою комнату, поцеловал мальчика, лег на диван и заплакал. "Иное надо было сжечь, сказал он, подумав, - а за другое помолились бы за меня Богу; но, Бог даст, выздоровею, и всё поправлю". Поутру он сказал графу Александру

Петровичу Толстому: "Вообразите, как силен злой дух! Я хотел сжечь бумаги, давно уже на то определенные, а сжег главы Мертвых Душ, которые хотел оставить друзьям на память после своей смерти". Вот что до сих пор известно о погибели неоцененного нашего сокровища".

По мнению К. В. Мочульского, "в трагическую ночь на 12 февраля в душе Гоголя свершилась последняя борьба с дьяволом. Дьявол "раздул до чудовищной преувеличенности", до "страшных призраков" его сомнения в пользе своего литературного наследия. Он подсунул ему тетрадки, перевязанные тесемкой, он заставил его бросить их в огонь". По его мнению, "автор "Мертвых душ" шел к Богу не путем любви, а путем страха. Он видел в Нем грозного карателя и боялся вечного наказания. Но после религиозного кризиса, на конце жизненного пути он пришел ко Христу - Искупителю".

По свидетельству А. О. Смирновой, "Гоголь смотрел на "Мертвые души", как на что-то, что лежало вне его, где должен был раскрыть тайны, ему заповеданные. - "Когда я пишу, очи мои раскрываются неестественною ясностью. А если я прочитаю написанное еще не оконченным, кому бы то ни было, ясность уходит с глаз моих. Я это испытывал много раз. Я уверен, когда сослужу свою службу и окончу, на что я призван, то умру. А если выпущу на свет несозревшее или поделюсь малым, мною совершаемым, то умру раньше, нежели выполню, на что я призван в свет". В этом, вероятно, лежит разгадка смерти Гоголя. "Поделившись малым из несозревшего", прочтя главы второго тома М. д. М. А. Константиновскому и получив от него резко критический отзыв, писатель уверился, что нарушил данный свыше завет и теперь должен умереть.

Единоутробный брат А. О. Смирновой Леонид Иванович Арнольди (1822-1860) описал чтение Гоголем второго тома М. д. летом 1851 г. в доме Смирновых в Калуге: "...Через неделю с небольшим, после нашего приезда в Калугу в одно утро я захотел войти к сестре моей в кабинет; но мне сказали, что там Гоголь читает свои сочинения и что сестра просила, по желанию Гоголя, никого не впускать к ней. Постояв у дверей, я действительно услыхал чтение Гоголя. Оно продолжалось до обеда. Вечером сестра рассказывала мне, что Гоголь прочел ей несколько глав из второго тома "Мертвых Душ" и что всё им прочитанное было превосходно. Я, разумеется, просил ее уговорить Гоголя допустить и меня к слушанию: он сейчас же согласился, и на другой день мы собрались для этого в одиннадцать часов утра на балконе, уставленном цветами. Сестра села за пяльцы, я покойно поместился в кресле против Гоголя, и он начал читать нам сначала ту первую главу второго тома, которая вышла в свет после его смерти уже. Сколько мне помнится, она начиналась иначе и, вообще, была лучше обработана, хотя содержание было то же. Хохотом генерала Бетрищева оканчивалась эта глава, а за нею следовала другая, в которой описан весь день в генеральском доме. Чичиков остался обедать. К столу явились кроме Уленьки еще два лица: англичанка, исправлявшая при ней должность гувернантки, и какой-то испанец или португалец, проживавший у Бетрищева в деревне с незапамятных времен и неизвестно для какой надобности. Первая была девица средних лет, существо бесцветное, некрасивой наружности, с большим тонким носом и необыкновенно быстрыми глазами. Она держалась прямо, молчала по

целым дням и только беспрерывно вертела глазами в разные стороны с глупо-вопросительным взглядом. Португалец, сколько я помню, назывался Экспантон, Эситендон (еще один вариант. - Эспартерон. - Б. С.) или что-то в этом роде, но помню твердо, что вся дворня генерала называла его просто - Эскадрон. Он тоже постоянно молчал, но после обеда должен был играть с генералом в шахматы. За обедом не произошло ничего необыкновенного. Генерал был весел и шутил с Чичиковым, который ел с большим аппетитом; Уленька была задумчива, и лицо ее оживлялось только тогда, когда упоминали о Тентетникове. После обеда генерал сел играть с испанцем в шахматы и, подвигая шашки вперед, беспрерывно повторял: "полюби нас беленькими..." "Черненькими, ваше превосходительство", - перебивал его Чичиков. "Да, - повторял генерал, полюби нас черненькими, а беленькими нас сам Господь Бог полюбит". Через пять минут он опять ошибался и начинал опять: "Полюби нас беленькими", и опять Чичиков поравлял его, и опять генерал, смеясь, повторял: "Полюби нас черненькими, а беленькими нас сам Господь Бог полюбит". После нескольких партий с испанцем генерал предложил Чичикову сыграть одну или две партии, и тут Чичиков выказал необыкновенную ловкость. Он играл очень хорошо, затруднял генерала своими ходами и кончил тем, что проиграл; генерал был очень доволен тем, что победил такого сильного игрока, и еще более полюбил за это Чичикова. Прощаясь с ним, он просил его возвратиться скорее и привести с собою Тентетникова. Приехав к Тентетникову в деревню, Чичиков рассказывает ему, как грустна Уленька, как жалеет генерал, что его не видит, что генерал совершенно раскаивается и, чтобы кончить недоразумение, намерен сам первый к нему приехать с визитом и просить у него прощения. Все это Чичиков выдумал. Но Тентетников, влюбленный в Уленьку, разумеется, радуется предлогу и говорит, что если все это так, то он не допустит генерала до этого, а сам завтра же готов ехать, чтобы предупредить его визит. Чичиков это одобряет, и они условливаются ехать вместе на другой день к генералу Бетрищеву. Вечером того же дня Чичиков признается Тентетникову, что соврал, рассказав Бетрищеву, что будто бы Тентетников пишет историю о генералах. Тот не понимает, зачем это Чичиков выдумал, и не знает, что ему делать, если генерал заговорит с ним об этой истории. Чичиков объясняет, что и сам не знает, как это у него сорвалось с языка; но что дело уже сделано, а потому убедительно просит его, ежели он уже не намерен лгать, то чтобы ничего не говорил, а только бы не отказывался решительно от этой истории, чтоб его не скомпрометировать перед генералом. За этим следует поездка их в деревню генерала; встреча Тентетникова и Бетрищева с Уленькой и наконец обед. Описание этого обеда, по моему мнению, было лучшее место второго тома. Генерал сидел посредине, по правую его руку Тентетников, по левую Чичиков, подле Чичикова Уленька, подле Тентетникова испанец, а между испанцем и Уленькой англичанка; все казались довольны и веселы. Генерал был доволен, что помирился с Тентетниковым и что мог поболтать с человеком, который пишет историю отечественных генералов; Тентетников тем, что почти против него сидела Уленька, с которою он по временам встречался взглядами; Уленька была счастлива тем, что тот, кого она любила, опять с ними и что отец опять с ним в хороших отношениях, и наконец Чичиков был доволен своим положением

примирителя в этой знатной и богатой семье. Англичанка свободно вращала глазами, испанец глядел в тарелку и поднимал свои глаза только тогда, как вносили новое блюдо. Приметив лучший кусок, он не спускал с него глаз все время, покуда блюдо обходило кругом стола или покуда лакомый кусок не попадал к кому-нибудь на тарелку. После второго блюда генерал заговорил с Тентетниковым о его сочинении и коснулся 12-го года. Чичиков струхнул и со вниманием ждал ответа. Тентетников ловко вывернулся. Он отвечал, что не его дело писать историю кампании, отдельных сражений и отдельных личностей, игравших роль в этой войне, что не этими геройскими подвигами замечателен 12-й год, что много было историков этого времени и без него; но что надобно взглянуть на эту эпоху с другой стороны: важно, по его мнению, то, что весь народ встал, как один человек, в защиту отечества; что все расчеты, интриги и страсти умолкли на это время; важно, как все сословия соединились в одном чувстве любви к отечеству, как каждый спешил отдать последнее свое достояние и жертвовал всем для спасения общего дела; вот что важно в этой войне, и вот что желал он описать в одной яркой картине, со всеми подробностями этих невидимых подвигов и высоких, но тайных жертв! Тентетников говорил довольно долго и с увлечением, весь проникнулся в эту минуту чувством любви к России. Бетрищев слушал его с восторгом, и в первый раз такое живое, теплое слово коснулось его слуха. Слеза, как бриллиант чистейшей воды, повисла на седых усах. Генерал был прекрасен; а Уленька? Она вся впилась глазами в Тентетникова, она, казалось, ловила с жадностью каждое его слово, она, как музыкой, упивалась его речами, она любила его, она гордилась им! Испанец еще более потупился в тарелку, англичанка с глупым видом оглядывала всех, ничего не понимая. Когда Тентетников кончил, водворилась тишина, все были взволнованы... Чичиков, желая поместить и свое слово, первый прервал молчание: "Да, - сказал он, - страшные холода были в 12-м году!" - "Не о холодах тут речь", заметил генерал, взглянув на него строго (Гоголь явно не склонен был приписывать главную честь победы над "Великой армией двунадесяти языков" "генералу Морозу", как делал это сам Наполеон и многие французские историки, а выдвигал на первое место солидарность всех сословий русского народа. - Б. С.). Чичиков сконфузился. Генерал протянул руку Тентетникову и дружески благодарил его, но Тентетников был совершенно счастлив тем уже, что в глазах Уленьки прочел себе одобрение. История о генералах была забыта. День прошел тихо и приятно для всех. После этого я не помню порядка, в котором следовали главы; помню, что после этого дня Уленька решилась говорить с отцом своим серьезно о Тентетникове. Перед этим решительным разговором, вечером, она ходила на могилу матери, и в молитве искала подкрепления своей решимости. После молитвы вошла она к отцу в кабинет, стала перед ним на колени и просила его согласия и благословения на брак с Тентетниковым. Генерал долго колебался и наконец согласился. Был призван Тентетников, и ему объявили о согласии генерала. Это было через несколько дней после мировой. Получив согласие, Тентетников вне себя от счастия, оставил на минуту Уленьку и выбежал в сад. Ему нужно было остаться одному, с самим собою: счастье его душило!.. Тут у Гоголя были две чудные лирические страницы. В жаркий летний день, в самый полдень, Тентетников - в

густом, тенистом саду, и кругом него мертвая, глубокая тишина. Мастерскою кистью описан был этот сад, каждая ветка на деревьях, палящий зной в воздухе, кузнечики в траве и все насекомые, и наконец всё то, что чувствовал Тентетников, счастливый, любящий и взаимно любимый! Я живо помню, и это описание было так хорошо, в нем было столько силы, колорита, поэзии, что у меня захватывало дыхание. Гоголь читал превосходно! В избытке чувств, от полноты счастья Тентетников плакал и тут же поклялся посвятить всю свою жизнь своей невесте. В эту минуту в конце аллеи показывается Чичиков. Тентетников бросается к нему на шею и благодарит его: "Вы мой благодетель, вам обязан я моим счастьем; чем могу отблагодарить вас?.. всей моей жизни мало для этого..." У Чичикова в голове тотчас блеснула своя мысль: "Я ничего для вас не сделал; это случай, отвечал он, - я очень счастлив, но вы легко можете отблагодарить меня!" "Чем, чем? - повторил Тентетников, - скажите скорее, и я все сделаю". Тут Чичиков рассказывает о своем мнимом дяде и о том, что ему необходимо хотя на бумаге иметь 300 душ. "Да зачем же непременно мертвых? - говорит Тентетников, не хорошо понявший, чего, собственно, добивается Чичиков. - Я вам на бумаге отдам все мои 300 душ, и вы можете показать наше условие вашему дядюшке, а после, когда получите от него имение, мы уничтожим купчую". Чичиков остолбенел от удивления! "Как? вы не боитесь сделать это?.. вы не боитесь, что я могу вас обмануть... употребить во зло ваше доверие?" Но Тентетников не дал ему кончить "Как? - воскликнул он, сомневаться в вас, которому я обязан более, чем жизнию!" Тут они обнялись, и дело было решено между ними. Чичиков заснул сладко в этот вечер. На другой день в генеральском доме было совещание, как объявить родным генерала о помолвке его дочери, письменно, или через кого-нибудь, или самим ехать. Видно, что Бетрищев очень беспокоился о том, как примут княгиня Зюзюкина и другие знатные его родные эту новость. Чичиков и тут оказался очень полезен: он предложил объехать всех родных генерала и известить о помолвке Уленьки и Тентетникова. Разумеется, он имел в виду при этом все те же мертвые души. Его предложение принято с благодарностью. Чего лучше, думал генерал, он человек умный, приличный, он сумеет объявить об этой свадьбе таким образом, что все будут довольны. Генерал для этой цели предложил Чичикову дорожную двухместную коляску заграничной работы, а Тентетников четвертую лошадь. Чичиков должен был отправиться через несколько дней. С этой минуты на него все стали смотреть в доме генерала Бетрищева как на домашнего, как на друга дома. Вернувшись к Тентетникову, Чичиков тотчас же позвал к себе Селифана и Петрушку и объявил им, чтоб они готовились к отъезду. Селифан в деревне Тентетникова совсем изленился, спился и не походил вовсе на кучера, а лошади совсем остались без присмотра. Петрушка же совершенно предался волокитству за крестьянскими девками. Когда же привезли от генерала легкую, почти новую коляску и Селифан увидел, что он будет сидеть на широких козлах и править четырьмя лошадьми в ряд, то все кучерские побуждения в нем проснулись и он стал с большим вниманием и с видом знатока осматривать экипаж и требовать от генеральских людей разных запасных винтов и таких ключей, которых даже никогда и не бывает. Чичиков тоже думал с удовольствием о своей поездке: как он разляжется на эластических

с пружинами подушках и как четверня в ряд понесет его легкую, как перышко, коляску. Вот всё, что читал при мне Гоголь из второго тома "Мертвых Душ". Сестре же моей он прочел, кажется, девять глав. Она рассказывала мне после, что удивительно хорошо отделано было одно лицо в одной из глав; это лицо - эманципированная женщина-красавица, избалованная светом, кокетка, проведшая свою молодость в столице, при дворе и за границей. Судьба привела ее в провинцию. Ей уже за тридцать пять лет, она начинает это чувствовать, ей скучно, жизнь ей в тягость. В это время она встречается с везде и всегда скучающим Платоновым, который также израсходовал всего себя, таскаясь по светским гостиным (перед нами будущие персонажи "Отцов и детей" И. С. Тургенева: эмансипэ Анна Сергеевна Одинцова и Павел Петрович Кирсанов. - Б. С.). Им обоим показалась их встреча в глуши, среди ничтожных людей, их окружающих, каким-то великим счастьем; они начинают привязываться друг к другу, и это новое чувство, им незнакомое, оживляет их; они думают, что любят друг друга, и с восторгом предаются этому чувству. Но это оживление, это счастие было только на минуту, и чрез месяц после первого признания, они замечают, что это была только вспышка, каприз, что истинной любви тут не было, что они и не способны к ней, и затем наступает с обеих сторон охлаждение и потом опять скука и скука, и они, разумеется, начинают скучать, в этот раз еще более, чем прежде. Сестра уверяла меня, а С. П. Шевырев подтвердил, что характер этой женщины и вообще вся ее связь с Платоновым изображены были у Гоголя с таким мастерством, что ежели это правда, то особенно жаль, что именно эта глава не дошла до нас, потому что мы все остаемся теперь в том убеждении, что Гоголь не умел изображать женские характеры; и действительно везде, где они являлись в его произведениях, они выходили слабы и бледны. Это было замечено даже всеми критиками. Когда Гоголь окончил чтение, то обратился ко мне с вопросом: "Ну, что вы скажете? Нравится ли вам?" - "Удивительно, бесподобно! - воскликнул я. - В этих главах вы гораздо ближе к действительности, чем в первом томе; тут везде слышится жизнь как она есть, без всяких преувеличений; а описание сада - верх совершенства". - "Ну, а не сделаете ли вы мне какого-либо замечания? Нет ли тут вещи, которая бы вам не совсем понравилась?" - возразил снова Гоголь. Я немного подумал и откровенно отвечал ему, что Уленька кажется мне лицом немного идеальным, бледным, неоконченным. "К тому же, - прибавил я, - вы изобразили ее каким-то совершенством, а не говорите между тем, отчего она вышла такою, кто в этом виноват, каково было ее воспитание, кому она этим обязана... Не отцу же своему и глупой молчаливой англичанке?" Гоголь немного задумался, и прибавил: "Может быть, и так. Впрочем, в последующих главах она выйдет у меня рельефнее. Я вообще не совсем доволен; еще много надо будет дополнить, чтобы характеры вышли покрупнее". Он не был доволен, а мне казалось, что я не выбросил бы ни единого слова, не прибавил ни одной черты: так все было обработано и окончено, кроме одной Уленьки. Через несколько дней после этого чтения я и брат мой К. О. Россет собрались поздно вечером у графа А. К. Толстого, который был тогда в Калуге. Разговор зашел о Гоголе; каждый из нас делал свои замечания о нем и его характере, о его странностях. Разбирали его как писателя, как человека, и многое нам казалось в

нем необъяснимым и загадочным. Как, например, согласить его постоянное стремление к нравственному совершенству с его гордостию, которой мы все были не раз свидетелями? его удивительно тонкий, наблюдательный ум, видный во всех его сочинениях, и вместе с тем, в обыкновенной жизни, какую-то тупость и непонимание вещей самых простых и обыкновенных? Вспомнили мы также его странную манеру одеваться, и его насмешки над теми, кто одевался смешно и без вкуса, его религиозность и смирение, и слишком уж подчас странную нетерпеливость и малое снисхождение к ближним: одним словом, нашли бездну противоречий, которые, казалось, трудно было и совместить в одном человеке. При этом мой брат сделал замечание, которое поразило тогда своею верностию и меня, и графа Толстого. Он нашел большое сходство между Гоголем и Жан-Жаком Руссо". А. О. Смирнова так рассказала о калужском чтении второго тома М. д. П. А. Кулишу: "Еще до переезда с дачи в город Гоголь предложил А. О. Смирновой прочесть ей несколько глав из второго тома "Мертвых душ", с тем условием, чтоб никого при этом чтении не было и чтоб об этом не было никому ни писано, ни говорено. Он приходил к ней по утрам в 12 часов и читал почти до двух. Один раз был допущен к слушанию брат ее, Л. И. Арнольди. Уцелевший от сожжения обрывок второго тома "Мертвых Душ" давно уже напечатан и известен каждому. То, что читал Гоголь А. О. Смирновой, начиналось не так, как в печати. Читатель помнит торжественный тон окончания первого тома. В таком тоне начинался, по ее словам, и второй. Слушатель с первых строк был поставлен в виду обширной картины, соответствовавшей словам: "Русь ! куда несешься ты? дай ответ!" и пр.; при этом картина суживалась, суживалась и наконец входила в рамки деревни Тентетникова. Нечего и говорить о том, что всё читанное Гоголем было несравненно выше, чем в оставшемся брульоне. В нем очень многого недостает даже в тех сценах, которые остались без перерывов. Так, например, анекдот о черненьких и беленьких рассказывается генералу во время шахматной игры, в которой Чичиков овладевает совершенно благосклонностью Бетрищева; в домашнем быту генерала пропущены лица - пленный французский капитан Эскадрон и гувернантка англичанка. В дальнейшем развитии поэмы недостает описания деревни Вороного-Дрянного, из которой Чичиков переезжает к Костанжогло. Потом нет ни слова об имении Чегранова, управляемом молодым человеком, недавно выпущенным из университета. Тут Платонов, спутник Чичикова, ко всему равнодушный, заглядывается на портрет, а потом они встречают у брата генерала Бетрищева живой подлинник этого портрета, и начинается роман, из которого Чичиков, как из всех других обстоятельств, каковы б они ни были, извлекает свои выгоды. Первый том, по словам А. О. Смирновой, совершенно побледнел в ее воображении перед вторым: здесь юмор возведен был в высшую степень художественности и соединялся с пафосом, от которого захватывало дух. Когда слушательница спрашивала: неужели будут в поэме еще поразительнейшие явления? - Гоголь отвечал: - Я очень рад, что это вам так нравится, но погодите: будут у меня еще лучшие вещи: будет у меня священник, будет откупщик, будет генерал-губернатор" (священник и генерал-губернатор, будучи написаны, резко не понравились М. А. Константиновскому). Вскоре после чтения Гоголем второго тома М. д., А. О. Смирнова писала ему 1

августа 1849 г.: "Как жаль, что вы так мало пишете о Тентетникове: меня они все очень интересуют, и часто я думаю о Костанжогло и Муртазове. Уленьку немного сведите с идеала и дайте работу жене Костанжогло: она уже слишком жалка. А впрочем всё хорошо". Сохранившиеся черновики второго тома М. д. показывают, что Гоголь старался последовать этим советам А.О. Смирновой.

Д. А. Оболенский следующим образом передает содержание второго тома М. д.: "...Осенью 1851 года, будучи проездом в Москве, я, посетив Гоголя, застал его в хорошем расположении духа, и на вопрос мой о том, как идут "Мертвые Души", он отвечал мне: "Приходите завтра вечером, в 8 часов, я вам почитаю". На другой день, разумеется, ровно в 8 часов вечера я был уже у Гоголя; у него застал я А. О. Россета, которого он тоже позвал. Явился на сцену знакомый мне портфель; из него вытащил Гоголь одну довольно толстую тетрадь, уселся около стола и начал тихим и плавным голосом чтение первой главы. Гоголь мастерски читал: не только всякое слово у него выходило внятно, но, переменяя часто интонацию речи, он разнообразил ее и заставлял слушателя усваивать самые мелочные оттенки мысли. Помню, как он начал глухим и каким-то гробовым голосом: "Зачем же изображать бедность да бедность, да несовершенство нашей жизни, да выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства? Что же делать, если уже таковы свойства сочинителя и, заболев собственным несовершенством, уже и не может он изобрать ничего другого, как только бедность да бедность, да несовершенство нашей жизни, выкапывая людей из глуши и отдаленных закоулков государства. И вот опять попали мы в глушь, опять наткнулись на закоулок". После этих слов внезапно Гоголь приподнял голову, встряхнул волосы и продолжал уже громким и торжественным голосом: "Зато какая глушь и какой закоулок!" За сим началось великолепное описание деревни Тентетникова, которое, в чтении Гоголя, выходило как будто писано в известном размере. Все описания природы, которыми изобилует первая глава, отделаны были особенно тщательно. Меня в высшей степени поразила необыкновенная гармония речи. Тут я увидел, как прекрасно воспользовался Гоголь теми местными названиями разных трав и цветов, которые он так тщательно собирал. Он иногда, видимо, вставлял какое-нибудь звучное слово единственно для гармонического эффекта. Хотя в напечатанной первой главе все описательные места прелестны, но я склонен думать, что в окончательной редакции они были еще тщательнее отделаны. Разговоры выведенных лиц Гоголь читал с неподражаемым совершенством. Когда, изображая равнодушное, обленившееся состояние байбака-Тентетникова (очевидного предшественника Обломова. - Б. С.), сидящего у окна с холодной чашкой чая, он стал читать сцену происходящей на дворе перебранки небритого буфетчика Григорья с ключницей Перфильевной, то казалось, как бы действительно сцена эта происходила за окном и оттуда доходили до нас неясные звуки этой перебранки. Граф А. П. Толстой сказывал мне, что ему не раз приходилось слышать, как Гоголь писал свои "Мертвые Души": проходя мимо дверей, ведущих в его комнату, он не раз слышал, как Гоголь один, в запертой горнице будто бы с кем-то разговаривал, иногда самым неестественным голосом. В черновых рукописях видны следы этой работы. Каждый разговор переделывался Гоголем по нескольку раз. Зато как живо,

верно и естественно говорят все его действующие лица. Рассказ о воспитании Тентетникова, сколько мне помнится, читан был Гоголем в том виде, как он напечатан в первом издании 1855 года. Причина же выхода в отставку Тентетникова была гораздо более развита, чем в тех вариантах, которые до нас дошли... У него в руках дела, направление которых уже много от него зависит. Он пишет, пишет новые законы, пишет распоряжения о благоустройстве отдаленнейших мест, о которых не имеет ни малейшего понятия. Пишет заочно указы, разрешающие участь целого народонаселения, о действительных нуждах которого он ничего хорошенько не знает. Решает на бумаге дела людей, живущих за три тысячи верст... Тентетников выставлен был лицом в высшей степени симпатичным. Утратив веру в свой идеал, чувствуя себя безоружным в борьбе с неразрешимыми противоречиями, он, может быть, по примеру других, окончательно и примирился бы с ними, чиновное честолюбие взяло бы верх над голосом совести, ежели бы не представилось воображению его другое поприще деятельности, еще не испытанное им, но заманчивое по обилию средств к практическому приложению всего запаса добра и благородных намерений, которыми полна была душа его. Он поехал в деревню. Чудное описание этой деревни в чтении Гоголя выходило так прелестно, что когда он кончил его словами: "Господи, как здесь просторно!", то мы, оба слушателя, невольно вскрикнули от восхищения. Затем приезд Чичикова, разговор его с Тентетниковым и весь конец первой главы, сколько мне помнится, Гоголь читал совершенно согласно с текстом издания 1855 года. Окончив чтение, Гоголь обратился к нам с вопросом: "Ну, что вы скажете?" Будучи под впечатлением тех прелестных картин и разнообразных описаний природы, которыми изобилует первая глава, я отвечал, что более всего я поражен художественной отделкой этой части, что ни один пейзажист не производил на меня подобного впечатления. "Я этому рад", - отвечал Гоголь и, передав нам рукопись, просил, чтобы мы прочли ему вслух некоторые места. Не помню, г. Россет или я исполнил его желание, и он прислушался к нашему чтению, видимо, желая слышать, как будут передаваться другими те места, которые особенно рельефно выходили при его мастерском чтении. По окончании чтения г. Россет спросил у Гоголя: "Что, вы знали такого Александра Петровича (первого наставника Тентетникова) или это ваш идеал наставника?" При этом вопросе Гоголь несколько задумался и, помолчав, отвечал: "Да, я знал такого". Я воспользовался этим случаем, чтобы заметить Гоголю, что действительно его Александр Петрович представляется каким-то лицом идеальным, оттого, быть может, что о нем говорится уже как о покойнике, в третьем лице; но как бы то ни было, а он, сравнительно с другими действующими лицами, как-то безжизнен. "Это справедливо", - отвечал мне Гоголь и, подумав немного, прибавил: "Но он у меня оживет потом". Что разумел под этим Гоголь - я не знаю. Рукопись, по которой читал Гоголь, была совершенно набело им самим переписана; я не заметил в ней поправок. Прощаясь с нами, Гоголь просил нас никому не говорить, что он нам читал, и не рассказывать содержания первой главы... Я могу указать ... еще несколько мотивов из последних глав 2-й части... которые я слышал от Шевырева. Например: в то время, когда Тентетников, пробужденный от своей апатии влиянием Уленьки, блаженствует, будучи ее

женихом, его арестовывают и отправляют в Сибирь; этот арест имеет связь с тем сочинением, которое он готовил о России, и с дружбой с недоучившимся студентом с вредным либеральным направлением. Оставляя деревню и прощаясь с крестьянами, Тентетников говорит им прощальное слово (которое, по словам Шевырева, было замечательное художественное произведение). Уленька следует за Тентетниковым в Сибирь, там они венчаются и проч. (возможно, жизненный путь Тентетникова повторял жизненный путь известного государственного деятеля М. М. Сперанского, сосланного в Сибирь при императоре Александре I по обвинению в связях с Бонапартом и либеральных воззрениях (ср. мотив: Чичиков - Наполеон), сделавшего там блестящую чиновничью карьеру и вновь вошедшего в милость при Николае I, при котором занимался составлением Свода законов; характерно, что Тентетников на своей гражданской службе также занимался составлением и исправлением законов; не исключено что в дальнейшем ходе сюжета Тентетников должен был также повторить судьбу Сперанского: выдвинуться на гражданской службе в Сибири и, реабилитированный, возвратиться в столицу, отказавшись от прежних либеральных воззрений. - Б. С.). Вероятно, в бумагах Шевырева сохранились какие-либо воспоминания о слышанных им главах 2-го тома "Мертвых Душ"; по крайней мере, мне известно, что он намерен был припомнить содержание тех глав, от которых не осталось никаких следов, и изложить их вкратце на бумаге" (к сожалению, эта рукопись С. П. Шевырева до нас не дошла). Гоголь верил, что только Божья помощь позволит ему окончить М. д. В начале 1852 г. он писал С. Т. Аксакову: "Дело мое идет крайне туго. Время так быстро летит, что ничего почти не успеваешь. Вся надежда моя на Бога, который один может ускорить мое медленно движущееся вдохновение".

И. С. Аксаков в статье "Несколько слов о Гоголе" (1852) так объяснил, почему Гоголь не сумел завершить второй том М. д.: "И не дала она (Русь. Б. С.) ответа поэту, и не передал он его нам, хотя всю жизнь свою ждал, молил и домогался истины. Ответ желал он найти и себе и обществу, требовавшему от него разрешения вопросу, заданному "Мертвыми душами". Долго страдал он, отыскивая светлой стороны и пути к примирению с обществом, как того жаждала любящая душа художника, искал, заблуждался (только тот не заблуждается, кто не ищет), уже не однажды думал, что найден ответ... Но не удовлетворялось правдивое чувство поэта: еще в 1846 году (в действительности - летом 1845 г. - Б. С.) сжег он 2-й том "Мертвых душ"; опять искал и мучился, снова написал 2-й том и сжег его снова!.. Так, по крайней мере, понимаем мы действия Гоголя и ссылаемся в этом случае на четыре письма его, напечатанные в известной книге ("Выбранные места из переписки с друзьями")... Но недостало человека на это новое испытание, и деятельность духа напором сил своих, постоянно возраставшим, без труда разорвала и сломила сдерживавшие ее земные узы..."

Сохранился восторженный отзыв на второй том М. д. С. Т. Аксакова. 20 января 1850 г. он писал И. С. Аксакову: "До сих пор не могу еще прийти в себя: Гоголь прочел нам с Константином вторую главу... Что тебе сказать? Скажу одно: вторая глава несравненно выше и глубже первой. Раза три я не мог удержаться от слез... Такого высокого искусства: показывать в человеке пошлом

высокую человеческую сторону - нигде нельзя найти, кроме Гомера. Так раскрывается духовная внутренность человека, что для всякого из нас, способного что-нибудь чувствовать, открывается собственная своя духовная внутренность. Теперь только я убедился вполне, что Гоголь может выполнить свою задачу, о которой так самонадеянно и дерзко, по-видимому, говорит в первом томе. Я сказал Гоголю, что теперь для нас остается только одно: молитва к Богу, чтоб он дал ему здоровья и сил окончательно обработать и напечатать свое высокое творение. Гоголь был увлечен искренностью моих слов и сказал о себе, как бы говорил о другом: "Дай, дай только Бог здоровья и сил! Благо должно произойти из этого, ибо человек не может видеть себя без помощи другого"".

Однако незадолго до смерти писатель разочаровался в главном труде своей жизни. В 1852 г., уже после кончины Гоголя, С. Т. Аксаков писал С. П. Шевыреву: "В самое последнее свидание с моей женой Гоголь сказал, что он не будет печатать второго тома, что в нем все никуда не годится и что надо все переделать. Только про первую главу второго тома он сказал мне, что она получила последнее прикосновение, была тронута кистью художника, говоря техническим языком живописцев. Он сказал это потому, что при вторичном чтении той же главы для моего сына Ивана я заметил многие изменения".

П. В. Анненков в статье "Воспоминания о Гоголе" (1857) довольно высоко оценил второй том М. д.: "Мысль общества начинает уже скрываться от того человека, который первый ее открыл и почувствовал в себе, и это несчастное одиночество Гоголь принимает за высокий успех, рост в вышину, великое нравственное превосходство. Тогда сама собой является необходимость разрешения вопросов и литературных задач посредством призраков и фантомов, что так поражает в оставшейся нам второй части "Мертвых душ". Именно около этой эпохи задуманы лица вроде Костанжогло, который должен был явиться типом совершеннейшего помещика-землевладельца, типом, возникшим из соединения греческой находчивости с русским здравомыслием и примирения двух национальностей родных по вере и преданиям. Участие призрака в создании еще виднее на другом лице - откупщике Муразове, который вместе с практическим смыслом, наделившим его монтекристовскими миллионами, обладает высоким нравственным чувством, сообщившим ему дар сверхъестественного убеждения. Крупная разжива со всеми ее средствами, не очень стыдливыми по природе своей, награждена еще тут благодатию понимать таинственные стремления душ, открывать в них вечные зародыши правды и вести их с помощью советов и миллионов к внутреннему миру, к блаженству самодовольствия и спокойствия. Это примирение капитала и аскетизма поставлено, однако же, на твердом нравственном грунте, и здесь-то нельзя удержаться от глубокого чувства скорби и сожаления. Основная мысль второй части "Мертвых душ", как и все нравственные стремления автора, направлены к добру, исполнены благих целей, ненависти и отвращения ко всякой духовной неурядице. Вторая часть "Мертвых душ" чуть ли не превосходит первую по откровенности негодования на житейское зло по силе упрека безобразным явлениям нашего быта и в этом смысле, конечно, превосходит все написанное Гоголем прежде поэмы. Самый замысел повести, даже в нынешнем

несовершенном своем виде, поражает читателя обширностию размеров, а некоторые события романа, лучше других отделанные, с необычайным мастерством захватывают наиболее чувствительные стороны современного общества: довольно указать в подтверждение того и другого на план окончания второй части, с одной стороны, на начинавшуюся историю Тентетникова - с другой".

В "Выбранных местах из переписки с друзьями" Гоголь так охарактеризовал персонажей М. д.: "Эти ничтожные люди, однакож, ничуть не портреты с ничтожных людей; напротив, в них собраны черты тех, которые считают себя лучшими других, разумеется, только в разжалованном виде из генералов в солдаты; тут, кроме моих собственных, есть даже черты моих приятелей". А. М. Бухарев вспоминал, каким Гоголь видел финал М. д.: "Я спросил Гоголя, чем именно должны кончиться "Мертвые души". Он, задумавшись, выразил свое затруднение высказать это с обстоятельностью. Я возразил, что мне только нужно знать, оживет ли, как следует, Павел Иванович. Гоголь, как будто с радостью, подтвердил, что это непременно будет, и оживлению его послужит прямым участием сам Царь, и первым вздохом Чичикова для истинной прочной жизни должна кончиться поэма. В изъяснении этой развязки он несколько распространился, но, опасаясь за неточность припоминания подробностей, ничего не говорю об этих его речах. - "А прочие спутники Чичикова в "Мертвых душах"? - спросил я Гоголя: - и они тоже воскреснут?" - "Если захотят", - ответил он с улыбкою; и потом стал говорить, как необходимо далее привести ему своих героев к столкновению с истинно хорошими людьми, и проч., и проч.".

А. Белый в "Мастерстве Гоголя" (1934) подметил, что в М. д. "неуютен... быт помещиков; пыль, разор, ветошь в медвежьих углах; у Манилова кресла не крыты материей; вместо подсвечника - чорт знает что; у Ноздрева в столовой поставлены козлы; у Петуха все в закладе; червь точит хлеба у Тентетникова; у Хлобуева - нечего даже продать; скряга Плюшкин сгноил свою собственность. Всюду разор натуральных хозяйств... Неблагополучие - фон "Мертвых душ"".

А. К. Воронский в книге "Гоголь" (1934) писал о М. д.: "В мировой литературе трудно найти другую художественную вещь, в которой с такой беспощадной пластической силой было бы вскрыто опустошающее влияние собственности на человеческую душу. Подведен итог многолетним скорбным думам, наблюдениям и переживаниям. Собственность, вещь приняла вполне ясные и четкие очертания. Она как бы целиком воплотилась. Это - уже не клады, не червонцы Басаврюка и ростовщика, обладающие чертовскими, мистическими свойствами, не безобидная трубка Тараса, это - средне- и мелкопоместное имущество в состоянии упадка и развала, это - рыночная собственность, товар, которую производит фабрика "кучи мастеровых", собственность, определяющая собой новый хозяйственный, политический, бытовой и культурный уклад. Приняла более житейский вид и всякая нежить: красная свитка на свином рыле превратилась во фрак наваринского пламени с дымом; чужестранец без роду и племени стал выглядеть самым обходительным и житейски-обиходным Павлом Ивановичем; чудовища и гномы, застрявшие в церкви, приняли вид Петухов, Ноздревых, Плюшкиных, Собакевичей,

Коробочек; ведьмы - дамы просто приятные и приятные во всех отношениях. В чертовщине не стало нужды, но действительность стала хуже и ужаснее всякой чертовщины. Потрясающая картина, по сравнению с которой бледными выглядят колдуны и Басаврюки".

И. П. Золотусский в книге "Гоголь" (1979, 1998) писал, что во втором томе М. д. Чичиков следует своей цели "по инерции, прежнего азарта и упования на эту аферу у него нет. Да и все, что он видит вокруг себя, убеждает его в том, что пора заняться приобретением не фантастического, не сказочного, как пишет Гоголь, а настоящего имения, приобрести не мифические земли в мифической Херсонской губернии, а в самой что ни на есть середине России, где ни от кого не скроешься и где можно честным путем наживать миллионы. Эту мысль внушает ему примерный хозяин Костанжогло... Крушение Чичикова во втором томе состоит не в обвале его очередного замысла (подделки завещания старухи-миллионерши. - Б. С.), не в просчете, который он допустил при осуществлении их, а в крушении внутреннем. Что-то ноет и сосет его, и в кружении с "мертвыми душами", в подделке завещания, в темных связях с контрабандистами и магом-юрисконсультом он нет-нет да и вспомнит эту боль". Во втором томе М. д. происходит борьба за душу Чичикова между силами добра и зла. В третьем же томе, по замыслу Гоголя, главный герой должен был, испытав раскаяние, обратиться к деланию добрых дел.

А. Д. Синявский в книге "В тени Гоголя" (1970-1973) дал оригинальную трактовку знаменитого лирического отступления М. д. о русской тройке: "Критику немало смущало, что на гоголевской тройке едет-то все-таки Чичиков! Загвоздка, однако, не в том, что он едет, но в том, что он везет, что без него не обошлась, не прогремела бы вдохновенная тройка, которая ведь не просто бесплатное приложение к "Ниве", сочиненное невпопад сатирическому сюжету поэмы, для того чтобы нам потом было что учить наизусть, но законное колесо и конечное производное Чичикова, и на нем, на окаянном, постылом, всё в ней вертится и несется в неоглядную даль. Иначе зачем бы потребовалось затрачивать столько стараний на то, чтобы "припрячь подлеца", хорошо его обуздав, застращав (вот где понадобился генерал-губернатор!), наваливаясь кагалом - с автором во главе, с Костанжогло в горле (не выговоришь, и долго он, Гоголь, отхаркивался от застрявшей фамилии, клича свою худобу Скудронжогло и Гоброжогло, не в силах расстаться, однакож, с разъевшей кость червоточиной, с глаголом "жечь!", отчего хмурое лицо иноземца почернело и запеклось в прожженное кислотою пятно), с Муразовым в коренниках, с этим Мининым и Пожарским зараз, с державинским волшебным Мурзою, стратегом-миллионером (что, ждите, с гостинцами явится и всем - от пуза - по чеку)... Спрашивается: с таким активом - нуждаться в Чичикове? Не могут. Не кони. Призраки. Транспаранты, состряпанные кое-как, на соплях, с одной задачей - учить и перевоспитывать Чичикова, проча в пристяжные России: иначе - не свезешь, не потянешь. "Ведь если бы с этакой волей и настойчивостью да на доброе дело!" Костанжогло не вытанцовывается, сколько ни жилься, ни жги; Муразов - сплошная дыра, протертая в школьном альбомчике с надеждой увековечить портрет гуманного ростовщика, доброго американского дядюшки, подоспевшего с несметным наследством; а Чичиков - кинь ему горстку-другую

навозцу - смотришь, уже зачирикал, приветствуя каждого: жив. Как же им за живого не ухватиться: действительность! "...И мчится вся вдохновенная Богом!.."(Да, но впряжен в нее у Гоголя - чорт...)Верим - не то что верим - видим: Чичиков мчит. Допускаем - хотя с натяжкой: промышлением начальства, уговорами почитателей, надзирателей, духовных и жандармских чинов - Чичиков завяжет проказничать. Но потянет ли он, исправившись, лямку с тем же азартом - ради одного удовольствия тянуть ее в поте лица? На вопросе этом Гоголь запнулся. Уж с какого бока ни подъезжал он к своему подопечному - и грозил ему палашом и Сибирью, и раскидывал далеко этику и поэзию земледелия".

"МИРГОРОД", сборник повестей Гоголя. Впервые опубликован: СПб., 1835, с подзаголовком: "Повести, служащие продолжением "Вечеров на хуторе близ Диканьки". В состав М. вошли повести "Старосветские помещики", "Тарас Бульба", "Вий" и "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем". В дальнейшем, при включении в собрание сочинений в 1842 г., повести "Вий" и "Тарас Бульба" были Гоголем существенно переработаны. В письме матери от 12 апреля 1835 г. Гоголь, посылая экземпляр М., заметил: "Посылаю вам... мои повести, довольно давние, которые впрочем недавно вышли из печати". Можно предположить, что составившие сборник повести были написаны еще в начале 1830-х годов.

22 марта 1835 г. Гоголь писал из Петербурга в Киев М. А. Максимовичу: "Посылаю тебе Миргород. Авось либо он тебе придется по душе. По крайней мере я бы желал, чтобы он прогнал хандрическое твое расположение духа, которое, сколько я замечаю, иногда овладевает тобою и в Киеве. Ей-Богу, мы все страшно отдалились от наших первозданных элементов. Мы никак не привыкнем (особенно ты) глядеть на жизнь, как на трын-траву, как всегда глядел козак. Пробовал ли ты когда-нибудь, вставши поутру с постели, дернуть в одной рубашке по всей комнате трепака? Послушай, брат: у нас на душе столько грустного и заунывного, что если позволять всему этому выходить в наружу, то это чорт знает что такое будет. Чем сильнее подходит к сердцу старая печаль, тем шумнее должна быть новая веселость. Есть чудная вещь на свете: это бутылка доброго вина. Когда душа твоя потребует другой души, чтобы рассказать всю свою полугрустную историю, заберись в свою комнату и откупори ее, и когда выпьешь стакан, то почувствуешь как оживятся все твои чувства. Это значит, что в это время я, отдаленный от тебя 1500 верстами, пью и вспоминаю тебя".

МИЦКЕВИЧ Адам (1798-1855), великий польский поэт. Родился в Вильно в дворянской семье. В 1819 г. окончил Виленский университет. В 1823 г. за участие в нелегальной польской студенческой организации арестован и выслан в Россию. Жил в Москве и Петербурге, сблизился с А. С. Пушкиным и другими русскими литераторами. В 1829 г. эмигрировал. В 1839 г. занял кафедру латинской словесности в университете Лозанны, а в 1840 г. - кафедру славянских литератур в Париже, в Коллеж де Франс. Умер в Константинополе от холеры.

С Гоголем М. познакомился в Париже в конце 1836 г. Как вспоминал бывший вместе с Гоголем в Париже А. С. Данилевский: "В последнее время Гоголя только и удерживала в Париже разве возможность видеться часто с Мицкевичем, который жил тогда в Париже, еще не бывши профессором в College de France, и с другим польским поэтом, Залесским. Так как Гоголь не знал польского языка, то разговор обыкновенно происходил на русском или чаще на малороссийском языке. Все остальное ему прискучило, и он впал в жестокую хандру".

По утверждению Данилевского, в сентябре 1837 г. они с Гоголем в Женеве часто виделись с М., получившим кафедру древних литератур в университете Лозанны. По этому поводу польский священник Иероним Кайсевич отметил в дневнике в марте 1838 г. после знакомства с Гоголем в Риме: "Познакомились с Гоголем,малороссом, даровитым великорусским писателем, который сразу выказал большую склонность к католицизму и к Польше, совершил даже благополучное путешествие в Париж, чтобы познакомиться с Мицкевичем и Богданом Залесским (польским поэтом. - Б. С.)". А 17 марта н. ст. 1838 г. товарищ Кайсевича священник Петр Семененко писал из Рима своему коллеге Богдану Янскому, другу М.: "Возвращаемся с обеда у княгини Волконской и с прогулки на ее виллу в сообществе ее, а также одного из наилучших писателей и поэтов русских, Гоголя, который здесь поселился. В разговоре он нам очень понравился. У него благородное сердце, притом он молод; если со временем на него повлиять, то, может быть, он не окажется глух к истине и всею душою обратится к ней. Княгиня питает эту надежду, в которой и мы сегодня несколько утвердились. Понятно, беседовали мы о славянских делах. Гоголь оказался совершенно без предрассудков, и даже, может быть, там в глубине очень чистая таится душа. Умеет по-польски, т. е. читает. Долго говорили о "Небожественной Комедии", о "Тадеуше" и пр. Забыл сказать, что княгиня Волконская нарочно пригласила нас на обед, чтобы устроить это знакомство, так как Гоголь, слышавши об нас, очень хотел этого; да и сама княгиня рада была удовлетворить его желание, ожидая от этого пользы для религии. Из этого, однако, очевидно, что было бы крайне полезно, если бы у нас имелся и Мицкевич, и "Небожественная Комедия" с "Иридионом", и Мохнацкий. Почему этот последний? Гоголь сказал нам, что читает Мерославского и что он ему нравится, если отбросить его страстность и склонность к преувеличениям. Сего ради мы ему - о Воротновском и Мохнацком. Последнего особенно ради языка и стиля. Это особенно увлекло Гоголя, ибо он хотел бы проникнуться силою польского языка".

7 апреля н. ст. 1838 г. И. Кайсевич и П. Семененко сообщали из Рима Б. Янскому: "...Гоголь недавно посетил нас, на следующий день мы его. Мы беседовали с ним на славянские темы. Что за чистая душа! Можно про него сказать, с Господом: "Недалек ты от Царствия Божия!" Много говорили об общей литературе. Мы обстоятельнее высказались о том, о чем в той прогулке на виллу говорили друг с другом только намеками. Удивительное он нам сделал признание. В простоте сердца он признался, что польский язык ему кажется гораздо звучнее, чем русский. "Долго, - сказал он, - я в этом удостоверялся, старался быть совершенно беспристрастным - и в конце концов пришел к

такому выводу". И прибавил: "Знаю, что повсюду смотрят иначе, особенно в России, тем не менее мне представляется правдою то, что я говорю". О Мицкевиче отзывался с величайшим уважением".

22 апреля н. ст. 1838 г. П. Семененко писал Б. Янскому: "Пошли мы к княгине Волконской... Тотчас же начали мы и о Гоголе... Иероним вспомнил о сонете, который он перед этим написал. Княгиня пригласила нас к себе назавтра обедать, чтобы нам опять встретиться с Гоголем. Тогда же она нам сообщила, как поделилась с ним своими намерениями касательно своего сына и как Гоголь сердечно это принял и добродушно подбодрял ее, чтобы она имела надежду, т. е., что сын ее обратится (в католичество. - Б. С.). Обед у Волконской прошел, как мы желали; я сидел рядом с Гоголем и разговаривал с ним по-русски, так как иначе он не говорит; по-итальянски и по-французски он лучше читает, чем говорит, хотя всегда говорит хорошо; но, как он нам объяснил, он не имеет дара к языкам. Сдается мне, что с пару хороших мыслей я ему внушил. Сильно Гоголь "задумался", говоря его языком. "Это меня радует, - говорила нам позднее княгиня Волконская. - Заметили ли вы, как он внутренне работает?"... В пятницу мы пришли к Гоголю в его собственной квартире; тут, как и в первый раз, больше говорили о славянстве, поэтому мы условились ходить вперед поодиночке, так как одиночные встречи более располагают к взаимному обнаружению себя. Но мы видим, что и за эти посещения в его душе утвердились хорошие впечатления. После обеда у Волконской Иероним читал оба своих сонета (посвященные княгине Волконской и Гоголю; Гоголя Кайсевич убеждал "не замыкать души для небесной росы". - Б. С.). Сонет к Гоголю не прошел мимо цели и произвел большое впечатление на душу певца. Они были переведены по-французски, но Гоголь и по-польски неплохо понимает. Тот раз мы провели в их обществе более трех часов".

11 / 23 апреля 1838 г. Гоголь в письме А. С. Данилевскому в Париж из Рима просил: "...Купи для меня новую поэму Мицкевича, удивительнейшую вещь Пан Тадеуш. Она продается в польской лавке. Где эта польская лавка, ты можешь узнать у других книгопродавцев".

12 мая н. ст. 1838 г. И. Кайсевич и П. Семененко с удовлетворением сообщили Б. Янскому: "С Божьего соизволения, мы с Гоголем очень хорошо столковались. Удивительно: он признал, что Россия - это розга, которую отец наказывает ребенка, чтоб потом ее сломать. И много-много других очень утешительных речей. Благодарите и молитесь; и княгиня Волконская начинает видеть иначе".

В своем последнем письме о встречах с Гоголем, 25 мая н. ст. 1838 г., П. Семененко писал Б. Янскому: "Княгиня Зинаида Волконская неделю назад выехала в Париж. Догадываемся почему: хотела уклониться от объяснений, Гоголь - как нельзя лучше. Мы столковались с ним далеко и широко. На это мы уже намекнули парою слов в последнем письме. Он подробнейшим образом рассказывал нам о перемене, которая произошла в мыслях русских за последние два года. Находящиеся здесь офицеры лейб-гвардии, два года назад русские энтузиасты, теперь обвиняют царя в невероятнейших вещах, и это те, которые осыпаны почестями, привилегиями, благодеяниями. И удивительна та откровенность, которая господствует между русскими: демагоги в Париже

осторожнее, чем эти недовольные. Занимается Гоголь русской историей. В этой области у него очень светлые мысли. Он хорошо видит, что нет цемента, который бы связывал эту безобразную громадину. Сверху давит сила, но нет внутри духа. И каждый раз восклицает: "У вас, у вас что за жизнь! После потери стольких сил! Удар, который должен был вас уничтожить, вознес вас и оживил. Что за люди, что за литература, что за надежды! Это вещь нигде не слыханная".

В мае 1839 г. Гоголь писал из Рима С. П. Шевыреву: "Если случится тебе встретиться с Мицкевичем, обними его за меня крепко..." М. тоже питал к Гоголю теплые чувства и интересовался его перемещениями по Европе. 2 апреля н. ст. 1840 г. И. Кайсевич сообщал М.: "Княгиня Волконская уже в Петербурге, здорова и не вернется до самой осени. Что с Гоголем, мы не знаем, наверно сидит в Чехии, как намеревался..." В августе 1843 г. Гоголь специально ездил из Бадена на встречу с М. в Карлсруэ.

МОКРИЦКИЙ Аполлон Николаевич (1811-1871), гимназический товарищ Гоголя, художник, ученик Карла Брюллова, ставший академиком и преподавателем Московского училища живописи и ваяния. В начале 1830-х годов М. жил в Петербурге одновременно с Гоголем.

1 января 1832 г. Гоголь писал А. С. Данилевскому о нежинских земляках, подвизавшихся в Петербурге, в том числе и М.: "Что тебе сказать о наших? Они все, слава Богу, здоровы, прозябают по-прежнему, навещают каждую среду и воскресенье меня, старика, и к удивлению, до сих пор еще ни один из них не имеет звезды и не директор департамента".

13 / 25 января 1837 г. Гоголь писал Н. Я. Прокоповичу из Парижа об общих нежинских знакомых: "В каком салоне виден теперь Базили и какую имеет моральную физиогномию? А другой Базили, с кистью вместо пера, художник Мокрицкий? Это тоже лицо не бездельное".

МОЛЛЕР Федор Антонович (1812-1875), русский живописец, немец по происхождению, писавший главным образом исторические полотна и портреты. Гоголь познакомился с М. в Риме в конце 1830-х годов. В октябре 1841 г. по просьбе М. Гоголь навестил его родных в Москве. В 1842 г. они встречались в Петербурге, а в 1843 г. - в Мюнхене. Гоголь очень высоко ценил талант М. В письме княжне В. Н. Репниной он назвал М. "решительно нашим первым ныне художником". 20 октября 1841 г. Гоголь писал М.: "Мне нужно знать необходимо все ваши планы, и потому, пожалуйста, напишите мне обо всем этом немедленно. Но прежде всего, ради всего святого в мире, не упадайте духом... Верьте, вся жизнь потом бывает одна благодарность за сей ниспосланный перелом. Напишите скорее! Весь ваш, так же твердо жмущий вам руку и говорящий: вперед".

Не исключено, что именно под влиянием Гоголя М. в конце 1841 г. принялся за работу над большим историческим полотном "Крещение Владимира". Вероятно, об этой картине в декабре 1841 г. А. А. Иванов сообщал Гоголю: "Моллер благодарит вас за письмецо; он ожидает еще от вас ответа на подтверждение выбранного им сюжета, которым он теперь исключительно занимается". В начале 1840-х годов М. написал портрет Гоголя. По поводу этого

портрета Гоголь писал из Франкфурта матери 31 мая (12 июня) 1844 г.: "У вас есть мой портрет. Спрячьте его в отдаленную комнату, зашейте в холсте и не показывайте никому. Говорите, что вы его отправили в Москву по моей просьбе, словом, что у вас его нет. Копии снимать с него никому не позволяйте, ни даже моим сестрам. Это мое желание". Выполненный М. портрет, гравированный Ф. И. Иорданом, был помещен в посмертном собрании сочинений и писем Гоголя, изданном П. А. Кулишом в 1857 г. Гоголь был недоволен, что М. П. Погодин без его ведома опубликовал в одиннадцатом номере "Москвитянина" за 1843 г. его портрет, выполненный А. А. Ивановым и литографированный П.Ф. Зеньковым. В завещании, опубликованном в "Выбранных местах из переписки с друзьями", Гоголь утверждал: "Неосмотрительным образом похищено у меня право собственности: без моей воли и позволения опубликован мой портрет. По многим причинам, которые мне объявлять не нужно, я не хотел этого, не продавал никому права на его публичное издание и отказывал всем книгопродавцам, доселе приступавшим ко мне с предложеньями, и только в таком случае предполагал себе это позволить, если бы помог мне Бог совершить тот труд, которым мысль моя была занята во всю жизнь мою, и притом так совершить его, чтобы все мои соотечественники сказали в один голос, что я честно исполнил свое дело, и даже пожелали бы узнать черты лица того человека, который до времени работал в тишине и не хотел пользоваться незаслуженной известностью. С этим соединялось другое обстоятельство: портрет мой в таком случае мог распродаться вдруг во множестве экземпляров, принеся значительный доход тому художнику, который должен был гравировать его. Художник этот (имелся в виду Ф. И. Иордан. - Б. С.) уже несколько лет трудится в Риме над гравированием бессмертной картины Рафаэля "Преображенье Господне". Он всем пожертвовал для труда своего, труда убийственного, пожирающего годы и здоровье, и с таким совершенством исполнил свое дело, подходящее ныне к концу, с каким не исполнял еще ни один из граверов. Но по причине высокой цены и малого числа знатоков эстамп его не может разойтись в таком количестве, чтобы вознаградить его за всё; мой портрет ему помог бы. Теперь план мой разрушен: раз опубликованное изображение кого бы то ни было делается уже собственностью каждого, занимающегося изданьями гравюр и литографий. Но если бы случилось так, что после моей смерти письма, после меня изданные, доставили бы какую-нибудь общественную пользу (хотя бы даже одним только чистосердечным стремлением ее доставить) и пожелали мои соотечественники увидать и портрет мой, то я прошу всех таковых издателей благородно отказаться от своего права; тех же моих читателей, которые по излишней благосклонности ко всему, что ни пользуется известностью, завели у себя какой-нибудь портрет мой, прошу уничтожить его тут же, по прочтеньи сих строк, тем более что он сделан дурно и без сходства, и покупать только тот, на котором будет выставлено: "Гравировал Иорданов". Сим будет сделано, по крайней мере, справедливое дело. А еще будет справедливей, если те, которые имеют достаток, станут вместо портрета моего покупать самый эстамп "Преображенья Господня", который, по признанью даже чужеземцев, есть венец гравировального дела и составляет славу русскую". После несанкционированной публикации портрета

работы А. А. Иванова именно портрет, написанный М. и гравированный Ф.И. Иорданом, Гоголь предназначал для посмертной публикации в составе собрания сочинений. Этим и объясняется забота о том, чтобы хранящийся у матери портрет не был бы скопирован кем-либо.

Любовная связь М. с римлянкой Амалией Лавиньи, семья которой пользовалась дурной репутацией, вызывала неудовольствие друзей М. По этому поводу А. А. Иванов в феврале 1842 г. писал Гоголю: "Как бы желал я их развести для пользы искусства, для его здоровья, для целости денег и чтоб очистить от позорного дому". Но М. не бросил возлюбленную. В конце февраля (н. ст.) 1842 г. у нее родился сын. Однако этот роман имел трагическую развязку. Осенью 1843 г. Амалия умерла. Ее похороны описал А. А. Иванов в письме Гоголю: "Амалия вот уже неделя как не существует. Священник перед выносом ее тела сильно сказал горбатой (матери А. Лавиньи. - Б. С.), другим бабам и сводням, при сем находившимся, что это она причиною ее смерти, и что если она и этого не чувствует, то он надеется, что это послужит другим матерям разительным примером, как продавать и торговать своими дочерьми. Теперь, Николай Васильевич, надо положить конец этому глубоко-неприятному делу, истощив весь ум, чтобы сказать обо всем этом Моллеру..."

МУХАНОВ Владимир Алексеевич (1805-1876), сын сенатора, камер-юнкер, переводчик Московского главного архива Министерства иностранных дел, в молодые годы отличался болезненным состоянием здоровья. М. познакомился с Гоголем в 1846 г. в Бельгии.

17/29 августа 1846 г. М. писал из Остенде сестрам: "Здесь мы нашли Гоголя, с которым познакомились. Он очень замечателен, особенно по набожному чувству, христианской любви и складной, правдивой речи. Охотно беседуя обо всех предметах, он не любил говорить о своих сочинениях и о том, что пишет. Недавно читал он нам два прекрасные письма молодого Жерве к своему отцу, писанные из Оптиной пустыни. Мы слушали с умилением. Сколько веры и любви в молодом подвижнике, оставившем мир и все прелести в тех летах, когда они так обольщают человека, и посвятившем себя Богу!"

Неделю спустя, 24 августа (5 сентября) 1846 г., он сообщал сестрам: "Продолжаем довольно часто видеться с Гоголем; он внушает сочувствие и особенно приятен, как человек истинно верующий и которого Бог посетил своею благодатью. На днях я встретил его на берегу моря, вечер был прекрасный, и месяц светил чудесно. - "Знаете ли, - сказал Гоголь, - что со мной сейчас случилось? Иду и вдруг вижу перед собой луну, посмотрел на небо, и там луна такая же. Что же это было? Лысая голова человека, шедшего передо мною". Впрочем, он молчалив, и говорит охотно, когда уже коротко познакомится". Гоголь, в свою очередь, писал 25 августа (6 сентября) 1846 г. В. А. Жуковскому: "...На днях я был обрадован почти неожиданным приездом любезного моего гр. А. П. Толстого, который прибыл сюда вместе с двумя братьями Мухановыми (Владимиром и Николаем. - Б. С.)". М. же 14 /26 сентября 1846 г. сообщал сестрам: "Иногда, и даже довольно часто, случалось мне видеть Гоголя, но при людях разговор идет общий и по большей части ничтожный. Когда же удается с ним беседовать наедине, как назидательна речь

его! Вчера в третий раз посчастливилось мне так поговорить с ним, и я чувствовал, как вера его согревала мою душу. Через несколько дней едет он во Франкфурт на свидание с Жуковским, оттуда в Италию, где проживет три месяца и потом отправится в Иерусалим. Он жалуется на здоровье и даже с трудом может переносить римскую зиму". Гоголь проникся симпатией к М. и в письме к графине А. М. Виельгорской 2 ноября н. ст. 1846 г. из Ниццы рекомендовал включить его в число лиц, которым хотел доверить распределение вырученных средств от предполагавшегося благотворительного издания "Ревизора": "Муханова нет, он за границей. Но имя его пусть будет выставлено, хотя и без адреса; он будет потом, по приезде, очень полезен".

Следующая встреча М. с Гоголем произошла в Париже в 1847 г. 28 мая (9 июня) 1847 г. М. писал сестрам: "...В воскресенье уехал Гоголь, который провел здесь неделю в одной гостинице с нами. Мы почти каждый день обедали с ним у Толстых; здоровье его совершенно поправилось: он все время был весел, разговорчив и бодр, одним словом - другой человек, а не тот, которого мы встретили прошлым летом в Остенде. Путешествие его в Иерусалим не совершилось, потому что вырученные за последнюю книгу ("Выбранные места из переписки с друзьями". - Б. С.) деньги пришли поздно, а без них не с чем было пуститься в дальний путь. Кстати о книге: удивительно, что после критик, больше жестоких и исполненных остервенения, он не только вовсе не раздражен, но, напротив, покойнее и светлее духом прежнего". Следующая встреча М. с Гоголем произошла в Германии. 19 июня (1 июля) 1847 г. М. писал из Бадена сестрам: "На пути сюда, во Франкфурте... провели день с Гоголем, который ездил вместе с нами в Гомбург, известный своими водами и играми, этою язвою германских вод. Мы много говорили с ним о последней его книге; он не любит толковать о своих сочинениях, но на этот раз изменил своему правилу. Ему многие ставят в вину, что без всякой причины, без малейшего права, он вздумал быть всеобщим наставником. Между тем ему никогда подобная мысль не приходила в голову. Занимаясь сочинением, для которого нужно было ему собрать много материала и в особенности узнать мысли и мнения его соотечественников о некоторых предметах, о которых он намерен говорить в своем творении, он издал свою переписку, чтобы вызвать толки и прения. Цель его достигнута. Он получил множество писем с замечаниями на книгу". Последний раз М. встретился с Гоголем летом 1847 г., и снова в Остенде. 4/16 августа 1847 г. М. информировал своих сестер в очередном письме: "Здесь, тотчас по приезде, явился к нам Гоголь, и свиделись мы с Хомяковым. Несколько дней, проведенных с последним, были совершенным праздником. Какое сокровище знания и остроумия и вместе какая доброта, какое всегда ровное расположение! Правду говорит Гоголь, что этому человеку не с чем в себе бороться, нечего стараться побеждать в себе".

"МЫСЛИ О ГЕОГРАФИИ", статья, вошедшая в сборник "Арабески". Впервые опубликована: Литературная Газета, 1831, № 1, 1 января, под названием "Несколько мыслей о преподавании детям географии", с подзаголовком "(Для детского возраста)" и под псевдонимом "Г. Янов". Для "Арабесок" статья была переработана и получила новое название.

При первой публикации статья, заканчивавшаяся словами "Продолжение обещано", была снабжена редакционным примечанием: "Просим читателей смотреть на предложенную здесь статью, как на одно только начало. Автору, который совершенно посвятил себя юным питомцам своим, более всего желательно знать о сем предмете мнение ученых наших преподавателей. В последующих за сим мыслях читатели встретят, может быть, более нового, более относящегося к облегчению науки и приведению оной в ясность и понятность для детей". В 1831 г. Гоголь начал писать детскую книгу по географии, от которой сохранились лишь небольшие фрагменты о зиме, об африканцах и о северных народах: камчадалах, самоедах, эскимосах и чукчах.

У Гоголя был также неосуществленный замысел большой книги по географии и истории для взрослого читателя, о чем он писал М. П. Погодину 1 февраля 1833 г.: "...Обождите несколько времени: я вам пришлю, или привезу, чисто свое, которое подготовляю в печати. Это будет всеобщая история и всеобщая география в трех, если не в двух томах, под названием Земля и Люди". Основой книги Гоголь собирался сделать свои лекции по истории, прочитанные в 1831-1832 гг. в Патриотическом институте благородных девиц. В конце жизни Гоголь вновь вернулся к замыслу книги о географии - "География России", но не успел его реализовать. В июле 1850 г. он писал графу Л. А. Перовскому (или князю П. А. Ширинскому-Шахматову, или графу А.Ф. Орлову): "Мне кажется, если бы доставлена была мне возможность в продолжении трех лет сделать три летние поездки во внутренность России... я бы мог окончить тогда ту необходимую и нужную у нас книгу, мысль о которой меня занимает с давних времен и за которую (дай только Бог сил исполнить, как хочется) многие отцы семейств скажут мне спасибо (далее в черновике Гоголь зачеркнул: "Всем нам уже известно, сколько бедствий и беспорядков в Русской земле произошло от собственного нашего неведения земли своей..." - Б. С.). Нам нужно живое, а не мертвое изображенье России, та существенная, говорящая ее география, начертанная сильным, живым слогом, которая поставила бы русского лицом к России еще в то первоначальное время его жизни, когда он отдается во власть гувернеров-иностранцев, но когда все его способности свежее, чем когда-либо потом, а воображенье чутко и удерживает навеки всё, что ни поражает его. Такую книгу... мог составить только такой писатель, который умеет схватывать верно и выставлять сильно и выпукло черты и свойства народа, а всякую местность со всеми ее красками поставлять так ярко и выставить так живо, чтобы она навсегда осталась в глазах, который, наконец, имел бы способность сосредоточивать сочиненье в одно слитное целое так, чтобы вся земля от края до края со всей особенностью своих местностей, свойствами кряжей и грунтов врезалась бы как живая в память даже несовершеннолетнего отрока и было бы ему очевидно даже во младенчестве, какому углу России что именно свойственно и прилично, и не пришло бы ему потом в голову, придя в зрелый возраст, заводить несвойственные ей фабрики и мануфактуры, доверяя иностранным промышленникам, заботящимся о временной собственной выгоде. И точно таким же образом чтобы ему еще во младенчестве видны были в настоящем виде качества и свойства русского народа со всем разнообразьем особенностей, какими отличаются его ветви и племена, чтобы еще во

младенчестве ему было видно, к чему именно каждый из этих племен способен вследствие орудий и сил, ему данных, и обращал бы он внимание потом, когда приведет его Бог в зрелом возрасте сделаться государственным человеком, на особенности каждого из них, уважал бы обычаи, порожденные законами своей местности, и не требовал бы повсеместного выполненья того, что хорошо в одном угле и дурно в другом. Книга эта составляла давно предмет моих размышлений. Он зреет вместе с нынешним моим трудом (вторым томом "Мертвых душ". - Б.С.) и, может быть, в одно время с ним будет готова. В успехе ее я надеюсь не столько на свои силы, сколько на любовь к России, слава Богу, беспрестанно во мне увеличивающуюся, на споспешество всех истинно знающих ее людей, которым дорога ее будущая участь и воспитанье собственных детей, а пуще всего на милость и помощь Божью, без которой ничто не совершится и начинанье наиискуснейшего погибнет вначале".

В М. о г. Гоголь подчеркивал, что именно география прекраснее для детей, чем любая другая наука, "и не больно ли, если показывают им вместо всего этого какой-то безжизненный, сухой скелет, холодно говоря: "Вот земля, на которой живем мы, вот тот прекрасный мир, подаренный нам непостижимым его Зодчим!" Этого мало: его совершенно скрывают от них и дают им вместо того грызть политическое тело, превышающее мир их понятий и несвязное даже для ума, обладающего высшими идеями". Здесь же Гоголь указал на тесное взаимодействие в преподавании истории и географии: "История изредка должна только озарять воспоминаниями географический мир их (воспитанников. - Б. С.). Протекшее должно быть слишком разительно и разве уже происходить из чисто географических причин, чтобы заставить вызывать его. Но если воспитанник проходит в это время и историю, тогда ему необходимо показать область ее действия; тогда география сливается и составляет одно тело с историей". Гоголь полагал, что "леность и непонятливость воспитанника обращаются в вину педагогу и суть только вывески его собственного нерадения; он не умел, он не хотел овладеть вниманием своих юных слушателей; он заставил их с отвращением принимать горькие свои пилюли. Совершенной неспособности невозможно предполагать в дитяти. Мне часто случалось быть свидетелем, как ребенок, признанный за не способного ни к чему, обиженного природою, - слушал с неразвлекаемым вниманием страшную сказку, и на лице его, почти бездушном, не оживляемом до того никаким чувством участия, попеременно прорывались черты беспокойства и боязни (вероятно, писатель имел в виду свою сестру О. В. Гоголь. - Б. С.). Неужели нельзя задобрить такого внимания в пользу науки?"

НАЩОКИН Павел Воинович (1800-1854), помещик, отставной корнет лейб-гвардии Кирасирского полка, друг А. С. Пушкина и хороший знакомый Гоголя, человек, очень умный, образованный и добрый, превосходный рассказчик, но гуляка и картежник, промотавший немалое состояние. Послужил прототипом помещика Хлобуева во втором томе "Мертвых душ". После смерти Пушкина Н. подарил Гоголю пушкинские часы.

Гоголь хлопотал о трудоустройстве по коммерческой части разорившегося Н. у богатого петербургского откупщика Д. Е. Бенардаки, послужившего прототипом персонажей второго тома "Мертвых душ" - откупщика Муразова и

помещика Костанжогло. 8/20 июля 1842 г. Гоголь писал Н. из Гастейна: "Вы, может быть, удивитесь, Павел Войнович, что я до сих пор не уведомил вас о разговоре, который я имел об вас с Бенардаки. Но мне прежде хотелось всё обдумать на месте и на просторе, а не отделаться двумя строчками с дороги кое-как и впопыхах, тем более, что дело, как вы увидите сами, дело стоит того. Теперь я сижу на месте, в Гастейне, и пишу к вам. Вы знаете уже причины, вследствие которых я хлопочу о вас. Это не вследствие дружеских отношений наших, не вследствие одного личного уважения качеств души вашей; но вследствие ваших сведений, познания людей и света, верного взгляда на вещи и ясного, светски просвещенного, опытного ума, которые должны быть употреблены в дело, и был бы грех на душе моей, если бы с своей стороны я не способствовал к тому. Я давно размышлял об вашей участи и о крайности теперешнего вашего положения, хотя вам не говорил об этом. К служебным казенным местам путь вам закрыт - это я видел ясно. Вы провели по примеру многих бешено и шумно вашу первую молодость, оставив за собою в свете название повесы. Свет остается при раз установленном от него же названии. Ему нет нужды, что у повесы была прекрасная душа, что в минуты самых повесничеств сквозили ее благородные движения, что ни одного бесчестного дела не было им сделано, что бывший повеса уже давно умудрен опытом и жизнью, что он уже не юноша, но отец семейства, выполняющий строго свои обязанности к Богу и к людям и приобретший себе твердого вожатия в вере, которого часто не бывает вовсе у тех, которые произносят суд над другими. Но свету нет нужды до этого; это не принимается в строку, и название пустого человека, придаваемое всякому неслужившему, заграждает ему путь навеки к казенным местам. Вот почему я думал, что вам лучше всего нужно сойтись с Бенардаки, человеком понимающим глубже вещи, нежели другие, владеющим ясным, верным взглядом и умом глубоко практическим, стало быть, оценящим вас более, чем другие. Я ему рассказал всё, ничего не скрывая, что вы промотали всё свое имение, что провели безрасчетно и шумно вашу молодость, что были в обществе знатных повес и игроков и что среди всего этого вы не потерялись ни разу душою, не изменили ни разу ее благородным движениям, умели приобресть невольное уважение достойных и умных людей и с тем вместе самую искреннюю дружбу Пушкина, питавшего ее к вам преимущественно перед другими до конца своей жизни. И будучи низринуты в несчастие, в самые крайние положения, от которых бы закружилась и потерялась у всякого другого голова, вы не впали в отчаяние, не прибегнули ни к одному бесчестному средству, которое бы могло вас выпутать из крайности, не вдавались ни в один из тех пороков, в которые способен вдаться русский, приведенный в отчаяние, что умели вынести с высоким христианским терпением испытания, умели благословлять свои несчастия и несете свой крест с тою покорностью и верой, какая не является ныне. И в заключение сказал я, что если есть у него такое место, на которое бы потребовался честнейший и благороднейший человек, то он никого другого не употребил бы для этого с такою пользою, как вас. Он слушал меня со вниманием, и когда я кончил, он сделал такое предложение, которого я, признаюсь, совсем не ожидал: именно, не хотите ли вы быть наставником его сына? Зная, что вы никогда не имели в

виду подобного места и не готовили себя на то, зная вместе с тем, что в свете на подобные места требуются семинаристы и студенты, знакомые более со школой и с наукой, а не со светом и людьми, которые занимают такие места на время, пока не отыщется лучшее и выгоднейшее занятие, из насущного куска хлеба, зная это, я уже готовил было за вас решительный отказ. Но несколько слов, сказанных им тут же, объяснили мне достаточно его образ мыслей насчет воспитания. В словах и в самом голосе, с каким они были произнесены, был слышен отец, понимающий всю важность душевного внутреннего образованья, а не наружного и блестящего. И, признаюсь, после таких слов уважение мое возросло к нему еще более, и я вслед за ним делаю теперь такое же предложение с своей стороны: не хотите ли быть воспитателем его сына? Качества, которые у вас я для этого вижу, суть вот какие: об науках и ученьи вам заботиться нечего, для этого у него будут профессора и, без сомнения, лучшие, какие найдутся. Но вы можете действовать на него другою стороною. Вы можете внушить ему с самых юных лет познание людей и света в настоящем их виде. Уже одно множество происшествий, случившихся в виду и на глазах ваших, истории разорившихся владельцев, множество нечаянных случаев и событий, которые рассказываете вы так живо и увлекательно и с такою верностью, в которых так отражается наш современный русский барин и человек, со всей своей оплошностью и недостатками, которых виною всегда почти сам, одни эти живые рассказы уже могут подействовать глубоко на душу и сильнее всяких теорий и наставлений книжных заставят увидеть и свои обязанности и долг. Испытанные несчастиями и крушеньями, вы можете одни сообщить твердость душе его, которой не в силах сообщить ни один, не изведавший сам горя. Вы более, нежели кто другой, можете водрузить в его душу неколебимую веру в Бога, потому что получили сами ее не внушеньями от других и преданьями, но нашли ее сами в глубине души своей среди горнила бедствий, и потому вы одни только можете внушить ему истинное мужество: не упасть духом в неудачах и не бледнея встречать несчастия. Кроме того: Вы имеете на своей стороне светлую ровность характера, которая между прочим необходимое условие для воспитанника. Вы не можете ни в каком случае предаться минутному увлечению гнева, что обыкновенно портит характер. Вы можете скоро заставить полюбить себя, а путем любви можно передать много прекрасного в душу. Вы можете мало-помалу внушить ему желанье наблюдать людей и чрез то узнавать дурные и хорошие стороны. Не владея подробными знаниями в науках, вы имеете о них вообще светлые идеи и верные понятия. Вы в простых разговорах можете ему доставить то, чего не доставит ученый педант, потому что от него сокрыта тайна быть интересным для людей всех возрастов. Вы можете видеть уже сами, что ваше воспитание отнюдь не должно походить на так называемое гувернерское. Оно должно быть ближе к душе и к сердцу, всё в разговорах, а не в книгах. Жизнь, живая жизнь должна составить ваше учение, а не мертвая наука. Наблюдая за ним вашим светлым умом, вы более, чем кто другой, можете открыть в нем главную наклонность, стихию, предмет, к которому внушил Бог стремление ему в душу преимущественно пред другими. И тогда вы должны обратить внимание на эту способность и на предмет, к которому она влечется, то есть представить ему сколько возможно в заманчивой

перспективе предмет и возбудить в высшей степени к нему любопытство. А там уж он с своим профессором может погрузиться в него, как в науку. Вы можете это сделать, то есть узнать главную способность, наводя разговор на все, но этого не может сделать ученый или профессор, занятый односторонностью науки, ниже частный человек, не ознакомленный с разными сторонами жизни и людей. Вы знакомы с лучшими художниками и артистами и проводили часто среди их время, а потому можете знакомить его и с этою стороною. Искусства и художества много возвышают душу. Наконец вы можете передать ему настоящую простоту светского обращения, чуждую высокомерия и гордости или изменчивой неровности, какая бывает в человеке, вечно сомневающемся, как ему быть с другими, что немаловажно тоже, потому что ему предстоит поприще просторное в свете, а уменье обращаться непринужденно и просто всегда привлекает других. Итак, вот те качества, которые я у вас вижу, качества, говорящие за возможность вашу заняться таким делом. Недостатки ваши могут быть разве только в неподвижности и лени, одолевающей русского человека во время продолжительного бездействия, и в трудности подняться на дело. Но в той же русской природе есть способность, поднявшись на дело, совершить его полно и окончательно, русский сидень делает в малое время больше, чем какой-нибудь труженик, работающий всю жизнь. К тому же бездействие не составляет вашего характера. Итак, обратите всё внимание ваше, рассмотрите и сообразите это предложение. Прежде всего вспомните, что вы совершите подвиг, угодный Богу. Нет лучше дела, как образовать прекрасного человека. Вспомните, что тому, кого вы образуете, предстоит поприще большое, может быть, даже государственное. Уже одни богатства дадут ему всегда возможность иметь сильное влияние в России. Поэтому вы можете быть творцом многих прекрасных дел. Отец его приобрел богатства сии силою одного ума и глубоких соображений, а не удачами и слепым счастьем, и потому они не должны быть истрачены втуне. Они должны быть употреблены на прекрасные дела. Может быть, счастье многих будет зависеть от вас. Рассмотрите внимательно свою жизнь и вспомните, что всё, что ниспосылается к нам Богом, всё сниспосылается с великою целью. Бедствия, испытания, доставшиеся на вашу долю, самая эта твердость души, приобретенная вами, всё это дано вам для того, чтобы вы употребили его в дело. Теперь предстоит вам это дело: приобретенное добро вы должны передать другому. Вы умели терпеть посланные вам злоключения, умели не роптать, находили даже возможность протянуть руку помощи другому, как ни горька была ваша собственная участь. Но вы еще не наложили на себя ни разу никакого подвига, свидетельствовавшего бы ваше самопожертвованье и любовь христианскую к брату, не предприняли дела во имя Бога, внутренно угодного Богу, без чего все наши действия суть только оборонительные, а не наступательные. Вам предстоит теперь этот подвиг. Если вы предпримете его во имя Бога, с высоким самопожертвованием, как дело святое, то подадутся вам с вышины и силы и помощь, и всё, что было трудного, обратится вам в легкое и удобоисполнимое, и много наслаждений вкусите вы в глубине души вашей. Потому что всё, предпринимаемое нами с такими мыслями и с такой верою, награждается чудными внутренними наслаждениями, которых в тени не обретет человек во внешнем мире. Насчет условий я ничего

вам не скажу, как только то, что Бенардаки очень понимает всю важность воспитания сына, что он знает ваше положение, что вы и ваши дети будут обеспечены и что он лучше, нежели кто другой, может чувствовать, чем вознаградить вас. Итак, рассмотрите это дело, рассмотрите глубоко себя и дайте мне ваш чистосердечный, искренний ответ. Впрочем, он не может не быть чистосердечен. Я знаю вас и знаю, что вы ни в каком случае не захотите взяться за то, где вы почувствуете свое несостояние сделать пользу, как ни велика бы была крайность, вам угрожающая. Помните, что вы должны будете переехать в Петербург, может быть, несколько изменить ваш образ жизни, может быть, даже несколько съежиться в первый год. Петербург и Москва две разные вещи. Впрочем, вы сами знаете это хорошо, и вас не подобные обстоятельства могут остановить. Я не смею вам советовать ехать теперь же в Петербург для свидания с Бенардаки, потому что не знаю, может быть, в крайности вашего положения эта незначительная поездка будет для вас значительна; но, признаюсь, мне бы желалось очень, чтобы вы с ним поскорее познакомились. Будьте с ним просты, как вы есть, и всё нараспашку, не скройте ничего, ни положения вашего, ни образа мыслей, ни характера, одним словом, чем скорее он вас узнает, тем и для вас и для него лучше. Он мне дал слово тоже действовать с своей стороны откровенно во всем. Итак, не замедлите и напишите поскорее ваш ответ. Я буду ждать его нетерпеливо. Как мое письмо к вам, так и ответ ваш я перешлю Бенардаки, ибо в этом деле, вы должны чувствовать сами, мы все трое должны действовать чистосердечно и добросовестно как только возможно больше. Итак, помолитесь Богу, и Он вразумит вас".

Однако Н. отклонил предложение Бенардаки: столбовому дворянину негоже было опускаться до положения домашнего учителя, пусть даже в семье петербургского миллионера. Да еще в качестве живого примера мота-неудачника, чей печальный опыт должен был научить сына откупщика умеренности и бережливости.

В письме Н. М. Языкову от 21 декабря 1843 г. (2 января 1844 г.) из Ниццы Гоголь просил его утешить Н.: "Нащокина поблагодари за поклон и скажи ему, что я сам тоже без денег и без места, стало быть, мы должны крепиться духом и прибегать к одной силе, поддерживающей человека".

"НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ", повесть. Опубликована: Гоголь Н. В. Арабески. СПб., 1835. Первые наброски Н. п. относятся к 1831 г. Они сохранились в одной тетради с набросками "Ночи перед Рождеством" и "Портрет".

Повесть была завершена в октябре 1834 г. Цензурное разрешение датировано 10 ноября 1834 г. Перед предоставлением в цензуру рукопись Н. п. по просьбе Гоголя, опасавшегося придирок цензоров, просмотрел А. С. Пушкин, который в начале ноября 1834 г. успокоил автора: "Перечел с большим удовольствием; кажется, все может быть пропущено. Секуцию жаль выпустить: она, мне кажется, необходима для полного эффекта вечерней мазурки. Авось Бог вынесет. С Богом!" Впоследствии, в 1836 г., А.С. Пушкин назвал Н. п. "самым полным" из гоголевских произведений. Н. п. открывал цикл петербургских повестей в 3-м томе "Сочинений" Гоголя, вышедшем в 1842 г.

В Н. п. в конспективном виде присутствуют сюжеты других повестей этого цикла. Так, намерение пьяного немца-жестянщика Шиллера отрезать собственный нос предвосхищает историю майора Ковалева из повести "Нос": "Шиллер сидел, выставив свой довольно толстый нос и поднявши вверх голову; а Гофман держал его за этот нос двумя пальцами и вертел лезвием своего сапожнического ножа на самой его поверхности...

" - Я не хочу, мне не нужен нос! - говорил он, размахивая руками. - У меня на один нос выходит три фунта табаку в месяц... Двадцать рублей сорок копеек на один табак. Это разбой!... Двадцать рублей сорок копеек! Я швабский немец; у меня есть король в Германии. Я не хочу носа! режь мне нос! вот мой нос!"

И если бы не внезапное появление поручика Пирогова, то, без всякого сомнения, Гофман отрезал бы ни за что ни про что Шиллеру нос, потому что он уже привел нож свой в такое положение, как бы хотел кроить подошву".

Первоначально сцена наказания поручика Пирогова была изображена более подробно, и со всей определенностью говорилось о том, что герой был высечен: "Если бы Пирогов был в полной форме, то, вероятно, почтение к его чину и званию остановило бы буйных тевтонов. Но он прибыл совершенно как частный, приватный человек, в сюртуке и без эполетов. Немцы с величайшим неистовством сорвали с него все платья. Гофман всей тяжестью своей сел ему на ноги, Кунц схватил за голову, а Шиллер схватил в руку пук прутьев, служивших метлою. Я должен с прискорбием признаться, что поручик Пирогов был очень больно высечен". Оптимизм Пушкина, что цензура пропустит "секуцию" в неизменном виде, не оправдался. По требованию цензоров эту сцену пришлось смягчить, однако в тексте сохранились ясные намеки на то, что поручика пороли розгами.

По настоянию цензуры пришлось исключить другой колоритный эпизод встречу Пискарева в борделе с офицером, знакомым красавицы (очевидно, цензоры боролись за честь офицерского мундира): "Боже! помоги мне вынесть!" - произнес отчаянным голосом Пискарев и уже готов был собрать весь гром сильного, из самой души излитого красноречия, чтобы потрясти бесчувственную, замерзшую душу красавицы, как вдруг дверь отворилась и вошел с шумом один офицер. "Здравствуй, Липушка", - произнес он, без церемонии ударивши по плечу красавицу. "Не мешай же нам, - сказала красавица, принимая глупо-серьезный вид. - Я выхожу замуж и сейчас должна принять предлагаемое мне сватовство". О, этого уже нет сил перенести! бросился он вон, потерявши и чувства, и мысли".

В письме матери от 30 апреля 1829 г. Гоголь следующим образом передавал свои впечатления от Невского проспекта, ставшего главным пространством повести, организующим ее сюжет: "В Петербурге много гуляний. Зимою прохаживаются все праздношатающиеся от двенадцати до двух часов (в это время служащие заняты) по Невскому проспекту". В этом же письме Гоголь делится своими впечатлениями от столицы: "Петербург вовсе не похож на прочие столицы европейские или на Москву (в прочих европейских столицах, равно как и в первопрестольной, Гоголь к тому времени еще ни разу не бывал. - Б. С.). Каждая столица вообще характеризуется своим народом, набрасывающим на нее печать национальности, на Петербурге же нет никакого

характера: иностранцы, которые поселились сюда, обжились и вовсе не похоже на иностранцев, а русские в свою очередь обиностранились и сделались ни тем ни другим. Тишина в нем необыкновенная, никакой дух не блестит в народе, всё служащие да должностные, все толкуют о своих департаментах да коллегиях, всё подавлено, всё погрязло в бездельных, ничтожных трудах, в которых бесплодно издерживается жизнь их. Забавна очень встреча с ними на проспектах, тротуарах; они до того бывают заняты мыслями, что поравнявшись с кем-нибудь из них слышишь, как он бранится и разговаривает сам с собою, иной приправляет телодвижениями и размашками рук. Петербург город довольно велик; если вы захотите пройтиться по улицам его, площадям и островам в разных направлениях, то вы наверно пройдете более 100 верст и, несмотря на такую его обширность, вы можете иметь под рукою всё нужное, не засылая далеко, даже в том самом доме. Дома здесь большие, особливо в главных частях города, но не высоки, большею частию в три и четыре этажа, редко очень бывают в пять, в шесть только четыре или пять по всей столице, во многих домах находится очень много вывесок. Дом, в котором обретаюсь я, содержит в себе 2-х портных, одну маршанд де мод, сапожника, чулочного фабриканта, склеивающего битую посуду, дегатировщика и красильщика, кондитерскую, мелочную лавку, магазин сбережения зимнего платья, табачную лавку, и наконец привилегированную повивальную бабку. Натурально, что этот дом должен быть весь облеплен золотыми вывесками".

В другом письме матери, от 24 июля 1829 г., Гоголь описал встречу с проституткой на Невском, отразившуюся в статье "Женщина" и давшую один из сюжетных ходов Н. п.: "Везде совершенно я встречал одни неудачи, и что всего страннее там, где их вовсе нельзя было ожидать. Люди, совершенно неспособные, без всякой протекции легко получали то, чего я с помощью своих покровителей не мог достигнуть; не явный ли был здесь надо мною промысл Божий? не явно ли он наказывал меня этими всеми неудачами в намерении обратить на путь истинный? Что ж? я и тут упорствовал, ожидал целые месяцы, не получу ли чего. Наконец... какое ужасное наказание! Ядовитее и жесточе его для меня ничего не было в мире. Я не могу, я не в силах написать... Маминька! Дражайшая маминька! Я знаю, вы один истинный друг мне. Но верите ли, и теперь, когда мысли мои уже не тем заняты, и теперь при напоминании невыразимая тоска врезывается в сердце. Одним вам я только могу сказать (далее зачеркнуто: только скажу это, будучи уверен, что (одно слово неразборчиво). - Б. С.)... Вы знаете, что я был одарен твердостью, даже редкою в молодом человеке... Кто бы мог ожидать от меня подобной слабости. Но я видел ее... нет, не назову ее... она слишком высока для всякого, не только для меня. Я бы назвал ее ангелом, но это выражение низко и некстати для нее. Ангел - существо, не имеющее ни добродетелей, ни пороков, не имеющее характера, потому что не человек, и живущее мыслями в одном небе. Но нет, болтаю пустяки и не могу выразить ее. Это божество, но облеченное слегка в человеческие страсти. Лицо, которого поразительное блистание в одно мгновение печатлеется в сердце; глаза, быстро пронизающие душу. Но их сияния, жгущего, проходящего насквозь всего, не вынесет ни один из человеков... О если бы вы посмотрели на меня тогда... правда, я умел скрывать

себя от всех, но укрылся ли от себя? Адская тоска с возможными муками кипела в груди моей. О какое жестокое (зачеркнуто: убивственное. Б. С.) состояние! Мне кажется, если грешникам уготован ад, то он не так мучителен. Нет, это не любовь была... я по крайней мере не слыхал подобной любви... В порыве бешенства и ужаснейших душевных терзаний я жаждал, кипел упиться одним только взглядом, только одного взгляда алкал я... Взглянуть на нее еще раз - вот бывало одно единственное желание, возраставшее сильнее и сильнее с невыразимою едкостью тоски. С ужасом осмотрелся и разглядел я свое ужасное состояние, всё совершенно было для меня тогда чуждо, жизнь и смерть равно несносны, и душа не могла дать отчета в своих явлениях. Я увидел, что мне нужно бежать от самого себя, если я хотел сохранить жизнь, водворить хотя тень покоя в истерзанную душу. В умилении (зачеркнуто: в благоговении. - Б. С.) я признал невидимую десницу, пекущуюся о мне, и благословил так дивно назначаемый путь мне. Нет, это существо, которое он послал лишить меня покоя, расстроить шатко-созданный мир мой, не была женщина. Если бы она была женщина, она бы всею силою своих очарований не могла произвесть таких ужасных, невыразимых впечатлений. Это было божество, им созданное, часть его же самого! Но, ради Бога, не спрашивайте ее имени. Она слишком высока, высока". Можно предположить, что неудача на любовном фронте, как следствие рано проявившейся импотенции, укрепила писателя в том, что его миссия лежит вне обычной любви и семейной жизни, что сам Бог подвиг его на иной путь духовного подвига посредством литературы, и женщины могут лишь увести его с избранного пути.

В Н. п. нашли отражение впечатления Гоголя от знакомства с художниками А. Г. Венециановым, А. Н. Мокрицким, К. П. Брюлловым и др., а также собственный опыт занятий живописью. В 1830-1833 гг. писатель посещал в качестве вольнослушателя классы Академии художеств. 3 июня 1830 г. он описывал в письме к матери свои занятия живописью: "...После обеда в 5 часов отправляюсь я в класс, в академию художеств, где занимаюсь живописью, которую я никак не в состоянии оставить, - тем более, что здесь есть все средства совершенствования в ней, и все они кроме труда и старания ничего не требуют. По знакомству своему с художниками и со многими даже знаменитыми, я имею возможность пользоваться средствами и выгодами, для многих недоступными. Не говоря уже об их таланте, я не могу не восхищаться их характером и обращением; что это за люди! Узнавши их, нельзя отвязаться от них навеки, какая скромность при величайшем таланте! Об чинах и в помине нет, хотя некоторые из них статские и даже действительные советники. В классе, который посещаю я три раза в неделю, просиживаю два часа; в семь часов прихожу домой..."

В. Г. Белинский в статье "О русской повести и повестях г. Гоголя" (1835) восторженно отозвался о Н. п. Он подчеркнул, что Гоголь "здесь расширил свою сцену действия и, не оставляя своей любимой, своей прекрасной Малороссии, пошел искать поэзии в нравах среднего сословия в России. И, Боже мой, какую глубокую и могучую поэзию нашел он тут! Мы, москали, и не подозревали ее!.. "Невский проспект" есть создание столь же глубокое, сколько и очаровательное; это две полярные стороны одной и той же жизни, это высокое и смешное о-бок

друг другу. На одной стороне этой картины бедный художник, беспечный и простодушный, как дитя, замечает на Невском проспекте женщину-ангела, одно из тех дивных созданий, которые могло производить только его художническое воображение; он следит за нею, он дрожит, он не смеет дохнуть, ибо он еще не знает ее, но уже обожает ее, а всякое обожание робко и трепетно; он замечает ее благосклонную улыбку... Задыхаясь от упоения и трепетного предчувствия блаженства, он входит за нею в третий этаж большого дома, и что же представляется ему?.. Она, все так же прекрасная, очаровательная, она смотрит на него глупо, нагло, как бы говоря ему: "Ну! что же ты?.." Он бросается вон. Я не хочу пересказывать его сна, этого дивного, драгоценного перла нашей поэзии, второго и единственного после сна Татьяны Пушкина: здесь г. Гоголь поэт в высочайшей степени. Кто читает эту повесть в первый раз, для того в этом дивном сне действительность и поэзия, реальное и фантастическое так тесно сливаются, что читатель изумляется, узнавши, что все это только сон. Представьте себе бедного, оборванного, запачканного художника, потерянного в толпе звезд, крестов и всякого рода советников: он толкается между ними, уничтожающими его своим блеском, он стремится к ней, и они беспрестанно разлучают его с ней, они, эти кресты и звезды, которые смотрят на все без всякого упоения, без всякого трепета, как на свои золотые табакерки... И какое пробуждение после этого сна! и как можно жить после такого пробуждения? И он, точно, не живет более в действительности, он весь в грезах... Наконец, в его душе блеснул обманчивый, но радужный луч надежды: он решается на самоотвержение, он хочет принести ей в жертву, как Молоху, даже честь свою... "А я только что теперь проснулась, меня привезли в семь часов утра, я была совсем пьяна", - это говорит ему она, все так же прекрасная, очаровательная... После этого можно ли было жить даже и в грезах?.. И нет художника, он сошел в темную могилу, никем не оплаканный, и мир не знал, какая высокая и ужасная драма была разыграна в этой грешной, страдальческой душе... На другой стороне этой картины вы видите Пирогова и Шиллера... того Шиллера, который хотел отрезать себе нос, чтобы избавиться от излишних расходов на табак; того Шиллера, который говорит с гордостью, что он швабский немец, а не русская свинья и что у него есть король в Германии; того Шиллера, который "еще с двадцатилетнего возраста, с того времени, которое русский живет на-фуфу, измерил всю свою жизнь и положил себе, в течение 10 лет, составить капитал из 50 тысяч и у которого это было уже так верно и неотразимо, как судьба, потому что скорее чиновник позабудет заглянуть в швейцарскую своего начальника, нежели немец решится переменить свое слово"; наконец того Шиллера, который "положил целовать жену свою в сутки не более двух раз и чтобы как-нибудь не поцеловать лишний раз никогда не клал перцу более одной ложечки в свой суп". Чего вам еще? Тут весь человек, вся история его жизни!.. А Пирогов?.. О, об нем об одном можно написать целую книгу!.. Вы помните его волокитство за глупою блондинкою, с которую он составляет такую отличную пару, его ссору и отношения с Шиллером; помните, какие ужасные побои претерпел он от флегматического Отелло, помните, каким негодованием, какою жаждою мести закипело сердце поручика, и помните, как скоро прошла его досада от съеденных в кондитерской пирожков и прочтения "Пчелы"?.. Чудные пирожки!

Чудная "Пчела"! Пискарев и Пирогов - какой контраст! Оба они начали в один день, в один час преследования своих красавиц, и как различны для обоих них были следствия этих преследований! О, какой смысл скрыт в этом контрасте! И какое действие производит этот контраст! Пискарев и Пирогов, один в могиле, другой доволен и счастлив, даже после неудачного волокитства и ужасных побоев!.. Да, господа, скучно на этом свете!.." О Пирогове Белинский писал: "Святители! да это целая каста, целый народ, целая нация!.. Ты многообъемлющее, чем Шейлок, многозначительнее, чем Фауст!.. Это символ, мистический миф, это, наконец, кафтан, который так чудно скроен, что придет по плечам тысяч человек!"

Образы немецких ремесленников в Н. п. отразили взгляд Гоголя на немцев, отразившийся, в частности, в письме С. Т. Аксакову о К. С. Аксакове от 22 декабря н. ст. 1844 г.: "Константин Сергеевич не смекает, что в эту пору лет, в которой он находится, не следует вовсе заботиться о логической последовательности всякого рода развитий. Для этого нужно быть или вовсе старику или вовсе немцу, у которого бы в жилах текла картофельная кровь, а не та горячая и живая, как у русского человека".

Ф. М. Достоевский в "Дневнике писателя" за 1873 г. высоко оценил образ Пирогова: "Поручик Пирогов, сорок лет тому назад высеченный в Большой Мещанской слесарем Шиллером, был страшным пророчеством, пророчеством гения, так ужасно угадавшего будущее, ибо Пироговых оказалось так безмерно много, так много, что и не пересечь. Вспомните, что поручик сейчас же после приключения съел слоеный пирожок и отличился в тот же вечер в мазурке на именинах у одного видного чиновника. Как вы думаете: когда он откалывал мазурку и вывертывал, делая па, свои столь недавно оскорбленные члены, думал ли он, что его всего только часа два как высекли? Без сомнения, думал. А было ли ему стыдно? Без сомненья, нет".

В образе Шиллера отразилось негативное отношение Гоголя к Германии и немцам, вынесенное еще из первой поездки в Германию в 1829 г. 30 мая н. ст. 1839 г. он писал из Рима М. П. Балабиной: "Вы не поверите, как грустно оставить на один месяц Рим и мои ясные, мои чистые небеса, мою красавицу, мою ненаглядную землю. Опять я увижу эту подлую Германию, гадкую, запачканную и закопченную табачищем... Но я позабыл, что вы ее так любите, и чуть было не сказал еще несколько приличных ей эпитетов. Впрочем, совершенно не понимаю вашей страсти. Или, может быть, для этого нужно жить в Петербурге, чтобы почувствовать, что Германия хороша? И как вам не совестно! Вы, которая так восхищались в письме Шекспиром, этим глубоким, ясным, отражающим в себе, как в верном зеркале, весь огромный мир и всё, что составляет человека, и вы, читая его, можете в то же время думать о немецкой дымной путанице! И Можно ли сказать, что всякий немец есть Шиллер?! Я согласен, что он Шиллер, но только тот Шиллер, о котором вы можете узнать, если будете когда-нибудь иметь терпение прочесть мою повесть "Невский проспект". По мне, Германия есть не что другое, как самая неблаговонная отрыжка гадчайшего табаку и мерзейшего пива. Извините маленькую неприятность этого выражения. Что ж делать, если предмет сам неопрятен, несмотря на то, что немцы издавна славятся опрятностью?"

Гибель Пискарева происходит от того, что высокое искусство не выдерживает столкновения с пошлой прозой жизни. В. В. Зеньковский в "Истории русской философии" так передает содержание Н. п.: "...Гоголь рассказывает о художнике, в душе которого царит глубокая вера в единство эстетического и морального начала, но эта вера разбивается при встрече с жизнью. Художник встречает на улице женщину поразительной красоты, которая оказывается связанной с притоном разврата. Художником овладевает отчаяние; он пытается уговорить красавицу бросить ее жизнь, но та с презрением и насмешкой слушает его речи. Бедный художник не выдерживает этого страшного раздора между внешней красотой и внутренней порочностью, сходит с ума и в порыве безумия кончает с собой". Фактически здесь Гоголь предсказал собственную судьбу. Его трагическая гибель - род самоубийства, когда писатель сознательно уморил себя голодом, была вызвана осознанием невозможности примирить эстетику и мораль.

Не исключено, что фамилии героев Н. п. значимы для их характеристики. "Пирогов" символизирует сытость, а "Пискарев" - то, что носитель этой фамилии - "маленький человек", ничто перед сильными мира сего (пескарь мелкая рыбка; фамилия ассоциируется также с писком ребенка, что подчеркивает наивно-детское восприятие героем действительности). Неслучайно именно вкусные пирожки заставляют Пирогова забыть о позорной порке, учиненной ему Шиллером. В чем-то Пирогов - это предтеча Чичикова, который не только столь же практичен, как этот герой Н. п., и обладает столь же завидным аппетитом, но и умеет очень быстро забывать о неприятностях и позоре, пускаясь в новое дело. Кстати сказать, во времена Гоголя слово "пескарь" писалось через "ять", а это буква тогда соответствовала особому звуку, среднему между "е" и "и", а в данном случае в безударном положении этот звук произносился как "и". Фамилии же Шиллер и Гофман даны людям практичным и чуждым всякой поэзии по контрасту с носившими те же фамилии великих романтиков - поэта и писателя.

"НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПУШКИНЕ", статья, вошедшая в сборник "Арабески". Статья "О Пушкине" встречается уже в первоначальном плане "Арабесок", составленном в июле 1834 г.

В январе 1835 г. Гоголь писал А. С. Пушкину, имея в виду, вероятно, в первую очередь статью Н. с. о П.: "Посылаю вам два экземпляра Арабесков... Вычитайте и сделайте милость, возьмите карандаш в ваши руки и никак не останавливайте негодование при виде ошибок, но тот же час их всех налицо". Гоголь полагал, что Пушкин "при самом начале своем уже был национален, потому что истинная национальность состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа. Поэт даже может быть и тогда национален, когда описывает совершенно сторонний мир, но глядит на него глазами своей национальной стихии, глазами всего народа, когда чувствует и говорит так, что соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами".

В черновом фрагменте Н. с. о П. Гоголь писал: "Он был каким-то идеалом молодых людей. Его смелые, всегда исполненные оригинальности поступки и случаи жизни заучивались ими и повторялись, разумеется, как обыкновенно бывает, с прибавлениями и вариантами. Стихи его учились наизусть. Армейские

и штатские и кстати и некстати почитали обязанностью проговорить и исковеркать какой-нибудь ярко сверкающий отрывок из его поэм. И если сказать истину, то его стихи воспитали и образовали истинно-благородные чувства несмотря на то, что старики и богомольные тетушки старались уверить, что они рассеивают вольнодумство, потому только, что смелое благородство мыслей и выражения и отвага души были слишком противоположны их бездейственной вялой жизни, бесполезной и для них и для государства".

НИКИТЕНКО Александр Васильевич (1804-1877), выходец из крепостных крестьян, цензор, литературный критик, с 1834 г. профессор русской словесности Петербургского университета, автор мемуаров "Моя повесть о самом себе".

22 апреля 1832 г. Н. записал в дневнике: "Был на вечере у Гоголя-Яновского, автора весьма приятных, особенно для малороссиянина, "Повестей Пасичника Рудого Панька" ("Вечеров на хуторе близ Диканьки". - Б. С.). Это молодой человек лет 26-ти, приятной наружности. В физиономии его, однако, доля лукавства, которое возбуждает к нему недоверие. У него застал я человек до десяти малороссиян, всё почти воспитанников Нежинской гимназии".

11 апреля 1834 г. появилась еще одна запись в дневнике Н., связанная с Гоголем: "Был у Плетнева. Видел там Гоголя: он сердит на меня за некоторые непропущенные места в его повести, печатаемой в "Новоселье" ("Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем". - Б. С.). Бедный литератор! Бедный цензор!"

В записи от 21 февраля 1835 г. Н. подробно охарактеризовал Гоголя: "Гоголь Николай Васильевич. Ему теперь лет 28-29. Он занимает у нас место адъюнкта по части истории; читает историю средних веков.Преподает ту же науку в женском Патриотическом институте.Сделался известен публике повестями под названием "Вечера на хуторе".Они замечательны по характеристическому, истинно малороссийскому очерку иных характеров и живому, иногда очень забавному рассказу... Талант его чисто теньеровский (имеется в виду фламандский живописец Давид Теньер (Тенирс) (1582-1649), прославившийся картинами народного быта. - Б. С.)... Но там, где он переходит от материальной жизни к идеальной, он становится надутым и педантичным... Та же смесь малороссийского юмора и теньеровской материальности с напыщенностью существует в его характере. Он очень забавно рассказывает простонародные сцены из малороссийского быта или заимствованные из скандалезной хроники. Но лишь только начинает он трактовать о предметах возвышенных, его ум, чувство и язык утрачивают всякую оригинальность. Но он этого не замечает и метит прямо в гении. Вот случай из его жизни, который должен был бы послужить ему уроком, если бы фантастическое самолюбие способно было принимать уроки. Пользуясь особым покровительством В. А. Жуковского, он захотел быть профессором. Жуковский возвысил его в глазах Уварова до того, что тот в самом деле поверил, будто из Гоголя выйдет прекрасный профессор истории, хотя в этом отношении он не представил ни одного опыта своих знаний и таланта. Ему предложено было место экстраординарного профессора истории в Киевском университете. Но Гоголь вообразил себе, что его гений дает ему право на высшие притязания, потребовал звания ординарного профессора и

шесть тысяч рублей единовременно на уплату долгов. Молодой человек, хотя уже и с именем в литературе, но не имеющий никакого академического звания, ничем не доказавший ни познаний, ни способностей для кафедры - и какой кафедры - университетской! - требует себе того, что сам Герен, должно полагать, попросил бы со скромностью. Это может делаться только в России, где протекция дает право на все. Однакож министр отказал Гоголю. Затем, узнав, что у нас по кафедре истории нужен преподаватель, он начал искать этого места, требуя на этот раз, чтобы его сделали, по крайней мере, экстраординарным профессором. Признаюсь, и я подумал, что человек, который так в себе уверен, не испортит дела, и старался его сблизить с попечителем, даже хлопотал, чтобы его сделали экстраординарным профессором. Но нас не послушали и сделали его только адъюнктом. Что же вышло? "Синица явилась зажечь море" - и только. Гоголь так дурно читает лекции в университете, что сделался посмешищем для студентов. Начальство боится, чтоб они не выкинули над ним какой-нибудь шалости, обыкновенной в таких случаях, но неприятной по последствиям. Надобно было приступить к решительной мере. Попечитель призвал его к себе и очень ласково объявил ему о неприятной молве, распространившейся о его лекциях. На минуту гордость его уступила место горькому сознанию своей неопытности и бессилия. Он был у меня и признался, что для университетских чтений надо больше опытности. Но это в конце концов не поколебало веры Гоголя в свою всеобъемлющую гениальность. Хотя, после замечания попечителя, он должен был переменить свой надменный тон с ректором, деканом и прочими членами университета, но в кругу "своих" он все тот же всезнающий, глубокомысленный, гениальный Гоголь, каким был до сих пор. Это смешное, надутое, ребяческое самолюбие, впрочем, составляет черту характера не одного Гоголя..."

28 апреля 1836 г. Н. записал в дневнике: "Комедия Гоголя "Ревизор" наделала много шуму. Ее беспрестанно дают - почти через день. Государь был на первом представлении, хлопал и много смеялся. Я попал на третье представление. Была государыня с наследником и великими княжнами. Их эта комедия тоже много тешила. Государь даже велел министрам ехать смотреть "Ревизора". Впереди меня, в креслах, сидели князь Чернышев (военный министр. - Б. С.) и граф Канкрин (министр финансов. - Б. С.). Первый выражал свое полное удовольствие; второй только сказал: - "Стоило ли ехать смотреть эту глупую фарсу". Многие полагают, что правительство напрасно одобряет эту пьесу, в которой оно так жестоко порицается. Я виделся вчера с Гоголем. Он имеет вид великого человека, преследуемого оскорбленным самолюбием. Впрочем, Гоголь действительно сделал важное дело. Впечатление, произведенное его комедией, много прибавляет к тем впечатлениям, которые накопляются в умах от существующего у нас порядка вещей".

1 апреля 1842 г., Н., извещая Гоголя о благополучном прохождении через цензуру "Мертвых душ" (Н. был цензором поэмы), также писал Гоголю: "После сего официального изъяснения не могу удержаться, чтоб не сказать вам несколько сердечных слов, а сердечные эти слова не иное что, как изъяснение восторга к вашему превосходному творению. Какой глубокий взгляд в самые недра нашей жизни! Какая прелесть неподдельного, вам одним свойственного

комизма! Что за юмор! Какая мастерская, рельефная, меткая обрисовка характеров! Где ударила ваша кисть, там и жизнь, и мысль, и образ - и образ так и глядит на вас, вперив свои живые очи, так и говорит с вами, как будто сидя возле вас на стуле, как будто он сейчас пришел ко мне в 4-й этаж прямо из жизни - мне не надобно напрягать своего воображения, чтоб завести с ним беседу - он живой, дышащий, нерукотворный, Божье и русское создание. Прелесть, прелесть и прелесть! и что это будет, когда всё вы кончите; если это исполнится так, как я понимаю, как, кажется, вы хотите, то тут выйдет полная великая эпопея России XIX века. Рад успехам истины и мысли человеческой, рад вашей славе. Продолжайте, Николай Васильевич. Я слышал, что вас иногда посещает проклятая гостья, всем впрочем нам, чадам века сего, не незнакомая хандра, да Бог с ней! вам дано много силы, чтоб с нею управиться. Гоните ее могуществом вашего таланта - она стоит самой доблестной воли. Но дело зовет, почта отходит - прощайте! Да хранит вас светлый гений всего прекрасного и высшего - не забывайте в вашем цензоре человека, всей душой вам преданного и умеющего понимать вас".

10 апреля 1842 г. Гоголь ответил Н.: "Благодарю вас за ваше письмо. В нем видно много участия, много искренности и много того, что прекрасно и благородно волнует человека. Да, я не могу пожаловаться на цензуру; она была снисходительна ко мне, и я умею быть признательным. Но, признаюсь, уничтоженье Копейкина меня сильно смутило. Это одно из лучших мест. И я не в силах ничем теперь заплатать ту прореху, которая видна в моей поэме. Вы сами, одаренные эстетическим вкусом, который так отразился в письме вашем, вы сами можете видеть, что кусок этот необходим, не для связи событий, но для того, чтобы на миг отвлечь читателя, чтобы одно впечатление сменить другим, и кто в душе художник, тот поймет, что без него остается сильная прореха. Мне пришло на мысль: может быть цензура устрашилась генералитета. Я переделал Копейкина; я выбросил всё, даже министра, даже слово "превосходительство". В Петербурге, за отсутствием всех, остается одна только временная комиссия. Характер Копейкина я назначил сильнее; так что теперь ясно, что он сам причиной своих поступков, а не недостаток состраданья в других. Начальник комиссии даже поступает с ним очень хорошо. Словом, всё теперь в таком виде, что никакая строгая цензура, по моему мнению, не может найти предосудительного в каком бы ни было отношении. Молю вас возвратить мне это место и скорее сколько возможно, чтобы не задержать печатанья. У Плетнева вы возьмете рукопись и передайте ее потом ему же для пересылки ко мне. Ничего вам не скажу более, ибо вы сами в письме вашем сказали, что понимаете меня, стало быть, поймете и благодарность мою".

30 октября 1842 г. Гоголь писал Н.: "Скажу вам откровенно: странное замедление выхода "Мертвых душ" при всех неприятностях принесло мне много прекрасного, между прочим, оно доставило мне вас. Да, я дотоле считал вас только за умного человека, но я не знал, что вы заключаете в себе такую любящую, глубоко чувствующую душу. Это открытие было праздником души моей".

8 мая 1845 г. Н. записал в дневнике: "В воскресенье был у министра (С. С. Уварова. - Б. С.). Он много говорил о "дурном, грязном и торговом"

направлении нашей литературы. Вспоминал о прежнем времени, когда имя литератора, по его словам, считалось почетным... Теперь не то. Имя литератора не внушает никому уважения. Он хотел показать мне письмо к нему Гоголя, да не отыскал его в бумагах. Он передал мне его содержание на словах, ручаясь за достоверность их. Гоголь благодарит за получение от государя денежного пособия и, между прочим, говорит: "Мне грустно, когда я посмотрю, как мало я написал достойного этой милости. Все, написанное мною до сих пор, и слабо, и ничтожно до того, что я не знаю, как мне загладить перед государем невыполнение его ожиданий. Может быть, однако, Бог поможет мне сделать что-нибудь такое, чем он будет доволен". Печальное самоуничижение со стороны Гоголя! Ведь это человек, взявший на себя роль обличителя наших общественных язв и действительно разоблачающий их не только верно и метко, но и с тактом, с талантом гениального художника. Жаль, жаль! Это с руки и Уварову, и кое-кому другому".

10 мая 1845 г. С. С. Уваров все-таки отыскал гоголевское письмо и продемонстрировал его Н. Тот констатировал в дневнике, что "сущность его почти та же", что передавал министр словами. В этом письме, относящемся к апрелю 1845 г., Гоголь, благодаря за денежное вспомоществование, отметил, что "все, доселе мною написанное, не стоит большого внимания: хотя в основание его легла и добрая мысль, но выражено все так незрело, дурно, ничтожно и притом в такой степени не так, как бы следовало, что недаром большинство приписывает моим сочинениям скорее дурной смысл, чем хороший, и соотечественники мои извлекают извлеченья из них скорей не в пользу душевную, чем в пользу".

30 июля н. ст. 1846 г. Гоголь писал П. А. Плетневу по поводу "Выбранных мест из переписки с друзьями": "Цензора избери Никитенку: он ко мне благосклоннее других. К нему я напишу слова два. Возьми с него также слово никому не сказывать о том, что выйдет моя книга". Но Н. не оправдал надежд.

И уже 16 октября н. ст. 1846 г. Гоголь писал П. А. Плетневу из Франкфурта: "Скорбно мне слышать происшедшие неустройства от медленности Никитенки. Но чем же виноват я, добрый друг мой? Я выбрал его потому, что знал его все-таки за лучшего из других, и притом, видя его имя, выставляемое у тебя на "Современнике", я думал, что ты с ним в сношеньях теснейших, чем с другими цензорами. Никитенко ленив, даже до невероятности, это я знал, но у него добрая душа, и на него особенно следует наседать лично. Говоря ему беспрерывно то, о чем и я хочу с своей стороны ему хорошенько растолковать: что с книгой не нужно мешкать, потому что мне нужно прежде нового года собрать деньги за ее распродажу с тем, чтобы пуститься в дальнюю дорогу. Путешествие на Восток не то, что по Европе".

В письме от 20 октября н. ст. 1846 г. Гоголь указывал П. А. Плетневу: "С Никитенком можно ладить, но с ним необходимо нужно иметь дело лично. Письмом и запиской ничего с ним не сделаешь. В нем не то главное, что он ленив, но то, что он не видит и не чувствует сам, что он ленив. Я это испытал: в бытность мою в Петербурге я его заставил в три дни прочесть то, что он не прочел бы сам по себе в два месяца. А после моего отъезда всякая небольшая статья залеживалась у него по месяцу. На него нужно серьезно насесть и на все

приводимые им причины отвечать одними и теми же словами: "Послушайте, всё это, что вы говорите, так и могло бы иметь место в другом деле, но вспомните, что всякая минута замедления расстраивает совершенно все обстоятельства автора книги. Вы - человек умный и можете видеть сами, что в книге содержится дело, и предпринята она именно затем, чтобы возбудить благоговенье ко всему тому, что поставляется нам всем в закон нашей же Церковью и нашим правительством. Вы можете сами смекнуть, что сам Государь же и двор станет в защиту ее. Переглядите и цензурный устав ваш, и все предписания прибавочные и покажите мне, против какого параграфа есть в книге противуречие. Стыдно вам и колебаться этим, подписуйте твердо и теперь же листки, потому что типография ждет, а времени и без того уже упущено довольно". И если ж им одолеют какие-нибудь нерешительности от всякого рода нелепых слухов, которые сопровождают всякий раз печатанье моей книги, какого бы ни была она рода, то обо всем переговори... с Александрой Осиповной (Смирновой. - Б. С.) и, наперекор всем помешательствам, ускори выход книги".

НИКОЛАЙ I (1796-1855), российский император с 1825 г. Лично с Гоголем знаком не был, но благодаря ходатайствам В. А. Жуковского, А. О. Смирновой, М. Ю. Виельгорского и других лиц, приближенных к императорскому двору, содействовал цензурному разрешению "Ревизора" и "Мертвых душ". По воспоминаниям актера В. А. Каратыгина, на премьеру "Ревизора" неожиданно приехал Н. и "пробыл до окончания пьесы, от души смеялся и, выходя из ложи, сказал: - "Ну, пьеска! Всем досталось, а мне - более всех!" Император потребовал от своих министров посмотреть "Ревизора" "в воспитательных целях".

В начале декабря н. ст. 1846 г. Гоголь Н. просил выдать ему для путешествия к Святым местам "пашпорт на полтора года, особенный и чрезвычайный, в котором бы великим именем Вашим склонялись все власти и начальства Востока к оказанью мне покровительства во всех тех местах, где буду проходить я. Государь! знаю, что осмеливаться вас беспокоить подобной просьбой может только один именитый, заслуженный гражданин вашего государства, а я - ничто: дворянин, незаметнейший из ряду незаметных, чиновник, начавший было служить вам и оставшийся поныне в 8 классе, писатель, едва означивший свое имя кое-какими незрелыми произведеньями. Но не я причиной ничтожности моей: десять лет тяжких недугов оторвали меня от тех трудов, к которым я порывался; десять лет тяжких внутренних страданий душевных лишили меня возможности подвизаться на полезных поприщах перед Вами. Но не пропали эти годы: великой милостью Бога устроено было так, чтобы совершалось в это время мое внутреннее воспитание, без которого не принесло бы пользы отечеству моя наиревностнейшая служба; великой милостью Бога вложены в меня некоторые не общие другим способности, которых не следовало мне выказывать, покуда не вызреют они во мне и не воспитаются, и которыми по возвращении моем из Святой Земли я сослужу Вам службу так же верно и честно, как умели служить истинно русские духом и сердцем. Тайный, твердый голос говорит мне, что не останусь я в долгу перед Вами, мой царственный благодетель, великодушный спаситель уже было

погибавших дней моих!"

Министр двора В. Ф. Адлерберг ответил Гоголю: "Государь Император изволил прочитать с особенным благоволением всеподданнейшее письмо ваше о выдаче вам паспорта для путешествия к Святым Местам. Его Величество Высочайше повелеть мне соизволил: уведомить вас, милостивый государь, что таковых чрезвычайных паспортов, какого вы просите, у нас никогда и никому не выдавалось, но что искренно сожалея содействовать вам в благом вашем намерении, Государь Император приказал министру иностранных дел снабдить вас беспошлинным паспортом на полтора года, для свободного путешествия к Святым Местам и, вместе с тем, сообщить посольству нашему в Константинополе и всем консулам нашим в турецких владениях, Египте, Малой Азии, что Государю Императору угодно, дабы вам было оказываемо с их стороны всевозможное покровительство и попечение и независимо от сих сообщений означенным лицам доставить вам рекомендательные к ним же письма от него, графа Нессельроде".

16 января н. ст. 1847 г. Гоголь в Неаполе написал письмо Н., прося его разрешить спор с цензурой по поводу "Выбранных мест из переписки с друзьями": "Всемилостивейший Государь! Только после долгого обдумывания и помолившись Богу, осмеливаюсь писать к Вам. Вы милостивы: последний подданный Вашего государства, как бы он ничтожен сам по себе ни был, но если только он находится в том затруднительном состоянии, когда недоумевают рассудить его от Вас постановленные власти, имеет доступ и прибежище к Вам. Я нахожусь в таком точно состоянии: я составил книгу в желании ею принести пользу моим соотечественникам и сим хотя сколько-нибудь изъявить признательность Вам, Государь, за Ваши благодеяния и милостивое внимание ко мне. Цензура не решается пропустить из моей книги статей, касающихся должностных лиц, тех самых статей, при составлении которых я имел неотлучно перед своими глазами высшие желания души Вашего Императорского Величества. Цензура находит, что статьи эти не вполне соответствуют цели нашего правительства; мне же кажется, что вся книга моя написана в духе самого правительства. Рассудить меня в этом деле может один тот, кто, обнимая не одну какую-нибудь часть правления, но все вместе, имеет чрез то взгляд полнее и многостороннее обыкновенных людей и кто сверх того умеет больше и лучше любить Россию, чем как ее любят другие люди; стало быть, рассудить меня может один только Государь. Всякое решение, какое ни произнесут уста Вашего Императорского Величества, будет для меня свято и непреложно. Если, благоволивши бросить взгляд на статьи мои, Вы найдете в них всё сообразным с желанием Вашим, я благословлю тогда Бога, давшего мне силы проразуметь не криво, а прямо высокий смысл Ваших забот и помышлений. Если же признаете нужным исключить что-нибудь из них, как неприличное, происшедшее скорей от моей незрелости и от моего неуменья выражаться, чем от какого-нибудь дурного умысла, я равномерно возблагодарю Бога, внушившего Вам мысль вразумить меня, и облобызаю мысленно, как руку отца, Вашу монаршую руку, отведшую меня от неразумного дела. В том и другом случае с любовью к Вам по гроб и за гробом остаюсь Вашего императорского Величества признательный верноподданный Николай Гоголь".

Это письмо Гоголь приложил к письму Л. К. Виельгорской, которой писал: "Дело мое я представляю на суд самому Государю и вам прилагаю здесь письмо к нему, которым умоляю его бросить взгляд на письма, составляющие книгу, писанные в движеньи чистой и нелицемерной любви к нему, и решить самому, следует ли их печатать или нет. Сердце мое говорит мне, что он скорей меня одобрит, чем укорит. Да и не может быть иначе: высокой душе его знакомо всё прекрасное, и я твердо уверен, что никто во всем государстве не знает его так, как следует. Письмо это подайте ему вы, если другие не решатся. Потолкуйте об этом втроем с Михаил Юрьевичем и Анной Михайловной (Виельгорскими. - Б. С.). Кому бы ни было присуждено из вашей фамилии подать мое письмо Государю, он не должен смущаться такого поступка. Всяк из вас имеет право сказать: "Государь, я очень знаю, что делаю неприличный поступок; но этот человек, который просит суда вашего и правосудия, нам близок; если мы о нем не позаботимся, о нем никто не позаботится; вам же дорог всяк подданный ваш, а тем более любящий вас таким образом, как любит он". С Плетневым, который печатает мою книгу, вы переговорите предварительно, чтобы он мог приготовить непропускаемые статьи таким образом, чтобы государь мог их тот же час после письма прочесть, если бы того пожелал".

Однако Виельгорским и П. А. Плетневу удалось отговорить Гоголя от обращения на высочайшее имя. 27 марта н. ст. 1847 г. он писал графу М. Ю. Виельгорскому: "...Добрую графиню прошу не беспокоиться и не тревожить себя мыслью, что она в чем-нибудь не исполнила моей просьбы. Скажу вам искренно, что мною одолевала некоторая боязнь за неразумие моего поступка, но в то же время какая-то как бы неестественная сила заставила его сделать и обременить графиню смутившим ее письмом. Скажите ей, что в этом деле никак не следует торопиться, что я слишком уверился в том, что для полного успеха нужно очень повременить и очень все обдумать".

НОЗДРЕВ, персонаж "Мертвых душ". Фамилия "Ноздрев" подчеркивает его необыкновенный нюх на ситуации, где он может удовлетворить свою страсть к игре, выпивке и скандалу: "Чуткий нос его слышал за несколько десятков верст, где была ярмарка со всякими съездами и балами..." Н. подобен Хлестакову тем, что действует импульсивно, без заранее обдуманного намерения, все его действия хаотичны и приводят к непредсказуемым результатам. Под стать Н. и блюда, которые готовит его повар: "Обед, как видно, не составлял у Ноздрева главного в жизни (в отличие от Собакевича или Петуха. - Б. С.); блюда не играли большой роли: кое-что и пригорело, кое-что и вовсе не сварилось. Видно, что повар руководствовался более каким-то вдохновеньем и клал первое, что попадалось под руку: стоял ли возле него перец - он сыпал перец, капуста ли попалась - совал капусту, пичкал молоко, ветчину, горох, _ словом, катай-валяй, было бы горячо, а вкус какой-нибудь, верно, выйдет".

Не исключено, что одним из прототипов Н. послужил гоголевский зять П. О. Трушковский, муж М. В. Гоголь. Неслучайно в паре с Н., к женщинам, как и Гоголь, равнодушным, постоянно упоминается его зять Межуев, которого Н. в подпитии ругает "фетюком" (ругательство происходит от буквы "фита") и замечает презрительно: "поезжай бабиться с женою... важное в самом деле дело станете делать вместе!" Трушковский затеял авантюру с кожевенной фабрикой,

а вырученные деньги, подобно Н., прогулял на ярмарке. Об этой истории М. И. Гоголь не могла вспоминать без содрогания: "Я послушала неопытных людей и завела кожевенную фабрику. Попавшийся к нам шарлатан, австрийский подданный (поляк Трушковский был выходцем из австрийской Галиции. - Б. С.), уверил, что мы будем получать по 8000 рублей годового дохода на первый случай, а дальше еще и больше... В тот год (1832. - Б. С.) приехал сын мой и посоветовал нам начать с маленького масштабу; фабрикант сказал: "зачем терять время даром, почему не получать вместо пяти тысяч сто?" Нанято было сапожников двадцать пять человек, как подскочил страшный голод; покупали хлеб по три рубля пуд, а между тем фабрикант наш намочил кожи и сдал на руки ученикам, которые ничего не знали, а сам, набравши несколько сотен сапогов, поехал продавать и, получа деньги, на шампанское с своими знакомыми пропил. (Мы не знали, что он имел слабость пить.) Возвратясь, он сказал, что ездил для больших для фабрики дел, а о такой безделице он не намерен отдавать отчета, и что он договорился с полковником на ранцы. Тогда я его позвала и объявила, что больше на словах не верю ничего, когда не покажет на деле. И, так как он долго не возвращался, то кожи, оставленные им, все испортились, и он бежал, и мы не знали, что с теми кожами делать; и обманул еще пять помещиков, очень аккуратных и умных. Наконец, умер, и столько было наделано долгов, занимая в разных руках, что должны были заложить Васильевку, чтобы с ними расплатиться, на двадцать шесть лет, и платить по пятьсот рублей серебром проценту. И винокурня уничтожена, земляная мельница уничтожена для толчения дубовой коры, для выделки кож, и совершенно оставил нам расстроенное имение".

"НОС", повесть. Опубликована: Современник, т. 3. СПб., 1836. Работа над Н. была начата в 1833 г. и завершена в первые месяцы 1836 г. Первоначальная редакция повести была послана Гоголем 11 февраля 1835 г. в журнал "Московский наблюдатель", но редакция журнала отказалась от публикации повести. В "Современнике" Н. был снабжен примечанием Пушкина: "Н. В. Гоголь долго не соглашался на напечатание этой шутки; но мы нашли в ней так много неожиданного, фантастического, веселого, оригинального, что уговорили его позволить нам поделиться с публикою удовольствием, которое доставила нам его рукопись".

В первоначальной редакции повести, сохранившейся в архиве редактора "Московского наблюдателя" М. П. Погодина, все происшествие объяснялось как сон майора Ковалева: "Впрочем, все это, что ни описано здесь, виделось майору во сне". В журнальном тексте мотивировка усложнилась и вылилась в ироническое послесловие, написанное в стиле Рудого Панька: "После этого как-то странно и совершенно неизъяснимым образом случилось, что у майора Ковалева опять показался на своем месте нос. Это случилось уже в начале мая, не помню 5 или 6 числа (в ранней редакции начало действия повести было точно датировано 25 марта 1832 г., в окончательном тексте указание года исчезло. - Б. С.). Майор Ковалев, проснувшись поутру, взял зеркало и увидел, что нос сидел уже где следует, между двумя щеками. В изумлении он выронил зеркало на пол и все щупал пальцами, действительно ли это был нос. Но

уверившись, что это был точно не кто другой, как он самый, он соскочил с кровати в одной рубашке и начал плясать по всей комнате какой-то танец, составленный из мазурки, кадрили и трепака. Потом приказал дать себе одеться, умылся, выбрил бороду, которая уже отросла было, так что могла вместо щетки чистить платье, - и чрез несколько минут видели уже коллежского асессора на Невском проспекте, весело поглядывавшего на всех; а многие даже приметили его покупавшего в Гостином дворе узенькую орденскую ленточку, неизвестно для каких причин, потому что у него не было никакого ордена. Чрезвычайно странная история! Я совершенно ничего не могу понять в ней. И для чего все это? К чему все это? К чему это? Я уверен, что больше половины в ней неправдоподобного.

Не может быть, никаким образом не может быть, чтобы нос один сам собою ездил в мундире, и притом еще в ранге статского советника! (обошедши на два чина своего собственного хозяина! - Б. С.) И неужели в самом деле Ковалев не мог смекнуть, что чрез газетную экспедицию нельзя объявлять о носе? Я здесь не в том смысле говорю, что мне казалось дорого заплатить за объявление: это пустяки, и я совсем не из числа корыстолюбивых людей; но неприлично, совсем неприлично, нейдет. Несообразность и больше ничего! И цирюльник Иван Яковлевич вдруг явился и пропал, неизвестно к чему, неизвестно для чего. Я, признаюсь, не могу постичь, как я мог написать это? Да и для меня вообще непонятно, как могут авторы брать такого рода сюжеты! К чему все это ведет? Для какой цели? Что доказывает эта повесть? Не понимаю, совершенно не понимаю. Положим, для фантазии закон не писан, и притом действительно случается в свете много совершенно неизъяснимых происшествий; но как здесь?.. Отчего нос Ковалева ?... И зачем сам Ковалев? (скрытый намек на никчемность существования самого главного героя, смысла в котором даже меньше, чем в фантастическом бытии Носа. - Б. С.). Нет, не понимаю, совсем не понимаю. Для меня это так неизъяснимо, что я... Нет, этого нельзя понять!" Здесь уже предвосхищен Чичиков, отплясывающий трепака в одной рубашке по случаю удачной сделки с мертвыми душами. В случае с Ковалевым речь тоже, в сущности, идет о неживой субстанции - Носе, вдруг ожившем и начавшем жить как человек, да еще не в последних чинах.

В 1842 г., помещая Н. в 3-й том своих "Сочинений", Гоголь значительно сократил послесловие и добавил несколько новых эпизодов. Еще ранее в рукописный текст повести были внесены цензурные изменения. В частности, встреча майора Ковалева с Носом была перенесена из Казанского собора в Гостиный двор. Гоголь использует традиционную семантику носа. Издревле эта часть человеческого лица уподобляется фаллосу и одновременно символизирует высокомерие - отсюда выражение "вздернув нос", "задравши нос". Ковалев волокита и искатель чинов с потерей носа как бы утрачивает свою сущность и главные жизненные цели. Псевдорациональное объяснение сюжета Н. может быть сведено к следующему. Цирюльник Иван Яковлевич спьяну отсек нос своего клиента бритвой, точно так же, как в "Невском проспекте" пьяный сапожник Гофман чуть было не отхватил сапожным ножом нос не менее пьяному своему другу жестянщику Шиллеру, затем в пьяном беспамятстве принес домой, бросил на кухне, и жена случайно запекла нос в хлеб. На

пристрастие Ивана Яковлевича к хлебному вину намекает его привычка лакомиться хлебом с луком и ряд других признаков. После того, как цирюльник выбрасывает нос с моста, Нос оживает и начинает самостоятельное существование.

Владимир Набоков связывал главного героя повести с особенностями внешности самого Гоголя: "Его большой и острый нос был так длинен и подвижен, что в молодости (изображая в качестве любителя нечто вроде "человека-змеи") он умел пренеприятно доставать его кончиком нижнюю губу; нос был самой чуткой и приметной чертой его внешности. Он был таким длинным и острым, что умел самостоятельно, без помощи пальцев, проникать в любую, даже самую маленькую табакерку, если, конечно, щелчком не отваживали незваного гостя (о чем Гоголь игриво сообщал в письме одной молодой даме)... Нос лейтмотивом проходит через его сочинения: трудно найти другого писателя, который с таким смаком описывал бы запахи, чиханье и храп. То один, то другой герой появляются на сцене, так сказать, везя свой нос в тачке или гордо въезжая с ним... Нюханье табака превращается в целую оргию. Знакомство с Чичиковым в "Мертвых душах" сопровождается трубным гласом, который он издает, сморкаясь. Из носов течет, носы дергаются, с носами любовно или неучтиво обращаются: пьяный пытается отпилить другому нос; обитатели Луны, как обнаруживает сумасшедший, - Носы. Обостренное ощущение носа в конце концов вылилось в повесть "Нос" - поистине гимн этому органу... Его фантазия ли сотворила нос или нос разбудил фантазию значения не имеет. Я считаю, разумней забыть о том, что чрезмерный интерес Гоголя к носу мог быть вызван ненормальной длиной собственного носа, и рассматривать обонятельные склонности Гоголя - и даже его собственный нос как литературный прием, свойственный грубому карнавальному юмору вообще и русским шуткам по поводу носа в частности... Как сказано в русской пословице: "Тому виднее, у кого нос длиннее", а Гоголь видел ноздрями. Орган, который в его юношеских сочинениях был всего-навсего карнавальной принадлежностью, взятой напрокат из дешевой лавочки готового платья, именуемой фольклором, стал в расцвете его гения самым лучшим его союзником. Когда он погубил этот гений, пытаясь стать проповедником, он потерял и свой нос так же, как его потерял майор Ковалев".

Впервые Гоголь упомянул Н. в письме М.П. Погодину 31 января 1835 г. в качестве повести, начатой им для "Московского Наблюдателя". 20 февраля 1835 г. он также отметил в письме М. П. Погодину: "Я поспешу сколько возможно скорее окончить для вас назначенную повесть, но всё не думаю, чтобы она могла подоспеть раньше 3-й книжки. Впрочем, я постараюсь как можно скорее". Уже 18 марта 1835 г. Гоголь сообщал все тому же корреспонденту: "Посылаю тебе нос. Да если ваш журнал не выйдет, пришли мне его назад. Обосрались вы с вашим журналом. Вот уже 18 число, а нет и духа. Если в случае ваша глупая цензура привяжется к тому, что нос не может быть в Казанской церкве, то пожалуй можно его перевести в католическую (в конце концов Казанский собор пришлось заменить Гостиным Двором. - Б. С.). Впрочем, я не думаю, чтобы она до такой степени уж выжила из ума" (оказалось, что именно до такой). 23 марта 1835 г., не зная, что первая книжка "Московского Наблюдателя" вышла еще 15

марта (а к тому времени должна была выйти уже и вторая книжка, так как журнал был двухнедельным), сделал ошибочный вывод, что журнал закрылся, и просил Погодина: "Так как Московский Наблюдатель не будет существовать, то пришли мне мой нос назад, потому что он мне очень нужен". Когда выяснилось, что "Московский Наблюдатель" живет и здравствует, Гоголь опять направил М. П. Погодину Н.(очевидно, уже в исправленном виде, с заменой Казанского собора на Гостиный Двор). 17 апреля 1835 г. он писал Погодину: "Сам чорт разве знает, что делается с носом! Я его послал как следует, зашитого в клеенку, с адресом в Московский университет. Я не могу и подумать, чтобы он мог пропасть как-нибудь. У нас единственная исправная вещь: почтамт. Если и он начнет заводить плутни, то я не знаю, что уже и делать. Пожалуста, потормоши хорошенько тамошнего почтмейстера. Не запрятался ли он куда-нибудь по причине своей миниатюрности между тучными посылками (рукопись Гоголь уподоблял Носу, главному герою повести, отсюда и связь Носа с чертом, который водит за нос майора Ковалева и внушает ему мысли об удовольствиях. - Б. С.). Через две недели буду в Москве". То ли Погодин действительно потормошил почтмейстера, то ли Гоголь, по приезде в первопрестольную, сам вручил ему рукопись, но, так или иначе, Н. оказался в редакции "Московского Наблюдателя", но был ею отвергнут. В 1842 г. в "Отечественных записках" В. Г. Белинский утверждал, ясно намекая на "Московский Наблюдатель", что "один журнал отказался напечатать у себя повесть Гоголя "Нос", находя ее грязною".

День пропажи носа у майора Ковалева - 25 марта приходится на православный праздник Благовещения. В то же время, в позднейшей редакции повести, появились указания на события, происходившие уже после 1832 г. и исключающие однозначное отнесение событий повести к какому-либо определенному году. Так, история о "танцующих стульях" в Конюшенной улице волновала жителей первопрестольной в конце 1833 - начале 1834 г. В связи с этим А. С. Пушкин 17 декабря 1833 г. записал в дневнике: "В городе говорят о странном происшествии. В одном из домов, принадлежащих к ведомству придворной конюшни, мебели вздумали двигаться и прыгать, дело пошло по начальству. Кн. В. Долгорукий нарядил следствие. Один из чиновников призвал попа, но во время молебна стулья и столы не хотели стоять смирно. Об этом идут разные толки". Упоминание о газетном объявлении о продаже крепостной девки: "там отпускалась дворовая девка девятнадцати лет, упражнявшаяся в прачечном деле, годная и для других работ" - не было пропущено цензурой из-за усмотренного намека на сожительство девки со своим хозяином.

9 апреля 1836 г. П. А. Вяземский писал А.И. Тургеневу о чтении Гоголем Н. у В. А. Жуковского: "Субботы Жуковского процветают... Один Гоголь, которого Жуковский называет Гоголек, оживляет их своими рассказами. В последнюю субботу читал он нам повесть об носе, который пропал с лица неожиданно у какого-то коллежского асессора. Уморительно смешно!" Можно отметить некий инфернальный след, присутствующий в фамилии главного героя Н. "Коваль" по-украински значит "кузнец", а кузнецы традиционно в народном сознании связаны с нечистой силой.

"НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ", повесть, впервые опубликованная в 1832 г.

во второй части сборника "Вечера на хуторе близ Диканьки". Ее основой послужил украинский фольклор, а время действия приурочено к первой половине 1770-х годов, накануне упразднения императрицей Екатериной II в 1775 г. Запорожского войска. В Н. перед Р. упоминается, в частности, участие запорожцев в войне с турками за покорение Крыма, закончившейся в 1774 г. Кучук-Кайнарджийским миром.

В повести ведьмина красота Солохи противопоставлена чистой, божественной красоте Оксаны, возлюбленной кузнеца Вакулы, главного героя Н. перед Р. Полет Вакулы на плечах у черта в Петербург и обратно восходит к поездке св. Иоанна Новгородского на бесе в Иерусалим, описанной в "Слове о Великом Иоанне, архиепископе Великого Новаграда..." (этот же сюжет отражен у А. С. Пушкина в поэме "Монах" (1813), также написанной на сюжет жития св. Иоанна Новгородского). Гоголь проводит в Н. перед Р. мысль о непосредственном воздействии произведений искусства на чувства людей, как если бы изображенное на полотнах, скульптурах или в литературе было частью реальной действительности. Вакула, в счет покаяния за то, что имел дело с нечистой силой, "на стене сбоку, как войдешь в церковь, намалевал... черта в аду, такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо; а бабы, как только расплакивалось у них на руках дитя, подносили его к картине и говорили: "Он бачь, яка кака намалевана!" - и дитя, удерживая слезенки, косилось на картину и жалось к груди своей матери". Вакула неслучайно и кузнец, и иконописец в одном лице. По народным поверьям, кузнец должен быть непременно связан с нечистой силой. Занятия же иконописью угодны Богу. Две профессии символизируют два начала, которые борются за душу Вакулы. Но хитрый кузнец, притворно поддавшись черту, заставляет его служить доброму делу, как и герой жития св. Иоанна Новгородского, как и герои народных сказок.

"О ДВИЖЕНИИ ЖУРНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В 1834 И 1835 ГОДУ", статья, впервые опубликованная: Современник, 1836, т. 1, без подписи. Гоголь утверждал, что "еще в московских журналах видишь иногда какой-нибудь вкус, что-нибудь похожее на любовь к искусству; напротив того, критики журналов петербургских, особенно так называемые благопристойные, чрезвычайно ничтожны. Разбираемые сочинения превозносятся выше Байрона, Гете и проч.! Но нигде не видит читатель, чтобы это было признаком чувства, признаком понимания, истекло из глубины признательной, растроганной души. Слог их, несмотря на наружное, часто вычурное и блестящее убранство, дышит мертвящею холодностию. В нем видна живость или горячая замашка только тогда, когда рецензент задет за живое и когда дело относится к его собственному достоинству. Справедливость требует упомянуть о критиках Шевырева как об утешительном исключении. Он передает нам впечатления в том виде, как приняла их душа его. В статьях его везде заметен мыслящий человек, иногда увлекающийся первым впечатлением".

Напротив, резкую критику Гоголя вызвал О. И. Сенковский и его журнал "Библиотека для чтения": "В критике г. Сенковский показал отсутствие всякого мнения, так что ни один из читателей не может сказать наверное, что более нравилось рецензенту и заняло его душу, что пришлось по его чувствам: в его

рецензиях нет ни положительного, ни отрицательного вкуса - вовсе никакого. То, что ему нравится сегодня, завтра делается предметом его насмешек".

"О ДВИЖЕНИИ НАРОДОВ В КОНЦЕ V ВЕКА", статья, впервые опубликованная в сборнике "Арабески". Во втором плане сборника, относящемся к августу сентябрю 1834 г., эта статья упомянута под названием "О переселении народов". По мнению Гоголя, "когда Средиземное море омывало еще возрождающиеся государства, видело первые шаги возникающей торговли и развивался дух народов, составивших цвет древнего мира, - во глубине Азии скрывался другой, неведомый мир, которому определено было уничтожить, убить все древнее величие, древний дух, древние формы прежнего и заместить его всем новым".

Историю Гоголь выводил из географии, из особенностей природных ландшафтов. По его словам, на европейских и африканских берегах Средиземного моря "цветущее разнообразие природы, почвы, произведений, смесь земли и моря, куча бесчисленных островов, мысов, заливов, казалось, были созданы нарочно для того, чтобы быстро развить деятельность и ум человека. Природа Средней Азии (в сегодняшней терминологии - Центральной Азии. - Б. С.) совершенно другого рода: она однообразна и неизмерима. Степи ее безбрежны, как-то огромно ровны, как будто похожи на пустынный океан, нигде не останавливаемый островом. Неподвижные озера беспредельных равнин не могли возбудить никакой деятельности. Казалось, сама природа определила эту землю народам пастушеским, чтобы по ним имели мы понятие о первобытной жизни первоначальных людей. Неизмеримость равнин не могла внушить человеку никакой идеи о постоянном жилище, которая обыкновенно возрождается у него при виде утесистой горы, берега, моря, острова и вообще, где только есть возможность укрепиться. Где же природа усыплена и недвижима, там и человек беспечен: он заботится только о слишком нужном. Патриархальные обитатели степей питались только молоком, сыром, доставляемыми их полудикими животными, и редко питались мясом. Оттого стада их множились необыкновенным образом; владельцы их чаще должны были переходить с места на место; степей требовалось с каждым годом более и более - и те земли, которые ужасают доныне своею неизмеримостью, земли, бывшие вдвое более тогдашнего образованного мира, земли, с которыми бы земледельцы всего света не знали, что делать, - эти земли сделались тесными".

Отметим, что несколько наивно было приписывать скотоводам-кочевникам исключительно молочную диету, равно как и выводить всемирное переселение народов из земельного утеснения, возникшего вследствие истощения пастбищных земель. В великом переселении народов писатель видел исток современной европейской цивилизации. Он отмечал, что в результате связанных с этим переселением грандиозных событий "все нации перемешались между собою так, что уже невозможно было отыскать совершенно цельной; и только впоследствии постоянный образ правления или занятий сообщил главным из них некоторую особенность и некоторые признаки отличия. Тогда было четыре первенствующих великих собраний или масс народа, четыре главные пункта европейской силы. В Испании - визиготы, вторгнувшиеся туда с частью

покоренных народов и присоединившие к себе уже в Испании аланов, свевов, вандалов и разных подданных им народов, зародившие толпу сильных против себя бандитов в горах Астурийских. В Галлии - франки, уже составившие нацию из прежних соседей римлян, дунайских и рейнских германцев: узипетров, сигамбров, херусков, хатов, бруктеров, ангривариев, хазуариев и других, соединившихся с туземцами римскими галлами, соединившиеся, но не слившиеся с покоренными амориканами, бретонами, алеманами, бургундами, отчасти бауарами и фризами и простершие владычество за Альпы и Рейн. Это было одно из сильнейших собраний народов. В северной Германии - саксоны, страшные своею дикостью и пиратством, менее смешавшиеся с другими народами, и в Италии - остроготы, имевшие в толпах своих множество отродий народов, странствовавших по Восточной Европе: свевских, аланских, аварских, славянских, гепидских, и под расторопным, твердым правлением Феодорика получившее на время перевес в Европе. Сверх того еще все эти великие массы народов распространяли покровительственную власть свою над многими отдаленными племенами. Взаимные границы их часто терялись в неопределенных пространствах; в этих промежутках земли иногда чересполосно и независимо сохранялись многие народы. Таким образом, в средней Германии - ломбарды, потом блеснувшие в Италии, часть бауаров, все народы, жившие в неизмеримых прежде лесах Гарца и в гористых уклонениях Альп. Восток Европы занимали совершенно разбросанные племена славянские, которые, находясь под вечным угнетением всех стремившихся из Азии народов, еще не успели явиться деятелями всемирной истории. За означенным кругом на север и на восток рассеивались народы, еще покрытые темною недеятельностью. Такова была Европа в это шумное окончание V века, когда непостижимою волею Провидения величественный хаос, носивший темные начала нового света, опустился на Европу, когда разрушающие народы безобразными массами текли на народы, колоссально совершались мрачные события, когда имена Алариха, Гензериха и Аттилы пронеслися беспокойными кометами, когда между тем древний мир долго дотлевал на востоке, робкое римское просвещение прижалось к берегам Сирии, Александрии, Цареграда и ереси Нестория и Евтихия раздирали дряхлые, старческие его силы".

"О МАЛОРОССИЙСКИХ ПЕСНЯХ", статья, вошедшая в сборник "Арабески". Впервые опубликована в "Журнале Министерства Народного Просвещения" (1834. Ч. 2. № 4. Отд. 2). Статья была написана в связи с выходом в свет книги филолога-слависта и будущего академика и профессора Петербургского университета Измаила Ивановича Срезневского (1812-1880) "Запорожская Старина" (Харьков, 1833), представляющей собой сборник украинского фольклора.

6 марта 1834 г. Гоголь признавался в письме И. И. Срезневскому: "Вы... сделали мне важную услугу изданием "Запорожской Старины". Где выкопали вы столько сокровищ? Все думы, и особенно повести бандуристов, ослепительно хороши".

29 мая 1834 г. Гоголь сообщил М. А. Максимовичу, что С. С. Уваров "недавно... получил от Срезневского экземпляр песней и адресовался ко мне с

желанием видеть мое мнение о них в Журнале Просвещения, так же как и о бывших до него изданиях - твоем и Церетелева (речь идет о "Малороссийских песнях, изданных М. Максимовичем" (М., 1827) и о подготовленном Н. Церетелевым "Опыте собрания старинных малороссийских песен" (СПб., 1819). Б. С.). Что ж я сделал? я написал статью, только самого главного позабыл: ничего не сказал ни о тебе, ни о Срезневском, ни о Церетелеве. После я спохватился и хотел было прибавить и проболтаться о твоем великолепном новом издании (имеются в виду изданные М. А. Максимовичем в 1834 г. "Украинские народные песни". - Б. С.), но опоздал: статья уже была отпечатана".

1 июня 1834 г. Гоголь писал И. И. Срезневскому: "Я хотел было сделать несколько замечаний и оценку с своей стороны вашей "Запорожской Старины" и уже приступ к этому под заглавием "О малороссийских песнях" отослал в Журнал Просвещения. Но лень проклятая одолела, и я сел на одном приступе..."

В О м. п. Гоголь утверждал: "...Песни для Малороссии - всё: и поэзия, и история, и отцовская могила. Кто не проникнул в них глубоко, тот ничего не узнает о протекшем быте этой цветущей части России. Историк не должен искать в них показания дня и числа битвы или точного объяснения места, верной реляции; в этом отношении немногие песни помогут ему. Но когда он захочет узнать верный быт, стихии характера, все изгибы и оттенки чувств, волнений, страданий, веселий изображаемого народа, когда захочет выпытать дух минувшего века, общий характер всего целого и порознь каждого частного, тогда он будет удовлетворен вполне: история народа разоблачится перед ним в ясном величии... Характер музыки нельзя определить одним словом: она необыкновенно разнообразна. Во многих песнях она легка, грациозна, едва только касается земли и, кажется, шалит, резвится звуками. Иногда звуки ее принимают мужественную физиогномию, становятся сильны, могучи, крепки; стопы тяжело ударяют в землю, и кажется, как будто бы под них можно плясать одного только гопака. Иногда же звуки ее становятся чрезвычайно вольны, широки, взмахи гигантские, силящиеся обхватить бездну пространства, вслушиваясь в которые танцующий чувствует себя исполином: душа его и все существование раздвигается, расширяется до беспредельности. Он отделяется вдруг от земли, чтобы сильнее ударить в нее блестящими подковами и взнестись опять на воздух. Что же касается до музыки грусти, то она нигде не слышна так, как у них. Тоска ли это о прерванной юности, которой не дали довеселиться; жалобы ли это на бесприютное положение тогдашней Малороссии... но звуки ее живут, жгут, раздирают душу".

"О ПРЕПОДАВАНИИ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ", статья, вошедшая в сборник "Арабески". Впервые опубликована: Журнал Министерства Народного Просвещения, 1834, Ч. 1, № 2, под названием "План преподавания всеобщей истории". В сборнике статья датирована 1832 г., но эта дата, вероятно, относится ко времени зарождения О п. в. и. Непосредственно же работа над статьей началась в декабре 1833 г., когда у Гоголя появилась мысль занять место профессора всеобщей истории в Киевском университете, куда его звал М. А. Максимович.

23 декабря 1833 г. Гоголь писал А. С. Пушкину: "Я восхищаюсь заранее, когда воображу, как закипят труды мои в Киеве. Там я выгружу из-под спуда многие вещи, из которых я не все еще читал вам. Там кончу я историю Украйны и Юга России и напишу Всеобщую историю, которой, в настоящем виде ее, до сих пор, к сожалению, не только на Руси, но даже и в Европе нет... Я решился однакож не зевать и вместо словесных представлений набросать мои мысли и план преподавания на бумагу... Во мне живет уверенность, что если я дождусь прочитать план мой, то в глазах Уварова он меня отличит от толпы вялых профессоров, которыми набиты университеты". Рукопись О п. в. и. Гоголь через В. А. Жуковского представил С. С. Уварову, который одобрил ее к публикации.

В статье Гоголь утверждал: "Мир должен быть представлен в том же колоссальном величии, в каком он являлся, проникнутый теми же таинственными путями Промысла, которые так непостижимо на нем означились... Все, что ни является в истории: народы, события - должны быть непременно живы и как бы находиться перед глазами слушателей или читателей, чтоб каждый народ, каждое государство сохраняли свой мир, свои краски, чтобы народ со всеми своими подвигами и влиянием на мир проносился ярко, в таком же точно виде и костюме, в каком был он в минувшие времена. Для того нужно собрать не многие черты, но такие, которые бы высказывали много, черты самые оригинальные, самые резкие, какие только имел изображаемый народ. Для того чтобы извлечь эти черты, нужен ум, сильный схватить все незаметные для простого глаза оттенки, нужно терпение перерыть множество иногда самых неинтересных книг". Главную цель преподавания истории Гоголь в О п. в. и. видел в том, чтобы "образовать сердца юных слушателей той основательной опытностью, которую развертывает история, понимаемая в ее истинном величии; сделать их твердыми, мужественными в своих правилах, чтобы никакой легкомысленный фанатик и никакое минутное волнение не могло поколебать их; сделать их кроткими, покорными, благородными, необходимыми и нужными сподвижниками Великого Государя, чтобы ни в счастии, ни в несчастии не изменили они своему долгу, своей Вере, своей благородной чести и своей клятве - быть верными Отечеству и Государю".

"О "СОВРЕМЕННИКЕ", статья. Впервые опубликована (в сокращении): Сочинения и письма Н. В. Гоголя под ред. П. А. Кулиша. СПб., 1857. Т. 6. Первая полная публикация: Сочинения Н. В. Гоголя под ред. Н. С. Тихонравова. 10-е изд. М., 1889.

22 ноября (4 декабря) 1846 г. Гоголь из Неаполя послал О С. издателю и редактору "Современника" Плетневу, отметив в письме: "Посылаю тебе при сем прилагаемую статью, которую ты прочти внимательно и дай на нее чистосердечный и немедленный ответ..." Он не знал, что П. А. Плетнев еще в октябре 1846 г. передал право на издание "Современника" Н. А. Некрасову и И. И. Панаеву. По этой причине О С. не была опубликована. В статье, написанной в форме письма П. А. Плетневу, Гоголь утверждал, что "Современник" вышел плохой журнал, несмотря на прекрасную цель, которую ты имел в виду... Тощее содержание его тоненьких книжек, неживой, безучастный, вялый и неопределенный слог его суждений обо всем современном задавал только

загадку решать: зачем он назван "Современником"? Будем говорить откровенно. У тебя нет качеств журналиста: ни юношеского живого участия ко всем волненьям современным, ни того трепета любопытства к вопросам, раздающимся в массе общества, ни, наконец, энциклопедического науколюбивого стремления обнимать с равной охотой всё, что ни относится к развитию познаний человеческих во всех родах. Твоя антологическая душа получила только на долю себе один возвышенный дар - услаждаться благоуханьем прекрасных цветов поэзии и обонять аромат высших движений души человеческой".

"О СРЕДНИХ ВЕКАХ", статья, вошедшая в сборник "Арабески". Впервые опубликована: Журнал Министерства Народного Просвещения, 1834. Ч. 3. № 9. Отд. 2, с подзаголовком: "Вступительная лекция, читанная в С.-Петербургском университете адъюнкт-профессором Н. Гоголем".

Статья была написана по заказу С. С. Уварова. 8 июня 1834 г. Гоголь сообщил М. А. Максимовичу: "Сергей Семенович благоволит ко мне и очень доволен моими статьями". После того, как О с. в. была одобрена С. С. Уваровым, Гоголь 5 июля 1834 г. подал прошение о зачислении в Санкт-Петербургский университет адъюнкт-профессором средневековой ("средней") истории, которое 24 июля было удовлетворено. Публикация О с. в. в журнале была отложена до сентября 1834 г., чтобы Гоголь мог открыть ей как вводной лекцией свой курс средневековой истории.

Гоголь утверждал в О с. в.: "Главный сюжет средней истории есть папа. Он - могущественный обладатель этих молодых веков, он движет всеми силами их и, как громовержец, одним мановением своим правит их судьбою... Не стану говорить о злоупотреблении и о тяжести оков духовного деспота. Проникнув более в это великое событие, увидим изумительную мудрость Провидения: не схвати эта всемогущая власть всего в свои руки, не двигай и не устремляй по своему желанию народы - и Европа рассыпалась бы, связи бы не было; некоторые государства поднялись бы, может быть, вдруг и вдруг бы развратились; другие сохранили бы дикость свою на гибель соседам; образование и дух народный разлились бы неровно; в одном уголку выказывалось бы образование, в другом бы чернел мрак варварства; Европа бы не устоялась, не сохранила бы того равновесия, которое так удивительно ее содержит; она бы долее была в хаосе, она бы не слилась железною силою энтузиазма в одну стену, устранившую своею крепостью восточных завоевателей, и, может быть, без этого великого явления Европа уступила бы их напору, и магометанская луна горделиво вознеслась бы над нею, вместо креста... С мыслию о средних веках невольно сливается мысль о крестовых походах - необыкновенном событии, которое стоит, как исполин, в средине других, тоже чудесных и необыкновенных. Где, в какое время было когда-нибудь равное ему своею оригинальностью и величием? Это не какая-нибудь война за похищенную жену, не порождение ненависти двух непримиримых наций, не кровопролитная битва между двумя алчными властителями за корону или за клочок земли, даже не война за свободу и народную независимость. Нет! ни одна из страстей, ни одно собственное желание, ни одна личная выгода не входят сюда: все

проникнуты одною мыслию - освободить Гроб Божественного Спасителя! Народы текут с крестами со всех сторон Европы; короли, графы в простых власяницах; монахи, перепоясанные оружием, становятся в ряды воинов; епископы, пустынники с крестами в руках предводят несметными толпами - и все текут освободить свою веру. Владычество одной мысли объемлет все народы. Нет ли чего-то великого в этой мысли?" Концом Средневековья Гоголь называет XV век, когда "власть папы подрывается и падает, власть невежества подрывается, сокровища и всемирная торговля Венеции подрываются, и когда всеобщий хаос переворота очищается и проясняется, пред изумленными очами являются монархи, держащие мощною рукою свои скипетры; корабли, расширенным взмахом несущиеся по волнам необъятного океана мимо Средиземного моря; в руках у европейцев вместо бессильного оружия - огонь; печатные листы разлетаются по всем концам мира; и все это результаты средних веков. Сильный напор и усиленный гнет властей, казалось, были для того только, чтобы сильнее произвести всеобщий взрыв. Ум человека, задвинутый крепкою толщею, не мог иначе прорваться, как собравши все свои усилия, всего себя. И оттого-то, может быть, ни один век не представляет таких гигантских открытий, как XV; век, которым так блистательно оканчиваются средние века, величественные, как колоссальный готический храм, темные, мрачные, как его пересекаемые один другим своды, пестрые, как разноцветные его окна и куча изузоривающих его украшений, возвышенные, исполненные порывов, как его летящие к небу столпы и стены, оканчивающиеся мелькающим в облаках шпицем".

"ОБ АРХИТЕКТУРЕ НЫНЕШНЕГО ВРЕМЕНИ", статья, впервые опубликованная в сборнике "Арабески". Ее название встречается уже в первом плане этого сборника.

В Об а. н. в. Гоголь признавался: "Мне всегда становится грустно, когда я гляжу на новые здания, беспрерывно строящиеся, на которые брошены миллионы и из которых редкие останавливают изумленный глаз величеством рисунка, или своевольною дерзостью воображения, или даже роскошью и ослепительною пестротою украшений. Невольно втесняется мысль: неужели прошел невозвратимо век архитектуры? неужели величие и гениальность больше не посетят нас? или они - принадлежность народов юных, полных одного энтузиазма и энергии и чуждых усыпляющей, бесстрастной образованности? Отчего же те народы, перед которыми мы так самодовольно гордимся, которым едва даем место в истории мира, - отчего же они так возвышаются перед нами созданиями своего темного, не освещенного дробью познаний ума? Отчего же колоссальные памятники индусов так величавы и неизмеримы, отчего аравийские так роскошны и очаровательны? отчего у нас в Европе в средние века так много воздвигалось их в изумительном величии?.. Когда дикий и малоразвившийся человек, которому одна природа, еще грубо им понимаемая, служит руководством и вдохновением, создает творение, в котором является и красота, и тайный инстинкт вкуса, - отчего же мы, которых все способности так обширно развились, которые более видим и понимаем природу во всех ее тайных явлениях, - отчего же мы не производим ничего

совершенно проникнутого таким богатством нашего познания? Идея для зодчества вообще была черпана из природы, но тогда, когда человек сильно чувствовал на себе ее влияние; теперь же искусство поставил он выше самой природы, _ разве не может он черпать своих идей из самого искусства, или, лучше сказать, из гармоничного слияния природы с искусством?"

ОБОЛЕНСКИЙ Дмитрий Александрович (1822 -1881), князь, чиновник ведомства судебных установлений, товарищ председателя 1-го Департамента палаты гражданского суда, впоследствии - товарищ министра государственных имуществ и член Государственного Совета.

Гоголь познакомился с О. в 1848 г. в Москве, а потом увиделся с ним в июле 1849 г. в Калуге, куда приехал вместе с А. О. Смирновой, и они вместе с князем вернулись в Москву. В 1873 г. О. так описал это знакомство: "В 1849 году, проездом через Калугу в имение моего отца, я застал Гоголя, гостившего у А. О. Смирновой, и обещал ему на обратном пути заехать за ним, чтобы вместе отправиться в Москву. Пробыв в деревне недолго, я условленный день прибыл в Калугу и провел с Гоголем весь вечер у А. О. Смирновой, а после полуночи мы решили выехать. С Гоголем я познакомился еще в 1848 году летом в Москве, и мы видались часто. Родственные мои отношения к графу А. П. Толстому, у которого Николай Васильевич в то время жил в Москве, и дружба моя с кругом людей, которых Гоголь по справедливости считал самыми близкими своими друзьями, расположила его в мою пользу, и он не раз высказывал мне знаки своего дружеского внимания. От того ли, что неожиданно представилась ему приятная оказия выехать в Москву, куда торопился, или от другой причины, только весь вечер Гоголь был в отличном расположении духа и сохранил его во всю дорогу. Живо справил он свой чемоданчик, заключавший все его достояние; но главная забота его заключалась в том, как бы уложить свой портфель так, чтобы он постоянно оставался на видном месте. Решено было поставить портфель в карете к нам в ноги, и Гоголь тогда только успокоился за целость его, когда мы уселись в дормез и он увидел, что портфель занимает приличное и безопасное место, не причиняя вместе с тем нам никакого беспокойства. Портфель этот заключал в себе только еще вчерне оконченный второй том "Мертвых Душ". Читатели моего поколения легко могут себе представить, с каким чувством возбужденного любопытства смотрел я во всю дорогу на этот портфель. Чем был для молодых людей нашего поколения Гоголь - о том с трудом могут судить люди новейшего времени. Я принадлежал к числу тех поклонников таланта Гоголя, которые и после издания его "Переписки с друзьями" не усомнились в могучей силе его дарования. Из рассказов графа А. П. Толстого, которому Гоголь читал еще вчерне отрывки из 2-й части "Мертвых душ", я уже несколько знал, какой серьезный оборот должна принять поэма в окончательном своем развитии. Письма самого Гоголя о "Мертвых Душах" подготовляли также публику к чему-то неожиданному. Всё это усиливало мое любопытство, и я, пользуясь хорошим расположением духа Гоголя и скверной дорогой, мешавшей нам скоро уснуть, заводил на разные лады разговор о лежащей в ногах наших рукописи. Но узнал немногое. Гоголь отклонял разговор, объясняя, что много еще предстоит труда, но что черная работа готова

и что, к концу года, надеется кончить, ежели силы ему не изменят. Я выразил ему опасение, что цензура будет к нему строга, но он не разделял моего опасения, а только жаловался на скуку издательской обязанности и возни с книгопродавцами, так как он имел намерение, прежде выпуска второй части "Мертвых душ", сделать новое издание своих сочинений. К утру мы остановились на станции чай пить. Выходя из кареты, Гоголь вытащил портфель и понес его с собою, - это делал он всякий раз, как мы останавливались. Веселое расположение духа не оставляло Гоголя. На станции я нашел штрафную книгу и прочел в ней довольно смешную жалобу какого-то господина. Выслушав ее, Гоголь спросил меня: - "А как вы думаете, кто этот господин? Каких свойств и характера человек?" - "Право, не знаю", - отвечал я. - "А вот я вам расскажу". И тут же начал самым смешным и оригинальным образом описывать мне сперва наружность этого господина, потом рассказал мне всю его служебную карьеру, представляя даже в лицах некоторые эпизоды его жизни. Я хохотал, как сумасшедший, а он все это выделывал совершенно серьезно. Утром во время пути, при всякой остановке, выходил Гоголь на дорогу и рвал цветы, и ежели при том находились мужик или баба, то всегда спрашивал название цветов; он уверял меня, что один и тот же цветок в разных местностях имеет разные названия и что, собирая эти разные названия, он выучил много новых слов, которые у него пойдут в дело. За несколько станций до Москвы я решился сказать Гоголю: - "Однако, знаете, Николай Васильевич, ведь это бесчеловечно, что вы со мною делаете. Я всю ночь не спал, глядя на этот портфель. Неужели он так и останется для меня закрытым?" Гоголь с улыбкой посмотрел на меня и сказал: _ "Еще теперь нечего читать; когда придет время, я вам скажу". Мы расстались с Гоголем в Москве".

О. вспоминал: "Гоголь рассказал мне, что когда он жил вместе с Языковым, то вечером, ложась спать, они забавлялись описанием разных характеров и засим придумывали для каждого характера соответственную фамилию. - "Это выходило очень смешно", - заметил Гоголь и при этом описал мне один характер, которому совершенно неожиданно дал такую фамилию, которую печатно назвать неприлично, - "и был он родом из грек", - так кончил Гоголь свой рассказ".

Осенью 1851 г. Гоголь читал О. первую главу второго тома "Мертвых душ". А. В. Никитенко свидетельствовал: "Князь Дм. Ал. Оболенский рассказал мне следующие подробности о Гоголе, с которым он был хорошо знаком. Он находился в Москве, когда Гоголь умер. Гоголь кончил "Мертвые души" за границей - и сжег их. Потом опять написал и на этот раз остался доволен своим трудом. Но в Москве стало посещать его религиозное исступление, и тогда в нем бродила мысль сжечь и эту рукопись. Однажды приходит к нему граф А.П. Толстой, с которым он был постоянно в дружбе. Гоголь сказал ему: "Пожалуйста, возьми эти тетради и спрячь их. На меня находят часы, когда все это хочется сжечь. Но мне самому было бы жаль. Тут, кажется, есть кое-что хорошего". Граф Толстой из ложной деликатности не согласился. Он знал, что Гоголь предается мрачным мыслям о смерти и т. п., и ему не хотелось исполнением просьбы его как бы подтвердить его ипохондрические опасения. Спустя дни три граф опять пришел к Гоголю и застал его грустным. "А вот, -

сказал ему Гоголь, - ведь лукавый меня таки попутал: я сжег "Мертвые души"". Он не раз говорил, что ему представлялось какое-то видение. Дня за три до кончины он был уверен в своей скорой смерти".

Сам О. так описал в мемуарах это чтение: "...Осенью 1851 года, будучи проездом в Москве, я, посетив Гоголя, застал его в хорошем расположении духа, и на вопрос мой о том, как идут "Мертвые Души", он отвечал мне: "Приходите завтра вечером, в 8 часов, я вам почитаю". На другой день, разумеется, ровно в 8 часов вечера я был уже у Гоголя; у него застал я А. О. Россета, которого он тоже позвал. Явился на сцену знакомый мне портфель; из него вытащил Гоголь одну довольно толстую тетрадь, уселся около стола и начал тихим и плавным голосом чтение первой главы. Гоголь мастерски читал: не только всякое слово у него выходило внятно, но, переменяя часто интонацию речи, он разнообразил ее и заставлял слушателя усваивать самые мелочные оттенки мысли. Помню, как он начал глухим и каким-то гробовым голосом: "Зачем же изображать бедность да бедность, да несовершенство нашей жизни, да выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства? Что же делать, если уже таковы свойства сочинителя и, заболев собственным несовершенством, уже и не может он изобрать ничего другого, как только бедность да бедность, да несовершенство нашей жизни, выкапывая людей из глуши и отдаленных закоулков государства. И вот опять попали мы в глушь, опять наткнулись на закоулок". После этих слов внезапно Гоголь приподнял голову, встряхнул волосы и продолжал уже громким и торжественным голосом: "Зато какая глушь и какой закоулок!" За сим началось великолепное описание деревни Тентетникова, которое, в чтении Гоголя, выходило как будто писано в известном размере. Все описания природы, которыми изобилует первая глава, отделаны были особенно тщательно. Меня в высшей степени поразила необыкновенная гармония речи. Тут я увидел, как прекрасно воспользовался Гоголь теми местными названиями разных трав и цветов, которые он так тщательно собирал. Он иногда, видимо, вставлял какое-нибудь звучное слово единственно для гармонического эффекта. Хотя в напечатанной первой главе все описательные места прелестны, но я склонен думать, что в окончательной редакции они были еще тщательнее отделаны. Разговоры выведенных лиц Гоголь читал с неподражаемым совершенством. Когда, изображая равнодушное, обленившееся состояние байбака-Тентетникова (очевидного предшественника Обломова. - Б. С.), сидящего у окна с холодной чашкой чая, он стал читать сцену происходящей на дворе перебранки небритого буфетчика Григорья с ключницей Перфильевной, то казалось, как бы действительно сцена эта происходила за окном и оттуда доходили до нас неясные звуки этой перебранки. Граф А. П. Толстой сказывал мне, что ему не раз приходилось слышать, как Гоголь писал свои "Мертвые Души": проходя мимо дверей, ведущих в его комнату, он не раз слышал, как Гоголь один, в запертой горнице, будто бы с кем-то разговаривал, иногда самым неестественным голосом. В черновых рукописях видны следы этой работы. Каждый разговор переделывался Гоголем по нескольку раз. Зато как живо, верно и естественно говорят все его действующие лица. Рассказ о воспитании Тентетникова, сколько мне помнится, читан был Гоголем в том виде, как он напечатан в первом издании 1855 года. Причина же выхода в отставку

Тентетникова была гораздо более развита, чем в тех вариантах, которые до нас дошли... Тентетников выставлен был лицом в высшей степени симпатичным. Утратив веру в свой идеал, чувствуя себя безоружным в борьбе с неразрешимыми противоречиями, он, может быть, по примеру других, окончательно и примирился бы с ними, чиновное честолюбие взяло бы верх над голосом совести, ежели бы не представилось воображению его другое поприще деятельности, еще не испытанное им, но заманчивое по обилию средств к практическому приложению всего запаса добра и благородных намерений, которыми полна была душа его. Он поехал в деревню. Чудное описание этой деревни в чтении Гоголя выходило так прелестно, что когда он кончил его словами: "Господи, как здесь просторно!", то мы, оба слушателя, невольно вскрикнули от восхищения. Затем приезд Чичикова, разговор его с Тентетниковым и весь конец первой главы, сколько мне помнится, Гоголь читал совершенно согласно с текстом издания 1855 года. Окончив чтение, Гоголь обратился к нам с вопросом: "Ну, что вы скажете?" Будучи под впечатлением тех прелестных картин и разнообразных описаний природы, которыми изобилует первая глава, я отвечал, что более всего я поражен художественной отделкой этой части, что ни один пейзажист не производил на меня подобного впечатления. "Я этому рад", - отвечал Гоголь и, передав нам рукопись, просил, чтобы мы прочли ему вслух некоторые места. Не помню, г. Россет или я исполнил его желание, и он прислушался к нашему чтению, видимо, желая слышать, как будут передаваться другими те места, которые особенно рельефно выходили при его мастерском чтении. По окончании чтения г. Россет спросил у Гооля: "Что, вы знали такого Александра Петровича (первого наставника Тентетникова) или это ваш идеал наставника?" При этом вопросе Гоголь несколько задумался и, помолчав, отвечал: "Да, я знал такого". Я воспользовался этим случаем, чтобы заметить Гоголю, что действительно его Александр Петрович представляется каким-то лицом идеальным, от того, быть может, что о нем говорится уже, как о покойнике, в третьем лице; но как бы то ни было, а он, сравнительно с другими действующими лицами как-то безжизнен. "Это справедливо", - отвечал мне Гоголь и, подумав немного, прибавил: "Но он у меня оживет потом". Что разумел под этим Гоголь - я не знаю. Рукопись, по которой читал Гоголь, была совершенно набело им самим переписана; я не заметил в ней поправок. Прощаясь с нами, Гоголь просил нас никому не говорить, что он нам читал, и не рассказывать содержания первой главы... Я могу указать ... еще несколько мотивов из последних глав 2-й части... которые я слышал от Шевырева. Например: в то время, когда Тентетников, пробужденный от своей апатии влиянием Уленьки, блаженствует, будучи ее женихом, его арестовывают и отправляют в Сибирь; этот арест имеет связь с тем сочинением, которое он готовил о России, и с дружбой с недоучившимся студентом с вредным либеральным направлением. Оставляя деревню и прощаясь с крестьянами, Тентетников говорит им прощальное слово (которое, по словам Шевырева, было замечательное художественное произведение). Уленька следует за Тентетниковым в Сибирь, там они венчаются и проч. (возможно, жизненный путь Тентетникова повторял жизненный путь известного государственного деятеля М. М. Сперанского, сосланного в Сибирь при

императоре Александре I по обвинению в связях с Бонапартом и либеральных воззрениях (ср. мотив: Чичиков - Наполеон), сделавшего там блестящую чиновничью карьеру и вновь вошедшего в милость при Николае I. Б. С.). Вероятно, в бумагах Шевырева сохранились какие-либо воспоминания о слышанных им главах 2-го тома "Мертвых Душ"; по крайней мере, мне известно, что он намерен был припомнить содержание тех глав, от которых не осталось никаких следов, и изложить их вкратце на бумаге" (к сожалению, эта рукопись С. П. Шевырева до нас не дошла).

ОДОЕВСКИЙ Владимир Федорович (1803-1869), князь, камергер, сенатор, писатель, музыковед, публицист. Его литературно-музыкальный салон в Петербурге в 1830-е годы посещал Гоголь. В марте 1833 г. О. вместе с Гоголем и А. С. Пушкиным задумали издать сборник "Тройчатка, или Альманах в три этажа", но этот проект остался неосуществленным. В сентябре 1837 г. Гоголь из-за безденежья собирался продать О. свою петербургскую библиотеку, о чем писал из Женевы Н. Я. Прокоповичу. Но сделка не состоялась.

15 марта н. ст. 1838 г. Гоголь писал О. из Рима: "Любит ли меня князь Одоевский так же, как прежде? Вспоминает ли он обо мне? Я его люблю и вспоминаю. Воспоминание о нем заключено в талисман, который ношу на груди своей; талисман составлен из немногих сладких для сердца имен - имен, унесенных из Родины; но, переселенцы, они дышат там не так, как цветы, пересаженные в теплицу, нет, они там живут живее, чем жили прежде. Талисман этот меня хранит от невзгод и, когда нечистое подобие тоски или скуки подступит ко мне, я ухожу в мой талисман и в кругу мне сладких заочных и вместе присутствующих друзей нахожу свой якорь и пристань. Помнят ли меня мои родные, соединенные со мною святым союзом муз? Никто ко мне не пишет. Я не знаю, что они делают, над чем трудятся? Но мое сердце всё еще болит доныне, когда занесется сюда газетный листок, и напрасно силюсь отыскать в нем знакомое душе имя или что-нибудь, на чем бы можно взор остановить... всё рынок да рынок, презренный холод торговли да ничтожества! Доселе всё жила надежда, что снидет Иисус гневный и неумолимый и беспощадным бичом изгонит и очистит святой храм от торга и продажи, да свободнее возлетит святая молитва. Теперь... Пишите, скажите Карамзину, чтобы он прислал мне то, что обещал... Обнимите за меня Жуковского и Плетнева. Если увидите кн. Вяземского, передайте ему мой поклон".

В начале 1842 г. Гоголь сообщил О. о запрещении рукописи "Мертвых душ" московской цензурой и просил князя употребить все силы, чтобы доставить ее Николаю I. Одновременно он отправил "Мертвые души" в петербургскую цензуру. Неизвестно, обращался ли О. и другие друзья Гоголя непосредственно к императору. В конце января 1842 г. Гоголь вновь писал О.: "Что ж вы всё молчите все? что нет никакого ответа? получил ли рукопись? получил ли письма? Распорядились ли вы как-нибудь? Ради Бога, не томите. Граф Строганов теперь велел сказать мне, что он рукопись пропустит, что запрещение и пакость случились без его ведома, и мне досадно, что я не дождался этого неожиданного для меня оборота; мне не хочется также, чтобы цензору был выговор. Ради Бога, обделайте так, чтобы всем было хорошо, и, пожалуйста, не

медлите. Время уходит, время, в которое расходятся книги". Точно не известно, удалось ли О. познакомить царя с "Мертвыми душами", но Николай так или иначе узнал о существовании гоголевской поэмы. По утверждению А. О. Смирновой, она прибегла к помощи князя М. А. Дондукова, попечителя Петербургского учебного округа. Трудно сказать, довел ли он дело до сведения императора или решил его своей властью (Дондукову подчинялась петербургская цензура). Одновременно за Гоголя ходатайствовал попечитель Московского учебного округа граф С. Г. Строганов. 29 января 1842 г. он писал шефу жандармов графу А. Х. Бенкендорфу: "Граф! Узнав о стесненном положении, в котором находится г. Гоголь, автор "Ревизора" и один из самых известных современных писателей, нуждающийся в особом содействии, думаю, что исполню по отношению к вам свой долг, если извещу вас об этом и возбужу в вас интерес к молодому человеку. Может быть, вы найдете возможным доложить о нем императору и получить от него знак его высокой щедрости. Г. Гоголь строит все свои надежды, чтоб выйти из тяжелого положения, в которое он попал, на напечатании своего сочинения "Мертвые души". Получив уведомление от московской цензуры, что оно не может быть разрешено к печати, он решил послать его в Петербург. Я не знаю, что ожидает там это сочинение, но это сделано по моему совету. В ожидании же исхода Гоголь умирает с голоду и впал в отчаяние. Я нимало не сомневаюсь, что помощь, которая была бы оказана ему со стороны Его Величества, была бы одной из наиболее ценных. Простите граф, попытку, которую мне продиктовало мое чувство, почерпаемое в уверенности в вашей просвещенной доброте и которой я имею столько доказательств, и позвольте, пользуясь случаем, принести вам уверение в моем глубоком уважении". И уже через несколько дней, 2 февраля 1842 г., Бенкендорф докладывал царю, именуя писателя на немецкий манер Гогелем" и прямо ссылаясь на его поэму: "Попечитель московского учебного округа генерал-адъютант гр. Строганов уведомляет меня, что известный писатель Гогель находится теперь в Москве в самом крайнем положении, что он основал всю надежду свою на сочинении своем под названием "Мертвые души", но оно московскою цензурою не одобрено и теперь находится в рассмотрении здешней цензуры, и как между тем Гогель не имеет даже дневного пропитания и оттого совершенно пал духом, то граф Строганов просит об исходатайствовании от монарших щедрот какого-либо ему пособия. Всеподданнейше донося вашему императорскому величеству о таковом ходатайстве гр. Строганова за Гогеля, который известен многими своими сочинениями, в особенности комедией своей "Ревизор", я осмеливаюсь испрашивать всемилостивейшего вашего величества повеления о выдаче единовременного пособия пятьсот рублей серебром". На докладе Бенкендорфа Николай I наложил резолюцию: "Согласен". И через несколько дней Гоголь получил денежное пособие. А уже в начале марта гоголевская поэма была разрешена к печати.

ПАВЛОВ Николай Филиппович (1805-1864), писатель и критик. Они познакомились в октябре 1839 г. после постановки "Ревизора" в московском училище правоведения. Позднее П. и Гоголь неоднократно встречались на обедах у общих знакомых в Москве, в частности, у П. Я. Чаадаева и М. П.

Погодина.

В 1847 г. П. опубликовал в "Московских ведомостях" "Четыре письма к Н.В. Гоголю", где подверг резкой критике "Выбранные места из переписки с друзьями". В этом произведении П. обратился к Гоголю с полным иронии риторическим вопросом: "Ради Бога, скажите серьезно, неужели вы в самом деле думаете, что светские люди, начало и конец ваших поучительных посланий, не знают, как спасти свою душу? Знают, не меньше вашего знают, да не хотят. Им нужно, чтоб кто-нибудь сказал: живите, как вы живете; будьте тем, что вы есть, _ и при этих условиях можно спасти душу. Уверьте женщину в свете, что она может быть и женщиной в свете, и святою; докажите помещику, что он и помещик, и учитель спасения. Вот тут, правда, полезен бывает человек с высоким дарованием".

ПАНАЕВ Иван Иванович (1812 -1862), писатель, журналист, в 1847 г. стал вместе с Н. А. Некрасовым издателем журнала "Современник". 14 октября 1839 г. П. присутствовал на чтении Гоголем у Аксаковых комедии "Тяжба" и первой главы "Мертвых душ".

П. писал в "Литературных воспоминаниях", как осенью 1839 г. "С. Т. Аксаков уговорил Загоскина (который не слишком жаловал Гоголя) дать "Ревизора" на московской сцене, по случаю пребывания Гоголя в Москве... Спектакль этот дан был сюрпризом для автора. Щепкин и все актеры, наперерыв друг перед другом, старались отличиться перед автором. Большой московский театр, редко посещаемый публикою летом, был в этот раз полон. Все московские литературные и другие знаменитости были здесь в полном сборе: в первых рядах кресел и в ложах бельэтажа. Белинский, Бакунин и их друзья, еще не принадлежавшие тогда к знаменитостям, помещались в задних рядах. Все искали автора, все спрашивали: где он? Но его не было видно. Только в конце второго действия его открыл Н.Ф. Павлов скрывающимся в углу бенуара г-жи Чертковой. По окончании третьего акта раздались громкие крики: "Автора! Автора!" Громче всех кричал и хлопал Константин Аксаков. Он решительно выходил из себя.

- Константин Сергеевич!.. Полноте!.. поберегите себя!.. - восклицал Николай Филиппович Павлов, подходя к нему, смеясь и поправляя свое жабо...

- Оставьте меня в покое, - отвечал сурово Константин Аксаков и продолжал хлопать еще яростнее.

Гоголь при этих неистовых криках (я следил за ним) все спускался ниже и ниже на своем стуле и почти выполз из ложи, чтобы не быть замеченным. Занавес поднялся. Актер вышел и объявил, что "автора нет в театре". Гоголь действительно уехал после третьего действия, к огорчению артистов, употреблявших все Богом данные им способности для того, чтобы заслужить похвалу автора. На публику этот отъезд произвел также неприятное впечатление; даже Константин Аксаков был недоволен этим.

- Нет, ваш Гоголь уж слишком важничает, - говорил ему Николай Филиппович. - Вы его избаловали... Не правда ли, а?.. Согласитесь, что он поступил неприлично и относительно публики, и относительно артистов?.. а? Правду ведь я говорю?

- Да, это он сделал напрасно, - заметил К. Аксаков с огорчением".

Вскоре после того, как Гоголь 30 октября 1839 г. вернулся из Москвы в Петербург после разочаровавшей его постановки "Ревизора", П. удалось с ним познакомиться через Н. Я. Прокоповича. Он так вспоминал об этом знаменательном событии: "Прокопович, узнав через А. А. Комарова (поэта, преподававшего словесность в петербургских военно-учебных заведениях. - Б. С.) мое желание посмотреть Гоголя, пригласил меня в тот день, когда Гоголь обещал у него обедать. Наружность Гоголя не произвела на меня приятного впечатления. С первого взгляда на него меня всего более поразил его нос, сухощавый, длинный и острый, как клюв хищной птицы. Он был одет с некоторою претензиею на щегольство, волосы были завиты и клок напереди поднят довольно высоко, в форме букли, как носили тогда. Вглядываясь в него, я все разочаровывался более и более, потому что заранее составил себе идеал автора "Миргорода", и Гоголь нисколько не подходил к этому идеалу. Мне даже не понравились глаза его - небольшие, проницательные и умные, но как-то хитро и неприветливо смотревшие. Он занят был перед обедом приготовлением макарон по-итальянски (это было уже после второй поездки его за границу) и беспрестанно выходил на кухню смотреть за их приготовлением. За обедом он говорил мало и ел много. Разговор его не был интересен, он касался самых обыкновенных и вседневных вещей; о литературе почти не было речи, только, не помню к чему, он заметил, что, по его мнению, первый поэт после Пушкина - Языков и что он не только не уступает самому Пушкину, но даже превосходит его иногда по силе, громкости и звучности стиха. Меня еще неприятно поразило то, что в обращении двух друзей и товарищей не было простоты: сквозь любовь Прокоповича к Гоголю невольно проглядывало то подобострастие, которое обнаруживают друзья низшие к друзьям высшего ранга; Гоголь, в свою очередь, посматривал на Прокоповича тоже как будто немножко свысока. Тотчас после обеда мы все разошлись, и когда я уходил, Прокопович заметил мне, что Гоголь сегодня был не в духе. Я слышал, что Гоголь в духе рассказывал различные анекдоты с необыкновенным мастерством и юмором; но после издания "Миргорода" и громадного успеха этой книги он принимал уже тон более серьезный и строгий и редко бывал в хорошем расположении... Иногда только он обнаруживал свой юмор перед людьми высшего общества, с которыми начал сближаться. До этого и обращение его с Прокоповичем было гораздо проще и искреннее, так, по крайней мере, уверяют те, которые были знакомы с ним с самого приезда его в Петербург..."

П. оставил нам подробное описание чтения Гоголем первой главы "Мертвых душ" у С. Т. Аксакова в начале января 1840 года: "...Михайло Семенович (Щепкин. - Б.С.) объявил мне, что он на днях будет обедать у Сергея Тимофеича с Гоголем (который только что приехал в Москву), и с таинственным тоном прибавил умиленным и дрожавшим голосом:

- Ведь он, кажется, намерен прочесть там что-то новенькое!..

Действительно, через несколько дней после этого Сергей Тимофеич пригласил меня обедать, сказав, что у него будет Гоголь и что он обещал прочесть первую главу "Мертвых душ". Я ожидал этого дня с лихорадочным нетерпением и забрался к Аксаковым часа за полтора до обеда. Щепкин явился,

кажется, еще раньше меня... В исходе четвертого прибыл Гоголь. Он встретился со мною, как со старым знакомым, и сказал, пожав мне руку:

- А, и вы здесь... Каким образом?

Нечего говорить, с каким восторгом он был принят. Константин Аксаков, видевший в нем русского Гомера, внушил к нему энтузиазм во всем семействе. Для Аксакова-отца сочинения Гоголя были новым словом. Они вывели его из рутины старой литературной школы (он принадлежал к самым записным литераторам-рутинерам) и пробудили в нем новые, свежие силы для будущей деятельности. Без Гоголя Аксаков едва ли бы написал "Семейство Багровых". День этот был праздником для Константина Аксакова... С какою любовию он следил за каждым взглядом, за каждым движением, за каждым словом Гоголя! Как он переглядывался с Щепкиным! Как крепко жал мне руки, повторяя:

- Вот он, наш Гоголь! Вот он!

Гоголь говорил мало, вяло и будто нехотя. Он казался задумчив и грустен. Он не мог не видеть поклонения и благоговения, окружавшего его, и принимал все это как должное, стараясь прикрыть удовольствие, доставляемое его самолюбию, наружным равнодушием. В его манере вести себя было что-то натянутое, искусственное, тяжело действовавшее на всех, которые смотрели на него не как гения, а просто как на человека... Чувство глубокого, беспредельного уважения семейства Аксаковых к таланту Гоголя проявлялось во внешних знаках с ребяческой, наивной искренностию, доходившей до комизма. Перед его прибором за обедом стояло не простое, а розовое стекло; с него начинали подавать кушанье; ему подносили любимые им макароны для пробы, которые он не совсем одобрил и стал сам мешать и посыпать сыром. После обеда он развалился на диване в кабинете Сергея Тимофеича и через несколько минут стал опускать голову и закрывать глаза - в самом ли деле начинал дремать или притворялся дремлющим... В комнате мгновенно все смолкло... Щепкин, Аксаковы и я вышли на цыпочках. Константин Аксаков, едва переводя дыхание, ходил кругом кабинета, как часовой, и при чьем-нибудь малейшем движении или слове повторял шепотом и махая руками: - Тсс! тсс! Николай Васильевич засыпает!..

Об обещанном чтении Гоголь перед обедом не говорил ни слова; спросить его, сдержит ли он свое обещание, никто не решался... Покуда Гоголь дремал, у всех только был в голове один вопрос: прочтет ли он что-нибудь и что прочтет?.. У всех бились сердца, как они всегда бьются в ожидании необыкновенного события... Наконец Гоголь зевнул громко. Константин Аксаков при этом заглянул в щелку двери и, видя, что он открыл глаза, вошел в кабинет. Мы все последовали за ним.

- Кажется, я вздремнул немного? - спросил Гоголь, зевая и посматривая на нас...

Дамы, узнав, что он проснулся, вызвали Константина Аксакова и шепотом спрашивали - будет ли чтение? Константин Аксаков пожимал плечами и говорил, что ему ничего неизвестно. Все томились от этой неизвестности, и Сергей Тимофеич первый решился вывести всех из такого неприятного положения.

- А вы, кажется, Николай Васильевич, дали нам обещание?.. вы не забыли

его? - спросил он осторожно...

Гоголя подернуло несколько.

- Какое обещание?.. Ах, да! Но я сегодня, право, не имею расположения к чтению и буду читать дурно, вы меня лучше уж избавьте от этого...

При этих словах мы все приуныли; но Сергей Тимофеич не потерял духа и с большою тонкостию и ловкостию стал упрашивать его... Гоголь отговаривался более получаса, переменяя беспрестанно разговор. Потом потянулся и сказал:

- Ну, так и быть, я, пожалуй, что-нибудь прочту вам... Не знаю только, что прочесть?.. - И приподнялся с дивана.

У встрепенувшегося Щепкина задрожали щеки; Константин Аксаков весь просиял, будто озаренный солнцем; повсюду пронесся шепот: "Гоголь будет читать!" Гоголь встал с дивана, взглянув на меня не совсем приятным и пытливым глазом (он не любил, как я узнал после, мало знакомых ему лиц при его чтениях) и направил шаги в гостиную. Все последовали за ним. В гостиной дамы уже давно ожидали его. Он нехотя подошел к большому овальному столу перед диваном, сел на диван, бросил беглый взгляд на всех, опять начал уверять, что он не знает, что прочесть, что у него нет ничего обделанного и оконченного... и вдруг икнул раз, другой, третий... Дамы переглянулись между собою, мы не смели обнаружить при этом никакого движения и только смотрели на него в тупом недоумении.

- Что это у меня? точно отрыжка? - сказал Гоголь и остановился. Хозяин и хозяйка дома даже несколько смутились... Им, вероятно, пришло в голову, что обед их не понравился Гоголю, что он расстроил желудок... Гоголь продолжал:

- Вчерашний обед засел в горле, эти грибки да ботвиньи! Ешь, ешь, просто черт знает, чего не ешь...

И заикал снова, вынув рукопись из заднего кармана и кладя ее перед собою... "Прочитать еще "Северную пчелу", что там такое?.." - говорил он, уже следя глазами свою рукопись. Тут только мы догадались, что эта икота и эти слова были началом чтения драматического отрывка, напечатанного впоследствии под именем "Тяжбы". Лица всех озарились смехом, но громко смеяться никто не смел... Все только посматривали друг на друга, как бы говоря: "Каково? Каково читает?" Щепкин заморгал глазами, полными слез. Чтение отрывка продолжалось не более получаса. Восторг был всеобщий: он подействовал на автора.

- Теперь я вам прочту, - сказал он, - первую главу моих "Мертвых душ", хоть она еще не обделана...

Все литературные кружки перед этим уже были сильно заинтересованы слухами о "Мертвых душах". Гоголь, если я не ошибаюсь, прежде всех читал начало своей поэмы Жуковскому. Говорили, что это произведение гениальное... Любопытство к "Мертвым душам" возбуждено было не только в литературе, но и в обществе. Нечего говорить, как предложение Гоголя было принято его поклонниками... Гоголь читал неподражаемо. Между современными литераторами лучшими чтецами своих произведений считаются Островский и Писемский: Островский читает без всяких драматических эффектов, с величайшею простотою, придавая между тем должный оттенок каждому лицу; Писемский читает, как актер, - он, так сказать, разыгрывает свою пьесу в

чтении... В чтении Гоголя было что-то среднее между двумя этими манерами. Он читал драматичнее Островского и с гораздо большею простотою, чем Писемский... Когда он окончил чтение первой главы и остановился, несколько утомленный, обведя глазами своих слушателей, его авторское самолюбие должно было удовлетвориться вполне... На лицах всех ясно выражалось глубокое впечатление, произведенное его чтением. Все были и потрясены и удивлены. Гоголь открывал для своих слушателей тот мир, который всем нам так знаком и близок, но который до него никто не умел воспроизвести с такою беспощадною наблюдательностию, с такою изумительною верностию и с такою художественною силою... И какой язык-то! язык-то! Какая сила, свежесть, поэзия!.. У нас даже мурашки пробегали по телу от удовольствия. После чтения Сергей Тимофеич Аксаков в волнении прохаживался по комнате, подходил к Гоголю, жал его руки и значительно посматривал на всех нас... "Гениально, гениально!" повторял он.

Глазки Константина Аксакова сверкали, он ударял кулаком о стол и говорил: - Гомерическая сила! гомерическая!

Дамы восторгались, ахали, рассыпались в восклицаниях. Гоголь еще более вырос после этого чтения в глазах всех... На другой день я с Константином Аксаковым отправился к Белинскому... Аксаков передал ему о вчерашнем чтении с энтузиазмом, он говорил, что после первой главы "Мертвых душ" нельзя уже сомневаться в том, что Гоголь гений и что он подарит русскую литературу колоссальным произведением, в котором отразится вся Русь".

ПАНАЕВА Авдотья Яковлевна (1820-1893), урожденная Брянская, во втором браке - Головачева, писательница, жена И. И. Панаева, потом с середины 1840-х годов - гражданская жена Н. А. Некрасова, в соавторстве с которым написала несколько романов, потом с 1864 года жена Аполлона Федоровича Головачева (умер в 1877 г.), критика и секретаря редакции "Современника".

С Гоголем П. познакомилась вместе с И.И. Панаевым у Аксаковых осенью 1839 г. В мемуарах она оставила описание этой встречи: "Вера Сергеевна (дочь С. Т. Аксакова. - Б. С.) благоговела перед его талантом и сказала мне:

- К нам неожиданно сегодня приехал обедать Гоголь; вот вы увидите самого автора.

Нас позвали обедать. Вера Сергеевна, идя в комнаты, сказала:

- Я вас должна предупредить, чтобы вы не удивились, если вам не представят Гоголя. Он не любит теперь никаких новых знакомств, особенно с дамами. Он такой стал болезненный, нервный, не может выносить даже за столом шума, так что меньшие мои братья и сестры сегодня обедают отдельно.

Я была очень довольна, что избавлюсь от представления мне Гоголя. Я очень конфузилась в такие минуты. Мы вошли в столовую одновременно, как в нее входил Гоголь с хозяином дома и Панаевым. Хозяйка дома усадила меня возле себя, а по другую сторону посадили Гоголя; ему было поставлено вольтеровское кресло. На противоположной стороне сидел хозяин дома с сыном и Панаевым. Трудно было иметь более сходства, какое я нашла у Аксакова-сына с отцом. Подростки-сыновья сидели между Панаевым и Гоголем, а возле меня Вера Сергеевна и ее сестра лет четырнадцати. У прибора Гоголя стоял

особенный граненый большой стакан и в графине красное вино. Ему подали особенный пирог, жаркое тоже он ел другое, нежели все. Хозяйка дома потчевала его то тем, то другим, но он ел мало, отвечал на ее вопросы каким-то капризным тоном. Гоголь все время сидел сгорбившись, молчал, мрачно поглядывая на всех. Изредка на его губах мелькала саркастическая улыбка, когда о чем-то горячо стали спорить Панаев с младшим Аксаковым. Когда встали из-за стола, Гоголь сейчас же удалился опять в кабинет отдыхать после обеда. А мы все уселись на большой террасе пить кофе. Хозяйка дома отдала приказание прислуге, чтобы не шумели, убирая со стола. Вера Сергеевна пригласила меня пойти посмотреть, как дети на лужайке играют в серсо. Я пошла с ней; она меня спросила, какое на меня произвел впечатление Гоголь. Я с наивной откровенностью ответила, что он от болезни сделался такой молчаливый и раздражительный и что сегодня он был особенно не в духе".

ПАНОВ Василий Алексеевич (1819-1849), писатель славянофильского направления, родственник Аксаковых, редактор журнала "Московский сборник". Был товарищем Гоголя во время поездки в Западную Европу в 1840 г. и в начале 1841 г. вместе с ним жил в Риме на одной квартире.

Пребывание вместе с Гоголем за границей П. запечатлел в письме С. Т. Аксакову 9/21 ноября 1840 г. из Рима "Когда мы с Гоголем в Москве собрались в дорогу, он говорил, что, как скоро мы переедем за границу, он станет мне полезен, приучая меня к бережливости, расчету, порядку. Вышло совсем наоборот: он был точно так же рассеян, как и в Москве. Однако он чувствовал себя довольно хорошо. В Вене его беспокоила только какая-то боль в ноге. В продолжение почти четырех недель, которые я тут с ним пробыл, я видел ясно, что он чем-то занят. Хотя он и в это время лечил себя, пил воды, прогуливался, но все ему оставалось свободное время, и он тогда перечитывал и переписывал свое огромное собрание малороссийских песен, собирал лоскутки, на которых у него были записаны поговорки, замечания и проч. ... Расставаясь около половины июня (н. ст. 1840 г.), мы назначали съехаться в Венеции. Он хотел приехать туда из Вены в половине августа, а мне назначал последним сроком 1 сентября. Въезжая в Венецию 2 сентября, я дрожал, боялся его уже не застать в ней. Вместо этого встречаю его на площади св. Марка и узнаю, что мы с противоположных сторон въехали в один и тот же час. Болезнь, от которой он думал умереть, задержала его в Вене. К счастью, с ним был Н. П. Боткин. Этот истинно добрый человек ухаживал за ним, как нянька. Болезнь эта надолго расстроила Николая Васильевича, без того уже расстроенного. Она отвлекла его внимание от всего, и только в Венеции иногда проглядывали у него минуты спокойные, в которые дух его сколько-нибудь просветлял ужасную мрачность его состояния, большей части по необходимости материального. Какие мысли светлые он тогда высказывал, какое сознание самого себя! В продолжение десяти дней, которые мы в Венеции прожили, мне казалось, что я был окружен каким-то волшебством. С утра до вечера мы катались по водяным улицам в гондоле, между мраморных палаццов, заезжали в церкви, галереи. Из гондолы выходили на площадь Марка, где проводили все остальное время. потом опять мы в гондоле возвращались на площадь взглянуть, как она оживает при лунном

свете... Через Болонью, Флоренцию, Ливурно, море, Чивитта-Веккию мы 25 сентября достигли Рима. Но, приехавши сюда, он уже, казалось, ничем не был занят, как только своим желудком, поправлением своего здоровья, а между тем никто из нас не мог съесть столько макарон, сколько он опускал иной раз. Скучал, беспрестанно жаловался, что даже ничего не может читать. Вообще мне кажется, что Гоголь ошибался, если думал, что ему стоит только выехать за границу, чтобы возвратить деятельность и силы, которые он боялся уже потерять. Хорошо, если бы так. Но, к несчастью, его расстройство не зависит от климата и места и не так легко поправляется. Может быть, целые десять лет его жизни постепенно расстраивали его организацию, которая теперь в ужасном разладе. Его физическое состояние действует, конечно, на силы душевные; поэтому он им чрезвычайно дорожит, и поэтому он ужасно мнителен. Все эти причины, действуя совокупно, приводят его иногда в такое состояние, в котором он истинно несчастнейший человек, и эти тяжкие минуты, в которые вы его видели, мне кажется, были здесь с ним чаще, продолжительнее и сильнее, нежели в России... Хотя я в душе никогда не переставал быть убежденным, что Гоголь непременно пробудится с новыми силами, но, признаюсь, мне кажется, я уже забывал видеть в нем Гоголя, как вдруг, в одно утро, дней десять тому назад, он меня угостил началом своего произведения! Это будет, как он мне сказал, трагедия. План ее он задумал еще в Вене. Начал писать здесь. Действие в Малороссии. В нескольких сценах, которые он уже написал и прочел мне, есть одно лицо комическое, которое, выражаясь не столько в действии, сколько в словах, теперь уже совершенство. О прочих судить нельзя: они должны еще обрисоваться в самом действии. Главное лицо еще не обозначилось... Если бы этого не было, то значило бы, что все погибло. Это должно было быть. Во-первых, он один на своей прежней квартире. Ничто его не рассеивает. Идти почти некуда более, как только к двум-трем художникам. Часов пять в день должно уже непременно просидеть одному; надо же что-нибудь делать. Но главное то, что в Риме невозможно не заниматься; или надо быть больным, без движения. Здесь человека, который сколько-нибудь посвятил себя умственной жизни, все вызывает к деятельности, к труду, все из него вытягивает мысль".

Гоголь 28 декабря н. ст. 1840 г. из Рима писал С. Т. Аксакову: "Панов молодец во всех отношениях, и Италия ему много принесла пользы, какой бы он никогда не приобрел в Германии, в чем он совершенно убедился. Это не мешает довести, между прочим, до сведения кое-кого. А впрочем, если рассудить по правде, то я не знаю, почему вообще молодым людям не развернуться в полноте сил в Русской земле. Но почему - может увлечь в длинные рассуждения".

Летом 1841 г. Гоголь писал П. из Рима: "Вы, верно, не можете понять причины, почему до сих пор я не писал к вам и почему по обещанию не прислал портрета... Но портрета я не присылаю вам и теперь и вот почему. 1-е, на почте встретились такие затруднения при отправке его, что у меня не стало терпения, не потому не стало терпения, чтобы я был ленив или занят, но потому, что меня сильно охладили следующие за сим причины. 2-я: два известные вам господина поднялись на такие штуки, каких, верно, вы не придумали бы вовек, именно испортить портрет, и сделали его похожим на сестру ее, что изумило

совершенно всех, и сам оригинал (итальянская любовница П. - Б. С.) не может постигнуть причины, почему теперь решительно не похож портрет, тогда как прежде был похож... Наконец, 3-я причина, может быть, самая неприятная для вас, но дело прошлое, стало быть, можно сказать прямо: оригинал и сотой доли не стоит сердечных чувств ваших. И тени в нем и нет, и не было того, что заключается сильно в груди италианской любовницы. При вас, при моих глазах даже, произошли такие сцены, которые если бы я вам сообщил вполовину, то уже доставил бы вам несколько горьких минут, омрачивших бы, может быть, ваше последнее пребывание в Риме... Но Бог с ним! Гоните прочь с души всё мутное! На ясный, на свежий воздух! На труд! Сильнее и крепче воздвигайте упор в душе своей всему, что низменно и чем соблазняется свет. Помните вечно, какой земли гражданин вы и что никому не предстоит столько трудов и работ, как гражданину сей земли, и что есть таинственная рука, которая поведет вас на прекрасное и высокое..."

5 октября н. ст. 1846 г. в письме Н. М. Языкову из Франкфурта Гоголь просил передать П., что он не сможет дать статей в его "Москвитянин", поскольку журнал "мертвый": "А Панову скажи так, что я весьма понял всякие ко мне заезды по части статьи отдаленными и деликатными дорогами, но не хочет ли он понюхать некоторого словца под именем: нет? Это словцо имеет запах не совсем дурной, его нужно только получше разнюхать".

ПАЩЕНКО Иван Григорьевич (около 1809-1848), товарищ Гоголя по нежинской гимназии, чиновник министерства юстиции. Вскоре после его смерти, 4 мая 1848 г., Гоголь писал А. С. Данилевскому о П.: "Это была добрейшая душа. Он был умен и имел способность замечать. И ты, и я лишились в нем товарища закадычного". Также жена Данилевского отзывалась о П. как о "давнишнем и постоянном обожателе Гоголя".

П. вспоминал, как Гоголь в гимназии симулировал сумасшествие (по свидетельству Н. В. Кукольника, это было сделано для того, чтобы избежать телесного наказания): "...Страсть к сочинениям у Гоголя усиливалась все более и более, а писать не было времени... Что же сделал Гоголь? Взбесился! Вдруг сделалась страшная тревога во всех отделениях - "Гоголь взбесился!" сбежались мы и видим, что лицо у Гоголя страшно исказилось, глаза сверкают диким блеском, волосы натопорщились, скрегочет зубами, пена изо рта, падает, бросается на мебель - взбесился! Прибежал и флегматический директор Орлай, осторожно подходит к Гоголю и дотрагивается до плеча. Гоголь схватывает стул, взмахнул им - Орлай уходит (возможно, этот эпизод трансформировался в "Ревизоре" в историю учителя, который, увлекшись рассказом об Александре Македонском, хватил стулом об пол. - Б. С.)... Оставалось одно средство: позвать четырех служащих при больнице инвалидов, приказали им взять Гоголя и отвести в особое отделение больницы, в которой пробыл он два месяца, отлично разыгрывая там роль бешеного".

П. любил петь, но не имел ни слуха, ни голоса. 25 января н. ст. 1837 г. Гоголь из Парижа писал Н. Я. Прокоповичу: "Не приведи Бог принести сюда Пащенка. Беда была бы нашим ушам. Он бы напевал, я думаю, ежедневно и ежеминутно".

ПЕРОВСКИЙ Василий Алексеевич (1795-1875), граф, генерал от кавалерии, с 1846 г. - член Государственного Совета, в 1833-1842 гг. - оренбургский, а в 1851-1857 гг. - оренбургский и самарский генерал-губернатор. С Гоголем П. познакомился в Петербурге через А. О. Смирнову, в 1840 г. встречался с ним в Риме. Во многом благодаря хлопотам П. "Мертвые души" были разрешены цензурой.

20 апреля н. ст. 1844 г. Гоголь писал из Франкфурта П. по поводу его 8-летнего сына Алеши: "Я к вам давно хотел писать по поводу Алеши... Хотел писать к Вам именно тогда, когда вы думали отправить его за границу, не оставлял этого намерения даже и тогда, когда ему сделалось лучше и когда вы решили оставить его в Петербурге. Но всякий раз приходил в затруднение исполнить, видя, что потребны слишком умные и долгие разговоры, и не будучи уверен в себе, могу ли я представить ясно и убедительно другому то, в чем уже убежден сам. Теперь решился, побуждаемый уже другим побужденьем, сказать вам хотя главное дело прямо в двух словах, откладывая всякое объясненье на после. Позаботьтесь о душевном, а не о телесном здоровье Алеши. Это ему слишком нужно. Переговорите с каким-нибудь умным и опытным священником, который бы был притом истинно христианской жизни, хоть например с Павским (протоиерей Герасим Петрович Павский (1787-1863) был профессором Санкт-Петербургской духовной академии. - Б. С.). Много есть таких глубоких тайн в душе человека, которых мы не только не подозреваем, но не хотим подумать, что и подозревать их надобно. Как бы ни был бесчувствен человек, как бы ни усыплена была его природа, в две минуты может случиться его пробуждение. Нельзя даже ручаться в том, что развратнейший, презреннейший и порочнейший из нас не сделался лучше и святее всех нас, хотя бы пробужденье случилось с ним за несколько дней до смерти. А потому, если вы предадитесь безнадежности или же отчаянью насчет Алеши, то этот грех будет сильнее всех грехов. Но довольно. Я знаю, что мне следует поговорить с вами о многом и даже о вас самих. Во время говенья со мной случилось одно душевное явленье, имевшее прямо отношение к вам. Вот уже два раза вы входите ко мне во время моего говения. Помните ли в Риме, когда вы нечаянно попали в переднюю церкви, где собраны были все исповедывавшиеся, в числе которых был я, и когда подошел я к вам просить по христианскому обычаю прощения, а вы в ответ на то благословили меня? Это было сделано хладнокровно и в шутку, но я заставил вас во второй раз благословить меня таким же самым образом и внутренно молился, чтоб эти благословенья обратились в истинные и чтоб вам случилось два раза в жизни благословить меня истинно... Впрочем, дело не о каких-либо видимых символах, а о внутренних душевных явлениях. В душе моей загорелось сильное желанье знать о вас, это не бывает даром... Душевный голос говорит мне, что мне удастся вам сделать какую-то услугу".

"ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЗАПИСКИ 1836 ГОДА", статья. Впервые опубликована: Современник, литературный журнал А. С. Пушкина, изданный по смерти его в пользу его семейства, СПб., 1837, т. 6. Вторая часть П. з. 1836 г. в первоначальной редакции написана в конце апреля 1836 г. после первой

постановки "Ревизора". Она называлась "Петербургская сцена в 1835-36 г." и была впервые опубликована в 6-м томе 10-го издания Сочинений Н. В. Гоголя (М.; СПб, 1896). Первая часть П. з. 1836 г. была закончена в начале марта 1836 г. и в первоначальной редакции называлась "Петербург и Москва (из записок дорожного). Текст этой первоначальной редакции не сохранился.

В П. з. 1836 г. Гоголь отмечал: "Странный народ русский: была столица в Киеве - здесь слишком тепло, мало холоду; переехала русская столица в Москву - нет, и тут мало холода: подавай Бог Петербург! Выкинет штуку русская столица, если подсоседится к ледяному полюсу. Я говорю это потому, что у ней слюна катится поглядеть вблизи на белых медведей... Москва большой гостиный двор; Петербург - светлый магазин. Москва нужна для России; для Петербурга нужна Россия... Петербург - большой охотник до театра. Если вы будете гулять по Невскому проспекту в свежее морозное утро, во время которого небо золотисто-розового цвета перемежается сквозными облаками подымающегося из труб дыма, зайдите в это время в сени Александринского театра: вы будете поражены упорным терпением, с которым собравшийся народ осаждает грудью раздавателя билетов..."

Гоголь завершил статью описанием православной Пасхи 1836 г.: "Я так был упоен ясными, светлыми днями Христова Воскресения, что не замечал вовсе огромной ярмарки на Адмиралтейской площади. Видел только издали, как качели уносили на воздух какого-то молодца, сидевшего об руку с какой-то дамой в щегольской шляпке; мелькнула в глаза вывеска на угольном балагане, на котором нарисован был пребольшой рыжий черт с топором в руке... Светлым Воскресением, кажется, как будто оканчивается столица. Кажется, что все, что ни видим на улице, собирается в дорогу. Спектакли, балы после Светлого Воскресения - больше ничего, как оставшиеся хвосты от тех, которые были перед Великим Постом, или, лучше сказать, гости, которые расходятся позже других и проговаривают у камина еще несколько слов, прикрывая одною рукою зевающий рот свой".

ПЛЕТНЕВ Петр Александрович (1792-1862), поэт и критик, один из ближайших друзей Гоголя. Будучи инспектором Патриотического Института, устроил туда преподавателем Гоголя, с которым познакомился в 1830 г. В 1837-1846 гг. - издатель "Современника". С 1832 г. П. был профессором русской словесности, в 1840-1861 гг. - ректором Петербургского университета.

П. был одним из тех, кто познакомил Гоголя с А. С. Пушкиным, которому писал 22 февраля 1831 г.: "Надобно познакомить тебя с молодым писателем, который обещает что-то очень хорошее. Ты, может быть, заметил в "Северных Цветах" отрывок из исторического романа, с подписью оооо, также в "Литературной Газете" - "Мысли о преподавании географии", статью "Женщина" и главу из малороссийской повести "Учитель". Их писал Гоголь-Яновский. Сперва он пошел было по гражданской службе, но страсть к педагогике привела его под мои знамена: он перешел в учителя. Жуковский от него в восторге. Я нетерпеливо желаю подвести его к тебе под благословение. Он любит науки только для них самих и, как художник, готов для них подвергать себя всем лишениям. Это меня трогает и восхищает".

16/28 марта 1837 г. Гоголь из Рима писал П. в связи со смертью А. С. Пушкина: "Что месяц, что неделя, то новая утрата, но никакой вести хуже нельзя было получить из России. Всё наслаждение моей жизни, всё мое высшее наслаждение исчезло вместе с ним. Ничего я не предпринимал без его совета. Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его пред собою. Что скажет он, что заметит он, чему посмеется, чему изречет неразрушимое и вечное одобрение свое, вот что меня только занимало и одушевляло мои силы. Тайный трепет невкушеаемого на земле удовольствия обнимал мою душу... Боже! Нынешний труд мой, внушенный им, его создание ("Мертвые души". - Б. С.)... Я не в силах продолжать его. Несколько раз принимался я за перо - и перо падало из рук моих. Невыразимая тоска!... Пришлите мне деньги, которые должен внести мне Смирдин к первым числам апреля. Вручите их таким же порядком Штиглицу (петербургскому банкиру. _ Б. С.), дабы он отправил их к одному из банкиров в Риме для передачи мне. Лучше, если он переведет на Валентина, этот, говорят, честнее прочих здешних банкиров. Если возможно, то ускорите это сколько возможно. Я не мог вам писать прежде, потому что не установился на месте и шатался всё в дороге".

27 сентября 1839 г., вернувшись из-за границы в Москву, Гоголь сообщал П.: "Я в Москве. Покамест не сказывайте об этом никому. Грустно и не хотелось сильно! Но долг и обязанность последняя: мои сестры. Я должен устроить судьбу их. Без меня (как ни ворочал я это дело) я не находил никакого средства. Я на самое малое время, и как только устрою, не посмотрю ни на какие препятствия, ни на время, и через полтора или два месяца я на дороге в Рим. К вам моя убедительнейшая просьба узнать, могу ли я взять сестер моих до экзамена и таким образом выиграть время или необходимо они должны ожидать выпуска. Дайте мне ответ ваш и, если можно, скорее. Скоро после него я обниму, может быть, вас лично. Я слышал и горевал о вашей утрате (умерла первая жена П. Степанида Александровна, урожденная Раевская. - Б. С.). Вы лишились вашей доброй и милой супруги, столько лет шедшей об руку вашу, свидетельницы горя и радостей ваших и всего, что волнует нас в прекрасные годы нашей жизни. Знаете ли, что я предчувствовал это. И когда прощался с вами, мне что-то смутно говорило, что я увижу вас в другой раз уже вдовцом. Еще одно предчувствие, оно еще не исполнилось, но исполнится, потому что предчувствия мои верны, и я не знаю отчего во мне поселился теперь дар пророчества. Но одного я никак не мог предчувствовать - смерти Пушкина, и я расстался с ним, как будто бы разлучаясь на два дня. Как странно! Боже, как странно. Россия без Пушкина. Я приеду в Петербург - и Пушкина нет. Я увижу вас - и Пушкина нет. Зачем вам теперь Петербург? к чему вам теперь ваши милые прежние привычки, ваша прежняя жизнь? Бросьте всё! и едем в Рим. О, если б вы знали, какой там приют для того, чье сердце испытало утраты. Как наполняются там незаместимые пространства пустоты в нашей жизни! Как близко там к небу. Боже, Боже! Боже! о мой Рим. Прекрасный мой, чудесный Рим. Несчастлив тот, кто на два месяца расстался с тобой, и счастлив тот, для которого эти два месяца прошли, и он на возвратном пути к тебе. Клянусь, как ни чудесно ехать в Рим, но возвращаться в тысячу раз прекраснее".

10 апреля 1842 г. Гоголь писал П. по поводу цензурного запрета "Повести о

капитане Копейкине" в "Мертвых душах": "Уничтожение "Копейкина" меня сильно смутило. Это одно из лучших мест в поэме, и без него - прореха, которой я ничем не в силах заплатать и зашить. Я лучше решился переделать его, чем лишиться вовсе. Я выбросил весь генералитет. Характер Копейкина означил сильнее, так что теперь видно ясно, что он всему причиною сам и что с ним поступили хорошо (в этом утверждении чувствуется скрытая ирония, ведь не мог же Гоголь всерьез считать, что отказ в пенсии инвалиду и герою войны 1812 года - это доброе дело. - Б. С.). Присоедините ваш голос и подвиньте, кого следует. Вы говорите, что от покровительства высших нужно быть подальше, потому что они всякую копейку делают алтыном. Клянусь, я готов теперь рублем почитать всякую копейку, которая дается на мою бедную рукопись. Но я думал даже, что один Никитенко может теперь ее пропустить... Передайте ему листы "Копейкина" и упросите без малейшей задержки передать вам для немедленной пересылки ко мне, ибо печатанье рукописи уже началось".

И уже 12 апреля 1842 г. П. написал А. В. Никитенко: "Посылаю письмо Гоголя к вам и переделанного "Копейкина". Ради Бога, помогите ему, сколько возможно. Он теперь болен, и я уверен, что если не напечатает "Мертвых душ", то и сам умрет. Когда решите судьбу рукописи, то, не медля ни дня, препроводите ко мне для доставления страдальца. Он у меня лежит на сердце, как тяжелый камень".

8 июля 1842 г. друг П. Яков Карлович Грот (1813-1893), профессор русской словесности Гельсингфорсского университета и будущий академик, писал ему: "Талант Гоголя удивителен, но его заносчивость, самонадеянность и, так сказать, самопоклонение бросают неприятную тень на его характер".

22 ноября н. ст. 1842 г. Гоголь из Рима писал П.: "Я к вам с корыстолюбивой просьбой, друг души моей, Петр Александрович! Узнайте, что делают экземпляры "Мертвых душ", назначенные мною к представлению государю, государыне и наследнику и оставленные мною для этого у гр. Виельгорского. В древние времена, когда был в Петербурге Жуковский, мне обыкновенно что-нибудь следовало. Это мне теперь очень, очень было нужно. Я сижу на совершенном безденежьи. Все выручаемые деньги за продажу книги идут до сих пор на уплату долгов моих. Собственно для себя я еще долго не могу получить. А у меня же, как вы знаете, кроме меня, есть кое-какие довольно сильные обязанности. Я должен иногда помогать сестрам и матери, не вследствие какого-нибудь великодушия, а вследствие совершенной их невозможности обойтись без меня. Конечно, я не имею никакого права, основываясь на этих причинах, ждать вспоможения, но я имею право просить, чтобы меня не исключили из круга других писателей, которым изъявляется царская милость за подносимые экземпляры. Теперь другая просьба, тоже корыстолюбивая. Вы, верно, будете писать разбор "Мертвых душ"; по крайней мере, мне б этого очень хотелось. Я дорожу вашим мнением... Мне теперь больше, чем когда-либо, нужна самая строгая и основательная критика. Ради нашей дружбы, будьте взыскательны, как только можно".

14 ноября 1842 г. П. писал Я. К. Гроту: "Пришел ко мне Никитенко и показал письмо из Рима от Гоголя, который рассыпается перед ним в комплиментах, потому что Никитенко цензирует его сочинения. Я краснел за

унижение, до которого в нынешнее время доведены цензурою авторы: они принуждены подличать перед людьми... Что, если некогда это письмо Никитенко напечатает в своих мемуарах? Не таковы были Дельвиг и Пушкин".

27 октября 1844 г. П. писал Гоголю, перед этим поссорившемуся с Н. Я. Прокоповичем, не сумевшим обеспечить качественное издание гоголевских сочинений: "Наконец захотелось тебе послушать правды. Изволь, попотчую... Что такое ты? Как человек, существо скрытное, эгоистическое, надменное, недоверчивое и всем жертвующее для славы. Как друг, что ты такое? И могут ли быть у тебя друзья? Если бы они были, давно высказали бы тебе то, что ты читаешь теперь от меня... Твои друзья двоякие: одни искренно любят тебя за талант и ничего еще не читывали в глубине души твоей. Таков Жуковский, таковы Балабины, Смирнова и таков был Пушкин. Другие твои друзья московская братия. Это раскольники, обрадовавшиеся, что удалось им гениального человека, напоив его допьяна в великой своей харчевне настоем лести, приобщить к своему скиту. Они не только раскольники, ненавидящие истину и просвещение, но и промышленники, погрязшие в постройке домов, в покупках деревень и в разведении садов. Им-то веруешь ты, судя обо всем по фразам, а не по жизни и не по действиям. На них-то сменил ты меня, когда вместо безмолвного участия и чистой любви раздались около тебя высокопарные восклицания и приторные публикации. Ко мне заезжал ты, как на станцию, а к ним, как в свой дом. - Но посмотрим, что ты, как литератор. Человек, одаренный гениальной способностью к творчеству, инстинктивно угадывающий тайны языка, тайны самого искусства, первый нашего века комик по взгляду на человека и природу, по таланту вызывать из них лучшие комические образы и положения, но писатель монотонный, презревший необходимые усилия, чтобы покорить себе сознательно все сокровища языка и все сокровища искусства, неправильный до безвкусицы и напыщенный до смешного, когда своевольство перенесет тебя из комизма в серьезное. Ты только гений-самоучка, поражающий творчеством своим и заставляющий жалеть о своей безграмотности и невежестве в области искусства".

В конце 1844 г. П. предлагал Гоголю взаймы любую сумму из собственных средств, но Гоголь отказался, отмечая в письме А. О. Смирновой от 24 декабря н. ст. 1844 г., что "мне никаким образом не следует у него взять". Но уже в следующем письме просил Смирнову: "Плетнев пусть вымет из своего кармана две тысячи и пошлет моей матери; мы с ним после сочтемся".

28 февраля 1845 г. Я. К. Грот с удивлением писал П.: "Какое же Гоголю нужно споможение, когда он беспрестанно назначает пожертвования в пользу студентов и т. п.?" Но П. ответил: "Гоголя пожертвование есть фантазия. Оказалось, что денег в сборе (от продажи гоголевских сочинений. - Б. С.) никаких нет".

8/20 февраля 1846 г. Гоголь писал П. из Рима: "О, как премудр в Своих делах Управляющий нами! Когда я расскажу тебе потом всю чудную судьбу мою и внутреннюю жизнь мою (когда мы встретимся у родного очага) и всю открою тебе душу, - всё поймешь ты тогда, до единого во мне движения, и не будешь изумляться ничему тому, что теперь так тебя останавливает и изумляет во мне. Друг мой, повторяю вновь тебе, люби меня, люби на веру. Вот тебе мое честное

слово, что ты был во многом заблуждении насчет многого во мне и многое принято тобою в превратном смысле и вовсе в другом значении, и горько мне, горько было оттого в одно время, так горько, как ты даже и представить себе не можешь. Скажу также тебе, что не дело литературы и не слава меня занимала в то время, как ты думал, что они только и составляют жизнь мою. Ты принял платье за то тело, которое должно было облекать платье. Душа и дело душевное меня занимали, и трудную задачу нужно было решить, пред пользою которой ничтожны были те пользы, которые ты мне поставлял на вид. Богу угодно было послать мне страдания душевные и телесные, всякие и горькие и трудные минуты, всякие недоразумения тех людей, которых любила душа моя, и всё на то, чтобы разрешилась скорей во мне та трудная задача, которая без того не разрешилась бы вовеки. Вот всё, что могу тебе сказать вперед; остальное всё договорит тебе мое же творение, если угодно будет Святой Воле ускорить его (имеются в виду "Мертвые души". - Б. С.)... Прощай, целую тебя от всей души и вновь говорю тебе твердо: "Люби меня".

30 июля н. ст. 1846 г. Гоголь просил П.: "Наконец моя просьба! Ее ты должен выполнить, как наивернейший друг выполняет просьбу своего друга. Все свои дела в сторону и займись печатаньем этой книги под названием: "Выбранные места из переписки с друзьями". Она нужна, слишком нужна всем вот что покамест могу сказать; все прочее объяснит тебе сама книга; к концу ее печатания все станет ясно, и недоразуменья, тебя доселе тревожившие, исчезнут сами собою. Здесь посылается начало. Продолженье будет посылаться немедленно. Жду возврата некоторых писем еще, но за этим остановки не будет, потому что достаточно даже и тех, которые мне возвращены. Печатанье должно происходить в тишине: нужно, чтобы кроме цензора и тебя, никто не знал. Цензора избери Никитенку: он ко мне благосклоннее других. К нему я напишу слова два. Возьми с него также слово никому не сказывать о том, что выйдет моя книга. Ее нужно отпечатать в месяц, чтобы к половине сентября она могла уже выйти. Печатать на хорошей бумаге, в 8 долю листа среднего формата, буквами четкими и легкими для чтения, размещение строк такое, как нужно для того, чтобы книга наиудобнейшим образом читалась; ни виньеток, ни бордюров никаких, сохранить во всем благородную простоту. Фальшивых титулов пред каждой статьей не нужно; достаточно, чтобы каждая начиналась на новой странице, и был бы просторный пробел от заглавия до текста. Печатай два завода и готовь бумагу для второго издания, которое, по моему соображенью, воспоследствует немедленно: книга эта разойдется более, чем все мои прежние сочинения, потому что это до сих пор моя единственная дельная книга. Вслед за прилагаемою при сем тетрадью будешь получать безостановочно другие. Надеюсь на Бога, что он подкрепит меня в сей работе. Прилагаемая тетрадь занумерована № 1. В ней предисловье и шесть статей, итого седьмь, да включая сюда еще статью об "Одиссее", посланную мною к тебе за месяц пред сим, которая в печатании должна следовать непосредственно за ними, - всего восемь. Страниц в прилагаемой тетради двадцать. О получении всего этого уведоми немедленно".

В письме П., датированном 8/20 октября 1846 г., Гоголь просил: "Ради Бога, употреби все силы и меры к скорейшему отпечатанью книги. Это нужно, нужно

и для меня, и для других; словом, нужно для общего добра. Мне говорит мое сердце и необыкновенная милость Божия, давшая мне силы потрудиться тогда, когда я не смел уже и думать о том, не смел и ожидать потребной для того свежести душевной, и всё мне далось вдруг на то ремя: вдруг остановились самые тяжкие недуги, вдруг отклонились все помешательства в работе, и продолжалось все это до тех пор, покуда не кончилась последняя строка труда. Это просто чудо и милость Божия, и мне будет грех тяжкий, если стану жаловаться на возвращенье трудных, болезненных моих припадков. Друг мой, я действовал твердо во имя Бога, когда составлял мою книгу, во славу Его святого имени взял перо, а потому и расступились перед мною все преграды и всё, останавливающее бессильного человека. Действуй же и ты во имя Бога, печатая книгу мою, как бы делал сим дело на прославленье имени Его, позабывши все свои личные отношения к кому бы то ни было, имея одно только общее добро, _ и перед тобой расступятся все препятствия. С Никитенком можно ладить, но с ним необходимо нужно иметь дело лично. Письмом и запиской ничего с ним не сделаешь... На него нужно серьезно насесть и на все приводимые им причины отвечать одними и теми же словами: Послушайте, всё это, что вы говорите, так и могло бы иметь место в другом деле, но вспомните, что всякая минута замедления расстраивает совершенно все обстоятельства автора книги. Вы - человек умный и можете видеть сами, что в книге содержится дело, и предпринята она именно затем, чтобы возбудить благоговенье ко всему тому, что поставляется нам всем в закон нашей же Церковью и нашим правительством. Вы можете сами смекнуть, что сам Государь же и двор станет в защиту ее. Переглядите и цензурный устав ваш, и все предписания прибавочные и покажите мне, против какого параграфа есть противуречие. Стыдно вам и колебаться этим, подписуйте твердо и теперь же листки, потому что типография ждет, а времени и без того уже упущено довольно". И если ж им одолеют какие-нибудь нерешительности от всякого рода нелепых слухов, которые сопровождают всякий раз печатанье моей книги, какого бы ни была она рода, то обо всем переговори... с Александрой Осиповной и, наперекор всем помешательствам, ускори выход книги. Как кремень, крепись, верь в Бога и двигайся вперед - и все тебе уступит! По выходе книги приготовь экземпляры и поднеси всему царскому дому до единого, не выключая и малолетних, всем великим князьям, детям наследника, детям Марьи Николаевны, всему семейству Михаила Павловича. Ни от кого не бери подарков и постарайся от этого вывернуться; скажи, что поднесенье этой книги есть выраженье того чувства, которого я сам не умею себе объяснить, которое стало в последнее время еще сильнее, чем было прежде, вследствие которого все, относящееся к их дому, стало близко моей душе, даже со всем тем, что ни окружает их, и что поднесеньем этой книги им я уже доставляю удовольствие себе, совершенно полное и достаточное, что вследствие и болезненного своего состояния, и внутреннего состояния душевного, меня не занимает все то, что может еще шевелить и занимать человека, живущего в свете... Шесть экземпляров отдай (тот же час по выходе книги) Софье Михайловне Соллогуб... Шесть экземпляров и седьмой, с подписаньем цензора на второе изданье, отправь немедленно в Москву к Шевыреву. (Второе издание должно быть напечатано в

Москве, ради несравненно большей дешевизны и ради отдыха тебе.) Шесть экземпляров отправь моей матери, с надписаньем: "Ее высокоблагородию Марье Ивановне Гоголь, в Полтаву". Один экземпляр в Харьков Иннокентию... Два экземпляра - в Ржев Тверской губернии священнику Матвею Александровичу. Экземпляра же три, а если можно и более, отправь немедленно мне с курьером. Попроси от меня лично графиню Нессельрод, давши ей от имени моего экземпляр. Скажи ей, что она очень, очень большое сделает мне одолженье, если устроит так, что я получу эту книгу в Неаполе наискорейшим порядком, и попроси ее тоже от меня отправить немедленно в Париж два экземпляра графу Александру Петровичу Толстому. Не позабудь и Жуковского. Отдай еще Аркадию Россети три экземпляра с письмом. Вот тебе всё. Кажется, больше никому. Прочие купят".

В декабре 1846 г. Гоголь писал П.: "Мне доставалось трудно все то, что достается легко природному писателю. Я до сих пор, как ни бьюсь, не могу обработать слог и язык свой, - первые, необходимые орудия всякого писателя. Они у меня до сих пор в таком неряшестве, как ни у кого даже из дурных писателей, так что надо мной имеет право посмеяться едва начинающий школьник. Все мною написанное замечательно только в психологическом значении, но оно никак не может быть образцом словесности, и тот наставник поступит неосторожно, кто посоветует своим ученикам учиться у меня искусству писать, или, подобно мне, живописать природу: он заставит их производить карикатуры... У меня никогда не было стремления быть отголоском всего и отражать в себе действительность как она есть вокруг нас. Я даже не могу заговорить теперь ни о чем, кроме того, что близко моей собственной душе".

1 января 1847 г. П. известил Гоголя о выходе "Выбранных мест из переписки с друзьями": "Вчера совершено великое дело: книга твоих писем пущена в свет. Но это дело совершит влияние только над избранными; прочие не найдут себе пищи в книге твоей. А она, по моему убеждению, есть начало собственно русской литературы. Все, до сих пор бывшее, мне представляется как ученический опыт на темы, выбранные из хрестоматии. Ты первый со дна почерпнул мысли и бесстрашно вынес их на свет. Обнимаю тебя, друг. Будь непреклонен и последователен. Что бы ни говорили другие, - иди своею дорогою... В том маленьком обществе, в котором уже шесть лет живу я, ты стал теперь гением помыслов и деяний".

17 января 1847 г. П. убеждал Гоголя не давать на цензуру императору полный текст "Выбранных мест из переписки с друзьями": "О предоставлении государю переписанной вполне книги твоей теперь и думать нельзя. Иначе, какими глазами я встречу наследника, когда он сам лично советовал мне не печатать запрещенных цензором мест, а я, как будто в насмешку ему, полезу далее. Да и кто знает, не показывал ли он этого государю, который, не желая дать огласки делу, велел, может быть, ему от себя то сказать, что я от него слышал".

11 февраля н. ст. 1847 г. Гоголь жаловался в письме С. П. Шевыреву: "Я получил уже деньги от Плетнева вместе с известием о выходе книги в обезображенном цензурою виде. Плетнев сделал неосмотрительность

непростительную, поторопившись с ее выпуском и не дождавшись моих распоряжений относительно самых значительных статей, в нее не вошедших. Вышло наместо толстой и солидной книги что-то странное, не то книга, не то брошюра. Последовательность и связь - всё пропало. В унынье от этого я, разумеется, не пришел, потому что знаю высокую душу Государя и не сомневаюсь в пропуске, но всё несколько неприятно".

22 сентября 1848 г. П. писал Я. К. Гроту: "Сюда приехал Гоголь. Он был у меня... Гоголь - большой знаток церковной литературы... Он на вид очень здоров и даже более полон, нежели когда-либо был таким. Наружность его, щеголеватая до изысканности, не напоминает автора "Переписки". О состоянии духа он не вдается в объяснения".

20 ноября 1848 г. Гоголь сообщал П.: "О себе покуда могу сказать немного: соображаю, думаю и обдумываю второй том "Мертвых душ". Читаю преимущественно то, где слышится сильней присутствие русского духа. Прежде, чем примусь сурьезно за перо, хочу назвучаться русскими звуками и речью. Боюсь нагрешить противу языка".

21 января 1850 г. Гоголь сообщал П.: "Конец делу еще не скоро, т. е. разумею конец "Мертвых душ". Все почти главы соображены и даже набросаны, но именно не больше, как набросаны; собственно написанных две-три и только. Я не знаю даже, можно ли творить быстро собственно художническое произведение. Это разве может только один Бог, у Которого всё под рукой: и разум и слово с Ним. А человеку нужно за словом ходить в карман, а разума доискиваться".

6 мая 1851 г. Гоголь писал П.: "Что второй том "Мертвых душ" умнее первого - это могу сказать, как человек, имеющий вкус и притом умеющий смотреть на себя, как на чужого человека... но как рассмотрю весь процесс, как творилось и производилось его созданье, вижу, что умен только Тот, Кто творит и зиждет все, употребляя нас всех вместо кирпичей для стройки по тому фасаду и плану, которого Он один истинно разумный зодчий".

30 ноября 1851 г. Гоголь написал П. последнее письмо: "Извини, что не писал к тебе. Всё собираюсь. Время так летит. Свежих минут так немного, так торопишься ими воспользоваться, так занят тем делом, которое бы хотелось скорей принести к окончанью, что и две строчки к другу кажутся как бы тягость. Прости великодушно и добродушно. Печатанье сочинений, слава Богу, устроилось и здесь. Что же до печатанья новых, то... впрочем, в них, кажется, всё так ясно и должно быть отчетливо, что, я думаю, и они пройдут. Что делаешь ты? Напиши также хоть строчки две о Смирновой. Я о ней ни слуху, ни духу. Твой весь. А Жуковский что и где? Я пред ним тоже виноват: не писал, всё ожидал приезда, а наконец - не знаю даже и куда адресовать".

Вскоре после смерти Гоголя, 24 февраля 1852 г., П. писал В. А. Жуковскому: "Еще осенью Гоголь уже показывал упадок духа и воли, стараясь опираться на слово какого-нибудь духовного. Отправясь в Малороссию на свадьбу сестры, он дорогою заехал к одному монаху, чтобы тот дал ему совет, в Москве ли ему остаться или ехать к своим. Монах, выслушав рассказ его, присоветовал ему последнее. На другой день Гоголь опять пришел к нему с новыми объяснениями, после которых монах сказал, что лучше решиться на первое. На

третий день Гоголь явился к нему снова за советом. Тогда монах велел ему взять образ - и исполнить то, что при этом придет ему на мысль. Случай благоприятствовал Москве. Но Гоголь в четвертый раз пришел за новым советом: тогда, вышед из терпения, монах прогнал его, сказав, что надобно остаться при внушении, посланном от Бога". В том же письме П. рассказал о последних днях жизни Гоголя, опираясь на свидетельство А. О. Смирновой: "Гоголем овладело малодушие или, правильнее сказать, - суеверие. Итак, он начал говеть. Через два дня слуга графа А. П. Толстого явился к нему и говорит, что боится за ум и даже за жизнь Николая Васильевича, потому что он двое суток провел на коленях перед образами без питья и пищи. Как Толстой ни увещевал Гоголя подкрепиться, ничто не действовало. Граф писал к митрополиту Филарету, чтобы словом архипастыря подействовать на расстроенное воображение кающегося грешника. Филарет приказал сказать, что сама церковь повелевает в недугах предаться воле врача. Но и это не произвело перемены в мыслях больного. Пропуская лишь несколько капель воды с красным вином, он продолжал стоять коленопреклоненный перед множеством поставленных перед ним образов и молиться. На все увещания он отвечал тихо и коротко: "Оставьте меня; мне хорошо". Он забыл обо всем: не умывался, не чесался, не одевался... Вот, милый друг, - какова натура человека: с одной стороны, гений вдохновения, а с другой - слепота младенца".

ПЛЮШКИН, персонаж "Мертвых душ". В черновом наброске заключительной главы то ли первого, то ли второго тома поэмы Гоголь характеризует П. как пример предельного омертвения души: "...Еще не так страшно для молодого, ретивый пыл юности, гибкость не успевшей застыть и окрепнуть природы, бурлят и не дают мельчать чувствам, _ как начинающему стареть, которого нечувствительно обхватывают совсем почти незаметно пошлые привычки света, условия, приличия без дела движущегося общества, которые до того, наконец, все опутают и облекут человека, что и не останется в нем его самого, а кучка только одних принадлежащих свету условий и привычек. А как попробуешь добраться до души, ее уже и нет. Окременевший кусок и весь уже превратившийся человек в страшного Плюшкина, у которого если и выпорхнет иногда что похожее на чувство, то это похоже на последнее усилие утопающего человека".

К. С. Аксаков писал в статье "Несколько слов о поэме Гоголя "Похождения Чичикова, или Мертвые души"" (1842) о П., что это "скупец, но за которым лежат иначе проведенные годы, который естественно и необходимо развился до своей скупости; вспомните то место, когда прежняя жизнь проснулась в нем, тронутая воспоминанием, и на его старом, безжизненном лице мелькнуло выражение чувства".

А. А. Григорьев в статье "Гоголь и его последняя книга" (1847) полагал, что в образе П. "потеря одного чувства, с одной стороны, и чудовище-привычка - с другой, довели человека до окончательного отпадения от образа Божия".

В. Г. Белинский в статье "Ответ "Москвитянину" (1847) писал о П.: "...Кому не случалось встречать людей, которые немножко скупеньки, как говорится, прижимисты, а во всех других отношениях - прекраснейшие люди, одаренные

замечательным умом, горячим сердцем? Они готовы на все доброе, они не оставят человека в нужде, помогут ему, но только подумавши, порассчитавши, с некоторым усилием над собою? Такой человек, разумеется, не Плюшкин, но с возможностию сделаться им, если поддастся влиянию этого элемента и если, при этом, стечение враждебных обстоятельств разовьет его и даст ему перевес над всеми другими склонностями, инстинктами и влечениями".

Согласно гипотезе, выдвинутой Ю.В. Манном, по одному из вариантов продолжения "Мертвых душ" П. должен был оказаться в Сибири, где пережить "смерть и видение ада", а затем воскреснуть к новой жизни и превратиться в сборщика денег на построение Божьего храма.

"ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ", повесть. Впервые опубликована в альманахе А. Ф. Смирдина "Новоселье" (СПб., 1834. Ч. 2) с подзаголовком: "Одна из неизданных былей пасичника Рудого Панька".

При первой публикации была датирована 1831 г. По этому поводу Гоголь писал 28 сентября 1833 г. М.П. Погодину: "Где-то Смирдин выкопал одну повесть мою и то в чужих руках, писанную за царя Гороха. Я даже не глядел на нее, впрочем, она не годится для альманаха на 1834-й год (имелась в виду третья книга альманаха М. А. Максимовича "Денница". - Б. С.), я отдал ее ему".Издателю же альманаха "Денница" М. А. Максимовичу Гоголь 9 ноября 1833 г.: "Смирдин из других уже рук достал одну мою старинную повесть, о которой я совсем было позабыл и которую я стыжусь назвать своею; впрочем она так велика и неуклюжа, что никак не годится в ваш альманах". В 1835 г. повесть вошла в сборник "Миргород". В одном сохранившемся уникальном экземпляре этого сборника, в отличие от остальной части тиража, имеется гоголевское предисловие к П. о т., к. п. И.И. с И.Н.: "Долгом почитаю предуведомить, что происшествие, описанное в этой повести, относится к очень давнему времени. Притом она совершенная выдумка. Теперь Миргород совсем не то. Строения другие; лужа среди города давно уже высохла, и все сановники: судья, подсудок и городничий - люди почтенные и благонамеренные". Предисловие было написано для того, чтобы заполнить образовавшийся в наборе пробел, но затем его пришлось снять, поскольку потребовалось использовать эту страницу для внесения примечания о "погрешности", обнаружившейся в "Вие" и написания нового заключения к этой повести.

Гоголь, обращаясь в ноябре 1850 г. к А. М. Трахимовскому с рекомендацией о выдвижении в депутаты по Миргородскому уезду своего родственника Д. А. Трощинского, отмечал: "Придает еще шпоры моей просьбе и неприятный отзыв о Миргородском уезде, который случилось мне услышать дорогою от дворянства других уездов, будто бы они глуше и невежественней всех прочих в Полтавской губернии. Что уездный наш город Миргород плох, мы это знаем сами и над ним смеемся. Но пустынность уездного города и непроцветание его скорее показывает то, что дворяне сидят по местам и заняты делом, а не баклушничают по городам. Дворяне других уездов уже и позабыли, что лучшие губернские предводители, и притом более других пребывавшие в этом звании, были все из Миргородского уезда". Гоголь отнюдь не считал жителей родного

уезда хуже обитателей других уездов Российской империи, напротив, находил у них ряд достоинств. И если жизнь в Миргороде, где живут герои П. о т., к. п. И. И. с И. Н., столь безотрадна и пошла, то здесь повинны какие-то вселенские пороки человеческого бытия.

Ссора главных героев повести происходит от скуки, от пошлости провинциальной жизни. В бесконечной тяжбе с соседом каждый из них обретает смысл жизни. Отсюда и финальная авторская реплика: "Скучно на этом свете, господа!" В П. о т., к. п. И. И. с И. Н., как и в "Старосветских помещиках", присутствует ясный намек на то, что барин, не имея законного потомства, живет со своей дворовой девкой: "...Уже тогда прошло более десяти лет, как он овдовел. Детей у него не было. У Гапки есть дети и бегают часто по двору. Иван Иванович всегда дает каждому из них по бублику, или по кусочку дыни, или грушу. Гапка у него носит ключи от комор и погребов; от большого же сундука, что стоит в его спальне, и от средней коморы ключ Иван Иванович держит у себя и не любит никого туда пускать. Гапка, девка здоровая, ходит в запаске, с свежими икрами и щеками". Гапка здесь - настоящий "сосуд греховный". Это подчеркивается тем, что Иван Иванович, ублажая свою любовницу нарядами, отказывает в милостыне старухе-калеке, да еще в церкви. Различия между Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем комически подчеркиваются путем сопоставления незначительных и не сопоставимых черт: "Иван Иванович несколько боязливого характера. У Ивана Никифоровича, напротив того, шаровары в таких широких складках, что если бы раздуть их, то в них можно бы поместить весь двор с амбарами и строением. У Ивана Ивановича большие выразительные глаза табачного цвета и рот несколько похож на букву ижицу; у Ивана Никифоровича глаза маленькие, желтоватые, совершенно пропадающие между густых бровей и пухлых щек, и нос в виде спелой сливы". Тем самым подчеркивается ничтожность обоих персонажей.

В. Г. Белинский в статье "О русской

повести и повестях г. Гоголя" (1835) подчеркивал, что "Иван Иванович и Иван Никифорович существа совершенно пустые, ничтожные и притом нравственно гадкие и отвратительные, ибо в них нет ничего человеческого; зачем же, спрашиваю я вас, зачем вы так горько улыбаетесь, так грустно вздыхаете, когда доходите до трагикомической развязки? Вот она, эта тайна поэзии! вот они, эти чары искусства! Вы видите жизнь, а кто видел жизнь, тот не может не вздыхать!... Комизм или гумор г. Гоголя имеет свой, особенный характер: это гумор чисто русский, гумор спокойный, простодушный, в котором автор как бы прикидывается простачком. Г. Гоголь с важностию говорит о бекеше Ивана Ивановича, и иной простак не шутя подумает, что автор и в самом деле в отчаянии оттого, что у него нет такой прекрасной бекеши". А в статье "Русская литература в 1841 году" В. Г. Белинский особо отметил юмор, который "проникает собою насквозь дивную повесть о ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем; оканчивая ее, вы от души восклицаете с автором: "Скучно на этом свете, господа!" точно, как будто выходя из дома умалишенных, где с горькою улыбкою смотрели вы на глупости несчастных больных..."

ПОГОДИН Михаил Петрович (1800-1875), историк и археолог, профессор

Московского университета по кафедре истории, друг Гоголя. В 1827-1830 гг. П. издавал журнал "Московский вестник", а в 1841-1856 гг. - "Москвитянин". Собрал большую коллекцию "славянских древностей" - археологических и письменных памятников.

С Гоголем П. познакомился в 1832 г. В бытность в Москве Гоголь останавливался в доме П. на Девичьем Поле. Ссора между П. и Гоголем произошла в 1842 г. из-за отказа Гоголя печатать в "Москвитянине" главы из "Мертвых душ" до публикации поэмы отдельным изданием и из-за отказа Гоголя давать свои статьи в "Москвитянин". В "Выбранных местах из переписки с друзьями" Гоголь поместил очень резкий отзыв о П., возмутивший всех их общих знакомых. Но вскоре Гоголь и П. помирились, и их дружба продолжилась вплоть до смерти писателя.

20 февраля 1833 г. Гоголь писал П.: "Как-то не так теперь работается! Не с тем вдохновенно-полным наслаждением царапает перо бумагу. Едва начинаю, и что-нибудь совершу из Истории (имеется в виду "История Малороссии". - Б. С.), уже вижу собственные недостатки: то жалею, что не взял шире, огромнее объему, то вдруг зиждется совершенно новая система и рушит старую. Напрасно я уверяю себя, что это только начало, эскиз, что оно не несет пятна мне, что судья у меня один только будет, и тот один - друг. Но не могу, не в силах. Чорт побери пока труд мой, набросанный на бумаге, до другого, спокойнейшего времени. Я не знаю, отчего я теперь так жажду современной славы. Вся глубина души так и рвется наружу. Но я до сих пор не написал ровно ничего. Я не писал тебе: я помешался на комедии. Она, когда я был в Москве, в дороге, и когда я приехал сюда, не выходила из головы моей, но до сих пор я ничего не написал. Уже и сюжет было на днях начал составляться, уже и заглавие написалось на белой толстой тетради: Владимир 3-ей степени, и сколько злости! Смеху! Соли!.. Но вдруг остановился, увидевши, что перо так и толкается об такие места, которые цензура ни за что не пропустит. А что из того, когда пиеса не будет играться? Драма живет только на сцене. Без нее она как душа без тела. Какой же мастер понесет на показ народу неоконченное произведение? - Мне больше ничего не остается, как выдумать сюжет самый невинный, которым даже квартальный не мог бы обидеться. Но что комедия без правды и злости! Итак за комедию не могу приняться. Примусь за Историю - передо мною движется сцена, шумит аплодисмент, рожи высовываются из лож, из райка, из кресел и оскаливают зубы, и - история к чорту. - И вот почему я сижу при лени мыслей".

28 сентября 1833 г. Гоголь признавался в письме П.: "Какой ужасный для меня этот 1833-й год! Боже, сколько кризисов! настанет ли для меня благодетельная реставрация после этих разрушительных революций? (будучи революционером в литературе, Гоголь, однако, опасался последствий им самим производимых революций; а в общественной жизни всякой революции он предпочитал сохранение или возвращение к существующему порядку вещей. - Б. С.) - Сколько я поначинал, сколько пережег, сколько бросил! Понимаешь ли ты ужасное чувство - быть недовольну самим собою. О не знай его! будь счастлив и не знай его - это одно и то же, это нераздельно. - Человек, в которого вселилось это адчувство, весь превращается в злость, он один составляет

оппозицию против всего, он ужасно издевается над собственным бессилием. Боже, да будет всё это к добру! Произнеси и ты за меня такую молитву. Я знаю, ты любишь меня, как люблю тебя я, и верно твоя душа почует мое горе".

20 февраля 1835 г. Гоголь писал П. по поводу "Московского наблюдателя": "Письмо твое от 7 февраля я получил от Смирдина сегодня, т. е. 20 числа. Нельзя ли впредь адресовать прямо на мою квартиру? Что за лень такая! В Мал. Морскую, в дом Лепена. Хорош и ты. Как мне прислать вам повесть, когда моя книга уже отпечатана и завтра должна поступить в продажу (имеется в виду "Миргород". - Б. С.). Мерзавцы вы все, московские литераторы. С вас никогда не будет проку. Вы все только на словах. Как! затеяли журнал, и никто не хочет работать! Как же вы можете полагаться на отдельных сотрудников, когда не в состоянии положиться на своих. Срам, срам, срам! Вы посмотрите, как петербургские обделывают свои дела. Где у вас то постоянство и труд, и ловкость, и мудрость? Смотрите на наши журналы: каждый из них чуть ли не сто лет собирается прожить. А вам что? Вы сначала только раззадоритесь, а потом через день и весь пыл ваш к чорту. И на первый номер до сих пор нет еще статей. Да вам должно быть стыдно, имея столько голов, обращаться к другим, да и к кому же? ко мне. Но ваши головы думают только о том, где бы и у кого есть блины во вторник, середу, четверг и другие дни. Если вас и дело общее не может подвинуть, всех устремить и связать в одно, то какой в вас прок, что у вас может быть? Признаюсь, я вовсе не верю существованию вашего журнала более одного года. Я сомневаюсь, бывало ли когда-нибудь в Москве единодушие и самоотвержение, и начинаю верить, уж не прав ли Полевой, сказавши, что война 1812 года есть событие вовсе не национальное и что Москва невинна в нем. Боже мой! сколько умов и всё оригинальных: ты, Шевырев, Киреевский. Чорт возьми, и жалуются на бедность. Баратынский, Языков - ай, ай, ай! Ей-Богу, вы все похожи на петербургских шаромыжников, шатающихся по борделям с мелочью в кармане, назначенною только для расплаты с извозчиками. - Скажи пожалуста, как я могу работать и трудиться для вас, когда знаю, что из вас никто не хочет трудиться. - Разве жар мой не должен естественным образом охладеть? Я поспешу сколько возможно скорее окончить для вас назначенную повесть, но всё не думаю, чтобы она могла подоспеть раньше 3-й книжки. Впрочем, я постараюсь как можно скорее. Прощай! Да ожидать ли тебя в Петербург, или нет?"

В 1835 г. П. писал в первой книге "Московского Наблюдателя": "Гоголь читал мне отрывки из двух своих комедий. Одна под заглавием - Комедия! Другая - Провинциальный Жених. Что за веселость, что за смешное! Какая истина, остроумие! Какие чиновники на сцене, какие канцелярские служители, помещики, барыни! Талант первоклассный". Как можно предположить, речь шла о ранних редакциях "Ревизора" и "Женитьбы".

10 мая 1836 г. Гоголь сообщал П.: "Я хотел было ехать непременно в Москву и с тобой наговориться вдоволь. Но не так сделалось. Чувствую, что теперь не доставит мне Москва спокойствия, а я не хочу приехать в таком тревожном состоянии, в каком нахожусь ныне. Еду за границу, там размыкаю ту тоску, которую наносят мне ежедневно мои соотечественники. Писатель современный, писатель комический, писатель нравов должен подальше быть от своей родины.

Пророку нет славы (зачеркнуто: приюта. - Б. С.) в отчизне. Что против меня уже решительно восстали теперь все сословия, я не смущаюсь этим, но как-то тягостно грустно, когда видишь против себя несправедливо восстановленных своих же соотечественников, которых от души любишь, когда видишь, как ложно, в каком неверном виде ими всё принимается, частное принимается за общее, случай за правило. Что сказано верно и живо, то уже кажется пасквилем. Выведи на сцену двух-трех плутов - тысяча честных людей сердится, говорит: мы не плуты. Но Бог с ними. Я не оттого еду за границу, чтобы не умел перенести этих неудовольствий. Мне хочется поправиться в своем здоровьи, рассеяться, развлечься и потом, избравши несколько постоянное пребывание, обдумать хорошенько труды будущие. Пора уже мне творить с большим размышлением. Лето буду на водах, август месяц на Рейне, осень в Швейцарии, уединюсь и займусь. Если удастся, то зиму думаю пробыть в Риме или Неаполе" (в действительности до Рима Гоголь добрался только в марте 1837 г.).

П., в свою очередь, 6 мая 1836 г. писал Гоголю: "Говорят, ты сердишься на толки. Ну, как тебе, братец, не стыдно! Ведь ты сам делаешься комическим лицом. Представь себе, автор хочет укусить людей не в бровь, а прямо в глаз. Он попадает в цель. Люди щурятся, отворачиваются, бранятся и, разумеется, кричат: "да нас таких нету!" Так ты должен бы радоваться, ибо видишь, что достиг цели. Каких доказательств яснее истины в комедии! А ты сердишься?! Ну не смешон ли ты? Я расхохотался, читая в "Пчеле", которая берется доказать, что таких бессовестных и наглых мошенников нет на свете. "Есть, есть они, вы такие мошенники!" _ говори ты им и отворачивайся с торжеством. Вот за это мне надо тебя покупать в стиксовой воде, которая протекает по моим нынешним владениям".

28 ноября н. ст. 1836 г. Гоголь писал П. из Парижа: "Холера, свирепствующая в Италии, не пустила меня туда. Я сижу здесь и, думаю, пробуду всю зиму. Спасибо тебе за письмо и уведомление о себе. Ты всё тот же, деятельный, трудолюбивый. Пошли тебе Бог успехов во всем. Благодарных будет тебе верно много. Но берегись слишком увлечься и рассеяться многосторонностью занятий. Избери один труд, влюбись в него душою и телом, и жизнь твоя потечет полнее и прекраснее, а самый труд будет проникнут тем одушевлением, которое недоступно для истрачивающего талант свой на повседневное. Я не одобряю предприятия твоего издавать журнал по задуманному тобою плану. Дело журнала требует более или менее шарлатанства. Посмотри, какие журналы всегда успевали! те, которых издатели шли, очертя голову, напролом всему, надевши на себя грязную рубаху ремесленника, предполагая заранее, что придется мараться и пачкаться без счету. Необходимого для этого шарлатанства и отваги у тебя нет. Конечно, можно предположить, что с прямою и твердою волею, совестью можно противустать (хотя и неприлично употреблять умные речи с кабачными бойцами), но в таком случае нужно неослабного внимания, нужно всё бросить и издавать один журнал, жить и говорить только этим журналом. На это, я знаю, тоже не достанет у тебя упрямой воли и терпения. Я могу уже судить из самого письма твоего: ты замышляешь с генваря начать его издание, а между тем в мае думаешь ехать за границу. Стало быть, он не очень горячо будет издаваться.

Повести, конечно, могли бы доставить небольшое развлечение зевающим, но где их набрать? У меня нет ни одной, и не подымется больше рука моя писать их. Пиши их тот, кому нечего больше писать. Когда я написал мои незрелые и неокончательные опыты, которые я потом только назвал повестями, что нужно же было чем-нибудь назвать их, - я писал их для того только, чтобы пробовать мои силы и знать, так ли очинено перо мое, как мне нужно, чтобы приняться за дело. Видевши негодность его, я опять чинил его и опять пробовал. Это были бледные отрывки тех явлений, которыми полна была голова моя и из которых долженствовала некогда создаться полная картина. Но не вечно же пробовать. Пора наконец приняться за дело. В виду нас должно быть потомство, а не подлая современность. Вещь, над которой сижу и тружусь теперь и которую долго обдумывал, и которую долго еще буду обдумывать, не похожа ни на повесть, ни на роман, длинная, длинная, в несколько томов, название ей Мертвые души - вот всё, что ты должен покаместь узнать об ней. Если Бог поможет выполнить мне мою поэму так, как должно, то это будет первое мое порядочное творение. Вся Русь отзовется в нем. Жребий мой кинут. Бросивши отечество, я бросил вместе с ним все современные желания. Неперескочимая стена стала между им и мною. Гордость, которую знают только поэты, которая росла со мною в колыбели, наконец не вынесла. О, какое презренное, какое низкое состояние... дыбом волос подымается. Люди, рожденные для оплеухи, для сводничества... и перед этими людьми... мимо, мимо их! и доныне недостает духа назвать их. Не тревожь меня мелочными просьбами о статейках. Я не могу и не в силах заняться ими. Никакие толки, ни добрая, ни худая молва не занимает меня. Я мертв для текущего. Не води речи о театре: кроме мерзостей, ничего другого не соединяется с ним. Я даже рад, что вздорную комедию, которую я хотел было отдать в театр, зачитал у меня здесь один земляк, который, взявши ее на два дни, пропал с нею, как в воду, и я до сих пор не знаю о теперешнем ее местопребывании. Сам Бог внушал ему это сделать. Эта глупость не должна была явиться в свет (так ценил Гоголь в то время "Женитьбу". - Б.С.). Если б я услышал, что что-нибудь мое играется или печатается, то это было бы мне только неприятно и больше ничего. - Я вижу только грозное и правдивое потомство, преследующее меня неотразимым вопросом: "Где же то дело, по которому бы можно было судить о тебе?" И чтобы приготовить ответ ему, я готов осудить себя на всё, на нищенскую и скитающуюся жизнь, на глубокое, непрерываемое уединение, которое отныне я ношу с собою везде: было ли бы это в Париже или в африканской степи. Пиши ко мне. Есть несколько друзей, от которых письма что благоухающий ветер с родины. Зловоние не долетит ко мне".

П. оставил подробное описание своей жизни в Риме вместе с Гоголем в 1839 г.: "8 марта 1839 г. я приехал в Рим... Там водворился и Гоголь, бежавший из Петербурга после разных неудовольствий и досад при представлении и написании "Ревизора". Я тотчас отправился отыскивать его. Он жил в Via Felice, № 126, в четвертом этаже. Взобравшись к нему по широкой лестнице, отворяю дверь, и в эту самую минуту, вижу, он из окна выплескивает что-то на улицу из огромного сосуда целым потоком. Я так и обмер. "Помилуй, что ты делаешь?" - "На счастливого", отвечает он пресерьезно, бросаясь меня обнимать.

Разумеется, увидя такую простоту нравов, я никогда уже не ходил в Риме около домов, чтобы не быть окачену или осчастливлену подобным счастьем, а выбирал всегда дорогу посредине улицы. Гоголь управлял совершенно домом, где жил, известный под именем signore Nicolo: назначил тотчас помещение мне с женою подле своей комнаты, через темную залу, и предписал хозяину условия, против которых тот не осмеливался произнести ни одного слова, приговаривая только вполголоса, с низким поклоном: "Si, signore, si, signore". Первою заботою Гоголь почел устроить утреннее чаепитие. Запас отличного чая у него никогда не переводился, но главным делом для него было набирать различные печенья к чаю. И где он отыскивал всякие крендельки, булочки, сухарики, - это уже только знал он, и никто более. Всякий день являлось что-нибудь новое, которое он давал сперва всем отведывать, очень был рад, если кто находил по вкусу и одобрял выбор какою-нибудь особенною фразою. Ничем более нельзя было сделать ему удовольствия. У самого папы не бывало, думаю, такого богатого и вкусного завтрака, как у нас. Действие начиналось так. Приносился черномазою, косматою Нанною, - в роде описанных в его отрывке "Рим", - ужасной величины медный чайник с кипяченою водою. Гоголь обыкновенно начинал ругать Нанну за то и за другое, почему приносит она поздно, почему не вычистила ручки, не отерла дна и проч., и проч. Та с криком оправдывалась, а он доказывал, с разными характеристическими пантомимами с обеих сторон. Целая драма! "Да полно! - заключал я обыкновенно: - Вода простынет!" Гоголь опоминается, и начинаются наливанья, разливанья, смакованья, подчиванья и облизыванья. Ближе часа никогда нельзя было управиться с чаем. "Довольно, довольно, пора идти!" - "Погодите, погодите, успеем. Еще по чашечке, а вот эти дьяволенки, - отведайте, какие вкусные! Просто - икра зернистая, конфекты!" Всякой день выход решаем был после многих толков и споров. План осмотров написал для меня Шевырев. Он помог и Гоголю на первых порах познакомиться с Римом, который известен был Шевыреву как свои пять пальцев. Но Гоголю непременно хотелось делать всегда что-нибудь по-своему. Шевырев дорожил более всего точностью, порядком, полнотою, а Гоголь хотел удивлять сюрпризами, чтоб никто не знал заранее ничего. Шевыреву принадлежали наука и знания, Гоголю - воображение и оригинальность, которая не оставляла его ни в чем, в важных делах, как и в мелочах. Он выбирал время, час, погоду, - светит ли солнце, или пасмурно на дворе, и множество других обстоятельств, чтоб показать нынче то, а не это, а завтра - наоборот. Привел, например, он нас в первый раз в храм св. Петра и вот как вздумал дать понятие об огромности здания. "Зажмурь глаза!" - сказал он мне в дверях и повел меня за руку. Остановились спиною к простенку. "Открой глаза! Ну, видишь напротив мраморных ангельчиков под чашею?" - "Вижу". - "Каковы, велики?" - "Что за велики! Маленькие". - "Ну, так оборотись". Я оборотился к простенку, у которого стоял, и увидел перед собою, под пару к ним, двух, почти колоссальных. Так велико между ними расстояние в промежутке: огромные фигуры издали кажутся только посредственными. В другой раз повел он нас молча, Бог знает, по каким переулкам, и, кажется, нарочно выбирал самые дурные и кривые, чтоб пройти как можно дальше и неудобнее. Конца, кажется, не было этому лабиринту. "Да куда же ты ведешь нас?" - спросил я его с

нетерпением. - "Молчи, - отвечал он с досадою, погруженный как будто в размышление, - узнаешь после". Наконец, мы выходим на площадь. Перед нами открылась вдали широкая каменная лестница, наверху по бокам ее два огромных коня, которых под уздцы держали всадники. За нею на площади конная статуя. В глубине обширное здание с высокою каланчою. - "Ну, видишь молодцов?" - спросил мой чудак. - "Вижу. Да что же это такое?" - "Хороши?" - Между тем мы приблизились. - "Это древние статуи Диоскуров, из театра Помпеева. А это Марк Аврелий на коне. А это Капитолий!" Капитолий, - можно себе представить, какое впечатление производило такое полновесное слово. Но было мне и много досады с Гоголем. Он никогда не мог поспеть никуда к назначенному сроку и всегда опаздывал. Его нельзя было вытащить никуда иначе, как после нескольких жарких приступов. По дорогам ехать с ним - новые хлопоты и досады. В Италии господствовала в то время система паспортов. - "Gli passaporti!" слышалось на каждом, кажется, перекрестке. Гоголь ни за что на свете не хотел никому показывать своего паспорта, и его надо было клещами вытаскивать из его кармана. Он уверял меня даже, что когда ездит один, то никогда не показывает паспорта никому по сей Европе под разными предлогами. Так и при нас, - не дает, да и только; начнет спорить, браниться и, смотря в глаза полицейскому чиновнику, примется по-русски ругать на чем свет стоит его, императора австрийского, его министерство, всех гонфалоньеров и подест (начальники городских кварталов и главы городов в Италии. - Б. С.), но таким тоном, таким голосом, что полицейский думает слышать извинения и повторяет тихо: - "Signore, passaporti!" Так он поступал, когда паспорт у него в кармане, и стоило только вынуть его, а это случалось очень редко; теперь - представьте себе, что паспорта у него нет, что он засунул его куда-нибудь в чемодан, в книгу, в карман. Он должен, наконец, искать его, потому что мы приступаем с просьбами: надо ехать, а не пускают. Он начинает беситься, рыться, не находя его нигде, бросать все, что попадется под руку, и наконец, найдя его там, где нельзя и предполагать никакой бумаги, начнет ругать самый паспорт, зачем он туда засунулся, и кричать полицейскому: "На тебе паспорт, ешь его!" - и проч., да назад взять не хочет. Преуморительные были сцены. Кто помнит, как читал Гоголь свои комедии, тот может вообразить их, и никто более. Расскажу еще кстати один анекдот о Гоголе. После чаю он обыкновенно водил нас по Риму и к двум часам приводил в гостиницу Лепри на Корсо или к Salinata, близ Piazza di Spagna, обедать; но сам никогда ничего не ел, говоря, что не имеет аппетита и что только часам к шести может что-нибудь проглотить. Так он оставлял нас, и мы после обеда шли к Шевыреву или к учителю, который давал нам итальянские уроки. Так продолжалось недели две. Однажды вечером встретился я у княгини Волконской с Бруни (художник Федор Антонович Бруни (1799-1875), автор картины "Медный змий". - Б. С.) и разговорился о Гоголе. - "Как жаль, - сказал я, - что здоровье его так медленно поправляется!" - "Да чем же он болен?" - спрашивает меня с удивлением Бруни. - "Как чем? - отвечаю я: - Разве вы ничего не знаете? У него желудок расстроен; он не может есть ничего". "Как не может, что вы говорите? - воскликнул Бруни, захохотав изо всех сил. - Да мы ходим нарочно смотреть на него иногда за обедом, чтоб возбуждать в себе аппетит: он ест за четверых. Приходите когда угодно, около шести часов к

Фальконии". Отправились мы гурьбой на другой день к Фальконии. Это была маленькая, тесненькая траттория, в захолустье, в роде наших харчевен, если и почище, то немного. Но Фальконии славился отличной, свежей провизией. Мы пришли и заперлись наглухо в одной каморке подле Гоголевой залы, сказав, что хотим попировать особо и спросили себе бутылку Дженсано. К шести часам, слышим, действительно, является Гоголь. Мы смотрим через перегородку. Проворные мальчуганы, camerieri, привыкшие к нему, смотрят в глаза и дожидаются его приказаний. Он садится за стол и приказывает: макарон, сыру, масла, уксусу, сахара, горчицы, равиоли, броккали... Мальчуганы начинают бегать и носить к нему то то, то другое. Гоголь, с сияющим лицом, принимает все из их рук за столом, в полном удовольствии, и распоряжается: раскладывает перед собой все припасы, - груды перед ним возвышаются всякой зелени, куча стеклянок со светлыми жидкостями, все в цветах, лаврах и миртах. Вот приносятся макароны в чашке, открывается крышка, пар повалил оттуда клубом. Гоголь бросает масло, которое тотчас расплывается, посыпает сыром, становится в позу, как жрец, готовящийся совершить жертвоприношение, берет ножик и начинает разрезывать... В эту минуту наша дверь с шумом растворяется. С хохотом мы все бежим к Гоголю. - "Так-то брат, - восклицаю я, - аппетит у тебя нехорош, желудок расстроен? Для кого же ты это наготовил?" Гоголь на минуту сконфузился, но потом тотчас нашелся и отвечал с досадою: "Ну, что вы кричите, разумеется, у меня аппетита настоящего нет. Это аппетит искусственный, я нарочно стараюсь возбудить его чем-нибудь, да черта с два, возбужу, как бы не так! Буду есть, да нехотя, и все как будто ничего не ел. Садитесь же лучше со мной; я вас угощу". - "Ну, так угости. Мы хоть и пообедали, но твои искусственные приготовления такие аппетитные..." - "Чего же вы хотите? Эй, камериере, принеси!" - и пошел, и пошел: agrodolce, di cigno, pelustro, testa di suppa Inglese, moscatello, и пр., и пр. Началось пирование, очень веселое. Гоголь уписывал за четверых и все доказывал, что это так, что это все ничего не значит и желудок у него расстроен".

Во время пребывания в Риме в 1839 г. П. вел дневник, где запечатлел свои встречи с Гоголем: "26 марта. Толковали с Гоголем о русской литературе, за рюмками сладенького и легонького Дженсано, ей на здоровье и на освобождение от ига двадесяти язык".

5 мая н. ст. 1839 г. Гоголь писал П. из Рима: "Иосиф, кажется, умирает решительно. Бедный, кроткий, благородный Иосиф (И. М. Виельгорский. _ Б. С.). Не житье на Руси людям прекрасным; одни только свиньи там живущи!.. Здоровье мое так же неопределенно, и глупо, и странно, как и при тебе. Живу надеждою на Мариенбад".

П. вспоминал, как летом 1839 г. "в Мариенбаде произошла история. Гоголь занемог в Марсели, но не хотел лечиться, а Иноземцев (известный врач Федор Иванович Иноземцев (1802-1869), профессор Московского университета. Б. С.), который также был тогда в Мариенбаде, больной ипохондрией, не хотел лечить. Мне надо было их сводить и упрашивать, чтоб один решился лечиться, а другой - лечить".

27 ноября 1839 г. Гоголь писал П. из Петербурга: "Я не понимаю, что со мною делается. Как пошла моя жизнь в Петербурге! Ни о чем не могу думать,

ничто не идет в голову. Как вспомню, что я здесь убил месяц уже времени ужасно!"

29 ноября 1839 г. П. из Москвы писал С. П. Шевыреву: "Гоголь все еще в Петербурге; но теперь жду его с обеими сестрами, которые будут жить у нас. Он непременно должен выдать что-нибудь, и многое, потому что денег нужна ему куча и для себя, и для сестер, и для матери".

Отношения Гоголя и П. были не только отношениями двух друзей, но и отношениями автора и редактора, и на этой почве между ними случались довольно острые конфликты. Как вспоминал С. Т. Аксаков, "в конце 1841 и в начале 1842 года начали возникать неудовольствия между Гоголем и Погодиным (у которого Гоголь жил. - Б. С.). Гоголь молчал, но казался расстроенным; а Погодин начал сильно жаловаться на Гоголя: на его капризность, скрытность, неискренность, даже ложь, холодность и невнимание к хозяевам, т. е. к нему, к его жене, к матери и теще, которые будто бы ничем не могли ему угодить. Я должен признаться, к сожалению, что жалобы и обвинения Погодина казались так правдоподобными, что сильно смущали мое семейство и отчасти меня самого, а также и Шевырева. Я, однако, объясняя себе поступки Гоголя его природною скрытностью и замкнутостью, его правилами, принятыми с издетства, что иногда должно не только не говорить настоящей правды людям, но и выдумывать всякий вздор для скрытия истины, я старался успокоить других моими объяснениями. Я приписывал скрытность и даже какую-нибудь пустую ложь, которую употреблял иногда Гоголь, когда его уличали в неискренности, единственно странности его характера и его рассеянности. Будучи погружен в совсем другие мысли, разбуженный как будто от сна, он иногда сам не знал, что отвечает и что говорит, лишь бы только отделаться от докучного вопроса; данный таким образом ответ невпопад надобно было впоследствии поддержать или оправдать, из чего иногда выходило целое сплетение разных мелких неправд. Впрочем, я должен сказать, что странности Гоголя иногда были необъяснимы и остались навсегда для меня загадками. Мне нередко приходилось объяснять самому себе поступки Гоголя точно так, как я объяснял их другим, т. е. что мы не можем судить Гоголя по себе, даже не можем понимать его впечатлений, потому-то, вероятно, весь организм его устроен как-нибудь иначе, чем у нас; что нервы его, может быть, во сто раз тоньше наших: слышат то, чего мы не слышим, и содрогаются от причин, для нас неизвестных. На такое объяснение Погодин с злобным смехом отвечал: "разве что так". Я тогда еще не вполне понимал Погодина и потому не догадывался, что главнейшею причиною его неудовольствия было то, что Гоголь ничего не давал ему в журнал, чего он постоянно и грубо требовал, несмотря на все письма Гоголя. После объяснилось, что Погодин пилил, мучил Гоголя не только словами, но даже записками, требуя статей себе в журнал и укоряя его в неблагодарности, которые посылал ежедневно к нему снизу наверх.. Такая жизнь сделалась мучением для Гоголя и была единственною причиною скорого отъезда его за границу. Теперь для меня ясно, что грубая, черствая, топорная натура Погодина не могла иначе поступить с натурою Гоголя, самою поэтическою, восприимчивою и по преимуществу нежною. Погодин сделал много добра Гоголю, хлопотал за него горячо всегда и везде,

передавал ему много денег (не имея почти никакого состояния и имея на руках большое семейство), содержал его с сестрами и с матерью у себя в доме и по всему этому считал, что он имеет полное право распоряжаться в свою пользу талантом Гоголя и заставлять его писать в издаваемый им журнал. Погодин всегда имел добрые порывы и был способен сделать добро даже и такому человеку, который не мог заплатить ему тем же; но как скоро ему казалось, что одолженный им человек может его отблагодарить, то он уже приступал к нему без всяких церемоний, брал его за ворот и говорил: "я тебе помог в нужде, а теперь ты на меня работай". Докуки Погодина увенчались, однако, успехом. Гоголь дал ему в журнал большую статью под названием "Рим", которая была напечатана в № 3 "Москвитянина"".

М. С. Щепкин свидетельствует: "Когда Гоголь напечатал свой "Рим" в "Москвитянине", то, по условию, выговорил себе у Погодина двадцать оттисков, но тот, по обыкновению своему, не оставил, сваливая вину на типографию. Однако Гоголь непременно хотел иметь их, обещав наперед знакомым по оттиску. И потому, настаивая на своем, сказал, разгорячась мало-помалу: "А если вы договора не держите, так прикажите вырвать из своего журнала это число оттисков". "Но как же, - заметил издатель, - ведь тогда я испорчу двадцать экземпляров". - "А мне какое дело до этого?.. Впрочем, хорошо: я согласен вам за них заплатить, - прибавил Гоголь, подумав немного, - только чтоб непременно было мне двадцать экземпляров моей статьи, слышите? Двадцать экземпляров!" Тут я увел его в комнату наверх, где сказал ему: "Зачем вам бросать эти деньги так на ветер. Да за двадцать целковых вам наберут вновь вашу статью". - "В самом деле? спросил он с живостью. - Ах, вы не знаете, что значит иметь дело с кулаком!" - "Так зачем же вы связываетесь с ним?" - подхватил я. - "Затем, что я задолжал ему шесть тысяч рублей ассигнациями: вот он и жмет. Терпеть не могу печататься в журналах, - нет, вырвал-таки у меня эту статью! И что же, как же ее напечатал? Не дал даже выправить хоть в корректуре. Почему уж это так, он один это знает". Ну, подумал я, потому это так, что иначе он не сумеет: это его природа делать всё, как говорится, тяп да ляп".

17 октября 1840 г. Гоголь писал П. из Рима: "Я выехал из Москвы хорошо, и дорога до Вены по нашим открытым степям тотчас сделала надо мною чудо. Свежесть, бодрость взялась такая, какой я никогда не чувствовал. Я, чтобы освободить еще, между прочим, свой желудок из разных неудобств и кое-где засевших остатков московских обедов, начал пить в Вене мариенбадскую воду. Она на этот раз помогла мне удивительно: я начал чувствовать какую-то бодрость юности, а самое главное - я почувствовал, что нервы мои пробуждаются, что я выхожу из того летаргического умственного бездействия, в котором я находился в последние годы и чему причиною было нервическое усыпление... Я почувствовал, что в голове моей шевелятся мысли, как разбуженный рой пчел; воображение мое становится чутко. О, какая была это радость, если бы ты знал! Сюжет, который в последнее время лениво держал в голове своей, не осмеливаясь даже приниматься за него, развернулся передо мною в величии таком, что все во мне почувствовало сладкий трепет, и я, позабывши все, переселился вдруг в тот мир, в котором давно не бывал, и в ту

же минуту засел за работу, позабыв, что это вовсе не годилось во время пития вод, и именно тут-то требовалось спокойствие головы и мыслей. Но впрочем, как же мне было воздержаться. Разве тому, кто просидел в темнице без свету солнечного несколько лет, придет на ум, по выходе из нее, жмурить глаза, из опасения ослепнуть, и не глядеть на то, что радость и жизнь для него, притом я думал: Может быть, это только мгновенье, может, это опять скроется от меня, и я буду потом вечно жалеть, что не воспользовался временем пробуждения сил моих... Со страхом я гляжу на себя. Я ехал бодрый и свежий на труд, на работу. Теперь... Боже. Сколько пожертвований сделано для меня моими друзьями - когда я их выплачу! А я думал, что в этом году уже будет готова у меня вещь, которая за одним разом меня выкупит, снимет тяжести, которые лежат на моей бессовестной совести. Что предо мною впереди? Боже, я не боюсь малого срока жизни, но я был уверен по такому свежему бодрому началу, что мне два года будет дано плодотворной жизни. И теперь от меня скрылась эта сладкая уверенность. Без надежды, без средств восстановить здоровье... Часто в теперешнем моем положении мне приходит вопрос: зачем я ездил в Россию, по крайней мере, меньше лежало бы на моей совести. Но как только я вспомню о моих сестрах. - Нет, мой приезд не бесплоден был. Клянусь, я сделал много для моих сестер. Они после увидят это".

В сентябре 1843 г. П. писал Гоголю: "Когда ты затворил дверь, я перекрестился и вздохнул свободно, как будто гора свалилась у меня тогда с плеч; все, что узнавал я после, прибавило мне еще более муки, и ты являлся, кроме святых, высоких минут своих, отвратительным существом".

На экземпляре "Выбранных мест из переписки с друзьями", подаренном П., Гоголь сделал такую надпись: "Неопрятному и растрепанному душой Погодину, ничего не помнящему, наносящему на всяком шагу оскорбления другим и того не видящему, Фоме Неверному, близоруким и грубым аршином меряющему людей, дарит сию книгу, в вечное напоминание грехов его, человек, также грешный, как и он, и во многом еще неопрятнейший его самого". В письме С. П. Шевыреву от 11 февраля 1847 г. он следующим образом объяснил ее появление: "Я давно уже, слава Богу, ни на кого не сержусь, но для надписи я прибирал нарочно самые жесткие слова, желая усилить в глазах его те недостатки, которые кажутся ему небольшими и неважными, и несколько даже уязвить душу. Что ж делать? Иных людей не заставишь по тех пор развязать, как следует, язык, покуда не рассердишь. К тому ж я угощал его тем же, чем угощаю себя ежедневно и чем желал бы, чтобы потчевали меня почаще другие. Впрочем, напрасно ты такого дурного мнения о Погодине. Он гораздо лучше, чем ты его себе представляешь, и особенно теперь. Он великодушен, и это составляло всегда главную черту его характера, несмотря на все недостатки его: он сам станет колоть себя и поражать именно моими словами, теми самыми, которые я прибрал ему в надпись. В доказательство же, что я ничего не имею противу его на душе своей, прилагаю при сем письмецо к нему самому".

8 июля 1847 г. Гоголь писал П.: "перед моим приездом в Москву (осенью 1841 г. - Б. С.) я писал еще из Рима С. Т. Аксакову, что я нахожусь в таком положении моего душевного состояния, во время которого я долго не буду писать, что я прошу поверить мне на слово; что прошу его изъяснить это тебе,

чтобы ты не требовал от меня ничего в журнал. Приехавши в Москву, я остановился у тебя со страхом, точно предчувствуя, что быть между нами неприятностям. В первый же день я повторил тебе эту самую просьбу. Я ничего не умел тебе сказать и ничего не в силах был изъяснить. Я сказал тебе только, что случилось внутри меня что-то особенное, которое произвело значительный переворот в деле творчества моего; что сочинение мое от этого может произойти слишком значительным. Я сказал, что оно так будет значительно, что ты сам будешь от него плакать и заплачут от него многие в России... Ничего больше я не успел сказать тебе. Знаю только: я просил со слезами тебя во имя Бога поверить словам моим. Ты был тогда растроган и сказал мне: "верю". Я просил тебя вновь не требовать ничего в журнал. Ты дал мне слово. На третий, на четвертый день ты стал задумываться. Тебе начали сниться черти. Из моих бессильных и неясных слов ты стал выводить какие-то особенные значения. Я потихоньку скорбел, но не говорил ничего, _ знал, что я ничего не смогу объяснить, а только наклеплю на самого себя. Но когда через две недели после того объявил мне, что должен дать тебе статью в журнал, точно как будто бы между нами ничего и не происходило (возможно, отказ давать статьи в "Москвитянин" П. расценил как своеобразное кокетство. - Б. С.), это меня изумило и в то же время огорчило сильно. А когда ты потом еще недели через три напомнил мне вновь, говоря, что я должен дать тебе статью, это напоминание показалось мне так низким, неблагодарным и неделикатным, что я стал презирать тебя. Я не старался скрывать перед тобою презренье (согласимся, что повод для презренья был ничтожен. - Б. С.). Напротив, я тебе показывал его при всяком случае почти явно. Не понимая, из какого источника оно происходит, ты принимал его просто за гордость, и встречая гневное выражение лица при всяких, даже небольших случаях, ты заключил, что во мне поселился сам демон гордости во всем сатанинском своем виде, и думал, что это уже моя натура, что я непременно со всеми так обращаюсь, тогда как, признаюсь тебе поистине, ни с кем в мире я не обращался так дурно, как с тобою... С этих пор пошло у нас навыворот. Видя, как ты обо мне путался и терялся в заключениях, я говорил себе: "путайся же, когда так!" И уже назло тебе начал делать иное, мне вовсе не свойственное, ни моей натуре, с желаньем досадить тебе".

12 мая 1848 г. Гоголь писал П. из Васильевки: "Что сказать тебе об отрывках из нового труда твоего: Русской истории? - то разве, что в этом твореньи твоем у тебя явилось все то, что прежде недоставало тебе. Я даже думаю, что вряд ли Русской гражданин в нынешнюю эпоху может сделать лучше приношенье земле своей, какое сделаешь ей ты этой историей, если с таким же успехом поведешь дело далее, с каким начал. Потребность истории в нынешнее время ощутительна. Может быть, только с помощью ее можно спасти нам добро наше, расхищаемое татями. О себе скажу только, что еле-еле осматриваюсь. Вижу предметы вокруг меня как бы сквозь какую-то мглу. Многое для меня покуда задача. Боюсь предаться собственным заключеньям, чувствуя, что малейшей торопливостью и опрометчивостью могу наделать больше вреда, чем всякой иной писатель. Деревня покуда принимает меня не совсем неблагосклонно, воздух, кажется, здоров".

18 октября 1848 г. П. отметил в дневнике "глубокое замечание Гоголя: "Спасение России, что Петербург в Петербурге"". А последовали довольно ироничные записи:

"1 ноября. Думал о Гоголе. Он все тот же. Я убедился. Только ряса подчас другая. Люди ему нипочем...

2 ноября. Гоголь по два дня не показывается; хоть бы спросил: чем ты кормишь двадцать пять человек?..

19 ноября. Православие и самодержавие у меня в доме: Гоголь служил всенощную, - неужели для восшествия на престол?..

20 ноября. Гоголь ныне приобщился. Вот почему вчера он служил всенощную".

24 декабря 1848 г. П. писал М. А. Максимовичу: "Гоголь жил у меня два месяца, а теперь переехал к графу А. П. Толстому, ибо я сам переезжаю во флигель (где прежде жил Гоголь; вероятно, переселение произошло из-за ремонта. - Б. С.)... Он здоров, спокоен и пишет".

15 октября 1849 г. П. записал в дневнике: "Вечер. Князь Енгалычев, Киреевский, Григорьев. Духовная беседа, а Гоголь скучал и улизнул".

7 марта 1851 г. Гоголь из Одессы выразил соболезнование П. в связи с кончиной его матери Аграфены Михайловны Погодиной (1776-1850): "Добрая мать, так тебя любившая, уже теперь не молится за тебя здесь на земле, она уже там... Она завещает теперь тебе молиться о ней. Не позабывай по мне панихид. Панихиды по близким душе успокаивают много нашу собственную душу. Да и самим мыслям становится после того как-то способнее и удобнее стремиться туда, куда им предписан закон стремиться, и самые кандалы на ногах, на которые ты жалуешься и которые у всякого человека на земле, становятся тогда неслышней и легче".

Последнее письмо Гоголь написал П. в сентябре 1851 г.: "Павел Васильевич Анненков, занимающийся изданием сочинений Пушкина и пишущий его биографию, просил меня свести его к тебе затем, чтобы набрать и от тебя материалов и новых сведений по этой части. Если найдешь возможным удовлетворить, то по мере сил удовлетвори, а особенно покажи ему старину, авось-либо твое собрание внушит уважение этим господам, до излишества живущим в Европе".

В дневнике П. сохранилось описание последних дней Гоголя. На основе дневниковых записей П. написал воспоминания: "Во вторник (5 февраля 1852 г. - Б. С.) на масленице Гоголь приезжал к своему духовнику, живущему в отдаленной части города, известить, что говеет, и спросить, когда можно приобщиться. Тот посоветовал было дождаться первой недели поста, а потом согласился и назначил четверг... В четверг (7 февраля. - Б. С.) явился Гоголь в церковь (Саввы Освященного, на Девичьем Поле. - Б. С.) еще до заутрени и исповедался. Перед принятием Св. Даров, за обеднею, пал ниц и много плакал. Был уже слаб и почти шатался... Вечером приехал он опять к священнику и просил его отслужить поутру. Из церкви заехал по соседству к одному знакомому (самому П. - Б. С.), который при первом взгляде на него заметил в лице болезненное расстройство и не мог удержаться от вопросов, что с ним случилось. "Ничего, _ отвечал он, - я нехорошо себя чувствую". Просидев

несколько минут, он встал (в комнате сидело двое посторонних) и сказал, что сходит к домашним, но остался у них еще менее... В субботу на масленице (9 февраля. - Б. С.) он посетил некоторых своих знакомых. Никакой болезни не было в нем заметно, не только опасности; а в задумчивости его, молчаливости не представлялось ничего необыкновенного... С понедельника только обнаружилось его совершенное изнеможение. Он не мог уже ходить и слег в постель. Призваны были доктора. Он отвергал всякое пособие, ничего не говорил и почти не принимал пищи. Просил только по временам пить и глотал по несколько капель воды с красным вином. Никакие убеждения не действовали. Так прошла вся первая неделя... В воскресенье (10 февраля 1852 г. - Б.С.), перед постом, он призвал к себе одного из друзей своих (А. П. Толстого; характерно, что его П. именует "другом Гоголя", а самого себя только "знакомым"; очевидно, тем самым П. хотел подчеркнуть, что в последние годы Гоголь отдалился от него и сблизился с кругом графа А. П. Толстого. - Б. С.) и, как бы готовясь к смерти, поручал ему отдать некоторые свои сочинения в распоряжение духовной особы (митрополита Филарета. - Б. С.), им уважаемой, а другие напечатать. Тот старался ободрить его упавший дух и отклонить от него всякую мысль о смерти. Ночью, во вторник (12 февраля. - Б. С.), он долго молился один в своей комнате. В три часа призвал своего мальчика и спросил его: тепло ли в другой половине его покоев. "Свежо", - отвечал тот. - "Дай мне плащ, пойдем: мне нужно там распорядиться". И он пошел, с свечкой в руках, крестясь во всякой комнате, через которую проходил. Пришед, велел открыть трубу, как можно тише, чтоб никого не разбудить, и потом подать из шкафа портфель. Когда портфель был принесен, он вынул оттуда связку тетрадей, перевязанных тесемкой, положил ее в печь и зажег свечой из своих рук. Мальчик, догадавшись, упал перед ним на колени и сказал: "барин, что вы это, перестаньте!" - "Не твое дело, отвечал он, молись". Мальчик начал плакать и просить его. Между тем огонь погасал, после того как обгорели углы у тетрадей. Гоголь заметил это, вынул связку из печки, развязал тесемку, и уложив листы так, чтоб легче было приняться огню, зажег опять, и сел на стуле перед огнем, ожидая, пока все сгорит и истлеет. Тогда он, перекрестясь, воротился в прежнюю свою комнату, поцеловал мальчика, лег на диван и заплакал. "Иное надо было сжечь, сказал он, подумав, - а за другое помолились бы за меня Богу; но, Бог даст, выздоровею, и всё поправлю". Поутру он сказал графу Александру Петровичу Толстому: "вообразите, как силен злой дух! Я хотел сжечь бумаги, давно уже на то определенные, а сжег главы Мертвых Душ, которые хотел оставить друзьям на память после своей смерти". Вот что до сих пор известно о погибели неоцененного нашего сокровища... В четверг (14 февраля. - Б. С.) сказал: "Надо меня оставить; я знаю, что должен умереть"... В понедельник на второй неделе поста (18 февраля. - Б. С.) духовник предложил ему приобщиться и собороваться маслом, на что он согласился с радостию и выслушал все Евангелия в полной памяти, держа в руках свечу, проливая слезы. Вечером уступил было настояниям духовника принять медицинское пособие, но лишь только прикоснулись к нему, как закричал самым жалобным, раздирающим голосом: "Оставьте меня! Не мучьте меня!" Кто ни приходил к нему, он не поднимал глаз, приказывал только по временам переворачивать себя или

подавать себе пить. Иногда показывал нетерпение... Во вторник он выпил без прекословия чашку бульону, поднесенную ему служителем, через несколько времени другую и подал тем надежду к перемене в своем положении; но эта надежда продолжалась недолго... В среду обнаружились явные признаки жестокой нервической горячки. Употреблены были все средства, коих он, кажется, уже не чувствовал, изредка бредил, восклицая: "Поднимите, заложите, на мельницу, ну же, подайте!" (вероятно, Гоголь в последние часы жизни переносился в счастливые дни детства в родной Васильевке. - Б. С.)".

О трагической развязке П. сообщила 21 февраля 1852 г. его теща Е. Ф. Вагнер: "Сего утра в восемь часов наш добрый Николай Васильевич скончался, был все без памяти, немного бредил, по-видимому, он не страдал, ночь всю был тих, только дышал тяжело; к утру дыхание сделалось реже и реже, и он как будто уснул, болезнь его обратилась в тифус; я у него провела две ночи, и при мне он скончался. Накануне смерти у Гоголя был консилиум; его сажали в ванну, на голову лили холодную воду, облепили горчичниками, к носу ставили пиявки, на спину мушку, и все было без пользы".

ПОЛЕВОЙ Николай Алексеевич (1796-1846), писатель, историк, журналист и критик. В 1825-1834 гг. издавал журнал "Московский телеграф", который был закрыт за публикацию отрицательной рецензии на драму Н. В. Кукольника "Рука всевышнего отечество спасла", одобренную императором Николаем I. П. резко отрицательно отозвался о "Мертвых душах", издевательски порекомендовав Гоголю: "Оставьте в покое вашу "вьюгу вдохновения", поучитесь русскому языку, да рассказывайте нам прежние ваши сказочки об Иване Ивановиче, коляске и носе и не пишите такой чепухи, как "Мертвые души".

Гоголь невысоко ценил труды П. Так, в письме М. П. Балабиной 7 ноября н. ст. 1838 г. из Рима, сравнивая "Историю русского народа" П. с "Историей Франции" Ж. Мишле, он писал: "Вы читаете теперь историю Мишле. Это страшный вздор; это совершенно русский Полевой. Но, к счастию, вы не читали Полевого".

"ПОРТРЕТ", повесть, впервые напечатанная в 1835 г. во второй части сборника "Арабески". Она получила отрицательный отзыв В. Г. Белинского, утверждавшего: "Портрет" есть неудачная попытка г. Гоголя в фантастическом роде". Гоголь значительно переработал П. и опубликовал новую редакцию в 1842 г. в третьей книге журнала "Современник".

В письме П. А. Плетневу от 17 марта 1842 г. писатель отмечал, что в новом тексте осталась лишь "канва прежней повести", по которой "все вышито... вновь". Друзья Гоголя высоко оценили новую редакцию П. 26 марта 1843 г. С. П. Шевырев писал Гоголю: "Во время болезни я прочел и "Портрет", тобою переделанный. Ты в нем так раскрыл связь искусства с религией, как еще нигде она не была раскрыта. Ты вносишь много света в нашу науку и доказываешь собою назло немцам, что творчество может быть соединено с полным сознанием своего дела".

Прототипом ростовщика в П. послужил известный в Петербурге ростовщик-

индиец, запечатленный в "Записках" актера П. А. Каратыгина: "Бронзовое лицо его было татуировано разноцветными красками, черные зрачки его, как угли, блистали на желтоватых белках с кровяными прожилками..." В образе художника Чарткова отразились размышления самого Гоголя о необходимости добывать средства на жизнь ремеслом искусства и о губительном влиянии на талант работы для заработка.

30 апреля 1829 г. он писал матери: "Вы не ошиблись, почтеннейшая маминька, я точно сильно нуждался в это время, но впрочем всё это пустое; что за беда просидеть какую-нибудь неделю без обеда, того ли еще будет на жизненном пути, всего понаберешься, знаю только, что если бы втрое, вчетверо, всотеро раз было более нужд, и тогда они бы не поколебали меня и не остановили меня на моей дороге. Вы не поверите, как много в Петербурге издерживается денег. Несмотря на то, что я отказываюсь почти от всех удовольствий, что уже не франчу платьем, как было дома, имею только пару чистого платья для праздника или для выхода и халат для будня; _ что я тоже обедаю и питаюсь не слишком роскошно и несмотря на это всё по расчету менее 120 рублей мне никогда не обходится в месяц. Как в этаком случае не приняться за ум, за вымысел, как бы добыть этих проклятых, подлых денег, которых хуже я ничего не знаю в мире, вот я и решился... Когда наши в поле - не робеют. Но как много еще и от меня закрыто тайною и я нестерпением желаю вздернуть таинственный покров, то в следующем письме извещу вас о удачах или неудачах". Ради денег Гоголь принялся за написание сборника "Вечера на хуторе близ Диканьки", который впоследствии ценил невысоко, в том числе и потому, что он был написан ради денег.

Прототипом художника, приславшего из Италии на выставку в Петербург свою картину, послужил А. А. Иванов, всю жизнь работавший над одной картиной - "Явление Христа народу". Его черты отразились также в образе ушедшего в монастырь старца художника. В статье "Исторический живописец Иванов", вошедшей в книгу "Выбранные места из переписки с друзьями", Гоголь писал: "Что за непостижимая судьба этого человека! Уже дело его стало, наконец, всем объясняться. Все уверились, что картина, которую он работает, - явленье небывалое, приняли участие в художнике, хлопочут со всех сторон, чтобы даны были ему средства кончить ее, чтобы не умер над ней с голоду художник... и до сих пор ни слуху ни духу из Петербурга... Сюда принеслись нелепые слухи, будто художники и вся профессура нашей академии художеств, боясь, чтобы картина Иванова не убила собою все, что было доселе произведено нашим художеством, из зависти стараются о том, чтоб ему не даны были средства на окончание. Это ложь, я в этом уверен. Художники наши благородны, и если бы они узнали все то, что вытерпел бедный Иванов из-за своего беспримерного самоотверженья и любви к труду, рискуя действительно умереть с голоду, они бы с ним поделились братски своими собственными деньгами, а не то чтобы внушать другим такое жестокое дело. Да и чего им опасаться Иванова? Он идет своей собственной дорогой и никому не помеха. Он не только не ищет профессорского места и житейских выгод, но даже просто ничего не ищет, потому что давно уже умер для всего в мире, кроме своей работы... Нет, пока в самом художнике не произошло истинное обращение ко

Христу, не изобразить ему того на полотне. Иванов молил Бога о ниспослании ему такого полного обращенья, лил слезы в тишине, прося у Него же сил исполнить Им же внушенную мысль; а в это время упрекали в медленности и торопили его! Иванов просил у Бога, чтобы огнем благодати испепелил в нем ту холодную черствость, которую теперь страждут многие наилучшие и наидобрейшие люди, и вдохновил бы его так изобразить это обращение, чтобы умилился и нехристианин, взглянувши на его картину; а его в это время укоряли даже знавшие его люди, даже приятели, думая, что он просто ленится, и помышляли сурьезно о том, нельзя ли голодом и отнятием всех средств заставить его кончить картину".

П. был расценен как неудача В. Г. Белинским. В статье "О русской повести и повестях г. Гоголя" (1835) он писал: "Портрет" есть неудачная попытка г. Гоголя в фантастическом роде. Здесь его талант падает, но он и в самом падении остается талантом. Первой части этой повести невозможно читать без увлечения; даже, в самом деле, есть что-то ужасное, роковое, фантастическое в этом таинственном портрете, есть какая-то непобедимая прелесть, которая заставляет вас насильно смотреть на него, хотя вам это и страшно. Прибавьте к этому множество юмористических картин и очерков во вкусе г. Гоголя; вспомните квартального надзирателя, рассуждающего о живописи; потом эту мать, которая привела к Чарткову свою дочь, чтобы снять с нее портрет, и которая бранит балы и восхищается природою, _ и вы не откажете в достоинстве и этой повести. Но вторая ее часть решительно ничего не стоит; в ней совсем не видно г. Гоголя. Это явная приделка, в которой работал ум, а фантазия не принимала никакого участия. Вообще надо сказать, фантастическое как-то не совсем дается г. Гоголю..."

И. Ф. Анненский в статье "Портрет" (1905) заметил: "Пусть читатель сам, если хочет представить себе, что такое самая беспримесная и самая стертая пошлость, перечитает во второй редакции "Портрета" о визите домохозяйки в квартиру художника. Это, может быть, у Гоголя единственное изображение серого налета жизни, которое не согрето ни единым лучом юмора, притом же здесь пошлость имеет не просто серый цвет, а цвет пепла, цвет бесполезно сожженной жизни. Но Гоголь показывает в своей повести пошлость и еще с одной стороны - в "Портрете" она является орудием в руках карающего черта. Владелец рокового портрета гибнет следующим образом: вместо того, чтобы развивать свой талант, он, благодаря рекламе, делается модным живописцем и опошляется, мало-помалу утрачивая самый смысл и оправдание жизни, которые были у него в руках в виде его искусства. Только черт не оставляет его доканчивать дни под тем серым пеплом, который людям, окружающим художника, кажется славой. Наказание Чарткова заключается прежде всего в том, что он видит однажды картину не только дивно талантливую, но проникнутую тем особым чарующим светом, который рождается лишь от чистого огня жертвы и вдохновения. Чартков потрясен, он хочет наверстать потерянное, он пробует опять сделаться художником, но рука его упорно выводит лишь шаблонные очертания и оставляет на полотне лишь развязные мазки. Тогда Чартков в совершенно фантастической форме безумия начинает скупать и уничтожать все, что только он может найти оригинального и

талантливого в той живописи, которую он, по наваждению дьявола, продолжает и любить, и понимать, но которую он осужден только оскорблять своей проданной черту кистью. В результате невыносимой нравственной пытки человека, все торжество которого могло отныне заключаться лишь в диких оскорблениях того единственного, что он умел ценить, - три жестоких недуга ополчились на бренную оболочку Чарткова, и последний бред его представлял собою нечто поистине адское. "Все люди, окружавшие его постель, казались ему ужасными портретами. Портрет двоился, четверился в его глазах; все стены казались увешаны портретами, вперившими в него свои неподвижные, живые глаза; страшные портреты глядели с потолка, с полу, комната расширялась и продолжалась бесконечно, чтобы более вместить этих неподвижных глаз..."".

"ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОМПЕИ", статья, впервые опубликованная в сборнике "Арабески" с подзаголовком "(Картина Брюллова)" и с датой "1834, августа". Она была написана под впечатлением от демонстрации знаменитого полотна русского живописца Карла Павловича Брюллова (1799-1852) в Эрмитаже 12-17 августа 1834 г. В Италии эту картину назвали "первой картиною золотого века".

В 1836 г., когда К. П. Брюллов вернулся из Италии, Гоголь познакомился с ним. В П. д. П. Гоголь подчеркнул, что полотно Брюллова "это - светлое воскресение живописи, пребывавшей долгое время в каком-то полулетаргическом состоянии". Писатель назвал первым достоинством картины "отсутствие идеальности, то есть идеальности отвлеченной". В заслугу художнику писатель отнес то, что "все предметы, от великих до малых, для него драгоценны. Он силится схватить природу исполинскими объятиями и сжимает ее с страстью любовника".

ПОЭТИКА В "Выбранных местах из переписки с друзьями" Гоголь так определил основную черту своего творчества: "Обо мне много толковали, разбирая кое-какие мои стороны, но главного существа моего не определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем. Вот мое главное свойство, одному мне принадлежащее, и которого точно нет у других писателей". Пожалуй, как это ни удивительно, с тех пор писателей, сравнимых в этом отношении с Гоголем, так и не появилось. Быть может, в предельном виде развил это свойство гоголевской прозы один только Владимир Сорокин, но у него выставляется на всеобщее обозрение уже не пошлость жизни, а пошлость слов, которыми саму жизнь обыкновенно описывают. Владимир Набоков пошлость замещает литературной игрой, а Михаил Булгаков уничтожает пошлость современности высоким светом перевоссозданной евангельской легенды.

Свое эстетическое кредо Гоголь изложил в статье "Искусство есть примирение с жизнью": "Истинное созданье искусства имеет в себе что-то успокаивающее и примирительное. Во время чтенья душа исполняется

стройного согласия, а по прочтении удовлетворена: ничего не хочется, ничего не желается, не поднимается в сердце движенье негодования против брата, но скорее в нем струится елей всепрощающей любви к брату; и вообще не устремляешься на порицанье действий другого, но на созерцанье самого себя. Если же созданье поэта не имеет в себе этого свойства, то оно есть один только благородный, горячий порыв, плод временного состоянья автора. Оно остается, как примечательное явленье, но не назовется созданьем искусства. Поделом. Искусство есть примиренье с жизнью! Искусство есть водворенье в душу стройности и порядка, а не смущенья и расстройства. Искусство должно изобразить нам таким образом людей земли нашей, чтобы каждый из нас почувствовал, что это живые люди, созданные и взятые из того же тела, из которого и мы. Искусство должно выставить нам на вид все доблестные народные наши качества и свойства, не исключая даже и тех, которые, не имея простора свободно развиться, не всеми замечены и оценены так верно, чтобы каждый почувствовал их в себе самом и загорелся бы желаньем развить и взлелеять в себе самом то, что им заброшено и позабыто. Искусство должно выставить нам все дурные наши народные качества и свойства таким образом, чтобы следы их каждый из нас отыскал прежде всего в себе самом; и подумал бы о том, как прежде с самого себя сбросить всё, омрачающее благородство природы нашей. Тогда только и таким образом действуя, искусство исполнит свое назначенье и внесет порядок и стройность в общество!" Еще в 1832 г., задолго до того, как был написан "Ревизор", Гоголь утверждал в беседе с С. Т. Аксаковым, что "что комизм кроется везде, что, живя посреди него, мы его не видим; но что если художник перенесет его в искусство, на сцену, то мы же сами над собой будем валяться со смеху и будем дивиться, что прежде не замечали его".

В одной из лучшей работ о "Мертвых душах", "Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма Н. Гоголя" (1842), С. П. Шевырев едва ли не первым из современных Гоголю критиков определил особенности языка гениальной поэмы с помощью "кулинарных" метафор: "Ясновидение фантазии... отражается и в слоге необыкновенною очевидностию. Внешняя ее сторона придает ему живопись: слог Гоголя - яркая кисть со всеми оттенками колорита... Внутренняя сторона выражается чудным разнообразием в разговоре выводимых лиц, всегда изображающем живо особенный характер каждого. Согласие фантазии с существенностью жизни отразилось и в слоге чем-то истинным, безыскусственным: там только заметны отступления, где Поэт изменяет главному характеру своей фантазии. Наконец, третья черта сей последней русское хлебосольство - дает печать свою и слогу: слово Гоголя - слово широкое, полное, разъемистое, плодовитое. Речь его рассыпчата, как сдобное тесто, на которое не пожалели масла; она льется через край, как переполненный стакан, налитой рукою чивого хозяина, у которого вино и скатерть нипочем; оттого-то и период его бывает слишком грузно начинен, как пирог у затейливого гастронома, который купил без расчета припасов и не щадит никакой начинки. Словом, полная рука расточительного богача видна везде: всего вдоволь; приходит нередко на ум - хорошо бы поумереннее и поразборчивее, да боишься оскорбить благородную щедрость хозяина и лишить

себя многих чудных лакомств, которые он даром сыплет на своей трапезе".

Д. С. Мережковский в своем исследовании "Гоголь и черт" (1906) первым отметил, что "единственный предмет гоголевского творчества... есть черт... как явление "бессмертной пошлости людской", созерцаемое за всеми условностями местными и временными - историческими, народными, государственными, общественными, - явление безусловного, вечного и всемирного зла..."

В. Я. Брюсов в статье "Испепеленный" (1909) утверждал, что основная черта души Гоголя - это "стремление к преувеличению, к гиперболе": "Гоголь, хотя и порывался быть добросовестным бытописателем окружавшей его жизни, всегда, в своем творчестве, оставался мечтателем, фантастом и, в сущности, воплощал в своих произведениях только идеальный мир своих видений. Как фантастические повести Гоголя, так и его реалистические поэмы - равно создания мечтателя, уединенного в своем воображении, отделенного ото всего мира непреодолимой стеной своей грезы. К каким бы страницам Гоголя ни обратились мы - славословит ли он родную Украйну, высмеивает ли пошлость современной жизни, хочет ли ужаснуть, испугать пересказом страшных народных преданий или очаровать образом красоты, пытается ли учить, наставлять, пророчествовать, - везде видим мы крайнюю напряженность тона, преувеличения в образах, неправдоподобие изображаемых событий, исступленную неумеренность требований. Для Гоголя нет ничего среднего, обыкновенного, - он знает только безмерное и бесконечное. Если он рисует картину природы, то не может не утверждать, что перед нами что-то исключительное, божественное; если красавицу, - то непременно небывалую; если мужество, - то неслыханное, превосходящее все примеры; если чудовище, - то самое чудовищное изо всех, рождавшихся в воображении человека; если ничтожество и пошлость, - то крайние, предельные, не имеющие себе подобных. Серенькая русская жизнь 30-х годов обратилась под пером Гоголя в такой апофеоз пошлости, равного которому не может представить миру ни одна эпоха всемирной истории... Сама природа, у Гоголя, дивно преображается, и его родная Украйна становится какой-то неведомой, роскошной страной, где все превосходит обычные размеры".

Ю. Н. Тынянов в статье "Достоевский и Гоголь" (1921) отмечал: "Гоголь необычайно видел вещи... Гоголь улавливает комизм вещи... Основной прием Гоголя в живописании людей - прием маски. Маской может служить, прежде всего, одежда, костюм (важное значение одежды у Гоголя при описании наружности), маской может служить и подчеркнутая наружность... Маска одинаково вещна и призрачна; Акакий Акакиевич легко и естественно сменяется привидением; маска козака в красном жупане сменяется маской колдуна. Призрачно, прежде всего, движение масок, но оно-то и создает впечатление действия".

К. В. Мочульский в книге "Духовный путь Гоголя" (1933) отмечал: "В чем тайна красоты? - спрашивал Гоголь в "Вие". И в "Невском проспекте" он отвечает: красота - божественного происхождения; но в нашей "ужасной жизни" она извращена "адским духом". Принять такую жизнь нельзя. Если нужно выбирать между "мечтою" и существенностью", то художник выберет мечту. И Гоголь приходит к полному эстетическому идеализму: "Лучше бы ты

(красавица) вовсе не существовала! не жила в мире, а была создание вдохновенного художника". Злая красота нашего мира губит, возбуждая в сердцах людей "ужасную, разрушительную" силу - любовь"". Во втором томе "Мертвых душ" и в "Выбранных местах из переписки с друзьями" Гоголь пытался обрести чистую красоту, не обремененную "адским духом", но потерпел неудачу. Оказалось, что в художественном творчестве красота заметна лишь тогда, когда она оттеняется злом. Плоская красота религиозной проповеди не впечатляет в художественном произведении, где образы - трехмерны. Как подчеркивает К. В. Мочульский, "Гоголь-человек аскетически отвергает злой мир, ужасается и содрогается перед "отвратительным человеком"; Гоголь-писатель отрицает всякий реализм в искусстве и советует художнику под страхом гибели своей души не покидать заоблачных пространств поэтического вымысла". Основную идею Гоголя К. В. Мочульский формулирует следующим образом: "Гоголь говорил: чтобы творить красоту, нужно самому быть прекрасным; художник должен быть цельной и нравственной личностью; его жизнь должна быть столь же совершенна, как и его искусство. Служение красоте есть нравственное дело и религиозный подвиг. Чтобы исполнить долг перед человечеством, возложенный на него, писатель должен просветить и очистить свою душу. Одним словом, чтобы закончить "Мертвые души", автору нужно стать праведником... Образ художника и образ человека сливаются воедино. Двойным смыслом звучат слова "подвиг" и "поприще": аскетический путь и создание поэмы - единая лестница, ведущая к Богу".

А. Белый в "Мастерстве Гоголя" (1934) утверждал: "Весь размах лирики, данный ритмами, от которых себя отвлекает в прозе Пушкин, вложил Гоголь в прозу, заставляя вздрагивать, как струны, вытянутые свои строки, дающие звук ассонансов и аллитераций". А. Белый полагал, что "Гоголь - сама эпопея прозы, поскольку в ней русский народный язык влил жизнь в "литературу и только"; "штиль" мелкопоместного дворянина, сниженного в мещанстве, высокопарица канцеляриста и грубая смачность семинариста им впаяны вместе с местными народными говорами в литературную форму; Пушкин еще посылал учиться языку у просвирен; Гоголь из этого именно языка извлек оттенки непередаваемой звучности. Там, где были местные и сословные языки, стал "язык языков", гибкий в оттенках перехода: от наречия к наречию. И новый язык зажег жизнь в лучших наших прозаиках-классиках. Переродилось самое понятие "проза"; и русская литература заняла первое место в мировой". По его мнению, у Гоголя "вместо дорической фразы Пушкина и готической фразы Карамзина - асимметрическое барокко, обставленное колоннадой повторов, взывающих к фразировке и соединенных дугами вводных предложений с влепленными над ними восклицаниями, подобными лепному орнаменту. Но и короткая фраза Пушкина, как составная часть стиля, имеет тут место, подобно пустому простенку между горельефными влеплинами..." Здесь подчеркивается архитектурность гоголевского стиля. В качестве одного из сквозных мотивов гоголевского творчества А. Белый выделяет следующий: "Гоголь инкорпировал мертвеца мертвецов в человека; в Поприщине человек переживает прижизненно бред засмертный; в Хлестакове омоложается: в смерть; в Чичикове наливается благообразием, более уродливым, чем личина колдуна". Как справедливо

заметил Ю. В. Манн, "описания чертовщины у Гоголя построены на откровенной или полуприкрытой аналогичности бесовского и человеческого".

М. М. Бахтин в статье "Рабле и Гоголь" (1970) заметил: "Смеющийся сатирик не бывает веселым. В пределе он хмур и мрачен. У Гоголя же смех побеждает все... Он создает своего рода катарсис пошлости". Уже с юных лет Гоголь любил выражаться "неправильно" и более чем вольно относился к языковым нормам. По свидетельству В. И. Любич-Романовича, еще в нежинской гимназии "над своей разговорной речью... поставил крест. И такое, бывало, словечко скажет, что над ним весь класс в голос рассмеется. Однажды ему это было поставлено на вид одним из наших преподавателей, но Гоголь ему на это ответил: "А чем вы докажете, что я по-своему неправильно говорю?" Гоголь, создавший замечательные комические образы, в жизни был человек далеко не веселый. А. К. Толстой 3 ноября 1853 г. писал С. А. Миллер: "Я понимаю, отчего натуры такие глубоко печальные, как Мольер и Гоголь, могли быть такими комиками. Чтобы хорошо передать что-нибудь, хорошо оценить, нужно быть вне этого, так же как надо выйти из дому, чтобы срисовать фасад дома..." И он же 20 декабря н. ст. 1871 г. писал из Дрездена Б. М. Маркевичу о голландском художнике-пейзажисте Якобе Рейсдале (1628-1682): "Не хотел бы я расстаться с его неправильностями, как и с неправильностями Гоголя".

Основным источником литературы Гоголь считал саму жизнь. По свидетельству А. О. Смирновой, "у Гоголя всегда в кармане была записная книжка или просто клочки бумаги. Он заносил сюда все, что в течение дня его поражало или занимало: собственные мысли, наблюдения, уловленные оригинальные или почему-либо поразившие его выражения и пр. Он говорил, что если им ничего не записано, то это потерянный день; что писатель, как художник, всегда должен иметь при себе карандаш и бумагу, чтобы наносить поражающие его сцены, картины, какие-либо замечательные, даже самые мелкие детали. Из этих набросков для живописца создаются картины, а для писателя сцены и описания в его творениях. - "Все должно быть взято из жизни, а не придумываться досужей фантазией". Гоголь при всей своей застенчивости и нелюдимости, охотно вступал в разговоры с самыми разнообразными людьми. "Мне это вовсе неинтересно, - говорил он, как бы оправдываясь, - но мне необходимо это для моих сочинений".

А. Белый первым обратил внимание на настоящее "кулинарное изобилие гоголевской прозы как олицетворение неизбывной полноты жизни, заставляющее вспомнить о старинных натюрмортах: "Чудовищен поварской прейскурант; вспомните овощи, фрукты, мяса, перевернутых ушами вниз зайцев - залу любого музея живописи под номерами 10, 11, 12; первые заняты старыми немцами, итальянцами, испанцами. В "Веч.", "ТБ", "В" реестр отмечает 16 упоминаний о кушаньях (за вычетом предисловий к "Веч"); в предисловиях, бытовых повестях, комедиях и "МД" мой реестр отмечает 86 смачно поданных блюд или плотоядных упоминаний о них; в "МД" необходимый, сопутствующий героям передний фон жанра - еда; блюда отнюдь не декоративны; как яства, поданные голландцами: взять бы да съесть! Краткое перечисление этого смачного изобилия: напитки, водки, вина - "золототысячниковая сивушка" (Шп), водка, настоенная на травах "деревий и

шалфей", перегонная на "персиковых косточках" (СП), поднос "разноцветных настоек" (МД), "разные наливки" (ОТ), "губернская мадера" (слона повалит) (Рев); "госотерн" (в уездных городах нет просто сотерна), "клико-матрадура" (не просто клико), "толстобрюшка" (Рев), бордо, называемое "бурдашкой", французское, под названием "бомбон" ("запах? - розетка") (МД); к водкам - закуска: "соленые опенки" (Шп.), сушеные рыбки, грибки (с чебрецом, с гвоздиками, с волошскими орешками, с мускатными орешками) (СП), балык, селедки (ОТ), винегрет, холодная телятина (Ш), вареные бураки, огурец, икра, паюсная, свежесольная, копченые языки (МД), сыр (Игр) и т. д. Мучные блюда: коржики, скородумки, шанишки, прягла (СП), пряженцы, масленцы, взваренцы (МД), другие "пундики", ватрушки ("каждая больше тарелки"), лепешки с припеками (луком, маком, творогом, сняточками), "кисленькие" на вкус (неизвестно с чем) (СП); блины, пирожки (с маком, с сыром, с "урдою") (СП), паштет (Ш), "загнутый пирог... с яйцом", кулебяки с сомовым плесом, "пирог с головизною", набитый хрящами и щеками "девятипудового осетра", "пирог с груздями"; и - наконец знаменитая петуховская кулебяка в четыре угла: в одном "щеки осетра да вязига"; в другом - гречневая кашица, да грибочки с лукочком, да сладкие молоки, "да еще чего знаешь там этакого... какого-нибудь там того" (МД). Супы: "борщ с голубями" (ОТ), "стерляжья уха с налимами и молоками" ("шипит и ворчит... меж зубами, заедаемая расстегаем") (МД), пятьсотрублевая уха "с двухаршинными стерлядями" и "тающими во рту кулебяками" (МД), "рассупэ-деликатес" (МД) и т. д. Жаркое: "сосиски с капустой" (МД), говядина с луком (Ш), "мозги с горошком" (МД), "индейка со сливами", поданная Шпоньке на одном блюде восприятий с "весьма красивой барышней" (Шп), "набитая трюфелями индейка" (Р), "индюк... ростом с теленка" (набитый яйцами, рисом, печенками" (МД), свинина, баранина, гусь, котлеты с каперсами, теленок, жаренный на вертеле, с почками (два года воспитывался на молоке) (МД), кушанье из внутренностей, "утрибка" (ОТ), кушанье, видом похожее "на сапоги, намоченные квасом", соус, "обхваченный...винным пламенем" (ОТ), каплун (ОТ), пулярка жареная, "с финтерлеями", "няня", или блюдо "из бараньего желудка, начиненного гречневой кашей, мозгом и ножками"; из рыбных - севрюжка, белуга, осетр: к нему сняточки, груздочки, да - репушка, да морковка, да бобки, да свекла звездочкой ("да... чего-нибудь там этакого... того-растого... Да поджарь, да подпеки, да дай взопреть" (МД). Сладкое, - ... Довольно, читатель! Не Илиада, а... Жратв-иада; можно бы исщербить щит Ахилла резьбою показанных блюд; в центре ж вырезать пуп: герой жанра - брюхо! Неспроста перечисляю предметы и блюда, отчетливо выпертые всем рельефом из плоскости полотна; перечисленье - прием третьей фазы; столы жирных блюд средь тяжелой скульптуры вещей здесь насильственно вставлены в легкие фоны, почти загораживая кругозор..." Кулинарная роскошь - это соблазн, побуждающий людей грешить (брать взятки, выжимать все соки из крепостных крестьян и т. д.). Интересно, что автор столь впечатляющего "кулинарного пейзажа" умер фактически от того, что добровольно уморил себя голодом, изживая греховный "кулинарный соблазн".

Как отмечал А. Белый, "у Гоголя ряд неправильных выражений; Гоголь сам признавался: в Риме он забыл русский язык, значит: грамматически никогда и

не знал его; это подчеркивает его талант: и без грамматики совершать в языке революции". Сущность революции заключалась в том, что Гоголь впервые по-настоящему ввел русскую разговорную речь в литературный язык. Сравнивая язык Пушкина и Гоголя, А. Белый отметил: "В отличие от уравновешенной и короткой пушкинской фразы, фраза Гоголя и длинней, и насыщенней придаточным предложением; части речи неуравновешены в ней: всюду скопление одних частей речи в ущерб другим; всюду заторы друг друга теснящих глаголов и существительных, отчего текст беспорядочно толпится у глаз, раздражая порой неумеренной яркостью; и - пафос дистанции всюду Пушкиным соблюден; фраза Гоголя какая-то неравнобокая фраза, как здание, напоминающее цаплю, которое Тарас Бульба увидел, подъезжая к Варшаве..." А. Белый подчеркивает: "Гоголь увеличивает энергию глагольного действия, подчеркивая или кинетику, или напрягая потенциал; он широко использует прием одушевления, и оттого глаголы его - оригинальны и ярки; мы говорим: "Пламя вырвалось из земли"; он скажет: "выхватилось"... Гоголь глаголами срывает с места предметы, обычно пребывающие в неподвижности (дома, деревни, верстовые столбы), заставляя и их отхватывать трепака..." Как пишет А. Белый, "все творчество Гоголя, как кряж, перерезает нагроможденье гипербол; прилагательные, данные в превосходной степени, образуют как бы ступенчатые предгорья к кряжу гипербол..." Эпитеты Гоголя А. Белый определяет как "смесь роскошеств с чувствительными недостатками; но они - не изъян, а перепроизводство богатств; в тропических порослях травам; и оттого - сушь, как следствие густоты; заросли эти взывают к очистке; к ним нечего прибавить: от них надо убавить и тогда все в этом мире будет прекрасно; богатство Гоголя особенно подчеркивается, когда мы обратимся к эпитетам Пушкина, которых красота в утонченной скромности, а вовсе не в роскоши; эпитеты Гоголя и Пушкина относятся вовсе к разным климатическим областям. Гоголь - тропичен; Пушкин - показывает красоты северной флоры". А. Белый особо остановился на П. фамилий и географических названий у Гоголя: "Потребность бесконтрольно излиться звуковым посвистом буйствует эскадроном имен, отчеств, фамилий, названий местностей, деревень, которым Гоголь штурмует нас: фамилии, или вернее - бред Гоголя, - выпучены ужасом пошлости, или хлещут как кастаньеты, гротеском; что главное: в них глумится тенденция отщепенца от рода над безличием родового чрева; даже имя "Николай" (почему "Николай"?) превращает "я" Гоголя в безыменку; почему оно - Николай, когда любое "ты" Николай, любое "он" - Николай? И отсюда потребность ожутить; и остранняют: не Николай Николаевич, а "Миколай Калаич"; Гоголь же - "Николай Васильевич" из рода "Гоголей" (чорт их знает, откуда "гоголи"?). И как месть за гоголя, пухнут звуковые монстры. Вот фамилии по чину "гротеск"; Бульба, Бурульбаш, Козолуп, Попопуз, Пухивочка, Голопупенко, Голокопытенко, Колопер, Пидсышек, Палывода, Покатыполе, Черевиченко, Макогоненко, Перерепенко, Метелица, Вовтузенко, Вертыхвыст, Невеличкий, Черевик, Чуб, Шпонька, Коробочка, Курочка из Гадяча, Земляника, Яичница, учитель Деепричастие, Держиморда, Хома Брут, Сторченко из Хортыщ, Сквозник-Дмухановский, Фемистоклюс Манилов, граф Толстогуб, Товстогуб, Довгочхун, Чипчайхилидзев, Пифагор Пифагорович Чертокуцкий,

судья Тяпкин-Ляпкин; сюда же: Ердащагин, Шлепохвостова, Василиса Кашпаровна Цупчевьска, и т. д. Вот фамилии, которых задание внушить ужас своей тривиальностью: пара Пискарев и Пирогов в "НП" окаймлена парой немцев, носящих знаменитые фамилии Шиллер и Гофман; вдумайтесь в ничтожество звуков, строящих фамилии двух героев Гоголя: Чичиков (чи-чи), Хлестаков (нахлестался); серою пылью чехлов несет от ряда фамилий: Подточина, Потанчиков, подполковник Потогоненко, Поприщин, Поплевин, Помойкин, Почечуев, Пуговицын, Перепреев, Перепендев, Подколесин, мичман Дырка, Люлюкин, столоначальник Ерошкин, Ковалев, Бобов, Бухмистерова, Брандахлыстова, Белобрюшкина, Купердягина, князь Брюховецкий, граф Булкин, Собачкин, Мурзафейкин, Замухрышкин, Вахромейкин, Ярыжкин, Тряпичкин, Швохнев, Блохин, Ихарев, Чмыхов, Глов, Невелещагин, Кислоедов, Софи Ватрушкина, полковник Чепраков, Харпакин, Трепакин, и т. д. Читатель, ведь - ужас! Имена и отчества: Амос Федорович, Агафья Тихоновна, Агафья Федосеевна, Василиса Кашпаровна, Фентефлей Перпентьич, Псой Стахич, Евдокия Малофеевна, Сильфида Петровна, Адельгейда Гавриловна, Маклатура Александровна, Евтихий Евтихиевич, Елевферий Елевферьевич, Акакий Акакиевич, Евпл Акинфиевич, Сысой Пафнутьевич, Макдональд Карлович, и т. д. Имена и прозвища: Солопий, Солоха, Мосий Шило, Хивря, Бовдюк, Ковтун, Коровий-Кирпич, Шепчиха, Копрян, Абакун Фыров, Алкид Манилов, Неуважай-Корыто, Григорий Доезжай-не-Доедешь, Елизавета Воробей, повариха Явдоха, девка Горпина, девка Орышка, приказчик Ничипор, кучер Омелек, отец Петр из Колиберды, Мокий, Соссий, Хоздазат, Трифилий, Варахасий, Павсикахий, Вахтисий; лысый Пимен "держал кабак, которому имя было Акулька" (МД); колода карт - "Аделаида Ивановна" (ТО); лошадь - "Аграфена Ивановна" (Игр.) и т. д. А география Гоголя? Сельцо Вшивая-Спесь, село Колиберда, хутор Хортыщи, Шестилавочная улица, Мыльный переулок, дом Зверкова, церковь Николы-на-Недотычках и т. д. Я останавливаюсь подробно на именах, фамилиях, прозвищах; без них - не полон словарь; в них - явная тенденция к зауми сплетена с тенденцией к народным словам, прыщущим неологизмами; из последних выкручивает Гоголь свои жаргоны..."

ПРОКОПОВИЧ Николай Яковлевич (1810-1857), товарищ Гоголя по нежинской гимназии, ставший одним из самых близких его друзей. Поэт, он преподавал русский язык и словесность в кадетских корпусах Петербурга. В 1842 г. по поручению Гоголя занимался изданием собрания сочинений последнего, но из-за неопытности и отсутствия деловых качеств у П. издание получилось слишком дорогим, из-за чего между друзьями произошла размолвка. Но вскоре Гоголь и П. помирились. По утверждению А. С. Данилевского, П. "был очень даровитая личность. Но он вдруг увлекся в Петербурге театром до того, что хотел поступить на сцену и вместо того поступил в театральную школу. Это всех сильно поразило: человек с большим развитием и знаниями садится на скамью театрального училища! Он был чрезвычайно скромен, и эта скромность губила его; еще в Нежине он стал выдаваться и заявлять себя. В Петербурге он познакомился с актером Сосницким, и тот его завербовал. Вероятно, к этому времени относится также начало знакомства Гоголя с Сосницким. Вскоре Прокопович познакомился с

Комаровым, племянником Федорова, тогдашнего начальника театральной школы, а Комаров, в свою очередь, ввел в нежинский кружок Анненкова, и через него же Прокопович и Гоголь узнали впоследствии Белинского..."

И. И. Панаев так характеризовал П.: "Через А. А. Комарова (своего друга, преподавателя словесности в кадетском корпусе. - Б. С.) я познакомился с Прокоповичем, учителем словесности в кадетских корпусах, стихотворцем, большим чудаком и, главное, добрейшим человеком. Прокопович в один год с Гоголем кончил курс в Нежинском лицее. Приятель с ним еще со школьной скамьи, Прокопович, горячо любивший литературу, после первых произведений Гоголя присоединил к своей школьной дружбе еще благоговейную привязанность к нему как к писателю. Гоголь, по-видимому, был очень близок с ним: во время своего пребывания в Малороссии или за границей он всегда делал Прокоповичу различные поручения и, возвращаясь в Петербург, останавливался у него". Меня еще неприятно поразило то, что в обращении двух друзей и товарищей не было простоты: сквозь любовь Прокоповича к Гоголю невольно проглядывало то подобострастие, которое обнаруживают друзья низшие к друзьям высшего ранга; Гоголь, в свою очередь, посматривал на Прокоповича тоже как будто немножко свысока".

П. рассказал П. А. Кулишу историю "Ганца Кюхельгартена": "У Гоголя была поэма "Ганц Кюхельгартен", написанная, как сказано на заглавном листке, в 1827 году. Не доверяя своим силам и боясь критики, Гоголь скрыл это раннее произведение свое под псевдонимом В. Алова. Он напечатал его на собственный счет, вслед за стихотворением "Италия", и роздал экземпляры книгопродавцам на комиссию. В это время он жил вместе со своим земляком и соучеником по гимназии Н. Я. Прокоповичем, который поэтому-то и знал, откуда выпорхнул "Ганц Кюхельгартен". Для всех прочих знакомых Гоголя это оставалось непроницаемою тайною. Некоторые из них, - и в том числе П. А. Плетнев, которого Гоголь знал тогда еще только по имени, и М. П. Погодин, получили инкогнито по экземпляру его поэмы; но автор никогда ни одним словом не дал им понять, от кого была прислана книжка".

В записи П. А. Кулиша сохранился также рассказ П. о возвращении Гоголя из первого заграничного путешествия, в которое тот отправился, побуждаемый охотой к перемене мест после неудачи с "Ганцем Кюхельгартеном": "Они не вели в отсутствие Гоголя переписки, и Прокопович вообразил его странствующим Бог знает где, каково же было его удивление, когда, возвращаясь однажды вечером (22 сентября 1829 г. - Б. С.) от знакомого, он встретил Якима, идущего с салфеткой к булочнику, и узнал, что у них "есть гости!". Когда он вошел в комнату, Гоголь сидел, облокотясь на стол и закрыв лицо руками. Расспрашивать, как и что, было бы напрасно, и таким образом обстоятельства, сопровождавшие фантастическое путешествие, как и многое в жизни Гоголя, остались для него тайною".

27 сентября н. ст. 1836 г. Гоголь писал П. из Женевы: "Увы, мы приближаемся к тем летам, когда наши мысли и чувства поворачивают к старому, к прежнему, а не к будущему. Как быть! но прекрасно старое. Когда, когда-нибудь, мы соберемся вместе и вспомянем и Нежин, и Петербург, и молодость? Весела и грустна будет наша пирушка. Что, как идут учительские

дела твои? Нахватал ли ты новых часов или нет и думаешь дать тягу из Петербурга? Теперь я как подумал хорошенько, не знаю, хорошо ли будет для тебя его оставить. В Петербурге всё можно сделать, всё под рукою; не нравится служба - перемени и бери другую. Притом, как бы ни было, ближе к людям, ближе к миру литературному и крещеному. В провинции этого нельзя сделать. Захочешь писатоночки, есть типографии и книгопродавцы, всё перед глазами... Что тебе сказать о Швейцарии? Всё виды да виды, так что мне уже от них наконец становится тошно, и если бы мне попалось теперь наше подлое и плоское русское местоположение с бревенчатою избою и сереньким небом, то я бы в состоянии им восхищаться, как новым видом. Я не пишу ничего тебе о всех городах и землях, которые я проехал... право, нечего об них писать. Изо всех воспоминаний моих остались только воспоминания о бесконечных обедах, которыми преследует меня обжорливая Европа, и то разве потому, что их хранит желудок мой, а не голова. Ох мне эти обеды! Проклятое обыкновение! Я ем через одно блюдо, по капле, но чувствую в своем желудке страшную дрянь. Как будто бы кто загнал туда целый табун рогатой скотины. Жалею очень, что не взял вод. На следующую весну или бишь лето перечищу его всего начисто. Европа поразит с первого разу, когда въедешь в ворота, в первый город. Живописные домики, которые то под ногами, то над головою, синие горы, развесистые липы, плющ, устилающий вместе с виноградом стены и ограды, всё это хорошо, и нравится, и ново, потому что всё пространство Руси нашей не имеет этого, но после, как увидишь далее то же да то же, привыкнешь и позабудешь, что это хорошо. Из городов немецких после Гамбурга лучше других - Франкфурт. Это - городок щеголь. Прелестнейший сад окружает весь город и служит ему стеною. Говорят, в нем жить весело, особливо зимою; но я имею антипатию к жидовским городам (Франкфурт-на-Майне уже в ту пору был крупнейшим банковским и торговым центром еще раздробленной Германии, и жидовский здесь употреблено Гоголем в значении прежде всего "банкирский, торгашеский", так как в Германии евреи среди банкиров, равно как и в населении Франкфурта, отнюдь не преобладали. - Б. С.). Веселее всех других в продолжение лета Баден-Баден. Это дача всей Европы. Из Парижа, из Англии, из Испании, из Петербурга наезжает сюда народ на лето вовсе не для того, чтобы лечиться, но чтобы сколько-нибудь веселее профинтить время. Его местоположение так картинно, что можно только кистью, а не пером нацарапать. Город между горами раскинут на уступе одной из них. Магазины, театр, зала для балов, всё в саду и все вместе. Я прожил почти месяц в Бадене довольно весело, потому что встретил много знакомых. Города швейцарские мало для меня были занимательны. Ни Базель, ни Берн, ни Лозанна не поразили. Женева лучше и огромнее их и остановила меня тем, что есть что-то столично-европейское. Почти каждый дом облеплен афишами и объявлениями о книгах, печатанными в Париже на желтой бумаге буквами страшной величины: каждая буква больше Данченка. Ощутительна близость к Франции... Ветры здесь грознее петербургских. Совершенный Тобольск. Еду теперь в маленький городок Веве, который находится... недалеко от известного тебе замка Шильона... Сегодня поутру посетил я старика Вольтера. Был в Фернее. Старик хорошо жил. К нему идет длинная, прекрасная аллея, в три ряда каштаны. Дом в

три этажа из серенького камня еще довольно крепок. Я прошел в его зал, где он обедал и принимал; всё в том же порядке, те же картины висят. Из залы дверь в его спальню, которая была вместе и кабинетом его. На стене портреты всех его приятелей - Дидро, Фридриха, Екатерины. Постель перестланная, одеяло старинное кисейное, едва держится, и мне так и представлялось, что вот-вот отворятся двери, и войдет старик в знакомом парике, с отстегнутым бантом, как старый Кромида, и спросит: что вам угодно? Сад очень хорош и велик. Старик знал, как его сделать. Несколько аллей сплелись в непроницаемый свод, искусно простриженный, другие вьются не регулярно, во всю длину одной стороны сада сделана стена из подстриженных деревьев в виде аркад, и сквозь эти арки видна внизу другая и аллея в лес, а вдали виден Монблан. Я вздохнул и нацарапал русскими буквами мое имя, сам не отдавши себе отчета для чего".

25 января н. ст. 1837 г. Гоголь писал П. из Парижа: "Париж город хорош для того, кто именно едет для Парижа, чтобы погрузиться во всю его жизнь. Но для таких людей, как мы с тобою, - не думаю, разве нужно скинуть с каждого из нас по 8 лет. К удобствам здешним приглядишься, тем более, что их более, нежели сколько нужно; люди легки, а природы, в которой всегда находишь рессурс и утешение, когда всё приестся - нет: итак, нет того, что бы могло привязать к нему мою жизнь. Жизнь политическая, жизнь вовсе противоположная смиренной художнической, не может понравиться таким счастливым праздным, как мы с тобою. Здесь всё политика, в каждом переулке или переулочке библиотека с журналами. Остановишься на улице чистить сапоги, тебе суют в руки журнал; в нужнике дают журнал. Об делах Испании больше всякой хлопочет, нежели о своих собственных. Только в одну жизнь театральную я иногда вступаю: итальянская опера здесь чудная!.. Я был не так давно в Theatre Fracais, где торжествовали день рождения Мольера. Давали его пиэсы "Тартюф" и "Мнимый больной". Обе были очень хорошо играны, по крайней мере в сравнении с тем, как играются они у нас. Каждый год Theatre Fracais торжествует день рождения Мольера. В этом было что-то трогательное. По окончании пиэсы поднялся занавес: явился бюст Мольера. Все актеры этого театра попарно под музыку подходили венчать бюст. Куча венков вознеслась на голове его. Меня обняло какое-то странное чувство. Слышит ли он, и где он слышит это?.."

28 декабря 1842 г. в письме С. П. Шевыреву П. объяснял, почему выход сочинений Гоголя так затянулся: "Вы, я думаю, немало удивляетесь, не имея от меня никакого известия насчет соч. Гоголя и тем более, что, может быть, прочитали уже в газетах объявление о выходе их? Но это объявление сделал поторопившийся книгопродавец, наживший этим хлопоты самому себе, а издание, совершенно уже готовое, остановлено невыдачею из цензурного комитета билета на выпуск. Первоначальною виною всему горю сам Гоголь: пришли он последнюю статью для 4-го т. неделею раньше, и сочинения его давным-давно бы вышли без всяких хлопот, а то случилось происшествие, о котором, может быть, вы уже слышали, происшествие, нагнавшее такой страх на весь цензурный комитет, что не решается не только кн. Волконский (председатель комитета. - Б. С.), но и министр просвещения, как полагают, не решится сам собою на выпуск двух последних томов (происшествие

заключалось в том, что цензоры А. В. Никитенко и С. С. Куторга подверглись аресту за разрешение повести Павла Васильевича Ефебовского "Гувернантка", в которой император Николай I усмотрел "оскорбление офицерства". - Б. С.). Обвинять тут некого, всякий на их месте поступил бы точно так же, но от этого не легче бедному нашему Гоголю, да уж за одно не легче и мне, думавшему, что вот-вот приходит конец моим бесконечным тасканьям то в комитет, то с мольбами к цензору, то с бранью в типографию. Теперь трудно и предвидеть, когда всё это кончится, а между тем золотое время уходит: поверите ли, что в то утро, когда был отпечатан последний лист и я надеялся получить билет на выпуск, в то самое утро мне принесли книгопродавцы 8 т. р., хотя публикаций еще никаких не было. Что из всего этого будет, один только Бог знает! И что за черный год такой на Гоголя? Хлопоты с Чичиковым, падение на здешней сцене Женитьбы и наконец последнее происшествие - всё это заставило меня радоваться его отсутствию. Вы слышали о падении Женитьбы? Да, она пала от невежества александрынских актеров, от невежества александрынской публики, и наконец от кабалы, Фетюк и компания (возможно, имеется в виду Ф. В. Булгарин. - Б. С.) приложили тут свои руки, это было слишком явно в первом представлении; во втором представлении, говорят, пьеса была принята лучше, а в третьем и очень порядочно. Вот с какими горькими вестями отправляю к вам два первые т., на них нет запрета, но я не хочу пускать их одних в продажу. Как скоро выйдет позволение на остальные т., то немедленно пошлю к вам для препровождения по назначению Гоголя знакомым его и 200 экз. для продажи. После вашего письма я еще не писал к Гоголю: жду какого-нибудь окончания и надеюсь, приятного; деньгами же он, как пишет, пока изворотился, да и лучше ему потерпеть несколько времени нужду в них, чем получить письмо такого неутешительного содержания, как это".

20 июня 1847 г. Гоголь писал П. из Франкфурта: "Почему тебе не попробовать пера? Что ни говори, способности не даются нам даром, и взыщется строго за неупотребленье их. У тебя же, судя по твоим школьным, еще писанным в Нежине, повестям, есть все свойства повествователя. Речь твоя лилась плодовито и свободно, твоя проза была в несколько раз лучше твоих стихов и уже тогда была гораздо правильней нынешней моей. Нет разве предмета о чем писать? Но разве ты не жил? Разве не видел людей? Разве не открывалась перед тобою душа человека? Разница в том, что она перед тобою раскрывалась, начиная с нежнейшего возраста. Или мир, тобою узнанный, считаешь ничтожным, непривлекательным, нелюбопытным для других? Но в таком случае нужно прежде доказать, что человек на тех местах, где ты его находил, не способен для высоких ощущений. Но мы с тобой знаем, что кадетский учитель имеет такие минуты, какие не доводится иметь и чиновнику, который неизвестно зачем стал преимущественным предметом пера. Может быть, точно, виноват в этом несколько и я. Как бы то ни было, но всё это такого рода вещи, о которых следовало бы тебе подчас подумать очень сурьезно".

29 марта 1850 г. Гоголь писал из Москвы П.: "С нового года напали на меня разного рода недуги. Все болею и болею: климат допекает. Куда убежать от него, еще не знаю; пока не решился ни на что. Болезни приостановили мои занятия с "Мертвыми душами", которые пошли было хорошо. Может быть,

болезнь, а может быть, и то, что, как поглядишь, какие глупые настают читатели, какие бестолковые ценители, какое отсутствие вкуса... - просто не подымаются руки. Странное дело, хотя и знаешь, что труд твой не для какой-нибудь переходной современной минуты, а все-таки современное неустройство отнимает для него спокойствие".

"ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА", повесть, впервые опубликованная в 1831 г. в первой части сборника "Вечера на хуторе близ Диканьки". Она была написана Гоголем в 1829 г. Образ гуляки-запорожца, возможно, восходит к "малороссийской были" Ореста Михайловича Сомова (1793-1833) "Гайдамак", опубликованной в 1826 г. в "Невском альманахе".

ПУШКИН Александр Сергеевич (1799-1837), писатель и поэт, основоположник современной русской литературы. По воспоминаниям П. В. Анненкова, "тотчас по приезде в Петербург (вероятно, зимой или весной 1829 г. - Б. С.) Гоголь, движимый потребностью видеть Пушкина, который занимал все его воображение еще на школьной скамье, прямо из дома отправился к нему. Чем ближе подходил он к квартире Пушкина, тем более овладевала им робость и наконец у самых дверей квартиры развилась до того, что он убежал в кондитерскую и потребовал рюмку ликера. Подкрепленный им, он снова возвратился на приступ, смело позвонил и на вопрос свой: "дома ли хозяин?" услыхал ответ слуги: "почивают!" Было уже поздно на дворе. Гоголь с великим участием спросил: "Верно, всю ночь работал?" - "Как же, работал, - отвечал слуга, - в картишки играл". Гоголь признавался, что это был первый удар, нанесенный школьной идеализации его. Он иначе не представлял себе Пушкина до тех пор, как окруженного постоянно облаком вдохновения".

Гоголь познакомился с П. только два года спустя, в 20-х числах мая 1831 г. на вечере у поэта и критика П. А. Плетнева. По воспоминаниям А. С. Данилевского в изложении В. И. Шенрока, знакомство произошло следующим образом: "Однажды летом отправились они с Гоголем в Лесной на дачу к Плетневу... Через несколько времени, почти следом за ними, явились Пушкин с Соболевским. Они пришли почему-то пешком с зонтиками на плечах. Вскоре к Плетневу приехала еще вдова Н. М. Карамзина, и Пушкин затеял с нею спор. Карамзина выразилась о ком-то: "она в интересном положении". Пушкин стал горячо возражать против этого выражения, утверждая с жаром, что его напрасно употребляют вместо коренного, чисто русского выражения: "она брюхата", что последнее выражение совершенно прилично, а, напротив, неприлично говорить: "она в интересном положении". После обеда был любопытный разговор. Плетнев сказал, что Пушкина надо рассердить, и только тогда он будет настоящим Пушкиным, и стал ему противоречить. Впечатление, произведенное на Данилевского Пушкиным было то, что он и в обыкновенном разговоре являлся замечательным человеком, каждое слово его было веско и носило печать гениальности; в нем не было ни малейшей натянутости или жеманства; но особенно поражал его долго не выходивший из памяти совершенно детский, задушевный смех".

Летом 1831 г. Гоголь жил в Павловске по соседству с Царским Селом и

часто встречался с П. После выхода в сентябре 1831 г. "Вечеров на хуторе близ Диканьки" П. откликнулся на эту книгу восторженной рецензией: "Вот настоящая веселость, искренняя непринужденность, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия!.." Осенью 1833 г. Гоголь и В. Ф. Одоевский собирались привлечь П. к выпуску альманаха "Тройчатка", но издание не осуществилось. В 1833-1834 гг. П. хлопотал о предоставлении Гоголю кафедры всеобщей истории во вновь открывшемся Киевском университете. Позднее П. подарил Гоголю сюжеты "Ревизора" и "Мертвых душ". В "Авторской исповеди" писатель признался, что П. предложил ему собственный сюжет, "из которого он хотел сделать сам что-то вроде поэмы. Это был сюжет "Мертвых душ" (мысль "Ревизора" также принадлежит ему)".

С начала 1836 г. Гоголь стал сотрудничать в пушкинском журнале "Современник", где опубликовал повести "Коляска", "Нос", "Утро делового человека", статью "О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году" и ряд рецензий. Гоголь почитал П. за своего учителя и писал в "Арабесках": "При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте... В нем, как будто в лексиконе, заключалось все богатство, сила и гибкость нашего языка". После гибели П. он признался: "Все наслаждение моей жизни, все мое высшее наслаждение исчезло вместе с Пушкиным. Ничего не предпринимал без его совета. Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его перед собою". Гоголь дал самую точную характеристику "Капитанской дочки" П.: "Чистота и безыскуственность взошли в ней на такую высокую степень, что сама действительность кажется перед нею искусственной и карикатурной. В первый раз выступили истинно русские характеры: простой комендант крепости, капитанша, поручик; сама крепость с единственной пушкой, бестолковщина времени и простое величие простых людей, все - не только самая правда, но еще как бы лучше ее".

7 октября 1835 г. Гоголь писал П.: "Решаюсь писать к вам сам; просил прежде Наталью Николаевну, но до сих пор не получил известия. Пришлите, прошу вас убедительно, если вы взяли с собою, мою комедию, которой в вашем кабинете и не находится и которую я принес вам для замечаний. Я сижу без денег и решительно без всяких средств, мне нужно давать ее актерам на разыграние, что обыкновенно делается, по крайней мере, за два месяца прежде. Сделайте милость, пришлите скорее и сделайте наскоро хоть сколько-нибудь главных замечаний. Начал писать "Мертвых душ". Сюжет растянулся на предлинный роман и, кажется, будет сильно смешон. Но теперь остановил его на третьей главе. Ищу хорошего ябедника, с которым бы можно коротко сойтиться. Мне хочется в этом романе показать хотя с одного боку всю Русь. Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или не смешной, но русской чисто анекдот. Рука дрожит написать тем временем комедию. Если ж сего не случится, то у меня пропадет даром время, и я не знаю, что делать тогда с моими обстоятельствами. Я, кроме моего скверного жалованья университетского 600 рублей, никаких не имею теперь мест. Сделайте милость, дайте сюжет, духом будет комедия из пяти актов, и клянусь, будет смешнее чорта. Ради Бога. Ум и желудок мой оба голодают. И пришлите Женитьбу".

В рецензии на второе издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки", опубликованной в 1 томе "Современника за 1836 г., П. писал: "Читатели наши, конечно, помнят впечатление, произведенное над нами появлением "Вечеров на хуторе": все обрадовались этому живому описанию племени поющего и пляшущего, этим свежим картинам малороссийской природы, этой веселости, простодушной и вместе лукавой. Как изумились мы русской книге, которая заставляла нас смеяться, мы, не смеявшиеся со времен Фонвизина! Мы так были благодарны молодому автору, что охотно простили ему неровность и неправильность его слога, бессвязность и неправдоподобие некоторых рассказов, предоставя сии недостатки на поживу критики. Автор оправдал таковое снисхождение. Он с тех пор непрестанно развивался и совершенствовался. Он издал "Арабески", где находится его "Невский проспект", самое полное из его произведений. Вслед за тем явился "Миргород", где с жадностию все прочли и "Старосветских помещиков", эту шутливую, трогательную идиллию, которая заставляет вас смеяться сквозь слезы грусти и умиления, и "Тараса Бульбу", коего начало достойно Вальтер Скотта. Г. Гоголь идет еще вперед. Желаем и надеемся иметь говорить о нем в нашем журнале".

Друг П. П. В. Нащокин утверждал, в беседе с редактором "Русского архива" П. И. Бартеневым, что: "Гоголь никогда не был близким человеком к Пушкину. Пушкин, радостно и приветливо встречавший всякое молодое дарование, принимал к себе Гоголя, оказывал ему покровительство, заботился о внимании к нему публики, хлопотал лично о постановке на сцену Ревизора, одним словом, выводил Гоголя в люди". - Нащокин никак не может согласиться, чтобы Гоголь читал Пушкину свои Мертвые Души. Он говорит, что Пушкин всегда рассказывал ему о всяком замечательном произведении. О Мертвых же Душах не говорил (по справедливому замечанию пушкиниста М. А. Цявловского, "утверждение Нащокина говорит только о том, что чтение это не оставило у Пушкина сильного впечатления". - Б. С.). Хвалил он ему Ревизора, особенно Тараса Бульбу. О сей последней пьесе Пушкин рассказывал Нащокину, что описание степей внушил он. Пушкину какой-то знакомый господин очень живо описывал в разговоре степи. Пушкин дал случай Гоголю послушать и внушил ему вставить в Бульбу описание степи" (речь идет о выходце с Украины Семене Даниловиче Шаржинском, чиновнике почтового ведомства).

П. и Гоголь далеко не всегда совпадали в оценке литературных явлений. По свидетельству П. В. Анненкова, он сам слышал от Гоголя, как рассердился на него П. за легкомысленный приговор Мольеру: "Пушкин, - говорил Гоголь, дал мне порядочный выговор и крепко побранил за Мольера. Я сказал, что интрига у него почти одинакова и пружины схожи между собой. Тут он меня поймал и объяснил, что писатель, как Мольер, надобности не имеет в пружинах и интригах; что в великих писателях нечего смотреть на форму, что, куда бы он ни положил добро свое, - бери его, а не ломайся".

По свидетельству А. С. Данилевского, записанному В. Н. Шенроком, Гоголь, будучи в тот момент в Париже, очень тяжело пережил гибель П.: "А. С. Данилевский рассказывал мне, как однажды он встретил на дороге Гоголя, идущего с Ал. Ив. Тургеневым. Гоголь отвел его в сторону и сказал: - "Ты знаешь, как я люблю свою мать; но если б я потерял даже ее, я не мог бы быть

так огорчен, как теперь: Пушкин в этом мире не существует больше". В самом деле, он казался сильно опечаленным и удрученным".

16/28 марта 1837 г. Гоголь из Рима писал П. А. Плетневу в связи со смертью П.: "Что месяц, что неделя, то новая утрата, но никакой вести хуже нельзя было получить из России. Всё наслаждение моей жизни, всё мое высшее наслаждение исчезло вместе с ним. Ничего я не предпринимал без его совета. Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его пред собою. Что скажет он, что заметит он, чему посмеется, чему изречет неразрушимое и вечное одобрение свое, вот что меня только занимало и одушевляло мои силы. Тайный трепет невкушаемого на земле удовольствия обнимал мою душу... Боже! Нынешний труд мой, внушенный им, его создание ("Мертвые души".- Б. С.)... Я не в силах продолжать его. Несколько раз принимался я за перо - и перо падало из рук моих. Невыразимая тоска!.."

В "Выбранных местах из переписки с друзьями" Гоголь отозвался о Пушкине как о критике, наиболее точно определившем главную черту его, гоголевского творчества: "Обо мне много толковали, разбирая кое-какие мои стороны, но главного существа моего не определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем. Вот мое главное свойство, одному мне принадлежащее, и которого точно нет у других писателей".

"РАЗВЯЗКА РЕВИЗОРА", драматический этюд, представляющий собой своеобразное послесловие к "Ревизору". Впервые опубликован: Гоголь Н. В. Сочинения. Т. 5. М., 1856. Вторая редакция Р. Р. была опубликована: Гоголь Н. В. Сочинения.10-е изд. Т. 6. М.; СПб., 1896.

Гоголь предполагал включить Р. Р. в предполагавшееся дешевое издание "Ревизора" в пользу бедных. 12/24 октября 1846 г. он писал С. П. Шевыреву: "Ревизор" должен быть напечатан в своем полном виде, с тем заключением, которое сам зритель не догадался вывесть. Заглавие должно быть такое: "Ревизор с Развязкой. Комедия в пяти действиях, с заключением. Соч. Н. Гоголя. Издание четвертое, пополненное, в пользу бедных". О том же Гоголь сообщил 21 октября (2 ноября) 1846 г. графине А. М. Виельгорской: "В Петербурге и в Москве будет играться "Ревизор" в новом виде, с присовокупленьем его окончания или заключенья, в бенефис двух первых наших комических актеров. Ко дню представления будет отпечатана пиеса отдельною книгою с присоединением доселе никому не известного ее окончания. Продаваться она будет в пользу бедных и может распродаться в большом количестве, стало быть, принести значительную силу". Однако Р. Р. не была разрешена театральной цензурой, и издание не состоялось. В 1847 г. Гоголь создал вторую редакцию Р. Р., но при жизни драматурга она так и не была поставлена на сцене.

М. С. Щепкин, в бенефис которого Гоголь первоначально предполагал ставить Р. Р., прочитав пьесу, писал 22 мая 1847 г. Гоголю: "По выздоровлении, прочтя ваше окончание "Ревизора", я бесился на самого себя, на свой близорукий взгляд, потому что до сих пор я изучал всех героев "Ревизора" как

живых людей; я так видел много знакомого, так родного, я так свыкся с Городничим, Добчинским и Бобчинским в течение десяти лет нашего сближения, что отнять их у меня и всех вообще - это было бы действие бессовестное. Чем вы их мне замените? Оставьте мне их как они есть. Я их люблю, люблю со всеми слабостями, как и вообще всех людей. Не давайте мне никаких намеков, что это-де не чиновники, а наши страсти; нет, я не хочу этой переделки: это люди, настоящие живые люди, между которыми я взрос и почти состарился. Видите ли, какое давнее знакомство. Вы из целого мира собрали несколько лиц в одно сборное место, в одну группу, с этими людьми я совершенно сроднился, и вы хотите их отнять у меня. Нет, я их вам не дам! не дам, пока существую. После меня переделайте хоть в козлов; а до тех пор не уступлю вам Держиморды, потому что и он мне дорог. Вот главная причина моего молчания, и теперь как всё это высказалось? - я право не знаю; может быть, всё это вздор, вранье, но уже всё это высказалось; ну, так ему и быть!". Около 10 июля н. ст. 1847 г. Гоголь ответил М. С. Щепкину: "Письмо ваше, добрейший Михаил Семенович, так убедительно и красноречиво, что если бы я и точно хотел отнять у вас городничего, Бобчинского и прочих героев, с которыми, вы говорите, сжились как с родными по крови, то и тогда бы возвратил вам вновь их всех, может быть, даже и с наддачей лишнего друга. Но дело в том, что вы, кажется, не так поняли последнее письмо мое. Прочитать "Ревизора" я именно хотел затем, чтобы Бобчинский сделался еще больше Бобчинским, Хлестаков Хлестаковым, и словом - всяк тем, чем ему следует быть. Переделку же я разумел только в отношении к пиесе, заключающей "Ревизора". Понимаете ли это? В этой пиесе я так неловко управился, что зритель непременно должен вывести заключение, что я из "Ревизора" хочу сделать аллегорию. У меня не то в виду. "Ревизор" "Ревизором", а применение к самому себе есть непременная вещь, которую должен сделать всяк зритель изо всего, даже и не из "Ревизора", но которое приличней ему сделать по поводу "Ревизора". Вот что следовало было доказать по поводу слов: "разве у меня рожа крива?" Теперь осталось всё при своем. И овцы целы, и волки сыты. Аллегория аллегорией, а "Ревизор" - "Ревизором". Странно, однако ж, что свиданье наше не удалось. Раз в жизни пришла мне охота прочесть как следует "Ревизора", чувствовал, что прочел бы действительно хорошо, - и не удалось. Видно, Бог не велит мне заниматься театром. Одно замечанье относительно городничего примите к сведению. Начало первого акта несколько у вас холодно. Не позабудьте также: у городничего есть некоторое ироническое выражение в минуты самой досады, как, например, в словах: "Так уж, видно, нужно. До сих пор подбирались к другим городам; теперь пришла очередь и к нашему". Во втором акте, в разговоре с Хлестаковым, следует гораздо больше игры в лице. Тут есть совершенно различные выраженья сарказма. Впрочем, это ощутительней по последнему изданию, напечатанному в "Собрании сочинений"".

В Р. Р. Гоголь устами Первого комического актера (М. С. Щепкина) утверждал: "Всмотритесь-ка пристально в этот город, который выведен в пьесе! Все до единого согласны, что этакого города нет во всей России: не слыхано, чтобы где были у нас чиновники все до единого такие уроды: хоть два, хоть три

бывает честных, а здесь ни одного. Словом, такого города нет. Не так ли? Ну, а что, если это наш же душевный город и сидит он у всякого из нас? Нет, взглянем на себя не глазами светского человека, - ведь не светский человек произнесет над нами суд, - взглянем хоть сколько-нибудь на себя глазами Того, Кто позовет на очную ставку всех людей, перед которыми и наилучшие из нас, не позабудьте этого, потупят от стыда в землю глаза свои, да и посмотрим, достанет ли у кого-нибудь из нас тогда духу спросить: "Да разве у меня рожа крива?" Чтобы не испугался он так собственной кривизны своей, как не испугался кривизны всех этих чиновников, которых только что видел в пьесе!.. Те вещи, которые нам даны с тем, чтобы помнить их вечно, не должны быть старыми: их нужно принимать как новость, как бы в первый раз только их слышим, кто бы их ни произносил нам, - тут нечего глядеть на лицо того, кто говорит их. Нет... не о красоте нашей должна идти речь, но о том, чтобы в самом деле наша жизнь, которую привыкли мы почитать за комедию, да не кончилась бы такой трагедией, какою не кончилась эта комедия, которую только что сыграли мы. Что ни говори, но страшен тот ревизор, который ждет нас у дверей гроба. Будто не знаете, кто этот ревизор? Что прикидываться? Ревизор этот - наша проснувшаяся совесть, которая заставит нас вдруг и разом взглянуть во все глаза на самих себя. Перед этим ревизором ничто не укроется, потому что по Именному Высшему повеленью он послан и возвестится о нем тогда, когда уже и шагу нельзя будет сделать назад. Вдруг откроется перед тобою, в тебе же, такое страшилище, что от ужаса подымется волос. Лучше ж сделать ревизовку всему, что ни есть в нас, в начале жизни, а не в конце ее. На место пустых разглагольствований о себе и похвальбы собой да побывать теперь же в безобразном душевном нашем городе, который в несколько раз хуже всякого другого города, - в котором бесчинствуют наши страсти, как безобразные чиновники, воруя казну собственной души нашей! В начале жизни взять ревизора и с ним об руку переглядеть все, что ни есть в нас, настоящего ревизора, не подложного, не Хлестакова! Хлестаков - щелкопер, Хлестаков - ветреная светская совесть, продажная, обманчивая совесть; Хлестакова подкупят как раз наши же, обитающие в душе нашей, страсти. С Хлестаковым под руку ничего не увидишь в душевном городе нашем. Смотрите, как всякий чиновник с ним в разговоре вывернулся ловко и оправдался, вышел чуть не святой. Думаете, не хитрей всякого плута чиновника каждая страсть наша, и не только страсть, даже пустая, пошлая какая-нибудь привычка? Так ловко перед нами вывернется и оправдается, что еще почтешь за добродетель и даже похвастаешься перед своим братом и скажешь ему: "Смотри, какой у меня чудесный город, как в нем все прибрано и чисто!" Лицемеры наши страсти, говорю вам, лицемеры, потому что сам имел с ними дело. Нет, с ветреной светской совестью ничего не разглядишь в себе: и ее самую они надуют, и она надует их, как Хлестаков чиновников, и потом пропадет сама, так что и следа ее не найдешь. Останешься как дурак городничий, который занесся было уже невесть куда - и в генералы полез, и наверняка стал возвещать, что сделается первым в столице, и другим стал обещать места, _ и потом вдруг увидел, что был кругом обманут и одурачен мальчишкою, верхоглядом, вертопрахом, в котором и подобья не было с настоящим ревизором... Не с Хлестаковым, но с

настоящим ревизором оглянем себя! Клянусь, душевный город наш стоит того, чтобы подумать о нем, как думает добрый государь о своем государстве! Благородно и строго, как он изгоняет из земли своей лихоимцев, изгоним наших душевных лихоимцев! Есть средство, есть бич, которым можно выгнать их. Смехом, мои благородные соотечественники! Смехом, которого так боятся все низкие наши страсти! Смехом, который создан на то, чтобы смеяться над всем, что позорит истинную красоту человека. Возвратим смеху его настоящее значенье! Отнимем его у тех, которые обратили его в легкомысленное светское кощунство над всем, не разбирая ни хорошего, ни дурного! Таким же точно образом, как посмеялись над мерзостью в другом человеке, посмеемся великодушно над мерзостью собственной, какую в себе ни отыщем! Не одну эту комедию, но всё, что бы ни показалось из-под пера какого бы то ни было писателя, смеющегося над порочным и низким, примем прямо на свой собственный счет, как бы оно именно было на нас лично написано: всё отыщешь в себе, если только опустишься в свою душу не с Хлестаковым, но с настоящим и неподкупным ревизором... Соотечественники! ведь у меня в жилах тоже русская кровь, как и у вас. Смотрите: я плачу! Комический актер, я прежде смешил вас, теперь я плачу. Дайте мне почувствовать, что и мое поприще так же честно, как и всякого из вас, что я так же служу земле своей, как и все вы служите, что не пустой я какой-нибудь скоморох, созданный для потехи пустых людей, но честный чиновник великого Божьего государства и возбудил в вас смех, - не тот беспутный, которым пересмехает в свете человек человека, который рождается от бездельной пустоты праздного времени, но смех, родившийся от любви к человеку. Дружно докажем всему свету, что в Русской земле всё, что ни есть, от мала до велика, стремится служить Тому же, Кому всё должно служить что ни есть на всей земле, несется туда же... кверху, к Верховной вечной красоте!"

Под влиянием критики со стороны М. С. Щепкина и других своих друзей этот финал Р. Р. Гоголь во второй редакции переделал. Там Первый комический актер специально комментировал заключительную немую сцену "Ревизора": "Мне показалось, что это мой же душевный город, что последняя сцена представляет последнюю сцену жизни, когда совесть заставит взглянуть вдруг на самого себя во все глаза и испугаться самого себя. Мне показалось, что этот настоящий ревизор, о котором одно возвещенье в конце комедии наводит такой ужас, есть та настоящая наша совесть, которая встречает нас у дверей гроба".

Причины, по которым Р. Р. не получила разрешения театральной цензуры, в ноябре 1846 г. изложил А. М. Гедеонов в письме П. А. Плетневу: "Что же касается собственно до пиесы, то по принятым правилам при Императорских театрах, исключающих всякого рода одобрения артистов - самими артистами, а тем более венчания на сцене, она в этом отношении не может быть допущена к представлению". 21 ноября 1846 г. Плетнев известил Гоголя: "Твою пьесу "Развязка ревизора" пропустили, но только к печатанию, а не к представлению, затем что увенчивать на сцене артисты товарища своего, по правилам нашей дирекции, не имеют права..."

Незадолго до смерти, 5 ноября 1851 г., Гоголь читал в доме А. П. Толстого Р. московским актерам, игра которых в пьесе его не удовлетворяла.

Присутствовавший на чтении И. С. Тургенев вспоминал: "Гоголь... объявил, что остался недоволен игрою актеров в "Ревизоре", что они "тон потеряли" и что он готов им прочесть всю пьесу с начала до конца... Читал Гоголь превосходно... Казалось, Гоголь только и заботится о том, как бы вникнуть в предмет, для него самого новый, и как бы вернее передать собственное впечатление. Эффект выходил необычайный - особенно в комических, юмористических местах; не было возможности не смеяться - хорошим, здоровым смехом; а виновник всей этой потехи продолжал, не смущаясь общей веселостью и как бы внутренно давясь ей, всё более и более погружаться в самое дело, и лишь изредка, на губах и около глаз, чуть заметно трепетала лукавая усмешка мастера. С каким недоумением, с каким изумлением Гоголь произнес знаменитую фразу городничего о двух крысах (в самом начале пьесы): "Пришли, понюхали и пошли прочь". Он даже медленно оглянул нас, как бы спрашивая объяснения такого удивительного происшествия. Я только тут понял, как вообще неверно, поверхностно, с каким желанием только поскорей насмешить обыкновенно разыгрывается на сцене "Ревизор"". Гоголь пытался дать понять присутствующим, что задача Р. - гораздо глубже, чем насмешить, что пьеса прежде всего направлена на то, чтобы побудить публику к самокритике. Оттого-то и читал он серьезно самые смешные места, но оттого только усиливал комический эффект. Мало находится актеров, способных обнажить внутренний трагизм в гоголевском смехе.

"РАЗМЫШЛЕНИЯ О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ", трактат, опубликованный посмертно отдельным изданием: Размышления о Божественной Литургии Н. В. Гоголя. СПб., 1857. Более полный вариант, очищенный от цензурных исправлений, опубликован: Сочинения Н. В. Гоголя. 10-е изд. Т. 4. М., 1889. Как вспоминал В. И. Любич-Романович, в гимназические годы "в церкви... Гоголь никогда не крестился перед образами святых отцов наших и не клал перед алтарем поклонов, но молитвы слушал со вниманием, иногда даже повторял их нараспев, как бы служа сам себе отдельную литургию". Замысел книги возник у Гоголя в Ницце зимой 1843/44 г. Работа над Р. о Б. Л. продолжилась в начале 1845 г. в Париже, где Гоголь жил у А. П. Толстого. Здесь Гоголю помогал священник русской посольской церкви отец Дмитрий Вершинский. Гоголь писал 12 февраля н. ст. 1845 г. Н. М. Языкову: "Священник наш хороший и умный человек, и, благодаря ему, я не оставался без русских книг, которые были мне потребны и пришлись по состоянию души".

В письме В. А. Жуковскому из Бейрута, отправленном 6 апреля 1848 г., Гоголь описал Литургию в иерусалимском храме Гроба Господня: "Уже мне почти не верится, что и я был в Иерусалиме. А между тем я был точно, я говел и приобщался у самого Гроба Святого. Литургия совершалась на самом гробовом камне. Как это было поразительно! Ты уже знаешь, что пещерка, или вертеп, в котором лежит гробовая доска, не выше человеческого роста; в нее нужно входить, нагнувшись в пояс; больше трех поклонников в ней не может поместиться. Перед нею маленькое преддверие, кругленькая комнатка почти такой же величины с небольшим столбиком посередине, покрытым камнем (на

котором сидел Ангел, возвестивший о Воскресении). Это преддверие на это время превратилось в алтарь. Я стоял в нем один; передо мною только священник, совершавший Литургию. Диакон, призывавший народ к молению, уже был позади меня, за стенами Гроба. Его голос уже мне слышался в отдалении. Голос же народа и хора, ему ответствовавшего, был еще отдаленнее. Соединенное пение русских поклонников, возглашавших "Господи, помилуй" и прочие гимны церковные, едва доходило до ушей, как бы исходившее из какой-нибудь другой области. Всё это было так чудно! Я не помню, молился ли я. Мне кажется, я только радовался тому, что поместился на месте, так удобном для моленья и так располагающем молиться. Молиться же собственно я не успел. Так мне кажется. Литургия неслась, мне казалось, так быстро, что самые крылатые моленья не в силах бы угнаться за нею. Я не успел почти опомниться, как очутился перед Чашей, вынесенной священником из вертепа для приобщенья меня, недостойного... Вот тебе все мои впечатления из Иерусалима".

Чтобы читать в подлиннике сочинения св. Василия Великого и св. Иоанна Златоуста, посвященные Литургии, Гоголь изучил греческий язык под руководством учителя Ф. Н. Беляева. Вступление к Р. о Б. Л., скорее всего, было написано в конце 1840-х годов, когда по Европе прокатилась волна революций. Там Гоголь утверждал: "...Самое чистое воплощение Его от Чистой Девы было предслышиваемо даже и язычниками; но нигде в такой ощутительно видной ясности, как у пророков".

В качестве источников для Р. о Б. Л. послужили статьи "О православии Российской Церкви" и "О Литургии", опубликованные анонимно в журнале "Христианское чтение", соответственно, в 1843 и 1841 гг. Автором статьи "О Литургии" был известный богослов Андрей Николаевич Муравьев (1806-1874). По свидетельству А.О. Смирновой, Гоголь высоко ценил его работу и говорил ей об А. Н. Муравьеве: "Вот человек, который исполнил долг пред Богом, Церковью и своим народом". При работе над Р. о Б. Л. Гоголь также использовал книгу Ивана Дмитриевского "Историческое, догматическое и таинственное изъяснение на Литургию..." (М., 1803), а также сочинения св. Константинопольских патриархов Германа (645-740) и Иеремии (XVI в.), блаженного Симеона, архиепископа Фессалоникийского (умер в 1429 г.), св.Николая Кавасилы, митрополита Солунского (XIV в.) и ряд других. Кроме того, Гоголь был знаком с русским переводом Старой и Новой Скрижали толкованиями Литургии и других церковных служб, составленными греческим иеромонахом Нафанаилом. Р. о Б. Л. не были окончены. С. П. Шевырев, первым обнаруживший рукопись при разборе гоголевских бумаг, два года спустя, 22 февраля 1854 г., писал А. В. Гоголь: "Когда я в первый раз читал его Размышления о Литургии, мне казалось, душа его носилась около меня, светлая, небесная, та, которая на земле много страдала, любила глубоко, хотя и не высказывала этой любви, молилась пламенно, и в пламени самой чистой молитвы покинула бренное, изнемогшее тело".

Цель своей книги Гоголь видел в том, чтобы "показать, в какой полноте и внутренней глубокой связи совершается наша Литургия, юношам и людям, еще начинающим, еще мало ознакомленным с ее значением". В Р. о Б. Л. Гоголь

подчеркивал: "...Если Божественная Литургия действует сильно на присутствующих при совершении ее, тем еще сильнее действует на самого совершателя, или иерея. Если только он благоговейно совершал ее со страхом, верой и любовью, то уж весь он чист... пребывает ли он весь тот день в отправленьи своей многообразной пастырской обязанности, в семье ли посреди своих домашних, или посреди своих прихожан, которые суть также семья его, Сам Спаситель в нем вообразится, и во всех действиях его будет действовать Христос; и в словах его будет говорить Христос. Будет ли склонять он на примиренье между собой враждующих, будет ли преклонять на милость сильного к бессильному, или ожесточенного, или утешать скорбящего, или к терпенью угнетенного, или... - слова его приобретет силу врачующего елея и бу

дут на всяком месте словами мира и любви".

"РЕВИЗОР", комедия Гоголя. Впервые опубликована: Ревизор. СПб., 1836. Цензурное разрешение цензора А. В. Никитенко датировано 13 марта 1836 г. Во 2-м, исправленном издании, вышедшем в 1841 г., были помещены и "Две сцены, исключенные как замедлявшие течение "пьесы"". В исправленном виде Р. вошел в 4-й том "Сочинений Н. Гоголя", изданный в 1842 г. Окончательный текст Р. был опубликован посмертно: Сочинения Гоголя. Т. 4. М., 1855. Впервые комедия была поставлена в петербургском Александринском театре 19 апреля 1836 г. В Москве премьера Р. прошла 25 мая 1836 г. в Малом театре.

Замысел Р. был подсказан Гоголю А. С. Пушкиным, который в конце октября или в начале ноября 1835 г. рассказал ему историю Хлестакова. Работа над Р. продолжалась с осени 1835 г. до весны 1836 г. Сюжет Р. дал автору А. С. Пушкин. 7 октября 1835 г. Гоголь писал ему: "Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или не смешной, но русской чисто анекдот. Рука дрожит написать тем временем комедию. Если ж сего не случится, то у меня пропадет даром время, и я не знаю, что делать тогда с моими обстоятельствами. Я, кроме моего скверного жалованья университетского 600 рублей, никаких не имею теперь мест. Сделайте милость, дайте сюжет, духом будет комедия из пяти актов, и клянусь, будет смешнее чорта. Ради Бога. Ум и желудок мой оба голодают".

Но, по некоторым данным, идея Р. зародилась у Гоголя зародилась раньше и без участия Пушкина. 19 августа 1835 г., он вместе с А. С. Данилевским и еще одним нежинским лицеистом, И. Г. Пащенко, отправились из Киева в Москву. Вот рассказ об этом Данилевского в передаче В. И. Шенрока: "Пробыв у Максимовича два дня, Гоголь с Данилевским принуждены были взять напрокат коляску, так как дилижансов тогда еще не существовало, и отправились из Киева в Москву, где Гоголь хотел повидаться с Погодиным и другими своими друзьями. Поездку совершали втроем; к ним присоединился еще один из бывших нежинских лицеистов-сотоварищей, Иван Григорьевич Пащенко. Здесь была разыграна оригинальная репетиция "Ревизора", которым Гоголь был тогда усиленно занят. Гоголь хотел основательно изучить впечатление, которое произведет на станционных смотрителей его ревизия с мнимым инкогнито. Для этой цели он просил Пащенка выезжать вперед и распространять везде, что следом за ним едет ревизор, тщательно скрывающий настоящую цель своей поездки. Пащенко выехал несколькими часами раньше и устраивал так, что на

станциях все были уже подготовлены к приезду и встрече мнимого ревизора. Благодаря этому маневру, замечательно счастливо удавшемуся, все трое катили с необыкновенной быстротой (вспомним, как почтмейстер в Р. заранее выписывает подорожные с предписанием пропускать вне очереди и дает лучшую тройку Хлестакову. - Б. С.), тогда как в другие раза им нередко приходилось по нескольку часов дожидаться лошадей. Когда Гоголь с Данилевским появлялись на станциях, их принимали всюду с необычайной любезностью и предупредительностью. В подорожной Гоголя значилось: "адъюнкт-профессор", что принималось обыкновенно сбитыми с толку смотрителями чуть ли не за адъютанта его императорского величества. Гоголь держал себя, конечно, как частный человек, но как будто из простого любопытства спрашивал: _ "Покажите, пожалуйста, если можно, какие здесь лошади; я бы хотел посмотреть их" и проч.".

6 мая 1836 г. Пушкин писал своей жене Н. Н. Пушкиной (Гончаровой): "Пошли ты за Гоголем и прочти ему следующее: видел я актера Щепкина, который ради Христа просит его приехать в Москву прочесть Ревизора. Без него актерам не спеться. Он говорит, комедия будет карикатурна и грязна (к чему Москва всегда имела поползновение). С моей стороны я то же ему советую: не надобно, чтоб Ревизор упал в Москве, где Гоголя более любят, нежели в ПБ". Гоголь, со своей стороны, приложил все усилия, чтобы исполнители в Р. "спелись".

По свидетельству профессора славянской истории и литературы Московского университета О. М. Бодянского (1808-1877), приведенном в его дневнике, "Гоголь при разговоре, между прочим, заметил, что первую идею к "Ревизору" подал ему Пушкин, рассказав о Павле Петровиче Свиньине, как он, в Бессарабии, выдавал себя за какого-то петербургского важного чиновника и только зашедши уже далеко (стал было брать прошения от колодников), был остановлен. - "После слышал я, - прибавил он, - еще несколько подобных проделок, напр., о каком-то Волкове" (имеется в виду история помещика Грязовецкого уезда Вологодской губернии Платона Волкова, который выдавал себя за ревизора в городе Устюжне). В бумагах Пушкина сохранился набросок неосуществленной повести о похождениях П. П. Свиньина, выдававшего себя в Бессарабии за крупного столичного чиновника: "Криспин (зачеркнуто: Свиньин. - Б. С.) приезжает в губернию NB на ярмонку - его принимают за ambassadeur (посланника; фр.). Губернатор честный дурак. - Губернаторша с ним кокетничает - Криспин сватается за дочь". Не исключено, что Гоголь был знаком с этим замыслом. Нетрудно заметить, что намеченная Пушкиным сюжетная линия отразилась во взаимоотношениях Хлестакова с Анной Андреевной и Марьей Антоновной. Только Городничий в Р. отнюдь не "честный дурак", а весьма неглупый плут.

6 декабря 1835 г. Гоголь сообщил М. П. Погодину о завершении двумя днями ранее Р.: "Смеяться, смеяться давай теперь побольше. Да здравствует комедия! Одну наконец решаюсь давать на театр, прикажу переписывать экземпляр для того, чтобы послать к тебе в Москву, вместе с просьбою предуведомить кого следует по этой части. Скажи Загоскину, что я буду писать к нему об этом и убедительно просить о всяком с его стороны

вспомоществовании, а милому Щепкину: что ему десять ролей в одной комедии; какую хочет, пусть такую берет, даже может разом все играть. Мне очень жаль, что я не приготовил ничего к бенефису его. Так я был озабочен это время, что едва только успел третьего дни окончить эту пиесу".

Благодаря стараниям друзей Гоголя В. А. Жуковского и графа М. Ю. Виельгорского рукопись Р. прочел император Николай I (об этом сообщал П. А. Вяземский в одном из писем А. И. Тургеневу). Комедия получила высочайшее одобрение. 29 апреля 1836 г. Гоголь писал М. С. Щепкину: "Если бы не высокое заступничество государя, пьеса моя не была бы ни за что на сцене, и уже находились люди, хлопотавшие о запрещении ее". А посылая матери 5 июня 1836 г. экземпляр Р., Гоголь отметил: "Если бы сам государь не оказал своего высокого покровительства и заступничества, то, вероятно, она не была бы никогда играна или напечатана".

Первоначально Р. встретил у цензуры довольно прохладный прием. По воспоминаниям А. И. Вольфа, приведенным в "Хронике петербургских театров" (1877), "Гоголю большого труда стоило добиться до представления своей пьесы. При чтении ее цензура перепугалась и строжайше запретила ее. Оставалось автору апеллировать на такое решение в высшую инстанцию. Он так и сделал. Жуковский, кн. Вяземский, гр. Виельгорский решились ходатайствовать за Гоголя, и усилия их увенчались успехом. "Ревизор" был вытребован в Зимний дворец, и графу Виельгорскому поручено его прочитать. Граф, говорят, читал прекрасно; рассказы Добчинского и Бобчинского и сцена представления чиновников Хлестакову очень понравились, и затем по окончании чтения последовало высочайшее разрешение играть комедию".

После того, как царь одобрил Р., цензура, естественно, была к комедии более чем снисходительна. Как отмечал барон Н.В. Дризен в "Заметках о Гоголе" (1907), "В марте 1836 года "Ревизор" попал в драматическую цензуру Третьего отделения (в действительности - 27 февраля, а уже 2 марта был разрешен к постановке. - Б. С.). Рассматривал его известный цензор Евстафий Ольдекоп. Он представил о пьесе пространный рапорт, по обыкновению на французском языке: "Эта пьеса остроумна и великолепно написана. Автор ее принадлежит к числу выдающихся русских писателей-новеллистов... Пьеса не заключает в себе ничего предосудительного". На этом докладе рукою генерала Дубельта было написано: "позволить"".

18 января 1836 г. состоялось первое публичное чтение Р. у В. А. Жуковского (или у А. О. Смирновой). В середине января 1836 г. В. А. Жуковский писал А. О. Смирновой: "...В воскресенье буду к вам обедать. Но вот предложение: вам хотелось слышать Гоголеву комедию. Хотите, чтоб я к вам привез Гоголя? Он бы прочитал после обеда, а я бы так устроился, чтобы не заснуть под чтение. Отвечайте на это". На следующий день, 19 января, князь П. А. Вяземский запечатлел это событие в письме А. И. Тургеневу: "Вчера Гоголь читал нам новую комедию "Ревизор": петербургский департаментский шалопай, который заезжает в уездный город и не имеет чем выехать в то самое время, когда городничий ожидает из Петербурга ревизора. С испуга принимает он проезжего за ожидаемого ревизора, дает ему денег взаймы, думая, что подкупает его взятками и прочее. Весь этот быт описан очень забавно, и вообще неистощимая

веселость; но действия мало, как и во всех произведениях его. Читает мастерски и возбуждает un feu roulant d'eclats de rire dans l'auditoire (беглый огонь раскатов смеха в аудитории; фр.). Не знаю, не потеряет ли пьеса на сцене, ибо не все актеры сыграют, как он читает. Он удивительно живо и верно, хотя и карикатурно, описывает наши moeurs administratives (нравы администрации; фр.). Вигель его терпеть не может за то, что он где-то отозвался о подлой роже директора департамента. У нас он тем замечательнее, что, за исключением Фонвизина, никто из наших авторов не имел истинной веселости. Он от избытка веселости часто завирается, и вот чем веселость его прилипчива." И. И. Панаев также описал это чтение в "Литературных воспоминаниях": "Барон Розен гордился тем, что, когда Гоголь на вечере у Жуковского первый раз прочел своего "Ревизора", он один из всех присутствовавших не показал автору ни малейшего одобрения и даже ни разу не улыбнулся и сожалел о Пушкине, который увлекся этим оскорбительным для искусства фарсом и во время чтения катался от смеха". Впечатление от чтения Гоголем Р. и других произведений передает в своих мемуарах князь А. И. Урусов: "По словам одного из собеседников Гоголя, г. К-го (с которым я на днях беседовал и которого благодарю здесь за любезное сообщение некоторых сведений о Гоголе), в то время (1835-1836 гг. - Б. С.) господствующим качеством Гоголя была необыкновенная сила сообщительного юмора при большой скрытности характера. Когда Гоголь читал или рассказывал, он вызывал в слушателях неудержимый смех, в буквальном смысле слова смешил их до упаду. Слушатели задыхались, корчились, ползали на четвереньках в припадке истерического хохота. Любимый род его рассказов в то время были скабрезные анекдоты, причем рассказы эти отличались не столько эротическою чувствительностью, сколько комизмом во вкусе Раблэ. Это было малороссийское сало, посыпанное крупною аристофановскою солью". В тот же день, 18 января 1836 г., очевидно, основываясь на реакции первых слушателей Р., Гоголь писал М. П. Погодину: "Комедия совсем готова и переписана, но я должен непременно, как увидел теперь, переделать несколько явлений. Это не замедлится, потому что я во всяком случае решился непременно дать ее на Светлый праздник. К посту она будет совсем готова, и за пост актеры успеют разучить совершенно свои роли".

21 февраля 1836 г. Гоголь писал М. П. Погодину: "Я теперь занят постановкой комедии. Не посылаю тебе экземпляра потому, что беспрестанно переправляю. Не хочу даже посылать прежде моего приезда актерам, потому что ежели они прочтут без меня, то уже трудно будет переучить их на мой лад. Думаю быть если не в апреле, то в мае в Москве".

Премьера Р. состоялась 19 апреля 1836 г. в Александринском театре в Петербурге. Накануне премьеры вышло и отдельное издание комедии, разрешенное цензором А. В. Никитенко 13 марта. А уже 28 апреля 1826 г. А. В. Никитенко записал в дневнике: "Комедия Гоголя "Ревизор" наделала много шуму. Ее беспрестанно дают - почти через день. Государь был на первом представлении, хлопал и много смеялся. Я попал на третье представление. Была государыня с наследником и великими княжнами. Их эта комедия тоже много тешила. Государь даже велел министрам ехать смотреть "Ревизора". Впереди меня, в креслах, сидели князь Чернышев (военный министр. - Б. С.) и граф

Канкрин (министр финансов. - Б. С.). Первый выражал свое полное удовольствие; второй только сказал: - Стоило ли ехать смотреть эту глупую фарсу. Многие полагают, что правительство напрасно одобряет эту пьесу, в которой оно так жестоко порицается. Я виделся вчера с Гоголем. Он имеет вид великого человека, преследуемого оскорбленным самолюбием. Впрочем, Гоголь действительно сделал важное дело. Впечатление, произведенное его комедией много прибавляет к тем впечатлениям, которые накопляются в умах от существующего у нас порядка вещей".

Инспектор репертуара русской драматической труппы отставной подполковник А. И. Храповицкий так описал в дневнике первое представление Р.: "В первый раз "Ревизор". Оригинальная комедия в 5-ти действиях сочинения Н. Гоголя. Государь император с наследником внезапно изволил присутствовать и был чрезвычайно доволен, хохотал от всей души. Пьеса весьма забавна, только нестерпимое ругательство на дворян, чиновников и купечество. Актеры все, особенно Сосницкий (исполнитель роли Городничего.Б. С.), играли превосходно. Вызваны (на бис. - Б. С.) автор, Сосницкий и Дюр (исполнитель роли Хлестакова. - Б. С.)". По распоряжению императора Гоголю, как автору пьесы, и актерам И. И. Сосницкому, Н. О. Дюру и А. И. Афанасьеву, исполнявшим роли Городничего, Хлестакова и Осипа, были сделаны ценные подарки - перстни стоимостью в 800 рублей каждый (Афанасьеву стоимостью 700 рублей). Актер Александринского театра Леонид Львович Леонидов (1821-1889) вспоминал, что на первом представлении Р. "государь был вполне доволен и велел благодарить артистов. Все отличившиеся получили от двора подарки, иные от дирекции прибавку жалованья, а Петров, игравший Бобчинского и пользовавшийся за эту роль особою высокою милостью, получил совершенно неожиданно сюрприз. В антракте одного из балетов государь пожаловал на сцену и, заметив Петрова, вышедшего пофигурировать вперед, сказал: - "А! Бобчинский! Так так и сказать, что в таком-то городе живет Петр Иваныч Бобчинский?" - "Точно так, ваше величество..." - отвечал тот бойко. - "Ну, хорошо, будем знать", - заключил государь, обратившись к другим присутствующим на сцене". Князь А. И. Урусов, со слов своего знакомого К., свидетельствовал: "На первом представлении 1836 г. ... (или на генеральной репетиции?) Гоголь сам распорядился вынести роскошную мебель, поставленную было в комнате городничего, и заменил ее простою мебелью, прибавив клетки с канарейками и бутыль на окне. Осип был наряжен в ливрею с галунами. Гоголь снял замасленный кафтан с ламповщика и надел его на актера, игравшего Осипа. С тех пор этот кафтан стал традиционным. Теперь обстановка, игра как-то яснее стали. Поняли необходимость соблюдения исторического колорита... Театр был полон. Вся петербургская интеллигенция была в сборе. В партере, между прочим, сидел И. А. Крылов, никогда не бывавший в театре. На вызовы автора Гоголь не вышел. Волнуемый новыми для него ощущениями, он в тот же вечер заезжал к знакомым, был у Плетнева, не застал его, поехал к другому".

О первой постановке Р. сохранились воспоминания актера П. А. Каратыгина (в передаче его сына П. П. Каратыгина): "В Великом посту 1836 г. при театре начались репетиции новой комедии, по слухам запрещенной цензурою, но

дозволенной к представлению самим государем, по усердному ходатайству Жуковского. При ее чтении самим автором у Сосницкого, в присутствии артистов, которым предназначены были роли, большинство их, воспитанное на оригинальных комедиях Княжнина, Шаховского, Хмельницкого, Загоскина или на переводах скучнейшего Дюсиса и напыщенного Мариво, новая комедия, написанная каким-то молодым малороссиянином, Гоголем, год тому назад напечатавшим несколько забавных повестей под заглавием "Миргород", большинство артистов, говорим мы, пришло в какое-то недоумение. - "Что же это такое? - шептали слушатели друг другу по окончании чтения. - Разве это комедия? Читает-то он хорошо, но что же это за язык? Лакей так-таки и говорит лакейским языком, а слесарша Пошлепкина - как есть простая баба, взятая с Сенной площади. Чем же тут наш Сосницкий-то восхищается? Что тут хорошего находят Жуковский и Пушкин?" Так отнеслись к "Ревизору" первые исполнители этой комедии; к числу порицателей принадлежал и П. А. Каратыгин. Ученик старой классической школы, он, до времени, не мог отрешиться от классических традиций. И артисты, и многие писатели не могли решиться сбросить с голов пудреные парики, с плеч - французские кафтаны и облечься в русское платье, в настоящую сибирку купца Абдулина или затасканный и засаленный сюртук Осипа. Но враждебные отношения артистов к произведению Гоголя сопровождались явлением крайне замечательным: два старейших актера обеих столичных сцен, Щепкин - московской и Сосницкий петербургской, отнеслись к "Ревизору" с живейшим сочувствием. Подобно всем своим сослуживцам, П. А. Каратыгин отнесся к комедии Гоголя если не с пренебрежением, то с полнейшим равнодушием; но самая личность автора обратила на себя особенное внимание артиста и глубоко врезалась в его памяти. Во время одной из репетиций "Ревизора" Каратыгин, находясь за кулисами, набросал на обертке своей роли, сложенной пополам, портрет Гоголя. По рассказам покойного П. А. Каратыгина, это было на утренней репетиции, в воскресенье 18 апреля 1836 г., т. е. накануне первого представления "Ревизора". Гоголь был сильно встревожен и, видимо, расстроен; часто вполголоса говорил с Сосницким, почти исключительно с ним, и лишь изредка с начальником репертуара А. И. Храповицким. Последний, пощипывая усы, во многих сценах ехидно улыбался и пожимал плечами. Некоторые из молодых актеров и актрис тайком перемигивались. Их нескромную веселость возбуждала не комедия, но ее автор. Невысокого роста блондин с огромным тупеем, в золотых очках на птичьем носу, с прищуренными глазками и плотно сжатыми, как бы прикуснутыми губами. Зеленый фрак с длинными фалдами и мелкими перламутровыми пуговицами, коричневые брюки и высокая шляпа-цилиндр, которую Гоголь то порывисто снимал, запуская пальцы в свой тупей, то вертел в руках, все это придавало его фигуре нечто карикатурное. Никто не догадывался, какой великий талант скрывался в этом слабом теле, какие страдания он испытывал, предугадывая, что ни актеры-исполнители, ни большинство публики не оценят и не поймут "Ревизора" при его первом представлении... Приехав неожиданно в театр, император Николай Павлович пробыл до окончания пьесы, от души смеялся и, выходя из ложи, сказал: "Ну, пьеска! Всем досталось, а мне - более всех!" Эти слова покойный Каратыгин, в числе

некоторых других артистов, сам слышал, находясь за кулисами при выходе государя из ложи на сцену".

Князь П. А. Вяземский вспоминал: "Ревизор" имел полный успех на сцене: общее внимание зрителей, рукоплескания, задушевный и единогласный хохот, вызов автора после двух первых представлений, жадность публики к последовавшим представлениям и, что всего важнее, живой отголосок ее, раздавшийся после в повсеместных разговорах, - ни в чем не было недостатка". Свидетельство о том же мы находим и в мемуарах художественного критика В. В. Стасова: "Вся тогдашняя молодежь была от "Ревизора" в восторге. Мы наизусть повторяли друг другу, подправляя и пополняя один другого, целые сцены, длинные разговоры оттуда. Дома или в гостях нам приходилось вступать в горячие прения с разными пожилыми (а иной раз, к стыду, даже и не пожилыми) людьми, негодовавшими на нового идола молодежи и уверявшими, что никакой натуры у Гоголя нет, что это всё его собственные выдумки и карикатуры, что таких людей вовсе нет на свете, а если и есть, то их гораздо меньше бывает в целом городе, чем тут у него в одной комедии. Схватки выходили жаркие, продолжительные, но старики не могли изменить в нас ни единой черточки, и наше фанатическое обожание Гоголя разрасталось все только больше и больше".

По утверждению А. Я. Панаевой, "когда ставили "Ревизора", все участвующие артисты как-то потерялись; они чувствовали, что типы, выведенные Гоголем в пьесе, новы для них и что эту пьесу нельзя так играть, как они привыкли разыгрывать на сцене свои роли в переделанных на русские нравы французских водевилях". Свои впечатления от премьеры Р. Гоголь передал в "Отрывке из письма, писанного автором вскоре после первого представления "Ревизора" одному литератору", помещенном в издании 1841 г. и датированном 25 мая 1836 г. Посылая этот текст С. Т. Аксакову 5 марта 1841 г., Гоголь так прокомментировал его: "Здесь письмо, написанное мною к Пушкину, по его собственному желанию. Он был тогда в деревне. Пиеса игралось без него. Он хотел писать полный разбор ее для своего журнала и меня просил уведомить, как она была выполнена на сцене. Письмо осталось у меня неотправленным, потому что он скоро приехал сам... Мне кажется, что прилагаемый отрывок будет не лишним для умного актера, которому случиться исполнять роль Хлестакова. Это письмо под таким названием, какое на нем выставлено, нужно отнесть на конец пиесы..." В "Отрывке" Гоголь писал: "Ревизор" сыгран, и у меня на душе так смутно, так странно... Я ожидал, я знал наперед, как пойдет дело, и при всем том чувство грустное и досадно-тягостное облекло меня. Мое же создание мне показалось противно, дико и как будто вовсе не мое. Главная роль пропала; так я и думал. Дюр ни на волос не понял, что такое Хлестаков. Хлестаков сделался чем-то вроде Альнаксарова (героя комедии Н. И. Хмельницкого "Воздушные замки" (1818). Б. С.), чем-то вроде целой шеренги водевильных шалунов, которые пожаловали к нам повертеться из парижских театров. Он сделался просто обыкновенным вралем, _ бледное лицо, в продолжение двух столетий являющееся в одном и том же костюме. Неужели в самом деле не видно из самой роли, что такое Хлестаков? Или мною овладела довременно слепая гордость и силы мои совладеть с этим характером

были так слабы, что даже и тени и намека в нем не осталось для актера? А мне он казался ясным. Хлестаков вовсе не надувает; он не лгун по ремеслу; он сам позабывает, что лжет, и уже сам почти верит тому, что говорит. Он развернулся, он в духе, видит, что всё идет хорошо, его слушают - и по тому одному он говорит плавнее, развязнее, говорит от души, говорит совершенно откровенно и, говоря ложь, выказывает именно в ней себя таким, как есть. Вообще у нас актеры совсем не умеют лгать. Они воображают, что лгать - значит просто нести болтовню. Лгать значит говорить ложь тоном, так близким к истине, так естественно, так наивно, как можно только говорить одну истину; и здесь-то заключается именно все комическое лжи. Я почти уверен, что Хлестаков более бы выиграл, если бы я назначил эту роль одному из самых бесталанных актеров и сказал бы ему только, что Хлестаков есть человек ловкий, совершенный comme il faut, умный и даже, пожалуй, добродетельный, и что ему остается представить его именно таким. Хлестаков лжет вовсе не холодно или фанфаронски-театрально; он лжет с чувством; в глазах его выражается наслаждение, получаемое им от этого. Это вообще лучшая и самая поэтическая минута в его жизни - почти род вдохновения. И хоть бы что-нибудь из этого было выражено! Никакого тоже характера, то есть лица, то есть видимой наружности, то есть физиономии, решительно не дано было бедному Хлестакову. Конечно, несравненно легче карикатурить старых чиновников в поношенных вицмундирах с потертыми воротниками; но схватить те черты, которые довольно благовидны и не выходят острыми углами из обыкновенного светского круга, - дело мастера сильного. У Хлестакова ничего не должно быть означено резко. Он принадлежит к тому кругу, который, по-видимому, ничем не отличается от прочих молодых людей. Он даже хорошо иногда держится, даже говорит иногда с весом, и только в случаях, где требуется или присутствие духа, или характер, выказывается его отчасти подленькая, ничтожная натура. Черты роли какого-нибудь городничего более неподвижны и ясны. Его уже обозначает резко собственная, неизменяемая, черствая наружность и отчасти утверждает собою его характер. Черты роли Хлестакова слишком подвижны, более тонки, и потому труднее уловимы. Что такое, если разбирать в самом деле, Хлестаков? Молодой человек, чиновник, и пустой, как называют, но заключающий в себе много качеств, принадлежащих людям, которых свет не называет пустыми. Выставить эти качества в людях, которые не лишены, между прочим, хороших достоинств, было бы грехом со стороны писателя, ибо он тем поднял бы их на всеобщий смех. Лучше пусть всякий отыщет частицу себя в этой роли и в то же время осмотрится вокруг без боязни и страха, чтобы не указал кто-нибудь на него пальцем и не назвал бы его по имени. Словом, это лицо должно быть тип многого разбросанного в разных русских характерах, но которое здесь соединилось случайно в одном лице, как весьма часто попадается и в натуре. Всякий хоть на минуту, если не на несколько минут, делался или делается Хлестаковым, но, натурально, в этом не хочет только признаться; он любит даже и посмеяться над этим фактом, но только, конечно, в коже другого, а не в собственной. И ловкий гвардейский офицер окажется иногда Хлестаковым, и государственный муж окажется иногда Хлестаковым, и наш брат, грешный литератор, окажется подчас Хлестаковым. Словом, редко кто им не будет хоть

раз в жизни, _ дело только в том, что вслед за тем очень ловко повернется, и как будто бы и не он. Итак, неужели в моем Хлестакове не видно ничего этого? Неужели он просто бледное лицо, а я, в порыве минутно-горделивого расположения, думал, что когда-нибудь актер обширного таланта возблагодарит меня за совокупление в одном лице толиких разнородных движений, дающих ему возможность вдруг показать все разнообразные стороны своего таланта? И вот Хлестаков вышел детская, ничтожная роль! Это тяжело и ядовито-досадно. С самого начала представления пьесы я уже сидел в театре скучный. О восторге и приеме публики я не заботился. Одного только судьи из всех бывших в театре я боялся, - и этот судья был я сам. Внутри себя я слышал упреки и ропот против моей же пьесы, которые заглушали все другие. А публика вообще была довольна. Половина ее приняла пьесу даже с участием: другая половина, как водится, ее бранила, по причинам, однако же не относящимся к искусству. Каким образом бранила, мы об этом поговорим при первом свидании с вами; тут есть много поучительного и немало смешного. Я даже кое-что записал; но это в сторону. Вообще с публикою, кажется, совершенно примирил "Ревизора" городничий. В этом я был уверен и прежде, ибо для таланта, каков у Сосницкого, ничего не могло остаться необъясненным в этой роли. Я рад, по крайней мере, что доставил ему возможность выказать во всей широте талант свой, об котором уже начинали отзываться равнодушно и ставили его на одну доску со многими актерами, которые награждаются так щедро рукоплесканиями во вседневных водевилях и прочих забавных пьесах. На слугу тоже надеялся, потому что заметил в актере большое внимание к словам и замечательность. Зато оба наши приятели, Бобчинский и Добчинский, вышли, сверх ожиданий, дурны. Хотя я и думал, что они будут дурны, ибо, создавая этих двух маленьких человечков, я воображал в их коже Щепкина и Рязанцева, но все-таки я думал, что их наружность и положение, в котором они находятся, их как-нибудь вынесет и не так обкарикатурит. Случилось напротив: вышла именно карикатура. Уже пред началом представления, увидевши их костюмированными, я ахнул. Эти два человечка, в существе своем довольно опрятные, толстенькие, с прилично приглаженными волосами, очутились в каких-то нескладных, превысоких седых париках, всклоченные, неопрятные, взъерошенные, с выдернутыми огромными манишками; а на сцене оказались до такой степени кривляками, что просто было невыносимо. Вообще костюмировка большей части пьесы была очень плоха и бессовестно карикатурна. Я как бы предчувствовал это, когда просил, чтоб сделать хоть одну репетицию в костюмах; но мне стали говорить, что это вовсе не нужно и не в обычае и что актеры уж знают свое дело. Заметивши, что цены словам моим давали не много, я оставил их в покое. Еще раз повторяю: тоска, тоска! Не знаю сам, отчего одолевает меня тоска. Во время представления я заметил, что начало четвертого акта холодно; кажется, как будто течение пьесы, дотоле плавное, здесь прорывается или влечется лениво. Признаюсь, еще во время чтения сведущий и опытный актер сделал мне замечание, что не так ловко, что Хлестаков начинает первый просить денег взаймы и что было бы лучше, если бы чиновники сами ему предложили. Уважая замечание довольно тонкое, имеющее свои справедливые стороны, я, однако же, не видел причины, почему

Хлестаков, будучи Хлестаковым, не мог попросить первый. Но замечание было сделано; "стало быть, - сказал я сам себе, - я плохо выполнил эту сцену". И точно, теперь, во время представления, я увидел ясно, что начало четвертого акта бледно и носит признак какой-то усталости. Возвратившись домой, я тот же час принялся за переделку. Теперь, кажется, вышло немного сильнее, по крайней мере, естественнее и более идет к делу. Но у меня нет сил хлопотать о включении этого отрывка в пьесу. Я устал; и как вспомню, что для этого нужно ездить, просить и кланяться, то Бог с ним, _ пусть лучше при втором издании или возобновлении "Ревизора". Еще слово о последней сцене. Она совершенно не вышла. Занавес закрывается в какую-то смутную минуту, и пьеса, кажется, как будто не кончена. Но я не виноват. Меня не хотели слушать. Я и теперь говорю, что последняя сцена не будет иметь успеха до тех пор, пока не поймут, что это просто немая картина, что все это должно представлять одну окаменевшую группу, что здесь оканчивается драма и сменяет ее онемевшая мимика, что две-три минуты должен не опускаться занавес, что совершиться все это должно в тех же условиях, каких требуют так называемые живые картины. Но мне отвечали, что это свяжет актеров, что группу нужно будет поручить балетмейстеру, что несколько даже унизительно для актера, и пр, и пр., и пр. Много еще других прочих увидел я на минах, которые были досаднее словесных. Несмотря на все эти прочие, я стою на своем и сто раз говорю: "Нет, это не свяжет нимало, это не унизительно". Пусть даже балетмейстер сочинит и составит группу, если он только в силах почувствовать настоящее положение всякого лица. Таланта не остановят указанные ему границы, как не остановят реку гранитные берега; напротив, вошедши в них, она быстрее и полнее движет свои волны. И в данной ему позе чувствующий актер может выразить всё. На лицо его здесь никто не положил оков, размещена только одна группировка; лицо его свободно выразить всякое движение. И в этом онемении для него бездна разнообразия. Испуг каждого из действующих лиц не похож один на другой, как не похожи их характеры и степень боязни и страха, вследствие великости наделанных каждым грехов. Иным образом остается поражен городничий, иным образом поражена жена и дочь его. Особенным образом испугается судья, особенным образом попечитель, почтмейстер и пр., и пр. Особенным образом останутся пораженными Бобчинский и Добчинский, и здесь не изменившие себе и обратившиеся друг к другу с онемевшим на губах вопросом. Одни только гости могут остолбенеть одинаким образом, но они даль в картине, которая очерчивается одним взмахом кисти и покрывается одним колоритом. Словом, каждый мимически продолжит свою роль и, несмотря на то что, по-видимому, покорил себя балетмейстеру, может всегда остаться высоким актером. Но у меня недостает больше сил хлопотать и спорить. Я устал и душою и телом. Клянусь, никто не знает и не слышит моих страданий. Бог с ними со всеми; мне опротивела моя пьеса. Я хотел бы убежать теперь Бог знает куда, и предстоящее мне путешествие, пароход, море и другие, далекие небеса могут одни только освежить меня. Я жажду их, как Бог знает чего. Ради Бога, приезжайте скорее. Я не поеду, не простившись с вами. Мне еще нужно много сказать вам того, что не в силах сказать несносное, холодное письмо..." Сохранились воспоминания о премьере Р. некоторых актеров, участвовавших в

спектакле. Так, П. И. Григорьев, исполнявший роль судьи Ляпкина-Тяпкина, в одном из писем отмечал: "Ревизор" Гоголя сделал у нас большой успех! Гоголь вошел в славу! Пиэса эта шла отлично, не знаю только, долго ли продержится на сцене; эта пиэса пока для нас всех как будто какая-то загадка. В первое представление смеялись громко и много поддерживали крепко, - надо будет ждать, как она оценится со временем всеми, а для нашего брата, актера, она такое новое произведение, которое мы (может быть) еще не сумеем оценить с одного или двух раз. Как быть! Не всё же вдруг!"

8 мая 1836 г. П. А. Вяземский, посылая А. И. Тургеневу экземпляр Р., писал: "Прочти "Ревизора" и заключи, сколько толков раздаются о нем. Все претендуют на то, чтобы быть "большими монархистами, чем сам монарх", и все гневаются, что позволили играть эту пиесу, которая, впрочем, имела блистательный и полный успех на сцене, хотя не успех общего одобрения. Неимоверно что за глупые суждения слышишь о ней, особенно в высшем ряду общества. "Как будто есть такой город в России". Во-первых, вероятно, и есть, а во-вторых, мог бы быть, и для комика довольно и этой возможности. Комик не историк, не статистик нравов. Комик в некотором отношении карикатурный живописец нравов, Гогарт общества и только (речь идет об английском художнике Вильяме Хогарте (1697-1765), прославившемся сатирическими зарисовками быта. - Б. С.). "Как не представить хотя одного честного, порядочного человека. Будто их нет в России". Разумеется, есть, но честный человек не входит в объем плана, который расчертил перед собою автор. Вы требуете фасада, а он хотел показать вам один угол, чтобы тем сильнее сосредоточить световые эффекты и внимание ваше. "Впрочем, в пиесе есть честный человек", сказал я всенародно, "это правительство, разрешившее ее представление, ибо оно не узнаёт себя в этой картине, признаёт существование этих злоупотреблений, более или менее присущих природе человеческой, подавляет их, когда они обнаруживаются, - доказательство этому в заглавии пиесы "Ревизор" - и хочет внушить к ним отвращение, предавая их осмеянию и презрению на сцене". Кажется, после этого надобно бы замолчать. Куда, кричат пуще прежнего. Козловский (имеется в виду князь Петр Борисович Козловский, дипломат и писатель. - Б. С.) один из малого числа ратоборцев за пиесу, Жуковский, да я, не говоря уже о государе, который читал ее в рукописи". По свидетельству П. А. Вяземского в позднейших мемуарах, Р. "имел полный успех на сцене: общее внимание зрителей, рукоплескания, задушевный и единогласный хохот, вызов автора после двух первых представлений, жадность публики к последовавшим представлениям и, что всего важнее, живой отголосок ее, раздавшийся после в повсеместных разговорах, - ни в чем не было недостатка".

Однако после премьеры автор охладел к Р. Как свидетельствует С. Т. Аксаков, пьеса была продана Гоголем дирекции императорских театров за 2500 рублей ассигнации, и сразу же начались хлопоты о постановке комедии в Москве. 29 апреля 1836 г. Гоголь писал актеру Малого театра М. С. Щепкину: "Посылаю вам "Ревизора". Может быть, до вас уже дошли слухи о нем. Я писал к ленивцу 1-й гильдии и беспутнейшему человеку в мире, Погодину, чтобы он уведомил вас. Я желал сам привезти его к вам и прочитать собственногласно,

дабы о некоторых лицах не составились заблаговременно превратные понятия, которые - я знаю - чрезвычайно трудно после искоренить, но, познакомившись с здешнею театральною дирекциею, - я такое получил отвращение к театру, что одна мысль о тех приятностях, которые готовятся для меня еще и на московском театре, в силе удержать поездку в Москву и попытку хлопотать о чем-либо. К довершению наконец возможнейших мне пакостей здешняя дирекция, т. е. директор Гедеонов (имеется в виду Александр Михайлович Гедеонов (1790-1867), директор петербургских императорских театров. - Б. С.), вздумал, как слышу я, отдать главные роли другим персонажам после четырех представлений ее, будучи подвинут какою-то мелочною личною ненавистью к некоторым главным актерам в моей пиесе, как то к Сосницкому и Дюру. Мочи нет. Делайте, что хотите с моею пиесою, но я не стану хлопотать о ней. Мне она сама надоела так же, как хлопоты о ней. Действие, произведенное ею, было большое и шумное. Все против меня. Чиновники пожилые и почтенные кричат, что для меня нет ничего святого, когда я дерзнул так говорить о служащих людях. Полицейские против меня, купцы против меня, литераторы против меня. Бранят и ходят на пиесу; на четвертое представление нельзя достать билетов. Если бы не высокое заступничество государя, пиеса моя не была бы ни за что на сцене, и уже находились люди, хлопотавшие о запрещении ее. Теперь я вижу, что значит быть комическим писателем. Малейший признак истины - и против тебя восстают, и не один человек, а целые сословия. Воображаю, что же было бы, если бы я взял что-нибудь из петербургской жизни, которая мне больше и лучше теперь знакома, нежели провинциальная. Досадно видеть против себя людей тому, который их любит между тем братскою любовью". В мае 1836 г. Щепкин ответил на это письмо: "Милостивый государь, Николай Васильевич! Письмо и Ревизора несколько экземпляров получил и по назначению все роздал, кроме Киреевского, который в деревне, и потому я отдал его экземпляр С. П. Шевыреву для доставления. Благодарю вас от души за "Ревизора" - не как за книгу, а как за комедию, которая, так сказать, осуществила все мои надежды, и я совершенно ожил. Давно я уже не чувствовал такой радости; ибо, к несчастию, мои все радости сосредоточены в одной сцене. Знаю, что это почти сумасшествие, но что ж делать? Я, право, не виноват. Порядочные люди смеются надо мной и почитают глупостью, но я за усовершенствование этой глупости отдал бы остаток моей жизни. Ну, всё это в сторону, а теперь просто о "Ревизоре". Не грех ли вам оставлять его на произвол судьбы - и где же? в Москве, которая так радушно ждет вас, так от души смеется в "Горе от ума"? И вы оставите ее от некоторых неприятностей, которые доставил вам Ревизор? Во-первых, на театре таких неприятностей не может быть, ибо М. Н. Загоскин, благодаря вас за экземпляр, сказал, что будет писать к вам, и поручил мне еще уведомить вас, что для него весьма приятно было бы, если бы вы приехали, дабы он мог совершенно с вашим желанием "делать всё, что нужно для постановки пиесы". Со стороны же публики, чем более будут на вас злиться, тем более я буду радоваться, ибо это будет значить, что она разделяет мое мнение о комедии, и вы достигли своей цели. Вы сами лучше всех знаете, что ваша пиеса более всякой другой требует, чтобы вы прочли ее нашему начальству и действующим. Вы это знаете и не хотите приехать. Бог с вами!

Пусть она вам надоела, но вы должны это сделать для комедии; вы должны это сделать по совести; вы должны это сделать для Москвы, для людей, вас любящих и принимающих живое участие в "Ревизоре". Одним словом, вы твердо знаете, что вы нам нужны, и не хотите приехать. Воля ваша, это эгоизм. Простите меня, что я так вольно выражаюсь, но здесь дело идет о комедии, и потому я не могу быть хладнокровным. Видите, я даже не ленив теперь. Вы, пожалуй, не ставьте ее у нас; только прочтите два раза, а там... Если вы решитесь ехать к нам, то скорее, ибо недели через три, а может быть и ранее, она будет готова. К ней пишут новую декорацию". Вместе со своим письмом Щепкин переслал Гоголю письмо М. П. Погодина от 6 мая 1836 г., где говорилось: "Щепкин плачет. Ты сделал с ним чудо. При первом слухе о твоей комедии на сцене он оживился, расцвел, вновь сделался веселым, всюду ездил и рассказывал. Надо почтить это участие таланта. Ставить пиесу я сам тебе не советую: я как-то с год был знаком с кулисным миром, впрочем, как постороннее лицо, и убедился, что ничего не может быть мучительнее, как кланяться директорам, инспекторам, спорить со всеми этими субъектами и против режиссера, машиниста и даже суфлера, и все эти господа думают еще, что они одалживают бедного автора, выучивая роль и ставя стул и проч. Нет, черт их возьми: не ставь ни за что никакой пиесы, если не хочешь попортить себе кровь, но ты должен непременно раз прочесть пиесу актерам, а там пусть делают, что хотят. Итак, приезжай непременно и поскорее. Мы все просим тебя. Еще говорят, ты сердишься на толки. Ну, как тебе, братец, не стыдно! Ведь ты сам делаешься комическим лицом. Представь себе, автор хочет укусить людей не в бровь, а прямо в глаз. Он попадает в цель. Люди щурятся, отворачиваются, бранятся и, разумеется, кричат: "да нас таких нету!" Так ты должен бы радоваться, ибо видишь, что достиг цели. Каких доказательств яснее истины в комедии! А ты сердишься?! Ну не смешон ли ты? Я расхохотался, читая в "Пчеле", которая берется доказать, что таких бессовестных и наглых мошенников нет на свете. "Есть, есть они, вы такие мошенники!" - говори ты им и отворачивайся с торжеством. Вот за это мне надо тебя покупать в стиксовой воде, которая протекает по моим нынешним владениям". Еще не получив писем от 6 мая, Гоголь 10 мая вновь написал Погодину и Щепкину. Погодину он, в частности, сообщил: "Я хотел было ехать непременно в Москву и с тобой наговориться вдоволь. Но не так сделалось. Чувствую, что теперь не доставит мне Москва спокойствия, а я не хочу приехать в таком тревожном состоянии, в каком нахожусь ныне. Еду за границу, там размыкаю ту тоску, которую наносят мне ежедневно мои соотечественники. Писатель современный, писатель комический, писатель нравов должен подальше быть от своей родины. Пророку нет славы (зачеркнуто: приюта. - Б. С.) в отчизне. Что против меня уже решительно восстали теперь все сословия, я не смущаюсь этим, но как-то тягостно грустно, когда видишь против себя несправедливо восстановленных своих же соотечественников, которых от души любишь, когда видишь, как ложно, в каком неверном виде ими всё принимается, частное принимается за общее, случай за правило. Что сказано верно и живо, то уже кажется пасквилем. Выведи на сцену двух-трех плутов - тысяча честных людей сердится, говорит: мы не плуты. Но Бог с ними. Я не оттого еду за границу, чтобы не умел

перенести этих неудовольствий. Мне хочется поправиться в своем здоровьи, рассеяться, развлечься и потом, избравши несколько постоянное пребывание, обдумать хорошенько труды будущие. Пора уже мне творить с большим размышлением. Лето буду на водах, август месяц на Рейне, осень в Швейцарии, уединюсь и займусь. Если удастся, то зиму думаю пробыть в Риме или Неаполе" (в действительности до Рима Гоголь добрался только в марте 1837 г.). Щепкина же Гоголь в тот же день просил взять на себя хлопоты по постановке Р. в Москве: "Я забыл вам, дорогой Михаил Семенович, сообщить, кое-какие замечания предварительные о "Ревизоре". Во-первых, вы должны непременно, из дружбы ко мне, взять на себя всё дело постановки ее. Я не знаю никого из актеров ваших, какой и в чем каждый из них хорош. Но вы это можете знать лучше, нежели кто другой. Сами вы, без сомнения, должны взять роль городничего, иначе она без вас пропадет. Есть еще трудней роль во всей пиесе - роль Хлестакова. Я не знаю, выберете ли вы для нее артиста (Щепкин выбрал Дмитрия Тимофеевича Ленского (1805-1860). - Б. С.). Боже сохрани, ее будут играть с обыкновенными фарсами, как играют хвастунов и повес театральных. Он просто глуп, болтает потому только, что видит, что его расположены слушать; врет, потому что плотно позавтракал и выпил порядочного вина. Вертляв он тогда только, когда подъезжает к дамам. Сцена, в которой он завирается, должна обратить особое внимание. Каждое слово его, то есть фраза или речение, есть экспромт совершенно неожиданный и потому должно выражаться отрывисто. Не должно упускать из виду, что к концу этой сцены начинает его мало-помалу разбирать. Но он вовсе не должен шататься на стуле; он должен только раскраснеться и выражаться еще неожиданнее и, чем далее, громче и громче. Я сильно боюсь за эту роль. Она и здесь была исполнена плохо, потому что для нее нужен решительный талант. Жаль, очень жаль, что я никак не мог быть у вас: многие из ролей могли быть совершенно понятны только тогда, когда бы я прочел их. Но нечего делать. Я так теперь мало спокоен духом, что вряд ли бы мог быть слишком полезным. Зато, по возврате из-за границы, я намерен основаться у вас в Москве. С здешним климатом я совершенно в раздоре. За границей пробуду до весны, а весною к вам. Скажите Загоскину, что я всё поручил вам. Я напишу к нему, что распределение ролей я послал к вам. Вы составьте записочку и подайте ему как сделанное мною. Да еще не одевайте Бобчинского и Добчинского в том костюме, в каком они напечатаны. Это их одел Храповицкий (в первом издании Р. в примечании о костюмах Бобчинского и Добчинского говорилось так: "Оба в серых фраках, желтых нанковых панталонах. Сапоги с кисточками. Представляются: Добчинский в широком фраке бутылочного цвета и Бобчинский в прежнем гарнизонном мундире". Очевидно, Гоголь понимал, что очень ненатурально будет, если одеть провинциальных помещиков петербургскими щеголями. Фрак бутылочного цвета он приберег для Чичикова, посчитав, что для коллежского советника из Петербурга он вполне уместен. - Б. С.). Я мало входил в эти мелочи и приказал напечатать по-театральному. Тот, который имеет светлые волоса, должен быть в темном фраке, а брюнет, т. е. Бобчинский, должен быть в светлом. Нижнее обоим - темные брюки. Вообще, чтобы не было форсировано. Но брюшки у обоих должны быть непременно, и притом остренькие, как у

беременных женщин". Получив же предыдущие письма Щепкина и Погодина, Гоголь ответил на них 15 мая. Погодину он, в частности, писал: "Приглашение твое убедительно. Но никаким образом не могу. Нужно захватить время пользования на водах. Лучше пусть приеду к вам в Москву обновленный и освеженный. Приехавши, я проживу с тобою долго, потому что не имею никаких должностных уз и не намерен жить постоянно в Петербурге. Я не сержусь на толки, как ты пишешь, не сержусь, что сердятся и отворачиваются те, которые отыскивают в моих оригиналах свои собственные черты и бранят меня. Не сержусь, что бранят меня неприятели литературные, продажные таланты, но грустно мне это всеобщее невежество, движущее столицу, грустно, когда видишь, что глупейшее мнение ими же опозоренного и оплеванного писателя действует на них же самих и их же водит за нос. Грустно, когда видишь, в каком еще жалком состоянии находится у нас писатель. Все против него, и нет никакой сколько-нибудь равносильной стороны за него. "Он зажигатель, он бунтовщик"! И кто же говорит? Это говорят люди государственные, люди выслужившиеся, опытные, люди, которые должны бы иметь на сколько-нибудь ума, чтоб понять дело в настоящем виде, люди, которые считаются образованными и которых свет, по крайней мере русский свет, называет образованными. Выведены на сцену плуты, и все в ожесточении, зачем выводить на сцену плутов. Пусть сердятся плуты, но сердятся те, которых я не знал вовсе за плутов. Прискорбна мне эта невежественная раздражительность, признак глубокого, упорного невежества, разлитого на наши классы. Столица щекотливо оскорбляется тем, что выведены нравы шести чиновников провинциальных; что же бы сказала столица, если бы выведены были хотя слегка ее собственные нравы? Я огорчен не нынешним ожесточением против моей пиесы; меня заботит моя печальная будущность. Провинция уже слабо рисуется в моей памяти, черты ее уже бледны. Но жизнь петербургская ярка перед моими глазами, краски ее живы и резки в моей памяти. Малейшая черта ее - и как тогда заговорят мои соотечественники? И то, что бы приняли люди просвещенные с громким смехом и участием, то самое возмущает желчь невежества; а это невежество всеобщее. Сказать о плуте, что он плут, считается у них подрывом государственной машины; сказать какую-нибудь только живую и верную черту - значит, в переводе, опозорить всё сословие и вооружить против него других, или его подчиненных. Рассмотри положение бедного автора, любящего между тем сильно свое отечество и своих же соотечественников, и скажи ему, что есть небольшой круг, понимающий его, глядящий на него другими глазами, утешит ли это его? Москва больше расположена ко мне, но отчего? Не оттого ли, что я живу в отдалении от ней, что портрет ее еще не был виден нигде у меня, что, наконец... но не хочу на этот раз выводить все случаи. Сердце мое в эту минуту наполнено благодарностью к ней за внимание ко мне. Прощай. Еду разгулять свою тоску, глубоко обдумать свои обязанности авторские, свои будущие творения, и возвращусь к тебе, верно, освеженный и обновленный. Всё, что ни делалось со мною, всё было спасительно для меня: все оскорбления, все неприятности посылались мне высоким провидением на мое воспитание. И ныне я чувствую, что не земная воля направляет путь мой. Он, верно, необходим для меня". М. С. Щепкину же

Гоголь в тот же день, 15 мая 1836 г., писал: "Не могу, мой добрый и почтенный земляк, никоим образом не могу быть у вас в Москве. Отъезд мой уже решен. Знаю, что вы все приняли бы меня с любовью; мое благодарное сердце чувствует это. Но не хочу и я тоже с своей стороны показаться вам скучным и не разделяющим вашего драгоценного для меня участия. Лучше я с гордостью понесу в душе своей эту просвещенную признательность старой столицы моей родины и сберегу ее, как святыню, в чужой земле. Притом, если бы я даже приехал, я бы не мог быть так полезен вам, как вы думаете. Я бы прочел ее вам дурно, без малейшего участия к моим лицам, - во-первых, потому, что охладел к ней; во-вторых, потому, что многим недоволен в ней, хотя совершенно не тем, в чем обвиняли меня мои близорукие и неразумные критики. Я дорогою буду сильно обдумывать одну замышляемую мною пиесу (имелись в виду "Мертвые души". - Б. С.). Зимою в Швейцарии буду писать ее, а весною причалю с нею прямо в Москву, и Москва первая будет ее слышать". Одним из таких несправедливых критиков Р. был чиновник департамента иностранных исповеданий Ф. Ф. Вигель. 31 мая 1836 г. в письме директору московских императорских театров М. Н. Загоскину утверждал: "Я знаю г. автора "Ревизора", - это юная Россия, во всей ее наглости и цинизме. Он под покровительством Жуковского, но ведь это Жуковский не прежний. Посудите, он нынешней зимой по субботам собирал у себя литераторов, и я иногда являлся туда, как в неприятельский стан. Первостепенные там князья Вяземский и Одоевский и г. Гоголь. Всегда бывал там и Пушкин, но этот все же придерживается Руси". Так же объяснял Гоголь П. В. Анненкову свое разочарование в приеме публикой Р. и отъезд за границу. Анненков вспоминал: "...Мнением публики Гоголь озабочивался гораздо более, чем мнениями знатоков, друзей и присяжных судей литературы, - черта, общая всем деятелям, имеющим общественное значение, а петербургская публика относилась к Гоголю если не вполне враждебно, то по крайней мере подозрительно и недоверчиво. Последний удар нанесен был представлением "Ревизора"... Хлопотливость автора во время постановки своей пьесы, казавшаяся странной, выходящей из всех обыкновений и даже, как говорили, из всех приличий, горестно оправдалась водевильным характером, сообщенным главному лицу комедии, и пошло-карикатурным, отразившимся в других. Гоголь пространствовал весь этот вечер. Мне, свидетелю этого первого представления, позволено будет сказать, что изображала сама зала театра в продолжение четырех часов замечательнейшего спектакля, когда-либо им виденного. Уже после первого акта недоумение было написано на всех лицах (публика была избранная в полном смысле слова), словно никто не знал, как должно думать о картине, только что представленной. Недоумение это возрастало потом с каждым актом. Как будто находя успокоение в одном предположении, что дается фарс, большинство зрителей, выбитое из всех театральных ожиданий и привычек, остановилось на этом предположении с непоколебимой решимостию. Однако же в этом фарсе были черты и явления, исполненные такой жизненной истины, что раза два, особенно в местах, наименее противоречащих тому понятию о комедии вообще, которое сложилось в большинстве зрителей, раздавался общий смех. Совсем другое произошло в четвертом акте: смех по временам еще

перелетал из конца залы в другой, но это был какой-то робкий смех, тотчас же и пропадавший; аплодисментов почти совсем не было; зато напряженное внимание, судорожное, усиленное следование за всеми оттенками пьесы, иногда мертвая тишина показывала, что дело, происходившее на сцене, страстно захватывало сердца зрителей. По окончании акта прежнее недоумение уже переродилось почти во всеобщее негодование, которое довершено было пятым актом. Многие вызывали автора потом за то, что написал комедию, другие за то, что виден талант в некоторых сценах, простая публика - за то, что смеялась, но общий голос, слышавшийся по всем сторонам избранной публики, был: "Это - невозможность, клевета и фарс". По окончании спектакля Гоголь явился к Н. Я. Прокоповичу в раздраженном состоянии духа. Хозяин вздумал поднесть ему экземпляр "Ревизора", только что вышедший из печати, со словами "Полюбуйтесь на сынку". Гоголь швырнул экземпляр на пол, подошел, подошел к столу и, опираясь на него, проговорил задумчиво: "Господи боже! Ну если бы один, два ругали, ну и Бог с ними, а то все, все..." В начале лета 1836 года Гоголь уехал за границу, на пароходе. Он действительно "устал душою и телом", как сам говорит. Шесть лет беспрерывного труда, разнообразных предприятий и волнений, даже не принимая в соображение последних тяжелых ударов, нанесенных всем его ожиданиям, требовали сами собой отдыха".

По свидетельству А. Я. Панаевой, бывший начальник Гоголя действительный статский советник В. И. Панаев "приходил в ужас от того, что "Ревизора" дозволили играть на сцене. По его мнению, это была безобразная карикатура на администрацию всей России, которая охраняет общественный порядок, трудится для пользы отечества, и вдруг какой-то коллежский регистраторишка дерзает осмеивать не только низший класс чиновников, но даже самих губернаторов". Премьера Р. в московском Малом театре 25 мая 1836 г. М. С. Щепкин не был до конца удовлетворен игрой и на следующий день писал петербургскому исполнителю роли Городничего И. И. Сосницкому: "Есть предел грусти, где далее она уже нейдет. Что делать! может быть, любовь к искусству я простер далее, нежели должно, но это не моя вина. Теперь "Ревизор" дал немного мне приятных минут и вместе горьких, ибо в результате оказался недостаток в силах и в языке. Может быть, найдутся люди, которые были довольны, но надо заглянуть ко мне в душу! Ну, меня в сторону. Ежели Н. В. Гоголь не уехал за границу, то сообщи ему, что вчерашний день игрался "Ревизор" - не могу сказать, чтобы очень хорошо, но нельзя сказать, чтобы и дурно; игран был в абонемент, и потому публика была высшего тона, которой, как кажется, она (комедия) многим не по вкусу. Несмотря на то, хохот был беспрестанно (сбылось предвидение Гоголя, что в Москве Р. примут лучше, чем в Петербурге. - Б. С.); вообще принималась пьеса весело; на завтра билеты на бельэтажи и бенуары, а равно и на пятницу - разобраны". Еще раз о Р. Щепкин написал Сосницкому 3 июня 1836 г.: "Бранишь, что я не писал подробно об успехе пьесы, но я написал тебе всё, что мог написать. Публика была изумлена новостью, хохотала чрезвычайно много, но я ожидал гораздо большего приема. Это меня чрезвычайно изумило; но один знакомый забавно объяснил мне эту причину: "Помилуй, говорит, как можно было ее лучше принять, когда половина публики берущей, а половина дающей?" И последующие разы это

оправдали: принималась (комедия) чрезвычайно хорошо, принималась с громкими вызовами, и она теперь в публике общим разговором, и до кого она ни коснулась - все в восхищении, а остальные морщатся. Ленский в Хлестакове очень недурен. Орлов в слуге хорош. Добчинский и Бобчинский (Н.М. Никифоров и С.В. Шумский. - Б. С.) порядочны, а особливо в сцене, где они являются с просьбой - один об сыне, а другой хлопочет о том, чтобы привести в известность о его местопребывании; а первой сценой я недоволен. Собой я большею частию недоволен, а особливо первым актом. Петр Степанов в судье бесподобен. Женщинами я вообще недоволен, а особливо женой и дочерью: чрезвычайно нежизненны (М. Д. Львова-Синецкая как Анна Андреевна и Панова как Марья Антоновна. - Б. С.). Вчера играл я в четвертый раз, и публика каждый раз принимает ее теплее и теплее; театр всегда бывает полон". Подробное описание первой московской постановки Р. сохранилось в рецензии А.Б.В., опубликованном в № 9 журнала "Молва" за 1836 г. (ее автор до сих пор не установлен): "Видели ли вы "Ревизора"? - вот вопрос, несколько недель назад тому повторявшийся по Москве и в гостиных, и в гостиницах, и на перекрестках уличных, и на проулках загородных; вопрос, на который щедро сыпались ответы, столь же занимательные, как справки о чужом здоровье и видимом состоянии погоды. Не вините за это общество московское. Оно, как и всякое другое общество, отделывается готовыми, общими фразами, но в выборе этих фраз, самих по себе пошлых, есть у общества инстинкт особенный. Все говорят: вот приговор общества, приговор строгий, неизменяемый, как судьба человека, которая, в свою очередь, чуть ли не есть только известное отношение наше к обществу! В вопросе: видели ли вы "Ревизора"? - слышно уже разогретое любопытство Москвы; но чем же было возбуждено оно? Ни один журнал не подготовлял "Ревизору" в Москве приема ласкового; мы даже не могли читать его, а только об нем слышали, потому что он был какою-то библиографическою редкостью, которой нельзя было сыскать даже в книжной лавке А. С. Ширяева, неоспоримо первого нашего книгопродавца. Отчего - эта книгопродавческая тайна не подлежит нашему суждению; мы говорим это только к тому, что ни ласковые предупреждения журналистов, ни даже чтение пьесы не могло предрасположить в ее пользу. Только слух, молва, прилетающая из Петербурга в Москву, словно по чугунной дороге, возбудила внимание к новому произведению г. Гоголя, и любопытство участия возросло до высшей степени. Наконец показалось и в нашем добром городе Москве двадцать пять экземпляров желанного "Ревизора", и они расхватаны, перекуплены, перечитаны, зачитаны, выучены, превратились в пословицы и пошли гулять по людям, обернулись эпиграммами и начали клеймить тех, к кому придутся. Имена действующих лиц из "Ревизора" обратились на другой день в собственные названия: Хлестаковы, Анны Андреевны, Марьи Антоновны, Городничие, Земляники, Тяпкины-Ляпкины пошли под руку с Фамусовым, Молчалиным, Чацким, Простаковыми. И все это так скоро, еще до представления, сделалось. Посмотрите: они, эти господа и госпожи, гуляют по Тверскому бульвару, в парке, по городу, и везде, везде, где есть десяток народу, между ними, наверно, один выходец из комедии Гоголя... Отчего ж это? Кто вдвинул это сознание в жизнь действительную? Кто так сроднил его с нами?

Кто натвердил эти прозвания, эти фразы, эти обороты, смешные и неловкие? Кто? Это сделали два великие, два первые деятеля: талант автора и современность произведения. То и другое дали ему успех блистательный; но с тем вместе то и другое оскорбили бесталанность и ложное в понятиях, снабдили автора врагами, завистниками, клеветниками, на все готовыми. Напрасно Фаддей Венедиктович Булгарин и госп. профессор Осип Иванович Сенковский, уцепясь за "Ревизора" с первого явления, потащили его на плаху своих литературных суждений; напрасно печатно и письменно уверяли они, что это создание допотопное, нелепое, баснословное... "Ревизор", сыгранный на московской сцене без участия автора, великого комика жизни действительной, поставленный во столько же репетиций, как какой-нибудь воздушный водевильчик с игрою г-жи Репиной, "Ревизор" не упал в общественном мнении, хотя в том же мнении московский театр спустился от него, как барометр перед вьюгою; "Ревизор" стал, встряхнулся и разбрелся отдельными сценами по всем закоулкам Москвы и разыгрывается уже в гостиных и Замоскворечья смиренного и аристократического Арбата, при встрече гостя петербургского... "Ревизор", комедия в пяти действиях, в прозе, представлена в первый раз на московском театре мая 25 дня. Она дана была два раза сряду и потом, через два дня, в третий раз. Представлению предшествовала на хвосте афиши обыкновенная повестка или фраза, изобретенная кем-то очень остроумно для возбуждения любопытства публики и увеличения продажи билетов, то есть "в непродолжительном времени", и т. д. Эта фраза потеряла всё свое достоинство с тех пор, как надоела московской публике... Она в Москве очень похожа на еженедельное объявление, что "за Рогожской заставою дикая лошадь, поражая медведя зубами, приведет почтеннейшую публику в немалое удивление". Итак, это сильное средство не могло действовать на публику. Что ж на нее действовало? Инстинктивное чувство, которое сказало, что комедия Гоголя должна быть хороша, потому что в Петербурге обратила на себя просвещенное внимание, не понравилась только двоим, то есть гг. Сенковскому и Булгарину, покровителям посредственности, литераторам, занемогающим чужими успехами, людям раздражительным, припадочным, как все их соотечественники. Так точно и было. Никто не обращал на их горячность внимания, всякий желал видеть "Ревизора". Вперед и вдвое давали за билеты. Прибавьте и то, что в известном круге людей внимание к пиесе возбуждалось давно не виданным участием и заботливостью артистов. Эти последние обрадовались комедии Гоголя, потом, видимо, оробели, совершенно справедливо предчувствуя, что если и тут, так же как в "Горе от ума", будет неудача, то судьба их кончена во мнении публики, что в ней пробудится, наконец, неотразимое желание переменить персонажи, явится слишком ярко сознание их недостатков; а что значит актер, возбудивший в публике желание переменить себя? Он становится бутафорною принадлежностью. Это они предчувствовали, боялись комедии Гоголя, и, увы! предчувствие многих не обмануло. Так всегда необыкновенное произведение, появляясь, ведет за собою тысячи незаметных, повидимому ничтожных происшествий, понятий, чувств, которые составляют в сумме своей то, что называется движением вперед. Слово страшное для посредственности: она сознает это, но не признается в том и мстит

причине своего уничижения нелепою клеветою, кривыми толками или наглым уверением, что мы и видели. Наконец, был объявлен спектакль, и, к общему удовольствию, московская дирекция воспользовалась благоразумным распоряжением петербургской, то есть дозволила записывать билеты за несколько представлений желающим. Эта безделица, упущенная прежде из виду, стоила уже сотням людей здоровья. Теперь филантропия взяла свои права и у продажи билетов: спасибо ей! Наступило представление, театр полон, музыка загудела что-то старое слушать нечего - осмотримся. Спектакль в Малом театре. Большой переламывают? Следовательно, лож вполовину менее и публики также. По общему закону и порядку, места эти достаются лучшей публике, что и быть должно; а кто привык к Москве, тому стоит оглянуться в театре, чтобы видеть, какая публика посетила спектакль. На первом представлении "Ревизора" была в ложах бельэтажа и бенуара так называемая лучшая публика, высший круг; кресла, за исключением задних рядов, были заняты тем же обществом. Не раз уже было замечаемо, что в Москве каждый спектакль имеет свою публику. Взгляните на спектакль воскресный или праздничный: дают трагедию или "Филатку" (водевиль Н. Г. Григорьева. - Б. С.), играют Мочалов, Живокини; кресла и бельэтажи пусты, но верхние слои театра утыканы головами зрителей, и вы видите между лесу бород страусовые перья на желтых шляпках, раек полон чепчиками гризеток, обведенных темною рамою молодежи всякого рода. Посмотрите на тот же театр в будни, когда дают, например, "Невесту" (оперу французского композитора Обера. - Б. С.), "Роберта" (оперу "Роберт-Дьявол" немецкого композитора Мейербера. - Б. С.); посетители наоборот: низ, дорогие места полны, дешевые, верхние - пусты. И в этом разделении состояния и вкусов видна уже та черта, которая делит общество на две половины, не имеющие ничего между собою общего, которых жизнь, занятие, удовольствия разны, чуть ли не противоположны, и, следовательно, то, что может и должно действовать на одних, не возбуждает в других участия, занимательное для круга высшего не встречает сочувствия в среднем. Итак, публика, посетившая первое представление "Ревизора", была публика высшего тона, богатая, чиновная, выросшая в будуарах, для которых посещение спектакля есть одна из житейских обязанностей, не радость, не наслаждение. Эта публика стоит на той счастливой высоте жизни общественной, на которой исчезает мелочное понятие народности, где нет страстей, чувств, особенностей мысли, где все сливается и исчезает в непреложном, ужасающем простолюдина исполнении приличий. Эта публика не обнаруживает ни печали, ни радости, ни нужды, ни довольства не потому, чтобы их вовсе не испытывала, а потому, что это неприлично, что это вульгарно. Блестящий наряд и мертвенная, холодная физиономия, разговор из общих фраз или тонких намеков на отношения личные - вот отличительная черта общества, которое низошло до посещения "Ревизора", этой русской, всероссийской пиесы, возникшей не из подражания, но из собственного, быть может горького, чувства автора. Ошибаются те, которые думают, что эта комедия смешна, и только. Да, она смешна, так сказать, снаружи, но внутри это горе-гореваньице лыком подпоясано, мочалами испугано. И та публика, которая была в "Ревизоре", могла ли, должна ли была видеть эту подкладку, эту внутреннюю сторону

комедии? Ей ли, знающей лица, составляющие пиесу: городничего, бедного чиновника министерства, которому нечего есть, уездного судьи и т. п., ей ли, знающей эти лица только из рассказов своего управляющего, видевших их только разве в передней, объятых благоговейным трепетом, - ей ли, говорим, принять участие в этих лицах, которые для нас, простолюдинов, составляют власть, возбуждают страх и уважение? Мы сбираемся идти к судье или городничему, думаем, как говорить и что сказать ему, а публика, о которой говорим теперь, кличет судью, зовет городничего и велит им повременить, подождать или разве из особенной милости посидеть в зале. Различие необъятное: смотреть на предмет сверху или снизу - не заботиться об нем, если вовсе не презирать, и уважать, если не бояться! Что значит для богатого вельможи будничная, мелочная жизнь этих чиновников? И как много значит она, какое влияние имеет на класс, от них зависящий? С этой-то точки глядя на собравшуюся публику, пробираясь на местечко между действительными и статскими советниками, извиняясь перед джентльменами, обладающими несколькими тысячами душ, мы невольно думали: вряд ли "Ревизор" им понравится, вряд ли они поверят ему, вряд ли почувствуют наслаждение видеть в натуре эти лица, так для нас страшные, которые вредны не потому, что сами дурно свое дело делают, а потому, что лишают надежды видеть на местах своих достойных исполнителей распоряжений, направленных к благу общему. Так и случилось. "Ревизор" не занял, не тронул, только рассмешил слегка бывшую в театре публику, а не порадовал ее. Уже в антракте был слышен полуфранцузский шопот негодования, жалобы, презрения: "Mauvais genres!" (дурной стиль, фр.) - страшный приговор высшего общества, которым клеймит оно самый талант, если он имеет счастье ему не нравиться. Пиеса сыграна, и, осыпаемая местами аплодисманом, она не возбудила ни слова, ни звука по опущении занавеса. Так должно было быть, так и случилось! Ни один актер не был вызван, и мы слышали, выходя из театра, как иные в изумлении спрашивали: что же это значит? Эти иные забыли различие публики или не знают, что даже в удовольствиях уже прошла та неизгладимая черта, которая делит общество, достигнувшее известного развития, на две параллельные, никогда не сходящиеся полосы. Смешно другим покажется, что мы увидали это в представлении "Ревизора"; а тут-то, где менее всего требований, где, казалось бы, все одинаково могут одобрять или нет спектакль, тут-то, в этих, по-видимому, безделицах, и обнаруживается то, что каждая сторона скрывает так тщательно: высшая - из благоразумия, низшая - боясь показаться необразованною, не смея сказать, что ей не нравится то, что любят люди знатные. Недоразумение, и только, как и всякая странность общественная!... Первую роль занимал г. Щепкин, и выполнил ее по средствам своим хорошо. Он не усиливал, не пародировал нигде, но все-таки, он, представляя городничего, не был им, не превратился в него, а этого должно от него требовать, потому что он один из тех людей, которые действуют с знанием. Вообще лучшие сцены его были: распоряжение к принятию ревизора, сцена с купцами и мечтания с женою. При уме и сметливости городничего, который должен же был понять, что молодой человек не может уж быть опасен, кажется, он бы мог менее быть принужден, чем был г. Щепкин пред Хлестаковым; он не должен был бояться

его слишком впоследствии, а только соблюдать глубокое приличие, и только... Скажем все однако сердечное спасибо г. Щепкину за выполнение своей роли. Если он не создал, то по крайней мере показал нам городничего; сверх того, при ее выполнении, он оставил многие привычки свои, и потому-то не был похож на себя, как говорили иные ценители театра, не понявшие, что на сцене должно видеть Городничего, а не Богатонова (героя комедий М. Н. Загоскина "Г. Богатонов, или Провинциал в столице" (1817) и "Богатонов в деревне, или Сюрприз самому себе" (1822). - Б. С.). При всем том мы должны упрекнуть г. Щепкина, а вместе с ним и всех артистов без исключения за эту болтовню, скороговорку, вовсе не согласную с духом пьесы, и если кто-либо будет утверждать противное, беремся указать ему неоспоримые признаки, что весь ход пьесы, для того, чтобы вполне выразить характер провинциальности, должен быть тих, медлен, осмотрительно важен. Поверьте, нигде и никогда в уездном городе нет такой быстроты в действиях, мыслях, словах, поступках: там никто не торопится жить, потому что жизнь там бесцветна, тянется однообразно: кто же станет торопиться жить? Медленность, эта напрасная трата времени, есть там наслаждение, потому что этого времени слишком много для провинциальной жизни. Право, на недельное событие и происшествие иного города довольно бы получасу петербургского; как там всё сжато в времени, так тут всё растягивается, чтобы заместить пустоту его хоть пустяками. И вот где причина повсеместности и необходимости Бобчинских и Добчинских... Но это дело стороннее. Если не поверят нам на слово, пусть требуют доказательств: мы дадим их. Мы твердо уверены, что основным характером исполнения комедий Гоголя должны быть медленность и вялость всех лиц, которые хотя и оживились чрезвычайным происшествием, но не могли же в два-три часа утратить привычек целой жизни; самая суетливость их должна быть тиха, мерна, ленива, как все мысли, которые не вяжутся в их головах, не потому, чтобы они были вовсе глупы, а потому, что отвыкли мыслить, обленились, завязли в колее своей, опустились нравственно. И этого-то именно ни один актер, кроме г. Потанчикова (исполнитель роли почтмейстера. - Б. С.) не выдерживал; почему игра его отделилась от всех, но, не имея себе соответствия в прочих, казалась не столь прекрасною, какова была в самом деле.. Г. Потанчиков был отменно прост, естествен, даже не позволил себе пародировать костюма, что сделали гг. Степанов, Баранов (исполнявшие роли Судьи и Земляники. - Б. С.) и другие. Заметим здесь г. Степанову один раз навсегда, что передразнивание недостойно таланта; надобно создавать роли, а не копировать с кого бы то ни было. Больше не будем говорить ни о ком, кроме гг. Орлова и Ленского (И. В. Орлов играл Осипа, а Д. Т. Ленский - Хлестакова. - Б. С.); остальные ниже замечаний. Г. Орлов хорошо взялся за роль вовсе не его, и выполнил ее только удачно. Он умно воспользовался всеми своими средствами и был хорош, а старание его ручается, что будет еще лучше. Но г. Ленский? - Ссылаемся на самого его: он верно согласится с нами. Он верно согласится, что доселе еще не попал на свою роль, и, несмотря на то, что менял игру, каждое представление было неудачно. Особливо в сцене хвастовства он очень вял, и, что всего страннее, позволяет себе переменять слова роли. Ужли думает он поправлять Гоголя? Вообще представление "Ревизора" наводит нас на мысль

новую. Нам бы надобно два театра, потому что публика делится на два разряда огромные. Но пока этого нет, будем ходить наслаждаться туда же, куда другие ездят отдохнуть и вздремнуть после обеда; к счастию, они спят так сладко, что и не вздрагивают при самых шумных взрывах истинно любящей искусство публики". Реакцию публики на Р. Гоголь позднее запечатлел в "Театральном разъезде после представления новой комедии".

13/25 января 1837 г. Гоголь из Парижа писал Н. Я. Прокоповичу: "Да скажи, пожалуйста, с какой стати пишете вы все про "Ревизора"? В твоем письме и в письме Пащенка, которое вчера получил Данилевский, говорится, что "Ревизора" играют каждую неделю, театр полон и проч. ... и чтобы это было доведено до моего сведения. Что это за комедия? Я, право, никак не понимаю этой загадки. Во-первых, я на "Ревизора" - плевать, а во-вторых... к чему это? Если бы это была правда, то хуже на Руси мне никто бы не мог нагадить. Но, слава Богу, это ложь: я вижу через каждые три дня русские газеты. Не хотите ли вы из этого сделать что-то вроде побрякушки и тешить меня ею, как ребенка? И ты! Стыдно тебе! ты предполагал во мне столько мелочного честолюбия! Если и было во мне что-нибудь такое, что могло показаться легко меня знавшему тщеславием, то его уже нет. Пространства, которые разделяют меня с тобою, поглотили всё то, за что поэт слышит упреки во глубине души своей. Мне страшно вспомнить обо всех моих мараньях. Они в роде грозных обвинителей являются глазам моим. Забвенья, долгого забвенья просит душа. И если бы появилась такая моль, которая бы съела внезапно все экземпляры "Ревизора", а с ним "Арабески", "Вечера" и всю прочую чепуху, и обо мне, в течение долгого времени, ни печатно, не изустно не произносил никто ни слова, - я бы благодарил судьбу. Одна только слава по смерти (для которой, увы! не сделал я до сих пор ничего) знакома душе неподдельного поэта. А современная слава не стоит копейки".

В письме В. А. Жуковскому из Рима 6/18 апреля 1837 г. Гоголь признался, что ему "памятно до гроба то внимание", которое император Николай I оказал "Ревизору".

19 ноября (1 декабря) 1838 г. Гоголь из Рима писал М. П. Погодину о работе над новой редакцией Р.: "Ты хочешь по твоей редкой доброте и любви печатать "Ревизора". Мне, признаться, хотелось бы немного обождать... Я начал переделывать и поправлять некоторые сцены, которые были написаны довольно небрежно и неосмотрительно. Я хотел бы издать его теперь исправленного и совершенного. Но если ты находишь, что второе издание необходимо нужно и без отлагательства, то располагай по своему усмотрению".

В. Г. Белинский в статье "Горе от ума", опубликованной в 1-м номере "Отечественных записок" за 1840 г., отмечал, что в Р. "поэт выразил идею отрицания жизни, идею призрачности, получившую под его художническим резцом свою объективную действительность... мы видим... пустоту, наполненную деятельностию мелких страстей и мелкого эгоизма... Двери отворяются с шумом, и вбегают Петры Ивановичи Бобчинский и Добчинский. Это городские шуты, уездные сплетники; их все знают как дураков и обходятся с ними или с видом презрения, или с видом покровительства. Они бессознательно это чувствуют и потому изо всей мочи перед всеми подличают

и, чтобы только их терпели, как собак и кошек в комнате, всем подслуживаются новостями и сплетнями, составляющими субъективную, объективную и абсолютную жизнь уездных городков. Вообще с ними обращаются без чинов, как с собаками и кошками: надоедят - выгоняют. Их дни проходят в шатанье и собирании новостей и сплетней. Обогатясь подобной находкой, они вдруг вырастают сознанием собственной важности и уже бегут к знакомым смело, в уверенности хорошего приема. "Чрезвычайное происшествие!" _ кричит Бобчинский. "Неожиданное известие!" _ восклицает Добчинский, вбегая в комнату городничего, где все настроены на один лад, а особливо сам городничий весь сосредоточен на idee fixe... Такой наблюдательный, что даже в тарелки заглядывал! Боже мой, да если бы в эту минуту бедному городничему сказали о наблюдательности его кучера, он принял бы его за ревизора, отличительным признаком которого в его испуганном воображении непременно должна быть наблюдательность... Видите ли, с каким искусством поэт умел завязать эту драматическую интригу в душе человека, с какою поразительною очевидностию умел он представить необходимость ошибки городничего?.. В "Ревизоре" нет сцен лучших, потому что нет худших, но все превосходны, как необходимые части, художественно образующие собою единое целое, округленное внутренним содержанием, а не внешнюю формою и потому представляющие собою особый и замкнутый в самом себе мир".

21 ноября (3 декабря) 1842 г. Гоголь из Рима писал М. С. Щепкину: "Позаботьтесь больше всего о хорошей постановке "Ревизора"! Слышите ли? я говорю вам это очень сурьезно! У вас, с позволенья вашего, ни в ком ни на копейку нет чутья! Да, если бы Живокини был крошку поумней, он бы у меня вымолил на бенефис себе "Ревизора" и ничего бы другого вместе с ним не давал, а объявил бы только, что будет "Ревизор" в новом виде, совершенно переделанный, с переменами, прибавленьями, новыми сценами, а роль Хлестакова будет играть сам бенефициант - да у него битком бы набилось народу в театр. Вот же я вам говорю, и вы вспомните мое слово, что на возобновленного "Ревизора" гораздо будут ездить, чем на прежнего".

12/24 октября 1846 г. Гоголь из Страсбурга писал С.П. Шевыреву о новом издании Р.: "Ревизор" должен быть напечатан в своем полном виде, с тем заключением, которое сам зритель не догадался вывесть. Заглавие должно быть такое: "Ревизор с Развязкой. Комедия в пяти действиях, с заключением. Соч. Н. Гоголя. Издание четвертое, пополненное, в пользу бедных". Играться и выйти "Ревизор" должен не прежде появленья книги "Выбранные места": иначе всё не будет понятно вполне". Об этом же издании он сообщал 21 октября (2 ноября) 1846 г. из Ниццы графине А. М. Виельгорской: "В Петербурге и в Москве будет играться "Ревизор" в новом виде, с присовокупленьем его окончанья или заключенья, в бенефис двух первых наших комических актеров. Ко дню представления будет отпечатана пиеса отдельною книгою с присоединением доселе никому не известного ее окончания. Продаваться она будет в пользу бедных и может распродаться в большом количестве, стало быть, принести значительную сумму". В тот же день Гоголь писал П. А. Плетневу: "В Петербург приедет Щепкин хлопотать о постановке "Ревизора"... Прими Щепкина как можно получше... А "Ревизора"... поднеси... на процензурованье...

присоединивши к тому и "Развязку Ревизора"... "Ревизор" должен выйти вдруг разом и в Петербурге, и в Москве, в двух изданиях (на московском выставится четвертое, на петербургском - пятое)... От графини Анны Михайловны Виельгорской ты получишь "Предуведомленье к Ревизору", из которого узнаешь, каким бедным собственно принадлежат деньги за "Ревизора" и каким образом им должна быть произведена раздача". К письму А. М. Виельгорской было приложено "Предуведомленье к Ревизору", где говорилось: "Почти все наши русские литераторы жертвовали чем-нибудь от трудов своих в пользу неимущих: одни издавали с этой целью сами книги, другие не отказывались участвовать в изданиях, собираемых из общих трудов, третьи, наконец, составляли нарочно для того публичные чтения; один я отстал от прочих. Желая хотя поздно загладить свой проступок, назначаю в пользу неимущих четвертое и пятое изданья "Ревизора", ныне напечатанные в одно и то же время в Москве и в Петербурге, с присовокуплением новой, неизвестной публике пиэсы: "Развязка Ревизора". По разным причинам и обстоятельствам пиэса эта не могла быть доселе издана и в первый раз помещается здесь. Деньги, выручаемые за оба эти издания, назначаются в пользу тех неимущих, которые, находясь на самых незаметных и маленьких местах, получают самое небольшое жалованье и этим небольшим жалованьем, едва достаточным на собственное прокормление, должны помогать, а иногда даже и содержать еще беднейших себя родственников своих, словом, в пользу тех, кому досталась горькая доля тянуть двойную тягость жизни. А потому прошу всех моих читателей, которые сделали уже начало доброму делу покупкой этой книги, сделать ему и доброе продолжение. А именно: собирать по возможности и по мере досуга сведения обо всех, наиболее нуждающихся как в Москве, так и в Петербурге, не пренебрегая скучным делом входить самому лично в их трудные обстоятельства и доставлять все таковые сведения тем, на которых возложена задача вспомоществований. Много происходит вокруг нас страданий, нам неизвестных. Часто в одном и том же месте, в одной и той же улице, в одном и том же с нами доме изнывает человек, сокрушенный весь тяжким игом нужды и ею порожденного сурового внутреннего горя, которого вся участь, может быть, зависела от одного нашего пристального на него взгляда, - но взгляда на него мы не обратили; беспечно и беззаботно продолжаем жизнь свою, почти равнодушно слышим о том, что такой-то, живший с нами рядом, погибнул, не подозревая того, что причиной этой погибели было именно то, что мы не дали себе труда пристально взглянуть на него. Ради Самого Христа, умоляю не пренебрегать разговорами с теми, которые молчаливы и неразговорчивы, которые скорбят тихо, претерпевают тихо и умирают тихо, - так что даже редко и по смерти их узнается, что они умерли от невыносимого бремени своего горя. Всех же тех моих читателей, которые, будучи заняты обязанностями и должностями высшими и важнейшими, не имеют через то досуга входить непосредственно в положения бедных, прошу не оставить посильным денежным вспоможеньем, препровождая его к одному из раздавателей таких вспомоществований (в Петербурге Гоголь назначил в этом качестве княгиню О. С. Одоевскую, графиню А. М. Виельгорскую, графиню С. А. Дашкову, А.О. Россети, Ю. Ф. Самарина и В. А. Муханова, а в Москве - А. П. Елагину, Е. А.

Свербееву, В. С. Аксакову, А. С. Хомякову, В. А. Панова, Н. Ф. Павлова и П. В. Киреевского. - Б. С.)... Считаю обязанным при этом уведомить, что избраны мною для этого дела те из мною знаемых лично людей, которые, не будучи озабочены излишне собственными хлопотами и обязанностями, лишающими нужного досуга для подобных занятий, влекутся сверх того собственной душевной потребностью помогать другому и которые взялись радостно за это трудное дело, несмотря на то, что оно отнимает от них множество приятных удовольствий светских, которыми неохотно жертвует человек. А потому всяк из дающих может быть уверен, что помощь, ими произведенная, будет произведена с рассмотрением: не бросится из нее и копейка напрасно. Не помогут они по тех пор человеку, пока не узнают его близко, не взвесят всех обстоятельств, его окружающих, и не получат таким образом вразумленья полного, каким советом и напутствием сопроводить поданную ему помощь. В тех же случаях, где страждущий сам виной тяжелой участи своей и в дело его бедствия замешалось дело его собственной совести, помощь произведут они не иначе, как через руки опытных священников и вообще таких духовников, которые не в первый раз имели дело с душой и совестью человека. Хорошо, если бы всяк из тех, которые будут собирать сведения о бедных, взял на себя труд изъясняться об этом с раздавателями сумм лично, а не посредством переписки: в разговорах объясняются легко все те недоразумения, которые всегда остаются в письмах. Всяк может усмотреть сам уже по роду самого дела, к кому из означенных лиц ему будет приличней, ловче и лучше обратиться, принимая в соображение и то, в каком деле особенно нужно сострадательное участие женщины, а в каком твердое, братски подкрепляющее слово мужа". Мздоимцам, осмеянным в Р., Гоголь противопоставлял нарождающийся российский "средний класс" бедных, но честных чиновников, истово и бескорыстно исполняющими свой служебный долг. Выразителем надежд и чаяний именно этого социального слоя выступал писатель. Таким людям он и собирался помочь новым изданием Р. Однако осуществить свое благородное намерение писателю не удалось. Уже 8/20 января 1847 г. Гоголь сообщил С. Т. Аксакову, что и издание, и представление Р. им отложены. Это было связано с переделкой заключения пьесы. Но ее издание в таком составе, вместе с "Развязкой Ревизора", так и не осуществилось, поскольку "Развязка Ревизора" не была разрешена к постановке театральной цензурой и вызвала возражение актеров, которым предстояло ее играть. М. С. Щепкин писал 22 мая 1847 г. Гоголю: "...До сих пор я изучал всех героев "Ревизора" как живых людей... Не давайте мне никаких намеков, что это-де не чиновники, а наши страсти... это люди, настоящие живые люди, между которыми я взрос и почти состарился... Вы из целого мира собрали несколько лиц в одно сборное место, в одну группу, с этими людьми я совершенно сроднился, и вы хотите их отнять у меня". Около 10 июля н. ст. 1847 г. Гоголь ответил М. С. Щепкину: "Письмо ваше, добрейший Михаил Семенович, так убедительно и красноречиво, что если бы я и точно хотел отнять у вас городничего, Бобчинского и прочих героев, с которыми, вы говорите, сжились как с родными по крови, то и тогда бы возвратил вам вновь их всех, может быть, даже и с наддачей лишнего друга. Но дело в том, что вы, кажется, не так поняли последнее письмо мое. Прочитать "Ревизора" я именно

хотел затем, чтобы Бобчинский сделался еще больше Бобчинским, Хлестаков Хлестаковым, и словом - всяк тем, чем ему следует быть. Переделку же я разумел только в отношении к пиесе, заключающей "Ревизора". Понимаете ли это? В этой пиесе я так неловко управился, что зритель непременно должен вывести заключение, что я из "Ревизора" хочу сделать аллегорию. У меня не то в виду. "Ревизор" "Ревизором", а примененье к самому себе есть непременная вещь, которую должен сделать всяк зритель изо всего, даже и не из "Ревизора", но которое приличней ему сделать по поводу "Ревизора". Вот что следовало было доказать по поводу слов: "разве у меня рожа крива?" Теперь осталось всё при своем. И овцы целы, и волки сыты. Аллегория аллегорией, а "Ревизор" - "Ревизором". Странно, однако ж, что свиданье наше не удалось. Раз в жизни пришла мне охота прочесть как следует "Ревизора", чувствовал, что прочел бы действительно хорошо, _ и не удалось. Видно, Бог не велит мне заниматься театром. Одно замечанье относительно городничего примите к сведению. Начало первого акта несколько у вас холодно. Не позабудьте также: у городничего есть некоторое ироническое выражение в минуты самой досады, как, например, в словах: "Так уж, видно, нужно. До сих пор подбирались к другим городам; теперь пришла очередь и к нашему". Во втором акте, в разговоре с Хлестаковым, следует гораздо больше игры в лице. Тут есть совершенно различные выраженья сарказма. Впрочем, это ощутительней по последнему изданию, напечатанному в "Собрании сочинений".

10 января 1848 г. Гоголь писал В. А. Жуковскому о генезисе Р.: "Мой смех вначале был добродушен; я совсем не думал осмеивать кого-либо с какой-нибудь целью, и меня до такой степени изумляло, когда я слышал, что обижаются и даже сердятся на меня целиком сословия и классы общества, что я наконец задумался. "Если сила смеха так велика, что ее боятся, стало быть, ее не следует тратить по-пустому". Я решился собрать все дурное, какое только я знал, и за одним разом над всем посмеяться - вот все происхождение "Ревизора"! Это было первое мое произведение, замышленное с целью произвести доброе влияние на общество, что, впрочем, не удалось; в комедии стали видеть желание осмеять узаконенный порядок вещей и правительственные формы, тогда как у меня было намерение осмеять только самоуправное отступление некоторых лиц от форменного и узаконенного порядка (т. е., Гоголь следовал принципу: законы святы, только исполнители - лихие супостаты. - Б. С.). Я был сердит и на зрителей, меня не понявших, и на себя самого, бывшего виной тому, что меня не поняли. Мне хотелось убежать от всего. Душа требовала уединения и обдуманья строжайшего своего дела".

Как обратил внимание Д. С. Мережковский, точнее всего идею Р. Гоголь выразил в письме к неизвестному, зашифрованному инициалами N. F., (возможно, это - лейб-медик Николай Федорович Арендт (1785-1859)) от 6 декабря 1849 г.: "Я совершенно убедился в том, что сплетня плетется чертом, а не человеком. Человек от праздности и сглупа брякнет слово без смысла, которого бы и не хотел сказать (не так ли именно Бобчинский и Добчинский брякнул слово "ревизор"? - комментарий Мережковского). Это слово пойдет гулять; по поводу его другой отпустит в праздности другое; и мало-помалу сплетется сама собою история, без ведома всех. Настоящего автора ее безумно и

отыскивать, потому что его не отыщешь... Не обвиняйте никого... Помните, что все на свете обман, все кажется нам не тем, чем оно есть на самом деле... Трудно, трудно жить нам, забывающим всякую минуту, что будет наши действия ревизовать Тот, Кого ничем не подкупишь". Черт попутал Бобчинского и Добчинского разнести слух о Хлестакове - ревизоре, черт дернул городничего и прочих чиновников им поверить, черт побуждает "отцов города" брать взятки и воровать, но держать ответ в финале приходится перед Богом самым грозным ревизором.

Некоторые эпизоды Р. возникли уже во время репетиций. Так, один из не появляющихся на сцене, а только упоминаемых квартальных первоначально носил "говорящую фамилию" Кнут, но эта фамилия была заменена на Прохоров. Как это произошло, вспоминал актер А. А. Алексеев: "В сороковых годах служил в Александринском театре небольшой актер О. О. Прохоров, невоздержанный любитель рюмочек. Он упоминается Гоголем в "Ревизоре", когда городничий спрашивает квартального: " - Где Прохоров? - Прохоров в частном доме, да только к делу не может быть употреблен. - Как так? - Да так: привезли его поутру мертвецки. Вот уже два ушата воды вылили, до сих пор не протрезвился". Эта сцена вписана была Гоголем на одной из репетиций, когда на оклик городничего, которого изображал И. И. Сосницкий, вбежал какой-то выходной актер и стал читать роль квартального, а так как на предыдущих репетициях эту роль репетировал Прохоров, то Сосницкий спросил от себя: "А Прохоров где?" - "Опять запьянствовал..." Гоголю так понравился этот частный разговор, что он тут же вставил его в свою комедию..." Тут мемуарист лишь немного ошибся: в действительности, согласно сохранившемуся распределению ролей в постановке Александринского театра, Осип Осипович Прохоров (Дальмаз) должен был играть Бобчинского, но, очевидно, из-за пьянства был в последний момент заменен актером Поповым.

В последней редакции Р. Гоголь подробно прописал заключительную немую сцену. Первоначально ее ремарка была очень короткой: "Все издают звук изумления и остаются с открытыми ртами и вытянутыми лицами. Немая сцена". В окончательном же тексте комедии читаем: "Произнесенные слова поражают как громом всех. Звук изумления единодушно излетает из дамских уст; вся группа, вдруг переменивши положение, остается в окаменении. Немая сцена. Городничий посередине в виде столба, с распростертыми руками и закинутою назад головою (подобно превратившейся в соляной столб жене библейского Лота, посмевшего обернуться на испепеленные Божьим огнем Содом и Гоморру. - Б. С.). По правую сторону его жена и дочь с устремившимся к нему движеньем всего тела; за ними почтмейстер, превратившийся в вопросительный знак, обращенный к зрителям; за ним Лука Лукич, потерявшийся самым невинным образом; за ним, у самого края сцены, три дамы, гостьи, прислонившиеся одна к другой с самым сатирическим выраженьем лица, относящимся прямо к семейству городничего. По левую сторону городничего: Земляника, наклонивший голову несколько набок, как будто к чему-то прислушивающийся; за ним судья с растопыренными руками, присевший почти до земли и сделавший движение губами, как бы хотел посвистать или произнесть: "Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!" За ним Коробкин, обратившийся к зрителям с

прищуренным глазом и едким намеком на городничего; за ним, у самого края сцены, Бобчинский и Добчинский с устремившимися движеньями рук друг к другу, разинутыми ртами и выпученными друг на друга глазами. Прочие гости остаются просто столбами. Почти полторы минуты окаменевшая группа сохраняет такое положение". Главный грешник здесь - Городничий, превративший вверенный ему город в новый Содом. Потому-то он более других боится Высшего Ревизора. Остальные, у кого грешки мелки, скорее удивлены, чем потрясены, и даже ехидничают по отношению к Городничему и его семейству. Они еще не задумались всерьез о том, что придется предстать перед главным и последним ревизором. А сравнение испытанного персонажами потрясения с ударом грома подчеркивает, что не столько земная, сколько Божья кара грозит персонажам. Мысль Гоголя заключалась в том, что зрители должны смеяться не только над Городничим и другими чиновниками, но и над самими собой, над собственными пороками и недостатками. В "Развязке Ревизора" он разъяснял это от лица Петра Петровича, "человека большого света": "...Вероятно, не одному из сидевших в театре показалось, что автор как бы к нему самому обращает эти слова: "Над собой смеетесь!"

А. А. Григорьев в статье "Гоголь и его последняя книга" справедливо указал, что "в "Ревизоре" один смех только выступает честным и карающим лицом, слышен из-за хвастовства Хлестакова, из-за богохульных речей городничего". 13 декабря 1868 г. А. К. Толстой писал своему другу журналисту Б. М. Маркевичу: "Но если один монарх - дурен, а другой - слаб, разве из этого следует, что монархи не нужны? Если бы было так, из "Ревизора" следовало бы, что не нужны городничие..."

Хорошей иллюстрацией к порокам, бичуемым в Р., служит рассказ генерал-адъютанта И. С. Фролова, цитируемый в "Воспоминаниях" Н. П. Боголюбова. Император Николай I однажды приказал выяснить, кто из губернаторов не берет взяток даже с откупщиков (это был практически узаконенный вид взяточничества). Таковых из полусотни губернаторов оказалось только двое: киевский губернатор миллионер И. И. Фундуклей и ковенский губернатор генерал-майор А. А. Радищев, сын автора "Путешествия из Петербурга в Москву", прежде служивший в Отдельном корпусе жандармов. По этому поводу император заметил: "Что не берет взяток Фундуклей - это понятно, потому что он очень богат, ну а если не берет их Радищев, значит, он чересчур уж честен". Гоголь же надеялся, что благодаря Р. число честных людей среди чиновников хоть немного, но увеличится.

А. Ф. Лосев в книге "Диалектика мифа" (1929) использует образы Р. для иллюстрации мысли о наличии в человеческой душе сразу нескольких внутренних голосов: "...Оспаривали многие, когда я говорил о существовании определенной высоты в звуках и голосах, раздающихся в душе. Прежде всего об этих самых голосах. - Напрасно думают, что тут только иносказание. Когда я испытываю колебание и какие-то две мысли борются во мне, - вовсе не во мне тут дело. Мое дело сводится тут только к самому выбору. Но я никогда не поверю, чтобы борющиеся голоса во мне были тоже мною же. Это, несомненно, какие-то особые существа, самостоятельные и независимые от меня, которые по своей собственной воле вселились в меня и подняли в душе моей спор и шум. В

гоголевском "Ревизоре" почтмейстер, распечатавши письмо Хлестакова, так описывает свое состояние: "Сам не знаю. Неестественная сила погубила. Призвал было уже курьера с тем, чтобы отправить его с эштафетой, но любопытство такое одолело, какого еще никогда не чувствовал. Не могу, не могу, слышу, что не могу! Тянет, так вот и тянет! В одном ухе так вот и слышу : "Эй, не распечатывай! Пропадешь как курица"; а в другом словно бес какой шепчет: "Распечатай, распечатай, распечатай!" И как придавил сургуч, - по жилам огонь, а распечатал - мороз, ей-Богу, мороз. И руки дрожат, и все помутилось". Конечно, самому почтмейстеру принадлежит только выбор между двумя советниками и последующие ощущения, но сами эти два советника - отнюдь не он сам, а несомненно, другие существа. Почтмейстер сравнивает одного из них с бесом. Я лично думаю, что если это бес, то какой-нибудь из мелких, так, из шутников каких-нибудь. Не обязательно ведь, чтобы бес был крупен и важен. Есть и такие, которые просто смешат и балуются, щекочут, дурачатся; они почти безвредны". Пожалуй, в Р. к мелким бесам, введшим опытного Городничего в обман, следует причислить Хлестакова. И точно так же, как почтмейстеру в Р., в "Вие" философу Хоме Бруту нашептывают два голоса, нечистая сила и Бог: "Не гляди!" - шепнул какой-то внутренний голос философу. Не вытерпел он и глянул.

- Вот он! - закричал Вий и уставил на него железный палец. И все, сколько ни было, кинулось на философа. Бездыханный грянулся он на землю, и тут же вылетел дух из него от страха".

РЕПНИНА Варвара Николаевна (1809-1891), княжна. Р. познакомилась с Гоголем в 1836 г. в Бадене и до самой своей смерти оставалась его горячей поклонницей. Р. так рассказывала В. И. Шенроку о своем знакомстве с Гоголем: "Мы скоро с ним сошлись, он был очень оживлен, любезен и постоянно смешил нас".

По ее словам, Гоголь "ежедневно заходил к ним, сделался совершенно своим человеком и любил беседовать с бывшей своей ученицей, Марьей Петровной Балабиной, и с ее матерью, Варварой Осиповной. Княжна Репнина, заметив пристрастие Гоголя к десерту и лакомствам, старалась ему угодить и, желая доставить ему удовольствие, собственноручно приготовляла для него компот, который чрезвычайно нравился Гоголю; такой компот он обыкновенно называл "главнокомандующим всех компотов". В это время Гоголь неподражаемо-превосходно читал М. П. Балабиной "Ревизора" и "Записки сумасшедшего" и своим чтением приводил всех в восторг; а когда он дошел однажды до того места, в котором Поприщин жалуется матери на производимые над ним истязания, В. О. Балабина не могла выдержать и зарыдала". Р. оставила подробные воспоминания "О Гоголе", опубликованные в "Русском архиве" в 1890 г. Она писала: "Гоголь рассказывал, что в нежинском лицее был у них профессор греческого языка, грек (П. Н. Иеропес. - Б. С.). Он читал студентам Гомера, которого никто из них не понимал. Прочитав несколько строк, он подносил два пальца ко рту, щелкал и, отводя пальцы, говорил: "чудесно!" - с сильным греческим выговором. Потом, прочитав о каком-то сражении, он перевел греческий текст словами: "и они положили животики свои на ножики", и весь класс разразился громким смехом. Тогда профессор сказал: "По-русски

это смешно, а по-гречески очень жалко". Возможно, этот эпизод со сражением из "Илиады" трансформировался в рассказ Городничего об "учителе по исторической части" в "Ревизоре": "Он ученая голова - это видно, и сведений нахватал тьму, но только объясняет с таким жаром, что не помнит себя... как добрался до Александра Македонского, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал, что пожар, ей-Богу! Сбежал с кафедры и что силы есть хвать стулом об пол. Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? от этого убыток казне". Р. вспоминала новую встречу с Гоголем в Риме в 1837 г.: "Мой отец часто разговаривал с Гоголем, но они не сходились и почти всегда спорили. Отцу сильно не нравился сатирический склад ума Гоголя, и он был при том недоволен его произведениями, особенно "Миргородом". Напротив, В. О. Балабина очень любила Гоголя. Нас нередко навещал аббат Ланчи. Помню, как однажды вечером Гоголь у нас, не переставая, говорил по-русски (он был тогда, что называется, в ударе), так что аббат, не понимая нашего языка, не мог во весь вечер проронить ни слова. Варвара Осиповна осталась недовольна Гоголем и бранила его за недогадливость и неучтивость". О жизни Гоголя в Италии Р. сообщила ряд интересных подробностей, связанных с работой над "Мертвыми душами": "В Кастелламаре у нас было две дачи, потому что нас было большое общество. Когда брат мой с семейством уехал, Гоголь оставался на его даче, где находилась одна из наших горничных, очень больная, для которой мать моя наняла сиделку; она же служила у Гоголя. Обедал он на нашей даче; обе принадлежали одному хозяину и разделялись дорогою. Гоголь часто сидел в моей комнате. Туда приходил также молодой архитектор Д. Е. Ефимов, с которым Гоголь постоянно спорил. Гоголь тогда страдал желудком, и мы постоянно слышали, как он описывал свои недуги; мы жили в его желудке. Но когда он получил письмо от своего друга А. С. Данилевского о том, что он в Париже болен, без денег, и не может поэтому вернуться в Россию, то Гоголь бросил все свое лечение, занял у моего зятя Кривцова и у меня денег (которые он нам возвратил, приехавши из Франции) и поспешил выручить из беды Данилевского (это произошло в августе - сентябре1838 г. - Б. С.). В Кастелламаре он читал нам первые две главы второго тома "Мертвых душ" и тогда, или позже немного, говорил, что первый том - грязный двор, ведущий к изящному строению". В июле 1838 г. больной Гоголь писал Р. из Кастелламаре: "Осужденный докторами на лежание в постели почти весь сегодняшний день, я совершенно не могу взяться за ум, как нужно себя вести в этом для меня конфузном и совершенно новом состоянии, и потому прибегаю к вам за советом. Вам совершенно знакомо это состояние. Сделайте милость, научите, нужно ли почти ничего не делать или совершенно ничего не делать. За этим единственно и отправляется сия посланница, летящая быстрее ветра посредством своих крепких, хотя несколько грязных, ног. Если вы находите, что хорошо следовать первому из этих правил, то очень обяжете меня, когда одолжите который-нибудь из волюмов Гофмана. Кажется, что в теперешнее время мне будут в пору фантастические сказки. Прошу великодушного извинения за эту тревогу, которую наносит вам, княжна, моя докучная натура, уверенная слишком в вашей доброте... Позвольте узнать, будет ли куда-нибудь услан ваш управляющий ослиными делами signor Dominico. Я хотел бы послать

его в Ливену на квартиру за моим несчастным паспортом, о котором я совершенно не имею никаких слухов". Р. засвидетельствовала, как у Гоголя в одно и то же время соседствовали печаль и веселость, глубокое христианское чувство и вполне светские веселые рассказы: "Однажды, после смерти молодого графа Виельгорского, на вилле Фальконьери, где мы жили, я застала Гоголя в моей комнате с книгою в руках и спросила его, что это за книга; он мне ее передал. Это была Библия; не первом листе, дрожащей рукой покойного Виельгорского, написано было: "другу моему Николаю. Вилла Волконская". Гоголь сказал мне: - "Эта книга вдвое мне святее". В Риме Гоголь часто к нам ходил и был очень забавен; от его рассказов я хохотала во все горло". Следующая встреча Р. с Гоголем произошла после его возвращения из путешествия на Восток, весной 1848 г., когда писатель находился в Одессе в карантине в связи с эпидемией холеры. Она вспоминала: "Кажется, по возвращении из Иерусалима Гоголь вдруг приехал к нам в Яготино, куда мы с моей матерью приезжали на время из Одессы. Лицо его носило отпечаток перемены, которая воспоследовала в душе его. Прежде ему ясны были люди; но он был закрыт для них, и одна ирония показывалась наружу. Она колола их острым его носом, жгла его выразительными глазами; его боялись. Теперь он сделался ясным для других; он добр, он мягок, он братски сочувствует людям, он так доступен, он снисходителен, он дышит христианством. - Гуляя со мной по саду, Гоголь восхищался деревьями и сравнивал их с мизерной растительностью Одессы. Я понимала, что ивы, клены, липы и пирамидальные тополи его восхищали". Следующий раз Гоголь побывал в Одессе осенью и зимой 1850 г. Во время этой поездки он часто виделся с Репниными. Р. свидетельствует: "В Одессе, где Гоголь прожил довольно времени, он почти ежедневно бывал у моего брата (князя В. Н. Репнина. - Б. С.), который отвел ему особенную комнату с высокой конторкой, чтобы ему можно было писать стоя; а жил он не знаю где. У моего брата жили молодые люди малороссияне, занимавшиеся воспитанием его младших сыновей. Жена моего брата была хорошая музыкантша; Гоголь просил ее аккомпанировать хору всей этой молодежи на фортепиано, и они под руководством Гоголя пели украинские песни. К матери моей (мы жили в другом доме) он приходил довольно часто, был к ней очень почтителен, всегда целовал ей руку. Он рекомендовал ей проповеди какого-то епископа Иакова и однажды, застав Глафиру Ивановну, которая читала вслух матери моей "Мертвые души", он сказал: "Какую чертовщину вы читаете, да еще в Великий Пост!" У матери моей была домовая церковь. Гоголь приходил к обедне, становился в угол за печкой и молился, "как мужичок", по выражению одного молодого слуги, т. е. клал земные поклоны и стоял благоговейно". Некая Екатерина Александровна, приживалка в доме Репниных, записала в те дни в дневнике: "Гоголь приехал в Одессу в 1850 г. октября 24. Обедал. Очень красноречиво рассказывал о Константинополе, - как массы зелени, перемешанные с строениями, возвышаются на горе. Четыре дерева платановых необыкновенной толщины. Что могло их спасти? Не религиозная ли какая мысль? На Востоке оливковые деревья так почитаются, что во время войны всё истребляется, а их оставляют".

"РИМ", повесть. Впервые опубликована: "Москвитянин", 1842, № 3, с подзаголовком: "Отрывок". Замысел повести восходит к задуманному и начатому весной 1838 г. роману "Аннунциата". В начале февраля 1840 г. Гоголь читал главы "Аннунциаты" в доме Аксаковых. В 1841 г. во 2-м номере "Москвитянина" М. П. Погодин обещал публикацию повести Гоголя "Мадонна делла фиори" очевидно, так теперь стал называться роман "Аннунциата". Однако обещанная публикация не состоялась.

Гоголь завершил работу над повестью, получившей окончательное название "Рим", только в феврале 1842 г. Он читал Р. в доме Аксаковых (дважды) и на литературном вечере у московского генерал-губернатора князя Д. В. Голицына (1771-1844). Гоголь мыслил Р. как начало большого романа из итальянской жизни, но продолжения так и не последовало. С. Т. Аксаков запечатлел в мемуарах чтение Р. Гоголем у Д. В, Голицына в начале февраля 1842 г.: "Несмотря на высокие достоинства этой пиесы, слишком длинной для чтения на рауте у какого бы то ни было генерал-губернатора, чтение почти усыпило половину зрителей; но когда к концу пиесы дело дошло до комических разговоров итальянских женщин между собою и с своими мужьями, все общество точно проснулось и пришло в неописанный восторг, который и остался надолго в благодарной памяти слушателей".

М. С. Щепкин вспоминал: "Когда Гоголь напечатал свой "Рим" в "Москвитянине", то, по условию, выговорил себе у Погодина двадцать оттисков (по другим данным - пятнадцать. - Б. С.), но тот, по обыкновению своему, не оставил, сваливая вину на типографию. Однако Гоголь непременно хотел иметь их, обещав наперед знакомым по оттиску. И потому, настаивая на своем, сказал, разгорячась мало-помалу: "А если вы договора не держите, так прикажите вырвать из своего журнала это число оттисков". "Но как же, заметил издатель, - ведь тогда я испорчу двадцать экземпляров". - "А мне какое дело до этого?.. Впрочем, хорошо: я согласен вам за них заплатить, прибавил Гоголь, подумав немного, - только чтоб непременно было мне двадцать экземпляров моей статьи, слышите? Двадцать экземпляров!" Тут я увел его в комнату наверх, где сказал ему: "Зачем вам бросать эти деньги так на ветер. Да за двадцать целковых вам наберут вновь вашу статью". - "В самом деле? - спросил он с живостью. - Ах, вы не знаете, что значит иметь дело с кулаком!" - "Так зачем же вы связываетесь с ним?" - подхватил я. "Затем, что я задолжал ему шесть тысяч рублей ассигнациями: вот он и жмет. Терпеть не могу печататься в журналах, - нет, вырвал-таки у меня эту статью! И что же, как же ее напечатал? Не дал даже выправить хоть в корректуре. Почему уж это так, он один это знает". Ну, подумал я, потому это так, что иначе он не сумеет: это его природа делать всё, как говорится, тяп да ляп".

Критически расценил Р. В. Г. Белинский. В статье "Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя "Мертвые души"" он утверждал, что, хотя в Р. "есть удивительно яркие и верные картины действительности", но достойны осуждения "косые взгляды на Париж и близорукие взгляды на Рим, и - что всего непостижимее в Гоголе - есть фразы, напоминающие своею вычурною изысканностию язык Марлинского" Гоголю не понравилось мнение В. Г. Белинского о Р. 20 августа (1 сентября) 1843 г. он писал из Дюссельдорфа С. П.

Шевыреву: "Белинский смешон. А всего лучше замечание его о "Риме". Он хочет, чтобы римский князь имел тот же взгляд на Париж и французов, какой имеет Белинский. Я бы был виноват, если бы даже римскому князю внушил такой взгляд, какой имею я на Париж. Потому что и я хотя могу столкнуться в художественном чутье, но вообще не могу быть одного мнения с моим героем. Я принадлежу к живущей и современной нации, а он к отжившей. Идея романа вовсе была не дурна. Она состояла в том, чтобы показать значение нации отжившей, и отжившей прекрасно, относительно живущих наций. Хотя по началу, конечно, ничего нельзя заключить, но всё можно видеть, что дело в том, какого рода впечатление производит строящийся вихорь нового общества на того, для которого уже почти не существует современность".

3/15 марта 1838 г. Гоголь писал из Рима М. П. Балабиной: "...Как вам самой известно, новизна не свойственна Риму, здесь всё древнее: Рим, папа, церкви, картины. Мне кажется, новизна изобретена теми, кто скучает, но вы же знаете сами, что никто не может соскучиться в Риме, кроме тех, у кого душа холодна, как у жителей Петербурга, особенно у его чиновников, бесчисленных, как песок морской. Здесь всё пребывает в добром здравии: Сан-Пиетро, Монте-Пинчо, Колизей и много других ваших друзей шлют вам привет. Пьяцца Барберини также нижайше вам кланяется. Бедняжка! Она теперь совсем пустынна, лишь покрытые мхом безносые тритоны, как обычно, извергают все время вверх воду, оплакивая привычку прекрасной северной синьоры, которая часто слушала у окна их меланхолический ропот и часто принимала его за шум дождя. Козы и скульптуры прогуливаются, синьора, по улице Феличе, где моя комната (№ 126, верхний этаж)... Колизей очень настроен против вашей милости. Из-за этого я к нему не иду, так как он всегда спрашивает: "Скажите-ка мне, дорогой человечище (он всегда зовет меня так), что делает сейчас моя дама, синьора Мария? Она поклялась на алтаре любить меня вечно, а между тем молчит и не хочет меня знать, скажите, что же это?" - и я отвечаю "не знаю", а он говорит: "Скажите, почему она больше меня не любит?" - и я отвечаю: "Вы слишком стары, синьор Колизей". А он, услышав эти слова, хмурит брови, его лоб делается гневным и суровым, а его трещины - эти морщины старости - кажутся мне тогда мрачными и угрожающими, так что я испытываю страх и ухожу испуганный. Пожалуйста, моя светлейшая синьора, не забывайте ваше обещание: пишите! Доставьте нам большое удовольствие. Тени Ромула, Сципиона, Августа, все вам за это будут признательны, а я больше всех".

П. В. Анненков, близко общавшийся с Гоголем в Риме, так комментирует Р. в своих воспоминаниях: "Важное значение города Рима в жизни Гоголя еще не вполне исследовано. Памятником и свидетельством его воззрения на папскую столицу времен Григория XVI может служить превосходная его статья "Рим", в которой должно удивляться не завязке или характерам (их почти и нет), а чудному противупоставлению двух народностей, французской и итальянской, где Гоголь явился столь же глубоким этнографом, сколько и великим живописцем-поэтом... Под воззрение свое на Рим Гоголь начал подводить в эту эпоху и свои суждения вообще о предметах нравственного свойства, свой образ мыслей и, наконец, жизнь свою. Так, взлелеянный уединением Рима, он весь предался творчеству и перестал читать и заботиться о том, что делается в

остальной Европе. Он сам говорил, что в известные эпохи одна хорошая книга достаточна для наполнения всей жизни человека. В Риме он только перечитывал любимые места из Данте, "Илиады" Гнедича и стихотворений Пушкина. Это было совершенно вровень, так сказать, с городом, который, под управлением папы Григория XVI, обращен был официально и формально только к прошлому. Добродушный пастырь этот, так ласково улыбавшийся народу при церемониальных поездах и с такой любовью благословлявший его, умел остановить все новые почки европейской образованности и европейских стремлений завязавшиеся в его пастве, и когда умер, они еще поражены были онемением. О том, какими средствами достиг он своей цели, никто из иностранцев не спрашивал: это составляло домашнюю тайну римлян, до которой никому особенного дела не было. Гоголь, вероятно, знал ее: это видно даже по намекам в его статье, где мнение народа о господствующем клерикальном сословии нисколько не скрыто; но она не тревожила его, потому что если не оправдывалась, то по крайней мере объяснялась воззрением на Рим. Вот собственные его слова из статьи: "Самое духовное правительство, этот странный, уцелевший призрак минувших времен, осталось как будто для того, чтобы сохранить народ от постороннего влияния... чтобы до времени, в тишине таилась его гордая народность". Последующие события доказали, что народ не был сохранен от постороннего влияния (намек на революцию 1848 г. - Б. С.), и подтвердили убедительным образом старую истину, что государство, находящееся в Европе, не может убежать от Европы... Стремление римского населения сделаться причастником общих благ просвещения и развития признается теперь законным почти всеми; но оно жило во многих сердцах и тогда. Гоголь знал это, но встречал явление с некоторой грустью. Помню, раз на мое замечание, "что, вероятно, в самом Риме есть люди, которые иначе смотрят на него, чем мы с ним", _ Гоголь отвечал почти со вздохом: "Ах, да, батюшка, есть, есть такие". Далее он не продолжал. Видно было, что утрата некоторых старых обычаев, прозреваемая им в будущем и почти неизбежная при новых стремлениях, поражала его неприятным образом. Он был влюблен, смею сказать, в свое воззрение на Рим, да тут же действовал отчасти и малороссийский элемент, всегда охотно обращенный к тому, что носит печать стародавнего или его напоминает. Зато уж и Францию, которую считал родоначальницей легкомысленного презрения к поэзии прошлого, начинал он ненавидеть от всей души. О французском владычестве в Риме, в эпоху первой империи, когда действительно сподвижники Наполеона I, вместе с истреблением суеверия, принялись истреблять и коренные начала народного характера, Николай Васильевич отзывался после с негодованием. Он много говорил дельного и умного о всесветных преобразователях, не умеющих отличить жизненных особенностей, никогда не уступаемых народом, от тех, с которыми он может расстаться, не уничтожая себя как народ, но упускал из вида заслуги всей истории Франции перед общим европейским образованием".

В Р. Гоголь, в частности, развивал мысль об "избыточности" западной цивилизации, переданную в описании жизни главного героя в Париже. Сам Гоголь 25 января н. ст. писал Н. Я. Прокоповичу из столицы Франции: "К удобствам здешним приглядишься, тем более, что их более, нежели сколько

нужно..."

САМАРИН Юрий Федорович (1819-1876), известный публицист, историк и литературный критик славянофильского направления. Он познакомился с Гоголем в Москве в 1840 году, а позднее и подружился. С. присутствовал на именинном обеде Гоголя у М. П. Погодина 9 мая 1840 г.

24 декабря н. ст. 1844 г. Гоголь писал из Франкфурта А. О. Смирновой: "Самых нужных вещей не успеваю сделать, а вы мне еще и Самарина приплетаете. Без вас он верно бы не написал мне письма. В письме ничего, а отвечать и благодарить вследствие какого-то глупого приличия следует... Самарин человек умный. Ему нужны покаместь труд, работа и совершенное отсутствие праздного времени. Он себе пойдет следуемым ему путем, на который натолкнут его его же собственные способности и силы, которые он узнает и испробует сам на труде же и на занятиях. И сим только путем он доберется до тех результатов, которые вы представляете ему вперед... Самарину вы дайте знать вот что, если он точно чего-нибудь ищет от меня и думает, что я могу быть ему чем-нибудь полезным, то ему следует решиться на то, на что светский человек обыкновенно не решится: писать ко мне письма и не ждать на них ответов. В письмах должен быть почти дневник мыслей, чувств и ощущений, живое понятие о всех людях, с которыми ему случится встретиться, мнения о них свои и мнения других о них, и наконец случаи и стычки с ними. Словом, чтобы я слышал самую жизнь. Без этого я просто глуп и не гожусь ни на что".

На письма С. Гоголь стал отвечать только в январе 1846 г. 15 июня 1849 г. С. с Гоголем были на вечере у А. С. Хомякова, где Гоголь читал главы из второго тома "Мертвых душ". Чтение произвело на С. удручающее впечатление. Вскоре после него он писал Гоголю: "Если бы я собрался слушать вас с намерением критиковать и подмечать недостатки, кажется, и тогда после первых же строк, прочтенных вами, я забыл бы о своем намерении. Я был так вполне увлечен тем, что слышал, что мысль об оценке не удержалась бы в моей голове. Вместо всяких похвал и поздравлений скажу вам только, что я не могу вообразить себе, чтобы прочтенное вами могло быть совершеннее. Мне остается только пожелать от всей души, чтобы вы благополучно совершили дело, важность которого для нас всех более и более обнаруживается". Но здесь С. был неискренен, не желая огорчить друга резкой, отрицательной оценкой его главного творения. Более откровенен С. был десять лет спустя после смерти Гоголя, в письме от 3 октября 1862 г. А. О. Смирновой: "Никогда не забуду я того глубокого и тяжелого впечатления, которое Гоголь произвел на Хомякова и меня раз вечером, когда он прочел нам первые две главы второго тома. По прочтении он обратился к нам с вопросом: "Скажите по совести только одно не хуже первой части?" Мы переглянулись, и ни у него, ни у меня недостало духу сказать ему, что мы оба думали и чувствовали. Я глубоко убежден, что Гоголь умер оттого, что он сознавал про себя, насколько его второй том ниже первого, сознавал и не хотел самому себе признаться, что он начинал подрумянивать действительность".

В статье "О мнениях "Современника" исторических и литературных", опубликованных в "Москвитянине" в 1849 г., С. полемизировал с В. Г.

Белинским и его сторонниками, хотя, вслед за тем же Белинским, целый период русской литературы назвал гоголевским. С. писал: "Обратимся к внутреннему содержанию нашей изящной литературы. Лермонтова уже нет; Гоголя вы устраняете. После них много ли она приобрела? Приобрела ли она что-нибудь, хоть одну мысль, хоть один образ или тип, который бы не был слепком с их же созданий? Мы не можем назвать приобретением, что Иван Иванович, обязанный бытием своим Гоголю, являлся под именем Степана Ивановича или Василия Степановича, Селифан под именем Кондрата или Мишки, Осип под именем Васьки и т. д.". С. также утверждал: "Происхождение натурализма, кажется, объясняется гораздо проще; нет нужды придумывать для него родословной, когда на нем лежат ясные признаки тех влияний, которым он обязан своим существованием. Материял дан Гоголем, или, лучше, взят у него: это пошлая сторона нашей действительности. Гоголь первый дерзнул ввести изображение пошлого в область художества. На то нужен был его гений. В этот глухой, бесцветный мир, без грома и без потрясений, неподвижный и ровный, как бездонное болото, медленно и безвозвратно втягивающее в себя все живое и свежее, в этот мир высоко поэтический самым отсутствием всего идеального, он первый опустился как рудокоп, почуявший под землею еще не тронутую силу. С его стороны это было не одно счастливое внушение художественного инстинкта, но сознательный подвиг целой жизни, выражение личной потребности внутреннего очищения. Под изображением действительности поразительно истинным скрывалась душевная, скорбная исповедь. От этого произошла односторонность содержания его последних произведений, которых, однако, нельзя назвать односторонними именно потому, что вместе с содержанием художник передает свою мысль, свое побуждение. Оно так необходимо для полноты впечатления, так нераздельно с художественным достоинством его произведений, что литературный подвиг Гоголя только в этом смысле и мог совершиться. Ни страсть к наблюдениям, ни благородное негодование на пороки и вообще никакое побуждение, как бы с виду оно ни было бескорыстно, но допускающее в душе художника чувство личного превосходства, не дало бы на него ни права, ни сил. Нужно было породниться душою с тою жизнью и с теми людьми, от которых отворачиваются с презрением, нужно было почувствовать в себе самом их слабости, пороки и пошлость, чтобы в них же почувствовать присутствие человеческого; и только это одно могло дать право на обличение. Кто с этим не согласен или кто иначе понимает внутренний смысл произведений Гоголя, с тем мы не можем спорить - это один из тех вопросов, которые решаются без апелляции в глубине сознания. Натуральная школа переняла у Гоголя только его односторонность, то есть взяла у него одно содержание. Она даже не прибавила к нему ни лепты. Гоголь изобразил пошлое в жизни чиновников и помещиков. Натуральная школа осталась при тех же чиновниках и помещиках. Заимствование содержания, способа изображения, стиля до такой степени очевидно, что его не нужно и доказывать. Нет такого приема, такой фразы, свойственной Гоголю, под которую бы нельзя было подвести тысячи подделок. Вот хоть один пример. Гоголь подметил обыкновение лиц, живущих в тесном кругу, в мелочах и однообразных заботах, определять людей знакомых и незнакомых по

случайным признакам, например, по бородавке на носу, по цвету жилета и т. п. Кто не встречал того же самого приема в десятках повестей, украшавших в последних годах петербургские журналы? Мы не хотим этим сказать, что натуральная школа переняла личную манеру Гоголя, но что подражание распространено даже на манеру". В этой же статье С. подчеркнул: "Несмотря на очевидную зависимость натурализма от французской литературы, он, разумеется, во многом не похож на нее. Во-первых... содержание он имеет свое, национальное, разработанное Гоголем. У нас являются чиновники, помещики и мужики, а не капиталисты, иезуиты и адвокаты; темные стороны действительности, изображаемые в наших повестях как господствующие свойства лиц национальных, тоже принадлежат нам. Во Франции выставляется бедность, доводящая до разврата и отчаяния, благопристойная жестокость привилегированных богачей, предательства и подкупы в сфере политики, внутренняя неправда формальной законности; у нас - беспечность, застой, лень, предрассудки, пошлость, невежество, пренебрежение к законности и т. д. У нас содержание ограниченное и однообразное, и немудрено - французские писатели берут его прямо из жизни, а наши у одного Гоголя; они умеют видеть только то, что показал, описал и назвал по имени Гоголь... Второй разряд действующих лиц, то есть объекты побоев и брани, обыкновенно занимают второстепенное место, более как целая толпа, чем поодиночке. О них говорится слегка, потому что Гоголь до сих пор еще мало рассказал про них. Не менее того и они имеют свою определенную роль, которая состоит в зевании и почесывании за затылком или за спиною. В разговоре же они обыкновенно развивают тему, пущенную в ход Селифаном: почему мужика не посечь, мужика посечь нужно..."

СВЕРБЕЕВ Дмитрий Николаевич (1799-1874), дипломат и писатель, возглавлявший кружок старомосковской интеллигенции. С Гоголем познакомился в 1840 г. через посредство Аксаковых и М. П. Погодина.

В 1868 г. в "Воспоминаниях о П. Я. Чаадаеве" С. запечатлел посещение Гоголем известного философа в 1840 г.: "Я помню, как ленивый и необщительный Гоголь, еще до появления своих "Мертвых душ", приехал в одну середу к Чаадаеву. Долго на это он не решался, сколько ни упрашивали общие приятели упрямого малоросса; наконец он приехал, и, почти не обращая никакого внимания на хозяина и гостей, уселся в углу на покойное кресло, закрыл глаза, начал дремать и потом, прохрапев вечер, очнулся, пробормотал два-три слова в извинение и тут же уехал. Долго не мог забыть Чаадаев такого оригинального посещения".

2 января 1843 г. С. из Москвы писал Н. М. Языкову: "...Вчера на нашей пятнице Аксаков-отец прочел комедию Гоголя "Игроки" - разумеется, между нами не было ни одного игрока. Должно ожидать огромного успеха на театре, но дело не обойдется без великой брани. Так было и теперь еще продолжается с толками о "Мертвых Душах". Если бы автор мог подслушать и собрать все различные суждения об этом гигантском творении, то, дав им личность и художественную форму, скроил бы из них превосходную новую комедию-драму. "Мертвые души" не нравятся, во-первых, всем мертвым душам, в которых западное воспитание и западный образ жизни умертвили всякое

русское чувство. Потом восстают на него все Чичиковы и Ноздревы высшего и низшего разряда. Далее с ребяческим простодушием выходит на Гоголя Манилов, особенно Коробочка. Последние очень наивно говорят: "Охота же была и сочинителю рассказывать такую дрянь, которая везде встречается ежедневно, и что из этого прибыли? Загоскины, Павловы и проч. не говорят совсем о "Мертвых Душах" и только презрительно улыбаются, когда услышат издалека одно название. Порядочными людьми принято, впрочем, не упоминать об этой поэме при наших повествователях, а то всякий раз выходит какая-нибудь личность. Но все ждут второго тома, - друзья Гоголя с некоторым опасением, а завистники и прорицатели говорят: "Посмотрим, как-то он тут вывернется". 21 декабря 1851 г. Гоголь посетил С. в его доме в Москве. 11 февраля 1852 г. С. вместе с А. М. Языковым пришел навестить больного Гоголя, но писатель их не принял. Только 15 февраля С. удалось попасть к Гоголю вместе с И. С. Аксаковым. С. так описал эту последнюю встречу в мемуарах: "Я был допущен с предупреждением от слуги - пробыть недолго. Принял он меня ласково, посадил и через 2-3 минуты судорожно вскочил со своего стула, говоря, что ему давно уже нездоровится. Нашел я его каким-то странным, бледным и, судя по глазам, чем-то встревоженным и пламенеющим. Я тотчас поднялся и от него вышел".

СЕМЕНЕНКО Петр, польский священник, в прошлом - артиллерийский офицер, участник Польского восстания 1830-1831 гг., после подавления которого эмигрировал. Осенью 1837 г. вместе с И. Кайсевичем приехал в Рим, где в начале 1838 г. познакомился с Гоголем.

17 марта 1838 г. С. писал Богдану Яньскому, основателю католического ордена "Общество Воскресения Господня", к которому принадлежали и сам С. с И. Кайсевичем: "В разговоре он (Гоголь. - Б. С.) нам очень понравился. У него благородное сердце, притом он молод; если со временем глубже на него повлиять, то, может быть, он не окажется глух к истине и всею душой обратится к ней. Княгиня (Волконская - Б. С.) питает эту надежду, в которой и мы сегодня несколько укрепились". Но надежды оказались тщетны: Гоголь в католичество не перешел. И еще накануне знакомства с С., 22 декабря н. ст. 1837 г. Гоголь писал из Рима матери: "...Вы правы, что спорили с другими, что я не переменю обрядов своей религии. Это совершенно справедливо. Потому что как религия наша, так и католическая совершенно одно и то же, и потому совершенно нет надобности переменять одну на другую. Та и другая истинна. Та и другая признают одного и Того же Спасителя нашего, одну и Ту же Божественную Мудрость, посетившую некогда нашу землю, претерпевшую последнее унижение на ней, для того, чтобы возвысить выше нашу душу и устремить ее к небу". 25 мая 1838 г. С. писал Б. Яньскому: "Занимается Гоголь русской историей. В этой области у него очень светлые мысли. Он хорошо видит, что нет цемента, который бы связывал эту безобразную громадину. Сверху давит сила, но нет внутри духа. И каждый раз восклицает: "У вас, у вас что за жизнь! После потери стольких сил! Удар, который должен вас уничтожить, вознес вас и оживил. Что за люди, что за литература, что за надежды! Это вещь нигде не слыханная".

СЕНКОВСКИЙ Осип (Юлиан) Иванович (1800-1858), представитель древнего польского шляхетского рода, писатель и журналист, писавший под псевдонимом "Барон Брамбеус". Родился в поместье недалеко от Вильно. С. был профессором восточных языков в Петербургском университете и, с 1834 г., редактором ежемесячного журнала "Библиотека для чтения", рекламируемого как "журнал словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и мод, составляемых из литературных и ученых трудов".

Гоголь резко отрицательно относился к трудам С., и тот платил ему той же монетой. 20 февраля 1833 г. Гоголь писал М. П. Погодину: "Прочти Брамбеуса: сколько тут и подлости, и вони, и всего". Здесь имелись в виду опубликованные в 1833 г. в альманахе "Новоселье" повести С. "Антар" и "Незнакомка" и фельетон "Большой выход у сатаны". А 11 января 1834 г. в письме тому же адресату нелестно отозвался о "Библиотеке для чтения", издававшейся А. Ф. Смирдиным: "Кстати о Библиотеке. Это довольно смешная история. Сенковский очень похож на старого пьяницу и забулдыжника, которого долго не решался впускать в кабак даже сам целовальник. Но который, однакож, ворвался и бьет, очертя голову спьяна, сулеи, штофы, чарки и весь благородный препарат. Сословие, стоящее выше Брамбеусины, негодует на бесстыдство и наглость кабачного гуляки; сословие, любящее приличие, гнушается и читает. Начальники отделений и директоры департаментов читают и надрывают бока от смеху. Офицеры читают и говорят: "Сукин сын, как хорошо пишет!" Помещики покупают и подписываются и, верно, будут читать. - Одни мы, грешные, откладываем на запас для домашнего хозяйства. Смирдина капитал растет. Но это еще всё ничего. А вот что хорошо. Сенковский уполномочил сам себя властью решить, вязать: марает, переделывает, отрезывает концы и пришивает другие к поступающим пьесам. Натурально, что если все так будут кротки, как почтеннейший Фадей Венедиктович (которого лицо очень похоже на лорда Байрона, как изъясняется не шутя один лейб-гвардии Кирасирского полка офицер), который объявил, что он всегда за большую честь для себя почтет, если его статьи будут исправлены таким высоким корректором, которого "Фантастические путешествия" даже лучше его собственных (здесь сравниваются "Фантастические путешествия барона Брамбеуса", вышедшие в 1833 г., и очерки Ф. В. Булгарина "Правдоподобные небылицы" и "Невероятные небылицы", появившиеся, соответственно, в 1824 и 1825 г. - Б. С.). Но сомнительно, чтобы все были так робки, как этот почтенный государственный муж". Накануне, 10 января, Гоголь был у цензора А. В. Никитенко и негодовал, что С. переделывает по собственному усмотрению статьи, присланные в "Библиотеку для чтения". Сам Гоголь предназначал для этого журнала отрывок "Кровавый бандурист" из романа "Гетьман", который, однако, так и не был пропущен цензурой.

В черновом наброске статьи "О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году" Гоголь прямо назвал произведения С. фальшивками: "Неужели уж в самом деле русская публика топором сделанный человек, которому даже можно вместо красной ассигнации дать синюю и уверить, что она красная". Здесь же Гоголь утверждал: "В критике госп. Сенковский показал отсутствие всякого

мнения, так что ни один из читателей не может сказать наверное, что более нравилось рецензенту и заняло его душу, что пришлось по его чувствам: в его рецензиях нет ни положительного, ни отрицательного вкуса - вовсе никакого. То, что ему нравится сегодня, завтра делается предметом его насмешек". И в дальнейшем Гоголь не изменил отрицательного отношения к С. и его журналу. 12/24 декабря 1844 г. он просил А. О. Смирнову выслать ему комплект "Библиотеки для чтения" за 1842 г., "весь сполна" и оговаривался при этом: "...не удивляйтесь тому, что мне понадобилась вдруг такая дрянь. Мне иногда именно нужна дрянь". С., в свою очередь, объявил Гоголю настоящую войну, регулярно помещая отрицательные рецензии на гоголевские произведения в своем журнале. Так, "Шинель" для него была "напряженная малороссийская сатира против великороссийских чиновников". В "Ревизоре" С. увидел только "плохой драматический анекдот". Его возмутило, что в "Мертвых душах" описаны "грязные похождения чудаков и плутов", над которыми автор "тешится... от души, заставляет их, ради "лирического смеха", сморкаться, чихать, падать и ругаться канальями, подлецами, мошенниками, свиньями, свинтусами, фетюками; и всё это в своем тщеславии очень серьезно называет "поэмою", давая уразуметь, что он - новый Гомер. Это имя было даже неоднократно произнесено, без малейшей запинки органами нашего юмориста" (здесь содержится намек на восторженный отзыв о "Мертвых душах" К. С. Аксакова, сравнившего Гоголя с Гомером и Шекспиром).

"СКУЛЬПТУРА, ЖИВОПИСЬ И МУЗЫКА", статья, впервые опубликованная в сборнике "Арабески". Дата, поставленная при публикации, 1831 г., вероятно, относится ко времени зарождения ее замысла. Работа над текстом С., ж. и м. проходила с июля по сентябрь 1834 г. Название статьи повторяет название статьи поэта Дмитрия Владимировича Веневитинова (1805-1827), опубликованную в альманахе "Северная Лира на 1827 год".

В С., ж. и м. Гоголь называл три рода искусства, скульптуру, живопись и музыку, тремя сестрами, посланными Богом, чтобы "украсить и усладить мир: без них он бы был пустыня и без пения катился бы по своему пути... Великий Зиждетель мира поверг нас в немеющее безмолвие Своею глубокою мудростью: дикому, еще не развернувшемуся человеку Он уже вдвинул мысль о зодчестве. Простыми, без помощи механизма, силами он ворочает гранитную гору, высоким обрывом громоздит ее к небу и повергается ниц перед безобразным ее величием. Древнему, ясному, чувственному миру послал Он прекрасную скульптуру, принесшую чистую, стыдливую красоту, - и весь древний мир обратился в фимиам красоте. Эстетическое чувство красоты слило его в одну гармонию и удержало от грубых наслаждений. Векам неспокойным и темным, где часто сила и неправда торжествовали, где демон суеверия и нетерпимости изгонял все радужное в жизни, дал Он вдохновенную живопись, показавшую миру неземные явления, небесные наслаждения угодников. Но в наш юный и дряхлый век ниспослал Он могущественную музыку - стремительно обращать нас к Нему. Но если и музыка нас оставит, что будет тогда с нашим миром?"

СМИРДИН Александр Федорович (1795-1857), петербургский издатель и

книгопродавец. В 1833 г. начал издавать альманах "Новоселье", издавал также "Библиотеку для чтения", которую редактировал О. И. Сенковский. Эти издания Гоголь считал разновидностью "торговой литературы", но, тем не менее, в них печатался. В "Библиотеке для чтения" он предполагал опубликовать главу "Кровавый бандурист" из романа "Гетьман", но встретил противодействие одного из редакторов, Н. И. Греча, а потом и цензуры.

19 февраля 1832 г. Гоголь присутствовал на обеде петербургских литераторов у С. по случаю перенесения его книжного магазина от Синего моста на Невский проспект и, как и другие участники обеда, обещал дать статью в первую книгу "Новоселья", но обещание свое не исполнил. О первой книге альманаха Гоголь так отозвался в письме М.П. Погодину от 20 февраля 1833 г.: "Читал ли ты Смирдинское Новоселье? Книжища ужасная; человека можно уколотить. Для меня она замечательна тем, что здесь в первый раз показались в печати такие гадости, что читать мерзко". Тем не менее, во второй книге "Новоселья" в 1834 г. Гоголь опубликовал "Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем". Ранее С. также издал "Вечера на хуторе близ Диканьки".

СМИРНОВ Николай Михайлович (1807-1870), муж А. О. Смирновой, дипломат, калужский губернатор в 1845-1851 гг., петербургский - в 1855-1861 гг., камергер и сенатор. Свое огромное состояние частично промотал в карты. С Гоголем С. познакомился в Париже в январе 1837 г.

3 сентября н. ст. 1837 г. Гоголь писал С. из Франкфурта, куда прибыл из Карлсруэ на пароходе: "Пароход доставил мне приятный сюрприз ехать вместо одного дня два. Дождь, верный спутник рейнского путешествия, усугубил приятность. Все пассажиры столпились в одну каюту, и немецкий запах сделался до такой степени густ, что можно было семьсот топоров повесить в воздухе. Круглые окна нашей каюты до такой степени визжали и обливались слезами, что тоска проходила меня насквозь от головы и до пяток. А мокрые зонтики, сальные сапоги и всеобщий насморк доныне мне грезятся. Наконец, я доехал до Франкфурта и вот уже три дня любуюсь гнуснейшею погодою, какая когда-либо была в мире... Во Франкфурие встретился я с Тургеневым (Александр Иванович Тургенев (1784-1845), литератор и археограф, много путешествовавший по Европе. - Б. С.), с которым мы провели полдни. Он, между прочим, сказал важную истину, что, живя за границею, тошнит по России, а не успеешь приехать в Россию, как уж тошнит от России". В первой половине июля 1849 г. Гоголь гостил четыре дня в калужском имении С. Бегичево (Медыньский уезд). Писатель с восторгом наблюдал сенокос, а оказавшегося в имении художника Алексеева попросил зарисовать костюмы местных крестьянок со всеми узорами. Затем Гоголь переехал в загородный губернаторский дом, где читал С. и его супруге первые главы второго тома "Мертвых душ". А. О. Смирнова так описала этот визит Гоголя в Бегичево П. А. Кулишу: "Его возили по окрестным деревням, и ему очень понравился дом и сад на полотняной фабрике Гончаровых. Он часто выходил на сенокос любоваться костюмами бегичевских крестьянок, заставлял гостившего также тогда у Смирновых живописца Алексеева рисовать их со всеми узорами на рубашках. Он был в восхищении от физиономий, костюмов и грациозности бегичанок и

находил в них сходство с итальянками. Его очень заботило вообще здоровье простого народа и своеобразность его быта. Он вспомнил, как в царствование Алексея Михайловича один путешественник, посетив Россию, написал, что население ее скудно, народ обмельчал и обеднел, а другой, приехавший к нам через двадцать пять лет после первого, нашел города и деревни обильно населенными, нашел народ здоровый, рослый, цветущий и богатый. Гоголь это приписывал благочестивой жизни царя, который везде в государстве водворил порядок, безопасность и спокойствие".

СМИРНОВА Александра Осиповна (1809-1882), урожденная Россет, фрейлина императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны. В 1832 г. вышла замуж за Н. М. Смирнова. Особой любви к мужу не испытывала, честно признавшись в посмертно опубликованных мемуарах: "Я себя продала за шесть тысяч душ для братьев". С. была дружна с А. С. Пушкиным, В. А. Жуковским, П. А. Вяземским и многими другими литераторами.

Еще 10 сентября 1831 г. в письме Жуковскому Гоголь просил передать С. экземпляр первой части "Вечеров на хуторе близ Диканьки" ("третий, с сентиментальною надписью, для Розетти"). С Гоголем С. близко познакомилась в Париже в 1837 г. По-настоящему же они подружились в Ницце зимой того же года. В мемуарах С. так описало свое знакомство с Гоголем: "В 1837 году я провела зиму в Париже, rue du Mont Blanc, № 21. Русских было довольно; в конце зимы был Гоголь с приятелем своим Данилевским. Он был у нас раза три один, и мы уже обходились с ним, как с человеком очень знакомым, но которого, как говорится, в грош не ставили. Все это странно, потому что мы читали с восторгом "Вечера на хуторе близ Диканьки", и они меня так живо перенесли в великолепную Малороссию. Оставив еще в детстве этот край, я с необыкновенным чувством прислушивалась ко всему тому, что его напоминало, а "Вечера на хуторе" так ею и дышат. С ним тогда я обыкновенно заводила речь о высоком камыше и бурьяне, о белых журавлях на красных лапках, которые по вечерам прилетают на кровлю знакомых хат, о галушках и варениках, о сереньком дымке, который легко струится и выходит из труб каждой хаты; пела ему:

"Ой, не ходы, Грыцю, на вечорныцы."

Он более слушал, потому что я очень болтала, но однажды описывал мне малороссийский вечер, когда солнце садится, табуны гонят с поля, и отсталые лошади несутся, поднимая пыль копытами, а с ними с нагайкою в руке пожилой хохол с чупром; он описывал это живо, с любовью, хотя прерывисто и в коротких словах. О Париже мало было речи; по-видимому, он уже и тогда его не любил. Однако он посещал с Данилевским театры, потому что рассказывал мне, как входили в оперу один за другим гуськом и как торгуют правом на хвост. Дело в том, что задний театрал кричит которому-нибудь из передних, чтоб он уступил ему свое место, торгуется с ним и наконец меняется местами; но часто купленное таким образом место бывало захватываемо другим, и это служило поводом к брани и ссорам. Гоголь, с свойственною ему способностью замечать то, что другим казалось несмешным и незначительным, представлял сцены при покупке, как он называл, "права на хвост" в самых характеристических и

забавных рассказах. Однажды разговор зашел о разных комфортах в путешествии, и он сказал мне, что хуже всего на этот счет в Португалии, и советовал мне туда не ездить. "Вы как это знаете, Николай Васильевич?" - спросила я его. - "Да я там был, пробрался туда из Испании, где также прегадко в трактирах, - ответил он преспокойно. - Особенно хороша прислуга. Однажды мне подали котлету совсем холодную. Я заметил об этом слуге. Но он очень хладнокровно пощупал котлету рукою и объявил, что нет, что котлета достаточно тепла". Я начала утверждать, что он не был в Испании, что это не может быть, потому что все в смутах, дерутся на всех перекрестках, что те, которые отсюда приезжают, много рассказывают, а он ровно никогда ничего не говорил. На все это он очень хладнокровно отвечал: "На что же все рассказывать и занимать собою публику? Вы привыкли, чтоб вам человек с первого разу все выхлестал, что знает и чего не знает, даже и то, что у него на душе". Я осталась при своем, что он не был в Испании. С того времени между нами образовалась шутка: "Это когда я был в Испании". Я часто над ним смеялась и выговаривала, как ему не стыдно лгать и т. п. Гоголь все переносил с хладнокровием стоика". Возможно, Гоголя навел на эту мистификацию с Испанией сюжет "Записок сумасшедшего", где главный герой воображает себя испанским королем. О мнимой поездке на Пиренейский полуостров Гоголь рассказывал и другим своим друзьям. Так, К. С. Аксаков в конце сентября 1839 г. писал своим братьям Григорию и Ивану: "Вообразите, что он (Гоголь. - Б. С.) был в Испании во время междуусобной войны; в Лиссабоне также". Однако ни одного письма Гоголя из Испании и Португалии до нас не дошло, равно как чьих-либо воспоминаний о встречах с ним в этих странах. Нет и никаких следов получения писателем каких-либо финансовых средств для совершения такого путешествия. Из этого можно заключить, что Гоголь свое путешествие за Пиренеи просто выдумал. С. вспоминала: "Летом 1837 года я провела в Бадене, и Гоголь приехал не лечиться, но пил по утрам холодную воду в Лихтентальской аллее. Мы встречались почти каждое утро. Он ходил или, лучше сказать, бродил один, потому что иногда был на дорожке, а чаще гулял зигзагами на лугу у Стефании-бад. Часто он так был задумчив, что я долго, долго его звала; обыкновенно он отказывался со мной гулять, приводя самые странные причины. Его, кроме Карамзина (сына автора "Истории Государства Российского". - Б. С.), из русских никто не знал, и один господин высшего круга мне сказал, встретив меня с ним: "вы гуляете с каким-то Гоголем, человеком очень дурного тона". В июне месяце он вдруг нам предложил вечером собраться и объявил, что пишет роман под названием "Мертвые души" и хочет прочесть нам две первые главы. Андрей Карамзин, граф Лев Соллогуб, В. П. Платонов и нас двое условились собраться в семь часов вечера (это чтение состоялось 14 августа н. ст. 1837 г.; несколько дней спустя А. Н. Карамзин писал своей матери, Е. А. Карамзиной: "В понедельник обедал я у Смирновой с Гоголем, который принес читать нам новое еще не оконченное сочинение: это длинный юмористический роман о России. Это лучше всего до сих пор написанного им...". - Б. С.). День был знойный. Около седьмого часа мы сели кругом стола. Гоголь взошел, говоря, что будет гроза, что он это чувствует, но, несмотря на это, вытащил из кармана тетрадку в четверть листа и начал первую главу. Вдруг

началась страшная гроза. Надобно было затворить окна. Хлынул такой дождь, какого никто не запомнил. В одну минуту пейзаж переменился: с гор полились потоки, против нашего дома образовалась каскада с пригорка, а мутная Мур бесилась, рвалась из берегов. Гоголь посматривал сквозь стекла и сперва казался смущенным, но потом успокоился и продолжал чтение. Мы были в восторге, хотя было что-то странное в душе каждого из нас. Однако он не дочитал второй главы и просил Карамзина с ним пройтись до Грабена, где он жил. Дождь начал утихать, и они отправились. После Карамзин мне говорил, что Н. В. боялся идти один домой, и на вопрос его отвечал, что на Грабене большие собаки, а он их боится и не имеет палки. На Грабене же не было собак, и я полагаю, что гроза действовала на его слабые нервы, и он страдал теми невыразимыми страданиями, известными одним нервным субъектам. На другой день я еще просила его прочесть из "Мертвых душ", но он решительно отказал и просил даже его не просить никогда об этом. Из Бадена Гоголь ездил со мной и с моим братом на три дня в Страсбург. Там в кафедральной церкви он срисовывал карандашом на бумажке орнаменты над готическими колоннами, дивясь избирательности старинных мастеров, которые над каждой колонной делали отменные от других украшения. Я взглянула на его работу и удивилась, как он отчетливо и красиво срисовывал. - "Как вы хорошо рисуете!" - сказала я. "А вы этого и не знали?" - отвечал Гоголь. Через несколько времени он принес мне нарисованную пером часть церкви очень искусно. Я любовалась его рисунком, но он сказал, что нарисует для меня что-нибудь лучше, а этот рисунок тотчас изорвал... В половине августа мы оставили Баден-Баден, и Гоголь с другими русскими проводил нас до Карлсруэ, где ночевал с моим мужем в одной комнате и был болен всю ночь, жестоко страдая желудком и бессонницей".

С. запомнился рассказ Гоголя о своем детстве: "Было мне лет пять. Я сидел один в Васильевке. Отец и мать ушли. Оставалась со мною одна старуха няня, да и та куда-то отлучилась. Спускались сумерки. Я прижался в уголку дивана и среди полной тишины прислушивался к стуку длинного маятника старинных стенных часов. В ушах шумело, что-то надвигалось и уходило куда-то. Верите ли, - мне тогда уже казалось, что стук маятника был стуком времени, уходящего в вечность. Вдруг слабое мяуканье кошки нарушило тяготивший меня покой. Я видел, как она, мяукая, осторожно кралась ко мне. Я никогда не забуду, как она шла потягиваясь, а мягкие лапы слабо постукивали о половицы когтями, и зеленые глаза искрились недобрым светом. Мне стало жутко. Я вскарабкался на диван и прижался к стене. "Киса, киса", - пробормотал я и, желая ободрить себя, соскочил и, схвативши кошку, легко отдавшуюся мне в руки, побежал в сад, где бросил ее в пруд, где несколько раз, когда она старалась выплыть и выйти на берег, отталкивал ее шестом. Мне было страшно, я дрожал, а в то же время чувствовал какое-то удовлетворение, может быть, месть за то, что она меня испугала. Но когда она утонула и последние круги на воде разбежались - водворились полный покой и тишина, - мне вдруг стало ужасно жалко "кисы". Я почувствовал угрызения совести. Мне казалось, что я утопил человека. Я страшно плакал и успокоился только тогда, когда отец, которому я признался в поступке своем, меня высек". Не исключено, что это воспоминание отразилось в "Майской ночи, или Утопленнице", где ведьму-мачеху, принимающую облик

черной кошки, утаскивает на дно пруда утопленница-панночка. В начале 1842 г. С. хлопотала о цензурном разрешении первого тома "Мертвых душ", и ее хлопоты увенчались успехом.

Осенью 1842 г. С. приехала по приглашению Гоголя в Рим, и он показал ей Вечный город, особо выделяя храм св. Петра. С. вспоминала: "...Прогулки продолжались ежедневно в течение недели, и Гоголь направлял их так, что они кончались всякий раз Петром. - "Это так следует. На Петра никогда не наглядишься, хотя фасад у него комодом". При входе в Петра Гоголь подкалывал свой сюртук, и эта метаморфоза преобразовывала его во фрак, потому что кустоду приказано было требовать церемонный фрак из уважения к апостолам, папе и Микельанджело... Однажды Гоголь повез меня и моего брата в San Pietro in Vinculi, где стоит статуя Моисея работы Микельанджело. Он просил нас идти за собою и не смотреть в правую сторону; потом привел нас к одной колонне и вдруг велел обернуться. Мы ахнули от удивления и восторга, увидев перед собою сидящего Моисея с длинной бородой. "Вот вам и Микельанджело! - сказал Гоголь. - Каков?" Сам он так радовался нашему восторгу, как будто он сделал эту статую. Вообще, он хвастал перед нами Римом так, как будто это его открытие. В особенности он заглядывался на древние статуи и на Рафаэля. Однажды, когда я не столько восхищалась, сколько бы он желал, Рафаэлевою Психеей в Фарнезине, он очень серьезно на меня рассердился. Для него Рафаэль-архитектор был столь же велик, как и Рафаэль-живописец, и, чтоб доказать это, он возил нас на виллу Мадата, построенную по рисункам Рафаэля. И он, подобно Микельанджело, соединил все искусства. Купидоны "Галатеи", точно живые, летают над широкой бездной, кто со стрелой, кто с луком. Гоголь говорил: - "Этот итальянец так даровит, что ему все удается". В Сикстинской капелле мы с ним любовались картиной Страшного суда. Одного грешника тянуло то к небу, то в ад. Видны были усилия испытания. Вверху улыбались ему ангелы, а внизу встречали его чертенята со скрежетанием зубов. "Тут история тайн души, - говорил Гоголь. Всякий из нас сто раз на день то подлец, то ангел". После поездок мы заходили в Сан-Аугустино и восхищались ангелами Рафаэля и рядом с церковью покупали макароны, масло и пармезан. Гоголь сам варил макароны, но это у Лепри всего пять минут берет, и это блюдо съедалось с удовольствием. Одним утром он явился в праздничном костюме, с праздничным лицом. "Я хочу сделать вам сюрприз, мы сегодня пойдем в купол Петра". У него была серая шляпа, светло-голубой жилет и малиновые пантолоны, точно малина со сливками. Мы рассмеялись. - "Что вы смеетесь? Ведь на Пасху, Рождество я всегда так хожу и пью после постов кофе с густыми сливками. Это так следует". - "А перчатки?" - "Перчатки, - отвечал он, - я прежде им верил, но давно разочаровался на этот счет и с ними простился". Ну, мы дошли наконец до самого купола, где читали надписи. Гоголь сказал нам, что карниз Петра так широк, что четвероместная карета могла свободно ехать по нем. "Вообразите, какую штуку мы ухитрились с Жуковским, обошли весь карниз! Теперь у меня пот выступает, когда я вспомню наше пешее хождение, вот какой подлец я сделался". Во время прогулок по Риму Гоголя особенно забавляли ослы, на которых он ехал с нами. Он находил их очень умными и приятными животными

и уверял, что они ни на каком языке не называются так приятно, как на итальянском (i ciuchi). После ослов его занимали растения, которых образчики он срывал и привозил домой... Он жил на Via Felice с Языковым, который в то время был болен, не ходил, и Гоголь проводил с ним все досужие минуты. Никто не знал лучше Рима, подобного чичероне не было и быть не может. Не было итальянского историка или хроникера, которого бы он не прочел, не было латинского писателя, которого бы он не знал; все, что относилось до исторического развития искусства, даже благочинности итальянской, ему было известно и как-то особенно оживляло для него весь быт этой страны, которая тревожила его молодое воображение и которую он так нежно любил, в которой его душе яснее виделась Россия, в которой отечество его озарялось для него радужно и утешительно. Он сам мне говорил, что в Риме, в одном Риме он мог глядеть в глаза всему грустному и безотрадному и не испытывать тоски и томления. Изредка тревожили его там нервы в мое пребывание, и почти всегда я видела его бодрым и оживленным... Заметив, что Гоголь и так хорошо знает все, что касается до древности, я сама завлеклась ею; я его мучила, чтоб узнать поболее. Один раз, гуляя в Колизее, я ему сказала: - "А как вы думаете, где Нерон сидел? вы это должны знать. И как он сюда явился - пеший, в колеснице или на носилках?" Гоголь рассердился: "Да что вы ко мне пристаете с этим мерзавцем! Вы воображаете, кажется, что я в то время жил; вы воображаете, что я хорошо знаю историю. Совсем нет. Историю никто еще так не писал, чтобы живо можно было видеть или народ, или какую-нибудь личность. Вот один Муратори понял, как описывать народ; у него одного чувствуется все развитие, весь быт, кажется, Генуи; а прочие все сочиняли или только сцепляли происшествия; у них не сыщется никакой связи человека с той землей, на которой он поставлен. Я всегда думал написать географию; в этой географии можно было бы увидеть, как писать историю. Но об этом после. Друг мой, я заврался, я скажу вам, между прочим, что подлец Нерон являлся в Колизей в свою ложу в золотом венке, в красной хламиде и золоченых сандалиях. Он был высокого роста, очень красив и талантлив, пел и аккомпанировал себе на лире. Вы видели его статую в Ватикане, она изваяна с "натуры". Но не часто и не долго он говорил; обыкновенно шел один поодаль от нас, подымал камешки, срывал травки или, размахивая руками, попадал на кусты и деревья; в Кампаньи ложился навзничь и говорил: - "Забудем все, посмотрите на это небо", - и долго задумчиво и вместе весело он глядел на это голубое, безоблачное, ласкающее небо". В Риме в беседе с С. Гоголь подвел итог мистификации со своим путешествием в Испанию. С. вспоминала: "Будучи в Риме, уже в 1843 году, Гоголь опять, как в 1837 г. в Париже начал что-то рассказывать об Испании. Я заметила, что Гоголь мастер очень серьезно солгать. На это он сказал: "Так если ж вы хотите знать правду, я никогда не был в Испании, но зато я был в Константинополе, а вы этого не знаете". Тут он начал описывать во всех подробностях Константинополь, называл улицы, рисовал местности, рассказывал о собаках, упоминая даже, какого они цвета, и о том, что там подают кофе в маленьких чашках с гущею... Речь его была наполнена множеством мелочей, которые мог знать только очевидец, и заняла всех слушателей на целые полчаса или около того. - "Вот сейчас и видно, - сказала я

ему тогда, - что вы были в Константинополе". А он ответил: - "Видите, как легко вас обмануть. Вот же я не был в Константинополе, а в Испании и Португалии был" (интересно, что в Константинополе, в отличие от Испании, Гоголь действительно побывал, но только через пять лет после встречи с С. в Риме, в апреле 1848 г., на обратном пути из Иерусалима в Россию. - Б.С.). В Испании он точно был, но проездом (непонятно, откуда и куда проездом, если учесть, что Пиренейский полуостров - это край Европы, и оттуда можно отправиться только в Америку или Африку, где Гоголь, уж точно, никогда не был. - Б. С.), потому что в самом деле оставаться долго было неприятно после Италии: ни климат, ни природа, ни художества, ни картины, ни народ не могли произнести на него особенного впечатления. Испанская школа сливалась для него с Болонскою в отношении красок и в особенности рисунка; Болонскую он совсем не любил. Очень понятно, что такой художник, как Гоголь, раз взглянувши на Микельанджело и Рафаэля в Риме, не мог слишком увлекаться другими живописцами. Вообще у него была известного рода трезвость в оценке искусства; лишь в том случае, если он всеми струнами души своей признавал произведение прекрасным, тогда оно получало от него наименование прекрасного. "Стройность во всем, вот что прекрасно", - говорил он".

Из Италии С. уехала во Францию и там в декабре 1843 г. вновь встретила Гоголя. Позднее Гоголь писал С.: "Вы были знакомы со мною и прежде, и виделись со мною и в Петербурге и в других местах. Но какая разница между тем нашим знакомством и вторичным нашим знакомством в Ницце! Не кажется ли вам самим, как будто мы друг друга только теперь узнали, а до того времени вовсе не знали?" С. вспоминала: "Гоголь был очень нервен и боялся грозы. Раз, как-то в Ницце, кажется, он читал мне отрывки из второй и третьей части "Мертвых душ", а это было не легко упросить его сделать. Он упирался, как хохол, и чем больше просишь, тем сильнее он упирается. Но тут как-то он растаял, сидел у меня и вдруг вынул из-за пазухи толстую тетрадь и, ничего не говоря, откашлялся и начал читать. Я вся обратилась в слух. Дело шло об Уленьке, бывшей уже замужем за Тентетниковым. Удивительно было описано их счастие, взаимное отношение и воздействие одного на другого...Тогда был жаркий день, становилось душно. Гоголь делался беспокоен и вдруг захлопнул тетрадь. Почти одновременно с этим послышался первый удар грома, и разразилась страшная гроза. Нельзя себе представить, что стало с Гоголем: он трясся всем телом и весь потупился. После грозы он боялся один идти домой. Виельгорский взял его под руку и отвел. Когда после я приставала к нему, чтобы он вновь прочел и дочитал начатое, он отговаривался и замечал: - "Сам Бог не хотел, чтоб я читал, что еще не окончено и не получило внутреннего моего одобрения... Признайтесь, вы тогда очень испугались?" - "Нет, хохлик, это вы испугались", - сказала я. - "Я-то не грозы испугался, а того, что читал вам, чего не надо еще никому читать, и Бог в гневе своем пригрозил мне"".

7 апреля н. ст. 1844 г. Гоголь писал С. из Дармштадта: "Христос Воскрес! Пишу к вам в самый день Светлого Христова Воскресенья... Любовь Божья так безгранично безмерна к людям, что если бы мы прозревали поглубже в смысл всех совершающихся с нами событий, то, вероятно, вся жизнь наша обратилась бы в одни слезы благодарности. Но не об этом будет речь. На письмо ваше

скажу вам пока то, что велит сказать душа моя: Будьте светлы и старайтесь насильно быть светлу и веселу душой. Недавно прочел я, что, стараясь засмеяться смехом души, мы уже призываем ангела на уста наши, который помогает нам потом действительно засмеяться таким смехом. Всё до последней мелочи мы должны приобретать в сей жизни насильно, и ничего не дается нам даром. В письме вашем, несмотря на успокоение ваше, дышит что-то тревожное. Вы способны увлекаться, это вы должны помнить беспрерывно. Берегитесь всего страстного, берегитесь даже в божественное внести что-нибудь страстное. Совершенного небесного бесстрастия требует от нас Бог и в нем только даст нам узнать Себя. Впрочем, о многом следует переговорить, а не писать. Вы спрашиваете, нет ли у меня средства для того, чтобы заставить душу пребывать в одном и том же состоянии. Но вы слишком многого потребовали вдруг, самые святые люди не могли пребывать в одном и том же ровном душевном состоянии. Мне иногда помогало одно средство, которое, как я узнал, помогало и тем, которые получше меня. Средство это состоит в том, чтобы, оставя на время собственное положение и обстоятельства, как бы они тревожны ни были, заняться положеньем других, близких нам людей и именно таких, которых обстоятельства еще труднее наших и требуют большей работы ума. Обстоятельства их следует обращать на все стороны, дабы увидеть, чем мы вследствие наших к ним отношений можем быть полезны и помочь им. Ибо многое нам кажется невозможным оттого, что ум наш не приобрел привычки обращать на все стороны предмет и что страсти наши торопливо стремятся исполнить, не дождавшись, пока ум переворотит на все стороны дело. Как бы то ни было, но когда я, бросивши свои трудные обстоятельства, принимался за таковые же другого или даже за размышление о них, душа моя приобретала покой среди беспокойства и мои собственные обстоятельства представлялись потом в яснейшем виде, и я легко находил средства чрез то помочь самому себе. Так тесно мы связаны друг с другом в этом мире! Я начинаю думать, что если и чувствуем мы тоску или глупое состояние души, то это, верно, для того, чтоб в это время вспомнить о ком-либо другом, а не о себе. Если ж тяжкое горе нам приключится или важное затруднительное обстоятельство, то помышленье в это время о горе другого не только послужит отводом горя, но даже необходимым охлаждением страстных влечений наших, без чего мы в силах наделать множество самых неразумных дел. Но вы сами помолившись найдете противу многого средства".

26 ноября 1844 г. С. писала Гоголю: "Молитесь за Россию, за всех тех, которым нужны ваши молитвы, и за меня, грешную, вас много, много и с живою благодарностью любящую. Вы мне сделали жизнь легкую; она у меня лежала тирольской фурой на плечах. А признаться ли вам в своих грехах? Я совсем не молюсь, кроме воскресения. Вы скажите мне, очень ли это дурно, потому что я, впрочем, непрестанно, - иногда свободно, иногда усиленно, себя привожу к Богу. Я с ленцой; поутру проснусь поздно, и тотчас начинается житейская суета хозяйственная... Вы знаете сердца хорошо; загляните поглубже в мое и скажите, не гнездится ли где-нибудь какая-нибудь подлость под личиною доброго дела и чувства? Я вам известна во всей своей черноте, и можете ли вы придумать, что точно так скоро сделалась благодатная перемена

во мне, или я только себя обманываю, или приятель так меня ослепил, что я не вижу ничего и радуюсь сердцем призраку? Эта мысль иногда меня пугает в лучшие минуты жизни... Вы один доискиваться умеете до души без слов... Я еще все-таки на самой низкой ступеньке стою, и вам еще не скоро меня оставлять. Напротив, вы более, чем когда-либо, мне нужны". А в письме Гоголю от 12 декабря 1844 г. из Петербурга признавалась: "Мне скучно и грустно. Скучно оттого, что нет ни одной души, с которой бы я могла вслух думать и чувствовать, как с вами; скучно потому, что я привыкла иметь при себе Николая Васильевича, а что здесь нет такого человека, да вряд ли и в жизни найдешь другого Николая Васильевича... Душа у меня обливается каким-то равнодушием и холодом, тогда как до сих пор она была облита какою-то теплотою от вас и вашей дружбы. Пожалуйста, пишите мне. Мне нужны ваши письма".

24 декабря н. ст. 1844 г. Гоголь из Франкфурта писал С.: "Скажу вам одно слово насчет того, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Я сам не знаю, какая у меня душа. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому перед малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены Богом, и, как нарочно, каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой: явный знак, что они должны пополнять одна другую... Так как вы уже несколько раз напоминаете мне о деньгах, то я решаюсь наконец попросить у вас. Если вам так приятно обязать меня и помочь мне, то я прибегну к займу их у вас. Мне нужно будет от трех до шести тысяч в будущем году. Если можете, то пришлите на три вексель во Франкфурт, или на имя банкира Бетмана, или к Жуковскому и ко мне. А другие три тысячи в конце 1845 года. А может быть, я обойдусь тогда и без них, если как-нибудь изворочусь иначе. Но знайте, что раньше двух лет вряд ли я вам отдам их назад. Об этом не сказывайте никому, особенно Плетневу. Он мне предлагал в письме своем денег сколько хочу, но мне никаким образом не следует у него взять..."

28 декабря н. ст. 1844 г. Гоголь писал С. из Франкфурта в связи со своим проектом предоставить деньги, вырученные от продажи его сочинений, для помощи "бедным, но достойным студентам": "Талантам дается слишком нежная, слишком чуткая и тонкая природа. Много, много их можно оскорбить грубым прикосновением, как нежное растение, принесенное с юга в суровый климат, может погибнуть от неуместного с ним обхождения не приобвыкшего к нему садовника. Трудно бывает таланту, пока он молод или, еще справедливее, пока он не вполне христианин. Иногда и близкий друг может оскорбить, оказав ему радушную помощь, может потом попрекнуть его в неблагодарности. Это часто делается в свете, иногда даже без строгого рассмотрения, а по каким-нибудь внешним признакам. Но когда дающий скрыл свое имя, значит, он верно не потребует никакой благодарности. Такая помощь приемлется твердо и неколеблемо, и будьте уверены, что незримые и прекрасные моленья будут совершаться в тишине о душе незримого благотворителя вечно, и сладко будет получившему даже и при конце дней вспомнить о помощи, присланной неизвестно откуда".

16 января н. ст. 1845 г. В. А. Жуковский сообщал С.: "Гоголя нет с нами; за два дня до рождения Павла Васильевича (сына Жуковского. - Б. С.), отправился он в Париж, приглашенный туда Толстыми и Виельгорскими. Я сам его посылал

туда, ибо у него начинали колобродить нервы, и сам Копп (известный немецкий врач Иоганн Генрих Копп (1777-1858). - Б. С.) прописал ему Париж как спасительное лекарство. Весной он ко мне возвратится. Вам бы надобно о нем позаботиться у царя и царицы. Ему необходимо надобно иметь что-нибудь верное в год. Сочинения ему мало дают, и он в беспрестанной зависимости от завтрашнего дня. Подумайте об этом: вы лучше других можете характеризовать Гоголя с его настоящей, лучшей стороны. По его комическим творениям могут в нем видеть совсем не то, что он есть. У нас смех принимают за грех, следовательно, всякий насмешник должен быть великий грешник..."

И С. позаботилась. 22 февраля 1845 г. она обратилась с запиской на имя великой княгини Марии Николаевны: "Ваше императорское высочество милостиво изволили принять мою просьбу о Гоголе и приказали составить о нем записку, которую имею честь представить. Сочинения его известны вашему императорскому высочеству. Публика особенно заметила в них оригинальные, комические стороны; но от вашего взгляда, без сомнения, не ускользнули красоты высшие, чувство всего прекрасного, чисто русского народного, которые его поставили наряду с первыми нашими литераторами. Чем более он входит в изображение серьезной стороны русского быта (о чем упоминает сам в последних своих сочинениях), тем медленнее подвигается его работа и следовательно он лишается выгод, соединенных с продажею книг. Самая первая выручка его сочинений употреблена была им на поправление расстроенного состояния матери и сестер, которые и до сих пор не совершенно обеспечены. Между тем, его здоровье было всегда так слабо, что вследствие сильной болезни он вынужден был оставить самую выгодную службу, находившись в здешнем университете адъюнкт-профессором, и отправился за границу (в действительности плохое здоровье было лишь предлогом для отставки. - Б. С.). Лишенный всякого способа достигнуть своих предприятий литературных и касающихся до здоровья, он только благодеяниями царскими может быть обеспечен. Конечно, он еще не успел сделать для пользы русской словесности столько, как Пушкин и Карамзин; но милости Государя не исключают никого, кто из любви к пользе отечества приносит хоть слабую дань своего усердия. Участие Вашего императорского высочества само определит, каким образом может быть поддержано существование человека, который по общему признанию подает много надежд... Вашего императорского высочества много преданная и всепокорная слуга А. Смирнова".

2 марта 1845 г. С. беседовала с Николаем I о Гоголе. В этот же день она написала в дневнике: "Я ему напомнила о Гоголе; он был благосклонен. "У него есть много таланту драматического, но я не прощаю ему выражения и обороты слишком грубые и низкие". - "Читали вы "Мертвые Души"?" - спросила я. - "Да разве они его? Я думал, что это Соллогуба". Я советовала их прочесть и заметить те страницы, где выражается глубокое чувство народности и патриотизма". И уже 25 марта, согласно царской резолюции на докладе С. С. Уварова, Гоголю были выделены 3 тыс. рублей на 3 года.

24 февраля н. ст. 1845 г. Гоголь писал С. из Парижа: "Париж или лучше - испарения воздуха парижских обитателей, пребывающие здесь на место воздуха, помогли мне немного и даже вновь расстроили приобретенное

переездом и дорогою, которая одна бывает для меня действительнее всяких пользований. С Виельгорскими я видался мало и на несколько минут. Они погрузились в парижский свет, который исследывают любопытно, чему я, впрочем, очень рад. Рассеяние им необходимо нужно... Я провел эти три недели совершенным монастырем, в редкий день не бывал в нашей церкви и был сподоблен Богом, и среди глупейших минут душевного состояния, вкусить небесные и сладкие минуты. Здоровье мое слабеет, и не хватает сил для занятий".

28 июня н. ст. 1845 г. Гоголь, узнав, что Н. М. Смирнов назначен калужским губернатором, писал С. из Карлсбада: "...Тороплюсь поговорить с вами теперь о предстоящей вам жизни внутри России и об обязанностях, с ней сопряженных. Намечу одни только главные пункты. Вам немного нужно говорить; недоговоренное вы почувствуете сами и пополните всё, что мною будет пропущено. Ваше влияние в губернии гораздо значительнее, нежели вашего мужа, а, может быть, и генерал-губернатора... Их влияние - на чиновников, и то по мере прикосновения чиновников с должностью, ваше влияние - на жен чиновников вообще, по мере прикосновения их с жизнью городскою и домашнею и по влиянию их на мужей своих, существеннейшему и сильнейшему, чем все другие власти. Губернаторша как бы то ни было первое лицо в городе. Благодаря нынешнему направлению обезьянства, с вас будут брать и заимствовать всё до последней безделицы. Итак, вы видите сами, как вы можете быть значительны. Дамские общества в губернии скучны до нестерпимости. В этом согласны все. Вначале вам будет слишком трудно. Во-первых, все они заражены более, чем где-либо в столицах, страстью рядиться - источник взимания взяток и всяких несправедливостей для их мужей. Смотрите, чтобы вы всегда были одеты просто, чтобы у вас как можно было поменьше платья. Говорите почаще, что теперь и Государыня, и двор одеваются слишком просто. Нападайте на визиты - источники всяких ссор и щекотливых раздражительностей честолюбья и самолюбья. Говорите почаще, что вы совершенно считаете за ничто, сделает ли вам или не сделает кто визита, что принимать это за важное грех, а выводить из того какие-нибудь заключения - мелко. Говорите, что вы считаете неизвинительным не сделать визита, когда визит чем-нибудь может быть полезен, когда посещаемый находится в горе, в тоске, когда нужно его утешить, развеселить или поднять дух его, и докажите это делом. Как только узнаете, как какая-нибудь из дам или захворала, или тоскует, или в несчастии, или просто, что бы ни случилось с нею, приезжайте к ней тот же час. Будьте к ней заботливы и обходительны с ней и, ободривши ее, оставляйте ее скоро, чтобы обратиться к другой или к ждущему вас благотворительному подвигу. Долго не засиживайтесь, заставляйте лучше желать вашего вторичного посещения; лучше пусть будут чаще ваши приезды для утешения, чем продолжительны. Нужно, чтобы в первый приезд ваш увидели только вашу доброту и ваше искреннее расположение любить, а потом вы уже нечувствительно будете мало-помалу приобретать над ними власть и придете в силы внушать им, как они должны действовать благодетельно на мужей. Что же окажется слишком жестко и нельзя будет расшевелить, что, как застарелая болезнь, будет противиться умягчающим лекарствам, то до времени

оставьте, не идите слишком упрямо против него, лучше покамест сообщите это духовному пастырю. Пусть он изберет его текстом проповеди, выставит резко всю черноту его и покажет, как может им погубить свою душу человек; или передайте духовнику (если он сколько-нибудь понимает, что такое духовник), пусть он обратит наиболее на это внимания при исповеди. Прежде всего познакомьтесь с теми женщинами, которые поумнее других, расспросите у них обстоятельно и хорошо о всех других, которые поглупее, не упуская ничего, до самых пустых привычек и мелочей. Вы же владеете искусством расспрашивать и разведывать. Доселе вы употребляли это искусство суетно и на пустое; теперь следует возвратить ему законное благодетельное значение. Помните теперь твердо, что все эти мелочи суть признаки тех болезней, которые вам следует лечить, и, не зная которых во всей подробности, вы никак не сумеете лечить самой болезни, как бы рассудительно на нее ни взглянули и как бы ни велик был ваш талант в лечении. Склоняйте всех, которые сколько-нибудь поумнее, идти по вашим следам и делать в своем кругу и с своей стороны почти то же. Убедите их, что пора хотя сколько-нибудь, хотя понемногу заботиться о душе и среди пустых дел хотя сколько-нибудь отделять времени на занятия и обязанности важнейшие. Заставьте их также делать визиты, сколько-нибудь благодетельные. Приезжайте к ним забирать отчеты в их действиях, чтоб это сделалось нечувствительно предметом разговоров, тогда и разговор не будет скучен; тогда и разговор будет оживляющим и подталкивающим на самое дело. Когда же умные начнут, глупые поневоле и наконец от скуки станут подлаживать и не так рознить в общем ладу. Вы сами увидите в непродолжительном времени, какие заведения окажутся потребными и надобными в губернии, если подолее будете разузнавать и расспрашивать, и действовать и видеть, и поверьте, что даже в те благотворительные заведения, которые у других не достигают своей цели и считаются ничтожными, у нас достигнут. Если узнаете, что есть хорошие священники, познакомьтесь с ними, беседуйте почаще, именно о том, как они, с своей стороны, по мере и в границах определенных им обязанностей, могут подействовать благодетельно. Представляйте им живее и яснее тех людей, с которыми они имеют дело, чтобы они поняли, каким образом и как поступать с ними. Помните, что священники иногда, при доброте и добрых христианских качествах, лишены познания света и не знают иногда, какой стороной и как применить высокие истины христианские к ежедневно вращающейся жизни. От них вы тоже можете забрать много сведений относительно нуждающихся и бедствующих в разных сословиях низших, и Бог откроет вам способы помочь им. Не оставляйте также и тех священников, которые почему-либо дурны. Нужно понемногу усовещивать также их. Говорите им при случае, что Государь во время проезда у вас будет спрашивать непременно о том, каковы здесь попы. Напоминайте также почаще архиерею, чтобы он их усовещивал. Словом, чтобы хотя сколько-нибудь заставлены были и они действовать и не оставались бы в совершенной праздности. Обратите потом внимание на должность и обязанность вашего мужа, чтобы вы непременно знали, что такое есть губернатор, какие подвиги ему предстоят, какие пределы и границы его власти, какая может быть степень влияния его вообще, каковы истинные отношения его с чиновниками и что он

может сделать большего и лучшего в указанных ему пределах. Не для того вам нужно это знать, чтобы заниматься делами своего мужа, но для того, чтобы уметь быть полезной ему благоразумным советом в деле трудном и вообще во всяком деле, чтобы исполнить значение женщины - быть истинною помощницей мужа в трудах его, чтобы исполнить наконец долг, тот, который вами не был выполнен, долг верной супруги, который выполнить можно вам только на этом поприще и только в сем, а не другом смысле. Тогда смоется прегрешение ваше, и душа ваша будет чиста от упреков совести. Здесь вы также должны познакомиться прежде со всеми давно служащими в губернии и опытными чиновниками, расспросить их обо всем и выведать от них всю подноготную по мере их значения. Вы их можете всех, всех весьма легко расположить к себе, съездить иногда к ним на дом, обласкать их жену, детей. Словом, всё вы должны употребить к тому, чтобы вам мало-помалу открылся весь внутренний ход дел в губернии, не только явных, но и тайных. Когда узнаете многие сокровенные пружины, уведаете тогда и то, что многое, по-видимому, ничем неисправимое зло кроткими, тихими, никому невидными и благодетельно христианскими путями может быть уничтожено вовсе, прежде чем узнают даже о существовании его. Но об этом поговорим после, когда вы станете лицом к лицу к самому делу. Теперь, пока я вам набросил только пункты, о которых вы должны подумать предварительно, прежде чем отправитесь на место. Когда же вы напишете мне с места, ясно представите положение всех ваших обстоятельств, тогда я буду уметь вам сказать толковей, ближе к предмету и удобоисполнимей, словом - вы сами тогда меня научите тому, что должен я вам говорить; ибо вы знаете сами, бесценный друг мой, как я глуп во всяком деле, когда оно не открыто предо мной во всей ощутительной его ясности. Я не могу ходить не по дороге. Скажу вам только то, что слишком много обязанностей прекрасных вам будет предстоять на ныне открывающемся поприще. Молитесь же Богу, да воздвигнет в вас дух деятельности, и в минуту лени или тоски обращайтесь вновь к Нему и вслед за таким обращением тотчас же за дело. А я, если Богу угодно будет излечить меня и продлить еще на несколько лет жизнь мою, заеду к вам, без сомнения, в Калугу, и, верно, свидание наше будет радостней и плодотворней для душ наших, чем когда-либо дотоле. Простите меня за то, что так дурно и неразборчиво пишу: в силу движу слабой рукой моей". Это письмо было использовано в "Выбранных местах из переписки с друзьями" в главе "Что такое губернаторша".

25 июля 1845 г. Гоголь писал С. из Карлсбада: "...Вы коснулись "Мертвых Душ" и просите меня не сердиться на правду, говоря, что исполнились сожалением к тому, над чем прежде смеялись. Друг мой, я не люблю моих сочинений, доселе бывших и напечатанных, и особенно "Мертвых душ". Но вы будете несправедливы, когда будете осуждать за них автора, принимая за карикатуру насмешку над губерниями, так же, как были прежде несправедливы хваливши. Вовсе не губерния и не несколько уродливых помещиков, и не то, что им приписывают, есть предмет "Мертвых Душ". Это пока еще тайна, которая должна была вдруг, к изумлению всех (ибо ни одна душа из читателей не догадалась), раскрыться в последующих томах, если бы Богу угодно было продлить жизнь мою и благословить будущий труд. Повторяю вам вновь, что

это тайна, и ключ от нее, покамест, в душе у одного только автора. Многое, многое даже из того, что, по-видимому, было обращено ко мне самому, было принято вовсе в другом смысле. Была у меня, точно, гордость, но не моим настоящим, не теми свойствами, которыми владел я; гордость будущим шевелилась в груди, - тем, что представлялось мне впереди, счастливым открытием, которым угодно было, вследствие Божией милости, озарить мою душу, - открытием, что можно быть далеко лучше того, чем есть человек, что есть средства и что для любви... Но некстати я заговорил о том, чего еще нет..."

Нередко С. впадала в депрессию, и общение с Гоголем плодотворно на нее влияло, помогая выйти из душевного кризиса. В связи с этим графиня С. М. Соллогуб писала Гоголю 6 августа 1845 г.: "Александра Осиповна часто бывает в хандре. К несчастью, никто не может пособить ей, - один Бог и религия. С ней должны быть чрезвычайно тяжелые минуты. Она находится на страшной меже наслаждений, осуществившихся в протекшей молодости, и неизвестных испытаний в преддверии старости. Разочарование всегда трудно переносится". С. смотрела на Гоголя как на учителя жизни, указующего ей верный путь в христианстве. После того как в 1845 г. С. с мужем переехала из Петербурга в Калугу, Гоголь ее часто навещал в этом городе и в поместьях Смирновых в Московской и Калужской губерниях.

В январе 1846 г. С. писала из Калуги П. А. Плетневу: "До меня дошло, что Гоголь поправился, бывает всякий день у Софьи Петровны Апраксиной, которая очень его любит, чему я очень рада. Ему всегда надобно пригреться где-нибудь, тогда он и здоровее, и крепче духом. Совершенное одиночество для него пагубно". Но эти слухи оказались не совсем достоверны. Уже 4 марта н. ст. 1846 г. Гоголь писал С. из Рима: "О здоровье могу вам сказать только, что оно плохо. Приходится подчас так трудно, что только молишься о ниспослании терпения, великодушия, послушания и кротости. Верю и знаю, знаю твердо, что эта болезнь к добру, вижу, - и оно очевидно и явно, - надо мною великую милость Божию. Голова и мысли вызрели, минуты выбираются такие, каких я далеко не достоин, и все время, как ни болело тело, ни хандра, ни глупая необъяснимая скука не смели ко мне приблизиться. Да будет же благословен Бог, посылающий нам все! И душе, и телу моему следовало выстрадаться. Без этого не будут "Мертвые души" тем, чем им быть должно. Итак, молитесь обо мне, друг, молитесь крепко, дабы вся душа моя обратилась в одни согласно настроенные струны и бряцал бы в них сам дух Божий. Из всех средств доселе действовало лучше на мое здоровье путешествие, а потому весь этот год я осуждаю себя на странствие и постараюсь так устроиться, чтобы можно было в дороге писать. Лето все буду ездить по Европе в местах, где не был... В Риме я видаюсь и провожу время с немногими. Таких, которых бы сильно желала душа, здесь теперь нет. Нет даже таких, которые бы потребовали от меня сильной деятельности душевной, вследствие какой-нибудь своей немощи. А без надобности не хочется сталкиваться с людьми, да и некогда". Путешествие благотворно сказалось на здоровье писателя. Уже 24 ноября н. ст. 1846 г. Гоголь писал С. из Неаполя: "Здоровье мое поправилось неожиданно, совершенно противу чаяния даже опытных докторов. Я был слишком дурен, и этого от меня не скрыли. Мне было сказано, что можно на время продлить мою жизнь, но

значительного улучшения в здоровье нельзя надеяться. И вместо этого я ожил, дух мой и все во мне освежилось. Передо мной прекрасный Неаполь, и воздух успокаивающий и тихий. Я здесь остановился как бы на каком-то прекрасном перепутьи, ожидая попутного ветра воли Божией к отъезду моему на Святую землю. В отъезде этом руководствуюсь я Божьим указаньем и ничего не хочу делать по своей собственной воле".

С. была одной из немногих, кто высоко оценил "Выбранные места из переписки с друзьями". 11 января 1847 г. она писала Гоголю: "Книга ваша вышла под Новый год. И вас поздравляю с таким вступлением, и Россию, которую вы подарили этим сокровищем. Странно! Но вы, все то, что вы писали доселе, ваши "Мертвые души" даже, - все побледнело как-то в моих глазах при прочтении вашего последнего томика. У меня просветлело на душе за вас". В ответном письме 22 февраля н. ст. 1847 г. из Неаполя Гоголь писал: "Как мне приятно было получить ваши строчки, моя добрая Александра Осиповна. Ко мне мало теперь пишут: с появления моей книги еще никто не писал ко мне. Кроме коротких уведомлений, что книга вышла и производит разнообразные толки, я ничего еще не знаю, _ какие именно толки, не знаю, не могу даже и определить их вперед, потому что не знаю, какие именно из моих статей пропущены, а какие не пропущены. От Плетнева я получил только вместе с уведомлением о выходе книги и об отправленьи ко мне уведомленье, что больше половины не пропущено, статьи же пропущенные обрезаны немилосердно цензурою. Вся цензурная проделка для меня покамест темна и не разгадана. Знаю только то, что цензор был, кажется, в руках людей так называемого европейского взгляда, одолеваемых духом всякого рода преобразований, которым было неприятно появленье моей книги. Я до сих пор не получал ее и даже боюсь получить. Как ни креплюсь, но, признаюсь вам, мне будет тяжело на нее взглянуть. Всё в ней было в связи и в последовательности и вводило постепенно читателя в дело - и вся связь теперь разрушена! Будьте свидетелем моей слабости душевной и моего неуменья переносить. Всё, что для иных людей трудно переносить, я переношу уже легко с Божьей помощью, и не умею только переносить боли от цензурного ножа, который бесчувственно отрезывает целиком страницы, написанные от чувствовавшей души и от доброго желания. Весь слабый состав мой потрясается в такие минуты. Точно как бы перед глазами матери зарезали ее любимейшее дитя - так мне тяжело бывает это цензурное убийство. И сделал тот самый цензор, который благоволил к моим произведениям, боясь, по его собственному выражению, произвести и царапинку на них. Плетнев приписывает это его глупости, но я этому не совсем верю: человек этот не глуп. Тут есть что-то, по крайней мере для меня, непонятное. Я просил Виельгорского и Вяземского пересмотреть внимательно все не пропущенные статьи и, уничтоживши в них то, что покажется им неприличным и неловким, представить их на суд дальше. Если и Государь скажет, что лучше не печатать их, тогда я почту это волей Божьей, чтобы не выходили в публику эти письма; по крайней мере, мне будет хоть какое-нибудь утешение в том, когда я узнаю, что письма были читаны теми, которым, точно, дорого благосостояние и добро России, что хотя крупица мыслей, в них находящихся, произвела благодетельное влияние, что семя,

может быть, будущего плода заронилось вместе с ними в сердца. Письма эти были к помещикам, к должностным людям, письмо к вам о том, что можно делать губернаторше, попало также туда, а потому вы не удивляйтесь, что оно пришлось вам не совсем кстати: я писавши его к вам, имел уже в виду многих других и желал посредством его добиться верных и настоящих сведений о внутреннем состояньи душевного люда, живущего у нас повсюду". Еще до получения восторженного письма С. по поводу "Переписки", Гоголь писал ей 30 января н. ст. 1847 г.: "По делам моим произошла совершенная бестолковщина. Из книги моей напечатана только одна треть, в обрезанном и спутанном виде, какой-то странный оглодок, а не книга. Плетнев объявляет весьма холоднокровно, что просто не пропущено цензурою. Самые важные письма, которые должны составить существенную часть книги, не вошли в нее, письма, которые были направлены именно к тому, чтобы получше ознакомить с бедами, происходящими от нас самих внутри России, и о способах исправить многое, письма, которыми я думал сослужить честную службу Государю и всем моим соотечественникам. Я писал на днях Виельгорскому, прося и умоляя представить эти письма на суд Государю. Сердце говорит мне, что он почтит их своим вниманием и повелит напечатать".

20 апреля н. ст. 1847 г. Гоголь писал С. из Неаполя: "Меня ничто не смутит, если Бог меня не оставит, а Бог милостив, - Ему ли оставить меня, если я искренно молюсь Ему, молясь о том, чтобы уметь Ему вечно молиться, и если много людей Ему угодных и лучших возносят за меня грешного жаркие молитвы? Но мне нужно непременно всех выслушать, чтобы поступить умно. Путь мой тверд, и я до сих пор один и тот же, с некоторыми улучшениями (по милости Божией). Но я так уже устроен, что мне нужны нападения, брани и даже самые противуположные толки обо мне, чтобы взгляд мой на самого себя был ясен и чтобы дорога моя была передо мною ясна и не только ничем не потемнилась, но даже прояснялась бы, чем дальше, тем больше. Все эти брани, толки, противуречия обо мне еще также нужны затем, чтобы показать мне гораздо ближе общество, как никому другому оно не может показаться. Заметили ли вы одно необыкновенное свойство моей книги, какое вряд ли имела доселе какая-нибудь книга? Именно то, что она, несмотря на все бесчисленные свои недостатки, может служить пробным камнем для узнания нынешнего человека? В сужденьях своих о ней обнаружится перед вами весь человек, даже позабывши свою осторожность. Это весьма не безделица для писателя, а особливо такого, для которого предметом стал не шутя человек и душа человека. Бог недаром отнял у меня на время силу и способность производить произведенья искусства, чтобы я не стал произвольно выдумывать от себя, не отвлекался бы в идеальность, а держался бы самой существенной правды. И правда Руси передо мной теперь выступила, как никогда прежде. Не нужно только зевать, а подбирать всё, потому что другой такой благоприятной минуты, заставившей даже многих скрытных людей расстегнуться нараспашку, не скоро дождешься. Вот почему мне так дороги все толки, даже и людей, по-видимому, самых простых и глупых: они мне открывают их душевное состояние. Ответ на это письмо вы адресуйте во Франкфурт, на имя Жуковского. Мая первых чисел я отсюда выезжаю. Лето провожу на водах,

июль и август в Остенде на морском купаньи, а оттуда на осень в Италию, дабы оттуда в Иерусалим. А у Гроба Господня укреплюсь и духом, и телом, да и может ли быть иначе? Бог милостив. Не Он ли Сам внушил стремленье поработать и послужить Ему? Кто же другой может внушить нам это стремленье, кроме Его Самого? Или я не должен ничего делать на прославленье имени Его, когда всякая тварь Его прославляет, когда и бессловесные слышат силу Его? Мне ставят в вину, что я заговорил о Боге, что я не имею права на это, будучи заражен и самолюбием, и гордостью, доселе неслыханною. Что ж делать, если и при этих пороках все-таки говорится о Боге? Что ж делать, если наступает такое время, что невольно говорится о Боге? Как молчать, когда и камни готовы завопить о Боге? Нет, умники не смутят меня тем, что я недостоин и не мое дело, и не имею права: всяк из нас до единого имеет это право, все мы должны учить друг друга и наставлять друг друга, как велит и Христос и апостолы. А что не умеем выражаться мы хорошо и прилично, что иногда выскочат слова самонадеянности и уверенности в себе, за то Бог и смиряет нас, и нам же благодетельствует, посылая нам смирение. Если бы книга моя сделала успех и много бы людей было на моей стороне, тогда бы, точно, могла овладеть мною гордость и все те пороки, которые мне приписывают. Теперь, вследствие всех этих толков осмотревшись со всех сторон на себя, я могу заговорить таким взвешенным и умеренным голосом, что трудно будет им придраться ко мне".

В июле1848 г. Гоголь посетил С. в имении Н. М. Смирнова Бегичево, а потом отправился вместе с С. и ее мужем в Калугу. С. так рассказала об этом путешествии П. А. Кулишу: "Дорогою его (Гоголя. - Б. С.) занимало: как ему покажется губернский город, как будет устроен губернаторский дом, и вообще каков будет быт губернатора и всего, что его окружает? Подъехали к Калуге вечером. Вдали начали мелькать огни загородного губернаторского дома. Гоголь пришел в восхищение. - "Да это просто великолепие! - сказал он; - да отсюда бы и не выехал! Ах, да какой здесь воздух!" Ему отвели квартиру в особом флигеле... Флигель не отличался своею красотою, но Гоголю нравился, потому что он был там совершенно один и вид из окон был прекрасный. Его особенно восхищали зеленый сосновый бор и река Яченка, на крутом берегу которой стоял загородный губернаторский дом. Вправо от бора ему видны были главы Лаврентьева монастыря. Гоголь сам пожелал, чтобы ему служил человек Христофор, который нравился ему тем, что у него "настоящая губернская физиономия". Он утверждал, что "именно такие слуги должны быть в губернском городе у губернатора". По утрам Гоголя не видали; он являлся в дом только в три часа, к обеду. Он очень любил видеть за губернаторским обедом чиновников и говорил, что "это так следует". За столом он всегда разговаривал с чиновниками и был с ними очень любезен, но посещал только инспектора врачебной управы В. Я. Быковского, с которым он познакомился, как с земляком. Несмотря на то, в Калуге все знали Гоголя и очень им интересовались. Однажды ветер сорвал с него и бросил в лужу белую шляпу. Гоголь тотчас купил себе черную, а белую, запачканную грязью, оставил в лавке. Все "рядовичи" собрались к счастливому купцу, которому досталась эта драгоценность, и каждый примеривал шляпу на своей голове, удивляясь, что голова, дескать, у Гоголя и не очень велика, а сколько-то ума! Есть в Калуге

книгопродавец Олимпиев, великий почитатель литературных знаменитостей. Он был знаком с Пушкиным, с Жуковским и хаживал к Гоголю. Узнав о том, что шляпа Гоголя находится в руках гостинодворцев, он убедил их поднесть эту драгоценность А. О. Смирновой, что и было исполнено с подобающею церемониею. Но, разумеется, А.О., наслаждаясь присутствием у себя в доме самого Гоголя, отказалась принять его запачканную шляпу, и шляпа осталась во владении рядовичей (эпизод с гоголевской шляпой очень напоминает нам отношение современных поклонников эстрадных звезд со своими кумирами. - Б. С.). Гоголя возили по окрестностям губернского города и, между прочим, в село Ромоданово, откуда по его словам, вид Калуги напоминал ему Константинополь. Бывши там у всенощной в праздник Рождества Богородицы, он восхищался тем, что церковь убрана была зеленью. Костюм Гоголя в это время разделялся на будничный и праздничный. По воскресеньям и праздникам он являлся обыкновенно к обеду в бланжевых нанковых панталонах и голубом, небесного цвета, коротком жилете. Он находил, что "это производит впечатление торжественности", и говорил, что "в праздники все должно отличаться от буднишнего": сливки в кофе должны быть особенно густы, обед очень хороший, за обедом должны быть председатели, прокуроры и всякие этакие важные люди, и самое выражение лиц должно быть особенно торжественно".

По свидетельству С., "у Гоголя всегда в кармане была записная книжка или просто клочки бумаги. Он заносил сюда все, что в течение дня его поражало или занимало: собственные мысли, наблюдения, уловленные оригинальные или почему-либо поразившие его выражения и пр. Он говорил, что если им ничего не записано, то это потерянный день; что писатель, как художник, всегда должен иметь при себе карандаш и бумагу, чтобы наносить поражающие его сцены, картины, какие-либо замечательные, даже самые мелкие детали. Из этих набросков для живописца создаются картины, а для писателя сцены и описания в его творениях. - "Все должно быть взято из жизни, а не придумываться досужей фантазией". Гоголь при всей своей застенчивости и нелюдимости, охотно вступал в разговоры с самыми разнообразными людьми. "Мне это вовсе неинтересно, - говорил он, как бы оправдываясь, - но мне необходимо это для моих сочинений". В Калуге он как-то перезнакомился в гостином дворе со всеми купцами и лавочниками. У некоторых засиживался и играл подолгу в шашки. Его знали не только как гостя, проживавшего у губернатора, но и как автора "Ревизора", столь знакомой комедии. Но вообще Гоголь был туг на новое знакомство. Он утверждал, что вести знакомство можно только с теми, у кого чему-либо можно научиться или кого можно научить чему-либо. Познакомившись и заинтересовавшись человеком, Гоголь или внимательно слушал его, или обучал иногда самым элементарным истинам или просто вопросам практической жизни. Толкуя их по-своему и придавая им практическое значение, он смущал этих людей, а натуры обыкновенные, любящие говорить свысока самые банальные истины, приводил в негодование. Они не на шутку сердились на расточавшего непрошенные поучения. Гоголь любил лакомиться, и у него в карманах, в особенности в детстве, всегда были какие-либо пряники, леденцы и т. п. Живя в гостинице, он никогда не позволял

прислуге уносить поданный к чаю сахар, а собирал его, прятал где-нибудь в ящике и порою грыз куски за работою или разговором. "Зачем, говорил он, - оставлять его хозяину гостиницы? Ведь мы за него уплатили". Происходило это, конечно, не от скупости. Гоголь никогда не был скупым". В начале февраля 1850 г. Гоголь писал С.: "Болен, изнемогаю духом, требую молитв и утешения и не нахожу нигде. С болезнию моею соединилось такое нервическое волнение, что ни минуты не посидит мысль моя на одном месте и мечется, бедная, беспокойней самого больного". Летом 1851 г. Гоголь навестил С. в ее подмосковном имении - в селе Спасское Бронницкого уезда. Об этом сохранилась черновая запись ее воспоминаний: "В мае Гоголя не было, пригласила в подмосковную. Бронницкого уезда, в село Спасское. Я занемогла. Нервы - бессонница, волнения. "Ну, я опять вожусь с нервами!" - "Что делать! Я сам с нервами вожусь". Очень жаркое лето, Гоголю две комнатки во флигеле, окнами в сад. В одной он спал, а в другой работал, стоя к небольшому пюпитру, вздумал поставить бревна. Прислуживал человек Афанасий, от которого слышали, что он вставал в пять. Сам умывался, одевался без помощи человека. Шел прямо в сад с молитвенником в руках, в рощу, т. е. английский сад. Возвращался к восьми часам, тогда подавали кофе. Потом занимался, а в 10 или в 11 часов он приходил ко мне или я к нему. Когда я у него - тетради в лист, очень мелко. Покрывал платком. Я сказала, что прочла: "Никита и генер-губ. разговаривают". - "А, вот как! Вы подглядываете, так я же буду запирать!" Предлагал часто Четьи-Минеи. Но я страдала тогда расстройством нервов и не могла читать ничего подобного. Каждый день читал житие святого на этот день. Перед обедом пил всегда, всегда - воду, которая придавала деятельность желудку, ел с перцем. А после обеда мы ездили кататься. Он просил, чтоб поехали в сосновую или еловую рощу. Он любил после гулянья бродить по берегам Москвы-реки, заходил в купальню и купался. Между тем мое здоровье было расстроено. Гоголь раз хотел меня повеселить и предложил прочесть первую главу (второго тома "Мертвых душ". - Б. С.). Но нервы, должно быть, натянуты, что я нашла пошлой и скучной. "Видите, когда мои нервы расстроены, даже и скучны". "Да, вы правы: это все-таки дребедень, а вот душе не это нужно". Казался очень грустен. Так как его комнаты были очень малы, то он в жары любил приходить в дом, ложился в гостиной на середний диван, в глубине комнаты, для прохлады. Придет и сидит. Вот что раз случилось: я взошла в гостиную, думая, что никого нет, и вдруг увидела Гоголя на диване с книгой в руках. Он держал в руке Четьи-Минеи и смотрел сквозь отворенное окно в поле. Глаза его были какие-то восторженные, лицо оживлено чувством высокого удовольствия: он как будто видел перед собой что-то восхитительное. Когда я взошла, он как будто испугался. Ему, должно быть, показалось, что кто-то явился. Глядел - жду. "Николай Васильевич, что вы тут делаете?" Как будто проснулся. "Ничего. Житие (в июле) такого-то". Что-то приятное: молился он, что ли, _ в экстазе. Чуть ли не Косьмы и Дамиана. По вечерам Гоголь бродил перед домом после купанья, пил воду с красным вином и с сахаром и уходил часто в десять к себе. С детьми ездил к обедне, к заутрене. Любил смотреть, как загоняли скот домой. Это напоминает Малороссию... Он уж тогда был нездоров, жаловался на расстройство нервов, на медленность пульса, на недеятельность

желудка и не разговаривал ни с домашними слугами, ни с крестьянами. "Почему не говорили с мужиками?" - "Да у вас старых мужиков нет". Терпеть не мог фабричных мужиков в фуражках и дам нарумяненных. Странности... Куда ехать, - в Малороссию. "Помолитесь". Больными расстались, благословил образом. "И молитва моя за вас будет. А думали ли вы о смерти?" - "О, это любимая мысль, на которой я каждый день выезжаю". Шутливость его и затейливость в словах исчезли. Он весь был погружен в себя".

СОБАКЕВИЧ Михаил Семенович, персонаж "Мертвых душ". Его имя указывает на сходство с медведем, всячески подчеркиваемое Гоголем. По определению писателя, С. "такой медведь, который уже побывал в руках, умеет и перевертываться, и делать разные штуки на вопросы: "А покажи, Миша, как бабы парятся" или: "А как, Миша, малые ребята горох крадут?". Чичиков замечает по поводу С.: "Нет, кто уж кулак, тому не разогнуться в ладонь! А разогни кулаку один или два пальца, выдет еще хуже. Попробуй он слегка верхушек какой-нибудь науки, даст он знать потом, занявши место повиднее, всем тем, которые в самом деле узнали какую-нибудь науку. Да еще, пожалуй, скажет потом: "Дай-ка себя покажу!" Да такое выдумает мудрое постановление, что многим придется солоно... Эх, если бы все кулаки!.."

В черновом наброске заключительной главы то ли первого, то ли второго тома поэмы Гоголь так определяет его: "...плут Собакевич, уж вовсе не благородный по духу и чувствам, однакож не разорил мужиков, не допустил их быть ни пьяницами, ни праздношатайками". В образе С. отразился, в частности, М. П. Погодин. Характеристика С. как кулака, по всей вероятности, восходит к ссоре Гоголя с Погодиным, когда последний отказался выдать ранее оговоренные авторские оттиски повести "Рим". Как вспоминал М. С. Щепкин, Гоголь признался ему: "Ах, вы не знаете, что значит иметь дело с кулаком!" - "Так зачем же вы связываетесь с ним?" - подхватил я. - "Затем, что я задолжал ему шесть тысяч рублей ассигнациями: вот он и жмет. Терпеть не могу печататься в журналах, - нет, вырвал-таки у меня эту статью! И что же, как же ее напечатал? Не дал даже выправить хоть в корректуре. Почему уж это так, он один это знает". Ну, подумал я, потому это так, что иначе он не сумеет: это его (Погодина. - Б. С.) природа делать всё, как говорится, тяп да ляп". Также и у С. все предметы в доме и в имении словно вырублены топором, можно сказать, тяп-ляп, с заботой только об их функциональном назначении, без всякой заботы об изяществе.

В. Г. Белинский в статье "Ответ "Москвитянину" (1847) отмечал: "Собакевич - антипод Манилова: он груб, неотесан, обжора, плут и кулак; но избы его мужиков построены хоть неуклюже, а прочно, из хорошего лесу, и, кажется, его мужикам хорошо в них жить. Положим, причина этого не гуманность, а расчет, но расчет, предполагающий здравый смысл, расчет, которого, к несчастию, не бывает иногда у людей с европейским образованием, которые пускают по миру своих мужиков на основании рационального хозяйства. Достоинство опять отрицательное, но ведь если бы его не было в Собакевиче, Собакевич был бы еще хуже: стало быть, он лучше при этом отрицательном достоинстве".

Характеристика С. как "кулака" носит сугубо негативный характер. Подтверждение этого мы находим в письме Гоголя А. С. Данилевскому от 29 октября 1848 г.: "Жизнь в Москве стала теперь гораздо дороже. С какими-нибудь тремя тысячами едва холостой человек теперь в силах прожить, женатому же без 8 тысяч трудно обойтиться, - я разумею - такому женатому, который бы вел самую уверенную жизнь и наблюдал бы во всем строжайшую экономию. Почти все мои приятели сидят на безденежье, в расстроенных обстоятельствах, и не придумают, как их поправить. При деньгах одни только кулаки, пройдохи, и всякого рода хапуги. От этого и общество и жизнь в Москве стали как-то заметно скучнее..." Глубокую связь С. с Коробочкой подметил А. Б. Галкин на уровне их имен и отчеств, Михайло Семенович и Настасья Петровна, как медведя и медведицу из народной сказки. Эта связь подчеркивает грубость, неотесанность, в культурном смысле, обоих персонажей, и вместе с тем - их хватку, основательность, а в какой-то мере - и близость к народу, к тем же крестьянам, по вкусам и привычкам. Трапеза С., например, проста, лишена изысканности и отличается от крестьянской лишь обилием потребляемой пищи. Несмотря на мнение многих литературоведов о бездетности С., нигде в тексте поэмы нет указания об отсутствии у него детей, хотя и не отмечено, вместе с тем, что они у него есть.

СОЛЛОГУБ Владимир Александрович (1814-1882), граф, чиновник по особым поручениям министерства внутренних дел, писатель, автор популярных в свое время повестей "История двух калош" и "Тарантас" и "Воспоминаний". Был женат с 1840 г. на С. М. Виельгорской.

С. познакомился с Гоголем летом 1831 г. История этого знакомства подробно изложена в "Воспоминаниях": "В 1831 году летом я приехал на вакации из Дерпта в Павловск. В Павловске жила моя бабушка Архарова; а с нею вместе тетка моя Александра Ивановна Васильчикова... Я отправился на поклон к бабушке; время для бабушки было уже позднее, она собиралась спать.

- "Пойди-ка к Александре Степановне (ее приживалка), там у Васильчиковых при Васе студент какой-то живет, говорят, тоже пописывает, так ты пойди, послушай", - сказала мне бабушка, отпуская меня. Я отправился к Александре Степановне; она занимала на даче у бабушки небольшую, довольно низенькую комнату; у стены стоял старомодный, обтянутый ситцем диван, перед ним круглый стол, покрытый красной бумажной скатертью; на столе под темно-зеленым абажуром горела лампа. Подле Александры Степановны сидели две другие приживалки. Все три старухи вязали чулки, глядя снисходительно поверх на тут же у стола сидевшего худощавого молодого человека; старушки поднялись мне навстречу, усадили меня у стола, потом Александра Степановна, предварительно глянув на меня, обратилась к юноше: "Что же, Николай Васильевич, начинайте!" Молодой человек вопросительно посмотрел на меня; он был бедно одет и казался очень застенчив; я приосанился.

- "Читайте, - сказал я несколько свысока, - я сам "пишу" (читатель, я был так молод!) и очень интересуюсь русской словесностью; пожалуйста, читайте".

Ввек мне не забыть выражения его лица! Какой тонкий ум сказался в его чуть прищуренных глазах, какая язвительная усмешка скривила на миг его

тонкие губы. Он все так же скромно подвинулся к столу, не спеша, развернул своими длинными худыми руками рукопись и стал читать. Я развалился в кресле и стал его слушать; старушки опять зашевелили своими спицами. С первых слов я отделился от спинки своего кресла, очарованный и пристыженный, слушал жадно; несколько раз порывался я его остановить, сказать ему, до чего он поразил меня, но он холодно вскидывал на меня глазами и неуклонно продолжал свое чтение. Читал он про украинскую ночь: "Знаете ли вы украинскую ночь? Нет, вы не знаете украинской ночи!.." Он придавал читаемому особый колорит своим спокойствием, своим произношением, неуловимыми оттенками насмешливости и комизма, дрожавшими в его голосе и быстро пробегавшими по его оригинальному остроносому лицу, в то время как серые маленькие его глаза добродушно улыбались и он встряхивал всегда падавшими ему на лоб волосами. Описывая украинскую ночь, он будто переливал в душу впечатления летней свежести, синей, усеянной звездами выси, благоухания, душевного простора. Вдруг он остановился.

- "Да гопак не так танцуется!.." Приживалки вскрикнули: "Отчего не так?" Они подумали, что чтец обращался к ним. Он улыбнулся и продолжал монолог пьяного мужика. Признаюсь откровенно, я был поражен, уничтожен. Когда он кончил, я бросился ему на шею и заплакал. Молодого этого человека звали Николай Васильевич Гоголь. У тетки Васильчиковой было пятеро детей. Один из сыновей родился с поврежденным при рождении черепом, так что умственные его способности остались навсегда в тумане. К этому-то сыну в виде не то наставника, не то дядьки и был приглашен Гоголь для того, чтобы по мере возможности стараться хоть немного развить это бедное существо. На другой день после чтения я пошел к Васильчиковым и увидел следующее зрелище: на балконе, в тени, сидел на соломенном низком стуле Гоголь, у него на коленях полулежал Вася, тупо глядя на большую, развернутую на стуле книгу; Гоголь указывал своим длинным, худым пальцем на картинки, нарисованные в книге, и терпеливо раз двадцать повторял следующее: "Вот это, Васенька, барашек - бе...е...е, а вот это корова - му...у...му...у,а вот это собачка - гау...ау...ау..." При этом учитель с каким-то особым оригинальным наслаждением упражнялся в звукоподражаниях. Признаюсь, мне грустно было глядеть на подобную сцену, на такую жалкую долю человека, принужденного из-за куска хлеба согласиться на подобное занятие. Впоследствии Гоголь никогда не припоминал о нашем первом знакомстве: видно было, что он несколько совестился своего прежнего звания толкователя картинок. Но нет сомнения, что его будущей известности много также способствовали знакомства, приобретенные в доме Васильчиковых".

В 1843 г. и в начале 1844 г. С. встречался с Гоголем за границей и так описал эти встречи в мемуарах: "За границей я жил целый год с Гоголем, сперва в Баден-Бадене, потом в Ницце. Талант Гоголя в то время осмыслился, окрепнул, но прежняя струя творчества уже не билася в нем с привычною живостью. Прежде гений руководил им, тогда он уже хотел руководить гением. Прежде ему невольно писалось, потом он хотел писать и, как Гёте, смешал свою личность с независимым от его личности вдохновением. Он постоянно мне говорил: "Пишите, поставьте себе за правило хоть два часа в день сидеть за

письменным столом и принуждайте себя писать". - "Да что ж делать, возражал я, - если не пишется?" - "Ничего... Возьмите перо и пишите: сегодня мне что-то не пишется, сегодня мне что-то пишется, сегодня мне что-то не пишется и так далее; наконец надоест и напишется". - Сам же он так писал и был всегда недоволен, потому что ожидал от себя чего-то необыкновенного. Я видел, как этот бойкий, светлый ум постепенно туманился в порывах к недостижимой цели".

Гоголь считал, что у С. недостает силы воли. 24 сентября н. ст. 1844 г. он писал из Франкфурта его жене С. М. Виельгорской: "...Порядок спасет вас от много неприятного и поможет вам обоим выполнить много душевных и важных обязанностей. Вы этим окажете большую пользу и помощь вашему мужу. Ему трудно преодолеть самому себя, если б даже он и хотел. Я имею больше характера, нежели он, имею больше над собою власти, чем он, но и мне трудно во многом себя заставить и принудить".

Гоголь, похоже, не слишком высоко ценил литературные способности С. В письме Н. М. Языкову от 21 декабря 1843 г. (2 января 1844 г.) из Ниццы он писал, что С. "кажется, охотник больше ездить по вечеринкам, чем писать". Однако со временем, возможно, Гоголь изменил свою оценку произведений С. 3/15 января 1846 г. он писал графине С. М. Соллогуб, что опубликованный "Тарантас" ему понравился больше, чем в рукописи. А 14/26 мая 1846 г. Гоголь сообщал графине А. М. Виельгорской по поводу повести С. "Воспитанница", что ее автор "идет вперед". С. оставил воспоминания о своих встречах с Гоголем в Москве в конце 1840-х - начале 1850-х годов: "Гоголь чуждался и бегал света. Застенчивость его простиралась до странности. Он не робел перед посторонними, а тяготился ими. Как только являлся гость, Гоголь исчезал из комнаты. Впрочем, он иногда еще бывал весел, читал по вечерам свои произведения, всегда прежние, и представлял, между прочим, в лицах своих нежинских учителей с такой комической силой, что присутствующие надрывались со смеха. Но жизнь его была суровая и печальная. Поутру он читал Иоанна Златоуста, потом писал и рвал все написанное, ходил очень много, был иногда прост до величия, иногда причудлив до ребячества. Я сохранил от этого времени много документов, любопытных для определения его психической болезни. Гоголя я видел в последний раз в Москве, когда я ехал на Кавказ. Он пришел со мной проститься и начал говорить так сбивчиво, так отвлеченно, так неясно, что я ужаснулся, смешался и сказал ему что-то про самобытность Москвы. Тут лицо Гоголя прояснилось, искра прежнего веселья сверкнула в его глазах, и он рассказал мне по-гоголевски один в высшей степени забавный и типичный анекдот, которым, к сожалению, я с моими читательницами поделиться не могу. Но тотчас же после анекдота он снова опечалился, запутался в несвязной речи, и я понял, что он погиб. Он страдал долго, страдал душою - от своей неловкости, от своего мнимого безобразия, от своей застенчивости, от безнадежной любви, от своего бессилия перед ожиданиями русской грамотной публики, избравшей его своим кумиром. Он углублялся в самого себя, искал в религии спокойствия и не всегда находил; он изнемогал под силой своего призвания, принявшего в его глазах размеры громадные; томился тем, что непричастен к радостям, всем доступным, и изнывал между

смирением и болезненной, несвойственной ему по природе гордостью. Гоголь имел дар рассказывать самые соленые анекдоты, не вызывая гнева со стороны своих слушательниц, причем он всегда грешил преднамеренно (здесь, вероятно, проявилась неспособность или отвращение Гоголя к плотским утехам, сублимировавшаяся в скабрезных анекдотах. - Б. С.)... Однажды я присутствовал при одном рассказе, переданном Гоголем теще моей, графине Л. К. Виельгорской. Он уже начинал страдать теми припадками меланхолии и затмением памяти, которые были грустными предшественниками его кончины. Он был с Виельгорскими и со мною в самых дружеских отношениях, и потому виделись мы каждый день, если случай сводил нас быть в одном городе. Так и случилось в Москве, где я был проездом и где также в то время находилась и графиня Виельгорская. Гоголь проживал тогда у графа Толстого. Он был грустен, тупо глядел на все окружающее его потускневший взор, слова утратили свою неумолимую меткость, и тонкие губы как-то угрюмо сжались. Графиня Виельгорская старалась, как могла, развеселить Николая Васильевича, но не успевала в этом. Вдруг бледное лицо его оживилось, на губах опять заиграла всем нам известная лукавая улыбочка, и в потухающих глазах засветился прежний огонек.

- Да, графиня, - начал он своим резким голосом, - вы вот говорите про правила, про убеждения, про совесть (графиня Виельгорская в эту минуту говорила совершенно об ином, но, разумеется, никто из нас не стал его оспаривать), - а я вам доложу, что в России вы везде встретите правила, разумеется, сохраняя размеры. Несколько лет тому назад, - продолжал Гоголь, и лицо его как-то все сморщилось от худо скрываемого удовольствия, - я засиделся вечером у приятеля. Так как в тот вечер я был не совсем здоров, хозяин взялся проводить меня домой (скорее, здесь сказался присущий Гоголю страх возвращаться в темноте домой в одиночестве. - Б. С.). Пошли мы тихо по улице разговаривая. На востоке уже начинала белеть заря, - дело было в начале августа. Вдруг приятель мой остановился и стал упорно глядеть на довольно большой, но неказистый и грязный дом. Место это, хотя человек он был женатый, видно, было ему знакомое, потому что он с удивлением пробормотал: "Да зачем же это ставни закрыты и темно так?.. Подождите меня, я хочу узнать"... Он прильнул к окну. Я тоже, заинтересованный, подошел. В довольно большой комнате перед налоем священник совершал службу, по-видимому, молебствие, дьячок подтягивал ему. Позади священника стояла толстая женщина, изредка грозно поглядывая вокруг себя; за нею, большею частью на коленях, расположилось пятнадцать или двадцать женщин, в завитых волосах, со щеками, рдеющими неприродным румянцем. Вдруг калитка с шумом распахнулась и показалась толстая женщина, очень похожая на первую.

"А, Прасковья Степановна, здравствуйте! - вскричал мой приятель. - Что это у вас происходит?" - "А вот, - забасила толстуха, - сестра с барышнями на Нижегородскую ярмарку собирается, так пообещалась для доброго почина молебен отслужить".

- Так вот графиня, - прибавил уже от себя Гоголь, - что же говорить о правилах и обычаях у нас в России? Можно себе представить, с каким взрывом хохота и вместе с тем с каким изумлением мы выслушали рассказ Гоголя: надо

было уже действительно быть очень больным, чтобы в присутствии целого общества рассказать графине Виельгорской подобный анекдотец". Не исключено, что эпизод с молебном в публичном доме отразился в "Невском проспекте" в сцене посещения борделя несчастным художником Пескаревым.

"СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА", повесть, впервые напечатанная в первой части сборника "Вечера на хуторе близ Диканьки" в 1831 г. Во втором издании сборника в 1836 г. Гоголь указал временем написания С. я. 1829 г. Здесь описаны впечатления не только от ярмарки в Великом Сорочинце, где он родился, но и от ярмарки, четырежды в год проводившейся в имении Гоголей Васильевке, причем Васильевская скотная ярмарка была крупнейшей в Полтавской губернии.

В С. я. уже проявился сквозной мотив гоголевского творчества - протест против роскоши, которую писатель связывал прежде всего с женщинами, которые, по его мнению, побуждают своих мужей и любовников праздно тратить деньги. В повести посрамлена злая Хивря, но на смену ей приходит добрая щеголиха Параска. Порок никуда не исчезает, он принимает лишь более приятные глазу формы. Начальная фраза С. я.: "Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии!" в преобразованном виде стала рефреном популярного музыкального хита конца XX в. "Как упоительны в России вечера!"

"СТАРОСВЕТСКИЕ ПОМЕЩИКИ", повесть, впервые напечатанная в сборнике "Миргород" в 1835 г. По воспоминаниям А. Н. Афанасьева, опубликованным в 1864 году, "случай, рассказанный в "Старосветских помещиках" о том, как Пульхерия Ивановна появление одичалой кошки приняла за предвестие своей близкой кончины, взят из действительности. Подобное происшествие было с бабкой Щепкина. Щепкин как-то рассказал о нем Гоголю, и тот мастерски воспользовался им в своей повести. Щепкин прочитал повесть и при встрече с автором сказал ему шутя: - "А кошка-то моя!" - "Зато коты мои!" - отвечал Гоголь, и в самом деле коты принадлежали его вымыслу".

6/18 апреля 1837 г. Гоголь в письме В. А. Жуковскому просил: "Найдите случай и средство указать как-нибудь государю на мои повести: Старосветские помещики и Тарас Бульба. Это те две счастливые повести, которые нравились совершенно всем вкусам и всем различным темпераментам. Все недостатки, которыми они изобилуют, вовсе неприметные были для всех, кроме вас, меня и Пушкина. Я видел, что по прочтении их более оказывали внимания. Если бы их прочел Государь! Он же так расположен ко всему, где есть теплота чувств и что пишется прямо от души... О, меня что-то уверяет, что он бы прибавил ко мне участия. Но будь всё то, что угодно Богу".

А. С. Пушкин высоко ценил С. п., "эту шутливую, трогательную идиллию, которая заставляет вас смеяться сквозь слезы грусти и умиления". Замысел С. п. относится к концу 1835 г. Хутор героев повести списан с родового имения Гоголей - Васильевки. Прототипами Афанасия Ивановича Товстогуба и Пульхерии Ивановны Товстогубихи послужили дед и бабка Гоголя Афанасий

Демьянович и Татьяна Семеновна Гоголь-Яновские. Татьяна Семеновна происходила из семейства Лизогуб, была дочерью "бунчукового товарища" (чин в украинском казачьем войске) Семена Семеновича Лизогуба, отсюда и фамилия героев повести - Товстогуб. В повести отразилась романтическая история женитьбы Афанасия Демьяновича и Пульхерии Семеновны. В. И. Шенрок в "Материалах для биографии Гоголя" (1892-1897) утверждал: "Афанасий Демьянович прошел через семинарию и завершил свое образование в Киевской духовной академии. Сохранились воспоминания, указывающие на то, что Афанасий Гоголь получил в академии настолько основательное для своего времени образование, что считался знатоком языков, особенно латинского и немецкого, которые преподавал детям своих деревенских соседей. О самой женитьбе его рассказывают анекдот, что он похитил из родительского дома любимую свою ученицу Татьяну Семеновну Лизогуб, дочь бунчукового товарища Семена Лизогуба, по матери из фамилии Танских. Он предварительно объяснился ей в любви, скрыв записку в скорлупу грецкого ореха, и, удостоверившись во взаимности, обвенчался с нею без ведома родителей". Об этой же истории вспоминала сестра писателя О. В. Гоголь-Головня: "Бабушка была из богатого дома. У них был учитель, который учил ее братьев и ее. Рассказывали, как она собрала свои золотые и серебряные и прочие вещи, ушла из родительского дома, где-то повенчались; за это родители рассердились: ничего ей не дали, и где они жили и как, не расспрашивали. Потом братья ее подарили ей Васильевку, и тут она жила до смерти. За бабушку говорили, как она великолепно рисовала". Однако существуют и свидетельства насчет того, что родители Татьяны Семеновны все же примирились с браком дочери и выделили ей приданное. А.М. Лазаревский в "Сведениях о предках Гоголя" (1902) отмечал: "Необычным фактом была женитьба "поповича" Афанасия Гоголя на дочери бунчужного товарища Сем.Сем. Лизогуба, человека, принадлежащего к "высшему" местному обществу. Лизогуб был, во-первых, родной внук гетмана Скоропадского, получивший богатые дедовские маетности, а во-вторых, это был зять переяславского полковника Василия Танского... За женой Афанасий Гоголь в "посаг" получил несколько десятков крестьянских дворов (из материнского имения) в селе Келеберде и Купчине (будущей Васильевке, названной так в честь родившегося в 1777 г. сына Афанасия Демьяновича и Татьяны Семеновны Василия, отца писателя. - Б. С.), в которых, по ведомости 1782 г., считалось 268 крестьян, мужчин и женщин". Биографию Афанасия Демьяновича приводит В. А. Чаговец в "Семейной хронике Гоголей" (1902): "Из послужного списка Афанасия Демьяновича Гоголя видно, что он родился в 1738 г., а уже в 1757г. вступил на службу, сперва в полковую миргородскую, а в следующем же году в войсковую канцелярию; за добросовестное исполнение своих обязанностей был представлен в войсковые хорунжие... За долговременную беспорочную службу удостоился награждения чином бунчукового товарища в 1781 г., августа 7 дня. Там же против графы: "грамоте читать и писать умеет ли?" сказано: "грамоте читать и писать по-русски, по-латыни, польски, немецки и гречески умеет". Впоследствии он был назначен полковым писарем и переименован в секунд-майоры (в связи с упразднением внутренней автономии Малороссии в 1783 г., прикреплением

местных крестьян к земле и распространением на украинские земли общеимперских порядков. - Б. С.), в каком чине находился до конца дней своих". Как и герой С. п., Афанасий Демьянович (Дамианович) был офицером украинского войска. Согласно дневнику троюродного брата Гоголя о. Владимира Яновского, он дослужился не до секунд-майора, а до премьер-майора (очевидно, полученного при выходе в отставку). Очевидно, именно со службой и связано получение дворянства сыном священника кононовской Успенской церкви о. Дамиана, а позднейшие утверждения о том, что дворянство Гоголей-Яновских восходит к XVII веку, являются лишь красивой легендой. Татьяна Семеновна, родившаяся в 1750-е годы, умерла около 1827 г., надолго пережив мужа, скончавшегося в начале XIX в. Сохранилось письмо Гоголя к ней из Полтавы, датированное 1820 г.: "Дражайшая бабушка. Извините меня в том, что долгое время не мог писать к вам, Дражайшая Бабушка. Покорно вас благодарю, что вы прислали гостинец мне. От всего сердца желая вам благополучия и долголетней жизни, при чем остаюсь Ваш покорный внук Николай Яновский. Пришлите мне, дражайшая бабушка, погребец; я куплю для него прибор. Обрадуйте Папиньку и Маминьку, что я успел в науках то, что в первом классе гимназии, и учитель мною доволен. Прошу поцеловать за меня Гапу (крепостная няня Гоголя Агафья Семеновна Власенкова. - Б. С.) и сестриц моих". Помимо реальных прототипов, у героев повести есть и очевидные прототипы в греческой мифологии, которую, наверняка, хорошо знал Афанасий Демьянович, обучавшийся в Киевской духовной академии. Это - упоминаемые в тексте повести Филемон и Бавкида добродетельные супруги, дожившие до глубокой старости в счастье и покое. В награду за их взаимную любовь и гостеприимство боги даровали им одновременную смерть, превратив Филемона и Бавкиду в два сросшихся дерева. Буколическая идиллия сохраняется в С. п. во многом потому, что герои практически никогда не покидают своего хутора. Здесь Гоголь также отразил одну из реальных особенностей характера Татьяны Семеновны. По воспоминаниям знавших ее, собранных В. А. Чаговцем, Татьяна Семеновна "страшно боялась лошадей; поэтому, когда ей приходилось куда-нибудь ехать, что, впрочем, случалось очень редко, то в карету запрягали пару волов и в таком виде ездили в город или к знакомым, нисколько не смущаясь тем любопытством, какое вызывала у всех такая оригинальная запряжка". Афанасию Ивановичу и Пульхерии Ивановне удается сохранить вечную любовь друг к другу только потому, что у них любовь - платоническая. Для плотской любви у Афанасия Ивановича существуют другие женщины, о чем недвусмысленно намекает автор: "Девичья была набита молодыми и немолодыми девушками в полосатых исподницах, которым иногда Пульхерия Ивановна давала шить какие-нибудь безделушки и заставляла чистить ягоды, но которые большею частию бегали на кухню и спали. Пульхерия Ивановна почитала необходимостию держать их в доме и строго смотрела за их нравственностью. Но, к чрезвычайному ее удивлению, не проходило нескольких месяцев, чтобы у которой-нибудь из ее девушек стан не делался гораздо полнее обыкновенного; тем более это казалось удивительно, что в доме почти никого не было из холостых людей, выключая разве только комнатного мальчика, который ходил в сером полуфраке, с босыми ногами, и если не ел, то уж верно

спал. Пульхерия Ивановна обыкновенно бранила виновную и наказывала строго, чтобы вперед этого не было".

Гоголь даже прямо демонстрирует нам, как по ночам Афанасий Иванович пользуется благосклонностью дворовых девушек, а милейшая Пульхерия Ивановна этого не замечает, или делает вид, что не замечает: "Комната, в которой спали Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, была так жарка, что редкий был бы в состоянии остаться в ней несколько часов. Но Афанасий Иванович еще сверх того, чтобы было теплее, спал на лежанке, хотя сильный жар заставлял его несколько раз вставать среди ночи и прохаживаться по комнате. Иногда Афанасий Иванович, ходя по комнате, стонал. Тогда Пульхерия Ивановна спрашивала:

- Чего вы стонете, Афанасий Иванович?

- Бог его знает, Пульхерия Ивановна, так, как будто немного живот болит, - говорил Афанасий Иванович.

- А не лучше ли вам чего-нибудь съесть, Афанасий Иванович?

- Не знаю, будет ли оно хорошо, Пульхерия Ивановна! впрочем, чего ж бы такого съесть?

- Кислого молочка или жиденького узвару с сушеными грушами.

- Пожалуй, разве так только, попробовать, - говорил Афанасий Иванович. Сонная девка отправлялась рыться по шкапам, и Афанасий Иванович съедал тарелочку; после чего он обыкновенно говорил:

- Теперь так как будто сделалось легче". Неслучайно бегство любимой кошечки, поддавшейся зову плоти, предвещает крах идиллии, начинающийся со смерти Пульхерии Ивановны, на которой и держится идеальный мир старосветских Филемона и Бавкиды. Буколический рай может сохраняться лишь в замкнутом пространстве, куда нет доступа подлинным человеческим страстям. И неслучайно у героев повести не остается потомства. Их идиллия бесплодна и неповторима. Здесь писатель сознательно отступает от судьбы прототипов: у Афанасия Демьяновича и Татьяны Семеновны был сын Василий, и в этой счастливой семейной паре муж умер на много лет раньше жены. Сохранять свою идиллию герои С.п. способны потому, что абстрагируются от реальной жизни. Их непрактичность автором подчеркивается. У Афанасия Ивановича книжные знания, как надо вести хозяйство, нисколько не мешают приказчику воровать, а имению - приходить в упадок: "Напившись кофею, Афанасий Иванович выходил в сени и, стряхнувши платком, говорил: "Киш, киш! пошли, гуси, с крыльца!" На дворе ему обыкновенно попадался приказчик. Он, по обыкновению, вступал с ним в разговор, расспрашивал о работах с величайшею подробностью и такие сообщал ему замечания и приказания, которые удивили бы всякого необыкновенным познанием хозяйства, и какой-нибудь новичок не осмелился бы и подумать, чтобы можно было украсть у такого зоркого хозяина. Но приказчик его был обстрелянная птица: он знал, как нужно отвечать, а еще более, как нужно хозяйничать". Так же и "комната Пульхерии Ивановны была вся уставлена сундуками, ящиками, ящичками и сундучочками. Множество узелков и мешков с семенами, цветочными, огородными, арбузными, висело по стенам. Множество клубков с разноцветной шерстью, лоскутков старинных платьев, шитых за полстолетие, были укладены по углам в сундучках и между

сундучками. Пульхерия Ивановна была большая хозяйка и собирала все, хотя иногда сама не знала, на что оно потом употребится". Этот образ предвосхищает одновременно и Коробочку, и Плюшкина в "Мертвых душах". У героини С.п. домовитость Коробочки перерождается в бессмысленное собирательство Плюшкина, но без скупости последнего, что позволяет ей наслаждаться плодами тихой сельской жизни. Точно так же в Афанасии Ивановиче можно найти черты Манилова. Отсутствие духовных устремлений помогает Пульхерии Ивановне и Афанасию Ивановичу сохранить гармонию своих отношений. Для героев С. п., кроме взаимной любви, характерна только одна страсть - страсть к еде. Она тоже существует только в их внутреннем мире и никак не связана с окружающей жизнью. Трапезы Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны написаны яркими красками и чрезвычайно любовно - как самая важная часть их повседневной жизни, как символ слияния с природой: "Под яблонею вечно был разложен огонь, и никогда почти не снимался с железного треножника котел или медный таз с вареньем, желе, пастилою, деланными на меду, на сахаре и не помню еще на чем. Под другим деревом кучер вечно перегонял в медном лембике водку на персиковые листья, на черемуховый цвет, на золототысячник, на вишневые косточки, и к концу этого процесса совершенно не был в состоянии поворотить языком... Всей этой дряни наваривалось, насоливалось, насушивалось такое множество, что, вероятно, она потопила бы наконец весь двор, потому что Пульхерия Ивановна всегда сверх расчисленного на потребление любила приготовлять еще на запас, если бы большая половина этого не съедалась дворовыми девками, которые, забираясь в кладовую, так ужасно там объедались, что целый день стонали и жаловались на животы свои... Оба старичка, по старинному обычаю старосветских помещиков, очень любили покушать... Афанасий Иванович возвращался в покои и говорил, приблизившись к Пульхерии Ивановне:

- А что, Пульхерия Ивановна, может быть, пора закусить чего-нибудь?

- Чего же бы теперь, Афанасий Иванович, закусить? разве коржиков с салом или пирожков с маком, или, может быть, рыжиков соленых?

- Пожалуй, хоть и рыжиков или пирожков, - отвечал Афанасий Иванович, и на столе вдруг являлась скатерть с пирожками и рыжиками (словно скатерть-самобранка! - Б. С.). За час до обеда Афанасий Иванович закушивал снова, выпивал старинную чарку водки, заедал грибками, разными сушеными рыбками и прочим. Обедать садились в двенадцать часов. Кроме блюд и соусников, на столе стояло множество горшочков с замазанными крышками, чтобы не могло выдохнуться какое-нибудь аппетитное изделие старинной вкусной кухни. За обедом обыкновенно шел разговор о предметах, самых близких к обеду.

- Мне кажется, как будто эта каша, - говаривал обыкновенно Афанасий Иванович, - немного пригорела; вам этого не кажется, Пульхерия Ивановна?

- Нет, Афанасий Иванович; вы положите побольше масла, тогда она не будет казаться пригорелою, или вот возьмите этого соуса с грибками и подлейте к ней.

- Пожалуй, - говорил Афанасий Иванович, подставляя свою тарелку, попробуем, как оно будет. После обеда Афанасий Иванович шел отдохнуть один часик, после чего Пульхерия Ивановна приносила разрезанный арбуз и говорила:

- Вот попробуйте, Афанасий Иванович, какой хороший арбуз.

- Да вы не верьте, Пульхерия Ивановна, что он красный в середине, говорил Афанасий Иванович, принимая порядочный ломоть, - бывает, что и красный, да нехороший. Но арбуз немедленно исчезал. После этого Афанасий Иванович съедал еще несколько груш и отправлялся погулять по саду вместе с Пульхерией Ивановной".

До своего поворота к аскетизму в 1840-е годы Гоголь любил радости застолья, и это отразилось в С. п., где еда представлена как одна из высших ценностей человеческого существования, а Афанасий Иванович уподоблен Гаргантюа из романа Франсуа Рабле. Яркую зарисовку кулинарных пристрастий Гоголя дал римский знакомец Гоголя И.Ф. Золотарев: "К числу особенностей Гоголя принадлежали его оригинальность в одежде и чрезвычайный аппетит. Оригинальность Гоголя в выборе костюмов доходила иногда до смешного. Аппетитом Гоголь обладал чрезвычайным. Он любил и много, и хорошо покушать. Бывало зайдем мы в какую-нибудь тратторию пообедать; и Гоголь покушает плотно, обед уже кончен. Вдруг входит новый посетитель и заказывает себе кушанье. Аппетит Гоголя вновь разгорается, и он, несмотря на то, что только что пообедал, заказывает себе или то же кушанье, или что-нибудь другое. Из наиболее любимых Гоголем блюд было козье молоко, которое он варил сам особым способом, прибавляя туда рому (последний он возил с собой во флаконе). Эту стряпню он называл гоголь-моголем и часто, смеясь, говорил: "Гоголь любит гоголь-моголь"". Интересно, что писатель, как и герой С. п., мог есть в любое время суток, независимо оттого, насколько плотно он перед этим пообедал или поужинал. О С. п. восторженно отозвался известный философ и глава литературно-философского кружка Николай Владимирович Станкевич (1813-1840). В письме своему другу Януарию Михайловичу Невзорову от 28 марта 1835 г. он сообщал: "Прочел одну повесть из гоголева "Миргорода" это прелесть! ("Старомодные помещики" - так кажется она названа). Прочти! Как здесь схвачено прекрасное чувство человеческое в пустой ничтожной жизни!.."

В. Г. Белинский в статье "О русской повести и повестях г. Гоголя" (1835) чрезвычайно высоко оценил С. п.: "...Как сильна и глубока поэзия г. Гоголя в своей наружной простоте и мелкости! Возьмите его "Старосветских помещиков": что в них? Две пародии на человечество в продолжение нескольких десятков лет пьют и едят, едят и пьют, а потом, как водится исстари, умирают. Но отчего же это очарование? Вы видите всю пошлость, всю гадость этой жизни, животной, уродливой, карикатурной, и между тем принимаете такое участие в персонажах повести, смеетесь над ними, но без злости, и потом рыдаете с Филемоном о его Бавкиде, сострадаете его глубокой, неземной горести и сердитесь на негодяя-наследника, промотавшего достояние двух простаков! И потом, вы так живо представляете себе актеров этой глупой комедии, так ясно видите всю их жизнь, вы, который, может быть, никогда не бывал в Малороссии, никогда не видал таких картин и не слыхал о такой жизни! Отчего это? Оттого, что это очень просто и, следовательно, очень верно; оттого, что автор нашел поэзию и в этой пошлой и нелепой жизни, нашел человеческое чувство, двигавшее и оживлявшее его героев: это чувство - привычка... Г. Гоголь сравнивает ваше глубокое, человеческое чувство, вашу высокую, пламенную

страсть с чувством привычки жалкого получеловека и говорит, что его чувство привычки сильнее, глубже и продолжительнее вашей страсти, и вы стоите перед ним, потупя глаза и не зная, что отвечать, как ученик, не знающий урока, перед своим учителем!.. Так вот где часто скрываются пружины лучших наших действий, прекраснейших наших чувств! О бедное человечество! жалкая жизнь! И однакож вам все-таки жаль Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны! вы плачете о них, о них, которые только пили и ели и потом умерли! О, г. Гоголь истинный чародей, и вы не можете представить, как я сердит на него за то, что он чуть не заставил плакать о них, которые пили и ели и потом умерли!"

К. С. Аксаков писал в статье "Несколько слов о поэме Гоголя "Похождения Чичикова, или Мертвые души"" (1842) о гоголевской повести: "...На какой бы низкой степени ни стояло лицо у Гоголя, вы всегда признаете в нем человека, своего брата, созданного по образцу и подобию Божию... Говорить ли о "Старосветских помещиках", в которых столько глубоко человеческое значение открыл взор Гоголя, там, где другие бы увидали бы только пошлость и животность, он открыл и проложил путь сочувствию человеческому и к этим людям, и к этой жизни". Опошленный вариант взаимоотношений героев С. п. предстает перед нами в "Мертвых душах" предстает перед нами в образах Манилова и его жены, точно так же, как Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, угощающих друг друга фруктами и сладостями. Пошлость Манилову придают прекраснодушные мечтания, которых лишены гораздо более симпатичные персонажи С. п.

А. М. Ремизов в книге "Огонь вещей" (1954) отмечал, что Гоголь в С. п. "безо всякого "злого духа": разжигает... человеческие страсти, рост и развитие жизни, изображается райская безмятежная жизнь, ясная и спокойная, человека доброго, радушного и чистосердечного, само собой бездетного, и как всякая жизнь на земле, будь она райская или насекомая, проходит под знаком всепожирающего времени: коли живешь, плати оброк смерти. Никто не знает, когда, но пожар неизбежно возникнет и сгорит дом человека, кончится спокойная жизнь без тревог - без мысли, лишь с плывом райских грез. В "Старосветских помещиках" представлен сказочный рай - сад, который Бог насадил для человека. Благословенная земля родит всего в таком изобилии, и никакое хищение не заметно, девичья беременеет и плодится, как мухи, словно бы от самого воздуха - ведь холостых в доме никого не было, кроме комнатного мальчика, ходил в сером полуфраке, босиком и если не ел, то уж верно спал (скажу по секрету, все очень просто, привычная приятная работа самого Афанасия Ивановича), и все желания исполняются, как по щучьему велению: на столе откуда ни возьмись скатерть-самобранка с пирожками и рыжиками, сушеными рыбками и жиденьким узваром. Да и желания в таком райском состоянии так ограничены, что как будто их и звания нет: попить, поесть, поспать... В "Старосветских помещиках" дано в математически-чистом виде блаженное райское состояние человека, освобожденного от мысли и желаний, над которыми тяготеет первородное проклятие время-смерть, показать чтобы высшее и единственное: любовь человека к человеку. Сила этой любви так велика и уверена, что дает спокойно умереть человеку".

"СТРАШНАЯ МЕСТЬ", повесть, впервые опубликованная в 1832 г. во второй части сборника "Вечера на хуторе близ Диканьки" с подзаголовком "Старинная быль". В черновой рукописи С. м. имелось следующее предисловие: "Вы слышали ли историю про синего колдуна? Это случилось у нас за Днепром. Страшное дело! На тринадцатом году слышал я это от матери, и я не умею сказать вам, но мне все чудится, что с того времени спало с сердца моего немного веселья. Вы знаете то место, что повыше Киева верст на пятнадцать? Там и сосна уже есть. Днепр и в той стороне также широк. Эх, река! Море, не река! Шумит и гремит и как будто знать никого не хочет. Как будто сквозь сон, как будто нехотя шевелит раздольную водяную равнину и обсыпается рябью. А прогуляется ли по нем в час утра или вечера ветер, как все в нем задрожит, засуетится: кажется, будто то народ толпою собирается к заутрене или к вечерне. Грешник великий я пред Богом: нужно б, давно нужно. И весь дрожит и сверкает в искрах, как волчья шерсть среди ночи. Что ж, господа, когда мы съездим в Киев? Грешу я, право, пред Богом: нужно, давно б нужно съездить поклониться святым местам. Когда-нибудь уже под старость совсем пора туда: мы с вами, Фома Григорьевич, затворимся в келью, и вы также, Тарас Иванович! Будем молиться и ходить по святым печерам. Какие прекрасные места там!"

В. Г. Белинский в статье "О русской повести и повестях г. Гоголя" (1835) поставил С. м. в соответствие с "Тарасом Бульбой" и утверждал, что "обе эти огромные картины показывают, до чего может возвышаться талант г. Гоголя".

Наиболее точный анализ С. м. сделал Андрей Белый в "Мастерстве Гоголя". Он подчеркивал: "Вне деталей изобразительности, обычно относимых к "форме", не поймешь ядра сюжета Гоголя: Гоголь-"сюжетист" хитрее, чем кажется; он нарочно подает читателю на первый план не то вовсе, на чем сосредоточено его внимание; и оттого в выражении простоты "у, какое тонкое" что-то; он отводит внимание от улова "рыбок", поданных под заемным сюжетом, показывая на отражения в речном зеркале, и твердя: "Леса, горы"; те леса не леса, те горы - не горы; под ними - "рыбки"; твердит убежденно в "Страшной мести": "Колдун, колдун, страшно!" Суть же не в том, что "колдун", а в том, что - отщепенец от рода; "страшно" не оттого, что "страшен", а оттого, что страшна жизнь, в которой пришелец издалека выглядит непременно "антихристом"; "леса" - не леса; "борода деда"; дед же - "великий мертвец", управляющий родовой жизнью; горы - выпертые наружу и уже мертвые недра патриархального быта; страшны мертвецы, живущие внутри мертвеца; это те, кто видят "колдуна" в каждом иностранце; декоративные мертвецы, вылезающие из могил в "Страшной мести", - дедовская легенда; суть же - не в них". А. Белый утверждал, что в С. м. "нет диспропорций: содержание подано в прихотливом, но четком сюжетном узоре; ширине противопоставлена заостренность основных мотивов гоголевского творчества; в социальной и индивидуальной теме выявлено с особой силой то "поперечивающее себе" чувство, которого корень - Гоголь, отщепенец от рода, семьи, класса, его породившей среды, не утвердившийся ни в какой другой, ставший "кацапом" для украинцев, "хохлом" - для русских, панычем в гороховом сюртуке, о котором так едко вспоминает пасечник Панько, и неудачным воспитателем

юношества в аристократических семействах Санкт-Петербурга, где он выглядел сплошным "не то" в неумении осознать свои корни, в неудачах с "Гансом Кюхельгартеном", в мечтах о профессорстве; современники недооценили его размаха; не оценил его проповеди и отец Матвей; ни то, ни се, - ни литератор, ни проповедник, - он выглядел дырою, прикрытой фикциями; таким он встает в картинах воспоминаний... Что есть "колдун"? Неизвестно что. Наивные современники Гоголя не постигли стилистической рисовки "колдуна" частицами "не", прощепившими его контур не линиями, а трещинами в глубину провала, дна которого "никто не видал"; они ловились на романтику образов, показавшихся им заимствованными у Тика..." По словам А. Белого, в С. м. "Гоголь осюжетил "чудноту", ему непонятную, собственного сознания; оно показано, как не знающее своих социальных корней; то, что делало Гоголя неискренним, непонятным, чуждым современникам... Прием, которым Гоголь достигает огромных художественных целей (Гоголь так и назвал его - "прием "Страшной мести". - Б. С.), тонок, как... не перо, а кончик рапиры; ею он процарапывает за образом образ: в сознании нашем; прием - в букве "эн", соединенной с "е", или с "и"; в "не", "ни"; легкие, как пушинки, "ни", "не" производят грохоты своих эффектов, не услышанных современниками... Явленью колдуна на пире предшествует рассказ о том, как не приехал на пир отец жены Данилы Бурульбаша, живущего на том берегу Днепра: гости дивятся белому лицу пани Катерины; "но еще больше дивились тому, что не приехал... с нею старый отец; он многое мог бы рассказать про чужие края: "там все не так: люди не те, и церквей... нет!... Но он не приехал"... Отец подан при помощи "не". Как полагает А. Белый, "ни", "не" дорисовывают негатив; психологический силуэт отца выщерблен изъятием из него всего конкретного; он - яма в быте; кто он сам в себе, - неизвестно". Общий же вывод А. Белого о С. м. выглядит парадоксальным и сводится к следующему: "Кто мертвецы? По тексту "предки". Их слишком много: от Карпат, Киева, земли Галичской; не весь ли то народ украинский?... Повесть - апофеоз "не": "не" - не выявлено; оно лишь провал в "ничто", куда сброшен злодей; не объяснены: всадник и подбежавшие к Киеву горы; дано только чувство связи с горами: с горы сброшен, но не в лощину, а в провал, "дна которого никто не видал"; сколько от земли до неба, столько до дна того провала"; вздерг, подобный Кривану: в необъясненное. Но соединив черты, характеризующие колдуна, с характеристикой других оторванцев от рода, водящихся с иностранцами, видишь: в колдуне заострено, преувеличено, собрано воедино все, характерное для любого оторванца; и тема гор, и жуткий смех, и огонь недр, и измена родине. Эпилог сперва выглядит подставным объяснением; он, как занавес, падающий в ту минуту, когда должен появиться на сцене актер без грима; на занавесе намалевана академическая аллегория: дед-слепец, распевающий песню про "дивную старину": про Ивана, Петро и короля Степана, князя семиградского... Легенда - "еще таких чудных песен не пел ни один бандурист" - объясняет и всадника, и тему Карпат, как возмездие, и тему двух гор с лощиной меж них (хутор Данилы), и мертвецов: Петро "великий мертвец" - сухая ветвь рода; но: если проклят Петро с родом, то колдун, как личность, без вины виноват; виноват Иван, выпросивший его у Бога злодеем и вставший за это: торчать над провалом; вина - в роде, а не в

оторванце; великий мертвец - род, расширенный до всей Украины; адвокат родовой патриотики, Гоголь, топит "клиента" почище прокурора; чем более представляется потрясенным "неслыханными" злодеяниями, суть которых "неизвестно что", тем более вырастает ужас перед патриархальной жизнью, которая приводит к бессмыслице явления на свет без вины виноватого. Корень всех злодеяний оторванца от рода в том, в чем неповинна его личность. Мертв Петро; но мертв и Иван: с ним - Данило, и Стецько, и есаул Горобец, т. е. все, кто идет против "великого грешника"; душевный процесс в последнем не вскрыт; вскрыта фикция, возникшая в очах мертвого коллектива, который приравнен к вселенной; все вне ее - провал; то - Польша, Венгрия, Германия, Франция эпохи Возрождения (были уже и Бэкон, и Гус, и Джиотто, и Данте; есть уже астрономия; она - волхование); колдун, двадцать лет живший в культурном обществе, предельно необъяснимым для коллектива; его "не то" "необъяснимость" дикарям поступков личности, может, тронутой Возрождением; понятно, что колдун тянется к ляхам и братается с иностранцами. Преступления, - "колдун", "убийца", "кровосмеситель"; Гоголь дает право не верить мифам - приставкой "не то" к каждому преступлению, в котором виноват Петро и виноват Иван, вымоливший у Бога злодея, за то и наказанный: торчанием над провалом; виноват Бог, осуществивший жестокость. Во-вторых: сомнительно, что "легенда" о преступлениях колдуна не бред расстроенного воображения выродков сгнившего рода, реагирующих на Возрождение; мы вправе думать: знаки, писанные "не русскою и не польскою грамотою", писаны... по-французски, или по-немецки; черная вода - кофе; колдун - вегетарианец; он занимается астрономией и делает всякие опыты, как Альберт Великий, как Генрих из Орильяка; он нарисован из глаз жизни, почище "колдунской"; слово "антихрист" означает лишь: "антирод"; в условиях этой жизни "антихрист" всякий человек; лицо его - маска, которой покрыл его поклеп; поклепщик же, Гоголь, в эпилоге говорит прямо: его поклеп - роль; ею он заставляет нас пережить жуть древней жизни; обманутые Гоголем, мы вводимся во все уголки ее, чтобы социальная тенденция, осуществленная приемом написания повести, выпрямилась бы приемом повести. "Не то" в колдуне не объяснимо ничем и никак; уравнение высших степеней неразрешимо в радикалах; чем более члены показанного коллектива отказываются от объяснения, тем более снимается вина с колдуна; от противного объясняется нечто, не прямо стоящее в поле объяснения, и "чушь" патриотики, от лица которой будто бы написана повесть. Допустим: пара смежных углов больше двух прямых; допущение приводит к бессмыслице; допустим, что меньше: опять бессмыслица; коли не больше, не меньше, то значит - равна; такова в приеме тенденция Гоголя; допустим колдун: "не то"; допустим - предатель рода; какого? Все роды умерли; коли "колдун" - плод мертвой родовой жизни, то он не виновен: он только "личность"; но это для рода и есть преступление, которому нет названия". Версию А. Белого можно истолковать и таким образом: Гоголь не только понимал невозвратимость патриархально-родового быта, но и подсознательно чувствовал свое противостояние родовому началу как эмансипированной личности. Это отразилось и в С. м., где образ злодея-колдуна может иметь совсем не однозначное толкование. Ибо колдун сидит в каждом

человеке, поскольку на каждом человеке - печать рода, и он обречен на вечную борьбу личного и родового начала. Такая борьба шла и в душе Гоголя, а невозможность примирить стремление преобразовать весь род человеческий с личной творческой уникальностью привела к духовному кризису и гибели.

"СТРАШНЫЙ КАБАН", неоконченная повесть. Ее главы были впервые опубликованы в 1831 г. в "Литературной газете", с подзаголовком "(Из малороссийской повести "Страшный кабан")", в том числе глава "Учитель" под псевдонимом "П. Глечик" - в № 1 от 1 января, а глава "Успех посольства" анонимно - в № 17 от 22 марта. Псевдоним "П. Глечик" Гоголь взял из романа "Гетьман", где есть персонаж с таким именем. Первоначально первую главу С. к. Гоголь собирался включить в сборник "Арабески", но в конце концов отказался от этого намерения.

Не исключено, что образ главного героя главы "Учитель" педагога-семинариста Ивана Осиповича навеян Гоголю воспоминаниями детства дома в Васильевке его воспитателем был семинарист. В повести также упоминаются родные для Гоголя места, в частности, река Голтва, протекавшая недалеко от Васильевки. Образ Ивана Осиповича во многом предвосхищает образ семинариста философа Хомы Брута в "Вие". Гоголь подчеркивает: "Мы уже имели случай заметить нечто о влиянии нашего учителя на мандрыковских красавиц: потупленные взгляды, перешептывание, низкие поклоны показывали, что овладение им считала каждая из них немаловажным делом... Но, к счастью или несчастью, чувство, так много известное бедному человечеству, наносившее ему с незапамятных времен море нестерпимых мук, не касалось нашего педагога. В этом случае Иван Осипович был настоящий стоик и... он твердо знал, что ни один из философов, начиная от Сенеки, Сократа и до лектора ***ской семинарии, не ставил ни во что причудливую половину человеческого рода; ergo, любви не существует. Такие положения, обратившиеся у него, наконец, в правила, были тверды, слишком тверды..." Вероятно, в замысел С. к. входило постепенное опровержение этого "твердого правила" и история любви Ивана Осиповича и прекрасной Катерины. Две сохранившиеся главы представляют собой лишь завязку повести.

СТУРДЗА Александр Скарлатович (1791-1854), помещик молдавского происхождения. До 1819 г. был чиновником, а впоследствии - членом Ученого комитета Министерства иностранных дел. В 1819 г. вышел в отставку и поселился в Одессе. Выступал как религиозный и политический публицист.

С. встретился с Гоголем в августе 1836 г. в Берне. Вскоре после кончины Гоголя так описал эту встречу: "В 1836 г. у подошвы швейцарских гор и в окрестностях Берна я увидел впервые Гоголя. Это было в гостях у нашего посланника Д. П. Северина. Я был только немым свидетелем приятной, но мимолетной беседы". Сближение С. с Гоголем произошло значительно позднее. Новая встреча С. с Гоголем также произошла за границей, и на этот раз оба собеседника почувствовали друг к другу сильную симпатию.

С. вспоминал: "В 1846 г. я встретил Гоголя в Риме, в посольской православной церкви, среди молитвословий великого пятка. По окончании

службы мы подошли друг к другу, возобновили минутное знакомство, и оно в Риме же утвердилось взаимными посещениями и беседами лицом к лицу. Тогда-то, к моему изумлению, я нашел в Гоголе не колкого сатирика, не изобретательного рассказчика и автора умных повестей, а человека, стоявшего выше собственных творений, искушенного огнем страданий душевных и телесных, стремившегося к Богу всеми способностями и силами ума и сердца. Беседы наши отразились потом, как в зеркале, в "Выбранных местах из переписки Гоголя с друзьями". Расставаясь со мною в Риме, он дал мне слово, что, обозрев православный восток и поклонившись гробу Господню, непременно заедет в Одессу через полтора года, и слово его сбылось". В мае 1848 г. Гоголь, возвращаясь из Иерусалима, и будучи в холерном карантине в Одессе, виделся с С., который вспоминал: "Гоголь нечаянно посетил меня на моей приморской даче, вместе с умным спутником своим К. М. Базили. Но свидание наше было минутно: Гоголь спешил к родным в Малороссию, а оттуда в Москву".

6 июня 1850 г. Гоголь сообщил С., что следующую зиму собирается провести в Греции или на островах Средиземного моря и поэтому вскоре будет в Одессе. В августе Гоголь получил от С. письмо, где тот звал его в Одессу. Гоголь ответил на него только 15 сентября 1850 г. из Васильевки: "После разных странствований приехавши в Полтаву, нашел я там бесценнейшее письмо ваше, добрейший и почтеннейший Александр Скарлатович. Не говорю вам о том, как получить его мне было отрадно. Хотел было тот же час вам отвечать и благодарить за дружелюбное ваше расположение, но перечтя в другой раз, увидел, что ответ пролежит в Одессе даром по причине отлучки вашей (как пишете, до самого октября). Вследствие этого отложил и пишу теперь. Свиданье с вами меня радует много. Благословенны те чистые стремленья к святому, вследствие которых люди становятся родными и близкими друг другу! Как надежны, как неразрывны становятся тогда наши связи! Не нужно и стараться тогда быть милым другому; сам собою становится мил человек человеку. Душевно бы хотел прожить сколько можно доле в Одессе и даже не выезжать за границу вовсе. Скажу вам откровенно, что мне не хочется и на три месяца оставлять России. Ни за что бы я не выехал из Москвы, которую так люблю. Да и вообще Россия всё мне становится ближе и ближе. Кроме свойства родины, есть в ней что-то еще выше родины, точно как бы это та земля, откуда ближе к родине небесной. Но на беду пребыванье в ней зимою вредоносно для моего здоровья. Не столько я хлопочу и грущу о здоровье, сколько о том, что в это время бываю неспособен к работе. Последняя зима в Москве у меня почти пропала вся даром. Между тем вижу, что окончанье сочиненья моего ("Мертвые души". - Б. С.) нужно и могло бы принести пользу. Много, много, как сами знаете есть того, что позабыто, но не должно позабываться, что нужно выставить в живых, говорящих примерах - словом, много того, о чем нужно напомнить нынешнему современному человеку и что принимается ушами многих только тогда, когда скажется в высоком настроении поэтической силы. А сила эта не подымается, когда болезненна голова. Обыкновенно работается у меня там, где находится ненатопленное тепло, где я могу утреннее утружденье головы развеять и рассеять послеобедним пребываньем и прогулками на

благорастворенном теплом воздухе; без того у меня голова на другой день не свежа и не годится к делу. Но верю, что Бог властен сделать всё, и Его милосердию нет границ: может и под суровым воздухом Черного моря, в самой Одессе, всё еще холодной для меня, найти свежее расположение духа - и тогда, разумеется, я ни за что не выеду за границу, с радостью проведу несколько месяцев с вами, в ожиданьи чего ваш весь Н. Гоголь". В итоге поездка за границу не состоялась, а в Одессу Гоголь прибыл 24 октября 1850 г. и часто виделся с С. вплоть до отъезда из города в конце марта 1851 г.

В конце 1850 г. С. писал своему знакомому Н. В. Неводчикову: "Гоголь прилежно занимается греческою Библией и, спасибо ему, - частит к нам". В мемуарах же он описал свои последние встречи с Гоголем более подробно: "Гоголь прибыл в Одессу, и, как нарочно, умеренная зима ласково встретила и покоила невзыскательного любителя тишины, нешумных бесед и уединенных кабинетных занятий. Сколько ни старались тогда заманить его в круг так называемого большого света, он вежливо уклонялся, сколько мог, от самых лестных предложений, довольствуясь прогулками и частым посещением весьма немногих, в том числе и меня. Истощался ли дружеский разговор, Гоголь охотно принимался за чтение вслух и читал, как говорил, т. е. с приятною важностью. Когда я бывал у него, он с удовольствием уверял меня, что умственная работа подвигается у него вперед и услаждает для него часы уединения. Даже в доме кн. Репнина отвели для Гоголя особую комнату, где он занимался делом, а потом выходил в гостиную и там отдыхал в дружественном собеседовании. Во все воскресные и праздничные дни можно было встретить Гоголя в церкви, в толпе молящихся. А во время Великого поста Гоголь умел отторгаться без огласки от сообщества людей и посвящать по несколько дней врачеванию души своей и богомыслию. Впрочем, сердце влекло его на родину, к родным, которым он обещал провести с ними Пасху. Говоря со мною о скором отъезде своем в Малороссию, Гоголь с умилением приговаривал: "Да знаете ли, что после первых лет молодости моей я не имел счастия отпраздновать в родной семье Светлое Христово Воскресение?" Тогда пришла нам из Германии весть, что Жуковский с семейством решительно собирается в обратный путь и непременно приедет в Москву летом. Эта надежда еще более ускорила отъезд Гоголя из Одессы; ему хотелось и погостить дорогою дома, и встретить Жуковского в Москве. Но время изменило дружбе нетерпеливой. Путешествие Жуковского было отложено".

"ТАРАС БУЛЬБА", повесть. Первая редакция опубликована: Гоголь Н. В. Миргород. СПб., 1835. Ч. 1. Вторая редакция опубликована: Сочинения Николая Гоголя. Т. 2. СПб., 1842. Первая редакция Т. Б. была написана в 1834 г. Во второй редакции объем повести увеличился почти вдвое, а число глав возросло с девяти до двенадцати.

В Т. Б. отразились родовые предания и легенды рода Гоголей, возводивших свою родословную к могилевскому полковнику Гоголю. Свод данных о полковнике Остапе Гоголе приводит один из первых биографов писателя П. А. Кулиш в "Записках о жизни Н. В. Гоголя" (1856): "Об Остапе Гоголе говорится в летописях при описании битвы при Дрижиполе (1655). Он один из полковников

остался до конца верен гетману Петру Дорошенку, после которого еще несколько времени отстаивал подвластную себе часть Украины... Он ездил в Турцию послом от Дорошенка в то время, когда уже все другие полковники вооружились против Дорошенка и когда Дорошенко колебался между двумя мыслями: сесть ли ему на бочку пороху и взлететь на воздух, или отказаться от гетманства. Может быть, только Остап Гоголь и поддерживал так долго его безрассудное упорство, потому что, оставшись после Дорошенка один на опустелом правом берегу Днепра, он не склонился, как другие, на убеждения Самойловича, а пошел служить, с горстью преданных ему казаков, воинственному Яну Собесскому и, разгромив с ним под Веною турок, принял от него опасный титул гетмана, который не под силу пришло носить самому Дорошенку. Какая смерть постигла этого, как по всему видно, энергического человека, летописи молчат. Его боевая фигура, можно сказать, только выглянула из мрака, сгустившегося над украинскою стариною, осветилась на мгновение кровавым пламенем войны и утонула снова в темноте". Трудно сказать, насколько достоверны сообщаемые П. А. Кулишем сведения об Остапе Гоголе. Часть из них очевидно легендарна. Так, в польских источниках нет никаких сведений об украинском гетмане Остапе Гоголе, да и степень его близости к гетману Петру Дорошенко, в конце концов отказавшемуся от гетманства и ставшему царским воеводой в Вятке, скорее всего, преувеличена. И уж совсем недостоверен следующий документ о полковнике Гоголе, приводимый А.М. Лазаревским в "Очерках малороссийских фамилий" (1875): "В 1674 г. Остап Гоголь получил от польского короля Яна-Казимира грамоту на село Ольховец, в которой объясняется и служба Гоголя: "За приверженность к нам и к Речи Посполитой благородного Гоголя, нашего могилевского полковника (имеется в виду город Могилев-Подольский на Правобережной Украине, а не Могилев в Белоруссии. - Б. С.), которую он проявил в нынешнее время, перешедши на нашу сторону, присягнув нам в послушании и передавший Речи Посполитой могилевскую крепость, поощряя его на услуги, жалуем нашу деревню, именуемую Ольховец, как ему самому, так и теперешней супруге его: по смерти же их сын их, благородный Прокоп Гоголь, также будет пользоваться пожизненным правом". Праправнук Евстафия (по-украински - Остапа. - Б.С.) Гоголя, Афанасий, о предках своих в 1788 г. показал: "Предки мои фамилией Гоголи, польской нации: прапрадед Андрей (?) Гоголь был полковником могилевским, прадед Прокоп и дед Ян Гоголи были польские шляхтичи; из них дед по умертвии отца его Прокопа, оставя в Польше свои имения, вышел в российскую сторону и, оселясь уезда Лубенского в селе Кононовке, считался шляхтичем; отец мой Демьян, достигши училищ киевской академии (где и название по отцу его Яну, принял Яновского), принял сан священнический и рукоположен до прихода в том же селе Кононовке". В подлинности "грамоты Яна-Казимира" усомнился еще П. А. Кулиш, резонно заметивший: "Странно, что в этом документе полковник Гоголь назван Андреем и получает в 1674 г. привилегию на владение деревней Ольховец от польского короля Яна-Казимира, который за шесть лет перед тем отрекся от престола (в 1674 г. королем был избран Ян Собесский, а значительную часть этого года польский трон был вакантен, так как предыдущий король, Михаил Вишневецкий, умер в

1673 г. Б. С.). До сих пор ни в одном известном документе не встретилось не только полковника Андрея Гоголя, но и никакого другого полковника, кроме Остапа". Также и А. М. Лазаревский в "Сведениях о предках Гоголя" (1902) выражает большое сомнение в подлинности дворянской родословной Гоголей: "Афанасий Гоголь о своем деде сообщает сведения неточные. Он называет Яна сыном Прокофия и, называя Яна шляхтичем, не говорит о том, что этот дед его был таким же священником села Кононовки, как и отец. (На священство последнего Афанасий Гоголь точно указывает в своем доказательстве.) Юридические акты свидетельствуют, что Ян Гоголь по отцу назывался не Прокофьевичем, а Яковлевичем и что он же, Ян, в 1697 г. был викарием лубенской Троицкой церкви, а в 1723 г. - священником села Кононовки. Можно думать, что Афанасий Гоголь умышленно скрыл священничество своего деда Ивана, потому что не любила перерождавшаяся в дворянство казацкая старшина связывать свое происхождение с лицами духовного и посполитого (крестьянского. - Б. С.) состояния. Поэтому священники превращались в "польских шляхтичей", а какие-нибудь бурмистры - в сотников. Это обычное явление в старинных родословиях". Истинный свет на родословную Гоголя проливают также изыскания о. Алексея Петровского, в статье "К вопросу о предках Гоголя" (1902) утверждавшего: "Нам удалось добыть дневник одного из старейших священников Миргородского уезда, о. Владимира Яновского, который приходится троюродным братом Гоголю. Из дневника этого видно, что род Гоголь-Яновских ведет свое начало от Ивана Яковлевича (фамилии в документах нет), выходца из Польши (по всей видимости, Иван Яковлевич покинул Речь Посполитую из-за неприятия церковной унии. - Б. С.), который в 1695 г. был назначен к Троицкой церкви г. Лубен "викарным" священником; вскоре он был переведен во вновь устроенную Успенскую церковь с. Кононовки того же уезда... Продолжателями рода и преемниками духовной власти Ивана Яковлевича были: сын его Дамиан Иоаннов Яновский (можно думать, что фамилия - от имени отца Ивана, по-польски - Яна), также священника кононовской церкви; далее... сын о. Дамиана Афанасий Дамианович - уже Гоголь-Яновский, - "примиер-майор", как сказано в семейной летописи; сын его Василий и внук Николай, писатель". Причины, заставлявшие сыновей священников и вольных казаков превращаться в мифических польских шляхтичей, вскрыл А. Я. Ефименко в статье "Малорусское дворянство и его судьба" (1891): "Малорусский пан не имел еще государственного признания своих прав. Между тем только дворянское достоинство давало санкцию обладания землею, а главное - обязательным трудом. Малорусское панство кинулось на отыскивание побочных тропинок и лазеек, какими бы можно было пробраться в дворянство. Каждому надо было для себя доказать, что он "не здешней простонародной малороссийской", а какой-нибудь особенной шляхетской породы. Сподручнее и легче всего было доказывать свое непростонародное происхождение через посредство Польши; престиж шляхетства всегда окружал все польское. И вот какой-нибудь самый обыкновенный козацкий сын Василенко (по Василию отцу), выдвинувшись на маленький уряд, начинает подписываться на польский манер Базилевским, Силенко - Силевичем, Гребенка - Грабянкою и т. д. С течением времени все эти

самозванные Базилевские и Силевичи успевали уверить и других, а может быть, и себя, в своем польско-шляхетском происхождении. Оставалось это утвердить документом. С деньгами и это было делом нетрудным. На этот случай были под рукой дельцы, которые охотно брались за фабрикацию необходимых документов. Вероятно, это стоило не особенно дорого, так как во времена возникновения комиссии о разборе дворянских прав в Малороссии оказалось до 10 000 дворян с документами, между тем как лет 15-20 перед тем малороссийское панство заявило, что у него документов нет, так как они растеряны через бывшие в Малороссии междоусобные брани и многочисленные войны". Учитывая все эти данные, нельзя не признать справедливость вывода В.В. Вересаева в книге "Гоголь в жизни" (1933): "...Вопрос о происхождении Гоголя с отцовской стороны вырисовывается перед нами в таком виде: какой-то могилевский полковник Гоголь, - не Остап, а никому не ведомый Андрей, получил поместье от польского короля Яна-Казимира, уже за шесть лет перед тем отрекшегося от престола; в двух очень близких к этому Андрею Гоголю поколениях потомство его представлено священниками, что немного странно для дворян; никакой фамилии у потомков этого могилевского полковника Гоголя в документах не значится; только дети Яна от имени отца получают фамилию "Яновские"; брат Афанасия Кирилл со всем своим священническим потомством остается почему-то только с этой фамилией, без прибавки "Гоголь"; Гоголь-Яновским оказывается один Афанасий со своим потомством. На основании этого можно думать, что по отцу Гоголь-писатель вовсе не происходил от старинного украинского панства, а был происхождения духовного, дворянство же впервые получил его дед Афанасий Демьянович, сделавший себе карьеру женитьбою на дочери бунчукового товарища Лизогуба. Он, возможно, слышал о некоем могилевском полковнике Гоголе, но даже не знал его имени; предъявил наскоро сфабрикованный документ о своем якобы происхождении от могилевского полковника Гоголя, получил дворянство и прибавку "Гоголь" к своей настоящей фамилии "Яновский". Не исключено, что Афанасий Демьянович Яновский придумал историю о своем мнимом родстве с полковником Гоголем, чтобы не ударить в грязь перед родовитыми Лизогубами - родителями своей жены. Сам Николай Гоголь наверняка знал родословную своей фамилии и, как кажется, считал ее подлинной. Ученик Гоголя М. Н. Лонгинов вспоминал: "Двойная фамилия учителя Гоголь-Яновский затруднила нас вначале; почему-то нам казалось сподручнее называть его г. Яновским, а не г. Гоголем; но он сильно протестовал против этого с первого раза. - "Зачем называете вы меня Яновским? - сказал он. Моя фамилия Гоголь, а Яновский только так, прибавка; ее поляки выдумали"". Также княжна В. Н. Репнина утверждала: "В Москве, встретив где-то Гоголя, одна из Репниных обрадовалась и пригласила его к себе обедать запискою, на которой написала адрес: Н.В. Яновскому (так его звали в Малороссии). Гоголь обиделся, обедать не приехал и дал знать, что его имя - Гоголь - достаточно известно в Москве". Двух своих мнимых предков, вернее, одного, в летописях названного Остапом, а в поддельной грамоте Яна-Казимира - Андреем, Гоголь сделал сыновьями главного героя Т. Б. При этом Андрей Бульба, подобно никогда не существовавшему Андрею Гоголю, будто бы передавшему полякам

могилевскую крепость, становится предателем, предавая полякам лагерь осадивших Дубно казаков. Кстати сказать, местечко Ольховец, якобы пожалованное Андрею Гоголю, находится недалеко от Дубно (ныне - Олыка на самом севере Ровенской области, в пределах которой располагается и Дубно). Возможно, именно это обстоятельство подсказало Гоголю сделать Дубно центром действия Т. Б. Остап же Бульба, подобно историческому Остапу Гоголю, до конца оставался с казаками и принял мученическую смерть. Возможно, Гоголь не знал, что прототип, судя по всему, также закончил свои дни на службе польской короне (правда, служил он не один, а со своими казаками, так что не откололся от казачества) и, скорее всего, помер своей смертью и даже успел еще отличиться в знаменитой битве с турками под Веной в 1683 г. Но, возможно, писатель знал о настоящей судьбе Остапа Гоголя, но предпочел оставить своего героя противником поляков. Показательно, что и Остап, и Андрей погибают, не оставив потомства. Возможно, у Гоголя все-таки оставались сомнения, что могилевский полковник Гоголь к его роду в действительности отношения не имеет, и он предпочел оставить бездетными обоих героев, восходящих к своему мнимому предку. Гибель главных героев повести - Тараса, Андрея и Остапа, в конечном счете, обусловлена не только их разрывом с родовым целым - казацким братством, но и обреченностью самой казацкой вольницы. Все они - личности, которым, так или иначе, оказываются тесны родовые рамки. Как полагает А. Белый, в Т. Б. "показан уже не отрыв особи от рода, а разрыв самого рода; и распад казацкого круга; две личности вынуждены по-разному предать несуществующий круг: предатель Андрей, и мстящий ему за это будто бы патриот, Тарас.

Тарас, выступив за дело "деда", убил Андрея: "Я тебя породил, я тебя и убью"; но уже надвое разделилось казацкое войско; одна часть ушла: бить крымцев; другая осталась: бить ляхов; погибли же - обе. Андрей не бесславно погиб; он погиб - с честью; у него есть лозунг и предательства: "Что мне отец, товарищи и отчизна?.. Кто сказал, что моя отчизна Украйна? Кто дал мне ее в отчизны? Отчизна есть то, чего ищет душа наша, что милее для нее всего. Отчизна моя - ты! Вот моя отчизна!"; вместо того, чтоб обрасти волосами и хрипеть, сотрясаясь предательством (здесь и далее идет сравнение с колдуном из "Страшной мести". - Б. С.), он в предательстве просиял: "так, как солнце... он весь сияет в золоте". Мстящий за измену Тарас - не особь рода, а - личность; его лозунг - не бытие в предках: любовь к товариществу: "Породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек"; в поисках товарищества и он вышел из общего круга, когда "снял... дорогую турецкую саблю... разломал ее надвое и кинул далеко в разные стороны оба конца"; и сказал: "Как двум концам сего палаша не соединиться в одно... так и нам, товарищи, больше не видаться"; бывшие его товарищи пошли к ляхам, потомки же их, украинофилы, мечтали о присоединении к Австрии; они шли против родины: по Тарасу; а по ним Тарас пошел против родины, когда из огня он бросил свой новый лозунг: "Подымется из русской земли... царь!"; согнул бы выю и он перед длиннобородым бояриным-"москалем", как Андрей склонил голову перед ляхами, - доживи до времени Хмельницкого он; оба гибнут: Тарас и Андрей; оба уже - не в "деде"; Тарас стилизуется под старину; "все, старый собака, знает"; знает и Горация: не

то, что Данило; оба гибнут гордо, как бы зная, что "дедовский" устав - фикция: родины - нет; род умер; "дед" - мертвец; и по-разному "мертвецы", будущие "патриоты" Украины, долго потом грызли друг друга; Антоновичи - великодержавников; те Антоновичей. В одном отношении Тарас - Данило, пошедший на предателя; в другом - предатель-сын, обретая "новую" родину, погиб с честью; он мог обернуться к Тарасу и лицом всадника с Карпат; и - показать: убил свое дитя для того, чтоб предать потомков... Третьему Отделению: Тарасу пришлось бы молчать". Среди источников Т. Б. также следует назвать "Историю Русов, или Малой России", составленную в конце XVIII или в начале XIX в. Ее авторство приписывалось белорусскому архиепископу Георгию Конисскому, а реальным автором был, по разным предположениям, историк Г. А. Полетика или его сын В. Г. Полетика. "История Русов" была издана только в 1846 г., но до этого имела широкое хождение в списках. Гоголь использовал и книгу Д. Н. Бантыш-Каменского "История Малой России" (1822), и составленное французским путешественником и инженером Бопланом, строившим в XVII в. знаменитую Кодацкую крепость, "Описание Украйны", впервые изданную на русском языке в 1832 г., а также украинские летописи Самовидца и Грабянки. В период работы над второй редакцией повести Гоголь дополнительно познакомился с рукописью князя Мышецкого "История о казаках запорожских, как оные из древних лет зачалися, и откуда свое происхождение имеют, и в каком состоянии ныне находятся". Она была издана только в 1847 г., но до этого была широко распространена в списках. В работе над повестью Гоголь использовал материалы украинского фольклора, собранные в "Запорожской старине" (1833) И. И. Срезневского, "Малороссийских песнях, изданных М. Максимовичем" (1827), "Украинских народных песнях, изданных М. Максимовичем" (1834) и в "Малороссийских и червонорусских думах и песнях, изданных П. Лукашевичем" (1836). Хронология Т. Б. сознательно неопределенна и отнесена в широком смысле слова к украинскому Средневековью. В тексте обеих редакций присутствуют приметы XV-XVII веков. В предисловии к Т. Б. известный украинско-русский историк Н. И. Костомаров писал: "С конца XVI века начались восстания козаков против поляков. Их было несколько одно за другим; все они кончались несчастно для малороссиян и после каждого восстания производилась жестокая расправа, следовали свирепые казни, а народ после того чувствовал более нестерпимый гнет над собой. Так делалось до 1648 года, когда вспыхнуло восстание гетмана Хмельницкого, совсем иначе повернувшее историю борьбы Малороссии с Польшей. К этому времени восстаний малороссийского народа до Хмельницкого относится и "Тарас Бульба". Содержание его вымышленное и трудно было бы, даже приблизительно, отнести его к тем или другим годам, так как сочинитель дозволяет себе в этом случае исторические неверности: например, вначале представляется как бы время Наливайки, следовательно 1595 год, в то же время признаются существующими в Киеве академия и бурса, тогда как бурса в киевской коллегии устроена была только в XVII веке митрополитом Петром Могилою на его собственный счет, а киевская коллегия стала называться академией в XVIII веке. Но исторические неверности не лишают достоинства произведение Гоголя, которое имеет значение как плод его

великого дарования по своему прекрасному художественному построению".

25 августа н. ст. 1839 г. Гоголь писал С. П. Шевыреву из Вены: "Я вчера приехал в Вену... Что я в Мариенбаде, ты это знал. Лучше ли мне или хуже, Бог его знает. Это решит время... Но что главное... это - посещение, которое сделало мне вдохновение. Передо мною выясниваются и проходят поэтическим строем времена казачества, и если я ничего не сделаю из этого, то буду большой дурак. Малороссийские песни, которые у меня под рукою, навеяли их, или на душу мою нашло само собою ясновидение прошедшего, только я чую много того, что ныне редко случается". Замысел повести из малороссийской истории Гоголь не осуществил, но он, вероятно, частично воплотился во второй, значительно расширенной редакции Т. Б. Вот как видится католическое богослужение Андрию во второй редакции повести (в первой редакции этого эпизода нет): "Около него с обеих сторон стояли также на коленях два молодых клирошанина в лиловых мантиях с белыми кружевными шемизетками сверх их и с кадилами в руках". При ближайшем рассмотрении данного эпизода можно сделать вывод о несколько ироничном отношении Гоголя к католицизму, вероятно, в связи с чрезмерной пышностью обрядов, и поставить под сомнение существующие свидетельства о том, что писатель одно время склонялся к принятию католической веры. Ведь шемизетка - это вставка, манишка или небольшая накидка на женское платье. В повести ей уподоблена белая одежда католического священника с короткими кружевными рукавами - то ли альба, напоминающая православный стихарь, то ли камизия - белое нижнее одеяние. Вроде бы так смотрит на чуждое ему католическое богослужение сам Тарас Бульба. Но в его времена шемизеток еще не было. Сознательным анахронизмом Гоголь дает нам понять, что здесь - авторский взгляд на католическую службу, в котором одеяние роскошное ксендза иронически уподоблено детали женского туалета. Свидетельства о католических симпатиях Гоголя принадлежат польским ксендзам, с которыми Гоголь встречался в Риме в 1838 г. Ксендз Петр Семененко писал епископу Богдану Яньскому 17 марта 1838 г. (н. ст.): "Возвращаемся с обеда у княгини Волконской и с прогулки на ее виллу в сообществе ее, а также одного из наилучших современных писателей и поэтов русских, Гоголя, который нам очень понравился. У него благородное сердце, притом он молод; если со временем глубже на него повлиять, то, может быть, он не окажется глух к истине и всею душой обратится к ней. Княгиня питает эту надежду, в которой и мы сегодня несколько утвердились. Понятно, беседовали мы о славянских делах. Гоголь оказался совершенно без предрассудков, и даже, может быть, там в глубине очень чистая таится душа. Умеет по-польски, т. е. читает". Семененко сообщал также, что они долго обсуждали с Гоголем "Пана Тадеуша" Мицкевича и другие произведения польской литературы, причем Гоголь "хотел бы проникнуться силой польского языка". Второй ксендз, Иероним Кайсевич, тогда же записал в дневнике: "Познакомились с Гоголем, малороссом, даровитым великорусским писателем, который сразу выказал большую склонность к католицизму и к Польше, совершил даже благополучное путешествие в Париж, чтобы познакомиться с Мицкевичем и Богданом Залесским". В других письмах Семенко и Кайсевича о Гоголе говорится только в связи с его интересом к польской литературе и культуре. Характерно, что

именно после встреч с З. А. Волконской и ксендзами появилось описание католического богослужения в Т. Б. Однако, в отличие от З. А. Волконской, Гоголь так и не обратился в католичество.

11 февраля н. ст. 1847 г. он ответил С. П. Шевыреву, который ранее в письме заподозрил Гоголя в католических симпатиях: "...Твое уподобление меня княгине Волконской относительно религиозных экзальтаций, услаждений и устремлений воли Божией лично к себе, равно как и открытье твое во мне признаков католичества, мне показались неверными. Что касается до княгини Волконской, то я ее давно не видал, в душу к ней не заглядывал; притом это дело такого рода, которое может знать в настоящей истине один Бог; что же касается до католичества, то скажу тебе, что я пришел ко Христу скорее протестантским, чем католическим путем. Анализ над душой человека таким образом, каким его не производят другие люди, был причиной того, что я встретился со Христом, изумясь в нем прежде мудрости человеческой и неслыханному дотоле знанью души, а потом уже поклонясь Божеству его. Экзальтаций у меня нет, скорей арифметический расчет; складываю просто, не горячась и не торопясь, цифры, и выходят сами собою суммы". Однако в описании католического богослужения в Т. Б. есть и действительное восхищение, свидетельствующее, что он испытывал к католицизму определенные симпатии. Недаром же в Риме он признавался, что только там по-настоящему молятся, т. е. - действительно верят.

В Т. Б. Андрий видит, как священник "молился о ниспослании чуда: о спасении города, о подкреплении падающего духа, о ниспослании терпения, об удалении искусителя, нашептывающего ропот и малодушный, робкий плач на земные несчастия. Несколько женщин, похожих на привидения, стояло на коленах, опершись и совершенно положив изнеможенные головы на спинки стоявших перед ними стульев и темных деревянных лавок; несколько мужчин, прислонясь у колонн, на которых возлегали боковые своды, печально стояли тоже на коленах. Окно с цветными окнами, бывшее над алтарем, озарилось розовым румянцем утра и упали от него на пол голубые, желтые и других цветов кружки света, осветившие внезапно темную церковь. Весь алтарь в своем далеком углублении показался вдруг в сиянии; кадильный дым остановился в воздухе радужно освещенным облаком. Андрий не без изумления глядел из своего темного угла на чудо, произведенное светом. В это время величественный стон органа наполнил вдруг всю церковь; он становился гуще и гуще, разрастался, перешел в тяжелые раскаты грома и потом вдруг, обратившись в небесную музыку, понесся высоко под сводами своими поющими звуками, напоминавшими тонкие девичьи голоса, и потом опять обратился он в густой рев и гром и затих. И долго еще громовые рокоты носились, дрожа, под сводами, и дивился Андрий с полуоткрытым ртом величественной музыке". По свидетельству П. В. Нащокина, включить описание степи в Т. Б. внушил Гоголю А. С. Пушкин. Гоголь слышал это описание, в свою очередь, от своего давнего знакомого житомирского почтмейстера Семена Даниловича Шаржинского (умер после 1851 г.).

В. Г. Белинский в статье "О русской повести и повестях г. Гоголя" (1835) восхищался Т. Б.: "...Эта дивная эпопея, написанная кистию смелою и широкою,

этот резкий очерк героической жизни младенчествующего народа, эта огромная картина в тесных рамках, достойная Гомера. Бульба герой, Бульба человек с железным характером, железною волею: описывая подвиги его кровавой мести, автор возвышается до лиризма и в то же время делается драматиком в высочайшей степени, и все это не мешает ему по местам смешить вас своим героем. Вы содрогаетесь Бульбы, хладнокровно лишающего мать детей, убивающего собственною рукою родного сына, ужасаетесь его кровавых тризн над гробом детей, и вы же смеетесь над ним, дерущимся на кулачки с своим сыном, пьющим горелку с своими детьми, радующимся, что в этом ремесле они не уступают батюшке, и изъявляющим свое удовольствие, что их добре пороли в бурсе. И причина этого комизма, этой карикатурности изображений заключается не в способности или направлении автора находить во всем смешные стороны, но в верности жизни... "Тарас Бульба" есть отрывок, эпизод из великой эпопеи жизни целого рода. Если в наше время возможна гомерическая эпопея, то вот вам ее высочайший образец, идеал и прототип!.. Если говорят, что в "Илиаде" отражается вся жизнь греческая в ее героический период, то разве одни пиитики и риторики прошлого века запретят сказать то же самое и о "Тарасе Бульбе" в отношении к Малороссии XVI века?.. И в самом деле, разве здесь не все козачество, с его странною цивилизациею, его удалою, разгульною жизнию, не бьется ли здесь огромный пульс всей этой жизни? Этот богатырь Бульба с своими могучими сыновьями; эта толпа запорожцев, дружно отдирающая на площади трепака, этот козак, лежащий в луже для показания своего презрения к дорогому платью, которое на нем надето, и как бы вызывающий на драку всякого дерзкого, кто бы осмелился дотронуться до него хоть пальцем; этот кошевой, поневоле говорящий красноречивую, витиеватую речь о необходимости войны с бусурманами, потому что "многие запорожцы позадолжались в шинки жидам и своим братьям столько, что ни один чорт теперь и веры неймет"; эта мать, которая является как бы мимоходом, чтобы заживо оплакать детей своих, как всегда являлась в этот век женщина и мать в козацкой жизни... А жиды и ляхи, а любовь Андрия и кровавая месть Бульбы, а казнь Остапа, его воззвание к отцу и "слышу" Бульбы и, наконец, героическая гибель старого фанатика, который не чувствовал своих ужасных мук, потому что чувствовал одну жажду мести к враждебному народу?.. И это не эпопея?.. Да что же такое эпопея?.. И какая кисть, широкая, размашистая, резкая, быстрая! какие краски, яркие и ослепительные!.. И какая поэзия, энергическая, могучая, как эта Запорожская сечь, "то гнездо, откуда вылетают все те гордые и крепкие, как львы, откуда разливается воля и козачество на всю Украину !.."

А. К. Воронский в книге "Гоголь" (1934) писал о Т. Б.: "Нет корысти у казаков, нет корысти у упрямого Тараса, но даже и им надо опасаться старинной и страшной власти над собой вещей. Казалось бы, малое дело люлька с добрым табаком, а и она подвела Тараса. Не потеряй ее Тарас в пылу битвы, не пожалей он совсем остаться без неразлучной спутницы, может быть, и пробился бы он со своими казаками сквозь вражье войско! Роковая, погибельная сила в вещах, даже в люльке! Вещи создают привычки, привязывают к себе человека. Повесть испорчена юдофобством, православием; вторая, более поздняя редакция ухудшила повесть, но при том "Тарас Бульба" является в нашей литературе до

сих пор лучшей исторической повестью, уступая разве только "Капитанской дочке". Бесспорно, Гоголь овеял романтикой прошлое, но в основном он с замечательной интуицией проникнул в это прошлое Запорожской Сечи, в ее быт, походы, с подлинным мастерством воссоздав ряд характеров. До скульптурности выразителен Тарас. Освещенный багровым пламенем, он поражает своей жизненностью. Он национален... "Тарас Бульба", в сущности, проповедует потребительский коммунизм в христианской оболочке; для того времени это являлось делом неслыханным. Черты этого коммунизма Гоголь тщательно местами затемнил, может быть, опасаясь цензурных преследований. Вполне понятно, что нашим "заслуженным" профессорам, ученым жукам и составителям "трудов" даже и такой коммунизм показался не по нутру и они предпочли, разбирая повесть, говорить о чем угодно, только не об этом коммунизме".

Как весьма точно подметил В. Я. Брюсов в статье "Испепеленный", в Т. Б. бой под Дубно... "написан не столько на основании изучения малороссийской старины, сколько под влиянием перевода Гнедича "Илиады". Одна из причин гибели Тараса Бульбы, возможно, заключается в том, что он в своей мести за Остапа перешел последнюю нравственную, христианскую грань, когда побуждает своих казаков уничтожать невинных младенцев: "Зажигал их Тарас вместе с алтарями... не внимали ничему жестокие казаки и, поднимая копьями с улиц младенцев их, кидали к ним же в пламя". Здесь заключено видимое противоречие в образах Тараса и его казаков. За православие они сражаются самыми варварскими, бесчеловечными методами, не щадя ни женщин, ни детей. Но противоречие это мнимое. На самом деле Бульба и его люди, как и герои "Илиады", находятся во власти языческой стихии, и именно с ней оказывается связано героическое начало Т. Б.

ТАРАСЕНКОВ Алексей Терентьевич(1816-1873), известный московский доктор, в 1852 г. - штаб-лекарь в Московской больнице для чернорабочих, а с 1858 г. главный врач Шереметевской больницы, близкий к А. П. Толстому и лечивший Гоголя в последние недели его жизни.

Т. оставил нам мемуары "Последние дни Н. В. Гоголя" (1857) - наиболее точное и полное описание болезни и кончины Гоголя. Там дан, в частности, портрет Гоголя: "Ходил Гоголь немного сгорбившись, руки в карманы, галстук просто подвязан, платье поношенное, волосы длинные, зачесанные так, что покрывали значительную часть лба и всегда одинаково; усы носил постоянно коротенькие, подстриженные; вообще видно было, что он мало заботился о своей внешней обстановке. Когда встречался, протягивал руку, жал довольно крепко, улыбался, говорил отчетливо, резко, и хотя не изыскано сладко, но фразы были правильные без поправки, слова всегда отчетливо выбранные". Причину последней болезни Гоголя Т. видел в строгом посте, приведшем в конце концов к практически полному отказу от пищи. Т. утверждал: "Переменять свойство и количество пищи Гоголь не мог без вреда для своего здоровья; по собственному его уверению, при постной пище он чувствовал себя слабым и нездоровым. "Нередко я начинал есть постное по постам, - говорил он мне, - но никогда не выдерживал: после нескольких дней пощения и всякий раз

чувствовал себя дурно и убеждался, что мне нужна пища питательная". Не менее важным обстоятельством, приведшим к трагической развязке, Т. считал психическое состояние писателя в последние месяцы жизни: "От времени до времени в Гоголе обнаруживалась мрачная настроенность духа без всякого явственного повода. По непонятной причине он избегал встречи с известным доктором Ф. П. Гаазом. В ночь на новый 1852 год, выходя из своей комнаты наверх к гр. А. П. Толстому, он нечаянно встретил на пороге доктора, выходившего из комнат хозяина дома. Гааз ломанным русским языком старался сказать ему приветствие и, между прочим, думая выразить мысль одного писателя, сказал, что желает ему такого нового года, который даровал бы ему вечный год. Присутствовавшие заметили тут же, что эти слова произвели на Гоголя невыгодное влияние и как бы поселили в нем уныние. Хотя оно и было скоропреходящее, но служило зародышем тех предчувствий, которые впоследствии времени при других, более ярких впечатлениях приняли огромный размер". Т. свидетельствует: "В последние месяцы своей жизни Гоголь работал с любовью и рвением почти каждое утро до обеда (четырех часов), выходя со двора для прогулки только на четверть часа, и вскоре после обеда по большей части уходил опять заниматься в свою комнату. "Литургия" и "Мертвые души" были переписаны набело его собственною рукой, очень хорошим почерком. Он не отдавал своих сочинений для переписки в руки других: да и невозможно было бы писцу разобрать его рукописи по причине огромного числа перемарок. Впрочем, Гоголь любил сам переписывать, и переписывание так занимало его, что он иногда переписывал то, что можно было иметь печатное. У него были целые тетради (в осьмушку почтовой бумаги), где его рукой каллиграфически были написаны большие выдержки из разных сочинений (значительная часть из этих тетрадей, например, с "Выбранными местами из творений св. отцов и учителей церкви", а также с другими подготовительными материалами, сохранились. - Б. С.). Второй том "Мертвых Душ" был прочтен им в Москве по главам в разных домах, но число слушателей было весьма ограничено, да и те обязывались не рассказывать о содержании слышанного до поры, до времени. "Литургия" была еще меньшему числу его знакомых известна, а о других своих сочинениях он упоминал только изредка. Читал он отлично: слушавшие его говорят, что не знают других подобных примеров. Простота, внятность, сила его произношения производили живое впечатление, а певучесть имела в себе нечто музыкальное, гармоническое. При чтении даже чужих произведений умел он с непостижимым искусством придавать вес и надлежащее значение каждому слову, так что ни одно из них не пропадало для слушающих. Жуковский по этому поводу сказал, что ему никогда так не нравились его собственные стихи, как после прочтения его Гоголем. И переписанные набело сочинения он все откладывал отдавать в цензуру, отзываясь тем, что желает еще исправить некоторые места, которые кажутся не вполне вразумительными. Впрочем, по его деятельности и распоряжениям можно было заключить, что у него многое уже окончательно готово". Но вдруг в состоянии Гоголя произошел перелом. Некоторые признаки неблагополучия были заметны уже во второй половине января 1852 г. Т. так описал один из дней, проведенных с Гоголем в то время: "Выйдя к обеду, Гоголь

говорил, что зябнет, несмотря на то, что в комнате было +15°Р (по шкале Реомюра,т. е. около 19° по шкале Цельсия. - Б. С.). Пока не подали кушанье, он скоро ходил по обширной зале, потирая руки, почти не разговаривая; на ходьбе только приостанавливался перед столом, где были разложены книги, чтобы взглянуть на них. Перед обедом он выпил полынной водки, похвалил ее; потом с удовольствием закусывал и после того сделался пободрее, перестал ежиться; за обедом прилежно ел и стал разговорчивее. Не помню почему-то, я употребил в рассказе слово научный; он вдруг перестает есть, смотрит во все глаза на своего соседа и повторяет несколько раз сказанное мною слово: "Научный, научный, а мы все говорили "наукообразный": это неловко, то гораздо лучше". - Тогда я изумился, как может так сильно занимать его какое-нибудь слово; но впоследствии услышал, что он любил узнавать неизвестные ему слова и записывал их в особенные тетрадки, нарочно для того приготовленные. Таких тетрадок им исписано было много. Замечали, что он нередко, выйдя прогуляться перед обедом и не отойдя пяти шагов от дома, внезапно и быстро возвращался в свою комнату; там черкнет несколько слов в одной из этих тетрадок и опять пойдет из дома. После обеда Гоголь сидел в уголку дивана, смотрел на английскую иллюстрацию, все молчал, даже и на этот раз не слушал, что говорили кругом него, хотя разговор должен был его занимать: разрешались религиозные вопросы, говорили о церковных писателях, которых он любил. Слуга хозяина, у которого мы обедали, пришел проситься в театр. В этот вечер было два спектакля. Гоголь, знавший, что дают в этот день, спросил его: "Ты в который театр идешь?" - "В Большой, - отвечал тот, - смотреть "Аскольдову могилу". - "Ну, и прекрасно!" - прибавил Гоголь со смехом. Желая вызвать его на разговор литературный, я продолжал начатую речь о театре и, обратясь к нему, сказал, что я также пойду в театр, но в Малый: там дают "Женитьбу". "Не ходите сегодня, - перебил Гоголь, а вот я соберусь скоро, посмотрю прежде, как она идет, и, уладив, извещу вас". Разговор о театре завязался. Гоголь признался, что до сих пор не видел "Женитьбы". Он называл эту пьесу пустяками; но моряк Жевакин, по его мнению, должен быть смешнее всех. Гоголь стал оживляться. Зашла речь о "Провинциалке" И.С. Тургенева, пьесе, которой придавали тогда большое значение. "Что это за характер: просто кокетка, и больше ничего", - сказал он. Обрадовавшись, что Гоголь сделался разговорчивее, я старался, чтобы беседа не отклонилась от предметов литературных, и, между прочим, завел речь о "Записках сумасшедшего". Рассказав, что я постоянно наблюдаю психопатов и даже имею их подлинные записки, я пожелал от него узнать, не читал ли он подобных записок прежде, нежели написал это сочинение. Он отвечал: "Читал, но после". - Да как же вы так верно приблизились к естественности?" - спросил я его. "Это легко: стоит представить себе..." Я жаждал дальнейшего развития мысли, но, к прискорбью моему, подошел к нему слуга его и доложил ему о чем-то тихо. Гоголь вскочил и убежал вниз, к себе в комнаты, не окончив разговора. После я узнал, что к нему приезжал Живокини (сын), который в этот же вечер должен был в первый раз исполнять роль Анучкина. Живокини, вероятно, по совету Гоголя, выполнил эту роль проще, естественнее, нежели она была выполнена прежде, и главное - без кривляний и фарсов, т. е. так, как Гоголь желал, чтоб исполнялись и все, даже самые

второстепенные роли. По всему видно было, что Гоголь в это время еще занят был и своими творениями, и всем житейским; а это случилось не более как за месяц до его смерти. В это время он перепечатывал прежние сочинения под собственным своим наблюдением, исправлял их, кое-что вставлял и сам держал корректуру, заказав единовременное печатание каждой части в особой типографии. Перед этим же временем он окончательно отделал и тщательно переписал свое заветное сочинение, которое было обрабатываемое им в продолжение почти 20 лет; наконец, после многих переделок, переписок, он остался им доволен, собирался печатать, придумал для него формат книги: маленький, в осьмушку, который очень любил, хотел сделать это сочинение народным, пустить в продажу по дешевой цене и без своего имени, единственно ради научения и пользы всех сословий. Это сочинение названо Литургиею... В эту же зиму приведен был к окончанию второй том "Мертвых Душ" и еще какие-то статьи, которые должны были войти в состав прежних четырех томов полного собрания. Напечатав предположенное, он собирался посвятить себя какому-то труду по части русской истории. Не любя раскрывать своих задушевных мыслей, особенно говорить о себе, как о сочинителе, тем более слушать себе похвалы, он в это последнее время в задушевной беседе объявил, однако, что доволен своими последними, приготовленными к печати трудами, в которых "слог трезвый, крупный, яркий, не такой, как был в прежних, уже изданных сочинениях, когда он вовсе не умел писать".

Но тут случилось несчастье. В конце января 1852 г. тяжело заболела Е. М. Хомякова, к которой Гоголь питал самые теплые чувства. Т. свидетельствует: "Ее болезнь сильно озабочивала его. Он часто навещал ее, и, когда она была уже в опасности, при нем спросили у д-ра Афонского, в каком положении он ее находит; он отвечал: "Надеюсь, что ей не давали каломель, который может ее погубить?" Но Гоголю было известно, что каломель уже был дан, - он вбегает к графу и бранным голосом говорит: Всё кончено, она погибнет, ей дали ядовитое лекарство". К несчастью, больная действительно в скором времени умерла (это случилось 26 января. - Б. С.). Смерть ее не столько поразила ее мужа и всех родных, как Гоголя. Расположенный к мрачным мыслям, он не мог равнодушно снести потери драгоценной для него особы. Притом он, может быть, впервые видел здесь смерть лицом к лицу. Постоянно занимаясь чтением книг духовного содержания, он любил помышлять о конце жизни, но с этого времени мысль о смерти сделалась его преобладающей мыслью. Приметна стала его наклонность к уединению; он стал дольше молиться, читал у себя псалтырь по покойнице". Возможно, мысль о том, что смерть Е. М. Хомяковой была, среди прочего, и следствием его собственных грехов, Гоголь, чтобы очиститься, стал соблюдать очень строгий пост. Вероятно, параллельно у него развился психоз. Полагая, что больная погибла оттого, что ей дали лекарство,оказавшееся для нее ядом,Гоголь в конце концов вообще отказался от приема пищи, опасаясь,что она может оказаться ядом для него. Т. полагал, что негативное влияние на Гоголя в этот момент оказали беседы с о. М. А. Константиновским: "К этому же времени приехал из Ржева, Тверской губернии, Матвей Александрович, священник, известный образцом строгой христианской православной жизни. С особенною охотою он разговаривал с ним теперь, когда размышления религиозные были

ему так по сердцу. М. А. прямо и резко, не взвешивая личности и положения, поучал, с беспощадною строгостью и резкостью проповедывал истины евангельские и суровые наставления церкви. Он объяснял, что если мы охотно делаем всё для любимого лица, то чем мы должны дорожить для Иисуса Христа, сына Божия, умершего за нас. Устав церковный написан для всех; все обязаны беспрекословно следовать ему; неужели мы будем равняться только со всеми и не захотим исполнить ничего более? Ослабление тела не может нас удерживать от пощения; какая у нас работа? Для чего нам нужны силы? Много званых, но мало избранных. За всякое слово праздное мы отдадим отчет и проч. Такие и подобные речи, соединенные с обличением в неправильной жизни, не могли не действовать на Гоголя, вполне преданного религии, восприимчивого, впечатлительного и настроенного на мысль о смерти, о вечности, о греховности. Притом Гоголь видел, как М. А. на деле исполнял самые строгие пустынно-монашеские установления церкви: например, много и долго молился за обедом, почти не ел, не хотел благословлять стола в среду прежде, нежели удостоверится, что нет ничего скоромного. Разговоры этого духовного лица так сильно потрясли его, что он, не владея собою, однажды прервав его речь, сказал ему: "Довольно! Оставьте, не могу далее слушать, слишком страшно!"... Во вторник на масленице он проводил Матвея Александровича на станцию железной дороги и весьма был огорчен тем, что там все обращали на него внимание и с ненасытным любопытством его преследовали... Гоголь обложил себя книгами духовного содержания более, нежели прежде, говоря, что "такие книги нужно часто перечитывать, потому что нужны толчки к жизни". С этих пор он бросил литературную работу и всякие другие занятия; стал есть весьма мало, хотя, по-видимому не терял аппетита и жестоко страдал от лишения пищи, к которой привык и без которой всегда чувствовал себя дурно. Свое пощение он не ограничивал одною пищею, но и сон умерил до чрезмерности: после ночной продолжительной молитвы он рано вставал, шел к заутрене, тогда как до того времени не выходил со двора, не выспавшись достаточно и не напившись крепкого кофе. По отъезде Матвея Александровича он стал подробнее изучать церковный устав и еще более говорить о смерти. По учреждениям церковным масленица составляет преддверие поста: уже начинает отчасти совершаться великопостная служба; употребление мясной пищи запрещено с самого ее начала; в продолжение же двух первых дней первой недели поста, по некоторым уставам, не дозволяется вовсе употреблять никакой пищи. Изучив подробнее устав, Гоголь начал его придерживаться и, по-видимому, старался сделать более, нежели предписано уставом. Масленицу он посвятил говению; ходил в церковь, молился весьма много и необыкновенно тепло, от пищи воздерживался до чрезмерности: за обедом употреблял только несколько ложек овсяного супа на воде или капустного рассола. Когда ему предлагали кушать что-нибудь другое, он отзывалсяя болезнью, объясняя, что чувствует что-то в животе, что кишки у него перевертываются, что это болезнь его отца, умершего в такие же лета, и притом оттого, что его лечили... Впрочем, в это время болезнь его выражалась только одною слабостью, и в ней не было заметно ничего важного; самая слабость, видимо, происходила от чрезмерного изнурения и мрачного настроения духа. Несмотря на это ослабление тела,

Гоголь продолжал поститься и проводить ночи на молитве; ослабление возрастало со дня на день. Впрочем, он еще мог выезжать и ходить". Т. описал, как близкие пытались побудить Гоголя отказаться от столь вредного для его физического здоровья поста, но тот отказался, надеясь, что следование аскетическому церковному уставу гарантирует ему духовное здоровье: "Зная по опыту, как причащение раньше успокаивало Гоголя во время его уныния, гр. А. П. Толстой присоветовал ему причаститься скорее, не продолжая приготовительного говения. Поговорив с духовником, по-видимому вовсе не понимавшим его, Гоголь причастился в церкви, находящейся далеко от его дома (на Девичьем Поле). Это было в четверг на масленице (7 февраля. - Б. С.). Однакож и причащение его не успокоило. Он не хотел в этот день ничего есть, и когда после съел просфору, то назвал себя обжорою, окаянным нетерпеливцем и сокрушался сильно. Вообще, болезненное изнеможение тела еще более служило к мрачному настроению духа". Т. засвидетельствовал некоторые поступки Гоголя, показавшиеся ему странными: "В один из последующих дней он поехал на извозчике в Преображенскую больницу, подъехал к воротам, слез с санок, долго ходил взад и вперед у ворот, потом отошел от них, долгое время оставался в поле на ветру, в снегу, стоя на одном месте, и, наконец, не входя во двор, опять сел в сани и велел ехать домой. В Преображенской больнице находился один больной (знаменитый юродивый Иван Яковлевич Корейша, умерший в 1861 г. - Б. С.), признанный за помешанного; его весьма многие навещали, приносили ему подарки, испрашивали советов в трудных обстоятельствах жизни, берегли его письменные замечания и проч. Некоторые радовались, если он входил с ними в разговор; другие стыдились признаться, что у него были... Зачем ездил Гоголь в Преображенскую больницу - Бог весть. Вероятно, были с ним и другие приключения, которые остались неизвестны, как и вообще многое сокрыто из его жизни. Такие необыкновенные поступки его хотя и бывали с ним прежде, однако же теперь были так продолжительны, что поразили графа (А. П. Толстого. - Б.С.); он уговорил его посоветоваться с врачом, для чего и призван был его давнишний знакомый доктор Иноземцев, который нашел, что у него катар кишок, советовал ему спиртовые натирания живота, лавровишневую воду и ревенные пилюли по случаю долго продолжавшегося запора. Не веря вообще медицине и медикам, он не воспользовался и его советами, хотя чувствовал уже себя весьма дурно и перестал принимать к себе знакомых, которым прежде никогда не отказывал". Составленная Т. хроника показывает, как постепенно ухудшалось состояние Гоголя в последние дни масленицы и в начале поста: "Во всю масленицу после вечерней дремоты в креслах, оставаясь один, по ночам, при всеобщей тишине, он вставал и проводил долгое время в молитве, со слезами, стоя перед образами. Ночью с пятницы на субботу (8-9 февраля) он, изнеможенный, уснул на диване, без постели, и с ним произошло что-то необыкновенное, загадочное, проснувшись вдруг, послал он за приходским священником, объяснил ему, что он недоволен недавним причащением, и просил тотчас же опять причастить и соборовать его, потому что он видел себя мертвым, слышал какие-то голоса и теперь почитает себя уже умирающим. Священник, видя его на ногах и не заметив в нем ничего опасного, уговорил его оставить это до другого времени. По-видимому, после посещения священника

он успокоился, но не прервал размышлений, глубоко его потрясавших... В понедельник и вторник первой недели поста наверху у графа была всенощная; Гоголь едва мог дойти туда, остановился на ступенях, присаживаясь на стуле, однако стоял всю всенощную и молился. День оставался почти без пищи, ночи проводил он стоя перед образами в теплой молитве со слезами. Граф, видя, как изнуряет всё это Гоголя, прекратил у себя церковное служение". В один из дней великого поста Гоголь сжег беловую рукопись "Мертвых душ".

Т. описал это событие со слов графа А. П. Толстого: "Когда почти все сгорело, он долго сидел задумавшись, потом заплакал, велел позвать графа, показал ему догорающие углы бумаги и с горестью сказал: "Вот что я сделал! Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжег все! Как лукавый силен, - вот он к чему меня подвинул! А я было так много дельного уяснил и изложил. Это был венец моей работы; из него могли бы все понять и то, что неясно у меня было в прежних сочинениях..." Прежде этого Гоголь делал завещание графу взять все его сочинения и после смерти передать митрополиту Филарету. "Пусть он наложит на них свою руку; что ему покажется ненужным, пусть зачеркивает немилосердно". Теперь, в эту ужасную минуту сожжения, Гоголь выразил другую мысль: "А я думал разослать друзьям на память по тетрадке: пусть бы делали, что хотели. Теперь все пропало". Граф, желая отстранить от него мрачную мысль о смерти, с равнодушным видом сказал: "Это хороший признак - прежде вы сжигали всё, а потом выходило еще лучше; значит, и теперь это не перед смертью". Гоголь при этих словах стал как бы оживляться; граф продолжал: "Ведь вы можете все припомнить?" "Да, - отвечал Гоголь, положив руку на лоб, - могу, могу; у меня все это в голове". После этого он, по-видимому, сделался покойнее, перестал плакать. Был ли этот поступок им обдуман прежде и произведен как следствие предшествовавших размышлений или это решение последовало тут же, внезапно, - разгадку этой тайны он унес с собою. Во всяком случае, после уничтожения своих творений, мысль о смерти, как близкой, необходимой, неотразимой, видно, запала ему глубоко в душу и не оставляла его ни на минуту. За усиленным напряжением последовало еще большее истощение. С этой несчастной ночи (на 12 февраля. - Б. С.) он сделался еще слабее, еще мрачнее прежнего: не выходил более из своей комнаты, не изъявлял желания видеть никого, сидел в креслах по целым дням, в халате, протянув ноги на другой стул, перед столом. Сам он почти ни с кем не начинал разговора; отвечал на вопросы других коротко и отрывисто. Напрасно близкие к нему люди старались воспользоваться всем, что было только возможно, чтобы вывести его из этого положения. По ответам его видно было, что он в полной памяти, но разговаривать не желает. Замечательны слова, которые он сказал А. С. Хомякову, желавшему его утешить: "Надобно же умирать, а я уже готов, и умру..." Когда гр. А. П. Толстой для рассеяния начинал с ним говорить о предметах, которые были весьма близки к нему и которые не могли не занимать его прежде (о письме Муханова, об образе матери, который затерялся было, и это также было сочтено за дурное предзнаменование, да нашелся, и проч.), он возражал с благоговейным изумлением: "Что это вы говорите! Можно ли рассуждать об этих вещах, когда я готовлюсь к такой страшной минуте?" Потом он молчал, погружался в размышления и тем

заставлял графа замолчать. Впрочем, в эти же дни он делал некоторые неважные завещания насчет своего крепостного человека и проч. и рассылал последние карманные деньги бедным и на свечки, так что по смерти у него не осталось ни копейки. (У Шевырева осталось около 2000 руб. от вырученных за сочинения денег, прочие пошли на воспитание сестер, на долги матери и в помощь бедным студентам 3000 руб., розданных втайне. От наследства матери он уже давно отказался прежде.) Иногда по вечерам он дремал в креслах, а ночи проводил в бдении на молитве; иногда жаловался на то, что у него голова горит и руки зябнут; один раз имел небольшое кровотечение из носа, мочу имел густую, темно окрашенную, испражнения на низ не было во всю неделю. Прежде сего за год он имел течение из уха будто бы от какой- то вещи, туда запавшей; других болезней в нем не было заметно; сношений с женщинами он давно не имел и сам признавался, что не чувствовал в том потребности и никогда не ощущал от этого особого удовольствия; онании также не был подвержен (это можно счесть недвусмысленным указанием на присущую Гоголю импотенцию; скорее всего, он вообще никогда не имел сексуальных контактов с женщинами, равно как и гомосексуальных контактов. - Б.С.)...

В среду на первой неделе поста граф прислал за мною и объяснил, что происходит с Гоголем. Озабоченный его положением, он желал, чтобы я его видел и сказал свое мнение о его болезни. Иноземцев же отзывался об ней неопределенно и один день предполагал переход ее в тиф, на другой сказал, что ему лучше; однако же запретил ему выезжать. Явившись к графу я, по его рассказам, наводил его на мысль: не нужно ли подумать о том, как бы заставить его употреблять питательную пищу, если нельзя по убеждению, то хотя против воли? Я передал о нескольких примерах психопатов, мною виденных и исцелившихся после того, как они стали употреблять пищу. Сам Гоголь не изъявлял желания меня видеть; надобно было употребить уловку и войти к графу, когда он там (он мог меня принять у него как общего знакомого, с которым Гоголь не раз вместе обедал и беседовал), но это не удавалось". На этот раз их встрече помогла болезнь Иноземцева. Т. вспоминал: "Посещавший Гоголя врач захворал и уже не мог к нему ездить. Тогда граф настоял на своем желании ввести меня к нему. Гоголь сказал: "Напрасно, но пожалуй". Тут только я в первый раз увидел его в болезни. Это было в субботу первой недели поста. Увидев его, я ужаснулся. Не прошло и месяца, как я с ним вместе обедал; он казался мне человеком цветущего здоровья, бодрым, свежим, крепким, а теперь передо мною был человек, как бы изнуренный до крайности чахоткою или доведенный каким-либо продолжительным истощением до необыкновенного изнеможения. Все тело его до чрезвычайности похудело; глаза сделались тусклы и впали, лицо совершенно осунулось, щеки ввалились, голос ослаб, язык трудно шевелился от сухости во рту, выражение лица стало неопределенное, необъяснимое. Мне он показался мертвецом с первого взгляда. Он сидел, протянув ноги, не двигаясь и даже не переменяя прямого положения лица; голова его была несколько опрокинута назад и покоилась на спинке кресел. Когда я подошел к нему, он приподнял голову, но недолго мог ее удерживать прямо, да и то с заметным усилием. Хотя неохотно, но позволил он мне пощупать пульс и посмотреть язык: пульс был ослабленный, язык чистый, но

сухой; кожа имела натуральную теплоту. По всем соображениям видно было, что у него нет горячечного состояния и неупотребление пищи нельзя было приписать отсутствию аппетита. Тогда еще не были мне сообщены предшествовавшие печальные события: его непреклонная уверенность в близкой смерти и самим им произведенное истребление своих творений. В это время главное внимание заботившихся о нем было обращено на то, чтоб он употреблял питательную пищу и имел свободное отправление кишок. Приняв состояние, в котором он теперь находился, за настоящую (соматическую) болезнь, я хотел поселить в больном доверие к врачеванию и склонить его на предложения медиков. Чтоб ободрить его, я показал себя спокойным и равнодушным к его болезни, утверждая с уверенностью, что она неважна и обыкновенная, что она теперь господствует между многими и проходит скоро при пособиях. Я настаивал, чтоб он если не может принимать плотной пищи, то, по крайней мере, непременно употреблял бы поболее питья, и притом питательного молока, бульона и т. д. "Я одну пилюлю проглотил, как последнее средство; она осталась без действия; разве надобно пить, чтоб прогнать ее?" - сказал он. Не обременяя его долгими разговорами, я старался ему объяснить, что питье нужно для смягчения языка и желудка, а питательность питья нужна, чтоб укрепить силы, необходимые для счастливого окончания болезни.. Не отвечая, больной опять склонил голову на грудь, как при нашем входе; я перестал говорить и удалился вместе с графом наверх. Удалившись от графа, я почел обязанностью зайти опять к больному, чтоб еще сильнее высказать ему мои убеждения. Через служителя я выпросил у него позволения войти к нему еще на минуту. Мне вообразилось, что он колеблется в своих намерениях; я не терял надежды, что Гоголь, привыкнув видеть мою искренность, послушается меня. Подойдя к нему, я с видимым хладнокровием, но с полною теплотою сердечною употребил все усилия, чтоб подействовать на его волю. Я выразил мысль, что врачи в болезни прибегают к советам своих собратий и их слушаются; не-врачу тем более надобно следовать медицинским наставлениям, особенно преподаваемым с добросовестностью и полным убеждением; и тот, кто поступает иначе, делает преступление перед самим собою. Говоря это, я обратил внимание на его лицо, чтоб подсмотреть, что происходит в его душе. Выражение его лица нисколько не изменилось: оно было так же спокойно и так же мрачно, как прежде; ни досады, ни огорчения, ни удивления, ни сомнения не показалось и тени. Он смотрел как человек, для которого все задачи разрешены, всякое чувство замолкло, всякие слова напрасны, колебание в решении невозможно. Впрочем, когда я перестал говорить, он в ответ произнес внятно, с расстановкой и хотя вяло, безжизненно, но со всею полнотою уверенности: "Я знаю, врачи добры: они всегда желают добра"; но вслед за этим опять наклонил голову, от слабости ли или в знак прощания, - не знаю. Я не смел его тревожить долее, пожелал ему поскорее поправляться и простился с ним; вбежал к графу, чтоб сказать, что дело плохо, и я не предвижу ничего хорошего, если это продолжится. Граф предложил мне зайти дня через два узнать, что делается. Неопределительные отношения между медиками не дозволяли мне впутываться в распоряжения врачебные, тем более что он был в руках у своего приятеля Иноземцева, с которым был короток и который его любил искренно". Тем не

менее, Т. полагал, что граф А.П. Толстой "употребил всё, что возможно было для исцеления Гоголя. Призывал для совещания знаменитейших московских докторов, советовался с духовными лицами, знакомыми своими и друзьями Гоголя. Тогда же он рассказал митрополиту Филарету об опасной болезни Гоголя и его упорном посте. Филарет прослезился и с горестью сообщил мысль, что на Гоголя надо было действовать иначе; следовало убеждать его, что его спасение не в посте, а в послушании. После этого он ежедневно призывал к себе окружавших больного священников, расспрашивал их о ходе болезни и о явлениях, случающихся в ней, и о поступках больного и препоручал им сказать ему от себя (он сам был болен в это время), что он его просит непрекословно исполнять назначения врачебные во всей полотне". Но всё было напрасно. Даже духовник Гоголя отец Иоанн Никольский и местный приходский священник отец Алексий Соколов не сумели убедить писателя начать принимать пищу и питье. Т. утверждал: "Духовник навещал Гоголя часто; приходский священник являлся к нему ежедневно. При нем нарочно подавали тут же кушать саго, чернослив и проч. Священник начинал первый и убеждал его есть вместе с ним. Неохотно, немного, но употреблял он эту пищу ежедневно; потом слушал молитвы, читаемые священником. "Какие молитвы вам читать?" - спрашивал он. "Все хорошо; читайте, читайте!" Друзья старались воздействовать на него приветом, сердечным расположением, умственным влиянием; но не было лица, которое могло бы взять над ним верх; не было лекарства, которое бы перевернуло его понятие; а у больного не было желания слушать чьи-либо советы; глотать какие-либо лекарства. Так провел он почти всю первую неделю поста... В воскресенье приходский священник убедил больного принять ложку клещевинного масла; он проглотил, но после этого перестал вовсе слушаться его и не принимал уже в последнее время никакой пищи. В этот же день духовник его убедил было употребить промывательное; хотя он согласился, но это было только на словах. Когда к нему стали прикасаться, он решительно отказался". Последовала неизбежная развязка. Вот как завершает свою "хронику объявленной смерти" Т.: "Силы больного падали быстро и невозвратно. Несмотря на свое убеждение, что постель будет для него смертным одром (почему он старался оставаться в креслах), в понедельник на второй неделе поста он улегся, хотя в халате и сапогах, и уж более не вставал с постели. В этот же день он приступил к напутственным таинствам покаяния, причащения и елеосвящения. Один близкий Гоголю земляк, Иван Васильевич Капнист, хотел также подействовать своим дружеским влиянием на него; но на его слова он ничего не отвечал. Тот сказал: "Верно, ты меня не узнаешь?" -"Как не знать? - отвечал Гоголь, назвав его по имени, прибавил: - Я прошу вас, не оставьте своим вниманием сына моего духовника, который служит у вас в канцелярии", - и опять замолк. Уже раз спасен он был от болезни в Риме без медицинских пособий; он приписывал это чуду. И в настоящее время он сказал кому-то из убеждавших его лечиться: "Ежели будет угодно Богу, чтоб я жил еще, буду жив..." (очевидно, свою голодовку Гоголь рассматривал как род Божьего суда. - Б.С.) Между тем все соединилось не к добру. И Иноземцев захворал и последние дни у него не был. А. И. Овер приглашен был графинею взойти к Гоголю в первый раз в этот понедельник. Вероятно, из медицинской

деликатности он не посоветовал ничего другого, как не давать ему вина, которого больной спрашивал часто... Во вторник являюсь я и встречаю гр.Толстого, встревоженного через меру и сверх моего ожидания. "Что Гоголь?" - "Плохо; лежит. Ступайте к нему, теперь можно входить". В Москве уже прослышали о болезни Гоголя. Передняя комната была наполнена толпою почитателей таланта и знакомых его; молча стояли все с скорбными лицами, поглядывая на него издали. Меня впустили прямо в комнату больного, без затруднения, без доклада. Гоголь лежал на широком диване, в халате, в сапогах, отвернувшись к стене, на боку, с закрытыми глазами. Против его лица - образ Богоматери; в руках четки; возле него мальчик его и другой служитель. На мой тихий вопрос он не ответил ни слова. Мне позволили его осмотреть, я взял его руку, чтоб пощупать пульс. Он сказал: "Не трогайте меня, пожалуйста!" Я отошел, расспросил подробно у окружающих о всех отправлениях больного; никаких объективных симптомов, которые бы указывали на важное страдание, как теперь, так и во все эти дни, не обнаруживалось; только очищения кишок не было вовсе в последние дни. Через несколько времени больной погрузился в дремоту, и я успел испытать, что пульс его слабый, скорый, удобосжимаемый; руки холодноваты, голова также прохладна, дыхание ровное, правильное. Приехал Погодин с д-ром Альфонским. Этот предложил магнетизирование, чтоб покорить его волю и заставить употреблять пищу. Явился и Овер, который согласился на то же в ожидании следующего дня, в который он предложил приступить к деятельному лечению. Но для этого он велел созвать консилиум, известить о нем Иноземцева. Целый вторник Гоголь лежал, ни с кем не разговаривая, не обращая внимания на всех, подходящих к нему. По временам он поворачивался на другой бок, всегда с закрытыми глазами, нередко находился как бы в дремоте, часто просил пить красного вина и всякий раз смотрел на свет, то ли ему подают. Вечером подмешали вино сперва красным питьем, а потом бульоном. По-видимому, он уже неясно различал качество питья, потому что сказал только: "Зачем подаешь мне мутное?" - однакож выпил. С тех пор ему стали подавать для питья бульон, когда он спрашивал пить, повторяя быстро одно и то же слово: "Подай, подай!" Когда ему подносили питье, он брал рюмку в руку, приподнимал голову и выпивал всё, что ему было подано. Вечером пришел д-р Сокологорский для магнетизирования. Когда он положил свою руку больному на голову, потом под ложку и стал делать пассы, Гоголь сделал движение телом и сказал: "Оставьте меня!" Продолжать магнетизирование было нельзя. Поздно вечером призван д-р Клименков и поразил меня дерзостью своего обращения. Он стал кричать с ним, как с глухим или беспамятным, начал насильно держать его руку, добиваться, что болит. "Не болит ли голова?" - "Нет". - "Под ложкою?" - "Нет" и т. д. Ясно было, что больной терял терпение и досадовал. Наконец он умоляющим голосом сказал: "Оставьте меня!" - отвернулся и спрятал руку. Клименков советовал кровь пустить или завертывание в мокрые холодные простыни; я предложил отсрочить эти действия до завтрашнего консилиума.Между тем в этот же вечер искусным образом, когда больной перевертывался, ему вложили суппозиторий из мыла (род анальной свечки. - Б. С.), что также не обошлось без крика и стона. На следующий день, в среду утром, больной находился почти в

таком же положении, как и накануне; но слабость пульса усилилась весьма заметно, так что врачи, видевшие его в это время, полагали, что надобно будет прибегнуть к средствам возбуждающим (мускус). Около полудня собрались для консилиума: Овер, Эвениус, Клименков, Сокологорский и я. Судьбе угодно было, чтобы Ворвинский был задержан и приехал позднее, после того как участь больного уже решена была неумолимым советом трех. В присутствии гр. А. П. Толстого, Ив. В. Капниста, Хомякова и довольно многочисленного собрания Овер рассказал Эвениусу историю болезни. При суждении о болезни взяты в основание его сидячая жизнь; напряженная головная работа (литературные занятия); они могли причинить прилив крови к мозгу. Усиленное стремление умерщвлять тело совершенным воздержанием от пищи, неприветливость к таким людям, которые стремятся помочь ему в болезни, упорство не лечиться - заставили предположить, что его сознание не находится в натуральном положении. Поэтому Овер предложил вопрос: "Оставить больного без пособий или поступить с ним как с человеком, не владеющим собою, и не допускать его до умерщвления себя?" Ответ Эвениуса был: "Да, надобно его кормить насильно". Все врачи вошли к больному, стали его осматривать и расспрашивать. Когда давили ему живот, который был так мягок и пуст, что через него легко можно было ощупать позвонки, то Гоголь застонал, закричал. Прикосновение к другим частям тела, вероятно, также было для него болезненно, потому что также возбуждало стон и крик. На вопросы докторов больной или не отвечал ничего, или отвечал коротко и отрывисто "нет", не раскрывая глаз. Наконец, при продолжительном исследовании, он проговорил с напряжением: "Не тревожьте меня, ради Бога!" Кроме исчисленных явлений ускоренный пульс и носовое кровотечение, показавшееся было в продолжение его болезни само собою, послужили показанием к применению пиявок в незначительном количестве. Овер препоручил Клименкову поставить больному две пиявки к носу, сделать холодное обливание головы в теплой ванне. Тогда прибыл Ворвинский. Коротко передал ему Овер тот же французский рассказ по-русски. По осмотре больного Ворвинский сказал: "gastro-enteritis ex inanitione" (желудочно-кишечное воспаление вследствие истощения). Пиявок не знаю, как вынесет, а ванну разве бульонную. Впрочем, навряд ли что успеете сделать при таком упорстве больного". Но его суждения никто не хотел и слушать; все разъезжались. Клименков взялся сам устроить всё, назначенное Овером. Я отправился, чтоб не быть свидетелем мучений страдальца. Когда я возвратился через три часа после ухода, в шестом часу вечера, уже ванна была сделана, у ноздрей висели шесть крупных пиявок; к голове приложена примочка. Рассказывают, что, когда его раздевали и сажали в ванну, он сильно стонал, кричал, говорил, что это делают напрасно; после того как его положили опять в постель без белья, он проговорил: "Покройте плечо, закройте спину!"; а когда ставили пиявки, он повторял: "Не надо!"; когда они были поставлены, он твердил: "Снимите пиявки, поднимите (ото рта) пиявки!" - и стремился их достать рукою. При мне они висели еще долго, его руку держали с силою, чтобы он до них не касался. Приехали в седьмом часу Овер и Клименков; они велели подолее поддерживать кровотечение, ставить горчичники на конечности, потом мушку на затылок, лед на голову и внутрь отвар алтайского корня с

лавровишневой водой. Обращение их было неумолимое; они распоряжались как с сумасшедшим, кричали перед ним, как перед трупом. Клименков приставал к нему, мял, ворочал, поливал на голову какой-то едкий спирт, и, когда больной от этого стонал, доктор спрашивал, продолжая поливать: "Что болит, Николай Васильевич? А? Говорите же!" Но тот стонал и не отвечал. - Они уехали, я остался на весь вечер до двенадцати часов и внимательно наблюдал за происходящим. Пульс скоро и явственно упал, делался чаще и слабее, дыхание, уже затрудненное утром, становилось еще тяжелее; уже больной сам поворачиваться не мог, лежал смирно на одном боку и был покоен, когда ничего не делали с ним; от горчичников стонал; по вставлении нового суппозитория вскрикнул громко; по временам явственно повторял: "Давай пить!" Уже поздно вечером он стал забываться, терять память. "Давай бочонок!" - произнес он однажды, показывая, что желает пить. Ему подали прежнюю рюмку с бульоном, но он уже не смог сам приподнять голову и держать рюмку, надобно было придержать то и другое, чтоб он был в состоянии выпить поданное. Еще позже он по временам бормотал что-то невнятно, как бы во сне, или повторял несколько раз: "Давай! Давай! Ну, что же!" Часу в одиннадцатом закричал: "Лестницу, поскорее, давай лестницу!.." (не лестница ли в небо пригрезилась Гоголю, чьи предсмертные пытки, устроенные ему врачами, напоминали муки, которые претерпевали христианские мученики. - Б. С.) Казалось, ему хотелось встать. Его подняли с постели, посадили на кресло. В это время он уже так ослабел, что голова его не могла держаться на шее и падала машинально, как у новорожденного ребенка. Тут привязали ему мушку на шею, надели рубашку (он лежал после ванны голый); он только стонал. Когда его опять укладывали в постель, он потерял все чувства; пульс у него перестал биться; он захрипел, глаза его раскрылись, но представлялись безжизненными. Казалось, что наступает смерть, но это был обморок, который длился несколько минут. Пульс возвратился вскоре, но сделался едва приметным. После этого обморока Гоголь уже не просил более ни пить, ни поворачиваться; постоянно лежал на спине с закрытыми глазами, не произнося ни слова. В двенадцатом часу ночи стали холодеть ноги. Я положил кувшин с горячею водою, стал почаще давать проглатывать бульон, и это, по-видимому, его оживляло; однакож вскоре дыхание сделалось хриплое и еще более затрудненное; кожа покрылась холодною испариною, под глазами посинело, лицо осунулось, как у мертвеца. В таком положении оставил я страдальца, чтобы опять не столкнуться с медиком-палачом, убежденным в том, что он спасает человека; я хотел дать успокоение графу, который без того не уходил в свою комнату. Рассказали мне, что Клименков приехал вскоре после меня, пробыл с ним ночью несколько часов: давал ему каломель, обкладывал все тело горячим хлебом; при этом опять возобновился стон и пронзительный крик. Все это, вероятно, помогло ему поскорее умереть.

В десятом часу утра, в четверг 21 февраля 1852 г., я спешу приехать ранее консультантов, которые назначили быть в десять (а Овер - в час), но уже нашел не Гоголя, а труп его: уже около восьми часов утра прекратилось дыхание, исчезли все признаки жизни. Нельзя вообразить, чтобы кто-нибудь мог терпеливее его сносить все врачебные пособия, насильно ему навязываемые.

Умерший лежал уже на столе, одетый в сюртук, в котором он ходил; над ним служили панихиду; с лица его снимали маску. Когда я пришел, уже успели осмотреть его шкафы, где не нашли ни им писанных тетрадей, ни денег. Долго глядел я на умершего: мне казалось, что лицо его выражало не страдание, а спокойствие, ясную мысль, унесенную в гроб". Т. был чрезвычайно огорчен, что предлагавшиеся им разумные меры, способные спасти Гоголя, не были приняты. Мысль о насильственном кормлении возникла лишь в последний день жизни писателя, когда было уже слишком поздно. Т. возражал против кровопускания, пиявок и других мер, которые лишь ослабляли жизненные силы организма и приближали трагический конец. Что Т. был прав, подтвердил в начале XX века доктор Н.Н. Баженов в работе "Болезнь и смерть Гоголя" (1902). Он утверждал с высоты тех знаний, которые медицина приобрела за полвека, последовавшие за смертью Гоголя: "Он скончался в течение приступа периодической меланхолии от истощения и острого малокровия мозга, обусловленного как самою формою болезни, - сопровождавшим ее голоданием и связанным с нею быстрым упадком питания и сил, - так и неправильным, ослабляющим лечением, в особенности кровопусканием. Следовало делать как раз обратное тому, что с ним делали, - т. е. прибегнуть к усиленному, даже насильственному кормлению и вместо кровопускания, может быть, наоборот, к вливанию в подкожную клетчатку соляного раствора". Симптомы, описанные Т., позволяют предположить, что непосредственной причиной смерти Гоголя стал перитонит, развившийся вследствие многодневного запора.

"ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗД ПОСЛЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НОВОЙ КОМЕДИИ", пьеса, впервые опубликованная: Сочинения Николая Гоголя. СПб., 1842. Т. 4. Т. р. после п. н. к. был написан в апреле - мае 1836 г. под впечатлением первой постановки "Ревизора". В 1842 г. текст пьесы был переработан.

15/27 июля 1842 г. Гоголь писал Н. Я. Прокоповичу о Т. р. после п. н. к.: "Она написана сгоряча, скоро после представления "Ревизора", и потому немножко нескромно в отношении к автору. Ее нужно сделать несколько идеальней, т. е. чтобы ее применить можно было ко всякой пиэсе, задирающей общественные злоупотребления, а потому я прошу тебя не намекать и не выдавать ее, как написанную по случаю "Ревизора"". 29 августа (10 сентября) 1842 г. в письме тому же адресату, он утверждал, что Т. р. после п. н. к. "заключительная статья всего собрания сочинений и потому очень важна". А ровно через месяц Гоголь закончил переделку пьесы и 28 сентября (10 октября) 1842 г. отослал ее Н. Я. Прокоповичу.

Т. р. после п. н. к. представляет собой памфлет, написанный в драматической форме и не предназначавшийся к постановке на сцене. Здесь Гоголь спародировал отношение к "Ревизору" зрителей различных социальных слоев и театральных критиков различных направлений. Образ "очень скромного человека" появился только при переделке Т. р. после п. н. к. в 1842 г. восходит к одному знакомому матери писателя, о котором Гоголь писал ей (20 августа)1 сентября 1842 г.: "Из всех подробностей письма вашего... более всех остановило меня известие ваше о чиновнике, которого вы встретили в Харькове. Я не

разобрал его фамилии. Все равно, скажите или напишите ему, что его благородство и честная бедность среди богатеющих неправдой найдут ответ во глубине всякого благородного сердца, что уже есть выше многих наград. Скажите ему: что эта честная бедность есть такое качество, которым он должен быть слишком горд для того, чтобы впасть в какое-нибудь отчаяние или не уметь встретить лицом несчастье и горечь жизни; что ему говорит это тот, кому внутренняя неисповедимая сила велит сказать это. И потому пусть он будет спокоен, как только можно быть спокойну в каком бы то ни было тяжком случае жизни. Передайте ему эти слова". В черновике этого письма Гоголь прямо называл харьковского чиновника человеком, приносящим жертву на алтарь правды и живущим в полном соответствии с христианскими заповедями: "Скажите ему... что как бы ни казалась ему ничтожна приносимая им доля на жертвенник правды, эта малая доля много сделает... Тот, Кто всё вытерпел из любви к человекам, за них же подверг Себя тем несчастиям, перед которыми слабы те, которые претерпеваются человеком, Тот услышит и оценит всякую жертву и ниспошлет ту чудную твердость, которая озарила когда-то Его душу..."
В уста "очень скромного человека" Гоголь вложил собственные оценки восприятия "Ревизора" публикой: "Сейчас только я слышал толки, именно: что это все неправда, что это все насмешка над правительством, над нашими обычаями и что этого не следует вовсе представлять. Это заставило меня мысленно припомнить и обнять всю пьесу, и, признаюсь, выражение комедии показалось мне теперь еще даже значительней. В ней, как мне кажется, сильней и глубже всего поражено смехом лицемерие - благопристойная маска, под которою является низость и подлость; плут, корчащий рожу благонамеренного человека. Признаюсь, я чувствовал радость, видя, как смешны благонамеренные слова в устах плута и как уморительно смешна стала всем, от кресел до райка, надетая им маска. И после этого есть люди, которые говорят, что не нужно выводить этого на сцену! Я слышал одно замечание, сделанное, как мне показалось, впрочем, довольно порядочным человеком: "А что скажет народ, когда увидит, что у нас бывают вот какие злоупотребления?". К таким "скромно одетым" людям в первую очередь и адресовал Гоголь своего "Ревизора". Этот персонаж дает и ответ на вопрос: "Что скажет народ?" - "Скажет: "Небось прыткие были воеводы, а все побледнели, когда пришла царская расправа!" Слышите ли вы, как верен естественному чутью и чувству человек? Как верен самый простой глаз, если он не отуманен теориями и мыслями, надерганными из книг, а черпает их из самой природы человека! Да разве это не очевидно ясно, что после такого представления народ получит более веры в правительство? Да, для него нужны такие представления. Пусть он отделит правительство от дурных исполнителей правительства. Пусть видит он, что злоупотребления происходят не от правительства, а от не понимающих требований правительства, от не хотящих ответствовать правительству. Пусть он видит,что благородно правительство,что бдит равно над всеми его недремлющее око,что рано или поздно настигнет оно изменивших закону, чести и святому долгу человека, что побледнеют перед ним имеющие нечистую совесть. Да, эти представления ему должно видеть; поверьте, что если и случится ему испытать на себе прижимки и несправедливости, он выйдет утешенный после такого

представления, с твердой верой в недремлющий, высший закон. Мне нравится тоже еще замечание: "народ получит дурное мнение о своих начальниках". То есть они воображают, что народ только здесь, в первый раз в театре, увидит своих начальников; что если дома какой-нибудь плут староста сожмет его в лапу, так этого он никак не увидит, а вот как пойдет в театр, так тогда и увидит. Они, право, народ наш считают глупее бревна, - глупым до такой степени, что будто уже он не в силах отличить, который пирог с мясом, а который с кашей. Нет, теперь мне кажется, даже хорошо то, что не выведен на сцену честный человек. Самолюбив человек: выстави ему при множестве дурных сторон одну хорошую, он уже гордо выйдет из театра. Нет, хорошо, что выставлены одни только исключенья и пороки, которые колют теперь до того глаза, что не хотят быть их соотечественниками, стыдятся даже сознаться, что это может быть".

"Очень скромно одетый человек" оценивает типичность героев "Ревизора" и подчеркивает, что пороки, обличаемые в комедии, присущи едва ли не каждому из нас: "Человек прежде всего делает запрос: "Неужели существуют такие люди?" Но когда было видено, чтобы человек сделал такой вопрос: "Неужели я сам чист вовсе от таких пороков?" Никогда, никогда!... У меня доброе лицо, любви много в моей груди, но если бы вы знали, каких душевных усилий и потрясений мне было нужно, чтобы не впасть во многие порочные наклонности, в которые впадаешь невольно, живя с людьми! И как же я могу сказать теперь, что во мне нет сию же минуту тех самых наклонностей, которым только что посмеялись назад тому десять минут все и над которыми я сам посмеялся". Гоголь утверждает мысль о том, что каждый человек должен честно трудиться на своем месте, в своей должности, не думая о карьере, чинах и наградах, думая лишь о Высшем Судье. Олицетворяющий "честную бедность" чиновник признается: "Когда министр ("господин А") предлагает "Очень скромно одетому человеку" высокую должность, поскольку ему нужны "благородные и честные помощники", но тот отказывается от заманчивого предложения: "Если я уже чувствую, что полезен своему месту, то благородно ли с моей стороны его бросить? И как я могу оставить его, не будучи уверен твердо, что после меня не сядет какой-нибудь молодец, который начнет делать прижимки? Если же это предложение сделано вами в виде награды,то позвольте сказать вам: я аплодирую автору пьесы наряду с другими, но я не вызывал его. Какая ему награда? Пьеса понравилась - хвали ее, а он - он только выполнил долг свой. У нас, право, до того дошло, что не только по случаю какого-нибудь подвига, но просто, если только иной не нагадит никому в жизни и на службе, то уже считает себя Бог весть каким добродетельным человеком, сердится сурьезно, если не замечают и не награждают его. "Помилуйте, говорит, я целый век честно жил, совсем почти не делал подлостей, - как же мне не дают ни чина, ни ордена?" Нет, по мне, кто не в силах быть благородным без поощрения - не верю я его благородству; не стоит гроша его мышиное благородство".

"Ревизор" вдохновляет этого героя на продолжение своего жертвенного служения: "В городке нашем не все чиновники из честного десятка; часто приходится лезть на стену, чтобы сделать какое-нибудь доброе дело. Уже несколько раз хотел было я бросить службу; но теперь, именно после этого представления, я чувствую свежесть и вместе с тем новую силу продолжать

свое поприще. Я утешен уже мыслью, что подлость у нас не остается скрытою или потворствуемой, что там, в виду всех благородных людей, она поражена осмеянием, что есть перо, которое не укоснит обнаружить низкие наши движения, хотя это и не льстит национальной нашей гордости, и что есть благородное правительство, которое дозволит показать это всем, кому следует, в очи, - и уж это одно дает мне рвение продолжать мою полезную службу". Общий вывод, который делает персонаж, названный "автором" и представляющий собой "положение комика в обществе, комика, избравшего предметом осмеяние злоупотреблений в кругу различных сословий и должностей", сводится к мысли о просветляющей силе смеха: "Нет, смех значительней и глубже, чем думают. Не тот смех, который порождается временной раздражительностью, желчным, болезненным расположением характера; не тот также легкий смех, служащий для праздного развлеченья и забавы людей, - но тот смех, который весь излетает из светлой природы человека, излетает из нее потому, что на дне ее заключен вечно биющий родник его, который углубляет предмет, заставляет выступить ярко то, что проскользнуло бы, без проницающей силы которого мелочь и пустота жизни не испугала бы так человека. Презренное и ничтожное, мимо которого он проходит всякий день, не возросло бы перед ним в такой страшной, почти карикатурной силе... Нет, несправедливы те, которые говорят, будто возмущает смех. Возмущает только то, что мрачно, а смех светел. Многое бы возмутило человека, быв представлено в наготе своей; но, озаренное силою смеха, несет оно уже примиренье в душу... Что признавалось пустым, может явиться потом вооруженное строгим значеньем. Во глубине холодного смеха могут отыскаться горячие искры вечной могучей любви. И почему знать - может быть, будет признано потом всеми, что в силу тех же законов, почему гордый и сильный человек является ничтожным и слабым в несчастии, а слабый возрастает, как исполин, среди бед, - в силу тех же самых законов, кто льет часто душевные, глубокие слезы, тот, кажется,более всех смеется на свете!.." Эта мысль перекликается с известным афоризмом "Мертвых душ" о "внешнем смехе" и "невидимых миру слезах".

ТОЛСТОЙ Александр Петрович (1801-1873), граф, генерал-лейтенант, один из ближайших друзей Гоголя в 1840-1850-е годы. Начинал службу офицером, в 1834 г. был назначен губернатором Твери, в 1837 г. стал одесским генерал-губернатором. В 1840 г. вышел в отставку и поселился в Москве. Здесь в его доме останавливался Гоголь, там же писатель и скончался. В 1856-1862 гг. Т. был обер-прокурором Священного Синода, в последующем членом Государственного Совета.

А. О. Смирнова так характеризовала Т.: "Графа называли Еремой, потому что он огорчался безнравственностью и пьянством народа и развратом модной молодежи... Он возился с монахами греческого подворья, бегло читал и говорил по-гречески; акафисты и каноны приводили его в восторг... В Москве славянофилы рассуждали о браке и чистоте. "Да, надобно быть девственником, чтобы удостоиться быть хорошим супругом; где тут девственник, нет ни одного!" - "Я", - отвечал Константин Сергеевич Аксаков. "Ну, позвольте же мне

стать перед вами на колени", - и точно, стал на колени, низко поклонился, перекрестился, а потом сказал: - "А теперь позвольте вас поцеловать". Брат Лев Арнольди рассказывал все его проказы, которые он делал, бывши губернатором. Раз он приехал в уездный город, пошел в уездный суд, вошел туда, помолился перед образом и сказал испуганным чиновникам, что у них страшный беспорядок. "Снимите-ка мне ваш образ! О, да он весь загажен мухами! Подайте мне, я вам покажу, как чистят ризу". Он вычистил его, перекрестился и поставил его в углу. "Я вам переменю киоту, за стеклом мухи не заберутся, и вы молитесь; все у вас будет в порядке". Он ничего не смотрел, к великой радости оторопевших чиновников: с чем приехал, с тем и уехал и, возвратившись, рассказал мне (Л.И. Арнольди. - Б. С.), что все там в порядке".

Т. познакомился с Гоголем в Бадене на квартире у В. А. Жуковского в мае 1844 г. Следующая встреча состоялась в Остенде двумя - тремя месяцами позднее. Настоящая же дружба Гоголя с Т. началась в Париже, где в январе 1845 г. писатель остановился в доме графа. Здесь Гоголь начал работу над книгой "Размышления о Божественной Литургии". В этот момент Гоголь ощущал Т. как одного из наиболее близких себе духовно людей, отрицательно воспринимающих парижскую экологию. 12 февраля н. ст. 1845 г. Гоголь писал Н. М. Языкову: "О Париже скажу тебе только то, что я вовсе не видел Парижа. Я и встарь был до него не охотник, а тем паче теперь. Говоря это, я разумею даже и относительно материальных вещей и всяких жизненных удобств: нечист, и на воздухе хоть топор повесь. Никого, кроме самых близких моей душе, т. е. графинь Виельгорских и графа Александра Петровича Толстого, не видал... Стихи твои "К не нашим" произвели такое же впечатление, как на меня самого, на моих знакомых, т. е. на графинь Виельгорских и на графа Толстого, которые от них без ума..."

5 марта 1845 г. Гоголь писал Т. из Франкфурта: "...Смотрите же, молитвы обо мне никак не отлагайте. Молитесь сильно и крепко, молитесь, чтобы Бог не отлучился от меня ни на минуту и чтобы услышал молитвы, усиливая силу молений их: вы не будете от этого в убытке. Всё же, что ни говорил я относительно Великого Поста и предстоящих вам подвигов говения и пощения, выполните с буквальною точностью, как бы она ни казалась вам не нужною или не идущею к делу. Наложите также на себя обет добровольного воздержания в слове во всё продолжение этого времени, а именно: 1) говорить более с дамами, нежели с мужчинами, 2) в разговоре с мужчинами, о чем бы то ни было, старайтесь заставлять их говорить, а не себя, 3) не спорить ни о чем сильно и не обращать никого в Православие, ибо для того, чтобы обратить кого, нужно прежде самому обратиться, а для того, чтобы спорить в чем сильно, нужно быть слишком самонадеянну и уверену в уме своем, умеющем видеть одну только правую сторону вещи. То и другое во время Великого Поста может оказаться похожим на что-то слишком чуждое смирению и будет останавливать ежеминутно крылья души вашей, готовые распрямиться к восстанию от ревностного исполнения поста. Не пренебрегайте же и этими мелочами и выполните послушно, как ребенок, как ученик, как в монастыре умный монах нарочно подчиняется глупейшему, дабы на время уметь покориться". Между 20 и 28 марта н. ст.1845 г. Гоголь писал Т. из Франкфурта: "О себе ничего не могу

сказать вам утешительного. Здоровье мое хуже и хуже. Появляются такие признаки, которые говорят, что пора, наконец, знать честь и, поблагодарив Бога за все, уступить, может быть, свое место живущим. Но да будет во всем Его святая воля! Угодно будет необыкновенным чудом Ему спасти и продлить жизнь мою, велика тогда будет сила Его и высшая премудрость. Угодно будет прервать ее, велика также будет Его сила и высшая премудрость, и это будет знак, что смерть моя, верно, была полезной и нужней самой моей жизни. Но во всяком случае не прекращайте ваших молений, сильней и сильней молитесь обо мне Богу, чтобы не оставлял Он меня ни на минуту, - тем более, что болезненные мои минуты бывают теперь труднее, чем прежде, и трудно-трудно бывает противустать противу тоски и уныния. Часто желалось бы иметь под боком вас или подобно вам думающего только о спасеньи души человека, тем более, что братское и союзно-согласованное чтение книг, полезных душе, мне много помогало всегда".

В конце 1845 г. Гоголь консультировался у графа насчет круга обязанностей, которыми обладают те или иные должностные лица в административной системе Российской империи. Он писал Т.: "Вас удивляет, почему я с таким старанием стараюсь определить всякую должность в России, почему я хочу узнать, в чем ее существо? Говорю вам: мне это нужно для моего сочиненья, для этих самых "Мертвых душ", которые начались мелочами и секретарями и должны кончить делами покрупнее и должностями повыше, и это познание точное и верное должностей в том... в каком они должны у нас в России быть. Мне бы не хотелось дать промаха и погрешить против правды, тем более, характер и люди в остальных двух частях выходят покрупнее обыкновенных и в значительных должностях. Я вас очень благодарю, что вы объяснили должность генерал-губернатора; я только с ваших слов узнал, в чем она истинно может быть важна и нужна в России. Прежде мне казалось, что и без нее организм управления губернии совершенно полон. Кстати рассмотрим этот организм, чтобы видеть, так ли точно я его понимаю, как есть. Мне кажется, что он очень умно соображен в частях, соответствует духу земли и обнаруживает в Государыне Екатерине большое пониманье потребностей наших..." Новая встреча Т. и Гоголя произошла в Веймаре, где они вместе говели и причастились Святых Христовых Тайн в конце июня - начале июля н. ст. 1845 г. Затем в августе - сентябре (н. ст.) 1845 г. они вместе лечились на водах в Грeффенберге.

2 января н. ст. 1846 г. Гоголь писал из Рима Т.: "Что сказать вам о моем здоровье? Велик Бог, посылающий нам все! - это должны мы говорить ежеминутно. Вот вам мое нынешнее состояние: я зябну теперь до такой степени, что ни огонь, ни движение, ни ходьба меня не согревают (возможно, это был приступ малярии. - Б. С.). Мне нужно много бегать, чтобы сколько-нибудь согреть кровь, но этого теперь нельзя, потому что совсем ослабели и ноги, и силы, жилы болят и пухнут. При этом начались запоры и прекращение всяких отправлений. Но благодарю милосердного Бога, что, несмотря на невыносимо болезненное чувство, которое слышит всё мое тело, находящееся вечно в лихорадочном состоянии, ни хандра, ни скорбь еще не находили на меня. Я худею, вяну и слабею и с тем вместе слышу, что есть что-то во мне, которое по одному мановению высшей воли выбросит из меня недуги все вдруг,

хотя бы и смерть летала надо мной. Да будет же во всем святая воля над нами Создавшего нас, да обратится в нас всё на вечную хвалу Ему: и болезни, и недуги, и всё существованье наше да обратится в неумолкаемую песнь Ему! Благодарю вас много и много, добрейший мой Александр Петрович, за ваши молитвы обо мне, поблагодарите также и графиню. Ваши молитвы, именно ваши, мне нужны. Сердце мое говорит мне, что вы так обо мне помолитесь, как никогда еще ни о ком не молились, и низведут ваши молитвы благодать и милость Бога обоюдно и на меня и в вашу собственную душу. Бог весь милость и чуден в милостях своих. О Государе вам мало скажу. Я его видел раза два-три мельком. Его наружность была прекрасна, и ею он произвел впечатление большое в римлянах. Его повсюду в народе называли просто Imperatore, без прибавления: di Russia, так что иностранец мог подумать, что это был законный государь здешней земли. О чем был разговор с папой, это, разумеется, неизвестно, хотя, впрочем, следствия, вероятно, будут те, каких и ждали, то есть умягчение мер относительно католикам. Донесения гонимой униатки оказались ложью, и она созналась, что была уже подучена потом вне России польской партией. К художествам и к искусствам Государь был благосклонен. Показал вкус в выборах и в заказах и даже в том, что заказал немного. Помощь, оказанная бедным, тоже сделана рассмотрением. Бог да спасет его и да внушит ему всё, что ему нужно, что нужно истинно для доставления счастья его подданным! Если он молится и молится так сильно и искренне, как он действительно молится, то, верно, Бог внушит ему весь ход и надлежащий закон действий. "Сердце царя в руке Божией", - говорит нам Божий же глагол. И если медлит когда исходить от Царя всем очевидное благо, то, верно, так нужно; верно, мы стоим того, за грехи наши, верно, далеко недостойны еще. Помолимся же вновь, добрый друг мой Александр Петрович, о том, да преклонится Бог на милость ко всем нам, да снимет законный и праведный гнев свой на всё поколение наше и всё простит нам, показав, что нет на свете грехов, которые в силах бы были пересилить Его милосердие. Обнимаю вас, а также и графиню. Прощайте. Напишите о себе и о здоровье. Не смущайтесь никакими препираньями о церквях и тем, что свершается в мире. Время теперь молиться, а не препираться. Одной молитвы от всего сокрушенного сердца нашего требует Бог, слез и воздыханья от самой глубины души нашей". В мае 1846 г. Гоголь вновь побывал в Париже у Т. Затем они виделись в Париже и в Остенде в августе и сентябре того же года.

9 мая н. ст. 1847 г. Гоголь писал из Неаполя М. А. Константиновскому, с которым вступил в переписку по рекомендации Т.: "Мне пришло при этом случае (в связи с критикой Константиновским "Выбранных мест из переписки с друзьями". - Б. С.) на мысль, что, может быть, вы опасаетесь какого-нибудь влияния с моей стороны на Александра Петровича (опасенье очень естественное для вас, так его любящего!), а потому долгом считаю известить вас, что он теперь не со мной. Я давно уже не видал его. Во время же нашего пребывания вместе разговоры у нас были совсем не о тех предметах, о которых помещены письма. Видя его тоскующую душу и безотрадные жалобы на жизнь, потерявшую для него цену, которой конца он ожидал с каким-то нетерпением, я старался подвигнуть его на деятельность и на взятие должности внутри России,

мысля, что должность, взятая в смысле поприща для подвигов христианских, может дать пищу душе его. К этому побуждала меня и любовь к родине, которая страждет много оттого, что слишком мало в ней таких должностных людей, которые заключали бы в себе все качества и способности Александра Петровича. Об этом я писал к нему действительно письма, которые я не знаю почему, не попали в мою книгу и не пропущены, тогда как, по моему убеждению, они гораздо полезнее и нужнее всех помещенных. О театре и о тому подобных вещах мы с ним, кроме каких-нибудь двух-трех слов, не имели разговоров. Этот предмет ни его, ни меня не мог занимать". В конце мая (н. ст.) 1847 г. Гоголь опять навестил Т. в Париже.

2 августа н. ст. 1847 г. Гоголь писал Т. из Остенде: "Ваши известия о бедной нашей России не утешительны. Я тоже имею много неутешительных: к кровопролитьям на Кавказе прибавилась еще и холера в тех местах. Но как подумаю, ведь нам прежде всего нужно жить в Боге, а не в России. Ведь мы знаем, что без Божьей воли ничего не делается. А воля Божья разумна, воля Божья знает, что нам нужно. Будем исполнять закон Христа относительно тех людей, с которыми нам придется столкнуться (закон этот можно исполнять всюду), а о России Бог позаботится и без нас. Как Ему оставить ее, если есть столько людей, которые о ней молятся? Помолимся и мы о ней крепко, как только можем молиться, а потом палку в руки и вновь в путь-дорогу, по примеру всякого помышляющего о душе своей человека".

5 августа 1847 г. Т. отвечал Гоголю: "Дела Кавказские и многие другие очень, конечно, грустны, но этого рода события подходят к наказаниям позднейшего Судии, подобным холере, голоду, неурожаям и т. п. Меня не столько огорчают приговоры и наказания, сколько ослепление, ведущее неминуемо к новым неведомым несчастиям. Меня ужасает всеобщее, единодушное и постоянное угождение всем презреннейшим страстям и похотям человеческим... В бессильных (и даже постыдных) наших Кавказских делах я больше всего жалею черкес. Как можно дойти до такой нелепости, чтобы положить намереньем истребление лучшей, первой, совершеннейшей физически породы из всех известных на земном шаре... а мы их беспощадно и бездумно губим, и огнем, и мечом, и отравляем воронцовским просвещением (намек на попытки кавказского наместника фельдмаршала графа М. С. Воронцова (1782-1856), параллельно с жестокими карательными операциями, европеизировать верхушку горских народов, дав им современное образование. Б. С.), то есть ромом, вином и прочими плотоугодиями (Весь Восток жив, кажется, нашею Россиею; мы, я думаю, будем за него отвечать перед Богом...). В Тифлисе обратил на себя внимание и награды купец какой-то пожертвовавший сумму на сооружение огромного театра, при закладке коего было высшее общество, причем многие напечатали такие пошлости, что стыдно читать". В письме от 5 августа 1847 г. Т. коснулся также испанской темы: "...Я на досуге прочел кое-что: между прочим историю (новую и довольно подробную) Испании от Филиппа II-го. - Может быть, я глуп, и дай Бог, чтобы я был как можно глупее, чтобы глупость облегчила мою ответственность перед Богом, но в этой истории я все нахожу для нас уроки и указания. И на них было возложено многое от Провидения, и им следовало быть устроителями целой

части света, и им были даны и многие силы, и всякие орудия, и мужество, и богатство; но они богатство обратили в роскошь неслыханную и небывалую, от которой весь высший класс пришел в совершенное расслабление и даже одурел (начиная с Царского дома), как в наказание за беспечье в Америке. Впрочем, что бы я ни читал, везде мне чудится Россия и весьма мрачная для меня ее будущность. Но авось я по глупости своей так думаю. Дай Бог, чтобы так было".

В следующем письме к Т., 8 августа 1847 г., Гоголь продолжал кавказскую тему: "Насчет черкесов я с вами совершенно согласен; мы совершенно не умели из них сделать нашу силу и крепость и Бог весть из-за чего задумали истреблять то, что послужило бы к добру нашему. Только, мне кажется, вряд ли удастся и модному просвещению одолеть этот народ. Бог не даром сберегает простоту некоторых народов и хранит в ущельях и горах остатки патриархального быта". Гоголь в письме от 8 августа просил сообщить название книги по испанской истории, которую читал Т. Писателя привлекло сравнение России и Испании и Кавказа и Америки (последних - как мест обитания "простых", не затронутых цивилизацией народов): "Напишите мне заглавие той испанской истории, которую вы читаете; мне хотелось бы тоже прочесть ее. Она, как видно, написана хорошо и толково. Старая Испания, точно, всё могла бы иметь и всё потеряла. Но новая Испания в ее нынешнем виде стоит того, чтоб ее рассмотреть: это начало чего-то. Я пробежал на днях напечатанные в "Современнике" письма русского там бывшего, Боткина, которые, во многих отношениях, очень интересны, особенно там, где обнаруживают свежесть сил народа и характер, очень похожий на характер добрых, простых народов, образовавшийся, однакож, в это время смут, которые не допустили воцариться там ни новой гражданственности, ни новой роскоши".

14 августа н. ст. 1847 г. писатель сообщил графу из Остенде, что хочет заново перечитать духовные сочинения, начиная со св. Ефрема Сирина, св. Иоанна Златоуста и преподобного Макария Египетского. В конце 1847 г. Гоголь по дороге в Иерусалим больше месяца жил с Т. в Неаполе.

13/25 апреля 1848 г. Гоголь писал Т. из Константинополя: "Путешествие свое совершил я благополучно. Я был здоров во всё время, _ больше здоров, чем когда-либо прежде. Удостоился говеть и приобщиться Св. Тайн у самого Святого Гроба. Всё это свершилось силою чьих-то молитв, чьих именно - не знаю; знаю только, что не моих. Мои же молитвы даже не в силах были вырваться из груди моей, не только возлететь, и никогда еще так ощутительно не виделась мне моя бесчувственность, черствость и деревянность... Напишите мне о себе. Не позабудьте подробностей. Вы можете почувствовать сами, как мне хочется знать всё, что ни относится к вам: многое уже нас так связало..." В начале декабря 1848 г. Гоголь поселился в московском доме Т. на Никитском бульваре.

28 декабря 1848 г. он писал М. А. Константиновскому: "Александр Петрович живет так уединенно и таким монастырем, что и я, любящий тоже тишину, переехал к нему на время пребыванья моего в Москве. Он просит вас прямо взъехать на двор к нему, не останавливаясь в трактире. Комната для вас готова... Квартира графа Александра Петровича в доме Талызина, на Никитском бульваре".

10 июля 1850 г. Гоголь писал Т. о своем посещении Оптиной Пустыни: "Я заезжал на дороге в Оптинскую пустынь и навсегда унес о ней воспоминание. Я думаю, на самой Афонской горе не лучше. Благодать видимо там присутствует. Это слышится в самом наружном служении, хотя и не можем объяснить себе, почему. Нигде я не видал таких монахов. С каждым из них, мне казалось, беседует всё небесное. Я не расспрашивал, кто из них как живет: их лица сказывали сами всё. Самые служки меня поразили светлой ласковостью ангелов, лучезарной простотой обхожденья; самые работники в монастыре, самые крестьяне и жители окрестностей. За несколько верст, подъезжая к обители, уже слышишь ее благоухание: всё становится приветливее, поклоны ниже и участья к человеку больше".

20 августа 1851 г. Гоголь писал Т. о своем намерении ехать за границу, чтобы окончить второй том "Мертвых душ": "Если бы Одесса была хоть сколько-нибудь похожа климатом на Неаполь, разумеется, я и не подумал бы о выезде за границу. Но голове и телу моему необходим, и особенно во время работы, благорастворенный воздух и ненатопленное тепло. А мне нужно всю эту зиму поработать хорошо, чтобы приготовить 2 том к печати, приведя его окончательно к концу. Покуда, слава Бога, дело идет еще недурно. Когда я перед отъездом из Москвы прочел некоторым из тех, которым знакомы были, как и вам, две первые главы, оказалось, что последующие сильней первых и жизнь раскрывается, чем дале, глубже. Стало быть, несмотря на то, что старею и хирею телом, силы умственные, слава Богу, еще свежи. А при всем никак не могу быть уверен за работу. Если не поможет Бог, ничего не выйдет. Никогда еще не чувствовал так ясно, как теперь, что за всякой строкой следует взывать: Господи, помилуй и помоги!"

5 ноября 1851 г. в московском доме Т. Гоголь читал московским писателям и артистам "Ревизора". В доме Т. Гоголь провел последние месяцы своей жизни. 10 февраля 1852 г. он просил Т. передать рукопись второго тома "Мертвых душ" митрополиту Филарету, чтобы тот определил, что из написанного можно печатать, а что необходимо уничтожить. Т. отказался выполнить просьбу, опасаясь укрепить в Гоголе стремление к смерти. После этого последовало сожжение второго тома. Чтобы не изнурять голодающего Гоголя, Т. прекратил у себя богослужения, которые Гоголь все исправно выстаивал. Попытки Т. побудить Гоголя принимать пищу, равно как и вылечить его с помощью лучших московских врачей, не увенчались успехом. По словам Т., в последние недели жизни Гоголь принимал пищу дважды в день. Утром он ограничивался хлебом или просфорой, которую запивал липовым чаем, а вечером - кашицей или черносливом, но в мизерных дозах. Т. побуждал московского гражданского губернатора И. В. Капниста и митрополита Филарета убедить Гоголя принимать пищу и слушаться врачей, но все было тщетно.

ТОЛСТОЙ Алексей Константинович (1817-1875), граф, писатель, поэт и драматург, автор романа "Князь Серебряный" и драматической трилогии "Смерть Иоанна Грозного", "Царь Федор Иоаннович" и "Царь Борис". Т. познакомился с Гоголем в июне 1844 г. во Франкфурте-на-Майне.

Впоследствии он рассказывал биографу Гоголя П. А. Кулишу: "Однажды,

остановясь во Франкфурте-на-Майне, в гостинице "Der weisse Schwan" (Белый лебедь), Гоголь вздумал ехать куда-то далее и, чтобы не встретить остановки по случаю отправки вещей, велел накануне отъезда гаускнехту (то, что у нас в трактирах - половой) уложить все вещи в чемодан, когда еще не будет спать, и отправить туда-то. Утром, на другой день после этого распоряжения, я посетил Гоголя, и Гоголь принял меня в самом странном наряде - в простыне и одеяле. Гаускнехт исполнил приказание поэта с таким усердием, что не оставил ему даже во что одеться. Но Гоголь, кажется, был доволен своим положением и целый день принимал гостей в своей пестрой мантии, до тех пор, пока знакомые собрали для него полный костюм и дали ему возможность уехать из Франкфурта".

Т. также рассказал П. А. Кулишу, как в Калуге в ночь с 15 на 16 июня 1850 г. в доме А. О. Смирновой Гоголь задумал объездить все монастыри России: "Путешествие на долгих было для Гоголя уже как бы началом плана, который он предполагал осуществить впоследствии. Ему хотелось совершить путешествие по всей России, от монастыря к монастырю, ездя по проселочным дорогам и останавливаясь отдыхать у помещиков (подобно Чичикову. - Б. С.). Это ему было нужно, во-первых, для того, чтобы видеть живописнейшие места в государстве, которые большею частью были избираемы старинными русскими людьми для основания монастырей; во-вторых, для того, чтобы изучить проселки русского царства и жизнь крестьян и помещиков во всем ее разнообразии; в-третьих, наконец, для того, чтобы написать географическое сочинение о России самым увлекательным образом. Он хотел написать его так, "чтоб была слышна связь человека с той почвой, на которой он родился" (одна из наиболее кратких и точных характеристик идеологии "почвенничества". - Б. С.). Обо всем этом говорил Гоголь у А. О. Смирновой, в присутствии гр. А. К. Толстого, который был знаком с ним издавна, но потом не видал его лет шесть или более. Он нашел в Гоголе большую перемену. Прежде Гоголь в беседе с близкими знакомыми выражал много добродушия и охотно вдавался во все капризы своего юмора и воображения; теперь он был очень скуп на слова, и всё, что ни говорил, говорил, как человек, у которого неотступно пребывала в голове мысль, что "с словом надобно обращаться честно", или который исполнен сам к себе глубокого почтения. В тоне его речи отзывалось что-то догматическое, так, как бы он говорил своим собеседникам: "Слушайте, не пророните ни одного слова". Тем не менее беседа его была исполнена души и эстетического чувства. Он попотчевал графа двумя малороссийскими колыбельными песнями, которыми восхищался как редкими самородными перлами: 1) "Ой, спы, дытя, без сповыття" и т. д., 2) "Ой, ходыть сон по улоньци" и т. д. Вслед за тем Гоголь попотчевал графа лакомством другого сорта: он продекламировал с свойственным ему искусством великорусскую песню, выражая голосом и мимикою патриархальную величавость русского характера, которою была исполнена эта песня: "Пантелей государь ходит по двору, Кузьмич гуляет по широкому" и т. д.".

Гоголь ценил опыт Т. в общении с представителями высших сфер. Их сближала и дружба с А.О. Смирновой. Посылая ей в июле 1850 г. свое обращение на имя графа Л. А. Перовского, князя П. А. Ширинского-Шахматова

или графа А.Ф. Орлова с просьбой побудить императора выделить ему средства на протяжении трех лет для зимних поездок за границу и летних - по России для завершения "Мертвых душ", Гоголь просил Смирнову посоветоваться с Т. и, если тот одобрит, "обратить это письмо к Наследнику, сделавши такой приступ: "Ваше Императорское Высочество! Все мне присоветовали принять смелость обратиться прямо к Вам и чистосердечно изъяснить свое положение", и вслед за этим всё как есть письмо, выбросивши только то, что неприлично". Очевидно, Т. отсоветовал Смирновой подавать подобные просьбы на высочайшее имя, и гоголевское письмо так и не было отправлено ни одному из предполагавшихся адресатов.

3 ноября 1853 г. Т. писал своей будущей жене Софье Андреевне Миллер (урожденной Бахметевой, умершей в 1892 г.): "Я понимаю, отчего натуры такие глубоко печальные, как Мольер и Гоголь, могли быть такими комиками. Чтобы хорошо передать что-нибудь, хорошо оценить, нужно быть вне этого, так же как надо выйти из дому, чтобы срисовать фасад дома..."

13 декабря 1868 г. Т. писал своему другу журналисту Б. М. Маркевичу: "Но если один монарх - дурен, а другой - слаб, разве из этого следует, что монархи не нужны? Если бы было так, из "Ревизора" следовало бы, что не нужны городничие..."

9 мая 1869 г. Т. писал Каролине Сайн-Витгенштейн (1819-1887): "Я останусь в России не для того, чтобы поближе видеть Россию. Страшно сказать, что не только любишь больше свою страну издали, но и видишь ее лучше, и лучше понимаешь. Вспомните, что наш величайший гений, Гоголь, тот, который с полной справедливостью может называться всемирным гением, написал свои "Мертвые души" именно в Риме".

20 декабря н. ст. 1871 г. Т. писал из Дрездена Б. М. Маркевичу о голландском художнике-пейзажисте Якобе Рейсдале (1628-1682): "Не хотел бы я расстаться с его неправильностями, как и с неправильностями Гоголя".

ТРОЩИНСКИЙ Андрей Андреевич, (1774-1852) племянник Д. П. Трощинского, генерал-майор, участник войны 1812 г. Был сыном Анны Матвеевны Косяровской, родной тетки М. И. Гоголь. Т. материально помогал Гоголю в первое время его пребывания в Петербурге.

2 апреля 1830 г. Гоголь писал матери: "Где же теперь мне взять 100 рублей в месяц каждый на свое содержание? Занявшись же службой так, как следует, я не в состоянии буду заниматься посторонними делами. Хорошо, что я еще имел все это время такого редкого благодетеля, как Андрей Андреевич. До сих пор я жил одним его воспомоществованием... Деньги, которые я выпрашивал у Андрея Андреевича, никогда не мог употребить на платье, потому что они все выходили на содержание, а много я просить не осмеливался, потому что заметил, что становлюсь уже ему в тягость. Он мне несколько раз уже говорил, что помогает мне до того времени только, пока вы поправитесь немного состоянием,что у него есть семейство, что его дела также не всегда в хорошем состоянии. И вы не поверите, чего мне стоит теперь заикаться ему о своих нуждах. Теперь, в добавку, он располагает ехать в мае месяце совсем из Петербурга. Что мне делать в таком случае?". И в приведенном тут же бюджете

за декабрь 1829 г. и январь 1830 г. Гоголь обозначил суммы, полученные от Т., соответственно в 150 и 50 рублей, что составило за два месяца 80 процентов всех гоголевских доходов.

Не отказывал Т. в помощи племяннику и в дальнейшем. 1 сентября 1830 г. Гоголь сообщал матери: "Андрей Андреевич был так милостив, видя нужду мою, что оказал мне помощь, какой только можно было ожидать от добрейшего родственника. С июня месяца, т. е. с тех пор, когда я не получал ничего уже от вас, я пользовался его благодеянием: на три месяца он мне выдал сумму, какую следовало бы мне получить от вас. Следовательно, за прошедшие месяцы июнь, июль и август нам нечего беспокоиться. Завтра или послезавтра Андрей Андреевич уезжает отсюда, и потому вчера дал еще мне и на первую половину сентября". В связи с этим М. И. Гоголь 29 сентября 1830 г. писала Т.: "Я вижу, что Никоша не выучился еще расчетливо жить. Главный его расход - на книги, для которых он в состоянии лишиться и пищи".

Позднее, 2/14 ноября 1846 г., Гоголь вспоминал Т. в письме матери из Рима: "Скоро после этого письма или, может быть, вместе с этим письмом получите вы небольшую книгу мою, которая содержит отчасти мою собственную исповедь ("Выбранные места из переписки с друзьями". - Б.С.)...Четвертый экземпляр передайте Андрею Андреевичу, если он где-либо близко около вас; если же он в Петербурге, тогда, разумеется, нечего отправлять. Вы можете только сказать ему, что один экземпляр был для него, но вы не послали его потому, что, находясь в Петербурге, он, вероятно, уже имеет его и успел прочесть".

До конца жизни Гоголь сохранил к Т. самые добрые чувства. 3 апреля 1849 г., на Пасхальной неделе, он просил мать и сестер: "Передайте мой душевный поклон Андрею Андреевичу, а вместе с ним и поздравленье с Праздником, с моим искренним желанием ему так же, как и вам, наслаждаться отныне более, нежели когда-либо, высоким внутренним веселием душевным". А в мае 1849 г. в письме матери Гоголь беспокоился о том, что Т. заболел, и категорически отвергал какое-либо воспомоществование для себя с его стороны: "Положение бедного Андрея Андреевича меня искренно трогает. Пошли ему Бог дни утешений в остальное время его жизни!.. Отчего вам кажется, будто Андрей Андреевич должен мне помочь? Во-первых, я не нуждаюсь; во-вторых, у него родственники есть ближе меня; в-третьих, он сам в таком положении, что ему нужна помощь; в-четвертых, наконец, скажу вам откровенно, мне бы было тяжело что-нибудь от него получить. Слава Богу, что он так благоразумен и это понимает сам". Осенью 1850 г. Гоголь безуспешно хлопотал об избрании сына Т. Дмитрия, огорчавшего отца отсутствием прилежания, миргородским уездным предводителем дворянства, чтобы необременительная служба позволяла бы ему больше времени проводить при больном Т. Во время своего пребывания в Одессе весной 1848 г. и в конце 1850 г. - начале 1851 г. Гоголь останавливался в доме Т. А в апреле 1851 г. Гоголь посетил имение Т. Кагарлык, чтобы повидаться с гостившими там матерью и сестрами. Т., вероятно, послужил одним из прототипов генерала Бетрищева в "Мертвых душах".

ТРОЩИНСКИЙ Дмитрий Прокофьевич, (1754-1829) высокопоставленный

чиновник, дальний свойственник и покровитель Гоголя. Прадед Т. был племянником гетмана И. С. Мазепы (1629-1709). Т. окончил Киевскую Духовную Академию. Был сенатором, членом Государственного Совета, в 1802-1806 гг. министром уделов, в 1814-1817 годах - министр юстиции. Последние годы жизни жил в своем имении Кибенцы Миргородского уезда Полтавской губернии. Был также полтавским губернским маршалом (предводителем дворянства).

Как вспоминала местная помещица С. В. Скалон (урожденная Капнист): "Деревянный дом Д. П. Трощинского в Кибинцах был в два этажа; снаружи он не казался великолепен, но внутри был богато отделан; в нем было множество картин, фарфора, бронзы и мрамора; тут же у него была и коллекция золотых монет и медалей. Главный праздник там был 26 октября, в день именин Трощинского. К этому дню съезжались к нему родные, друзья и знакомые из разных губерний, и в особенности из Киевской. Театр, живые картины, маскарады и разные сюрпризы были приготовлены заранее к этому дню зятем его, князем Хилковым, и дочерью, которая была очень хороша, мила и привлекательна. Так как старик очень любил малороссийские пьесы, то их сочинял и устраивал обыкновенно родственник племянника его, Василий Афанасьевич Гоголь".

По рекомендации Т. Гоголь был принят в Нежинскую гимназию. Как писал А. А. Трощинский матери 23 марта 1822 г.: "К Василию Афанасьевичу (Гоголю. - Б.С.) я посылаю теперь изрядный подарок, через ходатайство Дмитрия Прокофьевича молодым графом Кушелевым-Безбородко ему делаемый, включением его сына Никоши в число воспитанников, содержимых в нежинской гимназии на его иждивении; и следовательно на будущее время Василий Афанасьевич освобождается от платежа в оную гимназию, за своего сына, в год по 1200 рублей". Для занятий Гоголь также пользовался книгами из библиотеки Т., в частности "Собранием образцовых русских сочинений и переводов в стихах и прозе".

30 сентября 1826 г. Гоголь писал матери: "Уведомите, когда его высокопревосходительство Дмитрий Прокофьевич будет у вас, что он там найдет хорошего, что ему понравится, мне с нетерпением хочется знать мнение великого человека, даже о самых маловажностях; сделайте милость, маминька, не пропустите ничего. Большое вы дадите мне удовольствие". А 15 октября он уже делился своими впечатлениями от письма М. И. Гоголь с описанием пребывания Т. в Васильевке: "С жадностью читал прелестный рассказ ваш, почтеннейшая маминька, о пребывании у нас почетного гостя. Все мелочи, всё совершенно вами сделанное, признаюсь, так было хорошо, что я никогда бы не мог сделать..." Т. для Гоголя с детства был образцом великого государственного деятеля и человека, не чуждого искусству. Т. успел перед смертью составить Гоголю протекцию при поступлении на службу. М. И. Гоголь в письме своему отцу Ивану Матвеевичу Косяровскому от 18 апреля 1829 г. утверждала: "Покойный благодетель наш Дмитрий Прокофьевич говорил мне, чтобы я не скучала нескорым его (Гоголя. - Б. С.) определением, потому что Кутузов выискивает для него хорошую и выгодную должность, что чрезвычайно трудно теперь по штатской службе, где совершенно набито людей".

В ноябре 1850 г. письме помещику Миргородского уезда Андрею Михайловичу Трахимовскому, в доме деда которого в Сорочинцах он сам родился, Гоголь, предлагая выбрать миргородским уездным предводителем сына А. А. Трощинского Дмитрия, напоминал о заслугах Т.: "И, мне кажется, всем нам, дворянам, следует уважить это доброе желание юноши, который, как бы то ни было, внук того знаменитого мужа, которому обязана Полтавская губерния, по крайней мере в трудное время 12-го года, когда дворянству нужно было сильное предстательство, он не отказался принять на себя звание губернского предводителя, несмотря на то, что, находясь в должности министра, обременен был кучей дел и обязанностей".

ТУРГЕНЕВ Иван Сергеевич (1818-1883), писатель, из столбовых дворян. Автор сборника рассказов "Записки охотника", романов "Рудин", "Отцы и дети", "Накануне", "Дым" и др. Практически все его произведения при жизни были переведены на французский и другие иностранные языки. Во Франции, где он жил долгие годы и скончался, Т. был при жизни самым популярным русским писателем. В 1834 г. возникло "Дело о буйстве И. С. Тургенева". Шестнадцатилетний Т., вступаясь за крепостную девушку, которую собирались продать, встретил исправника и понятых с ружьем, пригрозив: "Стрелять буду!" Дело тянулось вплоть до отмены крепостного права в 1861 г. Т. учился в Московском, Петербургском и Берлинском университетах. В Германии он сблизился с идеологом анархизма М. А. Бакуниным. В 1841 г. вернулся в Россию.

О первом свидании с Гоголем Т. в 1869 г. вспоминал так: "...Я был одним из его слушателей в 1835 году, когда он преподавал(!) историю в С-Петербургском университете. Это преподавание, правду сказать, происходило оригинальным образом. Во-первых, Гоголь из трех лекций непременно пропускал две; во-вторых, даже когда он появлялся на кафедре, он не говорил, а шептал что-то весьма несвязное, показывал нам маленькие гравюры на стали, изображавшие виды Палестины и других восточных стран, и все время ужасно конфузился. Мы все были убеждены (и едва ли мы ошибались), что он ничего не смыслит в истории и что г. Гоголь-Яновский, наш профессор (он так именовался в расписании лекций), не имеет ничего общего с писателем Гоголем, уже известным нам как автор "Вечеров на хуторе близ Диканьки". На выпускном периоде из своего предмета он сидел, повязанный платком, якобы от зубной боли, с совершенно убитой физиономией и не разевал рта. Спрашивал студентов за него профессор И. П. Шульгин. Как теперь, вижу его худую, длинноносую фигуру с двумя высоко торчавшими - в виде ушей - концами черного шелкового платка. Нет сомнения, что он сам хорошо понимал весь комизм и всю неловкость своего положения: он в том же году подал в отставку. Это не помешало ему, однако, воскликнуть: "Непризнанный взошел я на кафедру - непризнанный схожу с нее!" Он был рожден для того, чтоб быть наставником своих современников, но только не с кафедры". Гоголь впервые упомянул Т. в письме П. В. Анненкову из Остенде 7 сентября 1847 г.: "Изобразите мне... портрет молодого Тургенева, чтобы я получил о нем понятие как о человеке; как писателя, я отчасти его знаю: сколько могу судить по тому,

что прочел, талант в нем замечательный и обещает большую деятельность в будущем". 27 января 1851 г. Гоголь в доме у Репниных в Одессе слушал чтение актером Н. П. Ильиным пьесы Т. "Завтрак у предводителя".

Единственная встреча Т. с Гоголем произошла в октябре 1851 г. Т. следующим образом описал ее в мемуарах: "Меня свел к Гоголю покойный Михаил Семенович Щепкин. Помню день нашего посещения: 20 октября 1851 года. Гоголь жил тогда в Москве, на Никитской, в доме Талызина, у графа Толстого. Мы приехали в час пополудни; он немедленно нас принял. Комната его находилась возле сеней направо. Мы вошли в нее - и я увидел Гоголя, стоявшего перед конторкой с пером в руке. Он был одет в темное пальто, зеленый бархатный жилет и коричневые панталоны. За неделю до того дня я его видел в театре на представлении "Ревизора"; он сидел в ложе бельэтажа около самой двери, и, вытянув голову, с нервическим беспокойством поглядывал на сцену через плечи двух дюжих дам, служивших ему защитой от любопытства публики. Мне указал на него сидевший рядом со мной Ф. (приятель Т. Е. М. Феоктистов. - Б.С.). Я быстро обернулся, чтобы посмотреть на него; он, вероятно, заметил это движение и немного отодвинулся назад, в угол. Меня поразила перемена, происшедшая в нем с 41-го года. Я раза два встретил его тогда у Авдотьи Петровны Е-ной (Елагиной, хозяйки литературного салона. - Б. С.). В то время он смотрел приземистым и плотным малороссом; теперь он казался худым и испитым человеком, которого уже успела на порядках измыкать жизнь. Какая-то затаенная боль и тревога, какое-то грустное беспокойство примешивались к постоянно проницательному выражению его лица. Увидев нас с Щепкиным, он с веселым видом пошел к нам навстречу и, пожав мне руку, промолвил: "Нам давно следовало быть знакомыми". Мы сели. Я - рядом с ним, на широком диване, Михаил Семенович - на креслах, возле него. Я попристальнее вгляделся в его черты. Его белокурые волосы, которые от висков падали прямо, как обыкновенно у казаков, сохранили еще цвет молодости, но уже заметно поредели; от его покатого, гладкого, белого лба по-прежнему так и веяло умом. В небольших карих глазах искрилась по временам веселость - именно веселость, а не насмешливость; но вообще взгляд их казался усталым. Длинный, заостренный нос придавал физиономии Гоголя нечто хитрое, лисье; невыгодное впечатление производили также его одутловатые, мягкие губы под остриженными усами: в их неопределенных очертаниях выражались - так, по крайней мере, мне показалось - темные стороны его характера: когда он говорил, они неприятно раскрывались и выказывали ряд нехороших зубов; маленький подбородок уходил в широкий бархатный черный галстук. В осанке Гоголя, в его телодвижениях было что-то не профессорское, а учительское - что-то напоминавшее преподавателей в провинциальных институтах и гимназиях. "Какое ты умное, и странное, и больное существо!" невольно думалось, глядя на него. Помнится, мы с Михаилом Семеновичем и ехали к нему, как к необыкновенному, гениальному человеку, у которого что-то тронулось в голове... вся Москва была о нем такого мнения. Михаил Семенович предупредил меня, что с ним не следует говорить о продолжении "Мертвых душ", об этой второй части, над которую он так долго и так упорно трудился и которую он, как известно, сжег перед смертию, что он этого разговора не любит.

О "Переписке с друзьями" я сам не упомянул бы, так как ничего не мог сказать о ней хорошего. Впрочем, я и не готовился ни к какой беседе - а просто жаждал видеться с человеком, творения которого я чуть не знал наизусть. Нынешним молодым людям даже трудно растолковать обаяние, окружавшее тогда его имя; теперь же и нет никого, на ком могло бы сосредоточиться общее внимание. Щепкин заранее объявил мне, что Гоголь несловохотлив; на деле вышло иначе. Гоголь говорил много, с оживлением, размеренно отталкивая и отчеканивая каждое слово, что не только не казалось неестественным, но, напротив, придавало его речи какую-то приятную вескость и впечатлительность. Он говорил на о; других, для русского слуха менее любезных, особенностей малороссийского говора я не заметил. Все выходило ладно, складно, вкусно и метко. Впечатление усталости, болезненного, нервического беспокойства, которое он сперва произвел на меня, исчезло. Он говорил о значении литературы, о призвании писателя, о том, как следует относиться к собственным произведениям; высказал несколько тонких и верных замечаний о самом процессе работы, о самой, если так можно выразиться, физиологии сочинительства; и все это языком образным, оригинальным - и сколько я мог заметить, нимало не подготовленным заранее, как это сплошь да рядом бывает у "знаменитостей". Только когда он завел речь о цензуре, чуть не возвеличивая, чуть не одобряя ее как средство развивать в писателе сноровку, умение защищать свое детище, терпение и множество других христианских и светских добродетелей, - только тогда мне показалось, что он черпает из готового арсенала. Притом, доказывать таким образом необходимость цензуры - не значило ли рекомендовать и почти похвалить хитрость и лукавство рабства? Я могу еще допустить стих итальянского поэта: "Si, servi siam; ma servi ognor frementi" ("Да, мы рабы, но рабы вечно негодующие"); но самодовольное смирение и плутовство рабства... нет! Лучше не говорить об этом. В подобных измышлениях и рассудительствах Гоголя слишком явно высказывалось влияние тех особ высшего полета, которым посвящена большая часть "Переписки"; оттуда шел этот затхлый и пресный дух. Вообще я скоро почувствовал, что между миросозерцанием Гоголя и моим лежала целая бездна. Не одно и то же мы ненавидели, не одно любили; но в ту минуту в моих глазах все это не имело важности. Великий поэт, великий художник был передо мною, и я глядел на него, слушал его с благоговением, даже когда не соглашался с ним. Гоголь, вероятно, знал мои отношения к Белинскому, к Искандеру (А. И. Герцену. - Б. С.); о первом из них, об его письме к нему, он не заикнулся: это имя обожгло бы его губы. Но в то время только что появилась - в одном заграничном издании - статья Искандера, в которой он, по поводу пресловутой "Переписки", упрекал Гоголя в отступничестве от прежних убеждений (имеется в виду вышедшая в Вольной русской типографии в Лондоне книга А. И. Герцена "О развитии революционных идей в России" (1851). - Б. С.). Гоголь сам заговорил об этой статье. Из его писем, напечатанных после его смерти (о! какую услугу оказал бы ему издатель, если б выкинул из них целые две трети или, по крайней мере, все те, которые писаны к светским дамам... более противной смеси гордыни и подыскивания, ханжества и тщеславия, пророческого и прихлебательского тона - в литературе не существует!), - из писем Гоголя мы знаем, какою неизлечимой

раной залегло в его сердце полное фиаско его "Переписки" - это фиаско, в котором нельзя не приветствовать одно из немногих утешительных проявлений тогдашнего общественного мнения. И мы с покойным М. С. Щепкиным были свидетелями - в день нашего посещения, - до какой степени эта рана наболела. Гоголь начал уверять нас - внезапно изменившимся, торопливым голосом, - что не может понять, почему в прежних его сочинениях некоторые люди находят какую-то оппозицию, что-то такое, чему он изменил впоследствии; что он всегда придерживался одних и тех же религиозных и охранительных начал - и в доказательство того готов нам указать на некоторые места в одной своей, уже давно напечатанной, книге... Промолвив эти слова, Гоголь с почти юношеской живостью вскочил с дивана и побежал в соседнюю комнату. Михаил Семеныч только брови возвел горе - и указательный палец поднял... "Никогда таким его не видал", - шепнул он мне. Гоголь вернулся с томом "Арабесок" в руках и начал читать на выдержку некоторые места одной из тех детски напыщенных и утомительно пустых статей, которыми наполнен этот сборник. Помнится, речь шла о необходимости строгого порядка, безусловного повиновения властям и т. п. "Вот видите, - твердил Гоголь, - я и прежде всегда то же думал, точно такие же высказывал убеждения, как и теперь!.. С какой же стати упрекать меня в измене, в отступничестве?.. Меня?" И это говорил автор "Ревизора", одной из самых отрицательных комедий, какие когда-либо являлись на сцене! Мы с Щепкиным молчали. Гоголь бросил наконец книгу на стол и снова заговорил об искусстве, о театре; объявил, что остался недоволен игрою актеров в "Ревизоре", что они "тон потеряли" и что он готов им прочесть всю пьесу с начала до конца. Щепкин ухватился за это слово и тут же уладил, где и когда читать. Какая-то старая барыня приехала к Гоголю; она привезла ему просфору с вынутой частицей. Мы удалились".

Об этой встрече сохранились воспоминания М. С. Щепкина, записанные его сыном А. М. Щепкиным: "Однажды Ив. Серг. Тургенев приехал в Москву и посетил Щепкина, заявив ему при свидании, между прочим, что хотел бы познакомиться с Гоголем. Это было незадолго до смерти Гоголя. Щепкин ответил ему: "Если желаете, поедем к нему вместе". Тургенев возразил на это, что неловко: пожалуй, Николай Васильевич подумает, что он навязывается. "Ох, батюшки мои, когда это вы, государи мои, доживете до того времени, что не будете так щепетильничать!" - заметил Щепкин Тургеневу, но тот стоял на своем, и Щепкин вызвался передать желание Тургенева Гоголю. Свой визит к Гоголю Щепкин передал так. Прихожу к нему, Гоголь сидит за церковными книгами. "Что это вы делаете? К чему эти книги читаете? Пора бы вам знать, что в них значится". - "Знаю, - ответил мне Гоголь, - очень хорошо знаю, но возвращаюсь к ним снова потому, что наша душа нуждается в толчках". - "Это так, - заметил я ему на это, - но толчком для мыслящей души может служить все, что рассеяно в природе, и пылинка, и цветок, и небо, и земля". Потом вижу, что Гоголь хмурится; я переменил разговор и сказал ему: "С вами, Николай Васильевич, желает познакомиться один русский писатель, но не знаю, желательно ли это будет вам". - "Кто же это такой?" - "Да человек довольно известный: вы, вероятно, слыхали о нем: это Иван Сергеевич Тургенев". Услыхав эту фамилию, Гоголь оживился, начал говорить, что он душевно рад и

что просит меня побывать у него вместе с Иваном Сергеевичем на другой день,часа в три или четыре. Меня это страшно удивило, потому что Гоголь за последнее время держал себя особнячком и был очень неподатлив на новые знакомства. На другой день ровно в три часа мы с Тургеневым пожаловали к Гоголю. Он встретил нас весьма приветливо; когда же Тургенев сказал Гоголю, что некоторые произведения его, переведенные им, Тургеневым, на французский язык и читанные в Париже, произвели большое впечатление, Гоголь заметно был доволен и с своей стороны сказал несколько любезностей Тургеневу. Но вдруг побледнел, все лицо его искривилось злой улыбкой, и он в страшном беспокойстве спросил: "Почему Герцен позволяет себе оскорблять меня своими выходками в иностранных журналах?" Тут только я понял, - рассказывал Щепкин, - почему Гоголю так хотелось видеться с Тургеневым. Выслушав ответ Тургенева, Гоголь сказал: "Правда, и я во многом виноват, виноват тем, что послушался друзей, окружавших меня, и, если бы можно было воротить назад сказанное, я бы уничтожил мою "Переписку с друзьями". Я бы сжег ее". Тем и закончилось свидание между Гоголем и Тургеневым".

Последний раз Т. видел Гоголя 5 ноября 1851 г., когда на квартире А. П. Толстого он читал "Ревизора" московским литератором, среди которых был и Т., который так запечатлел этот эпизод в своих воспоминаниях: "...Происходило чтение "Ревизора" в одной из зал того дома, где проживал Гоголь. Я выпросил позволение присутствовать на этом чтении. Покойный профессор Шевырев также был в числе слушателей и, если не ошибаюсь, Погодин. К великому моему удивлению, далеко не все актеры, участвовавшие в "Ревизоре", явились на приглашение Гоголя: им показалось обидным, что их словно хотят учить! Ни одной актрисы также не приехало. Сколько я мог заметить, Гоголя огорчил этот неохотный и слабый отзыв на его предложение... Известно, до какой степени он скупился на подобные милости. Лицо его приняло выражение угрюмое и холодное; глаза подозрительно насторожились и просветлели. Читал Гоголь превосходно... Я слушал его тогда в первый и в последний раз. Диккенс, также превосходный чтец, можно сказать, разыгрывает свои романы, чтение его - драматическое, почти театральное: в одном его лице является несколько первоклассных актеров, которые заставляют вас то смеяться, то плакать; Гоголь, напротив, поразил меня чрезвычайной простотой и сдержанностью манеры, какой-то важной и в то же время наивной искренностью, которой словно и дела нет, есть ли тут слушатели и что они думают. Казалось, Гоголь только и заботится о том, как бы вникнуть в предмет, для него самого новый, и как бы вернее передать собственное впечатление. Эффект выходил необычайный - особенно в комических, юмористических местах; не было возможности не смеяться хорошим, здоровым смехом; а виновник всей этой потехи продолжал, не смущаясь общей веселостью и как бы внутренно давясь ей, всё более и более погружаться в самое дело, и лишь изредка, на губах и около глаз, чуть заметно трепетала лукавая усмешка мастера. С каким недоумением, с каким изумлением Гоголь произнес знаменитую фразу городничего о двух крысах (в самом начале пьесы): "Пришли, понюхали и пошли прочь". Он даже медленно оглянул нас, как бы спрашивая объяснения такого удивительного происшествия. Я только тут понял, как вообще неверно, поверхностно, с каким желанием только

поскорей насмешить обыкновенно разыгрывается на сцене "Ревизор". Я сидел, погруженный в радостное умиление: это был для меня настоящий пир и праздник. К сожалению, он продолжался недолго. Гоголь еще не успел прочесть половину первого акта, как вдруг дверь шумно растворилась и, торопливо улыбаясь и кивая головою, промчался через всю комнату один еще очень молодой, но уже необыкновенно назойливый литератор (речь идет о Г. П. Данилевском. - Б. С.) - и, не сказав никому ни слова, поспешил занять место в углу. Гоголь остановился, с размаху ударил рукой по звонку и с сердцем заметил вошедшему камердинеру: "Ведь я велел тебе никого не впускать!" Молодой литератор слегка пошевелился на стуле - а впрочем, не смутился нисколько. Гоголь отпил немного воды - и снова принялся читать; но уж это было совсем не то. Он стал спешить, бормотать себе под нос, не доканчивать слов; иногда он пропускал целые фразы - и только махал рукою. Неожиданное появление литератора его расстроило: нервы его, очевидно, не выдерживали малейшего толчка. Только в известной сцене, где Хлестаков завирается, Гоголь снова ободрился и возвысил голос: ему хотелось показать исполняющему роль Ивана Александровича, как должно передавать это действительно затруднительное место. В чтении Гоголя оно показалось мне естественным и правдоподобным. Хлестаков увлечен и странностью своего положения, и окружающей его средой, и собственной легкомысленной юркостью; он и знает, что врет, и верит своему вранью; это нечто вроде упоения, наития, сочинительского восторга - это не простая ложь, не простое хвастовство. Его самого "подхватило". "Просители в передней жужжат, тридцать пять тысяч эстафетов скачет - а дурачье, мол, слушает, развесив уши, и какой я, мол, бойкий, игривый, светский молодой человек!" Вот какое впечатление производил в устах Гоголя хлестаковский монолог. Но, вообще говоря, чтение "Ревизора" в тот день было - как Гоголь сам выразился - не более как намек, эскиз; и всё по милости непрошенного литератора, который простер свою нецеремонность до того, что остался после всех у побледневшего, усталого Гоголя и втерся за ним в его кабинет. В сенях я расстался с ним и уже никогда не увидал его больше; но его личности было еще суждено возыметь значительное влияние на его жизнь".

Смерть Гоголя потрясла Т. В мемуарах он рассказал, когда и от кого впервые получил трагическую весть: "В последних числах февраля месяца... 1852 года я находился на одном утреннем заседании вскоре потом погибшего общества посещения бедных - в зале Дворцового собрания - и вдруг заметил И.И. Панаева, который с судорожной поспешностью перебегал от одного лица к другому, очевидно сообщая каждому из них неожиданное и невеселое известие, ибо у каждого лицо тотчас выражало удивление и печаль. Панаев наконец подбежал и ко мне и с легкой улыбочкой, равнодушным тоном промолвил: "А ты знаешь, Гоголь помер в Москве. Как же, как же... Все бумаги сжег - да помер", - помчался далее. Нет никакого сомнения, что, как литератор, Панаев внутренно скорбел о подобной утрате - притом же и сердце он имел доброе, но удовольствие быть первым человеком, сообщающим другому огорашивающую новость (равнодушный тон употреблялся для большего форсу), - это удовольствие, эта радость заглушали в нем всякое другое чувство. Уже несколько дней в Петербурге ходили темные слухи о болезни Гоголя; но такого

исхода никто не ожидал". Уже 21 февраля 1852 г. Т. откликнулся на это печальное событие в письме своей возлюбленной француженке Полине Виардо: "...Нас поразило великое несчастие: Гоголь умер в Москве, - умер, предав всё сожжению, всё - 2-й том "Мертвых душ", массу оконченных и начатых вещей,- одним словом, всё. Вам трудно будет оценить, как велика эта столь жестокая, всеобъемлющая потеря. Нет русского, сердце которого не обливалось бы кровью в настоящую минуту. Для нас это был более чем только писатель: он раскрыл нам себя самих. Он во многих отношениях был для нас продолжателем Петра Великого. Быть может, вам покажутся слова эти, - как написанные под влиянием горя, - преувеличением. Но вы не знаете его; вам известны только самые незначительные из его произведений; но если б даже вы знали их все, то и тогда вам было бы трудно понять, чем он был для нас. Надо быть русским, чтобы это чувствовать. Самые проницательные умы из иностранцев, как, например, Мериме, видели в Гоголе только юмориста на английский манер. Его историческое значение совершенно ускользает от них. Повторяю, надо быть русским, чтобы понимать, кого мы лишились..." А своему московскому другу Е. М. Феоктистову 26 февраля 1852 г. Т. писал, посылая некролог на смерть Гоголя: "Вы не можете себе представить, друзья мои, как я вам благодарен за сообщение подробностей о смерти Гоголя... Я перечитываю каждую строку с какой-то мучительной жадностью и ужасом, - я чувствую, что в этой смерти этого человека кроется более, чем кажется с первого взгляда, и мне хочется проникнуть в эту грозную и горестную тайну. Меня это глубоко поразило, так глубоко, что я не помню подобного впечатления. Притом я был подготовлен другими обстоятельствами, которые вы, вероятно, скоро узнаете, если уже не узнали. Тяжело, Феоктистов, тяжело, и мрачно, и душно. Мне, право, кажется, что какие-то темные волны без плеска сомкнулись над моей головой, - и я иду на дно, застывая и немея... Вы мне пишете о статье, которую я должен написать в "Современник", - не знаю, удастся ли мне... В этом случае нельзя сесть и писать не обдумавши, - надо попасть в тон, а уже думать о необходимости попасть в тон, когда говоришь о смерти Гоголя, тяжело и жестоко. Я рад, что его хоронили в университетской церкви, и действительно нахожу вас счастливыми, что удостоились нести его гроб. Это будет одно из воспоминаний вашей жизни. Что вам сказать о впечатлении, произведенном его смертью здесь? Все говорят о ней, но как-то вскользь и холодно. Однако есть люди, которых она глубоко огорчила. Другие интересы тут всё поглощают и подавляют. Вы мне говорите о поведении друзей Гоголя. Воображаю себе, сколько дрянных самолюбий станут вбираться в его могилу, и примутся кричать петухами, и вытягивать свои головки - посмотрите, дескать, на нас, люди честные, как мы отлично горюем и как мы умны и чувствительны, - Бог с ними... Когда молния разбивает дуб, кто думает о том, что на его пне вырастут грибы, - нам жаль его, его силы, его тени... Я послал Боткину стихи, внушенные Некрасову вестью о смерти Гоголя; под впечатлением их написал я несколько слов о ней для "Петербургских ведомостей", которые посылаю вам при сем письме, в неизвестности, пропустит ли их и не исказит ли цензура. Я не знаю, как они вышли, но я плакал навзрыд, когда писал их. Прощайте, мой добрый Евгений Михайлович... Жду от вас и от Боткина всех подробностей, которые вы только услышите. P. S. Кажется, нечего

и говорить, что под статьей о Гоголе не будет выставлено моего имени. Это было бы бесстыдством и почти святотатством..."

Также И. С. Аксакову Т. признавался в письме от 3 марта 1852 г.: "...Скажу вам без преувеличения: с тех пор, как я себя помню, ничего не произвело на меня такого впечатления, как смерть Гоголя... Эта страшная смерть - историческое событие, понятное не сразу: это тайна, тяжелая, грозная тайна - надо стараться ее разгадать, но ничего отрадного не найдет в ней тот, кто ее разгадает... все мы в этом согласны. Трагическая судьба России отражается на тех из русских, кои ближе других стоят к ее недрам, ни одному человеку, самому сильному духом, не выдержать в себе борьбу целого народа, и Гоголь погиб! Мне, право, кажется, что он умер потому, что решился, захотел умереть, и это самоубийство началось с истребления "Мертвых душ"... Что касается до впечатления, произведенного здесь его смертью, то да будет вам достаточно знать, что попечитель здешнего университета гр. Мусин-Пушкин не устыдился назвать Гоголя публично писателем лакейским. Это случилось на днях по поводу нескольких слов, написанных мною для "С-Петербургских ведомостей о смерти Гоголя (я их послал Феоктистову в Москву). Гр. Мусин-Пушкин не мог довольно надивиться дерзости людей, жалеющих о Гоголе. Честному человеку не стоит тратить на это своего честного негодования. Сидя в грязи по горло, эти люди принялись есть эту грязь - на здоровье. Благородным людям должно теперь крепче, чем когда-нибудь, держаться за себя и друг за друга. Пускай хоть эту пользу принесет смерть Гоголя".

На смерть Гоголя Т. откликнулся статьей "Письмо из Петербурга", опубликованной в "Московских ведомостях" 13 марта 1852 г.: "Гоголь умер! Какую русскую душу не потрясут эти два слова? - Он умер. Потеря наша так жестока, так внезапна,что нам всё еще не хочется ей верить. В то самое время, когда мы все могли надеяться, что он нарушит наконец свое долгое молчание, что он обрадует, превзойдет наши нетерпеливые ожидания, - пришла эта роковая весть! - Да, он умер, этот человек, которого мы теперь имеем право, горькое право, данное нам смертию, назвать великим; человек, который своим именем означил эпоху в истории нашей литературы; человек, которым мы гордимся, как одной из слав наших! - Он умер, пораженный в самом цвете лет, в разгаре сил своих, не окончил начатого дела, подобно благороднейшим из его предшественников... Его утрата возобновляет скорбь о тех незабвенных утратах, как новая рана возбуждает боль старинных язв. Не время теперь и не место говорить об его заслугах - это дело будущей критики; должно надеяться, что она поймет свою задачу и оценит его тем беспристрастным, но исполненным уважения и любви судом, которым подобные ему люди судятся перед лицом потомства; нам теперь не до того: нам только хочется быть одним из отголосков той великой скорби, которую мы чувствуем разлитою повсюду вокруг нас; не оценять его нам хочется, но плакать; мы не в силах говорить теперь спокойно о Гоголе... самый любимый, самый знакомый образ неясен для глаз, орошенных слезами... В день, когда его хоронит Москва, нам хочется протянуть ей отсюда руку - соединиться с ней в одном чувстве общей печали. Мы не могли взглянуть в последний раз на его безжизненное лицо, но мы шлем издалека наш прощальный привет - и с благоговейным чувством слагаем дань нашей скорби и

нашей любви на его свежую могилу, в которую нам не удалось, подобно москвичам, бросить горсть родимой земли! - Мысль, что прах его будет покоиться в Москве, наполняет нас каким-то горестным удовлетворением. Да, пусть он покоится там, в этом сердце России, которую он так глубоко знал и так любил, так горячо любил, что одни легкомысленные или близорукие люди не чувствуют присутствия этого любовного пламени в каждом им сказанном слове! Но невыразимо тяжело было бы нам подумать,что последние, самые зрелые плоды его гения погибли для нас невозвратно, - а мы с ужасом внимаем жестоким слухам об их истреблении. Едва ли нужно говорить о тех немногих людях, которым слова наши покажутся преувеличенными или даже вовсе неуместными... Смерть имеет очищающую и примиряющую силу; клевета и зависть, вражда и недоразумения - все смолкает перед самою обыкновенною могилой: они не заговорят над могилою Гоголя. Какое бы ни было окончательное место, которое оставит за ним история, мы уверены, что никто не откажется повторить теперь же вслед за нами: мир его праху, вечная память его жизни, вечная слава его имени!" Как и просил Т. в письме Е. М. Феоктистову, статья была подписана только инициалом: "Т......в" Ни один из петербургских журналов этот некролог не опубликовал. Причина этого заключалась в соперничестве властей Москвы и Петербурга. Первые превозносили Гоголя, другие, отражая мнение "высшего света", не простившего писателю "Ревизора" и первого тома "Мертвых душ", стремились предать жизнь и труды его забвению. Т. так вспоминал об этом: "Я препроводил эту статью в один из петербургских журналов; но именно в то время цензурные строгости стали весьма усиливаться с некоторых пор... Подобные "crescendo" происходили довольно часто - и для постороннего зрителя - так же беспричинно, как, например, увеличение смертности в эпидемиях. Статья моя не появилась ни в один из последовавших за тем дней. Встретившись на улице с издателем, я спросил его, что бы это значило. "Видите, какая погода, отвечал он мне иносказательною речью: - и думать нечего". - "Да ведь статья самая невинная!" - заметил я. "Невинная ли, нет ли, - возразил издатель, дело не в том; вообще имя Гоголя не велено упоминать. Закревский (московский генерал-губернатор. - Б. С.) на похоронах в андреевской ленте присутствовал: этого здесь переварить не могут". Вскоре потом я получил от одного приятеля из Москвы письмо, наполненное упреками. "Как! - восклицал он. - Гоголь умер, и хоть бы один журнал у вас в Петербурге отозвался. Это молчание постыдно!" В ответе моем я объяснил - сознаюсь, в довольно резких выражениях - моему приятелю причину этого молчания и в доказательство, как документ, приложил мою запрещенную статью. Он ее представил немедленно на рассмотрение тогдашнего попечителя Московского округа генерала Назимова и получил от него разрешение напечатать ее в "Московских ведомостях". Это происходило в половине марта, а 16 апреля я - за ослушание и нарушение цензурных правил - был посажен на месяц под арест в части (первые двадцать четыре часа я провел в сибирке и беседовал с изысканно вежливым и образованным полицейским унтер-офицером, который рассказывал мне о своей прогулке в Летнем саду и об "аромате птиц"), а потом отправлен на жительство в деревню. Я нисколько не намерен обвинять тогдашнее правительство: попечитель С-Петербургского

округа,теперь уже покойный Мусин-Пушкин, представил - из неизвестных мне видов - все дело как явное неповиновение с моей стороны; он не поколебался заверить высшее начальство, что он призывал меня лично и лично передал мне запрещение цензурного комитета печатать мою статью (одно цензорское запрещение не могло помешать мне - в силу существовавших постановлений - подвергнуть статью мою суду другого цензора), а я г. Мусина-Пушкина и в глаза не видал и никакого с ним объяснения не имел. Нельзя же было правительству подозревать сановника, доверенное лицо, в подобном искажении истины! Но все к лучшему; пребывание под арестом, а потом в деревне принесло мне несомненную пользу: оно сблизило меня с такими сторонами русского быта, которые при обыкновенном ходе вещей, вероятно, ускользнули бы от моего внимания". Как отмечает Т., "одна очень высокопоставленная дама - в Петербурге - находила, что наказание, которому я подвергся за эту статью, было незаслуженно - и, во всяком случае, слишком строго, жестоко. Словом, она горячо заступилась за меня. "Но ведь вы не знаете, - доложил ей кто-то: - он в своей статье называет Гоголя великим человеком!" - "Не может быть!" - "Уверяю вас". "А! в таком случае, я ничего не говорю. Je regretted, mais je comprends qu'on ait du sŷvir" ("Мне жаль, но я понимаю, что его следовало строго наказать"; франц.). Т. впервые охарактеризовал гоголевское творчество в рецензии на роман Евгении Тур "Племянница", опубликованной в № 1 "Современника" за 1852 г. Здесь он отнес талант Гоголя к "талантам самим по себе", которые как бы независимы, отделены от личности писателя. При этом Т. делал существенную оговорку: "Мы не хотим... сказать, чтобы таланты, названные нами независимыми, могли бы быть лишены постоянной внутренней связию с жизнию вообще - этого вечного источника всякого искусства - и с личностию писателя в особенности. Мы не верим в эти так называемые объективные таланты, которые будто сваливаются Бог весть откуда в чью-нибудь голову и сидят себе там, изредка чирикая, как птица в клетке; но, с другой стороны, мы не можем не чувствовать, что, например, лица Гоголя стоят, как говорится, на своих ногах, как живые, и что если есть между ними и творцом их необходимая духовная связь, то сущность этой связи остается для нас тайной, разрешение которой подпадает уже не критике, а психологии".

УВАРОВ Сергей Семенович (1786-1855), высокопоставленный чиновник и литератор. Родился в семье офицера. Крестницей У. была императрица Екатерина II. В 1846 г. У. был возведен в графское достоинство. В 1834-1849 гг. У. - министр народного просвещения, в 1815-1855 - президент Академии наук. Он был автором лозунга: "Самодержавие, православие, народность". Этот лозунг был включен в графский герб У. В профессуре У. ценил "чувство русское и непорочность мнений".

У. покровительствовал Гоголю. Последний хлопотал о профессуре в Киевском университете и составил предварительный план преподавания, в связи с чем 23 декабря 1833 г. писал А. С. Пушкину: "Я решился... не зевать и вместо словесных представлений набросать мои мысли и план преподавания на бумаге (речь идет о "Плане преподавания всеобщей истории". - Б. С.). Если бы Уваров был из тех, каких не мало у нас на первых местах, я бы не решился

просить и представлять ему мои мысли. Как и поступил я назад тому три года, когда мог бы занять место в Московском университете, которое мне предлагали, но тогда был Ливен (Карл Андреевич Ливен, министр народного просвещения в 1828-1833 годах. - Б. С.), человек ума недальнего. Грустно, когда некому оценить нашей работы. Но Уваров собаку съел. Я понял его еще более по тем беглым, исполненным ума замечаниям и глубоким мыслям во взгляде на жизнь Гёте (имеются в виду "Заметка о Гёте" (1832). - Б. С.). Не говоря уже о мыслях его по случаю экзаметров, где столько философического познания языка и ума быстрого (речь идет о письме У. Н.И. Гнедичу и ответе В.В. Капнисту, опубликованных в "Чтениях в беседе любителей русского слова" в 1813 и 1815 гг.; там доказывалось, что Гомера следует переводить гекзаметрами, а не александрийским или русским стихом. - Б.С.). Я уверен, что у нас он более сделает, нежели Гизо (французский историк, с 1830 г. министр просвещения. - Б. С.) во Франции. Во мне живет уверенность, что если я дождусь прочитать план мой, то в глазах Уварова он меня отличит от толпы вялых профессоров, которыми набиты университеты". У. действительно обратил внимание на Гоголя, но в первую очередь как на литератора, а не историка. Тем не менее, он решил, что он может быть полезен в деле преподавания всеобщей истории. Тут не обошлось и без ходатайства Пушкина. 13 мая 1834 г. Гоголь писал ему: "Я буду вас беспокоить вот какою просьбою: если зайдет обо мне речь с Уваровым, скажите, что вы были у меня и застали меня еле жива; при этом случае выбраните меня хорошенько за то, что живу здесь и не убираюсь сей же час вон из города; что доктора велели ехать сей же час и стараться захватить там это время. И сказавши, что я могу весьма легко через месяц протянуть совсем ножки, завесть речь о другом, как то: о погоде или о чем-нибудь подобном. Мне кажется, что это не совсем будет бесполезно". В тот же день Пушкин ответил: "Я совершенно с вами согласен. Пойду сегодня же назидать Уварова и поговорю о вашей смерти. От сего незаметным и искусным образом перейду к бессмертию, его ожидающему. Авось уладим". Свое действительное, а больше мнимое нездоровье Гоголь использовал для того, чтобы выхлопотать себе профессуру в Киеве - городе с мягким южным климатом. С той же целью он просил М. А. Максимовича в письме от 20 апреля 1834 г. похлопотать за него перед попечителем киевского учебного округа Е.Ф. Брадке, подчеркивая: "Тем более мне это нужно, что министр, кажется, расположен сделать для меня все, что можно, если бы только попечитель ему хоть слово прибавил от себя". Интересно, что именно Гоголь 16 днями ранее, 4 апреля, сам хлопотал у Уварова о переводе Максимовича из Московского в Киевский университет. А в следующем письме Максимовичу от 8 июня 1834 г. Гоголь сообщал, что "Сергей Семенович сам также, кажется, благоволит ко мне и очень доволен моими статьями". У. дал Гоголю тему одной из его статей "О средних веках". Но У. предпочел оставить Гоголя в Петербурге, и 24 июля 1834 г. Гоголь был назначен адъюнктом-профессором по кафедре истории императорского Санкт-Петербургского университета.

15 марта 1845 г. император Николай I поручил У. помочь Гоголю. 17 марта 1845 г. У. докладывал императору: "Министр императорского двора сообщил мне от 15 сего марта за № 828 по высочайшему вашего императорского

величества повелению для рассмотрения и доклада представленную е. и. в. великой княгине Марии Николаевне супругою церемониймейстера Смирнова записку о литераторе Гоголе, при сем всеподданейше прилагаемую. Писатель сей с самого начала литературной деятельности своей обратил на себя внимание неоспоримою оригинальностью дарования. Желая открыть ему способы к полезной деятельности, я определил Гоголя при С.-Петербургском университете в звание адъюнкт-профессора по кафедре истории; но направление его таланта не согласовалось с постоянными и серьезными занятиями; он оставил ученое звание, чтобы предаться литературе, и на этом поприще разные произведения приобрели уже ему известность. Гоголь, сколько мне известно, находится теперь за границею. Благодеяние вашего императорского величества оживит его деятельность на пользу отечественной словесности. От щедроты царской зависит определение мер пособия для поддержания его существования". И уже 24 марта У. сообщил монарху предлагаемые меры воспомоществования писателю: "По всеподданейшему докладу моему о представленной ее высочеству великой княгине Марии Николаевне супругою церемониймейстера Смирнова записке относительно литератора Гоголя, вашему император. величеству благоугодно было повелеть мне определить меру пособия, которое он заслуживает. При болезненном положении своем, Гоголь должен, по приговору врачей, пользоваться умеренным заграничным климатом и тамошними минеральными водами. Удостоение его на первый случай временного воспомоществования на три года по тысяче рублей серебром на каждый, из сумм государственного казначейства, будет, по моему мнению, истинным благодеянием милости царской". На этом докладе Николай I 25 марта наложил резолюцию: "согласен". Кроме 3 тыс. рублей, выделенных казначейством, такую же сумму добавил наследник престола великий князь Александр Николаевич, чьим воспитателем был хлопотавший за Гоголя В. А. Жуковский. В благодарственном письме У. за оказанную по поручению императора помощь, относящемся к апрелю1845 г., Гоголь утверждал, что "все, доселе мною написанное, не стоит большого внимания: хотя в основание его легла и добрая мысль, но выражено все так незрело, дурно, ничтожно и притом в такой степени не так, как бы следовало,что недаром большинство приписывает моим сочинениям скорее дурной смысл, чем хороший, и соотечественники мои извлекают извлеченья из них скорей не в пользу душевную, чем в пользу".

ФИЛАРЕТ, Святитель (в миру Дроздов Василий Михайлович,1782-1867), митрополит Московский и Коломенский, богослов и проповедник. В проповедях Ф. призывал к добродетелям молчания, смирения, терпения и преданности воли Божией.

Гоголь познакомился с Ф. в самом конце 1848 г., когда по совету А. О. Смирновой посетил Ф. Но еще 27 февраля 1844 г. Н. М. Языков в письме Гоголю рекомендовал ряд работ Ф.: "...Творений святых отцов, переведенных Троице-Сергиевой Лаврою, - теперь выходит третье издание за прошлый год - и "Москвитянина" за 1843 пришлю; там есть отлично-прекрасная проповедь Филарета на освящение храма в оной Лавре - так, как в прибавлениях к

переводам св. отцов, его же беседа на Благовещение и слово в 1-й день Пасхи!! Ты их прочтешь с большим удовольствием".

5 марта н. ст. 1845 г. Гоголь просил Ф. Н. Беляева прислать ему во Франкфурт стихотворный ответ Ф. на пушкинское стихотворение "Дар напрасный, дар случайный..." В конце марта (н. ст.) 1845 г. он получил от Беляева стихи Ф.: "Не напрасно, не случайно жизнь от Господа дана..." В конце 1851 г. Гоголь собирался посетить Ф., но так и не осуществил это намерение. Тогда же он писал С. П. Шевыреву: "К митрополиту я хотел ехать вовсе не затем, чтобы беседовать о каких-либо умных предметах, на которые, право, в нынешнее время поглупел. Мне хотелось только прийти к нему на две минутки и попросить молитв, которые так необходимы изнемогающей душе моей".

24 января 1851 г. в Одессе у Репниных Гоголь читал проповедь Ф. "Ищите Царствия Божия!". Митрополит был духовно близким Гоголю человеком. 10 февраля 1851г. он просил графа А. П. Толстого передать его рукописи Ф., чтобы тот решил, что из гоголевских текстов стоит печатать, а что подлежит уничтожению. Но Толстой отказался это сделать, опасаясь, что, расставшись с рукописями, Гоголь еще больше утвердится в мысли о смерти. В результате Гоголь сам отобрал рукописи для сожжения, в том числе и беловик "Мертвых душ". 17 февраля Толстой посетил Ф. и просил его, как одного из немногих действительно авторитетных для Гоголя людей в церковных вопросах, убедить больного следовать указаниям врачей. Узнав об изнурительном посте и болезни Гоголя, митрополит прослезился и сказал, что Гоголя надо убеждать, что спасение его не в посте, а в послушании. Ф. также просил ежедневно докладывать ему о состоянии Гоголя приходского священника о. Алексия Соколова и духовника Гоголя о. Иоанна Никольского. Он расспросил их о ходе болезни и просил их передать писателю, чтобы он исполнял то, что требуют врачи.

ФИЛАРЕТ, иеромонах, (1785-1864), наместник Московского Новоспасского монастыря в 1839-1843 гг., с 1843 г. - в Оптиной Пустыни. Гоголь познакомился с Ф. во время посещения Оптиной Пустыни 7-19 июня 1850 г.

20 июня 1850 г. из имения И. В. Киреевского Долбино Гоголь писал Ф.: "Ради Самого Христа, молитесь обо мне, отец Филарет. Просите вашего достойного настоятеля, просите всю братию, просите всех, кто у вас усерднее молится и любит молиться, просите молитв обо мне. Путь мой труден, дело мое такого рода, что без ежеминутной, без ежечасной и без явной помощи Божией не может двинуться мое перо, и силы мои не только ничтожны, но их нет без освеженья свыше. Говорю вам об этом неложно. Ради Христа, обо мне молитесь. Покажите эту записочку мою отцу игумену и умоляйте его вознести свои мольбы обо мне грешном, чтобы удостоил Бог меня недостойного поведать славу имени Его, не посмотря на то, что я всех грешнейший и недостойнейший. Он силен, милосердный, сделать всё и меня, черного, как уголь, убелить и возвести до той чистоты, до которой должен достигнуть писатель, дерзающий говорить о святом и прекрасном. Ради Самого Христа, молитесь. Мне нужно ежеминутно, говорю вам, быть мыслями выше житейского дрязгу и на всяком месте своего странствия быть в Оптинской пустыне. Бог да воздаст вам всем

сторицею за ваше доброе дело.Ваш всей душою Николай Гоголь".

ХАЛЧИНСКИЙ Иван Дмитриевич (1811-1856), товарищ Гоголя по Нежинской гимназии, окончивший ее в 1829 г. Позднее он служил советником российского посольства в Константинополе и генеральным консулом в Молдавии и Валахии.

Как вспоминал X., в гимназии Гоголь вместе с К. М. Базили издавал рукописный журнал "Северная Заря", "в желтой обертке с виньетками, которые сами они рисовали, и по воскресеньям это читалось в заседании всего литературного общества воспитанников". Гоголь, направляясь в Иерусалим, в середине апреля 1848 г. останавливался в Константинополе у X. в посольстве. Оттуда Гоголь 13/25 апреля 1848 г. писал А. П. Толстому: "...Рекомендую вам моего сотоварища по школе, Халчинского. Он очень доброго сердца, благороден и весьма дельный человек".

ХЛЕСТАКОВ Иван Александрович, персонаж комедии "Ревизор". Как заметил Владимир Набоков: "Сама фамилия Хлестаков гениально придумана, потому что у русского уха она создает ощущение легкости, бездумности, болтовни, свиста тонкой тросточки, шлепанья об стол карт, бахвальства шалопая и удальства покорителя сердец (за вычетом способности довершить и это, и любое другое предприятие). Хлестаков порхает по пьесе, не желая толком понимать, какой он поднял переполох, и жадно стараясь урвать все, что подкидывает ему счастливый случай. Он добрая душа, по-своему мечтатель и наделен неким обманчивым обаянием, изяществом повесы, услаждающего дам, привыкших к грубым манерам дорожных городских тузов. Он беспредельно и упоительно вульгарен, и дамы вульгарны, и тузы вульгарны - вся пьеса, в сущности (по-своему, как и "Госпожа Бовари"), состоит из особой смеси различных вульгарностей, и выдающееся художественное достоинство целого зависит (как и во всяком шедевре) не от того, что сказано, а от того, как это сказано, от блистательного сочетания маловыразительных частностей. Как в чешуйках насекомых поразительный красочный эффект зависит не столько от пигментации самих чешуек, сколько от их расположения, способности преломлять свет, так и гений Гоголя пользуется не основными химическими свойствами материи ("подлинной действительностью" литературных критиков), а способными к мимикрии физическими явлениями, почти невидимыми частицами воссозданного бытия. X. вполне оправдывает свою фамилию. Говорит он "хлестко", напропалую "ухлестывает" за женой и дочерью Городничего, "хлещет" спиртное на обеде у городничего".

Исчерпывающую характеристику дал X. сам Гоголь в "Отрывке из письма, писанного автором вскоре после первого представления "Ревизора" к одному литератору": "Главная роль пропала; так я и думал. Дюр ни на волос не понял, что такое Хлестаков. Хлестаков сделался чем-то вроде Альнаксарова (героя комедии Н. И. Хмельницкого "Воздушные замки" (1818). - Б.С.), чем-то вроде целой шеренги водевильных шалунов, которые пожаловали к нам повертеться из парижских театров. Он сделался просто обыкновенным вралем, бледное лицо, в продолжение двух столетий являющееся в одном и том же костюме.

Неужели в самом деле не видно из самой роли, что такое Хлестаков? Или мною овладела довременно слепая гордость и силы мои совладеть с этим характером были так слабы, что даже и тени и намека в нем не осталось для актера? А мне он казался ясным. Хлестаков вовсе не надувает; он не лгун по ремеслу; он сам позабывает, что лжет, и уже сам почти верит тому, что говорит. Он развернулся, он в духе, видит, что всё идет хорошо, его слушают - и по тому одному он говорит плавнее, развязнее, говорит от души, говорит совершенно откровенно и, говоря ложь, выказывает именно в ней себя таким, как есть. Вообще у нас актеры совсем не умеют лгать. Они воображают, что лгать - значит просто нести болтовню. Лгать - значит говорить ложь тоном, так близким к истине, так естественно, так наивно, как можно только говорить одну истину; и здесь-то заключается именно все комическое лжи. Я почти уверен, что Хлестаков более бы выиграл, если бы я назначил эту роль одному из самых бесталанных актеров и сказал бы ему только, что Хлестаков есть человек ловкий, совершенный comme il faut, умный и даже, пожалуй, добродетельный, и что ему остается представить его именно таким. Хлестаков лжет вовсе не холодно или фанфаронски-театрально; он лжет с чувством; в глазах его выражается наслаждение, получаемое им от этого. Это вообще лучшая и самая поэтическая минута в его жизни - почти род вдохновения. И хоть бы что-нибудь из этого было выражено! Никакого тоже характера, то есть лица, то есть видимой наружности, то есть физиономии, - решительно не дано было бедному Хлестакову. Конечно, несравненно легче карикатурить старых чиновников в поношенных вицмундирах с потертыми воротниками; но схватить те черты, которые довольно благовидны и не выходят острыми углами из обыкновенного светского круга, - дело мастера сильного. У Хлестакова ничего не должно быть означено резко. Он принадлежит к тому кругу, который, по-видимому, ничем не отличается от прочих молодых людей. Он даже хорошо иногда держится, даже говорит иногда с весом, и только в случаях, где требуется или присутствие духа, или характер, выказывается его отчасти подленькая, ничтожная натура. Черты роли какого-нибудь городничего более неподвижны и ясны. Его уже обозначает резко собственная, неизменяемая, черствая наружность и отчасти утверждает собою его характер. Черты роли Хлестакова слишком подвижны, более тонки, и потому труднее уловимы. Что такое, если разбирать в самом деле, Хлестаков? Молодой человек, чиновник, и пустой, как называют, но заключающий себе много качеств, принадлежащих людям, которых свет не называет пустыми. Выставить эти качества в людях, которые не лишены, между прочим, хороших достоинств, было бы грехом со стороны писателя, ибо он тем поднял бы их на всеобщий смех. Лучше пусть всякий отыщет частицу себя в этой роли и в то же время осмотрится вокруг без боязни и страха, чтобы не указал кто-нибудь на него пальцем и не назвал бы его по имени. Словом, это лицо должно быть тип многого разбросанного в разных русских характерах, но которое здесь соединилось случайно в одном лице, как весьма часто попадается и в натуре. Всякий хоть на минуту, если не на несколько минут, делался или делается Хлестаковым, но, натурально, в этом не хочет только признаться; он любит даже и посмеяться над этим фактом, но только, конечно, в коже другого, а не в собственной. И ловкий гвардейский офицер окажется иногда Хлестаковым, и

государственный муж окажется иногда Хлестаковым, и наш брат, грешный литератор, окажется подчас Хлестаковым. Словом, редко кто им не будет хоть раз в жизни, - дело только в том, что вслед за тем очень ловко повернется, и как будто бы и не он. Итак, неужели в моем Хлестакове не видно ничего этого? Неужели он просто бледное лицо, а я, в порыве минутно-горделивого расположения, думал, что когда-нибудь актер обширного таланта возблагодарит меня за совокупление в одном лице толиких разнородных движений, дающих ему возможность вдруг показать все разнообразные стороны своего таланта? И вот Хлестаков вышел детская, ничтожная роль! Это тяжело и ядовито-досадно". В "Замечаниях для господ актеров" Гоголь так описал X.: "Хлестаков, молодой человек лет двадцати трех, тоненький, худенький; несколько приглуповат и, как говорят, без царя в голове, - один из тех людей, которых в канцеляриях называют пустейшими. Говорит и действует без всякого соображения. Он не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли. Речь его отрывиста, и слова вылетают из уст его совершенно неожиданно.Чем более исполняющий эту роль покажет чистосердечия и простоты, тем более он выиграет". X., лишенный "всякого соображения", оказывается идеальным отражателем чиновничьих страхов, не разрушая их никакими сложными умственными конструкциями.

В. Г. Белинский в "Ответе "Москвитянину" (1847) подчеркнул, что черты X. можно встретить у многих, в других отношениях весьма достойных людей: "Бывают люди с умом, душою, образованием, познаниями, блестящими дарованиями - и, при всем этом, с тем качеством, которое теперь известно на Руси под именем "хлестаковства". Скажем больше: многие ли из нас, положа руку на сердце, могут сказать, что им не случалось быть Хлестаковыми, кому целые года своей жизни (особенно молодости), кому хоть один день, один вечер, одну минуту?"

X., если вспомнить эпиграф к "Ревизору": "На зеркало неча пенять, если рожа крива", - это только зеркало, в котором отражаются пороки всех других персонажей пьесы. В "Развязке Ревизора" Гоголь так определяет значение X.: "Хлестаков - щелкопер, Хлестаков - ветреная светская совесть, продажная, обманчивая совесть; Хлестакова подкупят как раз наши же, обитающие в душе нашей, страсти. С Хлестаковым под руку ничего не увидишь в душевном городе нашем. Смотрите, как всякий чиновник с ним в разговоре вывернулся ловко и оправдался, - вышел чуть не святой".

В последнем чтении "Ревизора" Гоголя 5 ноября 1851 г., адресованном прежде всего московским актерам, драматург особо выделил те качества X., которые придают ему искренность и потому он вызывает полное доверие у других персонажей. И. С. Тургенев так запечатлел в мемуарах образ X. в гоголевском исполнении: "...В известной сцене, где Хлестаков завирается, Гоголь... ободрился и возвысил голос: ему хотелось показать исполняющему роль Ивана Александровича, как должно передавать это действительно затруднительное место. В чтении Гоголя оно показалось мне естественным и правдоподобным. Хлестаков увлечен и странностью своего положения, и окружающей его средой, и собственной легкомысленной юркостью; он и знает, что врет, и верит своему вранью; это нечто вроде упоения, наития,

сочинительского восторга - это не простая ложь, не простое хвастовство. Его самого "подхватило". "Просители в передней жужжат, тридцать пять тысяч эстафетов скачет - а дурачье, мол, слушает, развесив уши, и какой я, мол, бойкий, игривый, светский молодой человек!" Вот какое впечатление производил в устах Гоголя хлестаковский монолог".

Единоутробный брат А. О. Смирновой Леонид Иванович Арнольди (1822-1860) вспоминал, как Гоголь оценивал исполнение Х. актером Малого театра Сергеем Васильевичем Шумским (1820-1878) в октябре 1851 г. (этот спектакль Гоголь смотрел дважды): "...Я встретил Гоголя у сестры и объявил ему, что иду в театр, где дают "Ревизора", и что Шумский в первый раз играет в его комедии роль Хлестакова. Гоголь поехал с нами, и мы поместились, едва достав ложу, в бенуаре. Театр был полон. Гоголь говорил, что Шумский лучше всех других актеров петербургских и московских передавал эту трудную роль, но не был доволен, сколько я помню, тою сценою, где Хлестаков начинает завираться перед чиновниками. Он говорил, что Шумский передавал этот монолог слишком тихо, вяло, с остановками, а он желал представить в Хлестакове человека, который рассказывает небылицы с жаром, с увлечением, который сам не знает, каким образом слова вылетают у него изо рта, который в ту минуту как лжет, не думает вовсе, что он лжет, а просто рассказывает то, что грезится ему постоянно, чего он желал бы достигнуть, и рассказывает как будто эти грезы в его воображении сделались уже действительностию, но иногда в порыве болтовни заговаривается, действительность мешается у него с мечтами и он от посланников, от управления департаментом, от приемной залы переходит, сам того не замечая, на пятый этаж, к кухарке Марфуше. "Хлестаков - это живчик, - говорил Гоголь, - он всё должен делать скоро, живо, не рассуждая, почти бессознательно, не думая ни одной минуты, что из этого выйдет, как это кончится и как его слова и действия будут приняты другими". Вообще, комедия в этот раз была разыграна превосходно. Многие в партере заметили Гоголя, и лорнеты стали обращаться на нашу ложу. Гоголь, видимо, испугался какой-нибудь демонстрации со стороны публики, и, может быть, вызовов, и после вышеописанной сцены вышел из ложи так тихо, что мы и не заметили его отсутствия. Возвратившись домой, мы застали его у сестры распивающим, по обыкновению, теплую воду с сахаром и красным вином. Тут он и передал мне свое мнение об игре Шумского, которого талант он ставил очень высоко".

Х. с одинаковой искренностью изрекает прямо противоположные сентенции. То утверждает "люст-принцип" позднейшего Фрейда: "Ведь на то живешь, чтобы срывать цветы удовольствия". То алкает духовного, когда признается в письме Тряпичкину: "Скучно, брат, так жить, хочешь, наконец, пищи для души. Вижу, точно, надо чем-нибудь высоким заняться". На самом же деле Х., из-за своей полнейшей пустоты, не хочет ни срывать цветы удовольствия, ни высоким заниматься. Его несет по волнам жизни, и занимается он только тем, что предлагают ему окружающие, будь то капитан-шулер или провинциальные кокотки. А дай ему кто в руки Евангелие, он и Евангелие будет читать. И потому он столь убедительно выглядит тем, кого в нем хотят видеть, жалким "регистраторишкой" или всесильным генерал-губернатором. Х. нечего скрывать, потому что у него, подлинно, нет ничего за душой. Он - идеальное

зеркало людских пороков.

Д. С. Мережковский так характеризовал Х.: "Дух его родствен духу времени. "Я литературой существую", - говорит Хлестаков, - и это не ложь, а глубокое признание. Он друг не только Тряпичкина, Булгарина, Сенковского, Марлинского, но и самого Пушкина, камер-юнкера, которому в лице какого-нибудь модного, великосветского хлыща, совершенного comme il faut, одного из бесчисленных однодневных приятелей Александра Сергеевича, "доброго малого", пожимает руку на придворных балах со снисходительной развязностью: "Ну, что, брат?" - "Да так, брат, - отвечал бывало тот. - Так как-то все"... "Большой оригинал!" И ведь уж, конечно, та сплетня, от которой Александр Сергеевич погиб, обошлась не без участия Ивана Александровича Хлестакова. Пушкин погиб, а Хлестаков процветает".

Одним из прототипов Х. послужил М.Н. Загоскин, роман которого "Юрий Милославский" главный герой "Ревизора" выдает за свое собственное произведение. Хвастовство Х. в монологе о 35 тысячах курьеров пародирует хвастовство Загоскина при первой встрече с Гоголем в июле 1832 г. Кстати сказать, М.Н. Загоскин был не только драматургом, но и чиновником, только не коллежским регистратором, как Х., а весьма крупным, возглавляя с 1831 г. московские императорские театры. Познакомивший их с Гоголем С. Т. Аксаков свидетельствует: "Загоскин, также давно прочитавший "Диканьку" и хваливший ее, в то же время не оценил вполне; а в описаниях украинской природы находил неестественность, напыщенность, восторженность молодого писателя; он находил везде неправильность языка, даже безграмотность. Последнее очень было забавно, потому что Загоскина нельзя было обвинить в большой грамотности. Он даже оскорблялся излишними, преувеличенными, по его мнению, нашими похвалами. По добродушию своему и по самолюбию человеческому ему приятно было, что превозносимый всеми Гоголь поспешил к нему приехать. Он принял его с отверстыми объятиями, с криком и похвалами; несколько раз принимался целовать Гоголя, потом принялся обнимать меня, бил кулаком в спину, называл хомяком, сусликом, и пр., и пр.; одним словом, был вполне любезен по-своему. Загоскин говорил без умолку о себе: о множестве своих занятий, о бесчисленном количестве прочитанных им книг, о своих археологических трудах, о пребывании в чужих краях (он не был далее Данцига), о том, что он изъездил вдоль и поперек всю Русь и пр., и пр. Все знают, что это совершенный вздор и что ему искренно верил один Загоскин. Гоголь принял это сразу и говорил с хозяином, как будто век с ним жил, совершенно в пору и в меру. Он обратился к шкафам и книгам... Тут началась новая, а для меня уже старая история: Загоскин начал показывать и хвастаться книгами, потом табакерками и наконец шкатулками. Я сидел молча и забавлялся этой сценой. Но Гоголю она наскучила довольно скоро: он вдруг вынул часы и сказал,что ему пора идти, обещал еще забежать как-нибудь и ушел". Вероятно, М.Н. Загоскин узнал себя в Х. и неслучайно возмущался по поводу эпиграфа к "Ревизору", спрашивая у своих друзей: "Ну, скажите, где моя рожа крива?"

В. Г. Белинский в статье "О русской повести и повестях г. Гоголя" (1835) назвал Х. вторым лицом комедии после Городничего: "Сцена явления Хлестакова в доме городничего в сопровождении свиты из городского

чиновничества и самого Сквозника-Дмухановского; представление Анны Андреевны и Марии Антоновны; любезничанье и вранье Хлестакова - каждое слово, каждая черта во всем этом, общность и характер всего этого торжество искусства, чудная картина, написанная великим мастером, никогда не желанное, никем не подозревавшееся изображение всеми виденного, всем знакомого, и, несмотря на то, всех удивившего и поразившего своею новостию и небывалостию!.. Здесь характер Хлестакова - этого второго лица комедии развертывается вполне, раскрывается до последней видимости своей и микроскопической мелкости и гигантской пошлости. К сожалению, это лицо понято меньше прочих лиц и еще не нашло для себя достойного артиста на театрах обеих столиц. Многим характер Хлестакова кажется резок, утрирован, если можно так выразиться, его болтовня, напоминающая не любо, не слушай врать не мешай, - изысканно-неправдоподобною. Но это потому, что всякий хочет видеть и, следовательно, видит в Хлестакове свое понятие о нем, а не то, которое существенно заключается в нем. Хлестаков является к городничему в дом после внезапной перемены его судьбы: не забудьте, что он готовился идти в тюрьму, а между тем нашел деньги, почет, угощение, что он после невольного и мучительного голода наелся досыта, отчего и без вина можно прийти в какое-то полупьяное расслабление, а он еще и подпил. Как и отчего произошла эта внезапная перемена в его положении, отчего перед ним стоят все навытяжку - ему до этого нет дела; чтобы понять это, надо подумать, а он не умеет думать, он влечется, куда и как толкают его обстоятельства. В его полупьяной голове при обремененном желудке все передвоилось, все переменилось - и Смирдин с Брамбеусом, и "Библиотека" с "Сумбекою", и "Маврушка" с посланником. Слова вылетают у него вдохновенно; оканчивая последнее слово фразы, он не помнит его первого слова. Когда он говорил о своей значительности, о связях с посланниками, он не знал, что он врет, и нисколько не думал обманывать: сказав первую фразу, он продолжает как бы против воли, как камень, толкнутый с горы, катится уже не посредством силы, а собственною тяжестию. "Меня даже хотели сделать вицеканцлером (зевает во всю глотку). О чем, бишь, я говорил?" Если бы ему сказали, что он говорил о том, как отец секал его розгами, он, наверное, уцепился бы за эту мысль и начал бы не говорить, а как будто продолжать, что это очень больно, что он всегда кричал, но что "при нынешнем образовании этим ничего не возьмешь". Многие почитают Хлестакова героем комедии, главным ее лицом. Это несправедливо. Хлестаков является в комедии не сам собою, а совершенно случайно, мимоходом, и притом не самим собою, а ревизором. Но кто его сделал ревизором? страх городничего, следовательно, он создание испуганного воображения городничего, призрак, тень его совести. Поэтому он является во втором действии и исчезает в четвертом, - и никому нет нужды знать, куда он поехал и что с ним стало: интерес зрителя сосредоточен на тех, которых страх создал этот фантом, а комедия была бы не кончена, если бы окончилась четвертым актом. Герой комедии - городничий как представитель этого мира призраков". Позднее, в письме Гоголю от 20 апреля 1842г., В. Г. Белинский уже готов был признать в Х. героя, равноправного с Городничим: "Теперь я понял, почему вы Хлестакова считаете героем вашей комедии и понял, что он точно герой ее..." Х. уподобляется мелкому черту. Неслучайно

Гоголь наградил его такой мечтой: "...А хорошо бы, черт побери, приехать домой в карете, подкатить эдаким чертом к какому-нибудь соседу-помещику под крыльцо, с фонарями, а Осипа сзади одеть в ливрею".

А. К. Воронский в книге "Гоголь" (1934) утверждал: "Фигура Хлестакова воздушна; во всякий момент она готова расплыться туманным пятном. Он весь в неверном полете. Недаром появляется он внезапно и так же внезапно исчезает. Куда исчезает, почему? Не человек, а тень, мираж, мыльный пузырь. Он лишен всякого ядра; он тот, кого из него хотят сделать. Трусость городничего и боязнь возмездия превращают Хлестакова в ревизора. Хотят, чтобы он беспросветно лгал, он лжет беспросветно и вдохновенно. Анна Андреевна и ее дочь делают его ловеласом, женихом. Осип увозит его из города. Он всем подчиняется. Во всякий момент он готов облечься в чужую личину, перевоплотиться, он должен, он непременно всегда будет делать, потому что у него нет ничего своего. Он - пустышка, дыра, ничто. Отсюда и вранье его. Он лжет, потому что должен придумывать себя, чтобы кем-нибудь быть. Как только Хлестаков перестанет играть, лгать, он действительно сделается "сосулькой", "вертопрахом", "елистратишкой". Его ложь - некое самоутверждение себя; иначе он "везде, везде". Самое страшное, когда Хлестаков остается наедине с собой. Он всегда должен быть на людях".

Д. С. Мережковский в статье "Гоголь и черт" (1906) подчеркнул: "В Хлестакове, кроме реального человеческого лица, есть "призрак". "Это фантасмагорическое лицо, - говорит Гоголь, - которое, как лживый олицетворенный обман, унеслось вместе с тройкой Бог знает куда"... В качестве реальной величины в государстве Хлестаков - ничтожество... Собственный лакей его, дурак (здесь Мережковский ошибся, Гоголь не только подчеркивает, что Осип умнее своего барина", но и наделяет его безусловным здравым смыслом. - Б. С.) и плут, презирает барина... Он, однако, сын дворянина, старосветского помещика из глубины России. Но никакой связи со своим родом, землею он не сохранил. Он весь до мозга костей - петербургский безземельный "пролетарий", безродный, искусственный человек - гомункул, выскочивший из "петровской табели о рангах", как из алхимической склянки... Как личность умственная и нравственная, Хлестаков отнюдь не полное ничтожество... В нем есть все, что теперь в ход пошло и что впоследствии окажется пошлым. "Одет по моде", и говорит, и думает, и чувствует по моде... Он как все: и ум, и душа, и слова, и лицо у него как у всех... Сущность Хлестакова именно в... неопределенности, неоконченности... Он, как выражается черт Ивана Карамазова, "потерял все свои концы и начала"; он воплощенное отрицание всех концов и начал, воплощенная нравственная и умственная середина, посредственность. Но главные силы, которые движут и управляют им, - не в общественной и не в умственной или нравственной личности, а в безличном, бессознательном, стихийном существе его - в инстинктах. Тут прежде всего слепой животный инстинкт самосохранения неимоверный волчий голод... Это не просто мужичий голод, который насыщается хлебом насущным, а благородный, господский. В праве на удовлетворение этого голода Хлестаков сознает себя в высшей степени барином: "Ты растолкуй ему серьезно, что мне нужно есть... Он думает, что как ему, мужику, ничего, не поест день, так и

другим то же. Вот новости!"... Природа, наделив его такою потребностью, вооружила и особою силою для ее удовлетворения - силою лжи, притворства, уменья казаться не тем, что он есть. И эта сила у него опять-таки не в уме, не в воле, а в глубочайшем бессознательном инстинкте... Зрители смеются и не понимают страшного в смешном, не чувствуют, что они, может быть, обмануты еще больше, чем глупые чиновники. Никто не видит, как растет за Хлестакова исполинский призрак, тот, кому собственные страсти наши вечно служат, которого они поддерживают, как поскользнувшегося ревизора - чиновники, как великого Сатану - мелкие черти. Кажется, и доныне никто не увидел, не узнал его, хотя он уже является "в своем собственном виде", без маски или в самой прозрачной из масок, и бесстыдно смеется людям в глаза и кричит: "Это я, я сам! Я - везде, везде!".

Как полагал Ю. М. Лотман в книге "В школе поэтического слова" (1988), основа вранья Х. - "бесконечное презрение к себе самому. Вранье потому и опьяняет Хлестакова, что в вымышленном мире он может перестать быть самим собой, отделаться от себя, стать другим, поменять первое и третье лицо местами, потому что сам-то он глубоко убежден в том, что подлинно интересен может быть "он", а не "я". Это придает хвастовству Хлестакова болезненный характер самоутверждения. Он превозносит себя потому, что втайне полон к себе презрения... Раздвоение... уже заложено в Хлестакове: "Я только на две минуты захожу в департамент с тем только, чтобы сказать: это вот так, это вот так, а там уж чиновник для письма, эдакая крыса, пером только: тр, тр... пошел писать" (здесь еще - и скрытый намек на сон Городничего о крысах - Х., которого приняли за ревизора, чуть ли ни за генерал-губернатора, на поверку оказывается "канцелярской крысой", так что можно сказать, что сон Городничего сбылся, но весьма необычным образом. Б. С.). В этом поразительном пассаже Хлестаков, воспаривший в мир вранья, приглашает собеседников посмеяться над реальным Хлестаковым. Ведь "чиновник для письма, эдакая крыса" - это он сам в его действительном петербургско-канцелярском бытии!"

ХОМЯКОВ Алексей Степанович (1804-1860) - поэт, философ и публицист славянофильского направления. Был женат на Екатерине Михайловне Языковой, сестре поэта Н. М. Языкова. Гоголь и Х. познакомились в Москве в феврале 1840 г. на вечеринке у Свербеевых, где присутствовали многие вожди славянофилов. В связи с этим Н. М. Языков 15 января 1842 г. писал своему брату Александру Михайловичу Языкову (1799-1874), что Гоголь "живет у Погодина пустыннически, однако же бывает у Хомяковых. Само собой разумеется, он ничуть не участвует в спорах диалектических, которые снова начались у Свербеевых".

В июле 1847 года Х. и Гоголь встречались в Эмсе и Остенде. 8 июля 1847 г. в письме неизвестному Х. сообщал: "Гоголь погостил здесь, в Эмсе, четыре дня. Он бодр и хорош; но нисколько нельзя предвидеть, что он будет писать или делает. Сам не знает". В августе Гоголь провожал Х., уезжавшего в Англию. В связи с этим 8 августа 1847 г. он писал А.П. Толстому: "Хомяков, между прочим, привез с собой катехизис, отысканный им на греческом языке в

рукописи, и перевод его на русский, тоже в рукописи. Катехизис необыкновенно замечательный. Еще нигде не была доселе так отчетливо и ясно определена Церковь, ее границы, ее пределы. Всё в таком виде и в такой логической последовательности, что может сильно подействовать на немцев и англичан. По моему мнению, на французский язык его не следует вовсе переводить. Французов могут познакомить с ним немцы и англичане, своими собственными сочинениями, которые, без сомнения, появятся не в малом количестве по поводу этой книги в той и другой земле". За новонайденный греческий катехизис Х. выдавал собственное сочинение "Церковь одна". По цензурным соображениям, из-за того, что содержание трактата расходилось с догмами ортодоксального православия, Х. вынужден был скрывать свое авторство. "Церковь одна" была впервые опубликована только в 1864 г., уже после смерти Х., в 13-м томе журнала "Православное обозрение".

В январе 1850 г. Х. с удовлетворением писал из Москвы историку А. Н. Попову: "Гоголь очень весел и, следовательно, трудится". В этом же году Гоголь стал крестником сына Х. Николая. 4 марта 1850 г. Гоголь читал Х. и Ю. Ф. Самарину первую главу второго тома "Мертвых душ".

Смерть Е. М. Хомяковой потрясла Гоголя и сыграла роковую роль в развитии его последней болезни. В феврале 1852 г. Х. сообщал А. Н. Попову: "Смерть моей жены и мое горе сильно потрясли Гоголя; он говорил, что в ней для него снова умирают многие, которых он любил всею душою, особенно же Н. М. Языков. На панихиде он сказал: "Все для меня кончено!" С тех пор он был в каком-то нервном расстройстве, которое приняло характер религиозного помешательства. Он говел и стал морить себя голодом, попрекая себя в обжорстве". 14 февраля 1852 г. Гоголь, по свидетельству Х., заявил: "Надобно меня оставить, я знаю, что должен умереть".

Х. очень глубоко характеризовал творчество Гоголя. Чарльза Диккенса он числил всего лишь "меньшим братом нашего Гоголя" ("Мнение иностранцев о России", 1845). В речи, произнесенной в Обществе любителей Российской словесности 26 марта 1859 года, Х. так охарактеризовал творчество Гоголя: "Художник, во сколько он был мыслитель, становился постоянно поневоле, так же как и вся мысль общества, в чисто отрицательное отношение к русской жизни. Высший всех своих предшественников по фантазии, по глубине чувства и по творческой силе, Гоголь разделил ту же участь. В первых своих творениях, живой, искренний, коренной малоросс, он шел не колеблясь, полный тех стихий народных, от которых, к счастию своему, Малороссия никогда не отрывалась. Глубокая и простодушная любовь дышит в каждом его слове, в каждом его образе. Правда, в наше время нашлись из его земляков такие, которые попрекали ему в недостатке любви к родине и понимания ее (имеется в виду критика со стороны П. А. Кулиша, утверждавшего в ряде статей 1850-х годов, что Гоголь плохо знает украинский быт. - Б. С.). Их тупая критика и актерство неискренней любви не поняли, какая глубина чувства, какое полное поглощение в быт своего народа нужны, чтобы создать и Старосветского помещика, и великолепную Солоху, и Хому Брута с ведьмою-сотничихою, и все картины, в которых так и дышит малороссийская природа, и ту чудную эпопею, в которой сын Тараса Бульбы, умирающий в пытках за родину и веру, находит голос

только для одного крика: "Слышишь ли, батьку?", а отец, окруженный со всех сторон враждебным народом и враждебным городом, не может удержать громкого ответа: "Слышу!" Впрочем, я не стану говорить ни об этой тупой критике, ни об актерстве народности, не понимающем малороссиянина Гоголя. В иных отношениях был Гоголь к нам, великорусам: тут его любовь была уже отвлеченнее; она была более требовательна, но менее ясновидища. Она выразилась характером отрицания, комизма, и, когда неудовлетворенный художник стал искать почвы положительной, уходящей от его приисков, томительная борьба с самим собою, с чувством какой-то неправды, которой он победить не мог, остановила его шаги и, может быть, истощила его жизненные силы... Гоголь любил Малороссию искреннее, полнее, непосредственнее; всю Русь любил он больше, много требовательнее, святее. Над его жизнью и над его смертью, так же как в другом отношении над жизнью и смертью любимого им Иванова (художника, автора картины "Явление Христа народу". - Б. С.), задумается еще не одно поколение".

ХОМЯКОВА Екатерина Михайловна (урожденная Языкова, 1817-1852), сестра Н. М. Языкова и жена А. С. Хомякова, один из самых близких Гоголю людей. Гоголь крестил сына Х. Николая, родившегося в 1850 г. Они познакомились в Москве в 1840г. В 1841 г. Х. писала Н. М. Языкову: "Все здесь нападают на Гоголя, говоря, что слушая его разговор, нельзя предположить чего-нибудь необыкновенного; Иван Васильевич Киреевский говорил, что с ним почти говорить нельзя: до того он пуст. У них кто не кричит, тот и глуп".

26 января 1852 г. Х скоропостижно скончалась. На следующий день Гоголь был на панихиде по Х. и едва достоял церемонию до конца. Над гробом Х. он произнес: "Ничто не может быть торжественнее смерти. Жизнь не была бы так прекрасна, если бы не было смерти". 28 января 1852 г. Гоголь был у Аксаковых и расспрашивал, где похоронят Х. Как вспоминал С. Т. Аксаков, "Гоголь, казалось, совершенно перенесся мыслями туда и оставался в том же положении так долго, что мы нарочно заговорили о другом, чтобы прервать его мысли". В. С. Аксакова писала матери Гоголя: "Гоголь был на первой панихиде и насилу мог остаться до конца. На другой день он был у нас и говорил, что это его очень расстроило... Спросил, где ее положат. Покачал головою, сказал что-то о Языкове и задумался так, что нам страшно стало: он, казалось, совершенно перенесся мыслями туда и оставался в том же положении так долго, что мы нарочно заговорили о другом, чтоб прервать его мысли". Присутствовать на похоронах Х., которые состоялись 29 января, Гоголь был не в силах. На следующий день в своем приходе он заказал панихиду по Х. В. С. Аксакова вспоминала: "30 января 1852 г. вечером приехал Гоголь к нам в маленький дом, в котором мы жили. Гоголь взошел и на наш вопрос о его здоровьи сказал: "Я теперь успокоился, сегодня я служил один в своем приходе панихиду по Катерине Михайловне; помянул и всех прежних друзей, и она как бы в благодарность привела их так живо всех передо мной. Мне стало легче. Но страшна минута смерти". - "Почему же страшна? - сказал кто-то из нас. - Только бы быть уверену в милости Божией к страждущему человеку, и тогда отрадно думать о смерти". - "Ну, об этом надобно спросить тех, кто прошел через эту

минуту", - сказал он. На наши слова, что он не был на вчерашней церемонии, он отвечал: "Я не был в состоянии". Вполне помню, он тут же сказал, что в это время ездил далеко. "Куда же?" - "В Сокольники". "Зачем?" - спросили мы с удивлением. "Я отыскивал своего знакомого, которого, однако же, не видал". Разговор, разумеется, касался большею частью Хомякова. После того как Гоголь отслужил панихиду, он сделался спокоен, как-то светел духом, почти весел". Смерть Х. Гоголь отнес отчасти и на счет собственных прегрешений. Это потрясение способствовало началу изнурительного поста и смерти писателя от истощения.14 февраля 1852 г. он заявил А. С. Хомякову: "Надобно меня оставить, я знаю, что должен умереть".

ЧААДАЕВ Петр Яковлевич (1794-1856), философ и публицист, столбовой дворянин, друг А. С. Пушкина. В 1808-1811 гг. учился в Московском университете. Не кончив курса, поступил в лейб-гвардии гусарский полк, с которым участвовал в Отечественной войне 1812 г. и в заграничных походах 1813-1815 гг. В 1821 г. был назначен адъютантом императора Александра I, но пренебрег возможностями военной и придворной карьеры, вышел в отставку.

В 1823-1826 гг. совершил путешествие по Европе, где встречался с Фридрихом Вильгельмом Йозефом Шеллингом (1775-1854). Взгляды Шеллинга повлияли на философию Ч. С 1833 г. поселился во флигеле усадьбы Левашевых на Новой Басманной улице в Москве, где жил до самой смерти. После публикации в 1836 г. в журнале "Телескоп" своего первого "философического письма" Ч. был официально объявлен сумасшедшим и отдан под врачебный надзор. В его доме в Москве на Басманной улице собирались представители русской интеллектуальной элиты.

12 февраля 1840 г. Гоголь посетил вечер у Ч. в компании Н. Ф. Павлова, М. Ф. Орлова, И. В. Киреевского, С. П. Жихарева, А. И. Тургенева и др. А 9 мая 1849 г. Гоголь пригласил Ч. на свой именинный обед. 13 мая он нанес Ч. ответный визит в компании друзей. Однако более тесного знакомства между Гоголем и Ч. так и не возникло.

5/18 апреля 1845 г. в письме Н. М. Языкову Гоголь счел стихотворение последнего "К Чаадаеву" слишком резким, нападающим на личность, а не на идеи, и даже иронически назвал его "Старому Плешаку". По мнению Гоголя, нападки славянофила Языкова на Чаадаева и других западников били мимо цели: "Поэту более следует углублять самую истину, чем препираться об истине. Тогда будет всем видней, в чем дело, и невольно понизятся те, которые теперь ерошатся... Слово наше должно быть благостно, если оно обращено лично к кому-нибудь из наших братий. Нужно, чтобы в стихотворениях слышался сильный гнев против врага людей, а не против самих людей. Да и точно ли так сильно виноваты плохо видящие в том, что они плохо видят? Если же они, точно, в том виноваты, то правы ли мы в том, что подносим прямо к их глазам нестерпимое количество света и сердимся на них же за то, что слабое их зренье не может выносить такого сильного блеска (не отсюда ли гумилевское "Сатана в нестерпимом блеске"?. - Б. С.)? Не лучше ли быть снисходительней и дать им сколько-нибудь рассмотреть и ощупать то, что оглушает их, как громом? Много из них в существе своем люди добрые, но теперь они доведены

до того, что им трудно самим, и они упорствуют и задорствуют, потому что иначе нужно им публично самих себя, в лице всего света, назвать дураками. Это не так легко, сам знаешь. А ведь против них большею частию в таком смысле было говорено: "Ваши мысли все ложны. Вы не любите России, вы предатели ее". А между тем ты сам знаешь, что нельзя назвать всего совершенного у них ложным и что, к несчастию, не совсем без основания их некоторые выводы. Преступление их в том, что они некоторые частности распространяют на общее, исключенья выставляют в правила, временные болезни принимают за коренные, во всяком предмете видят тело его, а не дух, и, близоруко руководствуясь аналогией видимого, дерзают произносить свои сужденья о том, что духом своим отлично от всего того, с чем они сравнивают его. Следовало бы, по-настоящему, вооружиться противу сих заблуждений, разъяснять их спокойно и показать их несообразность, но с тем вместе поступить таким образом, чтобы в то же время и тут им самим дать возможность выйти не совсем бесчестно из своего трудного положения. Тогда, кроме того, что многие из них сами обратились бы на истинный путь, но самой публике было бы доступней всё это и хоть сколько-нибудь понятней, в чем дело и отчего так сильно горячатся у нас одни против других в журналах".

По поводу "Выбранных мест из переписки с друзьями" Ч. 29 апреля 1847 г. писал П. А. Вяземскому в Петербург: "У вас, слышно, радуются книгою Гоголя; а у нас, напротив того, очень ею недовольны. Это, я думаю, происходит оттого, что мы более вашего были пристрастны к автору. Он нас немножко обманул, вот почему мы на него сердимся. Что касается до меня, то мне кажется, что всего любопытнее в этом случае не сам Гоголь, а то, что его таким сотворило, каким он теперь перед нами явился. Как вы хотите, чтобы в наше надменное время, напыщенное народною спесью, писатель даровитый, закуренный ладаном с ног до головы, не зазнался, чтобы голова у него не закружилась? Это просто невозможно. Мы нынче так довольны всем своим родным, домашним, так радуемся своим прошедшим, так потешаемся своим настоящим, так величаемся своим будущим, что чувство всеобщего самодовольства невольно переносится и к собственным нашим лицам. Коли народ русский лучше всех народов в мире, то, само собою разумеется, что и каждый даровитый русский человек лучше всех даровитых людей прочих народов. У народов, у которых народное чувство искони в обычае, где оно, так сказать, поневоле вышло из событий исторических, где оно в крови, где оно вещь пошлая, там оно, по этому самому, принадлежит толпе и ум высокий никакого действия иметь уже не может; у нас же слабость эта вдруг развернулась, наперекор всей нашей жизни, всех наших вековых понятий и привычек, так что всех застала врасплох, и умных и глупых: мудрено ли, что и люди одаренные дарами необыкновенными, от нее дуреют! Стоит только посмотреть около себя, сейчас увидишь, как это народное чванство, нам доселе чуждое, вдруг изуродовало все лучшие умы наши, в каком самодовольном упоении они утопают, с тех пор, как совершили свой мнимый подвиг, как открыли свой новый мир ума и духа! Видно, не глубоко врезаны в душах наших заветы старины разумной; давно ли, повинуясь своенравной воле великого человека, нарушили мы их перед лицом всего мира, и вот вновь нарушаем, повинуясь, какому-то народному чувству, Бог весть

откуда к нам занесенному! Недостатки книги Гоголя принадлежат не ему, а тем, которые превозносят его до безумия, которые преклоняются перед ним, как перед высшим проявлением самобытного русского ума, которые налагают на него чуть не всемирное значение, которые, наконец, навязали на него тот гордый, не сродный ему патриотизм, которым сами заражены, и таким образом задали ему задачу неразрешимую, задачу невозможного примирения добра со злом: достоинства же ее принадлежат ему самому. Смирение, насколько его есть в его книге, плод нового направления автора; гордость, в нем проявившаяся, привита ему его друзьями. Это он сам говорит, в письме к к. Львову, написанном по случаю этой книги. Разумеется, он родился не вовсе без гордости, но все-таки главная беда произошла от его поклонников. Я говорю в особенности о его московских поклонниках. Но знаете ли, откуда взялось у нас на Москве это безусловное поклонение даровитому писателю? Оно произошло оттого, что нам понадобился писатель, которого бы мы могли поставить наряду со всеми великанами духа человеческого, с Гомером, Дантом, Шекспиром, и выше всех иных писателей настоящего времени и прошлого. Это странно, но это сущая правда. Этих поклонников я знаю коротко, я их люблю и уважаю, они люди умные, хорошие; но им надо во что бы то ни стало возвысить нашу скромную, богомольную Русь над всеми народами в мире, им непременно захотелось себя и всех других уверить, что мы призваны быть какими-то наставниками народов. Вот и нашелся, на первый случай, такой крошечный наставник, вот они и стали ему про это твердить на разные голоса, и вслух и на ухо; а он, как простодушный, доверчивый поэт, им и поверил. К счастию его и к счастию русского слова, в нем таился, как я выше сказал, зародыш той самой гордости, которую в нем силились развить их хваления. Хвалениями их он пресыщался; но к самим этим людям он не питал ни малейшего уважения. Это можете видеть из этой его книги и выражается в его разговоре на каждом слове. От этого родилось в нем какое-то тревожное чувство к самому себе, усиленное сначала болезненным его состоянием, а потом новым направлением, им принятым, быть может, как убежищем от преследующей его грусти, от тяжкого, неисполнимого урока, ему заданного современными причудами. Нет сомнения, что если б эти причуды не сбили его с толку, если б он продолжал идти своим путем, то достиг бы чудной высоты; но теперь, Бог знает, куда заведут его друзья, как вынесет он бремя их гордых ожиданий, неразумных внушений и неумеренных похвал! У нас в Москве, между прочим, вообразили себе, что новым своим направлением обязан он так называемому Западу, стране, где он теперь пребывает, иезуитам. На этой счастливой мысли остановился наш замысловатый приятель в "Московских ведомостях", и, вероятно, разовьет ее в следующем письме с обычным своим остроумием (речь идет о "Письмах" Н.Ф. Павлова. - Б. С.). Но иезуитство, как его разумеют эти господа, существует в сердце человеческом с тех пор, как существует род человеческий; за ним нечего ходить в чужбину; его найдем и около себя, и даже в тех самых людях, которые в нем укоряют бедного Гоголя. Оно состоит в том, чтобы пользоваться всеми возможными средствами для достижения своей цели; а это видано везде. - Для этого не только не нужно быть иезуитом, но и не надо верить в Бога; стоит только убедиться, что нам нужно прослыть или добрым христианином, или

честным человеком, или чем-нибудь в этом роде. В Гоголе ничего нет подобного. Он слишком спесив, слишком бескорыстен, слишком откровенен иногда даже до цинизма, одним словом, он слишком неловок, чтобы быть иезуитом. Некоторые из его порицателей особенно отличаются своею ловкостию, искусством промышлять всем, что ни попадет им под руки, и в этом отношении они совершенные иезуиты. Он больше ничего, как даровитый писатель, которого чрез меру возвеличили, который попал на новый путь и не знает, как с ним сладить. Но все-таки он тот же самый человек, каким мы его и прежде знали, и все-таки он, и в том болезненном состоянии души и тела, в котором находится, стократ выше всех своих порицателей - и когда захочет, то сокрушит их одним словом и размечет, как былие непотребное". Отметив "высокомерный тон этих писем", Ч., считая, что виноваты тут прежде всего гоголевские друзья, оговорился: "...Нельзя же, однако, и самого Гоголя в нем (тоне писем. - Б. С.) совершенно оправдать, особенно при том духовном стремлении, которое в книге его обнаруживается. Это вещь, по-моему мнению, очень важная. Мы искони были люди смирные и умы смиренные; так воспитала нас церковь наша. Горе нам, если изменим ее мудрому ученью! Ему обязаны мы всеми лучшими народными свойствами своими, своим величием, всем тем, что отличает нас от прочих народов и творит судьбы наши. К сожалению, новое направление избраннейших умов наших именно к тому клонится, и нельзя не признаться, что и наш милый Гоголь, тот самый, который так резко нам высказал нашу грешную сторону, этому влиянию подчинился. Пути наши не те, по которым странствуют прочие народы; в свое время мы, конечно, достигнем всего благого, из чего бьется род человеческий; а может быть, руководимые святою верою нашею, и первые узрим цель, человечеством Богом предназначенную; но по сию пору мы еще столь мало содействовали к общему делу человеческому, смысл значения нашего в мире еще так глубоко таится в сокровениях провидения, что безумно бы было нам величаться перед старшими братьями нашими. Они не лучше нас; но они опытнее нас. Ваша деловая петербургская жизнь заглушает вас; вам не слышно, что гласится на земле русской. Прислушайтесь к глаголам нашим; они поведают вам дивные вещи... Не поверите, до какой степени люди в краю нашем изменились с тех пор, как облеклись этой народною гордынею, неведомой боголюбивым отцам нашим". Это письмо стало ответом на письмо П. А. Вяземского от 6 января 1847 г., где сообщалось: "У нас возбудила общее внимание книга Гоголя. То-то у Вас будут толки о ней. Она очень замечательна по новому направлению, которое принято умом его. Замечательна и особенно хороша она и потому, что он ею разрывает со своим прошедшим, а еще более с прошедшим и ответственностью, которые наложили на него неловкие подражатели и безусловные поклонники".

Свое письмо П. А. Вяземскому, начатое 29 апреля 1847 г., Ч. отправил адресату только в августе 1848 г. 10 августа 1848 г. он писал Вяземскому: "На днях писал вам. Письмо как-то долго не посылалось; а так как слышали, что пишу к вам о Гоголе, то оно здесь читалось. Прошу за это на меня не прогневаться. Скажите мне несколько слов о том, что я вам в нем говорю. Коли похвалите, то напишу к самому Гоголю, которому имею кое-что сказать. Коли не похвалите, то не стану писать". Ответ Вяземского неизвестен, но Гоголю Ч.

так и не написал. Ранее, 10 мая 1847 г., в письме Ф. И. Тютчеву, Ч. высоко отозвался о статье П. А. Вяземского "Языков и Гоголь" в "Санкт-Петербургских новостях": "...Я нахожу ее отличной в противность мнению почти всей нашей литературной братии, озлобление которой против этого несчастного гениального человека не поддается описанию. Один только Хомяков остался ему или, лучше сказать, самому себе верен". В письме же самому Вяземскому от 29 апреля 1847 г. Ч. отозвался о статье так: "Вам, вероятно, известно, что на нее (книгу Гоголя. - Б. С.) здесь очень гневаются. Разумеется, в этом гневе я не участвую. Я уверен, что если вы не выставили всех недостатков книги, то это потому, что вам до них не было дела, что они и без того достаточно были выказаны другими. Вам, кажется, всего более хотелось показать ее важность в нравственном отношении и необходимость оборота, происшедшего в мыслях автора, и это, по моему мнению, вы исполняли прекрасно. Что теперь ни скажут о вашей статье, она останется в памяти читающих и мыслящих людей как самое честное слово, произнесенное об этой книге. Всё, что ни было о ней сказано другими, преисполнено какою-то странною злобою против автора. Ему как будто не могут простить, что, веселивши нас столько времени своею умною шуткою, ему раз вздумалось поговорить с нами не смеясь, что с ним случилось то, что ежедневно случается в кругу обыкновенной жизни с людьми менее известными, и что он осмелился нам про это рассказать по вековечному обычаю писателей, питающих сознание своего значения. Позабывают, что писатель, и писатель столь известный, не частный человек, что скрыть ему свои новые, задушевные чувства было невозможно и не должно; что он, не одним словом своим, но и всей своею душою, принадлежит тому народу, которому посвятил дар, свыше ему данный; позабывают, что при некоторых страницах слабых, а иных и даже грешных, в книге его находятся страницы красоты изумительной, полные правды беспредельной, страницы такие, что, читая их, радуешься и гордишься, что говоришь на том языке, на котором такие вещи говорятся. Вы одни относитесь с любовию о книге и авторе: спасибо вам! День ото дня источник любви у нас более и более иссякает, по крайней мере в мире печатном: итак, спасибо вам еще раз! На меня находит невыразимая грусть, когда вижу всю эту злобу, возникшую на любимого писателя, доставившего нам столько слезных радостей, за то только, что перестал нас тешить и, с чувством скорби и убеждения, исповедуется пред нами и старается, по силам, сказать нам доброе и поучительное слово".

ЧИЖОВ Федор Васильевич (1811-1877), друг Гоголя, в 1832-1845 гг. был адъюнкт-профессором Петербургского университета и преподавал математические науки. Там Ч. познакомился с Гоголем, состоявшим в 1834-1835 гг. адъюнкт-профессором по кафедре всеобщей истории. Ч. являлся также специалистом по истории литературы и искусства. В 1840-1847 гг. жил за границей, преимущественно в Италии, где сблизился с Гоголем и Н. М. Языковым. Ч. сочувствовал славянофилам. Впоследствии стал крупным преуспевающим предпринимателем и финансистом, выступал в качестве издателя и редактора сочинений Гоголя.

Ч. вспоминал: "Я познакомился с Гоголем тогда, когда он был сделан

адъюнкт-профессором в Петербургском университете, где я тоже был адъюнкт-профессором. Гоголь сошелся с нами хорошо, как с новыми товарищами; но мы встретили его холодно. Не знаю, как кто, но я только по одному: я смотрел на науку чересчур лирически, видел в ней высокое, чуть-чуть не священное дело (Гоголь же священным делом видел литературу. - Б. С.), и потому от человека, бравшегося быть преподавателем, требовал полного и безусловного посвящения себя ей. Сам я занимался сильно, но избрал для преподавания искусство, мастерство (начертательную геометрию), не смея взяться за науку высшего анализа, которую мне тогда предлагали. К тому же Гоголь тогда, как писатель-художник, едва показался: мы, большинство, толпа, не обращали еще дельного внимания на его "Вечера на Хуторе"; наконец, и самое вступление его в университет путем окольным (благодаря протекции С. С. Уварова и без окончания университетского курса. - Б. С.) отдаляло нас от него, как от человека. По всему этому сношения с ним у меня были весьма формальные, и то весьма редкие". Тем не менее, Ч. довелось снова встретиться с Гоголем, на этот раз вдали от родины, в Риме, зимой 1842/43 г. Но и тогда близко сойтись с ним математику не удалось. Не помог и фактор чужбины, обычно побуждающий людей за границей дружиться легче, чем дома, чтобы приспособиться к незнакомой обстановке и людям (правда, по возвращении на родину эта дружба порой рассыпается в прах). Ч. рассказывал первому гоголевскому биографу П. А. Кулишу: "Расставшись с Гоголем в университете, мы встретились с ним в Риме в 1843 году и прожили здесь целую зиму в одном доме на Via Felice, № 126. Во втором этаже жил Языков, в третьем Гоголь, в четвертом я. Видались мы едва ли не ежедневно. С Языковым мы жили совершенно по-братски, как говорится, душа в душу, и остались истинными братьями до последней минуты его; с Гоголем никак не сходились. Почему? я себе определить не мог. Я его глубоко уважал и как художника, и как человека. Вечера наши в Риме проходили в довольно натянутых разговорах. Не помню, как-то мы заговоривши о Муравьеве, написавшем "Путешествие к Святым Местам" и проч. Гоголь отзывался об нем резко, не признавал в нем решительно никаких достоинств и находил в нем отсутствие языка. С большею частию я внутренне соглашался, но странно резкий тон заставил меня с ним спорить. Оставшись потом наедине с Языковым, я начал говорить, что нельзя не отдать справедливости Муравьеву за то, что он познакомил наш читающий люд со многим в нашем богослужении и вообще в нашей церкви. Языков отвечал: - "Муравьева терпеть не мог Пушкин. Ну, а чего не любил Пушкин, то у Гоголя делается уже заповеднею и едва только не ненавистью". Несмотря, однакож, на наши довольно сухие столкновения, Гоголь очень часто показывал ко мне много расположения. Тут, по какому-то непонятному для самого меня внутреннему упрямству, я, в свою очередь, отталкивал Гоголя. Все это, разумеется, было в мелочах. Например, бывало, он чуть не насильно тащит меня к Смирновой; но я не иду и не познакомился с нею потому, что ему хотелось меня познакомить. Таким образом, мы с ним не сходились. Это, пожалуй, могло случиться очень просто: Гоголь мог не полюбить меня, да и всё тут. Так нет же: едва, бывало, мы разъедемся, не пройдет и двух недель, как Гоголь пишет ко мне и довольно настойчиво просит съехаться, чтоб потолковать со мной о многом... Сходились

мы в Риме по вечерам постоянно у Языкова, тогда уже очень больного, - Гоголь, Иванов и я. Наши вечера были очень молчаливы. Обыкновенно кто-нибудь из нас троих - чаще всего Иванов приносил в кармане горячих каштанов; у Языкова стояла бутылка алеатико, и мы начинали вечер каштанами, с прихлебками вина. Большею частью содержанием разговоров Гоголя были анекдоты, почти всегда довольно сальные. Молчаливость Гоголя и странный выбор его анекдотов не согласовались с уважением, которое он питал к Иванову и Языкову, и с тем вниманием, которого он удостоивал меня, зазывая на свои вечерние сходки, если я не являлся без зову. Но это можно объяснить тем, что тогда в душе Гоголя была сильная внутренняя работа, поглотившая его совершенно и овладевшая им самим. В обществе, которое он, кроме нашего, посещал изредка, он был молчалив до последней степени. Не знаю, впрочем, каков он был у А. О. Смирновой, которую он очень любил и о которой говаривал всегда с своим гоголевским восхищением: "Я вам советую пойти к ней: она очень милая женщина". С художниками он совершенно разошелся. Все они припоминали, как Гоголь бывал в их обществе, как смешил их анекдотами; но теперь он ни с кем не видался. Впрочем, он очень любил Ф. И. Иордана и часто, на наших сходках, сожалел, что его не было с нами. А надобно заметить, что Иордан очень умный человек, много испытавший и отличающийся большой наблюдательностью и еще большею оригинальностью в выражениях. Однажды я тащил его почти насильно к Языкову. - "Нет, душа моя, - говорил мне Иордан, - не пойду. Там Николай Васильевич. Он сильно скуп, а мы все народ бедный, день-деньской трудимся, работаем, - давать нам не из чего. Нам хорошо бы так вечерок провести, чтоб дать и взять, а он всё только брать хочет". Я был очень занят в Риме и смотрел на вечернюю беседу, как на истинный отдых. Поэтому у меня почти не осталось в памяти от наших разговоров. Помню я только два случая, показавшие мне прием художественных работ Гоголя и понятие его о работе художника. Однажды, перед самым его отъездом из Рима, я собирался ехать в Альбано. Он мне сказал: - "Сделайте одолжение, поищите там моей записной книжки, в роде истасканного простого альбома; только я просил бы вас не читать". Я отвечал: "Однакож, чтоб увериться, что точно это ваша книжка, я должен буду взглянуть в нее. Ведь вы сказали, что сверху на переплете нет на ней надписи". - "Пожалуй, посмотрите. В ней нет секретов; только мне не хотелось бы, чтоб кто-нибудь читал. Там у меня записано всё, что я подмечал где-нибудь в обществе". В другой раз, когда мы заговорили о писателях, он сказал: - "Человек пишущий также не должен оставлять пера, как живописец кисти. Пусть кто-нибудь пишет непременно каждый день. Надобно, чтоб рука приучилась совершенно повиноваться мысли". В Риме он, как и все мы, вел жизнь совершенно студентскую: жил без слуги, только обедал всегда вместе с Языковым, а мы все в трактире. Мы с Ивановым всегда неразлучно ходили обедать в тот трактир, куда прежде ходил часто и Гоголь, именно, как мы говорили, к Фалькону (al Falcone). Там его любили, и лакей (cameriere) нам рассказывал, как часто signor Nicolo надувал их. В великий пост до Ave Maria, т. е. до вечерни, начиная с полудня, все трактиры заперты. Ave Maria бывает около шести часов вечера. Вот, когда случалось, что Гоголю сильно захочется есть, он и стучит в двери. Ему обыкновенно отвечают: "Нельзя отпереть". Но Гоголь не

слушается и говорит, что забыл платок, или табакерку, или что-нибудь другое. Ему отворяют, а он там уже остается и обедает (как знать, не воспоминание ли об этом грехе побудило Гоголя к последнему, смертному посту в феврале 1852 г. - Б. С.). В каком сильном религиозном напряжении была тогда душа Гоголя, покажет следующее. В то время одна дама, с которою я был очень дружен, сделалась сильно больна. Я посещал ее иногда по несколько раз в день и обыкновенно приносил известия о ней в нашу беседу, в которой все ее знали - Иванов лично, Языков по знакомству ее с его родными, Гоголь понаслышке. Однажды, когда я опасался, чтоб у нее не было антонова огня в ноге, Гоголь просил меня зайти к нему. Я захожу, и он, после коротенького разговора, спрашивает: - "Была ли она у святителя Митрофана?" Я отвечал: "Не знаю". - "Если не была, скажите ей, чтоб она дала обет помолиться у его гроба. Сегодняшнюю ночь за нее здесь сильно молился один человек, и передайте ей его убеждение, что она будет здорова. Только, пожалуйста, не говорите, что это от меня. По моим соображениям, этот человек, должно быть, был сам Гоголь... Общий характер бесед наших с Гоголем может обрисоваться из следующего воспоминания. Однажды мы собрались, по обыкновению, у Языкова. Языков, больной, молча, повесив голову и опустив ее почти на грудь, сидел в своих креслах; Иванов дремал, подперевши голову руками; Гоголь лежал на одном диване, я полулежал на другом. Молчание продолжалось едва ли не с час времени. Гоголь первый прервал его. - "Вот, - говорит, - с нас можно сделать этюд воинов, спящих при гробе Господнем". И после, когда уже нам казалось, что время расходиться, он всегда говаривал: - "Что, господа, не пора ли нам окончить нашу шумную беседу?" В Риме Гоголь и Ч. существенно расходились в оценке произведений искусства. 8 декабря 1842 г. Ч. записал в дневнике: "...Сейчас возвратился я из мастерской Александра Андреевича Иванова. Он показывал мне два своих рисунка, приготовляемые им для вел. Кн. Марии Николаевны. Он не знает, какой выбрать. Один представляет римский танец il sospiro (вздох (ит.). - Б. С.). Дело состоит в том, что одна девушка стоит на коленях, кругом нее танцует другая; стоящая на коленях вздыхает, та, которая танцует, спрашивает: кто украл у тебя сердце, та в ответ показывает на кого-нибудь из зрителей, и тот волею или неволею должен пуститься в пляску. Последний момент изображен на картинке: девушка показала на длинного англичанина, и другая тащит его насильно. Все присутствующие хохочут. Другая - простое пиршество римлян на Ponte molo... Я, когда посмотрел обе картинки, выбрал последнюю... Приходит Гоголь и диктаторским тоном произносит приговор в пользу первой, говоря, что она в сравнении с тою - историческая картина, а та genre (жанровая (фр.). - Б. С.), что тут каждое лицо требует отдельного выражения, а там группы. Одним словом, что первая выше последней, и во всем этом у него был решительный приговор и никакого внимания к бедному моему суждению". Вероятно, первая акварель импонировала Гоголю потому, что, в отличие от статичной второй, передавала движение персонажей и заключала в себе целую микроновеллу. Но безапелляционность гоголевских суждений не понравилась Ч. В конце своего пребывания в Риме Гоголь, вероятно, уже проникся определенной симпатией к Ч. и уже после отъезда из Рима тепло о нем вспоминал.

18 марта н. ст. 1844 г. Гоголь писал А. А. Иванову из Ниццы: "Уведомьте меня, где и что делает Чижов? Если он в Риме, то передайте ему самый душевный поклон и скажите, что я ждал его на Рейне и написал бы ему письмо, несмотря на лень мою, если бы только знал наверно его местопребыванье".

9 сентября 1844 г. Ч. писал А. В. Никитенко: "С Гоголем и Языковым мы прожили целую зиму в Риме, в одном доме, всякий день проводили вместе вечера. Гоголь не горд, а имеет своего рода оригинальность в жизни, - это его дело". Гоголь, между тем, искал встречи с Ч. 9 января н. ст. 1845 г. он писал А. А. Иванову из Франкфурта: "А Чижову поклонитесь и скажите, что я май и даже июнь месяц пробуду во Франкфурте; впрочем, он во всяком случае узнает обо мне у Жуковского. А Франкфурта ему не миновать, потому что оный есть пуп Европы, куда сходятся все дороги". Гоголь следил и за литературным творчеством Ч. Так, в апреле 1846 г. он познакомился со статьей Ч. "О работах русских художников в Риме", опубликованной в 1845 г. в "Московском литературном и ученом сборнике". А в конце 1846 г. Гоголь написал Ч., что хворает.

Повидаться за границей с Гоголем Ч. больше не удалось. Но, будучи в Германии, он встретился с В. А. Жуковским, и в беседах с ним речь зашла о Гоголе. Ч. вспоминал: "...Жуковский... очень любил Гоголя, но журил его за небрежность в языке, а, уважая и высоко ценя его талант, никак не был его поклонником. Проживая в Дюссельдорфе, я бывал у Жуковского раза три-четыре в неделю, часто у него обедал, и мне не раз случалось говорить с ним о Гоголе. Прочтя наскоро "Мертвые души", я пришел к Жуковскому; признаюсь, с первого разу я очень мало раскусил их. Я был восхищен художническим талантом Гоголя, лепкою лиц, но, как я ожидал содержания в самом событии, то, на первый раз, в ряде лиц, для которых рассказ о Мертвых Душах был только внешним соединением, видел какое-то отсутствие внутренней драмы. Я об этом сообщил Жуковскому и из слов его увидел, что ему не был известен полный план Гоголя. На замечание мое об отсутствии драмы в Мертвых Душах Жуковский отвечал мне: - "Да и вообще в драме Гоголь не мастер. Знаете ли, что он написал было трагедию? (Не могу утверждать, сказал ли мне Жуковский ее имя, содержание и из какого быта она была взята, только, как-то при воспоминании об этом, мне представляется, что она была из русской истории). Читал он мне ее во Франкфурте. Сначала я слушал; сильно было скучно; потом решительно не мог удержаться и задремал. Когда Гоголь кончил и спросил, как я нахожу, я говорю: "Ну, брат Николай Васильевич, прости, мне сильно спать захотелось". - "А когда спать захотелось, тогда можно и сжечь ее", отвечал он, и тут же бросил в камин. Я говорю: "И хорошо, брат, сделал".

4 марта н. ст. 1847 г. Ч. послал из Рима Гоголю отзыв о "Мертвых душах", где указывал на высокую художественность формы и мрачность содержания поэмы и на общую свою восторженную оценку этого произведения, проявившуюся, однако, только после его вторичного прочтения: "...В первый раз я прочел его (первый том "Мертвых душ". - Б. С.) в Дюссельдорфе, и оно просто не утомило, а оскорбило меня. Утомить безотрадностию выставленных характеров не могло - я восхищался талантом, но, как русский, был оскорблен до глубины сердца. Дошло дело до Ноздрева; отлегло от сердца. Выставляйте

вы мне печальную сторону, разумеется, по самолюбию будет больно читать, да есть истинное, а как же вы во мне выставите пошлым то, где пошлость в одной внешности? Чувство боли началось со второй страницы, где вы бросили камень в того, кого ленивый не бьет, - в мужика русского. Прав ли я, не прав ли, вам судить, но у меня так почувствовалось. С душой вашей роднится душа беспрестанно; много ли, всего два-три слова, как девчонка слезла с козел, а душе понятно это. Русский же, то есть, русак, невольно восстает против вас, и когда я прочел, чувство русского, простого русского до того было оскорблено, что я не мог свободно и спокойно сам для себя обсуживать художественность всего сочинения. Один приятель мой, петербургский чиновник, первый своим неподдельным восторгом сблизил меня с красотами "Мертвых Душ", я прочел еще раз, после читал еще, отчетливее понял, что восхищало меня, но болезненное чувство не истреблялось. Чиновник этот не из средины России - он родился и взрос в Петербурге, ему не понятны те глупости, какие у нас взрощены с детства".

Новая встреча с Гоголем произошла только 4 года спустя, и только тогда между ними возникла подлинная дружба и настоящее духовное сродство, после того как профессор под влиянием личных потрясений стал гораздо более, чем прежде, наклонен к религии. Ч. вспоминал: "После Италии мы встретились с Гоголем в 1848 году в Киеве (это было в конце мая. - Б. С.), и встретились истинными друзьями. Мы говорили мало, но разбитой тогда и сильно больной душе моей стала понятна болезнь души Гоголя... Мы встретились у А.С. Данилевского, у которого остановился Гоголь и очень искал меня; потом провели вечер у М.В. Юзефовича. Гоголь был молчалив, только при расставании он просил меня, не можем ли мы сойтись на другой день рано утром в саду. Я пришел в общественный сад рано, часов в шесть утра; тотчас же пришел и Гоголь. Мы много ходили по Киеву, но больше молчали; несмотря на то, не знаю, как ему, а мне было приятно ходить с ним молча. Он спросил меня: где я думаю жить? - "Не знаю, - говорю я: - вероятно, в Москве". - "Да, отвечал мне Гоголь, - кто сильно вжился в жизнь римскую, тому после Рима только Москва и может нравиться". Тут, не помню, в каких словах, он передал мне, что любит Москву и желал бы жить в ней, если позволит здоровье. Мы назначили вечером сойтись в Лавре, но там виделись только несколько минут: он торопился".

Последние встречи Ч. с Гоголем произошли в Москве. Ч. заметил уже у писателя признаки душевной болезни. Он свидетельствует: "В Москве помнится мне, в 1849 году - мы встречались часто у Хомякова, где я бывал всякий день, и у Смирновых. Гоголь был всегда молчалив, и тогда уже видно было, что он страдал. Однажды мы сошлись с ним под вечер на Тверском бульваре. - "Если вы не торопитесь, - говорил он, - проводите меня до конца бульвара. Заговорили мы с ним об его болезни. - "У меня все расстроено внутри, - сказал он. - Я, например, вижу, что кто-нибудь спотыкнулся; тотчас же воображение за это ухватится, начнет развивать - и все в самых страшных призраках. Они до того меня мучат, что не дают спать и совершенно истощают мои силы".

ЧИЧИКОВ Павел Иванович, главный герой "Мертвых душ". Как

иронически подчеркивает Гоголь, "не приди в голову Чичикова эта мысль (накупить "всех этих, которые вымерли", и заложить их в Опекунский совет. - Б. С.), не явилась бы на свет сия поэма... здесь он полный хозяин, и куда ему вздумается, туда и мы должны тащиться". Одним из прототипов Ч. послужил Д. Е. Бенардаки, но не характером, а только некоторыми фактами биографии (уход в предпринимательство после увольнения с военной службы после какой-то неприятной истории, покупка на вывоз в Херсонскую губернию 2 тыс. крестьян из Тульской губернии и др.).

Ч. дает основу интриге, путешествуя по губернии и скупая умерших крепостных крестьян. Он действует почти в каждом эпизоде поэмы. Он помогает автору выявить уродливые черты тех, с кем встречается: помещиков и чиновников. Наконец, Чичиков, хотя и занимается откровенным мошенничеством и думает, кажется, только о том, как быстрейшим образом скопить миллион, вызывает у нас определенную симпатию. Кто же он такой, Павел Иванович Чичиков? Этот герой, как отмечал сам Гоголь в предисловии ко второму изданию "Мертвых душ", "взят... больше затем, чтобы показать пороки и недостатки русского человека, а не его достоинства и добродетели". Также и все, с кем встречается Чичиков, должны, по мысли писателя, призваны "показатьнаши слабости и недостатки". Павел Иванович явно образованнее и умнее и Ноздрева, и Коробочки, и Собакевича, и губернатора, и почтмейстера, словом, всех, с кем доводится встречаться по ходу действия. Это вполне соответствует авторскому замыслу: чтобы вскрыть пороки других персонажей, основной герой-провокатор должен если не быть лишен этих пороков вовсе, то по крайней мере сознавать их наличие у собеседников. Чичиков, как определяет его Гоголь уже на первой странице поэмы, "не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однакож и не так чтобы слишком молод". Словом, типичный "господин средней руки". Замечательна в нем одна только страсть к приобретательству, получившая отнюдь не среднее развитие. Чичиков - первый капиталист, предприниматель, говоря сегодняшним языком, бизнесмен, запечатленный в русской литературе. В последней главе первого тома "Мертвых душ", когда мы наконец знакомимся с биографией во многом еще загадочного героя, Гоголь прямо предупреждает: "Приобретение - вина всего; из-за него произвелись дела, которым свет дает название не очень чистых". Писателю был близок христианский идеал нестяжательства, и он не мог не осудить своего Чичикова за страсть к деньгам, за стремление следовать отцовской заповеди: "Товарищ или приятель тебя надует, а копейка не выдаст, в какой бы беде ты ни был. Все сделаешь и все прошибешь на свете копейкой". Павел Иванович еще в детстве "из данной отцом полтины не издержал ни копейки, напротив - в тот же год уже сделал к ней приращения, показав оборотливость почти необыкновенную..." В зрелые годы возросли масштабы чичиковских предприятий и вовсю проявился их криминальный характер. Одна из последних афер, с контрабандными брабантскими кружевами, и вынудила Чичикова, потерявшего в результате почти весь скопленный прежде капитал, заняться покупкой мертвых душ. Павел Иванович - предприниматель типично русский, без обмана не могущий и шага ступить. Удача, однако, ему не сопутствует. Все ловко задуманные комбинации

в конечном счете расстраиваются, и Чичикову каждый раз приходится вновь и вновь начинать с нуля. Он не унывает, следуя принципу:"...Зацепил поволок, сорвалось - не спрашивай. Плачем горю не пособить, нужно дело делать". Вот и в последней афере с мертвыми душами гоголевский герой, казалось, все продумал и предусмотрел и, "перекрестясь по русскому обычаю", приступил к исполнению: "Под видом избрания места для жительства и под другими предлогами предпринял он заглянуть в те и другие углы нашего государства, и преимущественно в те, которые более других пострадали от несчастных случаев, неурожаев, смертностей и прочего и прочего, - словом, где бы можно удобнее и дешевле накупить потребного народа. Он не обращался наобум ко всякому помещику, но избирал людей более по своему вкусу или таких, с которыми бы можно было с меньшими затруднениями делать подобные сделки, стараясь прежде познакомиться, расположить к себе,чтобы, если можно,более дружбою, а не покупкою приобрести мужиков". Однако Чичиков далеко не во всем следует задуманному. Зачем, спрашивается,он стал торговать умерших крестьян у Ноздрева? Неужели не видел,что перед ним - плут, враль и болтун, с которым нельзя делать столь деликатное дело, как покупка мертвых душ? Ведь никак не подходил Ноздрев под понятие тех людей, кто был Чичикову по вкусу, или тех, с кем подобные сомнительные сделки можно было бы заключать "с меньшими затруднениями". И зачем стал Павел Иванович задерживаться в городе, когда дело уже было сделано, купчие оформлены и самое время уносить ноги? Зачем столь расчетливый человек нерасчетливо влюбился в губернаторскую дочку? Зачем поддался на лесть чиновников, старавшихся подружиться с новоявленным миллионщиком, и бесцельно терял время в попойках с ними? Думается, на самом деле для Чичикова главную ценность представляет процесс делания денег, а не результат. От этого и все неудачи Павла Ивановича. Вспомним, что он постоянно оправдывает собственные аферы необходимостью обеспечить будущее жене и детям, однако в действительности семьи не имеет. Чичикову не чужды положительные свойства русской души, нерасчетливые поступки и наклонности, вроде типично русской страсти к быстрой езде. Он никак не может всецело подчинить свою жизнь только деловым интересам. Создается впечатление, что Чичикову просто некуда приложить свои деловые способности в современной России, и он вынужден изобретать разные виды мошенничества в первую очередь для того, чтобы занять сюда, куда-то аккумулировать бьющую через край энергию. Недаром во втором томе "Мертвых душ" неправдоподобно честный купец-откупщик Муразов говорит Чичикову: "Я все думаю о том, какой бы из вас был человек, если бы так же, и силою и терпеньем, да подвизались бы на добрый труд и для лучшей цели!" Согласно гоголевскому замыслу, во втором томе должно было произойти перерождение главного героя, его поворот к осуществлению добрых дел. Возможно, эти добрые дела должны были составить основное содержание третьего, заключительного тома "Мертвых душ". На возможность подобной трансформации указывает само имя Чичикова - Павел. Оно сразу заставляет вспомнить историю апостола Павла. Ведь сначала был ревностный гонитель христиан иудей Савл, который впоследствии проникся духом нового учения, сменил имя и стал апостолом Павлом. Очевидно, подобная перемена должна

была произойти и с Чичиковым. Однако Гоголь так и не написал заключительный, третий том "Мертвых душ".

Д. С. Мережковский в работе "Гоголь и черт" (1906) так охарактеризовал Ч.: "Странствующий рыцарь денег, Чичиков кажется иногда в такой же мере, как Дон Кихот, подлинным не только комическим, но и трагическим героем, "богатырем" своего времени. "Назначение ваше - быть великим человеком", говорит ему Муразов. И это отчасти правда: Чичиков так же, как Хлестаков, все растет и растет на наших глазах. По мере того как мы умаляемся, теряем все свои "концы" и "начала", все "вольнодумные химеры, наша благоразумная середина, наша буржуазная "положительность", Чичиков, кажется все более и более великою, даже прямо бесконечною".

Философ Н. А. Бердяев в статье "Духи русской революции" (1918) осмыслил образ Ч. как вечное свойство русского характера, способное омертвлять самые благие начинания: "По-прежнему Чичиков ездит по русской земле и торгует мертвыми душами. Но ездит он не медленно в кибитке, а мчится в курьерских поездах и повсюду рассылает телеграммы. Та же стихия действует в новом темпе. Революционные Чичиковы скупают и перепродают несуществующие богатства, они оперируют с фикциями, а не реальностями, они превращают в фикцию всю хозяйственно-экономическую жизнь России".

По свидетельству А. М. Бухарева, на его вопрос, "оживет ли, как следует, Павел Иванович, Гоголь, как будто с радостью, подтвердил, что это непременно будет, и оживлению его послужит прямым участием сам царь, и первым вздохом Чичикова для истинной прочной жизни должна кончиться поэма".

А. Белый в "Мастерстве Гоголя"(1934) утверждал, что "Чичиков безроден: вышел ни в отца, ни в мать (мелкопоместных дворян), а в прохожего молодца, по уверению тетки; "прохожий молодец" и соблазнил его, как Петруся, червонцами; внутри пресловутого ларчика был потайной ящик для денег, выдвигавшийся незаметно... позднее является "прохожий молодец", Басаврюк, как отец-благодетель; он учит уму-разуму: в науке наживы; и то Костанжогло; Гоголь не узнал в нем своего "нечистого", вынырнувшего из первой фазы (творчества. - Б.С.): и возвел в перл создания. Почему? Потому, что отщепенец и Гоголь; и в нем - трещина "поперечивающего себе чувства"; она стала провалом, куда он, свергнув своих героев, сам свергнулся; герои поданы в корчах..." В Ч., по А. Белому, подчеркнута безличность, невозможность выделить персонаж из массы ему подобных: "Явление Чичикова в первой главе эпиталама безличию; это есть явление круглого общего места, спрятанного в бричку; она и вызывает внимание, кажется чем-то (ее обладатель не кажется чем-то); но "что" - фикция: в такой бричке разъезжают "все те, которых называют господами средней руки"; "средняя рука" не определение вовсе; для одних она - одна; для других - другая. Неизвестно какая. В бричке сидит нечто среднее: "не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однакоже и не так, чтобы молод"; "въезд его не произвел... никакого шума и не был сопровожден ничем особенным". Эта усредненность Ч. отвечала замыслу Гоголя: подчеркнуть, что пороки главного героя не есть что-то исключительное, что они могут быть у каждого из нас. Как заметил А. Белый, "провал Чичикова подготовляется Гоголем с выезда его от Манилова; над Чичиковым собирается

гроза: "небо было обложено тучами... Громовой удар раздался ближе".

А. Белый первым подметил, что Ч. подобен одному из коней своей знаменитой тройки, олицетворяющей Русь: "СобственностьЧичикова пока тройка: каурый, гнедой и чубарый; последний - "сильно лукав"; и к нему обращается Селифан: "Панталонник немецкий... куда... ползет!.. Бонапарт... Думаешь,что скроешь свое поведение... Вот барина нашего всякий уважает". Селифан, начав с обращенья к коню, переходит на Чичикова: "Если бы Чичиков прислушался, то узнал бы много подробностей, относящихся к нему"; странный ход: от лукавства коня к барину; в это же время: "сильный удар грома"; чубарый ворует корм у коней: "Эх, ты, подлец!" - укоряет его Селифан; конь, как и Чичиков, "сильно не в духе" после встрепки барина Ноздревым; когда же бричка сшиблась с экипажем губернаторской дочки, зацепившись постромками, чубарому это понравилось: "он никак не хотел выходить из колеи, в которую попал непредвиденными судьбами"; и пока Чичиков плотолюбиво мечтал о поразившей его блондинке ("славная бабенка"), чубарый снюхался с ее конем (кобылой? - Б.С.) и "нашептывал ему в ухо чепуху страшную"..., но "несколько тычков чубарому... в морду заставили его попятиться"; как впоследствии судьба заставила попятиться Чичикова от нескольких тычков в морду носком генерал-губернаторского сапога. Свойства чубарого выявились в роковую минуту - бегства из города; бежать же нельзя: "Надо... лошадей ковать". Чичиков в ярости: "На большой дороге меня собрался зарезать, разбойник" (словно мифический капитан Копейкин. - Б. С.) Селифан: "Чубарого коня...хоть бы продать, ...он, Павел Иванович, совсем подлец...Только на вид казистый, а на деле... лукавый конь..." Чичиков обрывает : "Дурак...Пустился в рассуждения...". "Бонапарт и "панталонник немецкий", Чубарый грозит ходу тройки; есть какая-то двусмыслица в фразе: "Он, Павел Иванович (Чичиков?) - подлец. Свойства чубарого сливаются со свойствами барина, который тоже - подлец, "панталонник" и "Бонапарт". Тройка коней, мчащих Чичикова по России, - предпринимательские способности Чичикова; одна из них - не везет, куда нужно, отчего ход тройки - боковой ход, поднимающий околесину ("все пошло, как кривое колесо"); с тщательностью перечислены недолжные повороты на пути к Ноздреву, к Коробочке; (погубившие, в конечном счете, аферу Ч. - Б.С.) после них с трудом выбирается тройка на прямую столбовую дорогу; железное упорство, связанное с кривой дорогой и умиляющее Муразова, - пока что единственная собственность Чичикова: оно - динамика изворотов в подходе к недвижимому имуществу; Чичиков едет в бок: детали бокового троечного хода - лишняя деталь эмблемы кривого пути: "Поедешь..., так вот тебе направо"; "не мог припомнить, два или три поворота проехал"; поворотил "на... перекрестную дорогу..., мало помышляя..., куда приведет дорога..."; "своротили бричку, поворачивал, поворачивал и, наконец, выворотил ее... набок"; "как добраться до большой дороги?" - "Рассказать... мудрено, поворотов много"; "дороги расползлись, как... раки"; От Собакевича Чичиков "велел..., поворотивши к...избам, чтобы нельзя было видеть экипажа со стороны"; "бричка... поворотила в... пустынные улицы"; "аллея лип своротила направо,... превратясь в улицу тополей"; "в воротах показались кони..., как лепят их на триумфальных воротах. Морда направо, морда налево, морда посередине"; когда же "экипаж

изворотился","оказалось,что... он ничто другое, как... бричка"; наконец: "при повороте...бричка должна была остановиться, потому что проходила похоронная процессия"; хоронили прокурора, умершего со страху от кривых поворотов Чичикова".

В. В. Кожинов в статье "Разгул широкой жизни" (1968), указывая на "демонические черты" Ч., особо отмечал, что "чичиковская авантюра поистине замечательна уже тем, что она, в сущности, имеет по-человечески "безобидный" характер... Чичиков якобы покупает массу крепостных, "поселяет" их на свободных землях в только еще осваиваемой Херсонской губернии и закладывает свое мнимое богатое имение, получая в руки под этот залог громадный капитал, который он пустит в какое-либо дело и, нажившись, полностью вернет свой долг (ибо иначе ведь он неизбежно пойдет под суд). Словом, это только способ получить большую сумму в долг от казны - и только; никто от чичиковской авантюры никак не пострадает, хотя она, разумеется, противозаконна и подлежит суровому наказанию. Ведь безобидная для отдельных лиц, она колеблет государственные и нравственные устои русского бытия... Хотя Чичиков предстает... во всех самых "прозаических" подробностях его судьбы и облика, характер его отнюдь не сводится... к низменному "приобретательству"... Гоголь определил его стремление словами "непостижимая страсть" - это не раз так или иначе подтверждается... Гоголевская поэма... воссоздает как бы естественный - и, следовательно, неизбежный - крах нового Наполеона: "естественность" краха выражается уже в том, что никто вроде бы не вступает на путь прямого сопротивления Чичикову - скорее, даже напротив. И все-таки его операция срывается, и он бежит из города, который, казалось бы, уже сумел очаровать, зачаровать...".

В. В. Розанов в статье "О сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира" (1907) писал: "Если кусок из прозы Гоголя, самый благожелательный, самый, так сказать, бьющий на добрую цель, вставить в Евангелие - то получим режущую какофонию, происходящую не от одной разнокачественности человеческого и Божественного, слабого и сильного, но от разно-категоричного: невозможно не только в евангелиста вставить кусок Гоголя, но - и в послание какого-нибудь апостола. Савл не довоспитался до Павла, но преобразился в Павла; к прежней раввинской мудрости он не приставил новое звено, пусть новую голову - веру в Христа, нет: он изверг из себя раввинство... Христос никогда не смеялся. Неужели не очевидно, что весь смех Гоголя был преступен в нем, как в христианине?!" В свете этих рассуждений Розанова можно объяснить и неудачу, постигшую Гоголя, когда он попытался Ч. из Савла превратить в Павла, поставить его предприимчивость, энергию, умение обходиться с людьми на службу доброму делу. Образ сопротивлялся подобной трансформации. Оказалось, что дать Ч. в качестве объекта поклонения вместо копейки Христа просто невозможно - образ умрет, выродится в безжизненную схему.

ШЕВЫРЕВ Степан Петрович (1806-1864), историк литературы и критик, друг Гоголя. В 1822 г. окончил Московский благородный пансион. Был поклонником шеллингианства и входил в кружок "любомудров" вместе с В. Ф. Одоевским, Д. В. Веневитиновым, А. И. Кошелевым и др. В 1829-1832 гг. был в

Италии воспитателем сына княгини З. А. Волконской. С 1837 г. Ш. - профессор русской словесности в Московском университете. Был удостоен в 1852 г. звания академика. Активно сотрудничал в журнале М. П. Погодина "Москвитянин". По поручению Гоголя наблюдал за изданием его сочинений.

Первое письмо Ш. Гоголь написал 10 марта 1835 г. Там говорилось: "Посылаю вам мой Миргород и желал бы от всего сердца, чтобы он для моей собственной славы доставил вам удовольствие. Изъявите ваше мнение, например, в Московском наблюдателе. Вы этим меня обяжете много: Вашим мнением я дорожу. Я слышал также, что вы хотели сказать кое-что об Арабесках. Я просил князя Одоевского не писать разбора, за который он хотел было приняться, потому что мнение его я мог слышать всегда и даже изустно. Ваше же я могу услышать только печатно. - Я к вам пишу уже слишком без церемоний. Но, кажется, между нами так и быть должно. Если мы не будем понимать друг друга, то я не знаю, будет ли тогда кто-нибудь понимать нас. Я вас люблю почти десять лет, с того времени, когда вы стали издавать Московский вестник, который я начал читать, будучи еще в школе, и ваши мысли подымали из глубины души моей многое, которое еще доныне не совершенно развернулось. Вам просьба от лица всех, от литературы, литераторов и от всего, что есть литературного: поддержите Московский наблюдатель. Всё будет зависеть от успеха его. Ради Бога уговорите москвичей работать. Грех, право грех им всем. Скажите Киреевскому, что его ругнет всё, что будет после нас, за его бездействие. Да впрочем, этот упрек можно присоединить ко многим. Я с своей стороны рад всё употребить. На днях я, может быть, окончу повесть для М. Набл. и начну другую. Ради Бога поспешите первыми книжками. Здесь большая часть потому не подписывается, что не уверена в существовании его, потому что Сенковский и прочая челядь разглашает, будто бы его совсем не будет и он уже запрещен. Подгоните с своей стороны всех, кого следует, и самое главное, посоветуйте употребить все старания к тому, чтобы аккуратно выходили книжки. Это чрезвычайно действует на нашу публику. Москве предстоит старая ее обязанность спасти нас от нашествия иноплеменных языков. Прощайте! Жму крепко вашу руку и прошу убедительно вашей дружбы. Вы приобретаете такого человека, которому можно всё говорить в глаза и который готов употребить Бог знает что, чтобы только услышать правду".

В статье "О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 годах" Гоголь в качестве едва ли не единственного положительного примера выделил статьи Ш., отметив, что "он передает нам впечатления в том виде, как приняла их душа его. В статьях его везде заметен мыслящий человек, иногда увлекающийся первым впечатлением".

С декабря 1838 г. до апреля 1839 г. Ш. был в Риме вместе с Гоголем. Они осматривали достопримечательности вечного города, посещали салон З. Н. Волконской.

25 августа н. ст. 1839 г. Гоголь писал Ш. из Вены: "Я вчера приехал в Вену... Что я в Мариенбаде, ты это знал. Лучше ли мне или хуже, Бог его знает. Это решит время. Говорят, следствия вод могут быть видимы только после. Но что главное и что, может быть, тебя заинтересует (ибо ты любишь меня, как и я

люблю тебя) это - посещение, которое сделало мне вдохновение. Передо мною выясниваются и проходят поэтическим строем времена казачества, и если я ничего не сделаю из этого, то буду большой дурак. Малороссийские песни, которые у меня под рукою, навеяли их, или на душу мою нашло само собою ясновидение прошедшего, только я чую много того, что ныне редко случается. Благослови!.. О, Рим, Рим! Кроме Рима, нет Рима на свете, хотел я было сказать, - счастья и радости, да Рим больше, чем счастье и радость". Замысел повести из малороссийской истории Гоголь не осуществил, но он, вероятно, частично воплотился во второй, значительно расширенной редакции "Тараса Бульбы".

10 сентября н. ст. 1839 г. Гоголь писал Ш. из Вены: "Что касается до меня, я... странное дело, я не могу и не в состоянии работать, когда я предан уединению, когда не с кем переговорить, когда нет у меня между тем других занятий и когда я владею всем пространством времени, неразграниченным и неразмеренным. Меня всегда дивил Пушкин, которому для того, чтобы писать, нужно было забраться в деревню, одному, и запереться. Я, наоборот, в деревне никогда ничего не мог делать, где я один и где я чувствовал скуку. Все свои ныне печатные грехи я писал в Петербурге, именно тогда, когда я был занят должностью, когда мне было некогда, среди этой живости и перемены занятий, и чем я веселее провел канун, тем вдохновенней возвращался домой, тем свежее у меня было утро. В Вене я скучаю. Погодина до сих пор нет. Ни с кем почти не знаком, да и не с кем, впрочем, знакомиться. Вся Вена веселится, и здешние немцы вечно веселятся. Но веселятся немцы, как известно, скучно, пьют пиво и сидят за деревянными столами, под каштанами, - вот и всё тут. Труд мой, который начал, нейдет; а чувствую, вещь может быть славная. Или для драматического творения нужно работать в виду театра, в омуте со всех сторон уставившихся на тебя лиц и глаз зрителей, как я работал во времена оны? Подожду, посмотрим. Я надеюсь много на дорогу (22 сентября вместе с М. П. Погодиным Гоголь выехал в Россию. - Б.С.). Дорогою у меня обыкновенно развивается и приходит на ум содержание; все сюжеты почти я обделывал в дороге. Неужели я еду в Россию? Я этому почти не верю. Я боюсь за свое здоровье. Я же теперь совсем отвык от холодов: каково мне переносить? Но обстоятельства мои такого рода, что я непременно должен ехать: выпуск моих сестер из института, которых я должен строить судьбу и чего нет возможности никакой поручить кому-нибудь другому. Словом, я должен ехать, несмотря на всё мое нежелание. Но как только обделаю два дела, - одно относительно сестер, другое драмы, то в феврале уже полечу в Рим".

15 августа н. ст. 1842 г. Гоголь писал Ш. из Гастейна: "Чтобы прогнать из тебя как-нибудь идею о самолюбии моем, одно только скажу тебе, что в сердце пишущего много, много любви... И с каждым днем она растет в душе моей. А вместе с ней растет вера, что... Спаситель наш... ниспошлет мне силу, может быть, возвыситься до того, чтобы даже уподобиться Ему сочиненьем моим, сколько может приблизиться копия, производимая из благоговенья художника, проникнутая небесным изумленьем к картине". Эта идея также отразилась в "Портрете". В этом же письме Гоголь просил Ш. написать разбор "Мертвых душ", утверждая: "В Гастейне у Языкова нашел я "Москвитянин" за прошлый год и перечел с жадностью все твои рецензии и критики, - это доставило мне

много наслаждений и родило весьма сильную просьбу, которую, может быть, ты уже предчувствуешь. Грех будет на душе твоей, если ты не напишешь разбора "Мертвых душ". Кроме тебя вряд ли кто другой может правдиво и как следует оценить их. Тут есть над чем потрудиться... Во имя нашей дружбы я прошу тебя быть как можно строже. Чем более отыщешь ты и выставишь моих недостатков и пороков, тем более будет твоя услуга. Нет, может быть, в целой России человека, так жадного узнать все свои пороки и недостатки". Ш. выполнил просьбу друга и напечатал две статьи о "Мертвых душах" в №№ 7 и 8 "Москвитянина" за 1842 г. В первой из этих статей Ш. пришел к выводу: "Наша русская жизнь своею грубою, животною, материальною стороною глубоко лежит в содержании этой первой части Поэмы и дает ей весьма важное, современное, с виду смешное, в глубине грустное значение". Во второй статье Ш. утверждал: "Велик, просторен и чудно разнообразен мир Божий: есть место в нем для всего. Живут в нем и Собакевичи, и Ноздревы. Таков же точно и мир искусства, создаваемый художником: и в нем должно быть место всему, и ничем не пренебрегает многообъемлющая фантазия Поэта, которой подведом весь мир от звезд до преисподних земли: всё свободно восприемлет она в себя и воспроизводит своею чудною властию. Не что избрал художник, а как он это воссоздал и как связал мир действительный с миром своего изящного - вот то, что собственно касается искусства". По мнению Ш., "чем ниже, грубее, материальнее, животнее предметный мир, изображаемый Поэтом, тем выше, свободнее, полнее, сосредоточеннее в самом себе должен являться его творящий дух... чем ниже объективность, им изображаемая, тем выше должна быть, отрешеннее и свободнее от нее его субъективная личность.. Сия последняя проявляется в юморе, который есть чудное слияние смеха и слез, посредством коего Поэт соединяет все видения своей фантазии с своим собственным человеческим существом. Неистощим комический юмор Гоголя; все предметы, как будто нарочно, по его воле, становятся перед ним смешною их стороною; даже имена, слова, сравнения подвертываются к нему такие, что возбуждают смех; конечно, заразительный хохот пронесся вместе с "Мертвыми душами" по всем пределам России, где только их читали. Но тот не далеко слышит и видит, кто в ярком смехе Гоголя не замечает глубокой затаенной грусти. В "Мертвых душах" особенно часто веселость сменяется задумчивостью и печалью. Смех принадлежит в Гоголе художнику, который не иным чем, как смехом, может забирать в свои владения весь грубый скарб низменной природы смешного; но грусть его принадлежит в нем человеку. Как будто два существа виднеются нам из его романа: Поэт, увлекающий нас своею ясновидящею и причудливою фантазиею, веселящий неистощимою игрою смеха, сквозь который он видит все низкое в мире, - и человек, плачущий глубоко и чувствующий иное в душе своей в то самое время, как смеется художник. Таким образом, в Гоголе видим мы существо двойное, или раздвоившееся; поэзия его не цельная, не единичная, а двойная, распадшаяся..." Ш. процитировал авторское отступление: "И долго еще определено мне чудной властию идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно-несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы!" и так прокомментировал его: "Слова драгоценные, глубокие, поднятые с самого дна души и сказавшиеся в одну из

тех редких светлых минут, когда поэт и человек бывают ясны самому себе! Сии-то незримые, неведомые миру слезы проглядывают очень часто в Поэме Гоголя; для того, кто хочет вглядеться глубже, они очень заметны сквозь игривый звон комического смеха, и мы несколько раз испытали на самих себе переход от шумного веселья к грустной задумчивости. Подкрепим это свидетельствами из самого произведения. Главный мотив, на котором держится все комическое действие Поэмы, продажа мертвых душ, с первого раза кажется только забавен и в самом деле так искусно найден комическою фантазиею художника: тут нет ничего никому обидного, ни вредного - что такое мертвые души? - так, ничего, не существуют, а между тем из-за них-то поднялась такая тревога. Здесь источник всем комическим сценам между Чичиковым и помещиками и кутерьме, какая заварилась во всем городе. Мотив с виду только что забавный - клад для комика; но когда вы прислушиваетесь к сделкам Чичикова с помещиками, когда потом вместе с ним (в VII главе Поэмы), или лучше с Автором, который здесь напрасно уступил место своему герою, вы раздумаетесь над участию всех этих неизвестных существ, внезапно оживающих перед вами в разных типах русского мужика,глубокая ирония выглянет в мотиве, и невольною думою осенится ваше светлое чело. Взгляните на расстановку характеров: даром ли они выведены в такой перспективе? Сначала вы смеетесь над Маниловым, смеетесь над Коробочкою, несколько серьезнее взглянете на Ноздрева и Собакевича, но, увидев Плюшкина, вы уже вовсе задумаетесь: вам будет грустно при виде этой развалины человека. А герой Поэмы? Много смешит он вас, отважно двигая вперед свой странный замысел и заводя всю эту кутерьму между помещиками и в городе; но когда вы прочли всю историю его жизни и воспитания, когда Поэт разоблачил перед вами всю внутренность человека, - не правда ли, что вы глубоко задумались? Наконец, представим себе весь город N. Здесь, кажется, уже донельзя разыгрался комический юмор Поэта, как будто к концу тома сосредоточив все свои силы. Толки жителей о душах Чичикова и их нравственности, бал у губернатора, появление Ноздрева, приезд Коробочки, сцена двух дам, слухи в городе о мертвых душах, о похищении губернаторской дочки, вздор, тревога, кутерьма, сутолока, весть о новом генерал-губернаторе и съезд у полицмейстера, на котором рассказывается повесть о капитане Копейкине!.. Как не изумиться тому, с какою постепенностью растет комическое действие и как беспрерывно прибывают новые волны в смешном юморе Автора, которому здесь просторное раздолье. Как будто сам демон путаницы и глупости носится над всем городом и всех сливает в одно: здесь, говоря словами Жан-Поля, не один какой-нибудь дурак, не одна какая-нибудь отдельная глупость, но целый мир бессмыслицы, воплощенный в полную городскую массу. В другой раз Гоголь выводит нам такой фантастический русский город: он уже сделал это в "Ревизоре"; здесь также мы почти не видим отдельно ни городничего, ни почтмейстера, ни попечителя богоугодных заведений, ни Бобчинского, ни Добчинского; здесь также целый город слит в одно лицо, которого все эти господа только разные члены: одна и та же уездная бессмыслица, вызванная комическою фантазиею, одушевляет всех, носится над ними и внушает им поступки и слова, одно смешнее другого. Такая же бессмыслица, возведенная

только на степень губернской, олицетворяется и действует в городе N. Нельзя не удивиться разнообразию в таланте Гоголя, который в другой раз вывел ту же идею, но не повторился в формах и ни одною чертою не напомнил о городе своего Ревизора! При этом способе изображать комически официальную жизнь внутренней России надобно заметить художественный инстинкт Поэта: все злоупотребления, все странные обычаи, все предрассудки облекает он одною сетью легкой смешливой иронии. Так и должно быть - Поэзия не донос, не грозное обвинение. У нее возможны одни только краски на это: краски смешного. Но и тут даже, где смешное достигло своих крайних пределов, где Автор, увлеченный своим юмором, отрешил местами фантазию от существенной жизни и нарушил тем... ее характер, - и здесь смех при конце сменяется задумчивостью, когда среди этой праздной суматохи внезапно умирает прокурор и всю тревогу заключают похороны. Невольно опять припоминаются слова Автора о том, как в жизни веселое мигом обращается в печальное..." Ш. также подметил определенное психологическое противоречие, содержащееся в ряде персонажей "Мертвых душ": "Комический демон шутки иногда увлекает до того фантазию Поэта, что характеры выходят из границ своей истины: правда, это бывает очень редко. Так, например, неестественно нам кажется, чтобы Собакевич, человек положительный и солидный, стал выхваливать свои мертвые души и пустился в такую фантазию. Скорее мог бы ею увлечься Ноздрев, если бы с ним сладилось такое дело. Оно чрезвычайно смешно, если хотите, и мы от души хохотали всему ораторскому пафосу Собакевича, но в отношении истины и отчетливости фантазии нам кажется это неверно. Даже самое красноречие, этот дар слова, который он внезапно по какому-то особливому наитию обнаружил в своем панегирике каретнику Михееву, плотнику Пробке и другим мертвым душам, кажутся противны его обыкновенному слову, которое кратко и все рубит топором, как его самого обрубила природа. Нарушение одной истины повлекло за собою нарушение и другой. Автор сам это чувствовал и оговорился словами: "откуда взялись рысь и дар слова в Собакевиче". То же самое можно заметить и об Чичикове: в главе VII прекрасны его думы обо всех мертвых душах, им купленных, но напрасно приписаны они самому Чичикову, которому, как человеку положительному, едва ли могли бы прийти в голову такие чудные поэтические были о Степане Пробке, о Максиме Телятникове, сапожнике, и особенно о грамотее Попове беспашпортном, да об Фырове Абакуме, гуляющем с бурлаками... Мы не понимаем, почему все эти размышления Поэт не предложил от себя. Неестественно также нам показалось, чтобы Чичиков уж до того напился пьян, что Селифану велел сделать всем мертвым душам лично поголовную перекличку. Чичиков - человек солидный и едва ли напьется до того, чтобы впасть в подобное мечтание".

В ноябре 1842 г. Гоголь так отозвался в письме Ш. об его статьях о "Мертвых душах": "Благодарю тебя много, много за твои обе статьи, которые я получил в исправности от княгини Волконской, хотя несколько поздно. В обеих статьях твоих, кроме большого их достоинства и значения для нашей публики, есть очень много полезного собственно для меня. Замечание твое о неполноте комического взгляда, берущего только в пол-обхвата предмет, могло быть

сделано только глубоким критиком созерцателем (имеется в виду мысль Ш. во второй статье о том, что "комический юмор автора мешает иногда ему обхватывать жизнь во всей ее полноте и широком объеме. Это особенно ясно в тех ярких заметках о русском человеке, которыми усеяна Поэма. По большей части мы видим в них одну отрицательную, смешную сторону, пол-обхвата, а не весь обхват русского мира. Всякая глупость и бессмыслица ложится ярко под меткую кисть Поэта-юмориста. Кучер Селифан похваляется, что не опрокинет, и тотчас же опрокинул. Девчонка умеет показать дорогу, а не знает, что право и что лево. Дядя Миняй и дядя Митяй хлопотали, хлопотали около брички и коляски и, бестолковые, ровно ничего не сделали, но только что лошадей измучили. Здесь, с одной стороны, видна добрая черта русского народа - его радушие, бескорыстная готовность помочь ближнему в беде, что не всегда найдете вы в образованном западе; но, с другой стороны, жаль, что всё это радушие примыкает к бестолковщине, которая очень смешна, но не полна: ибо вообще-то говоря, уж конечно, не бестолков русский мужик и в деле, требующем здравого смысла, за пояс заткнет любого ученого иностранца. Правда, живет и на него беда, как на Селифана, прихвастнет и опрокинет спьяну, но часто бывает и так, что проскачет черт знает где, выедет просто на авось по соломенному мосту, и уж пока держит вожжи в руках, конечно, не усумнится, как иной немец, в том, что справит лошадей, и не даст выпрыгнуть из коляски своему барину". - Б. С.). Замечания об излишестве моей расточительности тоже большая правда (речь идет о следующем месте из второй статьи Ш.: "Да, в фантазии нашего поэта есть русская щедрость, или живость, доходящая до расточительности, свойство, выражаемое у нас старинною пословицей: всё что ни есть в печи, то на стол мечи... Читая "Мертвые души", вы могли заметить, сколько чудных полных картинок, ярких сравнений, замет, эпизодов, а иногда и характеров, легко, но метко очерченных, дарит вас Гоголь так, просто, даром, в придачу ко всей Поэме, сверх того, что необходимо входит в ее содержание. У Собакевича помните компаньонку за столом, а при Ноздреве его белокурого зятя, который снаружи кажется упруг, а внутри мягок: он пошел задаром и даже без имени, в придачу к характеру Ноздрева. Заговорил Поэт о тыквах-горлянках, и пришли ему в голову балалайки, и двадцатилетний парень, мигач и щеголь, посвистывающий на белогрудых девиц. Забрел он воображением на рабочий двор Плюшкина - и ярко представилась ему картина щепного двора в Москве. Плюшкин контрастом напомнил помещика, кутящего во всю ширину русской удали и барства, и тут явилась иллюминация сада, и ветви, чудно озаренные снизу, и сверху темное, грозное небо, и сумрачные вершины дерев... Гоголя можно сравнить с богатым русским хлебосолом, который за роскошным столом своим кроме двухаршинной стерляди, архангельской телятины и прочих солидных блюд предлагает вам множество закусок, прикусок, подливок и дорогих соусов, которые все идут в придачу к неистощимому пиру и неприметно съедаются, заслоненные главными сокровищами щедрого русского хлебосольства. Эти придачи фантазии Гоголя имеют иногда характер высокий, иногда же, напротив, переходит в шуточку: так бывает и в русской песне, и в сказе, которые дарят вас также присловьями, то высокими, вроде следующего: "Высота ли, высота

поднебесная, / Глубота ли, глубота - Окиян-море, / Широко раздолье по всей земли, / Глубоки омуты Днепровские", - то шутливыми, как известные прибаутки наших сказок". - Б. С.). Мне бы очень хотелось, чтоб ты на одном экземпляре заметил на полях карандашом все те места, которые отданы даром читателю, или лучше сказать, навязаны на него без всякой просьбы с его стороны. Это мне очень нужно, хотя я уже и сам много кое-чего вижу, чего не видал прежде, но человек требует всякой помощи от других и только после указаний, которые нам сделают другие, мы видим яснее собственные грехи. Ты пишешь в твоем письме, чтобы я, не глядя ни на какие критики, шел смело вперед. Но я могу идти смело вперед только тогда, когда взгляну на те критики. Критика придает мне крылья. После критики, всеобщего шума и разноголосья, мне всегда ясней предстает мое творенье. А ты сам, я думаю, чувствуешь, что, не изведав себя со всех сторон, во всех своих недостатках, нельзя избавиться от своих недостатков. Мне даже критики Булгарина приносят пользу, потому что я, как немец, снимаю плеву со всякой дряни. Но какую же пользу может принести мне критика, подобная твоей, где дышит такая чистая любовь к искусству и где я вижу столько душевной любви ко мне, ты можешь судить сам. Я много освежился душой по прочтении твоих статей и ощутил в себе прибавившуюся силу. Я жалел только, что ты, вровень с достоинствами сочинения, не обнажил побольше его недостатков. У нас никто не поверит, если я скажу, что мне хочется, и душа моя даже требует, чтобы меня более осуждали, чем хвалили, но художник-критик должен понять художника-писателя..."

В письме А. С. Данилевскому от 14/26 февраля 1843 г. из Рима Гоголь так объяснял свое решение доверить Ш. печатанье своих сочинений: "Шевырев прекрасная душа, и я на него более мог положиться, чем на кого-либо иного, зная вместе с тем его большую аккуратность".

28 февраля н. ст. 1843 г. Гоголь писал из Рима Ш.: "...Ты говоришь, что пора печатать второе издание "Мертвых Душ", но что оно должно выйти необходимо вместе со 2-м томом. Но если так, тогда нужно слишком долго ждать. Еще раз я должен повторить, что сочинение мое гораздо важнее и значительнее, чем можно предполагать по его началу. И если над первою частью, которая оглянула едва десятую долю того, что должна оглянуть вторая часть, просидел я почти пять лет, чего, натурально, никто не заметил, один ты заметил долговременную и тщательную обработку многих частей... Итак, если над первой частью просидел я столько времени, не думай, чтоб я был когда-либо предан праздному бездействию; в продолжение этого времени я работал головой даже и тогда, когда думали, что я вовсе ничего не делаю и живу только для удовольствия своего. Итак, если над первой частью просидел я так долго, рассуди сам, сколько должен просидеть я над второй. Это правда, что я могу теперь работать увереннее, тверже, осмотрительнее, благодаря тем подвигам, которые я предпринимал к воспитанию моему и которых тоже никто не заметил. Например, никто не знал, для чего я производил переделки моих прежних пиес, тогда как я производил их, основываясь на разуменьи самого себя, на устройстве головы своей. Я видел, что на этом одном я мог только навыкнуть производить плотное создание, сущное, твердое, освобожденное от излишеств и неумеренности, вполне ясное и совершенное в высокой трезвости духа. После

сих и других подвигов, предпринятых во глубине души, я, разумеется, могу теперь двигать работу далеко успешнее и быстрее, чем прежде; но нужно знать и то, что горизонт мой стал чрез то необходимо шире и пространней, что мне теперь нужно обхватить более того, что, верно бы, не вошло прежде. Итак, если предположить самую беспрерывную и ничем не останавливаемую работу, то два года - это самый короткий срок. Но я не смею об этом и думать, зная мою необеспеченную нынешнюю жизнь и многие житейские дела, которые иногда в силе будут расстроить меня, хотя употребляю все силы держать себя от них подале и меньше сколько можно о них думать и заботиться. Понуждение к скорейшему появлению второго тома, может быть, ты сделал вследствие когда-то помещенного в "Москвитянине" объявления, и потому вот тебе настоящая истина: никогда и никому я не говорил, сколько и что именно у меня готово, и когда, к величайшему изумлению моему, напечатано было в "Москвитянине" извещение, что два тома уже написаны, третий пишется и все сочинение выйдет в продолжение года, тогда не была даже кончена первая часть (такое объявление появилось в № 2 "Москвитянина" за 1841 г. - Б. С.). Вот как трудно созидаются те вещи, которые на вид иным кажутся вовсе не трудны. Если ты под словом необходимость появления второго тома разумеешь истребить неприятное впечатление, ропот и негодование против меня, то верь мне: мне бы слишком хотелось самому, чтоб меня поняли в настоящем значении, а не в превратном. Но нельзя упреждать время, нужно, чтоб всё излилось прежде само собою, и ненависть против меня (слишком тяжелая для того, кто бы захотел заплатить за нее, может быть, всею силою любви), ненависть против меня должна существовать и быть в продолжение некоторого времени, может быть, даже долгого. И хотя я чувствую, что появление второго тома было бы светло и слишком выгодно для меня, но в то же время, проникнувши глубже в ход всего текущего пред глазами, вижу, что всё, и самая ненависть, есть благо. И никогда нельзя придумать человеку умней того, что совершается свыше, и чего иногда в слепоте своей мы не можем видеть, и чего, лучше сказать, мы и не стремимся проникнуть. Верь мне, что я не так беспечен и неразумен в моих главных делах, как неразумен и беспечен в житейских. Иногда силой внутреннего глаза и уха я вижу и слышу время и место, когда должна выйти в свет моя книга, иногда по тем же самым причинам, почему бывает ясно мне движение души человека, становится мне ясно и движение массы. Разве ты не видишь, что еще и до сих пор все принимают мою книгу за сатиру и личность, тогда как в ней нет и тени сатиры и личности, что можно заметить вполне только после нескольких чтений; а книгу мою, большею частью, прочли только по одному разу все те, которые восстают против меня. Еще, смотри, как гордо и с каким презрением смотрят все на героев моих; книга писана долго; нужно, чтоб дали труд всмотреться в нее долго. Нужно, чтобы устоялось мнение. Против первого впечатления я не могу действовать. Против первого впечатления должна действовать критика, и только тогда, когда с помощью ее впечатления получат образ, выйдут сколько-нибудь из первого хаоса и станут определительны и ясны, тогда только я могу действовать против них. Верь, что я употребляю все силы производить успешно свою работу, что вне ее я не живу и что давно умер для других наслаждений. Но вследствие устройства головы моей я могу

работать вследствие только глубоких обдумываний и соображений, и никакая сила не может заставить меня произвести, а тем более выдать вещь, которой незрелость и слабость я уже вижу сам; я могу умереть с голода, но не выдам безрассудного, необдуманного творения. Не осуждай меня. Есть вещи, которые нельзя изъяснить. Есть голос, повелевающий нам, пред которым ничтожен наш жалкий рассудок, есть много того, что может только почувствоваться глубиною души в минуту слез и молитв, а не в минуты житейских расчетов! Но довольно. Теперь я приступаю к тому, о чем давно хотел поговорить и для чего как-то не имел достаточных сил. Но, помолясь, приступаю теперь твердо. Это письмо прочитайте вместе: ты, Погодин и Серг. Тим. (Аксаков. - Б. С.). С вами ближе связана жизнь моя, вы уже оказали мне высокие знаки святой дружбы. От вас я теперь потребую жертвы, но эту жертву вы должны принесть для меня. Возьмите от меня на три или четыре даже года все житейские дела мои. Тысячи есть причин, внутренних и глубоких причин, почему я не могу и не должен и не властен думать о них... Ничего не могу я вам сказать, как только то, что это слишком важное дело. Верьте словам моим, и больше ничего... Прежде всего я должен быть обеспечен на три года. Распорядитесь, как найдете лучше, со вторым изданием и другими, если только последуют, но распорядитесь так, чтобы я получал по шести тысяч в продолжение всех трех лет всякий год. Это самая строгая смета; я бы мог издерживать и меньше, если бы оставался на месте; но путешествие и перемены мест мне так же необходимы, как насущный хлеб. Голова моя так странно устроена, что иногда мне вдруг нужно пронестись несколько сот верст и пролететь расстояние для того, чтобы менять одно впечатление другим, уяснить духовный взор и быть в силах обхватить и обратить в одно то, что мне нужно... Высылку денег разделить на два срока: первый - к 1 октября и другой - к 1 апреля, по три тысячи; если же почему-либо неудобно, то на три срока, по две тысячи. Но, ради Бога, чтобы сроки были аккуратны: в чужой земле иногда слишком приходится трудно. Теперь, напр., я приехал в Рим в уверенности, что уже найду здесь деньги, назначенные мною к 1 октября, и вместо того вот уже шестой месяц я живу без копейки, не получая ниоткуда. В первый месяц мы даже победствовали вместе с Языковым, но, слава Богу, ему прислали сверх ожидания больше, и я мог у него занять две тысячи с лишком. Теперь мне следует ему уже и выплатить; ниоткуда не шлют мне, из Петербурга я не получил ни одного из тех подарков, которые я получал прежде, когда был там Жуковский... Подобные обстоятельства бывают иногда для меня роковыми, не житейским бедствием своим и нищетой стесненной нужды, но состоянием душевным. Это бывает роковым, когда случается в то время, когда мне нужно вдруг сняться и сдвинуться с места и когда я услышал к тому душевную потребность: состояние мое бывает тогда глубоко тяжело и оканчивается иногда тяжелою болезнью. Два раза уж в моей жизни мне приходилось слишком трудно... Много у меня пропало через то времени, за которое не знаю, чего бы не заплатил; я так же расчетлив на него, как расчетлив на ту копейку, которую прошу себе (у меня уже давно все мое состояние - самый крохотный чемодан и четыре пары белья). Итак, обдумайте и посудите об этом. Если не станет для этого денег за выручку моих сочинений, придумайте другие средства. Рассудите сами; я думаю, я уже сделал настолько, чтобы дали

мне возможность окончить труд мой, не заставляя меня бегать по сторонам, подниматься на аферы, чтобы, таким образом, приводить себя в возможность заниматься делом, тогда как мне всякая минута дорога, тогда как я вижу надобность, необходимость скорейшего окончания труда моего. Если же средств не отыщется других, тогда прямо просите для меня; в каком бы то ни было виде были мне даны, я их благодарно приму... Насчет матери моей и сестры я буду писать к Серг. Тимофеевичу и Погодину. Я, сделав все, что мог, отдал им свою половину имения, сто душ, и отдал, будучи сам нищим и не получая достаточного для своего собственного пропитания. Наконец, я одевал и платил за сестер, и это делал не от доходов и излишеств, а занимая и наделав долгов, которые должен уплачивать. Погодин меня часто упрекал, что я сделал мало для семьи и матери. Но откуда же и чем я мог сделать больше: мне не указал никто на это средств. Я даже полагаю, что в делах моей матери гораздо важнее и полезнее будет умный совет, чем другая помощь. Имение хорошо, двести душ, но, конечно, маменька, не будучи хозяйкой, не в силах хорошо управиться... Если Погодин и Сергей Тимофеевич найдут необходимость, точно, помочь иногда денежным образом моей матери, тогда, разумеется, взять из моих денег, вырученных за продажу, если только она окажется; но нужно помнить тоже слишком хорошо мое положение, взвесить то и другое, как повелит благоразумие. Они на своей земле, в своем имении, и, слава Богу, ни в каком случае не могут быть без куска хлеба. Я в чужой земле и прошу только насущного пропитания, чтоб не умереть мне в продолжение каких-нибудь трех-четырех лет... Напиши мне, могу ли я надеяться получить в самом коротком времени, т. е. накопилось ли в кассе для меня денег? Мне нужны, по крайней мере, 3500; две тысячи с лишком я должен отдать Языкову, да тысячу с лишком мне нужно вперед для прожития и подняться из Рима... Сказать правду, для меня давно уже мертво всё, что окружает меня здесь, и глаза мои всего чаще смотрят только в Россию, и нет меры любви моей к ней".

Человек деловой и практичный, Ш. вел все финансовые дела Гоголя. 1 сентября н. ст. 1843 г. Гоголь писал Ш. из Дюссельдорфа: "Вышли, пожалуста, остальную тысячу за прошлый год, и если есть деньги, то вперед за текущий сколько-нибудь, ибо 1-го октября срок. Адресуй в Дюссельдорф, на имя Жуковского. Я получил разные критики петербургских журналов на "Мертвые души". Замечательнее всех в "Современнике". Отзыв Полевого в своем роде отчасти замечателен. Сенковского, к сожалению, не имею и до сих пор не мог достать, как ни старался. А вообще я нахожу, что нет средины между благосклонностью и неблагосклонностью. Белинский смешон. А всего лучше замечание его о "Риме". Он хочет, чтобы римский князь имел тот же взгляд на Париж и французов, какой имеет Белинский. Я бы был виноват, если бы даже римскому князю внушил такой взгляд, какой имею я на Париж. Потому что и я хотя могу столкнуться в художественном чутье, но вообще не могу быть одного мнения с моим героем. Я принадлежу к живущей и современной нации, а он к отжившей. Идея романа вовсе была не дурна. Она состояла в том, чтобы показать значение нации отжившей, и отжившей прекрасно, относительно отживших наций. Хотя по началу, конечно, ничего нельзя заключить, но всё можно видеть, что дело в том, какого рода впечатление производит строящийся

вихорь нового общества на того, для которого уже почти не существует современность. Жажду я очень читать твои статьи. Я уже две посылки с книгами получил из Москвы, а твоих статей нет".

20 августа 1843 г. Ш. сообщил, что Н. Я. Прокопович так и не прислал, как должен был, сведения о числе проданных экземпляров гоголевских сочинений и о вырученной за них сумме. В связи с этим Гоголь 20 сентября н. ст. 1843 г. писал Ш.: "Получивши твое письмо (от 20 августа), я писал тот же час к Прокоповичу. Напишу еще к Плетневу. Не могу никак понять, что бы значила эта неаккуратность. В случае неимения денег нужно будет занять. Языков мне писал еще недавно, что если встретится мне надобность в них, адресоваться бы к нему без всякой церемонии. Но к этому нужно приступить не иначе, как прежде расспросив его стороною, точно ли он при лишних деньгах, иначе он последнее обстоятельство скроет. Что ж делать? Конечно, лучше, если бы все дела мои были в Москве, и все те препятствия, о которых я писал, могли бы быть побеждены, но я думаю, ты заметил, что в том же письме, где я исчислял причины, заставившие меня печатать сочинения мои в Петербурге, есть что-то, как будто, недосказанное. Что ж делать, так уж видно на роду мне написано быть скрытным. Но зато вот мое слово, всё будет до последнего движения явно. Многого я не потому не могу сказать, чтобы не хотел сказать, но не могу потому сказать, что не нашел еще слов, как сказать. Иногда человек не от того не понят другими, что его не могут понять, но от того, что он еще глуп, невоспитан и не умеет так выразиться, чтобы его поняли. Чего не сумеешь объяснить, о том лучше молчи. Ну что, если б я сказал, например, что один из вас был невинною причиною того, что я решился утвердительно печатать сочинения в Петербурге? Воображаю, какими бы вопросами осыпали меня ты и другие, а я бы на то не отвечал именно потому, чтобы вы меня потом похвалили сами за то, что я молчал. Но оставим всё это, это дела не важные и не ведут к делу. За письмо твое много благодарю; хотя оно и говорит только о деле, но в нем есть несколько драгоценных мне строк, показывающих твое душевное состояние. В душевном твоем состоянии, кроме другого, слышна между прочим какая-то грусть, грусть человека, взглянувшего на современное положение журнальной литературы. На это я тебе скажу вот что: это чувство неприятно, и мне оно вполне знакомо. Но является оно тогда, когда приглядываешься более чем следует к этому кругу. Это зло представляется тогда огромным и как будто обнимающим всю область литературы. Но как только выберешься хотя на миг из этого круга и войдешь на мгновенье в себя, увидишь, что это такой ничтожный уголок, что о нем даже и помышлять не следует. Вблизи, когда побудешь с ними, мало ли чего не вообразится? покажется даже, что это влияние страшно для будущего, для юности, для воспитания; а как взглянешь с места повыше - увидишь, что всё это на минуту, всё под влиянием моды. Оглянешься: уж на место одного другое: сегодня гегелисты, завтра шелингисты, потом опять какие-нибудь исты. Человечество бежит опрометью, никто не стоит на месте; пусть его бежит, так нужно. Но горе тем, которые поставлены стоять недвижно у огней истины, если они увлекутся общим движеньем, хотя бы даже с тем, чтобы образумить тех, которые мчатся. Хоровод этот кружится, кружится, а наконец может вдруг обратиться на место, где огни истины. Что ж,

если он не найдет на своих местах блюстителей, и если увидят, что святые огни пылают не полным светом? Не опровержением минутного, а утверждением вечного должны заниматься многие, которым Бог дал не общие всем дары. Человеку, рожденному с силами большими, следует, прежде чем сразиться с миром, глубоко воспитать себя. Если ж он будет живо принимать к себе всё, что современно, он выйдет из состояния душевного спокойствия, без которого невозможно наше воспитание. По всему видно, что мода не продержится долго и будет наконец и ей нанесен смертельный удар, как уже многому тому наносились удары смертельные, что считалось от мира Богом данным и не подверженным сокрушению. Итак, мне кажется, современная журнальная литература должна производить в разумном скорее равнодушие к ней, чем какое-либо сердечное огорчение. Это просто плошка, которая не только что подчас плохо горит, но даже еще и воняет. Один предводитель дворянства, вскоре после 1814 года, дал бал своему дворянству. Внутренность зала ухитрился он осветить сальными плошками в совокупности с скипидарным маслом. То есть, он более понадеялся на неприхотливость гостей. Но однакож гости чрез несколько времени заметили, что нестерпимо воняет - а уж куда были неприхотливы! - и предводитель приказал вынести плошки".

6 октября н. ст. 1843 г. Гоголь просил Ш. приступить ко второму изданию "Мертвых душ", но уже 2 февраля н. ст. 1844 г. потребовал приостановить издание. В тот день, 2 февраля н. ст. 1844 г., Гоголь писал Ш. из Ниццы: "Теперь я так мало забочусь о том, что будет в отношении денежном, как никогда доселе. В конце прошлого года я получил от государыни тысячу франков. С этой тысячей я прожил до февраля месяца, благодаря, между прочим, и моим добрым знакомым, которых нашел в Ницце, у которых почти всегда обедал, и таким образом несколько сберег денег. Более всего меня мучило болезненное состояние, которое пришло весьма некстати и повергло дух мой в бесчувственное и бездейственное состояние, несмотря на все усилия воздвигать его. Теперь гораздо лучше. Болезненное состояние принесло свою пользу... Мне кажется, судя по письмам, как твоим, так и прочим, что вы все, то есть и ты, и Погодин, и Аксаков, терпите часто душевные беспокойства и тревоги. Они могут быть от разных причин, но могут быть приведены все к одному знаменателю. Я посылаю вам одно средство, уже мною испытанное, которое верно вам поможет уходить чаще в себя, а с тем вместе противиться всем душевным беспокойствам. При письме этом я прилагаю письмо ко всем вам. Ты прочитай его теперь же (прежде один) и купи немедленно во французской лавке четыре миниатюрных экземплярчика "Подражания Христа" (сочинение фламандского монаха Фомы Кемпийского (1380-1471). - Б. С.), для тебя, Погодина, С.Т. Аксакова и Языкова. Ни книжек не отдавай без письма, ни письма без книжек, ибо в письме заключается рецепт употребления самого средства, и притом мне хочется, чтоб это было как бы в виде подарка вам на новый год, исшедшего из собственных рук моих... В конце письма ты увидишь лаконические надписочки, которые разрежь ножницами и наклей на всяком экземплярчике. Подарок этот сопровожден сильным душевным желаньем оказать вам братскую помощь, и потому Бог, верно, направит его нам в пользу". А в письме Ш., Погодину и Аксакову, датированном январем 1844 г., Гоголь

поздравлял их с новым годом и желал "спокойствия душевного, т. е. лучшего, чего мы должны желать друг другу. Мне чувствуется, что вы часто бываете неспокойны духом. Есть какая-то повсюдная нервически душевная тоска: она долженствует быть потом еще сильнее. В таких случаях нужна братская взаимная помощь. Я посылаю вам совет; не пренебрегайте им. Он исшел прямо из душевного опыта, испытан и сопровожден сильным к вам участием. Отдайте один час вашего дня на заботу о себе, проживите этот час внутреннею, сосредоточенною в себе жизнию. На такое состояние может навести вас душевная книга. Я посылаю вам "Подражание Христу", не потому, чтоб не было ничего выше и лучше ее, но потому, что на то употребление, на которое я вам назначу ее, не знаю другой книги, которая была бы лучше ее. Читайте всякий день по одной главе, не больше, если даже глава велика, разделите ее на-двое. По прочтении предайтесь размышлению о прочитанном. Переворотите на все стороны прочитанное с тем, чтобы наконец добраться и увидеть, как именно оно может быть применено к вам, именно в том кругу, среди которого вы обращаетесь, в тех именно обстоятельствах, среди которых вы находитесь. Отдалите от себя мысль, что многое тут находящееся относится к монашеской или иной жизни. Если вам так покажется, то значит, что вы еще далеки от настоящего смысла и видите только буквы. Старайтесь проникнуть, как это всё может быть применено именно к жизни, среди светского шума и всех тревог. Изберите для этого душевного занятия час свободный и неутружденный, который бы служил началом вашего дня. Всего лучше немедленно после чаю или кофию, чтобы и самый аппетит не отвлекал вас. Не переменяйте и не отдавайте этого часа ни на что другое. Если даже вы и не увидите скоро от этого пользы, если чрез это остальная часть дня вашего и не сделается покойнее и лучше, не останавливайтесь и идите. Всего можно добиться и достигнуть, если мы неотлучно и с возрастающею силою будем посылать из груди нашей постоянное к тому стремление. Бог вам в помощь!"

14 декабря н. ст. 1844 г. из Франкфурта Гоголь направил Ш. письмо, в котором признал, что он был сам виноват в том, что его собрание сочинений в Петербурге вышло в неисправном виде и что он зря возлагал вину за это на Н. Я. Прокоповича и П. А. Плетнева. Теперь Гоголь распорядился направить средства, вырученные от продажи томов, на благотворительные цели: "Поговорим еще раз и уже в последний о моих делах прозаических, по поводу собрания моих сочинений, путаниц от этого и прочее... Виноват во всем я; я произвел всю эту путаницу и ералаш; я смутил и взбаламутил всех, произвел на всех до едина чувство неудовольствия и, что всего хуже, поставил в неприятное положение людей, которые без того не имели бы, может быть, никогда друг против друга никаких неудовольствий. Виноватый должен быть наказан, и лучше наказать самому себя, чем ожидать наказания Божьего. Я наказываю себя лишеньем денег, следуемых мне за выручку собрания моих сочинений. Лишенье это, впрочем, мне не стоит никакого пожертвования, потому что я не был бы спокоен, если бы употребил эти деньги в свою пользу. Всякий рубль и копейка этих денег куплены неудовольствием, огорчениями и оскорблением многих; они бы тяготели на душе моей; а потому должны быть употреблены все на святое дело. Все деньги, вырученные за них, отныне принадлежат бедным, но

достойным студентам; достаться они должны им не даром, но за труд. Что признаешь полезным ныне для всех перевесть на русский язык, заставь перевести; найдешь нужным задать собственное сочинение, задай... Дело это должно остаться только между тобою и С.Т. Аксаковым, и я требую в этом клятвенного и честного слова от вас обоих. Никогда получивший деньги не должен узнать, от кого он их получил, ни при жизни моей, ни по смерти моей. Это должно остаться тайной навсегда. Желанье мое непреложно. Только таким образом, а не другим должно быть решено это дело. Как бы ни показалось вам многое здесь странным, вы должны помнить только, что воля друга должна быть священна, и на это мое требование, которое с тем вместе есть и моленье, и желанье, вы должны ответить только одним словом да. То же самое сделано и в Петербурге. Там почти все экземпляры распроданы и деньги собраны; но я из них не беру ничего, и они все обращаются на такое же дело, с такими же условиями, и вверяются также двум: Плетневу и Прокоповичу. Но ни вы им, ни они вам никогда не должны об этом напоминать. А вас молю именем дружбы, именем Бога истребить в себе всякое неудовольствие, какое только у вас осталось к кому бы то ни было по поводу этого дела. Мне вы должны простить также все, чем оскорбил. Вы обо мне не заботьтесь. В течение почти двух лет я не буду иметь никакой надобности в деньгах. Во-первых, мы устроились кое-как с Жуковским, а во-вторых, мне теперь гораздо нужно меньше, чем когда-либо прежде. Посему, если ты не посылал еще мне тех денег, о которых извещал в письме, то и не посылай, а отложи их к деньгам на дело святое. Ни Аксакову, ни Языкову не плати. Они мне подождут: так нужно". Гоголь высоко ставил литературный вкус Ш. 20 ноября н. ст. 1845 г. из Рима он писал К. С. Аксакову: "Изберите себе какого-нибудь строгого и неумолимого литературного судью, который бы крестил и марал у вас безжалостно целые страницы. Это жестоко, но спасительно; я говорю вам по опыту. Я бы много теперь дал за то, чтобы найти такого смелого и отважного человека. Многих бы глупостей я не сделал. Изберите Шевырева; он более всех вам будет полезен".

26 июля н. ст. 1846 г. Гоголь писал Ш. из Швальбаха: "...Теперь приступаю к тебе с просьбою моей, весьма убедительной - напечатать второе издание "Мертвых Душ", в том же самом виде, на такой же бумаге, в той же типографии, в том же числе экземпляров (2400, т. е. два завода) с присовокуплением только предисловия, которое я пришлю потом, когда печатанье будет к концу. Нужно будет его отпечатать в месяц, дабы оно могло явиться в свет никак не позже 15 сентября. Экземпляры разойдутся - это я знаю. После того голоса, который я подам от себя, перед моим отправлением на поклонение к святым местам, их станут раскупать (Гоголь надеялся, что выход "Выбранных мест из переписки с друзьями" поможет продаже "Мертвых душ". - Б. С.). Посылать же на цензурованье к цензору в Петербург я не думаю, чтобы оказалась надобность, тем более что это фантастическое запрещенье второго издания никогда не существовало; оно образовалось в Москве по старой охоте ее к плетенью всякого рода сплетней. Это можешь объяснить цензору, если бы он оказался малоумен, а не то предстань к Строганову и объясни ему. Если же по причине какой-либо новой бестолковщины оказалось бы так, что нужно посылать в Петербург, то пошли к Никитенке и в то же время письмо Плетневу, чтобы он

его поторопил, потому что Никитенко, при всей благосклонности и расположении ко мне, несколько ленив и может замедлить присылкой".

А 5 октября н. ст. 1846 г. из Франкфурта он просил Ш. поправить текст предисловия к "Мертвым душам" и заодно сообщал о замысле "Выбранных мест из переписки с друзьями": "На днях отправил к Плетневу предисловие к "Мертвым душам". Вероятно, ты его уже умеешь. Исправь, пожалуйста, слог. Я не мастер на предисловия. Для меня труден этот приличный язык, которым должен разговаривать автор с нынешней публикою, а потому угладь всякое неловкое выражение и устрой всякий неуклюжий период. Мне нужно было сказать дело весьма для меня нужное. После этого почувствуешь и сам, хотя теперь и не смекнешь, почему оно мне нужно. Что книга выйдет несколько позже, это ничего; ей даже и не следует выходить раньше некоторого другого предисловия, не сделавши которого, мне нельзя и в дорогу. Дело это возложено на Плетнева. Это выбор из некоторых моих писем к друзьям, который должен выйти особой книгой. Но это пока между нами. Там, между прочим, часть моей исповеди и объяснение того, что так смущало некоторых относительно моей скрытности и прочее. Печатать я должен был в Петербурге по причинам, которые можешь смекнуть и сам, по причине близости цензурных непосредственных и высших разрешений. В это дело, кроме Плетнева и цензора, не введен никто, а поэтому и ты не сообщай о нем никому, кроме разве Языкова, который имеет один об этом сведение, и то потому, что нечто из писем, мною к нему писанных, поступило в выбор. Из этой книги ты увидишь, что жизнь моя была деятельна даже и в болезненном моем состоянии, хотя на другом поприще, которое есть, впрочем, мое законное поприще, и что велик Бог в Своих небесных милостях... Может быть, через месяц, то есть, если не в конце октября, то в начале ноября, должна выйти книга, а потому до того времени не выпускай "Мертвые души". Плетнев пришлет тебе несколько экземпляров, а в том числе и подписанный цензором на второе издание, потому что, по моему соображению, книга должна разойтись в месяц. Это первая дельная моя книга, нужная у нас многим, а может быть, если Бог будет так милостив, принесущая им действительную пользу: что изошло от души, то нельзя, чтобы не принесло пользы душе".

29 октября 1846 г. Ш. сообщал Гоголю: "...Ты хочешь от меня вестей о том, что здесь говорят о тебе. Когда я слушаю эти вести, всегда вспоминаю город NN в "Мертвых душах" и толки его о Чичикове. Глубоко ты вынул всё это из нашей жизни, которая чужда публичности. Если желаешь, пожалуй - я тебе все это передам. Ты, кажется, так духовно вырос, что стоишь выше всего этого. Начну с самых невыгодных слухов. Говорят иные, что ты с ума сошел. Меня встречали даже добрые знакомые твои такими вопросами: "Скажите, пожалуйста, правда ли это, что Гоголь с ума сошел?" - "Скажите, сделайте милость, точно ли это правда, что Гоголь с ума сошел?" - Прошлым летом тебя уж было и уморили, и даже сиделец у банкира, через которого я к тебе отправлял иногда деньги, спрашивал у меня с печальным видом: правда ли то, что тебя нет уже на свете? - Письмо твое к Жуковскому было напечатано кстати и уверило всех, что ты здравствуешь (речь идет о письме "Об Одиссее, переводимой Жуковским", напечатанном в "Современнике", вошедшем в состав "Выбранных мест из

переписки с друзьями". - Б. С.). Письмо твое вызвало многие толки. Розен восстал на него в Северной Пчеле такими словами: если Илиаду и Одиссею язычник мог сочинить, что гораздо труднее, то, спрашивается, зачем же нужно быть христианином, чтобы их перевести, что гораздо легче. Многие находили это замечание чрезвычайно верным, глубокомысленным и остроумным. Более снисходительные судьи о тебе сожалеют о том, что ты впал в мистицизм. Сенковский в Библиотеке для Чтения даже напечатал, что наш Гомер, как он тебя называет, впал в мистицизм. Говорят, что ты в своей Переписке, которая должна выйти, отрекаешься от всех своих прежних сочинений, как от грехов. Этот слух огорчил даже всех друзей твоих в Москве. Источник его - петербургские сплетни. Содержание книги твоей, которую цензуровал Никитенко, оглашено было как-то странно и достигло сюда. Боятся, что ты хочешь изменить искусству, что ты забываешь его, что ты приносишь его в жертву какому-то мистическому направлению. Книга твоя должна возбудить всеобщее внимание; но к ней приготовлены уже с предубеждением против нее. Толков я ожидаю множество бесконечное, когда она выйдет. Сочинения твои все продолжают расходиться. Скопляется порядочная сумма. Я не тороплюсь исполнять твое поручение. Еще будет время. Аксакову письмо я доставил. Он страдает глазами. Погодин только что возвратился из славянских земель. Прощай. Обнимаю тебя. Твой С. Шевырев. Прибавлю еще к сказанному, что если бы вышла теперь вторая половина "Мертвых Душ", то вся Россия бросилась бы на нее с такою жадностью, какой еще никогда не было. Публика устала от жалкого состояния современной литературы. Журналы все запрудили пошлыми переводами пошлых романов и своим неистовым болтаньем... Твоей новой книги еще не знаю. Но мы ждем от тебя художественных созданий. Я думаю, что в тебе совершился великий переворот и, может быть, надо было ему совершиться, чтобы поднять вторую часть "Мертвых Душ". О, да когда же ты нам твоим творческим духом раскроешь глубокую тайну того, что так велико и свято и всемирно на Руси нашей. Ты приготовил это исповедью наших недостатков, ты и доверши".

6 ноября 1846 г. Ш. писал П. А. Плетневу из Москвы в Петербург по поводу цензурных трудностей, с которыми столкнулась рукопись "Выбранных мест из переписки с друзьями": "Не могу не откликнуться вам сейчас же на ваше письмо, которое потрясло меня вчера. Благодарю, благодарю вас и за себя и за Гоголя, и за всех любящих его. Вы один только в наше время можете делать то, что вы для него делаете. Никитенко потерял и последнее достоинство в моих глазах. Я считал его благородным цензором и благородным человеком, но он, как видно, ни то, ни другое. Какое же право он имел оглашать рукописи, которые вверяются ему для прочтения? Неужели и общественное мнение против этого не действует? С одной стороны, Никитенко притесняет Гоголя, а с другой - он и его ватага распускают и в Петербурге, и в Москве самые страшные о нем слухи. Эти люди не действуют без умысла. Но притеснения Никитенки будут оглашены и здесь. Слухам о Гоголе верить нельзя, пока не выйдет книга. Здесь уже хоронят его литературный талант; говорят, что он отказывается от всех своих сочинений, как от грехов (хотя и печатает вторым изданием "Мертвые Души" и "Ревизора"); посягают даже на благородство его мнений. Не

говорю уже о дальнейших толках, что он подпал влиянию иезуитов, что он сошел с ума. Город NN в "Мертвых Душах" с своими толками о Чичикове здесь в лицах. Источник всего этого главный - собрания у Никитенко и его цензурная нескромность. Противодействовать этому может только самый выход книги и издание "Мертвых Душ". Тогда будут данные, по которым публика сама рассудит Гоголя. Я понимаю, что решительное изъявление мнений, которые в нем не новы, но только созрели, могло озлобить всю эту партию и вызвать ее на такие действия против прежнего ее любимца. Понимаю, как она может против Гоголя неистовствовать; но я никак не мог вообразить, чтобы она могла унизиться до таких подлых против него действий. Вы не поверите, с какой жадностью хотел бы я прочесть то, что уже напечатано (набрано в типографии. - Б. С.). Если это не нескромная просьба, то сделайте милость, перешлите мне хоть корректурные листы того, что уже напечатано. Вы можете быть уверены в моей осторожности, но надобно же какое-нибудь противодействие, основанное на данных, а до сих пор все эти данные были в руках только одной стороны, кроме вас, - стороны враждебной обнаруженным мнениям Гоголя. Здесь есть вестовщики, которые явно всем рассказывают, что они читали рукопись Гоголя у Никитенки, что там прочли они ужасы; цитируются места, фразы. Первое письмо ваше несколько успокоило толки в кругу мне знакомых. Объявляют за важную весть,что Белинский, который будет заведывать критикой Современника, изменил уже свое мнение о Гоголе и напечатает ряд статей против него. Это послужит только к чести Гоголя - и давно пора ему для славы своей скинуть с себя пятно похвал и восклицаний, которые приносил ему Белинский".

11 февраля н. ст. 1847 г., узнав о кончине Н. М. Языкова из письма Ш. от 30 декабря 1846 г., где также содержалась критика "Выбранных мест из переписки с друзьями", Гоголь писал Ш. из Неаполя: "Я получил твое письмо с известием, что Языкова уже не стало. Итак, эта небесная, безоблачная душа уже на Небесах! Из всех моих друзей у него больше других было тех некоторых особенностей, какие были и в моей природе, которых он не обнаружил, однакож, ни в сочинениях своих, ни даже в беседах с другими и которые были причиной, что между нами было тесное дружество. Наши мысли и вкусы были почти сходны. Но разум и чистота младенчества, каких у меня не было, светились в одно и то же время в его словах. Как он был добр ко мне и как любил меня! О! да удостоит нас Бог всех совершить честно свой долг на земле, чтобы удостоиться небесного блаженства и ликованья вместе с ним, с которым уже и здесь на земле было так приятно беседовать, как бы беседовал с ангелом на Небесах. Благодарю тебя за то, что ты, наконец, заговорил со мной откровенно и отважился сделать мне упреки. Их я жду отовсюду, ищу ото всех, хотя еще никто не верит словам моим и думает, что я морочу людей. В упреках твоих есть и справедливая и несправедливая сторона, но то и другое для меня драгоценно, потому что показывает мне, во-первых, в каком виде я стою в глазах твоих, во-вторых, заставляет меня все-таки лишний раз оглянуться и построже рассмотреть себя. Вот что я нахожу теперь нужным сказать тебе в ответ на них, - сказать не с тем, чтобы оправдываться, но чтобы изгнать из мыслей твоих беспокойство обо мне, которое, как я замечаю, поселили в тебе

мои неловко и неразумно выраженные слова. Начну с того, что твое уподобление меня княгине Волконской относительно религиозных экзальтаций, самоуслаждений и устремлений воли Божией лично к себе, равно как и открытье твое во мне признаков католичества, мне показались неверными. Что касается до княгини Волконской, то я ее давно не видал, в душу к ней не заглядывал; притом это дело такого рода, которое может знать в настоящей истине один Бог; что же касается до католичества, то скажу тебе, что я пришел ко Христу скорее протестантским, чем католическим путем. Анализ над душой человека таким образом, каким его не производят другие люди, был причиной того, что я встретился со Христом, изумясь в нем прежде мудрости человеческой и неслыханному дотоле знанью души, а потом уже поклонясь Божеству его. Экзальтаций у меня нет, скорей арифметический расчет; складываю просто, не горячась и не торопясь, цифры, и выходят сами собою суммы. На теориях у меня также ничего не основывается, потому что я ничего не читаю, кроме статистических всякого роду документов о России да собственной внутренней книги. Относительно надписи Погодина ты также попал в заблуждение. Я давно уже, слава Богу, ни на кого не сержусь, но для надписи я прибирал нарочно самые жесткие слова, желая усилить в глазах его те недостатки, которые кажутся ему небольшими и неважными, и несколько даже уязвить душу. Что ж делать? Иных людей не заставишь по тех пор развязать, как следует, язык, покуда не рассердишь. К тому ж я угощал его тем же, чем угощаю себя ежедневно и чем желал бы, чтобы потчевали меня почаще другие. Впрочем, напрасно ты такого дурного мнения о Погодине. Он гораздо лучше, чем ты его себе представляешь, и особенно теперь. Он великодушен, и это составляло всегда главную черту его характера, несмотря на все недостатки его: он сам станет колоть себя и поражать именно моими словами, теми самыми, которые я прибрал ему в надпись. В доказательство же, что я ничего не имею противу его на душе своей, прилагаю при сем письмецо к нему самому. Наконец в заключение и в благодарность за упреки я присовокупляю здесь упрек тебе, - упрек в пристрастии, которое заметили в тебе не только я, но все те, которые тебя знают или же прочли твои сочинения (имеется в виду написанная Ш. "История русской словесности, преимущественно древней". - Б. С.). Дух пристрастия у тебя слышался всегда во всем. Пристрастие к земле, к людям, даже к собственной своей одной какой-нибудь мысли, которую ты будешь долго прилаживать и пригонять ко всему. Давно ли говорили почти все, что Шевырев никак не может обойтись без Италии и где бы то ни было, кстати или некстати, приклеит ее. Этот дух пристрастия стал исчезать в тебе в последних твоих сочинениях, по мере того, как стал ты приближаться к разумной средине всего. Его нет почти вовсе в твоем курсе. Я думал, что оно уже в тебе исчезло. Но теперь вижу, что оно сохранилось еще во всей силе к тем людям, которых ты любишь. Ты в них не видишь недостатков; если ж и видишь, не высказываешь; высказываешь недостатки ты одним врагам своим или же тем, которые огорчили. И к чему между нами эта осторожность, чтобы как-нибудь не обжечь словом? Лучше бы ты эту осторожность наблюдал в своих прежних перепалках с Белинским и другими литераторами; подслащиванье можно употреблять в деле с людьми, стоящими на низшей перед нами ступеньке воспитанья, а мы,

слава Богу, не дети. Да и пора уж быть нам наконец мужами. Зачем же мы себя называем избранными и лучшими других, когда мы не умеем переносить того, что не только переносит легко христианин, но даже приемлет благодарно, как лучшее даяние? Ну, на что, например, похож твой нынешний поступок со мною? В продолжение долгого времени ты молчал, таил перед мною все чувства и помышленья обо мне и только на могиле Языкова осмелился заговорить, выражаясь, что одна могила Языкова внушила тебе смелость. Да что же я? Лютый зверь какой, к которому даже и подступиться страшно? Съел бы я тебя, что ли? Стыдно тебе! Такой друг никогда не может быть вполне полезен. По-настоящему ты бы не должен скрывать передо мною и таких своих помышлений обо мне, которые тебе самому показались бы неосновательными, не смущаясь даже боязнью сказать глупость или ошибиться. Мы все люди и потому на каждом шагу говорим глупости и ошибаемся. Что я скрытен - это совсем другое дело. Скрытен я из боязни напустить целые облака недоразумений моими словами, каких случилось немало наплодить доселе; скрытен я оттого, что еще не созрел и чувствую, что еще не могу так выразиться доступно и понятно, чтобы меня как следует поняли. Но тебе даже грех быть со мной скрытну; я бы тебя понял. Сейчас принесли мне твое письмо со вложением векселя. Ты напрасно мне его прислал; в деньгах я покаместь не нуждаюсь. Бестолковщина по части книги моей в Петербурге и другие непредвиденные препятствия отодвинули отъезд мой на Восток, а потому деньги храни у себя до моего востребования. Я получил уже деньги от Плетнева вместе с известием о выходе моей книги в обезображенном цензурою виде. Плетнев сделал неосмотрительность непростительную, поторопившись с ее выпуском и не дождавшись моих распоряжений относительно самых значительных статей, в нее не вошедших. Вышло наместо толстой и солидной книги что-то странное, не то книга, не то брошюра. Последовательность и связь - всё пропало. В унынье от этого я, разумеется, не пришел, потому что знаю высокую душу Государя и не сомневаюсь в пропуске, но всё несколько неприятно. В прежнем моем письме я поручал второе издание в ее полном виде тебе. Но теперь вижу, что это замедлит ее появление; пересылка, медленность московских типографий, наконец, недоумения, которые могут произойти по поводу вставок всех выпущенных мест и надлежащего их размещения, - всё это заставляет меня вновь возложить это дело на Плетнева. Не позабудь, однакож, передать мне все мненья об этом явившемся в печати оглодке, как твои, так и других; поручай и другим узнавать, что говорят о ней во всех слоях общества, не выключая даже и дворовых людей, а потому проси всех благотворительных людей покупать книгу и дарить людям простым и неимущим. Еще попрошу тебя об одном одолжении. Доброго моего Языкова уже нет на земле, а потому и некому баловать меня присылкою книг, что с такой охотой и радушьем исполнял он, а потому не позабудь хотя изредка, если узнаешь, что кто-нибудь отправляется за границу, присылать мне. Я бы теперь хотел иметь русские летописи, изданные Археографической комиссией, - их, кажется, уже три, если не четыре тома, - и Снегирева "Описание русских праздников и увеселений", присовокупив к нему его книгу: "Русские в своих пословицах". Тот, кто возьмет их, если не довезет до Неаполя, то может оставить их во Франкфурте у

Жуковского. Об этих книгах я просил еще недавно Языкова в маленьком письмеце... не зная, что он уже покойник в ту минуту, когда я писал к нему".

22 марта 1847 г. Ш. писал Гоголю по поводу "Выбранных мест из переписки с друзьями": "Ты избалован был всею Россиею; поднося тебе славу, она питала в тебе самолюбие. В книге твоей оно выразилось колоссально, иногда чудовищно. Самолюбие никогда не бывает так чудовищно, как в соединении с верою. В вере оно уродство".

27 апреля н. ст. 1847 г. Гоголь в письме Ш. из Неаполя отверг распространившуюся в обществе после выхода "Выбранных мест из переписки с друзьями" мысль "о моем отречении от искусства. Я не могу понять, отчего поселилась эта нелепая мысль об отречении моем от своего таланта и от искусства, тогда как из моей же книги можно бы, кажется, увидеть было хотя некоторые, какие страдания я должен был выносить из любви к искусству, желая себя приневолить и принудить писать и создавать тогда, когда я не в силах был, - когда из самого предисловия моего ко второму изданию "Мертвых Душ" видно, как я занят одною и тою же мыслью и как хочу набрать тех сведений, которые мне нужны для моего труда. Что ж делать, если душа стала предметом моего искусства? виноват ли я в том? Что ж делать, если заставлен я многими особенными событиями моей жизни взглянуть строже на искусство? Кто ж тут виноват? виноват Тот, без воли которого не совершается ни одно событие..."

28 августа н. ст. 1847 г. Гоголь из Остенде сообщал Ш.: "Пробежал некоторые номера русских журналов, которые попались мне в руки и которых в силу можно было держать в руках по причине толщины. Взгляд на них мне был нужен. Все-таки в них выражается часть того общества, которое больше всех других читает книги. Это нужно принять к сведению всякому, кто ни заводит речь с обществом. Своя собственная речь сделается доступнее. Не снизойдя к другим, нельзя их возвести к себе, а теперь, право, всяк из нас требует снисхождения: как ему не заблудиться в это время броженья и смешенья всего! Что касается до объяснений на мою книгу, то я решился дело это оставить. Покуда не съезжу в Иерусалим, не предприму ничего, а до того и другие от многого очнутся. Прилагаю тебе при сем письмо к Сергею Тимофеевичу Аксакову, которое ты можешь прочесть, во-первых, потому, что тут есть кое-что, относящееся ко мне лично, а во-вторых, потому, что ты должен читать все мои письма, рад или не рад, потому что ты должен меня знать лучше других, имея все-таки больше противу других данных узнавать со всех сторон человека..."

2 декабря н. ст. 1847 г. Гоголь из Неаполя писал Ш.: "...На замечанье твое, что "Мертвые Души" разойдутся вдруг, если явится второй том, и что все его ждут, скажу то, что это совершенная правда; но дело в том, что написать второй том совсем не безделицы. Если ж иным кажется это дело довольно легким, то, пожалуй, пусть соберутся, да и напишут его сами, совокупясь вместе; а я посмотрю, что из этого выйдет. Мне нужно будет очень много посмотреть в России самолично вещей, прежде чем приступить ко второму тому. Теперь уже стыдно будет дать промах. Ты видишь (или, по крайней мере, должен видеть более прочих), что предмет не безделица и что беда, не будучи вполне готовым

и состроившимся, приняться за это дело. Сделавши это дело хорошо, можно принести им большую пользу; сделавши же дурно, можно принести вред. Если и нынешняя моя книга, "Переписка" (по мнению даже неглупых людей и приятелей моих) способна распространить ложь и безнравственность и имеет свойство увлечь; то сам посуди, во сколько раз больше я могу увлечь и распространить ложь, если выступлю на сцену с моими живыми образами. Тут ведь я буду посильнее, чем в "Переписке". Там можно было разбить меня в пух и Павлову и барону Розену, а здесь вряд ли и Павловым, и всяким прочим литературным рыцарям и наездникам будет под силу со мной потягаться. Словом, на все эти ребяческие ожидания и требования 2 тома глядеть нечего. Ведь мне же никто не хотел помочь в этом самом деле, которого ждет! Я не могу ни от кого добиться записок его жизни! Записки современника, или лучше, воспоминания прежней жизни, с окруженьем всех лиц, с которыми была в соприкосновении его жизнь, для меня вещь бесценная. Если б мне удалось прочесть биографию хотя двух человек, начиная с 1812 года и до сих пор, т. е. до текущего года, мне бы объяснились многие пункты, меня затрудняющие. Но довольно обо всем этом. Бог милостив, и у него всё возможно. Может быть, мне будет дано здоровье, силы и возможность не полагаться ни на кого, высмотреть всё самому... Я очень соскучился по России и жажду с нетерпением услышать вокруг себя русскую речь..."

В следующем письме Ш., 18 декабря н. ст. 1847 г., Гоголь признавался: "Хочется еще поговорить с тобой. Я прочел вторую книжку твоих лекций. Она еще значительней первой, и это чувствуешь, вероятно, и сам. В ней ощутительней и ближе показывается читателю дело. Но и в ней проглядывает поспешность поделиться с читателем всем, даже и тем, что еще для самого себя видится в несколько отдаленной перспективе - общий порок всех, идущих вперед людей! Что для себя еще перспектива, пусть и останется в себе. Говорить нужно только о том, к чему уже пришел совершенно. Увы! я узнал это на опыте ("Выбранных мест из переписки с друзьями". - Б. С.). Еще, мне кажется, не нужно читателю говорить вперед о своей огромности того горизонта, который намерен захватить своею книгою. Лучше высказать ему словесно скромнейшее и более частное намерение, а книга пусть ему сама собой обнаружит этот горизонт. Мне кажется, можно было не говорить вперед: "Я хочу показать всего русского человека в литературе", разве прибавивши: "насколько он в ней выразился". А, вместо того, просто раскрыть своей книгой действительно всего русского человека, как ты, вероятно, и сделаешь, но что не всякий может покуда смекнуть даже из тех, кому нравится твоя книга. Ты не можешь себе представить, как сердит всякого человека, не дошедшего до нашей точки зрения, похвальба открыть то, что ему еще не открыто и чье существование, разумеется, он должен отвергать, как несбыточное. Его бесит это, как бесит ложь, проповедываемая с видом истины, и бесит еще более, когда он видит, как увлекаются другие. Увы! весь неуспех доброго дела от нас, и всему виноваты мы сами. Как трудно умерить себя! Как трудно сделать так, чтобы в твореньи нашем дело выступало само и говорило собою, а не слова наши говорили о деле! Как трудно также уберечься от этих двух-трех выходок, которые проскользнут где-нибудь в книге, на которые упершись, читатель уже подымает

войну против всей книги! А человек так всегда готов, выражаясь не совсем опрятной пословицей: "рассердясь на вши да всю шубу в печь!" (здесь Гоголь словно предсказал судьбу беловой рукописи второго тома "Мертвых душ". - Б.С.) Мне особенно понравилось, что ты развил в своей книге мысль о безличности наших первоначальных писателей, умевших всегда позабыть о себе. По прочтении твоей книги передо мною обнаружилось еще более мое собственное безрассудство в моей "Переписке с друзьями". Я уже давно питал мысль - выставить на вид свою личность. Я думал, что если не пощажу самого себя и выставлю на вид все человеческие свои слабости и пороки и процесс, каким образом я их побеждал в себе и избавлялся от них, то этим придам духу другому не пощадить также самого себя. Я совершенно упустил из виду то, что это имело бы успех только в таком случае, если бы я сам был похож на других людей, то есть на большинство других людей. Но выставить себя в образец человеку, не похожему на других, оригинальному уже вследствие оригинальных даров и способностей, ему данных, это невозможно даже и тогда, если бы такой человек и действительно почувствовал возможность достигать того, как быть на всяком поприще тем, чем повелел быть человеку сам богочеловек. Я спутал и сбил всех. Поэтические движения, впрочем, сродные всем поэтам, все-таки прорвались и показались в виде чудовищной гордости, невместимой никак с тем смиреньем, которое отыскивал читатель на другой странице, и ни один человек не стал на ту надлежащую точку, с которой следовало глядеть на эту загадочную книгу. Гляжу на всё, дивлюсь до сих пор и думаю только о том, каким бы образом я мог прийти в мое нынешнее состояние без этой публичной оплеухи, которою я попотчевал самого себя в виду всего русского царства. Только теперь чувствую силу того, что говоришь в книге твоей о личности писателя. Прежде я бы не понял и долго бы из-за моих героев показывал бы непережеванного себя, не замечая и сам того. Напиши мне, пожалуста, как идет в продаже твоя книга и сколько экземпляров было напечатано. Затем к тебе просьба вот какая. Пошли из моих денег, выручаемых за "Мертвые души", сто рублей ассигнациями, при следуемом здесь письмеце, сестре Ольге, если можно, не откладывая времени. А на другие сто рублей ассигнациями накупи книг такого рода, которые могли бы отрока, вступающего в юношеский возраст, познакомить сколько-нибудь с Россиею (отрока лет тринадцати), как-то: путешествия по России, история России и все такие книги, которые без скуки могут познакомить собственно со статистикой России и бытом в ней живущего народа, всех сословий. Я не знаю и не могу теперь припомнить, что у нас выходило хорошего по этой части. Но нельзя, чтобы не вышло чего-нибудь в последние года, где бы посущественней и поближе показывалось внутреннее состояние государства и что могло бы легко и с интересом читаться детьми. Начни тем, что купи у самого себя лекции русской литературы, вышедшие доселе выпуски, и записки твоего путешествия, если только они выйдут (я жду их с большим аппетитом: мне кажется, что эта книга будет больше для меня, чем для всякого другого). Купивши все такие книги, уложи их в ящик и отправь в Полтаву на имя сестры моей Анны. Прости, что обременяю тебя такими скучными хлопотами и пользуюсь безгранично твоей добротой. У меня есть племянник, почти брошенный мальчик, которому получить воспитанья

блестящего не удастся, но если в нем чтеньем этих книг возбудится желанье любить и знать Россию, то это всё, что я желаю; это, по-моему, лучше, чем если бы он знал языки и всякие науки. Об участи его я тогда не буду заботиться: он, верно, и сам пойдет своей дорогой и будет доброй служакой где-нибудь в незаметном уголку государства. А этого и предовольно для русского гражданина. Всё прочее может поселить только заносчивость в бедном человеке. Присоедини к этому русский перевод Гуфланда о сохранении жизни. Он существует. Поручи книгопродавцам его отыскать. У меня есть одна сестра, которая воспиталась сама собою в глуши. Языка иностранного не знает. Но Бог наградил ее чудным даром лечить и тело, и душу человека. С семнадцатилетнего возраста она отдала себя всю Богу и бедным и умерла для всего другого в жизни. Она лечит с необыкновенным успехом всякими травами, которых целебное свойство открыла сама, и часто молит Бога, чтобы заболеть, затем, чтобы испытать на себе самой новые придуманные ею средства (не отсюда ли идея последнего, предсмертного поста Гоголя - ввергнуть себя в болезненное состояние, чтобы испытать на себе милость Божию? - Б. С.). Читать ей медицинских книг не следует; пусть ее ведет натура. Но ей нужна такая книга, которая бы дала ей ближайшее понятие вообще о природе человека, как в нем движется кровь, как переваривается пища и прочее. Пожалуста спроси какого-нибудь умного врача, нет ли у нас на русском такой книги, которая бы могла быть по этой части доступна простолюдину, а не какому-нибудь ученому и воспитанному человеку, в которой была бы полная и коротенькая, понятная самому дитяти анатомия человека. Если что найдется по этой части, то, пожалуста, приложи к посылке, написавши на книге: "Ольге Васильевне", чтобы она не замешалась с другими. Еще пошли ей же лучшее, какое у нас вышло, изъяснение Литургии. Ты, верно, это знаешь. Не сердись на меня, мой добрый, за мои просьбы. Не забывай меня, пиши, пиши, как можно чаще. Ради Бога, пиши".

Осенью 1848 г. в Москве Гоголь остановился в собственном доме Ш. в Дегтярном переулке, близ Тверской улицы.

Следующее письмо Ш. Гоголь отправил только два года спустя, 18 июля 1850 г., из Васильевки: "Податель этого письма - племянник мой Николай Трушковский, о котором я уже тебе писал в прошлом письме моем. Снабди его, добрый друг, какими можешь рекомендациями и письмами к казанским профессорам по факультету восточных языков, к которым он возымел охоту. Этим ты сделаешь истинное добро, потому что юноша чистой души и самых хороших расположений. Я еще сижу в Малороссии и подымаюсь на юг не раньше, как через полтора месяца: жары невыносимые. Нет сил ни работать, ни даже лечиться; одно, что решаюсь употреблять, - это купанье. Я думаю, ты им также пользуешься. Засухи непомерны, но при всем том Бог спас от полного неурожая. Чьими-то святыми молитвами вызванный дождь вдруг пошел назад тому недели полторы, продолжался всего полдня и спас весь край. Нужно жить с землей и видеть здесь на месте, как достается хлеб, чтобы выучиться хоть сколько-нибудь благодарить Бога. Но Боже, Боже! как мало мы достойны благодеяний, как скоро привыкаешь ко всему, как склонен к неблагодарной бесчувственности бедный человек. Как нечувствительно он отдаляется от Бога

даже и тогда, когда еще думает, будто с Ним. О, храни нас Святая Сила! и тебя, и меня, и весь дом твой! Передай душевный братский поклон Софии Борисовне (жене Ш. - Б. С.) и обними за меня деток".

Как писал Ш. гоголевской двоюродной сестре М. Н. Синельниковой, что летом 1851 г. Гоголь читал у него на подмосковной даче семь глав из второго тома "Мертвых душ" "можно сказать, наизусть по написанной канве, содержа окончательную отделку в голове своей".

25-26 июля 1851 г. Гоголь писал Ш. насчет второго тома "Мертвых душ": "Убедительно прошу тебя не сказывать никому о прочитанном, ни даже называть мелких сцен и лиц героев. Случились истории (очевидно, слухи о содержании прочитанных глав дошли до кого-то, кто заподозрил, что послужил прототипом их персонажей. - Б.С.). Очень рад, что две последние главы кроме тебя, никому неизвестны. Ради Бога, никому". 27 июля 1851 г. Ш. отвечал Гоголю: "Успокойся. Даже и жене я ни одного имени не назвал, не упомянул ни об одном событии. Только раз при тебе же назвал штабс-капитана Ильина, но и только. Тайна твоя для меня дорога, поверь. С нетерпением жду 7-й и 8-й главы. Ты меня освежил и упоил этим чтением". 30 сентября 1851 г. Гоголь признавался в письме Ш.: "Дух мой крайне изнемог; нервы расколеблены сильно. Чувствую, что нужно развлечение, а какое, - не найду сил придумать".

В феврале 1852 г. Ш. писал М. Н. Синельниковой: "За неделю до масленицы Гоголь казался совершенно здоровым и бодрым. В течение всей зимы я радовался за него, что он хорошо выносит московскую зиму, которой боялся. Нередко обедал он у нас, после обеда занимался со мною чтением корректур первого и второго тома своих сочинений, в которых он выправлял слог, а я правил под диктовку его. Другие два тома печатались в то же время. В последний раз занимались мы с ним этим делом в четверг перед масленицей (31 января. - Б. С.)... Из расспросов слуги Гоголя я узнал, что Гоголь лечился в доме и каждое утро обертывался мокрой простыней. Так было в декабре и генваре месяце. Он никогда не говорил мне о том. Лечение его было прервано. Потом возобновил его опять, но, обернувшись простынею, не согревался. Такое лечение было совсем не по его слабому сложению. Я думаю, в нем заключалась главная причина его болезни. Когда я его расспрашивал о том, он сказал мне, что лечение освежило его силы и он чувствовал себя бодрее, но, конечно, это была искусственная бодрость... В понедельник на масленице (4 февраля. - Б. С.) приехал он ко мне в пять часов вечера, чтобы сказать, что некогда ему теперь заниматься корректурами. Я и жена заметили перемену в лице его и спросили, что с ним. Он отвечал, что дурно себя чувствовал и кстати решился попоститься и поговеть. Я спросил его: "Зачем же на масленой?" - "Так случилось, - говорит он. - Ведь и теперь церковь читает уже "Господи, владыка живота моего!" и поклоны творятся... Пятого, после лекций моих, я поехал к нему и застал его на отъезде. Он жаловался мне на расстройство желудка и на слишком сильное действие лекарства, которое ему дали. Я говорил ему: "Но как же ты, нездоровый, выезжаешь? Посидел бы три дня дома - и прошло бы. Вот то-то не женат: жена бы не пустила тебя". Он улыбнулся этому... В среду (6 февраля. - Б. С.) он опять был у меня. Казалось, ему лучше: лицо было спокойнее, хотя следы усталости какой-то были видны на нем. Я приписывал их посту... В тот самый

день, как приобщился он святых тайн (7 февраля. - Б. С.), я был у него и со слезами, на коленях, молил его принять пищу, которая могла бы подкрепить его, но он как будто оскорбился такою просьбою, уверял меня, что ест весьма довольно... Мысль о смерти его не оставляла. Еще, кажется, в первый понедельник он позвал к себе графа Толстого и просил его взять к себе его бумаги, а по смерти его отвезти их к митрополиту и просить его совета о том, что напечатать и чего не напечатать. Граф не принял от него бумаг, опасаясь тем утвердить его в ужасной мысли, его одолевавшей... В последние дни имел он еще силы писать хотя дрожащей рукою... На длинных бумажках писал он большими буквами: "Аще не будете малы, яко дети, не внидете в царствие небесное". Потом молитву Иисусу Христу против сатаны, чтобы Иисус Христос связал его неисповедимою силою креста своего. Последние слова, написанные им, были: "Как поступить, чтобы признательно, благодарно и вечно помнить в сердце полученный урок?" К чему относились эти слова, - это осталось тайной... Одним из последних слов, сказанных им еще в полном сознании, были слова: "Как сладко умирать!"

28 марта 1852 г. Ш. писал П. Я. Чаадаеву: "В понедельник, во второй день Пасхи, минет сороковой день по кончине Гоголя. В Даниловом (монастыре. - Б. С.), в десять с половиной часов утра, начнется заупокойная обедня и потом панихида по душе усопшего, а потом предложена будет трапеза сорока бедным, монашествующей братии и нам, участникам поминовения, в келье архимандрита. Издержки каждого участника десять рублей серебром. Вы, конечно, примете участие в этом поминовении, потому я счел долгом уведомить вас об этом. Отрадно будет услышать воскресную песнь вместе с заупокойной на могиле того, кто так любил и так глубоко чувствовал праздник воскресения. Мне хочется за трапезой прочесть его "Светлое Воскресение".

7 мая 1852 г. Ш. составил "Записку о печатании сочинений покойного Н. В. Гоголя и о сумме денег, им на то оставленной": "При жизни покойного Н.В. Гоголя, им самим, с дозволения московской цензуры, начато печатание 4-х томов его сочинений в трех типографиях: первых двух томов в Университетской, 3-го в типографии Готье, 4-го в типографии Семена. В Университетской напечатано 19 листов, остается еще примерно 16,5 листа. У Готье отпечатано 16, остается 2 листа, у Семена отпечатано 6, остается 17 лист... Сумма на издержку. После Н.В. Гоголя осталось в моих руках от его благотворительной суммы, которую он употребил на вспоможение бедным молодым людям, занимающимся наукою и искусством, - 2.533 руб. 87 коп. Его карманных денег - 170 р.10 к. Итого 2.703 р. 97 к. Деньги от его благотворительной суммы назначал он употребить теперь на напечатание его сочинений с тем, чтобы по выручке издержек она следовала опять своему назначению... В каком состоянии находится теперь дело? По смерти Николая Васильевича я получил приказание остановить издание его Сочинений впредь до разрешения начальства. Лица, принимающие живое участие в судьбе семейства покойного, заботятся о том, чтобы получить на то высочайшее разрешение. Необходимо также для продолжения дела, чтобы родные Николая Васильевича, имеющие права на наследство его имением и, следовательно, по закону пользующиеся 25-летним правом печатания его Сочинений в свою

пользу, прислали мне полномочную доверенность на то, чтобы распоряжаться изданием его Сочинений по моему благоусмотрению и доброй воле и отсылать им только отчеты и доходы. Как трудился я в этом отношении для покойника при жизни его, так не откажусь потрудиться и для его семейства. В течение 25 лет печатание его Сочинений уже изданных и еще неизданных может составить весьма значительный капитал. Теперь ни Сочинений его, ни "Мертвых Душ" уже нет в продаже, уцелевшие же в книжных лавках экземпляры продаются по цене неимоверной. Родные покойника могут быть уверены, что их интересы так же будут для меня дороги, как были интересы покойного, которого дружба и память останутся навсегда священны для моего сердца".

ШЕРЕМЕТЕВА Надежда Николаевна (урожденная Тютчева, 1775-1850), тетка поэта Федора Ивановича Тютчева (1803-1873) и теща декабриста Ивана Дмитриевича Якушкина (1793-1857). Была близким другом Гоголя. Они познакомились в марте 1842 г. на вечере у Киреевских, где Гоголь читал главу "Мертвых душ". Ш. оказалась человеком очень набожным и на этой почве сблизилась с Гоголем. Очень быстро они подружились.

Как вспоминала А. В. Гоголь: "Когда весть о благочестивом желании нового знакомого (совершить путешествие в Иерусалим. - Б. С.) дошла до Шереметевой, набожная старушка, посвятившая всю жизнь молитве и добрым делам, сразу горячо полюбила Гоголя, как сына, принимая горячее участие в столь сочувственном для нее плане. В свою очередь, она встретила в Гоголе задушевный отклик: он нашел в ней одну из тех женщин, о которых он говорил, что они "живут в законе Божием". Он стал называть ее "духовной матерью", прося позволения время от времени посылать ей деньги для раздачи бедным".

Уже 4 июня 1842 г. Гоголь писал из Петербурга Ш. очень интимное письмо: "Благодарю вас от всего сердца за память обо мне и за молитвы. Здоровье мое, слава Богу, кое-как плетется. Тружусь, работаю с молитвою и стараюсь не быть свободным ни минуты. Испытав на опыте, что в праздные минуты к нам ближе искуситель, а Бог далее, я теперь занят так, что не бывает даже времени написать письмо к близкому человеку. Знаю, что близкий человек простит, потому и не извиняюсь. Работать нужно много особенно тому, кто пропустил лучшее время своей юности и мало сделал запасов на старость. Бог да хранит вас и да наградит вас за то, что не забываете меня своими молитвами".

А в письме к Ш. из Рима от 6/18 февраля 1843 г. Гоголь признавался: "Письма ваши мне так же сладки, как молитва в храме; и таково должно быть их действие, ибо вы писали их в минуту душевной молитвы, и мне кажется даже, что я слышу самые слезы ваши, порожденные молитвою. Я свеж и бодр. Часто душа моя так бывает тверда, что кажется, никакие огорчения не в силах сокрушить меня. Да есть ли огорчения в свете? Мы их назвали огорчениями, тогда как они суть великие блага и глубокие счастия, ниспосылаемые человеку. Они хранители наши и спасители души нашей. Чем глубже взгляну на жизнь свою и на все доселе ниспосланные мне случаи, тем глубже вижу чудное участие высших сил во всем, что ни касается меня, и недостает у меня ни слов, ни слез, ни молитв для излияния душевных моих благодарений. И вся бы хотела превратиться в один благодарный вечный гимн душа моя! Вот вам состояние

моего сердца, добрый друг мой! Прощайте и не оставляйте меня вашими письмами".

Летом 1844 г. Ш. писала Гоголю из Москвы во Франкфурт: "Вам угодно, чтобы я сказала мое опасение за вас. Извольте; помолясь приступаю. Знайте, мой друг, - слухи, может, и несправедливы, но приезжавшие все одно говорят и оттуда пишут то же, - что вы предались одной особе, которая всю жизнь провела в свете и теперь от него удалилась (намек на А. О. Смирнову, к которой Ш. испытывала своего рода духовную ревность. - Б. С.). Быв уже так долго вместе с человеком, послужит ли эта беседа на пользу душе вашей? Мне страшно,- и в таком обществе как бы не отвлеклись от пути, который вы, по благости Божией, избрали. Вот вам, как исповедь, мой друг, что меня за вас так сильно и так давно огорчает. Может, вы печетесь о ее обращении; помоги Господи и дай Боже и ей, и нам, и всем спастись".

14 марта н. ст. 1845 г. Гоголь писал Ш. из Франкфурта: "Приехавши в Париж, начал опять прихварывать. Впрочем, я провел время хорошо. Был почти каждый день в нашей церкве, которая хороша и доставила мне много утешения, и виделся только с одними близкими, немногими, но прекрасными душами. Дорогой из Парижа во Франкфурт я опять чувствовал себя хорошо, а приехавши во Франкфурт, вновь дурно. Друг мой, помолитесь как обо мне, так и о бедном моем здоровьи. Я же покаместь вывожу то заключение, что мне нужна дальняя дорога, и не есть ли это знак, что пора, наконец, отправляться в тот путь, ради которого я выехал из Москвы и простился с вами, о котором и первоначально мысль была, без сомненья, Божьим внушеньем. А потому помолитесь прежде всего, друг мой, о моем здоровьи. Ибо, как только поможет Бог мне дотянуться до будущего года, то в начале его и не откладывая уже на дальнейшее время, отправляюсь в Иерусалим. С нынешнего лета или осени отправляюсь в Италию, с тем, чтобы оттуда быть наготове сесть на корабль. А вы молите Бога, чтобы ниспослал мне силы совершить это путешествие так, как следует, как должен совершить его истинный христианин. Молитесь об этом заране, чтобы Бог приготовил к тому мою душу и чтобы не оставлял меня отныне ни на миг. Так нужно мне Его беспрерывное присутствие, да и кому оно не нужно? И помолитесь о моем здоровьи, которое так плохо, как я давно не помню. А я за вас молюсь и молюсь о том, чтобы Бог услышал все ваши молитвы".

22 апреля н. ст. 1846 г., на Пасху, Гоголь писал Ш. в связи со смерти ее дочери Анастасии Васильевны, жены И. Д. Якушкина, последовавшей 20 февраля: "Мне скорбно услышать об утрате вашей, но скоро я утешился мыслью, что для христианина нет утраты, что в вашей душе живут вечно образы тех, к которым вы были привязаны; стало быть, их отторгнуть от вас никто не может; стало быть, вы не лишились ничего; стало быть, вы не сделали утраты. Молитвы ваши за них воссылаются по-прежнему, доходят так же к Богу, может быть, еще лучше прежнего. Стало быть, смерть не разорвала вашей связи. Итак, Христос Воскрес, а с ним и все близкие душам нашим!"

8 ноября н. ст. 1846 г. Гоголь из Флоренции сообщал Ш., почему все еще не отправился к Гробу Господню: "Теперь всё подвигаюсь к югу, чтобы быть ближе к теплу, которое мне необходимо, и к Святым Местам, которые мне еще необходимей. Желанья в груди больше, нежели в прошедшем году. Даже дал

мне Всевышний силы больше приготовиться к этому путешествию, нежели как я был готов к нему в прошедшем году. Но при всем том покорно буду ждать Его святой воли и не пущусь в дорогу без явного указанья от Него. Есть еще много обстоятельств, от попутного устроения которых зависит мой отъезд, над которыми властен Бог и которые все в руках Его. Благоволит Он всё устроить к тому времени как следует - это будет знак, что мне смело можно пускаться в дорогую Но знаком будет уж и то, когда всё, что ни есть во мне - и сердце, и душа, и мысли, и весь состав мой - загорится в такой силе желаньем лететь в обетованную Святую эту Землю, что ничто не в силах будет удержать, и, покорный попутному ветру Небесной воли Его, понесусь, как корабль, не от себя несущийся. Путешествие мое не есть простое поклонение. Много, много мне нужно будет там обдумать у Гроба Самого Господа, от Него попросить благословения на всё, в самой той земле, где ходили Его небесные стопы. Мне нельзя отправиться туда неготовому, как иному можно, и весьма может быть, что и в этот год мне будет определено еще не поехать. Со многими из людей, близких мне, которые намеревались тоже к наступающему Великому Посту ехать в Иерусалим, случились тоже непредвиденные препятствия, заставившие иных возвратиться даже с дороги, в которую было уже пустились. А я иначе и не думал пускаться, как с людьми близкими сколько-нибудь моей душе. Я еще не так сам по себе крепок и душевно, и телесно, чтобы мог пуститься один. Нужно для того уже быть слишком высокому христианину, нужно жить в Боге всеми помышленьями, чтобы обойтись без помощи других и без опоры братьев своих, а я еще немощен духом. Друг мой, молитесь же, совершенно, да совершается во всем святая воля Бога и да будет всё так, как Ему угодно. Молитесь, чтобы Он всё мне приуготовил так, чтобы не было во мне ничего, останавливающего меня от этого путешествия".

В связи с кончиной Ш. Гоголь в середине мая 1850 г. писал М. А. Константиновскому: "...Добрая старушка Надежда Николаевна Шереметьева, которую вы встретили у меня и которая с такой готовностью бросилась исполнять просьбу вашу о помещеньи девочки в Шереметьевское заведение, после 74-х лет жизни, исполненной добрых дел, скончалась 11-го маия. Она меня любила, как сына, хотя я не сделал ничего, достойного любви ее, и не был к ней даже вполовину так внимателен, как она ко мне. Помолитесь о ней, добрейшая душа, и за себя и за меня. Отслужите по ней панихиду и не позабывайте упомянуть ее имя в то время, когда поминаете имена усопших рабов Божиих, вами чаще поминаемых". Смерть Ш. укрепила в Гоголе стремление воссоединиться с ее душой на небесах и приблизило его мученическую кончину в феврале 1852 г.

"ШИНЕЛЬ", повесть. Опубликована: Гоголь Н. В. Сочинения. Т. 3. СПб., 1842. Начата не позднее 1835 г. В черновиках, написанных летом 1839 года, называлась "Повесть о чиновнике, крадущем шинели". Гоголь завершил работу над Ш. весной 1841 г.

Замысел Ш. относится к 1836 г. По свидетельству П. В. Анненкова, источником сюжета Ш. послужила история чиновника, потерявшего ружье: "Однажды при Гоголе рассказан был канцелярский анекдот о каком-то бедном

чиновнике, страстном охотнике за птицей, который необычайной экономией и неутомимыми, усиленными трудами сверх должности накопил сумму, достаточную на покупку хорошего лежневского ружья рублей в 200 (асс.). В первый раз как на маленькой своей лодочке пустился он по Финскому заливу за добычей, положив драгоценное ружье перед собою на нос, он находился, по его собственному уверению, в каком-то самозабвении и пришел в себя только тогда, как взглянув на нос, не увидал своей обновки. Ружье было стянуто в воду густым тростником, через который он где-то проезжал, и все усилия отыскать его были тщетны. Чиновник возвратился домой, лег в постель и уже не вставал: он схватил горячку. Только общей подпиской его товарищей, узнавших о происшествии и купивших ему новое ружье, возвращен он был к жизни, но о страшном событии он уже не мог никогда вспомнить без смертельной бледности на лице..." Этот эпизод, очевидно, отразился и в "Мертвых душах", где товарищи Чичикова устраивают подписку в пользу своего бывшего учителя, оказавшегося в бедственном положении.

Гоголю самому довелось испытать все прелести скудного быта мелких чиновников. 2 апреля 1830 г. он писал матери: "Доказательством моей бережливости служит то, что я еще до сих пор хожу в том самом платье, которое я сделал по приезде своем в Петербург из дому, и потому вы можете судить, что фрак мой, в котором я хожу повседневно, должен быть довольно ветх и истерся также не мало, между тем как до сих пор я не в состоянии был сделать нового, не только фрака, но даже теплого плаща, необходимого для зимы. Хорошо еще, я немного привык к морозу и отхватал всю зиму в летней шинели".

По мнению А. А. Григорьева, "в образе Акакия Акакьевича поэт начертал последнюю грань обмеления божьего создания до той степени, что вещь, и вещь самая ничтожная, становится для человека источником беспредельной радости и уничтожающего горя, до того, что шинель делается трагический fatum в жизни существа, созданного по образу и подобию Вечного; волос становится дыбом от злобно-холодного юмора, с которым следится это обмеление..."

А. Белый в "Мастерстве Гоголя"(1934), подчеркивая символизм Ш., писал: "Что реальней Акакия Акакиевича? Между тем: он живет внутри собственной, ему присущей вселенной: не солнечной, а... "шинельной"; "шинель" ему - мировая душа, обнимающая и греющая; ее называет он "подругою жизни"; на середине Невского себя переживает он идущим посередине им на листе бумаги выводимой строки; это - персонаж Гофмана; существо сознания его "фантастично".

Владимир Набоков в статье "Гоголь" (1944) так определил главную композиционную идею Ш.: "Процесс одевания, которому предается Акакий Акакиевич, шитье и облачение в шинель на самом деле - его разоблачение, постепенный возврат к полной наготе его же призрака. С самого начала повести он тренируется для своего сверхъестественного прыжка в высоту, и такие безобидные с виду подробности, как хождение на цыпочках по улице, чтобы сберечь башмаки, или его смятение, когда он не знает, где находится посреди улицы или на середине фразы, - все эти детали постепенно растворяют чиновника Акакия Акакиевича, и в конце повести его призрак кажется самой

осязаемой, самой реальной ипостасью его существа... Человек, которого приняли за бесшинельный призрак Акакия Акакиевича - ведь это человек, укравший у него шинель. Но призрак Акакия Акакиевича существовал только благодаря отсутствию у него шинели, а вот теперь полицейский, угодив в самый причудливый парадокс рассказа, принимает за этот призрак как раз ту персону, которая была его антитезой, - человека, укравшего шинель. Таким образом, повесть описывает полный круг - порочный круг, как и все круги, сколько бы они себя ни выдавали за яблоки, планеты или человеческие лица".

Возможно, в образе Акакия Акакиевича Гоголь иронизировал над собственными юношескими мечтами пошить в столице новый фрак. 26 июня 1827 г. он писал Г. И. Высоцкому: "Позволь еще тебя, единственный друг Герасим Иванович, попросить об одном деле... надеюсь, что ты не откажешь... а именно: нельзя ли заказать у вас в Петербурге портному самому лучшему фрак для меня? Мерку может снять с тебя, потому что мы одинакого росту и плотности с тобой. А ежели ты разжирел, то можешь сказать, чтобы немного уже. Но об этом после, а теперь - главное - узнай, что стоит пошитье самое отличное фрака по последней моде, и цену выставь в письме, чтобы я мог знать, сколько нужно посылать тебе денег. А сукно-то, я думаю, здесь купить, оттого, что ты говоришь - в Петербурге дорого. Сделай милость, извести меня, как можно поскорее, и я уже приготовлю всё так, чтобы, по получении письма твоего, сейчас всё тебе и отправить, потому что мне хочется ужасно как, чтобы к последним числам или к первому ноября я уже получил фрак готовый. Напиши, пожалуйста, какие модные материи у вас на жилеты, на панталоны, выставь их цены и цену за пошитье... Какой-то у вас модный цвет на фраки? Мне очень бы хотелось сделать себе синий с металлическими пуговицами, а черных фраков у меня много, и они мне так надоели, что смотреть на них не хочется".

Не исключено, что в образе высокопоставленного лица, прогоняющего ограбленного Акакия Акакиевича, отразился начальник Гоголя по службе Владимир Иванович Панаев (1792-1859), управляющий канцелярией Министерства Императорского двора и начальник 2-го отделения Департамента уделов, где Гоголь в 1830-1831 гг. служил канцелярским чиновником и помощником столоначальника. А. Я. Панаева следующим образом характеризовала В. И. Панаева, который был дядей ее мужа, И. И. Панаева и, по ее словам, когда-то, будучи поэтом, воспевал "аркадских пастухов и пастушек: "В.И. Панаев не признавал современную литературу; по его мнению, Гоголю надо было запретить писать, потому что от всех его сочинений пахнет тем же запахом, как от лакея Чичикова. Он приходил в ужас от того, что "Ревизора" дозволили играть на сцене. По его мнению, это была безобразная карикатура на администрацию всей России, которая охраняет общественный порядок, трудится для пользы отечества, и вдруг какой-то коллежский регистраторишка дерзает осмеивать не только низший класс чиновников, но даже самих губернаторов. В. И. Панаев занимал видное место по службе, был в генеральском чине, считал себя очень важным лицом в администрации и очень заботился о сохранении почета, который обязаны все оказывать таким лицам".

А. К. Воронский в книге "Гоголь" (1934) отмечал, что в Ш. "шинель

заслоняет собой человека, он уже кажется к ней привязан. Шинель занимает целиком все помыслы Акакия Акакиевича; она уже нечто космическое; благодаря шинели он стал привлекать внимание сослуживцев... Такова власть вещи над человеком. Немудрено, что Акакий Акакиевич, ограбленный, лишенный мечты, смысла жизни, помирает, причем в предсмертном бреду ему мерещится шинель".

В. В. Кожинов в статье "Художественный смысл "Шинели" Гоголя в свете ее "творческой истории" (1983) утверждал, что, как и в пушкинском "Медном всаднике", в Ш. "несомненно выступают три "феномена" - "маленький человек", Государство и, так сказать, Стихия, которую Государство не в силах покорить, победить".

"ШЛЕЦЕР, МИЛЛЕР И ГЕРДЕР", статья, впервые опубликованная в сборнике "Арабески". Гоголь написал статью о трех немецких историках в сентябре октябре 1834 г. Август Людвиг Шлецер (1735-1809), знаменитый историк, был учеником Вольтера и в 1761-1767 гг. работал в Петербургской Академии Наук. Он первым открыл миру русские летописи, которые издал в Геттингене (там Шлецер был профессором в 1768-1809 гг.). С классического труда Шлецера "Нестор" началось критическое изучение русских летописей. Он также автор многих трудов по всеобщей истории, в частности, книги "Представление всемирной истории", упоминаемой Гоголем. Швейцарский историк Иоганн Миллер (Мюллер) (1752-1809) был автором "Истории Швейцарии" и "Всеобщей истории". А немец Иоганн Готфрид Гердер (1744-1803) был не только историком, но еще и философом и поэтом. Он написал "Идеи к философии истории человечества".

Гоголь считал, что "Шлецер, Миллер и Гердер были великие зодчие всемирной истории". По его мнению, Шлецер "первый почувствовал идею об одном великом целом, об одной единице, к которой должны быть приведены и в которую должны слиться все времена и народы", однако, "он анализировал мир и все отжившие и живущие народы, а не описывал их..." Миллер, в противоположность Шлецеру, "не схватывает вдруг за одним взглядом всего и не сжимает его мощною рукою, но он исследывает все, находящееся в мире, спокойно, поочередно..." Гердер же, по мнению Гоголя, "видит уже совершенно духовными глазами. У него владычество идеи вовсе поглощает осязательные формы. Везде он видит одного человека как представителя всего человечества". В слиянии качеств всех трех героев статьи Гоголь видел приближение к образу идеального историка, который, в довершение ко всему, должен был бы обладать художественным даром: "Мне кажется, что если бы глубокость результатов Гердера, нисходящих до самого начала человечества, соединить с быстрым, огненным взглядом Шлецера и изыскательною, расторопною мудростью Миллера, тогда бы вышел такой историк, который бы мог написать всеобщую историю. Но при всем том ему бы еще много кое-чего недоставало: ему бы недоставало высокого драматического искусства, которого не видно ни у Шлецера, ни у Миллера, ни у Гердера. Я разумею, однако ж, под словом "драматического искусства" не то искусство, которое состоит в умении вести разговор, но в драматическом интересе всего творения, который сообщил бы

ему неодолимую увлекательность, тот интерес, который иногда дышит в исторических отрывках Шиллера и особенно в "Тридцатилетней войне" и которым отличается почти всякое немногосложное происшествие".

ЩЕПКИН Михаил Семенович (1788-1863), выдающийся актер-комик, артист московских театров. Происходил из крепостных крестьян. Отец Щ. был управляющим имений графа Г. С. Волькенштейна в Курской губернии. Начинал свою карьеру в Курском вольном театре, затем переехал в Харьков.Там его игра покорила генерал-губернатора князя Николая Григорьевича Репнина, который помог Щ. в 1822 г. выкупиться из крепостного состояния по общественной подписке. В то время Щ. играл уже в Полтавском театре. В 1823 г. Щ. был принят в труппу Московского театра (с 1824 г. он был переименован в Малый театр). Он играл Фамусова в грибоедовском "Горе от ума", Городничего в "Ревизоре", Муромского в "Свадьбе Кречинского" А. С. Сухово-Кобылина, а также персонажей многих шекспировских и пушкинских пьес. А. И. Герцен писал о Щ.: "Великий актер, он создал правду на русской сцене". Гоголь познакомился с Щ. в июле 1832 г. Вскоре они подружились, и именно Щ. Гоголь попросил проследить за постановкой в Москве "Ревизора".

Историю знакомства Гоголя с Щ. описали сыновья Щ. Петр и Алексей. П. М. Щепкин вспоминал: "Это был первый приезд Гоголя в Москву. Не помню, как-то на обед к отцу собралось человек двадцать пять, - у нас всегда много собиралось; стол по обыкновению накрыт был в зале: дверь в переднюю, для удобства прислуги, отворена настежь. В середине обеда вошел в переднюю новый гость, совершенно нам незнакомый. Пока он медленно раздевался, все мы, в том числе и отец, оставались в недоумении. Гость остановился на пороге в залу и, оглянув всех быстрым взглядом, проговорил слова всем известной малороссийской песни:

Ходит гарбуз по городу,
Пытается своего роду:
Ой, чи живы, чи здоровы
Все родичи гарбухзовы?

Недоумение скоро разъяснилось, - нашим гостем был Н.В. Гоголь, узнавший, что мой отец тоже, как и он, из малороссов". А. М. Щепкин свидетельствует: "Гоголь познакомился с Щепкиным в 1832 году. В то время Гоголь еще бывал шутливо весел, любил вкусно и плотно покушать, и нередко беседы его с Щепкиным склонялись на исчисление и разбор различных малороссийских кушаний. Винам он давал, по словам Щепкина, названия "квартального" или "городничего", как добрых распорядителей, устрояющих и приводящих в набитом желудке все в должный порядок; а жженке, потому что зажженная горит голубым пламенем, давал имя Бенкендорфа (шефа носивших голубые мундиры жандармов. - Б. С.): - "А что, - говорил он Щепкину после сытного обеда, - не отправить ли теперь Бенкендорфа?" - и они вместе приготовляли жженку".

Щ. стремился получить гоголевские пьесы для своих бенефисов. 26 ноября н. ст. 1842 г. Гоголь писал Щ. из Рима, что все драматические отрывки из четвертого тома "Сочинений" принадлежат Щ. и он может давать их в свои

бенефисы. А 3 декабря н. ст. 1842 г. Гоголь писал по этому же поводу Щ .: "Не стыдно ли вам быть так неблагоразумну: вы хотите всё повесить на одном гвозде, прося на пристяжке к "Женитьбе" новую, как вы называете, комедию "Игроки". Во-первых, она не новая, потому что написана давно, во-вторых, не комедия, а просто комическая сцена, а в-третьих, для вас даже там нет роли. И кто вас толкает непременно наполнить бенефис моими пиэсами? Как не подумать хотя сколько-нибудь о будущем, которое сидит у вас почти на самом носу, например, хотя бы о спектакле вашем по случаю исполнения вам двадцатилетней службы? Разве вы не чувствуете, что теперь вам стоит один только какой-нибудь клочок мой дать в свой бенефис, да пристегнуть две-три самые изношенные пиэсы, и театр уже будет набит битком? Понимаете ли вы это, понимаете ли вы, что имя мое в моде, что я сделался теперь модным человеком, до тех пор, пока меня не сгонит с модного поприща какой-нибудь Боско, Тальони, а может быть, и новая немецкая опера с машинами и немецкими певцами? Помните себе хорошенько, что уж от меня больше ничего не дождетесь. Я не могу и не буду писать ничего для театра. Итак, распорядитесь поумнее. Это я вам очень советую! Возьмите на первый раз из моих только "Женитьбу" и "Утро делового человека". А на другой раз у вас остается вот что: "Тяжба", в которой вы должны играть роль тяжущегося, "Игроки" и "Лакейская", где вам предстоит Дворецкий, роль хотя и маленькая, но которой вы можете дать большое значение. Всё это вы можете перемешивать другими пиэсами, которые вам Бог пошлет. Старайтесь только, чтобы пиэсы мои не следовали непосредственно одна за другою, но чтобы промежуток был занят чем-нибудь иным. Вот как я думаю и как бы, мне казалось, надлежало поступить сообразно с благоразумием, а впрочем, ваша воля... А на театральную дирекцию не сетуйте, она дело свое хорошо делает: Москву потчевали уже всяким добром, почему ж не попотчевать ее немецкими певцами? Что же до того, что вам-де нет работы, это стыдно вам говорить. Разве вы позабыли, что есть старые заигранные, заброшенные пиэсы? Разве вы позабыли, что для актера нет старой роли, что он нов вечно? Теперь-то именно, в минуту, когда горько душе, теперь-то вы должны показать в лицо свету, что такое актер. Переберите-ка в памяти вашей старый репертуар да взгляните свежими и нынешними очами, собравши в душу всю силу оскорбленного достоинства. Заманить же публику на старые пиэсы вам теперь легко, у вас есть приманка, именно мои клочки. Смешно думать, чтобы вы могли быть у кого-нибудь во власти. Дирекция все-таки правится публикою, а публикою правит актер. Вы помните, что публика почти то же, что застенчивая и неопытная кошка, которая до тех пор, пока ее, взявши за уши, не натолчешь мордою в соус и покамест этот соус не вымазал ей и носа и губ, она до тех пор не станет есть соуса, каких не читай ей наставлений. Смешно думать, чтоб нельзя было наконец заставить ее войти глубже в искусство комического актера, искусство, такое сильное и так ярко говорящее всем в очи. Вам предстоит долг заставить, чтоб не для автора пиэсы и не для пиэсы, а для актера-автора ездили в театр... Ведь клочки мои не из средних же веков; оденьте их прилично, сообразно, и чтобы ничего не было карикатурного - вот и всё! Но об этом в сторону! Позаботьтесь больше всего о хорошей постановке "Ревизора"! Слышите ли? я говорю вам это очень сурьезно!

У вас, с позволенья вашего, ни в ком ни на копейку нет чутья! Да если бы Живокини был крошку поумней, он бы у меня вымолил на бенефис себе "Ревизора" и ничего бы другого вместе с ним не давал, а объявил бы только, что будет "Ревизор" в новом виде, совершенно переделанный, с переменами, прибавленьями, новыми сценами, а роль Хлестакова будет играть сам бенефициант - да у него битком бы набилось народу в театр. Вот же я вам говорю, и вы вспомните потом мое слово, что на возобновленного "Ревизора" гораздо будут ездить больше, чем на прежнего. И зарубите еще одно мое слово, что в этом году, именно в нынешнюю зиму, гораздо более разнюхают и почувствуют значение истинного комического актера. Еще вот вам слово: вы напрасно говорите в письме, чтоستареетесь, ваш талант не такого рода, чтобы стареться. Напротив, зрелые лета ваши только что отняли часть того жару, которого у вас слишком очень много, который ослеплял ваши очи и мешал взглянуть вам ясно на вашу роль. Теперь вы стали в несколько раз выше того Щепкина, которого я видел прежде. У вас теперь есть то высокое спокойствие, которого прежде не было. Вы теперь можете царствовать в вашей роли, тогда как прежде вы всё еще как-то метались. Если вы этого не слышите и не замечаете сами, то поверьте же сколько-нибудь мне, согласясь, что я могу знать сколько-нибудь в этом толк. И еще вот вам слово: благодарите Бога за всякие препятствия. Они необыкновенному человеку необходимы: вот тебе бревно под ноги - прыгай! А не то подумают, что у тебя куриный шаг и не могут вовсе растопырить ноги! Увидите, что для вас настанет еще такое время, когда будут ездить в театр для того, чтобы не проронить ни одного слова, произнесенного вами, и когда будут взвешивать это слово. Итак, с Богом за дело!"

Летом 1851 г. на даче Щепкина Гоголь писал главы второго тома "Мертвых душ". Вот как об этом чтении со слов отца рассказывал А. М. Щепкин: "Однажды приехал Гоголь к М. С. Щепкину на дачу. Щепкин жил с семьей в то время на даче под Москвой, в Волынском. Гоголь... говорил, что думает пожить у него, отдохнуть и немного поработать, обещался кое-что прочесть из "Мертвых душ". Щепкин был вне себя от восторга, всем об этом передавал на ухо как секрет. Но не успел Гоголь прожить трех дней, как приехал в гости к Щепкину начинающий молодой литератор, которого отец мой характеризовал как человека зоркого, пронырливого и вообще несимпатичного. Когда сошлись все к вечернему чаю, Гоголь вошел с Щепкиным в столовую под руку, о чем-то тихо разговаривая, но по всему видно было, что разговор этот для Щепкина был крайне интересен. Лицо его сияло радостью. Гоголь быстро окинул всех взглядом и, заметя новое лицо, нервно взял чашку с чаем и сел в дальний угол столовой и весь как будто съежился. Лицо его приняло угрюмое и злое выражение, и во все время чаепития просидел он молча, а за ужином объявил, что рано утром на другой день ему надо ехать в Москву по делам. Так и не состоялось чтение его новых произведений. После этого Гоголь заезжал к Щепкину еще несколько раз, но таким веселым, каким он видел его на даче, Щепкин уже ни разу не видел Гоголя. Если Гоголь бывал, то как-то подозрительно оглядывал всех присутствующих и вообще уже был не прежний Гоголь. Иной раз Щепкин расшевелит его каким-нибудь своим рассказом. Гоголь слегка улыбнется, но сейчас же опять нахмурится и весь как бы уйдет в

себя. Гоголь был очень расположен к Щепкину. Оба они знали и любили Малороссию и охотно толковали о ней, сидя в дальнем углу гостиной в доме Щепкина. Они перебирали и обычаи, и одежду малороссиян, и, наконец, их кухню. Прислушиваясь к их разговору, можно было слышать под конец: вареники, голубцы, паленицы, - и лица их сияли улыбками. Из рассказов Щепкина Гоголь почерпал иногда новые черты для лиц в своих рассказах, а иногда целиком вставлял целый рассказ его в свою повесть. Так, Щепкин передал ему рассказ о городничем, которому нашлось место в тесной толпе, и о сравнении его с лакомым куском, попадающим в полный желудок. Так слова исправника: "Полюбите нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит" - были переданы Гоголю Щепкиным. Нельзя утверждать, чтобы Гоголь всегда охотно принимал советы Щепкина, но последний всегда заявлял свое мнение искренно и без утайки".

А вот как, со слов А. М. Щепкина, описал Щ . свою последнюю встречу с Гоголем: О последнем своем свидании с Гоголем М. С. Щепкин рассказывал следующее: "Как-то недавно прихожу к Гоголю. Он сидит, пишет что-то. "Неужели все это вы прочли?" - спрашиваю я. "Все это надо читать", отвечал он. "Зачем же надо? - говорю я. - Так много написано всего для спасения души, а ничего не сказано нового, чего не было бы в Евангелии". Тут Гоголь принужденно отшутился, сказав что-то вроде: какой шутник! А я продолжал: - "Я и заповеди для себя сократил всего на две: люби Бога и люби ближнего, как самого себя". - "Потом, - говорил Щепкин, - я рассказал Гоголю следующий случай. Ехал я из Харькова в то время, как были открыты мощи св. Митрофания. Дай, думаю, заеду в Воронеж, хотелось видеть, что может сделать вера человека. Приезжаю в Воронеж. Утро было восхитительное. Я пошел в церковь. На дороге попался мне мужик с ведром; в ведре что-то бьется. Смотрю - стерлядь! Думаю себе: в церковь еще успею. Сторговал, купил рыбу и снес домой. Потом пошел в церковь. Дорогой так восхищался, как никогда не запомню. Было чудесное утро. Прихожу в церковь. Народу множество, и такая преданность, такая вера, что я и сам умилился до слез, и сам стал молиться: "Господи Боже мой! Весь этот народ пришел тебя молить о своих нуждах, бедах и болезнях. Только я один ничего у тебя не прошу молюсь слезно! Неужели тебе нужны, господи, наши лишения? Ты дал нам, Господи, прекрасную природу, и я наслаждаюсь ею, и благодарю Тебя, Господи, от всей души". Тогда Гоголь вскочил и обнял меня, вскрикнув: "Оставайтесь всегда при этом!"

ЯЗЫКОВ Николай Михайлович (1803-1846/47), поэт, друг Гоголя. Родился в семье богатого помещика в родовом имении в Симбирской губернии. Получил первоначальное домашнее образование. Учился в Петербургском горном кадетском корпусе. Не кончив курса, поступил в Институт инженеров путей сообщения, из которого был исключен за систематическое непосещение занятий. Я. воспевал в стихах любовь, дружбу, вино и свободную студенческую жизнь. В 1822 г. поступил на философский факультет Дерптского университета. Его стихи в 1820-е годы печатались в "Славянине", "Сыне Отечества", "Невском альманахе", "Новостях литературы". Главной темой лирики Я. стал мотив утраты чувств. В 1829 г., заболев сухоткой спинного мозга (последствие

сифилиса), покинул Дерпт и переехал в Москву. Здесь в 1831 г. Я. поступил на службу в Межевую канцелярию, но уже в 1833 г. вынужден был выйти в отставку по болезни. В том же году вышел первый сборник стихотворений Я. Поэт вернулся на родину в Симбирскую губернию. Оттуда в 1838 г. Я. уехал лечиться за границу на курорты Франции и Германии. В Ганау встретился с Гоголем и очень сильно сблизился с ним. В 1842 г. они вместе уехали в Рим. В 1843 г. Я. вернулся в Москву. Болезнь его прогрессировала. Парализованный Я. был прикован к постели. В его поэзии возобладали религиозные мотивы. В 1844 г. вышел сборник "56 стихотворений Н. Языкова, а в 1845 г. - "Новые стихотворения". Я. скончался 26 декабря 1846 г. (7 января 1847 г.).

30 марта 1832 г. Гоголь писал А. С. Данилевскому : "Любовь до брака стихи Языкова: они эффектны, огненны и с первого раза уже овладевают всеми чувствами. Но после брака любовь - это поэзия Пушкина: она не вдруг обхватит нас, но чем более вглядываешься в нее, тем она более открывается, развертывается и наконец превращается в величавый и обширный океан, в который чем более вглядываешься, тем он кажется необъятнее, и тогда самые стихи Языкова кажутся только частию, небольшою рекою, впадающею в этот океан. Видишь, как я прекрасно рассказываю! О, с меня бы был славный романист, если бы я стал писать романы! Впрочем, это самое я докажу тебе примером, ибо без примера никакое доказательство не доказательство, и древние очень хорошо делали, что помещали его во всякую хрию (риторические правила построения рассуждения. - Б. С.). Ты, я думаю, уже прочел "Ивана Федоровича Шпоньку". Он до брака удивительно как похож на стихи Языкова, между тем, как после брака сделается совершенно поэзией Пушкина".

Впервые Я. упомянул о встрече с Гоголем в одном из писем родным, датированным 19 июня (1 июля) 1839 г.: "Гоголь вчера был у нас проездом в Мариенбад. С ним весело. Он мне очень понравился и знает Рим как свои пять пальцев". По-настоящему же они подружились зимой 1840/41 г. Об истории знакомства с Гоголем Я. писал своей сестре Е. М. Хомяковой из Ганау 7/19 сентября 1841 г.: "Мне пришлось еще зиму просидеть в Ганау. Брат Петр Михайлович отправился отсюда в Дрезден, а потом далее в Питер и на Русь, вместе с Гоголем, который провел с нами целый месяц, ожидая решения судьбы моей на будущий год, если бы мне ехать. Гоголь сошелся с нами; обещался жить со мною вместе, т. е. на одной квартире, по возвращении моем в Москву. Он, кажется, написал много нового и едет издавать оное (имелись в виду "Мертвые души". - Б. С.). Он премилый, и я рад, что брат Петр Михайлович не один пустился в дальний путь, а с товарищем, с которым не может быть скучно и который бывал и перебывал в чужих краях и знает все обычаи и поверия. Гоголь обещался приехать пожить и в Симбирске, чтобы получить истинное понятие о странах приволжских" (в Симбирск Гоголь так и не попал). Тогда же, в сентябре 1841 г., Я. писал брату о Гоголе: "Гоголь рассказал мне о странностях своей (вероятно, мнимой) болезни: в нем-де находятся зародыши всех возможных болезней; также и об особенном устройстве головы своей и неестественности положения желудка. Его будто осматривали и ощупывали в Париже знаменитые врачи и нашли, что желудок его вверх ногами. Вообще, в Гоголе чрезвычайно много странного, - иногда даже я не понимал его, - и чудного; но все-таки он

очень мил; обещался жить со мною вместе".

Гоголь, в свою очередь, писал Я. 15/27 сентября 1841 г. из Дрездена: "Прежде всего посылается тебе с почтою из Дрездена куча поцелуев, а что в них, в сих поцелуях, заключено много всего - ты уже знаешь. Достигли мы Дрездена благополучно. Выехавши из Ганау, мы на второй станции подсадили к себе в коляску двух наших земляков, русских помещиков, Сопикова и Храповицкого, и провели с ними время до зари. Петр Михайлович даже и по заре еще перекинулся двумя-тремя фразами с Храповицким. Вообще ехалось хорошо. Думалось много о чем, думалось о тебе, и все мысли о тебе были светлы. Несокрушимая уверенность насчет тебя засела в мою душу, и мне было слишком весело, ибо еще ни разу не обманывал меня голос, излетевший из души моей. Дорожное спокойствие было смущено перелазкой из коляски в паровой воз, где как сон в руку встретились Бакунин (будущий известный анархист. Б. С.) и весьма жесткие деревянные лавки. То и другое было страх неловко... но мы в Дрездене. Петр Михайлович отправился к своему семейству, а я остался один и наслаждаюсь прохладой после кофия, и много всего идет ко мне: идет то, о чем я ни с кем не говорю, идет то, о чем говорю с тобою, и наконец один раз даже мелькнул почти ненароком московский длинный дом с рядом комнат, пятнадцатиградусною ровною теплотою и двумя недоступными кабинетами. Нет, тебе не должна теперь казаться страшна Москва своим шумом и надоедливостью; ты должен теперь помнить, что там жду тебя я и что ты едешь прямо домой, а не в гости. Тверд путь твой, и залогом слов сих не даром оставлен тебе посох. О верь словам моим!.. Ничего не в силах я тебе более сказать как только: верь словам моим. Я сам не смею не верить словам моим. Есть чудное и непостижное... но рыдания и слезы глубоко взволнованной благородной души помешали бы мне вечно досказать... и онемели бы уста мои. Никакая мысль человеческая не в силах себе представить сотой доли той необъятной любви, какую содержит Бог к человеку!.. Вот всё. Отныне взор твой должен быть светло и бодро вознесен горе - для сего была наша встреча. И если при расставании нашем, при пожатии рук наших не отделилась от моей руки искра крепости душевной в душу тебе, то значит, ты не любишь меня, и если когда-нибудь одолеет тебя скука и ты, вспомнивши обо мне, не в силах одолеть ее, то значит, ты не любишь меня, и если мгновенный недуг отяжелит тебя и низу поклонится дух твой, то значит, ты не любишь меня... Но я молюсь, молюсь сильно в глубине души моей в сию самую минуту, да не случится с тобой сего и да отлетит темное сомненье обо мне, и да будет чаще сколько можно на душе твоей такая же светлость, какою объят я весь в сию самую минуту".

16 декабря 1841 г. Я. из Ганау отправил Гоголю письмо и два своих стихотворения. В ответном письме 10 февраля 1842 г. Гоголь назвал стихотворения "чудными" и утверждал, что они "дунули на всех свежестью и силою" и вызвали всеобщее восхищение: "Я скажу только, что кроме всего прочего сила языка в них чудная. Так и подмывает, и невольно произносишь: Исполин наш язык! Я писал к тебе мало в прежнем письме, потому что был не расположен. Я был болен и очень расстроен, и признаюсь, невмочь было говорить ни о чем. Меня мучит свет и сжимает тоска, и, как ни уединенно я

здесь живу, но меня всё тяготит: и здешние пересуды, и толки, и сплетни. Я чувствую, что разорвались последние узы, связывавшие меня со светом. Мне нужно уединение, решительное уединение. О! как бы весело провели мы с тобой одни вдвоем за нашим чудным кофеем по утрам, расходясь на легкий, тихий труд и сходясь на тихую беседу за трапезой и ввечеру. Я не рожден для треволнений и чувствую с каждым днем и часом, что нет выше удела на свете, как звание монаха. Я приеду сам за тобою. Мы отправимся вместе с Петром Михайловичем и Балдовым. Здоровье мое сделалось значительно хуже. Мне советуют ехать в Гастейн, как кстати! Прощай, пожимаю сильно твою руку. Я бываю часто у Хомяковых. Я их люблю, у них я отдыхаю душой. Прощай, будь здоров, бодр и не горюй ни об чем. Обнимаю и целую тебя и сгораю нетерпением то и другое произвести лично".

В 1841 г. Е. М. Хомякова сообщала Я. из Москвы: "Все здесь нападают на Гоголя, говоря, что слушая его разговор, нельзя предположить чего-нибудь необыкновенного; Иван Васильевич Киреевский полагает, что с ним почти говорить нельзя: до того он пуст. У них кто не кричит, тот и глуп". В связи с этим Я. 15 января 1842 г. сообщал брату Петру о Гоголе: "... Он живет у Погодина пустыннически, однако же бывает у Хомяковых. Само собой разумеется, он ничуть не участвует в спорах диалектических, которые снова начались у Свербеевых". А в другом письме сетовал: "Гоголь до невероятности раздражителен и самолюбив, как-то болезненно, хотя в нем это незаметно с первого взгляда, но тем хуже для него! В Москве он только и бывает, что у Хомяковых". Пребывание Я. с Гоголем в Риме осенью 1842 г. запечатлел в своих мемуарах Ф.И. Иордан: "К Гоголю приехал известный поэт Н. М. Языков. Лицо его было в высшей степени страдальческое; он не мог ходить, страдая болезнью станового хребта - последствие крайне не воздержанной его жизни (сухотка спинного мозга является последней стадией сифилиса. - Б. С.). Он собирался, должно быть, долго пробыть в Риме, ибо я видел огромный сундук с книгами, который привезли из таможни к Гоголю, но болезнь заставила его поспешить обратно в Россию".

28 мая н. ст. 1843 г. Гоголь писал Я. из Мюнхена: "...Да от скуки во время дождей перечти еще один раз "Мертвые Души". Во второй раз дело будет очевиднее и всякие ошибки яснее. Мне это слишком нужно. В течение двух лет, т. е. прежде совершенного исправления всего, мне нужно увидеть все дыры и прорухи. Особенно мне нужны теперь вот какие замечания: какая глава сильнее, какая глава слабее другой; где, в каком месте возрастает более сила всего, где устает, автор вял, или если на последнее слово, по деликатности или недальнозоркости своей, ты не согласен, то где, по крайней мере, он уступает самому себе, оказавшемуся в других местах. Одним словом, всё то, что относится до всего каркаса машины. И об этом деле мы должны поговорить так, как о вовсе постороннем, не соединенном вовсе ни с какими личными отношениями, так как бы автор "М. Д." был Ознобишин (поэт Дмитрий Петрович Ознобишин (1804-1877). - Б. С.), заклавший козленка дикого. Это ты должен сделать тем более, что я имею намерение тоже напасть на тебя без всякой пощады и только уже не между двух глаз, а публично; ибо имею в виду сказать кое-что вообще о русских писателях (имеется в виду статья "В чем же

наконец существо русской поэзии", вошедшая в "Выбранные места из переписки с друзьями". - Б. С.)".

8 июля н. ст. 1843 г. Гоголь писал Я. из Баден-Бадена в Греффенберг: "Из письма твоего ко мне в Эмс вижу, что ты решительно хочешь ехать домой. Если так, то да благословит тебя Бог. К Призницу (австрийский врач Винцент Присниц (1790-1851), основоположник гидротерапии, имевший лечебницу в Греффенберге. - Б. С.) можно сделать путешествие в другое время. Я хотел было ехать к тебе навстречу в Дрезден, но оробел при виде расстояния, устал сильно от поездок, да и карман стал изрядно тощеват. Впрочем, всё это меня никак бы не остановило, если бы я только услышал, что присутствие мое нужно. Но, сообразивши, вижу, что могу в письме, и в коротких словах даже, сказать тебе всё то, что мне хотелось сказать тебе лично, при самом расставании. Помнишь, когда я тебе один раз сказал с такой уверенностью, что ты будешь здоров и я даже буду способствовать к твоему излечению? Эти слова сказаны были не безрассудно, они сопровождены были внутреннюю молитвою, они истекли из того источника, который находится у всех нас, хотя мы редко стремимся к тому, чтобы найти его, из источника этого исходит один только свет, но он есть, стало быть, есть не даром. Мне хотелось провести с тобой вместе время в Риме и узнать совершенно состоянье твоей болезни. Я наблюдал за тобою и кое-что узнал, и говорю тебе вновь: ты будешь здоров, и выздоровление зависит от тебя. Средства физические могут отыскаться многие, из них, конечно, действительнее всех для тебя - Призница; но тебе нужно освежение душевное. Дай мне слово говеть, приехавши в Москву, при первом случае, если в Великий Пост, то на первой неделе. В продолжение говения займись чтением церковных книг. Это чтение покажется тебе трудно и утомительно, примись за него, как рыбак, с карандашом в руке, читай скоро и бегло и останавливайся только там, где поразит тебя величавое, нежданное слово или оборот, записывай и отмечай их себе в материал. Клянусь, это будет дверью на ту великую дорогу, на которую ты выйдешь! Лира твоя наберется там неслыханных миром звуков и, может быть, тронет те струны, для которых она дана тебе Богом. Сделай также следующее заведение: всякую субботу ввечеру отслужи у себя всеночную. Тебе стоит послать только за первым попом, и он отслужит у тебя в комнате. Вот всё, что я хотел тебе сказать. Бог тебе скажет Сам всё, что тебе нужно. Он водрузит в твою душу ту чудную эпоху жизни, когда и разум старости, и свежесть юности, и сила мужества, и младенчество младенца соединяются вместе, и все возрасты жизни вкушает в себе разом человек. Прощай, Бог да благословит тебя".

5 октября н. ст. 1843 г. Гоголь писал Я. из Дюссельдорфа: "Письмо твое меня обрадовало. Ты в Москве. Переезд и скитанья кончены - слава Богу! Не засиживайся только в комнате, делай побольше движения. Коли нельзя кататься в случае дрянной погоды, двигайся по комнате. Движенье непременно нужно в нашем климате, более, чем где-либо. Когда начнутся ясные зимние дни с небольшими морозцами - пользуйся ими и выходи на воздух, упражняясь хоть сколько-нибудь в пешеходстве. Мороза не бойся, холодно в начале, пока не расходишься. Есть ли у тебя токарный станок и хорош ли? Благодарю тебя за желание наделить меня книгами, но предлагаемые тобою уже у меня есть. Но

так как ты хочешь насытить мою жажду (а жажда моя к чтению никогда не была так велика, как теперь), то вот тебе на вид те книги, которых бы я желал: 1) "Розыск", Дмитрия Ростовского; 2) "Трубы словес" и "Меч духовный", Лазаря Барановича и 3) Сочинения Стефана Яворского в 3 частях, проповеди. Да хотел бы я иметь русские летописи, изданные Археографическою комиссиею, если не ошибаюсь, есть уже три, когда не четыре тома. Да "Христианское Чтение" за 1842 год. Вот книги, которые я хотел бы сильно достать. Переслать мне можно их порознь с русскими, едущими за границу, а их выезжает всегда почти в довольном количестве. Сведения о них можно получить особенно от докторов, которые их высылают за границу... Покупка этих книг может составить сумму, может быть, даже за 80 рублей, а потому уже это не должно быть в значении подарка, а отнесено просто на счет. Между прочим советую тебе пересмотреть эти книги. Я никогда не думал, чтобы наше "Христианское Чтение" было так интересно: там не только прекрасные переводы всех почти отцов Церкви, не только много драгоценных отрывков из рассеянных летописей первоначальных христиан, но есть много оригинальных статей, неизвестно кому принадлежащих, очень замечательных. Ты пишешь, что Петр Васильевич Киреевский совершил свой великий подвиг и послал песни в Петербург в цензуру. Слава Богу! Есть, стало быть, надежда, что мы лет через десять будем читать их, разумеется, если пропустит цензура и не помешает недосуг, которого так много в московской жизни... Уведомляй о препровождении своего времени и что читаешь, и как о том думаешь, и что вообще делается в Москве. Мне всё это интересно знать".

В следующем письме к Я. от 4 ноября н. ст. 1843 г. Гоголь сообщал: "Письмо твое от 1-го октября меня порадовало душевно. Порадовало потому, что я в нем, сквозь самые твои развлечения и даже мази Иноземцева, прозреваю (вследствие моего чутья внутреннего), что от тебя не так далеко время писанья и работы. Остается испросить вдохновенья. Как это сделать? Нужно послать из души нашей к нему стремление: чего не поищешь, того не найдешь, говорит пословица. Стремление есть молитва. Молитва не есть словесное дело; она должна быть от всех сил души и всеми силами души; без того она не возлетит. Молитва есть восторг. Если она дошла до степени восторга, то она уже просит о том, чего Бог хочет, а не о том, чего мы хотим. Как узнать хотение Божие? для этого нужно взглянуть разумными очами на себя и исследовать себя: какие способности, данные нам от рождения, выше и благороднее других, теми способностями мы должны работать преимущественно, и в сей работе заключено хотение Бога, иначе они не были бы нам даны. Итак, прося о пробуждении их, мы будем просить о том, что согласно с Его волею. Стало быть, молитва наша прямо будет услышана. Но нужно, чтобы эта молитва была от всех сил души нашей. Если такое постоянное напряжение хотя на две минуты в день соблюсти в продолжение одной или двух недель, то увидишь ее действия непременно. К концу этого времени в молитве окажутся прибавления. Вот какие произойдут чудеса: в первый день еще ни ядра мысли нет в голове твоей, ты просишь просто о вдохновении. На другой или на третий день ты будешь говорить не просто: дай произвести мне, но уже: дай произвести мне в таком-то духе. Потом на четвертый или пятый, - с такою-то силою, потом окажутся в

душе вопросы: какое впечатление могут произвести задумываемые творения и к чему могут послужить? И за вопросами в ту же минуту последуют ответы, которые будут прямо от Бога. Красота этих ответов будет такова, что весь состав уже сам собою превратится в восторг; и к концу какой-нибудь другой недели увидишь, что уже всё составилось, что нужно. И предмет, и значенье его, и сила, и глубокий внутренний смысл, словом - всё, стоит только взять в руки перо да и писать. Но повторю вновь: молитва должна быть от всех сил души. Естествоиспытатели скажут, что это немудрено, что постоянное напряжение может разбудить силы человека. Но пусть будет по-ихнему, пусть это произошло именно оттого, что одна нерва толкнула другую, как оно, впрочем, и справедливо, но когда дойдешь, наконец, до результата, тогда увидишь ясно, как и в силу чего это возникло. А известное дело, что теории те только не ложны, которые возникли из опыта. Для меня удивительнее всего то, что те именно люди, которые признают Бога только в порядке и гармонии вселенной и отвергают всякие внезапные чудеса, хотят непременно, чтобы тут случилось чудо, чтобы Бог вошел вдруг в нашу душу, как в комнату, отворивши телесною рукою дверь и произнесши слово во услышанье всем. А позабыли то, что Бог никуда не входит незаконно; всюду несет он с собою гармонию и закон, нет и мгновенья беспричинного, всё обмыслено и есть уже самая мысль. Чудеса, по-видимому беспричинные, не случались с умными людьми. Они случались с простыми людьми, с теми людьми, у которых сила веры перелетела чрез все границы и через все их невеликие способности. За такую веру ниспосланы были и явления им, перешедшие все естественные границы. Но и тут, всмотревшись, можно толковать естественным образом: тоже одна нерва толкнула другую и вызвала видение. Но в том-то и дело, что дано мановение сверху - и тысячи колес уже толкнули одно другое, и пришел в движение весь безгранично сложный механизм, а нам видно одно мановение. Так, взглянув на часовой циферблят, видишь, что одна только стрелка едва приметно двигнулась. Но для того, чтобы произвести это неприметное движение, нужно было несколько раз оборотиться колесам. Умный человек хочет, чтобы и с ним так же случилось чудо, как с другим, но уже за одно это безрассудное желание он достоин наказанья. Ему скажется: Тебе дан ум, зачем он тебе дан? Затем ли, чтобы ты с ним вместе дремал? Тот, как трудолюбивый крестьянин, работал от всех сил своих и выработал потом и слезами хлеб свой, а ты, могши наполнить им целые магазины, лежал на боку, и еще хочешь, чтобы тебе бросилась такая же горсть, какая дана ему. Что на это придется отвечать умному человеку? Разве отвечать такими словами: Но я был как в лесу. Я не знал даже, как и за что приняться, если бы кто подал мне руку, я бы пошел. Но такие ответы может уничтожить одно слово: А зачем существует молитва? Если бы и тут нашелся умный человек сказать: но мне не молилось, я не знал даже, как молиться, - ответ будет один и тот же: а на что молитва? Молись о том, чтобы уметь молиться. Но если умный человек был еще поэт - невольный страх обнимает душу, и я сейчас изъясню тебе почему. Святые молчальники, которые уже всё нашли для себя лишним в мире и следили одни только внутренние явления души, на глубокую науку будущему человечеству, говорят вот что. Приход Бога в душу узнается по тому, когда душа почувствует иногда вдруг умиление и сладкие слезы,

беспричинные слезы, происшедшие не от грусти или беспокойства, но которых изъяснить не могут слова. До такого состояния (говорят они же) дойти человеку возможно только тогда, когда он освободился от всех страстей совершенно; но есть однако же такие избранники, которых Бог возлюбит от детства для благих и великих Своих намерений и посещает невидимо, доказательством чего служат внезапно находящий на них восторг и тихие слезы. Свидетельство это такого рода, что во всякую минуту жизни над ним задумываешься. Вопроси себя в душе своей и добейся от нее, что она скажет на это, мне бы сильно хотелось знать это, потому что это полезно было бы и для меня. А до того времени мне всё кажется вот что: если подвергнется сильному ответу тот, кто не искал Бога, то еще сильнейшему тот, кто убегал от Бога. Скажу тебе еще об одном душевном открытии, которое подтверждается более и более, чем более живешь на свете, хотя вначале оно было просто предположение или, справедливее, предслышание. Это то, что в душе у поэта сил бездна. Ежели простой человек борется с неслыханными несчастиями и побеждает их, то поэт непременно должен побеждать большие и сильнейшие. Рассматривая глубоко и в существе те орудия, которыми простые люди побеждали несчастия, видим с трепетом, что таких орудий целый арсенал вложил Бог в душу поэта. Но их большею частию и не знает поэт и не прибегает к узнанию. Разбросанных сил никто не знает и не видит и никогда не может сказать наверно, в каком они количестве. Когда они собраны вместе, тогда только их узнаешь. А собрать силы может одна молитва. Вследствие этого я перехожу отсюда прямо к твоей болезни. Мне кажется, что все мази и притирания надобно понемногу отправлять за окошко. Тело твое возбуждали довольно, пора ему дать даже необходимый отдых, а вместо того следует дать работу духу. На болезнь нужно смотреть, как на сражение. Сражаться с нею, мне кажется, следует таким же образом, как святые отшельники говорят о сражении с дьяволом. С дьяволом, говорят они, нельзя сражаться равными силами, на такое сражение нужно выходить с большими силами, иначе будет вечное сражение. Сам его не победишь, но, возлетевши молитвой к Богу, обратишь его в ту же минуту в бегство. То же нужно применить и к болезни. Кто замыслит ее победить одним терпением, тот просто замыслит безумное дело. Такого рода терпение может показать или бесчувственный, или упрямец, который стиснет на время рот свой и сокроет в себе боль, чрез что она еще сильнее потрясет весь состав его: ибо, вырвавшись плачем, она бы уже не была так сильна. Нет, болезнь побеждать нужно высшими средствами. Как бы то ни было, ведь были такие же люди, которые страдали от жестоких болезней, но потом дошли до такого состояния, что уже не чувствовали болей, а наконец дошли до такого состояния, что уже чувствовали в то время радость, непостижимую ни для кого. Конечно, эти люди были святые. Но ведь они не вдруг же сделались святыми, вначале они были грешнее нас, они не в один день дошли до того, что стали побеждать и болезни и всё. Они стремились и стремленьем достигли до крепости духа, только постоянным пребыванием в этом вечном прошении о помощи окрепли они духом и привели его в беспрестанное восторговение, могущее всё победить в мире. Но в один день нельзя так окрепнуть. Вырастает дерево и на голом камне, но это не делается вдруг, вначале камень покрывается едва заметною плесенью,

чрез несколько времени, наместо ее, показывается уже видимый мох, потом первое растение; растение сгнивши приготовляет почву для дерева; наконец показывается само дерево. Всё стройно и причинно. Бог не то, что иной писатель, который поспешит, да всех и насмешит, как говорит Измайлов. Можно и ускорить дело, потому что в нас же заключены и ускоряющие орудия. Умей только найти их. Итак, с помощью высшею возможно победить всякую болезнь. Естествоиспытатели могут и это чудо изъяснять естественным законом: именно, что состояние умиления и всего того, что умягчает душу, утишает и физические боли, делает их нечувствительными, расслабляя состав наш, подобно как операция переносится легко больным, если тело его предварительно расслаблено ваннами и диэтами. Всё это так, и им можно отвечать на всё это то же, что сказано прежде. Но пусть они разрешат вот какую задачу: отчего в таком человеке, который достиг до этого состояния посредством расслабления или утишения нервического, отчего в душе этого человека вырастает такая страшная сила и крепость, что, кажется, нет ужасов, которых бы он не встретил бестрепетно? И отчего сами врачи, если заметят одну искру такой крепости в больном, то уже надеются на его выздоровленье, хотя бы болезнь была слишком тяжела? Но довольно. Предметы сего рода стоят того, чтобы об них подумать много и долго, и я уверен, что самые слова мои, как ни бессильны они сами по себе, но наведут тебя на полнейшее и рассудительнейшее рассмотрение об этом, потому что слова истекли из наблюдений души и произвелись душевным участием. Уведомляй между прочим о том, что ты именно читал или читаешь и какого роду остался после чтения в душе результат. Мы должны помогать друг другу и делиться впечатлениями. Я так мало читал, а особливо книг духовного содержания, что мне всякое слово твое о них будет то же, что находка. Да притом хотелось бы очень знать, какие книги нужно прочесть прежде и неукоснительно. Садясь писать ко мне, пожалуйста, не задавай себе задачи написать большое письмо, а напротив пиши впопыхах и на живую нитку и что написалось, то сейчас и отправляй. Нам нужно быть совершенно нараспашку. От этого письма будут непременно чаще и даже, к обоюдному изумлению, длиннее. Затем обнимаю тебя от всей души, прощай".

21 декабря 1843г. (2 января н. ст. 1844г.) Гоголь писал Я. из Ниццы: "Состояние твоего здоровья меня не удовлетворяет, но кураж! Мы должны бодрить друг друга и подавать друг другу руку. Я сам тоже одолеваем разными недугами, тем более несносными для меня, что они наводят томление, тоску и мешают как следует работать. Гребу решительно противу воли, иду против себя самого, то есть противу находящего бездействия и томительного беспокойства. Сила свыше не оставляет меня, но телу моему потребно возобновление. Подумываю наконец сурьезно о Грефффенберге: перекрестясь и благословясь, решусь погрузиться в холодную воду. Хотя бы даже никакой помощи противу недугов коренных не подала вода, но и освежение чего-нибудь да стоит. Чувствую, что неспокойство духа, смешанное с непонятною тоскою, есть ныне болезнь повсеместная, следствие какого-то тягостного расположения в воздухе. Все времена года перепортились. Я насилу ушел от дождей и то, может быть, потому, что засел в Ницце, где, как тебе известно, дуют ветры только с одной

стороны, стало быть, весьма редко... Теперь отношусь к тебе с просьбой. Если ты при деньгах, то ссуди меня тремя тысячами на полгода или даже двумя, когда не достанет. Книжные дела мои, как я думаю, тебе тоже известно, пошли весьма скверно. Если найдутся у тебя лишние деньги, то дай знать об этом Шевыреву. Он, обратив их на вексель, пришлет мне. Если же не случится, то на нет, как говорится, и суда нет... Затем прощай. Душевно обнимаю. Не забывай иногда перечитывать письмо мое, которое я писал тебе пред сим (от 4 ноября н. ст. 1853 г. - Б. С.), там находятся те советы, которые мне доставляли почти всегда значительную пользу, когда я их слушал. Где-то я начитал, что советы всегда нужно давать и никак не следует останавливаться тем, что сам не готов. Потому что, давая советы другим, сделается стыдно самому, когда увидишь, что всё это следует прежде обратить к себе, и кончится тем, что всё это следует прежде обратить к себе, и кончится тем, что наконец придет в ум исправиться самому советщику".

15 февраля н. ст. 1844 г. Гоголь писал Я. из Ниццы: "Благодарю тебя за книги, которые ты обещаешь прислать мне с Боборыкиным. Они именно те, какие мне нужны... Конец твоего письма горек. Ты уныл духом, одержим скучным и грустным расположением. Много людей, близких душе моей, чувствует в последнее время особенно грустное расположение; я сам не вовсе свободен от него. У всякого есть какие-нибудь враги, с которыми нужно бороться: у иных они в виде болезней и недугов физических, у других в виде сильных душевных скорбей. Здоровые, не зная, куда деваться от тоски и скуки, ждут как блага болезней, болящим кажется, что нет выше блага, как физическое здоровье. Счастливей всех тот, кто постигнул, что это строгий, необходимый закон, что если бы не было моря и волн, тогда бы и плыть было невозможно, и что тогда сильней и упорней следует грести обеими веслами, когда сильней и упорней противящиеся волны. Всё ведет к тому, чтоб мы крепче, чем когда-либо прежде, ухватясь за крест, плыли вопоперек скорбей. Есть средство в минутах трудных, когда страданья душевные или телесные бывают невыносимо мучительны; его добыл я сильными душевными потрясениями, но тебе его открою. Если найдет такое состояние, бросайся в плач и слезы. Молись рыданьем и плачем. Молись не так, как молится сидящий в комнате, но как молится утопающий в волнах, ухватившийся за последнюю доску. Нет горя и болезни душевной или физической, которых бы нельзя было выплакать слезами. Давид разливался в сокрушеньях, обливая одр свой слезами, и получал тут же чудное утешение. Пророки рыдали по целым дням, алча услышать в себе голос Бога, и только после обильного источника слез облегчалась душа их, прозревали очи, и ухо слышало Божий голос. Не жалей слез, пусть потрясется ими весь состав твой; такое потрясение благодетельно. Иногда врачи употребляют все средства для того, чтобы произвести потрясенье в больном, которое одно бы только пересилило болезнь - и не могут, потому что на многое не хватает физических средств. Много есть на всяком шагу тайн, которых мы и не стараемся даже вопрошать. Спрашивает ли кто-нибудь из нас, что значат нам случающиеся препятствия и несчастия, для чего они случаются? Терпеливейшие говорят обыкновенно: так Богу угодно. А для чего так Богу угодно? Чего хочет от нас Бог сим несчастием? - этих вопросов никто не задает

себе. Часто мы должны бы просить не об отвращении от нас несчастий, но о прозрении, о проразумении тайного их смысла и о просветлении очей наших. Почему знать, может быть, эти горя и страдания, которые ниспосылаются тебе, ниспосылаются именно для того, чтобы произвести в тебе тот душевный вопль, который бы никак не исторгнулся без этих страданий. Может быть, именно этот душевный вопль должен быть горнилом твоей поэзии. Вспомни, что было время, когда стихи твои производили электрическое потрясение на молодежь, хотя эта молодежь и не имела большого поэтического чутья, но заключенный в них лиризм - глубокая истина души, живое отторгновение от самого тела души, потряс их. Последующие твои стихи были обработаннее, обдуманнее, зрелее, но лиризм, эта чистая молитва души, в них угаснул (в следующем письме от 2 марта н. ст. 1844 г. Гоголь сделал к этому месту важное добавление: "Я сказал, что в твоих последующих стихах лиризм угаснул, и позабыл сказать безделицу: лиризм, стремящий вперед не только одних поэтов, но и непоэтов, возводя их в состояние, доступное одним поэтам, и делая таким образом и непоэтов поэтами. Вещь слишком важная, ибо из-за нее работает весь мир и совершаются все события. Всё стремится к тому, чтобы привести человека в то светлое состояние, о котором заранее предслышат поэты". - Б. С.). Не суждено лирическому поэту быть покойному созерцателю жизни, подобно эпическому. Не может лирическая поэзия, подобно драматической, описывать страданья и чувства другого. По этому одному она есть непритворнейшее выражение, истина выше всех истин, и глас Божий слышится в ее восторгновении. Почему знать, может быть, томления и страдания именно ниспосылаются тебе для того, чтобы ты восчувствовал эти томленья и страданья во всей их страшной силе, чтобы мог потом представить себе во всей силе положение брата своего, находящегося в подобном положении, какого положения ты никогда бы не мог представить себе, если бы не испытал его на себе самом, чтобы душа твоя подвигнулась бы всею силою нежной любви к нему, сильнейшей, чем та любовь, которую мы стремимся показывать, чтобы душа твоя проникнулась всею силою сострадания, сильнейшего, чем наше бледное и холодное сострадание. Голос из глубины страждущей души есть уже помощь великая другому страждущему. Нет, не медной копейкой мы должны подавать милостыню, медная копейка примется от того, кто на выработанье ее употребил все данные ему от Бога способности. А мы разве употребили наши способности? где наши дела? Не часто ли, в минуты бедствий произносит человек: "Господи, за что это приходится мне терпеть столько? Кажется, я никому не сделал зла на своем веку, никого не обидел". Но что скажет он, если в душе раздадутся в ответ на это такие слова: А что сделал ты добра? Или ты призван затем, чтобы не делать только зла? Где твои прямо христианские дела? Где свидетельства сильной любви твоей к ближнему, первого условия христианина? где они? Увы! может быть, даже и тот, который находится при смерти, и тот не избавлен от обязанностей христианских; может быть, и тогда не имеет он права быть эгоистом и думать о себе, а должен помышлять о том, как и самыми страданьями своими быть полезну брату, может быть, оттого так и невыносимы его страдания, что он позабыл о своем брате. Много еще тайн для нас, и глубок смысл несчастий! Может быть, эти трудные минуты и томленья

ниспосылаются тебе для того, чтобы довести тебя именно до того, о чем ты просишь в молитвах, может быть, даже нет к тому иной дороги, нет другого законнейшего и мудрейшего пути, как именно этот путь. Нет, не будем пропускать даром ничего, что бы ни случалось с нами, и будем ежеминутно молиться об уясненьи очей наших. Будем добиваться ответа из глубины душ наших и, что найдем там в утешение себе, да поделимся братски. Пока мой совет вот какой: всякий раз, в минуту ли скорби или в минуту, когда твердое состоянье водворится в твою душу, или в ту минуту, когда обнимает тебя всего состоянье умиленья душевного, набрасывай тот же час на бумагу хотя в виде одних иероглифов и кратких неопределенных выражений. Это очень важно. В трудную минуту ты, прочитавши их, уже приведешь себя сим самим, хотя вполовину, в состояние того умиленья, в котором ты пребывал тогда. Притом это будут зерна твоей поэзии, не заимствованной ниоткуда и потому высоко своеобразной. Если тебе сколько-нибудь удастся излить на бумагу состоянье души твоей, как она из лона скорби перешла к утешению, то это будет драгоценный подарок миру и человечеству. Состоянье души страждущей есть уже святыня, и всё, что ни исходит оттуда, драгоценно, и поэзия, изникшая из такого лона, выше всех поэзий. Прежде, когда еще не испытал я глубоких потрясений душевных и когда силы души моей еще мало были разбужены, видел я в Давидовых псалмах одно восторженное состояние духа в минуту лирического настроения, свободного от забот и беспокойств жизни, но теперь, когда больше прояснились глаза мои, слышу я в каждом слове происхожденье их и вижу, что всё это есть не что иное, как излиянья нежной глубоко страдавшей души, потрясаемой и тревожимой ежеминутно и не находившей нигде себе успокоения и прибежища ни в ком из людей. Всё тут сердечный вопль и непритворное восторгновенье к Богу. Вот почему остались они как лучшие молитвы, и до сих пор в течение тысячелетий низводят утешенье в души. Перечти их внимательно или, лучше, в первую скорбную минуту разогни книгу наудачу, и первый попавшийся псалом, вероятно, придется к состоянию души твоей. Но из твоей души должны исторгнуться другие псалмы, не похожие на те, из своих страданий и скорбей исшедшие, может быть более доступные для нынешнего человечества, потому что и самые страдания и скорби твои более доступны нынешнему человечеству, чем страданья и скорби Давидовы. Всё, что написал я тебе здесь, перечти со вниманием, ибо оно писано с душевным сильным участьем и всем стремлением сердца, и потому как бы ни слабы были мои слова, но Бог, облекающий в силу всякое душевное слово и доброе стремление, верно, обратит и это на твою пользу".

26 декабря н. ст. 1844 г. из Франкфурта Гоголь писал Я.: "Пишу тебе и сие письмо под влиянием того же ощущения, произведенного стихотворением твоим: "Землетрясение". Друг, собери в себе всю силу поэта, ибо ныне наступает его время. Бей в прошедшем настоящее, и тройною силою облечется твое слово: прошедшее выступит живее, настоящее объяснится яснее, а сам поэт, проникнутый значительностью своего дела, возлетит выше к тому Источнику, откуда почерпается дух поэзии. Сатира теперь не подействует и не будет метка, но высокий упрек лирического поэта, уже опирающегося на вечный закон, попираемой от слепоты людьми, будет много значить. При всем

видимом разврате и сутолоке нашего времени, души видимо умягчены; какая-то тайная боязнь уже проникает сердце человека, самый страх и уныние, которому предаются, возводит в тонкую чувствительность нервы. Осведительное слово ободренья теперь много, много значит. И один только лирический поэт имеет теперь законное право как попрекнуть человека, так с тем вместе воздвигнуть дух в человеке. Но это так должно быть произведено, чтобы в самом ободреньи был слышен упрек и в упреке ободренье. Ибо виноваты мы почти все. Сколько могу судить, глядя на современные события издалека, упреки падают на следующих из нас: во-первых, на всех предавшихся страху, которым, уж если предаваться страху, то следовало бы предаться ему не по поводу каких-либо внешних событий, но взглянувши на самих себя, вперивши внутреннее око во глубину души своей, где предстанут им все погребенные ими способности души, которых не только не употребили в дело во славу Божью, но оплевали сами, попрали их и отлученьем их от дела дали ход волчцам и терниям покрыть никем не засеваемую ниву. Ты сам знаешь, что это у нас часто происходит на всех поприщах, начиная с литературного до всякого житейского, судейского, военного, распорядительного по всем частям, словом, повсюду. Здесь особенный упрек упадет на тех гордецов, которые и в благих даже намерениях видели повсюду прежде себя, а потом уже других, не умели перенести пустяка какого-нибудь, оскорбления... личности своей - и осердясь на вши, да шубу в печь. Укажи им, как сами они наказалися страхом чрез самих себя, и пусть в этом страхе увидят они Божье наказанье себе: верный знак, что далеко отбежали от Бога; ибо кто с Богом, у того нет страха. Во-вторых, громоносный упрек упадет на нынешних развратников, осмеливающихся пиршествовать и бесчинствовать в то время, когда раздаются уже действия гнева Божия и невидимая рука, как на пиру Валтазаровым, чертит огнем грозящие буквы. В-третьих, упрек, и еще сильнейший, может быть, упадет на тех, которые осмеливаются даже в такие святые минуты Божьего посещения пользоваться смутностью времени, святокупствовать, набивать карман свой и брать взятки. Таких беззаконников, я слышал, развелось теперь у нас немало, которые воспользовались даже всякими нелепыми распускаемыми слухами, употребляя их орудиями к грабительству. Друг! много, много есть теперь предметов для лирического поэта. Всему этому найдет соответствующие картины он в Библии, где до того всё живо, что, кажется, писано огнем, а не тростью. Посуди сам, если все это предстанет в применении к текущему, в какую живость, уже доступную всем от мала до велика, оно облечется! Не нужно больших пиэс: чем короче и сжатей стихотворенье, тем оно будет значительней и действительней. Не нужно совокуплять всех упреков вместе и в одно, но, раздробив их на множество и сделав каждый предметом отдельного стихотворения, дать ему целость и живость и силу, совокупленную в себе. Друг! молись, да Бог одушевит тебя и ниспошлет силы поработать Ему же. Только одной этой дорогой, а не какой-либо другой, ты можешь к нему приблизиться. Только тем путем должен каждый из нас стремиться к Нему, для которого Им же самим даны нам орудия, способности и средства: прочие все пути будут околесны и кривые, а не прямые и кратчайшие. Друг мой, авторитет твой может быть велик, потому что за тебя станет Бог, если ты прибегнешь к Нему. Притом вспомни и

то, что благодеяния твои могут излиться только сим путем, а не другим, любовь к ближнему и брату можешь ты показать только так, а не иначе помочь страждущему, и все те христианские обязанности, которые должен каждый из нас выполнить на указанном поприще и без чего не спастись ему, тобою могут быть выполнены только сим образом, а не другим. Полюби же, как брат, всех, которые страждут и телом и духом, и если ты еще не в силах так полюбить их, то обрати их по крайней мере мысленно в нищих, просящих и молящих о помощи. Не гляди на то, что не простираются их руки просить о милостыне, может быть, простираются их души. Притом Бог ведает, кому прежде следует помогать, тому ли, кто имеет еще силы выйти на улицу, или же тому, кто не имеет сил даже и руки протянуть, чтобы попросить. И то уж благодеяние, когда считающему себя богачом докажешь и откроешь, что он нищий. Только одна та помощь будет теперь действительна в России, которая будет сделана любовью. Всякая другая будет временна. Всему предстоят препятствия, везде предстанут неудачи. Одной только любви нет препятствий: ей всюду свободно и всюду открыт путь. Друг мой, да наполнится же одной любовью и душа, и сердце, и мысль твоя! и да двигнет одна она отныне пером твоим! Много-много ей предстоит поприща; нет и конца ее предметам. Но не позабудь прежде всего тех, которым прежде всего следует проснуться. Внуши бодрость и выведи из уныния тех, которые стоят передовыми и могут подать пример другим. Не беда, если дурак придет в уныние (это даже для него и лучше), но плохо, если умные повесят носы. Истинно же ободрить возможно только одним средством: именно, когда, ободряя кого-либо, ты в то же время напоминаешь ему, что он должен ободрить других, что он должен позабыть себя и не себя выводить из уныния, но других выводить из уныния. Сим одним только средством может человек сам выйти из него. Мы все так странно и чудно устроены, что не имеем сами в себе никакой силы, но как только подвигнемся на помощь другим, сила вдруг в нас является сама собою. Так велико в нашей жизни значение слова: другой и любовь к другому (здесь Гоголь предвосхищает ницшеанскую "этику любви к дальнему". - Б. С.). Эгоистов бы не было вовсе, если бы они были поумнее и догадались сами, что стоят только на нижней ступеньке своего эгоизма и что только с тех пор, когда человек перестает думать о себе, и с тех только одних пор он начинает думать истинно о себе, и становится таким образом самым расчетливым из эгоистов. А потому и ты, друг мой, не думай о своей собственной хандре, хотя бы она и пришла к тебе, а думай о том, что в это время находятся другие в хандре и что следует их развеселять, а не себя - и хандра твоя исчезнет. Если же приступят к тебе какие-либо болезненные припадки, то говори им просто: "некогда! Плевать я на вас, теперь мне не до вас!" Я рад между прочим тому, что "Москвитянин" переходит в руки Ивана Васильевича Киреевского. Это вероятно подзадорит многих расписаться, а в том числе и тебя. Чего доброго, может быть, Москва захочет доказать, что она не баба".

В письме Я. от 2 января н. ст. 1845 г. из Франкфурта Гоголь сетовал, что "Москвитянин", "издаваясь уже четыре года, не вывел ни одной сияющей звезды на словесный небосклон! Высунули носы какие-то допотопные старики, поворотились... и скрылись, тогда как с русским ли человеком не наделать

добра на всяком поприще! Да его стоит только хорошенько попрекнуть, назвав его бабой и хомяком, загнуть ему знакомую поговорку и сказать, что вот, де, говорит немец, что русский человек ни на что не годен,- как из него уже вмиг сделается другой человек. А потому не позабудь, друг мой, что и ты, с своей стороны, можешь много ободрить русского человека. В самом стихе твоем есть уже что-то бодрое и бодрящее, и если таким стихом оденешь ты и мысль, вполне бодрящую, и если рассмотришь к тому и природу русского человека, чтобы узнать, по которому месту бить и хлестать его, то много-много можешь наделать добра. Стихи, присланные тобой в образчик духовных стихотворений ("Блажен, кто мудрости высокой"), получил и прочел с удовольствием. В них есть простота, величие и светлость, но они далеки от "Землетрясения". Я не думаю даже, чтобы форма псалмов была прилична тем духовным стихотвореньям, какие потребны в нынешнее время. По крайней мере псалмы должны быть собственные, а не переделанные или извлеченные из Давида. Вообще же духовное стихотворение (какой бы формы оно ни было) может быть ныне значительно только тогда (всё это я, разумеется, говорю вследствие моего мнения, которое, может быть, и ошибочно), когда оно двигнуто которою-нибудь из следующих возбуждающих сил: или силою гнева, почерпнутого от самого гнева Божия, стало быть, нелицемерного гнева, не в мыслях, но уже в сердце обитающего, гнева противу всего презренного и нечистого, в каком бы ни заключилось оно сосуде. (Само собою разумеется, что гнев не к самым сосудам, заключившим в себе презренное, но к презренному, заключенному в сосудах; против самих сосудов гнев может быть только за то, что они отворили двери презренному или заключили его в себе.) Итак, или силою попаляющего Божьего гнева должно проникаться духовное стихотворение, и это пусть будет во-первых. Или же, во-вторых, оно должно быть проникнуто и подвигнуто силою любви к человеку, зажженною также от небесной любви Божьей к человеку, любви, измерившей всю страшную участь тех, которые воздвигают против себя гнев Божий. Содрогаясь от ужаса за них и подвигнувшись небесным ангельским состраданьем, она уже не поражает их, а молит, как брат умоляет брата, как несчастная и безотрадная мать умоляет сына, идущего на явную гибель, умоляет его такими воплями и стонами, от которых и бесчувственный камень содрогнется. И сею силою нежного моления может быть подвигнуто значительное духовное стихотворение, во-вторых. Или же, наконец, в-третьих, духовное стихотворение может быть подвигнуто силой внутреннего собственного излияния: умягченным и утопающим в блаженстве вознесеньем сердца своего к Богу, внутренним гневом против собственных своих недостатков, унынья, малодушья и бессилья своего, умоляющим и горячим моленьем о ниспосланьи в душу того, чего еще нет в ней и что достается так трудно нашей черствой и неразмягченной природе. В последнем случае духовное стихотворение приемлет форму молитвы и может разнообразиться бесконечно, смотря по различию и разнообразию состояний душевных. Но само собою разумеется, что здесь ничего не должно быть вымышленного или вообразимого только умом. Что не было добыто слезами и душевным внутренним сокрушеньем, то не должно облечься и в стихи. Иначе, при всех достоинствах поэта, на место жара, холод пребудет в стихотворении, оно

останется никому не родным и круглым сиротою. Итак, сими только тремя побуждающими силами, мне кажется, должно быть подвигнуто духовное стихотворение, дабы соответствовать высокому значению самому. А что самые сии побуждающие силы пробуждаются в человеке не иначе, как от соприкосновенья с живыми, текущими, настоящими современными обстоятельствами, его обстанавливающими и окружающими, об этом и говорить нечего. Любви к прошедшему не получишь, как ни помогает поэту воображанье. Любовь возгорается к тому, что видишь, и, стало быть, к предстоящему, прошедшее же и отдаленное возлюбляется по мере его надобности и потребности в настоящем. Словом, вообще удача духовного стихотворения зависит от того, когда оно предприемлется как подвиг во имя Божие, как искреннейшее дело, как то деяние, по которому будет судить нас Бог во пришествии Своем. Вот почему так холодны попытки всех предлагателей псалмов: они их брали просто как предмет для поэзии, как поэтические игрушки. Твое духовное стихотворение("Блажен, кто мудрости высокой") не содержит в себе ни упрека, порожденного гневом, ни састраданья, порожденного любовью, ни умоления, исторгнутого силою душевной немощи. В нем заключено восхваление, которое, как известно, само по себе всегда уступает в силе трем прочим. Гневается ли человек, любит ли, умоляет ли, он всегда тут становится сильнее, чем когда он хвалит. Итак, вследствие уже этого твое духовное стихотворение не могло произвести сильного впечатления. Притом предмет восхваления есть муж, отстранившийся от людей и от их порочного общества, тогда как люди теперь больше, чем когда-либо прежде, нуждаются в любви к себе. Стало быть, стихотворение еще более должно отозваться какою-то черствостью. Я не говорю, чтобы род стихотворений в виде восхвалений был теперь вовсе бессилен или не нужен, но я думаю только то, что и в сем роде восхваляться должно только то, что наиболее нужно современному человеку среди нынешнего века, и предметом восхвалений должен быть муж, потребный современным обстоятельствам. Если бы ты сказал, например, что блажен муж, который и среди уныния других не предается унынию, но сеет бодрость в души, подъемлет повсюду падшего и воздвигает дух в человеке, или - блажен муж, отдавший всего себя на служение Богу, который, взявший какое бы то ни было мирское место и звание, служит на нем не для мира и не для своей почести и не ждет ни от кого из людей за это награды, но, как святыню, обнявши долг свой, умеет перенести всё и не оставит своего места ни в каком случае, какие бы ни нанесли ему оскорбления, не переносимые для человеческой гордости, помня только то, что не для себя, не для своего счастия, а для счастия других он взял свое место, и не для удовлетворения своей гордости, а для защиты других должен он пребывать на нем, не ради какой-либо признательности и хвалы мира, а ради Христа, представшего перед него в виде страждущих несчастливцев, молящих и простирающих изнуренные от бесплодных простираний руки. Таким образом служащего Богу мужа можно ублажить не даром и достойно, и найдутся сами собою для того сильные и восторгающие слова. Или - блажен тот, кто, оторвавшись вдруг от разврата и от подлой пресмыкающейся жизни, преданной каверзничествам, неправдам, предательствам, особачившим дни ее и заплевавшим его человеческую душу,

как бы вдруг пробуждается в великую минуту и так же запоем, как способен один только русский, который с горя вдруг вдается в пьянство, так же запоем из пьянства входит в трезвость души, великодушно объявляет брань самому себе, загорается еще сильнейшей жаждой небесною, чем всякой другой, и становится таким образом возвышеннее даже того, кто всю жизнь провел в честности. Здесь можно кстати ублажить и тех тюрюков (бумажных кульков. - Б. С.), которые от бездельной и лежебокой жизни обращаются вдруг к деятельной и таким образом вдруг превращаются из бабы в мужа. Или же вообще - блажен тот, кто уже загорелся небесной любовью к людям и, позабывши уже все собственные страдания, всё, что ни наносилось ему в огорченье от них или в оттолкновенье от них, влечется к ним сильнейшею любовью, до того, что, уже как бы позабывши о собственном своем спасении, помышляет только о их спасении. Словом, муж, загоревшийся той любовью, которой еще и не знали во время Давида и которую принес Христос на землю. Да и вообще много-много других, сильнейших псалмов может произвести поэт, крещенный огнем и Духом Христовым, если только возрожденье свое как человека внесет в поэзию свою. Я думаю, что если он ублажит таких мужей, которые именно нужны нашему времени, то он произведет действие на всех, несмотря на то, что стихотворения в виде восхвалений не могут иметь такой потрясающей силы, как упомянутые мною прежде роды духовных стихотворений".

В начале февраля н. ст. 1845 г. Гоголь восторженно писал Я. из Парижа: "Сам Бог внушил тебе прекрасные и чудные стихи "К не нашим". Душа твоя была орган, а бряцали по нем другие персты. Они еще лучше самого "Землетрясенья" и сильней всего, что у нас было писано доселе на Руси. Больше ничего не скажу покаместь и спешу послать к тебе только эти строки. Затем Бог да хранит тебя для разума и для вразумления многих из нас".

10 августа 1846 г. Я. писал Гоголю, что его статья о переводе "Одиссеи", выполненном В. А. Жуковским, опубликована в "Московских ведомостях" и "Современнике". При этом он сообщил: "Твоя статья нравится всем нашим и радует их, _ статья сильно и прекрасно написанная! Восстают против нее только духи тьмы - наплевать на них! Черт с ними!.. Панов собирает второй том "Сборника Московского". Что если бы прислал в него хоть малую толику? Как бы освежил и оживил его и всю нашу братию!"

5 октября н. ст. 1846 г. из Франкфурта Гоголь написал Я. одно из последних писем, в котором резко критиковал славянофилов, поскольку главным способом изменения мира считал не общественные движения, а самосовершенствование каждого: "И ты против меня! Не грех ли и тебе склонять меня на писание журнальных статей, _ дело, за которое уже со мной поссорились некоторые приятели? Ну, что во мне толку и какое оживление "Московскому Сборнику" от статьи моей? Статья всё же будет моя, а не их; стало быть, им никакой чести. Признаюсь, я не вижу никакой цели в этом сборнике. Дела мало, а педантства много. А из чего люди в нем хлопочут, никак не могу себе определить. Вышел тот же мертвый номер "Москвитянина", только немного потолще. У нас воображают, что всё дело зависит от соединения сил и от какой-то складчины. Сложись-ка прежде сам да сделайся капитальным человеком, а без того принесешь сор в общую кучу. Нет, дело нужно начинать с другого конца. Прямо

с себя, а не с общего дела. Воспитай прежде себя для общего дела, чтобы уметь, точно, о нем говорить как следует. А они: надел кафтан да запустил бороду, да и воображают, что распространяют этим русский дух по Русской земле! Они просто охаивают этим всякую вещь, о которой действительно следует поговорить и о которой становится теперь стыдно говорить, потому что они обратили ее в смешную сторону. Хотел я им кое-что сказать, но знаю, что они меня не послушают, а следовало бы каждому из них войти получше в собственные силы и рассмотреть, к какому делу каждый создан вследствие ему данных способностей. Им, слава Богу, уже по тридцати и по сорока лет; пора оглядеться. А Панову (литератору Василию Алексеевичу Панову (1819-1849), близкому к славянофилам. - Б. С.) скажи так, что я весьма понял всякие ко мне заезды по части статьи отдаленными и деликатными дорогами, но не хочет ли он понюхать некоторого словца под именем: нет? Это словцо имеет запах не совсем дурной, его нужно только получше разнюхать. Эти три строки можешь даже ему показать, а прочего не показывай; их не следует обескураживать. Я их выбраню, но потом и притом таким образом, чтобы они после брани подымут нос, а не опустят. Нельзя говорить человеку: "Делаешь не так", не показавши в то же время, как должно делать. А потому и ты также сиди до времени смирно и не шуми, и хорошенько ощупай себя и свой талант, который, видит Бог, не затем тебе дан, чтобы писать посланья к Каролинам (намек на стихотворные послания Я. к поэтессе Каролине Карловне Павловой (Яниш) (1807-1893). - Б. С.), но на дело больше крепкое и прочное. Ты прочти внимательно книгу мою, которая будет содержать выбор из разных писем (имеются в виду "Выбранные места из переписки с друзьями", которая вышла в свет через пять дней после кончины Я. - Б. С.). Там есть кое-что направленное к тебе, посильнее прежнего, и если Бог будет так милостив, что вооружит силою мое слово и направит его как раз на то место, на которое следует ударить, то услышат от тебя другие послания, а в них твою собственную силу со всем своеобразьем твоего таланта. Так я верю и хочу верить. Но до времени это между нами. Книгу печатает в Петербурге Плетнев, и выйдет не раньше, как через месяц после полученья тобою этого письма. В Москве знает только Шевырев. Но прощай. Бог да сопутствует тебе во всем!"

В "Выбранных местах из переписки с друзьями" в статье "В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность" Гоголь дал характеристику поэзию Я.: "Из поэтов времени Пушкина более всех отделился Языков. С появленьем первых стихов его всем послышадась новая лира, разгул и буйство сил, удаль всякого выраженья, свет молодого восторга и язык, который в такой силе, совершенстве и строгой подчиненности господину еще не являлся дотоле ни в ком. Имя Языков пришлось ему недаром. Владеет он языком, как араб диким конем своим, и еще как бы хвастается своею властью. Откуда ни начнет период, с головы ли, с хвоста, он выведет его картинно, заключит и замкнет так, что остановишься пораженный. Все, что выражает силу молодости, не расслабленной, но могучей, полной будущего, стало вдруг предметом стихов его. Так и брызжет юношеская свежесть ото всего, к чему он ни прикоснется... Когда появились его стихи отдельной книгой, Пушкин сказал с досадой: "Зачем он назвал их: "Стихотворенья Языкова"! их бы следовало назвать просто: "хмель"! Человек с обыкновенными силами ничего не сделает подобного; тут

потребно буйство сил". Живо помню восторг его в то время, когда прочитал он стихотворение Языкова к Давыдову, напечатанное в журнале. В первый раз увидел я тогда слезы на лице Пушкина (Пушкин никогда не плакал; он сам о себе сказал в послании к Овидию: "Суровый славянин, я слез не проливал, но понимаю их"). Я помню те строфы, которые произвели у него слезы: первая, где поэт, обращаясь к России, которую уже было признали бессильною и немощной, взывает так:

Чу! труба продребезжала!
Русь! тебе надменный зов!
Вспомяни ж, как ты встречала
Все нашествия врагов!
Созови от стран далеких
Ты своих богатырей,
Со степей, с равнин широких,
С рек великих, с гор высоких,
От осьми твоих морей!

И потом строфа, где описывается неслыханное самопожертвование, предать огню собственную столицу со всем, что ни есть в ней священного для всей земли:

Пламень в небо упирая,
Лют пожар Москвы ревет.
Златоглавая, святая,
Ты ли гибнешь? Русь, вперед!
Громче буря истребленья!
Крепче смелый ей отпор!
Это жертвенник спасенья,
Это пламя очищенья,
Это фениксов костер!

У кого не брызнут слезы после таких строф? (поскольку строки эти начисто лишены поэзии как с точки зрения ритма, так и тяжеловесных словосочетаний и эпитетов-штампов, вызывает сомнения, что Пушкин действительно мог их оценить столь высоко, как утверждает Гоголь; не исключено, что рассказ о пушкинских слезах выдуман Гоголем. - Б. С.) Стихи его точно размывчивый хмель; но в хмеле слышна сила высшая, заставляющая его подыматься кверху. У него студентские пирушки не из бражничества и пьянства, но от радости, что есть мочь в руке и поприще впереди, что понесутся они, студенты,

На благородное служенье
Во славу чести добра.

Беда только, что хмель перешел меру и что сам поэт загулялся чересчур на радости от своего будущего, как и многие из нас на Руси, и осталось дело в одном только могучем порыве. Всех глаза устремились на Языкова. Все ждали чего-то необыкновенного от нового поэта, от стихов которого пронеслась такая богатырская похвальба совершить какое-то могучее дело. Но дела не дождались. Вышло еще несколько стихотворений, повторивших слабей то же самое; потом тяжелая болезнь посетила поэта и отразилась на его духе. В последних стихах его уже не было ничего, шевелившего русскую душу. В них

раздались скучанья среди немецких городов, безучастные записки разъездов, перечень однообразно-страдальческого дня. Все это было мертво русскому духу. Не приметили даже необыкновенной обработки позднейших стихов его. Его язык, еще более окрепнувший, ему же послужил в улику: он был на тощих мыслях и бедном содержании, что панцирь богатыря на хилом теле карлика. Стали говорить даже,что у Языкова нет вовсе мыслей, а одни пустозвонкие стихи, и что он даже и не поэт. Все пришло противу него в ропот. Отголоски этого ропота раздались нелепо в журналах, но в основанье их была правда... Нет, не силы оставили его, не бедность таланта и мыслей виной пустоты содержанья последних стихов его, как самоуверенно возгласили критики, и даже не болезнь (болезнь дается только к ускоренью дела, если человек проникнет смысл ее), - нет, другое его осилило: свет любви погаснул в душе его - вот почему померкнул и свет поэзии. Полюби потребное и нужное душе с такою силою, как полюбил прежде хмель юности своей, - и вдруг подымутся твои мысли наравне со стихом, раздастся огнедышащее слово: изобразишь нам ту же пошлость болезненной жизни своей, но изобразишь так, что содрогнется человек от проснувшихся железных сил своих и возблагодарит Бога за недуг, давший ему это почувствовать. Не по стопам Пушкина надлежало Языкову обработывать и округлять стих свой; не для элегий и антологических стихотворений, но для дифирамба и гимна родился он, это услышали все. И уже скорей от Державина, чем от Пушкина, должен был он засветить светильник свой. Стих его только тогда и входит в душу, когда он весь в лирическом свету; предмет у него только тогда жив, когда он или движется, или звучит, или сияет, а не тогда, когда пребывает в покое. Уделы поэтов не равны. Одному определено быть верным зеркалом и отголоском жизни - на то и дан ему многосторонний описательный талант. Другому повелено быть передовою, возбуждающею силою общества во всех его благородных и высших движениях - и на то дан ему лирический талант. Не попадает талант на свою дорогу, потому что не устремляет глаз высших на самого себя. Но Промысел лучше печется о человеке. Бедой, злом и болезнью насильно приводит он его к тому, к чему он не пришел бы сам. Уже и в лире Языкова заметно стремление к повороту на свою законную дорогу. От него услышали недавно стихотворенье "Землетрясенье", которое, по мненью Жуковского, есть наше лучшее стихотворенье".

8 ноября н. ст. 1846 г. Гоголь сообщил Я., что находится во Флоренции, откуда направляется в Неаполь через Рим, чтобы предпринять путешествие к Святым местам. А 8/20 января 1847 г. Гоголь написал последнее письмо Я., где просил, еще не зная о его смерти, выслать в Неаполь русские летописи,"Выходы Государей Царей и Великих князей..." и книги И. М. Снегирева "Русские простонародные праздники и суеверные обряды" и "Русские в своих пословицах". Гоголь подчеркнул, что эти книги "теперь весьма нужны, дабы окунуться покрепче в коренной русский дух".

По поводу смерти Я. Гоголь 13/25 января 1847 года писал из Неаполя матери: "Без этой мысли о смерти и вечности я бы не перенес и нынешней моей печальной утраты, о которой, вероятно, вы уже слышали. Я лишился наилучшего моего друга, с которым я жил душа в душу, Н. М. Языкова, к которому я питал истинно родственную любовь, потому что питать истинно

родственную любовь я могу только к тем, которые понимают мою душу и живут сколько-нибудь во Христе делами жизни своей. Еще за несколько лет перед сим эта смерть сокрушила бы меня, может быть, совершенно. Теперь я принял эту весть покойно и, зная, что этот человек, за небесную душу свою, удостоен небесного блаженства, стараюсь от всех сил, чтобы и меня удостоил Бог быть с ним вместе, а потому молю Его ежеминутно, чтобы продлил сколько возможно подолее жизнь мою, дабы я в силах был наделать много добрых дел и удостоиться, подобно ему, небесного блаженства; и чрез это у меня и бодрости больше в жизненном деле, и я гляжу светло вперед". В тот же день Гоголь сообщал В. А. Жуковскому: "И Языкова уже нет! Небесная родина наша наполняется ежеминутно более и более близкими нашему сердцу и тем как бы становится нам еще желанней и драгоценней".

И только 30 января (11 февраля) 1847 года Гоголь ответил С. П. Шевыреву, еще 30 декабря 1846 года сообщившего о смерти Я.: "Я получил твое письмо с известием, что Языкова уже не стало. Итак, эта небесная, безоблачная душа уже на Небесах! Из всех моих друзей у него больше других было тех некоторых особенностей, какие были и в моей природе, которых он не обнаружил, однако ж, ни в сочинениях своих, ни даже в беседах с другими и которые были причиной, что между нами было тесное дружество. Наши мысли и вкусы были почти сходны. Но разум и чистота младенчества, каких у меня не было, светились в одно и то же время в его словах. Как он был добр ко мне и как он любил меня! О! да удостоит нас Бог всех совершить честно свой долг на земле, чтобы удостоиться небесного блаженства и ликованья вместе с ним, с которым уже и здесь на земле было так приятно беседовать, как бы беседовал с ангелом на Небесах".

Гоголь в 1849 г. рассказывал Д. А. Оболенскому, что когда они вместе с Я. жили за границей, то " вечером, ложась спать, они забавлялись описанием разных характеров и засим придумывали для каждого характера соответственную фамилию. - "Это выходило очень смешно", - заметил Гоголь".

КРАТКАЯ ХРОНИКА ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Н. В. ГОГОЛЯ

1809
Марта 20 (по н. ст. - 1 апреля)
В местечке Великие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии у помещика Василия Афанасьевича Гоголя-Яновского и у его жены Марии Ивановны, урожденной Косяровской, родился сын Николай.
Марта 22
Гоголь окрещен в сорочинской Спасо-Преображенской церкви настоятелем о. Иоанном Беловольским.
1818
Гоголь вместе в 8-летним брат
ом Иваном отдан в первый класс высшего отделения Полтавского уездного училища.
1819
Лето
Умер брат Гоголя Иван.
Июня 30
Гоголь покинул Полтавское уездное училище, не окончив его.
1820
Гоголь живет у учителя латинского языка Полтавской гимназии Г. М. Сорочинского и берет у него уроки.
1821
Мая 1
Гоголь принят в Нежинскую гимназию высших наук кн. Безбородко. В июне по сдаче экзаменов он был зачислен сразу во второе отделение гимназии.
Начало сентября
Вернувшись из Васильевки, Гоголь приступил к занятиям вНежинской гимназии.
1822
Июля 1
Гоголь принят в число казеннокоштных воспитанников и переведен в четвертый класс Нежинской гимназии.
Октября 10
Гоголь сообщает родителям,что опасно болен, и просит прислать денег, скрипку и "съестные припасы".
1823
Июнь
Гоголь перешел в пятый класс Нежинской гимназии.
Начало декабря
Родители сообщают Гоголю, что находятся в Кибинцах у Д. П. Трощинского и не смогут прислать за ним на Рождественские каникулы.
1824
Январь
Гоголь активно участвует в постановке школьных спектаклей, играет в них и вместе с К. М. Базили и В. И. Любич-Романовичем изготовляет театральные декорации.
Февраль
Гоголь получил по "поведению" "единицу" "за неопрятность, шутовство, упрямство и неповиновение".
Март
Исправившийся Гоголь получил по поведению "отлично-хорошо".
Июня 16-19
Гоголь успешно сдал экзамены в Нежинской гимназии в присутствии почетного попечителя графа А. Г. Кушелева-Безбородко и был переведен в шестой класс.
Октября 1
Гоголь просит родителей прислать ему пьесу В. А. Озерова "Эдип в Афинах", роман А. С. Пушкина "Евгений Онегин" и просил достать хрестоматию "Собрание образцовых русских сочинений..."
1825
Марта 31
Умер отец Гоголя В. А. Гоголь-Яновский.
Апреля 23
Гоголь ответил матери, сообщившей о смерти отца, что перенес это печальное известие с "твердостию истинного христианина".
Июнь
После сдачи экзаменов Гоголь был переведен в седьмой класс Нежинской гимназии.
Сентября 30
Гоголь сообщил матери, что продолжает занятия живописью. В течение 1825 г. Гоголь написал первые литературные произведения: поэму "Россия под игом татар", балладу "Две рыбки", трагедию в стихах

"Разбойники, "славянскую повесть" "Братья Твердиславичи" и акростих на своего товарища по гимназии Ф. К. Бороздина.

1826

Январь

По возвращении в Нежин из Васильевки Гоголь начинает "Книгу всякой всячины, или подручную Энциклопедию".

Конец мая - середина июня

Гоголь успешно сдает экзамены и переведен в восьмой класс гимназии высших наук.

Августа 20

Гоголь просит мать писать ему о хозяйственных делах и советует ей завести в имении черепичный завод.

Ноября 23

Гоголь пишет матери: "Думаю, удивитесь вы успехам моим, которых доказательства лично вручу вам. Сочинений моих вы не узнаете. Новый переворот настигнул их. Род их теперь совершенно особенный". Вероятно, одним из доказательств достигнутых успехов должно было послужить стихотворение "Новоселье", опубликованное в школьном журнале "Метеор".

1827

Января 29

Старший профессор Нежинской гимназии М. В. Билевич пишет конференции гимназии рапорт о том, что "сего 1827 г. января 29 числа поутру на вторых часах учения я, послышавши необыкновенный стук в зале под аркою, зашел в оную, где нашел работающих плотников и увидел различные театральные приуготовления, как то: кулисы, палатки и возвышенные для сцен особые полы, почему спросил, для чего таковые производятся работы и приуготовления; на что мне работники и бывший при том г-н надзиратель Адольф Аман сказали, что это делается для театра, на котором воспитанники пансиона будут представлять разные театральные пьесы. А как таковые театральные представления в учебных заведениях не могут быть допущены без особого дозволения высшего учебного начальства, то... всепокорнейше прошу... донести о сем гг. окружному и почетному попечителям, ежели не имеется от оных на то позволения". На этом рапорте и. д. директора гимназии старший профессор К. В. Шапалинский наложил резолюцию: "Так как от 28 декабря истекшего 1826г. последовало на мое имя позволение высшего начальства, то сим г-ну проф. Билевичу объявляется о бытности сего позволения".

Февраля 10-13

В Нежинской гимназии на масленицу четыре дня подряд давали школьные спектакли. Гоголь в них участвовал.

Февраля 26

Гоголь пишет матери, что на масленице в гимназии был устроен театр, причем "к чести нашей признали единогласно, что из провинциальных театров ни один не годится против нашего. Правда, играли все прекрасно. Две французские пьесы соч. Мольера и Флорияна, одну немецкую соч. Коцебу. Русские: Недоросль, соч. Фонвизина, Неудачный примиритель Княжнина, Лукавин Писарева и Береговое право соч. Коцебу. Декорации были отличные, освещение великолепное, посетителей много, и всё приезжие, и все с отличным вкусом. Музыка тоже состояла из наших: восемнадцать увертюр Россини, Вебера и других были разыграны превосходно... Я не помню для себя никогда такого праздника, какой я провел теперь".

Март

Гоголь пишет сатиру на жителей города Нежина "Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан".

Апреля 6

Гоголь сообщает матери,что выписал из австрийского города Лемберга (Львова) полное собрание сочинений Ф. Шиллера.

Апреля 16

Профессор российской словесности П. И. Никольский подает в конференцию рапорт, где критикует "зрелищные представления" гимназистов. Он утверждает, что пьесы разыгрываются с произвольными изменениями и добавлениями. В тот же день бывший инспектор К. А. Моисеев доносит конференции, что "пансионеры начинают читать непозволенные книги; в классах, при задаваемых им вопросах, оказываются занятыми не столько ученьем, сколько выучиваньем театральных ролей". Вследствие этих доносов была отменена весенняя серия школьных спектаклей 1827 г.

Мая 7

Профессор М. В. Билевич подал в конференцию рапорт о состоянии нравственности учеников, содержащий указание на неучтивый поступок Гоголя, случившийся 27 апреля, и донос на преподавателя естественного права профессора Н. Г. Белоусова: "...Проходил мимо нас по коридору ученик 8-го класса, пансионер Яновский, который на вопрос мой, почему он не в классе, отвечал,что в 8-м классе учения нет, ибо Белоусов не будет в классе, к сему сказал г. экзекутор Шишкин: вот смотрите, какое неуважение воспитанников к своим наставникам, что не захотел и оставаться, когда его спрашивали; я же сказал ему: посему и должно детей наставлять и к учтивости приучать, на что он, г. экзекутор, отвечал: что ж мы можем успеть, когда не все так делают, как должно, но что иные наставники часто с учениками, побравшись под руки, по коридору прохаживают и слишком фамилиерно с ними обращаются?.. Я приметил у некоторых учеников некоторые основания вольнодумства, а сие, полагаю, может происходить от заблуждений в основаниях права

естественного, которое хотя и предписано здесь преподавать по системе г-на Демартини, но г-н младший профессор Белоусов проходит оное естественное право по своим запискам, следуя в основном философии Канта и г-на Шада; для чего покорнейше прошу конференцию гимназии - первое - подтвердить г. мл. профессору юридических наук Белоусову, дабы он непременно руководствовался систематическою книгою г. Демартиня в преподавании права естественного как предписано руководствовать; второе - подтвердить ему же, Белоусову, как инспектору над воспитанниками, а равно и гг. надзирателям и нравонаблюдателям, дабы они имели неослабное смотрение за нравственным поведением воспитанников гимназии вообще". В результате этого доноса возникло дело о неблагонамеренном преподавании естественного права и вольнодумстве профессора Н.Г. Белоусова и ряда других профессоров.
Июня 26
Гоголь в письме Г. И. Высоцкому говорит о своем душевном одиночестве в Нежине.
Июля 1
Гоголь переведен в последний девятый класс Нежинской гимназии.
Сентября 26
Профессор М. В. Билевич в театральном зале имел столкновение с Гоголем, которого, ввиду его "необычайной дерзости" и в отказе отпереть по первому требованию профессора Иеропеса дверь зала, где находилось несколько пансионеров, Билевич заподозрил в том, что он был пьян. Проведенным в тот же день расследованием было установлено: "На спрос о случившемся пансионеры, введенные поодиночке в конференцию, показали, что когда к ним в театр кто-то стучался, не объявляя своего имени, то они, думая, что это были вольноприходящие ученики, которые им часто мешали производить в театре работу, дверей не отворяли, а когда г. экзекутор, постучавши, объявил свое имя, то они дверь тотчас отперли; что г. профессор Билевич, вошедши к ним в театр с проф. Иеропесом и экзекутором Шишкиным, упрекал их, что они занимаются не своим делом и что они без надзирателя; когда же пансионер Яновский сказал, что они в театре находятся с позволения их начальства, и притом под наблюдением старшего, именно пансионера Маркова, а г. профессор Билевич напрасно хочет лишить их удовольствия заниматься приуготовлением театра, тогда он, г. Билевич, ему, Яновскому, сказал: ты пьян и потому так много говоришь. После такового показания пансионеров они по словесному поручению г. исправляющего должность директора были освидетельствованы от г. доктора медицины Фиблига и найдены не только трезвыми, но и без малейшего признака хмельных напитков".
Октября 29 - ноября 3
Допрос учеников старших классов Нежин
ской гимназии о лекциях и записках профессора Н. Г. Белоусова. Гоголь допрашивался 3 ноября.
Ноября 13
Гоголь сообщает матери, что не приедет домой на Рождественские каникулы, так как в оставшееся до выпуска полугодие хочет наверстать упущенное в учении.
Декабря 15
Гоголь пишет матери, что много занимается и собирается изучить три языка. Советует продать лес, назначенный ему по завещанию бабушки, Т. С. Гоголь-Яновской, с тем, чтобы вырученные деньги прислать ему в Нежин на покупку учебников.
В течение 1827 г. Гоголь написал идиллию "Ганц Кюхельгартен".
1828
Июня 23
Окончание "частных испытаний учеников по наукам" в Нежинской гимназии.
Июня 25 и 28
Публичные экзамены в Нежинской гимназии.
Июля 27
Гоголь окончил Нежинскую гимназию высших наук, получив право на чин 14-го класса в гражданской службе, т. е. коллежского регистратора (окончившие гимназию с отличием выпускались с правом на чин 12-го класса, т. е. губернского секретаря).
Конец июля - август
Гоголь живет в Васильевке
Августа 27 - сентября 2
Поездка Гоголя на ярмарку в Кременчуг для закупки припасов в связи с ожидавшимся приездом Д. П. Трощинского.
Сентября 8
Гоголь сообщает Петру П. Косяровскому, что в начале зимы отправится в Петербург и, возможно, за границу. Чтобы дать матери надлежащее материальное обеспечение, он составляет дарственную надпись, по которой часть имения, ему принадлежащую, с домом, садом, лесом и прудами оставляется матери в вечное владение. В тот же день Д. П. Трощинский пишет письмо в Петербург председателю Ученого комитета Морского министерства генерал-лейтенанту Л.И. Голенищеву-Кутузову, рекомендуя ему Гоголя.
Декабря 13
Гоголь вместе с А. С. Данилевским через Кибинцы выехал в Петербург.
Конец декабря

Гоголь вместе с А. С. Данилевским прибыл в Петербург и поселился на Гороховой улице в доме купца Галыбина. В 1828 г. Гоголь составил сборник выписок: "Из книги: Лествица, возводящая на небо".
1829
Января 3
Гоголь сообщает матери о приезде в Петербург и жалуется на дороговизну. Он пишет, что к Л. И. Голенищеву-Кутузову еще не заходил, так как тот был опасно болен, но собирается посетить его через день.
Январь - февраль
Гоголь и А.С. Данилевский переехали в дом аптекаря Трута на Екатерининском канале, у Кокушкина моста.
Февраль - март
Гоголь, решив посвятить себя литературе, делает неудачную попытку познакомиться с А. С. Пушкиным.
Февраля 22
Цензурное разрешение "Сына Отечества и Северного Архива" (т. 2, № 12), где анонимно публикуется стихотворение Гоголя "Италия" - первое опубликованное произведение писателя.
Февраля 26
Смерть Д. П. Трощинского.
Апрель
Гоголь переехал в дом каретника Иохима на Большой Мещанской.
Апрель 30
Гоголь просит мать прислать ему малороссийские комедии отца "Овца-собака" и "Роман с Параскою", а также написать ему об "обычаях и нравах малороссиян". Это связано с началом работы над "Вечерами на хуторе близ Диканьки".
Мая 22
Гоголь сообщает матери, что его надежды на заграничное путешествие не сбылись, но зато ему предлагают место с жалованьем в 1000 рублей в год, но он еще не принял решение, соглашаться ли на эту службу. В дополнение к сведениям об обычаях и поверьях малороссиян просил сообщить ему правила некоторых карточных игр.
Июня 4
Гоголь получил от матери письмо с подробным описанием украинской свадьбы, старинных материй и женских головных уборов.
Между 5 и 25 июня
Вышла в свет поэма "Ганц Кюхельгартен" (цензурное разрешение 7 мая 1829 г.).
Июнь
Гоголь посылает инкогнито свою поэму "Ганц Кюхельгартен" М. П. Погодину и П. А. Плетневу.
Конец июня
Вышел № 12 "Московского Телеграфа" с отрицательной рецензией Н. А. Полевого на "Ганца Кюхельгартена".
Июля 20
Вышел № 87 "Северной Пчелы" с анонимной отрицательной рецензией на "Ганца Кюхельгартена".
Июля 23
Гоголь особой доверенностью передал свою часть имения в полное распоряжение матери.
Июля 24
Гоголь сообщает матери о своем намерении уехать за границу, использовав для этого деньги, присланные ему для уплаты за имение, заложенное в Опекунский совет. Он пишет о какой-то таинственной красавице, встреча с которой будто бы вынуждает его "бежать от самого себя". Большинство исследователей сходятся во мнении, что красавица существовала только в воображении Гоголя и что действительной причиной "бегства от самого себя" был провал "Ганца Кюхельгартена".
Конец июля
Перед отъездом в Германию Гоголь забирает у книгопродавцев нераспроданные экземпляры "Ганца Кюхельгартена" и сжигает их.
Августа 13 н. ст.
Гоголь прибывает в Любек.
Августа 23 н. ст.
Гоголь посещает Травемюнде.
Августа 26 н. ст.
Гоголь возвращается в Любек.
Сентября 22
Гоголь через Гамбург возвращается в Петербург.
Сентябрь - октябрь
Гоголь предпринимает неудачную попытку поступить на сцену.
Сентябрь
Гоголь нанес визит Ф. В. Булгарину и вручил ему приветственные стихи и был рекомендован Булгариным на службу в канцелярию III Отделения е. и. в. Канцелярии. Гоголь служил там до начала ноября.
Ноября 15

Резолюция министра внутренних дел графа А. А. Закревского о зачислении Гоголя на испытание в Департамент государственного хозяйства и публичных зданий. В это время Гоголь живет по адресу: у Кукушкина моста, в доме Зверькова, комната № 16.
Конец декабря
В альманахе "Северные Цветы на 1830 год" публикуется положительный отзыв О. М. Сомова о "Ганце Кюхельгартене".
Конец декабря - январь 1830 г.
Гоголь пишет статью "Борис Годунов".
1830
Январь 5
Гоголь высылает матери чертежи для перестройки дома. Окна и двери в гостиной и спальне он предлагает сделать в "готическом виде", вставив туда цветные стекла.
Январь
Гоголь переводит с французского для "Сына Отечества и Северного Архива" статью "О торговле русских в конце XVI и начале XVII века". Перевод был оплачен, но не был напечатан.
Февраля 2
Гоголь просит мать собирать "старопечатные книги", "рукописи стародавние про времена гетманщины", спрашивает, нет ли у кого-либо из знакомых "записок, веденных предками какой-нибудь старинной фамилии".
Февраля 25
Гоголь подал прошение об увольнении из Департамента государственного хозяйства и публичных зданий.
Февраль - март
В февральской и мартовской книжках "Отечественных Записок" публикуется без указания автора повесть Гоголя "Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала".
Марта 27
Гоголь подает прошение вице-президенту Департамента уделов графу Л. А. Перовскому об определении на службу.
Апреля 10
Гоголь зачисляется канцелярским чиновником в Департамент уделов.
Июня 3
Указом Правительствующего Сената Гоголь утвержден в чине коллежского регистратора. В тот же день Гоголь сообщил матери о своих занятиях живописью в Академии художеств.
Июля 22
Гоголь назначен помощником столоначальника с жалованьем 750 рублей в год.
Декабря 18
Цензурное разрешение альманаха "Северные Цветы на 1831 год", где под псевдонимом ОООО напечатана "Глава из исторического романа" Гоголя "Гетьман". Там же напечатан положительный отзыв О. М. Сомова на повесть "Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала".
Декабрь
Гоголь знакомится с В. А. Жуковским,П. А. Плетневым и А. А. Дельвигом.
1831
Января 1
Вышел № 1 "Литературной газеты", где напечатана глава "Учитель" из повести "Страшный Кабан" (под псевдонимом "П. Глечик") и статья "Несколько слов о преподавании детям географии" (под псевдонимом "Г. Янов").
Января 16
Вышел № 4 "Литературной Газеты", где Гоголь под своим именем публикует статью "Женщина".
Февраля 6
Начальница Патриотического института Л. Ф. Вистингаузен по просьбе П. А. Плетнева ходатайствует об определении Гоголя преподавателем истории для младших классов с жалованьем 400 рублей в год.
Февраля 9
Императрица Александра Федоровна накладывает резолюцию о зачислении Гоголя младшим учителем истории в Патриотический институт.
Февраль
Благодаря рекомендации П. А. Плетнева Гоголь получает частные уроки в домах П. И. Балабина, Н. М. Лонгинова и князя А. В. Васильчикова.
Февраль 22
П. А. Плетнев рекомендует Гоголя в письме А. С. Пушкину.
Февраля 23
Гоголь подал прошение об увольнении из Департамента уделов.
Марта 9
Гоголь уволен из Департамента уделов.
Марта 10

Гоголь начал службу в Патриотическом институте младшим учителем истории.
Марта 22
Вышел № 17 "Литературной Газеты", где анонимно публикуется "Успех посольства" - отрывок из повести "Страшный Кабан".
Апреля 1
Гоголь назначен старшим учителем истории Патриотического института и утвержден в чине титулярного советника.
Мая 20
Гоголь на вечере у П. А. Плетнева знакомится с А. С. Пушкиным.
Мая 26
Цензурное разрешение первой части "Вечеров на хуторе близ Диканьки".
Конец июня - середина августа
Гоголь живет в Павловске у княгини А. В. Васильчиковой и дает уроки ее слабоумному от рождения сыну. Одновременно Гоголь работает над повестью "Заколдованное место". Он часто бывает в Царском Селе, где видится с В. А. Жуковским и А. С. Пушкиным.
Июль
Гоголь знакомится с А. О. Россет (в замужестве - Смирновой).
Августа 15
Гоголь возвращается из Павловска в Петербург, где поселяется в доме Брунста на Офицерской улице во 2-й Адмиралтейской части.
Начало сентября
Вышла в свет первая часть "Вечеров на хуторе близ Диканьки".
Сентября 19
Гоголь посылает матери первую часть "Вечеров на хуторе близ Диканьки" и просит собирать для него малороссийские сказки и песни.
Октября 9
Гоголь просит мать составить подробную роспись их долга в казну.
Октября 30
Гоголь просит мать поблагодарить А. М. Трощинскую за материальную помощь в уплате процентов за заложенное имение.
1832
Января 4
Гоголь пишет матери, что рад предстоящему замужеству сестры Марии.
Января 22
Гоголь обращается в Департамент уделов за служебным аттестатом.
Января 31
Цензурное разрешение второй части "Вечеров на хуторе близ Диканьки".
Февраля 19
Гоголь присутствует на обеде, данном книгоиздателем А. Ф. Смирдиным петербургским литераторам по случаю переноса его книжного магазина от Синего моста на Невский проспект. Вместе с другими Гоголь обязался написать статью для альманаха "Новоселье"
Начало марта
Вышла в свет вторая часть "Вечеров на хуторе близ Диканьки".
Марта 10
Гоголь послал матери на предстоящую свадьбу сестры Марии 500 рублей.
Апреля 24
Свадьба сестры Гоголя Марии и Павла Осиповича Трушковского.
Начало июня
Гоголь снял дачу у Поклонной горы.
Июня 13
Гоголь уволен в отпуск.
Около 30 июня
Гоголь прибыл в Москву по дороге в Васильевку. Он познакомился с М. П. Погодиным и беседовал с ним об истории Малороссии.
Июля 2
Гоголь через М. П. Погодина знакомится с семейством Аксаковых.
Начало июля
Гоголь познакомился с поэтом и вельможей И. И. Дмитриевым,М. Н. Загоскиным,М. С. Щепкиным.
Июля 7
Гоголь выехал из Москвы в Васильевку.
Около 20 июля
Гоголь прибыл в Васильевку.
Июля 20

В письме М. П. Погодину Гоголь жалуется на здоровье и сообщает, что имение расстроено и обременено долгами. Просит узнать, возможно ли второе издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки", так как первое издание полностью разошлось.
Сентября 29
Гоголь из Васильевки едет в Петербург вместе с сестрами Лизой и Анной, которых собирается определить в Патриотический институт.
Октября 18
Гоголь прибыл в Москву. Посетил М.Н. Загоскина и Аксаковых, познакомился с Киреевскими и О. М. Бодянским.
Октября 30
Гоголь возвращается в Петербург и поселяется в Новом переулке 2-й Адмиралтейской части, в доме Демут-Малиновского.
Конец октября
За трехмесячное опоздание из отпуска у Гоголя из жалованья удержано 200 рублей.
Ноября 13
Начальница Патриотического института делает представление о том, чтобы сестры Гоголя были приняты в институт за счет его жалованья.
Ноябрь
Гоголь видится с А. С. Пушкиным.
Декабря 3
Гоголь сообщает матери, что был в Опекунском совете по делу об уплате процентов за заложенную Васильевку: "Вам нечего слишком беспокоиться: вам дано будет знать через Губернское правление, что Опекунский совет требует и напоминает вам о процентах и тогда (ежели вы соберетесь внесть) губернатор может о вас дать удостоверение, что вы, точно, по случаю неурожая и проч. тому подобного, не имеете возможности и просите отсрочки, и вас оставят на время, вами положенное, в покое. Впрочем, до требования продлится наверное месяц еще, и потому вы, верно, успеете отправить заранее и тем избежите хлопот - ездить к губернатору просить свидетельства".
Декабря 5
Резолюция императрицы Александры Федоровны о зачислении сестер Гоголя в Патриотический институт.
Декабря 8
П. А. Плетнев извещает В. А. Жуковского, что у Гоголя "вертится на уме комедия" (имеется в виду так и не оконченный "Владимир 3-ей степени").
Конец года
Гоголь начинает статью "Взгляд на составление Малороссии" и повесть "Старосветские помещики".
1833
Февраля 1
Гоголь сообщает М. П. Погодину, что работает над всеобщей историей и всеобщей географией в трех или двух томах и что А. Ф. Смирдин напечатал полтораста экземпляров первой книги "Вечеров на хуторе близ Диканьки", так как вторую книгу у него без первой не покупали.
Февраля 20
Гоголь пишет М. П. Погодину о замысле комедии "Владимир 3-ей степени" и выражает опасение, что эту комедию может не пропустить цензура.
Март
Вместе с князем В. Ф. Одоевским и А. С. Пушкиным Гоголь задумывает издать сборник "Тройчатка, или Альманах в три этажа".
Июнь - август
Гоголь живет в Петергофе и на даче в Стрельне.
Июль - декабрь
Гоголь пишет главы романа "Гетьман".
Июля 4
Гоголь извещает мать о своем переезде на новую квартиру по адресу:Малая Морская, дом Лепеня, № 97.
Сентября 29
Гоголь пишет М.П. Погодину, что испытывает длительный творческий кризис, и просит извиниться от его имени перед М. А. Максимовичем,что не может ничего дать в его альманах.
Октябрь
Гоголю возвращены из Патриотического института 200 рублей денег, удержанных ранее за просрочку отпуска в 1832 г.
Начало ноября
Гоголь получил от сес
тры Марии "старинную тетрадь с песнями".
Ноября 9
Гоголь пишет М. А. Максимовичу о своем творческом кризисе и о том, что в альманах "Денница" послать ему пока нечего. Сообщает, что начал работу над историей Украины. Просит прислать ему новые песни,

собранные Максимовичем, и в свою очередь обещает прислать ему около двухсот песен.
Декабря 2
Гоголь читает А. С. Пушкину "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем".
Между 20 и 31 декабря
Гоголь пишет М. А. Максимовичу о своем желании переехать в Киев и занять кафедру всеобщей истории в Киевском университете Святого Владимира.
Декабря 23
Гоголь пишет А. С. Пушкину, что составил план преподавания всеобщей истории, чтобы подтвердить свое ходатайство о кафедре в Киевском университете. Сообщает, что собирается кончить в Киеве историю Украины и юга России и написать всеобщую историю, а также о том, что достал летопись об Украине конца XVII века.
Декабря 31
Гоголь пишет лирическое воззвание к Ангелу Хранителю и к 1834 году "Будь и ты моим хранителем".
Конец года
Гоголь начинает рабо
ту над повестью "Тарас Бульба".
1834
Января 11
Гоголь пишет М. П. Погодину о работе над всемирной историей и историей Малороссии.
Январь - февраль
В "Северной пчеле" (№ 34, 30 января), в "Московском Телеграфе" (№ 3, цензурное разрешение 10 февраля) и "Молве" (№ 8, цензурное разрешение 23 февраля) Гоголь печатает "Объявление об издании Истории Малороссии".
Февраль
В февральской книжке "Журнала Министерства Народного Просвещения" напечатана статья Гоголя "План преподавания всеобщей истории".
Февраля 12
Гоголь пишет М. А. Максимовичу, что хотел бы уехать в Киев, и жалуется, что нигде не может достать книги И. И. Срезневского "Запорожская Старина" и галицких летописей. Просит прислать ему списки имеющихся у Максимовича песен, чтобы потом послать ему свои записи песен.
Февраля 27
Цензура запрещает "Кровавого бандуриста", предназначавшегося для "Библиотеки для Чтения".
Начало марта
Гоголь избирается в действительные члены Общества любителей российской словесности при Московском университете.
Марта 9
За труды по Патриотическому институту императрица Александра Федоровна жалует Гоголя бриллиантовым перстнем.
Апрель
В апрельской книжке "Журнала Министерства Народного Просвещения" напечатаны гоголевские статьи "Взгляд на составление Малороссии" и "О малороссийских песнях".
Апреля 4
Гоголь посетил министра народного просвещения С. С. Уварова и ходатайствовал о переводе М. А Максимовича в Киев.
Апреля 7
А. С. Пушкин записывает в дневнике: "Гоголь по моему совету начал Историю русской критики".
Апреля 14
Гоголь у П. А. Плетнева встретился с цензором А. В. Никитенко и попенял ему по поводу цензурных изъятий в "Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем".
Апреля 20
Гоголь просит М. А. Максимовича похлопотать за него у попечителя Киевского учебного округа Е. Ф. Брадке об устройстве на кафедру всеобщей истории в Киевский университет.
Мая 3
А. С. Пушкин записал в дневнике:"Гоголь читал у Дашкова свою комедию". Вероятно, имелись в виду "Женихи" - ранняя редакция "Женитьбы", где действие происходит в провинции.
Май
Гоголь сообщает цензору "Ж
урнала Министерства Народного Просвещения" К. С. Сербиновичу, что С. С. Уваров дал ему тему для новой статьи - "О средних веках".
Июня 23
Гоголь отказался от предложения М. П. Погодина просить место адъюнкта в Московском университете.
Начало июля
Гоголь завершает статью "О средних веках" и задумывает сборник "Арабески". Начинает работу над

статьями "Об архитектуре нынешнего времени" и "Несколько слов о Пушкине".
Около 5 июля
Гоголь подает прошение о поступлении на службу в Петербургский университет.
Июля 24
Гоголь принят в Петербургский университет адъюнкт-профессором кафедры всеобщей истории.
Августа 23
Гоголь просит М. А. Макс
имовича сообщить ему, какая литература по истории Украины имеется в библиотеке Киевского университета и в киевских монастырях.
Сентябрь
Гоголь заканчивает повести "Невский проспект","Портрет" и "Записки сумасшедшего" и статьи "Скульптура, живопись и музыка" и "Картина Брюллова" ("Последний день Помпеи"). Читает первую свою лекцию в Петербургском университете - "О средних веках".
Сентября 29
Гоголь благодарит К. С. Сербиновича за присылку корректуры статьи "О средних веках. Вступительная лекция, читанная в С.-Петербургском университете адъюнкт-профессором Н. Гоголем". Статья была напечатана в "Журнале Министерства Народного Просвещения" (1834, № 9, Сентябрь).
Сентябрь - октябрь
Гоголь читает лекцию "О движении народов в конце V века" и завершает статью "Шлецер, Миллер и Гердер".
Октябрь
Вышел в свет сентябрьский номер "Журнала Министерства Народного Просвещения" со статьей "О средних веках". Гоголь читатет лекцию об Ал-Мамуне в присутствии В. А. Жуковского и А. С. Пушкина. Завершает статьи "О движении народов в конце V века" и "Жизнь".
Ноября 2
Гоголь советует М. П. Погодину сделать новый журнал ("Московский Наблюдатель") дешевым и массовым.
Ноября 6
Гоголь сообщает матери, что после нового года получит деньги за сборники "Арабески" и "Миргород" и поможет с уплатой долгов.
Ноября 10
Цензурное разрешение "Арабесок" и второго издания "Вечеров на хуторе близ Диканьки".
Декабря 14
Гоголь пишет М. П. Погодину, что читает теперь в университете также и древнюю историю, но не встречает ни сочувствия, ни отзыва на свои лекции. Просит прислать погодинские лекции по древней истории.
Декабря 15
Гоголь просит мать не тужить напрасно о сделанных долгах, которые были вынуждены неурожаями в 1832-1834 годах. Сожалеет,что не может так скоро, как хотел, сделать план для иконостаса церкви в Васильевке.
Декабря 29
Цензурное разрешение "Миргорода".
1835
Начало января
Гоголь пишет А.С. Пушкину, что цензура задержала "Записки сумасшедшего", и ему пришлось пожертвовать лучшими местами. Посылает Пушкину предисловие к "Арабескам" и просит при необходимости внести туда поправки.
Около 20 января
Вышел в свет сборник "Арабески".
Около 22 января
Гоголь сообщает А. С. Пушкину, что болен, и просит, чтобы тот навестил его. Посылает Пушкину два экземпляра "Арабесок" и на одном из них просит исправить замеченные ошибки, если таковые окажутся.
Января 31
Гоголь пишет М. П. Погодину, что раньше чем к третьей книжке "Московского Наблюдателя" не сможет прислать свою повесть ("Нос"), так как все еще болен.
Февраля 21
Вышел в свет "Миргород".
Около 21 февраля
Гоголь имел объяснение с попечителем Санкт-Петербургского учебного округа князем В. А. Дондуковым-Корсаковым в связи с неблагоприятной молвой, распространяемой о его лекциях.
Февраля после 20 - первая половина марта. Гоголь читал находившемуся в Петербурге М. П. Погодину отрывки из своих комедий "Владимир 3-ей степени" и "Провинциальный жених" (будущая "Женитьба").
Марта 18
Гоголь посылает М. П. Пого
дину повесть "Нос" для "Московского Наблюдателя". Редакцией журнала она была отвергнута.
Апреля 12

Гоголь пишет матери, что хлопотал о перезаложении в ломбард имения и что собирается сам заняться хозяйством.
Апреля 22
Запрос попечителя Санкт-Петербургского учебного округа князя В. А. Дондукова ректору университета А. А. Дегурову о причинах неявки на лекции ряда профессоров, в том числе Гоголя.
Апреля 23
Патриотический институт дает Гоголю отпуск на четыре месяца в Кавказскую губернию для поправления здоровья.
Апреля 23-24
Гоголь хлопочет о четырехмесячном отпуске из Петербургского университета.
Между 23 и 25 апреля
Гоголь объясняется с ректором Санкт-Петербургского университета по поводу своей неявки на лекции.
Апреля 26
Гоголь выехал из Петербурга в Васильевку.
Мая 1-2
Гоголь проездом был в Москве.
Мая 4
Гоголь у М. П. Погодина читает "Женитьбу".
Первая половина мая
Гоголь впервые встречается у С. Т. Аксакова с В. Г. Белинским.
Около 18 мая
Гоголь прибывает в Васильевку.
Мая 24
Гоголь пишет Н. Я. Прокоповичу, что никак не может определиться, куда ехать - в Крым или на Кавказ. Просит забрать на его петербургской квартире "Историю аглинскую" Рапина де Тоараса и прислать ее в Васильевку. Гоголь использовал ее во время работы над драмой "Альфред".
Июня 25
Начальница Патриотического института Л. Ф. Вистингаузен сделала представление об увольнении Гоголя, поскольку он, "будучи одержим болезнью, может пробыть в отпуске весьма долгое время и тем поставить институт в затруднение".
Июнь - начало июля
Гоголь в Крыму.
Июля 15
Гоголь пишет В. А. Жуковскому, что получил известие из Петербурга, что на его место в Патриотическом институте хотят назначить другого, и просит заступиться за него перед императрицей.
Около 10 августа
Гоголь выехал из Васильевки в Петербург.
Августа 13
Гоголь вместе с А. С. Данилевским заезжает в Киев к М. А. Максимовичу. Они совершают длительные прогулки по городу.
Августа 18
Гоголь выехал из Киева в Петербург.
Конец августа
Гоголь прибыл в Москву. Читает "Женитьбу" у И. И. Дмитриева. Знакомится с П.В. Нащокиным.
Сентября 1
Гоголь возвращается
в Петербург.
Октябрь
Гоголь работает над драмой "Альфред".
Октября 7
Гоголь просит А. С. Пушкина вернуть ему текст "Женитьбы", так как он хочет дать читать пьесу актерам. Сообщает, что начал писать "Мертвые души", и просит дать сюжет для комедии. Жалуется, что "Арабески" и "Миргород" плохо раскупаются.
Ноября 19
Гоголь пишет матери, что хлопочет об устройстве сестры Ольги в Патриотический институт, но мало надеется на успех.
Декабря 4
Гоголь заканчивает комедию "Ревизор".
Декабря 6
Гоголь пишет М. П. Погодину о своем уходе из университета: "Неузнанный я взошел на кафедру и неузнанный схожу с нее". Сообщает, что закончил "Ревизора" и собирается дать его на театр, отказавшись от намерения ставить "Женитьбу".
Декабря 31

Гоголя увольняют от должности адъюнкта по кафедре истории "по случаю преобразования С.-Петербургского университета".
1836
Январь
Поступило в продажу второе издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки".
Января 18
Гоголь читает "Ревизора" у В. А. Жуковского.
Марта 2
Гоголь посылает А. С. Пушкину для представления в цензуру сцену "Утро чиновника".
Марта 3
Заседание Санкт-Петербургского цензурного комитета, на котором рассматривались "Коляска" и "Утро чиновника". В "Коляске" было предложено сделать ряд купюр и исправлений.
Марта 10
Обсуждение в цензуре статьи "Москва и Петербург".
Марта 13
Цензурное разрешение "Ревизора".
Марта 31
Цензурное разрешение первой книги "Современника", где публикуются "Коляска", "Утро делового человека" (так цензура изменило название "Утро чиновника"), статья "О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году" и несколько гоголевских рецензий. Здесь же помещен пушкинский отзыв о втором издании "Вечеров на хуторе близ Диканьки".
Апреля 4
Гоголь читает у В. А. Жуковского повесть "Нос".
Апреля 11
Выход в свет первой книги "Современника".
Апреля 19
Первое представление "Ревизора" в Александринском театре. На спектакле присутствовал император Николай I.
Апреля 25
По высочайшему повелению актерам И. И. Сосницкому и Н. О. Дюру за исполнение ролей Городничего и Хлестакова выданы в подарок табакерки стоимостью по 800 рублей каждая, а исполнителю роли Осипа А. Н. Афанасьеву - табакерка стоимостью в 700 рублей.
Апрель 29
Министр императорского двора князь П. М. Волконский предложил кабинету изыскать "вещь в 800 рублей" для подарка Гоголю за поднесенный императору экземпляр "Ревизора". В тот же день Гоголь сообщил М. С. Щепкину, что переделал "Женитьбу" и предназначает эту пьесу в его и И. И. Сосницкого бенефис. Упоминает о намерении через полтора месяца уехать за границу.
Конец апреля
Гоголь пишет статью "Петербургская сцена в 1835-36 г." и начинает работу над "Театральным разъездом".
Мая 10
Гоголь передает М. С. Щепкину руководство постановкой "Ревизора" в Москве.
Мая 12
Гоголь пишет матери,что собирается пробыть за границей год-полтора на водах в Австрии и Южной Германии, а затем в Италии и Швейцарии, а затем вернется через Москву в Малороссию.
Мая 20
В Полтавском приказе общественного призрения сделан займ на имя Гоголя и его сестры Марии в размере 6150 рублей.
Мая 25
Премьера "Ревизора" на сцене Малого театра.
Июня 6
Гоголь вместе с А. С. Данилевским выехал в заграничное путешествие. Провожавший Гоголя князь П. А. Вяземский снабдил его рекомендательными письмами.
Июня 28 н. ст.
Гоголь прибыл в Гамбург.
Июня 30 н. ст.
Гоголь выехал из Гамбурга.
Июля 11 н. ст.
Гоголь через Бремен, Оснабрюк и Дюссельдорф прибыл в Ахен.
Вторая половина июля н. ст.
Гоголь приехал в Кельн, откуда совершил двухдневное путешествие на пароходе по Рейну до Майнца, откуда дилижансом приехал во Франкфурт-на-Майне.
Июля 26 н. ст.
Гоголь отбыл из Франкфурта в Баден-Баден.

Конец июля - первая половина августа н. ст. Гоголь живет в Баден-Бадене. Читает Репниным и Балабиным "Ревизора" и"Записки сумасшедшего".
Августа 20 н. ст.
Гоголь приехал в Женеву.
Августа 23 н. ст.
Гоголь сообщает матери, что посетил Берн, Базель и Лозанну. В Берне он посетил российского посланника в Швейцарии Д. П. Северина и в его доме познакомился с А. С. Стурдзой.
Сентября 27 н. ст.
Гоголь посещает имение Вольтера Ферней.
Октября 23 н. ст.
Гоголь пишет А. С. Данилевскому, что собирается ехать к нему в Париж. Сообщает, что более месяца жил в Женеве и чуть менее месяца - в Веве, где продолжал работу над "Мертвыми душами".
Начало ноября н. ст.
Гоголь прибывает в Париж, где продолжает писать "Мертвые души".
Ноябрь - декабрь н. ст.
Гоголь в Париже встречается с А. Мицкевичем, Б. Залесским, А. О. Смирновой. У француза Ноэля Гоголь берет уроки французского языка. Снимает квартиру на Place de la Bourse.
1837
Январь - февраль н. ст.
Гоголь встречается в Париже с Н. И. Тургеневым.
Января 15 н. ст.
Гоголь присутствует в Comedie Francais на спектакле в честь 215-й годовщины со дня рождения Мольера.
Февраля 15 н. ст.
Гоголь сообщает матери,что побывал в Версале.
Марта 26 н. ст.
Гоголь приехал в Рим вместе с И. Ф. Золотаревым и поселился на Via Isidore, 17.
Конец марта н. ст.
Гоголь посещает Геную и Флоренцию.
Апреля 18 н. ст.
Гоголь отправляет В. А. Жуковскому письмо на имя императора с просьбой выдать ему денежное пособие для жизни в Италии.
Апреля 28 н. ст.
Гоголь в церкви встречается с А. Н. Карамзиным.
Мая 20 н. ст.
Гоголь с А. Н. Карамзиным, М. П. Балабиной и княгиней Е. П. Репниной осматривают Колизей при лунном свете.
Июня 3 н. ст.
Гоголь просит Н. Я. Прокоповича прислать ему выписки и материалы для работы над "Мертвыми душами" и драмой из истории Запорожья.
Июня 15 н. ст.
Гоголь проездом из Рима в Баден прибывает в Турин.
Июня 16 н. ст.
Гоголь прибывает в Баден, откуда отправляется в Швейцарию.
Вторая половина июня - первая половина июля н. ст. Гоголь в Швейцарии
Июля 16 н. ст.
Гоголь из Женевы прибывает в Баден. Пишет В. О. Балабиной, что у А. О. Смирновой прочел "Ундину" В. А. Жуковского, которая ему очень понравилась: "Чудо что за прелесть!"
Июля 21 н. ст.
Гоголь просит Н. Я. Прокоповича прислать ему полторы тысячи рублей.
Начало августа н. ст.
Гоголь вместе с А. О. Смирновой и ее братом А. О. Россетом ездил из Бадена на три дня в Страсбург.
Августа 14 н. ст.
Гоголь в Бадене у Смирновых читает первые главы "Мертвых душ" А.Н. Карамзину, графу Л. А. Соллогубу, В. П. Платонову и графу А. М. Борху.
Конец августа
Гоголь проводил Смирновых доКарлсруэ и возвратился в Баден.
Сентября 1 н. ст.
Гоголь приезжает во Франкфурт. Посетил русского посланника П. Я. Убри, где встретился с А. И. Тургеневым.
Сентября 3 н. ст.
Гоголь выехал из Франкфурта в Женеву.
Начало сентября н. ст.
Гоголь в Женеве получил от П. А. Плетнева тысячу рублей.

Сентября 19 н. ст.
Гоголь пишет Н. Я. Прокоповичу, что из-за безденежья собирается продать свою петербургскую библиотеку и просит предложить ее князю В. Ф. Одоевскому, а вырученные деньги прислать ему.
Вторая половина октября н. ст.
Гоголь прибыл в Рим.
Октября 30 н. ст.
Гоголь пишет В. А. Жуковскому, что получил пособие в 5 тыс. рублей от императора и благодарит Жуковского за хлопоты о нем перед Государем. Пишет, что продолжает работать над "Мертвыми душами".
Ноября 2 н. ст.
Гоголь пишет П. А. Плетневу, что на полученное от императора пособие сможет прожить в Италии еще не менее полутора лет. В письме к Н. Я. Прокоповичу он просит выслать ему рукописи, оставленные в Петербурге, а также все, что вышло по русской истории и славянским древностям.
Ноября 24 н. ст.
Гоголь прибывает в Милан.
Ноября 25 н. ст.
Гоголь выезжает из Милана во Флоренцию.
Конец ноября н. ст.
Гоголь приезжает в Рим.
Декабря 22 н. ст.
Гоголь пишет матери, что в Россию скоро возвратиться не сможет, так как еще не восстановил здоровье. Рекомендует поместить сестру Ольгу в Патриотический институт.
1838
Февраля 2 н. ст.
Гоголь описывает А. С. Данилевскому римский карнавал. Просит адресовать ему письма на квартиру по адресу: Strada Felice, № 126.
Март - апрель н. ст.
Гоголь в Риме на вилле княгини З. А. Волконской встречается с польскими ксендзами П. Семененко и И. Кайсевичем, пытавшимися обратить его в католичество. Через Волконскую Гоголь знакомится с итальянским поэтом Дж. Белли.
Апреля 23 н. ст.
Гоголь просит А. С. Данилевского достать третью и четвертую книжки "Современника" за 1837 г. или переписать оттуда "Египетские ночи" А. С. Пушкина и "Галуб" М. Ю. Лермонтова. Просит также купить для него новую поэму А. Мицкевича "Пан Тадеуш" и первый том из двухтомника У. Шекспира.
Июня 30 н. ст.
Гоголь описывает сестрам Анне и Елизавете праздник цветов fiorata в деревне Дженсано, близ Рима. Сообщает, что через неделю поедет в Неаполь, где собирается пробыть около двух месяцев.
Начало июля - август н. ст.
Гоголь в Неаполе и Кастелламаре.
Вторая половина июля н. ст.
Гоголь посещает о. Капри.
Августа 14 н. ст.
Гоголь сообщает М. П. Погодину, что работает над "Мертвыми душами", и просит прислать вексель на 2 тыс. рублей.
Августа 28 н. ст.
Гоголь прибывает в Ливорно.
Конец августа - первая половина сентября н. ст. Гоголь приезжает в Париж.
Сентября 20 н. ст.
Гоголь благодарит княжну В. Н. Репнину за помощь в получении поручительства перед банкиром Валентини. Пишет, что не задержится в Париже больше недели.
Октября 13 н. ст.
Гоголь приезжает в Геную.
Октября 27 н. ст.
Гоголь прибывает в Рим.
Декабря 18 н. ст.
Гоголь присутствовал на обеде, данном цесаревичем Александром по случаю приезда в Рим. Вместе с наследником прибыл и его воспитатель В. А. Жуковский.
Декабря 19 н. ст.
Гоголь с В. А. Жуковским осматривают достопримечательности Рима. Вечером на вилле княгини З. А. Волконской они встречаются с С. П. Шевыревым.
Декабря 20 н. ст.
Гоголь встречается с графом И. М. Виельгорским.
Декабря 21 н. ст.
Гоголь и В. А. Жуковский посети

ли мастерскую датского скульптора Бертеля Торвальдсена.
Декабря 22 н. ст.
Гоголь и В. А. Жуковский навещают художника А. А. Иванова.
Конец декабря н. ст.
Гоголь получил посылку от Н. Я. Прокоповича со своими рукописными книгами - материалами по истории и сборниками народных песен.
1839
Января 18 н. ст.
Гоголь читал В. А. Жуковскому главу из "Мертвых душ".
Января 30 н. ст.
Гоголь устроил обед В. А. Жуковскому, графу М. Ю. Виельгорскому и С. П. Шевыреву в трактире Фалькони по случаю мнимого своего дня рождения. Шевырев прочел посвященные Гоголю стихи: "Что ж дремлешь ты? - Смотри перед тобой..."
Февраля 17 н. ст.
Отъезд В. А. Жуковского из Рима.
Марта 8 н. ст.
В Рим приехал М. П. Погодин с женой и остановился у Гоголя.
Марта 25 н. ст.
Гоголь водил М. П. Погодина и С. П. Шевырева в мастерскую А. А. Иванова.
Апреля 9-18 н. ст.
М. П. Погодин и С. П. Шевы
рев отправились из Рима в Неаполь. Гоголь провожал их до Чивита-Веккиа.
Апрель - май н. ст.
Гоголь ухаживает за умирающим от чахотки графом И. М. Виельгорским.
Мая 5 н. ст.
Гоголь пишет М. П. Погодину в Париж, что получил от чешского слависта П. И. Шафарика его работу "Старожитности" и что изучает сейчас фольклорные сборники И. М. Снегирева и И. П. Сахарова.
Июня 2 н. ст.
Смерть графа И. М. Виельгорского. Гоголь прочел ему отходную молитву.
Июнь н. ст.
Гоголь вместе с графом М. Ю. Виельгорским совершает путешествие морем из Италии в Марсель для встречи с графиней Л. К. Виельгорской, матерью И. М. Виельгорского. На пароходе Гоголь знакомится с французским поэтом и критиком Ш. О. Сент-Бёвом.
Июня 30 н. ст.
По дороге в Мариенбад Гоголь останавливается в Ганау, где знакомится с Н. М. и П. М. Языковыми.
Июль - первая половина августа н. ст.
Гоголь и М. П. Погодин живут в Мариенбаде в одной комнате. Гоголь знакомится с Д. Е. Бенардаки и расспрашивает его"о разных исках".
Августа 8 н. ст.
М. П. Погодин уезжает из Мариенбада в Мюнхен, а затем в Швейцарию и Италию, условившись с Гоголем встретиться в Вене.
Августа 24 н. ст.
Гоголь приехал в Вену.
Августа 25 н. ст.
Гоголь пишет С. П. Шевыреву о замысле драмы из истории Запорожья.
Сентября 19 н. ст.
В Вену приезжает М. П. Погодин.
Сентября 22 н. ст.
Гоголь и М. П. Погодин выехали из Вены в Россию.
Сентября 25 н. ст.
Гоголь в Кракове.
Сентября 28 н. ст.
Гоголь прибыл в Варшаву. Сообщает В. А. Жуковскому, что на выпуск сестер из Патриотического института и выплату долгов ему требуется около 5 тыс. рублей, и просит похлопотать за него перед императрицей.
Сентября 17
Гоголь в Белостоке.
Сентября 26
Гоголь и М. П. Погодин приехали в Москву. Гоголь остановился у Погодина.
Сентября 27
Гоголь встретился с М. С. Щепкиным у М. П. Погодина.
Конец сентября
Гоголь три дня гостит у М. С. Щепкина в Волынском.

Конец сентября
Встреча Гоголя с К. С. Аксаковым.
Октябрь
Гоголь у Елагиных читает В. А. Жуковскому свои произведения.
До 21 октября
Гоголь у Аксаковых дважды встречался с В. Г. Белинским.
Октября 10
Гоголь вместе с М. С. Щепкиным посещают И. И. Срезневского. Говорят об украинской истории, читают украинские песни, баллады и думы. Гоголь обещает держать корректуру второй книги "Украинского Сборника" с "малороссийской оперой" "Москаль-Чаривник" И. П. Котляревского (вышел в свет в 1841 г.).
Октября 14
Гоголь читал у Аксаковых комедию "Тяжба" и первую главу "Мертвых душ". На чтении присутствовали П. В. Нащокин, И. И. Панаев, М. С. Щепкин.
Октября 17
Гоголь впервые смотрит "Ревизора" в Малом театре. Не дожидаясь конца спектакля, он уехал к историку А. Д. Черткову.
Вторая половина октября
Гоголь в письме М. Н. Загоскину объясняет свой отъезд из театра внезапно полученными известиями о болезни матери и просит оправдать его перед публикой.
Октябрь 21
Постановка "Ревизора" в Училище правоведения.
Октября 24
Гоголь пишет матери письмо из Москвы с пометой "Вена", сообщает, что выезжает в Россию.
Октября 26
Гоголь с Аксаковыми выехал из Москвы в Петербург.
Октября 30
Гоголь прибыл в Петербург и остановился у П. А. Плетнева.
Ноября 1
Гоголь посетил В. А. Жуковского в Царском Селе.
До 22 ноября
Гоголь дважды встречался с В. Г. Белинским, второй раз - на обеде у князя В.Ф. Одоевского.
Ноября 14-15
Гоголь переехал от П. А. Плетнева на квартиру В. А. Жуковского.
Ноября 16
С. Т. Аксаков дал Гоголю взаймы две тысячи рублей.
Ноября 18
Гоголь взял сестер из Патриотического института и поместил их у Балабиных.
Ноябрь - первая половина декабря
Гоголь у Н. Я. Прокоповича читал первые четыре главы "Мертвых душ".
Декабря 4
Гоголь читал "Мертвые души" у В. А. Жуковского.
Декабря 5
Гоголь у Валуевых читал первые главы "Мертвых душ".
Декабря 11
Гоголь у Карамзиных читал "Мертвые души".
Декабря 17
Гоголь с сестрами и Аксаковыми выехал из Петербурга в Москву.
Декабря 21
Гоголь с сестрами прибыл в Москву и остановился у М. П. Погодина.
Декабря 23 - января 2
Гоголь читает у Аксаковых четвертую главу "Мертвых душ".
Декабря 29
Гоголь пишет А. С. Данилевскому о намерении устроить сестер в Москве.
Декабрь
Гоголь работает над переводом комедии Мольера "Сганарель, или Муж, думающий, что он обманут женою".
1840
Январь
Встреча Гоголя с композитором А. Н. Верстовским, собиравшимся писать оперу "Страшная месть".
Январь - апреля до 17
Гоголь читает первые главы "Мертвых душ" у И. В. Киреевского.
Января после 11
Гоголь получает от В. А. Жуковского 4 тыс. рублей.

Февраля 4
Гоголь читает у Аксаковых начало повести "Аннунциата" ("Рим").
Февраля 12
Гоголь посещает вечер у П. Я. Чаадаева.
Февраля 16
Гоголь у Свербеевых. Присутствовали также А. И. Тургенев, А. С. Хомяков, Н. Ф. Павлов, И. В. Киреевский.
Февраль 19
Гоголь читал "Аннунциату" у Киреевских в присутствии Т. Н. Грановского.
Марта 4
Гоголь читал "Аннунциату" Аксаковым.
Марта 6
Гоголь читал у Аксаковых четвертую главу "Мертвых душ".
Марта 7
Гоголь пишет П. А. Плетневу о затруднениях с получением заграничного паспорта и просит выслать ему свидетельство о службе в Петербургском университете.
Марта 8
Гоголь читает у Аксаковых "Тяжбу".
Марта 9
Гоголь читал Аксаковым пятую главу "Мертвых душ".
Марта 11
Гоголь и А. С. Хомяков посетили А. И. Тургенева.
Начало апреля
Приезд в Москву матери Гоголя с дочерью Ольгой. Они остановились у М. П. Погодина.
Апреля 17
Гоголь читает у Аксаковых перед пасхальной заутреней шестую главу "Мертвых душ".
Апреля 27
М. И. Гоголь с дочерью Ольгой выехали из Москвы в Васильевку.
Мая 3
Гоголь сообщает матери,что сестра Елизавета устроена в пансионе П. И. Раевской.
Мая 9
Гоголь устраивает в саду М. П. Погодина свой именинный обед. После обеда М. Ю. Лермонтов читал собравшимся "Мцыри".
Мая 13
Гоголь был на вечере у П. Я. Чаадаева.
Мая 18
Гоголь вместе с В. А. Пановым выехал из Москвы в Италию. До станции Перхушково его провожали С. Т. и К. С. Аксаковы, М. С. и Д. М. Щепкины, М. П. Погодин и его зять М. И. Мессинг. Гоголь обещает вернуться через год и привезти первый том "Мертвых душ" готовым для печати.
Мая 24
Гоголь и В. А. Панов прибыли в Брест.
Июня 10 н. ст.
Гоголь с В. А. Пановым прибыли в Варшаву. Гоголь дает поручение К. С. Аксакову, который летом собирается приехать в Италию, привезти ему миниатюрные издания "Евгения Онегина", "Горя от ума", басен И. И. Дмитриева, а также "Песни русского народа И. П. Сахарова. Просит также достать ему "каких-нибудь докладных записок и дел".
Июня 12 н. ст.
Гоголь и В. А. Панов выехали из Варшавы в Вену через Краков.
Июня 14 н. ст.
Гоголь и В. А. Панов прибыли в Краков.
Июня 17 н. ст.
Гоголь прибыл в Вену.
Июня 25 н. ст.
Гоголь пишет матери,что пробудет в Вене около месяца, чтобы попробовать новооткрытых вод. Он пишет П. А. Плетневу, что послал письмо В. А. Жуковскому с просьбой содействовать в получении места секретаря в русской Академии художеств в Риме и просит Плетнева о том же.
Июль - август н. ст.
Гоголь в Вене работает над драмой из истории Запорожья, перерабатывает повесть "Тарас Бульба", принимает участие в переводе для М.С. Щепкина комедии Джованни Жиро "Дядька в затруднительном положении".
Июль н. ст.
Гоголь и Д. М. Княжевич странствуют по Далмации.
Сентября 2 н. ст.

Гоголь с Н. П. Боткиным прибыл в Венецию, где встретился с только что приехавшим туда В. А. Пановым.
Сентября 25 н. ст.
Гоголь с Н. П. Боткиным и В. А. Пановым приехал в Рим и поселился по адресу: Via Felice, № 126.
Октябрь - декабрь н. ст.
Гоголь знакомится с Ф. И. Буслаевым.
В. А. Панов переписывает набело первые пять глав "Мертвых душ". Буслаев передает Гоголю сборник произведений старинных итальянских поэтов, включающий в себя стихи Франциска Ассизского.
Октября 30 н. ст.
Гоголь спрашивает П. А. Плетнева,можно ли ему надеяться на место в Риме. Сообщает, что был опасно болен, и спасло его лишь трехдневное путешествие. Пишет, что начал драму из истории Запорожья.
Ноября 11 н. ст.
Гоголь читает В. А. Панову начало драмы из истории Запорожья.
Осень
Гоголь работает над переводом комедии итальянского драматурга Дж. Жиро "Дядька в затруднительном положении".
Декабря 28 н. ст.
Гоголь пишет С. Т. Аксакову, что готовит к печати первый том "Мертвых душ". Обещает прислать поправки и приложения ко второму изданию "Ревизора".
1841
Января 7 н. ст.
Гоголь в письме В. И. Григоровичу благодарит Общество поощрения художеств за избрание его в члены-корреспонденты и выражает сожаление, что не имеет возможности участвовать в его занятиях.
Февраля 14 н. ст.
Гоголь на вилле княгини З. А. Волконской читает "Ревизора" в пользу художника И.С. Шаповалова.
Марта 17 н. ст.
Гоголь высылает С. Т. Аксакову ранее обещанные поправки и приложения к "Ревизору". Просит сделать для него заем, который обещает выплатить в начале следующего года. Пишет, что в начале осени собирается быть в Москве.
Апреля 28 н. ст.
В Рим прибыл П. В. Анненков.
Апреля 29 н. ст.
П. В. Анненков встретился с Гоголем и поселился с ним в одной квартире, в комнате, где прежде жил В. А. Панов.
Май - июнь н. ст.
П. В. Анненков под диктовку Гоголя переписывает шесть глав "Мертвых душ".
Июля 26 (августа 7 н. ст.)
Цензурное разрешение второго издания "Ревизора".
Середина августа н. ст.
Гоголь выехал из Рима во Флоренцию, а оттуда - в Геную.
Вторая половина августа н. ст.
Гоголь прибыл в Дюссельдорф и, не застав там В. А. Жуковского, проехал для встречи с ним во Франкфурт.
Начало сентября н. ст.
Гоголь прибыл во Франкфурт. Здесь он читал В. А. Жуковскому драму из истории Запорожья.
Середина сентября н. ст.
Гоголь живет в Ганау вместе с Н. М. и П. М. Языковыми.
Сентября 20 н. ст.
Гоголь советует А. А. Иванову написать на имя цесаревича письмо с просьбой о продолжении пансиона. Сообщает, что секретарь русского посольства в Италии П. И. Кривцов предложил ему место библиотекаря, от которого он отказался.
Вторая половина сентября н. ст.
Гоголь из Ганау выезжает в Россию вместе с П. М. Языковым.
Конец сентября н. ст.
Гоголь в Дрездене
Октября 7 н. ст.
Гоголь в Берлине. Просит В. А. Жуковского ходатайствовать перед наследником престола о продлении пансиона для А. А. Иванова еще на три года.
Октября 7
Гоголь возвращается
в Петербург из-за границы.
Октября 12
Гоголь выезжает из Петербурга в Москву.
Октября 17
Гоголь приезжает в Москву для печатанья "Мертвых душ" и останавливается у М. П. Погодина.

Октября 20
Гоголь сообщает Ф. А. Моллеру, что навестил его родных в Москве. Пишет А. А. Иванову, что М. П. Погодин выслал ему, Гоголю, в Рим 2 тыс. рублей. Просит Иванова разыскать эти деньги и раздать долги.
Вторая половина октября - ноябрь
У М. П. Погодина Гоголь прочел Аксаковым последние пять глав первого тома "Мертвых душ".
Декабря 7
Гоголь посетил цензора И. М. Снегирева и передал ему рукопись первого тома "Мертвых душ" с просьбой прочитать и высказать свое мнение.
Декабря 10
Гоголь встретился с И. М. Снегиревым, и тот благоприятно отозвался о "Мертвых душах".
Декабря 12
Обсуждение "Мертвых душ" на заседании Московского цензурного комитета под председательством попечителя Московского учебного округа Д. П. Голохвастова в присутствии цензоров М. Т. Каченовского, И. М. Снегирева, Н. И. Крылова и В. В. Флерова. Поэма получила ряд неодобрительных отзывов. Было решено передать ее на рассмотрение И. М. Снегиреву.
Середина декабря
Узнав о неблагоприятных отзывах цензоров, Гоголь забирает "Мертвые души" у И. М. Снегирева, чтобы отправить ее в Петербургский цензурный комитет.
Декабря 25
Гоголь в письме к А. А. Иванову просит И. С. Шаповалова сделать для него "копии головок Спасителя с Рафаэлева Преображенья и с Рафаэлева Положенья во гроб".
1842
Января 1-7
Гоголь посылает рукопись "Мертвых душ" в Петербург с В. Г. Белинским. Пишет князю В. Ф. Одоевскому о запрещении рукописи поэмы и просит употребить все силы, чтобы познакомить с ней императора.
Января 7
Гоголь сообщает П. А. Плетневу о враждебных толках, возбужденных "Мертвыми душами" в Московском цензурном комитете, и просит А. О. Смирнову и князя В. Ф. Одоевского способствовать прохождению рукописи через Петербургскую цензуру.
Между 7 и 23 января
Гоголь пишет письмо императору Николаю I по поводу "Мертвых душ" и передает его А. О. Смирновой (судьба письма неизвестна).
Январь - начало февраля
Гоголь заканчивает "Рим".
Начало февраля
Гоголь читает "Рим" у Аксаковых и на вечере у московского генерал-губернатора князя Д. В. Голицына.
Февраль
Гоголь встречается с Н. П. Огаревым
Февраля 6
Гоголь пишет П. А. Плетневу, что готов отложить на время печатанье "Мертвых душ". Предлагает для "Современника" статью объемом "около семи печатных листов".
Февраля 10
Гоголь обещает Н. М. Языкову скоро приехать за ним в Ганау. Сообщает, что часто бывает у Хомяковых, где отдыхает душой.
Февраля 14
Гоголь получает письмо от П. А. Плетнева с уведомлением, что Петербургский цензурный комитет назначил цензором "Мертвых душ" А. В. Никитенко и что поэма "пропускается".
Февраля 21
Гоголь обедает у Аксаковых вместе с К. К. Павловой.
Февраля 24 - марта 4
Гоголь пишет письма министру народного просвещения графу С. С. Уварову и попечителю Санкт-Петербургского учебного округа князю М. А. Дондукову-Корсакову с просьбой ускорить прохождение "Мертвых душ" через цензуру. Письма не были переданы по назначению.
Конец февраля - начало марта
Гоголь заканчивает новую редакцию "Портрета".
Марта 9
Цензурное разрешение первого тома "Мертвых душ". При этом "Повесть о капитане Копейкине" была запрещена.
Марта 11
Цензурное разрешение № 3 "Москвитянина", где напечатан "Рим".
Марта 17
Гоголь посылает П. А. Плетневу новую редакцию "Портрета" и оттиски "Рима".
Март

Гоголь знакомится с Н. Н. Шереметевой.
Апреля 5
Гоголь получил рукопись "Мертвых душ" из петербургской цензуры.
Между 5 и 9 апреля
Началось печатанье "Мертвых душ" (тираж 2400 экземпляров).
Апреля 5-10
Гоголь переделывает "Повесть о капитане Копейкине".
Апреля 10
Гоголь посылает П. А. Плетневу новую редакцию "Повести о капитане Копейкине" и письмо к А. В. Никитенко.
Вторая половина апреля
Гоголь получает благословение епископа Харьковского Иннокентия на путешествие в Иерусалим и сообщает Аксаковым о своем намерении посетить Святую землю.
Апреля 20
Гоголь встречается с князем В. Ф. Одоевским.
Конец апреля - начало мая
Гоголь работает над корректурой "Мертвых душ".
Начало мая
М. И. Гоголь с дочерью Анной приехала в Москву и остановилась у М. П. Погодина.
Мая 9
Именинный обед Гоголя у М. П. Погодина.
Между 11 и 15 мая
Гоголь получил рукопись "Повести о капитане Копейкине" с цензурным разрешением.
Мая 15-17
Завершилось печатанье "Мертвых душ". Продажу издания Гоголь поручает С. П. Шевыреву.
Мая 22
Гоголь посылает епископу Харьковскому Иннокентию экземпляр "Мертвых душ" и выражает надежду на встречу с ним у Гроба Господня.
Мая 23
Гоголь выезжает в Петербург.
Мая 25
Гоголь прибыл в Петербург.
Мая 26
"Мертвые души" поступили в продажу в Петербурге.
Мая 26 - июня 5
Гоголь живет у П. А. Плетнева. Поручает издание своих сочинений в четырех томах Н. Я. Прокоповичу. Встречается с В. Г. Белинским. Читает у А. О. Смирновой главы "Мертвых душ" и "Женитьбу".
Мая 28
У князя В. Ф. Одоевского Гоголь знакомится с французским писателем и критиком Ксавье Мармье.
Конец мая - начало июня
Гоголь посещает Ф. А. Моллера.
5 июня
Гоголь выезжает из Петербурга за границу.
Июня 8-13
Н. Я. Прокопович приступает к печатанью собрания сочинений Гоголя в четырех томах.
Июня 20 н. ст.
Гоголь приезжает в Берлин.
Июня 26 н. ст.
Гоголь посылает В. А. Жуковскому первый том "Мертвых душ" и пишет, что он похож "на приделанное губернским архитектором наскоро крыльцо к дворцу, который задуман строиться в колоссальных размерах".
Июня 30 (июля 12 н. ст.)
Цензурное разрешение № 3 "Современника", где напечатаны новая редакция "Портрета" и статья П. А. Плетнева (под псевдонимом С. Ш.) "Чичиков или Мертвые души, Гоголя".
Июль - первая половина сентября н. ст.
Гоголь находится в Гастейне вместе с Н. М. Языковым. В начале августа Гоголь выезжал в Мюнхен, а затем вернулся обратно в Гастейн.
Июля 27 н. ст.
Гоголь посылает Н. Я. Прокоповичу переработанный конец "Ревизора". Просит Прокоповича попросить В. Г. Белинского выслать оттиск своей статьи о "Мертвых душах". Просит С. Т. Аксакова прислать ему через Павловых следующие книги: "Памятник веры, представляющий благочестивому взору христианина, Православной Церковью установленные св. угодникам Божиим с кратким описанием их жития" (М., 1838); "Хозяйственную статистику России" В. П. Андросова (М., 1827); "Материалы для статистики Российской империи" (СПб., 1839-1841) и сочинение Г. К. Котошихина "О России в царствование Алексея

Михайловича" (СПб., 1840).
Августа 15 н. ст.
Гоголь просит С. П. Шевырева написать разбор "Мертвых душ".
Сентября 10 н. ст.
Гоголь и Н. М. Языков покидают Гастейн.
Сентября 22 н. ст.
Гоголь и Н. М. Языков прибывают в Венецию.
Октября 4 н. ст.
Гоголь и Н. М. Языков приехали в Рим и поселились по адресу: Via Felice, № 126.
Октября 22 н. ст.
Гоголь посылает Н. Я. Прокоповичу "Театральный разъезд после представления новой комедии. Просит передать "Ревизора" и "Женитьбу" в театральную цензуру, чтобы они были готовы к бенефисам М. С. Щепкина и И. И. Сосницкого.
Ноября 2 н. ст.
Гоголь просит М. П. Балабину сообщать ему все, что она услышит о нем и о его сочинениях.
До 10 ноября н. ст.
Гоголь получает от княгини З. А. Волконской две статьи С. П. Шевырева о "Мертвых душах", напечатанные в "Москвитянине".
Ноября 26 н. ст.
Гоголь пишет М. С. Щепкину, что все драматические сцены и отрывки из четвертого тома собрания сочинений принадлежат ему, Щепкину, и он может давать их в свои бенефисы.
Ноября 28 н. ст.
Гоголь посылает Н. Я. Прокоповичу исправления к "Женитьбе" и "Игрокам" и соглашается "Сцену из светской жизни" назвать "Отрывком".
Ноября 30 н. ст.
Ф. В. Чижов поселяется в том же доме, где живут Гоголь с Н. М. Языковым.
9 декабря (21 декабря н. ст.)
Премьера "Женитьбы" в Александринском театре.
1843
Января 9 н. ст.
Н. М. Языков просит родных напомнить П. М. Языкову, что тот обещал прислать Гоголю "собрание слов и описание крестьянских ремесел" и что "Гоголь ждет: ему теперь нужны эти оба предмета..."
Конец января
Вышли из печати "Сочинения" Гоголя в четырех томах. В Рим приехала А. О. Смирнова с А. О. Россетом и пробыла там до мая.
Февраля 5 (февраля 17 н. ст.)
Первая постановка "Женитьбы" и "Игроков" в Большом театре в бенефис М. С. Щепкина.
Февраля 28 н. ст.
Гоголь пишет С. П. Шевыреву, что второй том "Мертвых душ" будет готов не ранее, чем через два года. Просит Шевырева, М. П. Погодина и С. Т. Аксакова взять на себя его житейские заботы, дабы он мог довести свой труд до конца.
Апреля 19 н. ст.
Гоголь просит Н. Я. Прокоп
овича прислать ему экземпляр "Сочинений" вместе с критическими отзывами, книгу Ф. В. Булгарина "Россия в историческом, географическом и литературном отношениях" (Ч. 1-6, СПб., 1837) и карты Европейской и Азиатской России.
Мая 1 н. ст.
Гоголь уезжает из Рима во Флоренцию.
Мая 5 н. ст.
Гоголь прибыл во Флоренцию, откуда выехал в Болонью.
Мая 8 н. ст.
Гоголь прибыл в Модену, откуда отправился в Мантую.
Апреля 26 (мая 8 н. ст.)
Первая постановка "Игроков" в Александринском театре в бенефис Н. И. Куликова.
Мая 9 н. ст.
Гоголь прибыл в Верону; далее через Трент, Ровердо, Инсбрук и Зальцбург он отправился в Гастейн.
Около 17 мая н. ст.
Гоголь приехал в Гастейн и поселился у Н. М. Языкова.
Мая 24 н. ст.
Гоголь сообщает К. С. Аксакову, что получил его брошюру о "Мертвых душах" и статью Ю. Ф. Самарина о поэме. Интересуется публичными чтениями своих произведений в Москве М. С. Щепкиным.
Между 24 и 28 мая н. ст.
Гоголь приехал в Мюнхен.

Мая 28 н. ст.
Гоголь сообщает Н. Я. Прокоповичу, что второй том "Мертвых душ" еще не написан. Просит Н. М. Языкова еще раз прочитать "Мертвые души" и дать на них свои замечания.
Июня 1 н. ст.
Гоголь в Мюнхене встречается с Ф. А. Моллером.
Июня 6 н. ст.
Гоголь прибывает в Штутгарт.
Июня 8 н. ст.
Гоголь прибывает во Франкфурт, где встречается с В. А. Жуковским.
Июня 10 н. ст.
Гоголь в Висбадене.
Июня 15 н. ст.
Гоголь ездил за письмами в Дюссельдорф.
Вторая половина июня
Гоголь вместе с Жуковским живет в Эмсе. Встречается там с Н. И. Гречем.
Июля 4 н. ст.
Гоголь приезжает в Баден.
Июль - август н. ст.
Гоголь живет в Бадене и ежедневно читает А. О. Смирновой "Илиаду" в переводе Н. И. Гнедича. Ездил на несколько дней в Карлсруэ для встречи с А. Мицкевичем.
Августа 27 н. ст.
Гоголь вместе с В. А. Жуковским выезжает из Бадена в Дюссельдорф.
Август 28 н. ст. - октябрь н. ст.
Гоголь живет в Дюссельдорфе у В. А. Жуковского. Читает журнал "Христианское чтение за 1843 год".
Сентября 24 н. ст.
Гоголь благодарит Н. Я. Прокоповича за присланные книги и критические отзывы и дает оценку собранию своих сочинений: "Все что от издателя - то хорошо, что от типографии - то мерзко... Я виноват сильно во всем".
Октября 5 н. ст.
Гоголь просит Н. М. Языкова прислать ему "Розыск о раскольнической брынской вере, учении их и о делах их" святителя Дмитрия Ростовского; "Трубы словес проповедных" и "Меч духовный" архиепископа Черниговского Лазаря Барановича"; "Проповеди блаженной памяти Стефана Яворского в трех частях"; "Полное собрание русских летописей, издаваемое Археографической комиссией" и "Христианское чтение за 1842 год".
Октября 6 н. ст.
Гоголь просит С. П. Шевырева приступить ко второму изданию "Мертвых душ".
Ноября 5 н. ст.
Гоголь выезжает из Дюссельдорфа в Ниццу.
Ноября 19 - марта 19 1844 г. н. ст.
Гоголь живет в Ницце у Виельгорских, работает над вторым томом "Мертвых душ" и читает А. О. Смирновой выписки из трудов отцов Церкви.
Конец декабря н. ст.
Гоголь получил от императрицы тысячу франков.
1844
Начало января н. ст.
Гоголь встречается с историком Д. А. Валуевым, племянником Н. М. Языкова.
Февраля 2 н. ст.
Гоголь просит С. П. Шевырева приостановить второе издание "Мертвых душ", а также купить и подарить от его имени М. П. Погодину, Н. М. Языкову, С. Т. и О. С. Аксаковым миниатюрное издание книги Фомы Кемпийского "О подражании Христу".
Марта 19 н. ст.
Гоголь выехал из Ниццы через Страсбург в Дармштадт.
Марта 20 н. ст.
Гоголь прибыл в Экс.
После 20 марта н. ст.
Гоголь прибыл в Страсбург.
Марта 26 н. ст.
Гоголь пишет из Страсбурга А. О. Смирновой, что пароход, на котором он собирался плыть до Франкфурта, "хлопнулся об арку моста".
Марта 27 н. ст.
Гоголь прибыл в Дармштадт.
Марта 30 н. ст.
В Дармштадт говеть вместе с Гоголем приезжает В. А. Жуковский.

Марта 24 (Апреля 5 н. ст.)
Умерла сестра Гоголя Мария.
Апреля 7 н. ст.
Гоголь приобщается Святых Христовых Тайн в православной церкви в Дармштадте.
После 7 апреля - первая половина мая н. ст. Гоголь живет во Франкфурте.
Мая 10 н. ст.
Гоголь просит П. В. Анненкова прислать ему "Роспись российским книгам для чтения" из библиотеки А. Ф. Смирдина и "Каталог книгам, продающимся в синодальных книжных лавках", а также все опубликованные в "Библиотеке для Чтения" критики О. И. Сенковского на "Мертвые души" и "Сочинения".
Мая 16 н. ст.
Гоголь отвергает обвинения в религиозном мистицизме, содержавшиеся в письме С. Т. Аксакова: "...Моя природа совсем не мистическая... С 12-летнего, может быть, возраста я иду тою же дорогою, как и ныне, не шатаясь и не колеблясь во мнениях главных..." Просит А. О. Смирнову привезти ему во Франкфурт "Сумму теологии" Фомы Аквината и "Всеобщую историю" Чезаре Канту, а также отслужить панихиду по его усопшей сестре Марии.
Вторая половина мая
Гоголь приехал из Франкфурта в Баден, где встретился с графом А. К. Толстым.
Мая 30 н. ст.
Гоголь возвратился из Бадена во Франкфурт.
Июнь - июль н. ст.
Гоголь живет во Франкфурте, откуда выезжает в Мангейм, Бинген и Баден. Встречается с графом А. К. Толстым, А. О. Смирновой и в Шлангенбаде - с М. П. Балабиной.
Около 20 июня н. ст.
Гоголь дает поручение едущей в Петербург графине Л. К. Виельгорской купить для него "Христианское чтение за 1840 год" и "Отечественные записки" 1844 г. Если же не удастся купить "Христианского Чтения", то Гоголь просит купить вместо него "Сочинения" святителя Димитрия Ростовского в трех частях.
Июля 24 н. ст.
Гоголь пишет графине С. М. Соллогуб, что болен и по рекомендации доктора едет в Остенде.
Июля 25 н. ст.
Гоголь выезжает из Франкфурта в Остенде.
Июля 26 н. ст.
Гоголь прибыл в Остенде.
Июля 26 - сентября 15 н. ст.
Гоголь принимает морские купания в Остенде вместе с Виельгорскими и графами А. П. и И. П. Толстыми.
Сентября 15 н. ст.
Гоголь выехал из Остенде во Франкфурт.
Сентября 18 н. ст.
Гоголь вместе с Виельгорскими прибывает во Франкфурт.
Сентября 18 - января 11 1845 г. н. ст.
Гоголь живет во Франкфурте у В. А. Жуковского. Работает над вторым томом "Мертвых душ".
Октября 1 н. ст.
Гоголь сообщает Н. М. Языкову, что получил книги "Добротолюбие" и "Сочинения" епископа Иннокентия. Просит передать С. П. Шевыреву, чтобы он объявил в "Москвитянине", что ему, Гоголю, крайне неприятно появление его портрета в каком-то харьковском издании (им оказался альманах И. Е. Бецкого "Молодик" за 1844 г.).
Сентября 27 (октября 9 н. ст.)
Премьера "Тяжбы" в Александринском театре в бенефис М. С. Щепкина.
Между 1 и 26 октября н. ст.
Гоголя посетил И. Е. Бецкий, имевший с ним объяснение по поводу публикации гоголевского портрета в своем альманахе.
Октября 26 н. ст.
Гоголь, узнав, что М. П. Погодин приложил к "Москвитянину" его портрет, написал Н. М. Языкову, что большего оскорбления нельзя было придумать: "Если бы Булгарин, Сенковский, Полевой, совокупившись вместе, написали на меня самую злейшую критику, если бы сам Погодин соединился с ними и написал бы вместе все, что способствует к моему унижению, это было бы совершенно ничто в сравнении с сим".
Первая половина декабря н. ст.
Гоголь просит П. А. Плетневу и С. П. Шевыреву создать из средств от продажи его сочинений фонд для помощи талантливым, но нуждающимся студентам Московского и Петербургского университетов.
Декабря 20 н. ст.
Гоголь пишет М. П. Погодину по поводу смерти его жены Елизаветы Васильевны: "Друг, несчастия суть великие знаки Божией любви. Они ниспосылаются для перелома жизни в человеке, который без них был бы невозможен..." В том же письме он послал выписку из сочинения святителя Иоанна Златоуста "Об утратах".
Декабря 24 н. ст.

Гоголь просит А. О. Смирнову писать ему о петербургском обществе и выслать журнал "Библиотека для чтения" за 1842 г.
1845
Января 11 н. ст.
Гоголь выехал из Франкфурта в Париж.
Января 14 н. ст.
Гоголь прибыл в Париж и остановился в доме графа А. П. Толстого.
Января 14 - марта 1 н. ст.
Гоголь в Париже работает над книгой о Божественной Литургии, пользуясь библиотекой настоятеля русской посольской церкви в Париже протоиерея отца Димитрия Вершинского. В работе над книгой Гоголю помогает филолог-эллинист Ф. Н. Беляев.
Февраля 5 н. ст.
Гоголь у графини Л. К. Виельгорской встретился с А. И. Тургеневым. Читали стихотворение Н. М. Языкова "К не нашим". А. И. Тургенев, по его собственным словам, "едва удержал бешенства" и столь эмоционально бранил "фанатизм наших патриотов", что к вечеру от расстройства заболел. Гоголь заявил, что не правы как славянофилы, так и западники, и взял с А. И. Тургенева обещание не писать критического письма Н. М. Языкову.
Февраля 12 н. ст.
Гоголь пишет Н. М. Языкову, что А. И. Тургенев "несет дичь", и сообщает: "Стихи твои "К не нашим" произвели такое же впечатление, как на меня самого, на моих знакомых, т. е. на графиню Виельгорскую и на графа Толстого, которые от них без ума, но Тургенев, кажется, закрутит нос, а, может быть, даже и чихнет".
Февраля 2 (февраля 14 н. ст.)
Гоголь избран в почетные члены Московского университета.
Марта 1 н. ст.
Гоголь выехал из Парижа во Франкфурт.
Марта 4 - первая половина мая н. ст.
Гоголь живет во Франкфурте у В. А. Жуковского.
Марта 5 н. ст.
Гоголь просит Ф. Н. Беляева прислать ему Литургию святителя Василия Великого на латинском языке, стихотворный ответ митрополита Московского Филарета на стихотворение А. С. Пушкина "Дар напрасный, дар случайный..." и выписку из книги о каждении.
Марта 15 н. ст.
Гоголь пишет Н. М. Языкову, что получил посланные им через графа А. П. Толстого книги: "Творения святых отцов" за 1843 и 1844 гг., "Толкование на Священное Писание" святого Амвросия Медиоланского и "Сочинения" святителя Димитрия Ростовского.
Между 20 и 28 марта н. ст.
Гоголь пишет графу А. П. Толстому: "Здоровье мое хуже и хуже. Появляются такие признаки, которые говорят, что пора, наконец, знать честь и, поблагодарив Бога за все, уступить свое место живущим".
Марта 27 (апреля 8 н. ст.)
По ходатайству А. О. Смирновой и В. А. Жуковского император назначил Гоголю пенсию на три года - по тысяче рублей серебром ежегодно. Такую же сумму прибавил от себя наследник престола.
Конец марта н. ст.
Ф. Н. Буслаев прислал Гоголю собственноручно сделанный список греческого текста Литургии Василия Великого с параллельным латинским переводом, а также стихи митрополита Московского Филарета "Не напрасно, не случайно жизнь от Господа дана..." и выписку о каждении.
Апреля 2 н. ст.
Гоголь сообщает А. О. Смирновой о замысле книги "Выбранные места из переписки с друзьями".
Середина апреля н. ст.
Гоголь пишет записку отцу Иоанну Базарову, настоятелю вновь учрежденной русской домовой церкви в Висбадене: "Приезжайте ко мне причастить меня, я умираю".
Около 20 апреля н. ст.
Гоголь и В. А. Жуковский приехали из Франкфурта в Висбаден.
Апреля 20-27 н. ст.
Гоголь и В. А. Жуковский говели и встречали православную Пасху в Висбадене. Посетили отца Иоанна Базарова и встретились с А. С. Жиряевым.
Апреля 27 н. ст.
Гоголь и В. А. Жуковский вернулись во Франкфурт.
Мая 6 н. ст.
Гоголь выезжал в Гейдельберг.
Мая 15 н. ст.
Гоголь выехал из Франкфурта в Гамбург.
Вторая половина мая - июнь н. ст.
Гоголь лечится на водах в Гомбурге, навещает В. А. Жуковского во Франкфурте.

Мая 24 н. ст.
Гоголь из Франкфурта пишет П. А. Плетневу: "Уведомляю тебя только о том, что я сильно болен, и только одному Богу возможно излечить меня".
Мая 26 н. ст.
Последняя встреча Гоголя с А. И. Тургеневым.
Июня 4 н. ст.
Гоголь просит А. О. Смирнову прислать ему книги: "О небесной иерархии" и "О церковном священноначалии" Дионисия Аеропагита, "Беседы на Божественную Литургию" протоиерея Василия Нордова и "Физиологию Петербурга" Н. А. Некрасова.
Июня 18 н. ст.
Гоголь из Гамбурга переезжает во Франкфурт.
Конец июня - начало июля
Гоголь сжигает первую редакцию второго тома "Мертвых душ" и пишет завещание, впоследствии опубликованное в "Выбранных местах из переписки с друзьями".
Июня 29 - июля 3 н. ст.
Гоголь с графом А. П. Толстым говеет в Веймаре. Встречается с настоятелем русской домовой церкви Святой Марии Магдалины в Веймаре протоиереем отцом Стефаном Сабининым. Гоголь говорит о своем желании поступить в монастырь. Священник, видя его болезненное состояние, убеждает его не принимать окончательного решения.
Июля 3 н. ст.
После причастия Святых Христовых Тайн Гоголь и граф А. П. Толстой отбыли из Веймара в Берлин.
Июля 4 н. ст.
В Галле Гоголь заезжает к доктору П. Крукенбергу.
Июля 5 н. ст.
Гоголь прибыл в Берлин.
После 5 июля н. ст.
Не застав в Берлине доктора И. Л. Шёнлейна, Гоголь отправился в Дрезден к доктору К. Г. Карусу, который направляет его в Карлсбад для лечения печени.
Июля 15 н. ст.
Гоголь выезжает из Берлина в Карлсбад.
Июля 20 н. ст.
Гоголь прибыл в Карлсбад и остановился в доме на Егерштрассе.
Июля 20 - августа 15 н. ст.
Гоголь лечится в Карлсбаде, но чувствует себя все хуже и хуже.
Августа 15 н. ст.
Гоголь выехал из Карлсбада в Есенские Лазни.
Августа 15 н. ст.
Гоголь прибывает в Прагу, посещает Чешский национальный музей и знакомится с его хранителем В. Ганкой. В альбоме Ганки Гоголь оставил запись с пожеланием "еще сорок шесть лет ровно для пополнения 100 лет здравствовать, работать, печатать и издавать во славу славянской земли и с таким же радушием приветствовать всех русских, к нему заезжающих..."
Августа 23 н. ст.
Гоголь прибыл в Грефференберг, где встретил графа А. П. Толстого.
Августа 23 - конец сентября н. ст.
Гоголь и граф А. П. Толстой лечились в Грефференберге водой по методу доктора В. Присница.
Конец сентября н. ст.
Гоголь выехал из Грефференберга в Рим. В Берлине навестил доктора И. Л. Шёнлейна, который нашел у Гоголя нервное расстройство и одобрил намерение ехать в Рим.
Октября 24 н. ст.
Гоголь прибыл в Рим.
Октября 24 - мая 5 1846 г. н. ст.
Гоголь в Риме, где живет по адресу: Via de la Croce, № 81. Встречается с художниками А. А. Ивановым, Ф. А. Моллером, Ф. И. Иорданом. Знакомится с семейством графини С. П. Апраксиной. Посещает графиню Е. П. Ростопчину. Знакомится с русским посланником А. П. Бутеневым. Возобновляет работу над вторым томом "Мертвых душ".
Ноября 25 н. ст.
Гоголь просит С. Т. Аксакова взять на себя раздачу пособий нуждающимся талантливым студентам, если С. П. Шевырев откажется участвовать в этом деле. Просит прислать ему стихи И. С. Аксакова, в том числе "Зимнюю дорогу".
8 декабря н. ст.
Гоголь пишет матери, что трижды мельком видел императора Николая I, прибывшего в Рим: "...Ему дел и занятий была здесь куча и вовсе не до того, чтобы принимать всякую мелузгу, подобную мне".
1846

Января 1 н. ст.
Гоголь пишет графу А. П. Толстому: "...Я зябну теперь до такой степени, что ни огонь, ни движение, ни ходьба меня не согревают".
Января 27 н. ст.
Гоголь пишет А. О. Смирновой, что император был в Риме 4 дня, но он не решился ему представиться.
Около 17 февраля н. ст.
У графини С. П. Апраксиной Гоголь встретился с графом Ф. П. Толстым.
Марта 20 н. ст.
Гоголь просит П. А. Плетнева объявить отказ граверу Е. Е. Бернадскому, который намеревался издать "Мертвые души" с иллюстрациями А. А. Агина. Пишет, что второе издание первого тома поэмы будет тогда, когда он его выправит.
Апреля 19 н. ст.
Гоголь просит графинь Л. К. и А. М. Виельгорских и С. М. Соллогуб прислать ему журналы "Отечественные записки" и "Маяк" за 1846 г.
Мая 5 н. ст.
Гоголь уезжает из Рима во Флоренцию.
Мая 9-10 н. ст.
Гоголь во Флоренции.
Мая 13-14
Гоголь в Генуе.
Мая 14 н. ст.
Гоголь благодарит графиню Виельгорскую за присылку"Воспитанницы" графа В. А. Соллогуба и "Бедных людей" Ф. М. Достоевского. Пишет, что Соллогуб "идет вперед", а в Достоевском "виден талант, выбор предметов говорит в пользу его качеств душевных, но видно также, что он еще молод. Много еще говорливости и мало сосредоточенности в себе: все бы оказалось гораздо живей и сильней, если бы было более сжато".
Мая 16 н. ст.
Гоголь прибыл в Ниццу.
Вторая половина мая н. ст.
Гоголь прибыл в Париж и остановился у графа А. П. Толстого в отеле на улице de la Paix. Дважды встречается с П.В. Анненковым.
Начало июня н. ст.
Гоголь приезжает во Франкфурт к В. А. Жуковскому, из Франкфурта выезжает в Грефенберг через Прагу.
Июня 14 н. ст.
Гоголь прибыл в Грефенберг.
Вторая половина июня н. ст.
Гоголь в Грефенберге лечится по методу В. Присница.
Около 18 июня н. ст.
Гоголь ездил в Линдевизе для свидания с князем А. И. Барятинским.
Июня 18 н. ст.
Гоголь посетил Фрейвальдау.
Июля 4 н. ст.
Гоголь прибыл в Карлсбад. Посылает П.А. Плетневу свою статью "Об Одиссее, переводимой Жуковским" и просит напечатать ее сначала в "Современнике",а потом во всех журналах, "которые больше расходятся в публике". Обещает также послать экземпляр этой статьи в Москву.
После 6 июля н. ст.
Гоголь выехал из Карлсбада.
Середина июля н. ст.
Гоголь прибыл в Бамберг, где встретил П. В. Анненкова.
Июля 20-30 н. ст.
Гоголь вместе с В. А. Жуковским лечится в Швальбахе.
Июля 22 н. ст.
Гоголь извещает Н. М. Языкова, что получил посланные им оба сборника "Новоселье", "Невский альманах", "Историю русской словесности, преимущественно древней" С. П. Шевырева и "Путешествие по Святой Земле в 1835 году" А. С. Норова.
Июля 26 н. ст.
Гоголь просит С. П. Шевырева напечатать второе издание "Мертвых душ" вместе с предисловием, которое обещает прислать позднее.
Июля 30 н. ст.
Гоголь просит П. А. Плетнева заняться печатаньем "Выбранных мест из переписки с друзьями". Посылает первую тетрадь, обещая вскоре прислать продолжение. Цензором рекомендует избрать А.В. Никитенко.
Августа 1 н. ст.
Гоголь прибыл в Эмс, где встретил графа А. П. Толстого с женой. Пишет письмо А. В. Никитенко, где

просит хранить все, связанное с "Выбранными местами из переписки с друзьями", в тайне до публикации книги.
Августа 6 н. ст.
Гоголь прибыл в Остенде. В № 89 "Московских Ведомостей" напечатана статья "Об Одиссее, переводимой Жуковским". Она также напечатана в № 7 "Современника" и в № 7 "Москвитянина".
Начало августа - конец сентября н. ст.
Гоголь проходит курс лечения в Остенде. Знакомится с В. А. и Н. А. Мухановыми. Пишет предисловие ко второму изданию "Мертвых душ" и продолжает работу над "Выбранными местами из переписки с друзьями".
Между 10 и 20 августа н. ст.
Гоголь приезжает в Париж для встречи с графом А. П. Толстым.
Августа 25 н. ст.
Гоголь посылает П. А. Плетневу вторую тетрадку "Выбранных мест из переписки с друзьями".
Сентября 12 н. ст.
Гоголь уведомляет П. А. Плетнева о высылке третьей тетради "Выбранных мест из переписки с друзьями".
Сентября 26 н. ст.
Гоголь посылает П. А. Плетневу четвертую тетрадь "Выбранных мест из переписки с друзьями".
Конец сентября - начало октября н. ст.
Гоголь прибыл во Франкфурт.
Конец сентября - октября 22 н. ст.
Гоголь живет во Франкфурте у В. А. Жуковского. Заканчивает "Выбранные места из переписки с друзьями" и пишет "Развязку Ревизора".
Октября 3 н. ст.
Гоголь посылает П. А. Плетневу для представления в цензуру предисловие ко второму изданию "Мертвых душ".
Октября 5 н. ст.
Гоголь просит С. П. Шевырева поправить слог предисловия к "Мертвым душам". Сообщает под большим секретом о печатании "Выбранных мест из переписки с друзьями" и просит не выпускать второе издание "Мертвых душ" до выхода в свет этой книги. Отвечает Н. М. Языкову отказом на просьбу прислать статью для "Московского Сборника".
Октября 15 н. ст.
Гоголь просит А. О. Смирнову отправиться в Петербург и помочь П. А. Плетневу в издании "Выбранных мест из переписки с друзьями".
Октября 16 н. ст.
Гоголь посылает П. А. Плетневу пятую, последнюю тетрадь "Выбранных мест из переписки с друзьями".
Между 22 и 24 октября н. ст.
Гоголь выехал из Франкфурта в Италию.
Октября 24 н. ст.
Гоголь прибывает во Франкфурт. Посылает М. С. Щепкину и С. П. Шевыреву распоряжения о постановке в бенефис Щепкина "Ревизора с Развязкой" и об издании его в Москве в пользу бедных и о рассылке отпечатанных экземпляров.
Октября 25 н. ст.
Гоголь выехал из Страсбурга.
Ноября 2 н. ст.
Гоголь остановился в Ницце по пути в Италию. Дает распоряжение об издании в Петербурге в пользу бедных "Ревизора с Развязкой" и о постановке его в Александринке в бенефис И. И. Сосницкого.
Ноября 6-10 н. ст.
Гоголь во Флоренции.
Ноября 8 н. ст.
Гоголь пишет Н. Н. Шереметевой о предполагаемом путешествии в Иерусалим.
10 ноября н. ст.
Гоголь выехал из Флоренции в Рим.
10-14 ноября н. ст.
Гоголь в Риме. Встречается с графом Д. Н. Блудовым.
5 ноября (17 ноября н. ст.)
Цензурное разрешение "Ревизора с Развязкой".
Около 19 ноября н. ст.
Гоголь приезжает в Неаполь.
Ноября 19 - мая 11 н. ст. 1847 г.
Гоголь живет в Неаполе у графини С. П. Апраксиной.
Декабря 1 н. ст.
Гоголь просит С. П. Шевырева напечатать в "Московских Ведомостях" предисловие ко второму изданию "Мертвых душ".

Декабря 4 н. ст.
Гоголь посылает П. А. Плетневу статью о журнале "Современник".
Около 8 декабря
Гоголь пишет письмо императору Николаю I с просьбой выдать заграничный паспорт на полтора года.
Декабря 18 н. ст.
Гоголь пишет М. С. Щепкину, что постановку "Ревизора с Развязкой" надо отложить до будущего года, поскольку сначала он сам должен прочитать пьесу Щепкину, чтобы тот потом прочитал ее актерам.
Конец декабря н. ст.
Гоголь сообщает Ф. В. Чижову, что болеет.
Декабря 26 (7 января н. ст. 1847 г.)
Смерть Н. М. Языкова.
1847
Января 12 н. ст.
Вышла из печати книга "Выбранные места из переписки с друзьями".
Января 15 н. ст.
Гоголь предлагает протоиерею отцу Дмитрию Вершинскому, настоятелю русской посольской церкви в Париже, совершить вместе путешествие в Иерусалим и спрашивает, сможет ли он прибыть в Неаполь к середине февраля.
Около 16 января н. ст.
Гоголь пишет письмо императору Николаю I с просьбой лично ознакомиться с теми статьями "Выбранных мест из переписки с друзьями", которые не были пропущены цензурой. Письмо не было передано по назначению.
Января 20 н. ст.
Еще не зная о смерти Н. М. Языкова, Гоголь просит прислать в Неаполь русские летописи, "Выходы Государей Царей и Великих Князей..." и книги И. М. Снегирева "Русские простонародные праздники и суеверные обряды" и "Русские в своих пословицах".
Января 9 (января 21 н. ст.)
Министр двора граф В. Ф. Адлерберг извещает Гоголя, что ему предоставлен беспошлинный заграничный паспорт на полтора года.
Февраля 4 н. ст.
Гоголь отвергает идею А. А. Иванова сделать его секретарем при попечителе русских художников в Риме.
Февраля 6 н. ст.
Гоголь просит графа и графиню М. Ю. и А. М. Виельгорских и П. А. Плетнева похлопотать о втором, полном издании "Выбранных мест из переписки с друзьями".
Февраля 11 н. ст.
Гоголь просит А. О. Россета прислать ему "Иллюстрацию" Н. В. Кукольника за 1846г. и сборник повестей Я. П. Буткова "Петербургские вершины".
Февраля 16 н. ст.
Гоголь сообщает матери, что распорядился послать ей и сестрам 2 тыс. рублей.
Февраля 22 н. ст.
Гоголь просит А. О. Смирнову присылать ему описания провинциальных типов.
Марта 4 н. ст.
Объяснение Гоголя с М. П. Погодиным по поводу нелестного отзыва о нем в "Выбранных местах из переписки с друзьями".
Начало марта
Встреча Гоголя с П. В. Анненковым в Неаполе.
Марта 16 н. ст.
Гоголь пишет графине А. М. Виельгорской, что перед поездкой в Иерусалим он должен укрепить свои расшатанные нервы водами и морскими купаниями.
Апреля 6 н. ст.
Гоголь советует сестре Елизавете взять на воспитание свою крестницу сиротку Эмилию.
Апреля 24 н. ст.
Гоголь сообщает А. О. Россету, что получил по два номера "Современника" и "Отечественных записок", "Северную пчелу" и отдельный оттиск статьи П. А. Плетнева о жизни и творчестве И. А. Крылова из первого тома собрания сочинений знаменитого баснописца. Просит прислать также "Повести, сказки и рассказы" Казака Луганского (В. И. Даля).
Мая 11 н. ст.
Гоголь выехал из Неаполя в Рим.
Мая 12 н. ст.
Гоголь прибыл в Рим.
Мая 18 н. ст.
Гоголь прибыл во Флоренцию.
Мая 20 н. ст.

Гоголь прибыл в Геную.
Мая 25 н. ст.
Гоголь в Марселе.
Мая 27 - июня 4 н. ст.
Гоголь в Париже. Живет в одной гостинице с братьями Мухановыми и вместе с ними почти ежедневно бывает у графа А. П. Толстого.
Июня 10 - июля 10 н. ст.
Гоголь прибывает во Франкфурт и живет у В. А. Жуковского. Работает над "Авторской исповедью".
Около 20 июня н. ст.
Гоголь через Н. Я. Прокоповича отсылает письмо В. Г. Белинскому по поводу его отзыва в "Современнике" о "Выбранных местах из переписки с друзьями". Письмо попадает в Зальцбрунн, где Белинский лечится от чахотки.
Конец июня - начало июля н. ст.
Гоголь пишет вторую редакцию окончания "Развязки Ревизора".
Середина июля н. ст.
Гоголь находится в Эмсе в обществе Жуковских и Хомяковых.
Июля 15 н. ст.
В. Г. Белинский пишет резкий ответ на письмо Гоголя.
Июля 24 н. ст.
Гоголь прибыл в Остенде.
Июля 25 н. ст.
Гоголь прибыл
во Франкфурт и остановился у Хомяковых.
Конец июля н. ст.
Гоголь просит графа Матвея Ю. Виельгорского походатайствовать о предоставлении пансиона А. А. Иванову перед великой княгиней Марией Николаевной и герцогом Максимилианом Лейхтенбергским.
Конец июля - конец сентября н. ст.
Гоголь принимает морские купания в Остенде. Встречается с Виельгорскими, Хомяковыми, Мухановыми.
Конец июля - начало августа
Гоголь пишет резкий ответ на письмо В. Г. Белинского, но не отправляет его адресату.
Августа 8 н. ст.
Гоголь пишет графу А. П. Толстому, что прочел в "Современнике" "Письма об Испании" В. П. Боткина.
Августа 10 н. ст.
Гоголь отправляет ответ В. Г. Белинскому, написанный в более умеренных тонах, чем его первоначальная редакция.
Августа 12 н. ст.
Гоголь пишет П. В. Анненкову, что письмо В. Г. Белинского огорчило его чувством ожесточения. Пишет, что прочел "Парижские письма" Анненкова, опубликованные в "Современнике".
Августа 14 н. ст.
Гоголь пишет графу А. П. Толстому, что хочет перечитать все читанное прежде для души, начиная со св. Ефрема Сирина, св. Иоанна Златоуста и преподобного Макария Египетского.
Между 24 и 28 августа
Гоголь сообщает П. А. Плетневу и С. П. Шевыреву, что решил отложить выпуск дополненного издания "Выбранных мест из переписки с друзьями" и "Авторской исповеди" до поездки в Иерусалим.
Вторая половина сентября н. ст.
Гоголь встречается в Остенде с графинями М. Д. Нессельроде и Л. К. и А. М. Виельгорскими.
Сентября 24 н. ст.
Гоголь обещает отцу Матвею Константиновскому не печатать ничего до возвращения из Иерусалима и передает ему деньги для раздачи бедным.
Конец сентября н. ст.
Гоголь выехал из Остенде в Италию.
Октябрь н. ст.
Гоголь путешествует в Неаполь через Марсель, Ниццу, Геную, Флоренцию и Рим.
Ноября 20 - между 18 и 22 января н. ст.
Гоголь живет в Неаполе. Часто видится с графиней С. П. Апраксиной и ее братом А. П. Толстым.
Декабря 12 н. ст.
Гоголь посылает отцу Матвею Константиновскому 200 рублей для раздачи бедным на молебны о его путешествии в Иерусалим и возвращении на родину.
1848
Января 12 н. ст.
Гоголь в письме отцу Матвею Константиновскому называет "Выбранные места из переписки с друзьями" "опрометчивой книгой".
Января 18 н. ст.

Гоголь сообщает А. А. Иванову, что на днях отправится из Неаполя в Иерусалим и что "в городе неспокойно".
Между 18 и 22 января н. ст.
Гоголь выехал из Неаполя в Иерусалим.
Января 22 н. ст.
Гоголь прибыл на Мальту.
Января 23 н. ст.
Гоголь сообщает графине А. М. Виельгорской, что из Неаполя его преждевременно выгнали "разные политические смуты и бестолковщина".
Января 27 н. ст.
Гоголь покинул Мальту.
Конец января - начало февраля н. ст.
На пароходе "Истамбул" Гоголь плывет из Смирны в Бейрут вместе с отставным генералом М. И. Крутовым, архимандритом Порфирием (Успенским), иеромонахом Феофаном (Гончаровым) и священником отцом Петром Соловьевым. В Бейруте Гоголь остановился у своего гимназического товарища К. М. Базили, русского генерального консула в Сирии и Палестине.
Первая половина февраля н. ст.
Гоголь вместе с М. И. Крутовым и К. М. Базили выехали из Бейрута в Иерусалим через Сидон, Тир и Акру.
Середина февраля
Гоголь прибыл в Иерусалим.
Марта 18
Гоголь прибыл в Бейрут.
Апреля 6
Гоголь вместе с семейством Базили отплыл из Бейрута в Константинополь.
Апреля 13
Гоголь прибыл в Константинополь.
Апреля 14
Гоголь отплыл из Константинополя в Одессу на пароходе-фрегате "Херсонес".
Апреля 16-30
Гоголь живет в Одессе в связи с карантином по случаю холеры. Его навещают А. А. Трощинский, Л. С. Пушкин и др.
Апреля 21
Гоголь пишет отцу Матвею Константиновскому, что никогда еще не был так доволен состоянием своего сердца, как в Иерусалиме и после Иерусалима.
Мая 1
Обед в честь Гоголя, данный в Одессе его друзьями и почитателями.
Мая 1-7
После выхода из карантина Гоголь живет у А. А. Трощинского. Вместе с К. М. Базили наносит визит А. С. Стурдзе.
Мая 7
Гоголь выехал из Одессы.
Мая 9
Гоголь прибыл в Васильевку.
Мая 9 - августа 24
Гоголь в Васильевке. Выезжает в Полтаву и Сорочинцы.
Мая 19-21
В Васильевке гостит друг семьи Гоголей С. В. Скалон с женой.
Мая 25
Гоголь выезжает в Киев
Мая 28
Гоголь прибывает в Киев
Конец мая
Гоголь живет в Киеве у А. С. Данилевского. Встречается с М. А. Максимовичем и Ф. В. Чижовым.
Июня 1
Гоголь выехал в Васильевку.
Июня 3
Гоголь вернулся в Васильевку.
Июля 7
Гоголь пишет П. А. Плетневу о своей болезни и об отсутствии денег. Просит прислать 150 рублей серебром.
Август, до 24
Гоголь пишет Н. Ф. Павлову, выражая несогласие с его критическими статьями в "Московских ведомостях" по поводу "Выбранных мест из переписки с друзьями".
Августа 24

Гоголь выехал из Васильевки в Москву. По дороге заехал в Сорочинцы к А. С. Данилевскому.
Около 30 августа
Гоголь с А. С. Данилевским выехали в село Сварково Глуховского уезда, где гостят у родственника Данилевского А. М. Марковича.
Сентября 5
Прибытие Гоголя в Орел. Сообщает А. С. Данилевскому, что из-за отмены дилижанса на Москву вынужден был одолжить бричку у А. М. Марковича, которую обязуется вернуть по приезде в Москву.
Сентября 7
Гоголь прибыл в Москву и остановился у М. П. Погодина. Посетил С. П. Шевырева на его даче в Сокольниках.
Сентября 12
Гоголь выехал из Москвы в Петербург.
Сентября 16
Гоголь прибывает в Петербург.
Сентября 16 - октября 9
Гоголь живет в Петербурге. Встречается с П. А. Плетневым, Виельгорскими, Н. Я. Прокоповичем, А. О. Смирновой. Расспрашивает П. В. Анненкова о революционных событиях в Париже. На вечере у А. А. Комарова знакомится с Н. А. Некрасовым, И. А. Гончаровым, Д. В. Григоровичем, А. В. Дружининым. Перед отъездом Гоголь посетил Веневитиновых.
Октября 9
Гоголь отбывает из Петербурга в Москву.
Октября 13
Гоголь приехал в Москву и поселился у М. П. Погодина.
Середина октября
Гоголь просит прислать ему поэму И. С. Аксакова "Бродяга".
Октября 18
Гоголь присутствует на званном обеде у С. П. Шевырева по случаю дня рождения последнего.
Октября 21
Гоголь присутствует на обеде у А. И. Лобкова в честь епископа Харьковского Иннокентия.
Ноябрь
Гоголь знакомится с А. М. Языковым
Ноября 4
Гоголь смотрит "Игрок
ов" в Малом театре.
Ноября 9
Гоголь пишет отцу Матвею Константиновскому, что "недоволен состоянием души своей".
Ноября 11
Гоголь присутствует на торжественном, в честь его приезда, праздновании дня рождения М. П. Погодина. В числе гостей - князь Г. А. Щербатов,П. П. Новосильцев, И. В. Киреевский.
Ноября 20
Гоголь приобщается Святых Христовых Тайн. Пишет П. А. Плетневу: "Соображаю, думаю и обдумываю второй том "Мертвых душ". Читаю преимущественно то, где слышится сильней присутствие русского духа". Сообщает, что получил от С. П. Шевырева экземпляр "Одиссеи" в переводе В. А. Жуковского.
Декабря 4
Гоголь переехал от М. П. Погодина к графу А. П. Толстому на Никитский бульвар, в дом А. С. Талызина.
Конец декабря
Гоголь, по совету А. О. Смирновой, посетил вместе с А. Н. Верстовским митрополита Московского Филарета.
1849
Начало января
Отец Матвей Константиновский приехал в Москву и остановился у графа А. П. Толстого. Гоголь впервые встречается с ним. Посылает сестре Ольге "Воскресные Евангелия" с толкованиями и 15 рублей серебром на лекарства и помощь бедным. Просит С. Т. Аксакова взять для него на несколько дней у К. С. Аксакова книгу И. М. Снегирева "Памятники московской древности".
Конец марта
В связи с грядущей Пасхой Гоголь посылает матери 50 рублей серебром для раздачи бедным.
Мая 1
Гоголь посещает А. С. Хомякова.
Мая 9
Именинный обед Гоголя в саду у М. П. Погодина.
Мая 12
Гоголь посылает матери 150 рублей серебром для раздачи крестьянам, у которых пал скот.
Июня 5

Поездка Гоголя вместе с М. П. Погодиным в имение князя П. А. Вяземского Остафьево и осмотр Остафьевского архива.
Июня 24
Гоголь присутствует на именинном обеде московского гражданского губернатора И. В. Капниста в Сокольниках.
Июля 1
Гоголь просит А. М. Марковича составить календарь сельскохозяйственных работ в Черниговской губернии с указанием обрядов, праздников, песен и т. п.
Начало июля
Гоголь посылает графине А. М. Виельгорской ботанический атлас.
Июля 4
Гоголь вместе с Л. И. Арнольди выезжают из Москвы в Калугу к Н. М. и А. О. Смирновым.
Первая половина июля
Гоголь четыре дня проводит в имении А. О. Смирновой Бегичево Медынского уезда Калужской губернии. Наблюдает сенокос. Знакомится с гостившим у Смирновых художником Алексеевым, который по просьбе Гоголя делает зарисовки костюмов местных крестьянок. Позднее Гоголь вместе со Смирновыми и Л. И. Арнольди переехал в Калугу, в загородный губернаторский дом. Читает Смирновой и Арнольди главы второго тома "Мертвых душ".
Конец июля
Гоголь возвращается в Москву вместе с князем Д. А. Оболенским.
Июля 29
Гоголь посылает А. О. Смирновой "Домострой" и делает приписку: "Кланяется вам Тентетников".
Июля 30
Гоголь посылает графине С. М. Соллогуб "Петербургскую флору" и "Хозяйственную ботанику" Н. П. Щеглова.
Начало августа
Гоголь живет на даче у С. П. Шевырева в Больших Вяземах и читает ему начальные главы второго тома "Мертвых душ".
Августа 7
Гоголь встречается с И. В. Киреевским и сообщает, что второй том "Мертвых душ" уже написан, но на обработку его уйдет еще год.
Августа 14
Первый приезд Гоголя в имение Аксаковых Абрамцево.
Августа 18
Гоголь читает Акса
ковым первую главу второго тома "Мертвых душ".
Августа 19
Поездка Гоголя в Троице-Сергиеву лавру.
Августа 20
Гоголь выехал из Абрамцева. По дороге в Москву заезжает к литератору Н. В. Путяте в Мураново.
Август 31
Гоголь приезжает в Абрамцево.
Сентября 6
Гоголь уезжает из Абрамцева в Москву вместе с О. С. Аксаковой.
Конец октября
В Москву на зиму приехал М. А. Максимович. Гоголь читал ему первые главы второго тома "Мертвых душ".
Осень
Гоголь путешествует по Московской и сопредельных с ней губерниях.
Декабря 3
Гоголь присутствует на чтении А. Н. Островским комедии "Банкрот" ("Свои люди - сочтемся").
Декабря 6
Гоголь благодарит А. М. Марковича за присылку календаря сельскохозяйственных работ.
Декабря 21
М. А. Максимович сообщил Гоголю, что О. М. Бодянский возвращен в Московский университет, откуда он был ранее изгнан за публикацию перевода книги Дж. Флетчера "О государстве Русском, или Образ правления русского царя..." (1591). Гоголь навещает Бодянского и поздравляет его с "победой над супостатом".
1850
Начало января
Гоголь читает
Аксаковым переработанную первую главу второго тома "Мертвых душ".
Января 16

Гоголь слушает у Аксаковых чтение отрывков из "Записок ружейного охотника Оренбургской губернии" С. Т. Аксакова. Н. С. Аксакова по просьбе Гоголя пела малороссийские песни.
Января 19
Гоголь читает главы второго тома "Мертвых душ" М. П. Погодину и М. А. Максимовичу, а позднее - Аксаковым.
Января 21
Гоголь сообщает П. А. Плетневу, что почти все главы второго тома "Мертвых душ" "соображены и даже набросаны", но "собственно написанных две-три и только".
Января 31
Гоголь был восприемником при крещении сына Хомяковых Николая.
Первая половина февраля
Болезнь Гоголя.
Февраля 28
Гоголь пишет В. А. Жуковскому большое письмо о Палестине, где, в частности, утверждает: "Что может сказать поэту-живописцу нынешний вид всей Иудеи с ее однообразными горами, похожими на бесконечные серые волны взбугрившегося моря? Всё это, верно, было живописно во времена Спасителя, когда вся Иудея была садом и каждый еврей сидел под тенью им насажденного древа, но теперь, когда редко-редко где встретишь пять-шесть олив на всей покатости горы, цветом зелени своей так же сероватых и пыльных, как и самые камни гор, когда одна только тонкая плева моха и урывками клочки травы зеленеют посреди этого обнаженного, неровного поля каменьев, да через каких-нибудь пять-шесть часов пути попадется где-нибудь приклеившаяся к горе хижина араба, больше похожая на глиняный горшок, печурку, звериную нору, чем на жилище человека, как узнать в таком виде землю млека и меда?"
Март
Гоголь посылает В. А. Жуковскому книгу архимандрита Антония "Иисус Христос на Голгофе".
Марта 4
Гоголь читает Ю. Ф. Самарину и А. С. Хомякову первую главу второго тома "Мертвых душ".
Марта 15
Гоголь посетил драматурга Н. В. Кукольника.
Марта 24
Гоголь посылает отцу Матвею Константиновскому еврейскую грамматику на немецком языке и желает ему успехов в изучении священного языка.
Марта 29
Гоголь сообщает Н. Я. Прокоповичу, что болезни приостановили работу над "Мертвыми душами", которая ранее шла хорошо.
Около 23 апреля
Гоголь поздравляет отца Матвея Константиновского со Светлым Христовым Воскресеньем и пишет о "Мертвых душах": "Хотелось бы живо, в живых примерах, показать темной моей братии, живущей в мире, играющей жизнию, как игрушкой, что жизнь - не игрушка". Сообщает о намерении вновь отправиться к Святым Местам.
Мая 9
Именинный обед Гоголя в саду М. П. Погодина.
Мая 11
Кончина Н. Н. Шереметевой.
Мая 12
Гоголя посещает О. М. Бодянский. Они ведут разговор о желательности нового периодического издания в Москве под редакцией Бодянского.
Мая 29
Гоголь выражает соболезнование графине С. М. Соллогуб в связи со смертью дочери. Сообщает, что едет на Средиземноморье.
Май
Гоголь встречается с художником П. А. Федотовым. Читает Аксаковым третью главу второго тома "Мертвых душ".
Конец мая - начало июня
Гоголь читает Аксаковым третью главу второго тома "Мертвых душ".
Июня 6
Гоголь извещает А. С. Стурдзу, что собирается провести три зимних месяца в Греции или на островах Средиземного моря, куда отправится через Одессу.
Июня 13
Гоголь вместе с М. А. Максимовичем выехал из Москвы на Украину.
В ночь с 15 на 16 июня
Гоголь и М. А. Максимович прибыли в Калугу. Днем они обедали у А. О. Смирновой, где встретились с графом А. К. Толстым. Из Калуги Гоголь с Максимовичем поехали в Оптину Пустынь.
Июня 17

Гоголь и М. А. Максимович прибыли в Оптину Пустынь. Последние две версты до монастыря они прошли пешком.
Июня 17-19
Пребывание Гоголя и М. А. Максимовича в Оптиной Пустыни.
Июня 19
Гоголь и М. А. Максимович выехали из Оптиной Пустыни в имение И. В. Киреевского Долбино.
Июня 20
Гоголь и М. А. Максимович покинули Долбино и прибыли в Петрищево, имение А. П. Елагиной.
В ночь с 24 на 25 июня
Гоголь и М. А. Максимович прибыли в Севск. Гоголь был поражен поэтичностью причитаний плакальщиц по покойнице.
Июня 25
Гоголь в Глухове расстается с М. А. Максимовичем.
Июня 25-26
Гоголь в Сваркове у А. М. Марковича.
Июня 27-30
Гоголь в Сорочинцах у А. С. Данилевского.
Июля 1
Гоголь прибыл в Василье
вку.
Июль - первая половина октября
Гоголь живет в Васильевке. Ремонтирует дом.
Июля 10
Гоголь пишет графу А. П. Толстому об Оптиной Пустыни: "Я думаю, на самой Афонской горе не лучше. Благодать видимо там присутствует".
Июля 10-18
По совету А. О. Смирновой Гоголь пишет письмо, предназначенное либо министру внутренних дел графу Л. А. Перовскому, либо министру просвещения князю П. А. Ширинскому-Шихматову, либо шефу III Отделения графу А. Ф. Орлову, либо наследнику престола. Он просит пенсион или денежное пособие и заграничный паспорт для того, чтобы иметь возможность проводить три зимних месяца на юге, в Греции или на берегу Средиземного моря. Благодаря этому Гоголь надеется укрепить свое здоровье и закончить "Мертвые души" и задуманную книгу по географии для юношества. Письмо было переслано А. О. Смирновой через гоголевского племянника Н. П. Трушковского.
Июля 18
Гоголь рекомендует С. П. Шевыреву Н. П. Трушковского, направляющегося в Казанский университет. Пишет письмо оптинскому послушнику отцу Петру Григорову, просит его показать обитель Трушковскому и посылает 10 рублей серебром на молебен о благополучном путешествии и окончании своего главного труда: "Мертвых душ".
Августа 9
Гоголь в Сорочинцах у А. С. Данилевского встречает М. А. Максимовича, направляющегося в Васильевку.
Августа 10
Гоголь с М. А. Максимовичем приезжает в Васильевку.
Августа 20
Гоголь пишет А. О. Смирновой, что "телом не очень здрав, но голова, слава Богу, вся сидит во 2 томе".
Сентябрь
Гоголь пытается посадить дубовый лесок в Васильевке.
Октября 1
Гоголь на именинах матери читает ей и сестрам главы второго тома "Мертвых душ".
Около 17 октября
Гоголь уезжает из Васильевки в Одессу.
Октября 24
Гоголь прибывает в Одессу и останавливается в доме А. А. Трощинского.
Октября 24 - марта 28 1851 г.
Гоголь в Одессе. Обедает у Репниных.
Ноября 13
Книгопродавец и книгоиздатель И. Т. Лисенков предлагает Гоголю продать права на новое издание его сочинений.
Декабря 15
Гоголь соглашается на предложение С. П. Шевырева употребить тысячу рублей серебром из сумм, предназначенных Гоголем нуждающимся студентам, на издание древнерусских памятников и оплату труда студентов по подготовке их к изданию.
Декабря 16
Гоголь пишет В. А. Жуковскому, что работа над вторым томом "Мертвых душ" "еще не кончена, но близка

к окончанию".
1851
Января 6
Гоголь у Репниных читает комедию Мольера "Школа жен".
Января 24
Гоголь у Репниных. Присутствовавшая там домашняя воспитательница Репниных Е. А. Хитрово записала в дневнике: "M-me Гойер выехала с вопросом: "Скоро ли выйдет окончание "Мертвых душ"?" - Гоголь: "Я думаю - через год". Она: "Так они не сожжены?"... Он: "Да-а-а!.. Ведь это только нача-а-ло было..."
Января 24
Гоголь у Репниных читает проповедь митрополита Московского Филарета "Ищите Царствия Божия!"
Января 27
Гоголь у Репниных слушает чтение Н. П. Ильиным пьесы И. С. Тургенева "Завтрак у предводителя".
Январь
Гоголь читает артистам Одесского театра "Школу жен" Мольера и свой отрывок "Лакейская". Присутствует на репетиции "Школы жен".
Февраля 1
Гоголь у Репниных. Е. А. Хитрово записывает в дневнике: "Гоголь на вопрос княжны (В. Н. Репниной. - Б. С.), был ли Пушкин импровизатор или творец, отвечал: "Пушкин был необыкновенно умен. Если он чего и не знал, то у него чутье было на все. И силы телесные были таковы, что их достало бы у него на девяносто лет жизни... Но я уверен, что Пушкин бы совсем стал другой".
Февраля 3
Гоголь читает у Репниных "Бориса Годунова" А. С. Пушкина.
Марта 6
Гоголь читает у Репниных "Слова и речи преосвященного Иакова, архиепископа Нижегородского и Арзамасского".
Март
Гоголь читает у Репниных главы второго тома "Мертвых душ".
Марта 25
Обед в честь отъезжающего Гоголя в ресторане Оттона.
Марта 26
Прощальный обед Гоголя у Репниных.
Марта 27
Гоголь на вечере у Репниных, устроенном в честь дня рождения князя Н. В. Репнина.
Марта 28
Гоголь уезжает из Одессы.
Начало апреля
Гоголь приезжает в Кагарлык, где у А. А. Трощинского гостит М. И. Гоголь с дочерьми. Гоголь читает им первую главу второго тома "Мертвых душ".
Апреля 20
Гоголь с матерью и сестрами отбывает из Кагарлыка в Васильевку.
Начало мая
В Васильевку приезжают А. С. и У. Г. Данилевские.
Мая 22
Гоголь выезжает из Васильев
ки в Москву. Его провожают мать и сестра Ольга.
После 23 мая
Гоголь в Полтаве у В. А. и С. В. Скалонов. Известие о предложении В. И. Быкова сестре Елизавете и ее согласие на брак. Гоголь вместе с матерью и сестрой Ольгой уезжает из Полтавы в село Власовка Константиноградского уезда к своей двоюродной сестре М. Н. Синельниковой.
Мая 29
Гоголь прощается с родными и выезжает из Власовки в Москву.
Июня 2
Гоголь прибыл в Оптину Пустынь. Отслужил панихиду на могиле своего друга монаха Порфирия Григорова.
Июня 3
Гоголь прибыл в Калугу.
Июня 5
Гоголь в Москве. Посылает сестре Ольге 25 рублей серебром на лекарства и церковь.
Июнь
Гоголь навестил Аксаковых в Абрамцеве.
Июня 25
Гоголь посещает Аксаковых в Москве и читает им четвертую главу второго тома "Мертвых душ". Он также знакомит их с новыми записями народных песен.

Конец июня - начало июля
Гоголь живет у А. О. Смирновой в Спасском.
Начало июля
Болезнь А. О. Смирновой. Она возвращается в Москву вместе с Гоголем.
Середина июля
Гоголь посылает в Оптину Пустынь 25 рублей серебром.
Июль - начало августа
Гоголь живет на даче у С. П. Шевырева. Читает ему семь глав второго тома "Мертвых душ" и берет с него обещание хранить это чтение в секрете.
Августа 15
Гоголь и М. П. Погодин посетили старообрядцев на Преображенском кладбище и участвовали в их обеде с религиозными песнопениями.
Августа 22
Гоголь, В. И. Назимов, М. П. Погодин и И. М. Снегирев наблюдают иллюминацию Кремля, устроенную по случаю дня коронации императора Николая I.
Лето
Гоголь пишет цензору В. Н. Лешкову в связи с трудностями с получением цензурного разрешения на второе издание его сочинений.
Середина сентября
Гоголь получил от М. С. Скурдина из Петербурга выписки из брошюры А. И. Герцена "О развитии революционных идей в России", вышедшей в Париже на французском языке. В ней Герцен упрекал Гоголя в отступничестве от демократических идей.
Сентября 22
Гоголь выезжает из Москвы в Васильевку, собираясь навестить больную мать в день ее рождения - 1 октября и присутствовать на свадьбе сестры Елизаветы, а потом отправиться в Крым.
Сентября 23
Попечитель Московского учебного округа В. И. Назимов посетил квартиру графа А. П. Толстого, где жил Гоголь, с известием, что второе издание его сочинений будет разрешено им к печати, для чего необходимо обычным путем сдать тексты в цензуру.
Сентября 23-24
Гоголь в Калуге.
Сентября 24
Гоголь в Оптиной Пустыни. Навещает в скиту отшельника старца Макария, давшего обет молчания. Пишет ему письмо: "Еще одно слово, душе и сердцу близкий отец Макарий. После первого решения (вернуться в Москву. - Б. С.), которое имел я в душе, подъезжая к обители, было на сердце спокойно и тишина. После второго как-то неловко, и смутно, и душа неспокойна. Отчего вы, прощаясь со мной, сказали: "В последний раз"? Может быть, все это происходит от того, что нервы мои взволнованы; и в таком случае боюсь сильно, чтобы дорога меня не расколебала. Очутиться больным посреди далекой дороги - меня несколько страшит. Особенно когда будет съедать мысль, что оставил Москву, где бы меня не оставили в хандре". По воспоминаниям А. О. Смирновой, Гоголь так изумил отца Макария своей нерешительностью, что "знаменитый отшельник и молчальник... грозил ему отказать его принимать".
Сентября 25
На вопрос Гоголя, съедаемого приступом меланхолии, ехать ли ему на родину, иеромонах Макарий дает такой ответ: "Мне очень жаль, что вы находитесь в такой нерешимости и волнении. Конечно, когда бы знать это, то лучше бы не выезжать из Москвы. Вчерашнее слово о мире при взгляде на Москву было мне по сердцу, и я мирно вам сказал о обращении туда, но как вы паки волновались, то уж и недоумевал о сем. Теперь вы должны сами решить свой вояж, при мысли о возвращении в Москву, когда ощутите спокойствие, то будет знаком воли Божией во сне. Примите от меня образок ныне празднуемого угодника Божия Сергия; молитвами да подаст Господь вам здравие и мир". В тот же день Гоголь вернулся в Москву.
Сентября 30
Гоголь вместе с С. Т. и К. С. Аксаковыми приехал в Абрамцево.
Октября 1
Гоголь ездил к обедне в Троице-Сергиеву Лавру.
Октября 2
На обратном пути из Троице-Сергиевой Лавры Гоголь посетил Хотьков монастырь, а затем отобедал у Аксаковых в Абрамцеве.
Октября 3
Свадьба сестры Гоголя Елизаветы и В. И. Быкова. Гоголь возвращается в Москву. Посылает сестре Ольге 10 рублей серебром на бедных и лекарства.
Октября 10
Цензурное разрешение второго издания сочинений Гоголя.
Октября 15
Гоголь вместе с Аксаковыми смотрит в Ма

лом театре "Ревизора" с С. В. Шумским в роли Хлестакова.
Вторая половина октября
Гоголь вместе с А. О. Смирновой и Л. И. Арнольди вторично смотрит "Ревизора" в Малом театре.
Октября 20
Гоголя навещают М. С. Щепкин и И. С. Тургенев.
Конец октября
Гоголя навещают О. М. Бодянский и Г. П. Данилевский.
Октября 31
Гоголь на вечере у Аксаковых. Поют малороссийские песни. Гоголь рассказывает о том, как А. С. Пушкин дал ему сюжет "Ревизора".
Осень
Гоголь читает князю Д. А. Оболенскому и А. О. Россету первую главу второго тома "Мертвых душ".
Ноября 5
Гоголь на квартире графа А. П. Толстого читает московским писателям и артистам "Ревизора". После того, как гости разошлись, Гоголь прочел вместе с Г. П. Данилевским его стихотворение "Запорожская дума" и сделал ряд замечаний и поправок.
Ноября 8
Гоголь навестил больного М.Н. Загоскина.
Ноября 12
Гоголь встречается со своим товарищем по Нежинской гимназии А. А. Божко, служащим в Казанском провиантском департаменте и находившимся в Москве проездом.
Первая половина ноября
Гоголь читает у В. И. Назимова главы второго тома "Мертвых душ".
Ноябрь
Гоголь посылает сестре Ольге "Лавсаик" и "Беседы сельского священника с поселянами".
Декабря 13
Гоголь присутствовал на первом четверге у Кошелевых.
Декабря 21
Гоголь посетил Д. Н. Свербеева.
Конец декабря
Гоголь был на обеде у генерала С. Ф. фон Брина.
В ночь с 31 декабря на 1 января 1852 г.
Выходя из своей комнаты, Гоголь случайно встретился с доктором Ф. П. Гаазом. Тот, на ломаном русском языке поздравляя его, сказал, что желает Гоголю такого "нового года", который даровал бы ему "вечный год". Эти слова произвели на Гоголя тягостное впечатление.

1852

Января 1
Гоголь посетил Л. И.
Арнольди и сообщил ему, что второй том "Мертвых душ" окончен. Советует князю П. А. Вяземскому написать историю царствования Екатерины II.
Начало января
Гоголь пишет С. Т. Аксакову, что работа над корректурой второго издания собрания сочинений "идет крайне туго".
Январь
Гоголь встречается с приехавшим в Москву художником И. К. Айвазовским.
Января 9
Гоголь присутствует на бенефисе М. С. Щепкина в Большом театре. Встречается там со скульптором Н. А. Рамазановым.
Января 26
Смерть Е. М. Хомяковой, сестры Н. М. Языкова.
Января 27
Гоголь присутствует на первой панихиде по Е. М. Хомяковой и говорит А. С. Хомякову: "Все для меня кончено". Утверждает, что "ничто не может быть торжественнее смерти. Жизнь не была бы так прекрасна, если бы не было смерти".
Января 29
Похороны Е. М. Хомяковой, на которые Гоголь не смог прийти.
Конец января - начало февраля
Из Ржева в Москву приезжает протоиерей отец Матвей Константиновский и останавливается у графа А. П. Толстого.
Февраля 4
Гоголь посетил В. С. и Н. С. Аксаковых. Вечером заявил С. П. Шевыреву, что "некогда ему теперь заниматься корректурами". Говорит, что "дурно себя чувствовал и кстати решил попоститься и поговеть".
Февраля 5

Гоголь жалуется навестившему его С. П. Шевыреву "на расстройство желудка и на слишком сильное действие лекарства, которое ему дали". Едет к своему духовному отцу Иоанну Никольскому в приходскую церковь Преподобного Саввы Освященного на Девичьем поле известить, что говеет, и просить назначить день, когда можно будет приобщиться Святых Тайн. Священник сначала советует дождаться начала поста, но потом соглашается и назначает четверг, 7 февраля. Гоголь провожает на железнодорожную станцию отца Матвея Константиновского, возвращающегося в Ржев.

Февраля 6

Гоголь пишет письмо отцу Матвею Константиновскому, где просит прощения за нанесенную ему обиду.

Февраля 7

Гоголь едет к отцу Иоанну Никольскому, исповедуется и причащается Святых Христовых Тайн. Перед принятием Святых Даров падает ниц и плачет. Шатается от слабости.

В ночь с 8 на 9 февраля

Гоголь слышит голоса, говорящие, что он умрет. В тревоге он зовет приходского священника отца Алексия Соколова и хочет собороваться, но потом успокаивается и решает отложить соборование.

Февраля 9

Гоголь посещает А. С. Хомякова и играет со своим маленьким крестником Николаем, сыном Хомякова.

Февраля 10

Гоголь просит графа А. П. Толстого передать свои рукописи митрополиту Филарету, чтобы тот определил, что следует печатать, а что не следует. Толстой отказался, опасаясь укрепить Гоголя в мысли о скорой смерти. Гоголь более не выезжает из дому.

Февраля 11

Д. Н. Свербеев и А. М. Языков приходят навестить больного Гоголя, но он их не принимает.

Февраля 11-12

В доме графа А. П. Толстого служили великое повечерие. Гоголь с большим трудом поднялся по ступеням, но отстоял всю службу. День провел без пищи, ночь - в молитве. Толстой, чтобы не изнурять Гоголя, прекратил домашние богослужения.

В ночь с 11 на 12 февраля

После долгой коленопреклоненной молитвы перед иконой Гоголь сжигает свои бумаги, в том числе беловую рукопись второго тома "Мертвых душ". Утром Гоголь признался графу А. П. Толстому: "Вот, что я делал! Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжег все. Как лукавый силен, вот он до чего меня довел. А я было думал разослать на память друзьям по тетрадке: пусть бы делали, что хотели".

Февраля 13

Граф А. П. Толстой пригласил к Гоголю доктора А. Т. Тарасенкова, но тот его не принял.

Февраля 14

Гоголь, по свидетельству А. С. Хомякова, заявил: "Надобно меня оставить, я знаю, что должен умереть".

Февраля 14-16

Резкое ухудшение физического состояния Гоголя: усталость, вялость, почти полный упадок сил. Принимает пищу дважды в день: утром хлеб или просфору, запивая липовым чаем, вечером - кашицу или чернослив в мизерном количестве. Отказывается от лечения. Просит графа А. П. Толстого отпустить своего слугу Семена на волю после своей смерти. Рассылает карманные деньги "бедным и на свечку". Гоголя навещают И. С. Аксаков и Д. Н. Свербеев.

Февраля 16

Гоголя посетил доктор А. Т. Тарасенков, убеждал следовать советам врачей.

Февраля 17

Граф А. П. Толстой просит московского гражданского губернатора И. В. Капниста, пользовавшегося большим уважением Гоголя, уговорить его слушаться врачей. Рассказывает о болезни Гоголя митрополиту Филарету. Тот сказал со слезами, что Гоголя надо убеждать: спасение не в посте, а в послушании. Митрополит призывает к себе священников отца Алексия Соколова и отца Иоанна Никольского и просит их передать Гоголю, чтобы он следовал предписаниям врачей.

Февраля 18

Отец Иоанн Никольский уговаривает Гоголя исповедаться, причаститься и собороваться маслом. Гоголь с радостью соглашается. Гоголя навещает И. В. Капнист и несколько друзей. Гоголь лежит лицом к стене, на которой - образ Богоматери. Из разговора Гоголь понимает, что его считают сумасшедшим. В этот момент он обратился к Капнисту с просьбой обратить внимание на сына своего духовника отца Иоанна Никольского, служащего в губернаторской канцелярии. Графиня А. Г. Толстая приглашает к Гоголю профессора А. И. Овера. Тот советует не давать Гоголю вина, которого он постоянно спрашивал.

Февраля 19

Гоголя посетил А. Т. Тарасенков. Гоголь лежал в халате на диване, с четками в руках, с закрытыми глазами, отвернувшись к стене. Приехавший доктор А. А. Альфонский предложил воздействовать на Гоголя магнетизированием (гипнозом), чтобы покорить волю больного и заставить его принимать пищу и лекарства. Присутствовали доктора А. И. Овер, С. И. Клименков и К. И. Сокологорский. Последний попытался гипнотизировать Гоголя, но тот обнаружил стойкость к гипнозу. Фельдшер В. А. Зайцев,

несмотря на протесты Гоголя, поставил ему пиявки.
Февраля 20
Граф А. П. Толстой созвал консилиум с участием А. И. Овера, А. Е. Эвениуса, С. И. Клименкова, К. И. Сокологорского, А. Т. Тарасенкова и И. В. Варвинского. Консилиум согласился с диагнозом Овера, что у Гоголя менингит. Было решено лечить его насильно. Больного сажали в теплую ванну, обливали холодной водой; ставили к носу пиявки, обкладывали тело горчичниками.
В ночь с 20 на 21 февраля
Гоголь в беспамятстве. Кричит: "Лестницу, поскорее, давай лестницу!"
Февраля 21
Около 8 часов утра Гоголь скончался. Последними его словами были: "Как сладко умирать!"
Февраля 24
Похороны Гоголя на кладбище Данилова монастыря
Мая 31 н. ст. 1931 г.
Прах Гоголя перенесен на Новодевичье кладбище.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Библиография сочинений Гоголя

Авторская исповедь // Сочинения Н. В. Гоголя, найденные после его смерти. М., 1855.

Ал-Мамун // Гоголь Н. В. Арабески.Ч. 1. СПб., 1835.

Альфред // Кулиш П. А. Записки о жизни Н. В. Гоголя. СПб., 1856. Т. 2.

Борис Годунов // Русь, М., 1881, № 12, 31 января.

Взгляд на составление Малороссии // Журнал Министерства Народного Просвещения, СПб., 1834, Ч. 2, № 4, Отд. 2.

Вечер накануне Ивана Купала // Отечественные записки, 1830, февраль, март.

Вий // Миргород. СПб., 1835.

Владимир 3-ей степени // Сочинения Н.В. Гоголя. 10-е изд. Т. 2. М., 1889.

Выбранные места из переписки с друзьями // Выбранные места из переписки с друзьями Николая Гоголя. СПб., 1847; Полный текст // Полное собрание сочинений Н. В. Гоголя. 2-е изд. Т. 3. М., 1867; одно из писем было опубликовано в качестве отдельной статьи: Об Одиссее, переводимой Жуковским // Современник, СПб., 1846, № 7; Московские ведомости, 1846, 25 июля, № 89; Москвитянин, 1846, № 7.

Ганц Кюхельгартен // Ганц Кюхельгартен. Идиллия в картинах. Сочинение В. Алова. СПб., 1829.

Гетьман: Глава из исторического романа // Северные Цветы на 1831 год: Альманах. СПб., 1830; Кровавый бандурист // Арабески. Ч. 1. СПб., 1835 (отрывок "Пленник"); Нива, СПб., 1917, № 1; Начало исторического романа // Сочинения Николая Гоголя. Т. 5. СПб., 1856; Отрывок "Мне нужно видеть полковника" // Сочинения Н. В. Гоголя. 10-е изд. Т. 5. М., 1889.

Девицы Чабловы // Сочинения Н. В. Гоголя. 10-е изд. Т. 6. М.; СПб., 1896.

Дядька в затруднительном положении. Комедия Джиованни Жиро. Пер. с итал. под ред. Гоголя (1840) // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. в 14 тт. Т. 5. М., 1949.

Женитьба // Сочинения Николая Гоголя. Т. 4. СПб., 1842.

Женихи // Сочинения Н. В. Гоголя. 10-е изд. Т. 6. М.; СПб., 1896.

Женщина // Литературная Газета, СПб., 1831, № 4, 16 января.

Жизнь // Арабески. Ч. 2. СПб., 1835.

Заколдованное место // Вечера на хуторе близ Диканьки. Ч. 2. СПб., 1832.

Заметка о Мериме // Сочинения Н. В. Гоголя. 10-е изд. Т. 6. М.; СПб., 1896.

Записки сумасшедшего // Арабески. Ч. 2. СПб., 1835.

Иван Федорович Шпонька и его тетушка // Вечера на хуторе близ Диканьки. Ч. 2. СПб., 1832.

Игроки // Сочинения Николая Гоголя. Т. 4. СПб., 1842.

Искусство есть примирение с жизнью // Русский Вестник, М., 1888, № 11.

Италия // Сын Отечества и Северный Архив, СПб., 1829, Т. 2, № 12.

Коляска // Современник, СПб., 1836. Т.1.

Комедия. Материалы // Артист, СПб., 1890, Кн. 5, Январь.

Конспект книги П. С. Палласа "Путешествие по разным провинциям Российского государства в1768-1773 гг.". 3 ч. СПб, 1773-1788 // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. в 14 тт. Т. 9. М., 1952.

Лакейская // Сочинения Николая Гоголя. Т. 4. СПб., 1842.

Майская ночь, или Утопленница // Вечера на хуторе близ Диканьки. Ч. 1. СПб., 1831.

Мертвые души. Том первый // Похождения Чичикова, или Мертвые души. М., 1842; Том второй // Сочинения Николая Васильевича Гоголя, найденные после его смерти. М., 1855; Повесть о капитане Копейкине (первоначальная редакция) // Сочинения Н. В. Гоголя. 10-е изд. М., 1889.Т. 3.

Мысли о географии // Литературная Газета, 1831, 1 января, № 1.

На бесчисленных тысячах могил // Сочинения Н. В. Гоголя. 10-е изд. Т. 7. СПб., 1896.

Наброски драмы из украинской истории // Основа, СПб., 1861, № 1; Сочинения Н. В. Гоголя. 10-е изд. Т. 1. М., 1889.

Наброски к истории Малороссии // Сочинения Н. В. Гоголя. 10-е изд. Т. 1. М., 1889.

Невский проспект // Арабески. Ч. 2. СПб., 1835.

Несколько слов о Пушкине // Арабески. Ч. 1. СПб., 1835.

Новоселье // Сочинения Н. В. Гоголя. Дополнительный том ко всем предшествовавшим изданиям сочинений Гоголя. Вып. 1. М., 1892.

Нос // Современник, СПб., 1836. Т. 3.

Ночи на вилле // Кулиш П. А. Записки о жизни Н. В. Гоголя. Т. 1. СПб., 1856.

Ночь перед Рождеством // Вечера на хуторе близ Диканьки. Ч. 2. СПб., 1832.

О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году // Современник, СПб., 1836, Т. 1.

О движении народов в конце V века // Арабески. Ч. 2. СПб., 1835.

О малороссийских песнях // Журнал Министерства Народного Просвещения, СПб., 1834, Ч. 2, № 4, Отд. 2.

О поэзии Козлова // Русская Старина, М., 1890, Т. 65, Кн. 3.

О преподавании всеобщей истории // Журнал Министерства Народного Просвещения, 1834, Ч. 1, № 2.

О "Современнике" // Сочинения и письма Н. В. Гоголя. СПб., 1857. Т. 6.

О сословиях в государстве // Сочинения Н. В. Гоголя. 10-е изд. Т. 6. М.; СПб., 1896.

О средних веках // Журнал Министерства Народного Просвещения, СПб., 1834, Ч. 3, № 9, Отд. 2.

О тех душевных расположениях и недостатках наших, которые производят в нас смущение и мешают нам пребывать в спокойном состоянии // Русская литература,Л.,1965, № 3.

Об архитектуре нынешнего времени // Арабески. Ч. 1. СПб., 1835.

Объявление об издании истории Малороссии // Северная Пчела, СПб., № 24, 30 января; Московский Телеграф, 1834, № 3; Молва, М., 1834, № 8.

Отрывки из неизвестной драмы // Русь, М., 1881, № 12, 31 января.

Отрывок // Сочинения Николая Гоголя. Т. 4. СПб., 1842.

Отрывок детской книги по географии // Атеней. Историко-литературный временник. Л., 1926. Кн. 3.

Отрывок из "Истории Малороссии". Размышления Мазепы // Сочинения Н. В. Гоголя. 10-е изд. Т. 6. М.; СПб., 1896.

Песни, собранные Н. В. Гоголем // Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя. Вып. 2. СПб., 1908; Сперанский М. Н. К истории собирания песен Гоголя. Нежин, 1912; Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М.;Л., 1936. Т. 2; Звезда, Л., 1959, № 4; Лит. наследство. Т. 79. Песни, собранные писателями. М., 1968; Народные песни в записях Николая Гоголя. Киев, 1985.

Петербургская сцена в 1835-36 г. // Сочинения Н. В. Гоголя. 10-е изд. Т. 6. М.; СПб., 1896.

Петербургские записки 1836 года // Современник, литературный журнал А. С. Пушкина, изданный по смерти его в пользу его семейства, СПб., 1837, Т. 6.

Письмо по поводу "Мертвых душ" // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. в 14 тт. Т. 9. М., 1940.

Повесть о том, как Поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем // Новоселье, СПб, 1834.

Портрет // Арабески.

Ч. 2. СПб., 1835; вторая редакция: Современник, СПб., 1842, Кн. 3.

Последний день Помпеи // Арабески. Ч. 2. СПб., 1835.

Правило жития в мире // Scando Slavica. Vol. 34. Copenhagen, 1988.

Предуведомление для тех, которые пожелали бы сыграть как следует "Ревизора" // Ревизор. Первоначальный сценический текст. М., 1886.

Пропавшая грамота // Вечера на хуторе близ Диканьки. Ч. 1. СПб., 1831.

Развязка "Ревизора" // Гоголь Н. В. Сочинения. Т. 5. М., 1856.

Размышления о Божественной Литургии // Размышления о Божественной Литургии Н. В. Гоголя. СПб., 1857.

Ревизор // Ревизор. СПб., 1836; вторая редакция: Ревизор. М., 1841; Отрывок из письма, писанного автором вскоре после первого представления "Ревизора" к одному литератору // Москвитянин, 1841, Ч. 3., Кн. 6; Две сцены, выключенные при первом издании как замедлявшие течение пьесы // Ревизор. М., 1841 (первая сцена); Москвитянин, 1841, Ч. 3. Кн. 5 (вторая сцена).

Рецензии //Современник,СПб.,1836,Т. 1.

Рецензии, не вошедшие в "Современник" // Сочинения Н. В. Гоголя. 10-е изд. Т. 6. М.; СПб., 1896.

Рецензия на альманах "Утренняя заря" // Москвитянин, 1842, № 1.

Рим // Москвитянин, 1842, № 3.

Сганарель, или Муж, думающий, что он обманут женою. Комедия в одном действии, Мольера. Пер. с франц. в обработке Гоголя (1839) // Гоголь Н. В. Соч. 10-е изд. М.: СПб., 1896. Т. 6.

Семен Семенович Батюшек // Кулиш П. А. Записки о жизни Н. В. Гоголя. Т. 2. СПб., 1856.

Скульптура, живопись и музыка // Арабески. Ч. 1. СПб., 1835.

Сорочинская ярмарка // Вечера на хуторе близ Диканьки. Ч. 1. СПб., 1831.

Старосветские помещики // Миргород. СПб., 1835.

Страшная месть // Вечера на хуторе близ Диканьки. Ч. 2. СПб., 1832.

Страшная рука // Кулиш П. А. Записки о жизни Н. В. Гоголя. Т. 1. СПб., 1856.

Страшный кабан: глава "Учитель" // Литературная Газета, СПб., 1831, № 1, 1 января; глава "Успех посольства" // Литературная Газета, СПб., 1831, № 17, 22 марта.

Сцена, не внесенная автором в печатные издания "Ревизора" // Библиографические записки, СПб., 1859, № 7.

Тарас Бульба // Миргород. СПб., 1835; вторая редакция: Сочинения Николая Гоголя. Т. 2. СПб., 1842.

Театральный разъезд после представления новой комедии // Сочинения Николая Гоголя. Т. 4. СПб., 1842.

1834//Кулиш П. А. Записки о жизни Н. В. Гоголя. СПб., 1856. Т. 1.

Тяжба//Сочинения Николая Гоголя. Т.4. СПб., 1842.

Утро делового человека // Современник, СПб., 1836. Т. 1.

Учебная книга словесности для русского юношества // Сочинения Н. В. Гоголя. 10-е изд. Т. 6. М.; СПб., 1896.

Что это? // Труды отдела новой русской литературы Института литературы АН СССР, М.; Л., 1948, Т. 1.

Шинель // Сочинения Николая Гоголя. СПб., 1842. Т. 3.

Шлецер, Миллер и Гердер // Арабески. Ч. 1. СПб., 1835.

Danthonia (список латинских названий растений) // Памяти В. А. Жуковского и Гоголя. Вып. 3. СПб., 1909.

2. Собрания сочинений Гоголя

Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений. Т. I-XIV. М., 1938-1952.

Гоголь Н. В. Собрание сочинений в 9-ти томах. М., 1994. Издание подготовлено В. А. Воропаевым и И. А. Виноградовым.

3. Монографии и сборники

Аксаков С. Т. Собрание сочинений в 4 тт. Т. 3. М., 1956.

Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1989.

Барабаш Ю. Гоголь. Загадка "Прощальной повести" ("Выбранные места из переписки с друзьями". Опыт непредвзятого прочтения). М., 1993.

Белый А. Мастерство Гоголя. М., 1996.

Вересаев В. В. Гоголь в жизни. М., 1990.

Воронский А.К. Гоголь//Воронский А.К. Искусство видеть мир. М., 1987.

Гиппиус В. В. Гоголь. Л., 1924.

Гиппиус В. В. Гоголь. Воспоминания. Письма. Дневники. М., 1999.

Гоголь в воспоминаниях современников. М., 1952.

Гоголь в русской критике. М., 1952.

Золотусский И. П. Гоголь. 3-е изд. М., 1998.

Кулиш П. А. (Николай М.) Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя. Т. 1-2. СПб., 1856.

Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Лосев А. Ф. Из ранних произведений. М., 1990.

Лотман Ю. М. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. Книга для учителя. М., 1988.

Манн Ю. В поисках живой души. М., 1987.

Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. Вариации к теме. М., 1996.

Набоков В. В. Лекции по русской литературе. М., 1996.

Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1988.

Панаева А. Я. Воспоминания. М., 1972.

Переписка Н. В. Гоголя. Т. 1-2. М., 1988.

Ремизов А. М. Огонь вещей. Сны и предсонье в литературе // Ремизов А. М. Неуемный бубен. Кишинев, 1988.

Розанов В. В. О себе и жизни своей. М., 1990.

Розанов В. В. Опавшие листья // Розанов В. В. Соч. в 2 тт. Т. 2.

Русская эстетика и критика 40-50-х годов XIX века. М., 1982.

Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. Т. I-IV, М., 1892-1898.

Шестов Л. На весах Иова (Странствия по душам) // Шестов Л. Сочинения в 2 тт. Т. 2. М., 1993.

Энциклопедия литературных героев. М., 1997.

Энциклопедия литературных произведений. М., 1998.

4. Статьи

Альтман М. Заметки о Гоголе // Русская литература, Л., 1963, № 1.

Анненский И. Ф. Портрет // Анненский И. Ф. Избранное. М., 1987.

Бахтин М. М. Рабле и Гоголь (Искусство слова и народная смеховая культура) // Бахтин М. М. Франсуа Рабле и

народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1990.

Бердяев Н. А. Духи русской революции // Из глубины. М., 1991.

Брюсов В. Я. Испепеленный. К характеристике Гоголя // Брюсов В. Я. Собр. соч. в 7 тт. Т. 6. М., 1975.

Зеньковский В. В. Н. В. Гоголь // Зеньковский В. В. Русские мыслители и Европа. М., 1997.

Ильин И. А. Гоголь - великий русский сатирик, романтик, философ жизни // Ильин И. А. Собр. соч. Т. 6. Кн. III. М., 1997.

Кожинов В. В. О Гоголе (Чаадаев и Гоголь; Художественный смысл "Шинели" Гоголя в свете ее "творческой истории") // Кожинов В. В. Размышления о русской литературе. М., 1991.

Кожинов В. В. Разгул широкой жизни. "Мертвые души" Н. В. Гоголя // Кожинов В. В. Победы и беды России. М., 2002.

Мережковский Д. С. Гоголь и черт (Исследование) // Мережковский Д. С. В тихом омуте. М., 1991.

Мочульский К. В. Духовный путь Гоголя // Мочульский К. В. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М.: Республика, 1995.

Палиевский П. В. Гоголь // Палиевский П. В. Русские классики. М., 1987.

Розанов В. В. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского // Розанов В. В. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. М., 1996.

Розанов В. В. О сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира // Розанов В. В. Сочинения в 2 т. Т. 1. М., 1990.

Синявский А. Д. В тени Гоголя // Абрам Терц (Синявский А. Д.). Собр. соч. в 2 тт. М., 1992. Т. 2.

Тынянов Ю. Н. Достоевский и Гоголь (к теории пародии) // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.